От редактора серии:

“Воспоминания” Револьта Ивановича Пименова, видного диссидента, одного из основоположников правозащитного движения в СССР и гениального математика, издаются впервые. Они состоят из восьми частей.

Первая их часть, называющаяся “Один политический процесс”, написана в 1969 году, широко распространялась в самиздате и была частично напечатана в историческом сборнике “Память” (№№2-3, 1978-1980). Отдельные главы пятой части - “Борьба за освобождение” - публиковались в периодических изданиях в 1989-1992 годах. Остальные шесть частей никогда не издавались ни полностью, ни частично.

В первом томе этого издания опубликованы чч.1-4, во втором томе -чч.5 и 8. Части 6 и 7 считаются утраченными (они охватывают события связанные с делом Р.И.Пименова, Б.Б.Вайля и В.Зиновьевой, обвиненных в 1970 году по статье 190-1 УК РСФСР и приговоренных к 5 годам ссылки Калужским областным судом). Во втором томе также опубликована биобиблиография Р.И.Пименова.

Издание подготовлено по рукописи, предоставленной “Фондом имени Р.И.Пименова” (тел.: (095) 213-09-55). Использованы фотографии из архивов Н.И.Щербакова, В.А.Пименовой, Б.Б.Вайля, Э.С.Орловского, В.Л.Шейниса, Н.А.Манжаровой, Э.А.Кононовой, В.Р.Крым и других.

Купюры в тексте “Воспоминаний” сделаны по просьбе В.А.Пименовой.

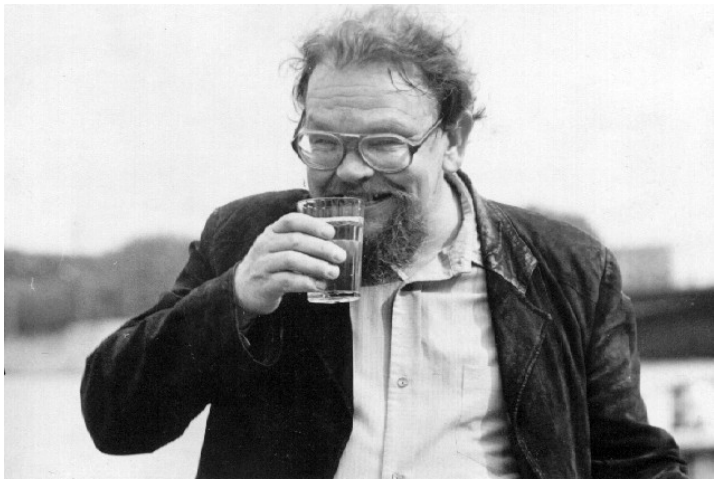
Редакция серии выражает особую признательность Николаю Ивановичу Щербакову, без которого данное издание вряд ли бы состоялось, а также благодарит Вилену Анатольевну Пименову и Револьта Револьтовича Пименова за предоставленные фотографии и поддержку, В.В.Ахметьеву и И.М.Сучкову - за неоценимую помощь в решении технических вопросов.

ТЕЛЕФОНЫ ИЭГ “Панорама” **(095)202 74 10, 290 23 30**
Факс: **202 54 03**
E-mail: panorama@glas.apc.org

© Н.А.Митрохин, биография Р.И.Пименова, макет.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ - 3
ГЛАВА 1 ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - 8
§1. Три основания моего ареста - 9
§2. О моих настроениях - 20
§3. Обсуждение романа Дудинцева - 32
§4. Я встречаюсь с группой марксистов - 53
§5. Рассказ о том, как я уходил из комсомола - 57
§6. "Правда о Венгрии" - 726
§7. Библиотечный институт - 79
§8. События на площади Искусств - 84
§9. Листовки - 89
§10. Последние три месяца - 93
§11. День ареста - 105
§12. Экспозиция фигур на следственной доске - 114
§13. Новые жертвы - 126
§14. Апрель - 138
§15. Следствие углубляется - 151
§16. Даты, фамилии, показания - 163
§17. Обвинительное заключение - 183
§18. Суд - 202
ГЛАВА 2 МОИ ПРЕДКИ - 252
§1. Происхождение моего отца - 253
§2. Отрочество Ивана Щербакова - 269
§3. За всемирную справедливость - 279
§4. На невидимом фронте - 302
§5. Царицынское перепутье - 325
§6. Ветеринарный институт и знакомство с Ларисой Пименовой-9
§7. Моя мать и ее предки - 349
ГЛАВА 3 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ - 365
§1. Бешеная собака помогает мне появиться на свет - 366
§2. Дом на Нольной Линии в Ростове - 384
§3. Ваня возвращается к Ларе - 397
§4. Наша семья в Магадане - 415
§5. Возвращение на материк - 441
§6. Крах семьи - 455
§7. Ленинград. Стабилизация быта - 478
ГЛАВА 4 ЛЕНИНГРАД - ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 502
§1. О строительстве коммунизма в конце сороковых годов - 503
§2. Моя комсомольская деятельность - 518
§3. Ротапринтное издание лекций Александрова - 526
§4. Дело Н.А.Шанина - 540
§5. Дело Отрадных
§6. Открытие Кавказа ---------- - 567
§7. Расставание с университетом - 574
§8. Освоение гор и Кавказа - 583
§9. Открытие космометрии - 592
§10. Дафнис и Хлоя - 610
§11. Собирая мозаику воедино - 611
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ - 616
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ - 617
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ - 619



Р.И.Пименов. Ленинград, лето 1982 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Просьба не читать мемуары как научное исследование; роль, сыгранная опубликованным отрывком; трудность написания внешняя - обыски и пр.; трудность написания внутренняя - нет языка для описания эротических переживаний; "вероисповедание" автора

Зачем люди пишут мемуары? Ответить я не умею, равно как и на вопрос, зачем люди живут. Но я живу, ergo пишу мемуары. Предоставляя утонченным знатокам логики указывать и называть логическую ошибку в этом жонглировании словами, сообщаю, что реально не рассчитываю ни на одного читателя. Лестная надежда, что, дескать, "в Лете не потонет строфа, слагаемая мной", не движет мною. Потонет, как уже многое потонуло. А коли и выплывет, то ведь кто ее ПРОЧИТАЕТ, т.е. осмыслит в соответствии с намерениями автора? Уже на протяжении моей жизни произошел чудовищный обвал культуры, знаний, даже навыков чтения. Homo sapiens сменился на homo TV. Неграмотные получили все права грамотных. И последствия растут лавинообразно. Так что не читайте меня, мои современники и потомки. Разве только если вы потрудились настолько, что, живя в России, умеете равно легко читать русский и французский текст "Войны и мира" и чувствуете, почему именно тут Толстой пишет "mot", а страницей далее - "мо". Такой читатель, с которым можно было бы вести диалог, нужен мне как воздух. Но нет его у меня, и время не сулит его появления.

Главным образом пишу я, чтобы разобраться самому в том, как и почему я сыграл в жизни именно ту роль, какую сыграл. Весь интерес не в том, ЧТО именно я делал и думал, но в том, как мое по внешности исключительно самобытное и активное поведение, оказывается, лишь выражало и отражало всеобщие настроения и закономерности, генетические, семейные, воспитательные, микроокружения, политической атмосферы, "мыслей, носившихся в воздухе". Если есть ноосфера, то вот на примере молекулы, зовомой Револьтом Ивановичем Пименовым, просмотреть и увидеть, как силовое поле ноосферы сливалось в резонанс с индивидуальными побуждениями и волнующими открытиями этой молекулы - разве это не интересно? Таким образом, мои мемуары - это разновидность научного исследования.

В этом аспекте они продолжают традицию опубликованной части моих мемуаров, но в отличие от тех носят индивидуальный, а не социальный характер. "Один политический процесс" был написан в ответ на многочисленные разнообразные вопросы моих близких и далеких знакомых рассказать, что и как стряслось со мной в 1957 году. Тому обществу Ленинграда и Москвы, которое контактировало со мной в 1967-1968 годы, нужен был - как хлеб, как вода, как свобода - рассказ о политическом аресте его современника, его коллеги. Я исполнил этот социальный заказ. Будучи по складу привычек ученым, я сделал больше, нежели просто рассказал факты и переживания: я провел анализ - в котором не щадил ни себя, ни близких мне лиц - хода событий во время предварительного следствия, чем, в частности, научил некоторых профессиональных историков умению читать протоколы допросов; это в сочетании с иными обстоятельствами привело позже к возникновению целой новой школы историков в СССР. Мои тогдашние "отрывки из мемуаров" повлияли и на других лиц, стимулировали поступки кое-каких деятелей, оставивших свой след в Движении Сопротивления 60-70 годов. К сожалению, типографски они были опубликованы лишь примерно лет десять спустя, но даже самиздатское их хождение было достаточно эффективным. Правда, я надеялся, что и другие участники событий напишут о том же, со своих точек зрения, стимулированные "моим враньем". Но откликнулся только Борис Вайль, написавший "Особо опасный", а такие, как В.Л.Шейнис или И.С.Вербловская струсили.

На нынешние мои мемуары нет социального заказа. И прежний читатель... "но спят усачи-гренадеры... иные погибли в бою, иные ему изменили и продали шпагу свою..." А новый читатель - дремуче невежествен, как я имел уже горе высказаться. Я, например, уверен, что моим детям будут непонятны, неинтересны и не нужны эти воспоминания. Таким образом, сохраняется чисто научная задача: постараться вспомнить и собрать ВЕСЬ фактический материал, могущий иметь отношение к проблеме, сформулированной мною во втором абзаце. Подвергнуть собранный материал собственному АНАЛИЗУ и ПЕРЕДАТЬ его вместе с этими ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ выводами в потомство тому специалисту по психике, генетике и социуму, который захотел бы заняться исследованием этой или смежной проблемы. По-видимому, после того, как я завершу работу над этими мемуарами, я отошлю их в архив Академии Наук (копию - в Комитет, именующий себя Комитетом государственной безопасности, для надежности сохранности).

Упомянув сей "чрезвычайный орган", я тем самым фиксирую одну из трудностей в написании моих мемуаров. Огромного числа документов первостепенной важности в связи с решением названной научной задачи нет в моем распоряжении, ибо они были изъяты у меня при обысках, даты которых (примерно с интервалом, равным периоду обращения Юпитера вокруг Солнца) приводятся в тексте. А некоторые из бумаг были предусмотрительно уничтожены накануне обысков или - еще предусмотрительнее - никогда не были составлены в письменном виде. Предоставляю будущим исследователям из Академии Наук реконструировать эти ключевые ситуации методом ли академика Н.Я.Марра или методом неакадемиков М.С.Бернштама и В.Е.Борисова, блестяще применивших методы Марра для реконструкции авторского коллектива "Тихого Дона" и "Поднятой целины".

Но эти весомые, хотя и заурядные трудности - не главная помеха в написании воспоминаний. Главную трудность сформулировал тот же Пушкин (в возрасте двадцати шести лет):

"Писать свои Memoirs заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать - можно; быть искренним - невозможность физическая."

Не расковывая пушкинской формулы, и проиллюстрирую ее на одном довольно специфическом примере. Я имею в виду сексуальные переживания. Я отнюдь не полагаю "неприличным" затрагивать эту тематику. Она необъятно важна, я хотел бы писать о ней, разобраться в ней. Но не умею. Слов не хватает. Поясню на крохотном примере. Часть людей, по крайней мере в литературе (письменной, устной и граффити), сводит свои сексуальные переживания к "переспать". Более грамотные сексологи отмечают, что сексуальные - точнее, эротические, ибо полового созревания еще нет - переживания начинаются задолго до фактического или мечтательного совокупления, что даже территориально эрогенные зоны у человека не связаны непосредственно с гениталиями, а имеется оральная эрогенная зона, есть анальная эрогенная зона и лишь последнею развивается генитальная эрогенная зона. Это уже дает что-то, слова появились, хотя такие неуклюжие, наукообразные, что АДЕКВАТНО ими ни одно эротическое (и т.п. напряженно-волнующее) переживание не опишешь. Но вот ведь казус. Известно, что довольно часто мужчина в ходе эротического диалога засовывает руку за лифчик и "тискает титьки". Ну, у женщины там наличествует "генитальная эротическая зона", так что понятно, зачем ЕЙ такие прикосновения нужны, почему ОНА их допускает - когда допускает - и даже поощряет - если поощряет. Но неужели же хоть один научно мыслящий сексолог или просто анализирующий человек вообразит, будто бы МУЖЧИНА всовывает руку под лифчик ДЛЯ ТОГО, чтобы

доставить женщине приятные эротические переживания? Вообразит, будто мужчина такой альтруист?! Нет, мужик лезет охальничать из своих свински-эгоистических побуждений, потому что это ЕМУ ПРИЯТНО.

Удовольствие кончиками ли пальцев проводить по грудям, вдавливаться ли ложбинкой ладони, постукивать ли тыльной ее стороной... Это - тоже эротические эмоции мужчин. Значит, "эрогенная зона" у него располагается в подушечках пальцев рук, а не только в окрестностях губ, анального отверстия да в причинном месте. На как же ТЕРМИНОЛОГИЯ разработана для изображения этих переживаний? Для локализации их? Для передачи интенсивности? Окраски? Звучания? Любовь - ощущение осязательное, а в русском языке самые пренебрежимые и расплывчатые суть эпитеты, до тактильных восприятий относящиеся. Ну, "томление" да "нега", да еще разве что "зуд"... Пабло Неруда воспевал вот щекочущее блаженство, возбуждаемое в нем сперматозоидом, рвавшимся по его мочеточнику прочь из него. Не знаю, как оно по-испански, не удосужился прочесть, а в русском переводе мне его описание чем-то противно, хотя узнаваемо. Но узнаваемо примерно так, как во фразе: "Шерстяной комок, маша пятью конечностями, переместился на плоскость, расположенную на высоте 84 сантиметров" - узнаешь: "Кошка вспрыгнула на письменный стол". Ради того, чтобы не вставлять "пять шерстяных конечностей" и ради того, чтобы мне не претило написанное мною самим, я постараюсь по мере сил избегать эротические волнения в своих мемуарах, хотя полностью этого достичь невозможно без лицемерия - слишком внушительное место в жизни занимают сексуальные события. Возможно, за оставшиеся мне годы жизни я найду слова, обрету язык, создам письменность этой темы. Тогда - напишу. А до решения этой, чисто внутрилитературной, задачи я стану разрабатывать сексуальные темы только тогда, когда это будет совершенно неизбежно по ходу повествования.

По одним сведениям, человек был вылеплен из грязи, в которую Бог вдохнул свое дыхание. По другим, человек возник из обезьяны, научившейся стыдиться. Но все серьезные люди признают, что человек не сводится к своему духу, интеллекту, к своему Высокому и Вечному. В человеке не меньше половины дерьма и животных страстей. Христианство учит, как ПРЕОДОЛЕВАТЬ эту животную половину, устремляясь душой к небесному. Материализм ДЕДУЦИРУЕТ самые духовные устремления из естественной необходимости и этологических закономерностей. Теософия учит обнаруживать, как исполнение животных страстей - "жизнь астрального тела" - энигматически и ясновидчески НЕОБХОДИМА для расширения морального пространства, в котором растут дух и саморазвитие Человека. Есть много базисных воззрений на соотнесенность Добра и Зла. Я, скорее всего, гностик: я живу и знаю, что мир иррационален, алогичен, хаотичен и покорен только одному закону - закону случайности и бессмысленности. Добро из него не вытекает, Добро им не управляет, не воздает Верховное Добро за праведность и разумность никому и ничему. Разума в мире нет. Но я знаю также, что Разум, Логос, ЕСТЬ и во мне и в еще чьих-то душах. И знаю, что мы обязаны нести этот факел света сквозь тьму и ветры и завывания хищных зверей. Мы отнюдь не идеальные и не чистые носители света. Но мы должны. И как бы ни были мы измараны в дерьме, и какие бы плотоядные звери ни жили внутри нас самих, мы должны не выпускать факела из своей руки. И только там, где мы осветим мрак бессмысленного бытия - будет Разум и Смысл и победа Добра.

И пусть мне повезет - пусть кто-нибудь зажжет свой факел о мой, до того, как мой угаснет.

Р.И.Пименов. Воркута, 1958 г.

Глава I

ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

§1. Три основания моего ареста

Доклад Хрущева, изданный нами; показания Ефима Рохлина; революция в Венгрии в 1956; моя переписка с депутатами; Борис Вайль, Владимир Вишняков, Кобе Кобидзе и Костя Данилов; стихи Ольги Берггольц 1940 года

В марте 1957 года[1] я был арестован по обвинению в преступной деятельности, предусмотренной статьями 58 (10-11) УК РСФСР; в ныне действующем кодексе это ст.70 и 72 с некоторыми разночтениями[2]. Юридические основания, приведшие к моему аресту, и деятельность, послужившую основой для этого ареста, можно разбить на три группы. В этом параграфе я буду говорить исключительно о юридической стороне; мотивы и подробности излагаются далее.

Первое. Еще в марте 1956 года мы перепечатали - раздобыли разными путями и отпечатали на машинке в большом числе экземпляров - доклад Н.С.Хрущева на XX съезде о культе личности Сталина, речь идет о докладе на закрытом заседании съезда, текст см. в §12 гл.4. Мы снабдили текст моим послесловием, называвшимся "ПО ПОВОДУ РЕЧИ ХРУЩЕВА", и примечаниями к тексту - подстрочными. Я не главный автор этих примечаний. Если мне в них что и принадлежит, то это - инициатива их составления, безотлагательность их написания и связанное с этим некоторое ухудшение их научности, а также придание им полемической заостренности и местами безответственности суждений. Поскольку примечания нам не инкриминировались, а сам автор примечаний согласен, чтобы я назвал его имя, да оно и называлось им в процессе следствия - автором их был мой друг Эрнст Семенович Орловский. Отпечатанный текст - примерно 30 страниц - мы продавали потом по "себестоимости", т.е. из расчета, сколько стоит перепечатка на

---

[1] Библиографическое примечание. Текст этой главы типографски издавался трижды. В 1973 году в серии "Большое слово" были опубликованы §10 и §18, набранные с неизвестного мне машинописного экземпляра, по-видимому, восходившего к полному варианту. В 1978-1979 году в альманахе "Память" №№ 2-3, были опубликованы §§1-17, набранные с укороченного варианта. А именно, в 1971 году Маргарита Климова добыла полный текст у Иксов, с него Андрей Тиме, предавший позже Климову, тогда же снял укороченную копию, а потом трудами ряда Игреков копия этой копии попала в "Память". Не позднее 1977 года органами была отпечатана с грифами секретности эта глава с полного машинописного текста. Гонорар автору ни разу не был уплачен, корректур делать не давали. Учесть хождение машинописных копий невозможно: много их ходило, по протоколам обысков судя. Ни разу никому не инкриминировалось.

[2] Читатель может поморщиться на претенциозность эпитета "политический". Сидели мы с Юрой Гастевым в московском кафе, последний раз перед его эмиграцией. И, подвыпив, стал он меня заводить: "Что это ты назвал свои мемуары “ПОЛИТИЧЕСКИЙ процесс”! Разве это политика? Курам насмех! Что вы ПОЛИТИЧЕСКОГО сделали?!" - "Верно, - отвечаю я. - Смешно мою деятельность в 56-м назвать "политической". Но вот едим мы с тобой, - и указываю на непрожаренную позавчерашнюю курицу без сациви, - вот это. И называем "цыпленок-табака". А ведь мы с тобой разбираемся в грузинской кухне! Но - так называется здесь. Назови иначе - официантка нас не поймет..." Так что уж я не стану менять названия, пока критерии ПОЛИТИЧЕСКИ значимого в стране не изменятся.

машинке. Кстати, этот принцип - продажа самиздатных произведений по стоимости перепечатки - и в последующие времена казался мне реалистичным и весьма правильным.

Так вот, первый провал относился к маю 1956 года. На праздники к нам в Ленинград приезжал мой старый приятель Фимка (Ефим) Рохлин, который работал в Медвежьегорске (по распределению). Он застал нас в разгаре работы по перепечатке. Купил у нас экземпляр. Напоминаю, что потом он выражал свое неудовольствие, граничащее с возмущением (не мне, а Володе Фролову), на предмет моей коммерческой жилки, что я потребовал с него 10 рублей (в нынешних деньгах - один рубль) за этот экземпляр. Вспоминаю еще одного тогдашнего знакомого (Юру Волкова), который в шестидесятые годы не раз поминал с ехидством, что ЭТОТ экземпляр принадлежит ему лично, ибо он за него денежки платил. Кстати, этот последний экземпляр остался неразысканным органами, и, как я понял после освобождения, с него за время моего заключения делались копии, которые сейчас где-то гуляют. Впрочем, это не единственный экземпляр, уцелевший от органов. Вернемся к Рохлину. Свой экземпляр он увез к себе. Там, в Медвежьегорске (Карело-Финская АССР), он разумеется, давал его читать то тому, то иному. Сослуживец дал сослуживцу, тот дал начальнику, а начальник, прочтя - в Комитет госбезопасности[3]. Насколько мне известно, этот экземпляр в непродолжительное время лег на стол к одному из членов Карело-Финского ЦК. Надо уточнить только, что он был без моего послесловия (кажется, его мы не успели допечатать до отъезда Рохлина; он-то прочитал послесловие в оригинале, а я обещал ему прислать с оказией недостающий "хвост"), но с примечаниями, расположенными подстрочно. Говорят, чекист весьма похвально высказался о примечаниях.

Сразу же Рохлин позвонил мне. Точнее, не мне, а Фролову. Некоторые считают, будто в таких случаях ни в коем случае нельзя прибегать к помощи телефона. Я не разделял этой точки зрения. Надо различать два вида телефонных сообщений в случае провала. Если бы он позвонил мне, говоря: "Тот текст, который я брал у тебя, у меня изъяли в КГБ", то это было бы чистой воды идиотством. Но если бы он вообще не известил меня о провале, это было бы глупостью. Он лишил бы меня той информации, которой ГБ уже обладало. Сведения о провалах, арестах, обысках надо сообщать сразу, молниеносно. Он это и сделал. Он позвонил Володе, рассказал второпях, приемлемых для ГБ, что у него, Фимки, забрали, да, одну очень интересную бумагу, которую он купил в Ленинграде у случайного встречного у Дома Книги; что теперь это грозит ему вызовом в ГБ; что он очень беспокоится и просит почаще поддерживать с ним связь - как бы не стряслось чего плохого с ним. Как видите, задача передать информацию была решена им прямо-таки гениально. Такой разговор не давал ни малейших оснований даже самому подозрительному сыщику заподозрить собеседника Рохлина, а и тем менее - меня. В самом деле, человек, которому грозит неприятность со стороны ГБ, делится опасениями со своим старым приятелем, который, как явствует из телефонного разговора,

[3] Боюсь, не подвела бы меня память. Мне-то помнится так, но кое-кто утверждает (из вторых рук), будто Фимку заложили сразу в поезде Ленинград - Медвежьегороск, в котором он-де разложился читать текст в открытую. Сомневаюсь.

вообще-то впервые слышит о каких-то там бумагах. Приятель же этот в тот же день позвонил моей жене Ире Вербловской, сказал, что давно не виделся с нею и хотел бы поболтать за жизнь. В тот день он звонил еще по десяткам разных номеров, ей звонил не первой, да и начала разговор по телефону его жена Ира Тимезенко, а он подключился попозже. Встретившись, он информировал ее о случившемся и договорился о встрече со мною в ближайшие дни. Неподалеку от моего института (я тогда работал ассистентом в Технологическом институте пищевой промышленности; он помещался у Дома культуры им.Капранова на тогдашнем проспекте Сталина - он же Забалканский, Международный, Интернациональный, Московский проспект - а позже, уже после моего ареста, был переведен из Ленинграда в Воронеж) вечерком мы с ним встретились. Из-за этого пришлось скомкать мой день рождения (16 мая), большинству гостей я отменил приглашение, рано закончил празднование к изумлению моей матери. Он полностью пересказал мне содержание звонка Фимки, и мы с ним обсудили, какие меры следует принять.

Позднее мне стало известно, что в это время - с апреля по ноябрь 1956 года - действовал какой-то Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, чтобы не привлекать к ответственности по ст.58 (10). Точнее, мне рассказывали об этом указе обычно осведомленные люди, а текста его я не читал. Стало быть, наши страхи были в известном смысле напрасными: арест нам не мог грозить. Но поскольку указ сам никогда не был опубликован, страхи наши были по крайней мере обоснованными. Как бы там ни было, мы (я и Ира Вербловская) убрали все экземпляры речи Хрущева из дому - тогда мы жили уже в ее комнате на Мичуринской улице, что подле мечети, - приостановили размножение их, сменили пишущую машинку в доме (для напечатания речи я специально брал машинку, на которой не печатал ничего другого) и собрали ряд бумаг, которые, по моему мнению, не следовало показывать посторонним глазам, в чемодан (бумаги были, главным образом, с той квартиры, где я жил с матерью и был прописан - на Серпуховской улице, что у Технологического). Чемодан же мы отнесли одной знакомой Иры - Доре (Долли, Длойре) Ильиничне Левиной; это мать Жени Грузова. Она в свое время, в начале тридцатых годов, попадала на непродолжительное время в тюрьмы ОГПУ и на допросы к подчиненным Ягоды[4]. Тамошние впечатления оказались столь сильны, что она была готова помочь любому человеку, который боролся с ГБ или с которым боролась ГБ. Она очень остроумно запрятала экземпляры речи Хрущева (теперь я понимаю, что ей помог ее прошлый тюремный опыт), в чемодан, не содержащий, с моей точки зрения, особо криминального, поставила в комнате.

Это - первый раз, когда они напали на след нашей деятельности. Тогда все происшедшее осталось без последствий.

---

[4] О существе допросов см.: М.Булгаков "Мастер и Маргарита", гл.15 "Сон Никанора Ивановича". Мастерство Булгакова в этой главе, фотографически точно описывающей процедуру отнятия золота у населения и одновременно поданной как "сновидение" ("... ничего с ними не случилось да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье /следователя/, и самого театра /тюрьмы/...”), так что вроде бы и оснований придраться к автору нет, меня восхищает, сколько бы раз я не перечитывал.

Позже они и это припомнили: за два месяца до ареста - 20 января 1957 года - этот экземпляр был приобщен к моему следственному делу.

Следует добавить, пожалуй, что когда Рохлина вызвали в Карельское ГБ, то он дал там показания (впрочем, юридически, наверное, его рассказ там нельзя считать ПОКАЗАНИЕМ и заданные ему вопросы - ДОПРОСОМ: ведь дело не было возбуждено; именно поэтому, как я понимаю, позже ему его ложь не инкриминировалась как лжесвидетельство) в стиле своего телефонного звонка: купил у неизвестного у Дома Книги. Неизвестный - высокого роста, в зеленой шляпе. Других примет не помнит. Его отпустили с миром, и даже по службе никаких неприятностей у него не возникло.

Любопытная подробность, которая годилась бы в мелодраму. Впрочем, автора упрекнули бы в натяжке, подгонке случайностей. В то же время, весной 1956 года один мой университетский приятель, сокурсник, Юра Волков тоже ненароком помог ГБ. Случилось это так. Вскоре после XX съезда мы с ним много беседовали на политические темы. На него произвела впечатление цельность, убежденность и страстность моей позиции, которую вкратце (подробнее я говорю об этом в §2, а также в гл.4, §§1 и 11) можно описать как полное недоверие тогдашнему ЦК, состоявшему из выучеников Сталина; я требовал, чтобы народу была возвращена власть в своей стране, отнятая у него Сталиным и его приспешниками. Волков не соглашался со мной ни в критических загибах, ни в позитивных требованиях, но относился к моему мнению с интересом; обычно мы беседовали втроем с еще одним рабочим, Николаем Мамонтовым, весьма интеллигентным. Жена Волкова Зина однажды пригласила на чашку чаю и рюмку водки к себе свою сослуживицу (обе работали в школе). Та пришла с мужем. Волков, когда разговор за столом коснулся Сталина (а кто весной 1956 года не говорил о нем?), рассказал, что у него есть интересный приятель - Револьт Пименов - который думает то-то и то-то. Собеседник же его оказался - не отрекомендовавшись в том - капитаном госбезопасности Юрой Меньшаковым[5]. Об этой беседе он сам напомнил Волкову, когда уже в форме ГБ приехал делать обыск в доме Волкова примерно через год (обыск был напрасным, ибо у Волкова ничего найдено не было). Меньшаков и мне похвалялся: "Мы о Вас знали еще в мае 1956-го от Ваших же приятелей. Например, от Волкова". Разговор этот также остался без последствий, если не считать того, что Меньшаков поставил себе "галочку": есть-де такой "интересный человек". Вообще позже выяснилось, что, не подозревая того, я был знаком и с другими штатными сотрудниками ГБ. Например, со старшим лейтенантом Валерием Александровичем Кривошеиным мы вместе были на одной комсомольской стройке, куда выезжал году в 1950-1951-м наш университет. Он также входил в следственную группу по моему делу и поведал, что обратил на меня внимание именно тогда. Каюсь, я его там и не заметил, хотя он высокого роста - и он позднее подписывал обвинительное заключение (§17).

Второе. Венгрия. "Венгрия" - это слово стало как бы условным кодом, кратким названием целой серии событий. Я не собираюсь

[5] Позже Меньшаков дослужился в ленинградском Большом Доме до высших чинов, но умер, не доживши до 50 лет. Если верить капитану Баланеву, то Меньшаков высоко ценил мои мемуары и отмечал, что все написанное в них - правда.

здесь излагать события тех дней и тем более не пытаюсь "правильно" их оценить. Ведь для понимания последующего важно, существенна в моей судьбе не та или иная "правильная" оценка этих событий, даже не то, что случилось "на самом деле", а мое ТОГДАШНЕЕ ВОСПРИЯТИЕ этих событий, комплекс тех сведений, которые мне были известны ТОГДА, а не потом. Я хочу воспроизвести свои мысли того периода, даже если не разделяю сейчас их и даже если факты были иными, чем мне они представлялись осенью-зимой 1956 года.

20 октября 1956 года в Польше произошли некоторые события, которые можно было назвать революцией, которые сами поляки назвали "Наш Назъдерник" (Октябрь) и которые состояли в том, что сменилось польское правительство (у власти по требованию снизу стал Гомулка, посаженный еще в 1949 году, но в отличие от Райка, Костова, Сланского и Дзодзе не расстрелянный), после чего советские танки, уже двигавшиеся к Варшаве, остановились в результате ряда демаршей, предпринятых этим правительством[6]. Вскоре после этого в Польше резко снизилась общественная жизнь и прекратились преследования за критику правительства.

23 октября в Будапеште состоялась трехсоттысячная демонстрация перед зданием Парламента. Эта демонстрация происходила под впечатлением польских событий. Лозунги ее были довольно невинны: все - за социализм. Насколько они были невинны, видно хотя бы из того, что все главные 10 пунктов требований вошли через некоторое время в программу правительства Яноша Кадара[7]. В частности, я помню, что один из лозунгов касался системы школьных оценок. В Венгрии сложилась традиционная национальная система отметок, отличная от русской. Не помню, то ли она была 12-балльной, то ли там единица означала высший балл, двойка - уже хуже, а пятерка соответствовала нашей двойке. Как бы то ни было, году в 1949 эту национальную систему отметок всюду в обязательном порядке заменили нашей пятибальной. Так вот, демонстранты-студенты требовали возврата к национальной системе отметок. Но тогдашний генеральный секретарь венгерской компартии (официально - Венгерской Партии Трудящихся, ВПТ) Эрне Гере и в этом провидел происки американской разведки и потаенное желание реставрации капитализма; он был проницательными

---

[6] К этому месту Н.Горбаневская в "Памяти" (с.166) сделала примечание, уличающее меня в неточности: "20 октября не менялось правительство": это был второй, предпоследний день VIII пленума ЦК ПОРП. Рано утром этого дня Варшаву покинули неожиданно перед тем приехавшие Хрущев, Каганович, Молотов, Микоян. 20 октября Гомулка, еще не избранный в Политбюро, выступал на пленуме с речью, позднее переданной по радио всему народу..." Но как раз поспешный отъезд советских начальников и снятие Рокоссовского с поста польского военного министра, наряду с выступлением Гомулки, это и есть "смена правительства", хотя изменения в Совете Министров оформлены позднее! Это вроде того, как Берию арестовали 26 июля, а Указ о снятии Берии Ворошилов подписал только 9 августа - какой педант станет бурчать, будто Берию сняли в августе?! Уж если Наталье Горбаневской хочется точности, то она могла бы на с.160 не называть "главами" то, что на с.161 зовется "параграфами".

[7] И тут Горбаневская жаждет научить меня, "как было на самом деле", принимая за эталон действительно хорошую, но тоже одностороннюю книгу Тибора Мерана "13 дней". Но ведь коли Меран о чем-то не написал, не значит же это, будто этого и не было вовсе!

человеком, как и многие его сослуживцы. Он обозвал демонстрацию "фашистской чернью". В ответ Будапешт покрылся баррикадами, раздались требования отставки Гере. В отличие от Варшавы советские войска находились в самом Будапеште. По приглашению Гере они выступали "на подавление фашистского мятежа". Кстати, среди советских военнослужащих в Ленинграде распространялись единообразные слухи, якобы "контрреволюция" в Венгрии началась с массовой резни советских солдат ночью. Я специально проверял тогда же эти слухи и не нашел никаких подтверждающих фактов. Разумеется, рядовые солдаты Советской Армии МОГЛИ воспринимать события как фашистский мятеж: для них восстание могло выглядеть продолжением полугодового штурма Будапешта в 1944-1945 годов, когда нилашисты, арестовав Хорти, до последнего человека отстаивали город от Красной Армии. Ведь в годы войны Венгрия была противником СССР, причем особенно сильно сопротивлявшимся на последнем этапе, под властью фашиста Салаши. Когда советские войска вмешались, венгерская армия и полиция выступили в поддержку демонстрантов (а кое-где сохраняли нейтралитет, отказываясь подчиняться требованиям правительства, но и не выступая против него). Не было частей венгерской армии, которые бы выступили против восставших. На стороне правительства Гере - Хегедюша, не считая советских войск, были только войска госбезопасности, которые - надо отдать им должное - отчаянно дрались и не сдавались даже того, когда ПРАВИТЕЛЬСТВО отдало им приказ о сдаче. Сил же, чтобы оборонять другие "узловые пункты" вроде радио, вокзалов, и т.п., у правительства Гере - Хегедюша не было. Советских войск в городе было мало.

В советских газетах 24 октября были опубликованы сообщения "о провале антинародной авантюры в Будапеште". За два дня до того в "Правде" была помещена статья о польских националистах, об угрозе завоеваниям социализма в Польше и т.п. Статья была за подписью "нашего собственного корреспондента" и называлась "Антисоциалистические высказывания на страницах польской печати". В ответ на это я послал в "Правду" письмо, названное "антидемократические высказывания на страницах советской печати", где в очень возвышенных, патетических тонах заявлял примерно следующее (копии у меня не сохранилось, но это письмо приобщено к моему следственному делу, которое должны "хранить вечно"; оно мне не инкриминировалось): Ленин был за полную свободу, Ленин полемизировал без угроз танками и штыками, Ленин был за право наций на самоопределение. Поэтому я возмущаюсь писаниями "гражданина собственного корреспондента" и тем, что в "Правде" помещена статья, явно угрожающая польскому народу, если он не будет поступать так-то и так-то. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что большая статья, примерно на четверть листа, в "Правде" за подписью "собственный корреспондент" является редакционной, и речь выражает мнение ЦК (причем по каким-то причинам ЦК не желает официально выразить это мнение). Следовательно, я сознавал, что выступаю против ЦК и советского правительства в этом вопросе. Но выступал я, противопоставляя заявления Ленина нынешней, неверной, по моему мнению, практике правительства. Но явно я говорил не о правительстве и ЦК, а лишь о "гражданине собственном корреспонденте", которого всячески

изничтожил в письме. Копию я направил в "Комсомольскую правду" и журнал "Вопросы истории". 7 декабря "Правда", а 26 декабря "Комсомольская правда" переслала эти письма в КГБ. Журнал "Вопросы истории" вернул мне его с выражением "благодарности за сообщение своего мнения по данному вопросу" (на типографском бланке).

Не помню точно, на какой день после событий в Венгрии премьер-министр Хегедюш и генсек Гере подали в отставку и эти посты заняли соответственно Имре Надь и Янош Кадар. Юридически это было оформлено как решение ЦК и Президиума Государственного Собрания (парламента). Имре Надь, подобно Гомулке, в тот момент являлся воплощением народных требований. Надь, будучи в июне 1953 года назначен премьер-министром, он провел целый ряд мер, облегчивших народу жизнь, и в 1955 году был исключен из партии (генсеком все время до XX съезда оставался Матиас Ракоши). Восстановлен Имре Надь был только в октябре 1956 года, когда политическая жизнь активизировалась (клуб имени Петефи, похороны реабилитированного праха Райка и др.). С его именем связывали надежду на подлинную демократизацию общественной жизни, на построение настоящего, не ракошиевского социализма и - многие - на достижение национальной самостоятельности Венгрией. Так вот, "с корабля на бал", числа 24-25-го Имре Надь стал премьер-министром. Советские газеты каждый день уведомляли о "полном крахе контрреволюции", впрочем, иногда проговариваясь, что правительство предоставляет восставшим одну за другой отсрочки для "окончательной капитуляции". Парой недель позже я выяснил, что в это время силы повстанцев росли и росли, а Янош Кадар в эти дни публично выступил с речью, в которой указал на лояльность, законность требований повстанцев. Тогда я этого не знал. Дело в том, что по принципиальным соображениям я в то время не слушал иностранного радио (да его и глушили), а все свои сведения черпал исключительно из газет стран социалистического лагеря - польских, югославских и (в меньшей степени за трудностью языка) венгерских, а также из анализа советской прессы. Попутно замечу, что внимательный анализ советской прессы позволял почти всегда составить совершенно правильное представление о событиях, как бы на первый взгляд ни казалось противоположное.

Числа 28-29-го[8], не помню точно, но скорее 28-го, я разослал ряд писем депутатам Верховного Совета СССР примерно следующего содержания (копии у меня не сохранились, но в следственном деле копий много):

Уважаемый товарищ депутат такой-то! До сих пор в нашей печати правительство, опирающееся на иностранные штыки, называлось марионеточным правительством, а сами эти иностранные штыки назывались штыками интервентов. Сейчас в Венгрии правительство опирается на советские штыки, как видно даже из советских сообщений, советская армия там ведет войну против части венгерского народа. Для того, чтобы у советского народа и иностранцев не сложилось мнения, будто венгерское правительство

[8] Ире помнится, что какие-то конверты опускались в день похорон Лоры Ильиничны - 30 октября, но мне помнится, что начал я отправлять их за день-два до временного вывода советских войск из Будапешта, состоявшегося как раз 30 октября.

является марионеточным, а Советский Союз интервентом, с целью сохранения престижа Советского Союза, я прошу Вас на ближайшей же сессии Верховного Совета потребовать от Советского правительства вывода советских войск из Венгрии. Кроме того, я прошу Вас потребовать принятия закона, согласно которому в дальнейшем такое использование советских войск за границей не допускалось бы без специальной санкции Верховного Совета либо Президиума Верховного Совета.

Следовала моя полная подпись и адрес. Не помню, к сожалению, полного списка адресатов, кому я направил это послание; адреса были взяты из разного рода справочников. Тут мне помогла энциклопедичность уже упоминавшегося Орловского: у него нашелся и список всех депутатов Верховного Совета, и справочники, по которым можно было установить адреса многих из них. Разумеется, я не рассылал самолично всех писем - меня бы на это не хватило. Мне помогли и напечатать написанный мною текст, и надписать адреса, и опустить конверты в ящики (в последнем, в частности, помогла Эврика Зубер-Яникун; в быту ее называли Ирой, как и мою жену). Но оригинал был написан самолично и полностью мною, и на каждом послании я собственноручно расписался. Учитывая вскрывшуюся позднее недобросовестность некоторых лиц, я не уверен, что ВСЕ те письма, которые были вручены моим помощникам, попали в почтовый ящик, а не в печку. Но часть писем все же дошла до адресатов, как видно из того, что в следственном деле имеются собственноручные заявления в ГБ о "препровождении нижеподписавшимся в органы полученного нижеподписавшимся письма антисоветского содержания"; такие письма направили 10 декабря 1956 года академики Палладин, Пишюн, Мускелишвили; между 11 и 19 декабря - писатель Бажан, а 21 декабря - академик Курчатов. В обвинительном заключении мне инкриминировалось это письмо, но суд не признал его преступным, и в приговоре оно мне не инкриминировалось. Уточню, пожалуй, что собственноручные заявления и видел лишь первых четырех, а Курчатов поручил какому-то администратору препроводить это письмо, что тот и сделал со ссылкой на указание академика Курчатова.

Эренбург получил мое письмо и никуда не пересылал. Единственно, кто мне ответил, был академик Бакулев. Он писал:

"Гражданину Пименову Р.И.

Все разъяснения по интересующему Вас вопросу Вы можете найти в письме Председателя Совета Министров СССР Н.А.Булганина Эйзенхауэру, опубликованное в газете "Правда" такого-то числа ноября месяца. Прошу подтвердить получение моего письма."

Никаких формул вежливости и даже обращения не было. Письмо было датировано, кажется, ноябрем (я его цитирую по памяти; оригинал - в следственном деле, а копия - в канцелярии Президиума Верховного Совета), но получил я его чуть ли не в конце декабря или начале января, ибо адрес я указал тот, где я прописан, Серпуховская, 2, у Загородного, тогда как фактически жил у своей жены на Петроградской стороне, уже на улице Теряева (ныне - улица травителя Булгакова и "пилатчины" Вс.Вишневского), недалеко от

Карповки, и за эти бурные месяцы мне было некогда заглянуть "домой". Последний абзац его письма я понял так: Бакулев думает одно из двух: либо, что это письмо - анонимка, что такого человека быть не может, разве что сумасшедший; или же он желает проверить, не арестован ли отправитель. Именно поэтому я так досадовал, что вышла задержка с его получением. Немедленно я написал ему нечто в следующем роде:

"Уважаемый товарищ Бакулев!

Извините, что задержался с ответом. Ваше письмо я получил и им не удовлетворен. События в Венгрии могут иметь такое же роковое значение, как поведение СССР по отношению к Югославии в 1949. Я крайне удручен тем, что депутаты Верховного Совета сейчас, как и тогда, ограничиваются тем, что повторяют слова Председателя Совета Министров, тогда как по Конституции должно быть вообще наоборот - он должен выслушать их мнение и следовать их воле. Прошу Вас принять меры к опубликованию нашей с Вами переписки.

С уважением - подпись."

На это я получил ответ - снова в безличной форме.

"Нашу с Вами переписку я направил в Президиум Верховного Совета СССР. Бакулев."

Как только КГБ получил письма депутатов[9] и т.п. "голос народа", в частности, бумагу на ОК ЦК КПСС от 28 декабря 1956 года, оно запросило ленинградский диспансер. Это первая бумажка, официально открывающая дело: не состою ли я на учете в диспансере. Ответ гласил: "Нет". Строго говоря, в деле нет самого запроса ГБ, а есть ответ:

"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что гражданин Пименов Револьт Иванович на учете в психдиспансере не состоит."

Наконец, третья группа обстоятельств, которая, в общем-то, уже решила мою судьбу. Это обстоятельства, связанные с Библиотечным институтом (ныне - Институт культуры; расположен на Марсовом Поле). В деле есть два формально независимых документа, начинающих дело с этой стороны. Первый из них:

"Мы, нижеподписавшиеся, работники ленинградского почтамта, такие-то <три человека>, составили настоящий акт о том, что в результате повреждения сортировочной машины 9 числа февраля месяца 1957 года был поврежден пакет с письмами за номером таким-то. В результате адреса на ряде конвертов пришли в негодность и невозможно было установить, кому они были адресованы. Поэтому для установления адресата по содержанию писем мы вскрыли те из них, которые либо не содержали обратного адреса, либо на которых он был поврежден. <Перечисляются письма.> Из этих писем мы сочли необходимым передать Комитету

[9] Переписка с Бакулевым не была Президиумом переслана в ГБ; она попала в следственное дело в результате обыска у меня.

госбезопасности прилагаемое письмо ввиду крайней антисоветскости его содержания. Подписи. Печать."

Речь идет о письме Бориса Вайля из Ленинграда Косте Данилову в Курск. Подробнее о Вайле и Данилове и их месте в нашей организации будет речь далее, а пока ограничусь сказанным, добавив, что Вайль был студентом первого курса Библиотечного института, с которым я интенсивно встречался, и что это письмо послужило юридической основой для выемки почтовой корреспонденции на курском почтамте на имя Данилова, что, в свою очередь, послужило основанием для ареста Данилова 24 марта и ареста Вайля 25 марта.

Второе: пространное заявление некоего Кобидзе от 20 марта 1957 года в ГБ (том дела III, лист дела I):

"Я, Кобидзе Кобе Петрович, проживающий там-то, считаю важным сообщить Комитету госбезопасности следующее. У меня есть приятель, Вишняков Владимир, студент Библиотечного института. Он неоднократно вел со мной разговоры на политические темы. Недавно он сказал, что даст мне почитать кое-что интересное. Пришел ко мне домой и оставил у меня пакет, который при мне он не разворачивал. Мы разговаривали на другие темы, а содержимое пакета он просил прочитать. Когда он ушел, я развернул пакет, прочел и увидел, что в нем содержатся исключительно антисоветские материалы и документы, поэтому я весь этот пакет передаю в госбезопасность с тем, чтобы вы приняли надлежащие меры."

Цитирую, разумеется, по памяти, отсылая за точным текстом к хранимым вечно архивам КГБ. Припоминаю, что в пакете были: "Правда о Венгрии" (см. §6), несколько стихов, в частности, Ольги Берггольц (1940):

Нет, не из книжек наших скудных -
Подобья нищенской сумы -
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.
Как мы любили сильно, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.
Как в духоте бессонных камер
И дни и ночи напролет,
Без слез, разбитыми губами,
Шептали: "Родина", "Народ".
И находили оправданье
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей.
О, дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В беззвездных топях Колымы?
А те, что вырвались случайно,

Осуждены еще страшней
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.
И бесполезно тайно плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.
И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшились мы тюрьмы -
И не было людей бесстрашней
И горделивее, чем мы!
За образ призрачный любимый,
За обманувшую навек -
Пески монгольские прошли мы
И падали на финский снег.
Но наши цепи и вериги
Она воспеть нам не дала.
И равнодушны наши книги,
И трижды лжива их хвала.
Но если скорчившись от боли,
Вы этот стих прочтете вдруг,
Как от костра в пустынном поле
Обугленный и мертвый круг.
Но если жгучего преданья
Дойдет до вас холодный дым, -
Ну, что ж! Встречайте нас молчаньем,
Как мы, встречая вас, молчим!

Это стихотворение сопровождалось моей припиской, лучше, чем что-либо иное, выражавшей нашу тогдашнюю "программу":

Мы не замкнемся в круг молчанья,
Развеем призрак давящей стены.
Пусть станет правдой, не мечтаньем,
Что мы - хозяева страны!

Заявление Кобидзе открывает дорогу длинным подробным показаниям Вишнякова от 23 марта, касающихся "антисоветской группы в Библиотечном институте, действующей под руководством Пименова и Вайля", и послуживших юридической основой для ареста меня и Бориса Вайля, произведенного одновременно между 22 и 23 часами 25 марта.

Таковы три группы фактов, приведших меня в тюрьму.

§2. О моих настроениях[10]

Мой фаталистический пессимизм присталинских лет, радость от XX съезда; Эрнст Орловский; моя историческая позиция; мое положение в мире математики; подготовка к аресту

К 1956 году я пришел человеком, давно переставшим верить и газетам, и тому, что преподавалось под названием марксизма, и советским историческим книгам и журналам, да и многому другому (см. §5 и гл.4). Любое официальное сообщение я всегда без сомнения рассматривал как ложь. У меня было убеждение, что после смерти Сталина (которого я понимал исключительно как злобного тирана) среди его приспешников начнется грызня за власть, в процессе которой они будут пожирать друг друга. Первое подтверждение этому я и усмотрел в "разоблачении" Берии как "агента англо-американского империализма" и "мусаватистского шпиона"[11]. Словом, я относился к реальной действительности резко скептически и одновременно - с фаталистическим пессимизмом. Моя вера в силу и незыблемость того, что окружало меня, без преувеличения, равнялась вере в действие закона всемирного притяжения.

Но вскоре после назначения премьер-министром Н.А.Булганина до меня стали доноситься отрадные вести. Во-первых (впрочем, началось это намного раньше), Югославию снова стали признавать социалистическим государством; "фашистская шайка Тито" снова стала рассматриваться как дружественное нам правительство[12]. Летом 1955 года была по инициативе Булганина устроена, как говорили, "выставка нашей технической отсталости", что после "приоритетоборческих" лет показалось мне признаком трезвости власти. Летом же 1955 года я услышал от ряда знакомых о многочисленных случаях реабилитации по политическим преступлениям. Эту реабилитацию я воспринимал как собственную реабилитацию и освобождение из кошмарного сталинского застенка. Летом же 1955 года я несколько часов разговаривал с ректором ЛГУ А.Д.Александровым. Вообще-то у меня с ним скверные политические отношения, о причинах речь пойдет в §§3-5, но эта беседа - единственная за всю жизнь - прошла в исключительной атмосфере дружелюбия и согласия. В частности, он поведал слушателям (присутствовал Илья Жакодьман), что "по органам ГБ и по

---

[10] Подробнее эта тема развивается на протяжении всей гл. 4.

[11] Помню фольклорную поэму 1953 года:

Лаврентий Палыч Берия
Не оправдал доверия -
Остался от Берия
Лишь только пух и перия.
Растет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча;
А для Клемент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча!

[12] Фольклор пел:

Дорогой товарищ Тито!
Ты ни в чем не виноват.
Так сказал Хрущев Никита -
Ты теперь нам друг и брат.

университетам дано указание не закрывать и не преследовать рукописных студенческих и школьных журналов". Разумно отозвался он об экономических трудностях страны, тогда как еще пару лет назад кричалось только о неудержимом росте нашей экономики. Учитывая, что - по моим наблюдениям - А.Д.Александров всегда точно выражал мнения сверху, я позволил себе, как вывод из разговора, надеяться на скорые перемены к лучшему.

Общее оживление конца 1955 года, ряд слухов, известий, более светлое и вольнолюбивое настроение - это живительно подействовало на меня. Не помню всего, но, в частности, ходивший тогда в рукописи "Теркин на том свете" Твардовского (рукописная редакция существенно отличалась от опубликованной несколько лет спустя)[13], прибавил мне бодрости и надежд. Литература пробуждалась, думал я. Исчезла атмосфера страха и принуждения, повеяло ветром доверия и свободы. Правительство, которое проявило готовность признать свои внешнеполитические ошибки (ликвидация конфликта с Югославией, признание ФРГ) и свои судебные ошибки (реабилитация), разрешившее студентам думать - такое правительство в моих глазах приобретало право на уважение и доверие.

Мне трудно передать чувство счастья, восторга, благодарности, которые охватили меня, когда донеслись первые слухи о докладе Хрущева на XX съезде (тогда он назывался в публике "письмом Хрущева" и "речью Хрущева"). И ему предшествовало радостно-возбуждающее выступление Микояна. Когда мне впервые (в начале марта 1956 года) Ира рассказала о "письме Хрущева" (пересказ был довольно вольный и мешался с сообщениями о реакции на это письмо казенных историков, которые срочно выпарывают-де из своих работ ссылки на Сталина), я прыгал, я плясал, я пел: "Партия - наш рулевой" на Университетской набережной. Помню мою тогдашнюю фразу: "Ну вот, теперь можно будет скоро и мне вступать в партию. Вот реабилитируют Троцкого - подам заявление кандидатом". Фраза эта характеризует и мое отношение к партии - я считал, что ОНА ДОЛЖНА ЗАВОЕВАТЬ МОЕ ДОВЕРИЕ, чтобы Я СОГЛАСИЛСЯ в нее вступить; и мое положительное тогда отношение к ней - мне казалось, что она уже много сделала, чтобы завоевать доверие, осталось совсем малое и такое логичное после осуждения Сталина: реабилитировать Троцкого (тем более, что в выслушанном мною пересказе сообщалось о письме в ЦК вдовы Троцкого с требованием реабилитировать мужа. Да и делегатам XX съезда были розданы письма Ленина, Крупской и др., выставляющие в благоприятном свете отношения Ленина с Троцким в последний период деятельности Ленина).

Во избежание недоразумения коснусь моего отношения к Троцкому. Я никогда не был сторонником его политической линии, нашедшей свое выражение в "оппозиционной платформе". Я считал, что если бы линия Троцкого победила, то коллективизация прошла бы с еще большими жертвами среди крестьян, и было бы установлено не шесть-семь миллионов кулаков[14], а миллионов

---

[13] "Теркин" попал ко мне через Иру Вербловскую, имевшую знакомых литераторов.

[14] Столько кулаков было в СССР к 1926 году по подсчетам советского историка: И.Я.Трифонов. "Очаги истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа", 1960, с.108. Ранее у того же автора говорится, что к 1913 году в России было 18 миллионов

шестьдесят-семьдесят. Ожидание немедленной мировой революции казалось мне бредовым. Но имя Троцкого для меня означало, во-первых, имя главного противника Сталина, которого я ненавидел, а во-вторых, было исторически неразрывно связано с Октябрьской Революцией, с Гражданской войной, с Красной Армией и строительством СССР. Восстановление имени и заслуг Троцкого в истории советского государства казалось мне долгом исторической добросовестности и залогом правдивости советских историков и политиков впредь. А жажда исторической правды в моей душе была неистребима. Даже в январе 1955 года я писал, например, в некоторые исторические журналы, требуя к пятидесятилетию Революции Пятого года сказать правду о деятельности попа Гапона.

Вообще надо сказать о моей любви к истории. Русская революция была для меня чем-то священным. Я, правда, понимал ее куда шире, нежели в "Кратком курсе". Для меня роль большевиков в русской революции не представлялась чем-то значительным, и уж во всяком случае - не ведущей. Я поименно знал всех хоть сколько-нибудь заметных революционеров, от Нечаева и Чайковского начиная. И, хотя мои симпатии в период 1953-1956 годов, бесспорно, были на стороне социалистов-революционеров (меня просто передергивало, когда их называли пренебрежительно "эсерами"), я старался придерживаться объективной исторической правды во всем и отдавать должное большевикам[15].

Кстати, забавный эпизод. С Эрнстом Орловским мы сблизились как раз "благодаря эсерам". Мы с ним слушали лекции А.А.Маркова по "Основаниям математики", когда я был на IV, а он на V курсе матмеха ЛГУ в 1952 году. Во время перерыва я с кем-то заговорил об одном политическом деятеле, имевшем касательство к математике, фамилию которого сейчас забыл. В частности, спросил его партийность, мне ответили - "эсер". Я записал на бумажку "с.-р.", как было принято в начале века; Эрнст через плечо смотрел, как я записываю, и произнес:

Э.С.Орловский. Ленинград, сентябрь 1957 г.

кулаков. Это из 150 млн населения!

[15] Вообще же мое историческое кредо очень близко позиции Сергея Спекторского ("Происхождение современной власти", 1974). Были люди - активно жили, стремились, терпели, боролись, искали, приспосабливались, верили, любили - кто я такой, чтобы СУДИТЬ их и поучать век спустя, как им следовало поступать? Но я живу в унаследованном от них мире и хочу разобраться, как он стал таким, а их активность и неустанность мне дороги.

- Первого человека вижу, который правильно записывает это сокращение. Все пишут "эсер", хотя это на две буквы длиннее и утрачивается смысл сокращения.

После этого мы с ним стали говорить об истории и скоро стали друзьями.

В конце 1954 года я написал драматическую трилогию "Желябов", "Дегаев, или разгром НАРОДНОЙ ВОЛИ", "Пока народ просыпается, или Жарийская трагедия", а в начале 1955 года - дилогию "Гапон" (первая часть "На гребне масс", вторая - "Запутался"). Трилогию мне вернули по окончании следствия, а "Гапона" вернуть отказались. В шутку я объясняю это тем, что, как пьеса, трилогия была написана куда слабее "Гапона", и ГБ себе оставило, что поинтереснее (именно СЕБЕ, ибо "Гапон" мне не инкриминировался ни обвинительным заключением, ни приговором). Идейно я предвосхищал в этих произведениях видение истории глазами Юрия Давыдова и Юрия Трифонова, хотя советская литература никогда не догнала меня в проблематике "Гапона". Впрочем, в некотором смысле Трифонов обогнал меня в своем "Старике". Но все это он и другие, помельче, сделали в шестидесятые-семидесятые...

В 1956 году несколько месяцев я работал над поэмой "Каляев", которую в конце концов сжег как неудавшуюся. Помню оттуда пару строф, которые и приведу для образца моего понимания Каляева:

Луна всходила сотни лет, всегда...
Взойдет, когда и ты умрешь...
Убьешь ты князя, не убьешь -
Снежинка, как и ты, растает без следа.
Пусть я растаю, как снежинка на ладони,
Пока я жив, я не могут смириться.
Я не могут безмолвно примириться,
Я не могу спокойно слышать стоны.
Пускай в противоречьях бьется разум!
Я не нуждаюсь в объясненьях - "почему?"
Я твердо верю долгу своему
И знаю - я убить обязан!

В октябре 1956 года я направил в "Новый мир" свою статью "Об историческом романе, посвященном нашему революционному движению", в которой доказывал, что наша литература страдает от отсутствия в ней произведений типа "Жирондисты" Лахартина, что "в Революции были не только Красное и Белое Знамена, но и Трехцветное, и Зеленое, и Черное, были и просто грязные". Процитирую по памяти один пассаж из этой статьи:

"Вот, в книге, изданной в 1954 году, автор пишет следующее. Молодой парень, красноармеец, днем только что зарубил первого в в жизни человека - деникинца. Ему как-то не по себе, и он делится своими неопределенными чувствами со старым, закаленным рабочим (главным положительным персонажем произведения). Тот отвечает:

- Что, разве ты человека убил? Какой это человек?! Кадюка[16], а не человек! И думать нечего, спи.[17]

Потрясают примитивность и бесчеловечность автора. Но еще страшнее становится, если подумать, что к этому наша литература ПРИШЛА, начав в двадцатые годы с книг вроде такой (издана в Москве, в 1924 году). Офицер ведет свой отряд, отряд, в котором его величают и "господин полковник", и "товарищ полковник", и "ваше благородие", и "товарищ командир", "на Москву". После стычки, в которой красные были разбиты и отряд пустился преследовать бегущих, полковник вкладывает шашку в ножны и осматривается. И видит: его ординарец настигает бегущего к кустам красноармейца, путающегося в полах длинной не по росту шинели. Вот-вот зарубит. Полковник подскакивает к ординарцу, перехватывает его руку, занесенную для удара:

- Стой, кого рубишь? Не видишь, что ли - свой, русский мужик!

Почему же за тридцать лет утратилось умение видеть даже и во враге - человека, своего, русского? Не потому ли, что за двадцать лет до того, как "полковник" написал свою повесть, ему пришлось пережить такой эпизод. Он руководил покушением на великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, дядю царя. И когда все было готово, вручив Каляеву бомбу, он ушел в садик напротив ждать результатов. Проезжает карета генерал-губернатора. Но взрыва нет. Приходит бледный Каляев и говорит:

- Я не мог. В карете были дети. Пусть Партия меня осудит - не могу детей.

И руководитель покушения - автор книги[18] - молча целует Каляева.

А за 20 лет до того, как современный автор написал свои строки о том, что кадеты не люди, был закон от 20 июля 1934 о том, что в случае побега или перелета за границу военнослужащего, не знавшие и не способствовавшие готовящейся измене совершеннолетние члены его семьи подлежат ссылке в отдаленные районы Сибири на пять лет...[19]

Ну, что же, писатели - дети своего времени...”

На эту мою статью Марьямов ответил мне пространным письмом-рецензией, по объему чуть ли не достигавшим объема статьи, а по направленности очень близким позднее опубликованному ответу редакции "Нового мира" Пастернаку, приславшему им "Доктора Живаго". Помню, в частности, Марьямова возмутил эпиграф (из Сукарно) к статье:

"Ни один человек не должен говорить, что он один прав, а другие ошибаются. Человек, который мыслит подобным образом, это человек высокомерный, себялюбивый, индивидуальный, склонный к крайностям, неспособный к терпимости, т.е. человек, непригодный для демократии. Такой человек в глубине души фашист".

---

[16] Кадюка - ругательно от "кадет" (пренебрежительно от "к.-д." - конституционный демократ).

[17] Это контаминация следующих страниц повести Г.Холопова "Грозный год" ("Ленинградский Альманах" 1954, с.5-211): с. 48, 163 и 169-170.

[18] Борис Савинков, литературный псевдоним В.Ропшин.

[19] Статья 58 (1-в) в УК РСФСР, издание 1956 года.

Вместе с рецензией Марьямов вернул статью. Потом я дал эту статью и рецензию моему отцу, который сжег их после моего ареста. Другой экземпляр был у знакомого Вербловской Юры Кроля, который также сжег его после моего ареста. Наконец, третий экземпляр, возвращенный журналом "Нева" и оставшийся у меня, изъяло ГБ. Хотя мне эту статью не инкриминировали, вернуть ее отказались и сожгли (вопреки моим протестам, см. §16 под датой 15 июня) "как ненужную". Больше экземпляров не было. Но копия письма Марьямова могла сохраниться в "Новом мире". Впрочем, из писем Орловского мне в 1958 году следует, что какой-то относившийся к этой переписке документ давался адвокату Райхману после моего ареста и, возможно, застрял в его бумагах.

Вроде бы я достаточно убедительно проиллюстрировал свои исторические интересы, и теперь нет никаких двоетолкований, в каком смысле я желал реабилитации Троцкого. Саму эту реабилитацию а рассматривал как шаг, за которым естественно должна следовать реабилитация Б.В.Савинкова. Я так и говорил на той же Университетской набережной: "А потом реабилитируют Савинкова, и я вступлю уже членом в партию."

Да, поистине, пятьдесят шестой год был годом конституционных чаяний!.. К законности рванулись наши руки...

Вскоре письмо Хрущева стали зачитывать там и сям на полуоткрытых собраниях кого угодно. Постановление ЦК о рассылке неопубликованного доклада Н.С.Хрущева, как известно, было принято в годовщину трехлетия смерти Сталина - 5 марта. Я, Ира, Эрнст, которые в ту пору были очень дружны, кинулись на эти собрания с бумагой и карандашами. Я был вооружен знанием стенографии; Эрнст, кажется, тоже. Прослушав несколько раз, мы были в состоянии воспроизвести его текст. Зачем нам надо было записывать его? Да требовала эта самая историческая добросовестность! Ведь мы чувствовали, что на наших глазах совершается история - как же можно было не фиксировать ее свершения документально!

Помню, Эрнст высказывался, что ему этот доклад дал очень мало новых ФАКТОВ - разве что информацию о том, что Орджоникидзе покончил с собой и что официальное сообщение о его смерти от разрыва сердца оказалось ложью. Да еще официальное признание наличия у нас пыток (телеграмма Сталина в 1939 году по областям о том, что ЦК с 1937 года разрешил пытки). Пожалуй, я был с ним согласен. Но самый факт сведения этих фактов вместе и осуждения их от имени партии - это был ФАКТ!

Впрочем, мы не расходились в оценке значимости этого документа. Помню, как мы потешались карикатуре в югославской газете "Политика", где был в небесах изображен Сталин, внизу - XX съезд, и Сталин кричал: "Пустите меня хоть на часок обратно!" Помню, как весело смеялись возникшему тогда анекдоту: В аду Данте осматривает самых главных грешников, которые в зависимости от вины глубже и мельче погрузились в пламя. Глядь, а Берия стоит всего по колено. - Почему так мелко, Лаврентий Палыч? - На плечах Иосифа Виссарионовича, - отвечает тот.

Тогда же через некоторых знакомых я получил возможность ознакомиться с печатным текстом доклада Хрущева. Меня

развлекали надписи на титуле, различающиеся на разных экземплярах: на одних было сказано, что он подлежит уничтожению через 6 месяцев, а на других - возврату, кажется, в первый отдел ЦК через три месяца. Это также помогло мне в работе по воссозданию текста, хотя я скрыл от Иры и от Эрнста свои дополнительные источники информации, а последнее затрудняло мне настаивать на правильном тексте, когда Эрнст и Ира объединились на ошибочном.

Естественно, что в силу коллегиальности воссоздания текста, мы, написав ту или иную фразу из речи Хрущева, начинали обсуждать ее значение, припоминали, что нам было известно на сей счет, сопоставляли одно с другим. Тут родились примечания, основной вклад в который внес Эрнст с его энциклопедизмом. Ира способствовала их редактированию в принятых историками терминах. Я вкладывал в них свой темперамент. Они оба объединялись против этого вклада. Споры тянулись заполночь. Примечания получили характер фактического комментария, не содержащего оценок. Факты были не тривиальные. Для иллюстрации приведу один. Хрущев сообщал, что в 1951 году Сталин считал Ворошилова английским шпионом и перестал пускать на заседания Политбюро и т.п. Мы доводили до сведения читателя, что именно в это время Ворошилов был награжден орденом Ленина. Выводов из этого столкновения двух фактов мы не делали, и я по сию пору колеблюсь, какой именно вывод был бы верным: 1) что Хрущев лгал; или 2) что вручением ордена усыплялась бдительность Ворошилова; или 3) вручением ордена подготавливалась контрастность для общественного мнения: ему так доверяли, а он, гад, шпион; или 4) вручение ордена шло независимо от Сталина и на нем настояли силы, не желавшие гибели Ворошилова, или что еще...[20]

Я употребил слово "читатель" и почувствовал, что допустил неточность. Сначала мы не предполагали, что займемся распространением текста (а Ира так всегда была против распространения). Он нужен был нам самим. Все, в том числе и примечания, предназначались для нас троих.

К середине апреля текст и примечания были закончены. Правильность воссозданного текста проверяла позже специальная экспертиза ГБ (сначала нам хотели вменить "искажения" доклада Первого секретаря), которая пришла к заключению, что текст не содержит существенных неточностей и отклонений от оригинала. Ни текст, ни его напечатание и распространение, ни примечания к нему не инкриминировались нам ни следствием, ни судом. Сам текст см. в §12 гл.4.

Радужное настроение мое продержалось до середины - конца апреля. Но тут газеты стали приносить обеспокаивающие вести - в дыхание весны ворвался зимний ветер. Я помню сейчас подвал "Правды" от 5 апреля против коллектива Теплотехнической лаборатории АН СССР, сотрудники которой[21] позволили себе сделать логические выводы из "письма Хрущева". Их грубо одернули. Прозвучали сакраментальные слова: "Политика партии всегда была правильной". Складывалось впечатление, что тогдашнее

[20] Сейчас, прочитав Лёбла, я думаю, что гипотезы 1) и 4) неверны. Слишком схожи обстоятельства последних дней перед арестом Сланского.

[21] Собственно, главная роль принадлежала Ю.Ф.Орлову, имя которого зазвучало снова в семидесятые годы.

правительство вовсе не думало повиниться перед народом и призвать народ себе на помощь в управлении, а хотело старыми методами вести по новому курсу. Это очень точно подметила карикатура югославской "Политики" того времени: к столбу привязан человек (подписано - "Ласло Райк"), в него шестеро метят из ружей, расстреливая; подпись - "ликвидация". Рядом урна с прахом Райка, те же шестеро так же в строю протягивают к урне те же ружья, замаскированные букетами цветов; подпись - "реабилитация". Я вдруг вспомнил все мои прежние сомнения, и доклад Хрущева предстал предо мной просто как акт фракционной грызни за власть, как кость, которую кинул претендент на трон, дабы обскакать соперников.

Мне, привычно переносившемуся в эпоху на полвека назад, память сразу подсказала сравнение. Когда ЦК ПСР выяснил, что в его состав входил провокатор Азеф, ЦК принял решение самораспуститься, провести выборы нового ЦК и постановил, что ни один член старого состава ЦК не имеет права быть избранным в новый состав как скомпрометированный. (Вот эта-то моральная чистота и привлекала меня всегда к с.-р., а вовсе не террор, как мог бы подумать человек ничего не слыхавший об "эсерах", кроме того, что они "с бомбами ходили". Впрочем, ни Вильгельм Телль, ни Шарлотта Корде, ни полковник Штауфенберг меня не отталкивают.) А сейчас, мыслил я, признано, что в составе ЦК был такой самодур как Сталин и шпион Берия (правда, о Берии уже переставали говорить как о шпионе, возложив с тех пор на него основную ответственность за беззакония ГБ). И что же? ЦК КПСС и не думает последовать примеру В.М.Чернова и других! Позор!

В таком настроении я проспорил со многими собеседниками (ибо тогда я мог разговаривать только об этом). По-видимому, в этом настроении застал меня Юра Волков, не согласившийся со мной, хотя охотно отрепродуцировавший помянутые карикатуры из "Политики" -"Борбы". Помню разговор с Юрием Кролем (дальним родственником жены В.М.Чернова, дочь которого как раз вернулась из лагеря-ссылки и проживала у Кролей), которому я бросил: "Значит, партия обанкротилась!" - на что он возразил: "Тогда обанкротилось самое святое, что было в моей жизни”[22]. Ведь мое восприятие речи Хрущева резко отличалось от большинства. Кроль, например, до 1953 года свято верил в Сталина. Моя жена Ира рыдала от горя в день смерти Сталина и рвалась в Москву на похороны, а Володя Фролов так на крышах вагонов добрался-таки до Москвы, пробился к тому и умилялся, какой хороший и простой старик лежит в гробу. Я же в тот день боялся выйти на улицу, дабы не заметили радости на моем лице. Для них речь Хрущева была полна новых фактов, чудовищных разоблачений. Она опрокидывала в их душах возведенный там ими же монумент Сталина. Для меня она было полуофициальным признанием того, ЧТО, работая над источниками, я сам установил ранее, и я лишь сверял: про что Хрущев сказал, о чем же умолчал. Я осознал, что не имею права сохранить свое понимание политического момента для себя одного и для своих случайных собеседников. Я должен был написать и объяснить всем,

[22] Когда я с ним беседовал после освобождения, он мне сказал, что не помнит этого разговора и что он НЕ МОГ произнести такой глупости. Я не раз и не два замечал, как люди вытесняют из памяти такие неприятные воспоминания.

что совершается, как я думал в тот момент, грандиозный подлог - борьба за власть выдается за демократизацию. В этих чувствах мною было написано послесловие "По поводу речи Хрущева" на пяти-шести страничках. Там я выдал Хрущеву и сталинским наследникам по первое число. Слова "фашизм" и т.п. замелькали под моим пером. Но в послесловии была и конструктивная часть. Я провозглашал, что ответственными за сталинские беззакония являемся МЫ ВСЕ, КАЖДЫЙ - в той мере, в какой знал и примирялся или содействовал. Я звал к пробуждению гражданских чувств ответственности каждого за происходящее в нашей стране. Только в духовной перестройке каждого я видел гарантию невозвращения былого произвола. Это мое произведение инкриминируется мне приговором как антисоветское, посему я не стану цитировать его. Написав послесловие, я взял курс на распространение его. Но добросовестность ученого не позволяла распространять одно послесловие, не прилагая основного текста. Так родилось решение о размножении "речи Хрущева" с примечаниями и послесловием. Правда, до провала Рохлина мы успели распространить очень мало закладок (закладка на тонкой отвратной бумаге в 8-10 экземпляров), а потом, как я уже говорил, распространение приостановилось. После же Венгрии я думал об этом документе уже в прошедшем времени, а Ира по-прежнему настойчиво возражала против его распространения (у нее была ide-fix, будто за одно только распространение секретного доклада Первого секретаря могут судить как за шпионаж).

Не следует представлять себе, будто я с марта по октябрь 1956 года только и думал о политике, только и занимался тереблением депутатов да редакций безответными письмами. В мае же, вскоре после звонка Фимки, я получил бумагу от Оргкомитета III Всесоюзного математического съезда о том, что они включили мое 20-минутное сообщение в программу работы съезда. Я, с присущей мне увлекаемостью, моментально переключился на математику, готовясь к докладу. Речь шла о моих результатах в области геометрии и космологии, которые к тому времени весьма высоко оценили А.Д.Александров, Н.А.Шанин, а через пару месяцев - К.Ф.Огородников. Словом, когда я с женой ехал в июне на съезд, я почти начисто забыл о политике; напоминала разве что она, которая только что перевела с польского перевода интервью Тольятти, раскритикованное в советской прессе за то, что он предсказывал некоторую эволюцию социализма в сторону демократизации и предрекал создание взамен единого - московского - центра мирового коммунистического движения многих независимых центров (полицентризм). Так вот, я жил и дышал только математикой (геометрией, а точнее - космологией). С Эрнстом, который также ехал выступать на тот же съезд с докладом по математической логике, я стал разговаривать исключительно на математические темы. Да и с Вербловской, которую я повел на пленарные открытие и закрытие съезда, а из секционных занятий отвел ее на секцию истории математики (она по специальности историк, с профилем - история рабочего движения в Польше. Тогда работала учителем в школе), я был в состоянии говорить только про вопросы, связанные с математикой. В таком ключе я провел все лето. В августе я безвылазно переводил одну книгу, которую мне хотелось видеть

изданной в СССР - “Linomatic Rela by”. В сентябре и первой половине октября я был полностью поглощен математикой, увлекался приоткрывавшейся нам тогда кибернетикой и написал эскиз о математизации лингвистики. Если к этому добавить, что я вел еще практические занятия по высшей математике в своем институте с максимальной нагрузкой, то станет понятно, как мало у меня оставалось времени на что-либо иное. Газет я не читал, радио не слушал, со знакомыми вел разговоры только на математические темы. Было вполне возможно, что я просто пропустил бы, не заметив, и польские и венгерские события. Случай, круто сменивший мою направленность, явился в лице моего студента, фамилию которого я начисто забыл. Раз, когда я вел монотонный опрос по теме интегрирования дифференциальных уравнений, он вдруг прервал меня:

- Револьт Иванович, что Вы нам это рассказываете? Не о том сейчас надо говорить. В Польше-то революция!

- Не говорите глупости, а решайте свои примеры.

- Да нет, правда! Рассказывают... - Последовал оживленный сбивчивый многоголосый рассказ. Разговор происходил 20 октября. Вернувшись домой, я кинулся читать газеты, позвонил Эрнсту и часа два слушал его телефонное изложение фактов. Назавтра от математики не осталось даже дыма. Последующие месяца четыре я жил исключительно политикой.

После начала венгерских событий я, который с самого начала их воспринимал как революцию и все время придерживался оценки, что это революция, а отнюдь не какой-то там фашистский мятеж, - я в некотором смысле почувствовал себя мобилизованным. Все, уже хватит, нужно отодвинуть всякие там личные занятия, всякую там математику, все это побоку. Пришло время, когда за свободу нужно драться теми средствами, какие у тебя есть. Умеешь говорить - дерись словом. Есть пулемет - дерись пулеметом. Есть пишущая машинка - дерись пишущей машинкой. Но нужно драться, ФАКТИЧЕСКИ драться. Все дальнейшее в моем поведении можно понять только под углом зрения - я мобилизован революцией.

Веры в победу у меня еще не было. Правда, появилась вера в ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕДЕНИЯ БОРЬБЫ, но все равно я свое дело рассматривал как обреченное. В то время мне рассказывали или я читал в польских газетах, что венгерские женщины с детьми бросались под советские танки, шедшие через Карпаты. Свою деятельность я воспринимал как такой бросок под танк: конечно, он не остановится, но и я не имею права остаться в живых, пропустив его[23]. Это настроение точно передается настроением стихов Цветаевой о чехах в 1939 году:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая - весь свет!

[23] В 1968 году некоторые советские газеты ВОСХВАЛЯЛИ экипаж того советского танка, который когда чешские женщины с детьми "с провокационными целями" выбежали на дорогу перед ним, резко свернул и рухнул в пропасть.

Пора - пора - пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь - быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь - жить.
С волками площадей
Отказываюсь - выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть -
Вниз - по теченью спин.
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один - отказ.

Конечно, если бы Коржавин не струсил, а пустил бы в обращение свое стихотворение "Будапешт", которое, впрочем, называется ближе к описанному настроению "Баллада о собственной гибели" и которое датировано 1956 годом:

Я - обманутый в светлой надежде,
Я - лишенный Судьбы и души -
Только раз я восстал в Будапеште
Против наглости, гнета и лжи.
Только раз я простое значенье
Громких фраз - ощутил наяву.
Но потом потерпел пораженье
И померк. И с тех пор - не живу.
Грубой силой - под стоны и ропот -
Я убит на глазах у людей.
И усталая совесть Европы
Примирилась со смертью моей.
Только глупость, тоска и железо...
Память стерта. Нет больше надежд.
Я и сам никуда уж не лезу...
Но не предал я свой Будапешт.
Там однажды под страшною силой
Я поднялся - ей был несродни,
Там и пал я... Хоть жил я в России -
Где поныне влачу свои дни. -

оно сделалось бы нашим и многих других гимном. Но, увы, ни этого, ни цветаевского стихотворений не знали мы в те месяцы, и сами стихов сложить не успели...

Любопытно, что события в Берлине 17 июня 1953 года, которые имели сходство с событиями в Будапеште 23 октября 1956 года, совершенно прошли мимо моего внимания. Я и узнал-то про них примерно год спустя[24]. Сейчас я нередко задаюсь вопросом - как бы я реагировал на них, обладай я в то время информацией о них, сравнимой с информацией по Венгрии? Скорее всего, победило бы

[24] Николай Нагорный, живший в Ухте, сказал как-то: "А в лагерях уже появились семнадцатииюньские немцы". - “А кто это такие?" - спросил я. Нагорный с Орловским растолковали мне. Было это году в 1954-м.

жившее во мне в то время восприятие противостоящих сил как незыблемой стены. В 1956 году казалось, что стена рухнула. И еще - в 1956 году всеобщее восприятие немногим отличалось от моего, не то, что в 1953 году, когда я был белой вороной. Точнее, осенью 1956 года уже не было и того расхождения между мною и окружавшими меня людьми, которое я замечал, говоря об апреле 1956 года. И эта всеобщая поддержка также явилась существенным фактором в определении моего поведения.

Приподнятое, натянутое как струна, трагически жертвенное мироощущение практически вылилось в ожидание немедленного ареста. Бывало - день минует, и я удивляюсь и благодарю судьбу, что еще на свободе. Сейчас, когда я побывал там, тюрьма и лагерь представляются мне в их конкретности просто определенными учреждениями со своим бытом и особенностями. Тогда же они вставали неведомым грозящим призраком и были куда страшнее, нежели на самом деле. Я принял меры к спасению важных для меня бумаг. Перебрал чемодан у Грузова, снес туда отцовские письма. Ире я поручил передать заготовленный яд, если получу 25 лет - столько я сидеть не хотел.

Оставалось одно: успеть до ареста сделать как можно больше.

§3. Обсуждение романа Дудинцева

"Венгерские тезисы"; матлогики; Игорь Заславский; обсуждение "Не хлебом единым" Дудинцева в ЛГУ; протокол обсуждения; запись А.А.Любищева об этом обсуждении

В начале ноября я написал тезисы о Венгрии, которые назвал "Венгерская революция", но которые чаще назывались "Венгерские тезисы", ибо люди обычно говорят и даже шутят в общераспространенной фразеологии. Начал я их писать, когда у власти было еще правительство Имре Надя, а кончил, когда советские танки уже помогли въехать в Будапешт правительству Яноша Кадара (это псевдоним словака по фамилии Черманек), за несколько дней до этого скрывшегося из Будапешта в расположение советских войск, хотя ни забастовка, ни другие формы сопротивления еще не были подавлены. Надя удалось выманить из югославского посольства только в середине ноября, а Йокефа Дудаша, по существу распоряжавшегося Будапештом в дни восстания, изловить и повесить - только в январе.

Н.А.Шанин

Эти тезисы впервые обсуждались 8 ноября на квартире Иры. Там присутствовал Эрнст Орловский, Игорь Заславский, Саша Корбут, Ира Зубер-Яникун. Так как этот документ мне инкриминировался, то не стану пересказывать ни его содержания (что и затруднительно ввиду тезисной, конспективной его формы), ни высказываний присутствующих. Он представлял собой попытку социально-политического анализа событий, омраченную рядом резких и даже грубых выпадов в адрес советского правительства. Характерно, что в тот момент я рассматривал советское правительство как нерасчлененное целое, не замечая расхождений в позициях тех или иных лидеров. Но уже тогда я не отождествлял партию в целом с ее ЦК, а тем более - Президиумом ЦК, как тогда именовалось Политбюро.

Присутствовали три новых для повествования лица. Все они, как и мы с Эрнстом - математики. Из них для меня относительно новыми были Корбут и Зубер-Яникун.

Игорь, как и я, кончал матмех, но был курсом моложе меня. С ним мы сблизились на том же курсе "оснований математики" и, кажется, встречались еще на лекциях Н.А.Шанина по математической логике. Оба эти курса в то время рассматривались начальством как непохвальные, ибо директивные философы того

времени учили, что математическая логика несовместима с единственной истинной диалектической (время, о котором я говорю - 1951-1953 годы). Как-то раз, когда я - студент - сослался на мнение А.А.Маркова А.Д.Александрову, тот бросил мне с осуждением: "А марксизм Андрея Андреевича еще надо доказать...", что очень точно передавало господствовавшее в ЛГУ отношение к Маркову. Маркова с позором выгнали с философского факультета и читавшийся им для философов курс математики прикрыли (подробнее - в гл.4). Шанина устранили из университета, и его лекции - мы студенты ЛГУ - слушали в пединституте, где его приютили. Если к этому добавить, что А.А.Марков - создатель теории алгорифмов, ставшей неотъемлемой частью современного машинного программирования в лице упрощенных алгоритмов, а Н.А.Шанин - его ученик, то станет совершенно ясно, как мы должны были относиться к директивной философии. В то время (1951-1954) слово "мы" включало, кроме меня, Эрнста, Игоря, еще Николая Нагорного и Юрия Этина. Последний всегда был чужеродным по сути элементом среди нас, и после 1954 года я с ним по существу не встречался, да и прочие редко. Нагорный был очень талантливым матлогиком, и я сожалею, что летом 1956 года личные причины рассорили нас с ним. Пока мы держались вместе, мы шутливо именовали себя то "Обществом сумасшедших на свободе", то "Библиотекой Русской Революции", то "Клубом имени Эйнштейна", то "Вольно-Российским Университетом". Порой к нами примыкали Валерий Сухов и Володя Фролов. Девочек среди нас не было. Названия обрисовывают круг интересов и стили. Последний раз названия употреблялись летом 1956 года.

С Игорем я сошелся (несмотря на противодействие его родителей, которым не нравились мои дерзкие высказывания), и мы часами просиживали с ним за шахматами, которые он окрестил "политическими шахматами", ибо мы не столько играли, сколько обсуждали все, что происходит в мире. Стиль мышления у него был не столько политический, сколько политиканствующий, но он был умен, точен и прорицателен, так что беседовать было приятно и полезно. Особенно сблизились мы с ним в 1954 году. До 1953 года Игорь в основном принимал действительность, хотя с некоторыми коррективами в пользу матлогики. Но арест Берии его потряс. Он расценил его как акт борьбы за власть, и в его сознании не укладывалось, как это они могут поступать друг с другом подобным образом - объявлять шпионом и пристреливать?! Кажется в 1954 году он ознакомился с "завещанием Ленина", которое открыло ему глаза на многое; во всяком случае, я впервые прочитал рукописный текст этого завещания у него. В 1955 году мы толковали с Игорем о целях и путях изменения действительности. Он склонялся к идее "конституционно-коммунистической партии", как он ее называл. Это надо понимать как параллель с исторически существовавшей Конституционно-демократической партией в начале века.

К 1956 году Игорь был убежденным сторонником создания организации для борьбы со сложившимся положением вещей. Он вел дневник, о существовании которого я ничего не знал тогда, но который читала, как признавала на следствии, Зубер-Яникун. Там были строки: "Организация нужна. Беру на себя обязательство создать программу и устав." И он обсуждал сам с собой разные формы борьбы. Мне запомнились два проекта: создать партизанские

отряды в Сибири и установить пулемет или хотя бы залезть с винтовкой на крышу московского ГУМа (выходит на Красную площадь) во время праздничного сбора на трибуне Мавзолея всех любимых вождей... К чести органов следствия, они не воспользовались предлогом, чтобы пришить нам террор, несмотря на то, что располагали этими и подобными записями. Логика следователей была примерно такова: не доказано, чтобы кто-либо читал ЭТИ страницы (Хотя у Зубер не хватило ума, чтобы отречься от чтения дневника Заславского ВООБЩЕ, у нее хватило ума отречься ОТ ЭТИХ ЗАПИСЕЙ, или же она в самом деле их не читала; возможно, он показывал ей свой дневник выборочно). Сам по себе дневник, по выражению мыслей, не является криминальным документом, ибо не использовался для распространения, для агитации и пропаганды. Следовательно, в этих строках состава преступления нет. Возможно, у ГБ были и другие соображения. Как бы то ни было, отказом инкриминировать нам или одному Игорю террор ленинградское ГБ снискало мое к нему уважение (исчезнувшее, правда, после того, как я узнал, что оно распускает про меня слухи, будто бы я "каждое воскресенье в лесу тренируюсь в стрельбу из пистолета в подражание Савинкову"; уж хоть бы грамотно на Каховского сослались!).

Игорь написал контртезисы на мои "Венгерские тезисы", значительно расходившиеся с моими в академической части, но в глазах следствия они были не менее криминальными. В самом деле, по части употребления словечек типа "камарилья" и т.п. брани наши с Игорем тезисы практически не различались. Степень их преступности была меньше разве лишь тем, что они не были напечатаны на машинке, т.е. имели меньший ареал распространения. Кроме того, Игорь написал тезисы по вопросу о Суэце, но так как мне было совершенно безразлично, побьют ли арабы евреев или наоборот, зато раздражало, что мировое общественное мнение обернулось от Венгрии к Суэцу, то я начисто забыл их содержание. Запомнилось только одно место. В каком-то официальном советском заявлении того времени встретилось выражение "могучая древняя религия ислам". Игорь метал громы и молнии, считая, что марксистам не приличествует так выражаться о религии, что заигрывание с исламом - отход от марксистской идеологии ради конъюнктурных требований политики момента. Это свое возмущение он выразил, кроме тезисов, еще в письме-протесте в "Правду".

И.Э.Зубер-Яникун.
Ленинград, конец 1950-х.

Игорь привел ко мне в дом Иру Зубер-Яникун, которая училась в то время на матмехе, то ли на IV, то ли на V курсе. Она, как сама рассказывала, пришла в оппозицию, возненавидев те каменные лица чиновников, которых ей пришлось обегать, поступая в университет. Дело в том, что она еврейка и поступала в самый разгар "борьбы с космополитизмом". Как она говорила, ее по этой причине не принимали, хотя у нее вроде бы золотая медаль. И вот ТО, как с ней разговаривали, как смотрели сквозь нее - это-то впервые, по ее словам, и заставило ее задуматься. В годы правления "самого доброго и любимого" она в праздничные дни ходила по городу и подсчитывала процентное соотношение "портретиков", как она выражалась. Естественно, она не пропустила заметить резкое изменение процентного соотношения на первомайской демонстрации в 1953 году (и я помню, что тогда четырехликий портрет Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин был вдруг заменен двуликим: Маркс-Ленин). Родители же ее принимали участие в революционном движении еще в 1905 году, кажется, большевистском. Пришла Ира вместе с Сашей Корбутом. Корбут любил и понимал музыку. В эти дни он приносил нам в дом письмо в ЦК с просьбой - в высшей степени лояльной - реабилитировать музыку Шостаковича. Под письмом было собрано около сотни подписей - людей с именами и положением; нам подписываться не предлагалось.

Разговор получился оживленный и острый. Несмотря на все наши различия во мнениях, нас объединяло то, что мы были математиками. Это предполагало укоренившуюся привычку мыслить логически, обоснованно, приводить аргументы по существу, а не для того, чтобы побить противника. И не пользование аргументами "от интереса" (такого рода: если бы мысль Икс была верна, то это было бы нам материально невыгодно - следовательно, мысль Икс неверна). Математика, как ничто иное, воспитывает бескорыстие мысли; именно поэтому нами всегда была чужда "партийность". Для нас было законом: если в рассуждении хотя бы один раз встречается ложь, то это обесценивает все рассуждение. Поэтому хотя бы одна неправда в тогдашних газетах или учебниках по марксизму обесценивала их в наших глазах полностью; и тех кто их писал или заказывал; и порядки, при которых такая ложь возможна. Никто из нас в 1953 году не разделял вполне ортодоксальных взглядов на политику. Среди присутствовавших только Ира Вербловская переживала иную эволюцию - ее в оппозицию увлекла оттепель, а не заморозки.

10 ноября было обсуждение повести Дудинцева "Не хлебом единым". Я этой вещи не читал, мне было не до художественной литературы, раз надо делать революцию. Но Ира Вербловская, которая в это время прирабатывала чтением вслух слепой писательнице Эльядьевой, привела меня за несколько часов до начала обсуждения в ее дом, где я кое-что из повести прочитал. Вооруженный этим "кое-чем", я смело явился на филфак ЛГУ, где

намечалось обсуждение. На всякий случай, дабы не было конфликтов “впустить - не впустить”, я нацепил значок выпускника ЛГУ. Там, в одной из длинных узких аудиторий на II этаже, за полчаса до начала уже практически все места были заняты. Поэтому мы - я, Ира, Эрнст, Игорь, кажется, Зубер, не удивлюсь, если там был Кроль, хотя не припоминаю его, - уселись на самой сцене, справа, если смотреть от президиума, ближе к дверям, на кромке сцены. В аудитории было, как сейчас вспоминаю, 2 или 3 двери по всему ее протяжению. Чинчином я записался в прениях.

Положение обострялось из-за того, что в президиуме восседал уже упоминавшийся ректор ЛГУ Александров. Обнаружив меня, он приказал председательствовавшей, доценту Рождественской, не давать мне слова, причем в перерыве откровенно объяснил мне, что ОН - МНЕ никогда свободы слова не предоставит. Меня это, естественно, подхлестнуло. Я, даже идя на обсуждение, отвечал на вопросы любопытствующих: "Будешь ли ты выступать?" - "Если Александров будет присутствовать, то наверняка буду, а если нет - не знаю". Ну, и теперь я горел желанием отстегать его перед всеми.

Меж тем Рождественская объявила: "Следующий оратор такой-то, приготовиться такому-то, а потом заключительное слово товарища Дудинцева". Сидевшие вокруг меня возвысили голос: "А Пименов?!" Она не обращает внимание, Александров шепчет ей на ухо: "Не допускать!" Возле меня сидящие скандируют: "Пименов записан!", а так как мы сидим тут же возле президиума, то это скандирование получалось довольно внушительным и, во всяком случае, грозило скандалом перед лицом московского гостя-писателя. На самом-то деле нас была горстка, во всем зале никто и не знал, кто такой Пименов, но на президиум это подействовало. Председательница извинилась: она-де просто пропустила фамилию в списке, после такого-то Пименов, а уж потом заключительное слово автора повести т.Дудинцева.

Так я получил слово. Повесть сию я представлял себе довольно смутно[25], но, как говорил мой знакомый астроном Саша Суслов, "факты затуманивают мышление", и никакие факты из этой повести не затуманивали мне основное, что я хотел сказать. Я довольно смело заговорил о том, что вот в повести есть отрицательный герой - Дроздов, занимающий ответственный пост. И дроздовщина, продолжал я, у нас повсюду: и в истории, и в науке, и в политике. Публика мне дружно аплодирует. А потом я непосредственно бросился на Александрова. Я сказал, что дроздовщина у нас проявляется в разных формах. Вот, например, один человек, которого я очень ценю и уважаю (по имени я Александрова не назвал), по-моему, очень порядочный человек, говорил мне в 1951 году: "Отвратительно, конечно, что преследуют евреев, но что же делать, если, когда приезжала некая мадам из Израиля, евреи за ней по Москве хвостом бегали[26]. Это значит, что в решительный момент

[25] Лет двадцать спустя я перечитал повесть, нашел ее неожиданно глубокой и предвосхищающей Солженицына, вплоть до православия.

[26] Непонятно откуда в издании "Памяти" (с.194) появилось имя "Голда Меир". Действительно, Александров говорил о ее приезде в Москву в 1949 году, но меня настолько не интересовала сия тематика, что имени я не запомнил и сказал "некая мадам из Израиля", над каковой неграмотностью весьма и долго потешалась Ира Вербловская, отчего только я и выучил эту фамилию.

они могут изменить. Значит, их и нужно преследовать." Это вот и есть дроздовщина, провозглашаю я. Ну, публика, понятно, бьет в ладоши. По-моему, настроение там в зале было такое, что чем резче выступление, тем оно восторженнее принималось. Воспоминаю, что открывший выступление доклад аспиранта Иезуитова о корнях бюрократизма в СССР (в связи с тем, что Дудинцев обличает бюрократизм) был, как мне теперь представляется, очень содержательным и полезным, не говоря уже про обоснованность. Тогда же из-за отсутствия в нем хлестких слов, он показался публике скучным и был встречен прохладно. Мне же он представился вылазкой врага, и я даже сказал в его адрес: "Сейчас главная опасность в том, что защитники дроздовщины постараются захвалить роман, чтобы затуманить его реальное содержание, направленное против них. Бойтесь хвалящих, но скрывающих суть повести!"

У Александрова потемнело в глазах, он двинулся на трибуну и понес:

- Да, это именно я говорил Пименову тогда о евреях, но что ОН говорил в то время?! Он говорил, что, вот, американцы бросают бомбы на Корею, так вот, так и надо вам! Я еще не знаю, ЧТО он думает по поводу Венгрии и Египта! Наверное, тоже что-нибудь такое!

Публика свистит, топает ногами, кричит Александрову "долой!"

- О какой демократии мечтаете вы, новгородская чернь, которая, как на вече, умеет только ногами и свистом заглушить оратора?

Свист и шум возрастают так, что никто, кроме вблизи сидящих, не слышит уже Александрова. Он же продолжает:

- Вы вот ногами стучите, я не всех вас знаю, а вот Пименова знаю давно, еще когда он в 1949 году подавал заявление о выходе из комсомола, потому что он разделял толстовское учение о непротивлении злу.

Остаток речи ректора не слышали даже мы, сидевшие рядом. Но эти последние процитированные слова послужили мне основанием после окончания его крайне неудачного выступления потребовать слова "по личному вопросу". Рождественская не желала давать слова, но тут уже весь зал стал требовать, ибо слова Александрова только разожгли интерес ко мне и словно бы подняли меня в глазах слушателей. Кстати, народу было так много, что выступления транслировали по радио в коридор, битком набитый публикой. Учуяв скандал, народ потянулся из коридора в аудиторию - взглянуть на героя минуты - стало еще душнее и теснее. Наконец, слово было мне дано, но я не нашелся ничего сказать, кроме того, что заявление о выходе из комсомола, которое я действительно подавал в 1949 году, не имело ничего общего с непротивлением злу насилием. Но, хотя в этот раз я выступал исключительно блекло, аплодировали мне по-прежнему и с еще большим остервенением.

Ибо тут все определяло всеобщее настроение того времени.

Повторяю, были выступления более далеко идущие, нежели мое. Были выступления, которые с точки зрения охранителей идеологии были несравнимо опаснее. Но они не вызвали такой реакции зала, прежде всего из-за того, что им "не был дан отпор". Ведь вообще в публичных выступлениях трудно уловить мысль

оратора, особенно, если она подается не в грубо оголенном виде. И совсем некогда ее анализировать. По-моему, серьезные мысли проходят в публичных дискуссиях мало замеченными. Совсем иное дело, если на ту или иную мысль, на тот или иной лозунг, на того или иного оратора публика почему-либо обращает внимание. Александров выделил меня в ряду других ораторов. Он заявил себя моим противником. Он был ректор, т.е. представлял там в зале правительство. Менее всего в тот момент публика в зале была расположена считаться с мнением правительства. Поэтому она мне аплодировала и гнала его прочь с трибуны.

Но есть здесь и более глубокая причина. Известно, как медведь пожар тушил - по всему лесу головешки разбросал. Как правило, те, кто стремится интеллигентно охранять свободу цензуры и т.п. блага, т.е. идейно защитить идейно незащищаемые вещи, обычно поступают именно таким образом. Это очень убедительно обрисовал в своих воспоминаниях народоволец Николай Морозов. Не нападай ректор на меня - ничего не было бы. Выступление на обсуждении Дудинцева мне не инкриминировалось, но зато очень испортило мою репутацию в научном мире[27], где была распространена версия об этом выступлении, восходящая к рассказу Александрова, которому в эту пору был совсем не в жилу публичный скандал по всяким ректорским причинам. А насколько по-разному говорят об одном и том же, видно хотя бы из воспроизводимой ниже записи из дневника А.А.Любищева, до которого в его Ульяновске докатились к февралю 1957 года байки:

"Тетрадь 118, № 136. Дискуссия по поводу романа ДУДИНЦЕВА "Не хлебом единым" в Ленинг. Госуд. Университете 10 ноября 1956 г.

В актовом зале филфака переполнено. В сущности не дискуссия, а массовый протест студентов против казенного литературоведения, так как всем говорящим по шпаргалке заранее заготовленные слова или литературоведам (аспирант Иезуитов, доцент Рождественская - курс советской литературы) не давали говорить, несмотря на требования президиума и выступление ректора чл.-кор. АН СССР, математика Александрова. Последний вел себя совершенно неприлично, говорил, что у вас не демократия, а собрание черни. После выступления студента математика Пименова, дошел до того, что сообщил, то он его, Пименова, в свое время исключил из Ун-та (когда?) и из геометрического семинара, что в 1952 году Пименов подал заявление об выходе из комсомола, говорил, что он за непротивление злу насилием. Про Пименова "Интересно, ЧТО он сейчас говорит о Венгрии и Египте. Уверен, что вражески" - "Дроздов! Долой! Убирайтесь! Позор! При чем тут Пименов. Мы все так думаем!"

---

[27] Впрочем, много лет спустя, в 1969 году, это выступление совершенно неожиданно принесло мне “материальную выгоду". У меня заболел сын, надо было, или жене казалось что надо, знать мнение специалиста. Она рассказала про это нашей общей знакомой Мирре Романовне Подольской. Та упомянула про это совершенно незнакомому нам врачу, случайно бывшему у нее в гостях. Врач отозвался: "Ну, я могу прислать", на что наша знакомая произнесла: "Ну, это будет, наверное, дорого стоить..." - "Нет, - ответил он, - я Пименова знаю по его выступлению на обсуждении Дудинцева. Он порядочный человек, и мы ему это сделаем бесплатно." Поистине, никогда не знаешь, где и что найдешь...

Наиболее решительно выступление студента-математика Пименова: "Гласность, спор, сражение - для них (дроздовых) крест. Такие монополии на истину, такие грады Китежи, которые всем и всему все навязывают свои желания, имеются всюду, во всех областях науки и знания: в истории, литературоведении и т.п. Это проявление дроздовщины имеется и в политике. Например, не понравилось Дроздову и разогнали весной наш студенческий дискуссионный клуб. По-видимому, град Китеж и дроздовщина проявляются и в нац. вопросе. Например, ректор ун-та на вопрос о причинах преследования евреев ответил: евреев преследуют потому, что, мол, в СССР приехала какая-то женщина и какие-то евреи ее видели и с ней разговаривали. А что, где делали с евреями, мы все ведь знаем. Наша задача покончить с дроздовщиной в науке, л-ре, в политике" (бурные овации).

После выступления Александрова Пименов добивается (дикие крики: "дать слово!") при одобрении всего зала второго слова и говорит: "Не в 1952 г., а в 1949 г. в октябре я подал заявление о выходе из ВЛКСМ из-за расхождения во взглядах с вышестоящими организациями. Разговор о непротивлении злу насилием я завел с ним (ректором) случайно, так как не хотел говорить с ректором о всех своих взглядах. Вы знаете, чем это тогда грозило."

Ряд выступающих указывают, что зло не наказано, что корни не раскрыты, все это - дело будущего.

Дудинцев не оправдал возложенных на него надежд. Все время говорил, что дроздовщина ликвидирована. Записка "Будьте мужественны". Он отвечает: "Мне сейчас не нужно мужества, противника нет." Крики: "Эх, а мы-то думали." Записка: "Мы должны догнать и перегнать Америку, но не такими средствами. Мы должны получить демократию." Прежде всего надо снизить темпы "догонки". Потом это себя окупит. Надо перегруппироваться."

Последний ответ Дуд.: "Демократия есть. Перегруппироваться не надо, каждый стоит на своих местах. Надо работать, а не шуметь, и не говорить о снижении темпов."

Последнее слово Дудинцев говорит под шум встающих и расходящихся людей. Встреченный бурной и длительной овацией, он явно не оправдал возложенных на него надежд.

Ульяновск... 1957 г.

Один старый изобретатель сообщил, что в СССР сейчас ежегодно регистрируются 1500 изобретений, примерно столько, как и в царской России, а в Соединенных Штатах 50 тысяч."

Любищев совершенно не прав в конце, изображая, будто люди расходились от разочарования в Дудинцеве. Ведь слушатели просидели пять с половиной часов, а те, кто заранее занимал места - до семи часов. Расходятся от естественной усталости и после того, как председатель закрыла заседание, а не "от неоправданных надежд". Другие неточности очевидны. А вот стенограмма, составленная Э.С.Орловским сразу по горячим следам:

“ОБСУЖДЕНИЕ

книги В.Я.Дудинцева "Не хлебом единым"

Заседание литературного кружка филологического факультета ЛГУ, совместно с автором и гостями. 10.11.56.

Точное время начала обсуждения не было указано: в последний день оно было передвинуто с 19.30-20.00 на 19.00; уже в 17.30 было заполнено более половины мест. К 19.00 собралось более 600 человек, казалось, что аудитория заполнена до отказа. Точно вовремя появился президиум и автор.

ДУДИНЦЕВ начинает говорить, но зал прерывает его, скандируя: "Микрофон!"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ долго объясняет, что "микрофона сейчас нет", автор пробует говорить "во всю силу своих легких", но потом, в силу требований зала, устраивается перерыв на 10-15 минут для поисков микрофона; тем временем набивается еще человек 200. В задних рядах часть присутствующих стоит на стульях или сидит на спинках их позади сидящих в "первом этаже". Много народу в коридоре. приносят микрофон. Далее следует не претендующая на стенограмму запись выступлений. Дверь на факультет заперта; в фойе - три милиционера.

ДУДИНЦЕВ: Я испытываю сейчас большую радость. Радости творчества нельзя сравнить с радостями от других мужских игрушек: дач, автомобилей, телевизоров, Сочи... Я напечатал свое первое стихотворение в 13 лет. С тех пор печатаюсь без перерыва. Особенно яркая страница моей биографии - как я стал писателем. До войны все писатели, кроме творчества, занимались литературной педагогикой. Сейчас это как-то заглохло. Я воспитывался в литобъединении "Пионерской правды". У нас мало хвалили, больше обращали внимания на разбор недостатков; ребята были зубастые, еще как! От Кассиля и /?/ при "Пионерской правде" я был "передан в высший класс" при Гослитиздате. Я попал в группу прозаиков, куда входили Тр.Коновалов и др. У Кассиля и /?/ я научился терпению - наиболее явному свойству литератора. Я говорю это, чтобы подчеркнуть необходимость воспитания литературной смены. Так я набил руку и закалил сердце к критике друзей. Мой первый рассказ "Охотники на медведя" получил премию на конкурсе на лучший короткий рассказ за словесное мастерство, хотя жюри отметило внутреннюю пустоту этого произведения. Да и как не быть пустоте. Ведь жизненного опыта у меня, по существу, не было. Да и тот небольшой опыт, который был, не был осмыслен. Я шел от книг, а не от жизни. Я увлекался по очереди всеми западными писателями, и мои вещи были похожи на вещи тех, кем я "болел" в это время: Хемингуэй, Пруст, /?/. Я переболел всеми формалистами и как только не трюкачествовал я над строкой. Но я прекрасно понимаю тех, кто трюкачествует, они еще в пути. Я и сейчас глубоко ценю тех писателей, которыми прежде увлекался. Но теперь я понял, что оригинальность формы должна вытекать из оригинальности содержания. Мне понадобился тяжелый участок своего жизненного пути, чтобы оценить красоту и силу русского литературного языка. Я лежал в окопах при 50°. После войны я служил в прокуратуре. Я, как говорится, "убил человека и родил человека" и только в 25 лет я начал открывать одного за другим русских классиков. Я увлекся музыкой стихов Пушкина. Но я увлекался также музыкой стихов

поэтессы Марины Цветаевой и Любови Столицы и др. И я не очень выделял Пушкина из этого ряда. Но потом прошел трудный период, и я стал молчаливее, открыл то же стихотворение Пушкина и увидел совсем другое. Еще прошло время, я стал еще молчаливее, открыл снова то же стихотворение, обнаружил в нем новую глубину. Это и отличает классиков русской литературы: глубина и беспредельность мысли; их непрерывно познаешь по-новому. Я понял, в чем разница между мной тогда, между мальчишкой, который получает премию за бойкий слог, и мной сейчас. Но и сейчас я еще полуфабрикат. Я буду еще изменяться и должен изменяться, если человек перестает изменяться, то для него все кончено, его "шагреневая кожа" сгорела.

В 1944-1947 годах я отдал дань практике бесконфликтности. Я говорю именно "практике", а не "теории", ибо связного изложения этой теории, насколько я знаю, не было. Повинны в этой практике бесконфликтности все мы, а не только культ личности. Стоило мне только в то время написать рассказ с очень небольшой долей критики, как сразу же я получал много писем от читателей, в которых говорилось, где это автор видел такое, таких начальников, такие недостатки? Читатель идет к вам с чистой душой, а вы идете к нему с камнем за пазухой. Читатель возвращал мне то, что ему говорили критики, и я задумывался, может быть, я и в самом деле неправ. Получался порочный круг.

Я долгое время провел в бригаде взрывников, подготовленных для укладки железной дороги в районе озера Иссык-Куль. Там были хорошие парни, комсомольцы; начальник их был очень хороший человек, коммунист. Я научился взрывным работам и вместе с ними проработал 4 месяца. После этого я написал серию рассказов "У семи богатырей". Никаких конфликтов там не было. Вот и пойми: лгал я тогда или нет. Я шел к народу, и народ мне подтверждал, что я поступаю правильно. Но теперь я вижу, что это было не так.

В 1947, когда я летал на самолете, я попал в авиационную катастрофу и вместо Средней Азии оказался в Орске. Там я познакомился с двумя высокоталантливыми людьми: один из них был геолог, попавший в Орск по распределению (хорошие люди везде оказываются на месте). Он должен был искать там охру. Но он решил искать там никелевую руду. Страна в то время остро нуждалась в никеле. Он нашел никель там, где по учебнику его не должно было быть. В учебниках подробно объясняется, что никелевые оруднения бывают только пяти видов. Ни одного из них не было в районе Орска. Есть специалисты, которые смотрят, если в учебнике сказано, что надо считать при помощи коэффициента альфа, то он и будет применять только коэффициент альфа. Если сказано, что надо применять модуль лямбда, то он и будет все время применять модуль лямбда. Но он не поверил этим альфа и лямбда и упорно искал то, что было необходимо государству. За свое открытие он боролся 12 лет. Его даже объявили врагом народа. Другой изобретатель так же долго и упорно боролся за внедрение своего метода использования этой руды, а именно: очистки ее от меди. И я понял, что есть два типа людей: одни борются за высокие цели, чтобы принести как можно больше пользы своему народу, может быть, и не формулируя: "Я, мол, служу народу" - и пренебрегают всяким личным благополучием. Для других же "хлеб единый" во всех его видах заслонил собою все духовные ценности.

Октябрьская революция породила в народе огромную тягу к самодеятельности. Люди, проснувшись к самодеятельности, открывая новые ценности, во что бы то ни стало стремятся довести их до народа. Я приведу только два примера. Я знал рабочего Венгоровского. Революция раскрепостила его, заставила поверить в свои силы. Все хорошо знают марку фотоаппарата “ФЭД”, на котором зря поставлены инициалы благородного рыцаря революции Феликса Эдмундовича Дзержинского, потому что этот аппарат целиком скопирован с немецкой “лейки”. Основным новшеством, благодаря которому “лейка” завоевала успех во всем мире, был прибор для автоматической наводки на резкость. Но мало кто знает, что этот прибор был изобретен советским рабочим Венгоровским в 1929 году. Тогда же он взял на него авторское свидетельство. А в 1932 году то же самое устройство было использовано фирмой “Цейс” в аппарате “лейка”. А мы потом скопировали ее в “ФЭД”. А фирма “Цейс” получила от продажи аппаратов “лейка” миллионные прибыли. Эти миллионы могли бы пригодиться и нам. Другой пример. Значительное изобретение профессора Мастовича долгое время не внедрялось, а его использовали американцы. И я увидел, что в этом есть какая-то закономерность. Мы говорим все время, что нужно догнать Америку в области науки, техники, культуры (технической культуры, я имею в виду). А такими темпами мы никогда и не догоним Америку, как Ахиллес черепаху. Мы можем догнать Америку только в результате революционного скачка. Если бы мы дали широким массам все возможности для их творчества, то мы бы смогли сделать такой скачок.

Я почувствовал, что наткнулся на важную тему. Препятствие на пути свободному творчеству изобретателей - сильнейшее препятствие на нашем пути к коммунизму.

Я знакомился с изобретателями, а изобретатели ведь такой народ, услышат, что кто-нибудь пишет о них, интересуется ими, и передают об этом человеке один другому. Изобретатели вводили меня в научно-технические общества. А надо сказать, что сами изобретатели не объединены в какое-нибудь общество и, так сказать, нелегально входят в научно-технические общества. Я вступал в члены этих обществ, получал от них удостоверения: "Такому-то, члену общества, поручается выяснить в таком-то министерстве вопрос о таких-то изобретениях." Затем я бывал часто в министерствах, беседовал с должностными лицами, с заместителями министров, раз или два доходил и до министров. Не следует представлять себе дело так, что в министерствах одни мерзавцы, а изобретатели - одни ангелы. Иногда в министерствах я встречал и хороших людей. Кстати, и плохие и хорошие люди очень разнообразны. Иногда бывает человек прекрасный, но он идейный противник изобретательства вообще, считает, что изобретательство - пережиток капитализма, а у нас все должно создаваться коллективным трудом. "То, что нужно народному хозяйству, включено в план, а что включено в план, сделают коллективы научных работников НИИ и ЦКБ." Но практика показывает, что иногда машину делает НИИ и не может ничего сделать, а деньги затрачиваются; в то же время оказывается, что машину давно изобрел кто-нибудь.

Но я не хотел писать узко утилитарную вещь, направленную только на улучшение положения изобретателей. Я хотел писать о творчестве. Я знакомился с композиторами, учеными, участвовал в писательских спорах. Я собрал очень много материала и начал писать роман. Роман был написан очень быстро, менее чем в год. Так всегда бывает, если собрал большой материал и хорошо владеешь этим материалом, то он выльется в писаную форму очень быстро. Я сначала чувствовал только закономерность фактов для себя, начал писать о них и почувствовал сам себя орудием некоторой закономерности, молекулой на острие ножа. Я чувствовал, что вокруг меня что-то происходит, говорят и делают громче. Заканчивая роман, я волновался, как его встретят в издательствах, например. После XX съезда я уверился, что я прав в своем романе. Хотя в первом издательстве так называемый треугольник единодушно отказался печатать мой роман, но уже во втором издательстве "Молодая гвардия" тот же треугольник столь же единодушно решил немедленно напечатать мой роман массовым тиражом. Так же быстро он прошел и в редакции журнала. Срок от появления романа на редакторском столе до сдачи его в производство был на этот раз рекордно коротким. Роман, как говорится, прошел по зеленому свету.

Сейчас я получаю множество писем читателей, каждое из которых звучит примерно так: "Вам сейчас наверное трудно, но народ вас поддержит, мужайтесь." Именно так и звучали бы эти письма, будь их немного. Но само громадное их количество говорит о другом, что мужаться, собственно, не нужно, что Дроздовым пришел конец, что их никто не защищает. (Продолжительные аплодисменты).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет аспирант литературоведения т.Иезуитов.

ИЕЗУИТОВ: "Литературная газета" сетовала, что дискуссия в ССП не выявила разных точек зрения. Она стремилась создать впечатление, будто существуют "разные" точки зрения. Если разные точки зрения и есть, то это не делает чести их авторам. Кто не согласен, что роман - правда, тот сам Шутиков и Дроздов. Уже в Москве разные лица пытались его критиковать. Одни - за то, что мало художественности, другие - за то, что якобы нет правдивости (крики "Хватит!", шум). Это - последователи культа личности (шум, крики "Дайте ему говорить!"). Главные действующие лица - Дроздов и Лопаткин. Паустовский поместил Дроздова в высший класс теплохода, другие считали, что Дроздовы есть повсюду, во всех классах (шум, выкрики: "Дайте что-нибудь более дискутабельное". Голос из президиума: "Лентяй, не мог выучить выступления наизусть." Голос из зала: "Хватит прописных истин". Неизвестный встает в задних рядах и предлагает: "Предлагаю, чтобы люди выкрикивающие выбрасывались из зала"). "Литературная газета" говорит, что Паустовский неправильно назвал Дроздова массовым явлением. Дроздов - это порождение бюрократизма. Следует напомнить ленинский взгляд на бюрократию (обширные цитаты из Ленина). Ленин говорил, что наше государство - это рабоче-крестьянское государство в бюрократическом извращении (аплодисменты, шум). По Ленину бюрократизм имеет у нас предпосылки: отвлечение сил нашего государства на решение военно-политических задач (шум, топот, выкрики: "Пусть он не

бубнит!", "Говорите как следует!"). После некоторого колебания оратор уходит.

ДУДИНЦЕВ. Мы не можем идти на поводу у всех товарищей. Аспирант Иезуитов делает небольшое вступительное слово от кафедры. Каждый имеет право использовать свое время, а он израсходовал не более 10 минут.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет студент Лифшиц.

ЛИФШИЦ. Товарищи, у меня было мало времени, чтобы проанализировать роман как следует с литературоведческой точки зрения, поэтому я буду говорить просто как читатель. То, что этот роман хороший и нужный - это ясно. Я буду говорить о том, что мне НЕ понравилось. Я часто слушал, что автору не хватило художественности. В чем дело? Роман не доработан композиционно. В конце есть некоторая неудовлетворенность. Конец благополучный, дается какое-то разрешение конфликта, которого может и не быть. То, что конец благополучный, это не типично, это случайное стечение обстоятельств. Автор мог бы предоставить самому читателю решать дальнейшую судьбу своих героев. Еще я хотел бы сказать о Бусько. Он рано родился, он не успел дожить до XX съезда. Сцены у Бусько перекликаются с романом Ю.Олеши "Зависть", где изображены имеющиеся у нас темные стороны. Лопаткин победил, а Бусько был изжеван бюрократической машиной. Гибель Бусько показывает всю страшную силу этой машины и то, почему с ней надо бороться. Самая сильная сцена - сцена сожжения бумаг Лопаткина.

Нет у Дудинцева того ханжества, какое есть у большинства наших писателей (например, сцена между Дроздовым и Надей, когда он обнимает ее за талию и обнаруживает под платьем платок).

Я не понимаю, почему не дали договорить Иезуитову. Его выступление - дельное; может быть, несколько длинная цитата, но его критика "Литературной газеты" является своевременной и правильной.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Слово имеет аспирант кафедры советской литературы товарищ Нинов.

НИНОВ. В романе намечены две линии. Первая - тема невидимого града Китежа; вторая - люди, пробивающие эту стену. Вторая тема развернута с гораздо меньшей силой, чем первая. Первую тему раскрывает образ Дроздова. Дроздов - это тип со сложившейся философией, сложившимися приемами. Говорят: уберите Дроздова, и все будет хорошо. Это не так. Дудинцеву удалось схватить те норы, из которых растут Дроздовы. Это - закономерность нашего советского бюрократизма (смех).

Почему Дроздов не хочет помогать Лопаткину? У него есть целая теория для объяснения этого, основывающаяся, как ему кажется, на государственных соображениях. Во-первых, изобретение Лопаткина - капля в море; во-вторых, есть уже другой проект; это изобретение не от нашего завода, в-третьих.

Предложение изобретателя не должно сталкиваться один на один с противодействующими организациями. Нужен единый орган изобретателей. (Частично это уже сделано.) В силу указанной причины у Дроздова складывается своя страшная философия, которую он облекает в коммунистические лозунги; чем выше он поднимается, тем более изолируется он от людей. Прикрываясь лозунгом об отсутствии уравниловки, Дроздов перестает получать по

труду. Дроздов позволяет гонять заводскую машину за сметаной. Или такой пример: помните, он берет рабочих, чтобы ему погрузили вещи, когда он уезжает в Москву, рабочих со своего завода. Интересно, платит он им что-нибудь за это? (Смех.) Автор проводит верную мысль: оплата по труду должна проводиться ВСЕГДА, вне зависимости об обстоятельств. Вы помните, как относился к этому Ленин: это не "чудачества" великого человека, а последовательное проведение той же идеи. Если человек получает больше, чем по труду, то он живет ЗА СЧЕТ ДРУГИХ, а отсюда возникает его изоляция.

Концепция жизни у Дудинцева не завершена. В Лопаткине много импонирующего, но много не доработано. Лопаткин-то отказывается от "хлеба насущного", но проблема хлеба насущного не может быть откинута. Это - живая, острая проблема для многих изобретателей. Фигуры Араховского, Бусько, Лопаткина верно расположены. Араховский - смирившийся, Бусько - изобретатель ради изобретательства. Тема Жанны и Лопаткина не проведена достаточно мастерски. Вообще, роман страдает неровностями стиля. Отдельные страницы просто захватывают, а некоторые довольно неудачны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В президиум поступают записки, в которых требуется дать возможность асп.Иезуитову закончить свое выступление (аплодисменты). Поэтому я предоставляю слово т.Иезуитову. Но я должна исправить одну ошибку: я сказала, что т.Иезуитов получает первое слово; на самом же деле асп.Иезуитов подготовил доклад от кафедры, он должен произнести вступительное слово. Теперь я исправила свою ошибку.

ИЕЗУИТОВ: Я хочу продолжить разговор о Дроздове. Он не просто бюрократ, идеолог бюрократизма. В своем раннем рассказе "На своем месте" Дудинцев также вывел тип бюрократа Медведева: это тоже демагог-бюрократ. Для него тоже важнее не клуб, а добыча руды. Он любит поговорить о том, что сейчас нужно в первую очередь. Дроздов тоже говорит о плотнике и о "картиночках".

Дроздовы иссушают человека, лишают его самого светлого чувства любви (Надя Дроздова). Неправильно представляют конфликт романа как конфликт между людьми, это борьба двух общественно-политических линий. Лопаткин впитал в себя энергию многих изобретателей, а Дроздов тоже отражает силы многих бюрократов. Боль и гнев преследуют читателя во время чтения романа, мысль о том, что с этими безобразиями должно быть покончено.

Дудинцев, по мнению Славина, продолжает линию Гоголя; это неправда. Довольно выводить писателей из "традиций". Образ Дроздова сейчас уже стал таким же нарицательным, как Ноздревы и Обломовы.

Автор умело подчиняет детали целому; его мастерство выросло. Достаточно вспомнить "волчью искорку" в глазах у Урюпина. Писатель умеет говорить пространно и вместе с тем эмоционально. Но есть и слабости. Как-то скороговоркой рассказано о любви Нади и Дроздова. Иногда автор опережает события, преждевременно вторгается своими объяснениями. Я не согласен, что Дроздовы - в прошлом, как утверждает сам Дудинцев. С дроздовщиной необходимо бороться и в будущем. (Оратор монотонно

зачитывает текст; его почти не слушают; в зале нарастает шум, который заставляет оратора покинуть трибуну, не дочитав нескольких страниц.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется пенсионеру-изобретателю тов.Аврову.

АВРОВ: Мне пришлось пережить перипетии, похожие на изображенные в романе Дудинцева. В Союзе Писателей говорили о том, что роман будто бы малохудожественный. Но меня уже давно, с тех пор как я читал "Бруски", не охватывала так никакая книга. Ее нельзя читать быстро, всю сразу, до того она насыщена эмоционально. При обсуждении остался в тени Авдиев - это очень распространенный у нас тип. Эти люди, ставшие монополистами в своем окружении, жуют давно потерявшие актуальность темы, и сотни тысяч народных денег летят на ветер. Они чуют своим хищным взглядом, где можно поживиться. Земной поклон тов.Дудинцеву за то, что он разоблачил монополию авдиевщины. Кстати, надо отметить, что ни один из "людей науки" не пострадал. Корень авдиевщины - в отрыве от производства, в том, что ученые измышляют в своих кабинетах. У человека, занятого на производстве или прокладывающего новую борозду, мысли сами о том, чтобы облегчить участь трудящегося человека, участь работающих. Совсем иная психология у тех, кто сидит в кабинетах. Жаль только, что в конце романа автор не дал Лопаткину в руки железную метлу, чтобы вымести прочь всю нечисть. Видно, не пришло еще для этого время! (Апл.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет изобретатель тов.Поморцев.

ПОМОРЦЕВ: Роман Дудинцева отражает самую жизнь нашего общества. Лопаткину еще очень повезло (возгласы: "Да ну?"). Ему свалилось 6000, у него была железная воля и он не был обременен семьей. А ведь эти условия встречаются не часто. Много таких, которые имеют семью и не имеют денег. Например, здесь присутствует изобретатель Стабуненко. Бусько - это также невыдуманная фигура; такие встречаются среди изобретателей.

У нас очень плохо обстоит дело с изобретательством: вот цифры. В год у нас регистрируется от 1500 до 2000 изобретений; в Америке же от 40000 до 50000 изобретений. У нас в год регистрируется примерно столько же изобретений, сколько было до революции. Настолько сильно действие дроздовщины, хотя у нас и печать и профсоюзы и все двинуто на помощь изобретателям.

Есть книга "теория изобретательского творчества". Так ее замалчивают, о ней никогда не писалось. Развитие человеческого общества диктуется развитием орудий труда, а орудия труда - изобретения. К коммунизму мы придем не через писателей или композиторов, а через высшую технику. Через несколько лет о культуре народа будут судить по тому, как он заботится о своих изобретателях. С этой точки зрения роман Дудинцева может считаться переломным моментом в нашей литературе.

Часто бывает так. Ученый открывает явление, но не может изобрести машину, которая применила бы его открытие. Для изобретательства нужно особое умение. Изобретатель не может работать на своем ограниченном участке, как ученый; ему нужен простор. Научное открытие может быть и прогрессивным и регрессивным, а изобретение может быть только прогрессивным. Я

хочу еще сказать о задачах литературы о изобретателях. Надо описать разницу между изобретателем и композитором, между изобретателем и писателем. Художник может писать по заказу картину, а изобретатель не может изобретать по заказу. Точно так же и композитор может создавать музыку по заказу, а изобретатель - нет. Изобретатель не может изобретать ВООБЩЕ, как может ученый; изобретение всегда конкретно. Изобретатель не может повторять прошлого. Достаточно ли всего того, что было сказано здесь? Нет. Надо ликвидировать сами условия, при которых растут Дроздовы (апл.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется журналисту Чернявскому.

ЧЕРНЯВСКИЙ: Роман играет роль индикатора. По отношению к нему можно судить о разных читателях. Это первый роман после "Тихого Дона", "Брусков" и /?/, который имеет такое же значение (аплод.). Когда мы в Эстонии прочитали этот роман, то у нас некоторые даже пытались обвинить его в конъюнктурности: дескать, сейчас можно разоблачать недостатки. Но так могут говорить только чиновники. О них Маяковский сказал, что он ненавидит тех, кто коммунист только до шести, а потом коммунизм запирает с конторой. Здесь говорилось о Дроздове. Гораздо важнее дроздовщина. Мне кажется, что этот термин уже может войти в литературу, подобно обломовщине (апл.). Дроздовщина - это своеобразное разъедающее души явление. Наш век, век борьбы, очень сложен, и явление двойственности нашего времени глубоко охвачено Дудинцевым. Дудинцев сделал шаг вперед, он впервые вывел живых людей вместо манекенов, которые до сих пор встречались у нас в романах. Нам надо идти в русле этой книги и надо благодарить автора за то, что он написал такой своевременный и нужный роман (продолжительные аплодисменты).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет студент Зеленой.

ЗЕЛЕНОЙ: Я не буду подробно анализировать роман, все равно времени мало; напутаешь, поди потом доказывай о своих хороших намерениях! Раньше в период практики или теории бесконфликтности все произведения писались на тему: "Эх, хорошо в стране советской жить!" Жить верно, неплохо, никто с этим не спорит. Но можно было бы жить в сто раз лучше. А почему-то не живется в сто раз лучше. Раньше мы должны были закрывать глаза на все отрицательные стороны. Вы все знаете, попробовал бы я в 1950 году сказать с этой трибуны что-нибудь против Сталина! Сейчас нужно кричать о тех вещах, о которых раньше говорили шепотом. И в этом отношении книга Дудинцева - первая ласточка. Но одна ласточка весны не делает. Нужно требовать от наших писателей, чтобы они создавали много книг таких же острых, как книга Дудинцева (бурные апл.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов.Анохин.

АНОХИН: Дроздовы есть не только в изобретательстве. Они засели и в государственном аппарате и в научном. Разве эти люди на своих местах? Некоторые говорят, что конец благополучный; не очень-то он благополучный. Лопаткин вроде как победитель, но те же люди остались на своих местах, а Дроздова даже готовят в заместители министра. Нужно еще очень много бороться с Дроздовым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов.Милинкис.

МИЛИНКИС: Роман Дудинцева по-новому повернул моральную проблему. Раньше интересовались тем, что может человек ДАТЬ И ПОЛУЧИТЬ от советского общества. До сих пор писали, что люди могут мало получить. Дудинцев же показал, как мало человек может ДАТЬ обществу; что на этом пути стоят огромные препятствия. Я сейчас разбирал рукописи Г.А.Гуковского, скоро будет издана его книга (продолжит. апл.), которая, если бы она появилась вовремя, может быть изменила бы весь ход советского литературоведения. Во всяком случае, не было больших рецензий Дорофеева. К сожалению, в личных отношениях нет этой моральной проблемы. Здесь правильно говорили, что вопрос о "хлебе насущном" нельзя отметать. Быт в романе слишком принижен, и это плохо. Автор превосходно, тонкими штрихами, обобщает. Например: "Следователь не любил таких неясных дел, но почему-то все время ему поручали такие дела". Прекрасно описана сцена следствия, когда Надя Дроздова своими ответами, полными любви, топит Лопаткина.

Но роман не показывает, как ОБЩЕСТВЕННЫЕ отношения могли бы вынести Лопаткина. Вообще, недостаток романа в том, что тема "человек и социализм" не протянута через все узлы романа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет аспирантка Свердлова.

СВЕРДЛОВА: Я хотела говорить о трех вопросах: о Дроздове, о героях и о традициях. О Дроздове достаточно сказали другие. О героях. Помимо Дроздова огромное значение имеют те, кто потерял веру в бескорыстие. Именно поэтому так важен вопрос о "хлебе едином" сегодня. Об этом не сказали товарищи. Книга продолжает героические традиции советской литературы: "Ваня" и "Чудак". Зло приспособленчества нужно разоблачать. Вот я работаю в школе, так один раз имела разговор по душам с ученицей (не моей, другого класса). Мы с ней говорили о "Грозе". Так она вдруг сказала: "Знаете, а по-моему, Варя лучше Катерины". - "Почему?" - "А она лучше приспосабливаться умеет". Вот с этим нам, особенно тем, кто станет педагогами, надо бороться. Подвиг Лопаткина - это подвиг в буднях, это еще труднее, чем мгновенный подвиг (апл.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет студентка Комарова.

КОМАРОВА: Знаете, когда я читала этот роман, я сжимала кулаки. Это роман о смысле жизни. Когда у нас говорят о смысле жизни, то вспоминают там Гамлета и т.п., как будто у нас все ясно и не может вставать никаких вопросов. И книги-то все такие, что в конце является партийный руководитель и как бог из машины, все улаживает. А этот роман зовет к борьбе. Автор изобразил зло, изобразил силы, которые могут его поразить, хотя ему и неясны пути, как это сделать. Но автор не показал всех форм зла. Неверно говорят, будто бы борьба иссушает человека: борьба обостряет все чувства человека. Лопаткин глубоко человечен, он очень человечный человек. Вспомните, как Лопаткин слушает музыку. Так не умеет слушать музыку человек иссушенный; наверняка наши филоманы, которые каждый день бывают в филармонии, не все так воспринимают музыку. "Не хлебом единым" несколько напоминают "Искателей" Гранина. Но Гранину не удается так обобщать в деталях, как Дудинцеву. Вспомните, как "прокурор освобождает дело от всяких неясностей", или как следователь, страшно не любивший неясных дел, "шел и с досадой думал, что почему-то именно ему

попадали такие дела". Большое спасибо автору за то, что он имел смелость заставить героев говорить так, как говорят в жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Позвольте теперь сказать мне несколько слов. Сила произведения заключается в его глубокой народности. Народность заключается в том, что конфликты разрешаются с точки зрения интересов народа (шум, топот, крики). Очевидно, вам кажется глупым то, что я говорю... (голос: "Очевидно, да!").

РЕКТОР АЛЕКСАНДРОВ: Здесь, видно, собралось много любителей критиковать разные недостатки. Так вот, чтобы изжить недостатки, нужно не кричать, а работать, нужна деловая демократия. А так получается сборище новгородской черни. Любому из вас дадут слово, так вы и раскладывайте оратора, с которым вы не согласны, по всем правилам вашего собственного ораторского искусства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: И когда я читала роман, я поняла, что надо пересмотреть вопрос о типичности; образ Дроздова заставляет расширить рамки понятия типичности (шум). Роман дает перспективу развития советской действительности, так как советский человек по природе является... (Шум.) Слово имеет товарищ Петров.

ПЕТРОВ: Предыдущий оратор показывает, что в нашем литературоведении дело обстоит нисколько не лучше, чем в изобретательстве (апл.). Эта попытка "расширить понятие типичности" равносильна попытке изменить ГОСТ на два килограмма на каждую трубу! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Голос председателя: "Мы теряем время на шум".) Все предыдущее выступление - это попытка ввести этот новаторский роман в старые рамки, втиснуть его в старую терминологию. Нам сейчас надо говорить не о художественных особенностях романа, это не так актуально, а о его социальной значимости (апл.). Мы раньше думали, что в "Оттепели" Эренбурга и изображена самая большая правда. Но появился роман Дудинцева, и мы увидели, что в нем-то и содержится самая большая правда. Сравните образ Лопаткина и Сабурова из "Оттепели". Помните, как он тоже один, никем не признанный, работает над своими картинами? В свое время Симонов выступал против "Оттепели", теперь же он поддерживает "Не хлебом единым". Это показывает, что в литературе есть свои Шутиковы и Дроздовы. И автор, когда написал свой роман, тоже думал, что ему за это будет. Мне кажется, что только за то, что он решился написать такой роман, ему надо выдать медаль "За отвагу" (Апл.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет студент Орловский /однофамилец составителя стенограммы/.

ОРЛОВСКИЙ: Культ личности создал такую обстановку, что народ был на стороне Дроздовых. В этом была повинна и литература. Дроздову служила теория бесконфликтности, пресловутые разговоры о "коллективизме" (но я не знаю коллектива, которому пришла бы в голову гениальная идея). Борьба, которая показана в романе, это борьба Лопаткина и Дроздова за народ. Ведь при поверхностном взгляде какая может сложиться картина: Лопаткин - дармоед, живет за чужой счет, а Дроздов работает, не жалея сил. Но ведь на самом-то деле наоборот! (Апл.).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет тов.Пименов.

ПИМЕНОВ: Я хотел бы сказать об общественно-политическом значении романа. Не только в изобретательстве складывается у нас

такое положение дел, когда возникают тайные общества людей, пользующихся почти неограниченной властью, и заявляющих свою монополию на истину. Такое же положение и в истории, и в литературе, и в искусстве, и в философии, и в биологии, и в физике, и в языковедении, и в политике. Для этих монополистов на истину самое страшное, говоря словами романа: "Гласность, спор, сравнение - все это для них крест, скандал." Вот, например, был дискуссионный клуб, так некоторые Дроздовы испугались споров и сравнений и "распустили" клуб на "летние каникулы". Автор говорит, будто бы Дроздовым пришел конец. Это неверно. Дроздовы остались на своих постах, некоторые даже поднялись еще выше. Другое дело, что народ хочет положить конец дроздовщине! (Аплод.)

Пожалуй, самое большое зло не в Дроздовых, а в дроздовщине. Это - подлая система. Вот, например, когда я в 1951 разговаривал с одним умным, честным человеком, которого я уважаю, то он мне сказал: "Конечно, отвратительно, что преследуют евреев, но что же делать, если приезжала какая-то мадам и они за ней бегали!" Значит, он оправдывал то, что делалось тогда с евреями! А в 1955 году он говорил мне: "Ну, что вспоминать старое". Вот это и есть дроздовщина: поступать применительно к подлости, применительно к существующей подлости.

Я боюсь, как бы люди с "первоэтажной психологией" не захвалили роман, не вынули бы из него жала, не утопили бы его, как некоторые пытались сделать здесь, в пустых рассуждениях! (Апл.)

Я призываю вас: давайте покончим с дроздовщиной! (Апл.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет ректор университета А.Д.Александров.

АЛЕКСАНДРОВ: Я не имел намерения выступать, но предыдущий оратор вынуждает меня сделать это. Я Пименова знаю давно (голос: "А мы не знаем"). Он защищал у меня дипломную и сейчас работает у меня по геометрии. Первый раз я познакомился с ним, когда он подал заявление об уходе из комсомола и мне поручили беседовать с ним. Он тогда говорил о непротивлении злу и тому подобном. Потом мы беседовали с ним и он высказывал всякие там взгляды об американских бомбах, которые в то время падали в Корее (шум, крики: "Какое это имеет отношение к книге?"). Да, это мне принадлежит эта фраза (шум, топот, Ефимов - секретарь парткома - из президиума студенту: "Ну, чего топаешь?" Студент: "Не я один, все топают"). К сожалению, я не разговаривал с ним в последнее время, а то бы я узнал его взгляды на Египет и Венгрию (голос: "А он ваши"). Потом я его уволил из университета, и не жалею об этом (крики, шум, топот).

Здесь пытались говорить, что Дроздовы повсюду. Это неверно. Я не могу сказать, что я их видел повсюду (голос: "Плохо видите"). А я разговаривал с пятью министрами: с Пономаренко, с Александровым - и не один из них не был Дроздовым (голос: "Александров не Дроздов. Александров хуже Дроздова!"). Дроздовы, конечно, есть, но их вовсе не обязательно искать наверху. Надо уметь видеть Дроздова и среди вас самих и бороться с ним. Борьба с Дроздовым в первую очередь зависит от вас же, от того, насколько вы будете дисциплинированы. Конечно, с Дроздовыми надо покончить (апл.).

ПИМЕНОВ: Я прошу слова для заявления по личному вопросу (крики: "Дать слово!", "Не давать!", шум). Да, я действительно в 1949 году подал заявление об уходе из комсомола, ибо, как я писал в заявлении, мои взгляды противоречили требованиям, предъявляемым к комсомольцу. Одним из главных пунктов был вопрос о беспрекословном подчинении приказаниям высших инстанций. Вопрос же о непротивлении злу - совершенно ни при чем, не в нем было дело. Объяснять свои взгляды власть имущим я не считал тогда нужным.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Заключительное слово предоставляется автору.

ДУДИНЦЕВ: Благодарю за критику. Я поступаю, как советовал Фрунзе: выслушай всех, а поступи по-своему. Время, которое здесь потратили на шум, можно было бы использовать для деловых возражений. С Дроздовым нужно начинать бороться со студенческого возраста. Вот те из вас, которые здесь топали ногами, они-то легче всего и делаются Дроздовыми. Теперь я отвечу на записки. Меня спрашивают, вызывали ли меня куда-нибудь за мой роман. Вовсе нет. Я уже говорил, что моему роману дали "зеленую улицу"; с того самого момента, как пришло письмо Симонова, я знал, что его напечатают. Другое дело, что было время, когда я сам чего-то ждал, но это дело моей мелкой душонки. И это не имеет отношения к тому, что на самом деле у нас наступила весна.

Меня спрашивают, не является ли мой роман развитием "Оттепели". Я уважаю Эренбурга, как большого мастера, но имею свой взгляд на него: взгляд, который мне не хотелось бы высказывать здесь. Я не согласен с преемственностью из "Оттепели".

Меня спрашивают, почему я ничего не говорю о среде. Но об этом должен говорить сам зал.

Не следует ли перестроить систему? Не надо путать систему и силы. В системе есть и положительные, и отрицательные силы. С положительными силами мы боремся, отрицательные - отвергаем. То, что мы кричим и топаем ногами - это как раз и является показателем того, что система жива.

Вот опять спрашивают о мужестве. Мужества мне не потребовалось. Я, знаете, надел доспехи, сел на коня, взял меч и выехал сражаться. Езжу по полю и кричу: "Эй, выходи на бой!" - а никто не выходит. Не с кем бороться, никто и не нападает. Точно так же случилось и на обсуждении в ССП. Товарищи шли, думали, что придется бороться, рассчитывали, что обсуждение затянется на три дня, а оказалось, что никто не нападает, что все яростно защищают, а от кого - не от кого.

Какие недостатки вижу я в своем романе? Третья часть скомкана, я спешил скорее дать роман читателю. Образ Галицкого не доработан. В процессе работы он создался у меня, и я решил писать его вглубь, в прошлое. Не удовлетворяет меня и образ Жанны.

Тов.Дудинцев ответил еще на ряд вопросов, ответы на которые не записаны. Некоторое количество вопросов осталось незачитанным из-за позднего времени. Обсуждение закончилось в 00.30."

Тот, кто продерется сквозь скуку, бестолковость и приблизительность этой "стенограммы", тот увидит, что по своим мнениям я практически не отличался от стандартных мнений

большинства тех недель. Слияние моих чувств с чувствами, которыми жило все общество, шло полным ходом и достигало максимума. Такое ощущение "резонанса" - редкая удача в жизни. Мне она была дарована Судьбой. И еще - эта стенограмма очень точно отразила срез психического устройства тогдашнего общества. Но к этому я вернусь - если доживу - где-нибудь главе в 12, когда буду сопоставлять то общество с обществом тридцать лет спустя.

§4. Я встречаюсь с группой марксистов

Гальперин, Кудрова, Лейтман, Назимова, Шейнис; скованность марксистов и свободное мышление

Выступление на обсуждении Дудинцева здорово подняло меня в моих собственных глазах. До того времени мне ни разу не аплодировали на собраниях, да и все те выступления мои на собраниях сводились к оправдыванию по поводу нарушения комсомольской дисциплины, когда разбирались мои бесконечные "личные дела". А тут - публика предпочла меня прославленному оратору, член-корреспонденту Академии Наук, моему научному шефу. Я с восторгом повторял строфу:

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага.
Приятно зреть, как он упрямо,
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится.
Приятно, если он, друзья,
Завоет сдуру: "Это я!"

Ведь присутствующее в моем изложении юмористическое отношение к моему собственному выступлению тогда во мне отсутствовало начисто. И я оскорбился бы, если бы мне кто сказал, что я ничего не понял в романе Дудинцева, что я просто не прочел его. Напротив, я был убежден, что я моментально схватил его суть за счет верного понимания действительности. Словом, я был на верху собственных представлений об успехе. Кстати, прочувствовал я лишь свою победу над Александровым. Всяких там бубнящих по бумажке Рождественских и Иезуитовых я и во внимание не принимал - то-то именно они теперь доползли до законодателей литературоведения... В последующие дни мое самолюбие было польщено еще больше. Мне позвонили (уж не знаю, где они раздобыли номер телефона Вербловской) насколько незнакомых людей, которые поблагодарили меня "за гражданское мужество", "за то, что я сказал о преследовании евреев". Наконец, когда через несколько дней про это обсуждение ругательски отозвалась "Ленинградская правда" и, как мне рассказывали, Булганин произнес: "Начинают, как в Ленинграде, а хотят закончить, как в Венгрии", - мне показалось, что я признан всеми. Позже "Литературка" тоже ругала это обсуждение.

Но, как бы от похвал у меня не вскружилась голова, я - а особенно Ира - тем отчетливее ощутили, как на моей шее захлестнулась еще одна петля, заброшенная из той бездны, имя которой - арест. С этого дня ожидание ареста стало прямо-таки апокалиптическим. И тем активнее я действовал, тем более спешил завершить свое Дело.

После обсуждения ко мне подошла[28] незнакомая молодая женщина, отрекомендовалась Ирой Кудровой (на деле ее зовут Ирма, но она так не любит этого своего имени, что я о нем узнал только из протоколов допросов; кстати, только тогда же я узнал, что Иру Зубер зовут по паспорту Эврика). Она сказала, что есть несколько человек, которые желали бы, в силу моего выступления, познакомиться со мной, и пригласила меня к себе. Тут же был ее муж - Борис Гальперин.

Ирма Кудрова с дочкой Катей. Около 1960 г.

Через несколько дней я пришел. Она жила тогда в квартире мужа, в тесной клетушке, в Манежном переулке д.17, кв.20 недалеко от Спасского собора. Собралось несколько человек: они, Алла Назимова (позже бывал и ее муж Виктор Шейнис), Кира Лейтман и др. Для меня все они были чужими, не сразу выяснилось, что почти все они историки и хорошо знают Вербловскую, с которой вместе учились, что Алла так даже знала меня, когда в 1951 году меня в очередной раз исключали из комсомола. Она была тогда знакома с членом нашего комсомольского бюро Сергеем Ермаковым, который делал доклад о том, что я увлекаюсь Ницше и идеалист, а потому пропускаю лекции и должен быть изгнан из комсомола (что почти неизбежно влекло бы исключение из университета как идеологически нездоровой единицы). Поэтому она сразу стала расспрашивать меня о Ницше, о котором я и думать забыл в то время.

Что они были за люди? Совсем иные, нежели мы, математики. Прежде всего, говоря "они", я имею в виду тех из них, которых я еще не перечислил: Анатолия Соскина, отсутствующего в Ленинграде, и Николая Миролюбова, а возможно - и других. Давление этих отсутствующих ощущалось все время. Позже я узнал, что они были раздираемы раздорами по вопросу: идти ли на встречу со мной. Наиболее осторожные считали, что противопоказан контакт с человеком, публично себя выказавшим. Пришли наиболее тянувшиеся к действиям.

Эти люди психологически и генетически были людьми типа Кудровой и Шейниса, которые, кстати, были школьными приятелями. К тому же кругу принадлежала Ира Вербловская. Это были в основном историки по образованию. А историки, в отличие от математиков, как известно, у нас обучались не бескорыстию мысли, а пристрастности мысли. Критерий "таковы факты" им приходится прятать в карман вместе с кукишем, прибегая к критерию "такова

[28] О завязывавшихся в это время моих полулегальных контактах я рассказываю ТОЛЬКО то, что установлено следствием. Поэтому, в частности, обхожу молчанием десятки знакомств. И когда я читал мемуары Володи Буковского, я все примерял: тот "доцент", с которым он конспиративно встречался в 1956 году - из моих или нет? Но вряд ли мы с ним встретимся и уточним приметы и реалии...

обстановка". Возраста они были примерно моего, на год-два старше. Миролюбов был уже кандидатом наук и преподавал марксизм. Кира была студенткой в Текстильном институте, где Алла преподавала марксизм и была членом бюро ВЛКСМ. Виктор поступал в аспирантуру. Все они до 1953 года были не просто глубоко убежденными коммунистами (без партбилета), а сталинцами. Шейнис так неоднократно выступал с ортодоксальными речами в ЛГУ и, кажется, даже в одной травле принял участие, будучи убежден в своей идейной правоте. Кудрова принадлежала к тому слою обеспеченности, который мог в годы войны позволить себе ПРОДАВАТЬ ХЛЕБ. Ее папа, с которым она всегда была в хороших отношениях, был в это время начальником топливснаба г.Ленинграда, т.е. автоматически входил в обком и, кажется, даже в бюро обкома. Сама она работала по литературоведению, не помню, тогда или позже устроившись в Пушкинский дом. Все они трагически переживали смерть Сталина, как и Вербловская, рыдали и т.п.[29].

События после 1953 года: история с Берией, развенчание Сталина, выплывшая наружу грызня между вождями, подготовка к XX съезду партии, слухи о реабилитации, пересмотр установок - начисто опрокинули в них все устоявшиеся взгляды и представления. Они резко кинулись в противоположную крайность - так мне кажется. Они стали отрицать существующий строй, не признавая, что он - социалистический, стали доказывать, что все, что делалось после смерти Ленина, явилось ошибкой. Они стали выступать за "настоящий" марксизм, за "настоящий" социализм. Конечно, я преувеличил, написав, что ВСЕ их взгляды рухнули. Они были воспитаны в марксистской терминологии. Они остались марксистами и после развенчания вождя народов, но марксизм их стал приобретать оттенок социал-демократизма. Они, разумеется, исходили из теории классовой борьбы и с порога отметали мои заявления, что "класс" - это фикция, и т.п. Настроения и способ аргументации людей такого склада, как они были тогда, можно лучше понять, прочитав "Российский путь построения социализма" Варги или "Новый класс" Джиласа. Конечно, я не утверждаю, что их взгляды СОВПАДАЛИ со взглядами Варги или Джиласа (тем более, что тогда ни Варга ни Джилас не написали еще своих работ, и выпущены в самиздате они были много лет спустя); разумеетеся, я ничего не могу сказать о нынешних взглядах лиц, относившихся к кругу Кудровой-Шейниса. Но, тем не менее, когда я читал и Варгу и Джиласа, а особенно, когда я сопоставлял их связанную аргументацию с раскованностью аналогичного трактата Сахарова, мне вспоминались нескончаемые разговоры, которые я вел в 1956 году с этими марксистами.

---

[29] Разумеется, политический облик человека не исчерпывается его рыданиями в день похорон Сталина (тем более, что и в лагерях я встречал сидящих по 58-й, которые, сидя с "четвертаком", искренне рыдали от горя в тот день). Были и у Вербловской, и у наших историков и противоположные факторы. В первом приближении я их обрисовал правильно, а в глубины чужой психики я здесь спускаться не вправе. Пусть каждый сам напишет о себе. (Это было написано в 1968 году. Никто из них не пожелал писать о себе. Напротив, они же "при одном воздержавшемся" проголосовали обращенный ко мне ультиматум немедленно сжечь мои мемуары. А последующая их жизнь показала, что я не только в первом приближении, но и точнее угадал их. Шейнис работает в институте, планирующем экономические и др. акции в Африке, Назимова - в социологическом институте.)

Ознакомившись с моими высказываниями и произведениями, они, не колеблясь, отвергли их. Я был для них чем-то диким. Они изумлялись, как может человек мыслить так поверхностно, эклектично, не научно (т.е. не по-марксистски). Ведь есть же марксизм - есть хорошая система взглядов. Нужно эту хорошую систему взглядов применить к неискаженной действительности, наполнить ее современными фактами - вот и будет подлинная наука. Он же, Пименов, мыслит абсолютно антинаучно, абсолютно непоследовательно. Где у него классовый подход?! - Нет классового подхода. Где материализм?! - Нет материализма. И так далее...

Но в первый вечер они еще не успели выказать свое неприятие меня. Тогда они в основном расспрашивали меня о моей биографии. А мне было что порассказать. Прежде всего их интересовала история с моим уходом из комсомола, о которой упомянул Александров, а затем мое отношение к Ницше.

§5. Рассказ о том, как я уходил из комсомола

"10 дней, которые потрясли мир" и "Краткий курс", сопоставленные в 1947 году; анархизм как ветвь социалистической мысли; лысенковщина; "фашистская банда Тито"; Галя Матвиевская и Яша Фельдман; знакомство с А.Д.Александровым; сумасшедший дом; Небольсины; Ницше; Сергей Ермаков, Валя Пунина и Света Богачева; исключение из ЛГУ

Усевшись на маленький диванчик в тесной и едва освещенной комнате, я начал рассказывать слушателям, расположившимся против меня на стульях и кресле:

- В комсомол я вступил весной 1947 году, чтобы сделать приятное своей матери, которая уже давно требовала от меня этого. Не то чтобы до 1947 года (я вступил в комсомол, кажется, в феврале, а в мае мне исполнилось 16 лет) я уже ощущал себя противником и имел принципиальные возражения. Как-то я не видел - зачем вступать? Идейности в этой организации я не ощущал, тарабарить трафаретки мне было не по душе, бороться за дисциплину в школе и не имел ни малейшего желания (я почти все время сам имел по поведению четверку, хотя почти по всем предметам у меня были пятерки; кроме того, я считал для себя непременным, сидя на первой парте, безотказно подсказывать всем отвечавшим). С другой стороны, в это время мы с матерью жили вдвоем, она болела, и мне было бы приятно порадовать ее. Вот я и порадовал - принес комсомольский билет... Кабы знала она, чем обернется такая радость!

Через пару месяцев я прочитал две книги: "10 дней, которые потрясли мир" и "Краткий курс истории ВКП(б)". Первую я выменял на марки у одного школьного приятеля (я только что перестал увлекаться марками и начал увлекаться книгами; правда, обмен состоялся чуть ли не год назад, но за недосугом я открыл книгу только теперь). Вторую книгу дал мне муж сестры моей матери Орест Николаевич Макаров - убежденный партиец, участник штурма Кронштадта в 1921 году, работавший по монтажу электропроводки при строительстве Большого Дома, инженер. Что произошло при столкновении этих двух книг в моей голове? Джон Рид-то был с предисловием Ленина (в то время у меня не возникало никаких сомнений в авторитете Ленина), а прославлял Джон Рид - Троцкого. "Краткий курс" восхитил меня своей логичностью, афористичностью, линейностью концепции (видимо, несмотря на то, что в те времена я мечтал стать историком, во мне уже проявлялся математический стиль мышления). Но так как Троцкий выступал там лютым злодеем, то я сразу воспринял эту логику как последовательное рассуждение с ложными посылками и соответственно отнесся к даваемым выводам. Приложения к действительности я еще не сделал никакого.

Впечатление, произведенное на меня столкновением этих двух книг, вскоре перекрылось потрясением от "Речей бунтовщика" П.А.Кропоткина, купленных мною в букинистическом магазине немного позже. Если то столкновение открыло мне глаза на то, что В ОФИЦИАЛЬНОЙ КНИЖКЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПЕЧАТАНА НЕПРАВДА, то Кропоткин открыл мне глаза на ТО, ЧТО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ДРУГОЙ СОЦИАЛИЗМ (КОММУНИЗМ), ОТЛИЧНЫЙ ОТ НАШЕГО.

Подобный шок многие, знаю я, испытали в связи с Югославией. Именно поэтому Сталину было жизненно необходимо любой ценой доказать, что в Югославии не социализм, а фашизм. Ведь допущение того, что существующее - не единственно возможная форма бытия, катастрофично для всякой доктрины, претендующей на "единственно истинное, подлинно научное" объяснение всего сущего, Переворот, произведенный в мировом коммунистическом движении допущением ДВУХ равноправных форм НАСТОЯЩЕГО социализма, можно по праву сравнить лишь с переворотом в геометрии, произведенным открытием НЕЭВКЛИДОВОЙ геометрии. Не случайно Гаусс всю жизнь боялся признаться в этом открытии. Боян покончил с собой, а Лобачевский остался непризнанным, осмеянный, ошиканный Остроградским и Чернышевским. Есть истины, которые трудно вместить человеку, разве что незаметно, с детских лет.

А я воспринял эту истину в таком благодатном возрасте! Для меня не было переворота, было ОТКРОВЕНИЕ. И это было счастье. Пытаясь упорядочить свое прошлое, я думаю, что именно тогда я стал воспринимать большевиков не как вождей и руководителей, а как равных. Ведь И ДРУГИЕ боролись за великое дело социализма. За справедливость. За освобождение труда. За свободу. Боролись столь же равноправными методами, а вовсе не были "недопонимающими" или "агентами буржуазии". С тех пор я престал пользоваться двумя красками: черное и белое, друзья и враги, наши и чужие - в политической области (для того, чтобы я распространил многоцветность восприятия на область морали, потребовались Шопенгауэр и Ницше пару лет спустя).

Разумеется, я был юн, а следовательно, мог существовать только в крайностях. Моментально я почувствовал себя "анархистом", отверг построенный большевиками социализм (у меня не возникало и тени сомнений, что существовавший при Сталине строй - это и есть точная реализация марксовского социализма), возненавидел Маркса как человека, оклеветавшего Бакунина (ведь, став агентом анархизма, я прочел сразу массу книг о нем и его истории). Что я в то время знал о действительности? Ровным счетом ничего. Тем легче мне было ее отвергать. Я читал у Кропоткина критику Маркса, его предостережения: во что выльется государственная форма коммунизма - и обнаруживал справедливость его предсказаний (бесценную услугу в этом отношении мне оказал сталинский "Анархизм и социализм", подробнее см. §1 гл.4), обращаясь к выхватываемым иллюстративным фактам своей "многолетней" жизни. (Прочитал я написанное и подумал, что упростил вехи своего развития. Ведь не только Рид, "Краткий курс" и Кропоткин были в моей жизни. К 1947 году я прочел уже полностью и Герцена, и Мережковского, и Достоевского, и Ключевского. Так что почва для самостоятельного восприятия была. Впрочем, и Бунина, и Блока, и Пастернака я прочел лишь десять лет спустя! Кстати, как точно сказал Мандельштам: "Разночинцу... достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова"[30]. Было главное

[30] Обо всех этих и других влияниях будет сказано в гл.4. Там же я внесу коррективы и в формулу Мандельштама, в которую, увы, не укладывается МОЯ биография. Внесу коррективы и в свой собственный рассказ - ибо я здесь пишу не свою биографию, а вспоминаю, что рассказывал в ноябре 1956 года тем слушателям, моим ровесникам,

для самостоятельной оценки действительности: я вырос в сознании того, что история человечества не начиналась с 1917 и с Маркса...)

В таких чувствах, окончив школу в 1948 году, я, оставаясь одержимым любовью к истории, счел за благо не идти на исторический факультет, ибо отчетливо осознавал, что "там мне свернут шею не позже, чем через полгода", - как я тогда говорил. Я поступил на матмех ЛГУ. Оснований для такого прогноза у меня было много. Я видел, как отрицательно относилась мать к моим политическим высказываниям. Знал от соседа (чуть моложе меня), что его мать (то ли завуч, то ли завроно Горская) окрестила меня "контрой ходячей". В это время у нас в школе (в 155-й) возник кружок (Володя Баскин, Олег Лебедев) самообразования (неофициальный, конечно), из которого я упомнил лишь, что мы читали книжку Корнея Чуковского (издания времен Гражданской войны, от этой книги Чуковский потом открещивался всю жизнь), в которой развенчивался Некрасов. То обстоятельство, что Некрасов сам травил псами крепостных, как описано в его "Псовой охоте", вызвало во мне омерзение к нему и, в свете общего моего отношения, послужило лишь подтверждающим штрихом: "Ну да, они выбирают в качестве образцов в школьные хрестоматии исключительно таких лицемеров и подлецов, как они сами". Странно, что как раз тогда я страстно любил Маяковского, несмотря на то, что опостылевшая мне официозность преподносила его "как лучшего и талантливейшего" ее собственного певца. Тогда я был готов отрицать Пушкина ради Маяковского (хотя наизусть знал "Онегина").

В 1948 году состоялась знаменитая сессия ВАСХНИЛа. К ней я был несколько подготовлен: моя мать преподавала биологию, отец работал в бактериологической лаборатории и, когда я приезжал к нему, рассказывал мне о мутациях. "Литературная газета", кажется, еще с осени 1947 года начала травлю Шмальгаузена (а с появлением сенсационной статьи о Гарри Трумэне я систематически читал "Литературку"). В порядке "переподготовки учителей" мать обязали изучать стенограмму сессии. Она кряхтела, что "в который раз приходится переучиваться", но добросовестно конспектировала нужные выступления Лысенко с гопкомпанией. Где не понимала, позвала меня на помощь. Я же прочел, подчеркнул и отметил закладками всю книгу. Меня возмутила недемократическая атмосфера, заглушающие выкрики с мест, подтасовка присутствующих: противников Лысенко известили о начале сессии за день-два, правительство произвольно назначило академиками ряд сторонников Лысенко с тем, чтобы изменить соотношение голосов. Если прежде ложь я видел в политике и истории, еще в литературе, то тут ложь перекочевала в науку. Я говорю "ложь", потому что, хотя практически ничего кроме плохо понятых рассказов отца о мутациях (которые, кстати сказать, шли вперемежку с рассказами об "открытиях" Бошьяна и Лепешинской), не знал о генетике, для меня было довольно, чтобы понять ненаучность и даже антинаучность ПРИЕМОВ господина Лысенко. А так как и Лысенко и его партийно-государственные покровители неразрывно увязывали лысенкизм и самую передовую в мире идеологию, лысенкизм и завоевания советского строя, а противников лысенкизма разоблачали на месте как продавшихся американскому империализму (история с

дышавшим одним со мной воздухом детства.

президентом АН Белоруссии Щербаком, заклейменным как антипатриот за помещение статьи в американском журнале, и пьесе Симонова "Чужая тень"), то мое отрицательное отношение к идеологии и строю лишь укреплялось.

Преследования евреев, музыкальный погром, травлю критиков и писателей я не заметил, просто это прошло мимо меня. Поражаюсь - как, но таков факт моей биографии. От борьбы против космополитизма я воспринял только смешные ее моменты, вроде анекдота "Россия - родина слонов" и "Космополит - космы палит". Конечно, помянутое поминание стало приторным, но не более.

Зато конфликт с Югославией я воспринял, пожалуй - если это только возможно, - в еще более чудовищных формах, нежели он развивался. Это был кошмар и ужас. Больший ужас, чем последовавшая вскоре война в Корее. (Повторяю, речь идет о моих субъективных оценках того времени, меня самого они сейчас порой поражают.) Когда в августе 1949 года СССР направил Югославии одну за другой две ноты, в одной из которых югославское правительство обзывалось "хвастливым злостным дезертиром" и которая заканчивалась даже без дипломатической формулы вежливости: "Надеемся, что югославское правительство поймет, что оно не может рассчитывать на любезности и, тем более, на уважение к нему со стороны советского правительства”[31], я написал статью "Две ноты", в которую вложил всю мою боль того времени. Эту статью я дал прочесть паре приятелей из которых один, Володя Баскин, будучи евреем, был, видимо, более озабочен космополитизмом и отнесся к статье безразлично, а другой, Юра Волков, прочтя, старательно сжег ее.

Тогда же я написал статью о "Моих записках" Л.Андреева, которые я интерпретировал как изображение советского режима! То есть, конечно, я знал, рассказ этот был напечатан в 1908 году, но все равно... Что-то еще я писал летом-осенью 1949 года, но забыл, что именно.

К этому же периоду относится еще одно расширение моего кругозора (это как в горах: дойдешь до хребта - и обозримость возрастает в несколько раз). С некоторыми вузовскими приятелями мы затеяли нечто вроде кружка самообразования (не считая того кружка, который у меня был на матмехе по более глубокому изучению математики). Наметили кое-что прочесть за лето, осенью доложить друг другу и обменяться мнениями. Хотели читать Библию, но нам ее не дали в Публичной библиотеке (в студенческом зале, который помещался тогда на Садовой). Взамен мы решили читать Шопенгауэра. Какой логикой мы руководствовались при такой замене - не в силах вспомнить. Впрочем, мы наметили многое. Я помню только две книги, реферировать которые досталось на мою долю: Шопенгауэра и Моргана "Древнее общество". Вторая не оставило заметных следов в моей судьбе, а "Мир как воля и представление" и сейчас представляется мне произведением, увлечение которым должен пройти всякий, желающий изучать философию.

До той поры, при всем моем отношении к "Краткому курсу", я безоговорочно принимал его IV главу - изложение диалектического

[31] "Правда", 31 августа 1949.

материализма. Ясно, четко, логично, убедительно, верно. Ничто не затуманивало мышления в этой главе.

И вот я узнаю, что не материя, не сознание, а ВОЛЯ является тем, что лежит в основе мироздания. Короткий, но страстный пассаж обнажал внутреннюю противоречивость материализма, как философского учения, оставляя его в удел неграмотным практикам. Само противопоставление "материя - сознание" оказывалось частным вопросом в сфере представления и никоим образом не могло претендовать на роль коренного вопроса философии. Словом, Шопенгауэр сделал для моего философского развития то же, что Кропоткин для политического. И на несколько лет я сделался поклонником ВОЛИ. Правда, должен заметить, что с самого начала я не понял аргументации Шопенгауэра, долженствовавшей показать, что Воля в мире единая, единственная. Мне казалось, что из его учения логически вытекает наличие огромного числа независимых друг от друга воль, сталкивающихся друг с другом. Эту ошибку Шопенгауэра исправил Ницше и экзистенциалисты (о которых я тогда еще не знал).

Впрочем, о Ницше я кое-что слыхивал. Например, читал Короленко - его рецензию на горьковского "Человека", который, по мнению Короленко, являлся перепевом вредных и уводящих в сторону идей Ницше. Я переписал из собрания сочинений Горького "Человека" себе на листки бумаги, дабы легче было учить его наизусть в трамваях, на лекциях и т.п.

В таких-то чувствах вышел я в обязательном порядке на демонстрацию ликования 2 октября 1949 года по поводу победы китайских коммунистов во главе с Мао Цзе-дуном над кликой Чан Кай-ши.

О чем именно я разговаривал с рядом идущими (мы несли какие-то знамена и портреты) - не помню, как ни стараюсь вспомнить. Но вдруг я услышал от студентки нашей группы Гали Матвиевской: "Как же ты при твоих взглядах можешь оставаться в комсомоле?!"

Вопрос был простой, как колумбово яйцо - недаром она потом стала доктором физматнаук и член-кором Узбекской АН - но не приходивший до того в голову. Ее негодование было искренним и законным, что мне ответить - я не знал.

Я.С.Фельдман.
Ленинград, 1948 г.

Наутро в понедельник я сказал ей, что подам заявление об уходе из комсомола. Она, по-видимому, восприняла это как должное, во всяком случае, не более важное, нежели обсуждение вопроса о каких-то театральных билетах. Но присутствовавший при разговоре мой приятель, староста курса и член партии, фронтовик, Яша Фельдман расценил это иначе. Он сразу пустился уговаривать мня "не делать глупости" и, как минимум, повременить. Как я узнал позже, он сразу же информировал о готовящемся шаге и курсовое и факультетское бюро как комсомола, так и партии; в соответствии с указаниями оттуда он удерживал меня "от авантюры". Надо сказать, что никаких угроз ни от него, ни от кого другого в этой связи я не слышал. Разве что подразумевалось

без явного упоминания нечто безлико-ужасное, как описано в конце §2. Но основной упор делался на прекрасную карьеру, которая меня ждет в случае безмятежного окончания университета и поступления в аспирантуру. Никто не сказал прямо, что исключение из комсомола повлечет исключение из университета, но, видимо, это подразумевалось так непреложно, что на вопрос Миши Соломяка: "Зачем ты это сделал, Револьт?!" - я ответил, не задумываясь: "Хочу посмотреть, какая формулировка будете в приказе об отчислении меня из университета."

Кроме описания перспектив, Фельдман говорил со мной и о мотивах моего заявления. Конечно, они порасспросили-таки Матвиевскую о тех высказываниях, которые ее возмутили. Они заверили ее, что и с такими взглядами я могу оставаться в комсомоле, перевоспитаюсь. Лишь бы она "сняла свое возражение против моего пребывания в комсомоле". Это она и сделала в субботу 8 октября, когда Фельдман привел меня к ней на квартиру. Но тут я повернул вспять. Я не говорил о своих взглядах с момента принятия решения. Я берег себя до собрания. На собрании же я хотел высказаться. (У меня было наивное представление, будто исключать из комсомола можно только на собрании!) Мне нужна была аудитория, которую я хотел зажечь, бросив обвинение существующему строю (в отличие от 1956 года, в то время я не проводил в своей душе и тем более в высказываниях различия между строем и правительством). И я готовился. Но я боялся, что если я выскажу свои взгляды ДО, то меня просто арестуют, и никто не услышит моего пламенного призыва. Я был готов на арест и смерть. Но не хотелось умирать невыслушанным. И я темнил, когда фельдманы старались исповедать меня. Уходил в заоблачные эмпиреи, говоря что-то о законе отрицания отрицания, о подчинении меньшинства большинству и т.п. Кроме самой Матвиевской и отчасти Фельдмана, с которым я был близок до того, другие могли, при большом желании, подумать, что тут речь идет просто о переучившемся студенте, которого тяготят муки интеллектуальной честности в связи с сомнениями в понимании одной из черт материалистической диалектики.

И 10 октября я явился - деревянной походкой - в комнату комсомольского бюро (на втором этаже матмеха, где в шестидесятые годы помещалась преподавательская) и вручил секретарю Леше Дадаеву свое заявление:

"В связи с тем, что мои убеждения расходятся с требованиями, предъявляемыми к комсомольцу, прошу Вас не считать меня более комсомольцем, каковым я перестаю себя считать, начиная с сегодняшнего дня, ПИМЕНОВ. 10.10.49."

Мне помнится, что Дадаев - уже дано ждавший меня с заявлением - не задал ни одного вопроса. Не могу припомнить, потребовал ли он у меня билет, отдал ли я его или приберег для собрания. Мне ожидалось, что за вручением заявления последует взрыв чего-то небывалого; его молчание обескуражило меня, я потоптался и неуверенно вышел.

Примерно через неделю со мной первый раз официально беседовали по поводу заявления. Дадаев и два-три комсомольских

работника. Задали вопрос: "С какими именно пунктами Устава ВЛКСМ Вы не согласны?" Устав лежал тут же на столе. Растерявшись - я-то готовился к бою, а тут такая будничность и мелочь - я ткнул почти наугад (они, бесспорно, заметили, что я сам не знаю, что назвать), и выпало: "Демократический централизм". Должен сказать, что я до сих пор не понимаю, что это такое, если уж говорить серьезно[32]. Но тогда я провозгласил, что это-то и есть то, из-за чего я ухожу из комсомола. После нескольких пустых фраз разговор закончился.

Через несколько дней Фельдман с Дадаевым свели меня в партбюро. Мне был задан какой-то вопрос, я понес какую-то философскую чушь. Секретарь партбюро С.В.Валландер оборвал было меня: "Ну, это, разумеется, чушь." Импозантный мужчина, до того незнакомый мне - это оказался профессор нашего факультета А.Д.Александров - остановил Валландера широким жестом: "Пусть оратор выскажется!" - дал мне договорить. И начался наш первый с ним диалог (прочие далее до самого конца не вмешивались). Пожалуй, этот разговор имел только два последствия. Во-первых, полюбив лично Александрова (он очень обаятельный человек), я после этого стал специализироваться по геометрии, хотя вроде ощущал больше склонности к алгебре. С тех пор и до сих пор Александров все время выступает то официальным, то неофициальным моим научным шефом. Другое последствие: я стал отождествлять коммунизм с фашизмом. Произошло это так. В процессе разговора, восхваляя существовавшее в нашей стране в то время, Александр Данилыч сослался на мнение ему известного эмигранта-антифашиста:

"Правда, на первый взгляд мне показалось, что и там и там одинаково. Та же официальная ложь, тот же нахально-самодовольный тон газет. Но когда приглядишься, то понимаешь, что там все это на пустом месте, не оправдано никакой великой целью. А здесь - все это стало внутренне необходимо для счастья человека и светлого будущего".

До того времени сравнение сталинского строя (который я тогда отождествлял с марксовским коммунизмом) с фашизмом мне ни разу не приходило на ум. Тут же меня как озарило. Медведь тушил пожар.

Признаюсь, меня тогда поражало, почему они тянут и не вызывают "органы". Единственное объяснение, которое я в состоянии дать, основано на более поздней информации. Я не знал тогда - а они очень хорошо знали - что в Ленинграде только что прогремело дело Вознесенского, Кузнецова, Попкова[33]. Тревожная обстановка того времени могла заставить партбюро - не грешившее излишним либерализмом - не раздувать дело. Они могли опасаться, что если об

[32] Разве что по анекдоту: "Когда каждый порознь - против, а все вместе - за". И, конечно, я прекрасно понимаю, ПОЧЕМУ этот пункт был включен в устав партии и комсомола.

[33] См. §12 гл.4. Кстати, процесс Попкова (начало 1950 года) проходил в Ленинграде как ОТКРЫТЫЙ (впуск был по билетам). Точно так же открытым по билетам был процесс Абакумова (1954 год), которому вменялось стряпание дела Попкова. Возможно, что не все по ленинградскому делу были уже арестованы в октябре 1949 года, но сняты были все. В частности, ректор университета слетел уже, мы несколько лет жили под ВРИО.

этом случае станет известно наверху, в органах, то по факультету пройдется чистка, перетряхивание, возможно - аресты (как же, проявили небдительность, допустили такой позорный случай!). Поэтому, возможно, они сами себя позволили (сознательно или бессознательно) убедить, что я - просто переучившийся студент, к тому же способный и русский. Что же касается ГБ, то я никак не умею выбрать между двумя версиями: 1) оно знало о моем заявлении, но по необъяснимому либерализму не хватало меня; 2) оно имело столь скверную сеть осведомителей, что ничего не знало.

Я думал, что все закончилось, но события, оказывается, только начинали разворачиваться.

Через пару дней Фельдман объявил нашей группе, что всех вызывают на очередной (первый) осмотр к невропатологу в университетской поликлинике. Пришли почти все, в том числе и я. Нескольких человек из нас, в том числе меня и Фельдмана, врач направила в психдиспансер "на консультацию". Осмотр оказался консилиумом, человек 10-15 врачей во главе с судебно-медицинским экспертом профессором И.И.Случевским. Осматривали меня, а Фельдман пояснял, что Пименов проявляет признаки ненормальности, что подтверждают все студенты его группы. Случевский, как бы шутя, спросил меня: "Что бы Вы сказали, если бы мы предложили Вам некоторое время полечиться у нас в стационаре?" Я ответил: "Сказал бы, что Фельдман ошибся." Мне было назначено явиться к упомянутому врачу диспансера 12 ноября.

Тем временем Дадаев свел знакомство с моей матерью (Фельдман был знаком и ранее). От матери (которая даже поэму Асвагоши "Жизнь Будды" считала антисоветчиной и требовала от меня ее выкинуть) у Дадаева сложилось мнение, что все политически дурное во мне исходит от моего отца (с которым мать развелась три года назад и который жил в Москве). Дадаев отправился на почту, где я получал "до востребования" письма от отца, предъявил свое удостоверение комсомольского босса и потребовал, чтобы ему выдали письма на мое имя. К его искреннему удивлению и неописуемому возмущению, ему отказали, объяснив, что без санкции прокурора не имеют права. Немало гневных слов произнес он потом в адрес бюрократизма и формалистики.

10 ноября 1949 года к вечеру я был дома с матерью. Явились Дадаев и Фельдман "пить чай". Мать их радушно угощала. Что-то мне показалось в них подозрительным. Я ушел в свою комнату; они сделали вид, что все в норме. Мы жили тогда на пятом этаже в служебном пришкольном помещении (мать была завучем): комната, где пили чай, коридор и чуланчик в конце коридора, где располагался я. В этом конце коридора была дверь в здание школы. В противоположном - запиравшаяся на крюк дверь черного хода, которым почти никогда не пользовались. Я вышел в обычную дверь, захватив с собой некоторые бумаги и дневник, которые я вдруг почувствовал необходимость спрятать вне дома. Спускаясь, на третьем-втором этаже я встретил знакомую учительницу Ковалевскую. Она, слащаво улыбаясь, заговорила как с младенцем: "Куда это Волик собрался вечером?" (Раньше мы с ней практически не разговаривали, кроме формул вежливости, когда она приходила в гости к матери или когда я ее встречал, проходя через школу.) "К приятелю", - буркнул я. "А зачем это Волик идет к приятелю, когда

к нему пришли два приятеля?" Я мгновенно постиг заговор, что меня не выпустят, если не она, то уборщица внизу. Вихрем взлетел по лестнице, не тратя слов, прошмыгнул по коридору, бесшумно снял крюк и скатился по черному ходу. В воротах оглянулся: никто не следит - и на трамвай. Я поехал к одному знакомому - Олегу Лебедеву, с которым вместе учился в IX и части X класса (пока меня не вытурили). Тогда он учился на медика. Ему я рассказал ситуацию, прокомментировав, что меня хотят посадить в сумасшедший дом, как мне стало теперь ясно, насильно. Его мать вроде бы не принимала участия в разговоре, но поила усердно чаем. Несколько раз я порывался встать и уйти, но она мягко удерживала меня угощением. Когда я поднялся уходить, неожиданно для меня в прихожей (коммунальной квартиры) находились два дюжих санитара в белых халатах. Как им стало известно - до сих пор не знаю. Толстая тетрадь - дневник - покоилась у меня по обыкновению (за отсутствием денег на портфель) на животе, подсунутой за ремень. Я осторожно высвободил ее и дал соскользнуть в угол дивана. Глазами указав на нее Олегу. (Этот дневник потом сожгла мать Олега.) Санитары обхватили меня под руки. Я было вякнул: "Зачем, я и сам пойду". - но как-то нутром осознал, что всякие слова бессмысленны с ними. Тут действовала уже машина.

Эта машина меня обыскала, раздела, выкупала, одела в больничное белье. При этом обнаружила в кармане горьковского "Человека", которого приобщили к истории болезни с пометкой:

"При больном обнаружено воззвание к товарищам, содержащее идеи явно бредового содержания".

С диагнозом "шизофрения" я был помещен - слава Богу - не в буйное отделение. Мне там было неплохо. Меня почти не "лечили", кроме разве лишь уколов хлористого кальция. Это великое благо, ибо я видел как корчились те, кому выпал жребий электрошока или инсулинового шока. Публика была почти здоровая: парочка неудавшихся самоубийц, десяток алкоголиков и еще в таком роде. Затесался было бывший прокурор, который плевал на пол, растирал плевок ногой и кричал: "Я Сталина в порошок сотру!" - но его живехонько препроводили в буйное отделение. Из буйного вечно доносились крики, и мне не раз приходилось там наблюдать сцены, которые я тогда расценивал как явное избиение больных. Бумагу мне передали (мать навещала меня, слала передачи), и я принялся записывать быт сумасшедшего дома. Я уже отмечал, как мало я знал реальную жизнь, как узок был мой жизненный опыт. Вот я и торопился ухватить и записать новое для меня. Контрабандой попытался я переслать эти записи моему приятелю Жене Борисовскому, но он сказал, что не получил их.

В конце ноября приехал мой отец, который, рекомендуясь врачом (он был ветеринарным врачом), потребовал ознакомить его с историей болезни. Когда он дошел до диагноза "Человеку" (он же с гимназических лет помнил "Человека" наизусть), ему показалось, что это он сошел с ума. Он поругался с врачами без ощутимых результатов[34]. В конце декабря мне устроили второй консилиум, на

[34] Добиваться освобождения через суд было бы невозможно: такая процедура не предусмотрена законодательством. Более того, по действовавшему тогда УК:

этот раз под руководством профессора Голанд. Она, можно догадаться, признала меня здоровым, ибо на завтра "лечащий врач" объявил мне, что они меня выпишут. Без видимой связи он внушительно посоветовал мне взять назад мое заявление о выходе из комсомола. Я пропустил совет мимо ушей, но пробормотал нечто, что можно было принять за согласие подумать. Видимо, они не нашли у меня ни следа, за что можно зацепиться, ибо даже не обязали стать на учет в диспансере. 24 декабря меня выпустили из этой больницы № 2 на углу Мойки и Пряжки[35].

Я быстренько сдал экзамены - мне была важна стипендия, и поэтому троек у меня не было. Но пару четверок схватил-таки. Я полагал, что история окончена и я развязался с обременявшим меня комсомольским билетом. Я ошибался.

На каникулы я поехал в Москву. Там другая сестра моей матери - Евгения Михайловна Небольсина (муж ее, полковник пограничных войск НКВД, погиб под Гомелем в январе 1944 года) ультимативно объявила, что она не позволит мне встречаться с ее детьми, с которыми я был очень дружен - Наташей, Алешей, Сережей - до тех пор, пока у меня в руках не будет комсомольского билета. А их я любил любовью старшего брата. Я обещал подумать.

В конце февраля 1950 года один парень, с которым я подружился в сумасшедшем доме (Владимир Вислоцкий, покушался на самоубийство из-за несчастной любви, но быстро вылечился, обретя утешение в пухлой санитарке), сообщил мне, что по словам этой санитарки, моя история болезни вновь затребована психбольницей № 2 "из-за того, что ты все еще не взял назад своего заявления."

В начале марта я написал и вручил Дадаеву заявление, что я "не могу жить вне рядов комсомола", и мне моментально вернули билет, записав строгий выговор "за нарушение комсомольской дисциплины, выразившемся в факте подачи заявления об уходе из комсомола." Впрочем, сам я ничего не знал о выговоре до 1951 года, когда мне о нем сообщила тогдашний секретарь нашего курсового бюро ВЛКСМ Тамара Чудакова (теперь - Соломяк), читавшая текст в райкоме комсомола. На запрос КГБ в 1957 году Василеостровский РК ВЛКСМ ответил, что "никаких бумаг, связанных с выходом Р.И.Пименова из комсомола в 1949 году, в архиве не сохранилось".

Во время заключения в сумасшедшем доме я пережил поистине сумасшедшие дни, читая газеты с процессами Райка и

"Помещение в больницу для душевнобольных заведомо здорового человека из корыстных или иных личных целей - влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет" (ст.148). Следовательно, когда речь шла не о личных целях врачей, а о комсомольских, суд был некомпетентен. В новом же, принятом в 1960 году, УК нет и такой куцей статьи. Помещение здорового человека в сумасшедший дом перестало быть уголовно наказуемым деянием с 1 января 1961 года. А показ родственникам "истории болезни" и даже сообщение им диагноза - стало запретным по инструкциям семидесятых годов. Все сделано, чтобы развязать лапы психиатрам и лишить их всяких остатков самоконтроля.

[35] Хотя Раиса Львовна Голанд меня освободила, она была столь же дремуче невежественна, как и все советские психиатры. Стихи Некрасова "Вместо цепей крепостных люди придумали много иных" она приняла за МОИ собственные, похвалила, мол, пишу красиво. Не невежество браню я здесь, а поражаюсь устройству, когда литературно невежественные люди обретают право судить о душевном здоровье других...

Костова (излишне добавлять, что я не верил ни слову) и - еще безумнее - слушая запущенный на полную громкость динамик с вакханалией в честь юбилея Сталина. "Сталин - наша слава боевая, Сталин - нашей юности полет", я не забуду, наверное, даже на том свете.

Мое настроение и мои взгляды не изменились между октябрем и мартом. Конечно, на меня повлияли и ультиматум и предупреждения. Но решающая причина моего отступничества - я окончательно убедился, что никакого СОБРАНИЯ не будет. (Сейчас я иногда фантазирую, что было бы, если бы мне ПРЕДОСТАВИЛИ аудиторию. Ну, конечно, тюрьма, неоконченный университет и все прочее мне было бы обеспечено. Но вот захотел ли бы кто из моих товарищей слушать меня? Не была бы моя сумбурная речь просто высмеяна или вообще осталась незамеченной слушателями? Ответа я не знаю[36].)

Так ради чего?! Я записал тогда в дневник горькие строки в свой адрес. Поклялся себе ИЗНУТРИ бороться с ними. Назначил себе образцом одного из антикоммунистов-двурушников из пьесы Вирты "Заговор обреченных", которую я посмотрел в те месяцы благодаря заботе обо мне Евгении Михайловны. Следователь, капитан Правдин, не один допрос зачитывал мне эти строки моего дневника, убеждая меня в моем полном моральном ничтожестве.

Начались странные годы. В моей жизни - включая время следствия и годы заключения - не было более тяжелого и мучительного периода, нежели 1950-1953[37]. Наверное, о таком времени Герцен говорил: "Странное время внешнего рабства и внутреннего освобождения". Я поддерживал самые тесные, дружеские отношения с упомянутым Фельдманом и Юрием Этиным, которого я серьезно подозревал в состоянии на службе в ГБ.

Учился неплохо. Давал уроки. На заработанные деньги ездил на Кавказ (это своя эпопея, о которой здесь говорить не место). Покупал книги. Выучил наизусть "Как говорил Заратустра" (убедившись, что Горький не только подражал Ницше, но еще и в том, что Горький не понял Ницше, переврал его безбожно и низвел до банального уровня). Впрочем, о Ницше нечего говорить: надо либо цитировать Заратустру, либо безмолвствовать. Свое понимание Ницше я изложил в толстой работе "Фридрих Ницше. К стодесятилетию со дня рождения" в 1954 году, которая тоже мне инкриминировалась. Здесь будет довольно сказать, что главное, чем

---

[36] Некоторый ответ дается записью В.М.Герлин - Ю.А.Айхенвальда "Рассказ об увольнении". По аналогии.

[37] Писать о них подробно - особая тема. Об этом времени почти ничего не рассказано литературой. Есть, правда, Оруэлл "1984". Есть Н.Я.Хазина-Мандельштам. На ту же полочку надо поставить и "Скутаревского" Л.Леонова. Но все это либо гиперболы, либо отрывки. Нет еще романа о нормальной жизни на воле в 1950-1953 годах. А нужен...

Это время, когда люди, факты, события стушевывались в мелочь и никли перед Идеями, Принципами, Закономерностями. Непреложными Законами Исторического Развития, иллюстрациями которых мы все служили.

Это время, когда заурядными были такие случаи: 14-летняя девушка ходит по городу. За ней увязался 18-20-летний парень. Ходит неотступно часа два. Она сразу и бесповоротно ПОНИМАЕТ, что он - шпион. И хочет вовлечь ее во что-то подрывное, шпионское.

мне дорог Заратустра - требованием высокой жертвенности и бескорыстия:

"Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему счастливо, и кто спрашивает тогда - разве я нечестный игрок? - ибо он хочет своей гибели"

и тем, что он учил "самой юной из добродетелей, имя которой: правдивость". Уже после того, как я выработал свой взгляд на Ницше, я с радостью узнал, что Каляев точно так же смотрел на Ницше, что для него Евангелие и Заратустра представляли единый сплав, требовавший пойти и отдать душу свою за други своя...

Что касается правдивости, то мне всегда - в силу научного склада ума, - казалось, что лопату нужно именовать лопатой. Сложившаяся же у нас традиция именовать лопату - в зависимости от требования минуты - то "достижением технического процесса", то "орудием закабаления рабочего класса" претила мне и заставляла отвергать даже то разумное, что достигалось этакой словесной эквилибристикой. Правда, даже такая безудержная девальвация и проституция слова, именовавшаяся "диалектикой", не заставляла меня оттолкнуть диалектику. Диалектика - там, где она не превращается в эвристику или в софистику - мне всегда была ценна и близка. У Ленина одна страничка его "К вопросу о диалектике" сравнима по блеску и глубине с диалектикой Заратустры.

Но постоянным проклятием жег комсомольский билет. В 1951 году я воспользовался случаем быть исключенным из почетных рядов. Так как я сдал досрочно вариационное исчисление, то не ходил на эти лекции, пользуясь временем для изучения всяких спецкурсов. Но так как общественности факультета было вменено в обязанность бороться за повышение процента посещаемости, то меня вызвали на бюро и потребовали ходить на лекции. Я фыркнул. В высоких терминах меня спросили: буду ли я выполнять постановление комсомольского бюро. Я достал из кармана пятак, произнес: "Если выпадет на орла - буду, а если на решку - нет", - и метнул монету. Выпала решка. Я проговорил: "Не буду". Они обомлели (так как я человек смирный и даже робкий, то мне всегда доставляет удовольствие повествовать о своих хулиганствах, а тем более - о таком рассчитанном, как это). Бюро предложило исключить меня из комсомола курсовому собранию. Сережка Ермаков был назначен обследовать мою идеологию. Он пришел ко мне домой пить чай. Увидел на полке Ницше. Заговорили о материализме. Я сказал, не мигнув глазом, что "для того, чтобы пройти сквозь запертую дверь, достаточно очень захотеть этого и с этим желанием посмотреть на дверь. Воля рассеет материю". На комсомольском собрании он проиллюстрировал мой идеализм наличием Ницше и рассуждениями о двери. Сверху аудитории-амфитеатра Валя Пунина выкрикнула по поводу двери: "А ты не думаешь, Сережа, что он над тобой просто смеялся?" - на что с места же Светлана Богачева (ныне Владимирова, жена А.Д.Александрова) закричала: "А какое он имеет право смеяться над людьми?! Он никого не уважает, он даже с Александром Даниловичем разговаривает, не снимая перчаток!" Дадаев, клеймя меня, обрушился на мое самодовольство: "Посмотрите, как он собой доволен!" - и на мои пометки на

дававшемся мною Нагорному томике Леонида Андреева. Больше против меня обвинений выставлено не было. Собрание меня исключило, но райком в неизреченной мудрости своей отменил исключение, заменив его строгим выговором с предупреждением.

Любопытная история разворачивалась параллельно. Воспользовавшись "приглашением" Александрова: приходите, когда у Вас возникнут сомнения, - сделанным в 1949 году, я попросил его уделить мне время для беседы по политическим вопросам. Одинок я был тогда до такой степени, что готов был говорить со всяким, кто согласен слушать, а на такие темы слушать никто не хотел. Кажется, я ему прочел обличительную проповедь против существующего положения вещей. Он старался меня уверить, что так и надо из некоторых, довольно патетических, принципов. В этой связи он произнес упомянутую в §3 фразу о евреях. Я потерял контроль над собой и закричал: "Ну, если вы рассуждаете так, то правильно на вас бросают бомбы в Корее! Так вам и надо!" Так я узнал о преследовании евреев. Медведь тушил пожар. Как мне рассказывала Тамара Чудакова, немедленно после разговора Александров направился в партбюро и заявил: "Таких людей, как Пименов, надо ссылать на Колыму". Фантастично, что партбюро и тут не сочло нужным "реагировать как полагается", и при исключении меня из комсомола про этот эпизод сказано не было. Когда меня восстановили в комсомоле, я попросил Тамару известить об этом Александрова, дабы он и далее добивался моего исключения. Она рассказала ему, он махнул рукой и произнес: "Ну, я их предупредил. А как они поступают - им виднее."

Мне опять-таки непонятно: действовало ли партбюро по присловью: "Мы вас уволим не за это?" И что двигало Александровым? Ведь он слыл либералом и вольнодумцем. Например, в те годы позволял себе публично выступать, доказывая, что Вселенная может быть конечной и это не противоречит материализму, что - хотя и совершенно справедливо - звучало в те годы как жуткая крамола в свете руководящих указаний светоча науки и искусства А.А.Жданова[38]. Любопытно, что именно в те годы, будучи в Москве, в киоске на площади Революции я купил три номера журнала "Америка" (№№ 39-41), в которых публиковалась статья Линкольна Барнета "Вселенная и труды доктора Эйнштейна" с предисловием Эйнштейна. Это была первая статья по космологии, которую я прочел. Она определила область моих научных интересов. И два уцелевших номера я до сих пор берегу у себя, как память о первой любви. А то, что тогда космология в СССР третировалась как лженаука, что А.Л.Зельманов, начав в 1938 году писать статью по космологии в "Астрономическом журнале", смог завершить свою публикацию только в 1958 году (он не сидел!) - ну, что же, все это лишь укрепляло мои позиции неприятия. (Прокурор Демидов позже пытался это интерпретировать так: "Ведь Вы вступили на преступный путь только потому, что Ваши научные работы не публиковали и не могли опубликовать в Советском Союзе, не так ли?") И еще. Когда мне в 1953 году захотелось прочитать юбилейный Эйнштейновский выпуск (1949) американского физического журнала “Physical Reviews”, мне пришлось снести в библиотеку письменное

[38] Речь Жданова на обсуждении книги Г.Ф.Александрова "История западноевропейской философии", 1947.

разрешение от ректора. В журнале же цензурой были вырезаны фразы, имевшие отношение к философии...

Из комсомола меня выгнали, когда я уже смирился с мыслью, что мне из него не уйти до окончания университета. В феврале 1953 года я был на V курсе. Раз у меня случилось окно. Бродя, я наткнулся на Нагорного, который зазвал меня посидеть с ним поболтать во время скучной лекции. Я пошел. Преподаватель Шеин разъяснял аудитории IV курса всемирно-историческое значение решений не менее исторического XIX съезда партии. Я не менее громким голосом, но сидя на самом верху амфитеатра, объяснял Нагорному и случившейся рядом Леночке Ландсберг (ныне Бергер) различие между норвежским и датским произношением, иллюстрируя чтением каких-то сказок, бывших при мне, на этих языках. Шеин не выдержал и велел мне пересесть на первый ряд, дабы я не мешал. Я пошел пересаживаться, произнося: "Вы же сами себя ставите в смешное положение", - как внезапно поднялась комсомольская активистка IV курса (тогда - приятельница Игоря Заславского) Оля Даугавет и срывающимся от возмущения голосом разъяснила лектору, что нарушитель Пименов - вовсе лицо не с их курса, неизвестно зачем явившееся. Тогда Шеин выгнал меня из аудитории, через пару недель скончался от рака, а меня - помимо собрания - выгнали из комсомола. Не помогло и то, что Леночка Ландсберг бегала (не сказавшись мне) в деканат и уверяла, будто это она надебоширила, а Пименов не при чем. Тут еще приключилось, что Алешу Небольсина выгнали за кражу из Суворовского училища погранвойск (что в Петергофе) и мне выпало отвозить его в Москву. Я пропустил из-за этого сколько-то дней занятий в феврале, что мне тоже включили в реестр. На следующий день после того, как факультетское бюро постановило свое решение, Александров торжественно выгнал меня из своего семинара. Я слабо пытался объясниться, что меня выгоняют из комсомола не по политическим причинам, как говорит Александров, а за дебоширство; тому есть такие-то свидетели, члены бюро, сидящие здесь. Они промолчали, а Саша Заморзаев произнес пламенную речь, что "такие, как Пименов, и бывают агентами иностранных разведок" (что, впрочем, тоже не получило развития). Через четыре дня после того, как райком утвердил исключение, ректор Александров подписал приказ о моем увольнении из университета "за крайний индивидуализм, приведший к поступкам, несовместимым со званием советского студента".

Это было 17 апреля 1953 года.

Я радовался избавлению от билета, но моя мать слегла, узнав, что я лишусь диплома. Я написал в министерство, прося сообщить, на какие основания опирается исключение студента за индивидуализм. Министерство в июле ответило мне, что мое исключение признано правильным. Так как в эти дни газеты пестрили сообщениями о митингах, на которых трудящиеся "с чувством глубокого удовлетворения узнали" о том что член Политбюро оказался "мусаватистским шпионом" (Берия), то я написал снова:

"С чувством глубокого удовлетворения узнал я о том, что мое исключение признано правильным. Но я хотел бы узнать, на какие положения закона опирается исключение студента за индивидуализм".

Ответ гласил: "Ректор руководствовался Уставом университета".

Я пошел в библиотеку (университетскую) и попросил дать мне Устав университета. Библиотекарши вытаращили глаза: "Дореволюционный?" - "Нет, ныне действующий" - "Такого нет". Я прислал в министерство библиотечное требование с отказом и попросил сообщить мне, на какую именно статью Устава опирался ректор. В октябре я получил извещение: "Ректору дано указание восстановить Вас в университете". Я взял положительную характеристику с места работы (пока я ее вез трамваем, я едва не угодил в милицию за то, что на радостях поругался с милиционером, на мой взгляд, забижавшим проезжего), отвез ее Александрову и был приказом от 20 января 1954 года восстановлен в ЛГУ, в котором и получил диплом в июне.

На этом мои взаимоотношения с комсомолом заканчиваются.

§6. "Правда о Венгрии"

От абстракций к конкретностям; "Судьбы Русской революции"; Шейнис пишет текст, который я называю "Правда о Венгрии"

Все это - где поподробнее, где побеглее - поведал я моим внимательным слушателям, возбуждавшим меня вопросами. Экзотичность моей личности им импонировала, и результатом встречи явилось желание с обеих сторон продолжать видеться, обмениваться информацией, и притом почаще. В ноябре-декабре мы виделись по нескольку раз в неделю. Вскоре я дал Виктору свою статью "Об историческом романе". Через несколько дней он вернул ее мне с резко критическим отзывом. Она показалась ему бессвязным набором неверных высказываний. Еще через пару дней я дал ему свои "Судьбы русской революции".

"Судьбы" писались мной в два приема. Начал я в 1952-1953 годах, потом, после перерыва, с уже изменившимся мировоззрением, вернулся и продолжил (ничего не меняя в ранее написанном) в 1954-1955 годах. В основе лежала концепция гегелевской триады: тезис - антитезис - синтез. Тезисом служили народовольцы. Они были против капитализма, за социализм, за общинное землепользование, за создание узкой революционной организации типа боевой дружины с целью свержения и самодержавия несоциалистического строя. Антитезисом, по моему тогдашнему мнению, явились социал-демократы, которые выступали за развитие капиталистических отношений, за разрушение общины, за создание массовой партии, уделяющей внимание экономическому положению рабочих. Отрицанием отрицания, утверждал я, оказалась ленинская партия нового типа, которая сделала прыжок сразу в социализм, минуя капитализм, которая создала колхозы, которая сама явилась партией-армией из профессиональных революционеров. Революционная мысль, считал я, обежала спираль: от стремления совершить социальную революцию в России через обращение к ускорению капиталистического развития и мировому рабочему движению она пришла к социалистической революции в одной России, минуя по сути капитализм, ибо в исторических масштабах времени его и не было в России.

Эта голая концепция иллюстрировалась фактами и расцвечивалась подробностями, которых я сейчас не помню. Этот вариант читали в свое время Игорь Заславский, Володя Фролов и еще кое-кто. Но когда я вернулся к рукописи в 1954 году, со мной произошел некоторый переворот. Во-первых, я перестал отождествлять сталинский режим с единственно возможной формой социалистического государства. Во-вторых, ... но это рассказывать нужно подробнее.

До 1953 года я ничего не знал и не думал об экономике. Я верил на слово официальным утверждениям о могуществе советской экономики, о том, что социализм дал экономическое процветание. Задумываясь сейчас, как я мог при тех скудных средствах, на которые мы с матерью жили, верить в это, я нахожу единственный ответ: в то время у всех, в том числе и у нас с матерью были удивительно скромные потребности. Может быть, дело еще в том,

что мы жили не в провинции, а в хорошо снабжавшемся Ленинграде. Отношение к социализму для меня тогда принимало облик проблемы: "Можно ли ради экономической справедливости лишать людей свободы?" То, что НАСТУПИЛА экономическая справедливость, что эффективность советской экономической системы - наивысшая в мире, для меня не подвергалось сомнению. Но когда в 1953-1954 годах я работал в вечерней школе, мои взрослые ученики развеяли это представление. От них я впервые услышал: "Все эти проценты и планы - это же только на бумаге". Потом, поездив по стране и поработав на черной работе полубродягой, я узнал еще более сногсшибательные вещи. Поэтому к концу 1954 года указанная проблема превратилась для меня в схоластический вопрос.

Начала брезжить идея, что нужно проводить различие между правительством (лицами и их приемами управления) и строем, системой, конституционными основами. Наконец, более глубокое занятие историей заставило меня заметить, что в моей схеме исчезли другие, кроме большевистской и ее ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, а не СОВРЕМЕННИКОВ, партии. В последующих главах "Судеб", начиная с IV, я разработал все эти вопросы.

Наконец, в 1954 году у меня появилась мысль о ВОЗМОЖНОСТИ борьбы за изменение существующего. Я спросил себя, кто фактически принимал участие в революции, и обнаружил, что это была российская интеллигенция: она давала идеи и методы. Помню, в конце у меня стояла фраза: "Не начать ли российской интеллигенции сначала?" - которая, как впрочем, и вся последняя страница, раздражала и возмущала Заславского (при, в целом, его положительном отношении к остальной части произведения, где речь шла не о рекомендациях, а о констатации). Я и посейчас думаю, что если бы я показал "Судьбы русской революции" нескольким думающим людям, учел бы их критику и отредактировал бы рукописный текст, то получилось бы самое крупное и глубокое мое произведение.

С этими намерениями (а вовсе не с целями агитации или пропаганды, ибо мне казалось, что это излишне) я и дал Шейнису "Судьбы". Он, как исключительно умный человек, сразу понял их концептуальную стройность, переосмыслил даже оценку статьи "Об историческом романе", которая теперь показалась ему естественным продолжением "Судеб", и сменил мнение о моем мировоззрении: если раньше оно ему казалось просто конгломератом, то теперь он понял, что это монолит. При всем при том обе статьи оставались ему как марксисту чуждыми и методологически, и по существу. Не знаю, давал ли он их еще кому.

Но не эти статьи были в тот момент актуальными: "шла Венгрия"! В конце ноября мы дважды обсуждали "Венгерские тезисы". "Мы" - в данном случае означает меня и знакомых Кудровой - Шейниса, а также в одном случае Вербловскую.

Я не задавал бестактных вопросов, были ли знакомые Кудровой -Шейниса оформленной организацией или просто набором близких друзей. Я угадывал за ними и в них некую силу. Интеллектуальную силу. Я не ждал от них действий. Действия я брал на себя. Выработку мнений я отводил им. И хотя я не разделял их марксистской концепции, мне это казалось третьестепенным. "Один шаг истинного движения важнее дюжины программ" - это я и у

Маркса принимаю! Предо мной встала проблема сводить ли их с той, по существу, организацией, членом которой был Игорь и, по существу, хотя и не формально, Зубер-Яникун. Придерживаясь принципа, что мои знакомства должны состоять "из водонепроницаемых отсеков", я ответил на вопрос отрицательно. Вопрос о знакомстве с Эрнстом, естественно, решался отрицательно. Были тому две причины. Во-первых, я отдавал себе отчет, что сближаюсь с новыми знакомыми ради антиправительственных действий, ЧТО я тогда считал криминальным. Эрнст же был убежденным поборником легальности действий. Прочтя мои "Венгерские тезисы", он выразил свое несогласие (частью устно, частью на полях тезисов) с теми пунктами, которые могли быть инкриминированы. Во-вторых, будучи приверженцем принципа гласности, он распространял этот принцип и на все свое поведение. Поэтому он рассказывал в то время буквально про все, что ему было известно, будь то сведения из газет, или из наблюдений в очереди, или ставшей ему известной личной жизни знакомых. Так как мне было несомненно, что деятельность должна будет протекать по возможности незаметно, то я не счел возможным знакомить Эрнста с лицами круга Шейниса - Кудровой, хотя (без указания источника) излагал ему некоторые их мнения. Я не собирался и Иру сводить с ними, просто потому, что не считал ее подходящей для предстоящей деятельности и стремился обезопасить ее от возможных последствий, но после того, как я стал пропадать у них целыми ночами и в результате обострились наши с ней супружеские отношения, мне пришлось ее познакомить. Именно в результате такой сцены одна из встреч произошла у нас на квартире.

В.Л.Шейнис и А.К.Назимова. Ленинград, май 1957 г.

Они, взяв мои тезисы, решили написать НАСТОЯЩИЙ НАУЧНЫЙ документ о том, что произошло в Венгрии[39]. Первый вариант этого нового документа, еще без названия и не в окончательном виде, но уже не как тезисы, а в форме связного текста, был готов примерно в начале декабря. И вот у меня на квартире собрались семь человек: я, Ира, Алла, Виктор, Ирма, Борис, Кира. Текст получился очень хороший, научный, аргументированный, с теоретической подкладкой. К теории, как я уже писал, я относился терпимо и был склонен вставить туда любую доступную пониманию потенциаль-ного читателя теорию, были бы там нужные факты в нужном освещении. К тому, что они написали, я относился в целом одобрительно. Меня радовало само наличие документа. Он есть - это уже действие. Далее он заживет самостоятельной жизнью, разоблачая и объясняя. Возможно, что действие его на читателя будет совсем не то, какого ожидали авторы, но это не важно. Не будет молчания, не будет безразличия, не будет трусливого забивания в свою нору.

Но при всем моем отношении к отдельным формулировкам как к второстепенному, я все же не мог отделаться от стремления к "улучшению" текста. Замечу, что это одно из самых опасных стремлений при коллективной работе. Ведь если действия объединяют, то мнения разъединяют. Рождаются нескончаемые споры. Вот один из характерных эпизодов.

У них была такая фраза: "События в Венгрии показали, что свободу нельзя принести на иностранных штыках". Я предложил добавить: "Даже если это штыки социалистические." Они единодушно ополчились против этой поправки. Основание - они тогда не считали советские штыки социалистическими. Ну, я предложил поправку в такой редакции: "Даже на штыках державы, именующей себя социалистической." Они отвергли и эту поправку, потому что это отпугнет значительное количество читателей, ибо, хоть и в неявном виде, но всем понятно будет сказано, что авторы не

[39] Один наш в некотором смысле "общий знакомый", тоже марксистского происхождения, вот уже скоро тридцать лет будет, как все пишет "настоящий научный" текст о том, что же именно произошло в Венгрии. С каждым новым вариантом машинопись все интереснее читать, она за тыщу страниц перевалила. Но кто и когда ее прочтет? Я же тогда думал и заботился о выражении мнения ТОГДА и ЗДЕСЬ, своим современникам.

считают Советский Союз социалистическим государством, а сейчас не созрели те условия, чтобы это можно было сказать вслух.

Кто знает, как ведутся такого рода диспуты, поймет, что обсуждение, описанное этими десятью строчками, заняло несколько часов, когда мы все разгорячились, наметились поползновения перейти на личности, возникла угроза разрыва, и только мое горячее желание получить в руки этот текст удержало меня от непоправимых заявлений (как обстояло дело с их стороны - не знаю).

Другой эпизод связан с их настойчивым желанием соблюсти чистоту движения, против контакта со всеми, кто мог бы опорочить эту чистоту. Они, в частности, хотели при случае выразить свое порицание "стилягам", против чего я возражал. Но это уладилось проще. А по разногласию о штыках вопрос был поставлен на голосование. За мою поправку (не помню, в какой редакции) голосовали трое: я, Ира, Алла. Четверо против. Учитывая, что большинство-то выявилось ничтожное, было достигнуто соглашение, что отпечатан текст будет в семи экземплярах, причем в четырех он будет без моей поправки, а в трех - с моей.

Тут я подошел к другому важному вопросу - о распространении. Практически важно было решить, как поступать с этим текстом. Моя точка зрения заключалась в том, что нужно - слова "самиздат" в то время еще не было - размножить этот документ в как можно большем числе экземпляров и распространить личными контактами. Их точка зрения состояла в том, что распространять это можно только в очень узком кругу хорошо проверенных людей. Конечно, я всегда издевался над термином "хорошо проверенные люди". Но дело было не в термине, а в различии намерений. Я тогда уже пришел к положению: "Брать свободу слова и печати явочным порядком". Что бы то ни было, лишь бы шедшее снизу, неконтролируемое, самостоятельно распространяемое, - само по себе способствовало освобождению, по моему мнению. С моей тогдашней точки зрения, записи каких-нибудь джазов, которых, по глубокому разумению советских органов культуры, нельзя было исполнять государственным образом, не менее способствовали бы освобождению от гнета Главлита, нежели рассказ о событиях в Венгрии. С их точки зрения - в соответствии с основами марксизма - следовало распространять только верное и научно обоснованное. Но так как круг людей, способных согласиться с этим единственно верным, очевидно, невелик, то и надо ограничиться им. К этому добавлялось опасение, как бы, попав "не к тому человеку", документ не привел бы к провалу. Не по дням, а по часам протекавший процесс делиберализации заставлял их с каждым деланием сужать дальше круг предполагаемых читателей, пока дело не кончилось тем, что в конце января они дали мне единственный экземпляр С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ НИКОМУ ЕГО НЕ ПОКАЗЫВАТЬ И НЕ РАЗМНОЖАТЬ[40].

Это условие сообщила мне Кудрова, вручив в одну из наших встреч на набережной один экземпляр машинописного текста. Внутренне я весь взорвался от такого условия. Оно являлось прямым

[40] Любопытна судьба их документа. Шейнис напечатал его в 8 экземплярах. Из них с января по конец мая при Шейнисе находилось 5 экземпляров, которые так и не были отданы никому. Это очень характерно для их подхода к вопросу о распространении. О дальнейшей судьбе экземпляров см. §16.

нарушением нашей договоренности при голосовании: тогда никаких ограничений на дальнейшее распространение не налагалось: нам с Ирой причиталось два экземпляра[41]. Кроме того, я в это время уже обещал в некоторых ветвях организации дать документ о Венгрии. Идти на попятный там я не мог, сам не имел времени написать что-либо равноценное их документу (он был составлен умелей, нежели мои тезисы; там было огромное количество фактов, которых не было в моем распоряжении - в частности, о преступном поведении бывших органов ГБ Венгрии; они заговорили о реальной угрозе завоеваниям социализма в Венгрии со стороны части восставших). С другой стороны, рвать с таким "мозговым центром" я также не собирался. Поэтому я выразил вслух согласие на требование Кудровой, сообщенное мне как категоричное "мы решили". Про себя же чертыхнулся и подумал, что буду поступать, как сочту нужным, после того как ознакомлюсь с окончательным вариантом документа. Видимо, Кудровой моего обещания было мало: она потребовала довольно быстрого возвращения экземпляра. Снова не выказывая своего возмущения наглостью соавторов, я принял и это требование.

В тот же день я снял на пленку весь текст[42]. Только гарантировав себе обладание этим документом, я стал его внимательно изучать. Изумлению моему не было границ. Конечно, они не выполнили договора о включении в мой текст моей поправки о штыках; впрочем, это и не удивительно, ибо они намеревались вообще лишить меня "моего" экземпляра. Важнее было другое. Текст был весь заново переработан, теоретическая часть в нем была углублена. По некоторым признакам мне показалось, что тут работал или работали не мои знакомые, а кто-то из стоящих за ними, столь же глубокий теоретик марксизма, но стоящий на чуть-чуть иных позициях. Этот кто-то (думал я) был достаточно влиятелен, чтобы заставить их всех поступиться своим мнением. Наличие у них таких знакомых утвердило меня в правильности моего решения не рвать с ними[43]. С другой стороны, наличие у меня такого интересного документа обязывало меня немедленно пустить его в оборот; я и посейчас полагаю, что те, кто, в ответ на категорическое требование Солженицына не делать копий с его произведений под угрозой лишения возможности прочесть эти произведения, дают требуемое обещание Солженицыну и немедленно садятся за перепечатку его произведений, делают святое дело[44].

---

[41] Вдумываясь задним числом в содержание беседы с Шейнисом, имевшей место недели за две до того (о ней см. §10), я понимаю, что Виктор недвусмысленно намекнул мне на их решение не давать мне документа о Венгрии. Поэтому слова Кудровой не должны были бы поразить меня неожиданностью. Но я не осознал Шейнисов намек и не был подготовлен к условиям, диктуемым Кудровой. Она же, наверное, думала, что я уже согласился на условия Шейниса раньше. Так бывает, если один собеседник деликатно мнется, а другой привык всегда брать быка за рога, глух к невнятным намекам.

[42] Фотооборудование для микрофильмирования изготовил еще в 1955 году Валерий Сухов, оставшийся вне поля зрения следствия и погибший - он стал жертвой увлечения йоговской дыхательной гимнастикой - в 1958 году.

[43] Как настаивал потом Виктор Шейнис, я ошибался: текст переработал он единолично.

[44] Написано в 1968 году. Поэтому, узнав о моем аресте в 1970 году, Солженицын произнес: "А, это тот математик, который неосторожно обращается с самиздатом!" Кронид же Любарский, когда я его застиг в 1969 году за несанкционированной мною

Я несколько дополнил их текст: конечно, вставил пресловутые штыки. Пару фактов добавил. Изменил кое-где "события" на "революция". Ничего не выбросил, кажется. Вставил оговорку, что угроза социализму была ничтожной. Очень существенным было одно мое дополнение, которым я был обязан Эрнсту, хотя он не подозревал о существовании этого документа. Он вычитал в каких-то иностранных журналах слухи о разногласиях в ЦК[45]. Консерваторами называли Молотова, Кагановича и еще кое-кого. Перечислялись имена либералов и колеблющихся. Орловский сопоставил это с анализом внешне идентичных речей членов Президиума ЦК, которые только что были опубликованы в советской прессе, и высказал мне свои соображения о группировках в ЦК. Через полгода про эти группировки стало известно всем, и тогда его раскладка не совпала с опубликованной только именем Шепилова. Я использовал его эти соображения и приписал на сей счет несколько абзацев в статье. Кстати, это уточнило и мою позицию: я теперь был уже не против строя как несколько лет назад, а лишь против некоторой группировки в правительстве и ЦК, которая узурпировала право говорить от имени правительства, партии, народа и социализма. Кажется, я это тоже включил в статью. Наконец, я дал статье название - "Правда о Венгрии" - и автора - Леонид Борисов. Этот псевдоним я выбрал по отчеству Шейниса и имени мужа Кудровой, не зная, что в Ленинграде есть писатель с этим именем. В следственном деле хранятся несколько экземпляров "Правды о Венгрии", подробные пояснительные показания Шейниса, в чем именно я исказил его текст, и мои "Венгерские тезисы". Не приобщены к делу, но демонстрировались Шейнису фотокопии отдельных страниц его текста (но с моей пленки, которая в их руки не попала). Будущие историки смогут на сравнительном анализе этих документов защитить несколько дипломных работ и диссертаций.

Когда в нашу последнюю встречу 23 марта 1957 года я сказал Кудровой, что пустил в широкое обращение "Правду о Венгрии", вручив ей, кажется, экземплярчик, она обрушила на меня упреки в нарушении слова, чему я противопоставил свои обвинения, что они раньше нарушили свое слово. Разговор быстро иссяк, ибо она как умный человек поняла, что факт-то уже совершился и нужно думать о последствиях[46].

перепечаткой моих мемуаров и процитировал тогдашнее свое предисловие: "Не распространяйте и даже не читайте те, кто не упомянут в тексте", возразил: "В этих строчках содержится алгоритм, как надо поступать!"

[45] См. допрос Орловского от 12 июня в §15.

[46] Позже Кудрова стала говорить, будто впервые узнала о моем намерении распространять "Правду о Венгрии" только на следствии. Шейнис и другие узнали о распространении текста не от нее, а от следователя. Конечно, Шейнис в эти дни не жил в Ленинграде, а весть о моем аресте могла вытеснить более мелкую информацию.

§7. Библиотечный институт

Эсперантисты в СССР; Адамацкий, Бубулис, Вайль, Вишняков, Греков, Кокорев, Кудрявцев, Палагин; от разговоров к сборам взносов; кто кого ведет?

1 декабря 1956 года в "Ленинградской правде" появился фельетон "Смертяшкины" о нездоровых молодежных журналах, в частности - журнале "Ересь" в Библиотечном институте. Через несколько дней Эрнст Орловский сказал, что знает одного из отрицательных героев этого фельетона - Бориса Вайля, который, как и Эрнст, оказывается, посещает эсперантистскую секцию и является активным эсперантистом.

Борис Вайль (слева) сразу после выхода из лагеря и Игорь Адамацкий. Ленинград, начало октября 1965 г.

Отступление о судьбах эсперанто. В начале тридцатых годов эсперанто был широко распространен в СССР и рассматривался чуть ли ни как единый язык грядущей мировой революции. Но в 1937 году все руководство Общества эсперан-тистов бесследно исчезло (ведь по самому существу эсперантисты активно переписываются с заграницей), хотя формально Общество не было закрыто. Когда в 1955 году новое поколение, жаждавшее пропагандировать эсперанто и идо, пришло в канцелярию Совета Министров, то получило там справку, что Общество эсперантистов разрешено и не закрывалось, с этой справкой направилось в МВД, получило там печать и штамп Общества и начало действовать. Естественно, в силу происхождения этого нового состава Общество, еще состояло в начале из более активной части населения, т.е. из инициативных и самостоятельных людей. Например, туда в Ленинграде вошли Орловский и Вайль. Я не входил в Общество, но активно переписывался в 1956 году в Голландией и Норвегией на эсперанто (эти письма мне никогда никем не инкриминировались, равно как и Орловскому и Вайлю). Когда выяснилось, что в Обществе действуют "нездоровые" лица, московский горком партии вызвал к себе председателя Общества и предложил ему как члену партии на время сдать печать на хранение в горком, объяснив, что Общество не закрывается. Тот подчинился партийной дисциплине, и когда я писал эти строки в 1968 году, печать уже 12 лет как была там. Но всему бывает счастливый конец, и в 1978 году Общество эсперантистов было открыто-таки с публикацией в газетах.

Еще смешнее обстояло дело с эсперанто в Курске. Вестником эсперанто туда явился из Ленинграда Борис Вайль. Он моментально организовал группу энтузиастов, у которых было все... кроме текстов на эсперанто. В его отсутствие кружком взялся руководить курский

композитор Тасманев. Но за отсутствием чтения на "родном" эсперанто Тасманев стал занимать регулярно собиравшуюся публику былями о своих колымских лагерях (1937-1947 годы его жизни). Естественно, что после ареста Бориса этих эсперантистов разогнали.

Итак, я отправился с Эрнстом в эсперантистскую секцию и познакомился там с Борисом Вайлем. Это удивительный человек. Достаточно с ним поговорить пару часов и кажется, словно знаком с ним с детских лет, словно это твой старинный друг. В нем огромный запас энергии и жизнерадостности. В свои 17 лет и 8 месяцев, когда он познакомился со мной, он уже имел за плечами "богатый революционный опыт". Еще в 1955 году он писал листовки, в которых ругательными словами на грани между "сволочи" и следующим по степени цензурности поносилась "наша родная советская действительность". Эти листовки составлялись им в родном городе Курске совместно с Костей Даниловым и Невструевым - на два-три года старше него. Сам он про эти свои подвиги мне не рассказывал, я узнал о них из следственного дела.

По приглашению Бориса я пришел в Библиотечный институт, в котором он учился на 1 курсе. Он созвал несколько человек, нечто вроде совещания. На совещании я оказался в центре внимания и произнес речь. Борис без моего ведома перед моим приходом назвал мое имя присутствующим в качестве представителя откуда-то. Кроме меня речь произносил Кокорев - еще один из тамошних. Она была значительно зажигательнее моей, о чем я заключаю по реакции одного из присутствовавших - Кудрявцева - который провожал меня и выразился в адрес Кокорева: "Вот настоящий вождь!"

Еще там были Адамацкий[47], Бубулис, Греков, Палагин (из Метеорологического); через несколько дней появился Вишняков[48].

В заседании выявилось два основных вопроса. Первый - о законности. Второй - о денежных средствах. Я выражал ту точку зрения, что наша деятельность (без дискуссии принималось всеми, что мы собираемся действовать совместно, и действовать "против"; надо было уточнить малость - против чего именно) не должна быть направлена против социализма, советского строя и т.п. Я даже выразился, что советская Конституция - самая демократичная, надо ею только действительно пользоваться. Наша деятельность, говорил я, должна быть направлена в защиту советской Конституции и гарантированных ею прав; свободы слова, собраний, союзов. Отстаивать же такие права можно только явочным порядком - беря себе слово свободно, свободно собираясь, создавая союзы и общества.

В подтверждение проводил цитаты из Ленина:

Свобода печати означает: все мнения ВСЕХ граждан свободно можно оглашать[49].

---

[47] Игорь Алексеевич Адамацкий, позже писатель в самиздатном журнале "Часы", председатель правления в одноименном полуразрешенном творческом клубе, один из авторов в альманахе "Круг".

[48] Мир тесен. Учителем истории в X классе у Вишнякова (1953/54) был Шейнис. Это выяснилось уже только во время суда (но не следствием). По словам Шейниса, Вишняков пользовался в школе скверной репутацией.

[49] Ленин, сентябрь 1917 (3-е изд., т.XXI, с.152).

Действительной свободой и равенством будет такой порядок, который строят коммунисты и в котором не будет... помех тому, чтобы всяких трудящийся (или группа трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное право на пользование общественными типографиями и общественной бумагой[50].

Я приводил свежий пример. Когда за демонстрацию в Познани летом 1956 года участников арестовали и затеяли судить - казалось, что судьба их решена. Но, по польским газетам, в суд поступило свыше 10000 писем граждан, протестующих против ареста и предстоящего суда, и ... обвиняемых выпустили. Все дело, убеждал я, в наличии внушительной реакции общества. Когда мне возражали, что "эта машина перемелет всех" я отвечал своим излюбленным примером. Если на Невский среди бела дня на мостовую выбежит одни человек - горе ему. Владеют мостовой машины. Но если, возвращаясь с салюта, сотни и тысячи прохожих заполняют ту же мостовую и прогулочным шагом бредут по ней, то машины останавливаются и подчиняются прихотям пешеходов. Достаточно нам перестать считаться с ними, как они начинают считаться с нами, говорил я.

Конкретно же речь шла, насколько я вспоминаю, об организации писем в защиту повести Дудинцева, на которую как раз в это время обрушилась пресса. Не могу вспомнить, была ли речь о письмах в поддержку Венгрии или же Венгрия тогда (начало декабря) расценивалась нами как безнадежно проигранная.

Помню, я ссылался на наличие закона, конкретизирующего процедуру регистрации нового общества; там сказано, что для учредительного собрания надо иметь не менее 50 членов. Так вот, в порядке подготовки нового легального общества нам надо собрать 50 членов, говорил я.

В связи с социализмом мне пришлось сказать несколько слов в его защиту, против капитализма. Я доказывал, что возможна хорошая форма социализма, ссылаясь на пример Югославии (рабочие советы и т.п.). Но на заседании тема эта не получила глубокого развития; подробнее и основательнее этот вопрос обсуждали мы вдвоем с Борисом (не помню, бывал ли при этих разговорах кто третий).

Мне пришлось изрядно потрудиться со своими доказательствами, ибо во-первых, более молодым людям (а они в массе были лет на 5-7 моложе меня) свойственно скорее впадать в крайности и не хочется различать между строем и правительством. Во-вторых, даже те, кто согласен теоретически проводить такое различие, в своей речи часто допускают небрежность, говорят "мы" вместо "правительство", пользуются метафорами и гиперболами, которые позволяют понять их так, будто их врагом является не правительство, а строй. Но все же мы выяснили, в конце концов, что никто из нас не собирается реставрировать капитализм и устанавливать монархию Романовых, а боремся мы против тиранических и незаконных - как мы тогда судили - действий тогдашнего правительства, перенявшего привычку к такому образу действий от Сталина. Мне помогало, конечно, что в то время они смотрели на меня снизу вверх, а я вещал.

---

[50] Ленин, март 1919 (т.XXIV, с.10).

Вторая проблема состояла в том, как размножать различного рода произведения. Тогда, переняв терминологию наших противников, мы сами называли все напечатанное нами на машинке "нелегальной литературой"; сейчас бы мы сказали - "самиздат". Всевозможные способы воспроизведения стоят денег. А так как из 100 000 000 долларов, будто бы ассигнованных ЦРУ и конгрессом США на подрывную работу в СССР, до борцов за политическое освобождение России ни разу не дошло ни цента и так как нет ныне капиталистов Морозовых, ассигновавших средства большевикам, то денежная проблема стоит сейчас непомерно острее. Где добывать деньги, без которых размножение сводится до уровня кустарщины? Конечно, выдвигался проект потрясти балерин, писателей и академиков, но за отсутствием контактов он тут же отпал. Было проведено решение о членских взносах, но, кажется, размер еще не был решен окончательно. Потом он определился в 25 рублей в месяц.

Насколько можно понять, в Библиотечном институте взносы собирались добросовестно. Но тут в игру вступил упомянутый Вишняков. Он объяснил мне, как люто он ненавидит "этих коммунистов" за то, что они убили его отца, и за многое другое. Поначалу я ничего в нем не заподозрил и, за вычетом внешности, он произвел на меня хорошее впечатление. Именно ему было поручено собирать взносы. Мне он не передавал эти взносы ни разу - ни Борису, который был руководителем в Библиотечном. Тем не менее, взносы он собирал и, кажется, регулярно. На следствии выяснилось, что собранные деньги он просто единолично пропивал. Любопытно, что некоторые давали показания, будто он собирал даже больше, чем эти нынешние два с полтиной, ссылаясь на "решение центрального комитета". Не помню, кто из следователей, кажется, капитан Правдин, желая проиллюстрировать мое полное неумение разбираться в людях и выбить меня из равновесия, сказал, что никогда и никто из его родных не был репрессирован. Излишне добавлять, что я ни разу не произносил не только слов "центральный комитет", но даже "комитет". По соображениям моральной ответственности мне казалось, что слово "комитет" можно пускать в обиход только после многолетней деятельности.

Через некоторое время Кокорев исчез, уехал на какую-то практику. Он обещал по возвращении привезти оттуда много денег. С собой он взял у меня "Судьбы русской революции" и еще кое-что. Больше я ни его, ни "Судеб", ни, конечно, денег не видел. В следственном деле этой статьи нет. Случайно дома у меня затерялись лист-два черновика "Судеб" - два перечеркнутых листа. Эти два листа плюс показания Шейниса и Кокорева, что я им давал "Судьбы", причем оба объяснили, что содержания их совершенно не помнят, а я о содержании также не говорил ничего, послужили все-таки основанием для инкриминирования мне "Судеб". Забавно, что на попавших в ГБ листах говорится про отрицательное отношение народников к капитализму и следует отрицательная характеристика капитализма.

Для общей характеристики этой группы надо подчеркнуть молодость ее участников. Из них старший был Кокорев: 23-24 года. Прочим - по 17-19 лет. Они кипели жаждой непосредственных действий. Сегодня или никогда! А как действовать? Естественно, так, как описано в романах о революционерах! Ведь серьезных

исторических произведений они не читали - приходится пользоваться романами. Что делают революционеры в романах? Листовки, митинги, демонстрации, баррикады... Ну, до баррикад ЕЩЕ ПОКА не дошло ("ах, кабы мы были в Венгрии"), а сейчас что? Они так и тянулись к листовкам, митингам, демонстрациям... Это были не теоретики-марксисты!

В ту пору - декабрь 1956 года - я был убежденным противником листовок. Дело в том, что листовки, в силу своего жанра, не могут являться ничем, кроме призывов к МАССАМ к непосредственным действиям, кроме грубых выпадок на строй. Но массовые действия были тогда нереальными. А на СТРОЙ как раз я не нападал и не собирался нападать. Я уже понимал, что дело в людях. Переворачивая известный тезис Тито из нашумевшей его речи в Пуле в связи с венгерскими событиями - "дело не в личности, дело в системе", - я считал, что "системы" создаются людьми, поддерживаются людьми, функционируют через людей, и полагал, что дело не в строе, а в группе людей наверху и в психике приспосабливающихся людей внизу.

Что касается митингов и демонстраций, то события разворачивались сами по себе. К тем дням, как ко всяким дням действительно общественного движения, можно применить слова Пастернака:

В те дни - а вы их видели
И помните, какие -
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Или, словами поэта вековой давности:

Художник, если только он
Волна, а океан - Россия,
Не может быть не потрясен
Когда потрясена стихия.

Художник, если только он
Сын своего народа,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена свобода.

А стихия росла и вела меня за собой, отрывая от академических тезисов, швыряя в брызги, пену и грязь кружков, самоотвержения и подлости экстазом совместных действий - пока не выбросила под следствие.

§8. События на площади Искусств

Выставка картин Пикассо; стихийное обсуждение; чего не состоялось и что случилось 21 декабря на пл.Искусств; речи в Союзе Художников; Юлия Красовская

Где-то в начале декабря в Эрмитаже была выставка Пикассо - первая за много десятилетий. Туда набежало много народу[51]. В поисках людей пошел туда и я. Познакомился там с некоторыми очень интересными людьми, рассказывать о которых не стану, во-первых, потому что все они размещались в описанном уже мною диапазоне: от думающих марксистов до рвущейся к действиям молодежи, будь то из вузов, или из военных училищ или из рабочих. Не стану говорить и о художественных впечатлениях, ибо это только мои политические мемуары, а в следующих главах, снимая слой за слоем, как луковицу, я дойду и до этого.

Выставка вызвала большой резонанс: как же, впервые для нашего поколения в СССР выставляется нереалистическое искусство. Но обсуждать увиденное в Эрмитаже было негде. Споры завязывались с ходу, но служители их моментально пригашивали: не шумите! Все бурлило, не соглашалось, доказывало, требовало - а высказаться не могло. "Улица корчится, безъязыкая!" Попытались было выпросить у дирекции помещение под дискуссию, но, насколько я понимаю, сотрудники Эрмитажа были более чем напуганы подобного рода просьбами и не задумываясь отказали. И вообще регламентом Эрмитажа не предусмотрено обсуждение. Висят полотна и висят, обсуждать их не положено. Положено восторгаться да внимать экскурсоводу. Тут было еще одно затруднение: из-за наплыва публики и ограниченности времени выставки в залы впускали на малый срок, минут на 15-30, а потом выгоняли, запуская новую партию.

Некоторые, в частности Зубер и Корбут, договорились с комсомольским бюро или комитетом матмеха, что те предоставят аудиторию (на Васильевском острове) для обсуждения Пикассо. Было повешено объявление в Эрмитаже и на матмехе. Может быть, еще где. Но в последнюю минуту бюро ВЛКСМ запретило проводить такую дискуссию в ЛГУ, объявление было перевешено и сказано, что обсуждение состоится в Публичной библиотеке (юношеский зал на Фонтанке). Насколько я понимаю, объявление ни в малейшей мере не было согласовано с дирекцией Публички, и там, разумеется, ничего не получилось. Собравшиеся, потоптавшись у входа, направились толпой на близлежащую площадь Искусств. И там возник импровизированный митинг - первый стихийный за многие годы. Было это 14 декабря. Митинг в основном касался искусства. К сожалению, у меня потерялся "отчет" об этом митинге (я сам там не был, а мне написали, по возможности, подробно, что происходило). На митинге - понравилось - было принято решение повторить его через неделю, 21 декабря, на том же месте в 19.00.

---

[51] Как это все тогда сливалось, видно хотя бы из того, что в борьбе за выступление Пикассо (в Москве) активную роль играл тогда молодой Илья Глазунов, шедший на острую конфронтацию с властями.

19 декабря меня информировала Алла, что в горкоме комсомола проводился инструктаж: "Реакционно настроенное студенчество собирается отметить день рождения Сталина демонстрацией на площади Искусств".

А в апреле 1957 года между следователем Кривошеиным и обвиняемым Вайлем состоялся следующий разговор по поводу событий на пл.Искусств. Вайль спросил:

- Зачем вы нарушили Конституцию, гарантирующую право на собрания, митинги и демонстрации?

- Лучше нарушить конституцию, чем допустить кровопролитие, - изрек старший лейтенант.

- ???

- Ну да, ведь Вы не знаете, что там хотели сделать "маленький Будапешт", - пояснил гебист.

Ну, что они врут, не привыкать. Но я не вижу оснований думать, будто сам Кривошеин в данном случае придумал эту ложь Вайля ради. Он, скорее всего, искренне повторял спущенное ему сверху вранье. Однако, если Кривошеин искренне полагал, будто бы на пл.Искусств подготавливалось нами кровопролитие, то ведь это еще страшнее. Ведь для того, чтобы обеспечивать безопасность государства, надо прежде всего уметь предельно точно ВИДЕТЬ ФАКТЫ. Усматривание мнимой опасности - а угроза кровопролития была более чем мнимая - вредит постановке верного диагноза, а следовательно, вызывает неверные приемы лечения и может погубить организм[52].

В самом деле, поговорим немножко в кибернетических терминах. Всякое государство с точки зрения кибернетики есть система управления. Управляющие принимают решения на основе имеющейся у них информации (истинной или ложной, полной или частичной). Дабы система управления функционировала бы удовлетворительно (удовлетворяя самих же управляющих), необходимо, чтобы к управляющим поступала неискаженная информация, чтобы обратная связь (Ленин употреблял термин "проверка исполнения") не вносила помех и адекватно отражала происходящее. Для обеспечения механизма обратной связи всякое государство обзаводится тем или иным аппаратом: контрольные органы, ревизии, система осведомителей. Кроме штатных информаторов, во всяком обществе имеются еще внештатные осведомители - писатели, журналисты. Ибо писатель, говоря кибернетическим языком, как раз и занят тем, что по своей инициативе, незапланированно, вводит в управляющие органы информацию о реальном положении вещей, как оно ему видится. Штатные осведомители, как естественно вытекает из общетеоретических соображений и как показывает практика, очень быстро при сборе и фильтрации наверх информации начинают руководствоваться посторонними по отношению к истине

[52] Куда более глобальная ошибка была совершена позже. Естественно, что пропаганда обвиняла США в подготовке войны против СССР - на то она и пропаганда. Но пока управляли страной люди, помнившие, что "крупный капитал труслив и никогда не начнет войны, предпочтя откупиться любой ценой, ибо для капитала нужен мир" (Маркс), ничего страшного не было в такой пропаганде. Когда же управляющие поверили собственной пропаганде, то с перепугу они развернули такую военную промышленность, что подорвали всю экономику.

соображениями: например, соображениями ведомственными. Это приводит к таким искажениям, когда в попытке собраться и обсуждать искусство усматривают демонстрацию ко дню рождения Сталина с попыткой кровопролития. Так ГБ исказило картину реальности даже при смирнейшем и лишенным каких бы то ни было честолюбивых притязаний Серове! Неверная же информация заставляет принимать неверные - т.е. вредящие самим же управляющим - решения.

Но вернусь к площади Искусств и к 1956 году.

Помню, я беседовал с Кудровой, стоит ли на этой демонстрации выставлять какие-нибудь конкретные лозунги политического толка. Она ответила отрицательно, и я с ней согласился.

Наступило 21 число. У меня весь вечер были занятия в институте. До отъезда на работу, часов около пяти вечера, я забежал посмотреть на место действия. Мне бросилось в глаза, что, вопреки обыкновению, фонари не были зажжены (а это площадь нескольких театров и музеев), а в одном из углов площади - у улицы Ракова - был свален битый кирпич, которого не было накануне. Никакого строительства или ремонта поблизости не было видно. Я оставил там Вербловскую и уехал. Дальнейшее мне известно из рассказов Вербловской, ее подруги Шрифтейлик, Вайля, Зубер и ряда других. Вербловская со Шрифтейлик циркулировали по окрестным улицам и вокруг скверика, где, собственно, намечалось действо. К 19 часам на каждой скамейке скверика сидели по двое "в штатском". Все дорожки патрулировались людьми "в штатском", которые кое у кого спрашивали документы. Вокруг скверика какие-то подразделения милиции проводили строевые занятия, четко печатая шаг. Также циркулировали - "в штатском". Все эти "в штатском" были на одно лицо и сразу выделялись, бросались в глаза подругам. Совсем другие лица - явные студенты - в растерянности останавливались на подступах к площади. Прозвучал голос: "Идемте в Союз художников". После этого, когда подруги замечали лицо или группу лиц, явно идущих на обсуждение, они приближались и с каменно-заговорщицкими лицами шептали: "Идите в Союз художников. Обсуждение состоится там". С такими предупреждениями ходило несколько человек. Народ поворачивался и уходил. За некоторыми и по Невскому следовали "в штатском", но, по рассказам большинства из них, филеры доходили не далее Дома Книги, а потом возвращались. У некоторых милиция отбирала документы, например, у Саши Гидони, который и был арестован на следующий день.

В Союзе художников (ЛОСХ, на улице Герцена) произошли основные события. Там в этот вечер по плану должны были состояться обсуждения осенней выставки и экспонировалась выставка какого-то художника в связи с его 90-летием или чем-то в этом роде. Художника и осенней выставки никто из демонстрирующей молодежи не знал да и знать не хотел. До того, как туда явилась молодежь, зал пустовал, были разве лишь родственники юбиляра да скучал президиум. И вдруг - валом народ. Председатель расцвел - пользуется-таки искусство популярностью, - охотно стал давать слово желающим. Но выступавшие почему-то все, словно сговорившись, ораторствали об ином, а не о картинах чествуемого художника и не о выставке. Кажется, единственно, кто

упомянул об этих картинах, была студентка консерватории Красовская, которая в их адрес выразилась: "Изобразить задний двор - это еще не значит совершить революцию в искусстве". Ей картины понадобились как трамплин, дабы потребовать "свободного искусства" и провозгласить, что "у нас сейчас аракчеевский режим" (сведения разноречивые, сказала ли она "в искусстве" или "в стране"), в связи с тем, что негде высказываться о Пикассо[53]. Разумеется, ей бурно аплодировали. В зале царило ликование.

Кроме выступления Красовской запомнилось еще: некто лысый бубнил: "Соцреализм - это родная березка на холме". Некий пенсионер, бывший милиционер (профессия известна потому, что председатель каждого оратора спрашивал фамилию и профессию), горячо разъяснял: "Кукуруза вполне может стать достойным объектом искусства. Художники обязаны показать, как она растет в полную мощь в одном колхозе, где ее любят и лелеют, и как она гниет в другом, где не понимают важности разведения кукурузы." Уже не на тему выставки непосредственно перед Красовской говорил студент филфака Алексеев (тот, что позже вместе с женой попал на 10 лет за попытку перехода границы в Иран). У него зазвучали слова: "наше эстетическое отставание", "40 лет рабства мысли", "оторванность от мирового искусства". Насколько я вспоминаю, нашими делалась запись хода выступлений, но ее дальнейшая судьба мне неизвестна. О какой-то записи мне что-то упоминал капитан Правдин на следствии, но так глухо, что я забыл, была ли она у ГБ или ГБ искало ее.

Юлия Красовская была арестована на следующий день. Ее продержали в тюрьме те 12 рабочих дней, в течение которых можно держать в тюрьме человека без предъявления обвинения, а затем выпустили[54]. Говорили, что ей потом пришлось уехать из Ленинграда. Впрочем, позже она стала кандидатом искусствоведения, публиковалась в шестидесятые и семидесятые годы, много о сказителях Печоры. Насколько мне известно, участие в событиях, связанных с обсуждением Пикассо, никому не инкриминировалось, а наши адвокаты так прямо-таки ухватились за эти события, ища объясняюще-защищающие нас обстоятельства (см. §18). Гидони был осужден за другое (см. §15) - на два года, потом в лагере схватил дополнительный срок, потом стал писать - как рассказывают - доносы на товарищей по заключению, освободился, печатался в советских журналах, эмигрировал, написал там мемуары. Стал кандидатом исторических наук. Был главным свидетелем обвинения на процессе Огурцова - Вагина в ноябре 1967 - феврале 1968 года. И во время следствия по делу Квачевского он давал показания, имевшие целью отягчить судьбу одного из арестованных: Николая Данилова.

---

[53] Примечание для тонких знатоков. Произнося словосочетание "аракчеевский режим в том-то", человек в пятидесятые годы мог понятия не иметь об А.А.Аракчееве, о его роли в истории России, о методах его начальствования. Он просто пользовался навязшим в ушах оборотом "аракчеевский режим в языковедении", использованным Сталиным, наверное, не без ухмылки в усы.

[54] Правдин мне говорил: "С Красовской мы, действительно, ошиблись." Лякин же: "Красовскую мы взяли правильно, а выпустили потому, что она больна костным туберкулезом." И с костным-то туберкулезом она много десятилетий разъезжает по деревням европейского Севера?

Несколько дней спустя в жилконтору вызвали Гальперина. Капитан ГБ спросил:

- Вы Гальперин, Борис Исаевич?

- Да, я.

- Вы были на пл.Искусств 21 декабря, в пятницу?

- Нет, не был.

- Не были? А поблизости были?

- Был у Малого Оперного театра, не достал билеты и вернулся[55].

- А на площади Искусств?!

- Не был.

- Не были? Ну-ну, смотрите, Борис Исаевич!

На этом профилактическая беседа кончилась.

Из последних сил пытаясь отстоять принцип демонстраций, мы решили повторить через неделю попытку, но на этот раз собраться перед Зимним Дворцом. Эта попытка кончилась полнейшим фиаско: пришло только несколько человек, приведенных Адамацким. Стремление СТИМУЛИРОВАТЬ события, не назревшие сами по себе, никогда не бывает удачным.

На этом закончился "демонстрационный" опыт.

[55] Малый оперный театр расположен на пл.Искусств, но к нему можно подойти минуя ее, с канала Грибоедова. Замечу, как трансформируются воспоминания. И.В.Огурцов в 1983 году рассказывал мне, как "студенты ЛГУ устроили в ноябре 1956 года демонстрацию в защиту Венгрии на Театральной площади". Обменявшись репликами, мы согласились, что он имеет в виду попытку демонстрации на пл.Искусств (площадь театров), но он не согласился, что было это в декабре, настаивая на ноябре. Так он убежденно настаивал, что не будь у меня документов, сдался бы я...

§9. Листовки

Активизация от отчаяния; Марина Таирова и Никита Дубрович; "буковки", вырезаемые Ирой Зубер; осмотр улицы Халтурина

Благодаря энергии Бориса Вайля и еще некоторых, удалось вступить в контакт с рядом других институтов, в частности, с ЛИСИ (Ленинградский инженерно-строительный институт). Контакт этот осуществлялся так. Борис нащупывал подходяще настроенных лиц. Объявлял им, что приведет представителя из "центра". На назначенное свидание сходились мы с Борисом и несколько человек с другой стороны. При этом всю литературу передавал им уже ранее Борис. Я же прояснял принципиальные вопросы и прикидывал для себя степень жизненности данной группы. Потом выделялся один представитель от института для постоянного поддержания контакта. Таким представителем от ЛИСИ был Юра Кузнецов. Кажется, уже ему Борис отрекомендовал меня под вымышленным именем (но сам Борис был ему известен под настоящим именем).

Провал задуманной на 28 декабря демонстрации имел далеко идущие последствия. Игорь Адамацкий и его ребята страшно обозлились, что никто не пришел. Другие, которые в душе и не хотели идти, но не решались признаться в этом и просто "саботировали" демонстрацию, усмотрели в ее провале подтверждение своей правоты. Появилось недоверие ко мне. Адамацкий заметно охладел. Один только Борис не унывал. Да Вишняков предлагал план за планом. В то же время все требовали действий. Недоверие относилось к моему умению действовать, а не к целям действия. Я не мог уже с прежним авторитетом отрицать полезность листовок, например, выпуска которых на одном из собраний на Марсовом поле (кажется, 7 января) потребовал Вишняков, поддержанный другими ребятами из Библиотечного института. Логика подразумевалась простая: листовки должны предшествовать демонстрациям. Я же не мог противопоставить им своей логики: движение должно развиваться своим путем, стихийно, его не нужно создавать, а нужно активно принимать участие в уже происходящем. Более того, меня эта самая логика вынуждала принять требование листовок: ведь если они сами "стихийно" пришли к намерению выпускать листовки, то я обязан активно принять участие в реализации их намерений!

Требования листовок шли не только от группы Библиотечного института. Мне представляется, что все, кому было по 18-19 лет, из числа причастных к движению, склонялись более или менее к мысли о листовках. Наоборот, в кругу Кудровой - Шейниса о таком криминале, как листовки, и заикнуться было немыслимо. Кстати, их стремление, все более ощутимое: выждать, законспирироваться, переждать - все росшее по мере разгрома сопротивления в Венгрии; проскальзывавшее сожаление, что они связались со мной, компрометирующим их, лишь толкало меня "от противного" к принятию идеи листовок. Немало способствовали моему согласию и разговоры с Мариной Таировой и Никитой Дубровичем.

Когда Вербловская уходила из Союза художников, к ней обратилась одна из присутствовавших на обсуждении девушек и

попросила шарф, т.к. она была налегке, а похолодало[56]. Назавтра эта девушка - до того никому из нас не известная - позвонила по данному ей Ирой телефону договориться вернуть шарф. Ира велела ей приезжать к нам домой. Когда девушка приехала, случилось, что бы я дома. Она отрекомендовалась Мариной Таировой, студенткой первого курса какого-то художественного института или филфака, не помню. Выглядела она очень молодо. Я поначалу не обратил на нее внимания, мало ли кто приходит к Ире. Кажется, даже кто она такая, узнал уже не от нее, а от Иры. Но она стала ходить к нам в дом и во второй или третий визит привела с собой юношу - сказочно красивого, - который отрекомендовался Никитой Дубровичем, студентом первого курса Политехнического института. С ним я довольно быстро стал разговаривать. Он проявлял живой интерес к политике, к событиям в Венгрии, резко отрицательно относился к казенной действительности и чуть ли не готов был идти немедленно совершать революцию[57]. В таких разговорах активное участие принимала Марина, вполне поддерживая Никиту, а Ира как-то устранилась от наших бесед. Разговоры с ними, совместно со всеми остальными, убедили меня, что страна созрела для революционной ситуации - раз первые встречные студенты думают ТАКОЕ - и что надо переходить к активным массовым действиям, т.е. к листовкам. Подчеркиваю, что для меня решающей была не их аргументация, а их настроенность, которую я воспринимал как ПОКАЗАТЕЛЬ всеобщего настроения. Через некоторое время я предложил им принять участие в тайной организации.

Стоит отметить, что конкретизация - кто именно внес какой вклад в решение о выпуске листовок - это дело позднее. Лишь когда под следствием, пользуясь досугом, я стал обдумывать происшедшее, лишь тогда я стал выделять отдельные лица и мнения. В январе же я воспринимал требования к листовкам как всеобщий единодушный порыв.

Вишняков предложил себя в технические изготовители листовок. Речь шла о следующем. Я должен был вручить ему кадр на фотопленке с текстом листовки. Текст я намеревался составить после соответствующих разговоров с Кудровой: их формулировки мне нравились. А ведь обсудить содержание можно и не говоря про конечную цель - листовки. Вишняков обещал отпечатать с этого кадра несколько сот экземпляров листовок на бумаге. В принципе, репродуцирование мог бы осуществить и Валя Сухов, но ему это было житейски сложнее. Всю партию листовок Вишняков должен был в целях конспирации передать мне, а уж я стал бы распределять их, вручая Вайлю, Кузнецову и др.[58] Таким образом, технический

---

[56] Впрочем, тогда я не выяснял, она ли просила, Ира ли сама предложила - хотя задним числом понял, что это существенно.

[57] Значительно позже я постиг истоки такого настроения Никиты. Его мать - Гнучева - была близка с Анной Ахматовой и в ту пору не раз встречалась с только что освобожденным Львом Николаевичем Гумилевым. Рассказы о сталинском правосудии, конечно, возбудили эту душу. Марина же подпевала в унисон любимому. С возрастанием у них минула и любовь, и интерес к этим проблемам. Но все-таки благодаря им я познакомился с Л.Н.Гумилевым, а стихи его отца я любил и раньше.

[58] Кстати, перейдя от платонических дилетантских мечтаний к практическому исполнению, я понял, что самое трудное - не размножение, а распространение. Обладай я тысячами экземпляров интересных документов, я почти совершенно не видел, как их эффективно распространить.

исполнитель - Вишняков или Сухов - предполагался надежно законспирированным; о его работе знал только я один. В первый с Вишняковым разговор на эту тему мы обсуждали только технические подробности: КАК сделать. Помню, разговор был длинный, покамест мы медленно, сквозь мокрый снег, шли от площади Льва Толстого по Кировскому проспекту и Кировскому мосту до Библиотечного института. И совсем уж как в романе Достоевского: Ира Вербловская - которая все рвалась выяснить, с кем и зачем я встречаюсь, - тайком от меня кралась за нами, следила весь наш путь и мое возвращение домой... В этом она призналась мне уже в тюрьме. Кажется, она прибавила, что тайком от меня встречалась то ли с Борисом, то ли с Вишняковым, но это я припоминаю как-то смутно. Я ее в дела организации на посвящал.

Сначала я собирался отпечатать текст на машинке. Потом, руководствуясь соображениями эстетики и внушительности, решил, что исходный текст будет составлен из вырезанных газетных букв, что после фотографирования выглядело бы как снимок с типографского текста. С этой целью я обратился к Зубер и официально уведомил ее о наличии организации (о чем она, впрочем, и сама догадывалась). Я предложил ей вступить, платить взносы, работать по моим заданиям. Она с энтузиазмом приняла предложение: "Ты дал мне смысл жизни!" Я поручил ей вырезать из газет достаточное количество "буковок" (она обожала уменьшительные формы: "буковки", "портретики", а ножницами владела мастерски). Задание она выполнила, хотя, кажется, я не объяснял ей назначение "буковок".

После каникул, в начале февраля, группа Библиотечного института собралась на Марсовом поле. Я проинформировал ее, что решено выпускать листовки, и поставил вопрос ЧТО они полагали бы нужным писать в листовках? Прежде всего решили подготовить листовку к предстоящим выборам 3 марта. ЧТО мы хотели писать к выборам - более или менее понятно, тем более, что это нам инкриминировалось. Вишняков тут же на собрании предложил листовку второго типа содержания. Он хотел включить требование сделать Ленинград столицей РСФСР. По-моему, присутствовавшие отнеслись к такому предложению безразлично, я - с недоумением, и решили ограничиться листовкой общего содержания. На том и договорились.

Довольно скоро после этого я вручил Вишнякову фотокадр. Одновременно я заговорил с Вайлем, Кузнецовым, Адамацким, Зубер, Заславским и кое-кем еще о подготовке к РАСПРОСТРАНЕНИЮ листовок, которые я им вручу. В более неопределенной форме подготавливал я и Кудрову (с января получилось, что я больше не встречался лично ни с нем из ее знакомых, а связь поддерживалась через нее исключительно). В середине января я последний раз видел Шейниса; об этом свидании еще расскажу погодя, когда буду писать о программе. Столь же неопределенно готовил ребят из военного училища. Вишняков не сделал ничего; сначала он заверял, что вот-вот сделает, потом стал ссылаться на объективные причины; зашла речь о деньгах - я ему указал, что в его распоряжении сборы членских взносов, он ответил, что никто ничего не платит, я дал ему какую-то сумму; потом он сказал, что не успел; потом прошли выборы, и именно эта листовка стала неактуальной. Я потребовал от

него возвращения кадра, что он и сделал. Я кадр сжег. Позже мы с Борисом обсуждали мысль о первомайской листовке. Содержание ее у нас не вызвало разногласий. В видах выяснения способов ее разбрасывания он обследовал парадные и крыши по улице Халтурина, по которой ленинградские демонстрации расходятся с Дворцовой площади. Кажется, это он предпринял уже по своей инициативе, и я об этом узнал только на следствии. Борис же предложил составить листовку к школьникам. Мысль о ней родилась вот почему. Тогда только что затевалась реформа вступительных экзаменов в вузы. Во что бы она не вылилась, было ясно, что она проводится для реализации изречения Хрущева: "Студенты должны учиться, а не политикой заниматься". Но так как Хрущев под "учиться" понимал "соглашаться с Хрущевым", то реформа предусматривала, в частности, введение производственного стажа как непременное условие приема в вуз. Производственный же стаж, естественно, означал, что наиболее способная к науке, к теории молодежь будет вытесняться в общем наборе. Это мы и собирались разъяснить школьникам десятых классов. Хотя я в принципе был за написание этих листовок и помышлял даже перепоручить их размножение Сухову или Мамонтову, никаких фактических шагов в этом направлении до своего ареста сделать не успел. Борис же все время подразумевал, что я вручу ему партию листовок, а его задачей будет только их распространение[59].

[59] Несколько подробнее этот эпизод освещается в допросе Пименова при завершении судебного следствия на втором суде (см.§§3,4 гл.V). Относительно "производственного стажа" отмечу для истории: в 1961-1964 годах действовало в инженерных вузах совершенно изуверское правило: студенты, поступившие при отсутствии "производственного", должны были нарабатывать себе этот стаж за время учебы на I-II курсах. Их принуждали работать по вечерам-ночам на производстве параллельно с учебой. Вот они - корни падения инженерной грамотности!

§10. Последние три месяца

Курская группа; Миролюбов и Соскин; как нейтрализовать подслушивающий аппарат; высокие требования, предъявляемые руководителю; "Хроника текущих событий" за 12 лет до ее появления; провокаторство Вишнякова; как показать, что друг - провокатор?; лекция по истории Русской революции; ложь Таировой - Дубровича; как я уходил от слежки

Что еще мы делали или собирались сделать? (Ведь с точки зрения закона между этим нет почти никакой разницы, поскольку наша деятельность была "длящимся преступлением" и не было "добровольного отказа от совершения преступления".)

Мы намечали количественный рост организации. В этих целях Вайль взял с собой ряд материалов, отправляясь на каникулы в Курск. В этих же целях он ездил в Новгород. Предпринимались и другие шаги, причем о своих я Вайля в известность не ставил. Под тем же углом смотрел я на встречи через Кудрову с Миролюбовым и Соскиным. Все эти встречи были обставлены сугубо конспиративно, и на снятых органами ГБ фотографиях я видел, как пристально озирается Миролюбов, выходя на встречу и расставаясь со мной у Витебского вокзала (впрочем, там такое место, что многие озираются). Миролюбов держался примерно так: "Вы, молодой человек, конечно, отвергаете марксизм, но это только потому, что Вы не знаете настоящего марксизма". Несмотря на нотки поучения, разговор был сугубо содержательным - для меня, по крайней мере. С Соскиным же - который не показался в беседе глубоким - был менее содержательный разговор. Он убеждал меня сворачивать деятельность: "бывают периоды..." Кстати, встреча со мной стоила ему того, что в его провинциальном городке за ним впритык следили еще год-полтора.

Борис уведомил меня, что в Курске у него есть целая организация. Имелся в виду Данилов (фамилия мне не называлась, конечно, как и фамилии Миролюбова, Соскина и др.), вокруг которого тогда группировался ряд лиц, не привлеченных к следствию, но которых Данилов субъективно мог считать вполне своими. Учтя их совместную деятельность в 1955 году, Борис вполне мог называть их мне организацией. Я же не входил в подробности по конспиративным соображениям: каждый должен знать только то, что ему совершенно необходимо знать, и не более. Он поставил вопрос о том, чтобы связать одну организацию с другой. Мы обсуждали, на базе каких требований можно объединить организации. Обсуждение происходило в два этапа. Сначала этот вопрос был им поставлен. Я обещал подумать.

В тот же или на следующий день я встречался с Шейнисом (в последний раз до ареста) и обсудил с ним программные требования, да и тактические, сдается мне, заодно. Конечно, я ничего не говорил о Борисе: Шейнис до суда ничего не знал о Вайле. Свидание состоялось на улице: мы шли от Дома Книги мимо церкви Спаса на Крови. К этому свиданию я впервые применил придуманный мной прием обезвреживания подслушивающих аппаратов. Я завел с Ирой речь, куда я собираюсь выходить из дому. Подойдя к висевшему на

стене плану Ленинграда, сказал, что во столько-то пойду к Московскому вокзалу, ткнув пальцем в Дом Книги. Произнеся несколько слов о важности дела, которое ждет меня у Московского вокзала, я велел ей приехать туда во столько-то, чтобы потом пойти в кино. В назначенный срок я направился к Дому Книги. Со своей стороны, Виктор также решил проверить, не привел ли я хвоста. Он попросил Аллу Назимову и Радика Цемиринова проследить за нами с Виктором: не следят ли за нами. Те вышли на место встречи за час-полтора до назначенного нами времени. Я тогда этого не знал, но на следствии не фигурировало никаких фотографий меня с Шейнисом, об этом свидании следствию стало известно только из показаний Вербловской, которой я про него рассказал[60]. И то, кажется, оно не было локализовано. Виктор Шейнис был настроен на свертывание деятельности, но некоторые полезные для меня соображения о программных вопросах я сумел извлечь из этого разговора. Разговор был довольно резкий.

Придя на вокзал в день отъезда Бориса Вайля в Курск, я стал излагать ему эти программные соображения. Обнаружив, что в сутолоке не- трудно сбиться с толку, я тут же на клочке бумаги записал несколько слов, а может быть, он писал под мою диктовку. Этот клочок фигурировал потом в деле как программа организации.

"Программа" укладывалась в придуманный мной девиз:

"ЗЕМЛЯ - КРЕСТЬЯНАМ, ФАБРИКИ - РАБОЧИМ, КУЛЬТУРА - ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ".

Далее следовали пояснения к каждому требованию. "Фабрики - рабочим" понималось в югославском смысле. "Земля - крестьянам" понималось не в смысле ликвидации колхозов, конечно, а в смысле предоставления КОЛХОЗАМ же возможности САМОСТОЯТЕЛЬНО распоряжаться своими полями. В этом же духе понималось и "культура - интеллигенции". Помню, что Игорь Заславский, будучи согласен в общем с первыми двумя требованиями и упрекая меня только за то, что здесь нет ничего нового сравнительно, скажем, с Октябрьской революцией, непримиримо обрушился на третье требование. Он заявил, что моя формулировка может внушить мысль, будто я желаю оставить интеллигенции монопольное право на ПЛОДЫ культуры (обрекая рабочих и крестьян на бескультурие), тогда как на самом деле я желал только добиться для интеллигенции ПРАВА СВОБОДНО ТВОРИТЬ КУЛЬТУРУ. Любопытно, что он не усмотрел ни в первом, ни во втором лозунгах ущемления прав интеллигенции на плоды земли и фабрик. Так как Игорь не предложил мне никакой альтернативной формулировки, а я всегда придерживался мнения, что лучше плохая формулировка, чем никакой, то, не будучи в состоянии придумать лучше, я дал Борису указанный триединый лозунг. Вспоминаю, что Виктор Шейнис категорически не соглашался с лозунгом "земля - крестьянам", который воспринимался как шаг к капитализму, которого он, как и я, не хотел. Но общая идея избавления рабочих, крестьян и

[60] Рассказал в связи с тем, что Шейнис уведомил меня, что по городу-де проводятся негласные обыски. Он знает это из надежных источников и просит меня проявить сугубую осторожность в этой связи, в частности, в обращении с тем его текстом, который мне передадут.

интеллигенции от паразитического класса, который "одряб и лег у истории на пути, в мир, как в свою кровать", в общем, импонировала, хотя и вела к нескончаемым спорам об уточнении, кого именно следует относить к этому классу. Тогда, в полемике с Шейнисом, который анализировал классовые движущие силы, я развивал свою теорию о пяти классах, составляющих советское общество (крестьяне, рабочие, служащие, партийно-государственный аппарат, интеллигенция; с тех пор проявился шестой класс - военные), с которой мало кто соглашался. Да и мой лозунг исходил из трехклассовой структуры (четвертый класс молчаливо подлежал упразднению). Мысль же, что страной должны управлять творческие, способные лица, которые внимательно и честно воспринимают реальные факты, а не узкий круг личностей, заинтересованных только тем, чтобы продлить свое пребывание у верхушки, - эта мысль, повторяю, не встречала возражений. В отличие от Шейниса, который заботился, как бы не умалить роли рабочего класса в качестве класса, на который мы должны опереться, я не выделял ни одного класса как опорного, выделяя зато противостоящий нам класс.

Попутно припомню одно из рассуждений, которым я зачастую пользовался. Пожалуй, к этому времени, столкнувшись сам с трудностями, организаторской деятельности, со всеми рифами, подстерегающими руководителя, я стал уважительно относиться к профессиональным организаторам. Я уже понимал, что для управления страной - я давно отошел от анархистских иллюзий моей юности, будто управлять вообще ни к чему - нужны не дилетанты, а ПОДГОТОВЛЕННЫЕ управляющие. Естественно, должна быть организация, воспитывающая управляющих. Весь вопрос состоял в том, по какому принципу ОТБИРАЮТСЯ кандидаты в такую организацию. Принцип "если приходится выбирать между безусловно нашим человеком, но не совсем способным, и не совсем нашим, но очень способным - у нас необходимо оставить первого", казался мне ошибочным с точки зрения его пользы для самой же организации, для дела реального управления страной. Я приводил в пример практику отбора научных кадров. Руководитель семинара предпочитает не того слушателя, который постоянно согласно кивает головой докладчику у доски, а того, кто задает колючие вопросы, старается уличить докладчика (хотя бы тот был сам руководитель) в неточностях и ошибках. Такой слушатель проявляет способность к самостоятельному научному мышлению. Именно так, вспоминал я, Александров отобрал себе таких выдающихся учеников, как Решетняк и Ю.И.Волков, у меня на глазах. Не принцип согласия, а принцип спора.

"Плохая награда учителю, если ученики все время остаются только учениками. И почему не хотите вы ощипать венка моего?" - восклицал Заратустра. И, например, в Англии именно по такому принципу подбирается руководство политических партий: тот, кто выступал с наиболее резкой и обоснованной критикой руководства, тот имеет больше шансов попасть в состав руководства. Мне казалось, что для самих же управителей принцип подбора "поддакивающих наших" неразумен.

Тогда же мы затеяли издавать "газету". Но так как у нас не было типографии (хотя, впрочем, Юра Кузнецов обещал достать

литографский камень), фотометоды безумно дороги, а микрофильмы (хотя я все время стремился пропагандировать современные технические средства) никто, как показала практика, не любит читать, то реально не было видно, как это осуществить. Если бы в ту пору были распространены аппараты типа “ЭРА”, то, может быть, мы попробовали бы притулиться возле одного из них, но их не было.

Поэтому, в ожидании лучших времен, мы издавали просто листки на машинке. Эти листки мы называли "информация". Источники были самые различные. Надежнейшая информация шла от Эрнста (который, разумеется, не знал, как я использую сведения, сообщенные им мне при наших частых и продолжительных беседах). Он обрабатывал газеты демократических стран: польские, югославские, отчасти чешские, румынские и венгерские; еще он читал рассекреченную тогда “Documentation Francaise”. После неоднократных обысков у меня до сих пор сохранились разрезанные страницы его переводов из этих газет-журналов, на машинке, во многих экземплярах. В частности, мы с ним перевели упоминавшуюся речь Тито в Пуле, которую я сейчас же пустил в обращение. Еще он перевел по моему настоянию речь Карделя о рабочих советах в середине декабря. Но тут нас постигло жестокое "разочарование". Не успел я вручить первые листки перевода сотоварищам, как вышел очередной номер журнала "Коммунист", в котором - хотя и мелким шрифтом - была полностью переведена речь Карделя, а крупным шрифтом она сопровождалась умеренной, но категорической критикой. Так что наш труд в значительной мере обесценился. Ведь в "Коммунисте" ее напечатали даже без купюр!

Сам я в это время вынул из хранилища "Речь Хрущева" и пустил в оборот. "Правда о Венгрии" была непременным элементом наших материалов. Ира переводила некоторые статьи из польских газет, которые, по мнению Эрнста, были интересны, но на которые ему не хватало времени. Переводы эти сначала инкриминировались было Вербловской, но когда она пригрозила следователям, что расскажет про это обвинение своей сокамернице-польке, которая подлежала депортации в Польшу, то ей в тот же день было зачитано постановление об изменении постановления об обвинении, из которого устранялись все эпизоды, связанные с переводом из польских газет тех или иных статей (речь шла о статьях, подвергавшихся критике о советской прессе, но тем не менее содержавшихся в польских газетах, приходивших в СССР по подписке; например, о статьях Яна Котта в “Przegland Kulturalny”). Таким образом, в конечном счете переводы нам не инкриминировались.

Кудрова сообщала немногое, преимущественно партийно-комсомольскую информацию о том, как плохи ревизионисты и т.п. Шрифтейлик сообщила кое-что о Петрозаводске (где она некоторое время училась и у нее было много друзей, в частности, известный поэт Тайсте Сумманен), о Средней Азии (откуда она только что вернулась). Из нескольких случайных и относительно случайных источников шла иная информация.

Перечисленные источники сообщали, как правило, достоверную информацию. Во всяком случае, та часть описанных информаций, которая была мною признана достойной включения в информационный бюллетень, оказалась по проверке органами ГБ

соответствующей действительности. Об этом я заключаю по следующим основаниям. Желая уличить нас в клеветническом подборе "информации", они взяли подборку всех наших листков, содержащую более ста отдельных пунктов, и по некоторым пунктам приложили справки из соответствующих местных органов ГБ: "Описанных в документе событий на самом деле не было." Так вот, такие справки (в деле их шесть штук) приложены против не более чем десяти утверждений, а по воспоминаниям (устным, 1968 года) Бориса - против ровно семи пунктов. Кабы у нас было ошибок больше, они не преминули бы приложить таких справок побольше.

Ложная информация восходила к двум источникам. Первый источник - передачи Би-би-си или, скорее, “Голоса Америки”. Тогда, как известно, эти радиостанции глушились, и в Ленинграде их практически невозможно было слушать. А в Курске, Новгороде, пригородах Ленинграда слышать можно было неплохо. Данилов частично записывал передачи - магнитофонов в то время не было, записывал, что и как успеет, - и сообщал Борису. Тот - мне, но без ссылок на радиостанции, а со ссылками на "надежных людей", которые-де там побывали. С одной стороны, рос авторитет Бориса в моих глазах: знакомые его знакомых были в разных местах, например, в Хабаровске; с другой стороны, сама по себе информация была очень уж завлекательной. Не знаю, может быть, уже Данилов не сообщал Борису источник своей осведомленности, во всяком случае, инструктируя Бориса, я дал ему непреложное указание не пользоваться сообщениями иностранных радиостанций.

Именно против информации, восходящей к радио, были справки о ее ложности. Не против всей, а против двух или трех сообщений.

Другим источником ложной информации была информация, восходившая к Вишнякову. Я называю эту информацию ложной по двум причинам: существовала бумажка с круглой печатью о том, что описанные события не происходили в действительности, и были показания самого Вишнякова, что он все эти утверждения выдумал. "Выдумал зачем?" - "Чтобы отвязаться от Пименова", - ответил он. Но информация Вишнякова была наиболее красочная и далеко идущая. Так, он сообщал о якобы выступлении солдат против своих офицеров в советских частях; о вооруженных, мол, столкновениях где-то в Мурманске, и в таком роде. Правда, я отфильтровывал информацию, в том числе и вишняковскую. Поэтому наиболее сильных его данных - которые как раз из-за эффектности мне показались подозрительными - я не включил в листки. Но даже отфильтрованные сообщения Вишнякова оказались ложными на сто процентов.

Еще мы распространяли разного рода стихи: Берггольц, Мандельштама, Н.Гумилева (несколькими стихами мы были обязаны Никите Дубровичу), Гидони, из упомянутого рукописного журнала "Ересь" (например, Слепаковой). Курьезно, но пользовались успехом куски из Асеева "Маяковский начинается":

Бездельничество - это все, что непрочно,
Что не обвеяно запахом щей,
Не схоже с былым, непривычно, порочно
И противоречит порядку вещей.

Порядок же явно пришел в беспорядок:
По-разному шли в учрежденьях часы!
И как ни сверкали клинки на парадах,
Но новая сила легла на весы... -

и далее. Непременным в нашей пропаганде был Джон Рид.

Будучи глубоко уверен в неминуемом близком аресте (я даже удивлялся, ЧТО это они тянут с моим арестом), я больше всего заботился о том, чтобы мое дело было продолжено после моего ареста. В этом духе я разговаривал со всеми, кто мог бы продолжить такую деятельность. В частности, я велел Ире в случае моего ареста уведомить всех моих знакомых немедля. Не помню, при каких обстоятельствах я ей сообщил, что зову Вайля по-эсперантски Чаров, ибо weil по-немецки, а ‘car - по-эсперантски означает одно и то же "ибо" по-русски. На самом деле Чаров - была нелегальная кличка Вайля, как Черизов - Вишнякова. Своей не помню, кажется, Ребелов. Уже после распространения этих мемуаров в самиздате Сергей Дедюлин порой называл меня Ребеловым.

Первые подозрения на счет роли Вишнякова родились у меня числа 15 марта, когда во время очередной конспиративной встречи он вдруг заговорил таковы слова. У них в Библиотечном институте есть Бубулис, он литовец. Настроен он-де резко против не только советской власти, но и против русских. У него, продолжал Вишняков, есть обширные связи с литовским националистическим партизанским движением. У Бубулиса, дескать, есть возможность от этих подпольных партизан достать оружие. Так вот, надо бы вступить в контакт с Бубулисом, дать ему заказ и достать через него оружие нам. Этот разговор вызвал во мне очень глубокие сомнения в Вишнякове. Я знал немножко Бубулиса и видел, что при всей своей оппозиционности он даже близко не знаком ни с кем, когда-либо видевшим оружие. Я не сомневался, что если предложить оружие членам нашей организации, то они либо не будут знать, что с ним делать, либо разбегутся от страха. Оружие было нам совершенно бесполезно. Но кому было бы выгодно, чтобы мы, не умея владеть оружием, обзавелись им? Только тем, кто хотел бы иметь САМЫЕ ОЧЕВИДНЫЕ доказательства нашей преступной деятельности. Кому был бы выгоден факт наличия нашего контакта с националистической антироссийской и антисоветской организацией? Только тем, кто хотел бы подтвердить навязшую в свое время в зубах лживую догму, будто враги всех мастей всегда объединяются в своей зоологической ненависти к трудовому народу и его Вождю (или вождям). Вишняков был не дурак, насколько я его знал. Значит, он предлагал свой план не по глупости. Значит... Предложение я отклонил.

Примерно в те же дни состоялся другой разговор с ним. Подхватив мои слова о неминуемом аресте в ближайшее время, он предложил мне бежать в Финляндию, пояснив, что у него будто бы есть знакомые, тропа какая-то, по которой с гарантией меня безопасно проведут. Тут у меня не осталось сомнений, КТО ТАКОЙ Вишняков. Все предыдущие разговоры с ним всплыли в памяти и я увидел, что все его предложения клонятся исключительно к УВЕЛИЧЕНИЮ БЕССПОРНОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, причем сам он

не сделал ровным счетом ничего из поручавшегося лично ему. Ну, допустим, он не знает моего личного отношения к эмиграции - отношения, во все времена определенно отрицательного. У меня в ушах звучали слова Перовской Плеханову, звавшему ее в 1880 году эмигрировать:

- Нет, нет. Я останусь здесь погибать вместе с борющимися товарищами.

И она осталась в России с народовольцами, хотя не разделяла ни их программу, ни тактику. Я был целиком согласен с Фигнер, которая, в 1933 году, обращаясь к находившейся в эмиграции жене Кравчинского-Степняка Фанни Личкус, объясняла ей: "Мы не поехали за границу и не хотим ехать; хотим переживать все, что переживают здесь все русские", - одновременно обращаясь с протестами к Сталину против произвола. Мне казалось, что люди, критически относящиеся к антиконституционной практике управления, полезнее внутри страны, нежели снаружи. Кстати, хочу отметить различие моей позиции с сравнительно близкой, но другой позицией Ахматовой:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой вражьих крыл -
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью был.[61]

У Ахматовой мне неприемлема характеристика заграницы "вражьими крылами" - как обязательно пристанища врагов, только и измышляющих, как бы навредить моему народу. Я не верю в существование у России, Советского Союза - врагов. Мне кажется, что миф о врагах и вражьих происках выдуман для того, чтобы проще было ликвидировать свою собственную оппозицию, выросшую на почве чисто внутренних проблем, изобретен он в НКВД для ради того, чтобы оправдывать существование своего ненужного стране дорогостоящего аппарата[62].

Но, допустим, я Вишнякову этого не рассказывал, хотя говорил многим. Но ведь всем известно, что у Финляндии имеется соглашение с СССР о выдаче политэмигрантов. Но ведь совершенно ясно, что переход границы НИКОГДА нельзя гарантировать. Но очевидно, что если у Вишнякова ЕСТЬ столь влиятельные друзья, то он мог бы предложить и осуществить что-нибудь другое, более интересное. Наконец, кому выгодно, если я буду схвачен при попытке перехода границы или даже если я сумею убежать на Запад? Все тем же, кто хочет представить венгерские события как плод интриг ЦРУ... Довольно резко ответив Вишнякову, я постарался прекратить разговор. Я стремился не дать понять Вишнякову, ЧТО я о

[61] При редактировании и сверке цитат я обнаружил, что в свое время выучил стихи "Реквиема" по неправильному списку. Это место читается у Ахматовой иначе - "вражьих крыл" нет, крыла "чуждые". Но поскольку я рассказываю о моих прошлых взглядах, я обязан цитировать то, что тогда влияло на меня в той форме, в какой влияло. Но ясно, что нельзя приписывать Ахматовой те взгляды, которые я тут отстраняю от себя. Поправкой Н.Горбаневской насчет ритмики - пользуюсь с благодарностью.

[62] Увы, позже обнаружилось, что к такому же мифу о врагах прибегает не только НКВД, но и Солженицын. Так что не одной прикладной пользой объясняется происхождение сего мифа, но еще и ограниченностью.

нем подумал. Не знаю, удалось ли. Упомянутое "заявление Кобидзе", послужившее юридическим предлогом для допроса Вишнякова (см. §1), датировано 20 марта, а описанный разговор происходил между 15 и 18 марта. В процессе следствия следователи, и в 1963 году полковник Лякин неоднократно меня заверяли: "Вы ошибаетесь в отношении Вишнякова, мы провокацией не занимаемся"[63]. К сожалению, я не проследил последующей судьбы Владимира Ивановича Вишнякова, проживавшего в Ленинграде по проспекту Маклина д.40, кв.24.

Я стал обдумывать, как поступить. Рассказать о своих подозрениях? Я помнил, что все подозрения в отношения Этина, особенно всплывшие у меня, когда после почти двух с половиной лет разрыва он вдруг в декабре 1956 или январе 1957 года напросился на встречу со мной, - я записал в подробностях на бумагу и дал почитать кое-кому. И казавшиеся мне неопровержимыми доводы нисколько не убедили, например, Заславского. Он их отверг. Наученный опытом, я ломал голову, как раздобыть улики против Вишнякова, которые убедили бы всех. Пока же я молчал. До дня ареста, до 25 марта, придумать мне ничего не удалось.

Наконец, последнее, что я организовал - уже перед самым арестом. Примерно с конца января у меня в доме я стал собирать различных людей, как правило, не принадлежащих к одной ветви организации и уж во всяком случае КАК не принадлежащих организации. Встречи - капитан Правдин со смаком употреблял слово "сборища", а я не знаю, какое существительное русского языка описывает, что полузнакомые собрались не ради девочек и не хлестать водку[64], - происходили по воскресеньям раз в две недели. Для себя я преследовал следующую цель. Мне хотелось получше разобраться в некоторых узловых исторических моментах. Разумеется, речь шла об истории русской революции. Я лучше уясняю сам себе материал, когда расскажу его вслух, особенно, если слушателей несколько и они активно перебивают меня вопросами. Словом, по анекдоту, бытующему среди преподавателей высшей математики: "Прочел курс первый раз - студенты не поняли. Прочел на второй год то же - поняли. Прочел на третий - и сам понял". Поэтому я созывал аудиторию слушать меня, слушать, как я буду думать вслух. Это обещало быть интересным, поэтому знакомые приходили охотно. Но из соображений самолюбия было бы нерезонно все время ораторствовать одному мне. Ира раздраженно относилась к моему центральному положению (ох, как невмоготу быть женой великого человека!), к тому что - по ее словам - "мне все в рот смотрели" (что, кстати, было неправдой: Заславский и Орловский спорили со мной как с равным, Шрифтейлик высмеивала меня; сама же Ира руководствовалась "презумпцией жены": если нечто утверждает муж, значит, это неверно). Поэтому я из всех сил уговаривал других выступать и докладывать на исторические темы, которые они сочтут для себя интересными. Я сделал доклад о

---

[63] В это время еще не вышли такие шедевры бульварной литературы, как "Мертвая зыбь", "Особое задание", "Возмездие", "17 мгновений" и пр., факт публикации которых должен убедить, что в подобных действиях нет ни грана предосудительного; напротив, они похвальны. Напрасно Лякин отмежевывался!

[64] Какое слово подойдет: встречи, гости, приемы, рауты, суаре, вечеринки, собрания, чтения, журфиксы, "воскресенья", визиты, аудиенции, вечера, симпозиумы?

Гапоне. С чем выступил Заславский - не упомню, видимо, с достаточно бесцветным, ибо ему не инкриминировался его доклад у меня, а инкриминировалось только огульно "участие в сборищах". Орловский провел обзор деятельности органов ВЧК-ОГПУ-НКВД по 1938 год. Потом я сделал доклад по оппозиции 1925-1927 годов. Были намечены еще очень хорошие темы. Кроме названных лиц присутствовали: Шрифтейлик с Виктором Желновым, Никита с Мариной, Зубер с Корбутом, один раз - Кудрявцев. Конечно, Вербловская. Кажется, Зубер приводила еще кого-то или приводил Заславский. Как попал Кудрявцев - не могу понять, ибо общий принцип отбора лиц - принцип который я объяснял Ире, - был: "знакомые домами". Позже ходила легенда, будто это была "школа для обучения урокам революции", "перенятия ее навыков". В замыслах у меня этого не было. Технические вопросы мы как раз и не обсуждали, вопреки легенде. Скорее я, Игорь, Эрнст выискивали закономерности развития, а не рецепты, как нам поступать. Для смеха стоит упомянуть еще одну версию, получившую некоторое хождение в научных кругах, где слышали про это дело. Уверяли, будто все эти сборы у меня дома имели целью лишь сексуальное развлечение, а политика была придумана для ради лучшего заманивания девочек. Один знакомый выговаривал мне в 1966 году в Новосибирске: "Девочек и без политики можно было бы обеспечить". Меня так позабавила сия версия, что я даже не стал ее опровергать.

Я уже не первый раз поминаю Гапона. Надо бы пояснить, почему. Укрупненно говоря, мой взгляд на Гапона таков: с целью помочь рабочему классу он использовал свою служебную близость к полиции, злоупотребил доверием градоначальника, создал первый легальный массовый союз рабочих, организовал первую всеобщую политическую забастовку и вызвал демонстрацию 9 января, т.е. революцию 1905 года. Желая в декабре 1905 года повторить удачный опыт, он с теми же целями завязал контакты с охранкой, но, наткнувшись на сей раз вместо дурака Фуллона на проницательного Рачковского, запутался и стал служить на деле не революции, а охранке. Проблема Гапона вызывала уйму подчиненных ей самостоятельных подпроблем. В частности, у нас возникли соры о соотношении легальной и нелегальной деятельности. Мы с Игорем много спорили, в какой мере могла бы разразиться революция, если бы для нее существовала "легальная щель" в виде гапоновского "Союза русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга" (и другой щели - "банкетной кампании" осени 1904 года). Проблема усложнялась еще потому, что обе эти щели возникли только в результате заведомо нелегальной деятельности: убийства министра внутренних дел Плеве социалистами-революционерами.

В связи с моим последним докладом я обложился стенограммами съездов, марксистскими первоисточниками и начал писать - уже после доклада - статью о мировой революции, ориентации Ленина и Троцкого в этой связи, о борьбе государственных потребностей с этой догмой, об изменении в составе и руководстве большевистской партии в период последней оппозиции Каменева - Троцкого. Статья начиналась с анализа "Коммунистического Манифеста" словами "Что такое социализм?" - за чем в тексте следовал ответ цитатами (в том числе из "снов Веры Павловны"), а потом рассматривались пути его достижения и т.п.

Следователи приняли эти слова за заголовок статьи и в следственном деле она - не оконченная, а в рукописи - хранится как статья под названием "Что такое социализм?"

В марте же я узнал - они мне в этом признались - что ни Марина Таирова, ни Никита Дубрович не были первокурсниками. Он был девятиклассником, она - десятиклассницей, им было по 16 лет. Солгали они, резонно опасаясь, что малолетних я не допущу к себе. В этом они не ошиблись. Но вот что было делать теперь, когда я уже обращался с ними как со взрослыми?! Прогнать? Бессмысленно, да и в высшей степени оскорбительно. Я предпочел сохранить внешне прежние отношения, исключив из упоминания что-либо, связанное с "революционной деятельностью", и постепенно привести в норму отношения незаметно для них. Признание их было актом вынужденным: мать Дубровича Гнучева настаивала познакомиться с Ирой и мной, т.е. с хозяевами "дома, куда ходит ее мальчик". Но коли мы окажемся в гостях у его матери, то ложь Никиты о его студенчестве не выдержит и нескольких минут. Вот он и признался, после чего мы были в гостях у Гнучевой несколько раз, она очень нас звала.

Отступление о лжи несовершеннолетних. Позже мне приходилось знакомиться с другими людьми, которые в молодости солгали то или иное, дабы проникнуть или утвердиться во взрослом кружке, на участников которого они смотрят снизу вверх; схожую историю рассказывала мне про себя покойная театровед Лида Финкельштейн. Туда их тянет любопытство, жажда сравняться со взрослыми, такая естественная в юношеском возрасте. Когда они обосновываются во взрослой среде естественно, без обмана, отношения как-то утрясаются, нормализуются. Если же имел место обман, то кончается это - по моим наблюдениям - лютой личной ненавистью и отвращением обманувшего к обманутым. Я не берусь формулировать психологическую закономерность, приводящую к такой переоценке. Я сообщаю просто известные мне факты из жизни российской интеллигенции 50-60-х годов XX века. Эта переоценка зачастую подхлестывается тем обстоятельством, что, памятуя первую ложь несовершеннолетнего, его начинают необоснованно заподозривать (например, Зубер в мае попрекнула Дубровича, что он-де "погубил" меня своими показаниями), а тогда нечистая совесть солгавшего хватается за предлог, дабы "уличить их всех" в недобросовестности, в беспочвенных огульных подозрениях. Он не видит ОТНОШЕНИЙ между отдельными членами взрослого кружка; для него они все - ОНИ, противоположные ЕМУ. Поэтому все и виноваты в неверном попреке одного. Отсюда быстрый поворот на 180°.

Для меня же их ложь означала еще одно дополнительное обвинение: вовлечение в свои сети несовершеннолетних. Как бы их же собственными и многочисленными другими показаниями ни выяснилось, что они просто-напросто обманули меня (в обвинительном заключении "вовлечение" не инкриминировалось) - привкус нечистоплотности остался. И потом, руководствуясь заповедями Александра Михайлова и Бориса Савинкова - "никогда не вовлекать в организацию несовершеннолетних" - я чувствовал себя, независимо от внешних обвинений, весьма скверно.

С каждым днем марта я все заметнее ощущал, что нелегальная деятельность выдыхается. Возбуждение конституционных чаяний 1956 года улеглось. Я глубоко убежден, что кабы ГБ не вмешалось и не арестовало нас, то мы бы перессорились и разбежались не позже, чем к лету сами по себе[65]. Этому способствовало и то, что я "обманул надежды" на листовки. Мне переставали верить. Исчезло то, что оправдывает в веках всякую заговорщицкую деятельность: единый порыв, всеобщее воодушевление, подразумеваемое согласие всех в том, что как прежде, положение оставаться не может, и все едины в устремлениях. Конспирация - conspiratic - и означает-то "совместное дыхание". Я думаю - и смутные мысли об этом зашевелились в моем мозгу в марте 1957 года, - что из всей эпопеи с организацией к лету осталась бы разве дружба с Борисом Вайлем да - менее вероятно - с Ирмой Кудровой.

Именно такое настроение, что все закончилось "само по себе", побудило меня при последней встрече с Кудровой "с уверенностью" заявить, что "по-видимому, опасность ареста миновала". Она мне дала - или взяла от меня? - такой "криминал", как альманах "Литературная Москва". Я помню, что он там фигурировал, ибо на его форзаце я что-то рисовал, объясняя расположение чего-то. Мы встретились в субботу, 23 марта, в садике перед Адмиралтейством, часов в 5 вечера. В это время в Большом Доме Вишняков уже давал свои подробные показания, без которых не было юридического повода обращаться к прокурору города за санкцией на мой арест.

Закончу описание этих предарестных месяцев одним эпизодом тех дней. Раз, когда я возвращался около полуночи с работы, мне предстояло свидание с Борисом на Халтурина у определенного дома. С работы я вышел вместе со своим сослуживцем-доцентом - который, кстати, примерно с января стал явно шпионить за мной, подбирая все бумажки, которые я бросал или забывал. Мы поехали троллейбусом. У Витебского вокзала ему надо было выходить. Я попрощался с ним за руку и остался сидеть - троллейбус был полупустой - сказав, что поеду до Невского. Он вышел. В это время наперерез троллейбусу слева подъехало такси, высаживая пассажиров, и блокировало троллейбус. В один миг родилось решение, как избавиться от хвоста-слежки, идя на свидание с Борисом. Я выпрыгнул в только что начавшую закрываться заднюю дверь - никто не мог последовать за мной - и кинулся в еще раскрытую дверь такси. Не сбрасывая старого счетчика - ведь таксист не имел права брать новых пассажиров тут, он обязан был подъехать к стоянке, находившейся в 20 метрах, - шофер дал на газ. Около Звенигородской он подкрутил счетчик. В миг мы оказались на Халтурина, рядом со ждущим Борисом. На счетчике было рубля три, у меня была только десятка, у шофера не было сдачи (тогда тарифы такси были куда дешевле! Попробуйте нынче от Витебского вокзала до Халтурина за тридцать копеек, даже чуть меньше, проехать!). Я попросил трешку у Бориса, кинул шоферу, и мы скрылись в подворотне.

На следствии этот эпизод отозвался двояко. Вербловской Правдин говорил: "Конечно, Пименов неплохой конспиратор и умеет заметать следы. Но он забывает про современную технику". Вайлю следователи внушали, что я жил за его счет (трешка, которую я ему,

[65] Сходное чувство было и у Бориса Вайля, как он мне рассказывал позже.

конечно, не отдал), а сам разъезжал на такси и ходил по ресторанам. Меня они соответственно стыдили.

Рестораны же вот откуда взялись. Как-то Кузнецов попросил меня прийти к ним в институт для встречи с созданной им группой. Я согласился, но попросил заранее позаботиться о подходящей аудитории в институте (ЛИСИ). Он заверил, что обеспечит, но в день свидания вдруг объявил, что аудитории нет. Предложил направиться в ресторан или в пивную, поговорить там. Сопровождавшие его приятели (помню среди них Акмена) поддержали его. Представляя заранее, как писателями соответствующего жанра разрисовываются "ресторанные встречи", я было отказался наотрез. Но так как погода стояла скверная и возникла альтернатива: прогнать их и, может, рассориться либо пойти с ними, то я согласился двинуть в столовую на Невском. Там за шторами был огорожен стол. Они взяли несколько бутылок пива, но пить-то я уж наотрез отказался, будучи все время начеку на предмет будущей недобросовестности. Капитан Правдин оправдал-таки мои ожидания, но только в устной форме. Ни в какие обвинения, ни даже в мою характеристику ни “жизнь за счет студента Вайля", ни "пьянки в ресторанах" не попали. Думаю, что Правдину эти обвинения были нужны в основном для того, чтобы вывести нас с Борисом из равновесия, а не сами по себе.

Перечитывая написанное, я обнаружил немалую толику "игрового момента" в моем поведении. Это - не ретроспективная рисовка. Сошлюсь на свидетельство Иры, которая в августе 1957 года, в тюрьме, писала стихи, содержавшие строки:

Мы по Большому ночью шли домой.
Хрустел мороз под нашими ногами.
Тогда назвал ты это все - игрой,
В которой все - рискуют головами.

На скалы забираться не умея,
Я отойду, чтоб не мешать тебе,
Ужель игра - тебе всего важнее?
Подумай, мой любимый, о себе!

И сам я в апреле писал, имея в виду себя, Бориса, Игоря:

Я не думаю о тех, кто арестован:
Проиграл свою игру - плати...

§11. День ареста

"Предупреждения"; они пришли; Уголовно-процессуальный кодекс; расставание с Ирой Вербловской; протокол обыска

Утро 25 марта было солнечное, веселое, весеннее. Часов в 10 утра я встречался с Борисом перед Библиотечным институтом, что-то ему передал. Это было по пути на мою работу (тогда практически метро не было, и этот нынешний путь от м.Петроградской до м.Электросила занимал с пересадками часа полтора-два). Когда мы с ним сходились на набережной, мне почудилось, словно мимо нас прошел, фотографируя без фотоаппарата, какой-то молодой парень с напряженным лицом, которое потом быстро разгладилось и стало добродушно открытым. Я проследил его взором, подумал: какая чушь, схожу с ума от шпикомании. Передал Вайлю очередную "информацию" и пошел на автобусную остановку. Через пару месяцев мне показалось, будто я встретил его в коридорах Большого Дома. Правдин меня уверял: "Вы ошибаетесь. Мы Вас не фотографировали в этот день". Борис тоже помнит, как парень этот прошел между нами и бросил конверт в почтовый ящик.

На работе кроме проведения занятий меня ждал забавный эпизод. Мне вдруг принесли из отдела кадров мою автобиографию, написанную при поступлении на работу в институт. Тогда в конце я написал буквально следующее: "под судом, следствием, в партии - не состоял". Теперь, объяснили мне, какая-то комиссия просматривала все личные дела, наткнулась на эту фразу и велят переписать "аккуратнее. Так ведь нельзя." Посмеиваясь, я написал пару стандартных фраз.

Возвращаясь трамваем часам к семи вечера, я лениво и устало переходил от одной мысли к другой: думалось об отце, который в субботу приехал из Москвы, остановился у нас, а потом поехал по командировочным делам в подленинградский совхоз. Думал о книжке Гамсуна “Paa giengrodde strier”, достать которую я мечтал давно и которую мне как раз привез отец, а ему в свою очередь - сослуживец Беляев (будущий академик-биолог), бывший в командировке в Норвегии. Я собирался читать ее в воскресенье. Но с утра мы с Ирой ездили на толкучку (никогда не прощу Хрущеву, что из-за него и его планов строительства коммунизма году в 1961-м толкучку в Ленинграде закрыли!) и купили там несколько интересных книг, а вечером пришла в гости Шрифтейлик, и я за плохим знанием норвежского прочел всего страницу о том, как Гамсуна арестовали в мае 1945 года, а потом - и его жену. Вспомнил, как в то же воскресенье вечером по настойчивым уговорам Шрифтейлик, удивившейся, что я умею гадать на картах, погадал и ей, и Ире и - чего по мистическим гадальным правилам ни в коем случае делать не дозволяется - в конце концов себе. И мне, и Ире выпал казенный дом; мне еще - болезнь. Были и слезы и неожиданности, нерадостные. (Потом я наотрез не прикасался к картам, да в июле 1970 года Тася Тушкина уговорила поиграть с нею, больною. Через неделю меня арестовали. С тех пор я не прикасался к картам!). Пришла на память странная открытка: некий инструктор горкома ВЛКСМ просил Вербловскую зайти в Смольный такого-то

числа. Но открытка была заслана по ошибочному адресу, и мы ее получили по истечении указанного срока. Удивленная Ира позвонила по приведенному в открытке телефону; объяснилась, что адрес неверный. Перебивая ее, голос ответил: "Да-да, мы сами знаем, что была неправильно написана улица. Но сейчас уже приходить не нужно". Никогда у Иры никаких дел не то что в горкоме, в низовом-то бюро комсомола не было... Мы с ней отнесли эту открытку в разряд "предупреждения", которых в ту пору было немало. В начале февраля вдруг звонок в дверь. Подхожу. Врач. Я не вызывал. Спрашиваю: "А у Вас документ есть, что Вы врач?" Достает. Судебно-медицинский эксперт такой-то. "Вы, Револьт Иванович, в 1949 году находились в психбольнице № 2?" - "Находился" - "А сейчас Вы как себя чувствуете?" - "Не жалуюсь." - "Да, вроде Вы, действительно, сейчас вполне здоровы. Но вот взгляды у Вас... Поостереглись бы Вы." И уходит. Трамвай шел около часу, успело подуматься обо всем.

Вот трамвай уже проходит через центр города. Подумал, не заехать ли к Ире Зубер, но почувствовал себя усталым, раздумал.

Дома Иры не было: она должна была вернуться поздно вечером из своей школы, расположенной за городом, за Парголово. Я лег и взял читать купленную накануне книгу: "Первый день Всероссийского Учредительного Собрания. Стенограмма. Печатается по распоряжению Председателя Учредительного Собрания. Москва. 1918". Прочел. Подумал. Взял другую, тоже купленную накануне: "Судебные речи" Володарского. Начал читать, задремал. Четверть одиннадцатого внезапно проснулся: в комнату вошел человек. Я поднялся на кровати, уронив книжку; выглянул из-за шкафа, отгораживавшего кровать от "гостиной". В первый момент он мне показался настолько похожим на Володю Фролова, что я чуть было не потянулся к нему: "Чего без стука входишь, Володька?!" Но тут за ним комнату наполнили еще четверо и замаячили фигуры дворников. Я все понял. "Гражданин Пименов Револьт Иванович?" - "Да." Не давая спросить, протягивает мне темно-красную книжечку. Раскрываю. Фотография. Текст: "Старший оперуполномоченный УКГБ Калининского района г.Ленинграда Ерофеев Вениамин Иванович". Печать.

- Пожалуйста, Ваши документы, гражданин Пименов.

Поворачиваюсь к другому шкафчику, что в ногах у кровати, открываю дверцу, достаю куртку, в кармане которой документы. Они сгрудились, готовые стиснуть меня, лишь только мои действия покажутся подозрительными. Один, поодаль, без пиджака и на боку его демонстративно оттопыривается расстегнутая кобура, которую он похлопывает словно невзначай. Этот - единственный с видимым оружием. Достаю военный билет, еще что-то.

- А паспорт?

- У матери. (Дело в том, что мать собиралась переезжать на другую квартиру, куда должен был быть прописан и я. Паспорт был нужен ей в прописку.)

Только после "обмена документами" мне предъявляется ордер на арест и обыск. Санкция прокурора города, кажется, Соловьева. Печать. Легким похлопыванием по телу обшариваются карманы. На ордере я расписываюсь на обороте: "Предъявлен в 22.15 25 марта 1957". Обращаюсь:

- Нельзя ли позвать свидетелей - соседей, родственников жены?

- Нет-нет, не надо.

- Я их попрошу передать жене, что я арестован.

- Нет, это излишне. Мы еще долго тут пробудем, и Вы дождетесь свою жену.

Тут я замечаю дворников в галошах на валенках, с которых течет грязь, рассевшихся на диване, и повышаю голос:

- Что это вы в галошах в комнату входите! Грязищу разводите! Снимите!

Ерофеев удивленно смотрит на меня, дворники мнутся, ожидая приказаний начальства и явно не считая мои слова чем-то само по себе имеющим цену. Ерофеев кивает: "Снимите!" Выходят, возвращаются поаккуратнее. Одна из них, кажется, после этого во всю ночь не садилась. Усаживаюсь на диван. Слегка знобит от прерванного сна. Накидываю что-то потеплее. Ерофеев выходит в коридор и односложно куда-то звонит по телефону; видимо, докладывает, что операция началась успешно. Согреваюсь. Обвожу взглядом сцену действия. Взор задерживается на полке справа от входа: "Уголовно-процессуальный кодекс". Протягиваю руку взять. Молнией наперерез Ерофеев. Выхватил, пристально осмотрел, протянул мне. И настолько были обострены мои чувства в тот момент, что УПК, который я внимательно читал после этой сцены до самого прихода Вербловской, вполглаза наблюдая за ходом обыска - запомнился мне наизусть. До той главы - о приведении приговора в исполнение - на которой чтение прервалось. Долго еще впоследствии мог я цитировать УПК на память. Не случайно лейтенант Прокопьев бросал свидетелю Орловскому:

- Вы же Пименова оружием снабжали!!!

- Я???

- Ведь Вы ему УПК купили!

В самом деле, УПК - самое мощное оружие в руках подследственного[66]. Много бы дал Правдин, лишь бы я не знал, что У МЕНЯ ЕСТЬ ПРАВА. Спокойнее было бы ему, как спокойнее было бы старшему лейтенанту Кривошеину и капитану Меньшакову. Нет, всякому, кто собирается входить в соприкосновение со следствием, я настоятельно рекомендую внимательно проштудировать УПК. Читать УК тоже полезно, но менее. Борис, как я узнал позже, готовился к аресту сходным образом: он купил себе изданный юридическим факультетом ЛГУ "Сборник задач по преступлениям по 58-й статье" и прорешал задачник.

Я часто читывал в криминальных повестях, как преступника ловят на том, что его лицо бледнеет или глаза начинают бегать, когда обыскивающие приближаются к тайнику. Мое лицо было спокойно, вдумчиво погружено в книжку, и ничего не прочли они на нем, когда один из них повертел в руках коробочку от авторучки, в

---

[66] Эту ПРАГМАТИЧЕСКУЮ мысль о знании и пользовании правами (от Конституции до УПК), в шестидесятые годы, почерпнув у меня, Есенин-Вольпин и Чалидзе, а позже Твердохлебов а Альбрехт развили и превратили в ДОГМАТИЧЕСКИЙ принцип правозащитного положения. Писали всякого рода "памятки", развивали теоретические положения... Но УПК - оружие лишь в определенных условиях, как и всякое "неабсолютное оружие". И при равном цинизме с обеих сторон УПК помогает тому, кто его знает лучше.

которой аккуратно разложенные по пакетикам, ждали своего часа "буковки", и чинно (надо вообще сказать, что вели они себя крайне вежливо и аккуратно) положил на то же место на книжной полке, где она покоилась до того. Позволю себе отступление. При обыске важна его направленность. В лагерях я наблюдал, что если шмонают на предмет листовок и вообще писанины, то запросто не заметят ножей. Если же ищут ножи, то будь хоть вся тумбочка забита листовками, их раскидают в поисках ножей, но не возьмут. Мои же гости искали не "буковки", о которых они не имели в тот момент ни малейшего представления, а МАШИНОПИСЬ. Правда, рукописи они тоже прихватили. Но рукописи брали только те, что моим почерком. Точнее, написанное рукой Иры они не брали - но фотографировали, фотографировали много и в различных ракурсах. Собственно, не то чтобы они фотографировали каждую страницу ею написанного; они собрали сначала все без исключения бумаги, сфотографировали их внешний вид, уже затем стали отбирать, что взять, что оставить. В грязное белье, где кое-что хранилось, они не полезли (ох, и разносил потом Правдин Ерофеева, когда соседи - Роксана Мосина, это не родственники - стукнули про белье: "Белоручки! Чистюли! Погнушались в белье сунуться!"); в печь (никогда не топившуюся, где хранилась пленка, снятая с Шейнисова документа) на кухне не заглянули. И по моему лицу ничего не прочли, касатики...

Заполночь пришла Ира. Они уже было начали изъявлять нетерпение, почему ее нет. Она с порога: "Что такое?! За что?!" - и едва ли не в голос. Я сразу пресекаю: "Без эмоций!" Помню еще одну мою фразу ей, не помню лишь по какому поводу: "Нет, будем предполагать, что они верят в то дело, которому служат". Пересаживаюсь в стоящее посередине кресло, беру ее к себе на колени, и в такой позе мы просидели до начала пятого утра, когда обыск закончился и мне предложили подписать протокол обыска. Копию его они оставили Ире.

“ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

гор.Ленинград, 26 марта месяца 1957 г. Сотрудники УКГБЛО Ерофеев, Смирнов, Кириллов и Кулаков на основании ордера за № - от 25 марта месяца 1957 г. в присутствии понятых Кузнецовой Клавдии Федоровны и Араповой Анны Ивановны, руководствуясь ст.175-185 УПК, произвели обыск у Пименова Револьта Ивановича в доме № 21/12 кв.№ 56 по улице Теряева. Согласно ордера задержан Пименов Револьт Иванович. Изъято при обыске следующее:

1. Военный билет № 288639 на имя Пименова Р.И.

2. Удостоверение № 77 библиотеки Академии наук СССР на имя Пименова Р.И.

3. Диплом № 866969 на имя Пименова Р.И. об окончании Ленинградского государственного университета с приложением к диплому № 866969 выписки из зачетной ведомости.

4. Удостоверение № 16232 и приложение к диплому на право ношения университетского значка.

5. Характеристика и копия характеристики - всего на двух листах.

6. Автобиография на одном листе.

7. Историческая трагедия "Желябов", рукопись, на 52 листах + 16 листов.

8. Пишущая машинка неизвестной фирмы № 10784.

9. Записная книжка с 36 листами. На первой странице которой вверху значится "И.Вербловской".

10. Рукопись на 60 листах "Пока народ просыпается".

11. Пленка от фотоаппарата “ФЭД” в 7 кассетах и одна в развернутом виде.

12. Рукопись "Дегаев, разгром "Народной воли" на 54 листах.

13. Рукопись на 23 листах, начинается "Что такое социализм..." и заканчивается "... пронизывающего всё ужаса".

14. Текст на машинке, отпечатанный на 7 листах, озаглавлен "К спору о социалистическом реализме."

15. Рукопись на 8 листах, начинается словами "Гамов, Георгий Антонович...", заканчивается "... журналы, газеты, личные свидетели."

16. Рукопись на одном листе, начинается словами "Уважаемый товарищ Котт!..".

17. Рукопись на одном листе, начинается словами "На декларации независимости США...".

18. Текст, отпечатан на машинке на 12 листах, начинается словами "Если знать..." и заканчивается "... мутноглазые, навеселе".

19. Тетрадь со стенографической записью на 95 листах с заголовком на 2 странице "Фашизм в Италии".

20. Рукопись на 3 листах, начинается словами "Польский путь..." и заканчивается "... отдаление".

21. Рукопись на одном листе, начинается словами "Крестьянскому начальнику...".

22. Рукопись на двух листах, начинается словами "Под новый год..." и заканчивается "... потом отдал А.".

23. Зачетная книжка на 65 страницах, на последней странице записан адрес "Москва 143" и т.д.

24. Непроявленные пленки в количестве примерно 5-6 штук от аппарата “ФЭД”.

25. Текст на машинке с указанием п.л. № 113-114.

26. Текст на пишущей машинке на 23 листах, начинается словами "Филипп Франк...", заканчивается словами "... как философ-ученый".

27. Пленка микрофильма в 11 пакетах.

28. Конверт, адресованный Пименову из Союза советских писателей со вложением.

29. Три конверта с вложениями, подписаны Пименовым.

30. Разная переписка и записи адресов на 12 листах.

31. Три пленки в кассетах от аппарата “ФЭД”.

Обыск производился с 22.15 25.III.57 до 4 час. 26.III.57. При обыске жалоб не поступило. При обыске опечатано: один мешок, опечатанный гербовой печатью УКГБ ЛО; печатью № 2.

(Следует семь подписей.) При обыске производилось фотографирование изъятых вещей. Копию протокола обыска получила - Вербловская”.

И стоит рукой Ерофеева дата: 23 (третьего!) марта 1957 г. Часть реквизитов я опустил.

Ничего из изъятого не инкриминировалось (кроме п.13). Большинство - возвращено по окончании следствия, в том числе

пишущая машинка и все микрофильмы (до сих пор я разглядываю свою роспись на них: "Эта пленка изъята у меня при обыске 25 марта 57"), все пьесы. Ничто из изъятого не послужило даже промежуточной уликой, а вот упомянутое в самом конце протокола фотографирование дало-таки промежуточную улику против Вербловской, как рассказано в §13.

На столе, рядом с тремя листами протокола, осталась кучка денег - несколько сот рублей "партийных денег". Я было начал говорить еще раньше, когда давал Ире поручения: позвонить мне на работу, известить о моем аресте, пусть она не стыдясь всем рассказывает о моем аресте, деньги эти отдать - вернуть долг... Я осекся, и не отвечал на ее вопросы, кому. Я понял, что при видимом безразличии обыскивавших, которые вроде не слушают, тут есть магнитофон, который они будут прокручивать многократно, дабы выжать все мыслимое из моих слов при аресте. Наконец, перед самым концом, кивнул на стол, говорю:

- Прощай, ЧАРОВНИЦА.

Так как слова "чаровница" я никогда не употреблял, она догадалась, что речь идет о Чарове, т.е. Вайле. К сожалению, прокручивая в сотый раз пленку с записью этого разговора, капитан Правдин, узнавший от Бориса к июню кличку "Чаров", понял меня не хуже Иры. И у нее появился пункт обвинения: намеревалась выполнить поручение Пименова и вступить в контакт с Вайлем.

Я напомнил Ире намеком мою просьбу о яде (сулеме). Встали. Она согрела чай, покормила кое-чем. Я собрал в узелок себе теплое белье, носовые платки, зубную щетку, еду, зубной порошок; бумагу - Ерофеев не позволил.

Прощальный поцелуй. Тут Ерофееву изменяет вежливость: "Ну, попрощались?!" - чтоб не тянули поцелуй. Плотно обступили меня со всех сторон и, неся опечатанный сургучными печатями мешок с изъятым у меня, спускают меня по лестнице. За углом поджидает машина - "Победа". Плотно зажимают впятером на заднем сидении и на мою попытку пошутить не отвечают. При переезде через Кировский мост вижу Неву. Пронзает острое чувство - в последний раз. Подъезжаем к воротам по улице Воинова, 25. Ерофеев нажимает утопленный в стенке звонок. Приподнимается глазок, открываются ворота, машина въезжает, останавливается перед следующими воротами, в десятке метров или ближе от первых. Та же процедура. И все без слов. Поднимаемся по лестнице, обнесенной сеткой (вспоминается легенда о самоубийстве Савинкова, после которого-де вышел приказ обнести тюремные лестницы сетками), в дежурную с большим портретом Феликса Эдмундовича (конечно, групповым). Хотя, как говорил Заславский, когда мы во время второго суда обменивались шуточками: "Единственное, что я совершенно не перевариваю в Револьте, самое слабое в нем, это его стихи", - я перейду на стихи; собственные стихи я рассматриваю как великолепное мнемоническое средство. Я не упомнил бы и половины из описанного, не твори я в свое время поэм, которые и перелагаю здесь в прозу. Итак, обещанное чудо поэзии:

Двор, двор и лестничная клетка.
Всхожу походкой новой, необычной -
Теперь-то уж в тюрьме привычной -

Наверх. Перила заменяет сетка.
Они несут мешок с поличным.

Им выдают расписку в полученьи.
Наверх меня уводит старшина.
Сперва велит раздеться догола.
Я выполняю, хоть в недоуменьи,
За мыслью мысль проносится, спеша.

Я думаю о том, чем славится тюрьма:
О том, что бьют, что здесь пытают.
Зачем меня с порога раздевают?
Какая гробовая тишина!
Что мне она сулит и предвещает?

Он волосы расправил мне рукою:
Не спрятал ли чего я в волосах?
А, может быть, во рту или зубах?
И - очень пристально следя за мною -
Ключи перебирает он в руках.

Я голый в клетке с маленьким окошком,
Он вещи на скамье перебирает,
Железки с шубы, с брюк срезает
И часть вещей передает мне понемножку.
А кое-что совсем не возвращает.

По лестнице ведут, по коридорам.
Пронизывает сердце тишина.
Вдруг воплем разрывается она.
Ищу хоть что-нибудь живое встретить взором,
Но только равнодушная стена.

Тогда за мной закрылась эта дверь впервые
И я на койку бросился, устав.
И лишь потом, к полудню, встав,
Я разглядел, что стены желто-голубые,
Да на стене прочел я список своих прав.

Пропущено - из уважения к потомству (хотя чем мои вирши хуже стихоплетства Константина Аксакова?) и к моей жене (это не потомство, это посерьезнее, это - рядом не переваривает моих стихов) четыре строфы, а также девятнадцать строф до и штук двести строф после.

В те же часы шел обыск на квартире, где я официально жил - у моей матери. Там изъято меньше, но погуще. А часть бумаг моя мать спасла от изъятия просто гениально: они хранились в соломенной корзине под кроватью с сетчатой основой. И вот, когда дошла очередь досматривать этот угол, она - внешне преисполненная готовности услужить им - широким жестом взмахнула с сетки матрац с одеялами и показала на голую сетку: "Вот, видите, там пусто!" Игра света сквозь дырки в сетке на соломенной крышке создала иллюзию пустоты, они кивнули головами, и, прежде чем успели начать

вглядываться, она уже опустила постель. Зато на книжном стеллаже они рылись не торопясь.

“ПРОТОКОЛ ОБЫСКА.

Гор.Ленинград 25 марта 1957. Мы сотрудники УКГБЛО Матвеев, Кривошеин, Хухарев на основании ордера за № - от 25 марта в присутствии понятых Зайдуловой Зои Хусейновны, дворника дома № 2 по Серпуховской ул., и Голубевой Екатерины Дмитриевны, проживающей по Серпуховской ул., д.2, кв.2, произвели обыск у Щербаковой Ларисы Михайловны в доме № 2, кв. 2, по ул. Серпуховской. Изъято при обыске:

1. Листы с отпечатанным на машинке текстом, озаглавленным "О культе личности и его последствиях", с пометками на полях и в самом тексте, сделанными черными чернилами от руки - 21 лист.

2. Лист линованной бумаги с текстом, исполненным от руки синими чернилами, начинающийся со слов: "В г.Медвежьегорске (Мурманской обл.) военно-полевой суд..." и заканчивающийся словами: "... в жизни литовских городов в течение последних месяцев" - 1 лист.

3. Коробка серого цвета с вложенными в нее листками нелинованной бумаги, заполненными текстом от руки фиолетовыми чернилами и карандашом - 6 листов.

4. Китайско-русский словарь издания 1952 года, в который вложено 6 листов нелинованной бумаги с записями черными чернилами.

5. Отдельные листки от журнала "Riz" на иностранном языке - 11 листов.

При обыске производилось фотографирование. К протоколу обыска прилагается протокол осмотра и обнаружения изъятых документов. Обыск производился с 21.45 до 00.45. Жалоб нет, в двух пакетах, опечатанных печатью № 3. (Шесть подписей плюс повторяется подпись Щербаковой как лица, получившего копию протокола.)”.

Протокол осмотра, упоминаемый тут, заключался в констатации того обстоятельства, что все изъятое находилось на том участке комнаты, который принадлежал мне, а не ей: МОЙ письменный стол, МОИ книжные стеллажи. Поэтому для нее было так важно скрыть корзину с МОИМИ бумагами под ЕЕ кроватью!

Шел обыск и у Орловского:

“... 25 марта ... Белоногов, Удовенко, Лапичев, Волнухин и Тюмин ... в присутствии двух понятых (указаны с адресами) произвели обыск у гр.Орловского Эрнста Семеновича ... Изъято:

1. Речь Тито в Пуле (перевод), отпечатана на пишущей машинке на 16 листах.

2. Речь Э.Карделя (перевод) отпечатана на пишущей машинке на 23 листах.

3. Записи на пишущей машинке на 7 листах, начинающиеся словами: "Венгерская революция. Тезисы..." и оканчивающиеся словами: "... повторение венгерской трагедии станет невозможным."

4. Записи на пишущей машинке на 13 листах, начинающиеся словами: "Ян Котт, польский критик... " и оканчивающиеся словами: "... революция до победного конца".

5. Разные записи на 45 листах.

Не в протоколе, а для себя Эрнст составил потом примерную опись этих записей. Это - переводы из польских, норвежской (коммунистической), итальянской (коммунистической) и югославских газет и журналов, черновик "открытого письма" Орловского к Семенову, выписки из Летописи газет и журналов 1937 года.

6. Письма - 15 шт.

7. Телеграммы - 2 шт.

8. Книга “Карл Каутский. Очередные проблемы международного социализма", 1913 года издания.

9. Книга “Карл Каутский. Противоречия классовых интересов в 1789 году", 1923 года издания.

10. Книга Карла Каутского "Нет больше социал-демократии!", 1924 года издания.

11. Книга Карла Каутского "Путь к власти ", 1923 года издания.

12. Книга "Карл Каутский. Собрание сочинений", 1923 года издания.

13. Записная книжка светло-коричневого цвета обложки - 1 шт.

14. Журнал "Расс" №№ 39,40 1957 года.

Копию протокола обыска получил - подпись Орловского”.

О прочих обысках, вершившихся в ту ночь, рассказано будет ниже, да и протоколов их у меня нет и не было.

§12. Экспозиция фигур на следственной доске

Происхождение данных, имеющихся у следствия; их юридический статус; доказательства наличия прослушки; кого из героев невидимого фронта раскрывают, а кого прикрывают при следствии; провал "кавалерийской атаки"; как анализировать протоколы; разница в положении свидетеля и обвиняемого; превращение неюридического знания в юридическое; просчеты допрашивавших и допрашиваемых

Я рассказывал здесь то, что ЗНАЛ Я к 25 марта, то, что МНЕ стало известно позже. Картина ясная: бери и суди. Но ведь нашим героям невидимого фронта к 25 марта картина представлялась отнюдь не столь ясной. Попробуем разобраться, что они знали или могли знать к этой дате.

Они располагали данными следующего происхождения: заявления от граждан и организаций, данные наружного наблюдения, данные подслушивания разговоров; возможно, также данные внутренней агентуры (оперативные данные) и данные негласных обысков. После арестов к этому прибавились данные гласных обысков. При этом только данные первого и шестого рода имели силу юридических улик. С прочими данными полезть в суд было бы невозможно.

Последнее мое утверждение может показаться странным. Я не спорю, что в иные времена могли засаживать людей - и суд знай штамповал - и безо всяких данных. Может быть, так и бывало, но я сего не застал. В мое время законность была не просто восстановлена, но даже ПОДЧЕРКНУТО восстановлена. Как правило, гебисты держались со мной нарочито вежливо (так и вспоминалось дореволюционное выражение "жандармская вежливость"). За исключением двух случаев, не могу вспомнить ничего похожего хотя бы на окрик.

Первый случай относится к середине апреля, когда подполковник Рогов, начальник следственного отдела, начал объяснять мне, что всякие там идеи - вздор и ерунда, что мои подельники давно продали их, заложили меня, ибо молодость, она жить хочет, а не идеями заниматься. Только я вот, дурак, не даю показаний. На мое язвительное замечание о том, как это он оценивает роль идей, он, защитник строя высокой идейности, он стал кричать на меня, что скрутит меня в бараний рог, что заставит меня говорить и т.д. Правдин поддакнул начальству: "Как Вы руки держите! Сядьте правильно!" Я немедленно отказался что-либо говорить впредь да к протоколу допроса сделал приписку, что отказываюсь давать показания (которых я не давал и до того) ПОТОМУ, ЧТО подполковник Рогов кричал на меня и угрожал. Рогов тут же на протоколе написал, что это не он, а я кричал на него, а он лишь разъяснял мне всю пагубность моего запирательства. Распорядился увести меня в камеру, но после этого со мной иначе чем слащаво-любезным тоном не разговаривал (а когда приезжала комиссия из Прокуратуры РСФСР - так просто лебезил передо мной) и даже вскорости распорядился предоставить мне книжную льготу: вместо положенных двух книг на 10 дней выдавать мне еще одну на иностранном языке и одну по математике.

Второй случай помельче. Я сидел в кабинете старшего лейтенанта Кривошеина, когда вдруг вошел до того неизвестный мне заместитель начальника УКГБЛО полковник Лякин. Я остался сидеть. Тогда Кривошеин вскричал на меня: "Встаньте, когда полковник входит!" До сих пор не могу понять, почему я встал.

А вот цитата из записок Орловского:

"Рогов, Правдин, Прокопьев если и начинали орать, то сразу сдерживали себя, и ничего невежливого не сказали".

Так вот, ссылаться на то, что тех или иных лиц они видели вместе, они в обвинительном акте не могли, сколько бы фотографий к делу они ни прилагали (на деле они не приложили ни одной, хотя демонстрировали много). Еще, возможно, по шпионским делам такие фотографии что и доказывают, но не по политическим. Ведь в самом деле, всегда есть возможность оспаривать доказательную силу фото- и кинодокументов, даже если бы они приобщались в качестве улик. Сфотографировали меня на набережной вместе с Кудровой - так что это доказывает? Может быть, я задаю ей вопрос: "Девушка, который час, не знаете?" И где гарантия, что снимок не смонтированный? Как знаменитая фотография в "Известиях" или в "Литературной газете", когда за три месяца ДО того, как открылся подземный переход через Невский на Бродского, вдруг газет поместила "снимок" УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО перехода, по которому якобы шли толпы людей! Наконец, всякая улика должна кем-то быть представлена. А филеров, по-видимому, вообще нельзя вызывать в качестве свидетелей. Ведь филеры, как состоящие на службе сыска, вряд ли могут рассматриваться судом в качестве беспристрастных свидетелей. Их можно отмести по тому мотиву, что они дают показания в порядке служебной дисциплины.

С данными аппаратов для подслушивания в суд, конечно, лезть было невозможно. Не говоря про морально-юридическую сторону подслушивания, есть два обстоятельства, начисто лишающие юридической силы такие магнитофонные записи. Первая - крайняя легкость фальсификации. Я говорю, например: "Я не убью Хрущева". Технически ничего не стоит переписать это на другую пленку так, что останется: "Я убью Хрущева". Если и возникнет на месте выброшенного слова потрескивание, то оно утонет в море помех, сопровождающих украдкой сделанную запись. В журнале "За рубежом" в шестидесятые годы была помещена огромная статья, как на Западе фальсифицируются голоса певцов, записываемые на пластинку: добавляются ноты, которых не сумели взять певцы, изменяются тембры так, что под именем одного певца на деле поет совсем другой - а публика не в состоянии различить! - и т.д. Засекреченная техника с неограниченными ассигнованиями сумеет в лаборатории превратить голос Хрущева в голос Робертино Лоретти...

Второе - практическая невозможность распознать носителя голоса по магнитофонной записи. Главная сюжетная линия романа "В круге первом" - фоноскопическое опознание Рубиным Володина - не только была, по-моему, невозможна в 1949 году (хотя Копелев-Рубин уверял меня, будто бы это так и было, как в романе описано, только, дескать, Володин на самом деле был американский шпион, продавший супругов Розенбергов), она, по моему мнению,

невозможна и в 1969 году. Опознать по голосу можно, разве лишь если человек говорит прямо в микрофон и крайне узок круг лиц, среди которых можно искать говорящего, да и то это "оперативное опознание", а не судейски-значимое. Мне приходилось читать совсем свежие милицейские и научные журналы, в которых авторы сетовали на то, что до сих пор закон в СССР воспрещает приобщать в качестве улик магнитофонные записи из-за неоднозначности идентификации говорящего. Авторы так или иначе стремились усовершенствовать методику распознавания, но пока вотще[67], слава Богу.

Словом, не существует общепризнанных доказательств того, что по записи голоса или энергетического спектра околоречевых явлений можно юридически достоверно опознать говорящего.

Конечно, если на пленке есть точное указание автора речи, его слова: "Я, Иванов Иван Иванович, говорю дальнейшее", - или вслед за обращением: "Скажи, Петя, ты отправил письмо?" - ответ "Да", - то запись может служить, в принципе, уликой. Но тоже сомнительно по прочим упомянутым мной причинам. Некоторая степень доказательности может приписываться пленке, относительно которой, скажем, сосед по квартире дает показания, что это он лично записывал за соседом, но и в этом случае остается возможность требовать следственного эксперимента: возможна ли запись такой чистоты из соседней комнаты, а если уровень шумов велик, то - возможна ли умышленная фальсификация записи.

К этому следует добавить еще, что по причинам вынужденного неудобного расположения аппаратов для подслушивания относительно источника речи, по причинам миниатюрности подслушивающей аппаратуры (стоимость ведь обратно пропорциональна размерам) тембры в записи срезаются до невозможности. У нас, например, доходило до того, что следствие путало мужские и женские голоса (правда, не желая помогать ему, я не обращал их внимания на эту путаницу)[68].

Говорить о данных внутренней агентуры сложно. Идеальнее всего для следствия - вообще оставить агента-оперативника в тени. Но ведь ценный агент должен быть близко от центра организации. Следовательно, если расколются основные участники, то будет назван и ценный агент. И тогда, коли не придумать веских и в глазах суда и в глазах подсудимых мотивов непривлечения ценного агента, то придется либо расшифровать его, либо осудить. Миновали те блаженные времена, когда чекиста Буйкиса, под маской Шмидхена вовлекшего в "заговор Локкарта" кучу народа, можно было просто не разыскивать, и никто не пикнет. А вовлеченных расстрелять или посадить. Поэтому, если агент ценный, то надо создать ему мотивы для дачи показаний, которые казались бы в какой-то мере оправдывающими его в глазах соучастников. Прямо в лоб начинать с его данных как с данных агентуры, конечно, неразумно.

Что касается негласных обысков (ст.169 нового, ст.177 старого УПК), то, судя по милицейским романам, они у нас допускаются. Сдается мне, что у меня один такой обыск произошел: ниточка на двери была оборвана. При этом исчез, похоже, только один

---

[67] безрезультатно (изд.).

[68] Впрочем, говоря о такой путанице, следует соблюдать особую осторожность. В нескольких случаях следователи умышленно "путали" факты, надеясь подловить меня на "исправлении вопиющей ошибки". И не одного меня. И кое-кто ловился.

безразличный для дела листок бумаги, напечатанный на машинке. Возможно, им понадобился для экспертизы точный образец шрифта моей машинки. А возможно, я ошибся. Но пользоваться материалами негласных обысков после гласных - ничего не добавляется к материалам.

Однако, разумеется, нелепо было бы со стороны следствия пренебрегать теми своими данными, которые оно не могло приобщить к делу в качестве юридических улик. Эти данные помогали следователям организовать признания и проговорки. Один пример этого я привел, когда говорил про "чаровницу" и деньги Чарова-Вайля. Но все-таки, если не строить кажущихся мне фантастическими предположений, будто они имели непосредственно рядом со мной своего героя невидимого фронта, то надо констатировать, что к 25 марта они могли ориентироваться в деле лишь ощупью.

В самом деле, что они имели?

Трехмесячная - как я полагаю по некоторым признакам - работа по подслушиванию разговоров у меня дома дала им обширный материал сказанного, но они были совершенно не в курсе: кто что сказал? Значит, этим материалом приходилось пользоваться с осторожностью, дабы не раскрыть обвиняемым свое невежество. Один сногсшибательный промах они совершили-таки. Промах, позволяющий мне с уверенностью утверждать, что они слушали мои разговоры с Ирой, а также то, что Ира никому не разбалтывала мои с ней конспиративные разговоры.

Дело обстояло так. В конце января мы с Ирой набрали еще один чемодан бумаг (про первый - см. §1), подлежащих уносу из дому. Собрали. Она на листок себе переписала содержимое. Чемодан упаковали. Потом разыграли сцену примерно такого содержания. У меня был далекий знакомый - Фадин. Это астроном, заинтересовавшийся моей космологией после моего доклада на семинаре профессора Кирилла Федоровича Огородникова. Беседовал я с ним раз в жизни, и ни слова о политике. Просто более подробный, чем на семинаре, разговор о моей "Космометрии". У Иры был отец, Арнович, у которого в прихожей был такой завал, что если туда подбросить еще один чемодан, то он до Страшного Суда не заметил бы изменения в составе своего хлама. Ира предложила свезти чемодан к ее отцу. Предложила письменно[69]. Прочтя записку, я вслух произнес: "Я повезу все это к Фадину. Он порядочный человек, и сохранит от ищеек". На записке же: "К отцу поезжай сама, а я, расставшись с тобой, пойду с другим чемоданом к Фадину". Так мы и сделали. Свой чемодан я выкинул в парадной Фадина или где-то поблизости. Пришел к нему, говорил битый час о космологии. Даже позвонил от него к себе домой: знайте, мол, что я говорю с фадинского телефона!

И что же получилось?

В вечер моего ареста 25 марта, в 22.15, они произвели еще арест Вайля и обыск его тумбочки в общежитии около 22.30 и обыски еще только у семи лиц: у моей матери, у Орловского в 21.20, у Заславского в 21.30, у Зубер в 21.30, у Кудрявцева в 21.30, у

[69] Потом на следствии я наблюдал, как следователи при мне обменивались записками, не желая дать мне услышать того либо иного. "Родство душ." А потом в обращение вошли "московские разговорники".

Кузнецова в 22.00 и ... у Фадина в 22.00! Примечательно, что ни одного обыска в круге Кудровой - Шейниса не было произведено.

Итак, они поставили никакого отношения не имевшего к делу Фадина в ряд с активнейшими из моих приятелей и соучастников! Обыск у него был тем тщательней, чем очевидней делалось оперативнику, что ничего нет и не находится. От всех прочих они ушли с богатой поживой, а от Фадина - в расстроенных чувствах. С горя они прихватили его пишущую машинку, но и ее затем пришлось возвращать как невинную. А такой "прокол" в пору подчеркнутого восстановления законности и прекращения НЕОБОСНОВАННЫХ репрессий был совсем ни к чему гебистам как ведомству. Но ведь не с чего было же им включать Фадина в разряд первостепенной важности подозреваемых, кроме моей декламации перед где-то запрятанным в квартире подслушивателем! У Арновича же обыска не было. Видимо, мерзнуть на улице и выслеживать не так привлекает героев невидимого фронта, как в тепле и уюте прослушивать пленочку. По-человечески я их понимаю (см.также §4 гл.2).

То же самое и с анализом встречавшихся со мной лиц. Ведь я общался с огромным количеством народу. Члены организации составляли, может быть, пару процентов. Ну, еще сколько-то процентов тех, кого можно было бы назвать "прикосновенными". Как им выделить, отсеять эти проценты от большинства остальных? Немудрено, что они не замечают участников, но набрасываются на случайно оказавшихся в поле зрения лиц[70].

Совершенно ясно, что они должны были избрать одно из двух: либо рассчитывать сломать наше сопротивление следствию в течение нескольких суток, добившись от нас "чистосердечных признаний" и "раскаяния", либо потратить несколько недель следствия на детальное установление примет всех замешанных лиц, которые позволили бы идентифицировать хотя бы примерно, что кто говорил, а затем уже внушать каждому, что все сознались - вот, показали то-то и то-то (считывая с пленки) - не губи-де себя (или с вариациями). Поначалу они выбрали кавалерийский вариант атаки. При успехе этого варианта роль Вишнякова совсем бы затушевалась: все раскололись сразу, он - как все.

Для этой цели было организовано упомянутое "заявление Кобидзе", которое дало возможность допросить Вишнякова. Иначе оставался бы вопрос: с чего вдруг начали с Вишнякова? Кобидзе удобен тем, что из всех действующих лиц его знает только Вишняков же[71]. Значит, поиски, почему бы это Кобидзе состряпал такой донос, заранее обречены на неуспех.

22 марта датирован протокол допроса Кобидзе - почти буквально повторяющий текст заявления и вполне формальный[72]. 23 марта датирован первый протокол допроса Вишнякова, а 25 марта - второй, содержащий подробнейшее изложение всего, связанного с Библиотечным институтом. Двадцать четвертого было воскресенье. Но, кабы следователи действительно узнавали из допроса Вишнякова хоть что-либо новое для себя, или кабы они хоть сколько-то сомневались в Вишнякове, то они, конечно, потрудились бы и

---

[70] Ср. в §16 примечание о различной судьбе Шейниса и Икса.

[71] На требования Орловского и Адамацкого осенью 1957 года познакомить их с Кобидзе, Вишняков ответил отказом.

[72] Ср. в §16 обстоятельства написания заявления Корбута.

воскресеньем[73]. Вишняков врал Орловскому и другим, будто его на одну ночь поместили в тюрьму, но я не помню в деле постановления о его задержании. Пожалуй, не было ничего, что оставалось бы добавить к этим показаниям Вишнякова, исключая те его признания, которые он сделал, когда его уличили другие в присвоении денег, подсовывании ложной информации, провокационных предложениях оружия и эмигрирования. 25 марта его допрашивали дважды: обычным образом и под стенограмму (кстати, я очень невысокого мнения о качестве стенографирования в Большом Доме: стенографистка почти не записывает вопросов и реплик следователя, а также много пропускает в записи обвиняемого из того, что ЕЙ кажется неважным)[74]. После этого Вишняков лишь трижды привлекался на допрос: 24 апреля он дал уточнения о некоем лице, которого Вайль приводил к ним в институт и которого звали "Эрик"[75], а также о фотопленке; 10 июня он сделал заявление об Орловском, настраивающем-де свидетелей против следственных органов, а также его показания были редакционно приведены в соответствие с показаниями других лиц. 12 июня он последний раз в окончательной форме дал показания.

Вишняков, как я уже писал в §1, дал прокурору юридическое основание подписать ордер на арест меня и Бориса Вайля, а также на обыски причастных к Библиотечному институту лиц.

И вот на допросе 26 марта - на который меня повели прямо из бани со споротыми на штанах пуговицами, так что штаны сползали (а я еще, дурак, стыдился этого, словно в этом Я повинен!), и без куртки, ибо на ней была молния, т.е. металл[76], - меня бьют по голове: "В Библиотечном институте...", "В городе Медвежьегорске..." Если бы я считал себя обязанным разговаривать со следователями, а разговаривая, соблюдать хотя бы тень правдоподобия, то мне ничего не оставалось бы, кроме как поддаться и изойти показаниями. Но я не считал нужным даже делать вид, будто мои показания правдоподобны. Я говорил: "Не буду отвечать" и "Не знаю", что в моем языке является синонимами, если разговор с моей стороны вынужденный. 27 марта меня не допрашивали, желая посмотреть, как на меня подействует одиночество. 28 марта ударили фамилией Вишнякова.

В ответ 1 апреля, в присутствии прокурора Демидова, наблюдавшего за следствием, я перешел в нападение. Он заговорил о "речи Хрущева", а я - о беззакониях и о преследовании евреев. Я рассказал, что в начале августа 1956 года директор Технологического института пищевой промышленности перед утверждением меня в состав приемной комиссии вызвал меня в свой кабинет и, ссылаясь на инструкцию министерства, которую он держал в руках, велел организовать экзамены таким образом, чтобы евреев было принято не свыше 5%. Мотивировка была восхитительная: так как общий состав евреев в РСФСР не свыше 5%, то в целях обеспечения равноправия наций следует не пускать

---

[73] Ср. в §14 даты допросов Заславского. Также в деле Климовой буфетчицу Н.Орловскую допрашивали в воскресенье 28.11.82 - спешили.

[74] Ср. в §16 об очной ставке с Дубровичем и о допросе Мироновым.

[75] Речь идет о студенте Метеорологического института Палагине.

[76] Сейчас к молниям попривыкли, так что в тюрьмах перестали их спарывать и запрещать, кажется.

избыток евреев в институт. Я тут же поведал это "под дурочку" своей напарнице по экзаменам Лене Бергер (Ландсберг). Кстати, очень полезно рассказать сей эпизод поподробнее, дабы понять, до чего у иных людей замордована душа. С Леной я знаком с 1950 года. Одно время мы были очень дружны, это она упоминается в §5 в связи со скандалом на лекции по XIX съезду. Случай свел нас в этом институте. И вот, сидя за экзаменационным столом в ожидании, пока абитуриенты решат задачи, говорю: "Лена, ты знаешь, что мне директор велел принимать евреев не свыше 5%?" Она вспыхивает: "Что я, маленькая, что ли? Сама не знаю?!" - и обрывает разговор. Она осталась убежденной, что я вполне разделяю точку зрения директора и только позабыл, что она сама еврейка; именно в этом корили меня позже другие сотрудники кафедры. Ей и в голову не пришло, что я мог сказать ей ради противодействия, хотя она меня знала давно и неплохо. И только после слухов про мое выступление на обсуждении Дудинцева она попыталась было в некоторой форме извиниться передо мной. А уж после вести о моем аресте - звонила Ире и предлагала ей деньги в помощь. Так вот, не пускаясь в подробности про Лену, я "доношу" прокурору о фактах антисемитизма и требую от него принятия мер к пресечению такового; требую привлечения к ответственности этого директора и других аналогичных лиц, о которых рассказывал в том же допросе.

От моей наглости они ошалели, но были вынуждены вписать в протокол все сказанное. В тот же день они парировали мой удар, вторично вызвав меня и введя на очную ставку Вишнякова. Он подробно изложил все, что было[77]. Я с усмешкой объяснил, что означенного гражданина вижу впервые, а все, что он говорит - чистый бред. Наглость моя дошла до того, что я выкинул такой номер. У Вишнякова одна рука была повреждена: не хватало пальцев. Следователь капитан Правдин, еще на предыдущем допросе, желая напомнить мне, кто такой Вишняков, специально освежил в моей памяти отсутствие у него пальцев. Во время очной ставки Вишняков сидел за круглым столиком, спрятав искалеченную руку под столик, а на столик положил здоровую. И я торжествующе обернулся к Правдину (расположившемуся сбоку): "Что же Вы утверждали, будто у Вашего Вишнякова на руке нет пальцев? Вот, все пальцы на месте! Заврались Вы!" Расчет был на то, что Вишняков вынет и покажет вторую руку. Тогда я смогу уверять, что действительно этот человек мне совсем неизвестен, ибо, будь он известен, я ни за что бы в здравом уме не стал бы говорить, будто у него все пальцы на месте, понимая, что это будет опровергнуто моментально. Но Правдин уже постиг, что аргументы здравого смысла на меня не подействуют, что план кавалерийской атаки применительно ко мне провалился, и просто прекратил очную ставку.

Применительно к Вайлю кавалерийская атака подействовала успешнее: 26 марта он рассказал - после краткой попытки запирательства - о своих знакомых (кто ему знаком, без чего-либо криминального). 28 марта его стукнули письмом Данилову, а 29 марта он уже вовсю давал показанию о том, какой скверный Пименов

[77] Вообще, он был очень аккуратен в показаниях, не оговаривая никого и ни от чего не отпираясь. Отдельные ошибки вполне можно объяснить естественными причинами.

и как он опутал его, несмышленыша (Борису исполнилось 18 лет только 19 февраля).

Стоп! Предыдущий абзац мог бы написать любой историк, в распоряжении которого были бы протоколы допросов. Именно это написано в протоколах.

"Но одно дело замысел. Другое - деяние, Третье - изображение деяния. Между ними не вращается колесо причинности," - говорил Заратустра. Я видел, как писались протоколы, и могу заверить, что никогда Борис Вайль ничего не валил на Пименова, хотя по протоколам это можно подумать. Дело в том, что до очной ставки со мной Вайль не читал - НЕ ЧИТАЛ - подписываемых им протоколов. Он говорил. Подразумевалось, что следователь записывал сказанное. Но следователь еще и редактировал: ведь он же опытнее Вайля и лучше понимает, что существенно для дела, а что нет. Вот и получалось... Не могу удержаться, чтобы не процитировать Борькину пародию на понимание дела следователем и прокурором (написано в августе, на суде):

Мне в душу наплевал подлец Невструев,
Я от него по лабиринтам убежал,
Бежал туда, где Невы струи -
И там я Пименова повстречал.

Ворвался вдруг он в общежитье наше.
Курносый мракобес в очках,
Блестел значком, он был меня постарше
И томом Ницше потрясал в руках.

Потом я сел, мы показанья дали,
Дела читали, как чудесный роман,
Усердно адвокаты защищали,
Я сделался лицом другого пола,

И, в общем, было множество чудес,
Да здравствует родная капеэс!

(Тут и "лабиринты", и "подлец" и "мракобес", и "значок ЛГУ", и "Ницше", и "подсудимая Вайль", и "КПС" - все цитаты из прений сторон. Да и вся концепция - тоже).

Так вот, поскольку у меня многого было не найдено - хотя в совокупности по всем обыскам найдено было изрядно, - и поскольку на мне блиц-следствие провалилось, и поскольку вскрылись некоторые иные обстоятельства, постольку следствие стало принимать иной оборот.

Но сначала я расскажу, с какими представлениями шел я на арест и следствие, какие инструкции давал я сотоварищам о поведении на следствии.

Несмотря на официальную борьбу против "культа личности" и "банды Берия", у меня было глубокое убеждение, что ГБ работает теми же методами, что и раньше. Конечно, я видел разницу: раньше, слышал я, ГБ хватало подряд невиновных, а сейчас я не слышал о сплошных арестах. Значит, думал я, берут поменьше, только

виновных, но зато на них выкладывают весь арсенал своих средств[78]. Я знал, правда, о некоторых арестах: Гидони, Красовская; еще раньше - за попытку смутить антиправительственными лозунгами октябрьскую демонстрацию - Красильникова с товарищами. Но все это были аресты людей в каком-то смысле активно противодействующих[79]. Можно было дискутировать, криминальны или нет стихи Гидони, его выступления на собраниях по месту работы и т.п., но вполне невиновным его назвать было бы нельзя. Более того, мне было известно, что никаких попыток связать между собой эти дела не было (как не было и позже попыток связать их с нами или с группой Трофимова - Тельникова, арестованной в мае). Иными словами - дела НЕ ШИЛИСЬ. Я легко представлял себе, как объединили бы в 1937 году Красильникова и мои письма к депутатам!.. Но избиений, пыток - прямых или косвенных - я ждал. Помню, Ира, когда мы возвращались от Гнучевой после ее рассказов со слов Гумилева, содрогаясь, предупредила меня: "Знаешь, если о мое лицо станут гасить папиросу, - я не выдержу". Не помню, слышал ли я в то время про "конвейер", кажется, нет. Но тогда у меня было примитивное представление, будто все признания открытых процессов достигнуты исключительно пытками[80].

Готовясь к аресту, я инструктировал - или ставил в известность о своей позиции, - как вести себя на допросе. Я считал наилучшим методом полное отрицание. Отказ от дачи показаний и отрицание - вот два кита, на которых я строил тактику подследственного поведения. Изучая следственные дела дореволюционной поры, я пришел к убеждению (и последующий опыт укрепил меня в нем), что, начав хитрить, давать правдоподобные показания с целью что-то важное скрыть, обвиняемые на самом деле активно помогают следствию. Здоровые мужики, скопом обрабатывающие заключенного, нервничающего в одиночке или с единственным (зачастую - намеренно подсаженным) напарником, видящие гораздо больше, нежели подследственный, который знает только свои показания, - разумеется, они переиграют его. Они, сопоставляя данные и показания, сумеют отделить пшеницу от плевел, как бы ни замусоривал я следственный урожай. Ведь у них в запасе практически неограниченное время для анализа. Значит, считал я, надо просто ничего им не давать. "Из ничего ничего не возникнет."

---

[78] Я не понимал тогда, что если разрешить ГБ применять ВЕСЬ АРСЕНАЛ, то очень быстро он оборачивался - как показывала история - против разрешивших. В интересах самосохранения управляющие не могут разрешить пыток.

[79] Примечательно, как изменилась ситуация сравнительно с бывшим всего несколько лет назад. "В круге первом" (1949): единственный в море невиновных или случайно, войной занесенных в лагерь, заключенных - это Иннокентий Володин, который сознательно пошел ПРОТИВ. Против всей государственной машины, преступая служебный долг и Закон 1947 года об охране Государственной тайны (отменен при Хрущеве, восстановлен при Андропове). Отдавая себе отчет в последствиях. Только потому, что совесть не позволяла НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН. Лишь он один сел потому, что шел против. Остальные - Бог весть за что. А в 1957 году, напротив, почти все, кого брали, шли-таки против. А в 60-70-е разрослось прямо целое движение Сопротивления.

[80] Здраво говоря, нарочито придуманных пыток современному человеку и не надо: пытка лишением свободы, лишением выбора пищи, лишением свежего воздуха, лишением привычных медикаментов, удобств, друзей - и он готов на все, лишь бы "поскорее вырваться".

Инструктируя Вайля или беседуя с Кудровой, я не проводил по дурости различия между положением свидетеля и обвиняемого. (Кстати, позже, когда меня в лагере вызывали оперы и задавали вопросы, я сразу в лоб требовал разъяснений: "В качестве кого Вы меня допрашиваете? Свидетеля - тогда по чьему делу? Обвиняемого - тогда предъявите обвинение!" Обычно разговор на этом заканчивался.) А различие существенное.

Обвиняемый вообще ничего не обязан. Это блаженное состояние невесомости - избавление от "духа тяжести", бремени обязанностей. Он может говорить или не говорить, врать или признаваться - никаких юридических последствий его поведение не имеет. Более того, в УПК прямо сказано, что следователь

"... не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия, угроз и других подобных мер"[81].

При желании принуждение можно усмотреть, например, в назойливом повторении одних и тех же вопросов. Словом, моя тактика идеально годилась бы для положения обвиняемого. Она и предлагалась в предположении, что нас будут допрашивать, только предварительно арестовав. Сам я старался так и держаться. О согласовании своих утверждений друг с другом я не заботился. Когда они "уличали" меня в вопиющей лжи, я порой говорил: "Ну, вру. А Вы - никогда не врете? Мы же с Вами люди. Мне нравится врать именно таким образом".

Совсем иное дело свидетель. Во-первых, психологически положение свидетеля неустойчивее: он не вырван с корнем из родной почвы, а ему это лишь грозит. Для интеллигента же УГРОЗА всегда действеннее ФАКТА. Обвиняемому нечего, а свидетелю есть что терять. Говоря в образах марксистской поэтики, обвиняемый - пролетарий, а свидетель - колеблющийся мелкий буржуа. Во-вторых, юридически положение свидетеля иное. Он ОБЯЗАН и ДАВАТЬ показания, и давать ПРАВДИВЫЕ показания. За уклонение от того или иного предусмотрены юридические санкции. Правда, санкции различные (что следователи все стремятся тщательно затушевать, зачитывая соответствующие статьи УК подряд, без уточнения, да еще уверяя, якобы за КАЖДУЮ ложь наказания суммируются до 25 лет, что уж вовсе ни в какие ворота не лезет). В то время за ОТКАЗ от дачи показаний полагалось до ТРЕХ МЕСЯЦЕВ так называемых исправительно-трудовых работ, т.е. высчитывания 25% из зарплаты без лишения свободы, или штраф до ста тогдашних рублей. За дачу же ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ показаний грозило до ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. Подчеркну, что за дачу НЕВЕРНЫХ показаний свидетеля судить не могут. Следствие должно доказать умышленность, заведомость лжи[82]. Наконец, за заведомо ложные показания, СОПРЯЖЕННЫЕ С ОБВИНЕНИЕМ В СОВЕРШЕНИИ ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ или с корыстными целями, либо с искусственным созданием доказательств обвинения, - до ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ

[81] Статья 136 старого УПК. В новом УПК в соответствующей ст.20 сформулировано несколько слабее: вместо "других подобных" стоят слова "иных незаконных".

[82] А это практически невозможно. Вот, осенью 1970 года против Адамацкого было возбуждено дело за его лжесвидетельство на процессе Пименова - Вайля. Подергали-подергали, и дело прекратили.

СВОБОДЫ[83]. Поэтому юридически отказ от дачи показаний ничем не грозил свидетелям, кроме разве увольнения с работы и исключения из вуза. Следовательно, не будь у свидетелей страха, что их за отказ от показаний посадят, ничего в их судьбе не изменилось бы. Такого различия я не проводил в то время.

Я предлагал тем, относительно которых не было удовлетворительного мотива знакомства со мной - Борису, Ирме, Виктору и др., - просто отрицать знакомство со мной, и все, проистекающее из факта знакомства. Что касается тех, относительно которых был приемлемый мотив знакомства - Заславский, Зубер, Корбут, - им я рекомендовал признавать знакомство, настаивая на том, что оно имело чисто математический характер. Тут я, конечно, не учитывал возросшие технические средства: фотографирование, кинофильмы, подслушивание. Я совершенно не предварял, как вести себя, столкнувшись с такого рода "уликами" (беру в кавычки, ибо, как я разъяснял выше, УЛИКАМИ-то они и не являются!). Я уже не говорю про всегда имеющуюся возможность оспаривать доказательность таких документов, даже если бы они приобщались в качестве улик. На пленке, допустим, записан разговор, который следствие называет разговором меня с Зубер. Так пусть экспертиза докажет, что именно я с Зубер, да еще что там нет пропусков и вставок, да еще произведет следственный эксперимент, что из положения, где сия пленка крутилась, можно было записать с такой четкостью этот разговор. А потом, после допроса, доводы экспертов совместно с признаниями ставивших аппарат для подслушивания, что они тайком поместили в моей квартире, - будут достоянием всех свидетелей?.. Да не пойдут они на это!

Но ничего этого я тогда не говорил, и понимать сам с полной ясностью стал все это лишь в процессе следствия.

Лишь во время следствия я понял, зачем нужен был Иуда. В самом деле, был некто Иисус, бродивший по Иерусалиму и бросавший в народ разные там антиправительственные и подрывавшие идеологию фарисеев фразочки. И всякая собака в Иерусалиме знала, что это - Иисус. В лицо. Тем не менее, почему-то во всех Евангелиях повествуется, что пришлось покупать Иуду, дабы он публично ОПОЗНАЛ Иисуса. Ведь Иуда не обличал Иисуса ни в каком деянии, ни в каких словах[84]. Зачем же он был нужен? Это "противоречие" отмечается чуть ли не всеми, кто хочет кинуть камнем в Евангелие. Дело же примитивно просто. Всеобщее знание личности Иисуса не было ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКТОМ. Его, как слух, "к делу не подошьешь". Надо было найти лицо, которое превратило бы всеобщее знакомство в ПОКАЗАНИЕ конкретного свидетеля о конкретном факте.

Говоря языком статей УПК, дело в том, что:

“Суд первой инстанции при рассмотрении дела обязан НЕПОСРЕДСТВЕННО исследовать доказательства по делу: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключение

---

[83] В новом кодексе, действующем с 1960 года, все санкции повышены, см.ст.181-182, но характер их тот же.

[84] Я имею в виду изложение в Евангелиях. У Булгакова в “Мастере и Маргарите" домышлены все обстоятельства, при которых Иуда устраивает свою провокацию.

экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы”, -

и:

“Суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ в судебном заседании”.

Таким образом, никакое знание - сколь бы точным и убедительным для ГБ оно ни было - не может лечь в основу законного приговора до тех пор, пока не найдется человек, который от себя представит это знание в виде юридического факта. Много сил затратили следователи, чтобы превратить свое точное оперативное знание о моих разговорах с конкретными свидетелями в юридически весомые показания этих свидетелей обо мне. Иногда им это удавалось. Иногда - нет. Иногда это им удавалось с "избытком": они так подробно пересказывали подслушанные разговоры меня с данным свидетелем, что тот решал, будто это я все выложил, начинал презирать меня и добавлять от презрения и разочарования и то, чего следователи не знали. Иногда же следователи не только терпели фиаско, но еще и разоблачали себя: свидетель понимал, что беседа пересказана с такой степенью подробности, с какой ни один человек упомнить не в силах; следовательно, заключал свидетель, рассказал не Пименов, а "машинка". Иногда, как это бывало, следователи даже уверяли свидетеля, будто у них есть уже показания, но почему-то самих показаний прочитать не давали. После того, как свидетель догадывался один раз, что показания - “машинки", ни его, ни тех, кому он сообщил о догадке, уже нельзя было пронять этим приемчиком...

Словом, шла война, и жертвы были на обеих сторонах. Но я, готовившийся к огульному отрицанию, не предупредил против этого оружия следствия, не разработал тактику борьбы с машинами, замаскированными под человека...

В деловом мире общеизвестен принцип: "Хозяином является должник". Это значит, что от воли должника зависит - вернуть - не вернуть займ, диктовать условия, на каких он согласен вернуть долг полностью или частично. А если не вернет, то кредитор, не получивший денег в срок, прогорит и обанкротится. Убытки несет кредитор, а не должник. Тогда я еще не знал, что на следствии хозяином является допрашиваемый. От него зависит, получит ли следователь звездочку на погоны или выговор за недозволительно затянутое следствие. А раз не знал, то не мог вооружить знанием своих друзей. А не знал, ибо был загипнотизирован ожиданием пытки и выбирал стратегию: вися на дыбе, в полубеспамятстве твердить "Нет! Нет! Никого не знаю!"

Вот и Шрифтейлик подтверждает:

- Я видела их вежливость, а сама все время ждала: когда же НАЧНЕТСЯ? И что ТОГДА делать?!

Ложное знание порождало ложную направленность и вело к ... Впрочем, посмотрим, к чему оно вело.

§13. Новые жертвы

Арест Заславского; Вербловская перепрятывает чемодан к Шрифтейлик; Вербловская хвастает Щербакову; арест Вербловской; Вербловская дает ниточку к Шрифтейлик; Шрифтейлик выдает чемодан; Грузов назван Вербловской; арест Щербакова; новые обыски при поисках чемодана

Как я уже упоминал, полдесятого вечером того же 25 многострадального марта обыскивался Игорь Заславский. К нему явился капитан Меньшаков - наш старый знакомый. Обыск состоял из двух действий. В первом, предъявив ордер, капитан Меньшаков любезно предложил гражданину Заславскому безо всякого обыска и ворошения предметов самому выдать все антисоветское, что у него имеется в доме. Подумавши, Игорь достал папку, в которой у него хранилось все, полученное от меня (в том числе и математчина), и вручил ее капитану[85]. Полиставши ее, капитан Меньшаков пристально поглядел на Игоря Дмитриевича и произнес еще душевнее: "А теперь, Игорь Дмитриевич, отдайте свое собственное, что у Вас антисоветского." - "Ничего у меня нет!" - "Ничего у нашего сына нет!!" - поддержали родители[86], которые издавна усматривали во мне чуму, а в сыне - ангела. "Тогда, Игорь Дмитриевич, я вынужден буду произвести обыск." - "Ничего у меня нет." После обыска рядом с моей папкой легла некая стопка бумаг, исписанных рукою Игоря и содержавших, на взгляд Меньшакова, нечто криминальное. Капитан Меньшаков удалился, оставив Заславского и его родителей обладателями двух протоколов (в отличие от Вербловской, которой остался единственный протокол): протокол ВЫЕМКИ, в котором говорилось, что гражданин Заславский Игорь Дмитриевич добровольно передал капитану Меньшакову антисоветские произведения некоего Пименова (следовал перечень), и протокол ОБЫСКА, в котором было сказано, что усилиями оперработников ГБ под начальством капитана Меньшакова при наблюдении за соблюдением законности со стороны двух перепуганных дворников у гр.Заславского И.Д. изъято то-то и то-то.

Когда днем 26 марта следственная группа (Правдин, Кривошеин, Меньшаков, Прокопьев, с преданными им лицами) доложила начальнику отделения майору Некрасову анализ результатов обыска, было решено, что обнаружено достаточно криминала для ареста Заславского. Надо ли его арестовывать - этот вопрос уже стоял перед ними, как видно из того, что в деле есть

---

[85] Мне это рассказывал Меньшаков, смакуя, а Игорь без подробностей подтвердил, когда я его спросил в воронке, везшем в суд. К тому же, в деле есть оба упоминаемых далее протокола.

[86] Родители Заславского с перепугу сожгли чудесную статью Игоря "Гельмгольц и Чернышевский", которая, с точки зрения СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, не содержала в себе ничего криминального, но "отвлекала Игоря от математики", по мнению родителей. Суть статьи: Чернышевский был лютым противником Лобачевского (как администратора-ректора-ретрограда), поэтому бранил его геометрию как вздорную. Но, будучи западником, Чернышевский низкопоклонничал перед Гельмгольцем, который признавал геометрию Лобачевского. И как Чернышевский извивался в этой дилемме.

ответ из психдиспансера, датированный 9 марта: "На учете не состоит". (Кстати, примерно той же датой помечен аналогичный ответ на запрос ГБ о Вербловской.) В 18.30, по окончании рабочего дня - в течение которого он никому не позвонил о произведенном у него обыске, ни у кого не поинтересовался, что со мной и с другими - Игорь был арестован и препровожден туда же, где уже находился и я, и Борис, и куда уже везли из Курска Костю Данилова. 27 марта был произведен обыск на его служебном рабочем месте[87]. Капитан Меньшаков попросил у администрации характеристику Заславского. Администрация ринулась было, брызгая чернилами, чернить Заславского, но Меньшаков брезгливо отодвинул принесенный ему листок и пояснил, что ему требуется характеристика, написанная ранее. Последняя их характеристика на еще не арестованного Заславского. Вздохнув, недовольная администрация принесла составленный ею ранее дифирамб Игорю Дмитриевичу Заславскому. (Увы, у меня на службе характеристику запрашивал не корректный кап[итан] Меньшаков, поэтому она датирована после ареста и соответственно составлена. Лично для меня это ничего не изменило. Но когда, Боже, когда у нас перестанут сочинять "характеристики" по такому образцу?!)

27 марта Заславского впервые допросили, желая формально установить, от кого им получено найденное ими. В соответствии с этим 28 и 29 марта его допрашивали о Пименове, которого он характеризовал как своего хорошего знакомого, выдающегося математика, имевшего странности, кажется, душевнобольного. В связи с последним он, Заславский, и принял от Пименова на хранение (мало ли у кого какие мании) папку с бумагами, не зная и не интересуясь содержанием. На все дальнейшие вопросы о знакомых и обстоятельствах Игорь отвечал незнанием ни тех ни тех (допросы 30 марта и 1 апреля).

Тем временем Ира Вербловская, не ложась спать, проплакав до восьми-девяти утра, начала звонить всем-всем-всем, сообщая, что меня арестовали. Наша соседка - мать жены брата Иры, Ольга Борисовна Враская (аристократический род Враских известен в веках; но на должности работника Публичной библиотеки он повытерся), в ужасе потребовала от Иры, чтобы та не смела звонить из коммунальной квартиры по телефону.

И.С.Вербловская в начале 1960-х. Сразу после освобождения.

- О таких вещах по телефону не разговаривают, - изрекла она. Ира не поняла - в самом деле странной - логики Враской и продолжала названивать. Правда, когда она звонила, например, Кудровой, то выходила в автомат, подальше от дома. Друзья

[87] На моем служебном рабочем месте тоже был осмотр гебистами, но протокола не составлялось, ибо ничего не нашлось, и поэтому юридически обыском это назвать нельзя. Поэтому же я не знаю точной даты обыскивания.

Кудровой не приняли у себя никаких мер осторожности, узнав о моем аресте; об этом подробнее я говорю в §16.

Пару слов о Враской. В феврале 1957 года к ней на службу являлся некто с красненькой книжкой, который расспрашивал обо мне. Она глухо сообщила об этом Ире, категорически отказалась передать какие бы то ни было подробности и запретила извещать об этом меня (Ира, конечно, не послушалась), а в качестве главного вывода - советовала Ире немедленно бросить меня. Когда Ира вернулась из заключения, Враские не пускали ее в (сохранившуюся) Ирину комнату. Даже когда через полтора года я добился, чтобы Иру прописали в Ленинграде (уже после моего возвращения, см.гл.V), и ее прописали на старой квартире, Враские года полтора, если не больше, не пускали ее проживать там (она ютилась в пустовавшей комнате Грузова, который сам жил у ставшей ему женой Зубер). Наконец, когда Ольга Борисовна узнала, что я собираюсь поступать на работу в Публичную библиотеку Салтыкова-Щедрина, она пошла в дирекцию и всплеснула руками: "Да знаете ли вы, кого берете?!" Меня не приняли, хотя за меня ходатайствовал сам академик В.И.Смирнов (тот, что умер в 1974 году).

Ира не ограничивалась телефонными звонками. Она дала телеграмму моему отцу в совхоз Рощино под Ленинградом о моем аресте. Получив ее, он тут же сжег данную ему мною из хвастовства статью "Об историческом романе" с рецензией Марьямова. На следующий день, 27-го, он примчался в Ленинград. Но остановимся на событиях 26 числа. Она побежала в Библиотечный институт известить Бориса. В общежитии к ней вышел Игорь Адамацкий, который, познакомившись, рассказал об аресте Бориса и обыске в общежитии и узнал о моем аресте. Ира вновь метнулась к телефону, названивать всем-всем-всем уточнение размеров катастрофы. С Эрнстом Орловским она виделась лично. Он излагал подробности обыска у него, но до Иры это не доходило[88]. Цел или забрали - вот как билась тогда ее мысль. Ира имела больше оснований догадываться, если не знать наверняка о существовании "организации"[89], нежели Эрнст, который не так пристально, как она, наблюдал мое поведение. Но и Эрнст кое о чем догадывался.

Мысль его работала примерно так. Пименов хотел познакомиться с Вайлем, но после знакомства говорил об этом как-то глухо. Однако Вербловская проявляла почему-то большой интерес к Вайлю и просила Эрнста (а почему не Револьта?!) познакомить ее с ним. Далее, Вайль почему-то упорно избегал говорить Эрнсту, видится ли он, Борис, с Револьтом. Наконец, когда Эрнст стал рассказывать Борису, какие интересные беседы проходят по воскресеньям дома у Револьта, Борис слушал его разинув рот, явно интересуясь всем происходящим. Но на приглашение Эрнста приходить к Револьту по воскресеньям Борис, вопреки своему интересу, ответил вдруг, что ему не хочется. И у Орловского стала

---

[88] Впрочем, известная растерянность охватывала всех. Например, Эрнст писал мне в лагерь, что сам он "вспомнил про УПК, только когда они уже ушли." А ведь он был наибольший законник изо всех нас!

[89] Однако за пять лет с апреля 1957 года Ира так привыкла твердить на допросах и в жалобах, что-де она ничего не знала и не о чем не догадывалась, что ко времени освобождения она, кажется, сама в это поверила. Странная вещь - психика, чего только она не вытворяет с памятью! Фрейда бы на нас напустить, Фрейда!

прорезываться мысль, что знакомство Пименова с Вайлем носило конспиративный характер...

Эрнст с Ирой позвонили Игорю, но того не было дома, а по приходе домой и по аресте родители Заславского скрывали факт обыска и ареста в течение нескольких месяцев и уж во всяком случае не пожелали бы говорить с женой "человека, погубившего их мальчика". Назавтра Эрнст, не застав Игоря на службе, сходил к нему домой; отец того вышел к Эрнсту на лестницу и довольно нелюбезно сообщил, что сына дома нет, уехал. Мотивы, которыми руководствовались родители, и некоторые другие, скрывая информацию об аресте, мало чем отличались от мотивов Враской: "Разве можно про это говорить?"

В тот же день Ира ступила первый шаг по пути, приведшему в тюрьму ее и моего отца. Ей вдруг почудилось, что чемодан с бумагами запрятан у ее отца ненадежно. ПЕРЕПРЯТАТЬ! О, если бы я мог быть рядом! Это-то я понимал и тогда! Под пристальным оком стоглазой машины нельзя и недопустимо суетиться, перевозить криминал с места на место! Пусть лучше он полежит в не совсем надежном месте, но зато спокойно, спрятанный еще во время отсутствия слежки или относительно не интенсивной слежки. Но вытаскивать его на свет прожекторов неумолимо следующих за тобой проснувшихся опергрупп - это безумие, которое простительно только влюбленной женщине, рвущейся хоть что-то сделать для того, кто уже там...

В.А.Шрифтейлик. Петрозаводск, 1954 г.

Но даже в этом безумии Ира первый шаг осуществила так великолепно, что следствие могло бы запросто и тут остаться с носом. Она сговорилась со Шрифтейлик. Обе взяли по чемодану. В чемодане Иры было то самое, что мы с ней укладывали. Опись хранившегося там она сожгла сразу по уходе гебистов из ее квартиры, наткнувшись на нее при разборе кучки оставшихся бумаг на столе. Но фотоснимок, сделанный старшим лейтенантом Ерофеевым и о котором она не знала, жил своей отдельной жизнью. И в тот же или на следующий день лег на стол начальнику следственного отделения майору Некрасову - фотокопия описи. Правда, покамест следствие не знало: опись чего это?! Все от своего отца Ира забрала. И позвонила моей матери - которая, конечно, слегла после обыска[90] и вести о моем аресте, но которая непременно должна была переезжать на другую квартиру, ибо истекал срок ордера - что везет ей нужные для обвязки вещей веревки. Шрифтейлик везла в своем чемодане веревки. Вербловская и Шрифтейлик сошлись в женской уборной на Малой Садовой[91] и обменялись содержимым чемоданов. Вербловская поехала к моей

[90] У нее обыск проводился гнуснее всех: понятой была взята соседка по коммунальной квартире, получившая возможность посмотреть на все приватное в комнате.

[91] Ныне, увы, эта историческая уборная ликвидирована. Где же будут вешать мемориальную доску: "Тут Вербловская и Шрифтейлик провели за нос ленинградскую госбезопасность"?

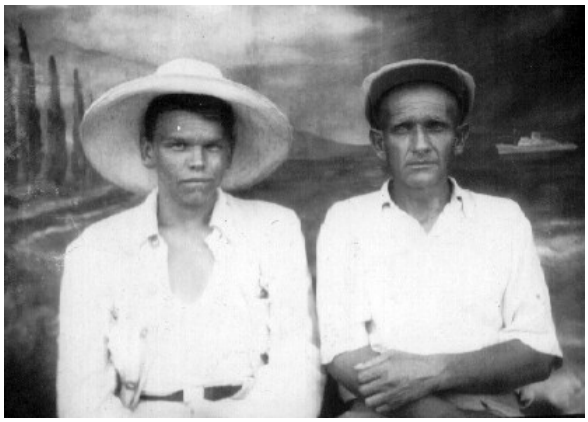
матери и привезла-таки ей веревки в утешение. Шрифтейлик пешочком протопала до улицы Жуковского к своей школьной подруге Генриетте Дроздовой, с которой виделась раз в два-три месяца. Пришла и попросила спрятать у себя, чтоб не нашли. "Ставь", - ответила та. Наружное наблюдение не заметило Шрифтейлик: мало ли кто входит и выходит из уборной на углу Невского! Наружное наблюдение и опергруппа не спускали очей с Вербловской. Оно даже доставило себе случай убедиться, что в чемодане, доставленном к Щербаковой, действительно, находились именно веревки - и ничего больше! И майор Некрасов, совещаясь с подполковником Роговым, ломал себе голову: что это за опись, имеет ли она отношение к делу и как с ней поступить?

Но 27 марта к Ире приехал мой отец. Испытывая потребность в разрядке после жуткого душевного напряжения, Ира сделала второй, уже непоправимый шаг в ту бездну, увлекая за собой моего отца. Он задал ей вопрос: "Что они взяли?" Вместо того, чтобы, как это сделал бы Эрнст, протянуть ему протокол обыска, она возжаждала похвалы: "Да это, Иван Гаврилович, что! То, что они взяли - чепуха по сравнению с тем, что я спрятала. А сегодня перепрятала так, что никто не найдет!" И рассказала, только что не назвав имени, всю операцию.

А магнитофон крутится, крутится... Некрасов подпрыгивает: сошлось! Вот она, к чему эта опись! Рогов командует: стать пред мои выпученные очи всем филерам! Прошляпили? Ищите!! Сегодня перепрятывала!!! Ну, подожди ж, такая-разэтакая... Ира нанесла личное оскорбление всему отделу. А человек так устроен, что скорее простит преступление, чем личное оскорбление.

Назавтра с утра мой отец, почистив костюм, вошел в парадный подъезд Большого Дома и потребовал, чтобы его принял следователь, ведущий дело его сына Пименова Р.И. Его приняли - и не один капитан Правдин, а вкупе с майором Некрасовым. Отец начал стучать на них кулаком, возмущаясь тем, что они возрождают бериевщину, Его совесть, совесть старого чекиста (он работал в Дончека в 1919-1922 годах, потом ушел учиться на ветеринара; подробнее см. §4 гл.2) не могла смириться. Он требовал немедленно освободить меня. Извиниться. Наказать виновных. (Он же знал, что "самое существенное надежно спрятано, а взято так, ерунда.") Как минимум, настаивал ознакомить его с делом, дабы разъяснить, какое это недоразумение. Правдин спросил: "А документы, подтверждающие работу в ЧК, у Вас сохранились?" Документов при себе не оказалось. Сославшись на неотложные дела, его попросили подождать. Сначала тут, рядом, в соседней комнате на диване, листая журналы и газеты.

Тем временем Ерофеев смотался на квартиру Вербловской, дождался когда она вернулась с работы (в этот раз довольно рано, часов в шесть вечера) и попросил:



Р.И.Пименов и И.Г.Щербаков. Кавказ, 1953 г.

- Товарищ Вербловская, поезжайте, пожалуйста со мной. Там надо один вопросик выяснить.

- Можно ли мне сообщить знакомым, что я арестована? Можно ли с собой что-нибудь взять?

- Да, что Вы! Я Вас не арестовываю, у меня и ордера нет. Всего-то на часик-другой, срочно надо кое-что уточнить.

И она вышла - в чем была, кажется, даже не оставив в комнате сумки со школьными учебниками, так как надо было бы возиться их перекладывать, а сумка понадобилась бы на обратном пути покупать продукты - на пять лет из своей комнаты. Как дорогую гостью встретили ее Некрасов и Правдин:

- Ну, рассказывайте же, куда Вы свезли вчера чемодан?

- Какой чемодан?

- Да не поступайте себе во вред! Мы о Вас же печемся. Мы-то и без того все знаем.

- Что "все"? О чем Вы, не понимаю!

- Ну, как о чем! О чемодане с бумагами Пименова, который Вы вчера от своего отца Арновича перевезли на другое место.

- Ах, вы про этот чемодан! Так это был чемодан с веревками. Вас уже и веревки интересуют? Это тоже "контрреволюционная агитация?!" Они у матери моего мужа - у Щербаковой Ларисы Михайловны.

- Вы нас за дурачков не считайте! Нас не веревки интересуют, а бумаги. Антисоветские рукописи Вашего сожителя Пименова.

- Какие бумаги?? Что, вам мало того, что вы при обыске забрали? И так весь дом перерыли! Вы лучше ответьте мне, за что вы его забрали? Хватит беззакония творить! Отошли сталинские времена! И вовсе не сожитель он мне, а муж. Вы не имеете права оскорблять меня.

- Какой же он муж, если вы не регистрировались! А так... Разве он с одной с Вами только? Ну, как хотите. Пусть будет муж. Так Вы скажете нам, куда Вы свезли бумаги Вашего... МУЖА?

- Ни о каких бумагах я ничего не знаю.

- Вот что, гражданка Вербловская Ирэна Савельевна. Мы хотели с Вами по-хорошему, без протоколов. А Вы нас вынуждаете. Вот, распишитесь, что Вы предупреждены. Мы Вас будем допрашивать в качестве свидетеля по делу Пименова Р.И., обвиняемого в преступной деятельности, предусмотренной статьями 58(10) и 58(11) УК РСФСР.

- А сколько ему за это будет?

- По усмотрению суда. Свидетель не имеет права отказываться от дачи показаний и давать ложные показания; это статьи 92 и 95 УК РСФСР. За это - до двух лет лишения свободы. Расписались? Теперь отвечайте на вопросы. Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Место рождения? Место жительства? Национальность? Профессия? Образование? Последнее место работы? Имеете ли судимость? Куда Вы отвезли чемодан, взятый Вами на квартире Вашего отца Арновича Савелия Григорьевича?

- К матери Пименова, Щербаковой Л.М.

- Что в нем было?

- Веревки.

- Свидетель Вербловская, Вам предъявляется фотокопия текста, написанного Вашей рукой, где, в частности, написано: "... № 44. Венгерские тезисы; № 45..." (А Ира-то ничего не ведала про фотографирование, учиненное Ерофеевым!) Ваша это рука?

- Мо... моя... кажется, моя...

- Куда Вы дели перечисляемые этой описью бумаги, вынув их из чемодана, взятого у Арновича, и заменив их веревками?

Молчание.

- Хорошо, свидетель Вербловская, мы прервем сейчас допрос, Вы подумайте. Поймите, что не в Ваших интересах запираться. Два года лишения свободы - стоят ли того какие-то бумаги? Подумайте, а мы допросим свидетеля Щербакова И.Г. Проводите свидетеля в соседнюю комнату.

И снова вызывают моего отца. Теперь с ним беседуют иначе. Он уже - допрашиваемый свидетель, предупрежденный об ответственности. Полукругом его обступили человек 10-12, блистая погонами.

- Вы приехали вчера по вызову Вербловской в ее квартиру?

- Да, я...

- Отвечайте на вопросы, Вербловская передала Вам последнее при аресте поручение Пименова пересмотреть книги Пименова и уничтожить антисоветские, не замеченные при обыске?[92]

- Никакого поручения не было. Я просто сам заинтересовался, какие у него любопытные книги. Я ведь впервые приехал к ним в гости.

- А говорила ли Вам Вербловская, что она перепрятала антисоветские рукописи Пименова?

- Ничего не говорила.

- Свидетель Щербаков, предупреждаю Вас повторно об ответственности за ложные показания. Нам все и так известно, как Вы видите. Вербловская-то баба, и она все уже сказала. Она в ответ на Ваш вопрос: "Что они взяли?" - произнесла, как сама только что признала: "Да это что, Иван Гаврилович! То, что они взяли - чепуха по сравнению с тем, что я сегодня спрятала. А сегодня перепрятала так, что никто не найдет." Ну, помните, она еще про уборную говорила? В Ваших же интересах подтвердить. Вот, подпишите протокол.

---

[92] Я действительно, уходя, тайком просил Иру пересмотреть книги. Я надеялся, что, пересматривая, она наткнется на футляр с "буковками" и ликвидирует улику. Но, не зная ничего о "буковках", она, повертев футляр, сунула его назад. А с отцом они перебрали все книги и, кажется, некоторые сожгли (например, пропала "Стенограмма Учредительного Собрания").

- Знаете что, меня на такой мякине не проведете. Я сам допрашивал контру. Мне приходилось с такими встречаться, что вы бы в штаны наделали. Да не вылупляйте на меня глаза, а то повыскочат! Давайте мне очную ставку с Вербловской!

- Значит, она это говорила, но Вы согласны подтвердить это только на очной с ней ставке?

- Ничего она не говорила. А очная ставка мне нужна для того, чтобы уличить ее в клевете на меня. А скорее всего - вас уличить, потому что вы приписываете ей то, чего она не говорила и не могла говорить, потому что никакого чемодана не было. А вы - бандиты и бериевцы. Вам надо бы сажать тех, кто при Сталине миллионы людей уничтожил, а вы вместо того честных людей берете...

- Уведите свидетеля. Введите Вербловскую. Так вот, свидетель Вербловская, свидетель Щербаков, которого Вы только что видели вон там, показал, что Вы вчера вечером, когда он приехал к Вам по Вашему вызову и спросил Вас, что они - т.е. мы - взяли у Пименова при обыске, ответили ему: "Да это, Иван Гаврилович, что! То, что они взяли - чепуха по сравнению с тем, что я спрятала. А сегодня перепрятала так, что никто не найдет." Ну, будете признаваться или вернуть Щербакова и оформить на Вас дело на два года за ложные показания?

- Ну, раз уж он подтверждает... Да, я сказала вчера это...

- Так. Вот так и дальше давайте. И тогда Вы быстренько вернетесь домой. Мы же Вас не обманываем, когда говорим, что мы все и без Вас знаем. И кому Вы передали содержимое чемодана?

- Ничего я говорить не буду! Вы не имеете права! Я не арестованная!

- Да, Вы пока не арестованная. Но постановление о Вашем задержании мы оформим сейчас же. Вот, распишитесь: мы Вас задерживаем на два дня. Уведите задержанную в камеру.

На постановлении стоит время объявления ее задержанной - 23.00 28 марта 1957 года. Процедура приема задержанных во внутреннюю тюрьму УКГБЛО, соединенную деревянным висячим мостиком со зданием Управления КГБ по ЛО, ничем не отличается от процедуры приема арестованных или вновь привозимых осужденных. Единственное дополнительное неудобство для женщины - что все надзиратели (каждые полторы минуты обязанные смотреть в глазок) исключительно мужчины. Шмонает, впрочем, женщина (она же библиотекарша). В баню же водят мужчины, и в глазок присматривают за порядком. Но свыкаешься и не с таким...[93]

В ту же ночь Правдин на своей машине свез отца на Финляндский вокзал, велев ему ехать в свой совхоз, а в Москву полетела телеграмма, во исполнение каковой УКГБ по МО произвело в 11.30 29 марта тщательный обыск в доме Щербакова, изъяв "речь Хрущева", мои письма отцу и несколько томов произведений В.И.Ленина, на полях которых были собственноручные пометки отца[94]. Жена его, Маруся Леснова, послала ему телеграмму на адрес

---

[93] В Москве, на Лубянке, иначе. Там есть и надзиратели-женщины. Видимо, просто там штат шире.

[94] Когда отец узнал дату обыска у него (поначалу он воображал, будто у него обыск устроили одновременно с обыском у меня), он рвал волосы на своей лысой голове и переживал: "Как это я, дурак этакий, с моим опытом, замешкался в Ленинграде! Кабы я после Ириной телеграммы, не заезжая к ней, кинулся в Москву, ликвидировал

совхоза: "Были гости. Взяли книги, письма Воли, статью". Телеграмму он получил без задержки[95].

Выспавшуюся Вербловскую привели на допрос. Она же за ночь придумала версию, как не сказать неправды - кому хочется получить два года - и не сказать правды - нельзя же продавать любимого! Обстоятельства она изложила так: в Публичной библиотеке познакомилась с одной девушкой. Случайно встретив ее 26 марта, решила использовать знакомство. Передала ей в уборной на Малой Садовой бумаги из чемодана, упросив подержать несколько дней у себя. Адреса ее не знает. Как получит назад бумаги? Во-первых, та знает Ирин телефон, а во-вторых, если часто ходить в Публичку, то ее там можно наверняка встретить. Как ее зовут? Лена. Ну, да, конечно, Елена, а как же иначе, раз ее все Леной зовут.

В самом деле, Шрифтейлик звали ВИЛЕНОЙ. Правда, никто ее никогда Леной не называл, и она не терпела имени "Лена". Все звали ее Вилей. Но поди докажи, что Вербловская лжет! Правда, познакомились они не в Публичке, и вообще в этот период своей жизни Виля совершенно не бывала в Публичке; познакомились они как чтецы у писательницы Эльяшевой. Но поди докажи, что они не были знакомы раньше через Публичку! Словом, версия была составлена так, что уличить Вербловскую в лжесвидетельстве было бы совершенно безнадежным предприятием. Следствие быстро это поняло и не пыталось вменить ей этой статьи. Но следствие не собиралось и прощать ей дерзкой попытки перехитрить лучших в мире разведчиков, попытки, грозившей лишением их премиальных. Оно взяло на себя труд доказать, что Вербловская была виновна в том же преступлении, что и я. С другой стороны, казалось Вербловской, версия придумана так, что никто не сумеет найти эту Лену-Вилю. Ведь ни адреса, ни примет - ничего, кроме ложного указания, будто ее можно встретить в Публичной библиотеке!

29 и 30 марта следствие допрашивает знакомую Иры Зубер - Лазареву, интересуясь, что она делала 26 марта. 29-го у нее в 18.30 проводят даже обыск. 30 марта набросились на нашу соседку по квартире Роксану Мосину - что та делала 26 марта? 30 марта следователи колебались, не является ли мифическая Елена известной им Зубер-Яникун и допрашивали Иру на предмет знакомства с Зубер. Та ликовала, видя, что сбила ищеек со следу. Но в том же допросе, уточняя, где еще работала, услыхали фамилию Эльяшевой, позвонили писательнице, пораспросили обо всем и установили, что Вербловская чередовалась в чтении слепой с некой Вилей Шрифтейлик, "очень милой и приятной девушкой". А имя "Виля", не привязанное к фамилии, звучало на ленте подслушивания...

1 апреля в 15.00 лейтенант Прокопьев, в штатском, подошел и мило улыбнулся Виле, входившей в кинотеатр "Рекорд" на углу Садовой и Лермонтовского: "Здравствуйте". Она улыбнулась в ответ (срочно припоминая, кто бы это мог быть), и тут ей улыбнулись еще двое-трое столь же милых молодых людей, ничуть не похожих на тех "в штатском" на площади Искусств.

все у себя, то меня не то что не арестовали бы, даже не дернули бы на допрос". Ср. в §16 примечание о Шейнисе и Иксе.

[95] Подробнее см.§7 гл.5.

- Мы должны, гражданка Шрифтейлик, провести у Вас обыск, - произнес лейтенант Прокопьев.

- А ордер у Вас есть?

- Конечно. Распишитесь на обороте. Мы Вас подвезем.

- Зачем? Здесь пешком до дому быстрее.

И они в молчании пришли в ее квартиру по улице Римского-Корсакова, д.49, кв.1, тщательно осмотрели все в комнате и на указанных ею принадлежащих ей коммунальных полочках в этой огромной, как ад, квартире, ничего не нашли, оставили на столе протокол обыска, в котором в графе "изъято" вписано оказалось: "Ничего не изымалось", Виля переложила его в стол, чтобы мать, вернувшись с работы, не наткнулась, а потом они предложили ей проехать в Управление, т.е. в Большой Дом. Дорогой она ломала голову: что они ищут? Она была столь уверена, что чемодана им не найти, что ей и в голову не приходило, что они ищут именно его. Но тогда - что же?

Сначала она нагло отбрехивалась: ничего не знаю. Упоминание об уборной перестраивает ее:

- Я чемодан сожгла.

- А где же Вы взяли топор разрубить чемодан? Где в печи следы железа от чемодана?

- Сожгла я бумаги, а чемодан выбросила на помойку.

- Поедем на помойку.

Вилю беспокоило одно: лишь бы мама не узнала ничего. Свою мать она боялась панически всю жизнь. О чемодане же она знала смутно: Ира плакала и просила сохранить. Там что-то дорогое для Револьта. Ничего о криминальном не говорилось. Степень ЦЕНЫ чемодана была неясна. Заслуживает ли он всей этой нервотрепки? Или там бабушкины портреты, которые Револьт, опасаясь конфискации (такое юридическое слово ей не приходило на ум, но она жила представлениями, что все, в чека попавшее, не воротится), хочет заблаговременно вынести из дому? А мама ждет, волнуется... (А следователи примечают срывающиеся слова "мама".) Вдруг прочитает протокол?! Надо как можно скорее домой! Да и следователи такие милые люди... А вдруг ЭТО начнется? Ради неизвестно чего! Ой, они хотят привезти сюда маму: "Пусть Ваша мать смотрит, как ее дочь пойдет в тюрьму!"

По ее воспоминаниям, часов в 10-11 вечера, а по хронологии документов в 20.00 она повезла Прокопьева с товарищами на улицу Жуковского к Гете Дроздовой. Та отдала им чемодан.

- Вы можете быть свободны, Вилена Анатольевна.

- Нет, я хочу посмотреть, что было в чемодане.

- Ах, так. Хорошо, Вы будете нашим понятым при вскрытии.

Вернулись в Большой Дом. Часов пять - по ее воспоминаниям, она вышла на улицу около двух ночи, но шальные трамваи еще ходили - длилась перепись бумаг.

“Слава Богу, - подумала Виля, подписывая протокол. - Ничего там не было. Томик Ницше. Какие-то письма. Ученые статьи. Никаких АДРЕСОВ и никаких СПИСКОВ. Значит, чемодан никому не повредит”.

Представление о том, что заговорщики всегда составляют списки, возникло у нее от хорошего знания мировой литературы. А эти письма - письма моего отца ко мне. В совокупности с изъятыми у него в Москве они явились основой для приговора Мособлсуда,

лишающего Щербакова И.Г. свободы на 4 года. Статьи - всякие там "Правды о Венгрии" и прочие тезисы, попали в мой приговор. Томик Ницше - вот это правда - я сунул в уже уложенный чемодан, опасаясь конфискации. Больше всего волновался я, попытался узнать потом у адвоката: будет ли конфискация[96]. Жаль было моей библиотеки... Томик Ницше "Так говорил Заратустра" в чудесном переводе Изразцева, как небо от земли отличающемся от переводов Полилова, мне вернули.

2 апреля Ира признала, что лицо, названное ею Леной, это и есть Вилена Шрифтейлик. В тот же день ей предъявили постановление об аресте, опечатали раскрытую настежь с 28 марта комнату и составили опись имущества. 5 апреля Иру допрашивал прибывший из Москвы капитан Егоров по делу моего отца. 9 апреля - заметив, что Вербловская плохо переносит одиночество и радуется вызову на допрос, ее стали дергать пореже - ее расспрашивали о знакомых, посещавших наш дом. Ее уличал - подумать только - Никита Дубрович! Какие муки и терзания! Дубровича допрашивали 30 марта и, подробнее, 8 апреля. Он, едва отдавая себе отчет в последствиях, рассказал, что Ира была очень милой хозяйкой, все время поддерживала беседу и никуда не отлучалась из комнаты, когда приходили гости. Правда, ничего антисоветского не говорила. Но показания шли вразрез с версией Иры, что она, когда являлись гости, удалялась на кухню и чистила картошку, не вмешиваясь в разговоры, нисколько ее не интересовавшие.

12 апреля она назвала фамилию Грузова как лица, у которого хранится другой чемодан. Как вырвалось это у нее - не знаю. Не понимаю. 13 апреля Грузов выдал чемодан органам, в тот же день был поверхностно допрошен и отпущен с миром. В чемодане этом хранились, в основном, мои дневники присталинских лет, те два листка из черновика "Судеб", часть моей древней переписки с отцом, уйма тетрадей с моими стихами. Закончу эпопею с чемоданами сообщением, что Дроздова допрашивалась по поводу чемодана Шрифтейлик 11 апреля и весьма поверхностно. К ее объяснениям, что Шрифтейлик не уточняла ей содержимого, отнеслись с полным доверием. Слегка шокировало следователей нежелание Дроздовой понять пагубность своего поведения:

- Но как же Вы взяли чемодан, не спрашивая о его содержимом? Там ведь могла быть ворованная мануфактура!

- Я Вилю знаю, и ворованной мануфактуры она бы не принесла.

- Но там было хуже: антисоветские рукописи!

- Это же не ворованная мануфактура.

Ее больше не дергали и никаких неприятностей для нее не последовало. Что касается Вили, то Эльяшева вежливо, но непреклонно попросила ее убираться вон.

16 апреля Ире Вербловской предъявили обвинение по ст.58 (10-11). Прозвучало давно с трепетом ожидаемое ею обвинение в распространении "секретной речи" Хрущева. Так тюрьма получила вторую сверхплановую жертву.

Тем временем отец мой заканчивал свою командировку в совхозе. Звери его выздоравливали, он прикидывал с совхозным

---

[96] Она мне угрожала: постановление об аресте опиралось на часть 2 статьи 58(10) ("массовость" - этого признака ныне нет), санкция по которой была 25 лет и/или конфискация имущества.

врачом совместную статью об этом заболевании. 5 апреля появляется из Москвы капитан Егоров. Сначала Москва безнадежно требовала от Ленинграда, чтобы Ленинградское УКГБ арестовало моего отца. Ленинград отвечал, что ничего преступного на территории Ленинграда и Ленинградской области Щербаков не совершил; коли вам надо, сами и арестуйте. Капитан же Егоров обливался потом зависти при виде успеха своих ленинградских коллег, раскрывших такое крупное дело. И порешил не ударить в грязь лицом. За казенный счет он едет в Питер, допрашивает отца и Иру 5 числа. 7 апреля повторно допрашивает отца, уже задержанного в это время в Большом Доме на пару дней. Его интересует толкование новогоднего письма отца ко мне, в котором тот выражал весьма оптимистические пожелания, но в довольно обтекаемой форме. И откуда у Щербакова хрущевский доклад, изъятый при обыске? 8-го допрос повторился.

Поговорив назавтра безрезультатно со мной, Егоров на время отбывает в Москву. Отца выпускают. Следующим за Егоровым поездом едет мой отец, дав Марусе телеграмму "встречай". Его встретили капитан Егоров с понятыми и препроводили на Лубянку. Тюрьма поглотила еще одну сверхплановую жертву. Маруся телеграммы не получила.

На этом первом этапе следствия были произведены еще обыски: у Вишнякова, 26 марта в 12.00. Найдено несколько порнографических открыток и морской кортик. У знакомой Заславского Шапиро, 29 марта. Допросили в Курске мать и бабку Данилова 29 марта; его самого привезли в Ленинград только в середине апреля. Больше обыски не проводились.

§14. Апрель

Следствие присматривается к свидетелям; допрос Орловского 30 марта; режим в следственной тюрьме КГБ; страдания моей матери; подробные показания Вайля, Вербловской, Данилова, потом Заславского; моя очная ставка с Вайлем и взаимное изменение позиций; мистерия

Борьба пошла на изматывание противника. На детальное привязывание подслушанного и подсмотренного к конкретным личностям. Поначалу следствие знакомилось с этими личностями. Вот кто допрашивался 30 марта: Орловский, Зубер-Яникун, Дубрович, Лазарева, Мосина, Арнович, Иванов и Тарасов (двое последних связаны с Вайлем некоторыми переговорами о радиоприемнике), а из обвиняемых - Вайль, Вербловская и Заславский. Свидетели держатся настороженно. Лишь бы не повредить своим друзьям.

При этом следователи уже могут уловить разницу между свидетелями, просто бывавшими у меня в доме, и свидетелями, бывшими в доме и знавшими про организацию. Первые - например, Виля Шрифтейлик - наивно рассказывают очевидные факты, скрывая только те высказывания, которые, по ее мнению, явно криминальны. Даже когда ей пересказали один мой разговор с ней наедине, она упорствовала. Пересказали буквально: "Видите, Пименов ничего не скрывает" (разговор был на историко-политическую тему). Она потрясена. Но ее осеняет: "Ведь Револьт на меня почти не обращал внимания. Не может при таком небрежении он помнить каждое слово. Значит..."

- Да Вы не бойтесь. Ведь Вы же с ним не соглашались. Вы же его опровергали!

"Не может быть. Не до меня ему сейчас. Не до того, чтобы помнить мои высказывания. Значит, это не он. Это - МАШИНКА!" - догадывается она. И начисто отпирается от разговора. Но внешние факты она рассказывает, не утаивая.

Свидетели второго рода - например, Зубер - начинают лгать на дальних подступах. Ей опаснее (не только за меня, но и за себя) признаваться. Она больше отрицает самого даже очевидного.

Особняком стоят показания Орловского - единственного, кто читал УПК. Вот протокол его допроса 30 марта[97]:

“ВОПРОС. Назовите своих знакомых и охарактеризуйте каждого из них.

ОТВЕТ. Знакомых у меня много. В числе своих знакомых могу назвать следующих: Пименов Револьт Иванович. Я познакомился с ним примерно в 1951 г., он работал в Технологическом институте пищевой промышленности. Мы познакомились с ним на почве изучения математики, постепенно наши отношения стали дружескими. Я считаю его молодым способным математиком. Мы беседовали с ним на бытовые, математические и другие темы. Я часто бывал у него на квартире. Бывал и он у меня, но реже. Как человек он мне нравился, но иногда бывал груб со мной, по незначительным поводам ссорился со мной, приходил в ярость, а на

[97] Протоколы допросов Орловского Э.С. воспроизводятся без изменений со сделанных им самим записей его допросов, с его разрешения.

следующий день извинялся и сам не мог объяснить своего поведения. Заславский Игорь Дмитриевич. Я познакомился с ним примерно в 1953 г. на почве занятий математической логикой. Я у него на квартире был несколько раз, а он у меня не был. Я неоднократно встречался с ним на квартире Пименова. Мы трое совместно переводили статьи по кибернетике, обсуждали наши математические работы, математическую и кибернетическую литературу и т.п. Он работал в Научно-исследовательском институте городской и сельской телефонной связи. Вербловская Ирина. Меня познакомил с ней Пименов, кажется, летом 1956 г. Она у меня была несколько раз, брала книги. Какие именно - не помню. Вайль Борис Борисович. Учился на первом курсе Библиотечного института. Я познакомился с ним осенью 1956 г. в эсперанто-секции Дома Культуры Промкооперации. Он мне сразу очень понравился. Он хорошо владел языком эсперанто и наши беседы в основном касались этой области. Я был у него, кажется, два раза. Один раз я просил его заменить меня на один день в качестве библиотекаря эсперанто-секции, а второй раз (24 марта) мы знакомили друг друга со своей международной перепиской. Пейтин Георгий[98] Самуилович, учится в аспирантуре университета. Я знаком с ним примерно с 1953 г. На дому друг у друга не бывали, встречались в университете, Математическом институте АН СССР, в эсперанто-секции и т.п. Наши беседы в основном касались математики и в последнее время также языка эсперанто. Лозинский Николай Николаевич, работает в воинской части № 30/895. Мы с ним знакомы с 1948 г. по совместной учебе в университете. Раньше мы встречались с ним часто, потом реже. В последнее время я стал бывать у него чаще в связи с тем, что оформляюсь на работу в эту воинскую часть.

ВОПРОС. Бывал ли Вайль у Пименова?

ОТВЕТ. Я никогда не видел Вайля у Пименова. Пименов же мне об этом ничего не говорил.

ВОПРОС. Когда Вы последний раз видели Пименова и Вербловскую?

ОТВЕТ. У Пименова я был последний раз вечером примерно недели три назад. Кажется, проносил книгу Хаусдорфа "Теория множеств". Сколько времени я у него пробыл и содержание нашего разговора не помню. Вербловская заходила ко мне, кажется, в среду 27 марта. Она сообщила мне об аресте Пименова и пробыла у меня не более 10 минут.

ВОПРОС. Что Вы хотите дополнить к своим показаниям?

ОТВЕТ. Имя Пименова пишется не через "д", а через "т". Хочу уточнить, что в 1951 г. Пименов учился в университете, а в Институте пищевой промышленности он работал в последнее время. К характеристике Пейтина следует добавить, что он сделал на III Всесоюзном математическом съезде 6 или 7 докладов, вызвавших большой интерес.

ПОДПИСЬ Орловского.

ПОДПИСЬ лейтенанта Прокопьева”.

Проанализируем это произведение следственного искусства.

---

[98] "Георгий" зачеркнуто и заменено "Григорий" с "зачеркнутому верить" в тексте протокола.

Прежде всего, совершенно ясно, что допрос происходил не так, как написано в протоколе. Не мог вообще человек, а тем более Эрнст, стремившийся сказать как можно меньше (что видно из самого протокола) в ответ на первый вопрос оттарабанить столь длинный ответ. Его подбадривали вопросами, не вошедшими в протокол. Это видно еще хотя бы из того, что в протоколе указаны часы допроса: с 12.15 по 15.00, а фактически Эрнста допрашивали с 11.15 по 16.15. Тут с ним и поговорили, и повыяснили личность его, и понамекнули ему на то, на се. Ничего этого в протоколе не отражено.

Вот записанный Эрнстом фактически имевший место допротокольный разговор в начале допроса:

“- Ваш паспорт, - говорит следователь.

- Ваше удостоверение, - возражает Орловский.

- Я не обязан свидетелю показывать удостоверение (ага, смекает Эрнст, значит, я не обвиняемый, а свидетель), а паспорт мне нужен, чтобы списать анкетные данные.

- Надо же мне с Вами познакомиться.

- Так бы и сказали: "Давайте познакомимся". Лейтенант Прокопьев.

Списав данные, Прокопьев спрашивает:

- Говорили ли Вы с Пименовым о политических вопросах?

- Неужели Вы думаете, что мы, культурные люди, читающие газеты, никогда не затрагивали в своих беседах политические вопросы?

- Нет, я этого не думаю. Как раз наоборот. А вот были ли какие-нибудь антисоветские, нелояльные разговоры?

- Нет, таких разговоров не было.

- Ну, как же, была критика каких-нибудь мероприятий правительства?

- Призывов к подрыву, свержению или ослаблению советской власти не было.

- Не было?

- Не было. И прежде чем задавать мне вопросы, Вы должны предложить мне изложить все, известное мне по делу.

- Хорошо, излагайте.

- По какому делу?

- По делу Вашего знакомого Пименова.

- А в чем он обвиняется?

- По ст.58-10.

- Это что, контрреволюционная агитация?

- Не контрреволюционная, а антисоветская.

- А в чем именно?

- Не забывайте, что мы Вас допрашиваем, а не Вы нас.

- Так, а мне ничего антисоветского не известно про Пименова.”

Далее он стремится утопить недвусмысленно "криминальных" знакомых в потоке некриминальных. Называл он гораздо большее число лиц. Поначалу он просто перечислил было все имена, значившиеся в его записной книжке. Но следствие фильтровало показания, отбирая лишь интересных для себя. Только чтобы не совсем уж искажать характер допроса, включили в протокол и никому не нужных Пейтина и Лозинского. Впрочем, может быть, и не

совсем уж ненужных? Пейтин - эсперанто, кто его знает? А Лозинский? Орловский устраивается в воинскую часть (сейчас бы сказали: "в почтовый ящик")?? Не бывать тому!! Еще год с лишним бедствовал Эрнст, которого не брали ни на одну работу. Ему, кончившему аспирантуру по специальности “математическая логика”, удавалось устроиться разве лишь на временную работу книгоношей в книжный магазин... (Подробнее см. §8 гл.5.)

О чем он беседовал с Пименовым? - Упаси Бог, исключительно о математике. Даже книжки и те были математические: "Теория множеств". (Кстати, насчет Хаусдорфа правда. Он в самом деле принес ее мне. Но не только ее.) И он не сообщает даже, что познакомил Вайля с Пименовым именно он; хотя Вайль уже рассказал про это. А следователи не напирают, не уличают. Им нужно присмотреться к свидетелю. Установить его почерк лжи. Найти зацепки к нему. Пробрасывают ошибочки в протоколе: внимательно ли читает данный товарищ и читает ли вообще подписываемое им? Читает, и придирчиво. Заметил "д". Но вот пропустил ошибку в имени Иры: она ведь не Ирина, а Ирэна. Так-так, и к нему подберемся, дай только срок.

А Эрнст тем временем уходит, уверенный, что им ничего не известно о том, что 17 марта у меня дома собирались гости, которым я рассказывал про внутрипартийную борьбу в 1925-1927 годах. Ведь он же показал, будто был у меня ТРИ НЕДЕЛИ назад, причем, как можно сделать вывод по контексту, один, и вел несущественный разговор, который легко забылся. А они - проглотили. Значит, если бы в этот момент он думал о подслушивающих аппаратах, то мог бы "с уверенностью" заключить, что их у меня в доме не было.

Эрнст закидывает им удочку, подсказанную ему моей биографией: не сумасшедший ли Пименов? Беспричинные взрывы ярости... Он подготавливает свое алиби на предмет совместимости работы со мной и Ирой над "Речью Хрущева": как же, он и познакомился-то с Вербловской только летом 1956 года! (Фактическая-то работа над текстом шла в марте-апреле, как рассказано в §1.)

Я так подробно проанализировал протокол допроса Эрнста, ибо он в некотором смысле типичный для позиции тех свидетелей, которые хотели как-то спасти меня. Другие из числа меня выгораживавших в этот период - Зубер, Дубрович - держались примерно так же. Только сказывалась разница в характерах и юридической подготовке.

Но были и такие, которые охотно поливали меня грязью. Арнович (допрашивался 28 и 30 марта) и Враская (30 марта и 17 апреля) в один голос твердили, что я тиранил и бил Иру, что я - антисоветчик, а вот Иру взяли ни за что; при этом все-таки Арнович не показал ничего конкретного, тогда как Враская сумела заметить, различить и опознать в числе ходивших к нам в дом Лазареву (почему-то появившуюся 26 марта) и Игоря Заславского[99]. Они исходили в неконкретных обвинениях против меня: самый дух

[99] Насчет ныне покойного Савелия Григорьевича вспоминаю мой разговор с ним в мае 1956 года. Я разорялся о гражданском долге, активности, злоупотреблениях. Он отвергал все, мной говоримое. В заключение отрезал:

- Молодой человек, это - бандиты, и с ними единственный разговор - нож в спину. А своими поступками Вы только себе самому навредите.

разговоров отдавал-де контрою[100]. Такие свидетели были бы полезны следствию, если бы оно ШИЛО дело. Примерно такого рода свидетелей набирал капитан Егоров против моего отца (см.гл.5). Ленинградское же ГБ тогда не нуждалось в услугах враских. Тем более, что враские и знали-то ничтожно мало.

Стояла задача: найти что-то, чтобы расколоть меня. Для этой цели из Вербловской, Вайля, Заславского, Гнучевой выуживались детали, которыми можно было бы пронять меня. Так как ДРУЖБА препятствовала им вредить мне, то им "открывалось мое подлинное лицо". Вербловской описывали, как я ей изменял. Вайлю - как его эксплуатировал. Заславскому - как непохвально о нем отзывался. Гнучевой - в какую бездну увлекал ее несовершеннолетнего сына. На Лубянке капитан Егоров старался выжать что-нибудь из моего отца, кроме нецензурной брани, которою тот его поносил. И крохи пересылал в порядке взаимопомощи в Ленинград (протоколы допросов Щербакова от 12, 22, 25 и 27 апреля).

Пытались использовать Вилю, чтобы пробить меня. Привели 4 апреля на очную ставку.

- Знакомы с ним?

- Конечно. Пименов Револьт.

- А Вы с ней?

- Отвечать отказываюсь.

- Револьт, почему ты не хочешь меня узнавать?

- А разве я тебя не узнаю? Я с тобой и поздоровался, и с удовольствием поговорю. Я просто для протокола отказываюсь что бы то ни было говорить.

- Почему?

- Да потому, что следователь, вот этот капитан Правдин, чтобы заставить меня признаваться, грозился арестовать мою жену. (Это было 2 апреля, когда меня допрашивали о "литературе, хранившейся у Арновича".)

- Прекратите разговоры со свидетелем! И можете написать в какой угодно жалобе, что я, капитан Правдин, второго апреля во столько-то часов грозил арестовать Вашу жену. Я не боюсь!

- Так ты не знаешь...

- Прекратите разговор! Уведите свидетеля!

Я так и не успел узнать, что в оборванной фразе Виля хотела сказать мне, что Иры уже нет на воле с 28 марта. А постановление о ее аресте было подписано ровно за час до того, как Правдин попытался было шантажировать меня этим арестом в случае моего запирательства.

Мне объяснили, как непохвальна трусость. Раз уж я нагрешил, то надо иметь смелость признаться в содеянном. Особенно напирали

О Враской. В 1965 году, освободившись, Борис зашел к Ире. Входит пожилая дама. Ира знакомит: "Ольга Борисовна". Борис с безотказной памятью чеканит: "... Враская, происхождением из дворян." Та с испугом воззрилась: Ира разъясняет: "Это он цитирует анкетную часть ваших допросов". Тут Враская в полном расстройстве сникает на диван. Ведь она была уверена, что о ее показаниях мы не узнаем. И даже узнали бы - оттуда не возвращаются.

[100] Мне всегда непонятна логика таких свидетелей. Если ты слышал антисоветское и не донес сразу, значит, ты тоже преступник. Как же ты ИЗ ТРУСОСТИ можешь сам на себя давать материал, что слышал антисоветское?

на мой "моральный облик". Они, защитники этики, вытащили мое письмо отцу осенью 1954 года, когда я с артелью пьянчуг, проституток и беспаспортных бродяг подрядился на стройку в один абхазский колхоз, "чтобы изучать жизнь". И вот одно или два из писем той поры, в которых я непохвально отзывался о сожителях, стало знаменем следствия и позже прокуратуры. Ибо "в этих письмах Пименов оскорбляет простой трудовой русский народ" (допрос 5 апреля). 6 апреля меня пытались спрашивать о Вайле. 8-го предъявили обвинение. 9-го от меня отскочил Егоров. 10 апреля опять о Вайле и об "информации". В этот день и произошел описанный в §12 инцидент с Роговым. Назавтра я заболел ангиной. Меня лечили весьма тщательно. Все ягодицы искололи - не помню точно, кажется, пенициллином. Кормили куриным бульоном, хотя, впрочем, в питании я не нуждался.

Пару слов о режиме. В то блаженное время не запрещали спать днем. Кормили хорошо. А если не хватало, то всегда можно было попросить добавки у надзирателя, и добавка была обеспечена. Кроме того, были передачи. Едва встав, мать дважды в неделю стала носить мне апельсины, которых до того я, кажется, и не едывал. Нередко я подзывал к кормушке надзирателя и совал ему в руки кольцо добротной краковской колбасы, прося отдать кому-нибудь. Потом я узнал, что эта колбаса перепадала, в частности, Косте Данилову, который до того, как на суде о его существовании узнала Кудрова, никаких передач не имел; когда же она узнала, то ему были аккуратно налажены передачи. Тюрьма была полупустая. Старая добротная тюрьма с высокими потолками. В ней сидели и Николай Морозов, и Владимир Ульянов, и Борис Савинков... И книги в библиотеке были добротные, с тех времен. И был ларек. Денег у меня, правда, не было - я не взял с собой при аресте ни гроша. Но когда посадили Иру и стали отбирать имевшиеся при ней деньги (она ведь собиралась в магазин), то она поинтересовалась, что станется с деньгами. Ей объяснили: перечислят на лицевой счет, и она сможет закупать раз в 10 дней продукты в лагере. Тогда она упросила, чтобы половина этих денег была перечислена на мой счет. Кажется, 1 апреля мне принесли квитанцию, что на мое имя поступило что-то вроде 37 рублей 25 копеек. Удивленный некруглостью суммы, я вызвал начальника тюрьмы капитана Коноплянникова и сумел от него узнать, что деньги - от АРЕСТОВАННОЙ жены (то, что она мне жена, я записал в своей тюремной анкете сразу по прибытии в тюрьму. То, что мы не регистрировались, я не указал). Он, Коноплянников, вообще был человеком, доступным логике здравого смысла. Помню, в тюрьме был странный порядок с выдачей чистого белья после бани. Заключенный со своим грязным бельем шел мыться. После того как помывшись он вытрется ГРЯЗНЫМ полотенцем, приносили чистое белье БЕЗ ПОЛОТЕНЦА. Когда он возвращался в камеру, там его ждало чистое ПОСТЕЛЬНОЕ белье вместе с ПОЛОТЕНЦЕМ. Я написал заявление, что таким порядком "уничтожается самый смысл бани". Коноплянникову чрезвычайно понравилось это выражение и, смачно его повторяя, он велел изменить порядок. Примерно на полгода новый порядок установился, а потом (уже при майоре Луканкине) победило ведомственное различение белья личного и белья постельного, причем полотенце относилось к последнему.

Но жил я в то время не камерными интересами, а следственной борьбой. Причем боролся я не за изменение срока - фатальное чувство обреченности не исчезло, - а ради самого процесса борьбы. Играть в шахматы приятно ради самой игры, даже с неизмеримо более сильным противником. Я был настолько увлечен борьбой, что могу исказить характер режима. Мне вспоминается, что один из участников группы Трофимова -Тельникова[101], кажется, Малыхин, осенью 1957 года писал возмущенное заявление Луканкину на предмет омерзительной, по его мнению, кормежки, от которой испортился его желудок; в четырех строках он пять раз повторил слова "тухлая рыба". Так что, может быть, мое субъективное восприятие улучшало объективную реальность. Но, как бы там ни было, режим был довольно мягкий и не идет ни в какое сравнение с тем, что было введено в 1961 году... (См.§6 гл.5.) Это - не ретроспективная оценка, обусловленная контрастом с последующим.

Прежде чем вернуться к следственной игре, скажу несколько слов о своей матери. Привезя ей пресловутые веревки, Ира больше не появлялась. Мама позвонила ей на квартиру. Подошла Враская и ответила, что Иры нет дома. Мама попросила передать Ире просьбу позвонить ей (на работу, ибо домашнего телефона не было). Враская, верная своему принципу не сообщать об арестах, дипломатично произнесла: "Я не думаю, что Ира в ближайшее время сможет позвонить Вам". То ли в интонации на слове "Вам" прорвалась ненависть ко мне, то ли мама оказалась мнительной, но только она "поняла", что Ира решила меня бросить, не желает поддерживать с матерью арестованного никаких контактов и не будет подходить к телефону.

Назавтра она переехала силами своих родственников на новую, лучшую уже тем, что не в здании школы, площадь. Но страшно далеко: в тогдашнем конце Московского проспекта, дом 195. После переезда пролежала больная несколько дней. Никто из моих приятелей не знал ее нового адреса. Она тоже не знала ничьего адреса, кроме Ириного, которая, по ее мнению, знаться с ней не хотела. Мои приятели - например, Эрнст - пытались навестить мою мать. Но они знали только ее старый адрес на Серпуховской. Пришли. Соседи говорят - нет ее. Где? А кто знает, "у нее были". Кинулись искать. Как? Никто не знал, что ее фамилия Щербакова. Ищут "учительницу биологии Пименову". И надо же такому случиться, что как раз в той самой школе, в здании которой находилась наша комната[102], в школе, в которой моя мать не работала, в эти самые месяцы случилась учительница биологии Пименова, которую только что свезли в психбольницу! Друзья узнают это и обоснованно заключают, что она не выдержала горя и попала в сумасшедший дом. Поиски обрываются... А она, в своем одиночестве, клянет тех, кто бросил ее в беде... Кто даже не старается узнать от нее о судьбе своего друга...

---

[101] В мае-июне 1957 года в Ленинграде были арестованы Трофимов, Голиков, Пустынцев, Малыхин, Потапов, Петров, а в Москве - Тельников и Хайбуллин ("Союз коммунистов" и "Союз революционного ленинизма"). Следствие по делу вел капитан Степанов, судили в конце сентября (см.§8 гл.5 и "Память" № 5).

[102] Это не та школа, в которой мы жили в 1949 году. Та была на улице Правды, д.20, школа № 320. В ней мать и работала и в 1949 году, и в 1956 году, и вообще до самой пенсии почти, хотя с 1953 года мы жили уже в здании другой школы, хотя нумерация школы менялась.

На самом же деле и Эрнст, и другие все время прямо от следователя выведывали, что могли, обо мне и Ире. Узнавали, как с передачами, когда можно будет писать. Эрнст на свои скудные средства носил передачи Вайлю. После суда - Ирма, более обильные.

И позже, когда все друг друга нашли, друзья мои проявили прямо-таки трогательную заботу о моей матери. Кудрова узнала ее день рождения и два раза в году - на ее и на мой день рождения - до самого моего освобождения к ней стали ходить в гости Ирма, Эрнст и другие.

5 апреля Игорю Заславскому предъявили его дневник и попросили объяснить, как согласуется его утверждение, будто взгляды его советские, с написанным им на таких-то и таких-то страницах. Вместо того чтобы наотрез отказаться обсуждать дневник как исключительно личный документ, не подходящий под действие статьи, гласящей об агитации и пропаганде, он выкручивался, приискивал толкования, говорил о временных умопомрачениях и проговорился, что "те, кому он давал читать дневник, не усматривали в нем ничего несоветского". Потом он стал твердить, что НИКОМУ не давал его читать, но следователи уже стали примерять, кто бы из его знакомых мог подтвердить факт чтения дневника, переводя тем самым неинкриминируемый документ в разряд криминальных. Так прошли допросы 6 и 8 апреля, а 9-го ему было предъявлено обвинение. 12, 16, 19 и 22 апреля его допрашивали о различных его знакомых, преимущественно из таких, которые стояли в стороне от политики, но были общими и у него и у меня, и которым было бы нелегко доказать, что они ни при чем: Любицкая, Нагорный, Машьянова. 24 апреля Заславский признал себя виновным и начал подробно излагать все обстоятельства своей и моей преступной деятельности (26 и 28 апреля). Следователи настолько обрадовались, что посвятили допросам даже праздничные дни: 1 и 2 мая его выспрашивали об обсуждении "Венгерских тезисов" 8 ноября (когда еще, по-видимому, подслушивателей у меня в доме не было) и о событиях, связанных с обсуждением Пикассо. От Заславского они получили отчетливое представление о личных взаимоотношениях среди гостей моего дома: как мы кого называли, кто когда приходил. Ведь для следствия было нетривиально узнать и то, что Эврику Эфроимовну Зубер-Яникун в быту звали Ирой! А Корбута обычно заглазно называли "лошадь" из-за формы его лица. Правда, на всем протяжении апреля Заславский признавал только те обстоятельства, которые были связаны с наличием свидетелей; наши с ним наедине разговоры он еще не выдавал. А вот то, что делалось в компании - уже не скрывал.

Только после этих признаний Заславского следователи находят себя достаточно осведомленными, чтобы потянуть на допрос Корбута (29 и 30 апреля). Протоколы его показаний на первых порах довольно безлики и, если сравнить их с показаниями Заславского, просто пересказывают те. Такой же характер носят и его показания 3 мая. Корбут был первым свидетелем, имевшим отношение к моему делу, которого следствие вызвало после почти месячного перерыва с 30 марта.

От Вербловской в лоб немногого сумели добиться, но зато почти все узнали косвенно. В это время ее спрашивали пореже, не Бог весть о чем серьезном. Она темнила, в отношении речи Хрущева

придерживалась той - в этих условиях совершенно устаревшей - версии, которую мы с ней разработали в мае 1956 года.

Вайля на протяжении апреля допрашивали много и во всех подробностях. Он, кажется, целиком поддался действию доктрины: стыдно трусить признаваться. Его допрашивали 30 марта, 1-2, 5 апреля, и он рассказал о листовках и об информации. 8 апреля ему предъявили обвинение и несколько переориентировали допросы: несколько дней не было речи о Пименове, а о других членах группы: Вишнякове, Кудрявцеве, Грекове, Кокореве (9, 11 и 12 апреля), о курских делах (15 и 17 апреля). 18 апреля из него попробовали выжать - авось что знает - что-нибудь о "сборищах на квартире Пименова", а когда это не удалось, удовлетворились рассказом об Орловском.

Но все-таки следствие было не удовлетворено. Ведь центральная фигура обвинения, к которой сходятся все нити, отказывается давать показания. Правда, уже нет никакого сомнения, что улик набрано довольно. Любой суд признает обвинение в совершении инкриминируемых деяний доказанным, если говорить о Пименове. Да и сам он держится так, что ясно: отрицать по-серьезному он ничего не собирается. Но как заставить его признаваться?

Для того, чтобы я принял участие в превращении известного неофициального знания в юридический факт, мне устроили очную ставку с Борисом. Накануне, 18 апреля, меня проинформировали, что сгорел последний найденный следствием тайник - у Грузова, - но убедились, что язык мой по-прежнему не развязывается.

19, 20 и 22 апреля продолжалась очная ставка с Вайлем. Так как я увидел, что Борис рассказал почти (в тот момент еще "почти") все, и так как речь зашла о том, чтобы просто подтвердить то, что уже юридически сказано и что это уже не может повредить никому, кроме меня, - то я решил дать это подтверждение. Встала проблема: как быть в тех случаях, когда Борис умышленно лжет или случайно ошибается? Исправлять его или подтверждать его неверные показания? В первом случае я добавлял бы следствию новое знание, что противоречит моим убеждениям. Во втором - я был бы вынужден вспомнить его версию, отклоняющуюся от истины. Потом я мог бы позабыть ее и, помня, что об этом уже говорилось на следствии, брякнуть правду. Имея в виду вторую опасность, я все-таки решил по мере сил подтверждать именно тот вариант, который предполагал Борис. Этого же принципа придерживался я и после, с другими. Но так как память подводила меня, то я проговаривался порой в деталях. Иногда следователи это отмечали и, ссылаясь на меня, приводили других к изменению их показаний, а иногда мои обмолвки оставались незамеченными.

Очная ставка с Борисом проходила в дружеском тоне. Поначалу он словно бы извинялся всем видом передо мной за то, что рассказал. Я же не видел резону корить его за уже совершившийся факт. Через пару часов он оправился и мы стали болтать запросто. Да, забыл - едва войдя, я тут же в нарушение всех правил подошел к нему и поздоровался за руку. Правдин и Рогов, проводившие ставку в первый день, вякнули было, что не по правилам. Тогда я буркнул: "Так прекращайте ставку. Я ее не просил". И они предпочли не замечать нарушений.

Как я уже сказал, мы запросто болтали, слегка направляемые вопросами, которые ставил Правдин, руководствуясь прежними показаниями Вайля. Подошла пора кончать. Правдин протянул Вайлю протокол очной ставки. Борис подписал. Протянул мне - я стал внимательно читать. И чуть ли не в первом вопросе усмотрел искажение. Мы с Борисом вспоминали мои высказывания при первом появлении в Библиотечном институте. Вайль сказал: "Пименов говорил, что в Советском Союзе нет свободы слова". Следователь записал так: "ОБВИНЯЕМЫЙ ВАЙЛЬ. Пименов говорил, что якобы в Советском Союзе нет свободы слова". Я обращаюсь к Борису и спрашиваю:

- Что я говорил?

- Что в Советском Союзе нет свободы слова.

- А, может быть, я говорил: ЯКОБЫ нет свободы слова?

- Нет, ты утверждал это без "якобы".

- А ты на очной ставке произносил слово "якобы"?

- Нет.

- Так почему же ты подписал то, чего ты не произносил?! Или, может быть, ты сам считаешь, что "якобы"?

- Нет. Но ведь написал не я, а следователь. И я всегда так подписывал... Я думал, так надо...

Я поворачиваюсь к следователям:

- Вы слышали, что сказал Вайль? Значит, вы все время фальсифицировали его протоколы? Перепишите!

- Не будем! Мы правильно записываем! Так полагается!

- Тогда я отказываюсь подписывать и не буду давать показаний даже на очных ставках.

Они перепугались. Довольное лицо подполковника Рогова потемнело. Но кричать на меня он не осмелился, памятуя мою реакцию 10 апреля. Часа полтора они убеждали меня, что, поскольку в Советском Союзе на самом деле ЕСТЬ свобода слова, постольку они не обязаны писать в протоколе всякую клевету. Я, со своей стороны, напирал на то, что показания пишутся не от имени следователя, а в первом лице от имени допрашиваемого[103]. Посему, если допрашиваемый пожелает утверждать, что в Неве водятся крокодилы, следователь обязан фиксировать утверждение допрашиваемого безо всяких там "якобы" и тому подобного редактирования. Логика моя их не убедила, конечно. Но шантаж убедил. Правдин с досадой порвал начатый протокол очной ставки и сел писать другой[104]. На этот раз он, прежде чем написать, зачитывал вслух предполагаемый вариант и наносил его в бланк только после моего согласия.

Эта и подобные сцены научили Бориса трем вещам, по крайней мере. Во-первых, он понял, что хозяином на следствии является допрашиваемый, а не следователь. Во-вторых, он усвоил, что надо читать протоколы и что в протоколы должно заноситься буквально то, что говорит допрашиваемый, а не то, что по этому поводу подумает следователь.

---

[103] ”Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице и, по возможности, дословно" - ст.151 нынешнего УПК.

[104] Кстати, протоколы допросов уничтожались неоднократно на глазах моих и других обвиняемых и свидетелей. Не знаю, законно ли это?

В-третьих, он осознал, что перед нами сохранилась еще задача драться за наши убеждения и не позволять смешивать себя с грязью. Стиль показаний Вайля после этой очной ставки резко меняется. Правда, 24, 26 и 30 апреля прошли-таки по инерции очные ставки Вайля с Бубулисом, Адамацким и Даниловым соответственно (Бубулис и Адамацкий остались во свидетелях). От уже данных им признаний уйти ему было некуда. Зато стиль менялся. Об этом, клеймя меня, заявил прокурор Демидов:

“Сравните характер протоколов допроса Вайля до и после очной ставки с Пименовым. До этого Вайль был готов раскаяться в своем преступлении, а после очной ставки, под давлением[105] Пименова, он стал вести себя вызывающе и выставлять себя идейным борцом”.

Признаюсь, что если бы я сначала прочитал протоколы допросов Вайля, а лишь потом пошел бы на очную ставку с ним, то я не подал бы ему руки и держался бы не по-дружески, а как с Вишняковым. И я был бы неправ. Вайль оказался гораздо лучше, нежели его представляют отредактированные другими протоколы. И, кроме того, я не смог бы тогда повлиять на Бориса так, как сказано Демидовым. Меня эта история научила не спешить выносить моральное осуждение людям, пока не обладаешь полной информацией.

С другой стороны, я многое потерял в своем собственном мнении, соглашавшись хотя бы подтверждать в очной ставке чужие показания. В конце концов, с некоторой точки зрения, разница невелика: подтверждает ли человек то, что и так известно из неведомых источников следствию, или подтверждает то, что говорит у него на глазах расколовшийся подельник. И там и там есть элемент соучастия со следствием, думалось мне. И в этом состоянии депрессии капитан Правдин 25 апреля кладет мне на стол показания Вишнякова и спрашивает: "Так как, будете подтверждать письменные показания Вишнякова или Вам вызвать его еще раз на очную ставку?" Видеть рожу Вишнякова у меня не было ни малейшего желания. Я избрал за благо написать протокол допроса в следующей редакции: "Ознакомившись с показаниями Вишнякова, подтверждаю их, а именно..." И в дальнейшем в качестве нормы у нас с Правдиным прижилась такая практика: я читаю показания того или иного лица, а затем диктую Правдину протокол, обязательно начинающийся словами:

"Ознакомившись с показаниями такого-то лица, эти показания подтверждаю и желаю сообщить следующее..."

---

[105] Вдуматься только, прокурор называл это ДАВЛЕНИЕМ! Не они, посадившие нас в тюрьму и принудительно дергая на допросы, давят, а я, который в присутствии Вайля спорю со следователем и который настолько прав с точки зрения закона, что следователь вынужден уступить мне. А как распространена на это бессовестность терминологии: один-единственный экземпляр книжки, где сказано не то, что назойливо повторяет телевидение, радио, миллионнотиражные газеты и журналы, они в испуге называют "диверсией"!

А далее переписываю, меняя третье лицо на первое, его показания (конечно, в той мере, в какой они касаются только его и меня). Конечно, я лично читал письменные показания... Не то что другие, которые видели в руках следователя письменные показания и подтверждали то, что следователь им из них зачитывал. И совсем не то что другие, которые и не видели показаний, а только верили следователю, что они есть, и подтверждали сказанное следователем. Конечно... Но все-таки у меня осталось гнусное впечатление, что я сломался. И если бы адвокат Вайля пожелал, он мог бы доказывать благотворную роль Вайля, с полным основанием декламируя:

“Посмотрите, какое благостное влияние оказала очная ставка Вайля с Пименовым! До того Пименов упорно запирался и не давал никаких показаний. После же очной ставки Пименов стал признавать данные, добытые следствием!”

Но напрасно подполковник Рогов с довольством потирал руки:

- Сильная штука очная ставка. Не выдержали, Пименов?

Вообще, на следствии бывают странные вещи, которые до сих пор я не могу понять до конца. Почему вдруг меняется казалось бы окончательно принятая линия поведения и допрашиваемый поворачивается на 180°? И, мне кажется, тут не существенно, начинает ли допрашиваемый признавать на самом деле имевшие место факты (как это, в основном, было у нас), или же начинает признаваться, что он двоюродный брат Гитлера, присланный с заданием взорвать все железнодорожные мосты на острове Врангеля... Не важно, ЧТО признает. ПОЧЕМУ признает - вот вопрос! И даже если отвлечься от моего опыта, а обратиться к советским милицейским романам и очеркам, то мы обнаружим, что советская следственная школа сильна не своим умением вести сыщицкие хитросплетения в стиле Агаты Кристи, Сименона или Конан Дойля, а своим мастерством проводить допросы, добиваясь признания преступника. Стены тюрьмы помогают, что ли. Но ведь и со свидетелями творилось примерно то же. Не буду голословным, процитирую Орловского:

“Они прямо шпарили. Они обставляли это так: у нас есть показания. О чем Вы тогда говорили? Я - не хочу говорить - говорю, что я этого не помню. Оно и действительно, было как-то давно, да и я старался по возможности забыть... Так что я и в самом деле много не помню, хотя лучше было бы, чтобы помнил, потому что тогда складнее что-нибудь сказал бы. Они: "Мы Вам напомним" - "Откуда?" - "У нас есть показания" - "Чьи?" - "Ну, допустим, Таировой" - "Ну, покажите" - "Сейчас покажем". Дальше начинался целый спектакль. Они как будто звонили, говорили: "Вот у вас сейчас заняты показания Таировой. Вы не сможете их принести нам через пять минут?" И в конце концов то ли мне надоедало дожидаться... Конечно, это было глупо с моей стороны три часа подряд говорить одно, а потом... хотя бы частично подтверждать. Я четко видел, что это они знают. Но не было столь же четкого сознания, что они не могут использовать это знание, и им нужно мое подтверждение. Хотя иначе - зачем бы они от меня так добивались подтверждения? Непонятно, почему я не менял свои показания".

И какие бы мотивы изменения своего поведения на следствии ни излагали мне причастные к следствию лица, я всегда обнаруживал на дне их бочки оснований какой-то неразгаданный осадок. Вот я сам прошел через следствие, а тайны не раскрыл. А переучиваться на психолога - вроде староват стал.

§15. Следствие углубляется

Допрос Орловского 17 мая; оценка свидетелями высказываний обвиняемых; допросы Орловского от 18, 20 мая и 12 июня; во что превращается общий разговор в протоколах; как историкам по протоколам реконструировать общий разговор

Вооруженные подробными показаниями Заславского впридачу и своими неюридическими знаниями, следователи расширили фронт допросов. Если за все время с 25 марта по 30 апреля следователи провели всего 40 допросов свидетелей, то за две недели с 3 по 15 мая было проведено свыше 40 допросов свидетелей. При этом расширялся контингент свидетелей и углублялось качество их допросов. Сопоставим, например, протокол допроса Орловского от 30 марта (предыдущий параграф) с его же допросом от 17 мая. Во-первых, второй допрос длился с 11.00 по 20.00. Просьбу Эрнста об обеде они высмеивают (а я не понимаю, почему в ответ на их смех Эрнст не отказался давать показания? Ведь лишение обеда - это уже физическое принуждение). При допросе ему предъявляют "Правду о Венгрии", мой дневник, показания Вайля. А вот вопросы и ответы:

“ВОПРОС. На допросе 30 марта Вы показали, что бывали на квартире Пименова Р.И. Как часто Вы там бывали и с кем там встречались?

ОТВЕТ. На квартире Пименова я бывал примерно раза три в неделю. В разное время и в разные дни я встречал там разных лиц: в частности, несколько раз встречал Заславского Игоря, Зубер Иру, Корбута Александра, Вилю, Марину (фамилий их не знаю), а также Виктора, но он приходил лишь с Вилей.

ВОПРОС. С какой целью все эти лица посещали квартиру Пименова?

ОТВЕТ. С какой целью все эти лица посещали квартиру Пименова, мне неизвестно. Но иногда они собирались на обсуждение определенной темы, которая была известна заранее.

ВОПРОС. Какие антисоветские высказывания слышали Вы на квартире у Пименова?

ОТВЕТ. Антисоветских высказываний на квартире Пименова я не слышал. На квартире у Пименова обсуждались бытовые, литературные, исторические и политические вопросы. Из политических вопросов обсуждались все текущие события международной жизни, в частности, события в Польше, Венгрии, выборы в Польше и т.п. Кроме того, Пименов делал доклады на темы о Каляеве, Нечаеве, попе Гапоне, "Что такое социализм". Я делал доклады по трем вопросам: "Февральско-мартовский пленум ЦК ВКПб 1937 года", "Обзор изменений структуры органов госбезопасности, внутренних дел и управления местами заключения", "Обзор политических процессов за годы советской власти". В апреле я должен был делать доклад "Обзор законодательства фашизма и нацизма". Тему этого доклада предложил я сам и все согласились.

ВОПРОС. Какие политические высказывания содержались в указанных докладах Пименова?

ОТВЕТ. Доклады о Каляеве, Нечаеве, Гапоне следует относить не к политическим, а к историческим. Что касается Венгрии, то Пименов считал, что в Венгрии имело место народное восстание, что венгерские события - внутреннее дело венгров, вмешательство советских войск есть интервенция. Мои взгляды по этому вопросу в основном совпадали со взглядами Пименова. Заславский также в значительной степени соглашался с этими взглядами. Что касается Польши, то Пименов одобрял решения VIII пленума ЦК ПОРП и меры, принятые после этого пленума, считая эти меры важным шагом в направлении демократизации политической и общественной жизни Польши. Он не одобрял некоторые высказывания советской печати в отношении Польши, в частности, опубликованную в "Правде" 20 октября 1956 года корреспонденцию из Варшавы под заглавием "Антисоциалистические выступления на страницах польской печати".

Не правда ли, немного для девятичасового допроса без обеда? Но зато куда конкретнее. Вместо прежнего "был недели три назад" - "бывал раза три каждую неделю". Орловскому понадобилось около часа спорить со следователем старшим лейтенантом Аржанковым, чтобы убедить его включить в протокол изложение СВОИХ взглядов на венгерские события (совпадение с моими). Аржанков доказывал, что это НЕСУЩЕСТВЕННО[106].

И некоторые другие свидетели - например, Виля Шрифтейлик - все время стремились внушить следователю, что их взгляды совпадают с высказываниями Пименова, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Пименов ничего преступного не говорил. Но, в отличие от Эрнста, они не догадывались настаивать занести это в протокол, а силились втолковать это лично следователю! (Втолковать следователю Правдину... Он-то сам себя чудесно охарактеризовал диалогом:

- А ведь сейчас, гражданин следователь, не по-ленински.

- Что именно?

- При Ленине были и другие партии, и оппозиции, и свобода в литературе. А сейчас ничего этого нет.

- Ну, да, тогда сил у нас еще не было все это ликвидировать сразу.

Что можно было втолковать ему? Лениво, вяло слушал и записывал он показания, и во взоре его светилась тоска: "Разве так ведут допросы?")

Но, безотносительно к личности следователя, существенно это или нет? Мне кажется, что мнение свидетеля относительно мнений, инкриминируемых обвиняемому, существенно. Ведь такие мнения характеризуют общественную атмосферу, в которой действовал обвиняемый. А для политических дел важнее всего атмосфера. Но, с другой стороны, если свидетель по юридической неграмотности не придирается к редакции протокола, а следователь сам дает им в протоколе оценку "антисоветский", то значит ли это, что атмосфера действий была такая, при которой такие вот действия воспринимались как антисоветские?

---

[106] Следователь обязан фиксировать только то, что СУЩЕСТВЕННО для данного дела. Но и свидетель имеет право отводить вопросы как несущественные, не относящиеся к делу. Долг следователя, если он настаивает на этих вопросах, - убедить свидетеля, что они относятся к делу (см.ст.166 старого УПК).

Об этом я говорил в своем заявлении 3 сентября суду о неправильных методах следствия (см. §18), и вот яркий пример. Моего старого университетского приятеля Сашу Суслова в связи с найденными у меня его письмами (или в связи с супружеским визитом нас с Ирой к нему с женой, когда те посетили Ленинград) допрашивали алма-атинские защитники государственной безопасности:

“ВОПРОС. Какие антисоветские высказывания или действия замечали Вы за Пименовым Р.И.?

ОТВЕТ. Антисоветские действия за Пименовым я замечал следующие: на лекциях по марксизму-ленинизму он изучал китайский язык[107]”.

Речь идет о лекциях 1952-1953 года. Напоминаю, что допрос имел место 18 мая 1957 года, когда дружба с Китаем была нерушима, когда "Правда" публиковала статьи и речи т.Мао Цзе-дуна (одну из таких публикаций будет цитировать in extenso мой адвокат в §18). Не правда ли, сии показания - шедевр? Они тоже относятся к атмосфере действий? Пожалуй, пока свидетель не научится юридически грамотно формулировать свои показания и пока он не избавится от принизывающего его страха - посадят, - лучше ему все же не высказывать "своего" мнения! И сколькие свидетели на суде клялись и божились, что эпитет "антисоветские" попал в их следственные показания по недомыслию, сами не знают как...

Пожалуй, я воспроизведу прочие протоколы допросов Эрнста, так как они дополняют многое в моих воспоминаниях. Я уж очень конспективно резюмировал в §10 происходившее на моей квартире по воскресеньям. На месте каждой точки в показаниях Орловского я вижу не отраженные протоколом вопросы, вопросы, вопросы следователя. И концепцию следователя, от которой пытается уйти Эрнст. В текст протоколов я буду вносить позднейшие комментарии Эрнста. Вот допрос 18 мая, с 09.00 до 19.00:

“ВОПРОС. На допросе 17 мая Вы показали, что Пименов делал доклады о попе Гапоне, Каляеве, Нечаеве, "Что такое социализм". Какие выводы делал Пименов в этих докладах?

ОТВЕТ. Доклад о Гапоне состоял из двух частей. В первой части Пименов изложил основные исторические факты, относящиеся к деятельности Гапона, а во второй - некоторые свои теоретические соображения. Эти соображения состояли в следующем. Гапон в период, непосредственно предшествовавший 9 января 1905 года, не был провокатором, агентом охранки. Гапон и созданное им "Собрание фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга" сыграли большую роль в развитии революции 1905 года. Заслуга Гапона в том, что он сумел привлечь к революционному движению более широкие массы рабочих, чем это удавалось другим организациям, в частности, социал-демократам. Это удалось ему только благодаря широкому использованию легальных возможностей, что недооценивали эсеры и социал-демократы. По мнению Пименова, на этом примере видно, что массовое революционное движение

[107] См. подробнее §7 гл.4.

невозможно без использования легальных возможностей, что в дальнейшем поняли и социал-демократы.

Последнее придаточное предложение вызвало упорные возражения следователя Аржанкова, отказывавшегося вносить его в протокол. Но Орловский добился.

Припоминаю, что Пименов говорил однажды, что культ личности давил все легальные возможности, и при культе личности венгерские события были бы невозможны, ибо малейшая попытка выставить какие-либо требования была бы подавлена в зародыше. А при последовательной ликвидации последствий культа личности венгерских событий так же могло бы не быть, и дело могло бы пойти другим путем, примерно таким, как в Польше. В докладе о Каляеве Пименов подробно изложил организацию террористических актов Каляевым и его помощниками. Пименов высоко ценил заслуги Каляева и считал, что роль индивидуального террора в развитии революционного движения иногда недооценивается в советской исторической литературе. Пименов неоднократно говорил, что исторический опыт надо связывать с современностью, но я не помню, чтобы он это говорил в связи с докладом о Каляеве.

Следователь вместо слов "чтобы он это говорил" настаивал на формулировке "говорил ли он это".

Что касается Нечаева, то Пименов говорил, что от Нечаева следует исчислять историю революционного движения в России, и поэтому деятельность Нечаева имеет очень большое значение. По словам Пименова, Нечаев был человеком исключительно преданным делу революции, не гнушавшийся никакими средствами. Он мог выкрасть чужие личные тайны, подвести под арест ни в чем не виновного человека, убить члена своей же организации, который вовсе не был предателем и т.п. Присутствовавшие спросили Пименова, означает ли его восхищение Нечаевым, что он одобряет эти методы. Пименов ответил, что он не одобряет, а просто хотел показать, что в революционном движении применялись и такие методы. В докладе "Что такое социализм" Пименов зачитал "Принципы коммунизма" Энгельса, подробно разобрал их и затем сказал, что большинство этих принципов коммунизма у нас осуществлено, но что это программа куцая, и массы не могли идти за этой программой, а шли за лозунгом "светлого будущего". Информация была на этот раз очень сбивчивой, часто отвлекались на другие вопросы, и поэтому мне трудно последовательно воспроизвести мысли Пименова. Помню, что возник вопрос о том, является ли государственная собственность на средства производства формой общественной собственности? Пименов стоял на той точке зрения, что это разные понятия. Он считал, что при настоящем социализме не может быть государственной собственности на средства производства, ибо она сковывает инициативу масс. В этой связи Пименов сказал, что Бакунин был в этом вопросе более прав, чем Маркс. Пименов пояснял свою мысль ссылкой на образование рабочих советов на предприятиях в Югославии, Польше, Венгрии. Он сказал, что строй в этих странах

ближе к настоящему социализму. Далее Пименов сказал, что в условиях, когда марксизм поддерживается государством и выступать против него невозможно, положения марксизма могут иногда превращаться в догмы, а марксизм - в своего рода государственную религию. У нас возник спор о религии, о церкви”.

Допрос Орловского 20 мая, с 15.00 по 20.45:

“ВОПРОС. Какие доклады и информации делали Вы на квартире у Пименова?

ОТВЕТ. Как сказано в предыдущих протоколах, я делал доклад "Февральско-мартовский пленум и т.п." и намеревался сделать доклад "Обзор законодательства фашизма и нацизма". Кроме того, я часто излагал Пименову, как в присутствии других лиц, так и без них, содержание статей из газеты "Известия", журналов "Вопросы истории", "Вопросы экономики" и др. Читал пересказывал, делал переводы статей из газет "Борба" и "Политика" (обе югославские), журналов "Нове дроги" и "Зошиты теоретично-политично" (оба польские) и "Ла документасьон франсэз" (французский). По материалам газеты "Трибуна люду" я составил таблицу "Статистика польских выборов". Кроме того, я информировал Пименова и по многим другим вопросам, например, о порядке превентивного заключения в Индии согласно конституции Индии и др.

ВОПРОС. По чьей инициативе делались эти информации?

ОТВЕТ. Все информации делались по моей собственной инициативе. Темы докладов заранее согласовывались с Пименовым.

ВОПРОС. Какие высказывания по политическим вопросам допускал Заславский И.Д.?

ОТВЕТ. Заславский в значительной степени соглашался с Пименовым.

ВОПРОС. Какие высказывания по политическим вопросам допускала Вербловская И.С.?

ОТВЕТ. Вербловская по политическим вопросам высказывалась редко. Были случаи, когда она соглашалась с мнением Пименова, а были случаи, когда не соглашалась. Помню, что был случай, когда Вербловская в резкой форме возражала против того, что у нее на квартире производится обсуждение докладов, перечисленных в предыдущих протоколах.

ВОПРОС. Известны ли Вам составленные Пименовым тезисы "Венгерская революция" и материалы под заглавием "Правда о Венгрии"?

Предъявлена машинопись: Леонид Борисов, "Правда о Венгрии"; "Венгерские тезисы" были изъяты у Эрнста при обыске, о чем ему напомнили.

ОТВЕТ. Указанные тезисы мне известны, а никакого материала под заглавием "Правда о Венгрии" я никогда не видел.

Следователь настаивал, будто бы "Правда о Венгрии" составлена Пименовым по записям Орловского. Он явно не верил словам Орловского.

ВОПРОС. При обыске у Пименова Р.И. изъяты Ваши рукописи "Хронология венгерских событий 1-31 октября 1956 года" и выписки из газеты "Борба" от 1 и 4 ноября 1956 г. С какой целью Вы передали эти рукописи Пименову?

ОТВЕТ. Я передал эти рукописи Пименову постольку, поскольку они его интересовали. Считаю нужным добавить, что эти и аналогичные рукописи я показывал и давал на прочтение многим лицам, которых это интересовало.

ВОПРОС. Какие статьи антисоветского содержания распространял Пименов?

ОТВЕТ. Никаких статей антисоветского содержания Пименов не распространял.

ВОПРОС. Передал ли Вам Пименов машинописный экземпляр доклада Н.С.Хрущева "О культе личности и его последствиях" с антисоветским приложением?

ОТВЕТ. Пименов передал мне указанный доклад Н.С.Хрущева с подстрочными комментариями и приложением в конце под заглавием "О речи Хрущева." Содержания этого приложения я не помню.

Это было изъято у Эрнста при обыске.

ВОПРОС. Кому еще передал Пименов указанный доклад с антисоветским приложением?

ОТВЕТ. Это мне неизвестно.

ВОПРОС. Кто писал комментарии к указанному докладу и приложение?

ОТВЕТ. Подстрочные комментарии к указанном докладу писал в основном я, а кто писал приложение, я не знаю.

ВОПРОС. Как оценивали происходившие на квартире Пименова обсуждения присутствовавшие на них лица?

ОТВЕТ. Многие соглашались с Пименовым, некоторые не соглашались. Большинство считало такие обсуждения полезными. Припоминаю, что Марина дважды спросила меня, как согласуется мое пребывание в комсомоле с моим изложением дела "Ленинградского центра".

Дело "Ленинградского центра" - декабрь 1934 года - проложило, по мнению Эрнста, юридическую дорогу открытым процессам 1936, 1937 и 1938 годов. Вплоть до смерти Л.Шейнина, подписавшего обвинительное заключение по этому делу, Эрнст обращался во все инстанции, требуя наказать его и отобрать у него орден Трудового Красного Знамени, полученный в 1938 году.

Она сказала, что мы только все болтаем, а не действуем, и добавила, что она охотно вступила бы в какую-нибудь тайную организацию.

“Фактически, - пишет Орловский, - разговор с Мариной изложен мне следователем со ссылкой на протокол ее допроса на Камчатке. Протокол этот он несколько раз порывался предъявить, но так и не предъявил. Позже выяснилось, что такого протокола и не существовало. Следователь категорически отказался записать ход допроса так, как это было, ссылаясь на то, что это не повредит

Марине. В конце концов я согласился на подобную форму записи. Он угрожал мне, что если я не соглашусь, он напомнит мне некое слово, которое Марина произнесла, а я умолчал. К этому он (Аржанков) возвращался несколько раз.”

Я ответил, что я полностью согласен с программой и уставом комсомола и партии и не вижу здесь никакого противоречия и спросил ее, слышала ли она доклад Н.С.Хрущева "О культе личности и его последствиях" и, в частности, то место, где Хрущев говорит о нарушениях социалистической законности и об обстоятельствах принятия закона от 1 декабря 1934 года. Что касается ее намерений, то я ответил, что, во-первых, я не понимаю, как эти ее взгляды согласуются с ее пребыванием в комсомоле, а во-вторых, что для устранения недостатков не нужно никакой тайной организации, а надо лишь "кричать правду на каждом углу", т.е. недостаточно широко известные факты доводить до сведения как можно больше широкого круга лиц. Я спросил ее также, как же она пришла к этим взглядам, если менее года назад она настолько не интересовалась политикой, что даже не пошла слушать доклад Н.С.Хрущева, о чем она сказала мне перед тем. Она ответила, что тогда ее эти вопросы не интересовали, а сейчас интересуют. Но почему произошла такая перемена, я из ее слов не понял.

Следователь настаивал сказать: "Под влиянием Пименова".

Марина сказала еще, что, вероятно, у вас всех одинаковые взгляды, есть какая-то теория. Я ответил, что для организации, действительно, нужна была какая-то теория. Что же касается нас: меня, Револьта, Игоря, -

следователь настаивал опустить имена "меня, Револьта, Игоря", -

то взгляды у нас далеко не одинаковы, и теории никакой нет. Не Револьта же считать теоретиком!

ВОПРОС. Что Вам известно об обстоятельствах знакомства Пименова с Вайлем?

ОТВЕТ. Вайля я знал по эсперанто-секции дома Культуры Промкооперации. Он мне очень нравился. 1 декабря 1956 г. в газете "Вечерний Ленинград" был напечатан фельетон "Смертяшкины", в котором упоминается Вайль. Я говорил Пименову, что Вайля я знаю и не верю, чтобы он мог писать бессодержательные стихи, подобные приведенным в фельетоне. Пименов просил меня познакомить его с Вайлем. Прежде чем я успел это сделать, он сам зашел в общежитие к Вайлю, но не застал его дома. Вайль рассказал мне об этом и просил дать ему телефон Пименова, что я и сделал. Но знакомились ли они, мне неизвестно. Однажды я пытался притащить Вайля к Пименову, но он не пошел. Был случай, когда я заходил к Вайлю вместе с Вербловской. После ареста Пименова Вербловская сообщила мне, что она заходила к Вайлю и узнала, что он арестован”.

И последний допрос Орловского по моему делу, когда следствию оставалось только отредактировать показания. 12 июня, с

10.50 до 19.45, если верить протоколу, и с 10.15 до 20.00, если верить часам Эрнста:

“ВОПРОС. Делали ли Вы на квартире Вербловской информацию о существующем якобы в ЦК КПСС делении на три группы?

ОТВЕТ. Очевидно, Вы имеете в виду следующее. Действительно, я однажды на квартире у Пименова излагал содержание статьи из журнала "Зошиты теоретично-политично" под заголовком, кажется, "Польша и Венгрия". В частности, я излагал то место из этой статьи, где говорится, что в ЦК КПСС существуют три группы: "сталинисты", "либералы" и "центр".

ВОПРОС. Кто присутствовал при этой Вашей информации?

ОТВЕТ. Я излагал содержание этой статьи Пименову. При этом присутствовала, кажется, Вербловская, и, возможно, кто-нибудь еще.

ВОПРОС. Какие высказывания по поводу этой Вашей информации допускали Пименов и Вербловская?

ОТВЕТ. За давностью времени не помню.

ВОПРОС. Читала ли Вербловская стихотворение антисоветского содержания, содержащее слова "нам надоел восторг ослиный"?

ОТВЕТ. Вербловская читала стихотворение, начинающееся указанными словами, но я не помню, в этот ли день, и я не считаю, что оно антисоветского содержания.

ВОПРОС. Зачитывал ли Пименов какие-либо строки из этого стихотворения?

ОТВЕТ. Возможно, что Пименов в разговоре приводил какие-либо строки или слова из этого стихотворения, но точно я этого не помню.

ВОПРОС. Известно ли Вам, кто автор этого стихотворения и как оно попало к Пименову и Вербловской?

ОТВЕТ. Мне неизвестно, как это стихотворение попало к Пименову и Вербловской и кто его автор. Возможно, что кто-либо из них тогда и называл автора, но я не могу этого вспомнить.

ВОПРОС. Вам зачитываются показания Кудрявцева Эдуарда Петровича от 4 мая 1957 года:

«Второй раз на квартире у Пименова я был по приглашению Револьта в феврале 1957 г. Кроме Пименова там были Эрнст, еврейка в очках, еврейка-брюнетка и еврей в очках. Фамилий их я не знаю. Первым выступил Эрнст. Он сделал информацию из буржуазной газеты о якобы существующем в ЦК КПСС делении на три группы: "сталинисты", "либералы" и "центр". Эрнст назвал в каждой из этих групп конкретные фамилии членов ЦК. После этого Револьт сказал: "Вместо сволочи единой над нами много сволочей". Потом женщина-брюнетка зачитала стихи, содержавшие эту же фразу. Далее снова выступил Эрнст и сообщил, что, согласно выступлению академика Несмеянова на "секретном заседании АН", советская биология на 50 лет отстала от зарубежной. Это говорил либо Эрнст, либо другой еврей в очках. Затем женщина-брюнетка сделала информацию о специальности хранения засекреченной литературы в одной из крупных библиотек. Говорили также о том, что реабилитирован поэт Мандельштам. Зачитывали его стихи, содержания их я точно не помню, но они явно антисоветского содержания. Одно из стихов содержало фразу "наши речи за десять шагов не слышны". Я в основном молчал и слушал. После этих общих разговоров Револьт

сделал доклад о Каляеве. Основное содержание этого доклада сводилось к осуждению тактики индивидуального террора».

Знаете ли Вы Кудрявцева и подтверждаете ли его показания?

ОТВЕТ. Раза два я встречал у Пименова Эдика, фамилию которого не знаю. Ознакомившись с показаниями Кудрявцева Э.П., могу сообщить следующее. Разговоры на темы, указанные Кудрявцевым, действительно были. Состав присутствовавших я не помню. Когда Кудрявцев говорит об информации по поводу деления в ЦК КПСС, он, очевидно, имеет в виду изложение мною указанной выше статьи, но эта статья не из буржуазной газеты, а из польского журнала, где она перепечатана из английского журнала. Я не помню, чтобы Пименов говорил указанные Кудрявцевым слова. Что касается стихотворения, то о нем говорилось выше. Разговор о Несмеянове и Мандельштаме также был, но подробностей не помню. Считаю необходимым заметить, что из показаний Кудрявцева создается впечатление, будто присутствующие поочередно брали слово и делали информацию по определенным вопросам. Это неверно. Все указанные вопросы затрагивались в ходе общего разговора.

ВОПРОС. Вам зачитываются показания Вербловской Ирэны Савельевны от 10 июня 1957 года:

«"Нам надоел восторг ослиный, предела нет и он ничей. И вместо сволочи единой над нами много сволочей. Один был умный, но подлец. Его терпели мы, пока не получили наконец и подлеца и дурака". - Это стихотворение я зачитала сразу после информации Эрнста об указанной статье в польском журнале. Я сообщила, что это стихотворение было в записной книжке арестованного.

ВОПРОС. Называлась ли фамилия Гидони?

ОТВЕТ. В общем разговоре, насколько я помню, фамилия Гидони не называлась. Но, возможно, что кому-нибудь отдельно я ее называла».

Подтверждаете Вы это показание?

ОТВЕТ. Только что зачитанное мне показание Вербловской подтверждаю. Однако считаю нужным оговорить, что не помню, к этому ли стихотворению относились слова о записной книжке.

ВОПРОС. Встречались ли Вы за последнее время с Зубер-Яникун Эврикой Эфроимовной?

ОТВЕТ. Да, встречался.

ВОПРОС. Какие вопросы, относящиеся к делу Пименова и других, затрагивались в Ваших разговорах с Зубер-Яникун?

ОТВЕТ. Мы спрашивали друг друга о том, кого допрашивали по этому делу, о ходе следствия и дне слушания дела. (Ему предъявляются показания Зубер-Яникун.)

Я рассказал Зубер о ходе моего допроса, то же сделала и она, но в более краткой форме. Мы сообщили друг другу также некоторые факты из наших показаний. Я высказал мысль, что есть идея, чтобы каждый свидетель хотя бы приблизительно записал свои показания и отдал их мне, лучше после суда, ввиду наличия статьи 96 УК РСФСР[108]. Зубер в принципе согласилась с этой мыслью.

ВОПРОС. К кому еще Вы обращались с таким предложением?

---

[108] Ныне ст.184 УК. За разглашение данных предварительного следствия - штраф до 50 рублей, причем об этой статье и ее неразглашении допрашиваемый должен быть предупрежден письменно.

ОТВЕТ (дается после предъявления доноса Вишнякова и протокола его допроса от 10 июня, где назван Адамацкий, подстрекаемый Орловским). В разговоре с Адамацким... (и - после длительного уговаривания) Таировой, Дубровичем.

ВОПРОС. Кто из свидетелей передал Вам записи своих показаний?

ОТВЕТ. Никто мне такой записи не передавал.

ВОПРОС. Сделали ли Вы запись своих показаний?

ОТВЕТ. Да, сделал. Она находится у меня дома.

ВОПРОС. С какой целью Вы собирали показания свидетелей?

ОТВЕТ. С целью иметь возможность более объективно изложить дело тем лицам, которые слышали о деле Пименова, но не знают подробностей и интересуются ими.

ВОПРОС. Что Вы хотите дополнить к своим показаниям?

ОТВЕТ. На допросе 20 мая мне был задан вопрос о взаимоотношениях Пименова с Вайлем. В конце ответа на этот вопрос допущена неточность. Вербловская говорила мне, что Пименов в момент ареста сказал ей, чтобы оно сообщила об его аресте всем друзьям. Когда она ехала на трамвае мимо Библиотечного института, ей неожиданно пришла в голову мысль, а не зайти ли к Вайлю и не сообщить ли ему об аресте Пименова. Она действительно зашла. Далее она сказала, что очевидно они, т.е. органы ГБ, знают больше нас с тобой, раз они сумели протянуть ниточку между Пименовым и Вайлем, а мы не можем”.

Кроме записанного, в этом же допросе Аржанков сказал Эрнсту без занесения в протокол, что "Вербловская сидит за то, что не сказала, где чемодан"; спросил про всех знакомых Эрнсту Вась и Володь; интересовался, не опознает ли Орловский конверт с машинописным адресом; "Горный институт, Профком" и обратным "ЛГУ, Профком".

Этот протокол требует комментариев. Ко мне сходились гости в очередное воскресенье. Пришли пока Эрнст и Игорь с Ирой Зубер. Входит Кудрявцев. Марина и прочие подошли потом. В ожидании Эрнст с порога своим громким голосом начинает пересказывать читанное им. Я не успеваю сразу оценить важность сведений о разногласиях (потом я осознал, что это принципиально важно, ибо превращает мою оппозицию правительству в оппозицию отдельным людям в правительстве) и обрываю его словами "и вместо сволочи единой над нами много сволочей." "Что, что?" - переспрашивают Эрнст и Игорь, уловившие, что это не просто брань, а нечто ритмическое. Ира, порываясь выказать свою осведомленность, встревает и объясняет, что это цитата из стихов недавно арестованного Саши Гидони, о чем ей рассказывала общая с Гидони знакомая Дина Кренева, тоже библиотекарь. Полностью зачитывает эти стихи. Ира Зубер интересуется, кто такой Гидони. Ира отвечает, что он работал в спецхране университетской библиотеки, где и Дина. Игорь, переводя вопрос с "неинтересных персональных частностей" на "важные общие вопросы", бросает: "А слышали, Мандельштама из спецхрана передают в общее хранение?" Всеобщее изумление.

Я:

- Сомневаюсь, что его реабилитировали... Разве только как стойкого борца против Сталина.

- Почему? Что он сделал?
- Ну, хотя бы это его стихотворение:

Под собой мы не слышим родимой страны,
Наши речи на десять шагов не слышны,
А лишь только пойдут разговорцы -
Тут и вспомнят кремлевского горца!

Его пальцы, как толстые черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
Да сияют его голенища...

Я цитирую до конца. Тут Эрнст, предпочитающий не слушать, а говорить, вновь овладевает всеобщим вниманием и сообщает, что Лысенко уже не так прочно сидит. И так, перекидываясь с темы на тему, разбиваясь на частные ручейки и вновь сливаясь в общий, идет разговор, пока не подходят прочие и я начинаю доклад. Разумеется, я не осуждал индивидуальный террор как тактику в начале XX века; Кудрявцев показал такое исключительно с перепугу, не пришили бы ему обсуждение террористического акта. Возможно, он имел в виду мою фразу, что СЕЙЧАС, в начале 1957 года, террор был бы не полезен, а вреден. Но в докладе я восхищался Каляевым и Савинковым.

В допросе есть и другая сторона. К этому моменту Вербловская разработала себе следующую тактику защиты: она-де виновна только в передаче чемодана, а ни в одном антисоветском высказывании неповинна. Перед следствием, стремившимся обвинить Вербловскую не в укрывательстве и не в недонесении, встала трудная задача доказать, что Вербловская вела-таки антисоветские разговоры. Ей стали инкриминировать зачтение "антисоветского" стихотворения Гидони (хотя, убей меня Бог, я не понимаю, что в нем антисоветского. Оно максимум направлено лично против Хрущева). И поскольку речь шла обо мне, против которого и так много данных, то мне его и не инкриминировали. Другое дело Ира, засадить которую хочется, а улик против которой негусто. Она парировала, объяснив, что зачитала его как предостережение присутствующим, что за такие стихи сажают, а вовсе не ради агитации. И следователи были озабочены получить такие показания, из которых было бы видно, что Вербловская даже не сообщала, чье это стихотворение, ибо тогда ясно, что она лжет о своих намерениях. Аржанков построил допрос так искусно, что почти до самого конца допроса Эрнст не мог понять, что основной предмет допроса - Вербловская, а не я, не Эрнстова информация и т.п. И хотя Эрнст рвался помочь Ире (по своей инициативе он сделал дополнение к предыдущим показаниям, рассчитывая, что такая редакция облегчит судьбу Иры), получилось, что в своем благородном желании назвать как можно меньше имен он помог следствию опутать Вербловскую!

Что касается "Вась и Володь", то в один из последних разговоров на воле я упоминал неких курсантов Васю и Володю, которым должен был кое-что отнести. Предъявлявшийся конверт - это конверт, в котором группа, именовавшая себя "Комитетом

спасения России", рассылала листовки. Эти листовки и мне предъявлялись на предмет уловления моей реакции: знакомо ли?

После допроса Аржанков поехал к Эрнсту и изъял у него его записи. После ухода Аржанкова Эрнст их восстановил. Потом он передал мне их копию с разрешением использовать, как сочту нужным. Здесь приведены именно они.

§16. Даты, фамилии, показания[109]

Пятьдесят восемь фамилий допрошенных; был ли провокатор в группе Кудровой - Шейниса; "лагерь - обетованный край"; Вайль пытается снять с меня одно обвинение; акт идеологической экспертизы

Вернусь к тому, как разворачивались показания. Это будет скучный, хотя содержательный параграф.

20 апреля меня допрашивали о Володе Фролове. Я ответил, что учился с ним в университете на одном курсе, он астроном, я математик, - и более ничего. Самого Фролова допрашивали 21 мая. Он ничего не мог сказать интересного для следствии. Тем не менее его все-таки попросили уйти из номерного института, в котором он работал по распределению. Благодаря этому он наконец-то смог вернуться на работу по специальности - в астрономию.

20 апреля меня стыдили несовершеннолетием Дубровича. 7 и 9 мая мне предъявлялись показания Кузнецова, которые я и подтверждал. При этом особый упор я делал на то, что Кузнецов, Акмен и другие из ЛИСИ - это явно случайные люди, которых Борис привел по ошибке. Кажется, это им не помогло, и их всех повыгоняли из института. 13 мая, перед нанесением решительного, по его мнению, удара, Правдин допрашивал меня об организации вообще, предъявляя то те, то те протокольчики. В этот допрос он оказался настолько любезен, что согласился передать Ире назавтра мои стихи, поздравлявшие ее с днем рождения, - одно четверостишие. Он действительно их ей дал прочесть. Потом, зная, что я на слово не верю, попросил ее написать на листке, что она их читала. Ира, привыкшая уже к казенной процедуре расписывания за объявление извещения, начала по инерции: "Читала 14.05...", но вдруг опомнилась и написала мне в свою очередь поздравление с моим днем рождения (16 мая). Правдин вручил мне листок и с торжествующим видом сообщил, что они - люди всегда честные и держат обещания.

Прежде чем переходить к допросу 15 мая, посмотрим, как обстоят дела у свидетелей.

3 мая допрашивают Корбута и Кудрявцева. Корбут говорит сдержанно, Кудрявцев выкладывает все, безбожно путая с перепугу. Кстати, по словам Правдина, Кудрявцев не столько боялся следователя, сколько того, что я его изобью, встретив в коридоре Большого Дома. 4 мая продолжается допрос Кудрявцева, возобновляется допрос Зубер, которая пока сдерживается и слово в слово повторяет Корбута. Допрашивают Кузнецова, который то ли трусит, то ли разыгрывает роль труса, с переляку позабывшего все на свете. Он никого не оговаривает, а напирает, что изо всего переданного ему Пименовым, он успел прочесть только "Десять

[109] Примечание для тонких ценителей. В шестидесятые годы, когда это писалось, всякий читатель сознательно или бессознательно ассоциировал с заголовком этого параграфа название воспоминаний Эренбурга Годы, люди, жизнь". И параллель работала: от годов остались даты, от людей - фамилии, от жизни - показания. Сейчас никто не помнит Эренбурга, и аромат ассоциации выветрился. И таких мест в этой главе много.

дней" Рида. Допрашивают некую Данилову в связи с поездкой Вайля в Новгород.

5 мая, в воскресенье, перекур. 6-го из Зубер начинают течь кой-какие подробности. Продолжается допрос Кузнецова - в том же роде. Допрашивают его товарища Акмена. По поводу показаний Бубулиса, что Вайль-де требовал отделения Литвы, вызывают присутствовавшую при разговоре Крысюкенайте. Она отрицает. Кроме того, Вайля спрашивают о его курских делах.

7 мая с Борисом беседуют относительно его эсперантистской переписки. В тот же день Заславский уточняет некоторые подробности. Зубер продолжает признавать дальнейшие обстоятельства. Опрошены Петкевичюте о разговоре Вайля с Бубулисом, она также все отрицала[110], и Терехов о новгородской авантюре Вайля. 8 мая Вербловская допрашивается об обстоятельствах напечатания речи Хрущева. Продолжаются уточнения Заславского и Зубер. Вновь на допросе появляется Дубрович, показания которого резко расходятся с моими. В основном, потому что он формулировал или позволял следователям формулировать их вопиюще безграмотно с академической точки зрения. Впервые допрашивают Невструева - как свидетеля о листовках, писанных им совместно с Вайлем и Даниловым. Он ото всего отпирается, не веря следователям, ручающимся, что за признание его в тюрьму не посадят. В Петропавловске-на-Камчатке допрашивают Марину Таирову, которая туда уехала незадолго до арестов с родителями. Помню, она еще жаловалась мне, что ее отчим - прокурор - гнетет ее, и спрашивала совета, не уйти ли от родителей. Я отсоветовал.

9 мая Невструева сводят на очную ставку с Вайлем. Запирается. В тот же день Вербловскую допрашивают о матери Грузова, Левиной. Заславский излагает, как он понимал мою трактовку Гапона. Допрашивают Грузова, Грекова из Библиотечного института, брата Вербловской Юрия (офицер флота, член партии) и, в Москве, моего отца о путях получения "речи Хрущева". Последний утверждает, что я просто забыл эту машинопись у него в доме, когда гостил летом 1956 года, а сам он не читал текста. Версия ничем не хуже другой. Ей противоречит одна малость: на тексте рукописи пометки, экспертизой признанные сделанными рукою Щербакова.

10 мая Вайля сводят с Даниловым по поводу их курской эпопеи. Оказывается, их группа в 1955 году называлась "Свобода". Заславский признает, что Пименову удалось вредно "идейно повлиять" на него. Зубер все уточняет. Допрашивают неких Коршикову и Лохину, в отношении которых моя память ничего подсказать не может. Этину, вызванному вторично (первый раз - 19 апреля), предъявляют изъятую у Игоря машинопись, содержащую мое доказательство сформулированной мною теоремы: "Этин - провокатор". Он нехорошо ругается, но ничего не в силах припомнить порочащего меня, кроме сказанной ему в 1952 году фразы по поводу ибсеновской "Борьбы за престол" - “Эх, кабы у меня была королевская идея!” Правдин несколько раз заверял меня: "Этин у нас на службе не состоял".

---

[110] Кстати, обеих литовок допрашивали в Литве местные органы.

11 мая Невструева сводят с Даниловым, но Невструев держится твердо и все отрицает. Помню, с каким возмущением в июле 1957 года Данилов отзывался мне о Невструеве:

- Какой подлец! Вместе делали, а признаваться не хочет!

Не раз и не два в лагерях встречал я эту логику. Истоки ее просты и человечны. В самом деле, я делал то же, что и они. Но меня судят, а их нет. Почему? Это несправедливо. Я должен доказать, что это несправедливо. А путь к этому единственный: показать, что они делали то же, что и я. В каком-то смысле эта логика является оборотной стороной тех мотивов, по каким Орловский, Шрифтейлик, Дубрович, Таирова и другие убеждали следователей, что они, свидетели, делали то же, что Пименов, а ПОЭТОМУ Пименова надо выпустить. Только когда той логикой пользуются свидетели - она оборачивается благородством. Когда же обвиняемые прибегают к ней - мерзостью и скверной. И ни одного обвиняемого ни разу еще она не избавила от суда и не уменьшила срока... О том же Невструеве допрашивают Евтухова (курянин, позже - начальник новосибирского вокзала). В тот же день Вербловскую допрашивают о "Правде о Венгрии" и впервые фиксируется фамилия Кудровой. Заславский распространяется о морали. Зубер выкладывает все больше подробностей, но пока еще молчит об организации. Спрашивают мать несовершеннолетней Таировой и некоего Лошманова.

В понедельник 13-го Евтухову дают очную ставку с Невструевым. Заславский лопочет что-то о "формах борьбы" по поводу тех его записей о надобности пулеметов на ГУМе и партизанских отрядов в Сибири, которые я упоминал в §3. Допрашивают отчима Таировой, Бубулиса, мою мать. Кстати, мелкие подробности. Когда я в конце марта отказывался говорить что бы то ни было, Правдин пригрозил: "Ну, раз Вы отказываетесь объяснять, откуда у Вас то-то, изъятое при обыске у Вашей матери, то мы будем вынуждены арестовать Вашу мать". - "Арестовывайте", - ответил я. Их "возмутила моя бессердечность" и они мне прочитали мораль, как сын должен относиться к матери. Я-то знал, что никаких юридических оснований тронуть мать у них нет, но скольких они взяли таким простым приемом? Шрифтейлик - взяли. На Зубер - давили. Кто еще?

И в этот же день произошло интересное. Согласно протоколам, дело обстояло так. В воскресенье Зубер-Яникун и Корбут - порознь - написали в УКГБ ЛО идентичные заявления о том, что "в связи с делом Пименова” они “имеют сообщить органам следствия факты, могущие быть интересными для следствия".

В понедельник Корбута вызывают, и он дает пространные показания, отрицающие его собственные предыдущие показания. Он признает, что Пименов вел с ним разговоры о тайной организации. Что он вместе с Зубер вступил в эту организацию. Что он делал то-то и то-то. Что, как ему известно - и говорит он это с согласия и по просьбе Зубер, - Пименов поручил Зубер вырезывание "буковок", которые хранятся в футляре от авторучки. И многое другое, в том же роде.

Согласно рассказу Корбута, который я слышал от него самого осенью 1963 года, беседуя в кафе-мороженом на Среднем проспекте Васильевского острова, дело обстояло иначе. Его заявление и

показания были написаны в один и тот же день в кабинете следователя, который и продиктовал ему и то и другое, объяснив, что если Корбут не станет писать, то его тут же арестуют за соучастие в организации. Так как все продиктованное было - как знал Корбут и как соглашаюсь и я - правдой, то Корбут счет за благо написать и поставить указанные следователем даты. Последнее делалось, как растолковал следователь, ради блага Корбута: ему-де зачтется добровольное сообщение сведений. Корбута с работы не выгнали. Зубер выгнали. Правда, поведение Зубер и Корбута на суде различалось. Кроме того, совершенно ясно, что до показаний в связи с этим "заявлением" ГБ ничего не знало о футляре, где хранились "буковки"; в футляр их укладывала сама Зубер, а я, использовав часть их, остаток держал в этой же емкости, дурак.

14 мая Вербловскую допрашивали "о связи с людьми" и поздравляли с днем рождения. К слову, Эрнст Орловский прислал и ей, и мне поздравительные открытки к нашим датам. А всего за время содержания меня в внутренней тюрьме УКГБ ЛО в 1957-1958 годах он мне прислал 24 письма и открытки, большую часть которых мне вручили. Заславский все уточнял и уточнял. Вайль изложил мотивы своей деятельности и выявил при этом, что если он и выдал разные там обстоятельства, то не с перепугу, а по неопытности. В изложении своих мотивов он держится с достоинством и ни в чем не кается, в отличие от старшего его Заславского. В тот же день вызвали в Большой Дом Суходольскую, которая явилась представителем группы студентов Библиотечного института, не веривших в виновность Бориса Вайля; они просили выпустить его. Ей показали кое-что из материалов дела и простились, убедив в справедливости ареста Бориса. Камчатское ГБ снова дергало Марину. Отец мой в этот день объяснил, что причинами, толкнувшими меня на неверный путь, могли служить материальная необеспеченность и Ницше.

15 мая повторилась ставка Вайля с Даниловым. В связи с Вербловской допрашивались ее сослуживцы-учителя Рукавишникова и Горелова. Обо мне сослуживцев не допрашивали: на меня материала хватало. На Иру - недоставало. Терли ее коллег: вдруг да что-нибудь добавят. Не добавили. Мне предъявлялись показания Корбута, но я нагло отрицал.

16 мая Заславский излагал свои взгляды по крестьянскому вопросу, да в связи с Вайлем допрашивались Лускина, Эдельштейн, Палагин. Эдельштейн опоздал на допрос, ибо заходил в церковь исповедаться перед входом к следователю. На допросе фигурировало одно письмо Эдельштейна Вайлю относительно некоей организации, действовавшей, как писал Эдельштейн, летом 1956 года в Ленинграде, и об ее участнике - позже застрелившемся Покровском. И для Вайля, и для Эдельштейна осталось загадкой, откуда Кривошеин цитировал им это письмо, ибо оно было ими сожжено задолго до описываемых событий, летом же 1956 года. Эдельштейна изгнали с работы - экскурсовод в Ялте. Ныне он кандидат наук по английской филологии[111].

17 мая мне предъявляются вновь показания Корбута и идентичное заявление Зубер. Я продолжаю отрицать. Эдельштейна

[111] В настоящее время отец Георгий Эдельштейн - православный священник в Костромской области. Член Московской Хельсинской группы (изд.).

сводят на очную ставку с Вайлем. Допрашивают обо мне Орловского, Бергер, какого-то Морозова, Донде. В связи с Вайлем в провинции допрашиваются сестра и брат Пальманы, оказавшиеся в полном неведении.

18 мая Вербловская дает показания о Вайле и о замысле газеты. Допрашиваются Орловский, Суслов, Кокорев. Последний - в высшей степени поверхностно. Следствие отнеслось с полным доверием к его версии, что он был вдрызг пьян и не бельмеса не помнит. Впрочем, и Суслов, и Кокорев допрашивалась на периферии.

20 мая Вербловская рассказывает о Гальперине - муже Кудровой. Заславский продолжает признаваться. Последний раз в мае допрашивают Вайля. Вызываются Орловский и приятель Заславского Немец, который обнаруживает у Заславского порок - пессимизм.

21 мая Заславский признает, что давал на организацию деньги. Об обстоятельствах печатания доклада Хрущева расспрашивают Фролова. От него ли следствие узнало о присутствии Фролова при печатании - не знаю. Когда он уходил из ГБ, Правдин протянул ему бумажку: "На следующий раз, если заметите что подозрительное, сигнализируйте нам по этому телефону". Бумажку Фролов обронил в урну Большого Дома. О Вайле допрашивается Синицын. Об [...][112] - учителей Гильмана, Осипову. Еще допрашивают Цейтина, Ясько.

22 мая Заславский признает свое участие в обсуждении триединого лозунга "Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, культура - интеллигенции". Появляется Рохлин, сознающийся, что солгал в Медвежьегорске в мае 1956 года. Следователи кричат: "Вы знаете, что за лжесвидетельство наказание полагается! Мы Вам не оплатим проезд!"[113] Рохлин доволен: кабы всегда можно было за свой счет подобру-поздорову убраться из Большого Дома!.. Вразрез с имеющимися у следствия показаниями Рохлин показывает, якобы это он сам лично перепечатывал себе у меня текст речи Хрущева. По поводу Вайля - бурлит-таки Библиотечный институт - допрашивают Синицыну и Ланцеву.

23 мая меня допрашивают по поводу показаний Дубровича. Я заостряю расхождения. Заславский в этот день формулирует свой отказ от борьбы с советской властью. Из Библиотечного вызывают Смоленкову.

24 мая впервые на допрос тянут знакомого Кудровой - Миролюбова.

Мне до сих пор не понятно, как случилось, что следствие раскопало этих людей. Никакие материальные улики, связующие меня с ними, не попали в руки следствия. У меня таковых и не было, если не считать моего микрофильма Шейнисова документа, так и не обнаруженного следствием. Разумеется, ни адресов ни телефонов их у меня никогда не было в письменном виде. Никогда я им не звонил из дому, а только из телефонной будки. Назывался по телефону не своим именем, а "Ваней". Казалось, все спрятано. Что же произошло?

---

[112] Пропуск в оригинале. Должно быть - Ире (изд.).

[113] Его вызвали на допрос в Ленинград из другого города повесткой. По закону проезд оплачивается вызвавшей инстанцией и независимо от того, дает он показания или нет, правдивые или ложные, лишь бы явился.

Есть две возможности постараться понять случившееся. Одна - принять за чистую монету протоколы. Другая - гадать поверх протоколов. Испробую обе.

Согласно протоколам, фамилию Назимовой, имена Ирмы Кудровой и ее мужа Бориса Гальперина впервые произнесла Ира Вербловская 11 и 20 мая. Произнесла в связи с тем, что у нас были гости, с которыми Револьт обсуждал-де "Правду о Венгрии". По некоторым моим косвенным соображениям, в это время в доме еще не стояли аппараты для подслушивания[114]. Поэтому мне не понятны мотивы, по которым Ира стала рассказывать. Разве что - ей было так тошно в одиночке, что она готова была говорить о чем угодно и с кем угодно, лишь бы не оставаться одной... Помню, с каким ужасом вымолвила она 15 июля мне: "Меня целых 12 дней не вызывали на допрос!" Она не ведала, что ей придется выучиться сидеть в одиночке, ни с кем не встречаясь, по нескольку месяцев... Но даже если это и так, она знала так мало, что следствию почти не с чего было зацепиться. Автором "Правды о Венгрии" я признал себя. Адресов она ничьих не знала, кроме телефона Кудровой - кажется, служебного. О Миролюбове понятия не имела. Почему же они начали с Миролюбова? И как они сообразили, что Миролюбов - пусть они даже проследили его при встрече со мной у вокзала - связан с Кудровой? Кажется неестественным, что следствие придает значение моей встрече с какими-то гостями у меня дома в конце ноября, до возникновения организации в Библиотечном институте. Я же встречался с сотнями лиц, ГБ их всех фотографировало. Как же оно отфильтровало Миролюбова? Или следствие на всякий случай пропускало сквозь решето подозрений всякого, причастного ко мне? Ведь еще 20 мая оно примеряло "Правду о Венгрии" к Орловскому! Нет, не всех, много имен не всплыло на следствии. Кабы они действительно всех "подозрительных", встречавшихся со мной, примеряли...

Гораздо естественнее кажется мне предположение, что они узнали о круге Кудровой - Шейниса из посторонних для меня источников. В пользу этого предположения говорит то, что они сумели в самом конце следствия, уже после признания их всех, достать где-то фотокопии отдельных страниц Шейнисова документа о Венгрии[115]. И здесь я вижу две возможности. Одна - предположение о наличии осведомителя внутри круга Кудровой -Шейниса; предположения, кажущегося фантастическим[116] ввиду наличия тесных дружеских связей между ними. Дабы не выдавать такого

---

[114] Однако некоторые из них утверждали, будто, расходясь от нас с Ирой, наткнулись на лестнице на подозрительных личностей, вроде бы следивших за ними, разыгрывая пьяных и т.п. Не знаю. Но если следили, то почему у них не устроили обысков при моем аресте? По данным внешнего наблюдения, с Кудровой я встречался, наверное, не реже, чем с Зубер. И у Зубер обыск был сразу...

[115] То, что это была не моя фотокопия, следует хотя бы из того, что на предъявлявшихся Шейнису страницах не было дефектов фотографирования, которые были у меня на всех страницах по техническим причинам.

[116] Это место изложено по-разному в оригинале моих мемуаров, написанном в 1968 году, и в публикации в "Памяти" в 1979-м. В последнем добавлена фраза: "Сейчас я не сомневаюсь, что таким агентом была ..." и дальше редакция объясняет, что убрала фамилию, ибо автор не привел бесспорных доказательств. Тем не менее, фамилия широко разошлась, подробнее всю историю с этим агентом я буду описывать в гл.6-7, повествуя предысторию моего калужского процесса.

агента, ГБ могло счесть неудобным хватать их и возбуждать против них дело. Но показания Вербловской могли вынудить следствие обратить внимание на них. В протоколы попали фамилии, и прокуратура могла бы в порядке надзора поинтересоваться, почему этих лиц не допросили. Гораздо реалистичнее предположение, что они сами - Гальперин, Кудрова, Лейтман, Миролюбов, Назимова, Шейнис - в течение апреля-мая проболтались случайно подвернувшемуся осведомителю о своих страхах в связи с арестом Пименова. Впрочем, тогда надо дополнительной случайностью объяснить вызов на допрос первым именно Миролюбова!

Непонятна история с телефоном. Вербловская звонила из АВТОМАТА около Витебского вокзала Кудровой, сообщая о моем аресте и о наличии у нее некоего поручения от меня и Кудровой (без конкретизации, какого именно), в связи с чем они условились встретиться там-то тогда-то (встреча не состоялась из-за ареста Вербловской). Это было 26 марта. В мае при допросах этот телефонный разговор буквально - с нечеловеческой точностью и подробностью - напоминался им обеим (правда, следствие путало их голоса, но Вербловская помогала им разбираться). Казалось бы, вывод ясен: за телефоном Кудровой следили уже 26 марта. Ведь если бы запись разговора делали филеры, наблюдавшие за Вербловской, то реплики Кудровой в телефонной трубке остались бы неслышными, либо настолько резко отличались бы по силе звука от реплик Вербловской, что путаницы не возникло бы. Но, вопреки слежке, следствие не припоминало при допросах ничего, что делалось знакомыми Кудровой - Шейниса ни в течение марта, ни в апреле, ни в первую половину мая. Хотя вроде бы там было, что могло заинтересовать следствие. И если бы за Кудровой следили, то было бы естественно начать допрос с нее.

Далее, следствие не захотело проводить обысков в этом круге лиц, хотя еще в середине июня Шейнис гонялся за одним неуничтоженным экземпляром своего документа о Венгрии, дабы ликвидировать его. Наконец, последние протоколы допросов этих лиц, оцениваемые самими следователями как лжеоткровенные, с бьющими в глаза неправдоподобными неубедительными версиями, - удовлетворили следствие вполне. Или следствие ставило целью только припугнуть этих людей, дабы впредь неповадно было, но не хотело тащить в протокол все факты, могшие оказаться неудобными следствию? Или было вполне удовлетворено моим делом, не желая раздувать его дальше?[117]

Ответов на эти вопросы у меня нет.

Как бы то ни было, Миролюбов с первого допроса признал факт знакомства со мной. Признал, что говорил со мной о политике. Начисто отрицал наличие какой бы то ни было организационной связи, всякие там листовки и т.п. По его показаниям, разговор носил вполне легальный характер, и я советовался с преподавателем марксизма о возникших у меня сомнениях в связи с разоблачением культа личности Сталина. Из Большого Дома Миролюбов вышел глубокой ночью. Назавтра утром он позвонил Назимовой: "Приходи в кино "Баррикада"! (рядом с Текстильным институтом, что в

[117] Помню фразу Правдина, уговаривавшего меня в конце июня дать показания о них: "Тем, что Вы отказываетесь говорить о них, Вы только раздуваете их значение и вредите им. Ведь ничего значительного там не было”.

Кирпичном переулке, где работала Алла). Там, в кафе, он рассказал ей о допросе.

В тот же день допрашивалась Вербловская о Таировой. Заславский дал показания, что доклад Хрущева составлял Орловский, и пояснил, что незадолго до ареста в его груди вызрело решение порвать всякий контакт с Пименовым. Еще дергали нашу общую с Эрнстом и Игорем московскую знакомую Ару Машьянову. Мне предъявили показания Вишнякова о листовках. Я подтвердил.

25 мая за Кудровой приехали. Она успела звякнуть Назимовой: "За мной приехали". Та, только что вернувшись от Миролюбова, ответила: "Знаю. Не за тобой одной". На этом разговор оборвался. На допросе Кудрова показала, что никакого Пименова, никакого Револьта, никакой Вербловской не знает. Предъявленных ей на фотокарточках лиц не опознала. Относительно тех фотографий, на которых была изображена совместно с Пименовым, выразилась столь несознательно, что капитан Правдин, рассказывавший мне это, не счел возможным заносить ее мнение в протокол. Тогда в кабинет, где находилась Кудрова, ввели Вербловскую и предложили ей стандартный при очных ставках вопрос: "Знакомы ли Вы с сидящей перед Вами гражданкой?" На ее утвердительный ответ Правдин объявил, что очная ставка заканчивается, и велел увести Вербловскую. Кудрова продолжала не узнавать. Вербловская позже говорила, что она приняла предлагаемый вопрос за простую формальность, думая, что главное начнется позже[118]. Вечером Правдин и Лякин призвали отца Ирмы - Виктора Павловича Кудрова, начальника Топливснаба г.Ленинграда. Он повозмущался дочкой, но когда узнал, что ее весь день продержали без обеда, возмущение его перешло на следователей. Дочку увез домой.

В воскресенье 26 мая Назимова послала в Москву Шейнису телеграмму:

"Все благополучно. Бываем у тети. Вспоминаем тебя. Срочно обязательно кончай делами", - во исполнение чего Виктор всю ночь ходил в общежитии (он поступал в аспирантуру) в уборную, где рвал и спускал в унитаз пять экземпляров документа о Венгрии (страниц по 30 каждый).

В понедельник 27 мая Назимова отказалась давать показания. Кудрова же вспомнила, что видела меня, но иначе как на литературные темы мы с ней не разговаривали. Еще раз допрашивался Дубрович. На этот раз его позвали узнать, что за конфликт вышел у него с Зубер, обвинившей его в "выдаче Пименова". И как он относится к затее Орловского писать полное собрание показаний по делу Пименова. Позвали и Виктора Желнова, который отмахнулся:

- Что вы от меня хотите? Я рабочий человек, много вас, прихлебателей! Вашего бы Пименова да вашего бы Ленина в один мешок да в одну Фонтанку!

---

[118] Как ОПОЗНАНИЕ такая процедура узнавания юридически незаконна. Опознание состоит в выборе между несколькими однородными объектами (лицами, вещами), без подсказки и в присутствии понятых. Однако следователи вечно нарушают эту ст.165 УПК. В 1970 году ее нарушил следователь Поруков, подстроив "опознание" меня Старцевым, как Кудровой - Вербловскую. В 1983-м ее нарушил майор Жерлицын, подстроив "опознание" Климовой некоторых книг и машинописей. Примерам нет числа.

На него посмотрели, подивились и отпустили, попросив все-таки подписать протокол без этого изречения. Много лет спустя его жене по другому поводу выдали: "Его надо либо лечить, либо судить". После этого врачи признали Желнова шизофреником.

В тот же день Заславский давал общие пояснения к объяснению своего характера. Щербаков в Москве высказал свои соображения о "свободном коммунизме", насчет которого он распространялся в новогоднем письме.

29 мая я впервые услышал из уст следователя фамилию Кудровой. Но так как я ни фамилии ее, ни имени, Ирма Викторовна, никогда не слыхивал, то, улыбаясь, ответил незнанием. Правдин поведал мне, что ее зовут также Ирой. Показал богатый набор фотографий. Но я был непреклонен:

- Вы забыли наши правила игры. Давайте протоколы ее допроса или очную ставку с ней.

Он криво улыбнулся и протоколов не дал. Зато выложил на стол футляр от авторучки с "буковками", изъятый ими при дополнительной выемке 24 мая по указанию Зубер. Я напомнил ему, что с 28 марта по 2 апреля квартира стояла распахнутой, а за это время - по моему наивному представлению - капитан Правдин мог внести туда предметы и поболе размером, нежели сей футляр. Он вспылил, пообещав мне показания Зубер, а пока вызвал конвойного и велел проводить меня в камеру. Заславский продолжал наррацию[119] об изменении в своих взглядах. Вербловская уточняла контакты с Кудровой. В связи с Вайлем допрашивали Рыкова, Саакова, мать Данилова.

30 мая, пока Заславский анализировал дебри своего дневника, Вербловская припомнила, что в субботу перед арестом я встречался у Адмиралтейства с Кудровой в связи с разговором об альманахе "Литературная Москва". Из-за Вайля дергали Жолудева. А меня повели на очную ставку с Дубровичем. Когда я увидел его возбужденную фигуру, осознал, что им движет единственное желание - лишь бы никто не подумал о нем низкого, - я постарался по возможности успокоить его, заверить, что ничего плохого он мне не сделал и не может сделать (правда, когда я пытался объяснить ему, что его показания далеко не являются центром дела вопреки тому, что ему внушала Зубер, следователи меня перебивали). Единственное, на чем я настаивал: на том, что я НЕ ВОВЛЕКАЛ его, а он сам лип ко мне, обманув насчет возраста, и на ГРАМОТНОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ моих политических взглядов и исторических высказываний. Поскольку все расхождения в моих и в его показаниях объяснялись исключительно его неумелостью выражать свои мысли и редактурой его писцов, то на очной ставке никаких разногласий между нами не осталось. Но... Но эта очная ставка проходила под стенограмму. Когда на следующий день меня вызвали подписывать машинопись стенограммы, я взвыл. То, что говорил я, было передано точно. Слова же Дубровича передавались с пятого на десятое, однако с тенденцией приблизить их к прежним показаниям его и Гнучевой. Подпись Дубровича уже стояла. Совершенно определенно я выразил нежелание подписывать то, что я назвал фальсифицированной стенограммой. Призвали Дубровича. Он - в полной уверенности, что так и нужно - разъяснил, что подписал не

[119] Рассказывать, *лат*. (изд.).

читая. Прочитавши же при мне, выразил согласие со всеми моими исправлениями. Призвали стенографистку, и она нашла в оригинальном - закорючками - тексте все пропущенные слова, но с той же непосредственностью пояснила, что считала их не имеющими значения, а поэтому не перенесла в машинописный текст. Поскандалив, я подписал исправленный текст.

31 мая я объяснил следователю, что пока не получу протоколов допросов Кудровой, ничего говорить о ней не буду. Отец мой в этот день показал, что после моего ареста он сжег у себя что-то из моих бумаг.

1 июня Вербловская признала, что знала про вымышленные имена. Кривошеин в Курске допрашивал знакомого Вайля - Ровкина, ныне крупнейшего курского художника.

3 июня Вербловскую расспрашивали о Дубровиче. Заславский говорил о каком-то футляре. Вызвали Эльяшеву, Райскина. В Ташкенте местное ГБ допрашивало приехавшего в командировку Гальперина, который твердил, что никакого Пименова не знает.

4 июня мне дали-таки обещанные показания Зубер. Я их подтвердил, включая "буковки" (не могу понять, почему я не упорствовал, добиваясь очной ставки?), но, в порядке следственного эксперимента, некоторые детали изложил не так, как она, а отклонившись от истины. Через несколько дней мне принесли показания Зубер, в которых она вслед за мной отклонялась от истины. Я обратил внимание принесшего протоколы Меньшакова на подгонку, он рассмеялся. Как я позже узнал, ей сообщили, что я даю показания (именно ДАЮ, а не ПОДТВЕРЖДАЮ ЧУЖИЕ), иногда предъявляли некоторые страницы их (каждая страница подписывается допрашиваемым), но не те, где стояли слова: "Ознакомившись с показаниями такого-то, их подтверждаю." Таким образом, читая мои показания, она фактически читала свои собственные, но не знала этого и не знала даже, что они даны позже ее. Заславский в этот день рассказывал о Машьяновой и о Вольно-Российском Университете (то же - Общество Сумасшедших на Свободе).

5 июня Заславский продолжал рассказывать о себе, а мне предъявили оптом полдюжины протоколов второстепенных свидетелей - со всем ли я согласен?

6 июня Заславский снова говорил о себе и о своих планах вооруженной борьбы. Вербловская рассказывала о Зубер. Вызывалась какая-то Милютина. Из Петропавловска-на-Камчатке прилетает Марина, бежит к Эрнсту, покупает ему ботинки, ибо его развалились, подметает у него не метенный с позапрошлого года пол и тут же получает повестку в Большой Дом. Допрос ее не прибавил ничего нового, хотя класс допроса был совсем иной, чем на Камчатке. Вообще - и это я слышал от многих - следователи обычно старательно относятся к делу, возникшему в ИХ СОБСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ. Но когда речь идет о допросах лиц, привлекаемых по требованию органов из другой области, - следствие идет шаляй-валяй, лишь бы отвязаться и отрапортовать об исполнении.

7 июня Вайль рассказал про "Сборник задач", по которому он готовился к аресту. Обо мне расспрашивался мой знакомый, помогавший осваивать норвежский язык - Валерий Павлович Берков, - в связи с тем, что в середине января я был у него дома.

8-го Вербловскую уличали показаниями Кудрявцева относительно стихов Гидони. Она упиралась.

10-го же она поддалась. Тем же днем датировано неоднократно упомянутое заявление Вишнякова об Орловском. Допросили общую знакомую Вербловской и Гидони - Креневу - и парнишку Ермолаева, с которым я познакомился в инкриминируемый период, очень революционно настроенного юношу из крайне высокопоставленной семьи.

11 июня допрашивали Зубер и Корбута, а также моих знакомых: Иру Тимошенко и жену Волкова Зину.

12 июня меня - о Заславском, предъявляя показания Зубер. Еще - Вишнякова, Орловского и вторично Волкова, учуяв его помощь в фотографировании мне.

14-го Заславский рассказывал о шифре. Кудрова продолжала отчаянно удерживаться на литературных позициях.

15 июня я подписывал акт об уничтожении ряда моих бумажек, которые по предложению следствия счел возможным не возвращать домой и которые следствие не прилагало к делу. Другой список включал в себя некриминальные бумаги, которые я просил вернуть моей матери. Как выяснилось, следствие мало посчиталось с моим заявлением и уничтожило много из того, что Правдин обещал вернуть.

Тем же мы с капитаном Правдиным были заняты 17 июня. В этот же день и в следующий меня уличали очными ставками с Вишняковым.

18 июня Вайль дал такие показания:

"После ареста Пименова нашей группой должен был бы руководить человек, который явился бы с паролем "Я от того, кто родился зимой", в условленное место".

Кроме того, он рассказал еще многое из наших с ним наедине разговоров: о замысле листовок для школьников, об улице Халтурина и др. С Борисом случилось то же, что с Ирой: в камере скучно. Хочется, чтобы вызвали, поговорили. А чтобы вызвали - надо заинтересовать следователя, рассказавши что-нибудь интересное. А скрывать - бессмысленно, потому что скрываемое ничего не добавит к уже известному[120]. В тот же день Зубер показала, что обо мне до ареста среди некоторых ее знакомых распространялись слухи такого рода: он, дескать, нигде не появляется без сорока человек вооруженной охраны. Допрашивали еще Адамацкого.

19 июня свели на очную ставку Вербловскую с Вайлем, желая установить, не была ли Кудрова тем лицом, которое, по словам Вайля, должно было явиться с паролем. Вербловская отрицала. В тот же день Вербловская рассказала, что знала о Шейнисе. Заславский припомнил, что в 1954 году он, я и Рохлин в дни съезда писателей посылали ругательное письмо в "Литературную газету" (см.гл.4).

[120] Первое - минутные эмоции, а второе - ошибка. Вербловская сумела таким образом добавить себе много к приговору. Вайль показанием о пароле ничего себе не добавил, но в итоге Вербловской добавилась "попытка связаться с группой Кудровой", возрос вес этой группы, и в результате у Шейниса были вычеркнуты годы (1958-1964) из научной деятельности. См. также §3,4 гл.5.

Вайль давал какие-то показания, про которые у меня осталась невнятная запись "итальянские комментарии".

20 июня все в тех же целях меня свели на очную ставку с Вайлем. Я удивлялся, что он пустился рассказывать вещи, свидетелей которым нет. Выглядел он очень изможденным. В связи с моей фразой капитану Правдину, что я могу тянуть следствие все 10 лет, которые они мне и так дадут, что мне тут чудесно (помню мое любимое тогдашнее изречение: "Наконец-то в жизни я получил отдельную квартиру"), Борис виновато произнес:

- Но не забывай, что есть и другие, которые хотят поскорее отсюда в лагерь.

На этой очной ставке я столкнулся с тремя проблемами.

Первое. Я принял тактику подтверждать показания Вайля независимо от того, правда там или нет. Но вот он произносит слова о пароле. Коли я подтвержу - это может обернуться юридическим свидетельством против лиц, которые будут кем-либо названы в качестве носителей второй половины пароля. Но если я не подтвержу, то, имея в виду, что тактика моя известна следствию, ГБ сразу поймет, что тут скрывается нечто важное. Настолько важное, что я даже меняю тактику. Это будет не юридическое свидетельство, но зато подстегнет их рвение. Не помню, с какой формулировкой я отверг показания Вайля. Кажется, я выразился примерно так:

- Вы подержите Вайля еще полгодика в тюрьме, так он вам какие угодно показания на кого хошь даст. Разве вы не видите сами, что это сговор?

Второе. Среди подследственных усердно распространяется миф, будто лагерь - земля обетованная. Все надзиратели проинструктированы обнадеживать заключенных: "Ну, ничего, скоро кончится, попадешь в лагерь". Делается это ради ускорения следствия. По мне, так лагерь в сотни раз хуже тюрьмы, особенно следственной тюрьмы.

Третье. Вайль заявил мне претензию на затягивание следствия. Ту же претензию нелегальным путем передал мне примерно в эти дни Данилов. Ира неоднократно сообщала мне записками, что ей тут невыносимо, но она в явной форме не требовала от меня закругляться. Спрашивается - обязан ли был я послушаться их настойчивых требований и расколоться, убыстрив следствие? Я решил, что нет.

К этим дням относится заявление Вайля:

"Как выяснилось, часть сведений, помещенных Пименовым в "Информации", оказалась ложной. В связи с этим считаю нужным заявить органам следствия, что эту, оказавшуюся ложной, информацию поставлял Пименову я. Я заимствовал ее из радиопередач "Голоса Америки" и скрыл это от Пименова, который категорически запретил мне пользоваться этими радиопередачами в качестве источника. Поэтому прошу не инкриминировать ложной информации Пименову, так как в ней повинен я. Кроме того, заявляю, что начиная с сегодняшнего дня я перестаю верить радиопередачам "Голоса Америки". Б.Вайль".

К этим же дням относятся стихи Иры:

Мне, пожалуй, уже ничего и не надо,
Лишь хороших стихов да плохих папирос.
В душе не шевелится даже досада -
Все застыло, как в лютый мороз.
И нечего ждать мне от жизни уже,
И как, и куда, и зачем мне идти?
Пустота в голове, пустота на душе,
Пустота позади, пустота впереди.

Повторяю, настроение - недолговременный фактор. Примерно полгода спустя та же Ира в тех же стенах в ожидании ужесточения приговора писала:

Нет, только так, не иначе!
Снова и снова лишь так!
Путь неразумьем означен
Этот решающий шаг. -
Я не могла бы иначе,
Я б не хотела иначе!
Так! Только так!

В тот же день из Вербловской выжимали крохи, которые она подслушивала о листовках.

21 июня снова допросили Креневу. Еще - Цинцадзе.

Наступило вроде некоторое затишье. Может быть, гебисты совещались по поводу знакомых Кудровой и работали неследственными методами. А возможно, они выжидали, чем кончится пленум, где Молотов и Хрущев свергнули друг друга.

25 июня допросили одного только Фельдмана, причем старательно не занесли в протокол ничего, связанного с моим заявлением об уходе из комсомола.

С 26 по 29 июня меня каждодневно вызывал капитан Меньшаков, клал передо мной показания Заславского и под мою диктовку - после известных инцидентов следователи писали не иначе как под мою диктовку - записывал мое подтверждение Игоревых показаний. Я продиктовал, что мне ничего не известно о его намерениях вести вооруженную борьбу. 26-го же Вербловская дала показания, будто по моему заданию намеревалась свести после моего ареста Вайля с Кудровой. Кроме того, указала на "них" как на авторов текста "Правда о Венгрии". В тот же день ее свели на ставку с Кудровой. Та не признала себя ни автором "Правды о Венгрии", ни будущим руководителем Вайлевской организации. Но созналась, что имела со мной контакты, выходящие за рамки литературных бесед.

1 июля в последний раз допросили Зубер. В Риге, в гостинице, Кривошеин разыскивает Гальперина и уводит в Рижское ГБ. Ирма, не дождавшись его на пляже в Кемери, ищет его и ходит вокруг здания ГБ. Гальперин несет нечто невнятное, все еще пытаясь отрицать очевидное. Его оставляют на ночь у себя (не уточнил - с процедурой обыска и в камере?), допрашивают наутро, а потом велят ехать в Ленинград для дальнейших допросов. Так как он пожелал заехать в Кемери к Ирме, то ехать ему пришлось не на билет, купленный Кривошеиным, а за свой счет.

Итак, 2 июля продолжали выжимать Гальперина, без видимого успеха. Меня допрашивали по дневникам, предъявляли акт химической экспертизы по поводу найденной у меня дома сулемы. Я доказывал, что сулема используется как реактив в фотографии, и потребовал направить запрос экспертам. Эксперты подтвердили, и хранение яда мне не пришили. Вербловскую допрашивали о ее знакомом Сергее Бернадском, который весной 1956 года прошумел в дискуссионном клубе при ЛГУ.

3 июля опять перебирали мои бумажки, ненужные для дела. В ответ на заявление, направленное еще 11 апреля друзьями Заславского Шапиро, Игорем Даугавет и Соломяком, примерно такого содержания:

"Мы ручаемся за политический облик Заславского, которого мы давно и хорошо знаем как примерного комсомольца и выдающегося математика. Если были какие-то мотивы его ареста, то исключительно из-за зловредного влияния антисоветчика Пименова, по которому давно Колыма плачет. Освободите Заславского, переложив его срок на Пименова!"

(не буквальный текст!) -

авторы заявления были вызваны. Им предъявлялись собственноручные дневники, записи и показания Заславского:

- Вам знаком его почерк?

Каждый из них уходя расписался, что теперь полностью убежден в справедливости ареста Заславского.

Еще 1 или 2 июля Ирма из Риги позвонила Назимовой, дабы сообщить о допросе Бориса Гальперина: "Море спокойно". С трудом разобрав при плохой слышимости эту фразу, Алла стала ломать голову, забыв кодово-обусловленные значения, что бы это значило? Но вскоре приехал и сам Борис, привезя с собой в кармане пиджака письмо от Ирмы (она вручила его в вагоне), в котором та намечала три оборонительных линии на следствии, до которых, по ее мнению, следовало отступать последовательно, по мере прорыва каждой из предыдущих линий. Письмо это Борис, Алла и накануне приехавший из Москвы Виктор обсудили - о, шпионские романы! - в ванной, где и уничтожили.

Допрос Гальперина в тот же день - 4 июля - начался фразой Кривошеина: "Ну, так что это за письмо привезли Вы от Кудровой Шейнису и Назимовой в правом кармане пиджака?" Мне, потешаясь, капитан Правдин рассказывал о "сговоре" "ваших приятелей", об их трех линиях. Но, невзирая на отличную осведомленность следствия[121], Гальперин продолжал запираться, и его уличали показаниями Шейниса, которого допрашивал Правдин в соседнем кабинете. Шейнис же примчался потому, что Алле неожиданно отменили (не беря с нее никакой подписки о невыезде, капитан Правдин "посоветовал" ей никуда не отлучаться из Ленинграда) отпуск, и пропали их билеты на Кавказ. Шейнис приехал выяснять, что же делать. Когда старший лейтенант Кривошеин позвонил в

[121] Однако текста письма следователь Гальперину не цитировал. А знал ли? Ведь я, не знакомый с текстом, не сумею судить, насколько был осведомлен капитан Правдин, хваставшийся своей осведомленностью или игравший в другую дезинформирующую игру со мною.

квартиру, где проживала Назимова, дабы увезти ее на допрос, дверь открыл Шейнис. Узнав, кто перед ним, Кривошеин обрадовался: "Вы-то нам и нужны!"[122] Вдвоем они поехали в автомобиле к Текстильному институту прихватить Назимову. Дорогой Шейнис мучался: у него в бумажнике была записка, попадать которой в руки следствию было вовсе ни к чему. Улучив минутку, он вынул ее из бумажника и вложил в томик Ромена Роллана, который прихватил, выходя из дому (я-то прихватил не книжку, а теплое белье). Уничтожить же не успел - Виктор некурящий. На допросе Виктор долго - по его воспоминаниям, часов пять-шесть - запирался. Кривошеин, наведываясь к Правдину, возмущался: "Ну как Вы можете белое называть черным? Что бы Вы сказали о человеке, который вот эту книгу, - Кривошеин подымал со столика Роллана, и сердце шейнисово замирало, - называл бы сочинением Бальзака?!" Это не действовало. Воспользовавшись некоторой паузой в допросе, Виктор, когда остался один, придумал тактику поведения: не заботиться о Пименове, которому все равно не помочь, но постараться выгородить Назимову, Кудрову и других, приняв максимально возможное на себя, Шейниса. По мере сил вывести из-под удара Вербловскую, показания которой ему предъявили. И он стал признавать, отрицая только термин "организация" применительно к ним. Назимова продолжала все отрицать, допрашиваемая Меньшаковым (кстати, она, проголодавшись, потребовала от него обеда, который и был ей за ее счет доставлен из столовой Большого Дома). Еще в этот день допрашивали Заславского о его сказочке "Караси" - недурное подражание Щедрину на советской бытовой основе.

На следующий день Назимова призналась и покаялась. Гальперин признался и, признаваясь, выдал неназванную до того Киру Лейтман. Рогов внушительно выговорил Шейнису:

- Вчера Вы вступили на правильный путь, но Вы еще недалеко прошли по нему. Конечно, Вы совершили преступление совместно с Пименовым. Но не всякое преступление карается. Вы должны проявить абсолютную искренность, чтобы мы имели возможность не возбуждать против Вас уголовного дела.

Шейнис пустился в детальное сопоставление предъявленной ему "Правды о Венгрии" с тем текстом без заглавия, который написал он сам (к этому моменту, как он знал, уже все экземпляры были уничтожены), отмечая по памяти все те места, где я усилил текст (по-моему, он не допустил при этом отклонений от истины ни в ту, ни в другую сторону). Это не устроило капитана Правдина. Он порвал пропуск Шейниса на выход из Большого Дома и достал из стола заготовленное накануне постановление о задержании Шейниса В.Л. Его препроводили в камеру внутренней тюрьмы после обычной процедуры.

---

[122] Общий с Юрой Волковым мой приятель Икс (Коля Мамонтов), узнав про мой арест, обеспокоился, что был слишком близок ко мне и что его могут потянуть. Во избежание он немедленно бросил работу и уехал из дому, никому не сообщив своего адреса. Выждал, пока не состоялся суд, потом вернулся. Его не тронули (позже он навлек на себя гонения, но к этому делу они касательства не имели). Интересно, кабы Шейнис не наткнулся на Кривошеина - потащили бы его в ГБ или нет? Кабы мой отец не полез к ним - дернули бы его или нет?

Наутро 6 июля Шейниса допрашивали о сговоре 4 июля на предмет показаний. Допрашивали, что это за "программа" имелась им в виду в разговоре с Пименовым? Откуда ему стало известно о якобы производимых негласных обысках? Он чистосердечно повинился в первом. Не менее чистосердечно объяснил, что насчет "программы" Вербловская напутала. Дело в том, что они - друзья Шейниса - примерно год назад затеяли изучать историю партии. Говоря о "программе", он имел в виду только сию учебную программу и ничего более. И уж совсем чистосердечно изложил он обстоятельства, как, сидя в избирательном участке агитатором, стал вслушиваться в беседу двух работников райкома КПСС, потому что до него донеслись слова "площадь Искусств", что в январе 1957 года привлекало внимание. Из разговора он и узнал о происходящих негласных обысках. К сожалению, беседовавших райкомовцев он видел первый раз в жизни, фамилий не знает, никаких имен в разговоре они не упоминали, а у него, Шейниса, омерзительная зрительная память. Собственно, он даже не уверен, что это были работники райкома, хотя так ему показалось. Дав эти показания, он изъявил желание написать собственноручные показания, в ответ на что старший лейтенант Кривошеин распорядился доставить Шейнису два стакана чаю покрепче, погорячее и послаще. И к чаю булочку. Собственноручно Виктор трогательно описывал свою эволюцию и лил слезы, каясь, что проявил преступную неосмотрительность, связавшись с антимарксистом Пименовым. Надо было бы быть закоренелым злодеем, чтобы не пожалеть Шейниса, читая собственноручность. Следователи не были столь бесчувственны, и Шейнис оказался на воле. В тот же день допросили Киру Лейтман, которая держалась, как и прочие в то время.

В воскресенье 7 июля Кудрову на Варшавском вокзале встретили ее отец и трое гебистов[123]. Первым встретил отец, потом их заметили гебисты, и ее увезли в Большой Дом. И Ирма все воскресенье не отдыхала. Она безвылазно сидела в УКГБ ЛО и писала собственноручные показания приблизительно того же вида, что Шейнис, но только чуть умереннее по стилистике. Воскресенья ей не хватило, закончила она в понедельник (ночевать ее отпустили домой).

В понедельник же Заславского допрашивали о нашей общей с ним знакомой Виктории Любицкой. Меня ознакомили с актом идеологической экспертизы, подписанным, увы, позабытыми мною - двумя докторами и одним кандидатом исторических и философских наук. На их экспертизу были направлены мои пьесы, проза "Фридрих Ницше" и рукопись "Что такое социализм". Эти проститутки от науки вынесли вердикт:

"Указанные произведения свидетельствуют о лютой ненависти Пименова к партии и правительству и показывают, что он готов вести с ними борьбу любыми средствами вплоть до террора”.

Еще они писали, что я клевещу на В.И.Ленина, искажая его высказывания насчет мировой революции.

---

[123] Кое-кто говорит, что встречал ее не отец, а муж. Это - мера приблизительности моего повествования.

Мня всегда поражала недобросовестность лиц с гуманитарными степенями, их готовность научно обосновать превращение белого в черного и наоборот, вплоть до бесцветного, если им кажется, что начальство того желает[124]. Тут был даже случай, когда они проявили усердие не по разуму. Капитан Правдин был огорошен сим актом не менее моего. Тут же под мою диктовку он написал "Возражение на акт экспертизы", в котором я ставил высокопродажным экспертам вопросы: "Какие именно места из означенных рукописей и машинописей подтверждают их заключение о ненависти и борьбе вплоть до террора? По моему требованию капитан Правдин принес собрание сочинений Ленина и заверил своей подписью буквальное совпадение всех до единой моих цитат с типографским текстом (слава Богу, я помнил, в каких томах искать. А что делать тому, кто не обладает столь исключительной памятью?). Через несколько дней представители самой передовой исторической и философской науки ответили, что:

"Хотя прямых высказываний против партии и правительства в означенных произведениях, равно как и прямых призывов к террору, нет, заключение экспертизы верно, о чем свидетельствует сам выбор автором тем для своих пьес: сплошь о террористах. Что касается цитат, то верно, что у В.И.Ленина они имеются, но заключение экспертизы остается в силе, ибо анализ расположения цитат с несомненностью свидетельствует, что автор почерпнул их не из собрания сочинений В.И.Ленина, а из писаний врагов народа".

Правдин расхохотался. Этот акт экспертизы не получил дальнейшего хода. В обвинительном заключении на него не ссылаются. Пьесы были даже мне возвращены. Но мне думается: вот часто говорят о том, что в беззакониях-репрессиях тридцатых-сороковых годов повинны исключительно гебисты тех лет. А сколько дел основывалось на актах, доносах и критических статьях таких вот "гуманитаров"? И если эксперт, специалист в идеологической науке, ручается, что такое-то произведение обвиняемого - акт вражеской диверсии, то можно ли винить гебиста, что на основе ЭТОЙ экспертизы он выносит обвинительное заключение? А суд - уничтожающий приговор? По-моему, не только нельзя, но даже более виновен тот, кто, предав высокое звание ученого, составил с опережающим пресмыкательством акт экспертизы...

9 июля меня свели на очную ставку с Миролюбовым. Он явно боялся, что я начну его уличать. На самом деле я, придерживаясь своей тактики, лишь подтверждал его показания и говорил вторым. Правда, мне пришлось нелегко. Верный своей установке изображать случившееся в мягких красках, Миролюбов очень ослабил все мои высказывания. До такой степени, что они шли в разрез с моей линией поведения на следствии. Именно это и послужило причиной ставки. Капитан Правдин посмеивался с подначкой: "Неужели Вы, Пименов, могли выражаться столь беззубо?" Я моментально нашелся: "Тогда мне надо было убедить Миролюбова, поэтому я говорил мягко и осторожно. Сейчас же мне ничего не осталось, кроме как

[124] Я никоим образом не хочу оскорбить КАЖДОГО гуманитара. Отдельные, единичные, личные исключения есть, и особенно они проявлялись в шестидесятые годы.

продемонстрировать непреклонность своих убеждений, поэтому я говорю резче, вызывающе". Подтвердил все до последнего высказывания, которые, по словам Миролюбова, ему принадлежали, но несколько перередактировал те фразы, которые, по его словам, принадлежали мне. Помню эпизод, насторожывший следователя. Миролюбов предварительно показал, что встречался со мной единственный раз (когда нас сфотографировали), на улице, желая скрыть факт своего присутствия при обсуждении одного из вариантов документа о Венгрии. И вот началась процедура опознания:

- Гражданин Миролюбов, знакомы ли Вы с сидящим напротив человеком?

- Да, знаком. Это Револьт.

- А Вы?

- Ну, раз он говорит, что знаком... Да, встречались...

- Сколько раз?

Сквозь деланное равнодушие я слышу встрепенувшийся охотничий азарт. На лице Миролюбова ужас.

- Как сколько? Один!

- А почему же Вы сказали во множественном числе "встречались"?!

- А как по-русски сказать в единственном?

И инцидент был заигран. Заславского в этот день знакомили с моими показаниями.

10 июля я читал ответ экспертов.

11 июля Заславскому предъявили обвинение в окончательной форме[125].

12 июля обвинение предъявили мне и Вайлю, 13-го - Вербловской.

13 и 15 июля - в субботу и понедельник - я писал свои собственноручные показания. Фактов я не касался, разве что общеизвестных, для иллюстрации. Я преследовал две цели: оставить потомству незамутненное редактурой следователей изложение своих идей и в последней попытаться убедить органы ГБ на примере моей эволюции, что всякий честный человек, не закрывающий глаза на действительное положение вещей, неминуемо придет на тот же путь, что и я, хотя я и сам не хотел становиться на этот путь. Не знаю, как отклик на эту мою мысль или уж это было запланировано ими заранее, но только 16 июля меня повели к начальнику УКГБ ЛО генерал-майору Миронову Николаю Романовичу. Впрочем, едва ли было запланировано. Ведь все мои показания помещены в I томе (листы дела 6-358), тогда как беседа с Мироновым вошла в т.V, с.1-15. Скорее всего, к генералу дергали в связи с изменившейся в стране политической ситуацией после "разоблачения антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова". Я про это "разоблачение" узнал только несколько дней спустя после сцены у Миронова.

Миронов еще как-то в мае или июне заходил ко мне в камеру в сопровождении начальника тюрьмы майора Луканкина. Он был в штатском, но по трепету, изображенному туловищем Луканкина, я уразумел его высокие чины. Миронов спросил, есть ли у меня

[125] По содержанию это та часть обвинительного заключения, которая касалась лично Заславского.

претензии. Я сказал - есть. Дело в том, что в апреле мне стали выдавать карандаш и бумагу (блокнот с нумерованными страницами) для занятия математикой: Заславскому давали даже чернила к блокноту. Но после того, как Ира сгорела с записками, которые она пытались передать мне, у всех у нас отобрали все пишущее. Я просил неизвестного дать мне возможность заниматься математикой. Лицо выдало резолюцию:

- Мы Вас арестовали не для того, чтобы Вы математикой занимались.

Я умолк. Тогда лицо вопросило, как я теперь отношусь к своему преступлению. Я ответил, что не привык, чтобы меня допрашивали в камере; на это есть следователи. Лицо, разъяренное, повернулось вон. Теперь это лицо я узрел в генерал-майорских погонах за огромным - не перегнешься - столом, наверное, четырехметровой ширины в кабинете метров в 200-250 по площади[126]. Капитан Правдин, съежив до предела свою крупную фигуру, робко ступал по полу в противоположном конце, держась впритык ко мне.

Миронов начал с того, что предложил мне объяснить мои мотивы:

- Вот видите, я даже допускаю мысль, что Вы могли быть правы. Я пытаюсь стать на Вашу точку зрения, что Вы вели не антисоветскую, а, как Вы выражаетесь, антиправительственную деятельность, - начал он. Но, видимо, я не сумел попасть ему в тон. К середине разговора я заметил, что позади, налево от меня у двери притулилась стенографистка. Стенографирование без предупреждения меня рассердило. Словом, когда я вымолвил:

- Среди членов правительства ведь тоже были люди, нанесшие урон СССР и совершившие преступления против народа (я имел в виду как бесспорное Берию и - возможно, спорное для Миронова - Сталина), - он вскричал:

- Явная антисоветчина! Уводите!

Назавтра капитан Правдин предложил мне подписать стенограмму допроса Мироновым. Я сделал ряд примечаний о некачественности стенограммы (было исключено практически все, сказанное самим Мироновым), но подписал. В тот же день аналогичным образом Миронов допрашивал Кудрову. Давая мне ее стенограмму, капитан Правдин высказывался, что ни на грош не верит показаниям Кудровой (но, конечно, по контрасту с ее покаянием, мое умеренное достоинство должно было казаться Миронову неслыханной дерзостью). Причитал, что узнали они об "этой группе" слишком поздно, когда было бессмысленно проводить обыски. Уверял, что все же Кудрову он посадил бы, будь у нее не такой высокопоставленный отец. Да и поздно сейчас по срокам уже - пора приканчивать дело.

16 и 17 июля заместитель Миронова полковник Лякин точно так же беседовал с Вербловской. Она рассказала так много, так - против своей воли - помогала следствию после попытки надуть с чемоданом, что, прояви она хоть минимум покаяния, пролей слезу в натуре или на бумаге, ее бы выпустили. Я имею в виду, что следствие переквалифицировало бы ей обвинение так, что суд вменил бы ей в

[126] Кажется, это кабинет № 510-509, на пятом этаже. Окна выходили на ул.Каляева, но в них видны были трамваи, ходившие по Литейному.

наказание фактически отбытое под арестом время. Но она, в силу своего характера, никогда не была способна попросить прощения. Держалась она, даже давая подробнейшие показания, с достоинством, что воспринималось - заносчиво и вызывающе[127]. Не признавала себя виновной ни в чем, придумывала "мотивировки" для объяснения признанных ею фактов одна другой несообразнее. Лякин два дня потратил, убеждая ее принести покаяние. Кончилось ничем. Не совсем ничем. Во-первых, заботясь обо мне, Ира выцыганила у Лякина разрешение мне получать карандаш и бумагу (ей это не разрешили). Во-вторых, Лякин обещал сохранить для нее ее комнату в Ленинграде, что и сдержал (то, что Враские захватили ее, не имеет отношения к юридическому сохранению комнаты за Вербловской).

В записях Орловского названы еще два свидетеля: Инна Евменова из Библиотечного института и Юра Андреев, знакомый Соскина. Возможно, я ошибся и утерял их фамилии, возможно Орловский ошибся - напутал. Но возможно и то, что их вызывали, но не оформляли как свидетелей. Такое было со многими, например, в деле Климовой.

[127] Например, когда капитан Меньшаков обратился к ней по имени, "Ира", она немедля стала называть его "Юра". Интересно, что Зубер с этим самым Меньшаковым сидела в обнимку на диване, они вдвоем пели Ива Монтана, и она чуть ли не ходила с ним в кино. Зубер долго еще была уверена, что Юра Меньшаков в нее влюбился, и ждала продолжения романа.

§17. Обвинительное заключение

Знакомство с материалами дела - закон и его реализация; встречи с Ирой Вербловской; текст обвинительного заключения; его анализ; адвокат И.И.Райхман

Началась процедура знакомства с делом по ст.206 УПК РСФСР[128]. Обвиняемый имеет право знакомиться с делом, выписывать из него то, что ему понадобится, по его мнению, для защиты на суде, вносить дополнительные ходатайства. Знакомство обвиняемого с делом должно быть полным, т.е. он имеет право знакомиться с любым документом, приобщенным к делу, независимо от того, имеет ли этот документ касательство к нему лично. Ведь в случае группового дела к каждому обвиняемому в некоторой степени относится все, что касается любого его подельника. Следствие в определенной мере нарушало УПК в этом пункте. Так, некоторые тома дела предлагались мне для чтения до того, как они были прошиты (а я, дурень, соглашался читать их в таком виде!), а потом в них вкладывались отдельные листы. В частности, это случилось с одним из актов об уничтожении ряда моих бумаг. И, по абсолютной случайности, потом мне попался этот же том, куда акт был вклеен. С Даниловым - по его юридической безграмотности и по полному подчинению воле следователей - поступали еще бесцеремонней. Ему просто ПОСОВЕТОВАЛИ не читать ничего, что касается Пименова, Вербловской и Заславского, ибо это его не затрагивает. Он так и поступил. Тот же совет давали Вайлю, но, кажется, он прочитал все, включая пьесу "Гапон".

- Зачем вы это читаете? Ведь мы Вам этого не инкриминируем, - вопросил старший лейтенант Кривошеин.

- Но прилагаете к делу, - ответил я.

Странное это было ощущение, читать собственные произведения, зная, что никогда больше их не увидишь. Часы расставания и прощания... Какие бы они ни были, мои творения, я их люблю за эти щемящие минуты.

В томе I показания мои и Вербловской: мои на л.6-358, ее на л.359-503. В т.II показания Заславского (л.3-189), Вайля (л.190-372) и Данилова (л.373-499). В томах III (л.1-386) и IV (л.1-290) находятся показания 98 свидетелей. В томе IV на л. 291-419 протоколы очных ставок. В т.V на с.1-20 идут беседы с генералом - моя и Кудровой, а далее - вещественные доказательства, акты психических, графических, машиноведческих, химических, идеологических экспертиз, запросы, заявления граждан и т.п. В основном они расположены хронологически: в т.V материалы 1949-1954 годов, в т.VI - послесловие к речи Хрущева, венгерские материалы и прочее. Саму речь Хрущева не приобщили! В т.VII бумаги Заславского. В т.VIII - Вайля и Данилова. Но это примерная опись. Подробная заняла бы много места.

Наконец-то следователи сумели найти дорогу к моему сердцу, дабы я ускорил чтение материалов. Они стали плакаться, что если к

[128] Ныне это ст.201 УПК. Теперь обвиняемый получил дополнительное право знакомиться с делом совместно со своим защитником, так что контакты с защитником сделались более по существу, конкретнее.

25 июля не будет подписан протокол об окончании следствия, то они не смогут уйти в отпуск, что истекает допустимый и уже продлявшийся срок предварительного следствия. Когда просят по-человечески, всегда неловко отказывать. Я пустился читать быстрее, менее вдумчиво. Поэтому сейчас путаюсь в иных деталях.

После подписания 206-й статьи нас стали числить не за УКГБ, а за прокуратурой.

Я забыл рассказать про мои встречи с Ирой на следствии. Получив от капитана Правдина поздравления 14 мая, Ира решила, что это добросердечный человек, которого можно упросить устроить ей встречу со мной. Она стала выпрашивать свидание. Правдин обещал - если она будет хорошо себя вести. Она старалась. И он сдержал обещание, проведя нам "очную ставку" 15 июля (после предъявления обвинения в окончательной форме, когда следствие уже закончилось). Правда, верный своей политике рассоривать обвиняемых между собой, со свидетелями и т.п., он в самую последнюю минуту, когда Ира была уже в его кабинете, и меня вели коридорами, напомнил ей эпизод, который, с его точки зрения, должен был всколыхнуть в ней ненависть ко мне. Еще в апреле-мае он с ухмылкой объяснял Ире, что Пименов ей изменял и не заслуживает ее любви. На протестующие слова Иры лицемерно засуетился: "А Вы разве не знали? Я думал, Вам это известно..." Так вот, 15 июля он обратился к Ире:

- Только Вы, пожалуйста, не напоминайте Револьту про то, что я Вам рассказал о его измене. Иначе - знаете, какой он кляузник - он будет скандалить и жалобы писать.

Вот как сумел напомнить (вдруг с апреля позабыла!) - так, что вроде бы и не напоминал специально...

Когда я вошел, я сразу поцеловал Иру, взял ее к себе на колени и собрался в таком виде проводить очную ставку. Я думал, что в ставке заинтересовано следствие, а тогда оно все стерпит. Но капитан Правдин запротестовал, и Ира, знавшая, что это была не ставка, а милость - свидание под формой ставки, - подчинилась ему. Мы мило проболтали часа два. Подписали какой-то пустой протокол. Обнялись и разошлись.

Второй раз мы виделись неожиданно вот как. Знакомясь с делом, я обнаружил, что там есть показание Иры, зачем мне нужна была сулема. Мне стало больно, что она дошла до того, что ТАКОЕ рассказывает. Захотелось ее повидать. Я накричал на следователя, что Ира никогда ему не говорила про сулему, что он подделал и т.п. Капитан Правдин дико обиделся, тут же побежал за Ирой, которая находилась в соседней камере, где под наблюдением старшего лейтенанта Кривошеина одновременно с Вайлем читала дело, и привел ее. Разумеется, мы тут же обнялись и миловались, не вспоминая ни про какую сулему, пока опомнившийся капитан Правдин не растянул нас силой.

Вообще-то мы в тюрьме переписывались. Поддерживать контакт с соседями можно разными способами[129]. Правда, все они

[129] Нужно только желание. Году в 1966-м, попав с Николаем Луневым на экскурсию в Петропавловскую крепость, я услышал, как казенная экскурсовод рассказывала про перестукивание, азбуку Бестужева, Морзе и т.п. Экскурсант спросил: "А когда же революционеры изучали эти азбуки?" Она выдала ответ: "Готовясь к аресту, они в своих кружках заранее учили азбуку перестукивания". Я расхохотался. Попробовал

описаны в мемуарах народовольцев, так что надзиратели их тоже знают. Но ведь не все блюдут за совесть. Кстати, меня поразило, когда я узнал, что сержант-надзиратель получал 1500 рублей (нынешних 150) и более; я до ареста как преподаватель в институте получал 1050; да и став кандидатом - 175. А в декабре 1967 года им повысили ставки на 33% плюс выслуга 5 руб. каждые два года.

Та же Ира при первом же допросе сперла у капитана Правдина несколько карандашей. Само собой, хранить карандаши целиком нелепо. Из них вынимаются грифели. Лучше всего прятать их, никак не пряча - на сером цементном полу, на самом видном месте. Ведь при шмонах кидаются искать по углам. Правда, есть риск, что грифель раздавят сапогами, но у меня это случилось один-единственный раз. Зато не нашли ни разу.

Кстати, забавная деталь. Как я упоминал, мне иногда разрешали пользоваться казенными карандашами. Я ни разу не воспользовался для незаконной записки законным карандашом. Для этой цели у меня всегда был свой собственный незаконно приобретенный карандаш. Мне казалось, что я не имею морального права злоупотреблять доверием. Откуда у меня такое представление о морали? См. "То, чего не было" Ропшина-Савинкова... У Шейниса было такое же, когда он подкарауливал капитана Правдина на улице вернуть деньги за выпитый чай...

Но вообще-то я мало общался в то время, да и позже, с другими арестантами. Практически я только откликался, когда меня разыскивали другие. Вот Ира - та развила такую бешеную активность, что сумела ночами приходить ко мне в камеру на койку, когда дежурил один определенный надзиратель. Но это позже. А жил я в основном внутренней жизнью и нисколько не сомневался, что завоевал себе право на бессмертие и благодарный народ со временем будет чтить меня в ряду других борцов за освобождение Родины... Бодрость и уверенность поддерживал я стихами Киплинга:

Спокоен будь среди толпы смятенной.
Тебя клянущей за смятенье всех.
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
А маловерным отпусти их грех.

Пусть час не пробил - жди, не уставая.
Пусть лгут лжецы - не снисходи до них.
Умей прощать - но не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Наполним смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег.
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь - человек, -

и Гумилева:

было объяснить, что ничего подобного, что в камеры они попадали ничего не ведая о перестукивании, и лишь дикая жажда общения научала их... Мне не поверили. А ведь я сам выучил морзянку через стенку от Голикова! Тут характерно еще это советское предположение о "запланированности".

В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Проплывает Петроград,
И горят на медном диске
Львы твои на обелиске
Словно солнца светлый брат.

Я не плачу, я спокоен:
Я - поэт, моряк и воин -
Не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным,
Знаю: сгустком крови черным
За свободу я плачу.

За стихи и за отвагу,
За сонеты и за шпагу,
И сегодня город мой,
В час вечерний, в час заката
Колесницею крылатой
Унесет меня домой...

Последним стихотворением я обязан Гнучевой. К столь возвышенным чувствам, которыми проникнуты обе поэмы, не идет перестукивание под пошлой угрозой ежеминутного вмешательства надзирателя.

К слову, насчет чувств раскаяния и прочего. В мае приезжал некий полковник из Москвы и в кабинете Правдина завел со мной речь о моих настроениях. Когда он произнес: "Выходит, Вы до сих пор не разоружились?" - я даже оторопел. А почему бы это, думал я, мне взбрело в голову разоружаться? Разве они исправили то, против чего я боролся? Ведь то, что я попал к ним в плен, - это чисто внешнее, десятистепенное обстоятельство, не имеющее никакого отношения к моему оружию: мысли.

10 августа в камеру принесли обвинительное заключение. С этого времени нас стали числить не за прокуратурой, а за судом. Поэтому разрешили свидания: с мамой, с Ирой. В получении обвинительного заключения взяли расписку.

"с.7
"Утверждаю"
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УКГБ при
СМ СССР по Ленинградской области
полковник
/ЛЯКИН/
27 июля 1957 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу № 10-1957 года

по обвинению: ПИМЕНОВА Р.И., ВАЙЛЯ Б.Б., ДАНИЛОВА К.Г., ЗАСЛАВСКОГО И.Д., ВЕРБЛОВСКОЙ И.С. в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР.

Управлением КГБ по Ленинградской области за антисоветскую деятельность в марте-апреле 1957 года были арестованы ПИМЕНОВ Револьт Иванович, ВАЙЛЬ Борис Борисович, ЗАСЛАВСКИЙ Игорь Дмитриевич и ВЕРБЛОВСКАЯ Ирэна Савельевна.

24 марта 1957 года Управлением КГБ по Московско-Курско-Донбасской железной дороге арестован ДАНИЛОВ Константин Григорьевич.

Перечисленные выше лица входили в число наиболее активных участников антисоветской организации, созданной по инициативе и под руководством ПИМЕНОВА с целью ведения борьбы против существующего в СССР политического строя.

Расследованием преступной деятельности каждого из обвиняемых установлено следующее:

Будучи антисоветски настроен, ПИМЕНОВ в период 1949-1954 годов в разговорах со знакомыми, в своих стихотворениях, статьях, дневниках, записях, письмах излагал свое враждебное отношение к КПСС, к социализму, к существующему в Советском Союзе политическому и государственному строю и высказывал намерение вести борьбу с ним.

(Т.I, л.д.302-307, 325, 329, 347-358; т.IV, л.д.85, 109-110; т.V, л.д.179-252, 255, 256, 257, 258.)

В 1954 году ПИМЕНОВЫМ была написана статья "Судьбы русской революции", в которой содержалась клевета на Коммунистическую партию, на Советское государство и призывы к борьбе с существующим строем в СССР. Эта статья распространялась ПИМЕНОВЫМ до марта 1957 года среди знакомых и соучастников.

(Т.I, л.д.350; т.V, л.д.255.)

До дня ареста ПИМЕНОВ распространял среди своих единомышленников и знакомых написанную им в мае 1956 года статью "По поводу речи Н.С.Хрущева", в которой изложил свое враждебное отношение к Советскому государству, Коммунистической партии и руководителям КПСС и Советского правительства.

(Т.I, л.д.102, 112, 115, 204-206, 353-354, 429-432; т.III, л.д.56, 60-61, 133, 250, 253-254, 268; т.VI, л.д.26-30, 231-259.)

Осенью 1956 года написал и разослал ряд писем депутатам Верховного Совета СССР, в которых клеветал на внешнюю политику Советского государства в связи с событиями в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года.

(Т.I, л.д. 217, 323, 329; т.VI, л.д.163-178.)

В ноябре 1966 года ПИМЕНОВ написал тезисы "Венгерская революция", в которых с враждебных позиций отзывался о внешней политике СССР, клеветал на КПСС и Советское правительство и призывал к борьбе с ним.

(Т.VI, л.д.38-44.)

Наряду с изложенной преступной деятельностью ПИМЕНОВ предпринимал меры к созданию антисоветской нелегальной организации.

Так, летом 1955 года он дает задание своему единомышленнику ЗАСЛАВСКОМУ И.Л., выезжающему в г.Москву, встретиться там и договориться о совместной антисоветской работе с некой МАШЬЯНОВОЙ А.В.

(Т.I, л.д. 171, 235, 269-272, 329, 330, 358; т.II, л.д. 144-149; т.III, л.д.123-127.)

В ноябре 1956 года ПИМЕНОВ установил связь с КУДРОВОЙ И.В., ГАЛЬПЕРИНЫМ Б.И., ШЕЙНИСОМ В.Л., НАЗИМОВОЙ А.К. и ЛЕЙТМАН К.А., с которыми дважды в ноябре-декабре 1956 года устраивал совместные сборища, на которых обсуждались тезисы "Венгерская революция". В результате этих обсуждений ШЕЙНИС написал антисоветскую статью "Правда о Венгрии", один экземпляр которой получил ПИМЕНОВ. Последний переработал, размножил ее и дал для ознакомления КОРБУТ А.А., ЗУБЕР-ЯНИКУН Э.Е., КУЗНЕЦОВУ Ю.М. и другим.

(Т.I, л.д.323-324, 356; т.IV, л.д. 140-148, 246-276, 154-160, 203-223, 277-280.)

В период с ноября 1956 года по март 1957 года ПИМЕНОВ значительно активизировал свою деятельность по созданию широкой антисоветской нелегальной организации.

В квартире ВЕРБЛОВСКОЙ И.С., с которой ПИМЕНОВ состоял в незарегистрированном браке, в течение указанного времени им систематически устраивались сборища, на которых обсуждались вопросы организованной антисоветской деятельности, с антимарксистских и антисоветских позиций подвергались обсуждению некоторые вопросы революционной борьбы в царской России и социалистического строительства в СССР.

Эти обсуждения организовывались Пименовым в направлении обработки слушателей в антисоветском духе и привития им мысли о необходимости борьбы с существующим в Советском Союзе строем.

На этих сборищах в разное время присутствовали, кроме ПИМЕНОВА и ВЕРБЛОВСКОЙ, ЗУБЕР-ЯНИКУН Э.Ю., ОРЛОВСКИЙ Э.С., КОРБУТ А.А., ДУБРОВИЧ Н.А., ТАИРОВА М.К., ЗАСЛАВСКИЙ И.Д. и другие.

(Т.I, л.д.165-166, 187-195, 228-229, 230, 232, 356; т.4, л.д.125-139, 140-177, 178-181, 186-192, 285-298; т.4, л.д.301-304, 367-376.)

В результате этих обсуждений в феврале 1957 года ПИМЕНОВ пытался привлечь к организованной антисоветской деятельности участников сборищ в квартире ВЕРБЛОВСКОЙ - КОРБУТ и ЗУБЕР-ЯНИКУН. Последней ПИМЕНОВ предложил нарезать буквы из газет с целью использования их для изготовления антисоветских листовок, а также ей и КОРБУТУ предлагал принять участие в распространении листовок, в случае их изготовления.

(Т.I, л.д.171, 173, 235, 329-331, 358; т.VI, л.д.205.)

Тогда же ПИМЕНОВ предложил принять участие в антисоветской организации ЗАСЛАВСКОМУ, который дал согласие оказывать помощь ПИМЕНОВУ в его деятельности деньгами и поддерживать с ним связь. ПИМЕНОВ и ЗАСЛАВСКИЙ обсуждали программные вопросы совместной антисоветской деятельности.

(Т.I, л.д.277-278; т.II, л.д. 47-52, 68, 125, 129-132, 186-189, 141-141, 154-155.)

В целях расширения своей деятельности в декабре 1956 года ПИМЕНОВ познакомился с ВАЙЛЕМ Б.Б. и при его непосредственном участии создал нелегальную антисоветскую группу, в которую были вовлечены студенты Библиотечного института ВИШНЯКОВ В.И., АДАМАЦКИЙ И.А., БУБУЛИС А.К., КУДРЯВЦЕВ Э.П., КОКОРЕВ В.И., ГРЕКОВ Ю.Ф., и студент Метеорологического института.

В декабре 1956 года, в феврале 1957 года ПИМЕНОВ и ВАЙЛЬ организовали ряд нелегальных сборищ этой группы, на которых

ПИМЕНОВ выступал с различными антисоветскими измышлениями, а участники сборищ обсуждали вопросы изготовления и распространения листовок и нелегальной антисоветской деятельности и вопрос конспирации.

(Т.I, л.д.123-125, 160-163, 229-234, 357; т.II, л.д.217-224, 227-229, 236-240, 248-270, 311-317, 342-344, 351-352, 366-372; т.III, л.д.9-30, 32-41, 225-210, 375-384, 278-334; т.IV, л.д.37-45, 46-54, 291-292, 294-328, 378-393, 378-384.)

ПИМЕНОВ и другие участники этой группы собирали и распространяли различного рода "информацию", которая носила тенденциозный, а отчасти клеветнический характер. В качестве источников этой "информации", как видно из материалов дела, использовались разные провокационные слухи, передачи радиостанций "Голоса Америки" и "Би-би-си", а иногда и собственные измышления. (Т.I, л.д.438; т.II, л.д.273-278, 276-277, 281, 305-316, 342-343, 361-3626 464-466, 490, 496-499; т.III, л.д.26, 283-284; тт.VI, VII, VIII).

В январе 1957 года ПИМЕНОВ написал тезисы программы и передал их ВАЙЛЮ для ознакомления с ними лиц, которых ВАЙЛЬ намеревался привлечь к антисоветской деятельности.

(Т.II, л.д.238-239; т.III, л.д.29-30; т.IV, л.д. 308-310.)

В феврале 1957 года ПИМЕНОВ изготовил листовку, сфотографировал ее и передал негатив ВИШНЯКОВУ, поручив ее отпечатать и в дальнейшем распространять накануне выборов в местные Советы 3 марта 1957 года.

(Т.I, л.д. 123, 167; т.III, л.д.35-39.)

Продолжая свою деятельность по привлечению других лиц к антисоветской деятельности и созданию новых групп с целью их последующего объединения, ПИМЕНОВ в феврале 1957 года, познакомившись через ВАЙЛЯ с КУЗНЕЦОВЫМ Ю.М., пытался создать нелегальную группу в Ленинградском инженерно-строительном институте. Через КУЗНЕЦОВА ПИМЕНОВ распространял размноженную им статью "Правда о Венгрии".

(Т.I, л.д.158-159; т.II, л.д. 298-302; т.III л.д. 319-326, 332-334; т.IV, л.д.6-13.)

В марте 1957 года на случай своего ареста ПИМЕНОВ поручил ВЕРБЛОВСКОЙ познакомить ВАЙЛЯ с КУДРОВОЙ, рассчитывая, что последние продолжат начатую им антисоветскую деятельность. О возможности таких событий ПИМЕНОВ предупредил и КУДРОВУ, и ВАЙЛЯ.

(Т.I, л.д.480; т.II, л.д.352-353, 371; т.IV, л.д. 143, 146, 394-397.)

Незадолго до ареста в марте 1957 года ПИМЕНОВ написал статью "Что такое социализм", в которой путем тенденциозно подобранных фактов и событий, фальсификаций и враждебного использования их, пытался опорочить историю, деятельность КПСС и социалистическое строительство в СССР.

(Т.I, л.д.233; т.VI, л.д. 105-128.)

Антисоветские настроения у соучастника ПИМЕНОВА - ВАЙЛЯ Б.Б. возникли в 1955 году под влиянием передач радиостанций "Голос Америки", "Би-би-си", которые он слушал в Курске со своими знакомыми ДАНИЛОВЫМ и НЕВСТРУЕВЫМ. Тогда же ВАЙЛЬ, ДАНИЛОВ и НЕВСТРУЕВ составили антисоветские листовки с намерением размножить и распространить их среди населения г.Курска.

Однако по причине отказа НЕВСТРУЕВА от антисоветской деятельности и в связи с тем, что ДАНИЛОВ изготовил незначительное количество листовок, распространены они не были.

(Т.II, л.д.366, 495-496; т.IV, л.д.346-354.)

В дальнейшем на протяжении 1955 года ВАЙЛЬ и ДАНИЛОВ, имея намерение заняться массовым изготовлением и распространением антисоветских листовок, пытались изготовить гектограф, а ВАЙЛЬ для этой цели хотел приобрести пишущую машинку, о чем писал в Ленинград своему знакомому ЭДЕЛЬШТЕЙНУ Ю.М.

(Т.II. л.д.250, 319, 496, т.4, л.д.33.)

Как указывалось выше, ВАЙЛЬ после знакомства с ПИМЕНОВЫМ принимал активное участие в создании антисоветской нелегальной группы, в обсуждении вопросов практической антисоветской деятельности, в сборе и распространении клеветнической информации и антисоветской литературы, которой снабжал его ПИМЕНОВ.

(Т.2, л.д.248-256, 342-344, 366-372.)

Кроме того, ВАЙЛЬ предпринимал активные меры по расширению антисоветской организации и вовлечению в нее новых участников.

Так, в январе 1957 года, находясь в г.Курске, привлек к антисоветской деятельности ДАНИЛОВА Г.К., сообщил ему о наличии в Ленинграде нелегальной организации и поручил выявлять антисоветски настроенных лиц и заниматься сбором информации. На протяжении февраля-марта 1957 года ВАЙЛЬ в своих письмах инструктировал ДАНИЛОВА о путях и методах дальнейшей враждебной деятельности, пересылал ему "информацию", намеревался выслать листовки для распространения их в Курске.

(Т.2, л.д. 230-237, 272-274, 277-287, 450-451; т.7, л.д.72, 83, 86-87, 94, 95-116; т.9, л.д.10-11.)

Преследуя цели привлечения новых лиц к антисоветской деятельности, ВАЙЛЬ в январе 1957 года встречался в г.Курске и беседовал с РОНКИНЫМ И.Г., СИНИЦЫНЫМ Ю., РЫКОВЫМ В., а в феврале 1957 года с ведома ПИМЕНОВА выезжал в г.Новгород с намерением привлечь к антисоветской деятельности своего знакомого ЖОЛУДЕВА и поручить ему переконструировать приемник и передатчик для использования их в преступной работе.

(Т.2, л.д.233-234, 249, 282-284, 323, 356, 432; т.4, л.д. 85-97, 176-182, 191-194, 396-403.)

Для нужд организации ВАЙЛЬ собрал денежные средства. Так, от ДАНИЛОВА на эти цели получил 25 рублей и вместе со своими 75 рублями передал их в феврале 1957 года ПИМЕНОВУ.

(Т.2, л.д.322, 167.)

В связи с тем, что участники организации готовились распространять антисоветские листовки, ВАЙЛЬ в марте 1957 г. получил задание от ПИМЕНОВА ознакомиться с лестницами домов на ул.Халтурина поблизости от Дворцовой площади с целью изыскания удобного места для разбрасывания листовок во время демонстрации. Тогда же ПИМЕНОВ поручил ВАЙЛЮ составить текст листовки, обращенной к выпускникам средних школ с целью вызвать среди них недовольство мероприятиями Советского правительства.

(Т.2, л.д. 351-357, т.4, л.д. 398-403.)

ДАНИЛОВ К.Г., так же как и ВАЙЛЬ, на путь преступной деятельности встал в 1955 году, когда вместе с ВАЙЛЕМ и НЕВСТРУЕВЫМ составлял антисоветские листовки, слушал радиопередачи "Голоса Америки" и "Би-би-си" и делал записи этих радиопередач.

(Т.2, л.д.436-441, 451.)

В июле 1956 года ДАНИЛОВ направил ВАЙЛЮ в Ленинград письмо антисоветского содержания, в котором выражал намерения бороться против существующего в СССР строя.

(Т.2, л.д.276, 432, 491; т.8, л.д.12, 16.)

Приняв в январе 1957 года предложение ВАЙЛЯ об участии в антисоветской организации, ДАНИЛОВ в период января-марта 1957 года систематически занимался сбором различного рода провокационных слухов и в виде информации посылал в Ленинград, где они размножались и распространялись ПИМЕНОВЫМ, ВАЙЛЕМ и их сообщниками. В своих письмах к ВАЙЛЮ ДАНИЛОВ настойчиво просил выслать ему для распространения антисоветские листовки.

(Т.2, л.д.446-466; т.9, л.д.11-16.)

Антисоветские настроения ДАНИЛОВА нашли свое выражение также в различных записях, в форме отдельных заметок и стихотворений, изъятых у него при обыске.

(Т.2, л.д.467-478, 495-499; т.8, л.д.18-20.)

ЗАСЛАВСКИЙ И.Д., будучи враждебно настроен к существующему в СССР строю, о чем свидетельствуют его личные заметки и записи в дневнике, в 1954 году вступил в преступную связь с ПИМЕНОВЫМ Р.И., совместно с которым до марта 1957 года неоднократно обсуждал вопросы борьбы против Советского государства. (Т.1, л.д.261-262, 264-266; т.2, л.д.36-42, 47-62, 68, 129, 125, 130-132, 136-139, 141-144, 154, 155, 161-164, 183, 189; т.7, л.д.11-13, 30-31.)

В том же 1954 году ЗАСЛАВСКИЙ получил от ПИМЕНОВА для изучения контрреволюционную статью "Судьбы русской революции", после ознакомления с которой обсуждал ее содержание с ПИМЕНОВЫМ.

(Т.1, л.д. 262-263, 271-272, 275-276; т.2, л.д.132-134.)

Весной 1955 года совместно с ПИМЕНОВЫМ составил вопросник под названием "Анкета страны", в соответствии с которым должны были собираться различные клеветнические сведения об общественно-политической жизни нашего государства.

(Т.1, л.д.266-267; т.2, л.д.160, 182; т.6, л.д.219-223.)

В июле 1955 года ЗАСЛАВСКИЙ, выполняя задание ПИМЕНОВА, встретился в Москве с МАШЬЯНОВОЙ, от которой добился согласия на выполнение задания, полученного от ПИМЕНОВА по проведению враждебной деятельности в Москве.

(Т.1, л.д. 269-2716; т.2, л.д.64-67, 144-149; т.6, л.д.224-230.)

В 1956 году ЗАСЛАВСКИЙ получил от ПИМЕНОВА антисоветскую статью "Венгерская революция" (тезисы), в ответ на которую написал свою аналогичного содержания и передал ПИМЕНОВУ.

(Т.1, л.д.274, 276-277; т.2, л.д.34-35, 40, 54-55, 156-157, 182; т.7, л.д.5-10, 32-70.)

С ноября 1956 года по март 1957 года ЗАСЛАВСКИЙ неоднократно участвовал в сборищах, устраиваемых ПИМЕНОВЫМ, на которых по инициативе последнего с антимарксистских и

контрреволюционных позиций рассматривались история революционной борьбы в России и социалистического строительства в нашей стране, а также обсуждались вопросы борьбы с Советским государством.

(Т.1, л.д.165-166, 168-171, 188-193, 229-236, 461; т.2, л.д.69-87, 95-105, 111-128; т.3, л.д.98-100, 125-132, 144-177, 285-300, 313-315.)

На предложение войти в состав антисоветской организации, сделанное ему ПИМЕНОВЫМ, ЗАСЛАВСКИЙ дал согласие оказывать материальную помощь и поддерживать личный контакт с ПИМЕНОВЫМ политического характера.

(Т.1, л.д.174-175, 189-190, 278; т.2, л.д.69, 114, 121; т.3, л.д.155-159, 173-176.)

Кроме этого, ЗАСЛАВСКИМ в 1955-1956 гг. были написаны антисоветские статьи: "О строительстве коммунизма в нашей стране", "Коммунизм в России до и после второй мировой войны".

(Т.2, л.д.54, 55, 68, 69, 152, 179; т.7, л.д.3-4.)

ВЕРБЛОВСКАЯ И.С., находясь в незарегистрированном браке с ПИМЕНОВЫМ Р.И., с мая 1956 года и до дня ареста занималась совместно с ним антисоветской деятельностью.

В мае 1956 года, узнав, что в Карельской АССР у РОХЛИНА был изъят отпечатанный ею и ПИМЕНОВЫМ машинописный текст доклада "О культе личности и его последствия" и опасаясь обыска, оставшиеся экземпляры этого доклада вместе с антисоветской статьей ПИМЕНОВА "По поводу речи Н.С.Хрущева" отвезла на хранение к ЛЕВИНОЙ Д.И., причем один экземпляр доклада и статьи дала ЛЕВИНОЙ для ознакомления. После смерти ЛЕВИНОЙ в ноябре 1956 года этот экземпляр хранился у ее сына ГРУЗОВА Е.Н.

(Т.1, л.д.331-334, 345, 431-432, 493-495, 415-416, 489, 490; т.3, л.д.140-177, 178-192.)

Тогда же ВЕРБЛОВСКАЯ передала на хранение ЛЕВИНОЙ Л.И. чемодан с различными записями ПИМЕНОВА, среди которых находились и документы антисоветского содержания.

(Т.1, л.д.418-419, 489-490; т.3, л.д.248-255, 197-205.)

В ноябре 1956 года ВЕРБЛОВСКАЯ в своей квартире участвовала в обсуждении тезисов ПИМЕНОВА "Венгерская революция", в которых излагалась клевета на внешнюю политику КПСС и Советского правительства в связи с событиями в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, содержались призывы к борьбе с Советским правительством.

В начале декабря вместе с ПИМЕНОВЫМ, КУДРОВОЙ, ГАЛЬПЕРИНЫМ, ШЕЙНИСОМ, НАЗИМОВОЙ, ЛЕЙТМАН участвовала в обсуждении антисоветской статьи, написанной ШЕЙНИСОМ по поводу событий в Венгрии и политики КПСС и советского правительства в этом вопросе. Во время обсуждения ВЕРБЛОВСКАЯ вносила предложения, имевшие целью усиление антисоветской направленности статьи.

(Т.1, л.д.433-435, 471-472, 490; т.4, л.д.140-148, 246-276, 154-160, 303-323,277-280.)

В январе 1957 года ВЕРБЛОВСКАЯ, опасаясь ареста и разоблачения ПИМЕНОВА, отнесла на хранение к своему отцу АРНОВИЧУ различные письма, рукописи и машинописные тексты, принадлежащие ПИМЕНОВУ, среди которых имелись материалы антисоветского содержания. После ареста ПИМЕНОВА эти документы

ВЕРБЛОВСКАЯ передала на хранение своей знакомой ШРИФТЕЙЛИК В.А. По той же причине ВЕРБЛОВСКАЯ передала на хранение своей знакомой ТИМОШЕНКО И. сверток с микрофильмами, принадлежащими ПИМЕНОВУ.

(Т.1, л.д.399-406, 482-484; т.3, л.д.200-205, 238-239.)

В январе-марте 1957 года ВЕРБЛОВСКАЯ участвовала в сборищах антисоветского характера, которые устраивал ПИМЕНОВ в ее квартире. На одном из сборищ в связи с передачей ОРЛОВСКИМ содержания статьи из иностранной прессы о руководителях КПСС и Советского правительства, прочла стихотворение, содержавшее враждебные выпады в их адрес.

(Т.1, л.д.466-467; т.3, л.д.136; т.4, л.д.235.)

В марте 1957 года ВЕРБЛОВСКАЯ получила задание ПИМЕНОВА на случай его ареста связать ВАЙЛЯ с КУДРОВОЙ, с которой, как было известно ВЕРБЛОВСКОЙ, ПИМЕНОВ имел обусловленные встречи и обменивался антисоветской литературой.

(Т.1, л.д.479, 480; т.4, л.д.394-397.)

На следующий день после ареста ПИМЕНОВА ВЕРБЛОВСКАЯ по телефону сообщила КУДРОВОЙ о том, что ПИМЕНОВ арестован и спросила, когда можно выполнить поручение ПИМЕНОВА. В тот же день пыталась встретиться с ВАЙЛЕМ, но это ей не удалось в связи с его арестом.

(Т.1, л.д.471-479; т.4, л.д.128-148.)

В предъявленном обвинении ПИМЕНОВ, ВАЙЛЬ, ДАНИЛОВ, ЗАСЛАВСКИЙ виновными себя признали полностью. (Т.1, л.д.325-334; т.2, л.д.185-187, 363-372, 492-499.)

ВЕРБЛОВСКАЯ признала себя виновной частично, заявив, что организационной связи с ПИМЕНОВЫМ не имела. (Т.1, л.д.487-493.)

ПИМЕНОВ, ВАЙЛЬ, ДАНИЛОВ, ЗАСЛАВСКИЙ, ВЕРБЛОВСКАЯ изобличаются изъятыми при их обыске вещественными доказательствами, актами экспертных комиссий (т.т.5, 6, 7, 8), показаниями свидетелей - ВИШНЯКОВА В.Н. (т.3, л.д.???), ОРЛОВСКОГО Э.С. (т.3, л.д.132-139), ЗУБЕР-ЯНИКУН Э.Е. (т.3, л.д.140-177), ДУБРОВИЧ Н.А. (т.3, л.д.178-192), ШРИФТЕЙЛИК В.А. (т.3, л.д.197-205), АДАМАЦКОГО И.В. (т.3, л.д.235-240), ГРУЗОВА В.Н. (т.3, л.д.246-256), БУБУЛИСА А.В. (т.3, л.д.275-284), КОРБУТА А.А. (т.3, л.д.285-304), КУДРЯВЦЕВА Э.П. (т.3, л.д.305-317), КУЗНЕЦОВА Ю.М. (т.3, л.д.318-326), АДЖЕН А.Н. (т.3, л.д.331-334), ТАИРОВОЙ М.К. (т.3, л.д.360-372), ГРЕКОВА Ю.Ф. (т.3, л.д.373-384), ПАЛАГИНА З.Г. (т.4, л.д.37-45), КОКОРЕВА В.Е. (т.4, л.д.46-54), РОХЛИНА Е.А. (т.4, л.д.108-112), МАШЬЯНОВОЙ А.В. (т.4, л.д.123-127), КУДРОВОЙ И.В. (т.4, л.д.128-148; т.5, л.д.16-20), НАЗИМОВОЙ А.К. (т.4, л.д.149-160), РАЙСКИНА И.Г. (т.4, л.д.197-200), ГАЛЬПЕРИНА Б.Я. (т.4, л.д.201-223), ШЕЙНИСА В.Л. (т.4, л.д.246-276), а также очными ставками между самими обвиняемыми и между обвиняемыми и свидетелями (т.4, л.д.291-335, 346-352, 363-367, 373-405, 414-419).

На основании изложенного обвиняются:

ПИМЕНОВ Револьт Иванович, 1931 года рождения, уроженец станицы Дундуковской, Майкопского района, Северо-Кавказского края, русский, гр-н СССР, беспартийный (в 1953 году исключен из ВЛКСМ), из служащих, с высшим образованием, не судим, ассистент кафедры высшей математики Ленинградского технологического

института пищевой промышленности, проживал в г.Ленинграде, ул.Теряева, дом 21/2, кв.56, -

в том, что -

имея антисоветские убеждения, с 1949 года до ареста проводил среди своего окружения антисоветскую агитацию, изготовлял и распространял антисоветскую литературу. С конца 1956 года вел работу по обработке в антисоветском духе молодежи, по созданию антисоветской организации для борьбы с существующим в СССР политическим строем. С участием ВАЙЛЯ создал антисоветскую группу в Ленинградском библиотечном институте, предпринимал попытки к созданию других групп и привлечению других лиц к антисоветской деятельности,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-10 ч.1, 58-11 УК РСФСР;

ВАЙЛЬ Борис Борисович, 1939 года рождения, уроженец г.Курска, русский, гр-н СССР, беспартийный, член ВЛКСМ с 1953 года, из служащих, со средним образованием, не судим, студент 1 курса Ленинградского библиотечного института, проживал в г.Ленинграде, ул.Халтурина, дом 3, комната 111, общежитие,

в том, что -

в 1956 году в силу своих антисоветских убеждений занимался изготовлением антисоветских листовок, в декабре 1956 года, познакомившись с ПИМЕНОВЫМ, по его предложению создал в Библиотечном институте антисоветскую группу, в январе 1957 года привлек к антисоветской деятельности ДАНИЛОВА К.Г. и предпринимал практические меры к расширению группы путем вовлечения в нее других лиц, хранил и распространял антисоветскую литературу,

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст.58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР;

ДАНИЛОВ Константин Григорьевич, 1936 года рождения, уроженец г.Курска, русский, гр-н СССР, беспартийный, член ВЛКСМ с 1951 года, работавший ст.агентом учетного бюро на ст.Курск, проживавший в г.Курске, ул.Володарского, д.32,

в том, что -

в 1955 году в силу своих антисоветских убеждений занимался изготовлением антисоветских листовок, в июле 1956 года написал ВАЙЛЮ в Ленинград письмо, в котором выражал намерение бороться против существующего в Советском Союзе строя, в январе 1957 года принял предложение ВАЙЛЯ стать участником антисоветской организации и впоследствии занимался сбором клеветнической информации, которую пересылал ВАЙЛЮ, хранил различные записи антисоветского содержания,

т.е. (и т.д.);

ЗАСЛАВСКИЙ Игорь Дмитриевич, 1932 года рождения, уроженец г.Ленинграда, еврей, гр-н СССР, беспартийный, член ВЛКСМ с высшим образованием, ранее не судим, работавший научным сотрудником в НИИТС, проживал в г.Ленинграде, ул.Восстания, д.20, кв.8,

в том, что -

являлся участником антисоветской организации, возглавляемой ПИМЕНОВЫМ, занимался изготовлением, хранением и распространением антисоветских статей, обсуждал с

единомышленниками вопросы борьбы против Советского государства, участвовал в антисоветских сборищах и выполнял поручения ПИМЕНОВА по антисоветской деятельности,

т.е. (и т.д.);

ВЕРБЛОВСКАЯ Ирэна Савельевна, 1932 года рождения, уроженка г.Ленинграда, русская, гр-ка СССР, беспартийная, член ВЛКСМ, из служащих, с высшим образованием, работавшая преподавателем истории в школе рабочей молодежи, проживавшая в г.Ленинграде, ул.Теряева, дом 21/12, кв.56,

в том, что -

с мая 1956 года до ареста совместно с ПИМЕНОВЫМ занималась антисоветской деятельностью, распространяла и хранила изготовленную ПИМЕНОВЫМ антисоветскую литературу, участвовала в сборищах антисоветского характера, оказывала помощь ПИМЕНОВУ в его организованной антисоветской деятельности, предпринимала меры к сокрытию антисоветской литературы, изготовленной ПИМЕНОВЫМ,

т.е. (и т.д.).

В соответствии со ст.206 УПК РСФСР следственное дело № 10 - 1957 года по обвинению ПИМЕНОВА Р.И., ВАЙЛЯ Б.Б., ДАНИЛОВА К.Г., ЗАСЛАВСКОГО И.Д., ВЕРБЛОВСКОЙ И.С., направить прокурору г.Ленинграда для передачи по подсудности.

Обвинительное заключение составлено в городе Ленинграде 27 июля 1957 года.

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ЛО
Ст.лейтенант /КРИВОШЕИН/
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ЛО
Майор /НЕКРАСОВ/
"СОГЛАСЕН"
НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА УКГБ ЛО
Подполковник /РОГОВ/
Круглая печать УКГБ ЛО.

СПИСОК
лиц, подлежащих вызову в суд

I. Обвиняемые:

1. ВАЙЛЬ Борис Борисович (т.II, л.д.190-372), содержится под стражей во внутренней тюрьме УКГБ Ленинградской области.

2. ДАНИЛОВ Константин Григорьевич (т.II, л.д.373-499), содержится под стражей во внутренней (и т.д.).

3. ЗАСЛАВСКИЙ Игорь Дмитриевич (т.II, л.д.2-189), содержится (и т.д.).

4. ВЕРБЛОВСКАЯ Ирэна Савельевна (т.1, л.д.359-503), содержится (и т.д.).

5. ПИМЕНОВ Револьт Иванович (т.1, л.д.6-358; т.5, л.д.1-15), содержится (и т.д.).

II. Свидетели:

1. ВИШНЯКОВ Владимир Иванович (т.3, л.д.9-41), проживает в г.Ленинграде, пр.Маклана, д.40, кв.34.

2. КОРБУТ Александр Антонович (т.3, л.д.165-304), проживает в г.Ленинграде, Чосковский пр., д.172, кв.66.

3. КУДРЯВЦЕВ Эдуард Петрович (т.3, л.д.306-317), проживает в г.Ленинграде, Крюков кан., д.7, кв.9.

4. ДУБРОВИЧ Никита Аркадьевич (т.3, л.д.173-192), проживает в г.Ленинграде, ул.Дзержинского, д.54, кв.36.

5. БАДАРИН Эрнест Григорьевич (т.3, л.д.37-45), проживает в г.Ленинграде, ул.Садовая, д.54, кв.4.

6. БУБУЛИС Альгинаатес Каплавич (т.3, л.д. 275-284), проживает в г.Каунасе, ул.Чербуто, д.4, кв.1.

7. ГРЕКОВ Юрий Федорович (т.3, л.д.375-384), проживает в Одесской обл., г.Болград, ул.Почтовая, д.23.

8. КУЗНЕЦОВ Юрий Михайлович (т.3, л.д.318-326), проживает в г.Ленинграде, В.О., 2 линия, д.13, кв.30.

9. АКМЕН Анатолий Иванович (т.3, л.д.331-334), проживает в г.Ленинграде, ул.Съезжинская, д.22, кв.7.

10. АДАМАЦКИЙ Игорь Алексеевич (т.3, л.д.226-240), проживает в г.Ленинграде, ул.Халтурина, д.3, кв.111.

11. ЗУБЕР-ЯНИКУН Эврика Ефроимовна (т.3, л.д.140-177), проживает в г.Ленинграде, ул.Пушкинская, д.14, кв.4.

12. ШРИФТЕЙЛИК Вилена Анатольевна (т.3, л.д.197-205), проживает в г.Ленинграде, ул.Р.Корсакова, д.49, кв.1.

13. ГРУЗОВ Евгений Николаевич (т.3, л.д.248-256), проживает в г.Ленинграде, ул.М.Садовая, д.3, кв.74.

14. РОХЛИН Ефим Александрович (т.4, л.д.108-112), проживает в Ленинградской обл., пос.Будогошь, Советская ул., д.75.

15. МАШЬЯНОВА Ариадна Всеволодовна (т.4, л.д.123-127), проживает в г.Москве, ул.Горького, д.52, кв.17.

16. РАЙСКИН Иосиф Генрихович (т.4, л.д.197-200), проживает в г.Ленинграде, Перекопская ул., д.1, кв.27.

17. ШЕЙНИС Виктор Леонидович (т.4, л.д.246-276), проживает в г.Москве, 1 Черемушкинская ул., д.3, кор.А, ком.71.

18. КУДРОВА Ирма Викторовна (т.4, л.д.128-148; т.5 л.д.16-20), проживает в г.Ленинграде, В.О., 12 линия, д.33, кв.8.

19. ГАЛЬПЕРИН Борис Яковлевич (т.4, л.д.201-223), проживает в г.Ленинграде, В.О., 12 линия, д.33, кв.8.

20. НАЗИМОВА Алла Константиновна (т.4, л.д.149-260), проживает в г.Ленинграде, ул.Восстания, д.2, кв.1.

СПРАВКА

1. ДАНИЛОВ К.Г. арестован 24 марта 1957 года, ПИМЕНОВ Р.И. арестован 25 марта 1957 года, ЗАСЛАВСКИЙ И.Л. арестован 26 марта 1957 года, ВЕРБЛОВСКАЯ И.С. арестована 2 апреля 1957 года, ВАЙЛЬ Б.Б. арестован 25 марта 1957 года.

2. Вещественные доказательства по делу - письма, дневники, статьи, информации, различные записи и т.д. приобщены к делу в тт. 5, 6, 7, 8.

3. Издержки по делу составляют три тысячи рублей (т.8, л.д.39-40, 58-59).

СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ЛО

Ст.лейтенант /КРИВОШЕИН/

Круглая печать № 3”.

Я перепечатал, сократив с оговоркой повторения, не исправлял опечаток, искаженных инициалов Кудрявцева и Назимовой, листов дела и многого другого. Но тогда мне бросились в глаза не эти опечатки.

Первое, что бросилось в глаза: они не вызвали свидетелем Эрнста! Я помнил, что протоколы допросов Орловского выделялись среди прочих протоколов. Он единственный, кто в процессе предварительного следствия четко и определенно заявлял до конца, что "антисоветских высказываний у Пименова не было", "были политические и исторические". Сейчас я понимаю, что такое различие протоколов объясняется в первую очередь не тем, будто прочие свидетели отреклись от меня и продали, а вниманием Эрнста и юридической редакции формулировок протокола. Многие другие свидетели хранили теплые чувства к тем, кого стремились спасти так или иначе. На суде это выяснилось с полной отчетливостью. Но они, подобно Вайлю или Дубровичу ПОДПИСЫВАЛИ ПРОТОКОЛ, НЕ ЧИТАЯ. А следователь их признания о высказываниях против тех или иных конкретных действий конкретных лиц из ЦК или правительства заносил в ответ на вопрос: "Какие антисоветские разговоры вел Пименов".

Как бы там ни было, в процессе следствия и чтения дела я воспринимал Эрнста Орловского как единственного друга, борющегося за нас там, на воле. Поэтому мне было легко объяснить, что следствие не пожелало вызвать "единственного свидетеля, защищавшего нас". Эрнст, всю жизнь жаждавший повидать, как вершится политическое правосудие, - лишится единственного случая! Не медля ни дня, я написал заявление в суд с ходатайством вызвать в качестве свидетеля защиты - против 19 свидетелей обвинения - Орловского Э.С., проживающего там-то.

Второе, на что я обратил внимание: у Иры хотят украсть четыре дня. Взяли-то ее 26 марта - а пишут, что арестована 2 апреля! Но гебисты всегда проводят четкое разграничение между "задержанием" и "арестом". С точки зрения задерживаемого никакой разницы: там и тут железные детали туалета срезаются одинаково (а женщин лишают шпилек, поэтому Ира все время в тюрьме ходила с распущенными волосами). Правда, "задержать" можно только на срок до двух суток. Но после окончания первого срока задержания Ире объявили второе постановление: тоже на двое суток. Единственная разница - юридическая - в том, что арестованному в течение суток объявляется статья кодекса, которая ему угрожает. Задержанному же - нет. А гебисты считают "задержание" настолько отличающимся от ареста актом, что возмущенно называют (как делал Правдин) "клеветой" сообщение, что "такого-то арестовали", тогда как НА САМОМ ДЕЛЕ не арестовали, а "задержали"... Но это мое беспокойство было излишним: суд исчисляет срок не с момента ареста, а с момента фактического заключения под стражу, т.е. не проводит разницы между "арестом" и "задержанием".

Третье, столь же первоочередное, что пришло мне на ум, была мысль: "Врут, гады!" Ведь ни я, ни Борис не признали себя виновными в АНТИСОВЕТСКОЙ деятельности. Мы оба, как договорились на очной ставке, признали себя виновными в "антиправительственной" деятельности. Даже по грамматическому смыслу "правительство" - не "Советская власть". А юридически

правительство всего-навсего ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Советской власти. Так как мы боролись исключительно с исполнительным органом, подчеркивая при этом согласие с Конституцией - Основным законом Советской власти - и я настаивал на том, что исполнительные органы нарушают Конституцию (в частности, в пункте о свободе слова), то мы и не могли признать себя виновными в "антисоветских деяниях". Ведь антисоветское - призыв к подрыву, свержению или ослаблению советской власти. Значит, в прямом противоречии с тем, что записано в протоколах предъявления обвинения, в обвинительное заключение попало "признание ими". Я решил, что это будет первый пункт борьбы на суде.

Бросилось в глаза полное отсутствие в обвинительном заключении каких-либо доказательств самого главного: того, что инкриминируемые мне высказывания и статьи действительно являются АНТИСОВЕТСКИМИ. Казалось бы, это - главная забота и долг обвинителя: показать, что выявляемые документы подпадают под объем термина "антисоветское", т.е. содержат в себе "призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений" (ст.ст.58-2, 58-9). Я процитировал ст.58-1[130], дававшую дефиницию термина "антисоветский" в старом кодексе. Мне вспомнился старинный принцип, что при наличии и возможности двух толкований выбирается толкование в пользу обвиняемого, и я подумал, что при честном подходе к написанному мною можно было б многое исключить из обвинения. Например, казалось мне, ничто из того периода, когда я отождествлял Сталина и его террор с советской властью и социализмом, не должно быть использовано для доказательства моей антисоветскости. В то время слова "социализм" и "Сталин" были синонимами не только для меня. Даже, рассуждал я, если у меня и попадались в тот период прямые высказывания буквально против социализма и советской власти, то всякий желающий слушать меня человек увидит, что имелся в виду только Сталин. Как будет видно дальше, суд пожелал меня выслушать и принял во внимание мою аргументацию.

Я сопоставил наше обвинительное заключение с теми, которые мне доводилось читать, изучая революционное движение. Тогда обвинительный акт начинался с изложения мотивов, по которым обращено внимание следственных властей на то либо иное привлеченное лицо. Иными словами, первому абзацу нашего обвинительного заключения - "были арестованы" - должен был бы предшествовать рассказ, как именно КГБ получило первые сведения обо мне и о моих товарищах. Хотя бы со ссылкой на заявления граждан, организаций, депутатов.

В отличие от обвинительных заключений по делам от Савинкова (1924) до Бухарина (1936), в суд ВЫЗЫВАЛИСЬ свидетели. Ведь по тем делам не было ни одного свидетеля, который не был бы до суда арестован. А эти не были до суда даже изгнаны с работы! Это - немаловажный шаг в обеспечении правосудия.

---

[130] Ср. в §14 диалог Прокопьева и Орловского, из которого ясно видно, что критику каких-нибудь "мероприятий правительства" Прокопьев зачислил по ведомству "антисоветских, нелояльных разговоров". Согласно комментированному УК, критика отдельных конкретных правительственных мероприятий НЕ является антисоветским деянием.

С радостью убедился я, что истоки моей вражды на возводятся к "заграннице".

Непередаваемо приятно почувствовал я себя, когда убедился, что ничего из моих показаний следствие не сумело использовать во вред Кудровой - Шейнису. Там, где речь идет о предполагаемой связи Вайля с Кудровой, обвинение ссылается лишь на показания Вайля и Вербловской, упоминает даже показания самой Кудровой. Но не мои! То же с "Правдой о Венгрии", которую до суда я упорно приписывал себе. Когда же капитан Правдин предъявил мне признание Шейниса в авторстве, я потребовал очной ставки с "этим нахалом, который хочет украсть мое авторское право". Ставки не дали.

Кстати, вообще о юридическом положении свидетелей на нашем процессе. В отношении 12 или 15 свидетелей - кажется, Адамацкого, Бубулиса, Вишнякова, Гальперина, Грекова, Дубровича, Зубер, Корбута, Кудровой, Кудрявцева, Кузнецова, Лейтман, Назимовой, Орловского, Таировой, Шейниса, Шрифтейлик (но за полную достоверность перечня не поручусь) - было выписано постановление о непривлечении:

"Следственными органами установлено, что по материалам дела означенные лица принимали участие в антисоветской организации под руководством Пименова. Но, принимая во внимание их чистосердечное раскаяние, отказ от преступной деятельности и молодость, органы следствия и прокуратура считают нецелесообразным в настоящее время возбуждать уголовное дело против указанных лиц".

Кстати, мне показалось, было бы гораздо естественнее поместить это постановление и текст обвинительного заключения, в котором данные лица упоминаются. А без того получилось, что в обвинительном заключении встречается такая юридически непонятная логика: Вербловской ставится в вину факт присутствия при чтении статьи, написанной не привлекаемым к суду Шейнисом! Про его авторство сказано в самом тексте. Логика поразительная, нарушающая принцип равенства граждан перед судом. И она наводила на мысль так строить свою защиту, чтобы не повредить оставшимся на воле лицам. В конце концов, казалось несомненным, что органы не выпустят попавшую в тюрьму добычу. Значит, себе все равно не поможешь. Но остерегаться погубить еще не попавшихся - надо. Тем более, что адвокат позднее (но до суда) растолковал мне, что факт неареста свидетелей ни о чем еще не говорит. Суд имел право в любом своем заседании отдать распоряжение о взятии под стражу тех из свидетелей, которых он сочтет нужным (обоснованным). Значит, не желая брать на свою душу гибель Шейниса, Ира и не могла в полную мощь защищаться против этой логики.

Через несколько дней после вручения обвинительного заключения меня вызвали из камеры, но повели не по деревянному мостику в здание УКГБ, а куда-то в другое место. Ввели в камеру, где сидел внушительного вида человек с гривой волос. Он поднялся, протянул мне руку и отрекомендовался:

- Ваш адвокат, Райхман Иосиф Израилевич.

Моя мать с самого моего ареста ходила по юридическим консультациям в поисках мне защитника. Поиски начал еще мой отец, но они сразу оборвались из-за его ареста, он успел только выслушать от одного из адвокатов в адрес Правдина, "который нам столько лет жить на давал". В мире юриспруденции моя мать никого не знала, в отличие от отца Вербловской, ибо покойная мать Иры в свое время была светилом адвокатуры, и сохранилось немало ее друзей. Но все же сумела разыскать адвоката, которого ей рекомендовали как лучшего, - Шафира. Шафир подрядился было вести дело, но через несколько месяцев отказался - подтверждая тем, что он ЛУЧШИЙ в Ленинграде адвокат. Мотивировка была: "Я не берусь за дела, выиграть или, по крайней мере, существенно помочь в которых я не мог бы". Он взял на себя защиту Игоря Заславского и вроде бы помог ему. Маму же Шафир отослал к Райхману (чтобы адвокат имел право защищать по 58-й, он должен иметь допуск не знаю уж какой степени. Поэтому таких адвокатов немного. Почти все они партийные). Райхман встретил меня вопросом:

- Ваша мама просила меня взяться за Ваше дело. Вот я стал его читать, и у меня возникла мысль, что, может быть, Вы не захотите защитника? Может быть, адвокат будет противоречить Вашим убеждениям? Ведь я не смогу защищать Вас с Ваших позиций и разделять Ваши взгляды в суде.

У меня и у самого мелькала идея подражать дореволюционным традициям и отказаться от защитника. Но все же я решил, что не откажусь от Райхмана. Главным соображением было то, что в полном одиночестве тюрьмы я смогу утратить способность контактировать с вольными. Адвокат мне нужен был в тот момент как слушатель, на котором я примерял бы и отрабатывал те высказывания, которые я произнесу на суде. Ведь я хотел, чтобы меня поняли, а для этого - как знает всякий лектор - надо усердно потрудиться. Мы быстро договорились с Райхманом о линии защиты.

Ни слова осуждения в адрес моих убеждений. Никого - ни подельников, ни свидетелей - не топить. Добиваться исключения из обвинения эпизода по письмам депутатам, все это - обращение к власти. Добиваться исключения эпизода по "Судьбам русской революции", ибо статьи нет в деле. Снять обвинение в клевете. Добиваться исключения из обвинения эпизодов с Машьяновой, Кудровой (прежде всего в их же интересах), по "сборищам" у меня в квартире как недоказанных.

Миссию проводить различение между антиправительственными и антисоветскими высказываниями адвокат на себя не взял. Однако он - и другие защитники - незаметно для себя усвоил от меня терминологию "легальная борьба против правительства" и упорно проводил различение между ЛЕГАЛЬНОЙ и НЕЛЕГАЛЬНОЙ таковой борьбой! Кроме того, по требованию мамы он уговорил меня согласиться на выдвижение ходатайства о вызове психиатрической экспертизы:

- Я понимаю, что экспертиза признает Вас здоровым, но таково требование моего нанимателя, и я обязан сделать все, что в моих силах, чтобы найти юридические возможности уменьшить Вам срок.

Я напомнил, что во время следствия уже проводилась психиатрическая экспертиза и меня, и Заславского, и у нас ничего не нашли. Вменяемы.

- Да, но это была экспертиза следственная, а не судебная.
Ладно, согласился.

В эти дни у меня было свидание с матерью и Ирой, 14 августа. Мать держалась молодцом, не плакала, не укоряла. Стремилась помочь и по-деловому расспрашивала, чем и как. В ней неизбывный запас энергии, которой я унаследовал едва ли десятую часть. Ира в основном уговаривал меня не отказываться от защитника и еще обрить бороду, которую я для развлечения отрастил в тюрьме. Я предложил ей план ее защиты: я-де ее бил, принуждал делать то, что она делала. Договорюсь с Игорем, он даст подходящие показания. Плюс мои и Враской с Арновичем. Ира отвергла.

§18. Суд

Цирк с психиатрами; свидетели меняют показания; роль Орловского по ту сторону зала; всеобщее сочувствие; речь прокурора Демидова; речь адвоката Райхмана; речь адвоката Зеркина; письмо профессора Н.А.Шанина к Н.С.Хрущеву; мое последнее слово; Заславский вступается за меня как за ученого; прочие последние слова; приговор; первые дни после приговора.

Я подхожу к описанию самого радостного, самого светлого события в моей жизни. Суд для меня явился праздником, во время которого я увидел, что люди непомерно лучше, чем они кажутся на поверхностный взгляд. Вера в людей, в их благородство - то, что почти совсем замирало в моей душе за 1949-1952 годы, - расцвела и окрепла.

Процесс начался 26 августа. Нас привезли в “воронке”. Здание суда располагается на Фонтанке 16. “Воронок” же въезжает в ворота по Пестеля, д.7 и через проходные дворы (в которых в то время шел ремонт, и все было изрыто канавами, разбросан кирпич) подъезжает к караульной. В “воронке” мы едем вчетвером в общей камере, а Иру, как женщину, везут в маленькой отдельной кабинке (поездив “воронками”, я узнал, что она называется "бокс", но тогда еще назвал дилетантски-фраерски: "Маленькая отдельная кабинка"), ей душно, она задыхается. В тот же или на следующий день она пожаловалось начальнику тюрьмы майору Луканкину, что ее тошнит, и он распорядился возить ее на своей машине "Победа". В общей камере мы радуемся встрече, болтаем, обмениваемся новостями. Разговор продолжается в той клетке, куда нас четверых заводят, прошмонав. Иру - одну в клетку напротив. Клеток там мало, но политических от уголовников (как говорят, "бытовиков") тщательно отделяют. Никаких упреков никто из нас никому не бросает. Мы не выясняем, кто больше, кто меньше "выдал". Думается больше о хорошем. Рождается атмосфера товарищества. Сначала - мы с Борисом, потом я начинаю через коридорчик переговариваться с Ирой. Присоединяется Игорь. И вот мы четверо беседуем уже совсем как старые друзья. Несколько в стороне Данилов, который все возмущается "подлостью Невструева", но и он поддается обаянию Бориса. Атмосфера установилась.

Конвой с примкнутыми штыками отводит нас наверх. В коридорах и на лестницах никого знакомого. Суетятся случайные прихожие. Вот и зал суда. Пусто. Адвокаты устремляются к каждому из нас, сидящих за барьером. Через минуту появляется моя мать, отец Иры. Обмен несколькими фразами, и конвой выставляет из зала всех, кроме адвокатов. У нас - карандаши и бумага, которым тюрьма обязана на период суда обеспечить подсудимых для реального осуществления права на защиту. "Встать, суд идет!" Входят, рассаживаются трое.

Опрос имен и прочих формальных данных. Согласны ли с выбором защитников? У меня, Иры, Игоря - нанятые личные адвокаты. У Бориса с Костей - казенные. Все изъявляют согласие. Получено ли и когда обвинительное заключение? Признает ли подсудимый себя виновным?

Уже принципиальный вопрос. Но адвокат растолковал мне, что первый раз такой вопрос задается общий, формальный; полный ответ-де будет даваться позже при подробном допросе каждого. Я отвечаю, что с некоторыми оговорками признаю; об оговорках скажу позже. То же произносит Борис. Игорь признает частично 58-10, не признает виновность по 58-11. Данилов признает, Ира не признает себя ни в чем виновной.

Вызывают по порядку свидетелей, чтобы установить, явились ли. Если кто не явился, то председательствующий Миронов (из раскассированных линейно-дорожных судов) велит секретарю послать повестку. Кончили. Свидетелям приказано выйти и быть готовыми явиться по вызову суда. Формально именно так и должно быть: начинаться суд всегда должен публично, а лишь потом судьи решают сделать процесс секретным и удалить публику.

Борис вносит ходатайство сделать процесс открытым, ибо в нем нет государственной тайны, а по ст.19 УПК только наличие государственной тайны позволяет сделать процесс закрытым. Я поддерживаю ходатайство Вайля. Защитники - не поддерживают. Обвинитель возражает. Суд отклоняет.

Начинается спор между обвинителем и защитниками, с кого начать допрос подсудимых. Защитники настаивают - с Пименова. Государственный обвинитель Демидов - не с Пименова, а хотя бы с Вайля. Тут он и сам припоминает, как я вредно влиял на показания Вайля, о чем сказано в §14. Райхман находит решающий аргумент:

- Принято начинать допрос не с показаний свидетелей, а с объяснений подсудимых. В данном процессе все прочие обвиняемые фактически являются свидетелями по делу Пименова как главного обвиняемого. Поэтому надо начать с его объяснений.

Миронов решает, "посоветовавшись на месте" - с меня. Спор шел по сути о том, кто будет задавать тон процесса; именно подумав об этом, в перечне вызываемых в суд подсудимых меня вдруг загнали на последнее место.

Но прежде надо решить еще один процессуальный вопрос. Мой адвокат внес ходатайство о вызове судебно-медицинской экспертизы на предмет установления моей вменяемости. Основание - мое пребывание в сумасшедшем доме 8 лет назад. Суд удовлетворил ходатайство. Назначен эксперт - как это случаются в жизни такие совпадения! Из романов их стараются изгонять - профессор И.И.Случевский, признавший меня по просьбе Фельдманов шизофреником в 1949 году. Но профессор Случевский - занятой человек. У него сейчас как раз проходят краткосрочные курсы съехавшиеся со всей страны полтора десятка будущих судебно-медицинских экспертов. Он категорически отказывается от участия в данном процессе, грозящем затянуться на неделю. Ведь эксперт обязан дать заключение сразу после допроса подсудимого и потом присутствовать в течение всего судебного следствия до самых прений сторон. Значит, пока будут допрашивать прочих подсудимых и всех свидетелей - 26 человек, - он будет терять время! А его подопечные медики будут вместо изучения судебной психиатрии ходить в кино на командировочные, которые им платит государство! Нет, профессор не желает. Его уговаривают. Уж я не знаю, почему никем заменить его не могли. Кончилось изумительнейшим компромиссом. Профессор согласился прибыть в суд при условии, что

суд допустит в свое заседание его подшефных практикантов. Для них присутствие на процессе при их наблюдении экспертизы и будет той самой производственной практикой, за которую им платят командировочные. И таким образом была пробита брешь в закрытости процесса. Прибыли - как мы шутили - "Кио и его шешнадцать ассистентов". Зал заполнился. А на миру и смерть красна. Публика. Зрелище.

Тем более, что цирк обещал быть интересным. Ведь по моему ходатайству ГБ затребовало из психбольницы № 2 мою "историю болезни". Правдин аккуратно заверил своей подписью и заключение врачей, что при больном изъято воззвание к товарищам бредового содержания, и то, что приложенное воззвание, как установил сличением капитан ГБ Правдин, текстуально совпадает с помещенным на таких-то страницах такого-то тома собрания сочинений Горького произведением "Человек". Более того, заверил и выписку из истории болезни, где сказано, что перед выпиской из больницы врачи взяли с больного Пименова Р.И.обещание вернуться в ряды комсомола. Поэтому мне было о чем поговорить с гражданином Случевским. И мы на скамье подсудимых радостно потирали руки, предвкушая веселье.

Разумеется, заглянув мне под веки, постукав по коленке, глубокоуважаемый профессор с тем же апломбом, что в 1949 году, признал меня здоровым, вполне вменяемым, без признаков шизофрении или еще какого-либо душевного заболевания. Но так как неловко было совсем уж уходить без ученого диагноза, да еще не обругав меня, дважды его сконфузившего (с первым диагнозом и с Горьким), то Случевский отнес меня к нервно-психологическому типу "истерический психопат". В ответ на вопрос Райхмана, вполне ли вменяем "истерический психопат" (ох, как он жаждал получить хотя бы "частичную вменяемость"!) Случевский ответил, что вполне. Сообщил, в виде утешения Райхману, что иногда реакции истерического психопата могут быть не адекватными реальной действительности; чрезмерно бурными, скажем. Мы увидим вскоре, как этой лазейкой воспользовался защитник.

Итак, я - вменяемый истерический психопат, в недавнем прошлом -шизофреник с бредовыми идеями А.М.Горького - стал давать свои объяснения суду. Разумеется, я уточнил свое признание виновности: виновен в антиправительственной, но не антисоветской деятельности. Моя деятельность была направлена против тех сталинских порядков (никакие силы небесные ни адвокатские не могли меня принудить пользоваться обтекаемой формулой "культ личности и его последствия") и их пережитков в настоящее время. В качестве такого пережитка я назвал отношение к венгерским событиям. Я признал, что в процессе борьбы с ненавистными мне порядками, борьбы вполне легальной, по моему разумению, я перехлестнул границы легальности. Сам я эту границу определил для себя так: то, что я делал не скрывая - легальное. То, что совершал потаенно - нелегальное. С этой точки зрения, мои письма и статьи, посылавшиеся в редакции или предназначенные для такой отсылки - легальная деятельность, и будет несправедливо их мне инкриминировать. Деятельность же по подготовке листовок, организационная деятельность - нелегальная и относится к компетенции суда. Факты, относящиеся ко мне лично, я признавал и

широким жестом, несмотря на одергивание рядом сидевшей Иры и жестикуляцию защитников, признал за собой еще парочку преступных мелочей, не выясненных на следствии. Со вкусом излагал я свои взгляды. Когда дошел до крестьянского вопроса, один конвоир-новобранец, до того апатичный, поднял голову и стал вслушиваться. Мое поведение имело своим результатом то, что судья стал верить каждому моему слову в части фактов и убеждения. Он увидел, что за толкованиями и интерпретациями я не пытаюсь уйти от ответственности. Он понял, что толкования и интерпретации для меня - часть души, а не судебная тактика. Не раз потом, уличая тех или иных свидетелей, он произносил фразу: "Пименов честен".

Примерно так же, с учетом линии, принятой на предварительном следствии, держались прочие подсудимые. Наиболее слабым показалось поведение Кости Данилова, но его охотно извиняли малограмотностью. Заславский, несмотря на обильные покаяния на предварительном следствии, держался с достоинством. Хотя он и выдвигал версию, будто бы 27 января 1957 года решил окончательно порвать со мной из-за политических разногласий (у нас в этот день и вправду была ссора, вызванная моим скверным характером; к политике она не имела никакого отношения, и Игорь и позже прекрасно ходил к нам в дом, участвовал в "воскресеньях"), а я эту версию, разумеется, не оспаривал - он не лил на меня грязь и не сваливал на меня ничего. Ира произвела дурное впечатление своим нежеланием признать себя виновной ни в чем, но одним заседателем была женщина, которая с явной симпатией отнеслась к подсудимой-женщине.

Стали вызывать свидетелей. Процедура их допроса такова: первый вопрос принадлежит председательствующему. Потом - заседателям. Если свидетель вызван обвинением, то следующий вопрос - прокурору (таково привычное название того, кто официально зовется "государственный обвинитель"), потом защитнику. Если вызван защитой - то сначала защитнику или вызвавшему подсудимому по выбору, потом прокурору. В последнюю очередь любой подсудимый может задать вопрос свидетелю. Можно задать вопрос как только что вызванному свидетелю, так и любому из ранее давших показания и сидящих в зале. Свести двух свидетелей на перекрестный допрос. И так далее.

Поначалу - два-три бесцветных свидетеля. Но вот появился Кудрявцев. Он повторил в основном свои показания на предварительном следствии, но в живой речи, не отредактированные, слова его зазвучали интереснее, даром что он от себя пользовался термином "антисоветские" охотно применительно к моим высказываниям. Стало яснее, ЧТО он вкладывает в этот термин. Так, он изрек:

- Мандельштам - антисоветский автор, ПОТОМУ ЧТО запрещенный.

Эта логика уже вызвала усмешки даже у председательствующего. Или вот он рассказал:

- На собрании мы решили, что так как у нас статистика засекречена и печать помещает далеко не все, что происходит в нашей стране, то надо наладить выпуск своей собственной информации.

- Кто, кто говорил, что якобы у нас статистика засекречена и печать публикует далеко не все, что происходит в нашей стране?! - вскакивает прокурор Демидов.

- Это говорю я и, по-моему, об этом знают все, - парировал Кудрявцев. Прокурор получил первую пощечину, которых потом ему пришлось выдержать несколько десятков. Свидетель солидаризировался с мнением, которое прокурор готов был провозгласить антисоветским и инкриминировать подсудимому; только не знал кому именно: Пименову или Вайлю. А ведь это говорил свидетель обвинения.

Следующим шел Греков, который тоже держался не совсем тривиально. Правда, он по-прежнему прилагал эпитет "антисоветский" к некоторым инкриминированным высказываниям.

Появился Адамацкий. Слушая его, мы с Вайлем зашевелились. Судья зачитал протоколы допросов Адамацкого. Игорь Адамацкий ни много ни мало так огласил мои высказывания насчет Венгрии, что получалось ни дать ни взять передовая в журнал "Коммунист". Выходило, будто я сначала говорил, что в Венгрии происходит широкое общественное движение, к которому примазались фашисты, превратив его в военный путч. Потом же я - по Адамацкому - заявлял, что это движение полностью выродилось в фашистскую контрреволюцию. Судья попробовал было уличить Адамацкого его показаниями на предварительном следствии, но тот отмахнулся, что сейчас-де помнит гораздо лучше, нежели тогда, ибо много думал об этом после следствия. Тогда председатель пошел на крайнюю меру. Он поднял меня и попросил объяснить что именно я говорил Адамацкому и другим в Библиотечном институте по поводу Венгрии.

У всех в ушах еще звучали мои громкие декларации при моем допросе два дня назад о "революции", "интервенции", "народе". Я с извиняющейся улыбкой, обращенной к Игорю, пояснил суду, что свидетель, должно быть, позабыл мои слова. И повторил свою точку зрения на события в Венгрии. Кстати, с Адамацким связан еще одни курьез: председательствующий по запарке позабыл предупредить его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных. В конце допроса Миронов спохватился.

Вызвали Кузнецова. Он отрицал все, кроме знакомства со мной на почве Джона Рида.

Зал, между тем, наполнялся. Ведь всякий свидетель обязан после дачи показаний находиться в зале суда, так как он может понадобиться сторонам для дополнительных вопросов. Председательствующий имеет право его удалить только по согласию сторон[131], т.е. обвинителя и защитников (подсудимых). Желание самого свидетеля в расчет не принимается. Вообще, в отличие от подсудимых, свидетель не пользуется никакими правами в суде. Он обязан отвечать на вопросы. Говорить же сам от себя, вносить ходатайства, оставаться или уходить свидетель не имеет права. Например, Орловский попробовал было сделать суду заявление о процессуальных нарушениях, допущенных ГБ в предварительном следствии. Миронов его оборвал. Эрнст, произнеся: "Ну, я пришлю это заявление в суд по почте", - вынужден был умолкнуть. От нас,

[131] Ст.291 старого УПК. В новом УПК это ст.293. Она сформулирована слабее: вместо "не иначе как с согласия сторон", сказано "не иначе как по заслушании мнений сторон."

подсудимых, зависело удержать свидетелей или нет, задать им тот или иной вопрос. Мы постепенно стали входить во вкус своих прав. Иру и Бориса подмывало воспользоваться правом на отвод суду. (Нам казалось, что Миронов нас не слушает, а спит.) Я готов был поддержать их, но посоветовался с Райхманом, который замахал руками: с ума вы посходили. Насчет прав подсудимых я из "Не хлебом единым" (автор которой бывший прокурор) хорошо запомнил сцену суда над Лопаткиным и усвоил, что к суду я имею право обращаться только в форме ходатайства. Даже когда я хочу задать вопрос, должен говорить: "Ходатайствую о выяснении..." Это мне помогло удерживаться в юридических рамках.

Зал наполнялся и за счет “ассистентов Кио". Они наулыбались вдоволь в день экспертизы. Тогда я и адвокат обыгрывали "Человека". Случевский пытался было защитить врачей:

- А почему вы не объяснили врачам, ЧТО это за произведение? Врач же не обязан знать наизусть всю мировую литературу!

- Пробовал.

- Ну, и что же?

- Усугубляло бред.

Всеобщий хохот, включая судей. Глаза "ассистентов" широко пораскрывались при слушании моих вольных речей в зале суда. Речей, которых они в провинции и шепотом не слыхивали. Но потом "ассистенты" заскучали. Ленинградские кино и магазины интереснее. Стали манкировать посещением бесконечно затягивающегося процесса. На их же места один за другим стали проникать неведомые суду и Случевскому личности - наши друзья. Глянь - а там сочувственная рожица. Тот в перерыве пройдет мимо и бросит словцо. Правда, и некоторые "психи" заинтересовались нами. Начали здороваться по утрам. Один подошел к Вайлю: "Вы похудели за эти дни".

Словом, процесс делался полуоткрытым.

Он делался полуоткрытым и все открытее и с той стороны двери, охраняемой конвойным. Пустые коридоры и лестницы в последний раз встретились нам в наш ПЕРВЫЙ день. Уже на обратном пути, а тем более в следующие дни, нас неизменно встречали и провожали группы приветственно машущих знакомых и друзей. Были и незнакомые, столь же сочувственно встречавшие нас. И число тех, кто выражал симпатию, с каждым днем росло. Потом я узнал, что свидетели и те, кто вместе с ними сопереживал нам, в это время начинали знакомиться друг с другом. Нейтральной фигурой, объединяющей всех влекущихся к процессу, был Эрнст Орловский. Он своим громовым голосом с необидной бесцеремонностью в обращении заставлял оборачиваться к нему. Вслушиваясь, человек на первых порах поражался в ужасе: "Да это явная провокация! Разве можно о ТАКИХ вещах ВСЛУХ говорить?!" Но Эрнст, неизменно державшийся в рамках легальности, довольно быстро убеждал слушателя, что все им сказанное почерпнуто из самых что ни на есть законных источников. Разъяснял разницу между "подрывом и свержением советской власти" и критикой или несогласием с отдельными конкретными действиями тех или иных носителей власти. Подробно анализировал методы допроса, сравнивал их с нормами УПК. Останавливался на неслыханных юридических тонкостях. А главное - он говорил о захватывающе интересных

вещах, которых вроде бы нигде больше и не услышишь[132]. Рассказывал, что ему известно о подсудимых. И к нему потянулись - хотя поначалу с опаской, сами ничего не говоря - свидетели, не причастные к моему дому: из Библиотечного института, Кудрова и другие. Без него свидетели остались бы каждый замороженной в себе ледышкой. Он растопил лед недоверия, а свидетели сделались спаянной массой.

Вызвали свидетеля Рохлина. Стандартный первый вопрос: "Расскажите, что Вам известно по делу". Предыдущие свидетели с той или иной степенью подробности в ответ начинали пересказывать свои показания на предварительном следствии, Фимка же посмотрел невинными глазами на судью и вопросил:

- По какому делу?

- По делу Пименова и других, обвиняемых в антисоветской деятельности!

- А мне ничего об антисоветской деятельности Пименова не известно.

- Как не известно?! Вы же давали показания на предварительном следствии... вот... на листах дела 108-112.

- О чем показания?

И пошло! В простоте слова не вытянуть. И от всяких "антисоветских" эпитетов настойчиво открещивается.

Следующий свидетель Ара Машьянова отрицала все, кроме милого знакомства со мной и Игорем. А дальше все свидетели начинали с заявления, что им-де ничего об антисоветской деятельности Пименова не известно. Брали назад свои показания на предварительном следствии в той части, в какой там они обличали нас в "антисоветскости". Сделалось так захватывающе интересно, что я забросил свой собственный протокол судебного заседания и делал совершенно отрывочно и бессистемно записи, чаще всего - намечаемые вопросы к свидетелю.

Помню, меня все время одергивал председательствующий, когда я обращался к свидетелю на "ты" и по имени, запросто. Требовал официального "Вы" и по фамилии. На свидетелей сердился, когда те говорили, обращаясь к нам, а не к суду:

- Свидетель! Вы должны говорить суду, а не подсудимым!

Тогда вставал я и вносил ходатайство, чтобы свидетель, говоря суду, говорил громче, ибо у меня 40% слуха (что правда) и я ничего не слышу. Свидетель снова поворачивался ко мне... Словом, было весело.

Один за другим свидетели повторяли, так или иначе варьируя фразу:

- Отказаться подписать я не мог, но это не моя формулировка.

Другие поясняли: ТОГДА-де следователь убедил меня, что эти взгляды антисоветские. Сейчас я понимаю, что они - не антисоветские.

Вскрывались и такие детали: в протоколе в ответе на вопрос о моей антисоветской деятельности написано, например: "Вел частые разговоры о фашизме". Спрашиваешь свидетеля:

---

[132] Один конвоир с интересом стал внимать Эрнсту после того, как услышал, что во Франции каждый трудящийся имеет право на оплачиваемый трехнедельный отпуск (в год, причем летом). Тогда у нас был гарантирован отпуск в двенадцать рабочих дней. Разных интересовало разное.

- Как и что говорил я о фашизме?

- Отрицательно о нем отзывался.

- Так почему же это антисоветское?

- Да следователь мне сказал: подпишите здесь, я и подписал...

Другие объясняли - скорее нам, чем суду, - почему они дали показания:

- Мне напоминали, читая показания всех предыдущих свидетелей...

Зубер с горечью и упреком произнесла:

- Сначала мне зачитали показания Заславского и Вербловской. А под конец... и Пименова!..

Все отчетливее вырисовывалась демонстрация сочувствия и солидарности, вызов, бросаемый обвинению и суду со стороны свидетелей. И не вызвало никакого удивления, когда Зубер почти выкрикнула:

- Я делала то же, что они! За что вы их судите? Пустите меня на скамью подсудимых! - И со свидетельского места направилась к нашему барьеру. Дубрович ринулся доказывать, что это он, Дубрович, влиял на меня, Пименова, и увлекал в "революционную деятельность". При этом и от себя назвал нынешнюю (1957) Венгрию “советским генерал-губернаторством". Сейчас я понимаю, что такая демонстрация должна была в глазах ГБ и суда лишь убедить их в том, что пименовская организация существовала и была гораздо лучше и шире организована, нежели они сумели раскрыть. Отсюда идет страх ГБ передо мною.

Отдельные свидетели, выпадавшие из общего тона, например, Вишняков, попавший под перекрестный огонь защитников и подсудимых, которого, не стесняясь, в зале суда именовали провокатором[133], или Бубулис, скверно владеющий русским языком, - не меняли картины атаки на суд. Бубулис, запинаясь, произнес, что "на собраниях им делались выступления против ошибок культа личности Сталина и нападения на органы КГБ", явно путая "нападки" и "нападения". Как свидетель он прошел незамеченным. Незаметно держался и Шейнис. По врожденной мягкости и деликатности он не позволил себе никакого вызова в поведении. Нас, подсудимых, настроенных агрессивно и воинственно, возбужденных всеобщим духом враждебности к прокурору и суду, его дипломатические и вежливые ответы разочаровали. Свидетели же, напротив, узнав, что Виктор - автор "Правды о Венгрии", стали смотреть на него с почтением. Но, насколько я могу вспомнить, это были единственные свидетели, которые не были приняты нами как бесспорно свои. Общую же оценку свидетелей передам тогдашними словам Иры:

- Хороши все-таки цыплята при всем при том!

Конвой растерялся. Лейтенант, командовавший им, в недоумении говорил нам: "Первый раз в жизни вижу такой процесс". То же свидетельствует и Виля, которая слышала от солдата фразу:

- Обычно на суде подсудимых жалеют родственники. Плачут о них. Но чтобы все свидетели в один голос заявляли, что они на стороне подсудимых, при мне не бывало.

---

[133] Достопримечательно мнение Вили: "Вишняков не может быть провокатором - слишком у него отвратительная, типично провокаторская внешность. Такие только в кино бывают".

А демонстрация поддержки на лестницах и в коридорах росла. Приходили и приезжали все новые и новые лица. Все уборные были забиты записками нам, бумагой, карандашами... и обломками лезвий - точить карандаши! Это я узнал уже позже, ибо нас не водили в общие уборные, а если и водили, то исключительно в присутствии двух конвойных, по одному. Меня умилило полное невежество наших друзей, воображавших, будто нам потребуются лезвия точить карандаши! Адамацкий носился с идеей сфотографировать нас, но, кажется, ни у кого не нашлось фотоаппарата, такие мы были все голодранцы.

Процесс затягивался не на неделю, а не десять и более дней. Заседательница Солдаткина пугалась, что у нее срывается отпуск. Зал суда все более наполнялся нашими друзьями: 16 медиков плюс 21 свидетель равны числу, до которого конвою и сосчитать трудновато... Все чаще председательствующий покрикивал на сидящих в зале:

- Прекратите писать! Не пишите, а то я Вас удалю из зала! Свидетель, отдайте Ваши записи!

Но записи делались и сохранялись, как будет видно, когда я перейду к прениям сторон.

В день, когда делались разного рода дополния к судебному следствию, 3 сентября, я заявил суду о допущенных, по моему мнению, нарушениях на предварительном следствии. Меня поддержал Вайль. Вот извлечение на записи этого заседания - в редакции Орловского:

"ПИМЕНОВ. Я желаю сделать заявление о неправильных методах следствия. Были случаи, когда свидетелей уговаривали изменить показания (приводит примеры[134]), вставляли в их показания те или иные слова, например, характеристику моих высказываний как антисоветских. Причем я говорил об этом еще на следствии прокурору, но прокурор - здесь присутствующий гр.Демидов - ответил, что важно содержание моих высказываний, а не их оценка свидетелями; оценку-де будет давать суд. Сейчас видно, что совсем не так, и сам гр.Демидов то и дело ссылается на то, что тот или иной свидетель назвал на предварительном следствии высказывания антисоветскими. Я это говорю не затем, чтобы следствие по моему делу началось сначала, а затем, чтобы в последующих делах, например, в деле Тельникова, такие нарушения по возможности не повторялись.

ВАЙЛЬ. Я также желаю сделать заявление. Прежде всего, ст.206 УПК не была полностью выполнена, мне не дали перечесть все дело полностью, заявив: “Вы читайте то, что Вас касается, а сочинения Пименова Вам читать незачем”. Кроме того, в деле и не нашел одного из протоколов допроса от середины июня 1957, допроса, который производил капитан Егоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Это какой капитан Егоров? Тот, который ведет дело Щербакова?

ВАЙЛЬ. Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Вы, Вайль, вероятно просто плохо искали, я думаю, этот протокол в деле есть.

---

[134] Наверное, тут я привел пример с изменением показаний Зубер, о чем говорил и Меньшакову (см. §10).

ВАЙЛЬ. Нет, его там нет".

Протокола этого, помнится и мне, в деле таки нет. И думается, не случайно: ведь он сводился к вопросу, знает ли Вайль Щербакова, и отрицательному ответу Вайля, а такой протокол был бы невыгоден Егорову. Основная причина, по какой я заговорил о нарушениях: мне хотелось поставить своих друзей в известность о готовящемся процессе Трофимова - Тельникова. Орловский, в свою очередь, настойчиво и неоднократно писал о замеченных им нарушениях законности при обысках и на следствии. Суд отказался его выслушать, ленинградская прокуратура отнекивается. Но в конце концов он получил такой завершающий ответ:

"Герб прокуратуры СССР.
ПРОКУРАТУРА
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Отдел
"10" V 1958 г. -09/3-2381-57
При ответе ссылаться на и/№ и дату.
Москва, Центр, Кузнецкий мост, 13.

Гор.Ленинград, II-136, ул.Ленина, 11, кв.11. Орловскому Э.С.

Ваше заявление о незаконном изъятии различной литературы нами проверено. Из материалов дела по обвинению Пименова и пр. видно, что при обыске 25 марта 1957 года сотрудниками УКГБ по Ленинградской области у Вас было изъято 14 наименований литературы, различных статей и других документов политического характера, из которых 10 наименований Вам возвращены, а остальные уничтожены.

Проверкой установлено, что изъятие статей и литературы сотрудниками УКГБ у Вас произведено необоснованно, на что соответствующим должностным лицам указано.

Зам. Прокурора РСФСР
Государственный советник юстиции 3 класса
/УЗУПОВ/

Не скажу, что это очень вразумительный ответ, но все же он лишний раз свидетельствует, что в ту пору законность восстанавливалась.

4 сентября прокурор Демидов произнес клеймящую речь, которую я попытаюсь реконструировать на основе разрозненных записей Орловского, Вайля и моих собственных. Записи Орловского представляют собой сжатый конспект всей речи, а наши с Борисом - дословные цитаты отдельных мест, почему-либо обративших на себя наше внимание. Эти дословные цитаты будут в тексте подчеркнуты. Перед своей речью прокурор, найдя, что мы с Ирой чрезмерно,

неприлично для стен суда милуемся, велел нам рассесть в противоположные концы "скамьи подсудимых" (фактически мы сидели на стульях).

"Товарищи судьи!

Когда я смотрю на молодых людей, сидящих на скамье подсудимых, то я начинаю вспоминать и других молодых людей: Ульяну Громову, Олега Кошевого, Зою Космодемьянскую, отдавших жизнь за нашу Родину. Здесь тоже молодежь, но другая. Именно такая, немарксистски настроенная молодежь, как люди, сидящие на скамье подсудимых, участвовала в событиях в Венгрии.

Начну с главного подсудимого. Посмотрите на Пименова. Он сидит здесь, полон сознания внутреннего благородства. Как же! Он, по своему мнению, борется со злом! Но Пименов борется со злом, которого не существует, борется способами, опасными для государства. Нет, Пименов никак не глашатай новых идей. Он настоящий мракобес, поставивший своей целью вдохнуть новую жизнь в революционную философию Ницше. Пименов оскорбляет народ. Послушайте, что он пишет отцу в порыве откровенности (зачитывает письмо от 10.10.54). А вот что он писал в марте 1956 года (зачитывает).

Утверждалось, будто Пименов - сторонник социализма, будто даже Вайль изменил свои взгляды под влиянием Пименова. Но, товарищи судьи, это совершенно бездоказательно. Ни из чего не следует утверждение, будто Вайль под влиянием Пименова изменился из сторонника капитализма в приверженца социализма... Мы не можем, как того требовал Пименов, следовать Гапону... В любой статье Пименова, если не на каждой странице, то через страницу, вы найдете у него высказывания против партии.

Конечно, мировоззрение Пименова складывалось в неблагоприятных обстоятельствах. То, что он видел в бухте Нагаева в 1943 году - картина не из веселых. Но мы сейчас все полны решимости устранить нарушения законности. И Пименов не имеет права спекулировать на борьбе с ошибками прошлого, присваивать себе их устранение! Ни одним из свидетелей не опровергается, что с 1949 года Пименов вел антисоветскую деятельность. Именно в этой связи комитет ВЛКСМ направил его в 1949 году в психиатрическую больницу. Но Пименов продолжил преступную деятельность. В этом, конечно, велика роль его отца, ныне арестованного Щербакова. Вот что он пишет (Пименов) отцу 3 июля 1952 года: "Ты научил меня думать самостоятельно. В 1949-1951 гг. были стихи, разговоры антисоветского содержания, в 1954 году Пименов переходит к более серьезной деятельности: он пишет антисоветскую статью "Судьбы русской революции". В 1956 году он пишет антисоветское послесловие "По поводу речи Н.С.Хрущева". Осенью 1956 года он рассылает письма депутатам, пишет "Венгерские тезисы". Тут пытались проводить различие между этими документами. С точки зрения закона нет никакой разницы между письмами депутатам, тезисами "Венгерская революция" и "Правда о Венгрии". В это же время Пименов обращается к отцу, проживавшему в Москве, с просьбой передать антисоветские статьи Пименова в югославское и польское посольства.

Деятельность Пименова приобретает организационные рамки. 13 февраля 1957 года на квартире Пименова происходит совещание Пименова, Заславского и Зубер-Яникун по вопросу о создании нелегальных организаций. После этого Пименов обращается к Корбуту с предложением вступить в созданную организацию.

С декабря 1956 года действует под руководством Пименова группа в Библиотечном институте, в которой принимают участие и представители из Метеорологического института. Первая беседа проходила в разговорах о легальной борьбе за расширение демократических свобод. Но уже в феврале 1957 года вовсю подготавливалась листовка. Пименов лично изготовил негатив и передал его Вишнякову, чтобы выпустить листовку ко дню выборов 3 марта. Листовки предполагалось опускать в почтовые ящики, оставлять в кабинах для голосования и т.п. Часть листовок намечалось послать в Курск, где их распространял бы соучастник Данилов.

Не первый раз Пименов стремился создать организацию. Еще в 1955 году он дал задание своему единомышленнику Заславскому договориться в Москве о совместной антисоветской работе с некоей Машьяновой. В том же году он писал отцу про деятельность в Ленинграде "Клуба им.Энштейна" и "Библиотеки Русской Революции". Ну, конечно, под такими академическими вывесками легче замаскировать антисоветскую деятельность!

Осенью 1956 года Пименов нащупывает контакт с группой Шейниса -Гальперина - Кудровой - Лейтман. Правда, дело в отношении их прекращено за нецелесообразностью, но это не снимает вины с Пименова. К этой же группе принадлежала еще Алла Назимова.

А что происходило на квартире у Пименова? Свидетель Кудрявцев признал, что им выдвигался лозунг за национализм в Прибалтике. Правда, нет как будто неопровержимых доказательств антисоветской деятельности на квартире Пименова -Вербловской. Но они говорили о чем угодно, а значит, и о борьбе против советской власти, это бесспорно, стенограмм-то у нас нет того, что говорилось на квартире.

В марте 1957 года, в ожидании ареста, Вербловская обещала Пименову познакомить Вайля с Кудровой, чтобы преступная антисоветская деятельность не прерывалась. Это было пожелание самого Пименова.

В марте же Пименов начинает писать антисоветскую статью "Что такое социализм".

Об обвинении Пименова по статьям 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР. Конечно, если взять закон буквально, то в таком виде, как изложено в законе антисоветской пропаганды в действиях Пименова нет, т.е. нет "призывов к подрыву, свержению или ослаблению советской власти". Но закон следует понимать разумно, в духе сложившейся практики по таким делам. Мы не проводим вообще грани между антиправительственной и антисоветской деятельностью. Всюду, например, в "По поводу речи Н.С.Хрущева" содержатся выпады против коммунистической партии, клеветнические сведения имели место, и неоднократно, в так называемой "Информации", и полагаю, что этого достаточно о Пименове.

Перейду к другим подсудимым. (Сказано буквально всего несколько слов.) Не настаиваю на обвинении Вербловской по ст.58-11.

Чтобы у нас не повторились будапештские события, мы должны наказать как можно суровее подсудимых. Поэтому я прошу суд подвергнуть Пименова лишению свободы на 5-7 лет, и 3-4 года лишения свободы для Вайля не будет чрезмерным наказанием. Остальных можно приговорить к несколько меньшему наказанию. Из них выделяется Заславский...”

Говорил Демидов с пафосом, декламативно. Разумеется, гораздо длиннее, чем тут записано. По длине его речь была равна с помещаемой далее речью Райхмана, но ту, по естественным симпатиям, мы записывали подробнее. А вот бы издать сборник речей прокуроров по политическим делам послесталинского периода! Ведь никогда на это не отважится прокуратура.

Как видно, снова (как и в обвинительном заключении) не было никакой попытки ДОКАЗАТЬ, что деятельность была антисоветской. Все время подчеркивалось, что я немарксист по убеждениям; об этом первый заговорил я сам, излагая свои взгляды. Но в резолютивной части прокурор проявил неожиданную мягкость, ибо ч.1 ст.58-10 предусматривала до 10 лет лишения свободы, и слова "как можно суровее" не вязались с "5-7 годами" главному обвиняемому. Это можно объяснить циркулировавшими тогда слухами о пересмотре УК, причем по новому УК - говорили - по 58-10 максимум будет 5-7 лет. Неудивительно, если Демидов равнялся на предстоящее время.

5 сентября Райхман произнес свою речь в мою защиту. Привожу ее в редакции Орловского; перечитав эту запись, Райхман не внес никаких исправлений в нее:

"Товарищи судьи!

Редко столь талантливые люди, как Пименов, оказываются на скамье подсудимых. Пименов - автор научных работ по математике, имеющих большое научное значение. Одну из них он докладывал на Всесоюзном съезде по математике в 1955 году[135]. Он обладает глубокими познаниями по ряду разделов физики и астрономии, и не случайно Академия наук СССР прислала ему приглашение на совещание по космогонии уже после его ареста. Вместе с тем он много занимался изучением философии; Маркса, Энгельса, Ленина, он знает почти наизусть. Но кроме них он много читал Канта, Ницше, Штирнера и других философов. В области истории он больше всего занимался историей революционного движения в России и написал ряд статей об этой области. Он владеет рядом иностранных языков: английским, французским, немецким, шведским, норвежским, датским, польским и другими. Кроме всего этого он еще пишет стихи и пьесы.

Как же такой человек мог попасть на скамью подсудимых? По мнению т.прокурора, причина этого - Ницше. Но неужели тов.прокурор всерьез полагает, что философия Ницше столь привлекательна и столь хорошо соответствует современной действительности, что достаточно было Пименову прочесть Ницше,

[135] Читатель, внимательно читавший §2, видит ошибку Райхмана. Но в дальнейшем никаких ошибок в цитируемых документах я не оговариваю.

чтобы отказаться от марксизма и вступить на тот путь, который привел его на скамью подсудимых? Нет, не Ницше причина этого! Причину эту очень хорошо изложил тов.Н.С.Хрущев в своей речи "За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа". Товарищ Н.С.Хрущев говорит:

«Следует признать, что среди интеллигенции нашлись отдельные люди, которые начали терять почву под ногами, проявлять шатания и колебания в оценке ряда сложных идеологических вопросов, связанных с преодолением последствия культа личности. Чем объяснить подобные шатания и колебания отдельных представителей из среды деятелей литературы и искусства? По-моему, это произошло потому, что некоторые товарищи односторонне, неправильно поняли существо партийной критики культа личности Сталина».

Вот как ставит вопрос тов.Н.С.Хрущев. Именно этим и объясняются заблуждения Пименова.

Конечно, Пименов во многом ошибался и ошибается; многое он понимает неправильно. Но ведь только в США судят за неправильные мысли. У нас не США. У нас нельзя судить за неправильные мысли, а можно судить только за действия, направленные против советской власти.

Тов.прокурор в своей речи все время подчеркивал, что Пименов по ряду вопросов стоит на немарксистских позициях. Из его речи вытекало, что этого достаточно для того, чтобы признать Пименова виновным. Но так ли это? Конечно, нет.

Посмотрим, что говорит по этому поводу тов.Мао Цзе-дун в своей речи "К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа". Товарищ Мао Цзе-дун говорит:

«Задают вопрос: поскольку в нашей стране большинство людей признает марксизм руководящей идеологией, то можно ли критиковать его? Конечно, можно. Марксизм является научной истиной, но не боится критики. Если бы марксизм боялся критики, если бы марксизм можно было бы ниспровергнуть критикой, то он бы был никуда не годным... Марксист не должен бояться критики со стороны людей в буре борьбы. Борьбу с ошибочными взглядами можно сравнить с прививкой оспы: благодаря воздействию вакцины усиливается иммунитет организма. Выращенное в теплице не может иметь огромной жизнестойкости. Осуществление курса "Пусть расцветают 100 цветов" и "Пусть соперничают 100 школ" не ослабляет руководящего положения марксизма в идеологическом мире, а наоборот усилит такое положение».

И далее тов.Мао Цзе-дун продолжает:

«Какого же курса следует придерживаться в отношении немарксистских взглядов? В отношении явных контрреволюционеров и подрывающих дело социализма элементов вопрос решается легче: их попросту лишают свободы слова. Иначе обстоит дело с ошибочными взглядами внутри народа. Нужно ли запретить такие взгляды, не давать никакой возможности высказать такие взгляды? Конечно, нельзя. Применение упрощенческих методов для разрешения вопросов духовного мира не только не эффективно, но и ошибочно, вредно. Можно не разрешать высказывать ошибочные мнения, если они выращены в теплице, не сталкиваясь с ветром и дождем, если они не приобрели иммунитета, не смогут одержать

победу, когда встретятся с ошибочными мнениями. Поэтому только методом дискуссии, методом критики и методом раскрытия истины можно по-настоящему развить правильные мнения и изжить ошибочные, можно по-настоящему разрешать вопросы».

Тов.Мао Цзе-дун говорит о буржуазной и псевдобуржуазной идеологии:

«Мы не должны, прибегая к методам подавления, не допускать проявления той идеологии, а должны допускать ее проявление и одновременно, когда она проявится, развертывать диспуты, проводить соответствующую критику... Критика должна основываться на научном анализе, быть достаточно убедительной. Путем догматической критики нельзя разрешить все вопросы. Мы выступаем против всех ядовитых трав, однако мы должны со всей осторожностью распознавать, что является ядовитой травой, а что благоухающим цветком».

Когда я слушал речь тов.прокурора, меня неоднократно охватывало сомнение: читал ли тов.прокурор эти слова тов.Мао Цзе-дуна, согласен ли он с ними? Значительная часть речи тов.прокурора состояла в осуждениях тех или иных взглядов или мнений подсудимого Пименова.

Вот, пожалуй, наиболее яркий пример. Прокурор осуждает мнение Пименова, что следует добиваться дальнейшей демократизации, расширения прав местных органов, полного исправления ошибок, совершенных в период культа личности. "Сколько можно говорить о демократизации, об исправлении ошибок! - восклицал тов.прокурор. - Поговорили об этом, ошибки исправлены, и хватит. Больше говорить ничего не следует". Однако партия ставит вопрос не так. Партийная печать призывает к борьбе за дальнейшую демократизацию, к расширению прав местных органов власти, к еще более широкому привлечению трудящихся и управлению делами государства. Берем журнал "Коммунист" № 11 за этот год и читаем на стр.54:

«Решающей политической гарантией обеспечения законности является дальнейшее укрепление советской демократии, еще более полное привлечение трудящихся к управлению делами государства».

Таким образом, партийная печать отнюдь не придерживается мнения, высказанного тов.прокурором, будто давно пора перестать говорить о дальнейшей демократизации. Если взять последние номера журнала "Коммунист", то мы увидим, что не только процитированный И.Александров, но и целый ряд авторов высказывают различные представления, направленные на то, чтобы до конца устранять последствия культа личности и не допустить подобных явлений.

(Приводит цитаты.)

Ясно, что для укрепления советской демократии, для улучшения законодательства большое значение имеет активность широких народных масс трудящихся, внесение ими своих предложений, которые естественно, не все окажутся приемлемыми, но в результате обсуждения которых могут быть найдены меры по дальнейшему укреплению советской демократии. Разумеется, все эти предложения и обсуждения должны быть в рамках закона. Известно,

что Пименов неоднократно, в частности, в своих тезисах "Венгерская революция" утверждал, что надо добиваться дальнейшей демократизации, действуя в строгих рамках закона, исключительно легальными средствами. Слушая речь тов.прокурора, я не понял четко: преступна ли, по мнению тов.прокурора, борьба за демократизацию в рамках закона, в свете решений XX съезда партии?

Одной из причин, приведших Пименова и его товарищей на скамью подсудимых, является слабость воспитательной работы среди молодежи. Молодежь не всегда обладает достаточным опытом, чтобы суметь сразу правильно понять те или иные явления общественной жизни. Старшие товарищи, преподаватели, коммунисты должны помочь молодежи разобраться в этих вопросах. Однако на практике часто воспитание подменяется администрированием. Разве не позор для комсомольской организации университета, что когда Пименов в 1949 году подал заявление о выходе из комсомола, она стала перевоспитывать его путем... направления в сумасшедший дом! Несмотря на то, что Пименов психически здоров, он 42 дня находился в сумасшедшем доме. Нетрудно понять, как это подействовало на него. В его дневнике того времени мы читаем: "Меня охватило чувство злобы и ярости против тех, кто в этом виноват".

Другим примером подмены воспитания администрированием является отношение некоторых руководителей к желанию молодежи обсудить те или иные вопросы литературы, искусства и т.д. Разве партия против обсуждения творчества, скажем, Пикассо? Конечно, нет. А вот в некоторых учебных заведениях Ленинграда такое обсуждение запретили, вместо того, чтобы самим организовать его и руководить им. Это было серьезной ошибкой.

Как известно, запретный плод сладок. И вот 21 декабря 1956 года группа молодежи собирается на пл.Искусств, чтобы здесь поговорить о Пикассо. Тут происходит вторая ошибка: на пл.Искусств является наряд милиции, разгоняет молодежь. Когда же на обсуждении в Ленинградском отделении Союза художников выставки ленинградских художников одна студентка заявила, что это неправильно, что хотя она и не понимает Пикассо, но запрещение обсуждать его творчество - это аракчеевский режим в искусстве, то ее "на минуточку" задерживают. Нетрудно понять, что все это вызвало сильное возбуждение в среде молодежи. Это сыграло большую роль и в действиях тех пяти лиц, которые сидят перед нами на скамье подсудимых. Можно с уверенностью сказать, что если бы не то, что произошло 21 декабря, то ни один из этих пяти молодых людей (кроме, разве, Пименова), не оказался бы на скамье подсудимых. Как получилось, что некоторая часть молодежи прислушивалась к Пименову? Одна из причин этого в том, что слишком много начетничества в толковании на лекциях основ марксизма-ленинизма и других общественных наук. Не получая ответа на свои недоумения у преподавателей, юноши и девушки искали его в другом месте. Но разве преподаватели общественных наук не могут быть столь же эрудированными, как Пименов? Конечно, могут и должны. Разве нельзя устраивать больше дискуссий, диспутов и т.д.? Конечно, можно. Раньше ведь такие дискуссии проводились.

Тов.прокурор утверждал: "Пименов осуждал все, что у нас, восхвалял все то, что за границей". Это утверждение бездоказательно, более того - неверно. Прежде всего, неверно, будто он "осуждал все, что у нас". Что касается "восхваления того, что за границей", то, во-первых, он "восхвалял" далеко не все, а во-вторых, следует иметь в виду, что слова "за границей" имеют сейчас для нас совсем другой смысл, чем 10-20 лет назад. Китай, Польша, Югославия - страны социалистического лагеря. Это уже не "заграница" в том смысле, в каком мы понимали это слово раньше. Разве может согласие с тем или иным населением братских компартий быть антисоветским? А ведь, утверждая, что Пименов восхваляет все то, что за границей, прокурор имел в виду поддержку им идеи рабочих советов, выдвинутой союзом коммунистов Югославии, идею о преимущественном развитии госхозов перед колхозами, выдвинутую Коммунистической партией Китая, и т.п. Возможно, что Пименов ошибается, полагая, что эти идеи можно и нужно осуществить также и у нас. Но разве от этого мнение Пименова становится антисоветским?

Тов.прокурор исходил из предположения о возможности повторения у нас венгерских событий. Чтобы предотвратить такую возможность, мы должны, по мнению тов.прокурора, сурово наказывать лиц, подобных Пименову, Вайлю и др. Это так называемый "политический подход" к решению судебных дел. По этому поводу журнал "Коммунист" в № 11 за 1957 год на с.58 пишет:

«Противоречат социалистической законности попытки противопоставить ей "политический подход". В самом деле, правильный политический подход - это подход с позиции социалистической законности».

На этом я закончу вступительную часть своей речи и перейду к разбору отдельных эпизодов, инкриминируемых Пименову. Прежде всего, ему вменяются в вину антисоветские разговоры в период 1949-1954 годов, а также письма и записи в дневнике за этот же период.

1. Разговоры. Данный эпизод не подтвердился в ходе судебного следствия. Согласно ст.23 "Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик" в основу приговора могут быть положены лишь факты, проверенные в судебном заседании. Так, прокурор говорил здесь о том, что этот эпизод "подтвердили" "многие свидетели", но тов.прокурор, вероятно, запамятовал, ибо из всех свидетелей лишь один Орловский знал Пименова до 1954 года, но он ничего не говорил о каких-либо антисоветских высказываниях Пименова.

2. Письма к отцу периода 1949-1954 гг. Прокурор утверждает, что эти письма содержат антисоветскую агитацию. Однако этот эпизод не исследован в достаточной степени. Прежде всего, не допрошен адресат писем - отец Пименова - Щербаков. А его показания имеют важное значение для установления точного смысла ряда неясных мест в этих письмах, а также для установления точного смысла и обстоятельств, при которых эти письма были написаны. Сейчас Щербаков находится под следствием по обвинению в том, что он писал Пименову письма, содержащие антисоветскую агитацию. Дело Щербакова выделено в отдельное производство. Тем самым

допущено грубое нарушение ст.117 УПК РСФСР[136]. Если бы дела Щербакова и Пименова слушались вместе, то вряд ли прокурор мог бы одновременно утверждать, что Пименов агитировал Щербакова, а Щербаков - Пименова. Кто кого агитировал, на следствии не проверено, а между тем, это имеет важное значение для дела. Тов.прокурор зачитывал здесь одно из писем Пименова к отцу, где он пренебрежительно отзывался о нашем народе: "Такие люди не заслуживают того, чтобы за них умирать. Это какие-то вши дрожащие".

Но было ли такое мнение о народе у Пименова твердым? Окончательно сложившимся? Всегда ли он высказывал такие взгляды на народ? Из дневника его видно, что нет - не всегда. Это было мимолетное мнение, возникшее под впечатлением тех или иных обстоятельств. Из заключения психиатрической экспертизы вы слышали, что разные случайные впечатления могут оказать на Пименова чрезвычайно сильное воздействие ввиду его психопатичности.

3. Стихи из дневника (1948-1950). Эти стихи действительно антисоветского содержания. Они направлены в основном против культа личности Сталина и неправильных действий органов госбезопасности. Следует сказать, что все записи в дневнике, в том числе стихи, сделаны Пименовым лично для себя, никто никогда этих стихов и дневников не читал.

По мнению прокурора, антисоветские записи в дневнике сами по себе составляют состав преступления. Я не могу с этим согласиться. Вот у меня в руках "Курс уголовного права", часть особенная, издания 1955 года. В нем мы читаем: если нет умысла на распространение - нет состава преступления. При хранении каэровской литературы необходимо, чтобы лицо сознавало, что хранение производится с целью распространения[137].

Вы зря улыбаетесь, тов.прокурор! Я прекрасно понимаю, что курс уголовного права - это не закон. Но это мнение авторитетных ученых - специалистов по уголовному праву - о том, как толковать закон. Может быть, Вы можете показать учебник или научный труд, где статья 58-10 толковалась бы иначе?

Привожу один простой пример. Допустим, у кого-то дома с 1920 года лежит брошюра, изданная при белогвардейцах. Лежит один экземпляр брошюры, и владелец ее никому не показывает. Можно ли его судить по ст.58-10? По-моему, совершенно очевидно, что нет. Но тем более относится это к дневникам. Дневник пишется для себя и поэтому никак не может быть средством антисоветской агитации и пропаганды. У нас судят не за мысли, а за действия, за агитацию и пропаганду против советской власти. А агитация и пропаганда предполагает напротив, наличие лиц, которых агитируют или среди которых ведут пропаганду.

---

[136] В новом УПК это ст.26. В старом она не столь категорична. Строго говоря, прокуратура должна была бы возбудить против меня еще одно дело - совместное со Щербаковым.

[137] В новом "Комментированном УК" в п.1 комментария к ст.70 прямо высказано: "Хранение указанной литературы является антисоветской агитацией или пропагандой только в том случае, когда оно осуществляется с целью использования в дальнейшем этой литературы для подрыва или ослабления советской власти" (с.169).

Что касается дневника Пименова, то в нем столько личного, интимного, что уже из одного этого видно, что он никому не мог показывать своего дневника.

4. В обвинительном заключении говорится: в 1954 году написал статью "Судьбы русской революции", в которой..." Тов.прокурор в своей речи утверждал, что эта статья имеется в деле. Но тов.прокурор опять, вероятно запамятовал: в деле нет этой статьи, в деле имеется лишь две последние страницы статьи, перечеркнутые самим Пименовым задолго до ареста, и одна страница предисловия. По поводу этой статьи был допрошен ряд свидетелей. Все они заявили, что никаких антисоветских высказываний в статье они не видели. Все высказывания, которые квалифицируются как АНТИСОВЕТСКИЕ, - на последних двух страницах, и эту часть статьи сам Пименов признал неправильной и давал своим знакомым читать статью без этой части. Таким образом, и по этому эпизоду отсутствует состав преступления.

5. Далее в обвинительном заключении говорится: "В мае 1956 г. Пименов написал статью «По поводу речи Н.С.Хрущева», в которой..." В оценке этой статьи я расхожусь с моим подзащитным. Здесь есть отдельные антисоветские высказывания. Что представляет собой эта статья? Это - реакция Пименова на доклад Н.С.Хрущева "О культе личности и его последствиях", который произвел на Пименова громадное впечатление. В этой статье немало правильных высказываний. Например, возьмем такое высказывание, занимающее важное место в статье: "Должны нести ответственность соратники Сталина". Разве это - антисоветское высказывание? Год назад, пожалуй, оно могло многим показаться неправильным, но сейчас, после июньского пленума ЦК КПСС совершенно ясно, что оно правильно, а уж тем более - не является антисоветским. Кроме того, следует учесть еще следующее. В период после XX съезда партии, особенно в апреле-июне 1956 года среди многих коммунистов, особенно за рубежом, наблюдались элементы растерянности и неправильного понимания вопросов, связанных с критикой культа личности. Я имею в виду не ревизионистов, а честных, преданных коммунистов. В качестве примера можно привести тов.Тольятти, который, несомненно, является верным коммунистом и другом СССР. Как известно, тов.Тольятти допустил отдельные неправильные высказывания в связи с критикой культа личности, в частности, он говорил о перерождении или элементах перерождения социалистического строя в СССР. Несмотря на это, никто не считает тов.Тольятти антисоветчиком. А ведь казалось бы, тов.Тольятти - при его возрасте, опыте революционной деятельности, знаниях и осведомленности - намного легче правильно понять те или иные явления политической жизни, чем Пименову.

6. В следующем пункте обвинительного заключения говорится о том, что в ноябре 1956 года Пименов написал тезисы "Венгерская революция", в которых с антисоветских позиций нападал на внешнюю политику СССР, эти тезисы он напечатал на машинке в нескольких экземплярах и раздал своим знакомым. Что можно сказать об этих тезисах? Они ошибочны, конечно. Пименов разделял неправильные взгляды тов.Тито на сущность венгерских событий.

Тут прокурор говорил, что Пименов рисуется, когда говорит, что при первых сообщениях о событиях в Венгрии у него было

желание самому броситься под советский танк, если б это могло хоть чем-то помочь восставшим. Нет, Пименов не рисуется! Его реакция на эти сообщения действительно была исключительно бурной! Особая острота реакции снова объясняется его психопатичностью. Существенные реакции вызваны непониманием действительного характера венгерских событий, которое укрепилось в нем, а может быть и появилось, при чтении статей зарубежной коммунистической печати.

Когда Пименов будет на свободе, он, несомненно, поймет свою ошибку, хотя сейчас он этого не помышляет.

Статья, бесспорно, криминальная.

7. Перехожу к следующему пункту. Пименов в ноябре 1956 года написал и разослал нескольким десяткам депутатов Верховного Совета СССР письма, в которых просил депутатов внести на ближайшей сессии Верховного Совета СССР проект резолюции, осуждающую решение правительства о введении советских войск в действие в Венгрии и запрещающий в будущем использование советских войск за границей без решения Верховного Совета СССР. Этот пункт как криминальный, по моему мнению, надо отвергнуть. Неотъемлемым правом каждого гражданина является изложение своих мнений и предложений вплоть до высших органов государственной власти и государственного управления. Как можно считать антисоветской пропагандой высказывание своего мнения в письме депутату Верховного Совета? Если так, его депутаты не будут иметь права знать мнения избирателей, даже и неправильные. Вероятно, депутаты Верховного Совета СССР сами сумеют разобраться в том, какие мнения правильны, а какие нет. Мне кажется, кроме того, что, получив неправильное письмо, депутат должен был разъяснить автору ошибочность его точки зрения. Однако за исключением Бакулева - президента Академии медицинских наук - ни один депутат вообще не ответил Пименову, и неизвестно, что они сделали с письмами Пименова. Лишь Бакулев прислал Пименову ответ, рекомендующий ему прочесть письмо Н.А.Булганина Эйзенхауэру. После ответа Пименова, что такая ссылка неубедительна и лишь свидетельствует о том, что депутаты привыкли во всем придерживаться мнения председателя Совета Министров, Бакулев прислал новый ответ: "Оба Ваших письма пересланы мною в Президиум Верховного Совета СССР". Это, пожалуй, правильно: не сумел убедить сам - пересылает переписку в Президиум. Но как реагировали остальные депутаты? Это Пименову осталось неизвестным. Они не потрудились даже подтвердить получение письма и сообщить, куда они его переслали, если они решили сами не отвечать.

8. "В марте 1957 года Пименов написал статью «Что такое социализм», в которой...” По этому эпизоду у прокурора нет убедительных доводов. Прежде всего, в деле нет статьи "Что такое социализм", а есть неоконченный черновой набросок, начинающийся словами "Что такое социализм?".

Прокурор сказал здесь по поводу этой статьи: "Общий тон ее - в непартийном духе”. Но разве этого достаточно, чтобы признать статью антисоветской? Конечно, нет.

Правда, в ходе предварительного следствия было заключение так называемой "экспертной комиссии", но на него обвинительное

заключение не ссылается, и совершенно правильно, так как это "заключение экспертной комиссии" совершенно смехотворно.

9. Летом 1955 года Пименов - по утверждению обвинительного заключения - пытался организовать антисоветскую группу в Москве и с этой целью дал своей знакомой Машьяновой поручение организовать вокруг себя людей.

Здесь ничего не доказано. Имеются лишь одни предположения. Главный аргумент прокурора состоит в том, что Пименов дал Машьяновой книгу Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир", которая была в то время запрещена, и поручил ей искать "нестандартных людей", которые интересовались бы подобными книгами. Действительно, в то время книга Джона Рида была в списке книг, не подлежащих использованию в массовых библиотеках. Но ведь сейчас она издана двухсоттысячным тиражом. Известно, как высоко оценивал эту книгу В.И.Ленин. Как же может чтение такой книги или рекомендация прочесть ее быть опасным? Неужели можно считать опасными людей, которые интересуются подобными книгами?!

Насчет "нестандартных людей", что, по утверждению прокурора, означает "людей с нестандартными взглядами", вы слышали показания свидетельницы Машьяновой. Она говорит, что ее привлекали люди с нестандартными интересами. Нестандартные интересы и нестандартные взгляды - это не одно и то же. Тем более необоснованно утверждение о намерении через Машьянову организовать антисоветскую группу в Москве. Я уж не говорю о том, что такое утверждение не согласуется с тем, что обвинение предоставило нам Машьянову как вполне добропорядочного свидетеля, такого, который сам ни в чем не замешан.

10. Цитирую то, что говорит обвинительное заключение в следующем эпизоде: "В ноябре-декабре 1956 года Пименов организовал на своей квартире несколько антисоветских сборищ с участием Шейниса, Назимовой, Гальперина, Кудровой, Лейтман, Вербловской, на которых обсуждались написанные Пименовым тезисы "Венгерская революция". В результате обсуждений Шейнис написал антисоветскую статью "Правда о Венгрии", которую Пименов напечатал в нескольких экземплярах и дал свои знакомым Корбуту, Зубер-Яникун, Кузнецову и др."

Прежде всего, ни Корбут, ни Зубер-Яникун не подтвердили этого утверждения. Кто такие “и др."? Таким образом, утверждение о том, что Пименов распространял "Правду о Венгрии" - опровергается.

11. "В период с октября 1956 по март 1957 года организовал у себя на квартире сборища антисоветского характера с участием Заславского, Вербловской, Зубер-Яникун, Корбута, Орловского, Желнова, Шрифтейлик, Дубровича, Таировой, Райскина, Кудрявцева, на которых в антисоветском духе излагал историю революционного движения и прививал мысль о необходимости борьбы с советским строем."

Действительно, на квартире Вербловской время от времени собирались знакомые Пименова и обсуждали разные вопросы. Никакой организованной группы не было. Никогда все названные лица не собирались вместе. Один раз приходили одни, другой - другие. Обсуждались разные вопросы, выслушивались доклады на различные, главным образом исторические, темы. Нередко,

действительно, обсуждение велось в непартийном духе. Но утверждение, будто "Пименов прививал мысль о необходимости борьбы с советским строем", неверно! Этого никогда не было! Наоборот, Пименов переубедил Вайля. Прежде Вайль считал, что капитализм лучше социализма. Пименов убедил Вайля, что лучшим общественными строем является социализм, хотя, может быть, и не совсем в такой форме, как у нас.

Главный аргумент тов.прокурора по этому эпизоду: “Они там говорили обо всем о чем угодно, а значит - и о борьбе с советской властью. Мы же не стенографировали, нас при этих разговорах не было". Такие рассуждения по меньшей мере несерьезны.

12. Пименов был инициатором, организатором и руководителем антисоветской организации в Библиотечном институте.

Это тоже не доказано.

Действительно, 5-10 студентов Библиотечного института провели четыре собрания с участием Пименова. Но о чем говорилось на этих собраниях? До 21 декабря не было ничего нелегального. Разговор шел о соцреализме, о необходимости расширения прав местных советов и т.п. Причем подчеркивали, что борьба за демократизацию должна вестись в строгих рамках закона, исключительно легальными средствами: путем писем в газеты, в издательства, депутатам и т.д. Разве такая деятельность является незаконной, а тем более - преступной? В ней нет ничего антисоветского.

После 21 декабря стихийно возник вопрос о переходе на нелегальность. Когда эти ребята услышали об аресте Красовской без каких-либо серьезных оснований, у них возникла мысль: нас тоже могут арестовать. Стали раздаваться голоса: давайте перейдем на нелегальщину. Это основная ошибка Пименова, что он согласился. За одни "венгерские тезисы" и послесловие к докладу Н.С.Хрущева его, вероятно, не посадили бы. Вызвали бы его, побеседовали бы, но арестовывать его за одно это было бы явно нецелесообразно.

За руководство же нелегальной группой в Библиотечном институте и за подготовку листовки он должен, конечно, отвечать.

Но я ставлю вопрос: по какой статье УК он должен за это отвечать? По мнению прокурора - по ст.58-11. Я с этим не согласен. Организации не было, были одни разговоры об организации. Поэтому создание группы с целью выпуска листовки, где утверждалось, что наши выборы недемократичны и т.д., - это, конечно, криминал. Такие деяния предусмотрены ст.58-10 ч.1 УК. Правда, в ст.58-11 говорится не только об участии в организации, но и о "всякого рода организационной деятельности". Но судебная практика никогда не квалифицирует действия обвиняемого по этой статье, если обвиняемый один. Эта статья инкриминируется лишь при наличии организации, хотя по буквальному тексту прокурор прав. Вопрос о квалификации действий Пименова не имеет существенного значения для определения меры наказания Пименову, ибо, как вы знаете, ст.58-11 не имеет собственной санкции. Я говорю чисто теоретически, добиваясь лишь юридически правильной оценки действий Пименова.

13. "Сбор провокационной и клеветнической информации." В обвинительном заключении говорится, что собирались клеветнические факты. В своей вчерашней речи прокурор говорил

несколько иначе: "тенденциозные". Это совсем другое дело. С этим я могу согласиться, факты не могут быть провокационными или клеветническими. А Пименов постоянно говорил: меня интересуют факты, а не слухи.

Другое дело, что можно факты тенденциозно, односторонне подобрать. Этим, действительно, занимались Пименов и ряд его знакомых. Безусловно, это нездоровая, ненужная работа, но не преступная. В этом эпизоде нет ничего, что подходило бы под ст.58-10.

Другое дело, что кое-кто из свидетелей занимался сочинением вымыслов. Так, например, Вишняков измышляет "факт", будто на Дальнем Востоке - простите, в Медвежьегорске - "военно-полевой суд" приговорил четырех рабочих к расстрелу. Какие цели преследовал при этом Вишняков, неизвестно; можно думать - провокационные цели. Во всяком случае, когда суд его спросил, зачем он это сделал, он ответил: хотел посмотреть, как Пименов будет реагировать. Вообще, этот Вишняков - странная личность. Хотя он проходит по делу как свидетель, он играл на собраниях очень активную роль, выдвигал самые радикальные предположения и т.п. Он собрал с товарищей членские взносы "на организацию". Правда, сумма была небольшой, и он ее сразу пропил, но все же остается фактом, что он собирал эти деньги, причем даже с угрозами "доложить в некий центр". Ну, то, что деньги он пропил, это, пожалуй, и правильно: что еще можно было сделать с деньгами, собранными на подобные цели!

14. Обвинительное заключение обвиняет далее Пименова в том, что в январе 1957 года, при отъезде Вайля на каникулы в Курск, Пименов передал через него Данилову антисоветские тезисы и программу и поручил Вайлю вовлечь Данилова в антисоветскую организацию. Как я уже говорил, организации не было, и утверждение о том, что Пименов поручил Вайлю вовлечь Данилова в эту организацию, не доказано.

Что говорилось в этой так называемой "программе"? (Вряд ли можно этот клочок бумаги с отрывочными бессвязными записями именовать "программой".)

Основное место в ней занимает лозунг: "Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, культура - интеллигенции". Нельзя сказать, чтобы этот лозунг был очень вразумительным. Но разве есть в нем что-либо антисоветское? Конечно, нет. Скорее можно возразить на него с другой стороны: лозунг бессмысленный, ибо он уже осуществлен у нас, и его незачем выдвигать.

Чего же хотел Пименов, выдвигая этот лозунг? Хотел ли он действительно восстановления капиталистического строя, как утверждает тов.прокурор? Конечно, нет. Мне кажется, суд убедился в том, что Пименов ни в коем случае не стремился к реставрации капитализма. Тем более абсурдно его обвинять в этом на основании лозунга "Земля - крестьянам, фабрики - рабочим, культура - интеллигенции". Разве при капитализме этот лозунг выполнен? Разве там, например, фабрики принадлежат рабочим?

Как же понимал этот лозунг сам Пименов? Мы спрашивали его об этом здесь. Оказалось, что вполне четкое понимание этого лозунга у него отсутствует. Наиболее ясно он изложил свое понимание второй части своего лозунга: "фабрики - рабочим".

Оказалось, что он понимает под этим желательность создания на предприятиях рабочих советов по типу примерно югославских. В отношении земли он говорил более сбивчиво, примерно в том смысле, что конкретные формы организации труда в сельском хозяйстве и формы пользования землей должны быть более гибкими, с учетом пожеланий самих крестьян и особенностей экономических районов. В частности, он говорил, что, возможно, целесообразно шире развернуть сеть совхозов за счет колхозов и ссылался при этом на опыт Китая. В отношении третьей части лозунга он пытался показать на примерах, как он ее понимает. “Я хочу, - говорил он, - чтобы, скажем, об опере выносил решение не ЦК партии, а сами композиторы; скажем, съезд композиторов. Ведь большинство членов ЦК и работников ЦК - люди, некомпетентные в музыке. Как же они могут, - говорил Пименов, - выносить решение об опере?”

Мы видим, таким образом, что Пименов сам не представляет себе ясно содержание своего лозунга. Он во многом ошибается. Я бы передал этот лозунг на рассмотрение "Общества сумасшедших на свободе", о котором здесь много говорилось. Однако я решительно не понимаю, что же видит прокурор в этом лозунге антисоветского?! Независимо от того, целесообразно ли вводить у нас рабочие советы, разве может мнение о том, что их целесообразно ввести, считаться антисоветским? Такие советы существуют в социалистической Югославии. Они существуют, хотя и с несколько иными функциями, в Польской народной республике. Неужели может считаться антисоветским мнение о желательности развития системы совхозов или о необходимости учета особенностей экономических районов, что сейчас общепризнано!

Я считаю, что по этому эпизоду в действиях Пименова состав преступления отсутствует.

15. Попытка выпуска антисоветской листовки в связи с выборами в местные Советы депутатов трудящихся.

Как я уже говорил, я этот эпизод признаю и считаю, что Пименов должен нести за него ответственность.

16. Попытка создания антисоветской нелегальной организации в ЛИСИ через студента этого института Кузнецова. Как Пименов, так и Кузнецов категорически отрицают это. Никаких других доказательств нет. Таким образом, этот эпизод не доказан.

Таким образом, резюмирую. Из числа эпизодов, инкриминируемых Пименову, я признаю:

1. Написание и распространение послесловия к докладу Н.С.Хрущева.

2. Написание и распространение тезисов "Венгерская революция".

3. Деятельность Пименова после 21/XII-1956 г.; в первую очередь - по подготовке листовки.

По всем остальным эпизодам в действиях Пименова, по моему мнению, совершенно отсутствует состав преступления.

Самый важный в настоящем процессе вопрос - это вопрос о формировании взглядов Пименова. Действительно, как могло случиться, что молодой человек, родившийся в 1931 году, спустя 14 лет после Октябрьской революции, воспитывавшийся комсомолом, окончивший советскую школу и советский университет, совершил антисоветские преступления? Мы имеем много материала для

выяснения этого вопроса. Помимо показаний самого Пименова и свидетелей, в распоряжении суда находятся дневники, письма и другие рукописи Пименова.

Детство его прошло в Магадане. Там он рано узнал о всех "прелестях" ежовщины, о массовых незаконных репрессиях честных советских граждан. Он видел возмутительное, жестокое обращение с людьми. Вы слышали о страшной картине, которую он видел в бухте Нагаево, когда заключенных с целью погрузки на судно связывали в тюки и переносили на пароход краном. А подобные картины встречались в Магадане нередко. Конечно, все это оставило глубокое впечатление у Пименова, как и у многих, проживавших там. Недаром в Магадане бытовала поговорка, что там живут "бывшие заключенные, настоящие заключенные и будущие заключенные".

Исключительно тяжело Пименов переживает разрыв между отцом и матерью. Он считает, что его отец неправ по отношению к матери. В конце концов он уходит из семьи и уезжает в Ленинград, где живет один. Лишь значительно позже сюда приезжает мать.

В Ленинграде Пименов вступает в комсомол. Его охватывает жажда знаний, он много читает. Друзей у него нет, друзья - книги. Он - человек редкой работоспособности. За несколько лет он изучил ряд иностранных языков. С этой целью он ежедневно просыпался в 6 часов и до школы, или позже до университета, занимался языками. Я был прямо растроган, когда прочел в его дневнике слова: "Я разложился", когда в день, когда он накрывался одеялом (обычно он спал под одной простыней), не встал в шесть утра.

Он изучает философию, историю общую и историю революционного движения и другие науки. Он внимательно прочитывает многие произведения В.И.Ленина, читает много книг об Октябрьской революции. И он не мог не заметить, например, резкого противоречия между изложением истории Октябрьской революции в книге Джона Рида, получившей исключительно высокую оценку В.И.Ленина, и изложением в “Кратком курсе истории КПСС". Он видел, что в печати замалчиваются, а то и оправдываются различные извращения, распространенные в тот период. Конечно, ему трудно было отделить извращения системы от самой системы. И, видя различные беззакония, он ошибочно полагал - такова система.

В 1949 году он записывает в дневнике: "Считаю неправильным разрыв с Югославией". Он много путешествует по Кавказу, конечно, отчасти подражая Горькому, пытаясь изучить жизнь. При этом, он узнает о "мингрельском деле"[138], о выселении целых наций и т.п. Он видит проявления антисемитизма и глубоко возмущен им. Он приходит к своему духовному наставнику, очень уважаемому им человеку, руководителю дипломной работы Пименова, члену-корреспонденту АН СССР, ректору университета А.Д.Александрову. Он спрашивает его, действительно ли у нас имеются проявления антисемитизма и как к этому относится Александров. Ответ Александрова был хотя и искренним, но не удовлетворил и не мог

[138] Мингрельское дело: 1951-1952 годы. Арестованы - секретарь ЦК КП Грузии Барамия и другие столь же высокопоставленные государственные и партийные деятели Грузии. Обвинялись в сношениях с французскими меньшевиками на предмет отделения Грузии и в т.п. экзотике. Реабилитированы в марте 1953 года с личными извинениями Берия. Подробнее см.гл.4, §§6,12, гл.5, §15, где рассказано о Шарии П.А., арестованном в 1952-м, выпущенном в 1953-м и арестованном в 1953 году.

удовлетворить Пименова, ибо этот ответ исходил опять из положения об ответственности целых национальностей за действия отдельных лиц, принадлежащих к этой национальности; положения, которое Пименов считал очень порочным. Он знакомится с анархизмом Кропоткина. Под влиянием Кропоткина он приходит к выводу, что не имеет права мириться с существующими беззакониями и молчаливо соглашаться с ними. Он ищет возможность сделать какой-либо жест, показывающий, что он не может полностью соглашаться со всем, что тогда было. В результате он подает заявление о выходе из комсомола. Результатом было помещение его в психиатрическую больницу. После выхода из больницы - опять одиночество. Но во избежание вторичного помещения в психиатрическую больницу восстанавливается в комсомоле.

В этот период Пименов обращается к произведениям Ницше. Вместе с тем Пименов пишет чрезвычайно ценные научные труды - работы по математике. Одну из них он докладывал в 1956 году на Всесоюзном математическом съезде. Уже после ареста Пименова пришло на его имя приглашение от Академии наук СССР сделать доклад на совещании по космогонии.

В 1953 году Пименова исключают из комсомола и из университета "за крайний индивидуализм". После ряда обращений в Министерство высшего образования он восстановлен в университете. Пименов забыл, что "нельзя объять необъятное".

После XX съезда Пименова охватила бурная радость. Партия сама исправляет беззакония, допущенные в период культа личности. Значит - вина не системы, а одного человека и, быть может, тех, кто ему помогал. Он говорил, что "правительство идет впереди народа" в деле исправления последствий культа личности. Надо всемерно поддержать в этом правительство, не допускать, чтобы консервативные люди тормозили это.

После XX съезда Пименов развертывает бурную деятельность: записывает и распространяет доклад Н.С.Хрущева о культе личности, переводит интервью Тольятти, статьи из польских журналов, пишет статьи об историческом романе, о социалистическом реализме и др. Все это он печатает на машинке, распространяет, статьи посылает в журналы и т.п. Это требовало колоссального труда. И заметьте, вся эта деятельность не контрреволюционная. Ничего из того, что я перечислил, не вменяется в вину Пименову. Если бы не венгерские события, мы, очевидно, с ним здесь не встретились бы.

Имеет ли Пименов твердые политические убеждения или его убеждения неустойчивые и меняются? Совершенно ясно, что его убеждения неустойчивы. На него производят большое впечатление те или иные отдельные события, как вы слышали от эксперта-психиатра. После XX съезда убеждения Пименова изменились в направлении поддержки правительства, но венгерские события опять сбили его с правильной позиции.

Если одиночка взбирается на крутую гору, он может оступиться и даже сорваться. Пименов оступился после 23/X и сорвался после 21/XII. Сейчас он должен произвести переоценку всех ценностей, и тогда он станет полезным для общества человеком, взойдет все-таки на гору. Пименов может еще сделать очень много

полезного для советского общества. Я прошу приговорить его к наказанию, не связанному с длительным лишением свободы”.

На этом Райхман закончил свою речь. В ней появилось наконец то, что я считал первоочередным для политического обвинения: он стал анализировать основания квалификации того или иного моего высказывания в качестве "антисоветского". Ситуация сложилась парадоксальная с точки зрения юридической: прокурор и предварительное следствие ДЕКЛАРИРОВАЛА антисоветскость, а защитник доказывал НЕантисоветскость. Юридически, казалось бы, должно было быть наоборот: ПРОКУРОР ДОКАЗЫВАЕТ виновность, а защитник декларирует невиновность, используя реальные или надуманные слабости доказательств прокурора - впридачу. Казалось бы, именно так должно было бы быть, если бы всерьез принималась презумпция невиновности, о которой как раз тогда начали писать юридические журналы[139]. Особенно внимательно относиться к ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ АНТИСОВЕТСКОСТИ следовало бы в такие переходные периоды, когда прямо на глазах менялась оценка материальных фактов: книга Джона Рида в начале следствия изымалась как улика антисоветскости, а к моменту суда, однако, была выпущена Госполитиздатом массовым тиражом; брань в адрес Сталина воспринималась всеми свидетелями в 1954-1955 годы как проявление антисоветских настроений, а в 1956-1957 годах была политически похвальным поступком. Но, как я довольно скоро узнал в лагерях, даже такой анализ доказательств антисоветскости являлся чем-то исключительным в практике правосудия. Чаще всего - рассказывали мне[140] - то, что следствие назвало антисоветским, признается без дальнейших околичностей антисоветскостью и прокурором и адвокатом. Если адвокат и защищает подсудимого не так, как войдущие в историю адвокаты Брауде и Коммадов[141], то он стремится доказать, что МАТЕРИАЛЬНО данного эпизода не было, не вникая в КВАЛИФИКАЦИЮ эпизода. Например, если инкриминируется "антисоветский разговор в общественном месте", то защитник не высасывает меру антисоветскости в анекдоте о мясе, а приведет доказательства того, что его подзащитный данного анекдота в данной очереди не рассказывал. Посему ВСЕ, кому я в лагерях ни повествовал о своем процессе и о защитнике, почитали меня первостатейнейшим лгуном.

Как видно, адвокат в точности следовал своей установке: он не разделял моих взглядов, будучи членом той самой партии, нападки на которую содержались в ряде моих статей. Обращу внимание, как корректно по отношению к Шейнису сформулировал Райхман в п.12 мою защиту. Он не от себя утверждает, что Шейнис - автор, а цитирует обвинительное заключение. Он, ни словом не акцентируя авторство Шейниса, также дает понять, что в этом эпизоде мне можно инкриминировать только распространение, а не авторство. В речи Шафира был совсем иной стиль: он ради защиты Заславского

---

[139] С тех пор презумпция невиновности вошла в УПК, это ст.20.

[140] См. также рассказы о суде над моим отцом в гл.5, §7.

[141] И.Д.Брауде и Н.В.Коммадов делались защитниками тех подсудимых на всех политических процессах, начиная с процесса "Правотроцкистского блока", которые не отказывались от права на защитника. Они соревновались с обвинителем в изобличении преступной мерзости своих подзащитных.

топил и чернил и Шейниса, и Пименова, и кого хошь. В п.13 Райхман "замялся": обличая Вишнякова, он договорился до того, что угроза последнего "доложить в центр" была эффективным средством вымогать деньги. Но это же - осознал он с ужасом, выговаривая идущие на язык слова, - служит решающим доказательством того, что ОРГАНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВОВАЛА, но по крайней мере, по субъективному восприятию десятка студентов Библиотечного института. И вот шуточкой насчет пропивания денег Райхман наскоро замазывает свой ляп и торопится перейти к следующему эпизоду. Тогда я не слишком хорошо понимал, что имеет в виду защитник, когда в конце п.14 говорит про "общепризнанность" учета особенностей организации экономических районов. Ну, я-то извечно был и остаюсь сторонником широкой хозяйственной самостоятельности территориально-экономических регионов (против московской бюрократии). Но в чем "общепризнанность"? И лишь после, приобретя в тюремном ларьке зубной порошок с этикеткой "Ленсовнархоз", я понял: ввели совнархозы! Это был важный политико-экономический шаг, который бы я приветствовал, узнай о нем своевременно. Но газет в камеру не давали. А насчет замены колхозов на совхозы я, оказывается, опередил партию и правительство примерно на четверть века: они только к концу семидесятых годов сообразили, бедненькие... Не стану комментировать других мест Райхмана. Конечно, он очень многое переврал, перепутал, даже восхваляя меня. Но в целом, исключая отдельные штрихи, я не пожалел, что не отказался от защитника. Во многих случаях самому защищаться труднее, нежели быть защищаему даже посторонним человеком. Суд - это один из таких случаев.

Следующим выступил защитник Бориса Вайля - адвокат С.А.Зеркин:

"Товарищи судьи!

Мое положение в известном смысле легче, чем последних защитников других подсудимых: мне не нужно анализировать труды Вайля, ибо он их пока еще не написал. Я надеюсь, что Вайль еще напишет труды, и они будут предметом рассмотрения не в суде, а в ином месте.

Тов.прокурор проводил параллель между СССР и Венгрией и утверждал, что деятельность лиц, подобных Вайлю, может привести к тому, что в СССР произойдут события, аналогичные октябрьским событиям 1956 года в Будапеште. Я считаю такую параллель совершенно недопустимой. Настоящее дело вообще не представляет сколько-нибудь значительного общественного или государственного интереса. Известно, что были крупные политические процессы, о которых подробно сообщалось в газетах. А об этом процессе, я уверен, ни одна газета не поместит ни строчки, даже в хронике. В отличие от Венгрии, Советский Союз вышел из младенческого возраста, социалистический строй существует уже 40 лет. Прошли те времена, когда спрашивали: "Нравится ли вам советская власть?" Пришло время спросить: "Нравитесь ли вы советской власти?" Чтобы убедиться в том, что настоящий процесс не имеет большого значения, достаточно сказать, что самому старшему из подсудимых 26 лет, на втором месте среди подсудимых находится 19-летний

Вайль. Можно себе представить, сколь "серьезной" была антисоветская организация, если в ее главе стоял несовершеннолетний Вайль. Ибо 18 лет Вайлю исполнилось лишь за месяц и неделю до ареста!

Перехожу к рассмотрению эпизодов, инкриминируемых Вайлю.

Первый этап - участие в составлении антисоветской листовки в 1955 году. Как это произошло? Вайль начал под влиянием некоего Невструева. Невструев значительно старше Вайля. С 15-ти лет он обрабатывал его в антисоветском духе, а затем познакомил с Даниловым, который тоже на три года старше Вайля. Втроем они слушали радиопередачи "Голоса Америки", которые, как известно, у нас иногда заглушаются. Наслушавшись этих передач, они пишут антисоветскую листовку. Но кто именно ее пишет? Пишет листовку Невструев. Т.е. он диктует, а записывает Данилов. А что делает Вайль? Вайль при сем присутствует. После этого листовка переписывается в 12 экземплярах, а затем уничтожается, причем уничтожается добровольно, что признал в своей речи тов.прокурор. Таким образом, имел место добровольный отказ[142]. По моему мнению, в действиях Вайля по этому эпизоду нет состава преступления.

Надо напомнить, что вообще обо всем, что происходило в Курске, мы знаем из показаний самого Вайля. Если Вайль об этом не рассказал бы, никто бы ничего не знал. Однако Вайль чистосердечно обо всем рассказал сам.

В 1956 году Вайль с серебряной медалью кончил среднюю школу и летом приехал в Ленинград для поступления в высшее учебное заведение. Он давно отошел от тех настроений, которые у него были в 1955 году. Весь период до декабря 1956 года мы не видим никаких предосудительных действий Вайля.

И вот в этот период Вайль знакомится с Пименовым. Пименов умелыми руками затронул те струны в душе Вайля, которые уже начали смолкать. Понятно, что Пименов произвел большое впечатление на Вайля. Подумайте сами: преподаватель института обращается к первокурснику, разговаривает с ним как с равным. А ведь известно, что Пименов умел производить впечатление и не только на таких мальчишек: он умный, эрудированный, энергичный человек.

И уже после первой встречи Вайль стал игрушкой в руках Пименова. Следует отметить ту роль, которую сыграл в знакомстве Вайля с Пименовым фельетон "Смертяшкины". Этот фельетон посвящен рукописному журналу "Ересь", издававшемуся группой студентов Библиотечного института. Вайль поместил в журнал "Ересь" всего одно маленькое, совсем далекое от политики, далекое также и от пессимизма стихотворение. О нем не стоило писать в фельетоне. Но дело в том, что все остальные авторы по понятным причинам спрятались под псевдонимом, кроме одной девушки[143]. Вайлю же не было никаких причин скрываться под псевдонимом; он подписал стихотворение своей настоящей фамилией. Таким-то

---

[142] В новом УК предусмотрено, что при наличии добровольного отказа нет уголовной ответственности (ст.16). Мотивы отказа безразличны, если только они не связаны с противодействием общества совершению преступления. В старом УК добровольный отказ был предусмотрен ст.19, и в ту пору о нем немало писали юридические журналы, настаивая оживить эту вышедшую при Сталине из употребления норму.

[143] Речь идет о Нонне Слепаковой. Позже публиковалась в СССР.

образом Вайль и попал в фельетон. Этому фельетону Вайль обязан своим знакомством с Пименовым, а в конечном счете и тем, что он оказался на скамье подсудимых.

По предложению Пименова Вайль собирает участников журнала "Ересь". Инициатива не Вайля. Вайль лишь технический исполнитель. Он лишь оповещает о предстоящем собрании. На собрании Вайль не проявляет никакой активности. Кокорев, например, значительно активнее. Вайль же вообще ни слова не говорит. К тому же, первое собрание вообще не криминальное. Там была речь о том, чтобы обращаться в издательства, в газеты, к депутатам. В этом, разумеется, нет ничего преступного. Далее следуют события 21 декабря. Эти события всколыхнули умы молодежи. За это все должны нести серьезную ответственность - не только комсомольская организация университета, но и горком ВЛКСМ. Они должны были своевременно организовать такое обсуждение. У нас в распоряжение трудящихся предоставлены прекрасные клубы, дома и дворцы культуры. И что же? Не нашлось другого места для обсуждения творчества Пикассо, кроме садика на пл.Искусств. Да и там тоже не допустили? Это же смешно! Я считаю необходимым, чтобы суд вынес соответствующее частное определение.

25 декабря происходит второе собрание в Библиотечном институте. Инициатива опять не Вайля, он лишь оповещал. Здесь впервые имеют место разговоры о нелегальной деятельности. Но разве от Вайля это исходит? И разве вообще было четкое предложение? Нет, просто были мнения, что просто так собираться теперь, наверное, нельзя: "Красовскую посадили и нас посадят?!" Никакого разговора об организации не было.

16 января Вайль уезжает на каникулы в Курск. За несколько минут до отхода поезда появляется Пименов и буквально на ходу передает Вайлю клочок бумаги с "программой" - как ее именует тов.прокурор, - хотя вряд ли ее можно так назвать. Передается также и литература, но не криминальная. Я вывожу это из того, что Пименову не ставится в вину литература, которую он передал Вайлю на вокзале.

В Курске Вайль по поручению Пименова говорил с Даниловым. В обвинительном заключении говорится, что он привлек Данилова к контрреволюционной деятельности и вовлек его в конрреволюционную организацию. Однако это утверждение неверно. Вайль не мог привлечь Данилова к контрреволюционной деятельности по той простой причине, что Данилов ею уже занимался. И Вайль об этом знал. В контрреволюционную организацию Вайль завлечь Данилова также не мог, ибо в это время не только не было никакой организации, но не было даже разговоров об организации. Такие разговоры начались лишь в феврале. Да и тогда были лишь разговорами о необходимости организоваться. Как только возник разговор о целях, о "программе", все сразу распалось.

Я считаю, что организационная деятельность может признаваться лишь при наличии организации. А здесь были лишь разговоры об организации, а организации не было. Поэтому я считаю, что ст.58-11 неприменима к Вайлю. Хотя, как известно, это чисто юридический вопрос, не имеющий значения для определения

меры наказания, я все же хочу, чтобы действия Вайля были правильно квалифицированы.

В начале февраля происходит третье собрание. Оно начинается в одной из аудиторий института, а затем переходит на Марсово поле. Это - единственный раз, когда Вайль хоть что-то сказал. Бубулис говорил о том, что происходит в Литве, а Вайль - в Курске. Он говорит, что в Курске очереди за хлебом, что в каком-то колхозе колхозники три дня не работали, ожидая роспуска колхоза (это со слов Данилова), что 550 человек, оканчивающих среднюю школу, не попали в вузы. Не доказано, что информация Вайля была неправильной, а тем более умышленно ложной. Вообще из всех выступавших на третьем собрании неправильную информацию сделал лишь Бубулис. Никакой Вайль "клеветнической информации" не передавал. Они хватались за отдельные, может быть и подлинные, факты; злорадствовали. Смягчающим обстоятельством служит еще и то, что Вайль не выпускал эту информацию в свет. Он передал ее Пименову, который должен был ее проверить, совместить с другими сведениями. Стремления наврать не было.

Четвертое, последнее собрание происходит 19 февраля, в день совершеннолетия Вайля. Доклад делает Кудрявцев. Все выступали, кроме Вайля.

То, что не было никакой организации, видно хотя бы из того, что кружок непостоянный. Например, Палагин был на первом и втором собраниях, а на третьем и четвертом не был, и никто не интересовался в чем дело, не "предатель" ли он. Бубулис, наоборот не был на первом и втором собраниях. Пришел на третье: "Можно послушать, о чем вы говорите?" И его без возражений пустили.

Как квалифицировать действия Вайля? Как я уже сказал, ст.58-11 не имеет отношения к Вайлю. Состав преступления, предусмотренного ст.58-10, в действиях Вайля, безусловно, есть. Для этого достаточен уже факт хранения в течение недолгого времени послесловия к докладу Н.С.Хрущева о культе личности.

Но сравним Вайля со свидетелями. Вайль ничего не писал, не проявлял никакой инициативы, не вырезал из газеты букв для составления листовки. На "ответственнейшем", по словам прокурора, собрании у Пименова 13 февраля Вайль также не был.

Среди свидетелей есть человек, который на всех собраниях выступал с самыми "радикальными" предложениями. Он не только настаивал на издании листовки, но и предлагал, что одну листовку он отнесет в милицию, чтобы отвести подозрения. Он говорил о необходимости делать отметки в телефонных будках, чтобы узнать, не арестованы ли другие. Говорил о вооруженной борьбе. О том, что в случае необходимости можно устроить для Пименова и других эмиграцию в Финляндию и т.д., и т.п.

И вот все эти свидетели на свободе. Они приходят, отмечают повестки и уходят. Оказывается, следственные органы считают нецелесообразным привлекать этих свидетелей к ответственности, несмотря на наличие в их деятельности состава преступления. Я это говорю не потому, что добиваюсь ареста этих свидетелей, а лишь для того, чтобы суд мог решить, больше ли виноват Вайль, чем эти свидетели.

Вайль намного честнее многих свидетелей. Адвокат Райхман говорил тут о собранных Вишняковым десяти рублях, что это,

пожалуй, и правильно, что он их пропил: что еще можно было с ними сделать? Я не могу с этим согласиться. Вишняков вытребовал эти деньги с большим трудом, угрозами, "доложить в центр". Оказывается, все это говорилось лишь затем, чтобы выманить у товарищей деньги, а затем снести их в пивную. Моральный облик Вайля намного выше морального облика такого свидетеля.

Еще в одном проявляется политическая честность Вайля: он имел очень широкую международную переписку со многими странами. И вот в своей переписке с иностранцами он очень энергично отстаивает нашу позицию, нашу демократию, хотя он с ней и не согласен. Он относится к советской власти, как мать к ребенку. Мать сама может ругать ребенка, но пусть только попробует его задеть кто-либо посторонний: она сразу встанет на его защиту!

Вайль очень легко поддался внушению. Свидетель Ронкин из Курска говорил на предварительном следствии: "Вайля легко можно было убедить, он безоговорочно соглашался". Вайль говорил на следствии: "Я безгранично верил "Голосу Америки". Когда на следствии ему доказали, что радиопередачи типа "Голоса Америки" - ложь (скажем, в Хабаровске нет такого института, о якобы волнениях в котором говорил "Голос Америки"), Вайль сразу перестал верить "Голосу Америки". Он заявил: "Я в корне меняю свое отношение к передачам "Голос Америки". Вайль не способен лицемерить. Ему можно верить, когда он говорит, что пересмотрел свои взгляды. Суд поможет Вайлю выбраться из лабиринта ошибок на широкую светлую дорогу.

Н.С.Хрущев говорит: "Главное не то, что человек делал вчера, а - на что он способен завтра". С этой точки зрения и надо подойти к Вайлю. Вайль оказал народу медвежью услугу. Но он много может сделать для народа. Если ему дадут возможность вернуться в институт, из него получится Человек с большой буквы.

Я могу привести еще целый ряд аналогичных смягчающих обстоятельств: несовершеннолетие, отсутствие прошлой судимости, отсутствие собственной инициативы и т.д. Эти обстоятельства совершенно ясны и не нуждаются в каких-либо пояснениях.

Я прошу суд дать возможность Вайлю вернуться в институт, т.е. приговорить его к условному наказанию".

Записей речей других защитников в моем распоряжении нет. Защитником Данилова выступил Лившиц со столь же бледной речью, как бледна была роль Данилова на процессе. Он отводил 58-11, все валил на Невструева и Вайля, интеллигентов, вредно влиявших на рабочего. Просил условного приговора. Защитником Иры Вербловской выступала какая-то приятельница ее покойной матери - Кугель. Она перевирала обстоятельства дела и скорее слегка повредила подзащитной, нежели помогла. В основном она расписывала, какая Ира хорошая и замечательная. На меня ничего не валила, подчиняясь категоричному запрету Иры. Напротив, доказывая, что Ира - чудесный человек, произнесла невпопад в мой адрес: раз ее муж такой прекрасный, то может ли Вербловская быть преступницей?! Требовала оправдать Иру безусловно. С ней связана забавная оговорка. Цитируя - в защиту Вербловской - В.И.Ленина,

Кугель указала источник: "Собрание сочинений, том такой-то, лист дела такой-то".

С блестящим ораторским мастерством произнес речь-фейерверк адвокат Шафир, защищавший Игоря Заславского. Его задача облегчалась тремя обстоятельствами: 1) против Игоря практически не было улик, свидетельствовавших бы о том, что он ВЫЯВЛЯЛ ВОВНЕ свои, пусть вредные, взгляды; 2) Игорь недвусмысленно заявил об отказе от любой деятельности "против", приурочив датировку своего отказа к нашей ссоре 27 января[144]; 3) в защиту Игоря активно выступил доктор физико-математических наук Николай Александрович Шанин. Об этом надо рассказать поподробнее.

В июне-июле, по-видимому, после срыва заступничества Шапиро -Соломяка - Даугавета, Шанин, хорошо знавший и меня, и Заславского с первых курсов (но Игорь работал у него, а я - нет), написал на имя Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева длинное послание о роли И.Д.Заславского с первых курсов в науке, советской и мировой. Помню явно выраженное в письме нежелание брать на себя неподобающие функции и судить о преступности-непреступности деяния Заславского. Мастер математической логики, рекомендовавший мне в 1951 году для штудирования "Эристику, или науку спорить" Шопенгауэра, Н.А.Шанин мотивировал свое заступничество так. Идет борьба между советской и американской школами математической логики и конструктивного анализа. Борьба очень напряженная, где каждое сражение выигрывается ценой исключительно трудных, сверхчеловеческих усилий. Если пропустить месяц-два, то соперники могут обогнать бесповоротно. Во всяком случае - потребуются многие годы, чтобы их догнать. Одним из самых активных солдат на этом фронте войны наук советской и американской являлся Заславский. Без него, опытного полководца конструктивизма, нам не выиграть битв. Пока еще обучишь другого новобранца!.. Нужен, НАУКЕ НУЖЕН, ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ нужен именно Игорь Заславский. Поэтому если, как он, может быть, того и заслуживал, его приговорят к лишению свободы, то я, доктор Шанин, прошу Вас, товарищ Хрущев, создать Заславскому такие условия, чтобы он мог по-прежнему контактировать с учеными и давать им указания, как выигрывать сражения. Н.С.Хрущев переслал письмо в ленинградскую прокуратуру. Она, конечно, не зачитывала его на суде. Более того, протестовала против ходатайства о приобщении к делу извещения Прокуратуры РСФСР о том, что письмо Шанина передано в прокуратуру Ленинграда. Суд удовлетворил протест. Но копию самого послания суд разрешил зачесть адвокату Шафиру, приобщив его к делу. В своей речи он обыгрывал ценность Заславского и просил освободить подзащитного.

Были реплики прокурора на речи адвоката и последующие ответы защитников на реплики обвинителя.

Пятого сентября мне предоставили произнести последнее слово. Я было начал его говорить быстрее, темпераментно, как всегда. Но запоздниился секретарь суда, и Райхман ходатайствовал,

---

[144] Это не было полной фальшью: Игорь Заславский заявил мне полный отказ от какой бы то ни было политической деятельности впредь; было это в “воронке” числа 27-29-го августа 1957 года. И вроде бы, уехав потом в Армению, он сдержал это намерение.

чтобы председатель остановил слушание до ее прихода. В ожидании - минуты две-три - он подошел ко мне и объяснил, что в отличие от адвокатских речей, которые не протоколируются и не попадают в судебное дело, последнее слово непременно записывается секретарем и подшивается в дело. Поэтому его надо произносить с расстановкой, вразумительно, дабы секретарь (не стенограф!) сумел записать.

Памятуя это, я после возобновления судебного заседания начал медленнее, с паузами, как ответственную лекцию:

"Прежде всего я хочу возразить на некоторые места в речи гражданина государственного обвинителя, младшего советника юстиции прокурора Демидова. Гражданин государственный обвинитель младший советник юстиции прокурор Демидов зачитывал тут мое письмо к отцу от 1954 года. Это, конечно, его право. Но неправильно характеризовать мой облик на основании одного этого письма. Я уже говорил, что это письмо написано в определенном, преходящем настроении и совсем не выражает моих действительных взглядов. Я полностью от этого письма отказываюсь.

Далее гражданин государственный обвинитель называл меня мракобесом и пытался вывести мои политические взгляды из философии Ф.Ницше. Но это - попытка с негодными средствами. Да, с негодными средствами, ибо мое заявление о выходе из комсомола подано в 1949 году, а с произведениями Ницше я впервые ознакомился лишь через несколько лет после этого.

Теперь перейду к тем эпизодам, которые мне инкриминируются. Прежде всего, я хотел бы сказать, гражданин судья, что не смогу принять ваш приговор как справедливый, если в нем будет ставиться мне в вину то, что я делал в период 1949-1954 годов: разговоры, записи в дневнике и т.д. Ибо все, что я тогда делал, я считаю оправданной реакцией на то, что сейчас называется "извращением культа личности". Самое дорогое для меня было - Октябрьская революция. И когда я видел, как искажается история Октябрьской революции (достаточно сравнить изложение истории Октябрьской революции в книге Джона Рида и в "Кратком курсе”), я, конечно, этим возмущался. Известно, сколько всяких беззаконий творилось в тот период. Я не буду их перечислять. Всем известно, что в стране господствовала фашистская банда Берии. Возможно, что в моих записях того времени не все правильно: тогда было трудно отделить извращения политики партии от самой этой политики. Но в основном эти записи были оправданны. Далее, я ни в коем случае не смогу принять ваш приговор как справедливый, если в нем все будет ставиться мне в вину то, что я рассылал письма депутатам Верховного Совета СССР. Если я, как гражданин Советского Союза, как избиратель, не могу высказать свои мнения и предложения - будь они хоть трижды неправильные - депутату Верховного Совета, высшего органа государственной власти, то какой же путь мне остается? Только нелегальный. Я верю, что суд не захочет толкнуть меня на нелегальный путь. Что касается послесловия к докладу Хрущева "О культе личности и его последствиях", то здесь уже говорилось, зачем оно было написано, да и из самой статьи это видно. Статья представляет собой мою реакцию на доклад Хрущева. Основная ее мысль "Верные соратники Сталина должны нести

ответственность". Во время суда из речей защитников и реплик свидетелей я узнал, что верные соратники разоблачены: по крайней мере, уже такие наиболее верные, как Маленков, Каганович, Молотов. Это очень многое, чего я только мог желать. Чего же мне еще желать больше?[145] Все остальное, что сказано в этой статье, я - фигурально выражаясь - перечеркиваю, и готов вести ответственность, если суд признает, что там есть что-то криминальное.

Теперь что касается тезисов "Венгерская революция". Пока я не видел фактов, которые бы заставили меня изменить мнение, выраженное в этих тезисах и в более поздней статье "Правда о Венгрии", написанной Шейнисом и отредактированной с моим участием.

Хочу отметить, что все это я говорил только о легальной борьбе за демократизацию, в строгих рамках закона, исключительно легальными средствами, как сказано в венгерских тезисах. Это было безусловно правильно, а моя ошибка, что после 21 декабря я от этой позиции отошел. Об этом я еще скажу позже.

Прокурор обвиняет меня в том, что я был инициатором, организатором и руководителем группы в Библиотечном институте. Я не хочу преуменьшать свою роль: я был руководителем этой группы. Не нужно мою роль и преувеличивать: инициатором и организатором я не был. Там никого не приходилось убеждать, агитировать и пропагандировать. Характерен эпизод, произошедший здесь во время допроса свидетеля Кудрявцева. Кудрявцев сказал что-то насчет того, что у нас не печатают многие статистические сведения, а газеты не всегда пишут правду. Гражданин младший советник юстиции прокурор Демидов сразу перебил его вопросом: "Это Пименов вас так учил?" - на что Кудрявцев ответил: "Нет, что Вы! Я и раньше так считал, да, впрочем, это всем известно, все так считают!" До 21 декабря у нас был разговор исключительно о легальной борьбе: письма в газеты и т.д. После 21 декабря стали раздаваться голоса: Красовскую арестовали, надо переходить на конспирацию. Моя ошибка в том, что я санкционировал эту нелегальщину. Почему я так сделал? Дело в том, что после 21 декабря у меня сложилось впечатление, что правительство, или по крайней мере ленинградские власти, встало на путь массовых репрессий.

Сейчас мне лучше чем кому бы то ни было видно, что это не так. Если бы действительно был курс на массовые репрессии, то по настоящему делу были бы арестованы не 5 человек, а значительно больше, уж я-то знаю, как много! И уж во всяком случае были бы арестованы те 15 человек, которые перечислены в имеющемся в деле списке - постановлении о невозбуждении, о котором здесь говорилось. Дело, разумеется, не в том, что некоторые из этих лиц, как говорил прокурор, раскаялись, изменили свои взгляды и т.п. Дело просто в том, что правительство не хочет массовых репрессий. А если это так, то переход к нелегальной деятельности бы не только преступлением, но и ошибкой. Когда я говорю, что считаю свою деятельность после 21 декабря преступной, я этим не говорю ничего

[145] Тут я сказал неправду. Узнал об этом я до суда, но не желал ставить под удар Райхмана, сообщившего мне про пленум, исключивший антипартийную группу, и про статьи, ассоциировавшие присталинские преступления с ныне разоблаченными участниками антиправительственной группы.

нового, это тавтология: раз нелегальная, значит преступная. Но эта деятельность была не только преступной. Она была неправильной, ошибочной и вредной для тех целей, к которым я стремился[146].

В заключение я хотел бы сказать еще вот о чем. Гражданин государственный обвинитель младший советник юстиции прокурор Демидов обвинял меня в распространении клеветнических измышлений, в фальсификации фактов. Это утверждение не соответствует действительности. Никогда моя совесть ученого не позволила бы мне сделать чего-либо подобного. Меня всегда интересовали лишь достоверные факты, и я не измышлял. Я не клеветал, не лгал заведомо.

Вот, пожалуй, все".

Вслед за мной последнее слово было предоставлено Игорю Заславскому, не в той же последовательности, в какой выступали защитники. Он сказал:

"Граждане судьи!

Гр.государственный обвинитель обвинил меня в том, что я вступил в преступную связь с Пименовым. Это неверно. Мои связи с ним были чисто научными. Кстати, если суд позволит, я хочу попытаться исправить одну несправедливость. Тут многое говорилось о моих научных работах, была зачитана подробная характеристика моих научных работ. В отношении Пименова такой характеристики не было сделано. Есть характеристика из института, в котором он работал; она чисто служебная, из нее не видно громадного значения работ Пименова. Я постараюсь, если суд не будет возражать, восполнить этот пробел. У Пименова нет опубликованных научных работ, но одна его неопубликованная работа стоит 6 моих неопубликованных работ. Постараюсь дать о ней некоторые представления, хотя это и трудно, ввиду того, что область, к которой она относится, чрезвычайно абстрактна.

Эта работа относится к области аксиоматической геометрии, начало которой было положено трудами великого русского математика Н.И.Лобачевского в 1820-е годы. Затем аксиоматикой геометрии занимались Римон и Гильберт, после чего многие считали, что в этой дисциплине все уже сделано и заниматься ею больше нечего. За несколько десятков лет, действительно, ничего существенно нового в аксиоматичной геометрии получено не было. И вот сейчас Пименов сделал большой шаг вперед в этой дисциплине. Это удалось ему благодаря тому, что он впервые ввел в геометрию время. Точнее, ввел аксиомы, из которых вытекает коренное отличие одного измерения мира (на геометрическом языке - пространство) от остальных. Эти аксиомы основаны на идее о том, что не все прямые одноименны, т.е.равноправны между собой; т.е. нет той однородности, как в обычной геометрии. Известно, что Н.И.Лобачевский открыл одну новую геометрию, и это было важным успехом науки. Из работ же Пименова вытекает существование девяти существенно различных геометрий, из которых по крайней мере две - совершенно новые, никогда ранее не рассматривались ни математиками, ни физиками. Пименов называет их именами

[146] Я сослался на произнесенные в суде слова. Действительно, свидетели все как один спешили сообщить нам об этом. Сейчас-то газеты в тюрьме дают...

английского ученого Милна и бельгийского ученого Леметра, но по справедливости они должны были бы называться геометрией Пименова, ибо у Милна и Леметра имеются лишь слабые намеки на что-то похожее.

Еще большее значение, чем с точки зрения математики, имеет работа Пименова с точки зрения физики и астрономии. И не случайно Пименова-геометра - пригласили (как мы сегодня слышали) на совещание по космогонии в АН СССР. В теорию Пименова входит как частный случай теория относительности - так называемая специальная теория относительности. Напомню, что теория относительности является одной из основ современной физики. Одной из причин ее создания явилось то, что в течение долгого времени не удавалось объяснить опыты Майкельсона. Майкельсон измерял в 1881 году скорость света в различных направлениях и установил, что она не зависит от движения системы отсчета. Этот результат казался совершенно необъяснимым до тех пор, пока Эйнштейн в 1905 году не создал свою теорию относительности, которая объясняла опыт Майкельсона. Таким образом, от опыта Майкельсона до его объяснения прошло 24 года. Теперь вернемся к тому, что сделал Пименов. Из его теории получается объяснение так называемого “красного смещения”. “Красное смещение”, т.е. смещение в сторону красного цвета спектральных линий в спектрах внегалактических туманностей, было открыто в 1917 году. До сего времени явление это не поддавалось объяснению. И только из работы Пименова 1956 года получается объяснение. Итак, прошло 39 лет. Это даст некоторое представление о трудностях и значении работы Пименова.

Итак, мои связи с Пименовым были исключительно научными, а от его "общественной деятельности" я всегда отмежевывался и сейчас отмежевываюсь. Правда, и Пименов и гр.государственный обвинитель упрекают меня за это в трусости, но это уж их дело.

Что же касается моих записей в дневнике, то я признаю, что там есть некоторые мысли, например, "коммунизм невозможен при свободе" и др., которые, если бы я стал их широко распространять, могли бы оказаться - независимо от того, правильны ли или нет эти мысли вообще - опасными для общества в данный момент. Именно в этом смысле я заявил в начале процесса, что частично признаю себя виновным. Но моя совесть спокойна в том отношении, что я этих мыслей не распространял и не собирался распространять, а, следовательно, ни один мой поступок, ни одна моя мысль не нанесла вреда обществу. Вот все, что я хотел сказать".

Выступление Игоря в мою защиту тронуло меня. Оно вообще прозвучало довольно неожиданно, особенно после того, как в судебном следствии мы с ним взаимно в целях облегчения его защиты выясняли, насколько скверными всегда, без малейшего просвета, были наши взаимоотношения. Мы выдумали даже ревность из-за Иры. Не будучи специалистом в области космологии, Игорь значительно преувеличил значимость моих работ. Но их содержание он изложил, а Эрнст записал практически без существенных ошибок; ведь оба они слушали мой курс лекций по космологии в 1955-м и мое выступление на математическом съезде в 1956 году. Правда, я не помню, чтобы употреблял термин "мир Леметра". Помнится, я

говорил "мир де Ситтера", "мир Леметра", - это то, что называется антидеситтеровской моделью. Игоря, как и других слушателей моих лекций[147] восхищало, что в деситтеровской космологии без каких бы то ни было предположений о распределении вещества и без принятия эйнштейновских уравнений тяготения получали следующий акт:

"Если источник света покоится относительно приемника света в дату испускания, то свет приходит к приемнику с красным смещением тем большим, чем больше расстояние в дату испускания".

Это он называл "объяснением красного смещения", "которого ждали 39 лет". Доминирующая сейчас из-за преобладания ядерных физиков космологическая модель Big Bang не нуждается в моей теории. А изяществом моей аксиоматической системы восхищался в 1965 году такой геометр, как Борис Николаевич Делоне.

Насчет трусости. В соответствии с избранной им тактикой, я, естественно, подтверждал, что Игорь всегда отмежевывается от моих крайностей, а тем паче - от намека на организационную деятельность. Прокурор, естественно, этому не верил. Дабы убедить прокурора и суд, я напирал на то, что Заславский и не мог бы участвовать в организации и в активном противодействии порядку вещей в силу своей прирожденной трусости. Раз уж я заговорил о трусости, пришлось подтверждать ее на ряде конкретных примеров. Прокурору было тем труднее спорить с такой аргументацией, что сам он называл Заславского трусом, но в другом смысле: Заславский-де делал то же, что Пименов, был его мозгом, а на следствии и суде перетрусил и, выгораживаясь, лжет, будто отмежевывался и отмежевывается.

Ира Вербловская в последнем слове произнесла всего одну фразу, в которую вложила всю свою обиду и весь вызов силам несправедливости - в том смысле, в каком я говорил о справедливости по поводу очной ставки Данилова и Невструева - держащим ее в тюрьме; этой фразе не хватало лишь искренности:

"Я много говорить не буду, хочу только сказать, что никогда не была и сейчас не являюсь врагом советской власти и всегда стояла и стою за социалистический строй, и не в чем не виновата".

Борис Вайль говорил подлиннее:

"Граждане судьи!

Прежде всего я хочу сказать о курском периоде своей деятельности, что я давно перечеркнул этот период. Еще задолго до ареста. И считаю то, что я делал тогда, ошибкой. Я уже говорил об этом.

Хочу добавить, что то, что я делал в Ленинграде, это тоже неправильно. Я просидел в тюрьме 5 месяцев и я все это передумал и осознал.

---

[147] Лекции читались в помещении ЛГУ, по составу слушателей мы их именовали лекциями во ВРУ - Вольно-Российском Университете. Разумеется, острили насчет "лгу" и "вру". См. §9 гл.4.

Во всяком случае, в мои намерения не входила борьба с существующим строем, а лишь борьба с недостатками. Каждый человек может совершить ошибку. Я еще совсем молодой.

Граждане судьи! Дайте мне возможность кончить институт. Приговорите меня к условному наказанию!"

Не помню, про какое из своих последних слов - на первом или на втором процессе - Борис признался мне, что он просто зачитал текст, написанный ему адвокатом.

Так как было уже поздно, а по закону после окончания последнего слова судьи обязаны не выходить из совещательной комнаты, пока не напишут полностью приговора, - был объявлен перерыв до утра. Наутро Костя Данилов сказал:

"Граждане судьи!

Прежде всего хочу выразить свою надежду, что вы, находясь в совещательной комнате, объективно и беспристрастно рассмотрите все материалы дела.

Я надеюсь, что вы не забудете, что советский суд призван не только карать, но и воспитывать. Прошу вас распределить наказание по возможности равномерно.

Что касается того, в чем я обвиняюсь, то свою "деятельность", в кавычках, в 1955 году я считаю неправильной как по форме, так и по существу и давно пересмотрел свои тогдашние взгляды.

Что же касается того, что я делал в последние месяцы, то я признаю это неправильным по форме, но по существу правильным, ибо я стремился не к подрыву Советской власти, а к устранению недостатков".

Суд удалился на совещание. Нас свели вниз на лестницу, в караульную.

Стала сказываться усталость этих двенадцати дней. За день напряженной борьбы я изматывался не меньше, чем за сутки тяжелого физического труда. К тому же в судные дни нас кормили простывшим обедом, разлитым по мискам за много часов до нашего возвращения по камерам. И уже - все кончилось. Осталось только ждать не зависящего от нас решения. Я вдруг почувствовал себя исчерпанным и заезженным.

После сбивчивой, неубедительной - хотя с потугами на ораторские обороты - речи прокурора, ярких защитительных речей, проникновенных последних слов свидетели были убеждены, что Вербловскую и Заславского наверняка оправдают. Вайль получит условный приговор, о Данилове, за полным незнакомством с ним, гадали меньше, но в общем все склонялись к условному приговору. Обо мне... процитирую тогдашние слова Вайля:

- Если Револьту не дадут хотя бы двух-трех лет, то это будет самое страшное для него оскорбление и он вскроет себе вены теми самыми лезвиями, которые мы ему передали.

Сам я был уверен, что все мы останемся в тюрьме. Помню, еще в первый день суда мы обменивались предчувствиями, кто сколько получит. Костя рассказал про свой сон, из которого вроде следовало, что я получу больше всех бессчетно, а прочие - по году-два. Как-то я гадал в тюрьме о сроках, и у меня получались сбивчивые, но

понятные указания: то 6, то 10, то опять 6 лет[148]. Ира, помню, была уверена в своем освобождении, но я настолько не верил, что даже не давал ей никаких указаний и поручений на волю. Все кроме меня, твердили о предстоящей к 40-летию амнистии. В том, что амнистия будет колоссальной, уверены были и судьи, и прокурор, и конвой, и тюремные надзиратели. Поэтому, примеряя требуемые прокурором сроки (что больше не дадут, были уверены), скашивали выдумываемые самими доли срока под амнистию и выводили, что заключение будет краткосрочным. Я же в амнистию не верил, исходя исключительно из прецедентов.

Часов в 8 вечера нас привели наверх. Не в прежний зал, а в большой. Поскольку приговор во всяком случае объявляется публично - согласно УПК - и поскольку в своем первоначальном ходатайстве о превращении процесса в открытый я так и сказал:

"Я поддерживаю ходатайство Вайля. Если же, в чем я нисколько не сомневаюсь, суд отклонит это ходатайство, то я настаиваю на соблюдении ст.21 УПК[149], по которой приговор во всяком случае объявляется публично".

Поскольку в зал были допущены все желающие, мне тогда казалось, что было около 400 человек. По воспоминаниям других - было человек 50, не меньше. Будем надеяться, что каждый из них напишет сам мемуары, и тогда простым сложением числа авторов установится, сколько зрителей присутствовало. Во всяком случае, достоверно, что сверх свидетелей было очень много друзей и даже довольно отдаленных знакомых свидетелей. Так, например, с Дубровичем пришел Л.Н.Гумилев. Ну, конечно, родные присутствовали.

К слову, насчет открытости объявления приговора. Примерно через год после нас судили Тарасюка (из Эрмитажа). Зал был пустым. Не знал подсудимый своих процессуальных прав. Свидетели и любопытные толпились снаружи двери. Там же толокся и Эрнст. Подошло время объявлять приговор. Запустили свидетелей (двух-трех человек). Держа в руках УПК, Эрнст Орловский отодвинул конвойного, ввалился в почти пустой зал.

- А Вы кто такой?

- Я - гражданин СССР.

- Назад! - вскричал часовой. Метнулся начальник конвоя. Орловский же зычным голосом прогремел по залу:

- Это почему конвой нарушает статью 21 УПК, согласно которой приговор во всяком случае объявляется публично?!

---

[148] Борис вспоминал, что я гадал, вытягивая костяшки домино. Но я недоумеваю, зачем бы я брал в одиночную камеру домино?! Сам факт гадания (к тому же великолепно сбывшегося!) я отчетливо помню, но вот на чем? Или я гадал при всех? Но нам в караульной вряд ли бы дали домино.

[149] Ныне это ст.18 УПК. Кстати, тем, что я сослался на ст.21 УПК, я вызвал нескрываемое раздражение Зеркина, который, отмежевываясь от ходатайства Вайля, добавил, что бессмысленно ходатайствовать о соблюдении статей УПК, ибо суд их и так всегда соблюдает. Как следствие из публичности оглашения приговора можно заключить, что текст приговора не может быть секретным документом. Интересно, что с текста приговора НЕЛЬЗЯ снять нотариальной копии. Это устроено так: нотариус свидетельствует многостраничные документы, только если они прошиты определенным образцом, а суд этих требований к прошивке не соблюдает.

Председатель невнятно распорядился пустить и начал чтение приговора. Но никто из стоящих по ту сторону двери, включая друзей и родственников подсудимого, не осмеливался последовать за Эрнстом и войти в зал. Настолько они не знали своих законных прав. Они были уверены, что "этого человека" пропустили в зал только потому, что у него есть "особые полномочия". В самом деле, он обладал "особыми полномочиями": он знал свои законные права... И не собирался поступаться ими в угоду нарушителям, хотя бы те были с примкнутыми штыками!

Итак, нам зачитывался приговор со сцены, перед которой мы стояли отдельно, отделенные деревянными перилами-барьером от внушительных размеров зала, набитого ныне сочувствующей и ободряющей публикой, прильнувшей к барьеру. Помню еще, Кудрова показывала нам только что вышедшую отдельным названием "Не хлебом единым". Кто-то (Адамацкий или Гальперин, или оба порознь) показывали "10 дней...", тоже только что выпущенную. Смотрите, дескать: то, за что вы боролись, - осуществляется! Ира прильнула ко мне, оперлась.

“ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

6 сентября 1957 года Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда в составе:

председательствующего - Миронова

народных заседателей Чистякова и Солдаткиной

с участием прокурора т.Демидова

и адвокатов Райхмана, Зоркина, Лившица, Шафира, Кугель

при секретаре ЛОГИНОВОЙ -

рассмотрела в открытом судебном заседании дела по обвинению:

1. ПИМЕНОВА Револьта Ивановича, 1931 г.рождения, происходящего из служащих, уроженца станицы Дундуковской, Майкопского района Северо-Кавказского края, беспартийного, с высшим образованием, ранее не судимого, холостого, до ареста работавшего ассистентом кафедры высшей математики Ленинградского технологического института пищевой промышленности и проживавшего в г. Ленинграде по улице Теряева в доме № 21/12, кв.56;

2. ВАЙЛЯ Бориса Борисовича, рождения 19 февраля 1939 года, уроженца г.Курска, происходящего из служащих, со средним образованием, состоявшего членом ВЛКСМ с 1953 г., ранее не судимого, до ареста являвшегося студентом первого курса Ленинградского библиотечного института, проживавшего в г.Ленинграде по ул.Халтурина, дом 3, ком.111;

3. ДАНИЛОВА Константина Григорьевича, рождения 1936 года, уроженца г. Курска, происходящего из служащих, с высшим образованием, состоявшего чл.ВЛКСМ с 1951 года, ранее не судимого, холостого, до ареста работавшего ст.агентом участного бюро на станции Курск, проживавшего в г.Курске, ул.Володарского, д.23;

4. ЗАСЛАВСКОГО Игоря Дмитриевича, рождения 1932 года, уроженца г.Ленинграда с высшим образованием, состоявшего членом

ВЛКСМ, холостого и, ранее не судимого, до ареста работавшего научным сотрудником в НИИТС и проживавшего в г.Ленинграде на ул.Восстания, д.20, кв.8;

5. ВЕРБЛОВСКОЙ Ирэны Савельевны, рождения 1932 года, уроженки г.Ленинграда, происходящей из служащих с высшим образованием, состоявшей членом ВЛКСМ, до ареста работавшей преподавателем истории в школе рабочей молодежи и проживавшей в г.Ленинграде на ул.Теряева, д.21/12, кв. 56

- всех пятерых в преступлении, предусмотренном ст.ст.58-10, ч.1 и 58-11 УК РСФСР.

Судебным следствием и материалами дела вина ПИМЕНОВА, ВАЙЛЯ, ЗАСЛАВСКОГО, ДАНИЛОВА И ВЕРБЛОВСКОЙ установлена, в том, что они в течение нескольких лет занимались антисоветской деятельностью.

Переходя к установлению вины каждого подсудимого в отдельности, судебная коллегия считает вину ПИМЕНОВА установленной в том, что он, будучи враждебно настроен к Коммунистической партии и Советскому правительству, в 1954 году написал антисоветскую статью "Судьбы русской революции", в которой содержалась клевета на Коммунистическую партию, Советское правительство, призывы к борьбе с существующим строем (т.5, л.д.255). Эту статью Пименов распространял среди своих знакомых.

В мае 1956 года Пименов написал антисоветскую статью "По поводу речи Н.С.Хрущева", в которой изложил свое враждебное отношение к Коммунистической партии, Советскому государству и руководителям КПСС и Советского правительства (т.6, л.д.26-30).

В ноябре месяце 1956 года Пименов написал тезисы "Венгерская революция", в которых с антисоветских позиций отзывался о внешней политике СССР, клеветал на КПСС и Советское правительство и призывал к борьбе с ним (т.6, л.д.36-44). Эти тезисы Пименов два раза обсуждал в кругу своих знакомых - Кудровой, Гальперина, Шейниса, Назимовой, Лейтмана и Вербловской. Один раз они обсуждали на квартире Кудровой и второй раз на квартире Вербловской. В результате обсуждений этих тезисов Шейнис написал антисоветскую статью "Правда о Венгрии".

Пименов, получив от Шейниса один экземпляр статьи, переработал ее в соответствии со своими тезисами и размножил в нескольких экземплярах на машинке, так же как статью "По поводу речи Н.С.Хрущева" (т.6, л.д.46-78).

Обе вышеназванные статьи Пименовым были распространены среди своих знакомых.

Кроме обсуждения статьи "Правда о Венгрии", в квартире Вербловской, с которой Пименов состоял в незарегистрированном браке, в период с ноября 1956 по март 1957 года Пименов систематически читал своим знакомым лекции и доклады по некоторым вопросам революционной борьбы в царской России и социалистического строительства в СССР с антимарксистских и антисоветских позиций.

13 февраля 1957 года Пименов в квартире Вербловской вместе с подсудимым Заславским и своими знакомыми Корбут, Зубер-Яникун обсуждал организационные программные работы совместно с антисоветской деятельностью, где Заславский отказался от

предложения Пименова принять участие в антисоветской организации.

Кроме того, вина Пименова установлена в том, что он в декабре 1956 г., познакомившись с подсудимым Вайлем, вместе с последним пытался создать антисоветскую группу среди студентов Ленинградского библиотечного института, где в этих целях было проведено 4 нелегальных собрания, на которых присутствовали студенты Вишняков, Адамацкий, Бубулис, Кудрявцев, Кокорев, Греков и другие.

На собраниях этой группы обсуждались вопросы организованной борьбы против мероприятий, проводимых КПСС и Советским правительством, вопросы изготовления и распространения антисоветских листовок, изыскание средств для антисоветской деятельности, вопросы конспирации этой деятельности и сбора различных информаций тенденциозного характера.

При обсуждении практических вопросов распространения антисоветских листовок и изыскания средств, вышеназванные участники группы отказались размножать и распространять антисоветские листовки и вносить денежные взносы, в связи с чем группа распалась и прекратила свое существование.

В январе 1957 г. Пименов написал тезисы программы своей антисоветской деятельности и передал ее подсудимому Вайлю для ознакомления с ними лиц, которых Вайль намеревался привлечь к антисоветской деятельности.

В феврале 1957 г. Пименов изготовил антисоветскую листовку и пытался ее размножить и распространить накануне выборов депутатов в местные Советы депутатов трудящихся - 3 марта 1957 года.

В марте 1957 г. Пименов написал антисоветскую статью "Что такое социализм?", в которой путем тенденциозно подобранных фактов пытался опорочить историю и деятельность КПСС и социалистическое строительство в СССР (т.6, л.д.105-128).

Вина Пименова доказана приобщенными к делу вышеназванными документами с антисоветским содержанием, дневниками Пименова, его письмами к отцу, объяснениями Пименова в суде, в частности, с частичным признанием своей вины, объяснениями подсудимых Заславского и Вайля, показаниями допрошенных в суде свидетелей Корбут, Кудровой, Шейниса, Зубер-Яникун, Гальперина, Рохлина, Вишнякова, Кудрявцева, Дубровича, Бубулиса, Громова, Адамацкого, Райского и Кузнецова, которые подтвердили вышеизложенные обстоятельства.

На основании вышеизложенного судебная коллегия находит, что подсудимый Пименов своими действиями совершил преступление, предусмотренное ст.ст.58-10, ч.1 и 58-11 УК РСФСР.

Обвинение Пименова в попытке создания антисоветской группы в Москве через Заславского и Машьянову, а также создания нелегальной группы в Ленинградском инженерно-строительном институте через студента Кузнецова, в судебном заседании не нашло достаточного подтверждения, т.к. Машьянова и Кузнецов в суде показали, что они от Пименова такого задания не получали, других доказательств по этим эпизодам в материалах дела нет, поэтому это

обвинение Пименова нельзя признать обоснованным и подлежит исключению.

Вина подсудимого ВАЙЛЯ установлена в том, что он в силу антисоветских настроений в 1955 году по договоренности с подсудимым Даниловым и неким Невструевым составил антисоветского содержания листовку с призывом к интеллигенции, которую они пытались размножить и намеревались распространить среди населения г.Курска, но впоследствии от этих действий и намерений отказались и листовку уничтожили.

Кроме того, вина Вайля установлена в том, что он, вступив в преступную связь с Пименовым, по предложению последнего пытался создать в Библиотечном институте антисоветскую группу.

В этих целях в период с декабря 1956 г. по февраль 1967 г. организовал 4 нелегальных собрания с участием студентов института Вишнякова, Адамацкого, Бубулиса, Кудрявцева и других, на которых обсуждались вопросы организованной нелегальной борьбы против мероприятий, проводимых КПСС и Советским правительством, вопросы изготовления и распространения антисоветских листовок и другие вопросы антисоветской деятельности.

Имея преступную связь с Пименовым, Вайль получал от последнего антисоветскую литературу, хранил и распространял ее среди своих знакомых, а в январе 1957 г., находясь в г.Курске, установил преступную связь с подсудимым Даниловым и пытался там создать антисоветскую группу, в целях чего встречался и имел беседы с Ревкиным, Синицыным и Рыковым.

В феврале месяце 1957 г. Вайль в целях привлечения к антисоветской деятельности своего знакомого Желудева с ведома Пименова выезжал в г.Новгород.

Вина подсудимого Вайля доказана показаниями допрошенных в суде свидетелей Бубулиса, Вишнякова, Палагина, Кузнецова, Кудрявцева, Грекова и Адамацкого, объяснениями подсудимых Пименова, Данилова и самого Вайля с признанием своей вины.

В январе 1957 г. ДАНИЛОВ, приняв предложение Вайля об участии в антисоветской организации, в период с января по март 1957 г. систематически занимался сбором различных провокационных слухов и в виде информации посылал Вайлю в Ленинград для размножения и распространения, а в своих письмах требовал от Вайля выслать ему антисоветских листовок, для распространения в г.Курске.

В июле 1956 г. Данилов написал Вайлю в Ленинград письмо антисоветского содержания, в котором выражал намерение вести борьбу с существующим строем в СССР.

Вина Данилова доказана приобщенными к делу письмами, блокнотами и другими документами (т.8, л.д.11-29), объяснениями подсудимых Вайля и Данилова с полным признанием своей вины.

На основании вышесказанного судебная коллегия находит, что Данилов своими действиями совершил преступление, предусмотренное ст.58-10, ч.1 УК РСФСР.

Обвинение Данилова по ст.58-11 УК РСФСР судебная коллегия находит недоказанным, т.к. судом не установлено, что Данилов состоял членом антисоветской организации или предпринимал

какие-либо организационные меры к созданию таковой, и поэтому Данилов по ст.58-11 УК РСФСР подлежит оправданию.

Вина ЗАСЛАВСКОГО установлена в том, что он, будучи знаком с Пименовым, весной 1955 года вместе с последним составил вопросник под названием "Анкета страны", в соответствии с которым должны были собираться различные сведения из неофициальных источников об общественно-политической жизни страны, для использования в антисоветских целях (л.д.219-223, ст.6).

В 1955-1956 гг. Заславский написал и хранил 2 статьи антисоветского содержания "О строительстве коммунизма в нашей стране" и "Коммунизм в России до и после второй мировой войны" (л.д.3, 4, т.7).

В 1956 году Заславский в ответ на антиправительственные, антисоветские тезисы Пименова "События в Венгрии" написал свою статью с антисоветским содержанием и передал ее Пименову (л.д.5, 6 т.7).

С ноября 1957 г. по март 1957 г. Заславский систематически посещал квартиру Вербловской и Пименова, где с антимарксистских и антисоветских позиций обсуждались вопросы истории революционной борьбы в России и социалистического строительства в нашей стране, а также обсуждались вопросы борьбы с Советским правительством.

13 февраля 1957 г. Заславский на предложение Пименова отказался от составления антисоветской организации, а дал согласие оказывать Пименову материальную поддержку.

Вина Заславского доказана имеющимися в материалах дела документами (л.д.7-70, т.7), показаниями допрошенных свидетелей Райскина, Корбут, Шейниса, Назимовой, объяснениями подсудимых Пименова и Заславского с частичным признанием своей вины.

На основании вышеизложенного судебная коллегия находит, что Заславский своими действиями совершил преступление, предусмотренное ст.58-10, ч.1 УК РСФСР.

Обвинение Заславского по ст.58-11 УК РСФСР и по эпизоду выполнения задания Пименова об организации в Москве через Машьянову антисоветской группы в суде не нашла надлежащего подтверждения, т.к. Машьянова показала, что она никакого задания от Пименова по организации антисоветской группы не получала, участвовать в антисоветской группе Заславский отказывался и никаких организационных мер к созданию таковой не предпринимал, а поэтому по ст.58-11 УК РСФСР подлежит оправданию.

Вина подсудимой ВЕРБЛОВСКОЙ установлена в том, что она, находясь с Пименовым в незарегистрированном браке, с мая месяца 1956 г. и до дня ареста совместно с Пименовым занималась антисоветской деятельностью.

В июне месяце 1956 года Вербловская, узнав, что у их знакомого Райхлина был изъят органами госбезопасности отпечатанный ею и Пименовым машинописный текст доклада "О культе личности и его последствиях" и опасаясь обыска в квартире, оставшиеся экземпляры этого доклада вместе с антисоветской статьей Пименова "По поводу речи Н.С.Хрущева" отвезла на хранение к своей знакомой Левиной, причем один экземпляр доклада и статьи дала Левиной для ознакомления. С ноября 1956 г. этот

экземпляр доклада и статьи хранился у сына Левиной, гражданина Грузова Е.Н.

8 ноября и в начале декабря 1956 г. Вербловская принимала участие в обсуждении антисоветских тезисов Пименова "Венгерская революция" и антисоветской деятельности, отнесла к своему отцу на хранение различные письма, рукописи, машинописные тексты, принадлежащие Пименову, среди которых имелись материалы антисоветского содержания.

После ареста Пименова эти документы Вербловская передала своей знакомой Шрифтейлик. В период с января по март 1957 г. Вербловская неоднократно принимала участие при обсуждениях политических вопросов, устраиваемых Пименовым, и однажды в кругу своих знакомых прочитала стихотворение антисоветского содержания (л.д.466 сб., т.1).

В марте 1957 года Вербловская после ареста Пименова по просьбе последнего пыталась установить связь между подсудимым Вайлем и Кудровой. Вина Вербловской в антисоветской деятельности установлена показаниями допрошенных в суде свидетелей Кудрявцева, Орловского, Рохлина, Грузова, Шрифтейлик, объяснениями самой подсудимой, в которых Вербловская не отрицает фактов чтения своим знакомым стихотворения антисоветского содержания и передачи гражданке Левиной доклада "О культе личности и его последствиях", показав при этом, что не заметила статьи Пименова.

Это объяснение Вербловской суд находит убедительным, т.к. оба эти произведения были отпечатаны на машинке одновременно и статья Пименова является как бы продолжением вышеназванного доклада, с порядковой нумерацией листов (л.д.32-60, т.7).

На основании вышеизложенного судебная коллегия находит, что Вербловская своими действиями совершила преступление предусмотренное ст.58-10, ч.1 УК РСФСР.

Обвинение Вербловской по ст.58-11 УК РСФСР суд находит необоснованным, т.к. в материалах дела нет данных, свидетельствующих о том, что Вербловская состояла в антисоветской организации или предпринимала организационные меры к созданию таковой.

Переходя к определению меры наказания, судебная коллегия, принимая во внимание степень опасности совершенного подсудимыми преступления и смягчающие вину обстоятельства, а также учитывая все данные, характеризующие личность каждого подсудимого, руководствуясь ст.319-320 УПК РСФСР,

ПРИГОВОРИЛА:

ПИМЕНОВА Револьта Ивановича и ВАЙЛЯ Бориса Борисовича на основании ст.58-10, ч.1 и 58-11 УК РСФСР подвергнуть лишению свободы в исправительно-трудовом лагере - Пименова Р.И. сроком на шесть (6) лет и Вайля Б.Б. сроком на три (3) года, обоих без последующего поражения в правах.

ДАНИЛОВА Константина Григорьевича и ВЕРБЛОВСКУЮ Ирэну Савельевну на основании ст.58-10, ч.1 УК РСФСР, а также ЗАСЛАВСКОГО Игоря Дмитриевича на основании ст.58-10, ч.1 УК РСФСР подвергнуть лишению свободы в общих местах заключения

сроком на два (2) года каждого без последующего поражения в правах.

Данилова К.Г., Заславского И.Д. и Вербловскую И.С., обвиняемых по ст.58-11 УК РСФСР, считать по суду оправданными.

Зачесть в срок отбытия наказания предварительное заключение под стражу Данилову К.Г. с 24 марта 1957 г., Пименову Р.И. и Вайлю Б.Б. с 25 марта 1957 г., Заславскому И.Д. с 26 марта 1957 г. и Вербловской И.С. с 28 марта 1957 г.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд РСФСР в течение 72 часов с момента вручения копий приговоров осужденным.

Председательствующий /МИРОНОВ/

Народные заседатели /СОЛДАТКИНА и ЧИСТЯКОВ/

Копия верна: Председательствующий /Д.Миронов/

Гербовая печать суда.

отпечат. 10 экз.

Печат. Бравцева

экз. № 7”.

В момент чтения приговора я думал в основном об Ире, поэтому успел заметить мало. С удовлетворением отметил оправдание по 58-11 троих: ее, Игоря, Костю. Хотя юридически эта статья без собственной санкции, она, как мне рассказывали, означает содержание в более строгих лагерях и вечный отказ в прописке в крупных городах после освобождения. Кроме того, оправдание по 58-11 человека, давшего согласие участвовать в (пусть несуществующей) организации (Данилов) - это юридически очень важный момент. Помню, Ира задала - после традиционного вопроса председательствующего "Понятен ли приговор?" - вопрос:

- Какая разница между "исправительно-трудовым лагерем" и "общими местами заключения”?

Миронов ответил, что это разъяснит нам лагерная администрация. Но не грубо, а словно извиняясь, что сам толком не знает. Меня это, вспоминаю, удивило. Суд приговаривает нас к известного рода наказанию: меня и Бориса в ИТЛ, а прочих к двум годам общих мест лишения свободы; суд сам проводит различие между двумя видами заключения, и суд же не знает толком, в чем оно, это различие[150]. Но эта мысль мелькнула тогда, не задерживаясь. Помню, Миронов и Демидов, проходя мимо меня после чтения приговора, с почти дружелюбной улыбкой спросили:

- Ну, как, довольны ли Вы, Пименов, приговором? - но не помню, что я им ответил. Потом, при внимательном чтении приговора (кстати, пестрящего опечатками и редакционными несогласованностями), я сообразил, что они имели в виду изъятие из моего обвинения эпизодов с [...]1949-1954 гг. и с письмами депутатам; то есть суд удовлетворил моим необходимым требованиям справедливости, выраженным в последнем слове. При очень внимательном чтении видно, что суд сделал это как милость:

[150] Начав с этой мелочи, я потом много думал в этом направлении и убежден, что большинство жестокости и несправедливости возникает из-за того, что судьи, выносящие приговор, не знают условий тюрем и лагерей, на годы которых они обрекают человека; не присутствуют при расстрелах приговоренных ими к "высшей мере". См.гл.5.

он не оправдывает меня по этим эпизодам, как по эпизоду с Машьяновой, например. Он просто не вписывает в "признан виновным" этих двух эпизодов, но дает понять, что мог бы и признать, ибо "материалы дела" по эпизоду 1949-1954 годов упоминаются как доказывающие вину. Но, конечно, в тот момент мне было не до такого анализа. Помню возмущенную жестикуляцию Аллы Назимовой, которая, как и Шейнис, слыхом не слыхивала об Игоре Заславском, но на якобы показания которых суд по небрежности сослался, обосновывая доказанность вины Заславского. Помню руки друзей, тянувшихся к нам на всем пути вниз по лестнице.

Помню, что на обратном пути Иру везли в “воронке”, и ее здорово укачало. Она и так плохо переносила бензин и даже поездку в такси. А в "отдельном боксе" “воронка” дай бог поездить тем врачам, которые находят устройство его медицински допустимым. По выходе из “воронка” во дворе тюрьмы ее вытошнило, и она, пока я ее отхаживал, пока надзиратель бегал за водой, все беспокоилась: "Вдруг они - конвойные - подумают, что меня тошнит оттого, что я испугалась строгости приговора?!"

Когда в камеру мне принесли копию приговора - не помню, через день или два - начал я с того, что возмутился словом: "в открытом судебном заседании". Психологически описку судей я понимал: в зале суда все время было несколько десятков человек, и они успели позабыть, что процесс был закрытый по их же собственному определению. Но это было покушением на историческую точность, и я рвался протестовать. Но в тот же день пришел Райхман договариваться о тексте кассационной жалобы, велел мне не хулиганить. Назавтра под расписку всем нам объявили, что в тексте приговора опечатка и ОТКРЫТЫЙ следует читать ЗАКРЫТЫЙ. С согласия Райхмана я сделал было попытку и написал в суд просьбу, чтобы мне - в соответствии с такими-то процессуальными нормами, отраженными в советских юридических журналах - разрешили ознакомиться с протоколом судебного заседания на предмет принесения замечаний на оный[151]. Получил ответ, что "сторона", т.е. мой защитник, уже познакомился с протоколом, следовательно, я утратил права по защите - ему. Мы с Ирой взаимно обменялись текстами проектов наших кассационных жалоб (само собой, нелегально, ни о какой законной переписке между заключенными речи быть не может!), причем, как обычно, я согласился почти со всеми ее редакционными исправлениями в моей, а она отвергла все мои соображения, касавшиеся текста ее жалобы.

Но надо всем этим витало:

ПРОКУРОР РОНЖИН ОПРОТЕСТОВАЛ ПРИГОВОР ПО МОТИВАМ НЕОПРАВДАННОЙ МЯГКОСТИ ПРИГОВОРА, ЯВНО НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЯЖЕСТИ СОДЕЯННОГО. И ВВИДУ

[151] Сейчас это право осужденного зафиксировано в ст.264-265 УПК. Согласно нынешней редакции - 1966 года - подсудимые имеют право знакомиться с протоколом судебного заседания в течение трех суток после составления протокола (сам же протокол должен быть изготовлен не позже, чем через трое суток после судебного заседания, но, например, на моем Калужском процессе он был изготовлен только через неделю), НЕЗАВИСИМО от того, ознакомился ли с протоколом уже защитник.

НЕПРАВИЛЬНОГО ОПРАВДАНИЯ ДАНИЛОВА И ВЕРБЛОВСКОЙ ПО СТ.58-11[152].

[152] Второй абзац резолютивной части приговора наводит на мысль, что среди судей были серьезные разногласия насчет по крайней мере срока, на который приговорить Заславского: он приписан к Данилову и Вербловской грамматике вопреки. Не было ли особого мнения - не подлежит оглашению.

Родственники Р.И.Пименова со стороны отца. Сидят. Слева направо: Дарья Андреевна Картавцева (младшая сестра бабушки), в замужестве Авсенева, ее муж, Феодосий Александрович, их племянница - Зоя, прадед - Андрей Сергеевич Картавцев, его жена Екатерина Ивановна, бабушка, с сыном Михаилом на руках, брат бабушки - Абрам. На ковре - тетка Наталья Гавриловна и отец - Иван Гаврилович. Около 1907 г.

Глава 2

МОИ ПРЕДКИ

§1. Происхождение моего отца[153]

Почему я задумался; Шацкий уезд Тамбовской губернии; этимология фамилий; загадочная барыня - мать Гаврилы Щербакова; Хоперский округ Области Войска Донского; брак Гаврилы; Наталья Гавриловна; по поводу образования; свидетельство о рождении Ивана Щербакова; свидетельство о смерти Гаврилы; генеалогия Ивана

Одиночное заключение - хороший повод припомнить свою жизнь и своих предков (конечно, коли знаешь о них что-нибудь). Я сочинял в камере длинную поэму, отдельные главы которой были обращены к моим предкам, в том числе и таким легендарным, как пушкинский летописец Пимен:

“Мой пращур в монастырской келье,
В глуши, при свете бледныя лампады,
Трудился, полн душевного веселья,
Не ради государевой награды”.

Поэму сию я забыл, в частности, выпала третья строчка, рифмовавшаяся с “лампады”, но о своих отце-матери, дедах-бабках разузнал с тех пор поподробнее. Их кровь, их поступки, их стремления - жили во мне и живут независимо от того, хочу я этого или нет, думаю о них или начисто игнорирую. И в тюрьме я ощутил это особенно остро. Откуда я? Как я оказался именно в этом месте земного шара именно в таких условиях, а не иных? С таким именно начальным импульсом, а не другим? Что во мне моего ЛИЧНОГО, что РОДОВОЕ (генетическое), что СОЦИАЛЬНОЕ, что ВОЗРАСТНОЕ?

Прадед мой по мужской линии родился в Шацком уезде Тамбовской губернии.

Шацк - это город на речке Шача, впадающей в Цну, коя в свой черед вливается в Оку, правый приток Волги. Когда-то по обе стороны Шачи жили мещеры. Пришедшая с востока мордва позже вытеснила мещер на левый (западный) берег Шачи. В 1553 году правительство при юном Иване IV обороны ради от крымских и азовских татар заложило крепость Шацк. Местность именовалась тогда “Шацкие ворота” - ворота в густых лесах, в “Тульском сторожевом вале”. В 1708 году при введении шведской территориальной системы Шацк был причислен к Азовской губернии. В 1719 году тот же Петр повелел Шацку быть столицей Шацкой провинции. В 1785-1788 годах Шацкий уезд в состав Тамбовского

[153] До 1980 года из моих мемуаров, написанных в 1968 году, были опубликованы 18 параграфов: §§0-17 в “Памяти” №№ 2-3 и §18 ранее в другом издательстве. Эти параграфы я рассматриваю как одну - первую - главу в полном тексте своих воспоминаний и сохраняю за ней название “Один политический процесс”. При этом, конечно, отпадают §§19-24 самиздатского текста, изложенные там эпизоды найдут отражение в дальнейшем, а тогдашняя компоновка текста имела бы смысл лишь при отдельном издании его. Первые шесть параграфов этой главы в своей фактической части восходят к рассказам моего отца Ивана Гавриловича Щербакова о себе и своих родственниках. Первая редакция их называлась “Жизнь Ивана Щербакова на фоне времени”, но замысел такой подачи его жизни мне пришлось оставить, а причины этому будут видны из текста.

наместничества, а наместником был поэт Гаврила Державин. В XIX веке Шацкий уезд принадлежал Тамбовской губернии и по всем параметрам был одним из типично-средненьких ее уездов: ни самый большой, ни самый маленький, ни самый гладкий, ни самый возвышенный, ни самый богатый, ни самый лесистый, ни самый черноземный. В годы Гражданской войны Тамбовщина и смежная Пензенщина были местом отчаянного сопротивления крестьян большевистской власти (отец мой тогда был и большевиком и чекистом), посему в советском территориальном делении она сугубо урезана, и Шацк нынче отнесен к Рязанской области, вместе с несколькими северными уездами бывшей Тамбовской губернии; южные уезды достались Воронежской области. Оттуда же вырезана территория, называемая Мордовской АССР, где сразу же после подавления Антоновского восстания стали складываться политлагеря. Зубова поляна, Потьма, Парца, Явас - все эти хорошо известные недавним поколениям свободомыслящих наименования (и моему отцу досталось посидеть в них!) - все суть названия местностей, известных деду и прадеду моему, ибо были они обок Шацкого уезда, в соседнем или через один уезд, в той же губернии. Только Явас писался прежде “Евас”. Да город Вадинск звался “Керенск”.

Итак, с первой достопримечательностью близ Шацка мы уже познакомили. Правда, она - возникнув уже после их смерти - никак не формировала дух, сознание и тело моих деда и прадеда. Другой достопримечательностью Тамбовской губернии был город Козлов - ныне Мичуринск. Это также более поздняя достопримечательность.

Известна еще Тамбовская губерния городом Липецком (ныне самостоятельный областной центр). В нем родился Плеханов, а в 1879 году собрались народовольцы на первый съезд своей партии, постановляя убить императора Александра II. Вряд ли прадед мой и дед слышали об этом съезде: к тому времени они, вроде бы, уже перебрались на новое место жительства - на Дон, о чем речь впереди. Но про липецкие курорты, куда наезжают разные странные люди, и про липецкие доменные печи - слыхивали, наверное. Темными моих предков назвать нельзя. И, возможно, полицейские дознания насчет террористов глухими слухами гуляли на периферии их сознания. А уж само-то цареубийство мимо них пройти не могло бы.

Но вот что неизмеримо сильнее формировало их сознание - так это Саровская пустынь. На берегу речонки Сарево, приток Сатиса, впадающей в Мокшу, сливающейся с Цной, жил, спасаясь от мира в пустыне, отшельник Серафим Саровский (1760-1833). Это - Темниковский уезд. Житие отца Серафима описано во многих книжках; в конце прошлого века волею императрицы Александры Феодоровны он сопричтен (несколько в нарушение православных канонов) ко святым угодникам. Но и прежде того его слава гремела по тем местам, не могла она обминуть ни прадеда моего, ни деда. Много было окрест его монастырей: Черниев мужской, Дивеев женский, Вышенская пустынь... В одном лишь Шацке стояло пять церквей, да еще она функционировала при городской тюрьме[154].

[154] Мучает меня мысль о соотнесении религиозного и мирского. Вот из воспоминаний о Серафиме Саровском: “В последний год своей жизни начал он рыть канавку с валом вокруг Дивеевской обители, чтобы оградить ее от Антихриста.

Всего же в Шацке в конце XIX века около 27 каменных домов и 762 деревянных. Было даже две ярмарки с общим оборотом 25 000 руб. Были заводы спичечный, кожевенный. В 1899 году открыли публичную библиотеку. Впрочем, предки мои жили в селе. Населения на конец XIX века в Шацком уезде было 83000 мужеского полу и 87000 женского, с плотностью 45 человек на квадратную версту. Из них 9% мордвы, 4% татар, прочие - русские. А куда же делись мещеры? Попросту окрестились и зачислены в русские[155]. Хотя крестьянами значилось 98% населения, в сельской местности проживало лишь 91%. Прочие были фактически рабочими, но юридически такого сословия дореволюционная Россия не знала, и статистике было приказано числить рабочих - крестьянами. Было в уезде 226 селений и свыше 200 усадеб, на одной из которых и водил мой дед лошадей на водопой. Земля в Шацком уезде была хороша. На 50% чернозем, на 30% леса. Леса погуще справа от Цны, пахотье лучше слева. Правда, Цна - река несудоходная. Но волоком вверх по течению разделанный лес по ней доставляли за 80 верст в Моршанск на рынок: тут шла железная дорога Тула - Пенза. Да и вниз сплавляли хлеб и другие грузы. Хлеб родился. Был хлеб. Правда, осадки выпадали плохо, невпопад. Правда, хозяйство было трехпольным. Правда, главный инструмент в сельском хозяйстве - соха. Однако земли в общинном землепользовании было 53%, а в частновладельческом у помещиков около 36% к концу XIX века. Сеяли рожь, овес, просо, а когда даже и пшеницу. Кое-кто и картошку. Поля и леса полнились зайцами, волками, лосями, медведями, тетеревами. Про рыбу же упоминать излишне: она тогда как воздух считалась неотъемлемым даром русского человека. Садоводство Борковской волости Шацкого уезда удостоилось даже специального упоминания в словаре Брокгауза. Были и промыслы. Там - добывалась известь, там - стоял стекольный завод, там по домам промышляли колесным, тележным, санным, бондарным, овчинным рукоделием. А отхожий помысел был портняжный.

Тамбовщина была искони неразрывно связана с Доном. Когда-то границы казацкого Дона пролегали много северней, нежели не только в наши дни границы Ростовской области, но и рубежей предреволюционной Области Войска Донского. Собственно, все

- Канавку вырыть надо. Три аршина глубины, и три аршина ширины, и три аршина вышины. Это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли! - Так бывало и задрожит весь, как это говорит-то. - И кто канавку с молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут - и Афон, и Иерусалим, и Киев. Когда век-то кончится, Антихрист придет, то станет с храмов кресты снимать, да монастыри разорять и все монастыри разорит. А к вашему-то пройдет, а канавка-то и станет от земли до неба; ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка - так прочь и уйдет.

Так как очень торопил с этим делом батюшка, то и лютой зимой, рубя землю топором, копали сестры заповедную канавку; и лишь только окончили, скончался тут же и наш родимый батюшка, - точно будто этого и ждал".

Ну и как? Закрыли Дивеевский монастырь? Сняли с него кресты? Спасла канавка?

[155] Это один из важнейших путей формирования русской национальности. В современных переписях сплошь да рядом записи: "Мать - чувашка, отец - коми, сын - русский". Этот идущий столетия процесс ставит под сомнение наличие значимой славянской крови у современных русских, и превращает в фикцию графу "национальность" в анкетах.

южные уезды Тамбовской губернии имели общую историю: на пустые земли, по которым кочевали “нехристи”, селились беглые-пришлые из Московии, превращаясь в казаков, управляемых фактически своим “кругом” (чем-то между новгородским вече, польским сеймом и мужицким сходом). Их тревожили татары, кочевники, разбойники Дикого Поля и время от времени отряды московских солдат, возвращавших беглецов. Насколько естественно входила Тамбовщина в ареал донского казачества, видно хотя бы из того факта, что восстание Кондратия Булавина за донские вольности само собой захватило Борисоглебский, Козловский, Усманский и Воронежский уезды. С воцарением Петра I земли Борисоглебского уезда были розданы различным его фаворитам вроде Меньшикова, и дух казацкой вольницы отлетел от Тамбовщины. Наиболее вольнолюбивые уметнулись южнее и восточнее: в “верховые” станицы Области Войска Донского. Прочие постепенно прикреплялись, особенно рьяно - в царствование императриц. Однако еще в XVIII веке в Тамбове сохранялось название одного из пригородов “Казачья слобода”, а по губернии было довольно много крепостных крестьян. Говоря языком статистических цифр (хотя я мало верю российской статистике), в 1857 году (X ревизия) в Тамбовской области лишь 40% крестьян были крепостными, а среди последних 22% оброчные, а 78% барщинные. Несмотря на бесспорно помещичий характер Тамбовщины к середине XIX века, влияние Донщины в ней было сильнейшим фактором.

Вот в этих-то местах в царствование Николая I родился мой прадед Афанасий Щербаков.

Происхождение фамилии мне неизвестно и может быть различным. Уже в начале XVII века в части VI Родословной Книги дворян Смоленской губернии зафиксирована фамилия “Щербаков”, хотя в более северном ареале, служившем базой для “Ономастикона” С.Б.Веселовского, эта фамилия в XV-XVII частях не обнаружена. Если Афанасий был из дворян, то к нему может иметь отношение помянутая Родословная Книга или позднейшие дворянские роды Щербаковых. Если же он был не из дворян, то эти роды к нему отношения иметь не могут: в этом случае, как вся челядь, он получил бы прозвище-фамилию “Щербаковский”, а не “Щербаков”. Если “Щербаков” не была коренной фамилией, то она могла родиться из фамилии “Щербак”, либо (менее вероятно) из “Щерба”. “Щербаков” может означать “принадлежащий к скопу людей Щербака”, будь сей Щербак барином, атаманом, иереем или всего лишь отцом семейства. Фамилия “Щербак” в XV-XVII веках была довольно распространена на Северо-Востоке Руси. Могла она быть и кличкой. Корень ее тот же, что и в слове “ущерб”, а суффикс встречается в словах типа “рыбак”, “левак” - “нижнерусский говор”. Даль пишет:

“Щербак - неправедный стяжатель или наживатель, хапун, особенно тот, кто, придираясь к чему, недоплачивает, щербит чужую долю в свою пользу”.

Фамилия “Щерба” зафиксирована всего один раз (1646, Москва) и помимо значения “выбоина”, “изъян” слово это имело еще значение “уха из мелкой рыбы”. Форма фамилии “Щербаков” допускает, таким образом, как кровное происхождение Афанасия от

предков Московской Руси, так даже отсутствие русской крови в нем: например, если это - крепостной мордвин, крещенный барином Щербаком. Она могла переходить из поколения в поколение многие сотни лет, а могла быть совсем свежего происхождения, впервые данной именно Афанасию. Маловероятно, чтобы она происходила от имени селения “Щербаково” (таких было много), ибо в этом случае форма ее была бы “Щербаковский”. В XIX веке были два врача Щербаковы, описанные в словаре Брокгауза, но вряд ли они имеют касательство к моим предкам[156].

Был ли Афанасий Щербаков крепостным крестьянином, был ли государственным крестьянином, был ли дворянином-однодворцем (со времен Алексея селились тут бескрестьянные дворяне, да и вольные крестьяне не все перевелись) - не ведомо ни мне, ни моему отцу. Семейная хроника знает его уже на верху своего могущества и почета: он управляет барским имением!

Кто был барин, велико ли было имение, где располагалось - на эти вопросы ответить я не умею. Впрочем, судя по тому, что дедовы зятья лет через сто вернулись в близкие места и поселились в Сасово - город на Цне, пограничный между Шацким и Елатомским уездами Тамбовской губернии (Елатьма существовала еще в XIV веке) - можно догадываться, что родные места были где-то неподалеку. Ведомо же семейной хронике, что у барина была родственница, страдавшая какой-то неприличной болезнью, вроде сумасшествия. Что тогда почиталось за сумасшествие - как определить? Вот ведь по житиям судя, Серафим Саровский был тихопомешанным с буйными приступами, а, однако ж, был и ясновидцем, если не провидцем! Вот Гоголь в те самые годы сходил с ума и морил себя голодом... Как бы там ни было, семейная хроника именно сумасшествием барской родственницы объясняла (впрочем, порой варьируя объяснение, сумасшедшей называлась мать барской родственницы, что менее правдоподобно) небывалый факт: барин отдал за своего управляющего Афанасия свою родню-дворянку. Впрочем, мотивы могли быть и вполне низменными: девушке могло быть некуда деваться, а грех прикрыть надо. Даже ежели бы Афанасий до того был крепостным, тут-то его, ясно дело, освободили. По расчету времени было это где-то между венгерским походом Николая I и Крымской войной.

Долго жила в семье эта моя прабабка, имени которой я не сумел узнать. Родила она в селе Сосновка сына Гаврилу в 1853 году; впрочем, дата не по метрике, а по расчету годов, так что на год-другой возможны отклонения в обе стороны; локализация также не по метрике, а по более поздней бумаге. Родила двух дочерей: сначало Пелагею, потом после Гаврилы - Анну. Сестра Анна запомнила, как трусил Гаврила, водя лошадей на водопой мальчишкой, и рассказала своему племяннику Ивану, а тот мне. Как привязывал Гаврила к недоуздку длинную веревку, дабы не лягнула,

---

[156] Один носитель фамилии “Щербаков” позже стал членом Политбюро ЦК ВКП(б). Он не мой родственник. Его звали Александр Сергеевич, он 1901 года рождения, отца его звали Сергей Васильевич и, следовательно, ни сыном, ни внуком Афанасию он приходиться не мог, а для правнука не достает годов. (Сведения о его отце взяты из справки Рыбинского историко-художественного музея от 20.01.77, который в свою очередь ссылается на справку горбюро ЗАГСа Рыбинска от 1951 года - после смерти А.С.Щербакова, в 1945 г.)

не укусила... Пожалуй, ничего больше не запомнилось ему из рассказов тетки. Портрет же Афанасия, долго висевший в семье Гаврилы, испарился при социальных катаклизмах начала XX века.

Тем временем в Тамбовской губернии вершились перемены. Начать с того, что когда деду было 8 лет, отменили крепостное право. Он-то водил лошадей как до Манифеста 19 февраля, так и после, но окружение, население, нравы, стереотипы поведения - неуловимо менялись вокруг. Если в 1858 средний земельный надел государственного крестьянина в Тамбовской губернии был 5 десятин на душу, помещичьего - 2,5 десятины, то в 1900 доля земли уменьшилась соответственно до 3,5 дес. у потомка государственного и 1,8 дес. у потомка помещичьего крестьянина. Ведь росла численность населения. Естественный прирост, демографический взрыв, как это именуется теперь, когда мы все умные, после драки машем кулаками... Правда, в Тамбовской губернии народонаселение росло медленнее, нежели по всей России. В 1851 году губерния по численности занимала третье место в России, в 1858 - уже пятое, а в 1897 году аж девятое! Никто не приезжал на жительство сюда, зато многие - выселялись. Задолго до Столыпина активный сельский элемент искал себе поприща, бежал от безземелья. Народники и чернопредельцы мыслили, что отняв землю у помещиков, можно будет в общине спасти Русь и построить социализм. Но крестьяне посмышленнее на месте ощущали: у помещиков всего 36% пахотной земли, хоть всю отбери - до прежних наделов не вернешься. И уходили людей посмотреть, себя показать. А грамотность распространялась широко. Если в 1880 году из молодых мужчин грамотных было 10%, то в 1899 - уже 48%, а в 1902 - даже 62%.

И, не дожидаясь, покамест в последнем десятилетии XIX века через Сасово провели Московско-Казанскую железную дорогу (а Шацк так и остался на пересечении двух почтовых трактов), в результате чего доставка хлеба по Цне упала с 8 миллионов пудов до 0,7 миллиона в год, - наиболее сообразительные рвали когти из нищающей губернии. Афанасий же недаром был управляющим крупным имением. Он научился грамоте. И детей научил. Сын его и дочери умели читать, писать, считать. При этом Гаврила остался глубоко верующим человеком. Анна же была суеверной[157]. Она и науку хиромантию превзошла, и на черепе по шишкам гадать умела, Лафатер тамбовский![158] И семья двинулась. Куда?

В эти годы (1880-1890) шла последняя перед революцией колонизация Дона. На Северный Дон, через Хоперский округ которого была проложена железная дорога Грязи - Царицын, во все верховые станции (от Урюпинской до Вешенской и Усть-

[157] Неграмотные антирелигиозные агитаторы непременно путают ВЕРУЮЩИХ и СУЕВЕРНЫХ. Но истинно религиозный человек никогда не будет суеверным, он и окрестил-то верующих во всякие приметы “суе-верными”, т.е. “лже-верующими”. В истинной Вере нет места магии и хиромантии. Церковь боролась с “суевериями” примерно так же озлобленно, как официальная медицина с “шарлатанскими врачеваниями”.

[158] Меня всегда всерьез волнуют предсказания-пророчества-гадания. Я знаю несколько поразительно сбывшихся. Сознаю трудности в их интерпретации. Поэтому отмечу одно пророчество Анны Ивану: “У тебя на черепе три шишки: будешь женат три раза”. Хотя в любовных отношениях состоял и даже “совместное хозяйство” вел Иван большее число раз, но детей и юридически оформлял состояние брака ровно три раза: с Пименовой, с Терпанасян и с Лесновой.

Медведицкой) приходили на жительство "иногородние" - русские из северных губерний: Тамбовской, Пензенской, Рязанской. Крестьяне, оторвавшиеся от общины. Переписавшиеся в иные сословия. Инициативные. Ищущие - рыба, где глубже, человек - где лучше. Чем-то сродни североамериканским переселенцам из восточных штатов на запад, только приходящие не на пустое место, а потому решающие более сложную социальную задачу. Хоперский округ вышел на первое место по объему торгового оборота среди всех девяти округов области, опередив даже Ростов с Нахичеванью[159]. Вот в этой-то волне перемещений каплей оказался мой прадед со своей семьей. А позже и мой отец, и я - тоже оказывались каплями в волнах социальных движений...

Насколько я понимаю, к тому времени его больная жена умерла, и ничто его больше не удерживало при помещике. Деньжат скопилось у него немало, так что он мог бы теперь переписаться из крестьян в купцы. Впрочем, переписался он не в купцы: он зачислился в мещане, экономя этим на налогах или из вкоренившейся осторожной постепенности. Когда и где умер Афанасий Щербаков - семейные предания молчат. Известно лишь, что его дети все оказались на Дону - в Хоперском округе. Отъехали-то они вроде недалеко: всего 30-40 верст от Борисоглебска (тогда Тамбовской губернии). Гаврила осел в станице Филоновской, что в 6 верстах к северо-востоку от станции Филоново железнодорожной ветки от Поворино на Царицын.

Станица располагалась на левом пологом береге речки Бузулук - правый приток Хопра.[160] В своем округе вторая по значимости после окружной Урюпинской и числила в себе 15000 жителей, из которых 13700 были казаками[161]. В ней функционировали двуклассное станичное приходское училище, женское училище третьего разряда и даже почта и телеграф! Сам же Хоперский округ славился лучшими в области черноземами, пастбищами, степной охотой, рыбой. Его четверть миллиона населения (в том числе 185000 казаков обоего пола) была рассеяна в три раза вольготней, нежели в Тамбовщине, имела в среднем 14

---

[159] Бытует ложное представление о руских как о КРЕСТЬЯНСКОЙ нации. На самом деле гораздо важнее в ее истории ТОРГОВЦЫ, с Новгорода начиная, Кузьму Минина включая. Просто ЧИСЛИЛИСЬ большинство купцов-торговцев-офень крепостными крестьянами.

[160] При строительстве Волго-Дона станица уцелела, но переименована теперь в город Новоаннинский.

[161] Забавный нюанс. Прошлое Хоперщины отличается от прошлого Донщины. Если для низового Дона современная история начинается с заселения пустующих земель русско-украинскими выходцами, то у Хопра было в прошлом еще древнее Хазарское царство. Именно тут, между излучиной Дона и Волги располагались северные границы этого могучего государства (VI-X века), официально принявшего иудейскую религию, ассимилировавшего тысячи переселенцев - евреев из Испании, державшего в руках всю поволжскую торговлю от Перми до Персии и разрушенного под корень военными походами вещего Олега. Дальнейшие следы остатков этой страны теряются в непроглядной монгольско-московской тьме бесписьменности. Но обитатели там сохранялись непрерывно, о чем свидетельствуют наблюдения за виноградной лозой, не терпящей даже 20-летнего перерыва в культурном возделывании. Не проявилась ли этническая особость этого ареала в систематическом противостоянии верхового казачества низовому? Вот смешно было бы обнаружить у верхового казачества примесь испанской и еврейской крови!

десятин на душу, причем свыше 13 десятин в этой цифре составляла УДОБНАЯ для земледелия земля; сравните с цифрами по Тамбовской губернии: 2,5-5 десятин, чернозему всего 50%. Правда, ни моего деда, ни прочих родственников-пришлецов сие не касалось: иногородние не имели права владеть землей (за редчайшими исключениями, как правило в силу военных заслуг) в казачьей области; к тому же мещане, т.е. горожане, от земли отстранялись. Как и на родине моего прадеда, агротехническая культура была низка: троепольная система, залежи. Распространенный урожай - "сам-три", урожайность "сам-пять" квалифицировалась как везение. Насколько грамотны были жители тех мест в понимании почвы видно из двух смежных баек. В Астраханской губернии - соседствующей с Хоперским округом - еще в XIX веке крестьяне не знали, что навоз удобряет поля. Они по мере хода жизни накапливали кучи навозу, покамест обитать становилось невыносимо; тогда переселялись на другое место, бросая занавоженное селение. Казаки не боялись навозу, но еще моему отцу доводилось слышать, что человеческий кал портит поле (бахчу). Возможно, предков моих неприятно поразило только отсутствие лесов. Поменьше было и монастырей: ближайший в Усть-Медведицкой, верст за 200 к югу. И вообще духовная жизнь протекала у казаков не столь интенсивно: все верные Синоду, тогда как в Тамбовской губернии кипели секты молокан, духоборцев, немало старообрядцев.

Вернемся к масштабам переезда. От Шацка-то занесло Гаврилу далековато по тогдашним меркам: почти 400 верст. Так что трусливый и осторожный Гаврила совершил прямо-таки подвиг мужества, решившись на такой переезд. Осмелиться же внедряться посреди низового казачества было бы уже безумием. Ведь Гаврила был человек богобоязненный и даже просто боязливый[162]. Не пил, не курил, до 40 лет оставался девственником, не только не лгал в быту, но даже не жульничал в торговых делах, что уж и вовсе не отвечало нравам. Все его поучали: не обманешь-де не продашь - а он не мог принудить себя нарушать Божьи заповеди. Соблюдал он и ту заповедь, что гласит: "Несть власти аще не от Бога", чтил власти предержащие и в глазах своей дочери-гимназистки был заядлым реакционером. Не темным, правда, а просвещенным, ибо выписывал много газет и журналов и ежевечерне читал их. И в станице Филоновской и позже на станции Филоново (ныне г.Новоанинский) он почитался самым образованным человеком. И среди своих родственников тоже. Сам не лгал и другим доверял. Детей, когда они народились, баловал, наказаний они не знали. Но даже и при таком мягком "несоответственном" характере наторговал себе оборотный капитал в 10-20 тысяч (вспомним, что обе ярмарки в Шацке совокупно имели оборот до 25000!).

Обжился он в Филоновской, поставил себе бросающийся в глаза просторный дом с застекленной галереей (деревянный, конечно), основал лавку, торгующую всем - от кож до конфет, и подошел к необходимости свой род продлить. Старшая его сестра Пелагея, жившая в той же станице, уже вышла замуж за купца Зотова, у нее уж подрастали дети Федор и Мария. Младшая, Анна,

[162] Эту житейскую трусоватость я не раз подмечал в себе: в своем отце и в своем сыне. Возможно, генетическое.

жившая в 12 верстах в Урюпинской[163], тоже вышла замуж за купца Попова. Надо бы и ему. Но как? Робеет. Коли в 20 лет не целовался, в 40 начинать трудненько!

Не одни лишь Щербаковы вышли из крестьян на Дон, дабы торговать посреди праздных и гордых казаков. Из Рязанской губернии в станицу Усть-Бузулуцкую[164] того же Хоперского округа переселилась обширная семья Картавцевых.

Фамилия "Картавцев" зафиксирована в Белёве в 1596 году, в Москве - в 1646 году, но имеет ли московский подъячий Никифор или белёвский Полуэкт отношение к рязанским Картавцевым XIX века - Бог весть. На первый взгляд корень фамилии прост: "Картавцев" - тот, кто принадлежит к роду или двору "картавого", т.е. не выговаривающего звук "р" (или других звуков). Возможно, так оно и было, чему косвенным подтверждением служит такой факт: ни я, ни мой сын в возрасте 3-7 лет не умели чисто выговаривать "р" и научились только посредством упражнений с логопедом (хирургических мер не потребовалось). Так что, возможно, гены картавости донесены до меня от какого-то незаметного картавого "Картавого", через причастных ему Картавцевых, один из которых стал моим прадедом. Однако как словарь Даля, так и этимологический словарь русского языка А.Г.Преображенского ставят сказанное под сомнение. Дело в том, что значение "нечисто выговаривать звуки" засвидетельствовано с корнем "картавить" ("кортавить") только в конце XVIII века, тогда как раньше он означал "фальшивить, кривить; делать дело лениво, для одного вида. Скартавил = солгал". Поэтому не исключено, что Картавцевы (а с ними Иван Щербаков и я) происходят из рода или двора какого-нибудь известного в округе халтурщика, бившего баклуши, но бодро заверявшего барина: "Бу-сде, гражданин начальничек!" Розыски мне затруднены обстоятельством, что я даже не представляю места происхождения семейства Картавцевых - вся Рязанская губерния! Имея в виду, что двоюродными братьями Картавцевых были Картавовы, можно думать, что вся или полдеревни состояла из Картавовых (или деревня так и называлась "Картавая"), которые при канцелярском переписывании удобства ради варьировались как "Картавовы", "Картавцевы", "Картавские" и т.п.

Возглавлял семью Андрей Сергеевич, родившийся в сороковые годы XIX века. У него с женой Екатериной Ивановной было пять сыновей и пять дочерей, не считая тех троих, что померли в малолетстве (детская смертность была весомым фактором жизни). Разумеется, Андрей Сергеевич торговал, хотя не был приписан к купеческой гильдии, предпочитая, может быть, не пользоваться определенными правовыми привилегиями купеческого сословия, но и не платить высокого вступительного взноса. Сыновья его пошли все тоже по торговой линии, а дочерей он искал пристроить в торговые же семьи. Разбогатела семья Картавцевых главным образом на бреднях. Они покупали полотнища определенной ширины и длины, крупными партиями. Из полотнищ вязался уже сам бредень (сеть),

---

[163] Станица Урюпинская - столица округа, верстах в 70 к северо-западу по грунтовой дороге от Филоновской, на левом берегу Хопра. Позже к ней проложили от магистрали и железнодорожный подъезд.

[164] Третья вершина равностороннего треугольника, начатого Филоновской и Урюпинской. Расположена к югу, на правом крутом берегу Бузулука.

уже с ячейками нужного размера, большой или маленький. И казаки, которые то ли не умели, то ли ленились сами изготовлять орудия рыбной ловли, охотно покупали изготовленные Картавцевыми бредни. Ведь хотя и бывали случаи, когда несколько куреней довольствовались одним компанейским бреднем, обычно же каждый самостоятельный казак-хозяин стремился завести свой собственный. Закажут, бывало, Картавцевым бредень такой-то глубины (ширины), такой-то длины, такой-то глубины матки (середины), нить такой-то тоньшины, ячейки такого-то размера. Рядятся о цене с Андреем Сергеевичем, и вся его огромная семья (даже сыновья не отлынивают) садятся за работу. Разматывают клубки ниток, внучок Иван подставляет вытянутые ручки, на которые мотают, вяжут, крепят, ладят. Тем и жили. Торговлю облегчало то обстоятельство, что ленивые и недальновидные казаки изо всех сил стремились купить товар себе в убыток. Ведь цена слагалась из двух компонент: из собственно цены, которую казак платил за товар, покупая (либо же получал, продавая, скажем, хлеб), ПЛЮС могарыч, который ему ставил торговец (покупатель). Основную цену казак платил или получал соответственно как хозяин дома, и вся эта сумма проходила через руки его жены. Могарыч же шел исключительно ему, и жене касательства ни до суммы могарыча, ни до его судьбы не было. Потому казак был готов как угодно понизить продажную цену или вздуть покупную, лишь бы лично ему перепал могарыч побольше. Грех было бы торговцу тут не попользоваться, и пользовались - казаку на радость, жене и дому его на гнев и горе.

И вот раз в 1892-1893 году купец станицы Алексеевской (верст 12 к северу от Усть-Бузулуцкой) Семен Иванович Лихушин, надумавший жениться, приехал свататься к "богатому этим товаром" Андрею Сергеевичу, отцу пятерых дочерей. Ему стали предлагать "засидевшуюся в невестах" двадцатилетнюю Прасковью младшую (старшая Прасковья уже была выдана за купца Евсеева). Тихая, скромная, робкая, не блиставшая красотой, набожная, не от мира сего девушка не приглянулась Лихушину. "Ее петух чуть не заклевал", - острили на ее счет сестры. Отверг. "А еще товар имеется?" Предложили ему разбитную 17-летнюю сестрицу Христину ("Хреню"). Бойкостью, видом, статью - всем подошла ему Хреня, и увез он ее женою в Алексеевскую. А после рассказал, повстречавшись по торговым делам с Гаврилой Афанасьевичем, что вот бы ему под стать невеста имеется. Поехал Гаврила Афанасьевич свататься в Усть-Бузулуцкую - и не было ему отказа.

Так Прасковья Андреевна стала моей бабкой, а Андрей Сергеевич - прадедом. Лихушин же так породнился с домом Щербаковых, свояками стали. Прасковья дожила до 76 лет, Христина пережила и 90. Отец мой дожил до 80 лет, а по ведомой всем хиромантам линии жизни на своей руке я читал, что предназначен дожить лет до 90. Может быть, гены долголетия - оттуда. Семья Лихушиных сплетается с семьей Щербаковых на много десятилетий: сын Христины будет сражаться против сына Прасковьи в 1919 году, и будет сын Христины носить сыну Прасковьи передачу в мордовский лагерь в 1959... Ради точности отмечу пробел в хронологии. По семейным преданиям, Гаврила женился на Прасковье, когда ему было 40, а ей - 20 лет. Однако свидетельство о смерти Прасковьи Андреевны отмечает, что она родилась в 1871 году, так что 20 лет ей

было в 1891 году. В то же время, согласно свидетельству о смерти Гаврилы Афанасьевича, он умер в 1911 году в возрасте 55 лет, так что сорок ему было в 1896 году. Этот разрыв до 5 лет - мера приблизительности в моей повести о прошлом. По моим прикидкам Гаврила и Прасковья обвенчались в 1894 году. Действительно, регистрационные книги Филоновской церкви за годы 1892 и 1894 не сохранились (справка Новоаннинского ЗАГСа от 22.01.1977), но книги за 1893, 1895 годы сохранились, и в последней имеется запись о крещении родившейся 19 августа 1895 года дочери Гаврилы и Прасковьи. Вряд ли у молодоженов с 1892 года не было детей; если же и были и умерли младенцами, то это нашло бы отражение в книге 1893 года. Более того, кабы Прасковья вышла замуж в 1892 году, то едва бы девушку в 21 год именовали бы "засидевшейся в невестах", а применительно к 23-летней это оправдано. Итак, скорее всего, Гаврила женился в конце 1894 году в возрасте 36 лет на 23-летней Прасковье.

Как сказано, 19 августа 1895 года Прасковья родила ему Наталью (регистрационная запись о рождении №199). Этого имени нет в перечне имен родни жены, ни родни мужа. Явлена ли самостоятельность, или крестины выпали на день Натальи-угодницы? Первые по времени документы, попавшие в мой архив, это фотография Натальи. Около 1896-1897 года на фоне какого-то портика (возможно, бумажной декорации) на стульях рядышком сидят Гаврила и Прасковья с годовалой примерно Наташей на руках. Худощавый Гаврила сидит робко "не на своем стуле", вот-вот готовый с извинениями встать и убраться восвояси. Его жиденькие волосы разложены по обе стороны лысины, которую невозможно скрыть. Жидкая борода, не растущая ни на щеках, ни под нижней губой (как раз такая, как росла у Петра I, из-за чего он и повелел остричь бороды у своих подданных: неповадно быть волосами счастливее самого царя! Такая же, впрочем, и моя бороденка), напряженные глаза, в которых удовлетворение и радость ("Вот чего достиг в жизни! В самом Cabinet Portrait Царицынской фотографической мастерской, вывеска которой увенчана золотой короной, могу себе позволить заказать свой семейный портрет!") перебиваются напряженной грустью и словно бы прислушиванием к мирам иным или к сосанию нарождающейся язвы желудка. Прасковья, с миловидными глазами и тонкими губами, в платье, скрывающем под собой не только щиколки, но и носки и ступни, с густо затянутыми назад, за уши, волосами, с опирающимся на ее плечо младенцем на коленях - она смотрит увереннее, но и в ней видна какая-то защитность позы. На другой фотографии примерно 1900 года, сделанной у "Бр. Эрдман. Царицын н/Волге", уже привычный к фотографу Гаврила сидит, опершись локтем на круглый столик, а дочь стоит, привалившись к нему и доходя по плечо (коли он подымется - она будет по пояс). Волосы еще видны на голове. Лицо спокойное, поза увереннее, но напряженность ожидания чего-то нездешнего продолжает угадываться. Наталья держит пучок цветов в руках, в высоких ботинках, в простом платьице, с простым лицом и напряженно невыразительным взором.

Самому Гавриле Афанасьевичу гимназиев и академиев кончать не довелось. Отец его едва-едва вырвался из крепостно-общинного рабства и величайшей его победой над жизнью было то, что он мог переписаться в мещане, т.е. ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ, а не быть приписанным навеки к месту рождения. Вот ведь семейство Картавцевых так и не смогло выписаться из крестьян в иное сословие; до самого 1907 года (до столыпинской реформы) юридически все они принадлежали к своей рязанской общине, могшей постановлением вытребовать их всех назад, хотя бы и по этапу! Гаврила укрепил завоеванные позиции, упрочил их, завел приличную семью, никому не был обязан ни куском хлеба, ни ситцем на платье дочери. Его самого уже не удовлетворяли газеты и журнал, но к чтению серьезных книг приучен он не был (хотя приложения к "Ниве" - чтение куда более глубокое и разностороннее, нежели тот объем книг, что почитывает средний директор магазина). Главной целью Гаврилы Афанасьевича Щербакова стало дать образование - порядочное, систематическое - дочери и другим имеющим народиться детям. Дочь стала учиться в гимназии.

Мать И.Г.Щербакова - Прасковья Щербакова (в девичестве Картавцева) с племянницей Зоей. Урюпинск, около 1910 г.

Это не личная оригинальность моего деда. Нет, так поступали в те времена многие "нувориши" в третьем поколении. Так же поступил Андрей Сергеевич Картавцев: пятеро его сыновей - Сергей, Абрам, Михаил, Андрей, Иван - не получили никакого образования, кроме прикладного коммерческого, дабы стать на ноги и научиться самостоятельно вести хозяйство и содержать дом. Зато все его внуки получили или начали получать перед революцией гимназическое или высшее образование. Купец Мохов из станицы Вёшенской в "Тихом Доне" кажется мне порою списанным с кого-то из моих предков, их синтезом (хотя с нелепо придуманным авантюрным прошлым).

Образование же вносило разлад в дом. Ведь вся предреволюционная система образования была пропитана антиправительственным духом. Царское правительство на протяжении десятилетий правило, не считаясь с мнением своих подданных, в первую очередь мыслящих людей. И тем самым оно превратило мыслящих и околомыслящих людей в своих ожесточенных врагов. Какие бы казенные охранительные грамоты и благонамеренные программы ни вводило оно в учебных заведениях, одних правительственных циркуляров в связи с отлучением Льва Толстого от церкви в 1904 года было бы достаточно, чтобы все преподаватели в душе отвергли бы всякую идею оправдания правительства. Чтобы дух несогласия, осуждения власти восторжествовал бы в школах. И вот - итог, собственно, еще "промежуточный итог", до которого успел дожить отец Натальи.

1905-1906 годы, пора аграрных волнений, сожженных усадьб, принудительной распашки барских земель, насильственного снятия

урожая с помещичьей пашни. Аграрно-Социалистическая Лига партии социалистов-революционеров призывала, пропагандировала, вооружала, слала эмиссаров. Тогда и начал свою революционную деятельность "за дело крестьян" А.Антонов. А у правительства не было войск справиться с повсеместными поджогами и насилиями. Оно разрешило помещикам нанимать на собственный счет отряды казаков для охраны имений. Казачество-то уже отходило в исторические пережитки. Когда-то оно составляло полусамостоятельное государство, коим ведал в Москве Посольский Приказ, сиречь министерство иностранных дел. Казаки продавали свою военную мощь кому выгоднее (чаще всего православному царю, но не всегда) и тем самым в основном охраняли военные рубежи вечно воюющего Российского государства. Опасная их самостоятельность привела к ликвидации независимости: выборный атаман Войска Донского был сменен Наказным атаманом, но сохранился ряд привилегий и частичной автономии. Они превратились в наследственное военное сословие, что в условиях всеобщей с 1871 года воинской повинности превращалось в анахронизм. Но этот пережиток ландскнехтщины сгодился на корыстное подавление крестьянских бунтов в 1905-1906 годы.

Из того тамбовского имения, где прежде жила семья Щербаковых, на станции Филоново, куда Гаврила с семьей уже перебрался из станицы, приехал посланец помещика нанять казаков, воспользовавшись посредничеством Щербакова. Сидят в комнате Гаврила Афанасьевич, представитель помещика, несколько казаков и обговаривают условия повыгодней. Вдруг в комнату просовывает головку десятилетняя девчушка и выкрикивает:

- Казачки-дурачки! Вы опять хотите бить плетьми и стрелять в своих братьев-мужиков?! Стыдно продаваться за деньги на защиту помещиков! Откажитесь от охраны имения!!

Ну, за дверь-то ее выставили. И охрану помещику тоже соорудили, невзирая. Но от стыда Гаврила Щербаков сквозь пол провалиться был готов. Краснел все пять лет, что ему оставалось жить, когда при нем вспоминали, как дочка его кипятилась. "Наташка голову с отца сняла". Ведь была же она, можно сказать, внучка того поместья, спасать которое его позвали! Ведь для него не было ничего святее властей, предустановленных от века. Ведь что же это было за предвестие Антихриста: яйца начинают курицу учить! При таких грозных предзнаменованиях пропасти, разверзавшейся в его семействе, как и во многих подобных, приближался Гаврила Афанасьевич к своему смертному часу.

Его порадовала еще жена, подарив ему одного за другим двух сыновей, выживших после четверых, умерших в малолетстве. В мае 1902 года родился Иван. В моем архиве первый письменный документ - метрическая запись о его рождении:

МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСЬ

О рождении за 1902 год тысяча девятьсот второй год из книг Троицкой церкви станицы Филоновской, Хоперского округа Царицынской губернии.

Счет родив	м-ц и	Имя родившег	Звание, имя, отчество	Звание, имя, отчество родителей

ш.	день	ося		восприемников
140	Май 24	Иван	Тамбовской губ. Шатского города села Сосновки мещанин Гавриил Афанасьевич Щербаков и закон. жена его Прасковья Андреевна	Рязанской губ. кр-н Сергей Анд. Картавов, кр-ка Дарья Андреевна Картавова

ГЕНЕАЛОГИЯ ИВАНА (СХЕМА) - СКОПИРОВАТЬ И СДЕЛАТЬ РИСУНОК

Документ... Разве есть на свете свидетельство менее надежное, нежели официальный документ? В этой бумаге я вижу сразу четыре несуразицы. Во-первых, Хоперский округ относился не к Царицынской губернии, а к Области Войска Донского, и в 1902 году не мог бы быть составлен такой документ. Во-вторых, уезд именовался Шацкий, а не Шатский, следовательно, звания родителей записывались со слов, а не с документов. В-третьих, родился мой отец Иван 25, а не 24 мая, следовательно, не мог быть занесен в церковную книгу на день раньше. В-четвертых, фамилия восприемников (кумов) была Картавцевы, а не Картавовы, что, впрочем, можно списать на простую небрежность попа. Восприемниками были мои двоюродные дед и бабка: брат и сестра моей бабки Прасковьи. Откуда же в "документе" взялось столько нелепиц? Да дело в том, что юридически он датируется не 1902 годом, а на 20 лет моложе: это копия, сделанная в июне 1922 года секретарем Управления уполномоченного Донским областным отделением ГПУ по Черкасскому округу с копии, сделанной секретарем Выездной сессии Реввоентрибунала Северо-Кавказского военного округа и 1-й Конной армии с копии, сделанной в ноябре 1921 года заведующей ЗАГСа станицы Филоновской. На этом клочке бумаги, испечатанном машинкою с обеих сторон, оттиснута почти стершаяся печать ГПУ. При трехкратном перекопировании накоплялись ошибки и "исправления": так, в 1921-1922 году само сочетание "Область Войска Донского" звучало криминально, вызывающе антисоветски. Хоперский округ был передан в состав Царицынской области, а кто-то из грамотеев поименовал сию область "правильно" - губернией, как было до революции. Из-за таких вот некорректностей документа не знаешь, как относиться к прочим его утверждениям. В частности, до 1976 года у меня шевелились сомнения: верно ли поименован Щербаков "мещанином", а Картавцевы "крестьянами"? Ведь в 1921-1922 году моему отцу, получавшему эту многократную копию, было жизненно важно, что сословие его отца и деда именовалось не "купечество"! Там, где доверие к документу подорвано, не ведаешь, где остановиться в своих подозрениях... Впрочем, из следующего документа видно, что недоверие мое в этом пункте было напрасным.

В 1903 году Гаврила убрался из станицы Филоновской, где 90% жителей составляли казаки, на станцию Филоново, где хоть и было много торговых конкурентов, но процент казачества был куда меньше. И жили на этой станции равняясь на Запад. Уже в 1906 у одного из купцов был свой автомобиль - один из первых в России. Правда, эта роскошь Гавриле не была доступна, может быть, даже пугала. В 1904 году родился сын Михаил. Но здоровье худшало и худшало. Язва желудка вынуждала строгую диету. Приходилось жевать невкусную кашицу. И вот Гаврила Афанасьевич соблазнял сына Ивана: дам тебе конфетку, если будешь со мной кашу есть! Все за компанию веселее... Опасения, страхи - не проходили. Каждый вечер с наганом в руках Гаврила осматривал все комнаты, заглядывал в шкафы, под столы, под кровать: не забрался ли, не притаился ли вор и разбойник? Осмотревши все, посылал сына вдеть снаружи болт от ставней, который саморучно закреплял изнутри поперечиной. Опасения были не беспочвенными: при иссякании революции 1905 года экспроприации и теракты вырождались в

разбойные нападения на кого ни попадя, а уж грабануть торговый элемент зазорно не было. Волна грабежей, убийств и насилий преломлялась в слухи-сказки о разбойниках, которые не только Ивану рассказывал отец, но и мне - тридцать лет спустя - моя бабка Валентина. Ивана ночами мучали сны про бандитов, хотя спал он изумительно крепко.

Когда Ивану было 8 лет, у отца случилось прободение язвы и развился перитонит. Хотя два-три врача навещали его ежедневно, сбить высокой температуры и ослабить болей не могли. Наталья - уже вполне сформировавшаяся девушка - помчалась в Борисоглебск привезти оттуда прославленного профессора Масловского. Но, выслушав симптомы, профессор ехать отказался: "Ничем, уважаемая, помочь не могу. Готовьтесь к худшему". И впрямь, едва она вернулась, как Гаврила Афанасьевич позвал детей прощаться. Ивана добудиться не смогли, так он и не простился. Когда несколько часов спустя Иван пришел в комнату отца, тот был уже в беспамятстве. Так и умер с оскаленными зубами, тяжело дыша. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы раздобыть официальный документ о смерти моего деда Гаврилы. Вот он:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Новоаннинского районного (сельского)
Совета депутатов трудящихся
Волгоградской области

Бюро записи актов
Гражданского состояния
30 XII 1976 г.
№ 542 г.
Новоаннинский

Тов. Пименов!

Волгоградский облархив ваше заявление направил в Новоаннинский райЗАГС. Новоаннинским райЗАГС найдена актова запись о смерти Щербакова Гаврила Афанасьевича.

Мещанин города Шацка, Тамбовской губерни Щербаков Гаврил Афанасьевич 55 лет умер 24 июля 1911 г. от катара желудка.

Смерть зарегистрирована 28 июля 1911 в церкви г.Новоаннинского, Волгоградской обл.

Актовая запись о смерти № 34.

Сведений о месте рождения и родителях Щербакова Г.А. в актовой записи о смерти нет.

Зав ЗАГС нрзбр вроде Бори-

Документ, конечно, руководствуется правилом сообщать географические данные по состоянию на момент выдачи документа, а потому пишет с казачье-хохлацким акцентом ("актова", "губерни"), но подтверждает и "Шацк", и "мещанина", и смерть летом, и смерть от болезни желудка, и даже смерть на станции Филоново, ныне Новоаннинский. Документ расходится с воспоминаниями Ивана Щербакова, который уверенно датировал смерть своего отца 1910 годом, "когда мне было восемь лет", и который убежденно называл

возраст умершего отца в 57 лет. Думаю, что документ тут не ошибается, а названные расхождения должны служить мерой приблизительности воспоминаний Ивана Гавриловича Щербакова.

Резюмируя все сказанное о моих по линии отца предках, можно сделать вывод: это люди сметливые, идущие чуть-чуть впереди своего времени, угадывающие потребности и главное - направление времени как свои собственные, личные потребности, и прочно стоящие на ногах в житейском смысле, сохраняя нравственную чистоту.

§2. Отрочество Ивана Щербакова

Крушение семьи; купец Лихушин - дядя Ивана; Дарья Андреевна Авсенева - тетка Ивана; формирование мировосприятия Ивана; всеобщая революционность; замужество Натальи; I Мировая война

Смерть близкого человека на глазах - всегда тяжкое потрясение для девятилетнего ребенка. Смерть отца-кормильца - всегда удар по семье и детям. Здесь же обстоятельства сложились так, что почти мгновенно разметали семью и превратили ее членов из жены и детей уважаемого богатого человека в приживальщиков.

На людях Иван не выказывал горести и лишь отмахивался от расспросов "про переживания" - ничего, дескать, особенного. Сам же, улучив, когда у гроба никого нет, подлезал под пелену, накрывавшую тело, и простаивал, всматриваясь в лицо покойного часами. Михаил был совсем мал. Вдова Прасковья молилась. Активной и энергичной была уже почти совсем взрослая (16 лет через месяц после смерти отца) Наталья, но будучи несовершеннолетней, не могла оказать влияния на последующие события.

Родичи Гаврилы Щербакова все были торговцы, люди деловые. Они прекрасно чувствовали, что вдова вести дела не сможет: ни хватки в ней, ни понимания. Значит, надо прийти на помощь. А "братская" неформализованная помощь трудно отличается от заграбастывания. Прежде всего они научили Прасковью немедленно переехать на жительство в другое место: в станицу Алексеевскую, где проживал ее зять Семен Иванович Лихушин. Зачем? Да очень просто. Ведь капитала в наличных деньгах купец, конечно, не держал, вкладывая его в товары. И, как правило, товар забирался в Царицыне в кредит и почти всегда без юридических расписок ("Мы же свои люди, сочтемся!"). Персональное знание друг друга позволяло обходиться без этих "крючкотворств" и без уплаты нотариусу за свидетельствование кредита[165]. У Гаврилы имелось много только что набранного в кредит товару. Семен убедил Прасковью, что если она переедет, то тем самым все долги кредиторам аннулируются; учтя, что Алексеевская не на железной дороге, что туда трудно добираться, можно согласиться, что

[165] Здесь мы натыкаемся на важный стереотип поведения русских. Русские мало ценят долгосрочные преимущества ЗАКОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, предпочитая им “синицу в руки”, т.е. хотя бы крохотные сиюминутные наличные выгоды. Засвидетельствовать займ у нотариуса в юридическом плане означает стопроцентно гарантировать отдачу этого займа; это - долговременная устойчивость. За это надо платить (столько-то % от суммы кредита) нотариусу и ДОПЛАЧИВАТЬ НРАВСТВЕННО (“Ты что, мне не веришь, что ли, что тащишь меня к этому буквоеду?!”) в плане личных отношений. Русские предпочитают обходиться без юридической устойчивости. Характерно, что Герцен, проживший четверть века в образцовой стране законности, так и не оценил пользу от соблюдения законов, эту неуловимую гарантию послезавтрашнего существования, а относился к законам с презрением из-за их “мелочности”, “иссушающего духа”. И поныне, вынужденно обращаясь к нотариусу для свидетельствования акта покупки-продажи дома, никто не называет реальной суммы стоимости, а лишь меньшую часть, дабы сэкономить несколько десятков рублей из пошлины. Великое преимущество, которым обладает человек, не обходящий закона, не жульничающий с ним, - почти неизвестно русскому человеку.

Лихушин верно рассудил, как отнять товар у кредиторов. Тем более, что если какой кредитор и приехал бы за долгом в Алексеевскую, ему пришлось иметь дело не с доверчивой неделовой женщиной, готовой и свое-то отдать попросившему, а с крепким Семеном Ивановичем, не пропускавшим чужого куска. Он и не пропустил: все товары перекочевали в лавку Лихушина. Он сам себя назначил и провозгласил "опекуном" над семейством Щербаковых, ни в какой опеке юридически не нуждавшемся. Щербаковы стали жить у Лихушиных, а Лихушины стали тратить капиталы Щербаковых. Само собой, произносились громкие и жалкие слова, сто "сирот в обиду не дам", "выращу как своих". И в какой-то мере Семен Иванович сдержал слово: все дети Щербаковых получили среднее образование, как и дети самого Лихушина. Но из чужих рук горек хлеб... Да и собственных детей у Семена было многовато: пять сынов, три дочери - какие средства нужны!

Первой взбунтовалась Наталья, которая и учиться-то в Алексеевской не смогла: негде. Она уехала кончать гимназию (училась в VI классе), а как только получила право на преподавание, пошла учительницей зарабатывать себе на жизнь. Да так, чтобы взять к себе на содержание и мать, и братьев! Но и оставшиеся Прасковья с двумя сыновьями не долго выдержали жить во флигеле паровой мельницы у благодетеля Лихушина: пожив лето, сбежали к Андрею Сергеевичу Картавцеву, отцу Прасковьи, в Усть-Бузулуцкую. Он, правда, к тому времени ослеп, было ему около 70 лет, но оно для независимости и легче, нежели когда хозяин молодой и энергичный, за всем самолично приглядывает. И уже, конечно, мать Прасковьи, Екатерина Ивановна не даст в обиду дочку и полюбит внуков. Не сделает она того, что что Семен: он додумался поручить Прасковье кормить свиней при мельнице. Десятка два их кормилось при мельнице разными отходами, раздобрели на вольготных кормах. Надобно палкой намешать в корыто "пыль", а чушки толпятся, толкаются, самоё схавать грозятся. И не в боязливости Прасковьи тут дело: всякий зоотехник знает, что возбужденные едой свиньи могут растерянного человека и с ног сбить, и покусать. Работа свинарки - это не та идиллия, что демонстрировалась нам в фильме "Свинарка и пастух". Лихушин не намеревался унижать Прасковью: его сыновья, бывая на мельнице, сами кормили свиней. Но выдержать этого Прасковья не могла и сбежала, как сказано, к своей матери.

Екатерина Ивановна в молодости была красавицей в старинном русском стиле; на фотографии 1910 года этого совсем не видно. До старости сохранила плавную походку ("выступает будто пава"), величавость, естественное достоинство. Добродушная охотница посудачить, она не выговаривала звука "ч", заменяя его "цоканьем": "Ванюшка, иди со мной цай пить!" - звала она по утрам внука. Они двое вставали раньше других в семье[166]. Заваривала душистый чай фабрик Перлова (даже в 1944 году те, кому пофартило сохранить прославленный перловский чай, будут выставлять его на стол как особенное угощение), крепко-крепко. Пристрастила внука к крепкому чаю аж до самой его смерти в 80 лет. Задолго до всяких “чифиров”. В охотку, не тревожимые никем, попивали они, беседуя о том о сем. Ей было о чем порассказать Ванюшке: она была известнейшим в

[166] Эту физиологическую черту - рано вставать, “жаворонок” - я унаследовал, тогда как мой сын от своей матери “сова”.

Хоперском округе лекарем знахаркой. Лечила заговором, травами, жеваным орехом. В те годы денег она за это не брала: “Вот когда поможет, тогда и отблагодаришь, чем богат”. Разные случаи, забавные и грустные, медицинские и магические, западали в память подростка вместе с чаинками. А доброта и общительность помогли Екатерине Ивановне уже позже, перевалив за 70, пережить Гражданскую войну, не обиженной ни белыми, ни красными.

И все-таки привыкшей к своему собственному дому Прасковье не сиделось хоть у отца с матерью, но в гостях. Она и позже не уживалась и с другими хозяйками - женами Ивана. Ее бередила ответственность перед своим покойным мужем за своих детей. И хотя за нее сватались состоятельные вдовцы, а один родственник (Федор Зотов, сын Пелагеи, старшей сестры Гаврилы) долгие годы проходил в нее влюбленный и всегда был готов взять - помани только - она решила второй жизни не заводить. Надумала переехать в Урюпинскую, где жил и вел торговлю ее брат Андрей Картавцев, так что некоторая опора была. В Урюпинской иногородних было почти столько же, сколько казаков. Там она сняла дом (на покупку средств уже не было) и продолжала зарабатывать на жизнь сдачей комнат этого дома в наем (в субаренду) с питанием (“со столом”, как тогда выражались). Дело обещало быть верным: в Урюпинской были училища, казенные гимназии, открылась общественная гимназия (“Гимназия Общества Содействия Образованию”, как она именовалась в бланках и печатях), в которые со всего округа казаки и иногородние свозили детей учиться. Область Войска Донского среди прочих краев царской России выделялась почти стопроцентной грамотностью мужского населения. Армии ценнее грамотные - казаки обязаны были учить детей. Прасковья Андреевна рассчитывала, что предлагаемый ею пансион будет пользоваться спросом и прокормит ее с детьми. Стоимость комнаты со столом колебалась от 10 до 15 рублей в месяц. Десять брали со знакомых или рекомендованных родственниками, а 15 - с посторонних. Это немало: от 15 до 30 рублей было жалованье в месяц начинающей учительницы в низшей школе, вполне приличный по сельским понятиям доход, конечно, доход не чистый, следовало бы вычесть стоимость съестного, но так как никакой еды не покупали, все было свое, то ее и не считали в издержках. Так-то оно так и было бы, кабы в самом деле можно было прокормиться огородным хозяйством. На это же не хватало рук ни своих, ни сыновьих: Иван, а за ним Михаил в свой черед отправились учиться.

Хозяйствовать Прасковья Андреевна не умела. То раздаст нищим весь свой гардероб, то почти бесплатно пустит “бедную девочку” на житье, то уйдет пешком с Иваном Евсеевым на богомолье в Киево-Печерскую Лавру по обету… Так что оно, пожалуй, и справедливо, что “крепкий хозяин” жуликоватый Лихушин прибрал к рукам щербаковское добро, пока оно попусту не пропало, по ветру не пошло. Лихушин не только Щербаковых проглотил. У него и другой зять - брат жены Сергей Картавцев стал работать приказчиком в магазине, утратил свою самостоятельность, зато женился на обедневшей дворянке Перфильевой, Лихушин и чей-то кожевенный завод купил. И паровую мельницу построил на деньги богатого казака и всю ее себе присвоил. Только не знал Лихушин, что надвигаются события, которые распылят и добро его и самих

сынов его. А вот родственники и полста лет спустя будут попрекать вдову Лихушина Христину: “Вы и тогда ограбили семью Щербаковых, и сейчас, когда Ваня сидит, ему никто из вас не помогает!”.

Попрекать будет сестра Христины Дарья. Как-то раз ехал псаломщик церкви в селе Скрипниково Криушской волости Воронежской губернии (что рядом с Калачом) посвататься к хоперской казачке (Криуши почти на границе Донской области). Предварительная договоренность уже была достигнута, родители будущей невесты ждали его. Проехал он верст 70, решил отдохнуть в Усть-Бузулуцкой. И засмотрелся там на серьезную миловидную Дашу Картавцеву, вобравшую в себя всю красоту своей матери. Сам он тоже был парень не промах: статен, с пылким взглядом, черными усами, лихой повеселиться и поухаживать. Да еще возбужден был жениховским своим состоянием, предвкушением брачных уз. Словом, до плановой своей невесты своей Феодосий Александрович Авсенев не доехал, а увез с собою женой Дарью Андреевну, с которой прожил 60 лет в радости и в горе[167]. У этих Авсеневых в Криушах, где Феодосий скоро стал священником по стопам своего отца, довольно часто гостевал племянник Иван. Будучи сама бездетна, тетка Дарья очень его полюбила. А когда я уже был в лагере, отец Феодосий воссылал молитвы во избавление меня из плена, а дабы уместно было православному священнику молиться за некрещеного с басурманским именем Револьт, он заочно окрестил меня и дал максимально близкое по святцам имя “Ревокат”. Когда я освободился, Дарья подарила мне деньги и пальто. И, как я уже сказал, Дарья до конца дней не простила родной сестре присвоения “ванюшиных денег”.

Семья Авсеневых - бабка Дарья, дед Феодосий Александрович. Новочеркасск, 1959 г.

Сомнительно, чтобы сам Иван в ту пору думал об этих деньгах. Ни к какой торговой карьере он себя никогда не приготовлял, для него не было потери в этой потере. Жил он книжками и обычными мальчишеским радостями. Обиды к двоюродным братьям Лихушиным не испытывал. С легким сердцем гостил у них, и дружил и дрался, и кормил свиней, а если от чего огорчался, так лишь от того, что старший Лихушин Давид (в те времена в стопроцентно православных

[167] Я в жизни неоднократно наблюдал аналогичный перенос любого чувства с одного предмета на другой. У моего братца приключилась похожая история. Был он влюблен в одну девицу, которая испытующе приглядывалась к нему. И вот сегодня она позволила ему себя целовать (не больше), а назавтра к нему случайно зашла ее подруга и, начав с того места, на котором вчера остановился, он скоропалительно сблизился с ней. У меня лично до таких крайностей дело не доходило, но многократно замечал, что когда у меня хорошо идут любовные дела с одной женщиной, я делаюсь заметно ласковее, внимательнее и приятнее другим женщинам.

русских семьях давали подобные имена, не опасаясь кличек “додик” и пронзительных вопросов завкадрами) смотрел на него свысока и, будучи студентом Санкт-Петербургского горного института, не снисходил до серьезных разговоров с малявкой. Иван тянулся к Лихушиным, сам на каникулах выбирал жить у них, а не у другой тетки (Анны Афанасьевны), жившей в той же Алексеевской, но не в центре на площади, а на самом берегу Бузулука. Анна (тетя Оня) ведь тоже, как и все родственники, бурчала, что Лихушин ограбил Щербаковых. У Лихушиных же можно было и полюбоваться умницей Давидом и даже краем уха подслушать что-либо сказанное им (он уже в реальном училище овладел немецким языком до того, что самостоятельно читал технические книжки); можно было поспорить и побороться со старшим парой годов Иваном Лихушиным, не таким умным, но зато дразнящим воображение славой ухажера, станичного Дон Жуана; вполне по-свойски можно было обойтись со сверстником Василием; можно было покрасоваться и взять душевный реванш перед младшими Евгением и Валентином; сестры-девочки не фигурируют в воспоминаниях Ивана, а их было трое.

Эта мальчишеская компания до некоторой степени помогла Ивану Щербакову перенести боль утраты единственной дружбы, завязавшейся у него еще в Филоново. У богатейших купцов Бахрушиных, тех самых, что в 1906 году уже обзавелись собственным автомобилем, был внук-сирота Левка, парой лет старше Ивана, учившийся уже в гимназии. На лето с матерью он приезжал в Филоново к дедам. Тут Левка и Иван сдружились, и так, что “больше у меня друзей не было ни в детстве, ни в отрочестве. Товарищей же было немало”, вспоминает Иван. Два лета (1910 и 1911) провели они вдвоем:

“Обычно утром он заходил за мной и я, захватив что-нибудь съестное, да еще мать даст какие-то копейки, отправлялся вместе с ним купаться на Бузулук. Прежде мы заходили в какой-то киоск, покупали десяток папирос. Затем путешествовали по всем так называемым “пристаням” Бузулука. Проще сказать - местам купания, так как какие же там пристани! Может быть, бывшие места перевоза на лодке? - загорали на этих пляжах. Я уже немного мог тогда плавать. Но главное в разговорах, очень задушевных. Он открывал для меня интереснейший неведомый мне мир. Для своих лет он был очень развитой и способный. Так, Левка сделал сам деревянный двухколесный велосипед, и мы по очереди на нем катались, пока от быстрого хода он не рассыпался. Сделал из фанеры крылья, на которых перелетали длинный задний двор и др. Проводили мы время на речке до захода солнца, целый летний день, и были недовольны, что день такой короткий”.

Тосковал о нем Иван мучительно. Для раненой таким образом психики громадным подспорьем оказалась своя мальчишечья компания.

И все-таки, где-то на уровне подсознания, хотя и отметаемые подростковым безразличием и очень важными сборами на рыбалку, единодушные укоры-соболезнования родичей делали свое дело. Они не то чтобы внушали отвращение к Лихушину персонально, но зарождали брезгливость к капиталу как к таковому, будили протест

против того МИРА, где возможно, чтобы ДЕНЕГ РАДИ брат обжуливал сестру. Протест против социальной несправедливости, который уже выражала не раз его сестра, заражал Ивана Щербакова. Раз отняли - и не надо, обойдусь, вообще денег мне не нужно, мне нужен мир, где вовсе денег не будет - вот схематически строй чувств (мыслями этого я назвать не решусь) Ивана. Вообще-то он был очень занят, и спокойно размышлять мог, только сидя в уборной. Там он и обдумывал, никем не тревожимый, самые главные мысли, ПРИНЦИПЫ, КАК СЛЕДУЕТ ЖИТЬ. Там и дал клятву, как будет жить, возвышенную, не хуже герценовски-огаревской. В других же местах все время приходилось действовать, участвовать, кипеть. Напомним, что шли годы, когда оппозиционно, антиправительственно были настроены “все”, т.е. практически вся мыслящая и деловая часть общества. Недовольство промышленников и торговцев бездарностью или инертностью царского управления в области финансов, хозяйства, аграрного землеустройства; возмущение интеллигенции от гимназистов и профессоров и инженеров глупейшими вмешательствами казенных чиновников в общественную жизнь; всеобщее негодование по адресу Гришки Распутина; нравственные обличения Льва Толстого с его поисками Царства Божия внутри нас; болезненные вспышки совести при виде социальных несправедливостей - все сливалось в общем ожидании: старый мир прогнил, рухнет, потом возникнет лучшее. И когда Иван Евсеев, сын Прасковьи старшей, сам много старше Ивана Щербакова, повествовал родственникам о делах революционных 1905 года - как в станице Усть-Медведицкой революционеры заявились арестовывать окружного атамана, а тот пустился от них наутек на тройке, и гнались, перевертывались подводы - ему жадно и с досадой, что атаман все-таки убег, внимал не только Иван Щербаков, но и старшие сыновья самого Лихушина. Давид и Иван Лихушины в годы 1912-1917 были сами настроены революционно, против царя и царских властей, за свободу, за политические преобразования. Этим-то и влекли к себе они Ивана Щербакова, который ловил любое их словечко “против Бога”, “против царя”. Вот Васька Лихушин - тот ничуть не интересовался политикой, был хозяйственный парень. Так нравственно-социальные поиски подростка Щербакова внешне вроде бы смыкались со всеобщим политическим недовольством.

И.Г.Щербаков (крайний справа) с одноклассниками по гимназии. Урюпинск, около 1912 г.

Сначала Щербакова отдали учиться в Усть-Медведицкое реальное училище, но через год переселили в Урюпинскую, где он поступил в общественную мужскую гимназию. Тогда бытовало три сорта гимназий, не говоря уж про реальные училища, а также про национально-религиозные иноверческие учебные заведения. До Петра I на Руси все дело образования было неразрывно слито с делом воспитания православных подданных. Церковные школы - венцом их была Греко-Славяно-Латинская Академия - учили грамоте, дабы выучившийся смог читать Псалтирь и Библию. Петр ликвидировал монополию Церкви на образование и расчелнил Образование и Воспитание. Воспитание было в основном оставлено Церкви (впрочем, утратившей свою самостоятельность), а образование передано Государству. Была учреждена Императорская Академия Наук, для подготовки ее кадров основан Императорский Университет, а для подготовки слушателей в Университет - заведены казенные гимназии. С некоторыми вариациями система эта просуществовала до второй половины XIX века. На всем протяжении этого века общество стремилось вырвать из рук Церкви и правительства монополию если не на воспитание, то на образование. Отголоски этого слышны в “горе от ума”, где упоминается “ланкастерское взаимное обучение” - не казенное. В семидесятые годы народники толпами хлынули в деревню торопливо учить крестьян чтению, письму, географии и дарвинизму - учить по своим, а не по казенным программам, к преподаванию призывались кадры, не профильтрованные жандармским критериями. Позже в городах укрепились “воскресные” школы - плод бескорыстной и самоотверженной активности общества, стремящегося приобщиться к образовательной власти. И в начале XX века, особенно после 1905 года, правительство вынуждено было сдаться, признать, что правительственная система образования гибка, недостаточно эффективна и нуждается в восполнении за счет общественной и частной инициативы. Тогда-то и начали плодиться гимназии общественные и гимназии частные. Лицо или сообщество, учреждавшее таковую, брало на себя определенные обязательства в части программ, должно быть, конечно, соблюдать всеобщие законы Российской Империи, выпускники этих гимназий не пользовались известными льготами при поступлении в высшее учебное заведение, но в вопросе подбора преподавательских кадров, в варьировании программ и необязательных предметов, в выборе правил

гимназического распорядка и дисциплинарных мер владелец гимназии или совет учредителей были весьма свободны - в рамках наблюдательного контроля, не могущего вмешиваться в ход занятий. В Урюпинской была казенная женская гимназия, реальное училище, общественная мужская; частной - не было. Общественная содержалась за счет доброхотных взносов, тех же купцов, например.

В школе стряслись два происшествия - собственно, даже три, - которые довершили рисунок психики Ивана. В Урюпинской, как в любом другом населенном пункте, водилась группа озорников-хулиганов, бесчинствующих то на окраинах, то на центральных улицах. Сплоченные, дерзкие. Не бог весть как опасные, им было лет по 10-14. Кто постарше, привлекал мальцов “правдивыми историями”, как он обходился или как надо обходиться с женщинами. Куда и чем надлежит их “шпарить”, показывали друг другу соответственные части тела. Вряд ли доходило до действий, ограничивались росказнями, возможно, вымышленными или из кинематографа занесенными через несколько звеньев. Гораздо позже, в 1951-1952 году, мой десятилетний двоюродный брат Сергей поведал мне, как он наблюдал в пионерском лагере коллективное совокупление сотоварищей по лагерю, причем отнесся к этому как к “само собой разумеющемуся”. Похоже, что ни о чем подобном Иван Щербаков в 1910-1912 годы даже не подозревал. Он чем-то понравился вожакам, они стали его к себе зазывать. Ему же, напротив, так не показалось, он стал их избегать. Естественно, те обиделись. До драки дело не дошло, но до угрозы: “Смотри, жалеть будешь!” - докатилось.

И вот, когда он учился в III классе низшей школы, зимой, затеялась на большой перемене игра в снежки на улице, примыкавшей к школе. Все кидали, кроме курцов, которые расположились за уборной во дворе. Иван курил и видел, через высокий забор, как летят снежки над улицей, но самих кидающих-играющих не было видно. Заразительно зрелище! Один из курцов не вынес, сгреб снег, метнул не глядя в кого, другой, третий, Иван туда же! Как вдруг один из сражавшихся на улице бежит ревмя с заплывающим вокруг глаза синяком - ему засадили комком льда из-за забора. Учителя проводят дознание: находятся свидетели, настаивающие, будто ледяшками кидался Щербаков Ваня, хотя он сам отчетливо помнит, что брал только рыхлый снег, не очень даже уминал... Его пропесочили, снизили оценку по поведению и вынесли строгое предупреждение; дополнительно раскрылось его курение. Показания дали огольцы из той самой ватаги.

Проходит несколько месяцев - и на двери учительской появляется одно из распространеннейших трехбуквенных русских слов, обозначающее то самое, чему поклонялись древние греки, изображениями чего были утыканы их площади и храмы.[168] Расследование. И показания той же компании, будто надпись сделана Щербаковым Ваней. Заведующий школой не стерпел, исключил Щербакова, хотя вот-вот уже завершился учебный год и экзамены были на носу. С учебой-то обошлось: несколько месяцев с Иваном занимался Давид Лихушин, квартировавший тогда у

[168] Меня давно уже занимает, почему у французов аналогичную социальную роль исполняет - тоже трехбуквенное - слово женского пола? Какая - физиологическая или галантерейная - разница двух обществ скрывается за этим различием?

Щербаковых на Купеческой улице. Потом Щербаковы переехали в Усть-Бузулук, где его приняли в IV класс так называемой “Двуклассной школы с пятилетним обучением”. Но осталась душевная рана: неудачливость, невезения в жизни. Я мало того, что сирота, обделенный, я - магнит, который притягивает к себе несправедливости! Я обречен на несчастия и несправедливости. Судьба моя - быть неоцененным по заслугам, терпеть неправедные гонения! Эти оговоры и изгнания - символы и предвестники незаслуженных невзгод, которые станут обрушиваться на меня всю жизнь! НУ И ПУСТЬ!

В Урюпинской гимназии Щербаков учился хорошо. По словесности (русский язык и литература) был даже первым учеником и любимцем директора (Мирон Анфиногеныч Горчаков, из Новочеркасска), ее преподававшего. От французского и немецкого языков у него не осталось даже поверхностного знания. Но все же науки давались легко, без сопротивления. Мир расширялся. Расширялся и с неожиданной стороны: устранением матери со всей семьей количество свободы безмерно возрастало. Мать же уехала в 1914 году к дочери Наталье, которая, окончив с золотой медалью женскую гимназию в 1912 году, сначала преподавала на хуторе Яминском в ст. Алексеевской, а потом вышла замуж за гимназического преподавателя гимнастики Герасима Родионовича Елисеева и уехала с ним в Елизаветполь в Закавказье. Это старинный армянский город Ганжа, который был в начале XIX века переименован в Елизаветполь (за упоминание старого названия закон предусматривал денежный штраф!), а в XX веке еще раз переименован в Кировобад. Туда Наталья и перевезла свою мать с братом Михаилом. Иван же остался доучиваться в Урюпинске. Жил он, снимая комнату у местного страхового агента. Здесь он был нарасхват у своих тетушек, а это куда как увеличивает свободу.

Началась I Мировая война. Она ассоциируется с мобилизациями, увечными, похоронками. Ничего этого не было среди родственников Ивана Щербакова. Молодое поколение еще недостаточно подросло, чтобы его призывали в армию, либо же были студентами (Давид, позже Иван Лихушины), которые могли пойти вольноопределяющимися, могли не пойти. Давид не пошел. В июле 1918 года он вернулся уже пятикурсником. Старшие - дядья - наоборот, были чересчур стары, чтобы попасть в армию, не быв казаками; на фронт попали только Абрам и Михаил Андреевич Картавцевы. Здесь иногородним их вечное отсутствие привилегий обернулось неожиданной привилегией - меньшей неизбежностью воинской службы. Семью Натальи война задела сильнее: ее муж Герасим ушел, ибо офицеры подлежали обязательной мобилизации. Ушел он в 1915 году, ни в малой степени не предвидя, какой заклятой врагиней станет ему женушка через два года. А его двадцатилетняя жена сама не знала, что моментально заведет себе любовников в отсутствие мужа. Прасковья Андреевна с Михаилом оставались в Елизаветполе у Натальи. Чем реально обернулась война для Ивана Щербакова - так это многократными побегами его соучеников из гимназии "на фронт" (сам он не бегал), которые превращались в увлекательные игры: учителя дознавались от оставшихся, на какой фронт собирался направиться беглец (один, Симка Каверин, сирота из дворян, убегал трижды), какой маршрут

избрал и т.п. А школьники изобретали, что солгать, как надерзить, как покарать проговорившегося. Это было, пожалуй, даже интереснее, нежели прежние драки братьев Лихушиных - остервенелые, где доходило до швыряния ножом, до попыток задушить всерьез (все без повода, начиналось с мирной борьбы), пока не прибегала Прасковья кропить святой водичкой.

Там, где-то там, шла война, страшно далеко, не приближенная ни радиовещанием, ни телевидением, ни бомбежками, ни тотальными мобилизациями; на которых почти никого родных не было. За годы "империалистической" войны смерть несколько раз прикоснулась к войне Ивана: в 1916 году от туберкулеза скончался Сергей Андреевич Картавцев, дядя Ивана, оставивший после себя дочь Наталью и сына Петра. Жена его, происходившая из обедневших дворян Перфильевых, была скуповата, и вся родня судачила, как она отказала своему умирающему мужу в исполнении несмелого желания зарезать курочку и напоследок поесть белого мясца. Она же неуклюже оправдывалась: “Если бы я знала, что ты умрешь, я бы для тебя всех курей порезала!" - ревела на похоронах. Так в играх, нетрудной учебе и всепоглощающих летних каникулах Иван Щербаков проходил от двенадцати к пятнадцати годам.

§3. За всемирную справедливость

1917 год на Дону; увлечение большевизмом: семейные чувства выше политических; Иван спасает ревком и окружком большевиков; учеба в месяцы Гражданской войны; Иван мотивирует свой выбор; гибель семьи Лихушиных; Иван - в Красной Армии; донско-царицынский угол фронта летом 1919 года; карательная экспедиция; особый конный корпус; донская специфика - оседание на завоеванной земле; Иван организует большевистскую ячейку и советскую власть на местах; Верхарн; чистота духа

Февральская революция была единодушно одобрена в Урюпинской, где жил тогда Щербаков, и в Алексеевской, где жили Лихушины. Собственно, до Дона долетали лишь смутные отголоски петроградских событий, которые тем меньше затрагивали героев нашей повести, что петроградская пресса опасалась и поносила (или порой лицемерно восхваляла) КАЗАКОВ, а герои наши - ИНОГОРОДНИЕ. Молодежь была в восторге. А старшие? Пожалуй, да. Разве лишь Семен Лихушин пустился азартнее играть в карты, все чаще после проигрыша приходил к своей матери, хранившей ключ от сундука с деньгами: "Ну, мать, давай!" Но вот стали доноситься слухи, что какие-то большаки взяли власть в Петрограде. Собственно, на Дону почти ничего не изменилось. Ведь незадолго до свержения Керенского Лениным и Троцким атаман Войска Донского Каледин в свой черед отказался подчиняться Керенскому и декларировал нечто вроде автономии-самостоятельности Области Войска Донского. Поэтому юридически свержение власти непризнаваемого и не имеющего до нас касательства правительства не слишком-то занимало умы казаков. Само собой, автономия эта была скорее в намерении, нежели на деле: никакого размежевания границами с Воронежской, Тамбовской, Саратовской губерниями, с Ростовом-Нахичеванью, конечно, не проводилось. И столь же ясно, что большевики, уже в ноябре провозгласившие Каледина врагом народа и революции, не считались с "самостоятельностью" и послали сюда воевать Бубнова, Жакова, Сырцова. Опять же естественно, что проникновение большевиков на Донщину успешнее всего шло в отдаленнейшем от столицы (Новочеркасск) наиболее торгово развитом округе, где и казачество было победнее и иногородних поболе.

Ведь на Дону протекал тот же демографический взрыв, что на Тамбовщине. За последнюю треть XIX века население Области В.Д. УДВОИЛОСЬ, а за 16 предреволюционных лет возросло еще наполовину. Таким образом, сейчас на Дону было ВТРОЕ больше жителей, нежели во времена, когда Афанасий Щербаков с семьей уходил из Тамбовщины на Хопер. А земли осталось ровно столько, сколько было. А урожайность не возросла. Поэтому нет ничего удивительного, что Иван Щербаков слышал окрест себя разговоры, что земли не хватает, что ее - всего 5 десятин на душу, что нужно завоевывать землю. Ведь - и тут кардинальнейшее недоразумение тех времен - про демографический взрыв знаем мы с вами, читатель конца XX века. Тогда об этом не думали, разве что профессор Чаянов да статистик Суханов смутно догадывались. Если и отмечали

возросшую численность населения, то относили ее на счет пришлых, иногородних. Нехватку земли мыслили как вопрос СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, а не как вопрос экологии и статистики. Всегда где-нибудь поблизости маячило имение на много сот десятин, в параллель с которым припоминалось, какие неудобные, раскиданные за много верст друг от друга крохотные "нарезы" имеются у "простых казаков", "бедняков"; как трудно, почти невозможно, приобрести землю иногородним. И жажда поделить поровну вспыхивала ярким пламенем.

И вот когда с далекого севера, мешаясь, стали дотекать обрывки декретов о наделении всего трудового крестьянства и казачества землей "по трудовой норме", декреты о социальном преображении не только России, но и всего мира, декреты о ликвидации и искоренении всех и всяческих вековых несправедливостей - и прежде всего такой вопиющей несправедливости, как частная собственность и капитал - нет ничего удивительного, что к большевикам[169] потянулись многие сердца. Наталья Щербакова-Елисеева примчалась из Елизаветполя (поводом послужила прокатившаяся там национальная резня, задевшая ее любовника Дживат-бек Рафобекова) и заявила себя в Урюпинской заядлой большевичкой. Она не только вступила (по рекомендации своей учительницы, подпольщицы Евгении Ивановны Лосевой) в РСДРП большевиков, вскоре переименованную в РКП(б), но и почти сразу же вошла в состав большевистского окружкома станицы Урюпинской. Вернувшийся с фронта полковник Герасим Елисеев после короткого опыта возобновления супружеской жизни быстро расстался с Натальей и в 1918 году оказался в Сибири у Колчака. Иван Щербаков по молодости (ему шел шестнадцатый год) ни в какую партию допущен не был, продолжал учиться в гимназии, но яростно, не слушая возражений, доказывал всем правоту большевиков, неоспоримую справедливость социалистического устройства мира. Не очень-то убедительным был его громкий голос в семействе Лихушиных, куда вернулся студент-горняк Давид, видевший и отряды красногвардейцев, и матросов, разгонявших Учредительное собрание и убивавших его депутатов в больницах. Нет, Лихушины вмиг и без колебаний ополчились против

[169] Впрочем, говоря о большевиках в конце 1917 года, следует иметь в виду не только (и не столько) членов РСДРП(б), сколько массу увлеченных “большевизмом тех дней”; в первую очередь, к таким “большевикам” надлежит причислять левых социалистов-революционеров. Они на Дону играли первенствующую роль в те дни или недели. Так, например, за большевистскую резолюцию против общеказачьего списка с Калединым во главе проголосовало в Хоперском округе 34% избирателей. Из них только 3% были большевиками в партийном смысле. Прочие 30% - левые с.-р. В станице Урюпинской был создан окружной ВРК (“ревком”), провозгласивший советскую власть, но “руководство ревкомом оказалось в руках левоэсеровского большинства”, как меланхолично констатирует советский историк Ю.К.Кириенко. В Ростове-на-Дону был образован областной ВРК во главе со знаменитым Сырцовым, но зампредом пришлось сделать левого с.-р. Арнаутова и, более того, тайком от этого ревкома “под прикрытием этого объединенного комитета, неся накладные расходы ... мы развертывали свою работу вооружения и организации, руководимую более узким составом (большевистской частью ревкома)”, - цинично признавал Сырцов в своих неопубликованных мемуарах. Это замечание о смысле термина “большевик” следует иметь в виду, хотя и Наталья, и Иван Щербаковы тянулись к настоящим, партийным большевикам.

большевиков: их революционность была политическая, а не социальная. Им нужны были политические свободы, а не социальные. Им нужны были демократические свободы, а не диктатура. Тоже студент, Иван Лихушин, целиком поддерживал брата. Вслед за ним меньшие братья - исключая нейтрального Василия - взъярились на большевиков, а за неимением таковых - на Щербаковых. Десятилетний Евгений Лихушин "грозился" Наталье: "Я тебя, большевичку, на пику посажу!" Тем не менее, Иван с Натальей не были одиноки в семье родичей: дядя их Абрам Андреевич, воевавший на фронте и вернувшийся по большевистской демобилизации армии[170], относился к большевикам сочувственно, не одобряя лихушинской воинственности. Их тетка Дарья Андреевна - даром что жена священника - также одобряла большевиков и соглашалась с любимым племянником Иваном, сторонником новой власти (в тридцатые годы эта власть сошлет ее с мужем в Среднюю Азию) - у нее в эти месяцы жил Михаил Щербаков. Споры эти при всей их горячности, неудержимой запальчивости и взаимных угрозах оставались словесными перепалками. Сознание родственности первенствовало.

И вот тому пример - эпизод Гражданской войны. Весна 1918 года. В Урюпинской красные. С юга надвигаются отряды Краснова (вновь избранный войсковой атаман взамен застрелившегося Каледина). Железнодорожная ветка Поворино - Царицын перерезана белыми, а красные изо всех сил рвутся овладеть ею, дабы вывезти хлеб из Царицына. Давид и Иван Лихушины ушли добровольцами к белым. Формирования-то с обеих сторон партизанского характера: сегодня сражаюсь, а завтра отдыхать-пахать пошел, начхавши на войну. При всех ужасах и трагедиях Гражданской войны в ней, кажется, не было у противников большевиков сознания НЕПОВТОРИМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за происходящее: ощущения, что здесь сейчас решается судьба России, а тем самым предопределяется личная и семейная судьба как частная конкретная подробность. Нет, соображение, что забор у меня дома подгнил и его пора исправить, - брало верх над идейными.

Иван Лихушин посылается (или сам вызвался) белыми в разведку на север: как там, много ли красных войск? Идет он по тракту и на подступах к Урюпинской его хватают и сажают в тюрьму, где уже 300 офицеров ожидают своей участи. Зная, что в Урюпинской живут Щербаковы, он из тюрьмы шлет им весточку. И убежденнейшая большевичка, принципиальная врагиня семейства Лихушиных как эксплуататоров (однако влюбленная в Давида с девичьих времен) Наталья кидается в окружком, в ревком, ко всем знакомым ей властям уговорить отпустить Ивана Лихушина.

- Да ты знаешь, что он настоящий враг?!

- Конечно, знаю, что по убеждениям он белый. Но это блажь. Пройдет. Но не может он быть шпионом. Надо отпустить!

Выпустили. Поселился Лихушин в доме у Щербаковых. Эпизод же сим не завершается. Как раз этими днями в бою под Филоново красные наголову разбили казаков генерала Чернецова и овладели-таки дорогой. Часть казаков беспорядочно отступила к югу. Но есаул

---

[170] Во исполнение знаменитых слов Троцкого: Советская Россия не подпишет захватного мира, но войны вести не будет и армию распускает, - Крыленко отдал приказ о полной демобилизации армии немедленно.

Дондуков собрал 60 казаков и, правильно рассудив, что для такой победы красные должны должны были выскрести все свои наличные вооруженные силы отовсюду, совершил ночной марш за полста верст на Урюпинскую. Когда ночные посты под станицей снимались, за ними тихонько и незаметно продвигались казаки Дондукова. Только на базаре их опознали, но было уже поздно: рядом казармы со спящей воинской командой (красноармейцев двести). Дондуковцы пошли швырять гранаты в окна, палить из винтовок. Красные в одном белье сиганули в окна, сдались. Жертв почти не было, но шуму много. Освободили дондуковцы и своих офицеров из тюрьмы, и сразу их стало 360 профессиональных военных. Забрав оружие у местной охраны, они оказались прекрасно вооруженными.

Именно когда офицерам раздавали оружие, два Ивана (Лихушин и Щербаков) вышли из дому поглядеть, как там? Сидевшие с Лихушиным в тюрьме узнали его: "Что же ты стоишь? Иди, бери винтовку. Пойдем бить этих гадов!" Как ни останавливал его Щербаков, Лихушин пошел и получил причитающееся ему вооружение. После этого перебрался на жительство от Щербаковых к дяде Андрею Андреевичу Картавцеву. И там проявил предусмотрительность: прежде всего выпросил у дяди одежу погрязнее, порванее - на случай, когда вернутся большевики, скрываться. К слову, дядя страшно трусил вмешиваться в войну и политику, Христом-Богом молил племянника как можно скорее оставить его кров.

Тут настал черед Ивана Щербакова действовать. Большевикам надо бежать из станицы. Они уже попрятались по домам, ждут вечера. Лосева вспоминает, что Иван - страстный рыболов. Значит, должна быть лодка или сможет достать лодку. Посылает Наталью к Ивану - помоги! И ночью, хитроумно обойдя сторожевые посты, Иван Щербаков с приятелем Костей Терниковым бесшумно вывозят через разлившийся на две версты Хопер вожаков окружкома и ревкома. И - вполне в стиле истории - никакими орденами и никаким газетным почетом не награжден ветеран Гражданской войны Иван Гаврилович Щербаков за это спасение местной советской власти от белоказаков. Даже пенсии за ветеранство не оформлял никогда!.. И опять-таки ясно, что не выпусти Лосева Лихушина из тюрьмы, а - принципиально - добейся она его расстрела как шпиона и врага, ни на какую помощь Щербакова расчитывать она бы не смогла. Отшатнувшись от злодейства. Щербаков тогда помог бы белым схватить ее и разорвать, как разрывала истерзанная киевская толпа “чекистку Розу” при очередной смене власти в Киеве в 1919 году.

В кипении этих накатываний-откатываний властей молнией вспыхивает изумление: ба, да это же Костька Черкасов, с которым я за одной партой сидел, сын помощника начальника станции, он накатывает у дондуковцев пулемет! Черт побери, вон и второй одноклассник, Яковлев Дмитрий, затесался к белым пулеметчиком! И проходя с Костей Терниковым мимо этого "Димки-сметаны", Иван презрительно, словно бы не к нему обращенное, но так, чтобы Димка слышал, бросит словцо... Однако кончится не по обычаю гимназических драк: им с Костей придется улепетывать от грозно поворачивающегося вдогонку пулеметного дула! То, когда балашовские рабочие неделю спустя выгнали дондуковцев из Урюпинской, вдруг увидеть среди красноармейцев одноклассника

тихоню Павла Вилкова, туповатого сына приказчика чугунолитейного завода! Мир поворачивает новой стороной, которую и вообразить было бы невозможно, мечтая о всеобщем равенстве и братстве. Идешь и ликуешь, что красные победили, освободили станицу, любуешься их цепями, восходящими по косогору, - и вдруг замечаешь, что один из рабочих, привлеченный слишком пристальным взором гимназиста в казенной форме (другой одежды у Ивана не было), снимает с плеча винтовку и прикладывается стрелять по мне, ПО МНЕ! Паника не дает даже услышать звука выстрела, а резвые ноги сами уносят за угол. И там с горечью думаешь, что едва не погиб от рук своих же, как обидно. Что в глазах красных все гимназисты - "все они кадеты", т.е. заядлые белогвардейцы.

А это и фактически было правдой. Во всем классе Щербаковых нашлось не более трех-четырех человек, которые не ушли бы с белыми. И против красных сражалась на Волге Каппелевская дивизия, в которой каждый боец - от рядового до полковника Каппеля - имел высшее образование. И не случайно белые, отступая, в первую очередь вывозили или уничтожали архивы гимназий: по этим архивам красные потом ликвидировали "контру". Начиналась столетняя война против всего мыслящего... Но было правдой и другое - вступающее в права ОГУЛЬНОЕ отношение к людям. Стреляние друг в друга только по внешним признакам: одет в гимназическую форму, скажем. Для того, чтобы подпасть смерти, уже не нужно было персональной вины. И даже государственно-революционной необходимости. Подлежали уничтожению классы, слои, сословия. И геноцид XX века - лишь разновидность этого огульного истребления. Формулы математической биологии учат нас, что когда численность популяции делается слишком велика, в игру входит некий "коэффициент самоотравления вида", который снижает численность...

Весь 1917-1918 учебный год, когда Урюпинская содрогалась в митингах, Иван и в школе, и на улицах, и дома доказывал правоту большевиков. Шли митинги, на которых директор гимназии Горчаков предрекал катастрофу из-за власти большевиков, а большевики Степанов и Селиверстов (сын последнего учился в одном классе со Щербаковым), возражали ему, крича, что к катастрофе привела Россию буржуазия, что только большевики СПАСУТ из тупика, куда завела мировой пролетариат гидра мировой буржуазии. И, не найдя на площади убедительных возражений, Горчаков кидает им последнее обвинение: вы-де сумасшедшие! Вы-де в сумасшедшем доме сидели!! И впрямь - сидели до революции в психушке эти подпольщики-революционеры... Все станичники знают, слыхивали... В этой самой атмосфере споров Иван пишет в рамках уроков Закона Божьего (вел либеральный священник) сочинение, где доказывает, что Иисус Христос был социалистом-революционером, что христианство и социализм - одно и то же. И хотя батюшка с ним не согласен, хотя крайне огорчен, что такая светлая голова заделалась большевиком, но, посоветовавшись с Горчаковым, выставляет ему пятерку И позже, уже министром правительства Всевеликого Войска Донского, в аду новороссийской эвакуации 1920 года, Горчаков сохранит фотокарточку Ивана Щербакова и будет показывать ее

станичникам, со вздохом приговаривая: "Такая голова пропала ни за что".

Голова же эта отнюдь не ощущала себя пропадающей. В тот же 1918 год еще летом, при большевистской власти, Щербаков с Симкой Кавериным (тем самым, что на фронт убегал от деда) пошли записываться добровольцами в Красную Гвардию. Дошли до площади, где штаб. Никого перед дверями. Остановились. "Ты открывай!" - "Нет, ты!" Перепираются, к ручке прикасаются, но потянуть не решаются. Щербаков улучил момент, когда Каверин держался за рукоять, и потянул Каверина за руку. Дверь отворилась, а за ней - казак с шашкой и красным бантом сидит, дремлет. Проснулся, увидел злополучную гимназическую форму и ну за шашку - рубить контру. Они - деру. Он за ними по двору. И оба пацана, как к матери в юбку, запутались в платье входившей во двор Лосевой - члена окружкома. Ее казак знал, остановился: "Вот, товарищ Лосева, лазутчики, пытались в штаб проникнуть." - “Хорошо, разберусь, иди пока. А вам что здесь надоть?" - "Да мы, Евгения Ивановна, мы хотели добровольцами ... в Красную Гвардию..." - "Какая вам еще армия?! Что за выдумки?! Вы у себя в гимназии наведите лучше порядок: вон там сколько беляков!" Так Щербаков остался учиться.

Из-за того, что Хоперский округ сделался прифронтовым, дядья и тетушки Ивана постановили перевести его в более спокойную станицу Усть-Медведицкую. Это уже совсем другой округ, километров на 250 южнее: Медведица впадает в Дон пониже Хопра. Там была частная гимназия, в VII класс которой и приехал учиться Щербаков. Увы, в ней изучали латынь, не преподававшуюся в Урюпинской. Сразу же он заработал единицу и, позабыв все на свете, погрузился в изучение “никому не нужной латыни”. “Кому этот Цицерон надобен?!” - возмущенно думалось ему. Правда, когда через пару недель преподаватель вызвал его снова, знания языка у Щербакова не было по-прежнему, но зато он смог возмущенно швырнуть в лицо педагогу, несправедливо укорившему его бездельем, кипу исписанных тетрадок с латинскими склонениями (целых пять, не считая исключений!) и спряжениями (немыслимые для русского языка глагольные формы и функции форм!). Швырнул, отошел к окну и закурил демонстративно. Учитель смирился и поставил тройку.

Столь дерзкое поведение гимназиста имело основание. Ведь состав учащихся в Усть-Медведицкой куда как разнился от дореволюционного. Большинство гимназистов старших классов - вольноопределяющиеся белых полков. В перерыв между сражениями они торопились завершить свое образование (через несколько лет, потерпев поражение, те из них, кому повезет попасть в Чехословакию, столь же жадно кинутся учиться в университете, пользуясь щедростью президента Масарика, даровавшего безвозмездную стипендию всем русским боевым эмигрантам). И, само собой, их нельзя было держать в шорах традиционной школьной дисциплины. А коли в классе на уроке курят пять-десять строевых офицеров, тут уж и не офицер, и не строевой, и вовсе даже не белый Щербаков в силах отвоевать себе право на курение.

Начальству гимназии приходилось вступаться за Щербакова, убеждая его соучеников в его праве на самостоятельное мышление. Чтоб уйти от громыхающих перипетий современности, постановили в

гимназии провести диспут о Данте (1265-1321). Поручили Щербакову доклад. И что же? Он умудрился выставить Данте обвиняемым, вменив ему защиту монархического принципа, тогда как единственный достойный человека способ государственного устройства - республика! Заворчали добровольцы. Послышались крики: "Большевик! Долой!" С большим трудом унял директор взбунтовавшихся монархистов-казаков. Ибо происходило размывание промежуточных платформ и поляризация политических воззрений (в их словесном выражении): раз большевики провозгласили себя наследниками всего революционного и единственно последовательными революционерами-республиканцами, их противники уже не удерживались на демократической платформе предреволюционных братьев Лихушиных, а уходили в противоположную крайность (в то, что казалось противоположной крайностью), беря под защиту "то, что было до того, как все это началось". Щербаков берет в гимназической библиотеке Горького раз, берет два. На третий раз библиотекарь - белый доброволец - угрожающе спрашивает: "Да ты знаешь, что это за гусь такой, твой Горький?!" - "Знаю!" - в радостном порыве самопожертвования отрезает Щербаков. И когда гимназия стоит в субботу вечером и в воскресенье утром на богослужении в церкви, он тайком вызубривает наизусть стихотворение в прозе Горького "Человек" (то самое, за которое меня в 1949 году упрятали в сумасшедший дом, приняв его за мое сочинение)[171]. В этом - вызов и самоутверждение[172].

И Щербаков бесповоротно вершит выбор. Дадим слово ему самому в его 75 лет.

"Если бы я не был подготовлен всей русской предреволюционной литературой: не читал бы Верхарна, Брюсова, Некрасова, Короленко, Горького, Толстого (марксистской же и в том числе большевистской литературы я не читал), - меня, может быть, и не захватил бы революционный дух, объявший Россию с Февраля. Ну, предположим, был бы я мало или совсем неграмотен. Не интересант

---

[171] Подчеркну, что в 1949 году, когда я учил его наизусть, я и понятия не имел, что это - любимое произведение моего отца, не знал ничего, связанного с ним в 1918 году и т.п. Здесь примечательно независимое совпадение этапа мышления. Ценность критериев. Но моя мать усматривала - “влияние”.

[172] Вопрос об отношении "белогвардейцев" к М.Горькому сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Вот цитата из речи атамана Войска Донского П.Краснова 17 (30) августа 1918 года на заседании большого Войскового Круга:

"Почему дошла Россия до такого унижения, что евреи и латыши расправляются с лучшими ее сыновьями, и гордость России, известный всему миру художник Репин умирает от голода, а Куприн и Горький, творениями которых мы зачитывались, томятся в тюрьме?"

Даже списывая многое на неосведомленность Краснова (он не знал, что именно в тот самый день еврей застрелил Урицкого, а еврейка стреляла в Ленина), видно, что УСТАНОВКА его была на восхваление Горького. Поэтому запомнившийся Ивану библиотекарь имел, может быть, в виду, не бесспорно отрицательное отношение к Горькому, а укоризну: и такой, мол, теперь продался большевикам, а уж как мы на него полагались! Я сомневаюсь, чтобы на Дону хоть кто-нибудь знал об антиленинских статьях Горького в "Новой Жизни" (пока ее не закрыли большевики, с чего, скорее всего, и пошел слух об аресте Горького, докатившийся до Краснова). Такая резкость суждений и действий при полном сумбуре и невежестве в знаниях о фактическом положении дел - характерны для Гражданской войны.

в политике, в философии и нравственности (хотя христианской нравственности - ее влияния - мне избежать бы не удалось). Так вот, будь я таким неграмотным и безразличным, но повидавши в гражданскую войну 1918 и белых и красных, и военных и гражданских, - с кем я должен быть, коль неизбежен выбор? Неизбежен ну хотя бы потому, что достиг призывного возраста, но власти в нашей местности часто меняются и этим мне предоставляется свобода выбора. На чей призывной пункт пойду?

Я видел своими глазами белых и красных, слышал их разговоры, знал их дела. Сомненья нет - пойду к красным. Там справедливость, простая, человеческая.

Белые борьбу ведут за свои личные материальные интересы, за возврат старого. Красные - за справедливость народную, за землю, за хлеб для всех.

А для меня, читавшего монархическую газету в 1918 в Усть-Медведицкой (издавалась в Новочеркасске), где с пафосом восклицалось: "Не может быть, чтобы русский народ стать мог цареубийцей! Не замолчу, на то мне дан язык, чтоб проповедовать как колокол гудящий!" - видевшему, какою ненавистью горят сердца кадрового офицерства, гундоровских казаков и белых добровольцев-гимназистов, реалистов... Ненавистью не просто к большевикам, не только к ним, а ко всему красному. Слово "большевик" на их языке означало "революционер вообще", любого толка, демократ вообще. Они и на несмелых либералов смотрели подозрительно. Я видел и слышал, каким огнем горит слово "социализм" в устах не только рабочих-красногвардейцев, но и в устах донских казаков, возвращавшихся с фронта домой. Социализм - это когда не будет богатых и бедных, все будут равными и свободными. Большевики - это революционеры. Они борются за такой социализм, они против войны, и т.д.

Пропаганду белых я знал и печатную и устную, вплоть до того, что Ленин - немецкий шпион, что красные грабят, что не признают семью, насилуют жен, девок, богохульствуют в храмах, чуть не едят детей. Пропаганду красных тоже знал, что белые вешают и расстреливают пленных и местных жителей, большевистски настроенных, устраивают порку крестьянам, хотят вернуть старый строй, монархию.

Имел возможность воочию убедиться и в том и в другом. Видел, что творилось на Дону, на Хопре. Об остальном - из тех и других газет, и что хотели скрыть и что скрывали те и другие, для меня, конечно, было неизвестно. Одним словом, выражаясь словами Маяковского: "В каком идти, в каком сражаться стане, не раскрывая Маркса знали". За революцию, за социализм нельзя было сражаться в стане белых - очевидно было для юга России. Смешно. Может быть, на Урале, в Сибири, когда там главенствовали эсеры, это было возможно, - за Учредительное собрание, за свободу, даже у Махно, например.

Я сам был свидетелем того, как красные оплачивают богатому купцу за растасканный кавалеристами у него стог сена, а виновникам объявляется выговор. Заставляют, просят открывать магазины и торговать по каким угодно ценам. Расстреливают молодого красноармейца за то, что он самовольно забрал у попа

сапоги, будучи сам разут. Все это - 1918, вторая половина, осень, зима.

А белые, в станице Алексеевской, выведя за станицу захваченных красногвардейцев, расстреливают всенародно. Население приглашалось и ходило смотреть эту трагедию. Я, конечно, не пошел. Но из уст возвращавшихся зрителей слышал, какую речь двинул перед расстрелом тринадцатилетний красногвардеец. Даже старики заплакали. Это 1918. Вероятно, устроили показательный расстрел и давали слово расстреливаемым. Фронт был от Алексеевской верст в сорок. Красногвардейцев захватили там и отправили для показательного расстрела в тыл. Со стороны белых я не видел никакого благородства. А ненависть была отчаянная.

Вот пример. Мой дружок по классу, сидели не один год за одной партой, Костя Черкасов в первый же приход белых вступил добровольцем в знаменитый отряд Чернецова и сражался там вплоть до Новороссийска. Под Новороссийском был в числе многих и многих захвачен красными и отпущен по домам. Явился в Урюпинскую, где в то время подвизался Жорж Кошкарев (мой друг, тоже одноклассник). Так Жорка, зная, что Костя более года служил в прославленном своими жестокостями добровольческом отряде Чернецова, добился приема Кости в комсомол (правда, это было в начале 1920). А вот братья Лихушины не хотели выручить своего двоюродного брата Евсеева из-под ареста в станице Усть-Бузулуцкой, обвиненного в соучастии в правительстве Подтелкова-Кривошлыкова в 1918.

Нет, если бы мне пришлось снова в той же обстановке выбирать, я б сделал тот же выбор!

А раз выбор сделан, все последующее зависело от него,"

- писал Иван Гаврилович Щербаков в марте 1977 года, достигнув уже почти 75-летнего возраста. И не стоит сейчас разбирать его аргументацию с логических позиций. Веди такой разбор неизбежно предполагал бы выяснение: чем был Дон в те годы? А это бесконечной трудности задача...

"И вот потомки, вспомнив старину, - Где были вы? - вопрос как громом грянет, ответ как громом грянет, "На Дону!" - "Что делали?" - "Да принимали муки, потом устали и легли на сон." - И в словаре задумчивые внуки за словом "Долг" отыщут слово "Дон"."

Фронт трещит. И в последний раз встречается Иван Щербаков с тремя двоюродными братьями Лихушиными, когда они уходят в отступ. К этому времени Семен Иванович уже погиб. Как повелось у него уже много лет, он азартно играл в карты, продувался, наживал, проигрывал. В тот раз сел играть с казаком. Естественно, выпивали. И когда зашумело в голове от самогона и проигрыша, обозвал партнера "большевиком". Такого оскорбления офицер вынести не мог - схватил наган и застрелил купца. История имела эпилог: в пятидесятые годы Валентин Семенович Лихушин побывал в станице Алексеевской и увидел на паперти нищего, трясущимися руками тянувшегося за подаянием. Он узнал в нем того самого офицера, достал пятерку, вручил и прибавил: "Это дает тебе младший сын Лихушина, что ты убил". Нищий мгновенно исчез в толпе.

И вот при прощальной встрече Щербаков накидывается на Давида: "Я же от вас почерпнул и республиканские убеждения и атеистические взгляды! Почему же теперь вы отреклись от своих революционных идеалов, которым научили меня?!" Уставший от боев, от нелепиц, уже поживший Давид Семенович угрюмо промолвил: "Да уж лучше анархисты, чем большевики", - и запил афоризм стаканом самогона. Ничего не слыхавший про анархизм Иван смолкает. После боев, побед на час и поражений навсегда Давид оказывается на территории Польши, где и оседает навеки. По крайней мере до тех пор, покамест в тридцатые годы не оборвалась его переписка с выселенной семьей прочих Лихушиных. Иван Щербаков пристает с тем же вопросом к своему сверстнику Ваське Лихушину. "Да я чего, я в эти дела не вмешиваюсь", - отвечает хозяйственный Василий. И, в самом деле, мотало его от белых к красным, и пал он от красной пули, когда служил красноармейцем, при невыясненных обстоятельствах. Иван же Лихушин погиб от белой пули вот как. Служил он у белых. Шел раз с проверкой постов. Приближается. Часовой ему: "Пароль!" - "Какого хрена тебе пароль? Не видишь, что ли, меня, не узнаешь?!" Сам он узнал казака - это был старый знакомый по станице Алексеевской. Тот тоже узнал. Но лихушинское семейство не любил. И грозно щелкнул затвором. "Да ты что, сдурел? В ЛИХУШИНА стрелять?! Посмей только!" - хорохорился Иван, самолюбиво желая переупрямить и не назвать пароля. Казак его застрелил. Со всеми ними виделся Щербаков в последний раз. А с младшими еще встретится много позже.

Прокатилась лавина белого отступа, а за ней потянулась волна красной эвакуации. Наталья уехала в Москву, где сошлась с комиссаром Евгением Бабичем и родила дочь Милицу (это не новомодное от "милиции", а старинное славянское имя). Иван же покинул своего двоюродного дядю Михаила Федоровича Картавова, у которого квартировал в Усть-Медведицкой, шатавшегося то к большевикам, то, напротив, и летом 1919 года вступил, наконец, в Красную Армию.

"Р.С.Ф.С.Р.
Политический отдел 1-ой сводной бригады 2-ой дивизии Особого корпуса 6 июля 1919 г. №151

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Политический отдел 1-ой сводной бригады 2-ой дивизии Особого корпуса, сим удостоверяет, что тов. Щербаков Иван назначен в 1-ый Конский казачий полк агитатором, на правах красноармейца. В чем подписью и приложением печати удостоверяется.

Заведующий политотделом 1-ой Сводной бригады Ивенко. Секретарь Сомов."

Все, включая "угловой штамп", написано от руки черными чернилами, только подпись Ивенко красным карандашом: "В 1 сотню и 1 взвод на правах красноармейца Комполка" и пониже серым карандашом: "8/VII-19 политком" и тем же карандашом две не очень разборчивые подписи вроде "Затянин" и "Сутенский".

Вступая в ряды Красной Армии "на правах красноармейца", Иван Щербаков не ведал, что этого самого числа высшая военная власть в Республике Советов претерпевает радикальнейшее изменение. Что только что арестован главнокомандующий войсками Республики Вацетис, что из 13 членов Реввоенсовета республики, числившихся на 7 июля, в его составе останутся 8 июля только четверо. Не знал Иван и того, что как прежний главком, и как новый С.С.Каменев, - оба царские полковники. Не знал и того, что к 1 января 1919 года в Красной Армии служили делу рабочих и крестьян 22315 царских генералов и офицеров (и 128168 унтер-офицеров), а к концу марта 1919 года их число возросло до 34600 бывших генералов, офицеров и военных чиновников (плюс 21000 медицинских и ветеринарных офицеров). Не знал он и того, что этой армии рабочих и крестьян противостояли в Донецком бассейне к 5 мая 1919 года только 9600 (девять тысяч шестьсот) бойцов (совокупно генералов, офицеров, рядовых, под командованием Деникина да 15 тысяч донских казаков (опять же включая офицеров и рядовых) под командованием Сидорина. Не верил он этим цифрам и до самой своей смерти. Не знал Иван и подоплеки всех перемещений в РВС республики, да и имен-то своих руководителей практически не слыхивал, кроме легендарного Ленина да видел живого Троцкого. Дабы повидать Троцкого, не нужно было добираться ходоками в Москву: он сам разъезжал по фронтам, и, наверное, не было селения, где он не выступал бы с пламенно-цветастой речью. Так издалека и довелось узреть сего трибуна революции. Иван же был типичным ЛЕВЫМ: он точно ЗНАЛ, КАК НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ МИР, знал прекрасно, КТО МЕШАЕТ справедливости и переустроению, но не знал и даже не очень интересовался тем, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ УСТРОЕН МИР, где он живет. Он, конечно, хорошо знал свое микроокружение. Но как функционирует тот аппарат, на защиту которого он рвется, это как-то проходило мимо.

Зачислению в армию предшествовало вступление Щербакова (уже вернувшегося весной 1919 года в Урюпинскую) в РКП(б). В мае он в художественной форме сочинил заявление, заполнил анкету вступающего перлами вроде: "Вопрос. Что такое диктатура пролетариата? Ответ. Ежовые рукавицы для буржуазии" - получил партбилет и поступил в караульный батальон. Поначалу ему стрелять не приходилось, участвуя в "ловле бандитов" в меловых горах на правом берегу Хопра (отголоски катившегося с запада мартовского восстания казачества в Вёшенской). И лишь когда началась эвакуация советских учреждений, караульный батальон придали регулярным частям, впрочем и "регулярные" чуть не сплошь состояли из новобранцев. Вспоминая свой первый бой, где стрелять приходилось в конницу, Иван не помнит, чтобы попал во что-нибудь, зато помнит, что многие новобранцы перебивали пулями телеграфные провода, целясь в человека на земле.

Овладев Царицыным, Деникин отдал 20 июня (3 июля) 1919 года приказ Врангелю, сменявшему в этом районе генерала Сидорина, выйти на линию Камышин-Балашов, проходящая почти параллельно линии Поворино-Царицын, но км 100-150 севернее. 16 июля Троцкий отдал приказ:

"Вся страна заботится теперь о южном фронте. Нужно, чтобы командиры, комиссары, а вслед за ними красноармейцы поняли, что уже сейчас на южном фронте мы сильнее Деникина. Воинские эшелоны и маршрутные поезда снабжения непрерывным потоком идут на юг. Теперь все это ... нужно вдохновить идеей решительного наступления... Нанести контрудар противнику в двух важнейших направлениях: 1) с фронта Балашов-Камышин на нижний Дон и 2) с курско-воронежского участка на Харьков. Первое направление было признано решающим."

Группа Шорина силою в 50 тысяч в составе IX и X армий двинулась реализовывать приказ предреввоенсовета. 1 августа X армия (командующий - царский генерал Клюев) с конницей Буденного на западе и Волжской флотилией на востоке обрушилась на кавказскую Добровольческую армию. Врангель отступил от Камышина до самого Царицына, когда красные ворвались до орудийного завода, и выровнял свой правый фланг. IX армия красных начале августа отбросила донскую армию от Балашова и оттеснила их за линию Хопра. Но после этого демонстрация VII и XIII красных армий в Воронежской области подстрекнула встревоженных казаков бросить позиции, отдав красным весь Хопер до самого Усть-Хоперска и вообще все севернее Дона. Фронт пришел в Вешенской и Усть-Медведицкой. Но к первой половине октября Донская армия отбросила балашовскую группу за Хопер и вновь вышла на железную дорогу Поворино-Царицын. Вот в этих-то перемещениях фронта получал боевое крещение Иван Щербаков.

Первый его бой случился как раз на этой железной дороге возле станции Алексиково. Стратегический бой: целью было задержать белых хоть на несколько часов, чтобы дать буденновцам вырваться из захлопывающегося мешка. Необученная молодежь красных противостояла казакам - опытным фронтовикам. Правда, командовал красным батальоном спокойный, опытный и авторитетный бывший офицер по фамилии Выборнов. Перед боем среди новобранцев прошелестели разговоры, мол, казаки в плен не берут, особенно коммунистов и своих донских добровольцев. Один-другой-третий балашовский рабочий, кто украдкой, а кто и в открытую стали рвать свои партбилеты и прочие документы. Дрожь проняла и сердце Щербакова с приятелями, но им делать было нечего: хоть и выбрось документы, да на физиономиях написано, что они свои, местные, все знают, что не насильно мобилизованные, - так что все одно крышка. Поэтому вместо того, чтобы следовать примеру балашовцев, они начали громко подтрунивать и насмехаться над ними, и так побороли страх. Жутко было, когда стреляли белые, а приказ был: "На выстрелы без команды не отвечать". Зато, когда разрешили, тут: "Я почувствовал себя богом", - вспоминает Щербаков, как он самозабвенно палил, без остановки и не глядя. В бою убило комиссара-латыша. Впрочем, один из историков подметил, что из-за лингвистической неграмотности русские часто звали латышами мадьяр и прочих явно не русских, но и не немцев, и не китайцев, однако. Да, так вот, командир Выборнов распорядился было вытащить труп комиссара из-под огня: убит тот был впереди основной линии, ближе к белым. Новобранцы, в том числе Щербаков, пошли было покорно исполнять приказ, да бывшая там пара

фронтовиков еще с германской возроптала: "Одного вытаскивать, нас десятеро лягут. Не ходи, ребята!" Не пошли. Командир смолчал.

Бой кончился, белые казаки отошли. Взвод Щербакова стали отпускать партиями на хутор пообедать. Собственно, регулярности в уходе похарчеваться не было: командиры не смели настаивать на дисциплине, каждый ходил (преимущественно группами), когда сознавал себя вправе идти. Чтобы поесть, следовало соблюдать определенный ритуал. Тот красноармеец, который входил в дом и начинал с разговоров о еде, не получал ничего, кроме заверений, что в доме пусто, все поели прошедшие войска. Не обыск же устраивать в самом деле! Поорешь-поорешь на них и уходишь голодным. А вот если, войдя, красноармеец снимал шапку, здоровался и крестился на иконы, обед сам собой, без просьб, вынимался на стол. Кормили радушно. Такого рода верность населения привычным поведенческим стереотипам засвидетельствована и другими наблюдателями. Поевши, Иван Щербаков пошел обратно в одиночку. Глубокий вечер, темно, степь. И вдруг над головой пропела одиночная шальная пуля. Вот когда он набрался страху - полвека спустя помнит ужас. В бою такого не испытывал, там жуть не пронизывала до внутренностей желудка. Там не было этого панического желания прижаться, слиться, раствориться, лишь бы не задела. А пуля не повторилась. Откуда и взялась?

Потянулись солдатские будни. Часть рассыпана цепью на Поворино, на левом (здесь - южном) берегу Хопра. Сумерки. Видишь лишь рядом стоящих по цепи. Передают - сниматься, отступать. Послушно снимаются, уходя, скопом перебредают Хопер и продолжают двигаться на север. Вдруг завиднелась с севера пыль и конница. "Обошли! Казаки!" Паника пресекается старыми фронтовиками (никого из командиров почему-то нет), которые выстраивают красноармейцев в каре, штыками наружу, как по уставам положено встречать конницу. Наставляют: не стрелять, пока те не подойдут в упор. Но еще издали, задолго не только для штыков, но и для прицельного огня, казаки начинают орать: "Мать вашу перемать! Вы что это, сукины дети, позиции бросили? А ну марш нашу землю завоевывать".

Это оказались мироновские казаки, посланные вдогон за дезертировавшим батальоном. Они плетями вытянули одного-другого, преимущественно тех, кто с виду походил на донского жителя. Велели переходить Хопер назад. А на том берегу стоял командир Выборнов и скорбно приговаривал смущенным красноармейцам:

- Что ж это вы, ребятушки, без приказа позиции оставили?

Так и осталось невыясненным, как родился в цепи "приказ" отходить. Но вскоре пришлось отступать уже по приказу, до самого Борисоглебска. Укоризненно - казалось Ивану - смотрели оставляемые крестьяне, и стыдно было проходить мимо них, бросаемых на расправу белогвардейцам. А под самым Борисоглебском им было велено свернуть направо от полотна и выбить из деревни Танцирей засевших там бело-зеленых. Речь шла о начинающемся Антоновском восстании, оно полыхало еще два года, а сам Александр Антонов был убит только в 1922 году. Он создавал у себя регулярное войско, у него были правильно функционирующие партячейки (ПСР) и комиссары; наши красноармейцам объяснили, что

бандитами руководят белые офицеры. Когда же они (без боя, там успел повоевать кто-то другой) вошли в Танцирей, то кроме трупов мужиков из вооружения нашли одни обрезы. Перед тем было приказано: "Никого не жалей, можно брать, что угодно". Но из-за отсутствия боевого возбуждения красноармейцы мирно топтались по улицам, без особой нужды в избы не заходили, только что пограбили магазин на площади. Щербаков смотрел на растаскиваемое добро, но сам участия не принял: охоты не было.

Линии фронта, строго говоря, не существовало. В десяти километрах к югу, как говорили, находились белоказаки. В пятнадцати к северу - бело-зеленые повстанцы. Пришел приказ (привез Жорка Кошкарев) отступать на Борисоглебск. Снова кое-кто выбрасывает или уничтожает документы и партбилеты. На этот раз Иван тоже рвет, но не документы, а составленное им письмо к любимой. Любовь была платонической, девушка была дочерью местного купца Ивана Палыча Крюкова и гораздо сердечнее относилась к белым офицерам, нежели к большевику Щербакову. Но он все лелеял мечту, писал вроде: "Сейчас ты - мой враг, но после того, как мы победим, мы будем едины в любви". Одно из таких посланий дожидалось в кармане демисезонного пальто (никакого обмундирования не выдавалось) случая к отправке. Теперь, сообразив, что на нем есть имя, и не желая, чтобы ее в случае обнаружения на его трупе этого письма белые заподозрили в тайной связи с большевиками, он мелко-мелко изрывает письмо.

Идут вдоль насыпи - между лесом и насыпью, причем прошедшие фронтовую выучку подсказывают и ему, необстрелянному, держаться ближе к деревьям, а то посечет конница. Но ни конница не встречается (один заблудившийся казак, принявший их за своих: тогда все были не в форме - подъезжает и попадает в плен), ни даже выстрела, пока перед самым Борисоглебском они не угодили под беспощадный пулеметный огонь с крутой поперечно идущей насыпи. Кое-как выбираются, обнаруживают, что в городе еще идет бой вопреки имеющимся у них сведениям, будто он уже давно сдан белым: оказывается, какой-то рабочий отряд еще сопротивляется, ударил в тыл белым или выбирается из окружения, не слишком-то разберешь. Идут, идут далее, бесконечной рожью выше головы, где совсем потерян, где безмерно одинок - и вдруг командир подсказывает, что в десяти шагах от твоих ржаных джунглей, где вот-вот свалишься от усталости и отчаяния, хорошая трактовая дорога, которою и шагает сбившийся в толпу батальон и на которую, уцепившись за хвост командирской лошади, выходишь и ты. Идут - и вдруг натыкаются на беспорядочно кинутое оружие от винтовок до пушек. Набрасываются забрать себе кто две, кто три винтовки. Проходят мимо деревни, где то ли по приказу, то ли по велению сердца, то ли по предусмотрительности перед каждой избой стоят бабы с кринками молока, с кусками хлеба. У них-то, на ходу выпивая и закусывая (разве лишь очень предусмотрительный сунет краюху в карман), узнают, что оружие и орудия покидал Московский полк, состоявший из мобилизованных и разбежавшийся. Они, все сплошь добровольцы, горделиво посмеиваются и приободряются. Они идут, бредут измотанные - и отдыха нет на войне солдату. Спать, спать, спать - другого не хочется. Его будят выступать в секрет. Не подымается.

Грозятся расстрелять - "Завтра расстреливайте, а сегодня спать хочу!" В другой раз, когда они цепью брели по вечернему склону, он засыпает на ходу и пробуждается только тогда, когда подбородком ощущает воду: оказывается, батальон форсирует реку, а он не заметил ни спуска, ни вхождения в воду. И, проснувшись в воде, вместе со всеми вылезает на берег, где на насыпи видят бронепоезд. Тут же кидаются на его платформы и мертвецки засыпают подле пушек. Много трудов потребовалось командиру бронепоезда согнать этих обуянных сном вояк, дабы вернуть орудиям простор для откатывания при стрельбе.

Командир батальона держится без тени начальственности. Даже когда на привалах настырно-грамотный Щербаков привязывается с вопросами, где же они ПО КАРТЕ находятся, командир покорно достает, разворачивает карту и объясняет гимназисту расположение войск и местность. Правда, в памяти Ивана ничего не осталось от этих разъяснений, и он смутно помнит стратегические моменты их передвижений, коли таковые и были. По времени же как раз тогда красный фронт откатывается от линии Поворино - Царицын на линию Балашов -Камышин. На этом участке должна была находиться IX армия красных. Но этого Щербаков не помнит. Помнит он своего командира Выборнова всегда мягким, не повышающим голоса и распоряжающегося исключительно силой бесспорного превосходства в знании и умении воевать.

На одном из привалов отступающего батальона Щербакова снова навестил его школьный дружок Жорж (Егор? Юрий?) Кошкарев. Сын держателя почтовой станции на тракте Урюпинская - Алексеевская, он давно жил в Урюпинской и учился вместе с Иваном. Один из немногих он сразу же пошел в Красную Армию и служил теперь в Первом хоперском казачьем полку, хотя, строго говоря, казаком не был. Он стал сманивать Ивана и уговорил. Тот сходил в штаб бригады и получил процитированное выше удостоверение, где, конечно, "конский" является явной опиской вместо "конный". Более существенны, хотя тоже второстепенны, два расхождения воспоминаний Щербакова с текстом Удостоверения. В тексте фамилия комполка отчетливо читается "Затян..." и несколько букв сомнительных. Щербаков же настойчиво помнит фамилию комполка как "Замятин". Далее, отчетливо писарским почерком резолюция направляет Щербакова в I сотню и 1 взвод, тогда как Щербаков помнит, что сначала его зачислили в V сотню безлошадных. Датировка же документа 6-8 июля хорошо стыкуется с наличием нескошенной ржи несколькими днями раньше и с общей направленностью войск в эти числа. Что это за Особый корпус - я выяснить не сумел. Скорее всего, это тот Особый казачий корпус, который формировался в июле 1919 Ф.К.Мироновым. Он с июня командовал Экспедиционным корпусом на южном фронте, потом этим "Особым казачьим", потом (с 30 августа по 25 ноября) номинально назначен командующим XII армией западного фронта (Житомир, Одесса), куда выехать отказался, и в сентябре был арестован. Другие отдельные корпусы или бригады появляются на южном фронте лишь к октябрю-ноябрю (Примаков, Буденный, Думенко), когда кризис с самостоятельным Мироновым и восстанием его корпуса обострил поиски красных кавалерийских частей. Южным фронтом до июля командовал В.М.Гиттис, с 7 июля по 11 октября

В.Н.Егорьев, а позднее А.И.Егоров (все царские генералы); членами РВС Южфронта в 1919 году в разные месяцы были: Владимиров, Лашевич, Межлаук, Окулов, Серебряков, Сокольников, Сталин, Ходоровский. В июле была создана оперативная особая группа под командованием В.И.Шорина (генерал) в составе IX и X армий.

Особый корпус, куда попал Щербаков, продолжал отступать. И когда через какое-то время он разжился не только лошадью, но и седлом с шашкой и принял участие в первом в жизни конном бою, случилось это уже где-то в глубине Тамбовской губернии. Может быть, это был бой с конницей Мамонтова, совершавшей тогда свой героический и грабительский рейд по красным тылам - к Тамбову: начался 10 августа. Из боя он не помнит ничего до того момента, как вдруг почему-то очутился на земле (лошадь сбросила? сам свалился? убили лошадь? - исчезло из памяти) и увидел перед собой чью-то винтовку (может быть, и свою) почему-то со штыком, хотя у кавалеристов обычно штыков не бывает. Увидел также, что вокруг кипит рукопашная между пешими. Заразительная по остервенелости. И дальше снова не помнит ничего - провал в памяти - как колол, колотил, молотил все, что ни попадя. Позже ему рассказали, что в своей ярости он не различал между своими и врагами: бил всякого, попадавшегося под руку - эдакий вариант закона слепого! Но убил ли кого - снова провал в памяти.

До сих пор еще нет научного объяснения тому перелому на южном фронте, который внезапно случился осенью 1919 года. Военные приписывают его реорганизации красного руководства фронтами и армиями. Идеологи - руководящим указаниям Троцкого, Сталина, теперь вот Ленина. Политики - политической тупости деникинских офицеров. Белые офицеры - разложению белого тыла, воровству интендантов. Медицина - эпидемии сыпного тифа. Биография же Ивана Щербакова иллюстрирует одну закономерность тогдашних побед и поражений: на протяженных участках фронта практически не было сражений. Фронты передвигались туда и обратно из-за того, что ГДЕ-ТО далеко произошла битва, в которой одна сторона победила, после чего на много сотен верст фронт другой стороны откатывался безо всякого давления со стороны противника. Это можно было бы назвать войной маневренной, кабы не была эта война гражданская. В частности, Донская армия, под командованием Сидорина, имевшая задачей наступать в направлении Козлова и Рязани, теснившая, в частности, наш Особый корпус, - вдруг растаяла. Белые казаки, освободив родную Донщину от продкомиссаров и большаков, осели чинить свои покосившиеся плетни, готовиться к посеву озимых, раздобывать барахло из опустевших куреней и базов, сводить счеты с сочувствовавшими красным. Немногие особо лихие и жадные ходили с Мамонтовым в рейды по тылам, охотясь за бронепоездом Троцкого, но армия как боеспособная единица перестала существовать. Поэтому Ивану Щербакову, как ни напрягает он память, не удается припомнить никаких битв с сентября по декабрь, когда Красная Армия стремительно захватывала, отдавала и вновь захватывала Хоперский округ. Не было серьезных боев. Разве что вечерами казаки I Хоперского полка рассыпались по курятниками сварить на закуску после казенной еды (в регулярных частях уже наличествовали полевые кухни) мягкую курочку.

А когда красный хоперский полк вошел в Хоперский округ, точно так же рассосались красные казаки по родным куреням. Местные жители так и прозвали этот полк "полк комиссаров", ибо все в нем служившие завелись мандатами комиссаров и осели по станицам и хуторам в ролях председателей, членов ревкомов и других местных властей. Иван Щербаков был и здесь "как все". Ну, с поправкой. Все-таки все ушли с белыми, а он на стороне красных. Но, скажем, как "все у меньшинства" - характерная позиция "левых". Он тоже, не дойдя до Новороссийска, ни даже до Ростова или Кубани, осел в родной Урюпинской, едва его корпус туда вступил. Повлияли, видать, разговоры с Кошкаревым (с которым они теперь служили вместе), вздохи того, что "служим-де белым генералам", "возвращаем прошлое", "справедливости-то снова нет"; уговоры: "Уходить надо". Словом, Щербаков получает у окрвоенкома бумагу, что откомандировывается в распоряжение окружкома партии, и уже в декабре 1919 года (конницей Буденного только-только взят Новочеркасск; Деникин еще планирует на зиму задержаться на линии Ростова; южный фронт еще фигурирует в большевистских воззваниях как ГЛАВНЕЙШИЙ участок борьбы - с Антантой!) ему выдается удостоверение:

"Хоперский окружной комитет Р.К.П. (бол.) №6
21 декабря 1919-го г.

Вр. Удостоверение
Предъявитель сего т.Щербаков действительно состоит сочувствующим
РКП (большевиков) при Хоперской окружной организации, что подписью
и приложением печати удостоверяется.
Примечание. т.Щербакову поручается организация коммунистических
ячеек-сочувствующих Р.К.П. в станице Усть-Бузулуцкой.

подписи"

Подписано секретарем с неразборчивой фамилией, которую можно прочесть как "Жирчинская" и как "П.Сюринская", заверенной круглой печатью хоперского окружкома. "Угловой штамп" - от руки, и даже весть текст написан от руки на обороте машинописного бланка:

"ХОПЕРСКИЙ ОКРУЖН. КОМИТЕТ Р.К.П.
" " Октября 1919 г.
ст. УРЮПИНСКАЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Пред'явитель сего т.....
командируется в ст.....
для проведения митинга в станице 14-го с.м

Председатель
Секретарь"

причем на этой машинке не было малой буквы "р", всюду замененной "Р". Твердый знак, как видим, отменен даже внутри слов (и позже я как выучился такой орфографии, так практически и не смог переучиться, когда апостроф заменили назад на еръ). А еще позже поперек этого текста чернилами расписка:

"Получено от тов. Щербакова членский взнос за январ, февра, март и апр. 1920 и декабрь 1919 г. из охл. счета 127 р. 24 ко 1/2%. За каждый месяц всего 18 р. 20 к. Принял председатель яч. Е.Елисеев. Ячейка Усть-Бузулуцкой ст. 24/IV-20 г. Секретарь"

неразборчиво, похоже на "Агеев" или "Л.Геев".

Удостоверение свое Щербаков Иван получил уже после того, как какое-то время (месяц? два?) пожил в станице Урюпинской в доме семейства Кошкаревых, ибо Жорж Кошкарев зацепился в родной станице на комсомольской работе. Там все местные большевики ждали-пожидали возвращения из Москвы своего известного вождя Натальи Щербаковой, не ведая, что она уже зажила с начальником московского всевобуча Бабичем и вернется только год спустя, родив. Тем временем Председателем Хоперского окружкома РКП был Выборный (похож на "Выборнов", но не он). Напомним, что тогда председатель был главнее секретаря. Не дождавшись Натальи, Иван решил перебраться в Усть-Бузулуцкую, где под кровлей престарелых дедов Андрея Сергеевича и Екатерины Ивановны Картавцевых стали собираться их дети и внуки: там жил Абрам Андреевич, там жила Прасковья Андреевна, туда примчались из Скрипникова Авсеневы.

Стоит задержаться на причинах их переезда. Будучи по местным понятиям человеком начитанным и знающим, Феодосий Авсенев направо и налево вещал, что "большевики - это монархисты". Сначала красные только грозились, веля заткнуться, но он не унимался. Раз вечерком "какие-то анархисты" вызвали на крыльцо и стали бить смертным боем. Кабы не случайно выглянувшая жена его Дарья, которой они почему-то смутились и от которой удрали, ухайдакали бы насмерть. Но после такой науки отец Феодосий счел необходимым смотаться под родственный кров в другое место.

Итак, стал жить Иван под одной крышей с Картавцевым, выполняя сразу несколько партийных и советских поручений. Партийным заданием было - организовать ячейку сочувствующих. Он созвал молодых казаков станицы. Оказалось, что со всеми ними он служил в I конном полку, кроме зав. земельным отделом станицы Елисеева (двоюродный брат Герасима Елисеева, бывшего мужа Натальи). Окинул их взором Иван и: "Что мне вас, ребята, агитировать что ли? Сами понимаете!" - всех подряд записал в ячейку. По партийной же линии занялся культурно-просветительной деятельностью. Организовывал спектакли силами самодеятельности, обучал всех, в том числе учителей окрестных школ, петь

"Интернационал"[173] (ни слуха ни голоса у Ивана нет, брал громкостью; медведь нам всем генетически на ухо наступил), выучил наизусть несколько "Чтецов-декламаторов", сборник стихов Уитмена и предисловием Луначарского - "Поэзия грядущего". Какого рода поэзия? Процитируем изданный несколько позже (1924), но того же типа сборник "Коллективная декламация о рабочем клубе. Составил П.Жаткин, оркестровал Эспе"[174]. В течение последующих девяти лет, когда Щербаков душу вкладывал в декламацию (чем и завоевал первую законную жену), он не мог не вдохновляться такими перлами.

"РЕВОЛЮЦИЯ

Верхарн

М я т е ж

Задача исполнения - обнаружить пульс, нерв революции, в тревожном колеблющемся ритме стихотворения, в контрастах голосовых партий, в изменении темпа, в повышении и понижении звука в зависимости от психологического характера отдельных мест. В финальной части необходимо дать звуковое нарастание, разрешающееся общим призывно-громоносным аккордом.

Бас, альт	Туда, где над площадью - нож гильотины	(медленно)
барит., тен., сопрано	Где вольно по улицам рыщет набат	(ускоряя)
бас, а., соп.	Мечты, обезумев, летят	(ускоряя, оборвать в конце строки)
бас, тен.	Бьют сбор барабаны былых оскорблений	
бар., соп.	Проклятий бессильных,	
бас, альт	раздавленных в прах	(отрывисто и
бар., сопр.	Бьют сбор барабаны в умах	резко)
бас, альт	Глядит циферблат колокольни	(про-
	старинной	
бас, бар.	С угрюмого неба ночного,	тяж-
альт, тенор	Как глаз...	но)
бас, сопр.	Чу!..	
бар., тен.	Бьет предназначенный час!	
альт, сопр.	Над крышами вырвалось мстящее	(внезап-
	пламя	
тен., альт	И ветер змеистые жала разнес	но с
бар., а., сопр.	Как космы кровавых волос.	силой)

[173] Примечательно, что автор "Интернационала" попросту приспособил одну из католических мелодий торжественного шествия - а церковь понимала толк в музыке!

[174] "Эспе" - либо Сергей Петрович Пронский, либо Петр Николаевич Столпянский.

все	Все те, для кого безнадежность - надежда	(мед-
т., с.	Кому вне отчаянья - радости нет	ленно)
бр, бс, а.	Выходят из мрака на свет	(быстрее, радостно)
бс, бр, а.	Бессчетных шагов возрастающий топот	(очень тихо)
бр, т.	Все громче	
бр, т, а, с.	и громче	(усиливая
а., с.	в зловещей тени	звук)
бр, а.	На дороге в грядущие дни.	
бс, с.	Протянуты руки к разорванным тучам	(усиливая
бс, бр, а.	Где вдруг прогремел угрожающий гром	звук)
т., с.	И молнии ловят излом	
т. (один)	Безумцы! - кричите свои повеленья...	(сильно,
а., бр.	Сегодня всему наступает пора	отрывисто,
все	Что бредом казалось вчера.	до конца
а.	Зовут...	стихотворения
бс, бр.	приближаются...	нарастание,
бр, т, с.	ломятся в двери...	разрешающееся
бс, т.	Удары прикладов качают окно...	призывно-
а, с.	Убивать -	громовым
бс, бр	Умереть -	аккордом)
т.	Все равно...”	

Для проведения культурно-воспитательной работы нужны книги. Хотя в области книжной Революция была менее всего перераспределяющей (в отличие от других областей), но скорее созидающая свое, новое неслыханное, - все же книг не хватало. И, само собой, приходилось вставать на путь реквизиций. Отнять у имущего, дабы духовно кормить голодного - разве не единственно приемлемый в революции путь?! Иван Щербаков пошел легкой этой дорожной, еще облегчив ее для себя. Он проводил книжные реквизиции исключительно у своих родственников и близких знакомых. У тех, с кем он часто встречался и о ком знал, что книги имеются. Так, Авсеневы привезли с собой несколько ящиков книг. Иван объясняет своему дяде Феодосию и своей тетке Дарье: "Придется отдать". Те, счастливые, что хоть не бьют сапогами, не возражают. Общественная читальня пополняется сотней книг. Была у Ивана поклонница (да и как не быть, когда такие "печоринско-демонические" строки "кому вне отчаянья радости нет" восторженно глаголет 18-летний парень с наганом в кармане?) Лариса, дочь купца. Он-то на нее ноль внимания, разве что политические проповеди читывал. Но сведал, что дома у нее много книжек разных. "Все подлежит изъятию", - вынес резолюцию. Она радостно сволокла их ему. И больше бы отнесла, попроси он. Правда, тут вышла осечка: ее брат, новочеркасский студент, прослышал от родных, что все его книги конфискованы, и не будучи очарован ни тогдашними кудрями Ивана, ни его хромовыми сапогами, подал жалобу в Донисполком. И

пришло распоряжение: личные книги вернуть, как необходимые для научной работы.

Не только партийными поручениями был занят Щербаков, получал он и советские задания. По советский линии как заместитель заведующего земельным отделом изымал хлеб по продразверстке. Оставлялось на пропитание немного - на месяц примерно - а прочее подлежало сдаче. И здесь бил он в первую очередь по своим. Безуспешно облазив десяток дворов и изъяв не более пары мешков зерна, услыхал он, раскуривая самокрутки, разговор о том, как его родственники остроумно запрятали свой хлеб в подвале дома, в котором жительствовал начальник милиции Фалик (латыш); к подвалу был ход с улицы, минуя фаликовское жилье; кажется, жена Фалика знала про припрятанное. Ну, и, невзирая на то, что у этих самых родственников он проживает и их хлеб ест, Щербаков немедля идет в исполком и указывает на этот подвал как на подлежащий обыску. Хлеб находят, конфискуют. Семейство понимает, кому оно обязано, но молчит: упреков не высказывает. Впрочем, около этого времени дед Иван умирает от сыпного тифа. Бабка Екатерина Ивановна последовала за ним от той же болезни примерно год спустя.

Другой раз командируют Щербакова на хутор Куликовский за тем же хлебом. Доехал он туда на быках, пошел шарить штыком в закромах и в земле. Ничего у богатеев не находит. А один из них возьми да произнеси озлобленно: "Посмотрите лучше у ваших. Они живут побогаче нас нонче." Щербаков тут же идет и обыскивает местную власть - Козловых, Фонаревых и т.д. И, в самом деле, от них уходит с богатой поживой. Ему кажется, что эти пощипанные им товарищи не обижались на него, "так как понимали, что я сам у себя обыск сделал, ко мне претензий иметь нельзя". Я не разделяю его благодушия.

Посылают его проводить выборы в советы на хуторе. Вот соответствующий документ:

"РСФСР
Усть-Бузулуцкой
станицы
Исполнительный
комитет
Хоперского округа
№ 1279
18 мая 1920 г.

Мандат.

Предъявитель сего тов. Щербаков Иван действительно есть член хутора Титовского избирательной комиссии, делегированный Усть-Бузулуцкой избирательной комиссией согласно инструкции по выборам в советы казаческих и крестьянских депутатов, на тов.Щербакова, как члена Избирательной комиссии возлагается следить за правильным ходом избирательной комиссии, составлением избирательных списков, чтобы в выборах принимали участие именно те граждане, которые имеют право на это по конституции, п. 64-65. Тов. Щербакову предоставляется право на взимание обывательских подвод во всякое время.

Всем организациям предписывается оказывать всякое содействие тов.Щербакову в пределах его полномочий,

предусмотренных настоящим мандатом. Лица и организации, уклоняющиеся от содействия, будут привлекаться к суду Ревтрибунала, как неподчиняющиеся распоряжению советской власти.

Члены Избиркома"

Подписи неразборчиво, что-то вроде "Хлобыстов, М.Носовский и Е.Фимов". Выцветшая печать (круглая) исполкома, угловой штамп машинописный, а весь текст - красными чернилами, на двух сторонах листа. На обороте же пониже подписей приписка чернильным карандашом: "Избрать 4 чел." Видимо, "ходом избирательной комиссии" - описка, а должно быть "ходом избирательной кампании", но и то и другое слово было в новинку местным жителям, употреблялись наугад. При выдаче мандата предупредили его: "Там ни одного, кто бы служил в Красной Армии, все в Белой были", - "Ничего я не боюсь", - похлопывает себя по карману с наганом. Приезжает, созывает казаков и начинает с ними читать положение о выборах. В те годы такие инструкции пестрели статьями по переченям слоев населения, лишенных пассивных или активных избирательных прав. Доходит до пункта, что всяких избирательных прав лишаются лица, служившие в царской полиции. И тут же вдохновенно толкует его: раз вы все были в Белой армии, значит вы все были за царя и вроде как бы его полиция, значит, как царские полицейские, все вы лишаетесь избирательных прав, и толковать нам с вами не о чем! С тем и уезжает. Докладывает своему начальству, что лишил весь хутор прав, начальство помирает с хохоту.

А вот случай, когда пришлось столкнуться чуть ли не наганом с властью, правда, не из местных. Прибыл из центра продкомиссар. Не только не местный, но вроде бы даже и не вполне русский. Обратился к властям: поставьте меня на квартиру к какому-нибудь члену станичного совета, дабы надежно было. Его поставили к Картавцевым, где был свой человек Щербаков. Комиссар же был не чета бывшему офицеру Выборнову: резкий, властный, не терпящий возражений, да что там возражений - промедлений в исполнении приказов. Может быть, он еще изгалялся так потому, что был не один, а с боевой подругой. И вот как-то распорядился он самовар ему раздуть. Вскипел самоварчик внизу, и Дарья Андреевна поднялась наверх ему сказать. Комиссар ей бросает: "Неси!" Присутствовавший при сем Иван вскидается - и за справедливость и равенство вообще, и за свою молодую тетку в частности: "Сам можешь принести!" - "А, что? Неповиновение?! Кто тут член совета?!!" - ярится комиссар и хватается за наган. "Я член совета!" - парирует Иван и тоже берется за свой наган. Из соседней комнаты на шум выбегает дядька Абрам Андреевич и со словами: "Я тоже член совета, товарищ комиссар. Что, самоварishko угодно?" - смиренно согнувшись, рысцой сбегает по лестнице и галопом приносит горячий самовар, оттирая задиристого племянника. Комиссар этот простоял у них с неделю, если не меньше.

А вот случай, когда Иван Щербаков сцепился с хулителем диктатуры пролетариата. В станицу прислан инструктор от

окружкома партии и ведет инструктаж: мы-де разгромили уже всех белогвардейцев, активная контрреволюция подавлена. Посему диктатура пролетариата нам больше не нужна. Государство и его карательные органы подлежат ликвидации. Зачем нам, коммунистам, прибегать в дальнейшем к насилию? Над кем - над трудящимися? Нет, наша задача - как можно скорее построить безгосударственный коммунизм, как то провозглашено в программе РКП(б) и в "Государстве и революции" товарища Ленина. Щербаков взвивается: ты что это тут все за вредную пропаганду ведешь?! Да все эти недобитыши, бандиты разные!.. Ты свои анархистские штучки брось! Я помню, мы с тобой встречались еще в той деревне на Тамбовщине, когда отступали в девятнадцатом, и ты еще тогда вел анархистские разговорчики. Еще вздыхал: Венгерская коммуна пала, и нас такая же участь ждет... Нет, не ждет, потому что у нас имеется прочная советская власть, мощное государство, которое не слушается всяких анархистиков вроде таких, прости господи, "инструкторов окружкома"! Словом, дал отповедь и выставил из станицы.

В борьбе за чистоту и революционную нравственность Щербаков задирает местное начальство. Уже упоминавшийся нач. милиции Фалик жил рядом с Картавцевыми в пустовавшем доме содержателя почтовых лошадей. Жил с женой и малыми детьми. Но вскоре начал ухаживать за женой другого местного руководителя - подпольного революционера, не раз сидевшего (впрочем, не большевик), ныне начальник почты (в те времена это довольно крупная фигура, не сопоставимая с современным начальником почтового отделения). Жена этого Гузаревича откликнулась на ухаживания Фалика, и скоро Фалик зажил с нею, оставив детей. По революционным понятиям Щербакова (пока еще девственника) это было безнравственно. Посему, когда парочка Фалик - Гузаревич появилась как-то в культпросвете на репетиции (вроде бы желая принять в ней участие), руководитель культпросвета Щербаков решил проучить их. Улучив момент, когда Фалик куда-то отошел, оставив свою фуражку на скамье рядом с Гузаревич, Щербаков приблизился и напялил на нее эту фуражку. Она покраснела, все в зале, зная подоплеку, оживились, она возмущенно занегодовала. Фалик же - тут - смолчал, откладывая двойную месть для более удобного организационного случая.

В таких вот хлопотах и шла партийно-советская работа Ивана Щербакова в 1919-1920 годах до лета, когда стряслись новые события, выведшие его за рамки с детства знакомых станиц и лиц.

§4. На невидимом фронте

Вербовка; на Врангеля; миллеровская чека; разведкомандировки; следователь ЧК; выезд на бандитов; реввоентрибунал Северо-Кавказского фронта; расследование преступления по должности; новочеркасская генеральша; учиться или работать в ГПУ? Ростовская тюрьма; разочарование как личное проявление общественной тенденции

Сам Иван не помнит, как и через кого оказался он тайным агентом ЧК. Все вышло весьма естественно. Кто-то из старших товарищей сказал, что в деревнях Воронежской губернии готовится новое бандитское восстание. "Хохлы около Скрипниково зашевелились. Да и тут среди нас есть такие же," - добавил собеседник. А потом в разговоре уточнил, что Иван мог бы здорово помочь, если бы осторожно походил, приглядываясь к людям и сообщая о подозрительных. "Да как я их различу?" - усомнился тот. И услышал разъяснение, что-де бандиты имеют опознавательный знак: у них на поясе вместо одной-двух накаток слева три-четыре накатки, избыточное число, словом. Иван ретиво кинулся искать "бандитов" с такой хитроумной формой одежды. Не помнит, нашли ли хоть кого, но в списки сотрудников ЧК попал как тайный агент.

Нелепо, конечно, выглядит способ вербовки. Правда, не нужно забывать, что Ивану было всего восемнадцать лет, что образование завершить он не успел, что все кругом кипело и стреляли взаправду... Но, зная другие случаи вербовок, я не могу отделаться от впечатления, что элемент такого фарса и несуразицы присутствует в вербовках гораздо шире. Тридцать лет спустя жмеринский капитан Приходько почти так же станет вербовать Вилену Шрифтейлик (о которой уже поминалось в этих мемуарах и еще немало будет, ибо она стала моей женой). Будучи начальником или замнач ГБ по Жмеринке, Приходько выделил Вилену в рабочем общежитии (ей было годков побольше, чем Ивану, и образования успела отхватить посолиднее) и стал нести ей ахинею насчет того, что шпионы, дескать, вокруг нас, что надо помочь найти американских агентов. И она не распознала, что это ахинея. Нет, с готовностью, с какой Иван Щербаков в 1920, Вилена в 1950 году рванулась искать шпионов в складских бочках, бодрствовать ночами, выжидая, когда шпионка заговорит во сне по-английски... Капитан же, дабы подогреть такой сыскной азарт, ходил по городу то в накладной бороде, то в усах, то в парике, и при встрече ужасно конспиративно вращал глазами: не узнавай, дескать... Вилене, чтобы понять суть такой службы (как и ивановой, бесплатной, конечно), достаточно оказалось первых же вопросов капитана, нет ли у них в общежитии антисоветских анекдотов. "Это - не шпионаж," - решила она и вышла из игры. Ивану пришлось глубже нырнуть в чекистские игры, хотя он тоже вынырнул из них на человеческую поверхность. А мне покою не дает безотказная простота и эффективность такой примитивной вербовки!

Вернемся к службе Щербакова в Урюпинской чека. Вот документ:

"Р.С.Ф.С.Р. отдел общий

Донская ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности,
при ДОНИСПОЛКОМЕ
15 ноября 1929 г.
№№ тел. 25.15, 21.98 и 39.00
№ 9811

АТТЕСТАТ

Дан сей сотруднику ПолитБюро Хоперского округа тов. ЩЕРБАКОВУ Ивану в том, что он жалованьем удовлетворен по 1-е Ноября включительно, что подписью и приложением печати удостоверяется.

ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ М.Соловьев
С е к р е т а р ь нрзбр

приложена гербовая печать, на которой повторены слова штампа от "Донская" до "должности". Документ этот - не чета рукописным бумагомараниям политуправления Особого корпуса или партокружкома. Бланк исполнен типографски, включая "1920 г." Текст на машинке. От руки только подписи, регистрационный номер да число в дате. По штампу и печати видим, что это Всероссийская ЧК. Подчиненность Дончеки оказывается не непосредственно предвечека, но через Донисполком. Это та структура чрезвычайки, которая была навязана Петерсу в октябре 1918 года в отсутствие Дзержинского и против которой Дзержинский решительно возражал. Он добился ликвидации подчиненности уездных и волостных чрезвычаек уездным и волостным советам (январь 1919). Мне даже казалось, будто к 1920 году централизация ВЧК была полностью восстановлена, но и бланк документа, и личные воспоминания Ивана Щербакова свидетельствуют об обратном. "Политическим Бюро" в ЧК и позже в ГПУ именовался функционально самый главный орган: принимавший к ведению дела, имевшие политическое значение. Попал в него Иван в силу своей "политической развитости", активной грамотности и совершенно бесспорной преданности идеям социализма.

Служба Щербакова секретным сотрудником урюпинской чеки была прервана генералом бароном Врангелем. Тот, окопавшись в Крыму с остатками деникинской армии (преимущественно - тыловыми службами), презрел грозную ноту Ллойд-Джорджа, требовавшего замириться с большевиками, и начал наступление в Северную Таврию. Оно шло довольно успешно, и в восточном направлении - которое нас только и интересует - он продвинулся по реке Молочное до Большого Токмака и до Орехова, т.е. подошел к границам Донской области ближе, нежели был удален от Перекопа. В начале сентября 1920 года опозорившиеся Сталин и Ворошилов были убраны с Южного фронта, на их место назначен Фрунзе, которому Троцкий и С.С.Каменев предоставили фактически полную автономию, ибо сами были сконфужены поражением на Висле. Но еще в начале октября не удавалось выбить белых из Токмака, хотя на город уже совершались лихие налеты и красные курсанты и "цветной" полк дроздовцев попеременно ходили под Ореховым друг на друга в психические атаки. Одна за другой объявлялись мобилизации партийных и беспартийных "на Врангеля!".

До ЧК мобилизации докатились позже всех. 11 ноября взят Перекоп. 15 ноября - белые выбиты из Севастополя, а 16 сброшены в море из последнего их города - из Керчи. И только 15 ноябрем датирована бумага, выданная мобилизованному на Врангеля Ивану Щербакову. Даже если бумага выслана ему вдогонку, а выбыл он, снявшись с чекистского довольствия в Урюпинской, раньше, что все равно, как видно из бумаги, не раньше первого ноября, разве что сухим пайком ему на два-три дня что-либо вручили; тогда крайняя дата выезда - 29 октября. Следовательно, выехал он уже после полного разгрома врангелевцев в Северной Таврии, где они потеряли 60% личного состава войск. Не спешили посылать. К слову, тут Фалик попробовал подставить ножку Щербакову (достопримечательно, КАК тогда считалось "вредить"). Когда отбирали кандидатуры, то он у себя в ячейке поставил вопрос: "А достоин ли Щербаков такого доверия?" (Самого Ивана при этом не было.) Он обвинил Щербакова в нарочитой провокации с целью скомпрометировать местные власти в его лице, помянув историю с хлебом. Но сестрица Ивана, уже вернувшаяся летом 1920 года из Москвы и вошедшая в местные верха (хотя и не такие уж верховные, как ждалось, ибо в Москве из-за любовных дел и родов она то ли не стала на учет, то ли не платила взносов, так что в Урюпинской ей пришлось заново вступать в РКП(б)), набросилась: если мы не доверяем ему сражаться против Врангеля, то как же можем мы оставлять его в партии?! Коли он не надежный элемент, то гнать его из рядов коммунистов!! На такое сам Фалик не посягал, так что мандат добивать белогвардейщину в Крыму был Щербакову вручен. Само собой, едучи на борьбу с Врангелем, Иван Щербаков понятия не имел о том, что Врангель закончил Горный институт, начал было работать горным инженером, да подкатилась русско-японская война, на которую ушел вольноопределяющимся (рядовым), а потом выслужился по технической линии до генерала. Нет, для него Врангель был закоренелым зубастым золотопогонником-бароном, ставленником Антанты, которого надо добить - и вмиг уставится долгожданная справедливость Коммуны.

Двум Иванам (Щербакову и Звонареву), которых делегировала Урюпинская, не пришлось ехать дальше Миллерово. Их товарный поезд маршрутом Урюпинская - Алексиково - Поворино - Лиски дополз до Миллерово, чтобы решить: сворачивать на Луганск или двигаться на Ростов. Покамест состав колебался, сослуживцы Иваны (Звонарев командовал сотней в полку, где служил Щербаков) смотались в гости к знакомому казаку-учителю, подпольному революционеру Георгию Просвистухину. Он занимал пост председателя Донецкого окружкома[175]. Напоив их чаем (тогда у партийных не было принято пить вино), он доверительно уведомил их, что Врангель уже разбит, что никуда их не повезут. Предложил: когда вас распускать начнут, не возвращайтесь в Урюпинскую, а приходите ко мне. Веселее работать вместе! Так Щербаков и поступил, когда через пару дней им предложили расходиться[176]. Он, в

[175] Центр Донецкого округа из станицы Каменской (ныне Каменск-Шахтинский) большевиками был перенесен в Миллерово. Не путать Донецкий округ с Донецкой областью, центр которой Донецк, бывший Сталино, бывшая Юзовка.

[176] Демобилизация тогда проводилась согласно с указаниями Ленина (от 6 апреля 1921 года, таково же постановление политбюро ЦК): "... не везти демобилизуемых по

чем был, явился к Посвистухину устраиваться. Тот назначил его было своим помощником-инструктором; говоря по-современному, первым референтом первого секретаря райкома. Но пост подлежал утверждению на президиуме. Там начальник Политбюро Донецкого округа взглянул на обтрепанного мальчишку:

- Да ты справишься? Ты где-нибудь работал раньше?

- Конечно, справлюсь! Я в хоперском Политбюро работал!

- Ба, да он чекист? Давай его нам, нам грамотные люди во как нужны!

И перешиб председателя окружкома, загреб в свой аппарат. Недаром Сергеенко был сыном приказчика, умел товар находить. Снова стал Щербаков секретным работником. Поначалу ему поручили наружное наблюдение (филер, говоря революционной терминологией). Скажем, некий рабочий стукнул, что-де у него во дворе ночами спекулятивные сделки творятся: кто-то приезжает на тачанке, перегружают товары на другую и увозят поутру. Явно спекуляция! Напомним, что время было до нэпа, когда практически на все существовала государственная монополия и никакой вольной торговли юридически не дозволялось, а торговля хлебом каралась примерно так же, как ныне - торговля золотом. Ивану поручают: "Проследи!" Он проворно кидается исполнять, но по дороге его начинает грызть нечеткость формулировки: что значит "проследи"? Ну, увижу я тачанки - делать ли мне обыск? Есть ли у меня права? А коли обнаружу что при обыске - есть ли полномочия арестовывать, конфисковывать? Вот они - интеллигентские сомнения и колебания... Впрочем, не они помешали Щербакову. Мороз - вот что помешало. В декабре стоять у никому не нужного двора, пялить глаза в пустоту, прыгать с ноги на ногу по заснеженной и обледеневшей мостовой. А неподалеку так соблазнительно дышал вокзал. Правда, нетопленый, как и все вокзалы той зимы, но все же нагретый сотнями людей: пассажиров, бездомных воров, сыщиков, проституток. До вокзала - рукой подать, ничего же не случится, если сбегаю туда-обратно! На теле - ничего теплого, ни мехового, ни шерстяного, ой как мороз кусает! Словом, забегал он греться раз, другой, который там по счету. И, как все эти "джентльмены в штатском", сразу бросался в глаза понаторевшему взору. Так что даже услышал за спиной разговор: "Вон, смотри, какие они, которые следят", - и увидел, как его обводят изучающим взглядом. Как тачанки въехали во двор, он видел. Но нечеткость инструкции плюс нежелание мерзнуть побудили его не входить во внутрь двора и не дали ему заметить отъезда тех самых, других ли возчиков. Рассвело, он доложил по начальству, что видел. Похоже, что начальство не чересчур вникало в этот донос, потому что когда назавтра доносчик явился в Политбюро скандалить, что мер никаких не принято, спекулянты и в эту ночь перегружались, его переадресовали непосредственно к самому Щербакову: "Он - тот товарищ, который занимается этим делом", - а тот успешно отлаялся от наседавшего на него рабочего, укорявшего: я-де видел, а ты прошляпил, - неожиданным поворотом:

железным дорогам, а отпускать пешим хождением... отменить правила и постановления о снабжении демобилизуемых одеждой, обувью и проч. ..."

В фильме "Белое солнце пустыни" (1969) хорошо показано, что демобилизуемому на дорогу ничего не выдается, кроме винтовки, и он шагает себе из Средней Азии в Рязанскую губернию (1920-1922).

"Ну, так и должно быть: ведь ты же рабочий, т.е. классовое сознание у тебя просто обязано быть выше моего, мне только учиться у рабочего класса надлежит". Не найдя, что сказать на этот комплимент, затыкающий рот, доносчик ушел и больше не тревожил.

Щербакова же послали поглядеть-послушать в район, который недавно ненадолго занимали махновцы. Собственно, речь шла об остатках армии Махно, уцелевших после крымского разоружения в ноябре 1920 года. Тогда, ворвавшись по Чонгарскому мосту и разбив Врангеля, Махно подвергся внезапному разоружению по приказу Фрунзе[177]. Лишь ничтожные силы, главным образом, не принимавший участие в крымской операции, остались в распоряжении сумевшего ускользнуть из ловушки самого батьки Махно. Щербаков походил, подобрал два номера газеты, выпускавшейся анархистами-махновцами. В №1, вышедшем, когда Махно наступал, в глаза бросался призыв: "Бей коммунистов и жидов!" В №2, набиравшемся, когда красные теснили анархистов, ему запомнилась статья, в которой излагалось, что в мире есть только две революционные партии: анархисты и коммунисты - что им не из чего ссориться и враждовать перед лицом недобитой мировой буржуазии. Тогда, ничего не зная про анархизм и даже не слыхивав имени Кропоткина (умершего как раз в эту зиму), Щербаков лишь ухмыльнулся гибкости махновской пропаганды, но формула осталась и с годами сработала. Произвели на него впечатление и те поступки Махно, которые тот совершал как раз ради такого впечатления. Жители рассказывали, что сами махновцы не грабили и себе лично ничего не брали. Они только велели жителям самим разобрать магазин и прочее. Даже дисциплину - шепотом захлебывались жители - поддерживал Махно. Изнасиловал один его командир тут бабу (вдовую или жалмерку), она пожалилась батьке. Тот вызывает: ты, сукин сын насиловал? А тот куражится: ну, что такое? Убыло ее, что ли? В первый раз, что ли? И Махно на месте его застрелил. - "Ну, а остальные махновцы, кто рядом были, - спрашивает Щербаков, - они как? Возмущались, протестовали, что без суда застрелен их командир?" - "Нет, они спокойно отнеслись", - отвечают очевидцы.

Более длительная командировка уже скорее не для наружного наблюдения, а для внедрения в качестве агентуры состоялась в район Матвеево-Курганского (на реке Миусе, впадающей в Азовское море) восстания начала 1921 года. Из села выбили штаб восстания, возглавляемый офицером Смирновым, и в село направили двух чекистов с целью выйти на след Смирнова. Ивана Щербакова послали под собственной фамилией, но дали ему липовое удостоверение, якобы он освобожден из Новочеркасской тюрьмы. Был у него и чистый бланк за печатями и подписями станичного правления, которыми он мог распоряжаться по усмотрению. Войдя в село, он направился к дому крестьянина, которого счел или ему отрекомендовали "кулаком". Подошел, поздоровался, перекрестился попросил еды. Заговорил: вот-де продержали гады в тюрьме, теперь и не знаю, вертаться ли в свою Усть-Бузулуцкую или еще куда податься? Прими пожить, обсмотреться. Да ты не смущайся, я тебя

[177] Не до конца ясную роль в этом коварном ударе по махновцам сыграли Бела Кун и бывший начальник чекистского отряда 6 июля 1918 года Попов, будто бы переметнувшийся к врагам большевиков, в эту пору начальствовавший в штабе у Махно.

не обманываю, вот у меня бумага есть. Всем ведь верить нынче не приходится, много всяких ихних шпиков шастает. У меня-то дело верное, а вообще ты остерегайся. Пустил его "кулак". Жило почему-то все семейство в единственной комнате. Ели из одной миски, руками. Но это было еще терпимо. Гораздо хуже было Ивану, когда при нем "кулак" лупцевал дочь - за то, что та платком повязалась не внизу шеи, а "косыночкой" с узлом на затылке, открыв и шею, и уши, и часть волос. "А, гадюка, комсомолкой заделалась!" - и, сбив ударом кулака на пол, полосует веревкой. Огромным усилием воли принуждает Щербаков не выдать себя, не расстрелять на месте "кулака", но проговорить: "Правильно, так ей и надо. Но сейчас кончай, дело есть". Входит-таки в доверие хозяина, начинает уже с ним осторожные разговоры о путях, как перебраться к Смирнову, что более никакого пути в жизни ему не осталось. Хозяин указывает пути. "Хотелось бы туда с оружием прийти", - добавляет Щербаков. "А ты пойди сегодня на вечеринку, спроси там Ивана, у него пугалка есть", - вконец выбалтывается уверовавший в постояльца хозяин. Так доверился, что даже когда как-то сам Смирнов ночью подъезжал к его дому и стучал в окно, не боялся уже Щербакова, а успокоительно объяснял офицеру, что тревожиться нечего: наш человек. Но на вечеринке почему-то сорвалось у Щербакова получение оружия: то ли местный Иван ему не поверил, то ли был в лоск пьян, то ли у него и не осталось уже нагана.

С таким результатом Щербаков и вернулся в центр, в Миллерово, доложился. Напарник его достиг до самой любовницы Смирнова, но от нее конечной интимности добиться не сумел. Характерно, что Иван Щербаков никогда не поинтересовался в дальнейшем: какова судьба приютившего его "кулака"; его дочки, получившей полную свободу сиротою повязывать косынку, как хочется; любовницы Смирнова; самого Смирнова. Дело закрыто, отчет представлен, персонажи более не занимают внимания. Да его и перебросили на другую, уже открытую работу: ведь век на секретной не удержишься, разоблачат. Он стал "уполномоченным", т.е. следователем сначала "по борьбе с бандитизмом" (т.е. крестьянскими повстаньями; сокращенно "б/б"), а позже и “с преступлениями по должности” (что в конечном счете разлучило его с ЧК).

Следователи допрашивали как у себя, так и тюремных камерах. За исключением одного (Игнатов) все держали себя на допросах корректно, как выражался Щербаков, "без пристрастия". Это трудное выражение. При царице Анне Ивановне оно означало "без дыбы, без огня, без пытки". Но без этого-то они все обходились. Сколько помнит Иван Гаврилович, даже Игнатов и тот обходился без "рукоприкладства". Сказать же, что "без пристрастия" означает "беспристрастно", - этого не мыслит сам Щербаков. Нет, они все пристрастно и убежденно защищали коммунизм. Правда, среди них была парочка следователей, по убеждениям заявлявших себя анархистами, но те признавали коммунистов своими товарищами по Мировой Революции и не хуже их ненавидели и презирали всю эту буржуазную нечисть. Для меня большой неожиданностью было узнать про широкое участие анархистов (от анархо-коммунистов до анархо-индивидуалистов) в карательных органах советского государства (не только от отца узнал я про это), но, поразмыслив, я

догадался, что в немалой степени оно объяснялось НАИМЕНОВАНИЕМ этого органа "чрезвычайным", т.е. временным, негосударственным, вынужденным требованиями сиюминутной борьбы с гидрой контрреволюции, но, конечно же, подлежащим ликвидации, едва только вооруженная борьба кончится. Выражение же "без пристрастия", "нормально" - следует понимать в том смысле, что следователи миллеровской ЧК не прибегали ни к каким приемам, которые их подследственным казались бесчеловечными. Если и били, то в такой ситуации, в какой сам допрашиваемый понимал и принимал неизбежность и "правильность" битья. Другое дело, когда к ним приехали 2-3 ростовских следователя. Тогда вся патриархальность и провинциальность миллеровского бытия нарушилась. И раньше к ним доходили слухи, что-де в ростовской ЧК бьют и всякие средства применяют, и даже есть один следователь-садист[178], который выпивши или нанюхавшись кокаину, идет в тюрьму и стреляет по битком набитой камере в кого придется, пока не надоест. Теперь же они воочию убедились, что ростовчане начали сразу и продолжали без перерыва избиением, мордобоем. Слегка шокированные, миллеровские следователи оправдывали своих ростовских коллег друг перед другом: по-первам те так обращались-де с ЯВНЫМИ бандитами, тут и спросу нет... Как правило, следователи не только допрашивали, но они же не фактически выносили приговор, а многословнее и юридически грамотнее: "выносили заключение о приговоре", "поступавшее на окончательное утверждение тройке во главе с начальником". Если приговор был к расстрелу, то полагалось телеграфно известить Москву, кажется, ВЦИК, и не приводить в исполнение в течение, кажется, 24 часов. Но нередки были случаи, когда, желая ликвидировать озлобленного врага, начальник Политбюро распоряжался пристрелить его немедля, а если Москва вдруг слала: "Приговор не исполнять", - списывали на опоздание в телеграфе. Расстреливал комендантский взвод под командой коменданта-завхоза Ваньки и в подвалах тюрьмы, и за городом. Иван Щербаков на расстрелах не присутствовал, но ему перепадала в качестве служебного обмундирования конфискованная одежда расстрелянных. Так, он помнит, как ездил в командировку "в хорошей старинной лисьей шубе", которая вся обовшивела от поездки. Таких ярких картин, что нарисованы В.Катаевым в "Уже написан Вертер", Щербаков не помнил, да ему и была бы чужда до самого конца жизни мысль посмотреть и почувствовать "с той стороны", за расстреливаемых.

Среди следователей, наверное, самым грамотным был Щербаков; прочие едва умели писать, даже Игнатов - "уполномоченный по правым и левым партиям". Почерка у всех были ужасными, включая моего отца. Разобрать эти каракули никакой "прокурор по надзору", кабы таковой и существовал, был бы не в силах. Поэтому, что говорилось на допросах - оставалось непрочитываемой тайной, а судьбу арестованного решало революционное сознание следователя, не отягченное никакими инструкциями. В свободное время начальник Сергеенко с провалившимся носом ходил и напевал:

---

[178] Очень распространенное такое неправильное словоупотребление термина “садист” вместо “изверг”, “изувер”, “злодей”, “мучитель”. По-настоящему же слово “садист” - слово из сексуального (эротического) словаря.

"Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется,
Не для меня в краю родном "Христос воскресе" раздается", -

донскую тюремную дореволюционную песню. В первой половине 1921 года прислан был из Ростова новый начальник Политбюро Мазник, а Сергеенко понизили, оставив тут же. Мазник был пожилым, интеллигентным и сурово выглядящим аскетом с подпольной биографией. Ни себе он ничего не искал - даже квартиры не завел, а ночевал и ел (пить не пил) в служебном кабинете; ни подчиненным не позволял урывать жизненные блага. Узнав, что завхоз Ванька сумел поставить сотрудника на четыре пайка сразу (общий, повышенный, военный, боевой), Мазник немедленно распорядился: "Это безобразие прекратить!" Для Ивана Щербакова Мазник был живым воплощением настоящего революционера, в нем сливались воедино все черты от Овода до Дзержинского. Выделялся на общем фоне.

Еще при Сергеенко однажды послали Щербакова следователем Ревтрибунала на хутора станицы Митякинской (в полусотне километров к юго-западу от Миллерова). Ревтрибунал был сформирован в Миллерово, полномочия даны неограниченные ("Все, что сделаете, мы тут в Миллерово утвердим"), никакую Москву о расстрелах уже извещать не следовало, да и не было на хуторе телеграфа, а надлежало "нагнать страху на бандитов". Три члена: шахтер-председатель, крестьянин и седой полуинтеллигент-полурабочий. Секретарем был средних лет Федосеев, а Щербаков - следователем. Сопровождал их отряд красноармейцев двадцать. Следственно-судебная работа чередовалась с перестрелками и сражениями. Общее настроение, видимо, точно передано стихами В.Луговского, где художник, два чекиста и автор под "метели волчий вой" встречают новый 1919 год:

"Чекисты пили истово, кожанками шурша. Кипела у художника широкая душа. Он славил Микель Анджело, Давида возносил, я гнал стихи Верхарна, гнал из последних сил. Чекисты пили истово и пели "Ермака". Разгромлена Германия, Европа в стылой мгле, но трубы Революции гремят по всей земле... Зачем любить, коптить добро, других опережать, когда приходит коммунизм - вот он - рукой подать! И пели трубы чистые, преграды все круша. Чекисты пили истово, кожанками шурша. Пойдут они по улице, зайдут в старинный дом. Там до утра потрудятся и выйдут вшестером. И впереди старик пойдет - полковник с бородой, за ним два пана, позади - поручик молодой. Тяжелая работа, нелегкая судьба. Полночные аресты, полночная пальба. Так много лет один из них на свете проживет. Второй умрет в тридцать седьмом, как мученик умрет. Из них не первый, ни второй не выдаст никому тот давний молодости зов, метельный гром Коммун." ("Баллада о Новом годе", "Москва", 1957, №3, с.33-36.)

Отец сделал единственную поправку к этому стихотворению: "Я никогда не видел пьянки среди чекистов, и не слышал". Да, так вот население в этих местах большей частью сочувствовало "бандитам", поэтому "пособников бандитов" беспощадно

расстреливали. Сведения получали от немногих, сочувствовавших красным, причем если информация исходила от своего осведомителя, то ей верили безоговорочно, ни к каким проверкам и вторым свидетельствам не прибегая. В этой экспедиции трибунальцы уже не чинились, били и отнимали, как хотелось. Глядя на них, Щербаков тоже потянулся: "Раз они - то и мне можно". Роясь в сундуке какого-то расстрелянного, увидал новенький казачий мундир. Сам же так до сей поры ходил в обтерханном гимназическом, который где только не ночевал! Проворно вытянул сверкающее казачье одеяние, примерил - в самый раз. Целых два года щеголял потом в этой добыче.

Потянулся и к избиениям. Донесли (одна баба, любовью связанная с "бандитским" командиром), что лесничий на участке - связной с лесовиками. Загреб Щербаков лесничего, допрашивает. А тот - человек интеллигентный, учебные заведения кончал, хмуро и кратко обрезал: "Ни на какие вопросы отвечать не буду. Стреляйте". Бился-взвивался над ним Иван, не вытерпел, ухватил наган за дуло и: "Я тебя заставлю, гад, говорить!" - опустил рукоять на череп подследственного. Опускать-то опускал, да не опустил. Мгновенное движение лесничего - и наган очутился у него в руке, а Щербаков растерянно соображал: "Все наши ушли кто куда. У дверей, правда, должон быть красноармеец-часовой, но он всегда с бабами любезничает. Пристрелит." И в самом деле, ничто не препятствовало лесничему уйти. Но что-то (общее ли сознание обреченности? "бедная неведущая усталость, которая не хочет больше хотеть"? отсутствие животного инстинкта самосохранения? отвращение убивать ближнего?) заставило его произнести: "Я не хочу, чтобы на моем трупе были синяки", - и вернуть наган ошалевшему следователю. Лесничего, конечно, расстреляли. И он даже немножко - не по существу допроса - разговаривал после происшедшего инцидента. Но Щербаков больше не прибегал к таким приемчикам.

Уместно здесь сказать об общем характере воспоминаний моего отца. Люди, как известно, обладают крайне избирательной памятью. Фрейд сообщил, что большая часть человечества не желает помнить неприятного для себя, загоняет неприятное, стыдное и болезненное в подсознание. Лично я преимущественно помню как раз неприятные для меня сцены, в которых не хотелось бы пережить себя вторично. Среди того, что припоминает мой отец, превалируют не победы-успехи, а ситуации, в которых он ощущал неловкость. Элемент хвастовства отсутствует начисто, а элемент смущения, перекрываемого смехом, весьма заметен. Отсутствует и раскаяние в собственном проколе. Нет, как высокопарно выразился выше процитированный Луговской, он "никому не выдаст метельный гром Коммун". Но и реабилитировать свое прошлое, навязать его в ореоле - он не пытается. Как я уже сказал, Луговской довольно точно передает настроение тех зим. Но, поэтическими красивостями смазывая реальность, делает ее неправдоподобной. В самом деле, двое чекистов заходят в полночь в дом и на рассвете выводят оттуда на расстрел полковника, поручика и двух панов? Кабы так, работа чекистов иссякла бы за несколько недель: откуда бы взяться столь большому числу "полковников", "поручиков" и "панов", что труженикам-чекистам и по сию пору приходится выводить из домов "врагов"? Ни разу в воспоминаниях Ивана Щербакова не фигурировал

в качестве репрессируемого "нетрудовой элемент". Пусть "лесничий", пусть "кулак", - но ТРУЖЕНИК, а не "пан". В том-то и суть, что возникнув как ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ орган истребления "полковников, поручиков да панов", орган этот занимался СИСТЕМАТИЧЕСКИ совсем иными истреблениями и репрессиями. И дошел до того, что посадил в тюрьму меня, родившегося уже почти полтора десятка лет после создания этого "временного органа". Оправдывался же и оправдывается этот орган мемориями о "панах".

А вот сложный эпизод этой карательной трибунальской экспедиции. Попался им в руки "настоящий бандит" (сравнительно с "пособниками бандитов", коих преимущественно и стреляли). Парень лет 18-20. Разложили они его на лавке, принесли плети: говори, дескать, кого в селе знаешь своих.

Испугался плетей и раскололся, потек. В частности, назвал одну бабу из села как любовницу командира повстанцев. Ее тут же дернули - выкладай! "Ничего не знаю". Ах, так?! Растянули ее, задрали юбку и всыпали плетей, благо уже принесены. Секут ее, а она не признается. Парень слышит и вздыхает следователю: "А я-то как растерялся... Вишь, баба, а сильнее меня получилась..." У этого парня со временем сложились почти душевные отношения со следователем Щербаковым, т.е. "душевные" по-следовательски. Тот его даже заверял, что не расстреляют его, раз он все как есть без утайки выдал. Ну, бабу посекли и отпустили, ничего не добившись. А бандита этого на радостях, что "настоящий" попался, председатель порешил везти в саму станицу и там судить открытым принародным судом. Привезли. Щербаков испытывает некую неловкость: обещал же жизнь! Мнется и буркает председателю: "Не надо, пожалуй, его расстреливать". Шахтер молчит. Суд проводят "по всем правилам": назначают обвинителя (Щербакова) и защитника (разыскали старого юриста). При стечении народу защитник закатил такую речь, требуя оправдания подсудимого, что недоучившийся гимназист уяснил: не тягаться мне с ним. И, выступая как обвинитель, перечислил лишь грехи бандита, не потребовав применения высшей санкции. Но суд не прислушался ни к мнению защитника, ни к мнению обвинителя - парня расстреляли. И защемило у Ивана. И до сих пор щемит.

Трибунальцы, хоть им было дозволено все, не бесчинствовали, заложников не брали, домов не сжигали, баб не насиловали. С последним уладилось полюбовно: одна из сочувствующих красным устроилась спать с председателем, а потом спохватилась: "Ребятки, вам ведь тоже нужно!" - и привела охотниц каждому. Иван, правда, не воспользовался: он еще женщины не знал и ТАК начинать не влекло. Закончилась трибунальско-карательная эпопея угрозами с двух сторон. С белой прошел слух, будто на станицу идут крупные силы повстанцев до полутора тысяч сабель; где им сопротивляться при 20 штыках! Ноги надо уносить. С красной стороны добрались до них трибунальцы из Ростова, которые неодобрительно взглянули на самозваный трибунал из Миллерово. "Уймитесь, ребятки, - сказали они. - Наломали вы тут дров, каких-то "пособников" придумали-постреляли. Да и барахло себе гребете." Словом, счастьем оказалось, что срок командировки, проставленный в мандатах, истекал, и можно было без сраму в самый раз вернуться домой, не утикая от врагов и не попав под арест своих.

Так вот в хлопотах прошел 1921 год. И не позже февраля 1922 года Иван Щербаков стал работать в Реввоентрибуеале Северо-Кавказского военного округа и Первой Конной армии[179], точнее, в его выездной сессии №13, базировавшейся на Новочеркасск, хотя числился по-прежнему за Миллерово (начальником был Мельников - председатель сессии). В Урюпинскую (где жила Наталья с дочерью) возвращаться и не думал, а все определеннее оседал в Новочеркасске, где чекисты занимали опустевшую гостиницу "Якорь" напротив собора на центральной площади у Александровского сада. Правда, ему почти все время приходилось бывать в разъездах с мандатами вроде такого (напечатан на обороте типографского Талона квитанции Государственного казначейства на 33 рубля, погашенного 2 сентября 1914 года):

"МАНДАТ

Дан сей сотруднику по разработке дел управления уполномоченного Донского Областного Отдела Государственного Политического Управления тов. ЩЕРБАКОВУ Ивану в том, что он с двумя красноармейцами 34 отд. роты т.т. Нецветаев Михаил и Кривоногов Степан по делам службы секретно-оперативной важности командируется по Черкасскому Округу в районе ст.Кагальницкой, Мечетинской и других.

Тов. ЩЕРБАКОВУ предоставляется право ношения и хранения всякого рода оружия, производство обысков и арестов, выемок и изъятия по его усмотрению.

Тов. ЩЕРБАКОВ аресту и задержанию без ведома Уполномоченного ДОО ГПУ Черокруга не подлежит.

Всем организациям, как военным, так и гражданским, а также отдельным лицам, стоящим у власти просьба оказывать тов.ЩЕРБАКОВУ всяческое законное содействие, что подписью и приложением печати, а также и собственноручная подпись его ... удостоверяется.

Настоящий мандат действителен по 10 мая 1922 г.

Уполн. ДООГПУ Черокруга А.Чернявский

секретарь М.Бетенин"

Наполовину оттиснувшийся штамп на полях (иной, чем на следующем документе) и бледная печать ГПУ у подписей. Датировано 24.04.22, исх. № 2339. Фамилии красноармейцев вписаны в оставленное место чернилами, как и образец подписи. Либо же такое удостоверение выдавалось ему:

"Российск. социалистич. федерат. советск. республ.
Н.К.В.Д.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОТДЕЛ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по новочеркасскому округу
21 мая дня 1922 г.

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Дано сие сотруднику по раз. дел б/б Управления Уполн. ДООГПУ Черокруга тов. ЩЕРБАКОВУ Ивану в том, что ему действительно предоставлен кратковременный отпуск сроком на 3 дня по семейным уважительным причинам, для чего

[179] С этими учреждениями связаны имена Орджоникидзе, Ворошилова, Буденного, В.Трифонова.

№ 2843
г.Новочеркасск

тов. ЩЕРБАКОВ выезжает в г.Миллерово.

Всем советским, как гражданским, так и военным, а так же отдельным лицам стоящим у власти просьба оказывать всемерное содействие тов. ЩЕРБАКОВУ в пути его следования, что подписями и приложением печати удостоверяется. Тов. ЩЕРБАКОВУ даны требования за №№ 371413-371414.

Действительно по 28 мая 1922 г.

Уполн. ДООГПУ Черокруга Чернявский
Секретарь Бетенин”

Приложена печать. При воспроизведении я подчеркнул текст, вписанный от руки в машинопись или штамп.

Вез как-то Щербаков с подобным мандатом в сопровождении одного красноармейца на открытой площадке товарного поезда из Новочеркасска в Ростов своего подследственного главаря одной из мелких банд. Сидел, курил, уповая, что красноармеец стережет. Тот, видать, полагал то же самое. А арестованный рванулся, схватился за ствол винтовки и ну тянуть. Вместо того, чтобы стрелять в него - приказано-то доставить следственного, а не труп его - Иван тоже вцепился в винтовку и тянет к себе. Тянут они, поезд громыхает неподалеку от Аксайской, "бандит" вдруг толкает их обоих от себя той же винтовкой, отпускает и прыгает. Палят вдогонку, мимо, впустую.

Впрочем, чаще всего приходилось заниматься не бандитизмом, а преступлениями по должности: нэп умиротворил крестьян-повстанцев, а власть начала корруптировать. Весной 1922 года проводилась "Неделя красного террора уголовникам". Я не знаю, была ли это регулярная кампания вроде "месячника безопасности движения", или велось сие мероприятие в преддверии процесса над партией социалистов-революционеров. Как бы то ни было, до РВТ донеслись сведения, что в станице Ольгинской (неподалеку от станции Аксай) под флагом этой недели власти побили цыган: те, дескать, лошадей уводили, ну, и правых, и виноватых без разбору прибрали. Послали Щербакова выяснить. Поехал. Еще дорогой, добираясь лодками в разлив по большим и опасным волнам, услышал некоторые подробности, не оставлявшие сомнений: было, принимали участие и председатель совета, и председатель ячейки. Приехал в станицу и сразу к властям. Те смотрят - в казачьем обмундировании, выговор нашенский, донской. Заговорили как со своим, ничего не скрывая. Ну, побили. И всякий бы поубивал. Цыгане же - не казаки, чего воня из-за них идет? Щербаков слушал-слушал, а потом предложил протокол подписать. Вернулся и доложил начальнику Мельникову: виноваты в превышении власти, надо судить. Впрочем, еще прежде, чем он доложил, те сами приехали в Новочеркасск и заявились к Мельникову по старинной дружбе с

дарами. И Ивана не обошли: чебачков чудесных поднесли. Иван было похмурился, но видя, что начальник взял все, принял, в конце концов, снедь (а питались они плохо: в столовых бурда, как в современных тюрьмах), но нарочито пробурчал: "Это не освободит вас от ответственности". Да, прочел Мельников обвинительное заключение, составленное следователем Щербаковым, и проговорил вроде бы в абстрактном раздумье: "Вообще-то, ты Щербаков, хорошо работаешь. Грамотный, толковый. Но вот есть у тебя одна крайность: если поступило заявление, то ты его только усилишь, все сделаешь, чтобы выискать вину, а не подойдешь объективно". Вот ведь как прозвучал призыв: к своим “относиться объективно”, т.е. искать смягчающие и выводящие из-под ответственности обстоятельства. Щербаков не воспринял укора в этой фразе. И только много лет спустя осознал, что произнесена она была не в качестве общего умозрения для-ради характеристики его, щербаковского, стиля работы, а в виде начальственной резолюции на составленном им обвинительном заключении: "Не утверждаю. Дело прекратить". Но дело пресеклось - само собой.

Другая история того же рода, только разветвленнее, запутаннее, одним концом едва ли не выходящее в Политбюро ЦК, а другим - в область сексуальных отношений Ивана Щербакова, тоже имела началом расследование преступления по должности.

Напомним, что до революции Новочеркасск был столицей бутафорски автономной Области Войска Донского, С 1805 года, когда был основан и когда туда перенесена столица из Черкасска, расположенного на острове. Как столица он, конечно, и многолюднее (жителей в 4 раза больше, чем в Урюпинской), и, главное, богат заведениями: мужская и женская гимназии, реальное училище, кадетский корпус, духовная семинария, учительская семинария, женский институт (“благородных девиц”), техническое училище, юнкерское училище, епархиальное, женское, военно-фельдшерское, военно-ремесленное и мн. др. Перед войной возник Донской политехнический институт, Сельскохозяйственный институт, а с началом войны из Варшавы сюда эвакуировали часть университета, а из Юрьева (Дерпт) - Ветеринарный институт с высококвалифицированной профессурой. 25 православных церквей, одна единоверческая, 5 старообрядческих молелен. Областная больница, дом умалишенных, уйма общественных больниц. Общество донских врачей, общество сельского хозяйства, общество скаковое. Публичная библиотека, два театра, 67 заводов, 3 постоянных базара да 2 ежегодных ярмарки. Атаманский дом с монументом Платову перед ним. Донской музей. Общество взаимного кредита. Отделения пяти банков.

До революции здесь жить - было мечтой и счастьем. Поэтому тут теснились офицерские семьи - ведь даже управлялся Новочеркасск Войсковою комиссией, все здесь бряцало и дышало оружием, блистало погонами. (Погоны - современный читатель, наверное, даже и не помнит, что не было слова, ненавистнее большевикам в Гражданскую, нежели "погоны". Лозунг-то был: "Бей золотопогонников!") На Хопре мало заметили Октябрьский переворот, а Новочеркасске и вовсе октябрьского происшествия не приметили. Еще политики отметили - как курьезный эпизод - попытку большевистского правления Подтелкова - Сырцова в январе

1918 года, но семьи, простые обыватели, до самого конца 1918 года жили спокойно, наслаждаясь и страдая обычными радостями и горестями. Даже дороговизна не задевала благодатного края. Год девятнадцатый повымел из Новочеркасска всех мужчин: офицеров и казаков в Донскую армию Вооруженых сил юга России под водительством Деникина, а рабочих с заводов как подозрительных офицерам на большевизм - прочь из города. Заводы остановились и от нехватки сырья, отсутствия транспорта, исчезновения рынков.

В январе 1920 года буденновцы вошли в Новочеркасск (ой, читайте Бабеля!), за ним пришла НОЧКА - Новочеркасская Чрезвычайная Комиссия. расстреливаемых в марте 1920 года не заносили ни в какие списки, ни в книги смертей и рождений. К концу 1920 года Новочеркасск стал городом генеральских и офицерских вдов и сирот; лишь у немногих сохранялся "соломенный муж" или отец в Галлиполи, Праге, Париже или болгарских лагерях. Так мыкались в этом году - а еще страшнее в следующем, когда "угар нэпа" всколыхнул спекуляцию, дороговизну и социальные контрасты - и моя мать, Лариса Пименова, шестнадцатилетняя девушка с тремя сестрами от 7 до 13 лет и матерью - вдовой есаула. Но тогда еще Иван Щербаков не подозревал о ее существовании, и встретились они в другую историческую эпоху - через целых семь лет. Столица области была перенесена в Ростов; область некоторое время называлась "Донская", но потом исчезла и эта пуповина, название стало "Ростовская". Город Ростов возник на основе крепости Св. Анны, заложенной в 1731 году, а в 1761 году для вытравления всякой памяти о царице Анне Ивановне переименованной в Крепость св. Дмитрия Ростовского[180]. Вскоре после этого рядом с Ростовом поселили (в России всегда так: не "поселились", а "поселили") армян, выведенных из Крыма христолюбивой царицей Екатериной, еще когда Крым был самостоятельным государством под сюзеренитетом Высокой Порты. Их поселок, названный Нахичеванью, внес коммерческую струю в эту местность, и Ростов начал быстро расти, значась сначала в Таганрогском градоначальничестве, потом - уездным городом Екатеринославской губернии, а с 1888 года - окружным городом Области Войска Донского. В начале XX века численность жителей в Ростове была уже вдвое больше, нежели в Новочеркасске (хотя Ростов и Нахичевань считались самостоятельными поселениями и даже были разделены во избежание слияния специально засеянным пшеничным полем, в статистике их численность давали совместную). К 1925 году (раньше статистики не было) в Новочеркасске осталось прежнее число (т.е. с учетом естественного прироста - выбит каждый второй), а в Ростове стало в 2,5 раза больше прежнего. После победы большевиков Новочеркасск остался центром Новочеркасского округа.

Щербаков не вполне так воспринимал этот город в ту пору. Он знал, что "Новочеркасск - город офицерских жен и студентов". В силу своей интеллигентности в "студентов" он не вкладывал клеймящего как контрреволюционеров смысла, хотя скорее всего другие чекисты - вкладывали. В "офицерских жен" он не вкладывал оттенка жалости и сострадания. Напротив, они для него - явные пережитки и символы

[180] В 1981 году, гуляя, я узрел в Ростове мемориальную надпись: сие-де стена той самой крепости св. Анны. Не верьте надписям! Не было этой стены в 1946 году, заново ее из современных кирпичей сложили!

никчемно-роскошного классово-враждебного прошлого. Рассказывая об одной генеральше (о ней речь еще впереди), он подчеркивает, что несмотря на то, что ее ограбили и пощипали, отняли мебель и драгоценности, все еще хватало в ее доме и пианино, и серебряных ложек и небывалых вазочек и рюмок. Именно под этим углом зрения взирали на “генеральш” тогда красные комиссары. Поэтому, когда презжали они в Новочеркасск (проездом или надолго) и желали устроиться с уютом, останавливались как раз у "генеральш". Конечно, можно было бы бывших владелиц взять да выселить (как, к примеру, поступил в Сухуми в 1924 году один выдающийся комиссар, в будущем выдающийся абхазский писатель, поселившись в соборе, о чем гласит мемориальная надпись на стене собора), но тогда возникла бы проблема с прислугой; предпочитали селиться с готовой прислугой - владелицей и ее семьей. В 1920-1921 году в Новочеркасск прибыл и остановился у вдовы генерала Николая Коротченцова некий столь грозный комиссар, что даже в ЧК имя его боялись произносить вслух. Слово его было законом не то что для Новочеркасска, но даже и для Ростова; звучало непререкаемо. По некоторым деталям Иван Щербаков догадывается, что это был Молотов. Тот ведь в 1920 году короткое время был секретарем (председателем?) донецкого губкома, а в марте 1920 года стал кандидатом ЦК, что по тогдашней номенклатуре означало, что вошел в перечень первых тридцати имен в стране: примерно соответствует в сегодняшней табели о рангах званию "кандидат в Политбюро". В ноябре 1920 года Молотов провозглашается секретарем ЦК КП Украины, в марте 1921 года - членом ЦК, секретарем ЦК и кандидатом Политбюро ЦК РКП(б), т.е. входит в первую десятку лиц. Пожив какое-то время у Коротченцовой, комиссар приезжает к своей новочеркасской "жене", но при этом по выбору этой подруги он прихватывает в новый дом мебель, кольца и прочие ценности. Когда его перевели на работу в Харьков, он бросил новочеркасскую жену и новоприобретенную мебель, естественно, на старом месте. Прошло около года, когда сын генерала Николай (студент последнего курса Донского политехнического института), видя, что назад грозный комиссар не возвращается, начал добиваться возвращения семейной мебели от комиссаровой временной подруги назад. Писал он в уголовный розыск - не помогло. Написал он в ростовские органы, партийные или чекистские, не знаю. Словом, как-то поблуждав в ГПУ, пришел запрос в Выездную сессию № 13 Реввоентрибунала, где единственным следователем работал мой отец. И хотя было это за 10 лет до моего рождения, день этот стал судьбоносным для меня.

Щербаков начал с ознакомления с семьей заявителя. Сама генеральша, ее сын Николай, дочь Вера (24 года, замужем за студентом, эмигрировавшим с белыми в Париж) и младшая дочь Наталья (17 лет) - они особого сочувствия у него не вызывали. Живут они - по его меркам - роскошно. Едят сытно (не без помощи посылок из Парижа и продажи своих вещей), что для вечно голодного чекиста Ивана существенно. Но заявление есть заявление, а Мельников правильно подметил способность Щербакова лишь подчеркивать-усиливать обвинение, но не смягчать. Поэтому он прихватывает Наталью для опознания вещей коменданта-завхоза-расстрельщика в качестве понятого и идет к обвиняемой в похищении имущества и драгоценностей. Та же нисколько не отрицает, что имущество

принадлежало Наталье Коротченцовой и ее семейству - В ПРОШЛОМ. Я-де купила все это у них. Опознанию же не препятствует, соглашается с говоримым Натальей. Пришлось Коротченцову-дочь отпустить, и остались чекисты-трибунальцы с подозреваемой беседовать. Тут та немножко сменила пластинку: не столько на легальность владения ею этим имуществом стала напирать, сколько на бесцельность следствия по этому делу. "Было уже следствие. Приходили из уголовного. Ну, ничем и кончилось. Ведь перед Ним все ничто. Да и я их не обидела, наградила," - и зазвучала новая нота: "И вас не обижу".

Иван некоторое время пытался выяснить: "Да кто же он?!" - но допрашиваемая от ответа уходила: "Этого нельзя говорить. Даже имени его называть нельзя". Потом стал догадываться, что ему просто-напросто предлагают взятку. Взглянул на завхоза, увидал в его глазах то же понимание, перемигнулся и произнес: "Да что вы можете?" - "Да я все могу!" - "Муки?" - "И муку, и из вещей." - "Ну, только не тяжелых." - "Будет, голубчики." - "Ладно, сейчас мы пойдем, а назавтра приготовьте мешок муки и прочего; вечером зайдем." И прямым ходом Щербаков направляется к Мельникову, докладывая: "Обвиняемая пыталась подкупить нас взяткой. Поскольку в инструкциях разрешается в случае настырного предложения взятки проводить провокацию взятки для полного изобличения преступника[181], прошу разрешить мне провести провокацию взятки, чтобы дело было крепче”. - "Разрешаю." Оформив разрешение письменно, они договорились, что когда Щербаков с завхозом снова пойдут к преступнице, Мельников с отрядом чекистов ворвется "арестовать" на месте преступления. Приходят, их ждет шикарный стол, в передней наготове мешок муки. Выпивают. Она напяливает им на пальцы кольца. Еще выпивают, она начинает заигрывать одеялом на постели. Стук в дверь, Мельников с отрядом, на месте преступления Щербакова и завхоза с кольцами на руках "арестовывают" и уводят.

Назавтра Щербаков снова идет в семейство Коротченцовых допросить их по существу показания обвиняемой, будто бы та все спорные вещи получила от Коротченцовых законно, а не отнятием. Мне странно, что гепеушник ходит с допросами по домам, а не вызывает к себе, но, кажется, тогда был таков стиль работы: вызов был эквивалентен аресту. Впрочем, не исключено, что в покинутом людьми "Якоре" просто не топили, и следователь ходил в жилые дома погреться. То ли не всех он застал сразу, то ли возникали новые следственные надобности, то ли ему у Коротченцовых нравилось, но визиты учащались. И вскоре хозяйка дома с неотразимой светской простотой предложила Щербакову перейти на жительство к ним, на улицу Воспитательную, дом 13. От "Ночки" это было рукой подать - площадь перебежать. Зато жилой дом. Две комнаты: большая, кабинет и маленькая - спальня с совершенно отдельным входом. Никакой зависимости от семейства, столоваться отдельно, самостоятельно. Щербаков посоветовался с Мельниковым, тот

[181] Мой отец настаивает, что существовали ПИСЬМЕННЫЕ чекистские инструкции, предусматривавшие провокацию взятки и регламентировавшие ее проведение, причем именно в терминах "провокация". Твердость его воспоминаний в этом пункте естественна, если взять во внимание последующее, когда ему пришлось оправдываться, ссылаясь на инструкции.

разрешил, и он перебрался. Для генеральского семейства заполучить на жительство приличного чекиста было огромным успехом: щит от вселения грабителя и грубияна, заручка у власти, социальный престиж. И не только никакой вражды к Ивану семейство не проявляло, но с ходу Вера начала обвораживать его своей женской чуткостью. Все воспитание генеральско-офицерских дочерей строилось на фундаментальной ценности "удачного брака". Для того дочки растились, чтобы выдать их за человека с надежной карьерой. Студент - будущий инженер - был хорошей партией до революции, когда инженеры обеспечивались как боги. Чекист при новой власти сделался идеальнейшей партией, все равно что молодой генерал при прежней власти. Но желание Веры "приласкать" Ивана наткнулось на сопротивление самого Ивана. Зачем ему, молодому и нецелованному, женщина на 4 года его старше? "Уж если крутить, то с младшей", - рассудил-ощутил Иван, и начал роман с Натальей, младшей его тремя годами. Та оказалась нетронутой девицей. Поддалась сразу же, родители лишь одобрили. Подарила ему свою карточку, процитировав стихи:

"Возлюбите врага", - проповедал Христос. Ты ль не враг мне! Но сколько мучительных слез мне твой образ принес!

Иван гулял с нею по центральным площадям в казачьем мундире с двумя револьверами, небрежно сунутыми за пояс. И хотя никаких обещаний произнесено не было, и в ЗАГС они не ходили, сам он воспринимал случившееся как уже состоявшийся брак, который, конечно, рано или поздно они оформят. Условие "не столоваться" было, естественно, забыто, и когда из станицы Ольгинской Ивану привозили рыбную взятку за цыган, он угощал семейство Коротченцовых лещами и судаками. Коротченцова-мать несколько недоумевала, как относиться к случившемуся: "Кабы это было с офицерами, то я бы знала: если что-нибудь случится, то он женится, такой порядок. А теперь уж и не знаю, все перемешалось". Но, размышляя так, делалась лишь предупредительнее к Ивану. Сама Наташа, видимо, ощущала себя неловко без церковного брака и даже без советского гражданского. Но в лоб она не требовала, а, прибегая к распространенной женской стратегии "убегать, чтобы догнал, коли любит", - вела беседы вроде такой: "Когда я выйду замуж, ты будешь у меня первым любовником". Ожидался ответ типа: "А разве ты сейчас не замужем?" с последующими репликами и поступками, скрепляющими замужество. Но неискушенный ни в словаре цветов, ни в чувственных беседах, принимающий лишь прямой смысл слов и, может быть, немножко неуверенный в себе, а оттого, вдергивающийся, как черепаха под скорлупу, Иван возмущается: "Значит, она меня за мужа не считает! Что же она за развратная такая, что ей двое зараз надобны!!"

Дни кипели, набегали один на другой, слишком-то задумываться было некогда. Не успел Иван Щербаков закончить дело о похищении вещей у бывшей генеральши Коротченцовой, как неожиданно его вызывают на прежнее место работы в Миллерово, отзывая тем самым из Новочеркасска. Естественно, тем самым дело от ретивого следователя отбиралось. Щербаков подчиняется, едет, но в Миллерово ему не по себе. В Новочеркасск манит и обжитая

любовь, и мечта поступить учиться в новочеркасский вуз. И - о счастье - незадолго как раз приказом по ГПУ прошло разрешение увольняться из ВЧК-ГПУ. До того состояние на службе в ЧК приравнивалось состоянию на действительной военной службе (например, декрет СТО от 17.12.1920), а оттуда "по собственному желанию" не уйдешь. При перестройке же ВЧК в ГПУ дали послабление (штаты урезали). Несколько миллеровских знакомых Щербакова уже воспользовались, улизнули в штатские. Подумал-поколебался он и уволился "ввиду желания учиться". Немедленно приехал в Новочеркасск. Тык-мык, и выяснилось, что никакой профессии у него нет, никуда на работу не берут. Безработица тогда была всамделишной, беспощадная и сокрушающая. Так что в Новочеркасске он снова ткнулся по старому адресу. Объяснил все начальству и, не питая к нему никакой злобы, его приняли на службу уже непосредственно в Новочеркасское окружное управление ГПУ. По-видимому, к этой эпохе относится оборванное его удостоверение за № 2157 от 10 апреля 1922 года, действительное по 10 мая, продленное до 1 июля (сколь многозначительны такие краткосрочные продления! сколько в них от дыхания той эпохи, менявшейся не по дням, а по часам!). Впрочем, до июля он не дослужил.

Раз он стал опять работать в "Ночке", не мог он не интересоваться делом Коротченцовой и не мог не видеть, что оно неблагополучно застряло, как и предрекала похитительница. Самолюбие же его подогревалось семейством Коротченцовых (где он был теперь своим человеком, родней, можно сказать). При Ивановом самолюбии, да в его возрасте, каково было ему слушать от любовника генеральши Коротченцовой, инженера из Нахичевани поучающую сентенцию: "Напрасно вы за это дело взялись. Ничего не выйдет, вы только лично себе наживете неприятности". Да никаких неприятностей себе он никогда не остерегался! Да он же за всеобщую справедливость пер на рожон даже против офицерья в Усть-Медведицкой в 1919 году, когда Горького брал вызывающе из гимназической библиотеки! Нежели же он поверит, будто его товарищи по построению коммунизма учинят ему гадость, когда он преследует стяжателей?! И незаметно подогретый Коротченцовыми, назавтра он кипятится с комендантом "Ночки", почему это до сих пор против взяткодательницы мер не принимают. Тут его вызывают зачем-то в Ростов. Что не к добру - Щербаков как-то учуял сразу, но не знал за собой никаких грехов, кроме как второй год носимого казачьего мундира, и надеялся, что незаконную ревизию ему как-нибудь простят, потому что ходить все равно не в чем больше. Ведь по закону конфискованные вещи могли быть выданы сотруднику.

Но следователь ростовского Реввоентрибунала Тер-Григорянц заговорил с ним о другом: взятку у гражданки такой-то брал? - Да, есть и докладная с визой начальника Мельникова, что я проводил операцию "провокацию взятки". - Значит, провокацию взятки признаешь? - Само собой, это же хорошо известный прием для обличения преступника. - Ага, в целях облегчения следственной работы применил и неоднократно применял провокацию взятки? - Ну, о чем ты меня спрашиваешь? Разве ты сам не чекист, как и я?! - Я-то чекист, а вот ты распишись на протоколе. Расписался? Конвой, отвести!

И Щербаков, приехавший с должностными чекистскими пакетами, сам вдруг оказался в страшной ростовской тюрьме. Тюрьма была жуткой при белых (гибельнее ростовской контрразведки слыла на всю белую Россию только одесская, при которой пригрелся Розенблюм-Рейлли, и про которую писал Катаев), осталась кошмарной и при красных. Один штрих: нар не было, все на полу, причем умещаются только лежа на боку, впритык друг к дружке. Повернуться можно только всем сразу. В бытность в камере Щербаков сблизился ("ел вместе") с тоже бывшим чекистом Твердохлебовым, который сидел за то, что на допросе застрелил подследственного ("подлец он был", "ну, пришлось застрелить", "ни за что сижу"). Прочие сокамерники сторонились их обоих. Провел он там пару месяцев, обвиняемый по ст. 115 только что вышедшего Уголовного кодекса 1922 года (мало кому известного, ибо вскоре был заменен кодексом 1923 года): "Намеренное создание условий, в которых подследственный неминуемо должен предложить взятку..." Наташа его не бросила, и вместе с его сестрой Натальей приезжала в Ростов, привозила передачи (тогда не ограничивали), даже махала ему платочком, когда он влезал на подоконник и высовывался в окно (тогда не было никаких намордников; я еще помню в детстве - год 1936 - видел казавшиеся мне жуткими лица в окнах некрашеной страшно-кирпичной ростовской тюрьмы, выходившей на прохоже-проезжую улицу). Через пару месяцев, когда сочли, видимо, что отбили у Щербакова охоту совать нос, куда не след, его вызвали и объявили, что поскольку преступные деяния он совершал до выхода закона, он освобождается от ответственности за них и из тюрьмы. Лето было на исходе. Он направился опять в "Ночку". Теперь ему пришлось беседовать с начальником по кадрам. "А мы можем тебя и не взять обратно, - раздумчиво заговорил тот. - По закону я не имею права брать на службу чекиста, если он побывал в тюрьме." - "Да я что, прежде тюрьмы не видывал, что ли?! - горячился Иван. - Сколько раз мне приходилось допросы в тюрьме снимать, эк чем удивил!" - "Все равно, по закону не могу. Иди к начальнику. Если он разрешит, так и быть, сделаем тебе одолжение," - присматривался к нему начкадрами. Щербаков пошел к самому главному начальнику Чернявскому - уполномоченному по Черокругу, деятелю интеллигентного вида, вовсе не походившему на типичного чекиста. Тот стыдился Щербакова, мялся, а Щербаков кипятился: "Да я же только потому пошел на провокацию взятки, что она так нагло ее предлагала. Она похвалялась, что "наградила" угрозыск, вот из-за этого я и решил, что ее надо изобличить!" Чернявский-то знает, что парень ни в чем не виноват, видит, что он весь как на ладони и ни к какой интриге-подсиживанию непричастен. Понимает, что мальчишка не догадывается ни о том механизме, который прокрутился, чтобы его устранить от этого дела, ни о той паутине, в которую затянули его Коротченцовы. Такие прямолинейно-наивные тоже бывают нужны, они сгодятся не в том, так в ином деле. Распорядился принять Щербакова обратно.

Никаких значимых поручений в этот период службы он не получал. Одна только история запала ему в память, да и то сопутствующими обстоятельствами. Николай Коротченцов, свысока и как старший, и как грамотный, и как незапятнанный филерско-опричной службой относившийся к Ивану Щербакову, тоном

одолжения раз вымолвил: у такого-то, де, генерала, потомка казачьего генерала времен наполеоновских войн (да еще известно ли, мол, Щербакову, когда велись эти войны?) имеется редкой красоты картина, вывезенная его предком из Лувра. Ну, нынче к бедствующему потомку подбирается французская разведка купить этот шедевр, а тот вроде бы отдает за бесценок. Щербаков-то был образованнее, чем хотел его считать Коротченцов, встрепенулся и побежал с рапортом по начальству. Начальство дозволило произвести обыск и в случае надобности - арест, дало мандат и красноармейца в подчинение. Отправился Иван, а туда уже заявился некий безногий (или безрукий?), который с ходу попер на Щербакова, выставляя его прочь из квартиры, оттесняя от живописного шедевра. Иван ему в лицо сует мандат, а тот отмахивается: я, мол, и сам особист, ты мне не указ! Взводит себя до психического вопежа (что было в те дни заурядной вещью), Иван со своей стороны приказывает красноармейцу стрелять, если тот еще хоть раз шаг ступит. Словом, скандал вышел огромный, усугубившийся тем, что, как позже выяснилось, этого особиста[182] прекрасно знало начальство Щербакова и считалось с ним. До стрельбы не дошло. Зато очень вскоре Щербаков повстречал особиста в доме Коротченцовых: его охмурила Вера и женила на себе. Хоть и увечный, а власть. Пользуясь своим авторитетом, а главное - умением психовать и махать протезом, этот особист устроил Коротченцовым баснословное по тем временам мероприятие - поездку на пароходе за продуктами.

Вскоре Щербаков уволился-таки из ГПУ окончательно. Как всегда в жизни, мотивов было много, и не то, что мне, а ему самому трудно сейчас разобраться, ЧТО же оказалось решающим.

Повлияло, сильно подействовало то, что пришлось увидеть и пережить в ростовской тюрьме.

Разочаровался в службе, надоело - это тоже. Уже не ждал, как верилось (и внушалось) поначалу: вот быстренько с врагами справимся, наступит коммунизм. Нет, поиски "врагов" делались способом перманентного существования.

Немаловажным было и общее отношение к чекистам в ту пору. Нечего напоминать, что они не пользовались как сыщики, жандармы, заплечных дел мастера во все эпохи - никаким уважением у обывателей, не умевших проникнуться почтением к государственной важности задачам, стоявшим перед этими органами. Но - хуже - они не пользовались в ту пору уважением и среди партийных работников. Например, мне рассказывала Руфь Григорьевна Боннэр (мать жены А.Д.Сахарова), бывшая работником обкома Иркутской области времен Гражданской войны и позже, что тамошнего начальника ЧК Бермана (прославившегося в 1926 году внедрением термина "вредитель") в обкоме иначе как "кровавый мальчик" не звали. Известно, что, например, Зиновьев в Петрограде враждовал со своим главным чекистом Евдокимовым. Что Дзержинский в пьяном виде приставал к собутыльникам и просил застрелить его, потому что нет места на земле человеку, пролившему столько крови, а когда его решили продвигать в Политбюро, то перевели его на штатскую

[182] "Особый отдел" реввоенсоветов армий и фронтов находился в двойном подчинении РВС Республики и ВЧК по соглашению от 19 января 1919 года между Дзержинским, Троцким и Свердловым.

работу. Щербаков ничего этого не знал в те годы, но зато видел, как его друг Просвитухин (председатель окружкома!) морщился, видя чекистов. "Охота тебе связываться с ними", - брезгливо ронял он еще в 1920 году, когда Щербаков от него уходил в ЧК. Он же волновался: не подослало ли ЧК кого-нибудь следить за ним самим, и выспрашивал об этом Щербакова. В те же годы 1920-1922 он признавался Ивану: "У меня какое-то раздвоение. С одной стороны, я могу теоретически доказать неопровержимо целесообразность всего, что делается, вплоть до ЧК. С другой стороны - я понимаю, что этого делать нельзя, и все это не то!" Словом, не было в те годы воззрения на ЧК как на "меч Революции", не поработали еще писатели Шейнин, Никулин и Ардаматский, не говоря про "17 мгновений Штирлица". А общий партийный взгляд на них был более человеческий: как на людей с пониженной нравственностью. В лучшем случае - как на неврастеников.

Подействовали и уговоры сестры, которая в это время жила у него же, т.е. в семействе у Коротченцовых. "Карьеры ты тут не сделаешь, и в институт не подготовишься - времени свободного не будет!" - резала она. Хотя термин "карьера" был ему чужд, резал слух, но бесперспективность бытия, если останешься в "Ночке", была очевидна. Одно время надеялся он, что вот брат фактической жены Николай Коротченцов поможет подготовиться ему к поступлению, но стало ясно, что не столь хорошо расположен к нему Николай, не станет бесплатно репетировать его... Поэтому соблазнительные предложения всегда влиятельной для него сестры уехать в Царицын, где, дескать, проживают родственники (сестра отца - тетка Пелагея, что замужем за бывшим купцом Андреем Андреевичем Зотовым, у которой уже взрослая дочь Маруся и сын), и где имеются прекрасные знакомые (семейство принятой в свое время Натальей в партию учительницы Прибыловой), звучали убедительно для Ивана.

Не знаю, в какой мере стремился он подсознательно прекратить отношения с Наташей Коротченцовой. Сослуживцы уговаривали его: женись на ней, смотри, как она тебя любит - когда арестовали, передачи тебе носила, не забыла; не каждая бы так поступила бы! Цени! Женись! На самолюбивого Ивана такие уговоры могли подействовать только наоборот. Ему еще дважды предстоит попадать в тюрьму, и оба раза его тогдашние жены будут таскать ему передачи и вызволять его из лагеря. И обеих он также оставит почти немедленно после освобождения. Наташа же, видимо, преданно его любила. Забеременев, не стала докучать любимому признанием, все выжидала, покамест он не бросил ее - тогда тайком сделала аборт (в ту пору разрешенный) и никаких писем, упреков. Это не мешало ей для воздействия на Ивана рассказывать-сочинять ему, как ее "сватают" старшие студенты, как она с ними гуляла. Его же злило: как это она смеет по улицам гулять с офицерами, гундоровскими казаками - лютой контрой?!

Но, по-видимому, самым важным фактором была вся атмосфера 1922-1923 годов - атмосфера набравшего силу нэпа, начисто перечеркивавшего идеологию немедленного приступа к строительству коммунизма, "метельный гром коммун". Ибо от всей гордости и героики гражданской войны остался только отказ на Генуэзской конференции платить долги царского правительства:

"Мы долгов не платим и платить не будем. Но под этим изношенным платьем как пойду я к людям? Как войду я в жизнь иную под зазывы лавок, если рядом вход в пивную, от меня направо?"

Ведь именно тогда впервые стала продаваться водка ("рыковка"), до того запрещенная в продаже, а теперь продаваемая от имени социалистического государства!

"Как мне быть твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным - время?"

Этому барду (Н.Асееву) вторил мэтр и учитель (Маяковский):

"Слух идет бессмысленен и гадок, будто радость развоскресенена. Комсомольцы лейб-гусарами пьют, да ноют под стих Есенина. И доносится до нас сквозь губ искривленную прорезь: "Революция не удалась! За что боролись?" - и свои 19 лет под наган подставят - и нет! Или горло впетлят в киоски..."

Тогда пильняковский полет “Голого года” сменился безнадежностью “Красного дерева”, а платоновский “Чевенгур” - “Епифановскими шлюзами”. И это не отрешенная от действительности поэзия и литература. Уже упоминавшийся как наиболее грубый следователь Игнатов в этом году стрелялся - и Иван знал, что причиной был НЭП. Сестра Ивана уже рвала свою связь с большевистской партией. Она говорила о новом руководстве Урюпинской: "С этими людьми невозможно работать!" И здесь Наталья (подобно своим дедам, а спустя десятилетия так же поступал я), а за ней и Иван, лишь воплощала некоторое заметное социальное явление, снова была "как все из меньшинства". Ибо вот из тогдашнего самиздата:

"... та же картина подавления рабочей самостоятельности, инициативы, борьба с инакомыслием всеми средствами. Объединенные силы партийной и профессиональной бюрократии, пользуясь своим положением и властью, игнорируют решения наших съездов о проведении в жизнь начал рабочей демократии. Наши фракции союзов, даже фракции целых съездов, лишаются права выявить свою волю в деле избрания своих центров. Опека и давление бюрократии доходит до того, что членам партии предписывается под угрозой исключения и других репрессивных мер избрать не тех, кого хотят сами коммунисты, а тех, кого хотят интригующие верхушки. Такие методы работы приводят к карьеризму, интриганству и лакейству, а рабочие отвечают на это уходом из партии..."

Настолько весомым было это обращение "двадцати двух" к Коминтерну, что отвечать на него пришлось лично самим Троцкому, Радеку, Зиновьеву, Рудзутаку, а циркулярно парторганизациям пришлось объяснять самому Молотову. Но объяснения сверху не устраивали рабочих: Мясников, зачитав на пермской областной конференции секретное письмо Ленина, вызвал этим

демонстративный уход с конференции всей мотовилихинской делегации (31 человек) в знак протеста против политики губкома и ЦК. Суммарно в эти годы из партии ушел каждый второй ее член.

В этой волне энтузиастов и верующих, отливающей от аппаратной партии, затерялись Иван и Наталья Щербаковы, а также их духовная мать - учительница Евгения Ивановна Лосева.

§5. Царицынское перепутье

Безработный недоучка; детдом; учиться; другой подход к партбилету; анархизм; Иван Лукьянцев; смерть сестры

В зиму 1922-1923 года Иван Щербаков уехал из Новочеркасска в Царицын, вдохновляемый сестринским уверениями, что там-де работают ее знакомые учителя, пользующиеся влиянием; один так даже возглавляет ОНО (Отдел народного образования; Царицын уже стал областным центром). Наверняка удастся устроиться на такую работу, на которой можно будет учиться дальше. Ведь главной темой бесед брата с сестрою было: как завершить образование, прерванное Гражданской войной? Оставался еще один класс гимназии, мечталось о высшем образовании, в ту пору еще вовсе не девальвированном, не обесценившемся, подобно современному... Надо с благодарностью вспомнить, что несмотря на педагогические эксперименты начальных лет советский школы (на память сразу приходят "Швамбрания", дальтон-методы, комплексно-бригадные способы и пр.), образование в те годы давалось добротное. Люди стремились получить и получали именно ОБРАЗОВАНИЕ, а не БУМАГУ об образовании. В значительной мере это связано с тем, что сохранились еще многие традиции гимназий, сохранились и преподавали люди, выучившиеся в гимназиях, где корень учения был горек, но зато плод его - без гнильцы.

Иван сдал свое оружие - один зарегистрированный и четыре нигде не числившихся то ли револьверов, то ли пистолетов - и налегке, не обремененный багажом, явился в Царицын. Но выяснилось, что ситуация не столь розовая, как рисовала сестра. Начать с того, заведующий гороно уехал, и теперь в этой системе не оставалось знакомств. Точнее, в верхах этой системы. А исходные данные Ивана Щербакова были не слишком привлекательны: недоучившийся гимназист. Те, кто судит по формулярам, не склонны были доверять ему образование. Тех же, кто из личного общения с Иваном мог бы убедиться в его грамотности, начитанности и интеллигентности, тех (помимо необузданной вспыльчивости, противопоказанной педагогу) отталкивало от Ивана его чекистское прошлое. Ведь убедиться в начитанности его могли бы только интеллигенты - сами жертвы чеки, будущие персонажи "Козлиной песни" Вагинова, оплевываемые Ильфом и Петровым "книгу спас любимую притом" и трагически возносимые "Мастером и Маргаритой". Иван же мало того, что бывший чекист, он еще поклонник Маяковского, сочинявшего в ту пору "Приказ № 2 по Армии Искусств":

"... это вам - на растрепанные сменившим гладкие прически, на лапти - лак, пролеткульты, кладущие заплатки на вылинявший пушкинский фрак... говорю вам - пока вас прикладами не прогнали[183]: Бросьте! Бросьте! Забудьте, плюньте на рифмы, и на

[183] К слову сказать, меня эти строки Маяковского заставляют поставить под сомнение упорно пропагандируемую ныне концепцию, будто бы пролеткульт стремился разорвать преемственность культуры, нигилистически относился к Пушкину и вообще к классике. Если и относился нигилистически - то под давлением

арии, и на розовый куст, и на прочие мерлехлюндии из арсенала искусств... Слушайте! Паровозы стонут, дует в щели в пол: "Дайте уголь с Дону! Слесарей, механиков в депо!"...

Не мог он привлечь к себе сердца интеллигентов, таких, скажем, как мать Григория Подъяпольского, которые спускались на десятилетия в катакомбы хранить там тлеющий огонь Разумного, Доброго, Вечного. Не нужен был такой юноше тем, кто в эти годы молитвенно шептал предсмертное завещание Блока:

"Пушкин! ТАЙНУЮ СВОБОДУ пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду! Помоги в немой борьбе!"

Он оказался на безлюдьи. Как он промыкался зиму 1922-1923 года, сам он не помнит: защитная реакция здоровой психики вытесняет из памяти мерзкие воспоминания. Он помнит себя уже работающим в системе царицынского соцвоса ("социальное воспитание"), а согласно документам он начал работать в "Царицынском Губотнароде" с 7 июня 1923 года. Летняя дата эта стыкуется с рассказываемыми ниже любовными эпизодами его начальных шагов там.

Почти сразу же в Царицыне Иван оказывается любовником заведующей детдомом - девицы по имени Екатерина. Вскоре она переходит заведовать другим детдомом (не порывая с Иваном), а на ее место назначается Наталья Елисеева (Щербакова), тоже приехавшая в Царицын, а Иван назначается завхозом-воспитателем (в документе сказано просто "завхозом") этого д/д № 6. Им выделяют две комнаты (довольно просторные) в том же помещении. Наталья попробовала было воссоединиться с вернувшимся из концлагеря (этот термин был тогда совершенно официальным-юридическим, а не "клеветническим") своим первым мужем[184], попытка не удалась, он навсегда исчез из поля зрения Щербаковых. Потом они выписали к себе свою мать. Их брат Михаил остается жить у Авсеневых в Урюпинской. Для-ради любовных игр Иван с Катериной ездили на свежий воздух на ту сторону Волги.

Жизнь шла путающе нелепой, бесперспективной, не такой, о какой мечталось. И любовь не радовала: какая в ней-де цена, коли она сама себя предложила мне? И старше она! И ревнива: обнаружив у Ивана фотокарточку Наташи Коротченцовой с какими-то письмами-записочками, изорвала в клочья. И вообще какая-то мразь с ней ассоциируется: ее прежний любовник, уезжая в студенты учиться, настойчиво уговаривал ее ехать с ним. Она отнекивалась: "У меня уже есть. Ты мне не нужен". Тогда он начинает грозить Ивану, что пойдет к другу, который заведует соцвосом, и наговорит на Ивана такого, что того с работы попрут... От сего неудачника в любви удалось отделаться только Наталье, которая "доверительно сообщила" ему, что ее брат, если его вывести из себя, может запросто убить человека. Тот струсил и скрылся.

А работа?.. Считать барахло!.. Самый значительный момент - беседа об онанизме. Вот как было дело. Воспитанники детдома

прикладов, возможно?

[184] Евгений Васильевич Елисеев. Полковник царской армии; до I Мировой - учитель физкультуры в гимназии.

подрастают, созревают и, естественно, начинают онанировать, как все воспитанники закрытых учебных заведений, солдаты, монахи, заключенные и почти все подростки и юноши. Но женщины-воспитательницы, узнав про это, приходят в ужас (и было от чего: в соответствии с нравами закрытого учреждения, парнишки онанировали коллективно, массово и публично самоутверждаясь) и просят единственного мужчину-завхоза "подействовать". И он приходит к воспитанникам в предотбойный час, когда те уже собирались-заголялись, приуготовляясь, и читает им краткую лекцию на тему, что-де тот, кто мастурбирует, не сможет потом никогда в жизни овладеть ни одной женщиной. Подростки цепенеют от столь трагической перспективы остаться пожизненно импотентами. Дикий вопль: "Чего же этого нам раньше не сказали!!!" На какие-то дни на кое-кого сия далекая от научности, но эмоциональная лекция повлияла. Но ведь не может удовлетворить 21-летнего юношу, любящего книги и мысль, такое прозябание. Он бьется в поисках выхода.

Тут, в Царицыне, выйдя из-под защитного крылышка чеки, он стал "человеком на общих основаниях", т.е. никем. В стране безработица, и он, будучи беспартийным и не членом профсоюза, не имеет никаких преимуществ в получении работы. Он хочет учиться, но для борьбы с непокорными интеллигентами мало что выслали только что целый пароход профессоров из Петрограда, но и допускают учиться исключительно "по классовому признаку", т.е. "детей рабочих и трудовых крестьян". У Щербакова же в метрике - сын мещанина, и вся родня сплошь из торговцев (двоюродный брат Федор Зотов, уцелевшие Лихушины). Кое-кто из них за это времечко нэпа применил свою торговую смекалку, разжился капитальцем и вновь завел себе дело, умелой рекламой и первосортным товаром зазывая к себе в лавку. Этот путь Щербакова не манил. Он знал:

"Это ж очень плевое дело, если бы Революция захотелось со счетов особых отделов эту мелочь списать в расход," -

знал и ПРИВЕТСТВОВАЛ такую возможность "списать". Путь учиться - ему закрыт. Реальной и почти неизбежной представала одна дорога - под тот мост, описанный Пильняком в "Красном дереве", куда сбирались "истинные коммунисты-ленинцы", храбро истреблявшие буржуев в Гражданскую, а в нэпманской стихии оказавшиеся не у дел. Под мост, где ночевали в асфальтовых чанах, оборванные и голодные, и у костра обсуждали, как надо было делать Мировую Революцию, где они дали промашку и позволили "перерожденцам" увести Пролетарскую Революцию в буржуазный тупик... Сестра Ивана пройдет - чуть в видоизмененном виде - сей крестный путь ("Впереди - Исус Христос"). Мощный заряд здоровья и живучести не дал Ивану ступить на эту тропу отчаяния и всегрызущего озлобления.

Но и оставаться по-прежнему невозможно. Препятствием к учебе служит беспартийность? Ну ладно, с волками жить - по-волчьи выть, вступлю я в эту партию. Конечно, веры ей уже никакой нет. Вижу я прекрасно, что за проходимцы и уж заведомо далекие от идейности не то что позатесались в нее, но и заняли в ней ответственные посты (следует длинный перечень имен знакомцев,

встречавшихся на жизненном пути; я этот перечень опускаю). Но ради куска хлеба - вступлю. Он начинает собирать рекомендации для получения "охранной грамоты" - талисмана советского бытия - парткнижки:

"Подателя сего тов. Щербакова знаю по совместной службе в Полит-Бюро Донецкого округа как хорошего преданного делу революции работника и считаю полезным иметь его на службе в органах милиции и вполне подходящим для работы в таковой. 27/IV-23 г. (подпись, пришедшаяся на самый сгиб документа неразборчива)

Подтверждаю член Р.К.П.Б. билет № 40803 Зинягин.

Подписью т. Зинягина удостоверяю. Печать финансового инспектора 1-го участка Ростова-н-Д., подпись его."

"Поручительство.

Даю настоящее в том, что я тов. Щербакова знаю как человека честного и благонадежного так служили вместе в управлении Д.О.Г.П.У. в что и рекомендую.

Член Р.К.П.(б) с 19 г. парт. б. № 435786

Евгений (фамилия нрзбр.)

Этим исписан с обеих сторон один листок. На другом огрызке бумаги с четверть машинописного листа:

"Преданную революции $1^{1}1/2$ г. службу т. Щербакова в Донец. П-Бюро на долж. пом. уполномоч. и 2 г. в В.С.Р.В.Т. вонследом удостоверяю: Зинягин Т.Г. член РКП(б) № 408803.

Подпись т. Зинягина удостоверяю. Печать фининспектора.

Чл. РКП(б) бил. № 08802 И.Линев или Лещев.

Подпись тов. Лещева удостоверяю. За секретаря (нрзбр) РКП(б) (подпись нрзбр) печать Городского районного комитета Ростово-Нахичеваньской организации РКП(б). 12/IV 23 г."

Вот изорванный оберточно-обложечный синий лист, на котором синим же чернильным карандашом написано приблизительно (ибо трудно разобрать каракули) следующее:

"Рекомендация.

Знаю т.Щербакова Ивана с 1920 г. Происходит такой т. из мещан (это слово написано поверх "крестьян") бедняк проживал в Усть-Бузулуцкой. Во время службы вместе в Красной армии приходилось вместе участвовать на дандах ... опыт политической работы имеется ... можно работать в этой области... 28/IV 23 г.

Подпись члена РКП(б) Прибыловой Анны Савельевны ячейка второго райкома подписью и приложением печати удостоверяется. Стершаяся печать."

Вот без даты и с оборванным краем, но уже чернилами:

"Знаю т.Щербакова Ив. с 1920 как работника честного, служащего делу революции, доказательством чего может служить его пребывание в РККА с 1919 и многократное участие в борьбе с бандитским шайками. В этой области, а также и вообще... Власти

т.Щербаков достаточно доказал свою преданность и честность, свою бескорыстную работу революционера, дающее основание рекомендовать его для работы в ГПУ и т.д.

Член РКП(б) с 19/I 20 г. б. № 222403 фамилия нерзбр.

Подпись Члена РКП(б) Ф.Дмир... удостоверяется. Печать."

Узкая полоска, убористо исписанная опытной рукой:

"Знаю тов. Щербакова Ивана как выходца из бедной семьи, рано лишившегося своего отца находясь в средней школе его освобождали от платы за право учения и давали утренний завтрак (что давалось самым неимущим ученикам). Находясь с тов. Щербаковым в 1919 году в Красной Армии I Хоперском Каз. полку я видел его всегда стойкого, энергичного выдержанного товарища. После откомандирования из Армии Политотделом 36 дивизии тов. Щербаков весь уходит в работу Хоперского Окружного Ревкома (Информ.-инстр...) и рекомендую его для вступления в ряд ВКП.

Член РКП б. № 222305 с 1/III 1920 года Москов. Орган. Баум. р. 1924 года 20 марта. Георгий Кошкарев.

Собственноручную подпись члена РКП(б) тов. Кошкарева удостоверяю. Отв. секретарь ячейки РКП(б) Рабфака им.Калинина Подпись. Печать Рабфака."

Но вмешалась случайность - философам и мистикам известно, что судьба проявляется через случайное совпадение обстоятельств. Когда на том же заводе, детским домом которого завхозничал Щербаков, партсобрание обсуждало: принять - не принять Щербакова в ряды ВКП(б) (помните "300 000 от станка горячих - это наш Ленину партийный венок"?), один вдруг проявил осведомленность: это который Кошкарев рекомендует тебя в партию? Который в Москве выступал в защиту оппозиционеров?! Выяснилось, что тот самый - ведь друзья у Ивана, как и он сам, все время искали истины и отстаивали собственное мнение, т.е. не шли с большинством. Щербакову отказали в приобщении к кормушке.

Так он и остался беспартийным завхозом. А собранные им рекомендации бесполезным хламом валялись среди его бумаг. Ведь из чего слагаются архивы? Из того, что не пригодилось, не сработало в жизни. Кабы эти рекомендации были приняты, они попали бы в партархивы и не остались бы в личном архиве моего отца. Поэтому самое важное, сыгравшее свою роль в судьбе, обычно никак не отражается в сохранившихся бумагах, а историкам достаются лишь документы, отражающие несостоявшиеся намерения. Поразительна и другая сторона этой мысли. Каким образом у моего отца уцелели свои бумажки, если его мотало с места на место, нигде он не оседал, уходил в новый путь с чемоданчиком, вещей не заводил? Видно, много душевных привязанностей вложил он в те годы своей жизни...

Тем временем шла жизнь - и любовная, и служебная, и мыслительная, и внешняя. С Катериной Иван расстался, появилась Таисия Лукьянцева. На службе остался тем же, сменив только, кажется, номер детдома. Зато познакомился с анархистами. Настоящими, идейными кропоткинцами. Приветствовавшими в свое время Октябрь, храбро дравшимися против Деникина и Колчака, но не принявшими "диктатуры пролетариата", скорбевшими из-за

победы государственной формы социализма. Ведь анархизм - это одна из трех основных форм социалистической мысли. Исторически, по-видимому, первая. Годвин, Прудон, Бакунин, Кропоткин, Гильом считали, что необходимо революционное насилие над буржуазией, дабы свергнуть ее гнет, после чего рабочий класс САМ СОБОЙ устроится в вольные федерации производителей, без государства, без принуждения, без капитала и собственности. Другая форма социалистической мысли ассоциировалась с именами Маркса, Плеханова, Ленина, Троцкого: революционный переворот необходим, но взамен свергнутого государства надлежит создать свое коммунистическое государство, которое, правда, со временем отомрет (и при коммунизме никакого государства, бесспорно не будет - последний раз советский журнал "Коммунист" провозгласил этот тезис об отмирании государства в апреле 1958 года, критикуя проект программы Союза коммунистов Югославии), но которое в форме диктатуры пролетариата надлежит ПОКАМЕСТ изо всех сил крепить и крепить (очевидное противоречие в такой постановке вопроса именуется ДИАЛЕКТИЧЕСКИМ и животворным). Третья, нереволюционная модификация социализма, допускающая возможность мирного перехода к социализму-коммунизму, равно презиралась и коммунистами, и анархистами[185]. С этими - социал-демократами - мой отец вроде бы не встречался до 1958 года, когда попал в лагерь. Некоторое представление о стиле мышления анархистов даст цитируемая ниже (частично) Декларация Анархистов Подполья от 29 сентября 1919 года:

"Угнетенные всех стран: рабочие, крестьяне, солдаты, женщины и дети!

Свободолюбивые творцы новых ценностей: изобретатели, мыслители, поэты!

Все, стремящиеся к свободе, справедливости, предоставлению каждому человеку наилучших условий его всестороннего выявления и развития!

Все, кому тесны рамки современного строя угнетения и унижения, кому претит издевательство человека над человеком и реки крови, и стоны насилия, производимые современным государством и капиталом, - всем вам шлет свой братский привет и призыв Всероссийская Организация Анархистов Подполья!..

За чрезвычайно краткое время Россия пережила переход от самодержавия к буржуазной республике, к социалистическим министерствам говорунов и подошла к социалистической революции. ... Возмущенные, голодные рабочие и крестьяне совершили октябрьский переворот во имя всеобщего Братства народов и Свободы.

Увы, кричавшие об этих высших заветах человечества, возмущавшие рабочих против смертной казни, эксплуатации и войны большевики, - ныне царствующая самодержавная коммунистическая партия, - воспользовавшись доверием рабочих, захватила всю власть в свои руки, насадили чрезвычаек (охранников), отняли у трудящихся все их завоевания, все фабрики, заводы, земли и

[185] Напомню, что до 1924-1925 годов, когда Бухарин и Сталин выдумали различия в этих терминах, “социализм” и “коммунизм” в марксистской, социалистической и вообще революционной литературе понимались как полные синонимы.

расстрелами, голодом, пытками и всеми орудиями полицейского гнета задавили всякое право человека, всякую свободу, всякую независимость. Арестовали, расстреляли и разогнали всех революционеров Октября, превратили Советы и Правления производственных союзов в своих лакеев, задушили всякую мысль и, установив рабовладельческий строй, превратили всех в безгласных, бесправных рабов, и сами, завладев фабриками и заводами хлебом и веем, чем владела буржуазия и чем можно владеть, - стали неограниченно властвовать. ...

Наши главные задачи заключаются:

в организации нового безвластного общества,

помощи всем угнетенным всего земного шара в деле освобождения от власти капитала и государства и

в создании мировой конфедерации труда и развития.

Окруженное со всех сторон государственниками, белыми и красными, безвластное освободительное движение победит, когда все угнетенные сольют все свои усилия в одно целое. ...

Долой всякую власть - источник угнетений!

Долой ложь государственного социализма, диктатуры пролетариата и других диктатур!

Долой гнет капитала!

Все богатства и блага, находящиеся в распоряжении человечества, для всех на одинаковых основаниях! ...

Долой принудительные группировки государства: коммуны, школы, казармы, принудительные армии и т.д.

Да здравствует мировое объединение всех угнетенных против угнетателей!

Да здравствует Всероссийская Конфедерация Труда!

Долой Совнарком с Комиссариатами!

Да здравствует анархия!

В с е р о с с и й с к а я О р г а н и з а ц и я А н а р х и с т о в П о д п о л ь я."

(Этот манифест я цитирую по изданной в СССР издательством Коммунистического университета им.Свердлова книге, а по какой - не напишу, дабы ее не изъяли из библиотек.) Насколько считались с анархистами большевики, видно из такого эпизода. Издавшие сей манифест анархисты совместно с Д.А.Черепановым взорвали в Москве, в Леонтьвском переулке, в 1919 году пленум ЦК, когда был убит секретарь МК В.Загорский (Лубоцкий), тяжело ранен кандидат в Политбюро Н.И.Бухарин и мн. др. Так вот, когда Черепанова арестовали, то он признал, что руководил актом (взрывал и взрывать буду), но его не только не расстреляли, а снабдив средствами, послали в Сибирь на борьбу против Колчака!

Особенно заметной силой в России 1919-1925 годов являлись анархо-коммунисты - последователи Петра Алексеевича Кропоткина. Приведу три разнородных доказательства этого утверждения. В 1924 году анархисты отмечали некий юбилей Кропоткина - и генеральный секретарь ЦК ВКП(б) счел необходимым самолично присутствовать в своем белом кителе на этом собрании товарищей из другой партии. Другой факт. Мне известны внушительные примеры пропагандистской вербовки в ряды анархистов как раз в эти годы,

например, Александра Владимировна Квачевская, мать Льва, Ориона и Джеммы Квачевских, сохранившая с 1921 года до семидесятых годов свои анархистские убеждения (примкнула к ним 17-летней девушкой, а пережила десятилетия ссылок и лагерей!). Наконец, третий факт: ни одна политическая партия (ни социалистические, ни буржуазные, ни монархические, ни оппозиционно-коммунистические) не имела в СССР своего легального издательства после 1922 года: а анархисты при музее Кропоткина в Москве имели бесцензурное и вполне самостоятельное издательство, функционировавшее даже в 1930 году (хотя РАСПРОСТРАНЯТЬ публикации этого издательства государственные органы - "Союзпечать" - отказывались, наподобие того, как сейчас обстоит дело с изданиями Московской Патриархии). Из этих фактов два бесспорно повлияли на моего отца: присутствие Сталина на юбилее Кропоткина и существование издательства Музея Кропоткина, а два других могли повлиять опосредованно.

Анархизм предоставлял возвышенным душам великолепный путь отступления перед лицом неколебимых фактов: можно было сохранить все идеалы молодости, те идеалы, ради которых ставил на карту и собственную, и чужую жизни, из-за которых отверг привычный уклад. И которые, увы, однако не реализовались. Напротив, попытка реализовать их, вроде бы лишь усугубила гнет. Так вот, все крайне просто и понятно: это всего-навсего очередное поражение социалистической революции! Как 18 марта 1870 года провозглашенная Парижская Коммуна пала, не успев осуществить своих анархистских идеалов из-за насилия штыков версальцев, так и 25 октября провозглашенная Октябрьская Коммуна пала из-за ошибочного выбора ГОСУДАРСТВЕННОГО пути развития, убившего анархистские идеалы изнутри. В этом смысле говорили, что с подавлением Кронштадта в 1921 году "умерла, едва народившись, Советская власть". Но дело анархо-коммунизма неизбежно-де победит. При третьей попытке человечество учтет ошибки и первой, и второй неудач. Так думалось многим.

Все эти идеи развернул перед Иваном Щербаковым новый его царицынский знакомый Иван Лукьянцев и, ошеломленный их бесспорностью и мощью, Щербаков на всю жизнь сделался приверженцем анархо-коммунизма Кропоткина.

Само собой, как обычно у Ивана, началось с резкого неприятия и едва ли не ссоры. У Таисии он встречался с ее старшим братом, плотником по профессии. Был он уроженцем села, расположенного верст на 5-20 севернее самого города Царицына (Латашенка? Винновка? Ататовка? Томилино?), было было под тридцать, в гражданку он не только храбро дрался против белых, но даже был местным руководителем, считался славным революционером и к моменту встречи с Иваном Щербаковым состоял членом губернского Совета рабочих и крестьянских депутатов. И сколь ни далеки от политики был обстоятельства встречи, в те дни невозможно было встретиться двум молодым людям, чтобы не вопросить: "Како веруеши?"

Вопрос прозвучал, что-то было сказано в ответ, и чуткий слух Щербакова уловил:

- Ба, да это же анархизм! Давно отвергнуто наукой!

Из энергично читаемых им советских брошюр он твердо усвоил, что

"Хотя конечная цель анархизма - уничтожение всякой власти и эксплуатации - есть конечная цель у всякого коммуниста-марксиста, но этим и ограничивается все сходство между анархизмом и коммунизмом. Даже Бакунин, который считал Маркса своим учителем, не изжил идеалистических элементов в своем мировоззрении и особенно в практической политике.

Анархизм чужд марксистского историзма и диалектического метода и ко всем событиям применяет лишь метафизико-идеалистический критерий, при котором политические понятия (напр., государство, власть, партия) превращаются в абсолюты-фетиши. Поэтому в практической политике анархизм не может разобраться.

Многие анархисты это поняли и примкнули к коммунистическим партиям, как в России, так и за границей. Но чтобы избежать уклонений в ошибки анархизма, его надо внимательно изучить[186], поняв как его положительные, так и отрицательные стороны."

И, разгорячась, стуча кулаком по столу, Щербаков накинулся на Лукьянцева, словно учитель на нерадивого школьника. Но тот отбивался:

- Да вы что, читали самих-то анархистов? Кропоткина? Бакунина?

- Вот еще, стану я читать Бакунина, который царя признавал!

(Марксоподобная историография усердно распространяет миф, будто бы Бакунин из трусости покаялся царю, всех продававши. Естественно, что столь нечистоплотный человек затеял бороться против светоча науки и революции - Маркса.) Но Лукьянцев продолжает перечисление имен, доходит до заграничных и останавливает красноречие Щербакова именем Элизе Реклю. Эту фамилию прославленного географа он знал хорошо, не опороченною ничем. Известие, что такой ученый был анархистом, заслуживало, как минимум, проверки. Кроме того, хоть он и не сознался Лукьянцеву, но ведь ничего и никого из самих анархистов он и в самом деле не читывал (тем ожесточеннее доказывая сплетнями о личностях авторов свое право не читать их), и его совесть, ищущая истину, была смущена этим обстоятельством.

- А где их достать? - хмуро буркнул он.

- Да в библиотеке они есть.

В самом деле, тогда в библиотеке были не только книги по анархизму, названные Лукьянцевым, но значился целый раздел "Литература по научному анархизму", чем Щербаков был окончательно сражен еще до приступа к самим книгам. Прочтя же сами первоисточники, Щербаков железно пришел к выводу, что все сочиненное о них советской пропагандой, - сплошная ложь, и начал покорно внимать Лукьянцеву. Тот, будучи причастен к властям (хотя, как сам он мрачно острил, все его обязанности и права в губсовете сводятся к подниманию руки "за" любое поставленное губисполкомом на голосование предложение; он даже язвительно

[186] В этой аннотированной библиографии 1924 года, которую я цитирую, за этим пассажем следует 9 страниц мелкого шрифта названий сперва против анархизма, затем самих анархистов, потом библиография библиографии.

предлагал одной московской комиссии обзавестись в сих целях куклами), знал и реальные факты и сплетни из той сферы, о которой Щербаков не имел сведений: такой-то нарком пьянствовал там-то; там-то была забастовка, губком ее запретил, а комиссия из Москвы поддержала рабочих и обрушилась на губком; и т.п. Как у большинства анархистов, характер Лукьянцева был неуступчив и демонстративно откровенен, коли речь о политике. Чинят они, плотники, старое здание губкома. Приезжают на автомобилях члены губкома и, вынужденные валяющимися досками и бревнами, выходят задалеко и пробираются гуськом. Иван же Лукьянцев с высоты своих лесов орет им: "Вон они, новые господа, пошли! Приходится своими ножками топать, туды их растуды!" губкомовцы лениво и беззлобно отругиваются. Вступают в симфонию другие рабочие. Гогот и насмешки делаются нестерпимее, губкомовцы чуть не бегом спотыкаются, чем подстегивается веселье.

Назавтра Лукьянцева приглашают в ГПУ и вчиняют обвинение в 58-10 - антисоветская агитация и пропаганда. Чекисты - все знакомые, все свои парни, земляки с одного села, товарищи по Гражданской войне. Попросту, по-свойски внушают ему:

- Да ничего тебе не будет. Только брось разговоры свои, и прекратим дело. Там этот хрен потребовал, сами бы мы тебя трогать не стали, знаем же, что ты не враг. Вот, на, подпиши, что прекращаешь разговорчики.

- Я от своего не отступлюсь! Сказано - они новые господа, господа и есть! Я революцию делал не для того...

- Ну, не отступишься, получишь свои десять лет!!

- И получу, и не побоюсь, жандармы вы!!!

- Ах, так!

И сгинул Лукьянцев в весну 1925 года... Помнит ли кто этого "диссидента"? Вот Щербаков Иван упомнил...

Так протекала внутренняя, идейная жизнь Ивана. Вовне же тоже вершились изменения, не столь заметные и не сразу внятные, но кардинальные. Если в 1923 году в Царицыне еще встречалось такое наследие революционно освободительных лет, как общество "Долой стыд" (участники принципиально разгуливали и даже разъезжали в трамваях нагишом, ибо считали одежду буржуазным предрассудком; милиция не преследовала их, так как общество было официально зарегистрировано), то уже в апреле 1924 года прокатились большие торжества-празднества в Царицыне в связи с награждением города Орденом Красного Знамени за заслуги и героизм в Гражданскую войну. Они, перекатываясь из собрания в собрание, послужили дорожкой, по которой к апрелю следующего, 1925 года, город переименовали по фамилии его "наиболее геройского защитника, мудрейшего из организаторов обороны" - товарища Сталина. Правда, сколько помнит Щербаков, никто из местных царицынцев (с которыми он нарочито беседовал на эту тему) не помнил имени Сталина; все знали другое имя - Минин. Но Минин - не член Политбюро ЦК, даже не член ЦК, к тому же, как вскоре выяснилось, склонен настаивать на правде, невзирая на то, что далекие от истины высказывания легче помогают разоблачить и уничтожить оппозицию, вредную всей партии. Поэтому Царицын не стал Мининградом, а, напротив, как сказано в Энциклопедии, "Минин с 1927 г. отошел от общественной деятельности".

Одновременно с переименованием Царицына в Сталинград шла ожесточенная борьба с культом личности. Когда Орджоникидзе произнес: "Борьба с культом личности", - все не переспрашивая поняли, о чьей личности говорено. Ивану тоже довелось быть очевидцем одного из проявлений этой борьбы. В его завхозном хозяйстве был громадный портрет Предреввоенсовета Республики Троцкого (видимо тиражированная копия прославленной картины Юрия Анненкова). Впечатляющее, надо сказать, полотно, и Троцкий на ней производит именно то впечатление, ради коего он только и жил: Демона, чей взор парализует врага; Гения, который знает, как реализовать свои планы; Вестника разрушения старого мира. На фотографиях же Троцкий выглядит куда как гнуснее и убоже. Да, так вот в 1925 году портрет сей унесли. Много тогда бюстов и портретов повышвыривали из казарм и публичных присутствий. "Ибо культ личности чужд марксизму-ленинизму". Не раз поминавшийся Кошкарев вылетел из ВКП(б) за пристрастие к оппозиции. И сам Иван Щербаков ощущал себя оппозиционером, т.е. видел в них больше правды, искренности, нежели в казенных защитниках "генеральной линии". И, естественно, став на позиции анархизма, он не мог признать "построения социализма в одной стране".

Неудача со вступлением в правящую партию не помешала ему осенью уже после начала учебных занятий, ближе к зиме, поступить на рабфак; в заверенной печатью анкете это заведение зовется "Школой повышенного типа губполитпроса". Она давала образование, которое в ту пору считалось средним, т.е. необходимым и достаточным для поступления в высшее учебное заведение. Имела она то преимущество, что кончавшего она сама КОМАНДИРОВАЛА в вуз. Хотя откомандировывали, т.е. давали путевку, мало считаясь с желаниями своего выпускника, исполняя разнарядку (в зависимости от "наполняемости вузов”), тем не менее, такая путевка имела абсолютную ценность. Ведь попасть в вуз без нее было практически невозможно (эта система называлась "Внедрение планового начала в дело обучения"). Кроме того, для толкового человека практически безразлично, в каком вузе получать высшее образование. Ибо ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - это не конкретная специальность, приобретаемая и обозначенная в дипломе, а совокупность навыков слушания, чтения, общения, выступления, поисков истины, неудач и достижений - словом, культуры. Это - право молодому человеку 4-5 лет не зарабатывать себе на жизнь, не заводить семью, а думать только о науке, о системе идей, терминов, слов. Вуз - это последовательность все выше располагаемых планок, которые надо перепрыгнуть, не задев. И все равно в глубинной сути, из чего сделаны эти барьеры: из физики, из истории, из остеологии, из деталей машин, из пермско-юрских отложений, из каллиграфии, иероглифики или из чего иного[187].

Щербаков поступил сразу на последний курс, мгновенно начал блистать знаниями (исключая математику, в которой не силен всю жизнь) настолько, что начальник политпроса Федосеев стал поручать

[187] Я не по забывчивости не включил в этот перечень юриспруденцию - фундамент образования политически мыслящих лиц в XIX веке - и философию в перечень тех дисциплин, изучать которые безразлично какую. Эти дисциплины изучали как таковые в советское время. А математику я не включил, ибо о ней будет особый разговор.

ему проводить вместо себя занятия с рабфаковцами: я-де потом проверю, чему ты их учишь. Федосеев был культурный человек и подпольный большевик. Дорвавшись до учения, Щербаков накинулся на книги, глотал их, сопоставлял, ища истины. Не счесть, сколько пухлых томов Покровского, Бухарина и иных "последних слов современной науки" проштудировал он, благо издавались сии творения тогда массовым тиражом, практически бесплатно. Он не просто читал и запоминал. Еще до рабфака, прочтя язвительные нападки Ленина на Богданова в пресловутом "Материализме и эмпириокритицизме", Иван озаботился добыть "Эмпириомонизм" самого Богданова и сличил и манеру цитирования и качество понимания. Сравнение вышло не в пользу Ленина (как у всех людей, утруднявших себя этим сравнением). Но сейчас, отойдя от всех этих сравнений и сопоставлений, грустно вздыхается, что одаренный ищущий философской мудрости юноша варился в соку этих, с позволения сказать, писателей. Не удивительно, что чем более сам он отодвигался от тех лет, тем величественнее выступал из-за всех этих пригорков чистейший и святейший Петр Алексеевич Кропоткин. А к его семидесяти годам еще величавее поднялся прочитанный еще гимназистом и напрочь позабытый на полвека Лев Толстой, тоже анархист.

В марте 1925 года Иван уволился из детдома. На хлеб он себе зарабатывал примерно такими промыслами:

"пролетарии всех стран соединяйтесь!
Р.С.Ф.С.Р.
ОБЩЕСТВО
Друзей
Беспризорного
Ребенка
Сталинградский
губернский
КОМИТЕТ
11 августа 1925 г.
№ 769
Сталинград н/В
телефон № 3-20

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее выдано тов. ЩЕРБАКОВУ Ивану Гавриловичу в том, что он действительно является Агентом Сталинградского Губкомитета О-ва Друзей Беспризорного Ребенка и командируется в Усть-Медведицкий округ по распространению лубков, ценой 50 коп., "Конституция СССР" - ценой 1 рубль.

Тов. Щербакову доверяется получение сумм для ГКОДБР, следуемых за распространение им поименованных "Конституций СССР" и лубков. Просьба ко всем советским, партийным, профессиональным учреждениям и организациям оказывать тов. Щербакову всемерное содействие в исполнении изложенных на него заданий.

Изложенное, а также образец подписи тов. Щербакова ... подписями и приложением печати удостоверяется.

Ответств. Секретарь Козловцев
Уполномоченный Шатохин

Круглая печать общества с изображением тощего падающего дитяти. Прямоугольный штамп "Прибыл в ОИК УМО "20" августа 1925 г. и зарегистрирован под № 769. Секретарь ОИКа нрзбр."

Другими чернилами приписано от руки:

"Зарегистрировано в Упр. окрмилиции УМО. Зав. общ. п/о П.Волычев. 211/VIII-25."

К этому времени кончается всякое влияние сестры Натальи на Ивана. Та не выдерживала жизни. Уже свыше десяти лет она фактически стояла во главе семьи. Ее младшие братья слушались ее во всех сколько-нибудь значимых вопросах, ибо она была умнее, старше, словом - авторитет. Но вместе с тем жить ей делалось все сквернее, безысходнее. Одно дело шестнадцатилетнею девушкою бунтовать против старомодных, реакционных и вопиюще немодных взглядов отца, полностью принимая весь комфорт, неправильно заработанный отцом от неправильно устроенного общества. Другое дело - лишиться этого комфорта, но взамен получить высокий социальный престиж преподавательницы гимназии и жены такого же преподавателя, крепкого ладного мужчины. Иное дело - отрекшись от всего этого, нырнуть в святую воду Революции, свободной любви, свободы от материальных расчетов. Но вынырнуть довелось "при свете сбившихся иллюзий", что было несопоставимо ни с первым, ни со вторым, ни с третьим. Брошенная всеми любовниками (или бросивши их, что почти равноценно), обремененная дочкой, изматывающаяся на неинтересной и нервозной работе заведующей детским домом, материально абсолютно не обеспеченная, растерявшая и друзей, и веру, обманутая в самом великом - в ожидании Мировой Революции и в возникновении нового идеального общества, она начала психовать. Вот она запустила чернильницей в начальника соцвоса. Вот повздорила еще раз. Оглядываясь на себя, испугалась своих поступков. "Я боюсь, Ваня!" - призналась она. Посоветовалась с матерью, с братом. Отправилась в психбольницу. Осталась там. В ухудшающемся состоянии пролежала там около года и в приступе отчаяния выбросилась из окна в возрасте 31 года. Это - удалось. Дочь ее - Милица Евгеньевна, ныне Данилова, даже не успела запомнить облика матери - ей было всего шесть лет (последний раз и Милицу, "Милю" видел на похоронах отца). Это был тот год, когда перерезал себе вены поэт Сергей Есенин, когда застрелилась выдержаннейшая большевичка Евгения Бош (потому что ее бросил ее муж Юра Пятаков). И в своем последнем поступке Наталья Щербакова явилась человеком своего времени, плоть от плоти мятущегося века.

У Ивана исчез тот живой авторитет, который прокладывал ему на нравственной карте маршрут до сих пор. Как и его предки, Иван с Натальей были заодно с ищущим меньшинством своего времени, были богато одарены. Но сохранять нравственную чистоту в социальных поисках сделалось в начале XX века куда труднее, нежели в конце XIX. Наталья не выдержала надрыва. Иван оказался живучее, цепче и прожил долгую жизнь.

Еще один раз - с ужасом - вспомнил Иван о Наталье: это в 1949 году, когда он узнал, что меня заперли в сумасшедший дом. Мгновенно припомнилось ему, что его сестра умерла там, что его бабка, по семейной легенде, была сумасшедшая. "Вот оно, - вычислил он как генетик, - проявление наследственности!" Он припомнил и тех своих родичей по этой линии (от сестер своего

отца), про неблагополучную судьбу которых долетали до него обрывки известий. "Все сошлось!.." - падал он духом. Единственное, что позволяло ему не угасить надежду, было то обстоятельство, что по его вычислениям оказывалось, что подверженными такому "наследственному душевному недугу" должны быть исключительно лица женского пола (и то далеко не все). Но когда он узнал, что сумасшедшим меня определил комсомол, да еще на основе текста горьковского "Человека", он успокоился. А, взглянув мне в глаза, он, который видел безумные глаза своей сестры, понял, что ничего общего нет. Впрочем, из осторожности, дабы информацией не повлиять на мое поведение, он тогда ничего не рассказывал ни о своей сестре, ни о легендарной "сумасшедшей" "барской родственнице", ни о прочих подозрительных по психике случаях в нашей родне. Только когда ему перевалило за семьдесят, а мне за сорок - поведал. Впрочем, что он скрывал от меня, сына, в мои детско-юношеские годы, - об этом у нас будет еще долгий разговор.

Я же в безумии Натальи не усматриваю ничего генетического: время и ее место в волне событий были таковы, что могли свести с ума без помощи наследственности. Да и дочь ее, Миля, никогда не страдала психически, и оба ее сына. Но, повторяю, ни о чем этом я в камере не знал, а иначе пищи моему уму было бы столько, что, пожалуй, от одного страху я бы впрямь сошел с ума!

§6. Ветеринарный институт и знакомство с Ларисой Пименовой

Диплом ветеринара; шумная комната в общежитии; борьба на трибуне и в подполье; брак с Ларисой Пименовой

В 1925 году Иван Щербаков поступил в Донской ветеринарный институт, в начале 1930 года окончил его, женившись на моей матери Ларисе Пименовой, - вот резюме этого параграфа. Заурядные события. Личность Ивана несколько окрашивала их, но все-таки ничего экстраординарного не было. Примечательнее - в глобальном плане - только намечающийся параллелизм (гомологии) между его студенческими годами и - тридцать лет спустя - моими.

Как он попал в этот институт? Примерно как я на матмех (см. гл. 1, §5): то, что попал именно в ТАКОЙ институт - дело почти случая, а вот то, что не попал в тот институт, куда тянула душа - поступок дальновидного расчета. В самом деле, на рабфаке Щербаков прекрасно учился и пользовался благоволением поминавшегося ранее Федосеева, председателя комиссии, направлявшей выпускников в вузы. Видя одаренность Щербакова, Федосеев предложил ему направление в ФОН - факультет общественных наук. Но Щербаков отказался, а в ответ на изумленное недоумение Федосеева напрямик объяснился:

- Да, конечно, я политикой интересуюсь, и даже очень. Я охотно изучал бы общественные науки, к другим у меня даже и душа не лежит. Но что с меня будет? На сколько меня хватит? Ведь я сразу же попаду в какую-нибудь оппозицию. Буду ли я преподавателем, юристом или еще кем-нибудь, я же буду говорить не то, что велят. Ну, хватит меня на год, другой - а потом выгонят. Так что не надо.

- Ну, а куда же вы хотели?

- Лучше всего на историко-филологический.

- Такого сейчас нет. (Не путевок не было, факультетов не было.)

- Да, я знаю сам. Еще биология меня интересует.

- Ну, ладно, посмотрим.

Когда комиссия написала направление Щербакову в Донской ветеринарный (по этому направлению принимали БЕЗ экзамена, но зато без направления - НЕ принимали), он было возмутился: лекарем-де не буду, меня наука интересует! Но совместные уговоры с двух сторон склонили его принять это направление: Федосеев внушил ему, что ведь в ветеринарии вовсе не обязательно заниматься практическим лечением, можно и научную работу вести, это - часть биологии. Мать же Ивана, Прасковья Андреевна, узнав о ветеринарной перспективе сына, умилилась: как они богато живут! Какие у них выезды! И никогда голодным не будешь! (Свидетельствую: голодные годы 1944-1946 годы в Ростове наша семья прожила исключительно за счет той еды, что отец привозил из своих командировок по области. Одна канистра меду - да это сокровище, какому равных ныне не сыщешь!)

Итак, заполнил он анкету из 24 пунктов. В ней о партийности вопрошали в конце (п. 20 "в каких политических партиях состоял" и п. 21 "партийность в настоящее время"). Щербаков решительно солгал, умолчав о бывшем членстве в РКП(б). Точно так же солгал он

по п. 8 "социальное положение родителей", наименовав своего покойного отца "служащим", а не "купцом". Даром, что анкета заверялась печатью, это ведь только вконец запуганные или глупые люди в анкетах пишут правду! Шикарен был п. 9:

Где, в каком учреждении, в качестве кого и сколько времени работали родители, или чем занимались:
а) до войны
б) во время войны
в) в период февраль-октябрь 1917 года
г) после октябрьской революции"

Ну, конечно, интересовались, в каком профсоюзе состоял (помните, у Ильфа и Петрова: "Пиво только членам профсоюза" - это не юмор, но оскал жизни). Разумеется, слово "гимназия" в своих ответах Щербаков не употребляет, пользуясь терминами "учился в низшей школе" про дореволюционный период и "школа повышенного типа губполитпроса" позже. И такой вопрос был в тогдашней анкете: "п. 4 "Который раз подает заявление о поступлении в ВУЗ?" О национальности спрашивали п. 3, но мне кажется, что тогда ответ роли не играл.

Приняли его, пошел он зубрить и сдавать зачеты, например, по "анатомическим препаратам":

"кости туловища, кости головы, кости конечностей грудной, кости конечности тазовой (так в тексте!), связки туловища, связки головы, связки конечности грудной, связки конечности тазовой, мышцы туловища, мышцы головы, мышцы конечности грудной, мышцы конечности тазовой, пищеварительный аппарат, дыхательный аппарат, мужской половой аппарат, женский половой аппарат, сердце, кровеносные сосуды, кровеносные сосуды туловища, кровеносные сосуды головы, кровеносные сосуды конечности грудной, кровеносные сосуды конечности тазовой, лимфатическая система, лимфатические сосуды и железы, центральная нервная система, головной и спинной мозг, периферическая система нервов, нервы головы, нервы конечности грудной, нервы конечности тазовой, симпатическая нервная система, глаз, ухо"

- все это он сдал с ноября 1925 по декабрь 1927 года, и каждая формулировка, скрепленная подписью преподавателя - одного и того же, что вызывает у меня скептическую ухмылку насчет подлинности этого документа. Был у него студенческий билет № 306, или № 316, с фотокарточкой, пометками в специальных типографски разлинованных графах о сроках и причинах отпуска с отметкой о возвращении (вписан один отпуск зимой 1928/1929), с такими же графами о поездке на практику (незаполнены, но он несколько раз ездил), о внесении платы за учение и о получении стипендии (обе не заполнены, а я позабыл спросить у него, платил ли), с графами о получении книг в библиотеке: три штампа о выдаче книг и один (не последний) о возвращении. Билет почему-то выдан поздно, когда он учился уже на IV курсе. Может быть, до тех пор их еще не ввели, а были они отменены, как царское наследие? Как, например,

упразднили студенческую форму? А, может, просто новый ректор наводил порядок? Наконец, 24 февраля 1930 года получил он Свидетельство (слово "диплом" - это уже другая эпоха[188] № 471 по исх. реестру и № 1798 по книге дипломов:

"Выдано настоящее свидетельство гражд. ЩЕРБАКОВУ ИВАНУ ГАВРИЛОВИЧУ (все типографски) родившемуся в 1902 г., 25-го мая, в ст-це Филоновской, Сталинградского окр., в том, что поступив в 1925 ("25" вписано чернилами) г. в ДОНСКОЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ, он окончил в нем курс по пятилетнему плану[189] в 1930 г. За время пребывания в Донском Ветеринарном Институте им были прослушаны и сданы нижеследующие теоретические курсы и выполнены практические занятия по следующим дисциплинам, а именно:

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ - по предметам общественного минимума - политической экономии: права Государства и Советской конституции, научного социализма и пролетарской революции, Проф. движению, истории ВКПб, Ленинизму и Экономполитике.

II. Теоретические курсы и практические занятия: (следует перечень 43 конкретных дисциплин вроде "коллоидной химии", "судебной ветеринарии", "мясоведению с боюнским, холодильным и бэконным делом", "копытных болезней") и, кроме того, выполнена производственная практика

... подвергался испытаниям (никаких оценок в дипломе не проставлялось) ... защитил отчет ... присваивается квалификация ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, что и удостоверяется подписями и приложением печати...

Ректор Синицын
Проректор Балашов
Новочеркасск."

А на обороте текст, свидетельствующий, что тогда еще не отмерла юридическая культура:

"Означенный в сем свидетельстве гражд. как получавший стипендию с 1925 по 1929 г. декабрь надлежит действию постановления СНК РСФСР от 24/III-26 г. о порядке возмещения расходов, понесенных Государством на содержание стипендиатов учебных заведений. По выполнении означенным гражд. всех обязательств по указанному декрету, на свидетельстве его должна быть сделана надлежащим учреждением соответствующая надпись."
Подписи, печать.

---

[188] У меня часто мелькают слова "эра", "эпоха". Это не патетическая риторика. Пока идет обычная жизнь, сохраняется союз между прошлым, настоящим и будущим поколениями. Когда сменяются эры и эпохи - такой союз исчезает.

[189] Эта ссылка на "пятилетний план" - не формальная ссылка на очередную "пятилетку", а четкое различение между прежним четырехлетним сроком обучения в Ветинституте и введенным при Синицыне пятилетним сроком. Студенты и против этого удлинения воевали. Пятилетний срок удержался недолго: едва пришедши возглавлять Госплан, Куйбышев отменил его и ввел в большинстве институтов, в том числе в ДВИ, трехлетнее обучение ("Страна нуждается в специалистах срочно!" - а что такое качество специалиста - этого они все не понимали). Но Щербакова этот выверт уже не задел.

"Соответствующей надписи" не имеется. А со стипендиями дело обстояло так. Каждый студент получал стипендию от государства - 70 рублей в месяц. Для ориентировки можно привести такие цифры: начинающий врач получал зарплату 96 руб., потом ему добавляли до 116 руб. Моя бабушка Валентина Васильевна Пименова в эти годы учительницей зарабатывала 68 руб. 49 коп. в месяц. Костюм парадный, лучший из лучших в Ростове - Новочеркасске стоил 92-100 руб., а грубый, "рабочий", из толстой шерсти - 18 руб. Но со стипендиями было не все. Некоторые предприятия заключали "контрактацию" на определенных студентов, выплачивали им стипендию 100 руб. с обязательством потом отработать три года именно на этом предприятии. И возникала неразбериха, при которой студент мог иметь зараз ОБЕ стипендии: общегосударственную плюс контрактацию. Правда, последняя производилась не на первом курсе, а где-то ближе к III-IV курсам. Иван Щербаков был в числе сосавших двух маток, и ему мало улыбалась перспектива ехать после 170 рублей на 96. Мечталось о работе в чем-нибудь вроде Ветеринарно-Эпизоотического Общества (ВЗО), основанном их проректором Балашовым в Москве. Этот однорукий пьяница-ростовчанин оказался незаурядным организатором, создал всесоюзное общество, в котором платили по 300 руб.[190], плюс кожаное обмундирование, плюс КОМАНДИРОВОЧНЫЕ... Щербаков был законтрактован Майкопским окружным зоотехническим отделом (управлением), в документах фигурирует сокращение "райЗО" или "райЗУ". В его состав входил не только нынешний Майкопский район, но и нынешняя Карачаево-Черкесская АССР. Сам Майкопский район входил в состав Северо-Кавказского края, включавшего нынешние Краснодарский, Ставропольский края и все автономные республики Северного Кавказа. Столицей его был Ворошиловск, и до и после называвшийся Ставрополь.

Из своих преподавателей-профессоров Щербаков почти никого не упомнил, разве только тех, кто так или иначе выделялся политически. Вот, сначала ректором был Арнольдов, профессор из Варшавы. Он был социал-демократом, меньшевиком и, видимо, крупной фигурой в движении, потому что когда Каменев, еще в бытность кандидатом в Политбюро и председателем СТО, проезжал через Новочеркасск, то не преминул встретиться с этим самым Арнольдовым. Еще одного меньшевика, профессора физиологии, ученика Павлова - Тихомирова помнит мой отец. Да Евтихиева, терапевта, непревзойденного мастера диагноза и анархиста. В связи с приездом Каменева очень запомнился ему один студент, парой курсов его старше, некто Александрович. Тот был кипучим комсомольцем и при отбытии Каменева из института на вокзал все суетился:

- Надо проводить!

- Да как ты проводишь? Он же на машине!

---

[190] Все цены даны в тогдашнем номинале. После этого были три денежных реформы: 1938 года, когда, кажется, только обменивали дензнаки один к одному; 1947 года, когда сложно меняли 1:1, 3:1 и 10:1 в зависимости от сумм, несколько повысили цены, но зарплату и все прочие платежи от государства сохранили неизменными; и 1961 года, когда изменили масштаб 10:1.

- Все равно надо! - настаивал Александрович и, когда автомобиль Каменева отъехал, побежал за ним. Оно от Ветеринарного института до вокзала не так уж далеко, а улочки не широкие и не прямые, скорость не разовьешь, но все же долго потешались, как Александрович почтительно вприпрыжку не отстает от правительственной машины... С этим Александровичем связан в воспоминаниях Щербакова еще один эпизод, который можно комментировать на разных уровнях и в разных аспектах до бесконечности, я просто его перескажу.

Дело было еще на I курсе Щербакова, когда он жил в громадном и многошумном общежитии, в жутких размеров комнате со многими койками. Когда на него навалилось учебы невпроворот, не справляется заучивать. И вот выдался день или вечер, когда все куда-то ушли, и он один. Устроился на койке зубрить анатомию - это же не стихотворение учить, не лезет, хоть убей! И темновато. Лампочка на длинном шнуре без абажура - свисает далековато, над столом, где никого сейчас нет. Щербаков подтягивает шнур к себе: зубрит. Приходит Александрович, третьекурсник. Ложится на свою койку, берет какую-то беллетристику, начинает читать. Ему темновато, он, ни слова ни говоря, подходит к койке Щербакова, переносит шнур к себе, закрепляет, ложится и читает. Щербаков поначалу подумал было, что Александровичу надо что-то поискать, временно взял шнур-лампочку посветить, поэтому молчал. Но, увидев, что тот лег и читает, взорвался:

- Отдай!

- Мне надо!

- Мне же нужно учить, а ты ЧТО читаешь?!

- Не твое дело!

Слово за слово, Иван вспыльчив, хватается за ножку табурета и замахивается на Александровича. И тут - незаметно за шумом вошел жилец той же комнаты Попов, из казаков, но сам хромой, бодро подначивает: "Бей их, Ванька, жидов!" У Ивана руки опускаются, удара не последовало. Он отходит, внутренне отплевываясь: вот ведь, чуть не влип. Против них если слово не так скажешь, сажают как за контрреволюционную агитацию, а я чуть не убил его. Что бы было?

Пожалуй, изменю свое решение не комментировать, намечу основные линии этических коллизий. Первое. Иван совершил антиобщественный поступок, изменив местонахождения предмета общественного пользования - лампочки - в свою личную пользу. Второе. Александрович, заметив это нарушение, продемонстрировал Щербакову "методом естественных последствий", что "нужно поступать так, чтобы правило, по которому ты поступаешь, могло стать всеобщим законом". Третье. Александрович не умел или не счел нужным словесно объяснять Щербакову оснований своих поступков, а для Щербакова словесная формулировка подчас важнее поступка. Четвертое. Александрович стоял на позициях "категорического релятивизма": не важно, для какой цели я использую то общественное благо, на которое я имею равное с другим право. Хочу - учусь при свете лампочки, хочу - при том же свете "Графа Монте-Кристо" читаю, хочу волосок лампочки рассматриваю. Щербаков же стоял на позициях догматического рационализма: мы здесь все, дабы учиться, поэтому чтение учебника

приоритетно выше чтения авантюрного романа, поэтому субъект, читающий учебник, имеет право на ущемление абстрактных прав личности, учебника не читающего. Пятое. Совсем не будучи антисемитом, Щербаков тем не менее не мог не видеть, что евреи в двадцатые годы фактически обладали огромными преимуществами перед русскими и, возможно, другими национальностями. Шестое. Как бы ни был взъярен Щербаков, в нем присутствовали внутренние тормоза, и одним из надежнейших была мысль об ОГПУ. Седьмое. У этих молодых людей, каждый из которых активно относился к политике и имел "точное представление" о том, как надо переделать весь мир, и каким должен быть мир, общество и человек, не было умения договориться друг с другом и хотя бы объяснить внятно свои позиции.

Иван не только учился. Не мог он оторваться от общественной деятельности так вот просто, вдруг. Жил он в общежитии, поначалу огромном, на несколько институтов, но позже им на четверых - Иван Щербаков, Тихон Орлов, Федор Ирков и Ванновский - выпала отдельная комната. Она сделалась чем-то вроде центра притяжения, была битком набита зашедшими поспорить, в коридоре подле нее толпились порой студенты. Определенный интерес представлял Орлов, приехавший с Кубани, который красочно заливал про свои похождения в Краснодаре с бабами. Рассказы были вполне "охотничьи-рыбацкие", завирался рассказчик на глазах слушателей: начав повествование о том, какие ответственные должности занимал он в Краснодаре и каким авторитетным был он там человеком, входил в раж и так припоминал реалии, что вдруг проговаривался, что золотарем он был... Или, смакуя, как он добивался любви одной графини, с упоением сообщал, что она была невинная девушка, а потом, в сладострастных восторгах о ночи с ней, восклицал: "Хороша была солдатка!" Но слушатели добродушно прощали ему несуразицы, в общем-то он затыкался, когда мешал заниматься.

О любви разговаривали не только в плане таких вот смачных сценок или приглашений: в том-то институте парни и девушки сходятся "стенка на стенку" - раздеваются у противоположных стен коридора догола и сходятся. Пойдем, а?! Это хоть и было, но котировалось низко. Сколько помнит Иван, у него в институте и любовниц не было. Гораздо более речей звучало о Возвышенной Любви и о том, существует ли Любовь вообще. Но еще больше споров было - существует ли Бог? Находилось немало убежденных сторонников Божия[191], большинство шло за передовой комсомольско-научной мыслью, отрицая "предрассудок". Сам Иван в бога не веровал, но абстрактно теоретически допускал эту возможность и поддерживал такие споры, "заводя" оппонентов трудно опровергаемыми аргументами. Похоже, что главные его доводы были почерпнуты их "Исповеди" Толстого. Но еще больше споров было о социализме и о политике. Ведь это были 1925-1929 годы, когда НЭП еще ставил под сомнение будущие социалистические перспективы, когда Радек острил насчет "теории построения социализма в одном отдельно взятом городе Глупове", когда гремели разные оппозиции и

[191] Хотя, видимо, уже они не помнили, что в XIX веке вопрос: "Вверишь ли ты в Бога?" означал: "Веришь ли ты в благодать Бога, в то, что Божий промысел благ и мудр, т.е. ДОВЕРЯЕШЬ ли ты Богу? Само существование под сомнение не ставилось самыми ярыми безбожниками Достоевского.

сверзались то левые, то правые вожди. Щербаков примиряя Толстого с социализмом, выдвигал, скажем, формулировку: "Социализм, конечно, не наука, а справедливое и тоже нравственное дело", - и на него накидывались и комсомольцы, и противники социализма.

Не прочь был Щербаков и похулиганить вызывающе. Он боготворил Маяковского[192] и, курсе на третьем, на общеинститутском вечере вызвался читать "Сергею Есенину". Дойдя до строк: "Оглушить бы их трехпалым свистом в бабушку и в бога душу мать!" - он в эту "мать" вложил столько запалу, что декан тут же удалился, а потом прислал в "Исполбюро" официальную просьбу профессоров: "Когда будете планировать читать на вечере Маяковского, предупреждайте заранее, дабы мы могли себя избавить от слушания матерщины". Любил Щербаков и вызывающе поучить начальство. Например, собрали парторганы общее собрание, дабы откликнуться и заклеймить "вредителей", осужденных по Шахтинскому делу. Известно, как в литературе изображают атмосферу таких собраний: страх и нагнетание требований негодяев, а если кто поперек пойдет - того самого арестуют. Ничего подобного не помнит в 1928 году Щербаков. А он смял и свернул обсуждение и осуждение - очень просто. Дело происходило 18 марта, и вот Щербаков напомнил, что сегодня - день Парижской Коммуны, которая озарила путь к коммунизму. "А вы в такой день о какой-то мелочи говорите! Чепуха все эти вредители, процессы! Предлагаю почтить вставанием память коммунаров!!!" И зал встал, почтил, и собрание, как бы исполнивши свой долг, разошлось.

Но вот уже не выходка, а серьезное противостояние Щербакова институтским властям, причем Щербаков и его группа возглавляли массовое движение, - некий прообраз моих действий в 1951 (дело Шанина) и 1952 году (дело Отрадных). В ту пору существовал номинально выборный орган самоуправления студенчества - Исполбюро. В 1927 году, когда пришла пора перевыбирать его, партбюро "назначило кандидатами" нужных ему лиц, даже не изобразив видимости согласования с массой студенчества. Ну, сейчас-то к такому привыкли, даже удивились бы предложению "выбирать, кого хотите" без подсказки-указки сверху. Тогда же эти приемы были в новинку, и ряд студентов вознегодовал. Разумеется, среди возмутившихся был Щербаков, его друзья Ванновский (позже он был профессором то ли в Новосибирске, то ли в Махачкале, умер в середине шестидесятых годов) и Андрей Кузьмичев. Они развернули предвыборную кампанию, добиваясь, чтобы вместо "никому не известных" ставленников партбюро избрать "настоящих представителей студенчества", а также за то, чтобы составить "правильный" текст Наказа, который при выборах формулировался как цель и рамки деятельности Исполбюро. Довольно заметная часть студенчества их поддерживала, пусть и не столь вызывающе, как они сами, и создавалась угроза, что сторонники Щербакова - Кузьмичева победят. Мне-то всегда кажется, что в таких случаях надо крикунов и активных противников включать в состав избираемых органов власти: они либо кажутся крайне полезными работниками, либо ни с чем требующим внимания и усердия не справятся, вчистую себя скомпрометировав. Но

[192] Он до конца дней своих гордился, что, любя Маяковского, знал русскую классическую поэзию лучше тогдашних его противников Маяковского.

начальство пошло по иному, исконно русскому пути "сохранения своего престижа". Партбюро стало "одергивать смутьянов". Секретарь уговаривал Щербакова:

- Ну, что ты воюешь против Исполбюро, которое еще не избрали, которое еще неизвестно, как будет действовать? Ты же еще не знаешь, может быть, там замечательные парни!

- Вот именно, не знаю этих людей не только один я, но и подавляющее большинство студентов. Так чего же мы их будем выбирать?

- Зато партбюро их знает.

- Но партбюро предлагает НАМ их выбирать!

- Не понимаю я тебя. Зачем ты противопоставляешь себя и партбюро? Ведь ты же наш, сам бывший чекист.

- Я персонально не знаю этих людей. Вот если бы предложили выбирать тебя, кого угодно, самых закоренелых знакомых мне партийцев, я бы враз проголосовал за! А так - никакой демократии: голосуйте списком, за кого - не знаю. Это противоречит основным революционным завоеваниям и является недоверием к студенчеству. Получается, будто партбюро уверено, что сама по себе масса обязательно выберет беспартийных или даже антисоветских лиц. Не случится такого никогда! Я против такого метода работы воюю!

Ну, речи такого рода можно представить. Но события развивались нетривиально. Хотя открыто выступить против партбюро решились немногие, и против официального списка голосовало всего несколько десятков человек, зато свободомыслящие взяли реванш при выборах состава комиссии по выработке Наказа. В нее попали все три вождя недовольных: Ванновский, Кузьмичев и Щербаков. Из партийных деятелей - Федор Ирков, тоже жилец самой активной комнаты общежития, извечный оппонент Щербакова. Был он убежденным ортодоксом, ярым, правоверным и не без умения говорить. Пятый член комиссии был совершенно бесцветен, ни слова не сказал, старался равняться на представителя начальства Иркова, но ведь трое против двух - чье большинство?

Отодвинув в сторону Иркова, Щербаков и Кузьмичев сочинили такой проект Наказа, что он заставил бы даже то, чуждое им ядро Исполбюро по-настоящему считаться с интересами студентов, не позволил бы им шагу ступить, не спросясь мнения и желания студентов, - словом, была изготовлена настоящая Конституция. Так ее прозвали все, ознакомившиеся с ней. Предстояло теперь утвердить ее на общем собрании. Началось собрание, и тут к Щербакову подходит-подсаживается знакомый комсомолец Панков, которого Щербаков уважал за объективность, хотя и презирал на ненапористость, и доверительно сообщает, что накануне состоялось партийно-комсомольское собрание, на котором стоял вопрос об "анархистско-махновской выходке" группы Кузьмичева - Щербакова. Иван было вскипел: "Причем здесь анархизм?!" - но Панков унял: "Слушай дальше, потом спорить будешь". Оказалось, что группа Кузьмичева виновна-де не только в анархистском, но и в демократическом[193] уклоне. И вот, пока ораторы клеили эти

[193] Слово "демократ" тогда нормально воспринималось (в том числе Щербаковым) как антиреволюционное (в то время как "анархизм" - революционное), ассоциируясь с "социал-демократами", "конституционными демократами" и прочей "буржуазной демократией". Поэтому сочетание "анархизма" и "демократизма" выглядело чем-то

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ярлыки, вдруг голос поднимает ректор Синицын, недавно назначенный взамен Арнольдова, и четко по-деловому формулирует: "Я эту бражку прекрасно знаю. Знаю все их “хорошие” характеристики. Еще одно их выступление - и я их всех повыгоняю за пьянку или еще за какое ихнее хулиганство!”

А Иван и его друзья были не дураки выпить. Конечно, пило больше половины студентов, но Иван, Андрей с товарищами пили ЛИХО. Скажем, сдали большой экзамен (учиться было трудно, спрашивали профессоры всерьез, без скидок. Так что удача - сдали! - была праздником), выпили в общежитии и в открытую, не таясь, как другие. Выпив, шли в театр, конечно, без билетов. Не от отсутствия денег, но от сознания собственной важности: и экзамен сдали, и выпить - выпили, и вообще добры молодцы. Ну, зовут милицию. Они заводятся драться с милицией. Ивана задерживают, ведут в милицию. Друзья его выковыривают булыжники из мостовой (Новочеркасск мощен хорошей брусчаткой), ибо "булыжник - орудие пролетариата", а они, конечно, отождествляют себя с пролетариатом, а "городовой", еще помнится, - дореволюционная бранная кличка... Словом, скандал на весь институт[194].

И вот, услышав рассказ Панкова, Щербаков сразу постиг, что это не запугивание, не провокация, а искреннее дружеское предостережение, информация из стана врага. Тут же Кузьмичев. Переглянулись - решили: "Надо смириться". А Ванновский уже на трибуне, зачитывает проект их наказа. Они ему знаки подают, дескать, бросай. Он не понимает, собственно, просто не видит, ибо читает, не подымая головы. Тогда Иван посылает ему записку: "Сворачивай, уходи с трибуны!" Прочел Ванновский, на полуслове оборвал, сошел.

Потом Кузьмичев говорит Щербакову: "Бесполезны эти выступления. Существуют более надежные способы борьбы", - и рассказывает Ивану, что в городе Новочеркасске действует подпольная организация. Она небольшая, не свыше тридцати человек в ней. Но ищут дела. Прежде находились под его, Кузьмичева, влиянием, слушались его, но в последнее время он чувствует, что им недовольны. "Ты бы им больше подошел, ты для них готовый идеолог", - уговаривает Андрей. Ну, Иван польщен. Ведь хоть Иван моложе курсом, но гораздо более подвижный, весь город ему знаком. А вот без него - не обойдется! "Они же просто против советской власти, против всякой революции", - думается ему, слушая высказывания членов организации. И недовольство с их стороны Кузьмичевым шло именно от этого: тот искал более правильных путей функционирования советской власти, чтобы все шло по справедливости, а они власть в гробу в белых тапочках видели[195]...

вроде "право-левого уклона" и шокировало Щербакова. Он не мог предвидеть, что точно такой “уклон” будет сочинен Сталиным через четыре года.

[194] Такого рода бытовое хулиганство в те годы почти не каралось уголовно. Хотя отдельные лица в прокуратуре требовали было судить за драки, матерщину, бесчинство, в Политбюро этому решительно противился глава профсоюзов Томский, который резонно полагал, что тогда пришлось бы пересудить всех рабочих, уговаривал подождать, пока рабочие наберутся культуры, в которой им отказывал царизм, и т.п.

[195] Здесь тоже есть большое внешнее сходство с моей позицией при встрече с Борисом Вайлем (гл.I, §7), но только ВНЕШНЕЕ. Интенции тут другие, но разжевывать это тем “крытикам-крысикам”, которые называют меня “советским

Так что Иван не стал раскрывать перед ними своих анархистских - т.е. коммунистических, но ультрареволюционных - взглядов. Произнес речь примерно такого содержания: власть-де называет себя рабочей, революция вершилась во имя рабочих, а что она дала рабочим? Ничего! Только хуже стало положение. Хотя у него сохранилось впечатление, будто слушатели были им довольны, но больше собраний таких не происходило, хотя несколько полуконспиративных встреч на углу, вдвоем-втроем, и припоминались ему. Так это и заглохло.

Для моей жизни самую важную роль сыграл в эти годы Андрей Кузьмичев тем, что был знаком с Женей Пименовой, со всем их семейством, много рассказывал о нем Ивану Щербакову, так что когда летом 1927 года Иван, пребывая в Ростовской доме отдыха по профсоюзной путевке две недели, повстречал Ларису Пименову, она уже была ему давно заочно знакома. Он завязал с нею знакомство, впрочем, выдавая себя за студента-медика, а не ветеринара (они были в доме отдыха вдвоем с Орловым, а тот не мог не приукрасить свое существование каким-нибудь враньем). Ей было 22 года, с ней были двое ее подруг, немного постарше, одна даже с ребенком. Сначала встречались только в компаниях, потом стали бродить наедине, читая друг другу стихи. Потом в Новочеркасске он стал бывать в доме Пименовых на Рабочей улице. Ухаживание длилось два года, и за этот срок они ни разу не поцеловались. Даже когда ночами он показывал ей Большую Медведицу, направляя своей рукой ее руку, никаких нескромностей он себе не позволял. И лишь когда 15 августа 1929 года Лариса приехала в Уч-Кулан, где с 10 апреля по 13 сентября Иван проходил производственную практику, они сочли себя мужем и женой, хотя никакого обряда - ни церковного, ни гражданского, ни просто со знакомыми - они тогда не справляли. А за сим последовало то, что почему-то надо называть “семейной жизнью”, хотя, на мой взгляд, именно семьи-то у меня никогда и не было. Но об этом чередом, а мы займемся методическим выяснением, кто и что такое Лариса Пименова.

революционером”, я не намерен.

§7. Моя мать и ее предки

Родители Ларисы; двадцатый год; учительница на хуторе; сестры Лары; ухаживание Вани за Ларой; приезд в Лабинский район; генеалогия Пименовых

Корни моей матери проследить гораздо труднее, чем корни моего отца. И тому есть две главные причины: во-первых, все семейные документы Пименовых погибли при артобстреле 1942 года вместе с моей бабушкой Валентиной Васильевной, а во-вторых, члены этого семейства упорно не желали делиться воспоминаниями о прошлом, по возможности переделывая это прошлое в образ, удобный при советской власти. Хорошим символом к “показаниям” членов семейства служит такой эпизод. Когда Иван Щербаков впервые переступил порог дома Пименовых, Валентина Васильевна в беседе с ним нарочито упомянула, что ее покойный муж был, дескать, учителем. Щербаков, уже знавший от Кузьмичева, что ее муж был есаулом, внутренне хмыкнул: ври, дескать, а я послушаю. (Позже, когда Ваня стал зятем, Валентина Васильевна извинилась перед ним за неправду: сами знаете, каково перед чужими…)

По линии отца моей матери родословная сразу обрывается: мой дед Михаил был приемным ребенком (по одной версии, даже подкидышем) казака хутора Рыбного станицы Усть-Медведицкой (описание этого уголка Донщины см. в §§1-4 этой главы) Никифора Ивановича Пименова. Поэтому в нем могла течь любая кровь и, судя по скулам одной его дочери (Жени), можно думать (если только бабушка не согрешила), что текла калмыцкая. По той же причине точная дата рождения неизвестна, а год рождения - 1872. Впрочем, все точные формулировки из справки 1930 года, когда Ларисе Михайловне Пименовой важно было как можно сильнее прибедниться:

“Р.С.Ф.С.Р.
РЫБИНСКИЙ
Сельский
СОВЕТ
Усть-Медведицкого
района
Хоперского окр.
Н-Волжского края
20/VII-1930 г.
№ 247

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что Пименов Никифор Иванович действительно был гр-н хут.Рыбного У-Медведицкого района из бедной семьи, всегда занимался хлеборобством, сын его Михаил Никифорович до ухода в полк тоже занимался сельским хозяйством. За неимением верховой лошади на службу он пошел фельдшерским учеником (пешим) в 1-ю отдельную казачью сотню, где окончил фельдшерскую школу и остался на сверхсрочную службу в той же сотне, после чего получил звание офицера в 17-м Донском казачьем полку, что подписью и печатью свидетельствуется.

Предс/совета Аристов
секретарь А.Токарев(а?)

гербовая печать Рыбинского сельсовета”

Вся справка написана на тетрадном листе в клеточку почерком секретаря и теми же чернилами, кроме подписи председателя, которая химическим карандашом. На обороте почему-то стоит почти истершийся штамп:

“...документа засвидетельствовано. ... 17/6 1940 года за № 4047.”

Но в целом семейные предания не расходятся с этой справкой. У Никифора Ивановича были еще дети, но похоже, что никаких контактов с этими “родственниками” потомки Михаила Никифоровича не поддерживали.

Какая бы кровь не текла в Михаиле Пименове, он был богато одаренным человеком. Самостоятельно, по самоучителям выучившись французскому и немецкому языкам, математике, он сдал экзамен на фельдшера, стал войсковым фельдшером в казачьей сотне, потом доучился и дослужился до офицера-врача и к концу германской войны был уже есаулом (что по Табели о рангах соответствует ротмистру и пехотному капитану, а также коллежскому асессору, т.е. VIII чину). Это не подтверждается никакими документами, но семейная легенда где утверждает, где намекает на это. “Дедушка всюду возил с собой сундук математических книг”, - была любимая фраза моей матери (тот сундук, что погиб 10 июля 1942 года в Ростове). А почему ВОЗИЛ? Да потому, что у служащего жизнь была кочевая: сегодня тут усмиряют, завтра там наводят порядок. Михаил Пименов скитался вместе с полком, а дочери его рождались кто в Лодзи, кто под Полтавой, кто в Новочеркасске.

Его жена Валентина Васильевна родилась 22 октября (старого или нового стиля?) 1976 года то ли в Яранске, то ли в селе Харламовке Яранского уезда Вятской губернии. Отец ее Василий Харламов был кузнецом в этой деревне. Деревня и сейчас стоит, в ней живут исключительно одни Харламовы - сотня с лишним запутавшихся в родстве Харламовых, так что при отсутствии документальных нитей отыскать линию кузнеца Василия середины прошлого века - гиблое дело. Вопреки мифам, будто бы детям трудового народа был закрыт путь к образованию в царской России, Валентина получила достаточное образование, чтобы в 1901 году (в свои 25 лет) работать учительницей в Чебоксарах. Получала 15 р. Почему она обосновалась именно там, а не в другом месте, почему вскоре перебралась на Дон - неясно. То ли “на лечение” в теплые края, то ли родственники у нее какие-то в Новочеркасске были. Там она тоже учительствовала, и не позже 1904 года вышла замуж за Михаила Пименова. 23 марта (5 апреля) 1905 года у них родилась Лариса, 13 декабря 1908 года - Евгения, 15 мая (нового стиля) 1913 года - Зоя, 20 сентября 1914 года - Вероника. На фотографии около 1919 года вся семья изображена канонически: сидит устало развалившийся отец в мундире, на его колено положила локоть сидящая Зоя, на его плечо опирается стоящая Лара, правее, ни к кому не прикасаясь, стоит Женя, перед нею сидит Вероника,

положив голову на колено матери, которая сидит с журналом в руке. Мать в темном платье, почему-то очень напряженный вид, старшие девочки в форме Института благородных девиц (белые пелеринки), младшие девочки в домашних светлых с оторочками платьицах.

Ох, этот Институт! Страшенное название, закрывавшее все пути в советскую эпоху - а такое чудесное заведение! У одного из кретинов-совистериков (А.Левандовского) в мерзопакостной книжонке про Сен-Жюста брошена фраза: несмотря на то, что она обучалась в Благородном пансионе, она умела готовить обед и вести хозяйство... Разъясняю: да ведь как раз этому - как дешево и питательно сготовить обед, как заштопать дырку на платье, чтобы никто не заметил, как по-хозяйски и с улыбкой организовать жизнь себе и семье, как не бояться никакого труда для себя и семьи - учили Пансионы и Институты благородных девиц! Хотя Лариса родилась в Константинограде (переименован в Красноград) Полтавской губернии, отец уже обзавелся собственным домом в казачьей столице (см. §4) и выслужил офицерское звание. Тем самым дочери его заслужили право быть приняты в благородный институт. Воспитывать их в походных условиях было бы затруднительно. Разлучаться же с женою, оставив ее с детьми, - для чего же тогда жениться? Словом, Лару, а потом и Женю приняли в этот Институт. Было это заурядное такое учреждение: хорошо обучало домоводству, языкам, послушанию властям, трудолюбию. Французскому, например, выучили Лару так, что сорок лет спустя она - безо всяких книжек - научила меня основам французского прононса и главным оборотам речи и письменности. И научила так, что, когда в университете я стал заниматься французским языком в общепринятом порядке, мне не нужно было ни в чем переучиваться[196].

Валентина Васильевна Пименова.

Тем не менее от института у нее сохранились преимущественно томящие воспоминания. “Я была бедная, все меня презирали. Все ездили туда на извозчике или на своих лошадях привозили дочерей, а папочка приводил меня пешком. Или, придет пешком и принесет мне булочек покушать. Другим конфеты, шоколад носят, они надо мною смеются. Я плачу. А папочке говорю: не надо приносить булочек, нас здесь хорошо кормят.” Или, играя с мячом, она разбила портрет в кабинете директрисы - в окно влетел. Мука рвалась из ее голоса, когда и сорок-пятьдесят лет спустя она мне повествовала про охвативший ее ужас:

- Madame, pardonnez-moi! J’ai brise, c’est moi, brise Votre portrait! Pardonnez-moi! Votre portrait! C’est moi, moi... Je ne voulais point, pardonnez-moi.

- А директриса что? - спрашиваю я, в сотый раз выслушивая эту историю.

---

[196] Кроме одного французского “oui” (“да”). В Институте “ради благозвучия” учили произносить “уи”, почти как “ви”, с ударением на втором слоге и с неслоговым первым звуком, тогда как французы произносят “уй”.

- Она обняла меня, стала утешать: “Mais ne pleurez pas donc, mon enfant”. И мы долго плакали с ней вместе.

Про ту же директрису запомнила, как та повелительно произносила: “Пименова, не морщите лоб!” - и отучила-таки от этой дурной привычки, уродующей молодую девушку...

Лариса бывала счастлива, когда могла оказаться дома рядом с обожаемым отцом. А вот тремя годами младшая ее Женя, напротив, рвалась в институт из зависти сестре. И, кажется, ее приняли на год раньше положенного возраста.

“Грянули впоследствии разные хренации”, - поет поэт. Другим языком и трудно воспеть, пожалуй. Я так и не сумел вытянуть из моей матери всего, что она помнила про папочку. Покамест я был очень мал, она мне внушала, что он был убит на фронте, западном, в Галиции, при брусиловском, кажется, прорыве, в 1920 году. Ну, в ту пору я дат не ведал, все воспринимал на веру. К тому времени, как я вырос и просветился настолько, чтобы понимать, что - где имение, а где вода? - в 1920 году ни в какой Галиции не мог быть убит донской казак, сражаясь “на фронте”, я одновременно вырос настолько, что не только дед мой, но и мать и отец мои казались мне бесконечно далекими “предками”, их прошлая жизнь была чужая и неинтересная, я все сделаю лучше них, и нечего мне забивать голову ихней мурой. Словом, думать не думал про Михаила Никифоровича Пименова. Еще позже, когда я и даты знал, и закономерности понимал, и не только всеобщим прошлым, но и своим личным заинтересовался, мать моя отклоняла все поиски: “Ну, что ты ловишь меня на противоречиях? Прокурор ты, что ли?” - или: “Мало тебе, что уже сидел? Зачем тебя тянет копаться в чужом прошлом?” Но однако из разновременных реплик и проговорок я вынес твердое убеждение, что Михаил Никифорович перестал жить в 1920 году. Я склонен верить Жене, что в марте 1920 году в Новочеркасском соборе служили они всем семейством панихиду по нем. Вот только присутствовал ли гроб или была заочная панихида?.. Даже Жене было в ту пору меньше 12 лет, Зою и Веронику и спрашивать нечего. Мать же про ПАНИХИДУ никогда мне не упоминала. Она твердо знала, что единственная для нас религия - это атеизм, а ее воспитали, что всякую власть надо искренне чтить.

Сестры Пименовы. Слева направо: Лариса, Зоя, Женя и Вероника. Болшево, 1962 г.

До конца 1918 года, до бегства атамана Краснова вместе с удиравшими с Украины немцами, жизнь в Новочеркасске шла более

или менее заведенной чередой, и я не удивлюсь, если выяснится, что Женский институт функционировал бесперебойно до конца 1918 года. Потом, хотя красные и не брали Новочеркасска в 1919 году, через него потянулись такие войска, он так приблизился к фронтовой полосе, такая охватила и его, и Ростов разруха, что едва ли что-нибудь в нем могло правильно жить. А осенью 1919 года казаков и Белую армию стал косить сыпной тиф; когда красные вошли на тифозную территорию, тиф охватил и их. Страшно подумать, какое число генералов и офицеров (рядовые-то безымянны) попало в этот тифозный некролог. Больше, чем убито пулей. В конце декабря белые оставили Ростов, в январе красные вошли в Новочеркасск. В марте - “тяжелая работа, нелегкая судьба” - без отдыху и почти безо сна чекисты из НОЧКИ расстреливали уже не сопротивлявшихся офицеров и казаков из Новочеркасска. На мой запрос насчет свидетельства о смерти М.Н.Пименова архив ЗАГСа Ростовской области сообщил (1976), что книги за 1920 год “сохранились не полностью”, но моего деда нет в уцелевших записях за 1917-1923.

Мать мне никогда про “панихиду” не рассказывала, зато часто прорывалось ее воспоминание о пережитом страхе - "идут буденновцы". Собственно, и тут прямых слов не было. Ведь, как подметил один исключительно глубокий исследователь присталинской России, у советского человека с подсознанием на порядок сложнее, нежели у западного. Фрейд вот установил, что имеется "подсознание" (которое, правда, порой реванширует в виде невротически-психических расстройств). А у советского человека и самое сознание подчинено новому социально-психическому образованию, называемому "сознательностью". Это "цензор", который сидит в душе каждого человека и руководствует всеми СОЗНАТЕЛЬНЫМИ акциями личности. И моя мать РАССКАЗЫВАЛА не о своем страхе перед буденновцами. Она, грамотный советский человек, такого страха испытывать НЕ МОГЛА. Она рассказывала, что у них останавливался простой буденновец, или несколько человек их. И, уходя, один из них даже подарил кружку. Эта кружка хранилась потом в нашем семействе до этого артснаряда. К вещам, предметам обихода у нас вообще было отношение бережное, знали, как они трудно достаются... Да, так вот, повествование про сей светлый эпизод велось с интонацией и эмоцией, отнюдь не адекватной. Если не воспринимать СМЫСЛ, СЕМАНТИКУ, ПРЯМОЕ ЗНАЧЕНИЕ произносимых слов, а воспринимать лишь как музыкальную симфонию, то не было сомнения, что это - ТРАГИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ, что повествует о страхе, том ВЕЛИКОМ СТРАХЕ, куда входит и страх гибели, но и еще большой ужас, нежели один ужас смерти. Так как рассказ повторялся неоднократно, то порой встречались вариации: упоминалось, как "мамочка за всех нас боялась" (про покойную и воспитанную до революции МОЖНО было - сознательность допускала - предполагать, что она побаивалась органов советской власти в лице буденновцев, но сама-то грамотная Лариса Михайловна, к тому времени завуч советской школы, всякому сознательному человеку ясно, не могла никогда и на миг разделять подобных опасений!). И по крещендо интонаций, сопровождающих такие упоминания, можно было постичь - как постигаешь шопенгауровски-вагнеровскую Волю - ожидание Голгофы, царившее

в этом семействе в конце января 1920 года. Пять женщин, старшей 44 года, потом 15, 12, 7 и 6 лет. И судьбой предназначены как родственники белого офицера на поток. И достанутся именно тем, о ком столь наслышаны, как о бандитах и безжалостных зверях.

Но, кажется, обошлось. Во всяком случае, по свидетельству моего отца, Лариса сохранила девственность. И повезло еще в том отношении, что из дома их никто не вышвырнул: заурядный был домик, и не на бойком месте. Более того, сохранилась мебель

("Распродажа домашних вещей оказалось для многих неожиданно неисчерпаемым источником восполнения жизненного бюджета на протяжении ряда лет", - свидетельствует М.В.Сабашников в своих "Воспоминаниях" как раз про такие ситуации),

Сохранилась различная утварь (последнюю бабушкину розетку я разбил уже в семидесятых годах, а ее театральный бинокль и сейчас порой использую, хотя перламутр с него уже осыпается), кое-какие книги. Получив нужную закалку в Благородном институте, Лара немедленно взвалила на себя труд по содержанию семьи. Она стала шить на заказ (про домашнее шитье и говорить нечего - все умели) на ножной машинке "Зингер" (уже после ее смерти в 1969 году я отдал эту великолепную машинку Н.В.Гессе, а с ее эмиграцией она перешла Г.Дазмаровой). Стала чинить обувь - сапожная "лапа" и несколько кусков кожи завалялись в нашем семействе опять-таки до смерти Лары. Да и трудно назвать такое ремесло, за которое не бралась бы эта 15-летняя девушка. Но, конечно, конкурентноспособнее она могла быть и была в области знаний, культуры. Боже, до чего она красива на фотографии 1920 года! Так бы и влюбился и лелеял всю жизнь!

У меня не сохранилось никаких бумаг, из которых можно было бы извлечь сведения о ее учебе или судьбе до 18 лет (годы 1920-1923). В ее трудовой книжке, составленной в 1936 году, графе "образование" сказано: "среднее, удостоверение об окончании 4-й советской школы II ступени за № 956", но без даты выдачи. Первая запись о службе: с 11 сентября 1923 года "служба в Под'отделе Соцвоса в должности запасной воспитательницы" (со ссылкой на справку Новочеркасского окружного исполкома за № 20147, без даты), потом с 27 ноября 1923 года "служба воспитательницей в детдоме № 28, № 18, № 29 (со ссылкой на справку Ростовского окружного отдела народного образования за № 7395, тоже без даты) потом детдом № 8 (без ссылок). Хотя справка выдана ростовским ОНО, место работы находилось в Новочеркасске, что видно из другого документа, где уточняется, что это ведомство именовалось Управление Красным Детским Городком гор.Новочеркасска, что Пименова уволена "от занимаемой должности по сокращению штата". Видимо, очень туго было с работой, если в 20 лет ей пришлось отважиться на уезд из Новочеркасска в глушь и даль, как видно из отношения:

"Р.С.Ф.С.Р. Уполномоченному
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ х.Таврического 20-й сотни
Сельский Совет Настоящим Сельсовет ставит

НОВОЧЕРКАССКОГО РАЙОНА
Ростовского округа
13/XI 1925 г.
№ 601
С.п. Родионово-Несветайская

Вас в известность что т.ПИМЕНОВА Л.М. временно назначена на должность зав. школой Вашего хутора, а поэтому предлагается Вам совместно с Комсодом сдать таковой все дела и школьное имущество.

за пред/совета подпись /Яковлева/
Врид секретаря подпись /Карпинский/"

Родионово-Несветайская станица удалена от Новочеркасска километров на 60, вверх по реке Большой Несветай, ближе к нынешнему городку Новошахтинск. Никакими автобусами в ту пору, конечно, не пахло, железной дороги туда не было, так что одна поездка из Новочеркасска должна была занимать минимум пару дней. А хутор Таврический и еще в сторону. Но и там места нет:

"Вход. № 17
поступ. 22/XI-25 г.

ВЫПИСКА

из протокола № 7 заседания Род-Несветайского Сельсовета Новочеркасского района Донокруга от 20/X I-§3-а.

СЛУШАЛИ: Отношение Черкрайоно от 6/X 1925 г. на должность зав. школой х.Таврического № 20.

ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что постройка школы х.Таврического не закончена и в таковой занятий производить не предоставляется возможным, перевести т.Пименову в х.Дарьевку на должность второго учителя т.к. в Дарьевской школе на одного учителя приходится более 70 учащихся.

О перемещении поставить в известность ЧеркрайОНО.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно и препровождается зав. школой х. Дарьевки т. Аникееву для сведения

№ 716 22/XI Секретарь подпись /Карпинский/"

Надпись на левом верхнем углу и в нижних строчках сделаны разными чернилами. Хутор Дарьевка Еще дальше верст на 15 от Новочеркасска, нежели Родионо-Несветайская. Через год 24 ноября 1926 года Пименову повышают, назначая заведующей школой хутора Дарьевки, на каковой должности она оставалась до 11 августа 1929 года, т.е. до брака со Щербаковым.

Тяжело ей там было. Почему-то от дома, где она жила, до школы было далековато ходить степной дорогой. Один раз ее окружили волки, но она стала жечь одну за другой тетрадки и махать перед собой. Они расступались, она проходила, они смыкались и следовали. Дошла. И неимоверно закалила характер, сделалась само-стоятельной, само-державной. На фотографии 1925 года с надписью "Первый год в деревне. Еду в Дарьевку", она сытее, чем на фото 1920 года, дурацкая прическа, но все равно миловидна. А на фото 1928 года с надписью: "После болезни. 18 марта 28 г. Дарьевка, тяжело..." - словно вновь вернулась красота 1920 года, хотя в ушанке и закутана шарфом. Есть еще групповая фотография со сложной - и пошловатой, и многозначительной - надписью:

"Снова в хуторе, снова далеко, бесконечные степи кругом; наше поприще очень широко, только трудно работать на нем! (мотив "Бубенцы"). 28 год. 22/IX. X-й год. Товарищи, надеюсь, что это последний год. Кто за это, прошу подписаться! "Завша" Л.Пименова. "Шкрабиха" А.Быстрова. "Завпечками и веником" Иванова А."

Подчеркнутые слова позже были стерты: ведь исчисление бед на Дону велось с 1918/19. Сама школа, увы, на снимке не показана, только дверь и ступеньки крыльца.

Не все время Лариса пребывала в Дарьевке безвыездно. В 1926 году она съездила на летних каникулах в Ейск, хорошо покупалась в море, отдохнула и завела знакомство с одним врачом, который позже фигурировал как соперник Щербакову: когда, будучи на практике в

Северной Осетии, он звал ее к себе, она отнекивалась, что поедет лучше в Ейск, к тому знакомому. Не знаю, побывала ли в Ейске, но Осетию не посетила. Как уже упоминалось, в 1927 году летом в ростовском доме отдыха познакомилась с Щербаковым. Сохранилась ее фотография в этом доме отдыха - заурядная отдыхающая, без Ивана. Вообще, ни одной ее фотографии с Ваней не уцелело[197]. Она старательно изничтожила их после разрыва, а он то ли не сберег, то ли попустил уничтожить их тем женщинам, с которыми жил после Лары. Первая их карточка вместе - от 1943 года, снятая мною, любительски и плохо проявленная.

И.Г.Щербаков с Л.М.Пименовой. Новочеркасск, 20 октября 1929 г.

В доме Пименовых мало-помалу происходили перемены. Женя, за которой ухаживал Андрей Кузьмичев, отвергла его. Что уж было истинной причиной, не знаю, но в процессе их взаимоотношений имел место и такой эпизод. Андрей послал ей письмо - лирическое, чуть ли не признание в любви. Женя вернула ему это послание, ничего не ответив по существу, но подчеркнув красным карандашом все грамматические ошибки в тексте (их было немало, хотя в разряд ошибок попали и слова, написанные с соблюдением дореволюционной грамматики). К своим двадцати годам Женя подарила свое сердце другому избраннику, тоже Андрею, но Небольсину. Андрей Владимирович Небольсин был уроженцем Сибири, кажется, села Стенниково Курганской области. Подхваченный вихрем революции, он наподобие Щербакова стал чекистом, но в отличие от него не разочаровался в деле защиты завоеваний Октября, не имел крупных неприятностей на службе, а медленно, но верно, повышался, закрывая на замок границу сначала для чукчей-эскимосов, потом для одесситов, потом для поморов-мурманчан. Все чистки в ВЧК, ОГПУ, НКВД миновали его, и в самые годы ежовщины он доставал нам пропуска на трибуны на Красной площади, на майском параде, а погиб в 1944 году в чине полковника под Смоленском. Женя уехала с ним, так что Щербаков, начав бывать в доме Пименовых, ни разу не встретился с нею, о которой был столько наслышан, до самого 1946 года. Женя не только полюбила Андрея. Она впитала и его убеждения, несколько позже ее приняли в ВКП(б). И когда после побывки дома она уезжала к Небольсину, служившему в то время начальником заставы на Чукотке, она надписала на своей карточке: "На очень долгое время мы расстаемся. М.б. и навсегда. Я, Лариса - большевичка не шутя. 10/IX 1931, Ж." К этому времени Лара связала свою судьбу с Иваном, оппозиционность которого была очевидна, да, возможно, с сестрами была и пооткровеннее... А в искренности Жени мы еще будем иметь поводы

[197] При подготовке рукописи к публикации обнаружена совместная фотографии И.Г.Щербакова и Л.М.Пименовой в Новочеркасске в 1929 г. (изд.).

убедиться. К слову, она единственная из сестер, кто, вступая в брак, сразу же взял себе фамилию мужа.

Зоя в 1927 году поступила на инженерно-механический факультет Донского политехнического института. Дата мне представляется несуразной, если вспомнить год ее рождения 1913. Но в апреле 1928 года она уже посылала с этого факультета Ларе фотокарточку с соответственной надписью - по ней я и датирую. Что именно в ее официальных документах сфальсифицировано, я не знаю, но не допускаю мысли, чтобы друг дружку они обманывали. К этому времени Политехнический уже перебрался из Новочеркасска в Ростов, так что Зоя тоже редко бывала дома. Но бывала. И даже приобрела домашнее прозвище "Зоя-миротворица". Вероника же до середины тридцатых годов безотлучно жила с матерью, Валентиной Васильевной. Лара делала попытки поступить в вуз, но ни одна не удавалась. Ведь нужно было указать, где училась - до революции и после (помните анкету Щербакова, п. 6). Хорошо было Зое: она так молода, что никто не спрашивал про ее ученье до революции, а про отца можно было отписать, что-де мала была и не видела отца в семье (как 65 лет спустя сделала моя дочка, поступая на физфак). Ларе же никуда не уйти было от Женского института, после чего ее, даже приняв как-то по недосмотру, незамедлительно вычищали. Хотя я сильно забегаю против хронологии, но для полноты характеристики СЕМЕЙСТВА Пименовых надо обрисовать мужей прочих сестер. Зоя в тридцатых годах вышла замуж за ленинградца, даже питерца Ореста Николаевича Макарова - хмурого партийца, штурмовавшего Кронштадт в 1921 году. Он был из рабочих, приобрел специальность инженера-электрика и был из провереных-перепроверенных. Например, при строительстве Большого Дома в Ленинграде был допущен монтировать электропроводку в нем. По-моему, он был искренне убежден во всем, проповедовавшемся во времена Сталина, и с неодобрением относился к Хрущеву. Умер в 1971 году. Сама Зоя все-таки в партию не вступала, мужа пережила. Вероника тоже в тридцатые годы вышла замуж за Иллария Яковлевича Чеснокова, этакого типичного партийца-весельчака. Он был геологом, занимал какие-то крупные посты на Колыме, а потом в аппарате Министерства геологии под конец жизни (умер в 1970 году). Сама Вероника работала мелким клерком, но в министерских аппаратах, в частности, до конца своей карьеры - в аппарате О.В.Пеньковского. В партию не вступала. Мужа тоже пережила. Резюмируя, можно сказать, что все, кроме Лары выходили замуж именно так, как "требовала закономерность": за перспективных при этой власти женихов. "Капитанские дочки" тянулись к новому дворянству.

Как уже рассказывалось, Лара и Ваня встречались в свои дни и недели отдыха, встречи их были чем-то вроде праздника. Помимо неизбежных разговоров о том, что есть Любовь, какой она должна быть, и встречается ли еще Любовь в наше время, которые возникали во всякой компании, в которой присутствовали, они наедине делились своими литературными вкусами и читали друг другу стихи. Лара успела в свое время прочитать (вряд ли полностью) и Мережковского, и Достоевского, и А.К.Толстого. Она тоже была воспитана на “Чтеце-декламаторе”, но не на том, что я цитировал в §4, а на дореволюционном. Увы, он у меня не сохранился, хотя вроде

бы был до последних лет у моей матери (или Зоя себе забрала?). Помню одно стихотворение З.Гиппиус, которое и мать знала, и Зоя побудила меня выучить наизусть в моем отрочестве:

"По горам, среди ущелий темных, где гремел осенний ураган, шла толпа бродяг бездомных к водам Ганга из далеких стран. Под лохмотьями худое тело от дождя и ветра посинело. Уж они не видели три дня ни приютной кровли, ни огня. Вдруг вдали, во мраке непогоды что-то там мелькнуло на пути. Это храм, к нему под своды нищие спешат взойти. Перед ними на высоком троне Сакья-Муни, каменный гигант. У него в порфировой короне исполинский чудный бриллиант. Говорит один из нищих: "Братья! Ночь темна, никто не видит нас. Много хлеба, серебра и платья нам дадут за дорогой алмаз. Он не нужен Будде: у него, царя небесных сил, светят краше груды бриллиантовых светил в чистом небе, как в лазурной чаше". Подан знак - и вот уж по земле воры тихо крадутся во мгле. Но едва притронуться к святыне трепетной рукой они хотят - вихрь, огонь и громовой раскат, повторенный откликом пустыни, далеко отбросил их назад. И от страха все окаменело. Лишь один, спокоен, величав, из толпы бродяг выходи смело, говорит он Будде: "Ты неправ. Или нам жрецы твои солгали, что ты кроток, милостив и благ, что ты любишь утолять печали и, как солнце, разгоняешь мрак? Нет, ты мстишь нам за ничтожный камень! Нам, в пыли простертым пред тобой! Это ты - с бессмертною душою?! О, стыдись, стыдись, Владыка Неба! Ты воспрянул, грозен и могуч, чтоб отнять у нищих корку хлеба? Царь царей сверкай из темных туч, грянь в безумца огненной стрелою - я стою, как равный, пред тобою и, высоко голову подняв, говорю пред Небом и Землею: самодержец мира, ты - неправ!" Он умолк. И чудо совершилось: чтобы снять алмаз они могли, изваянье Будды преклонилось головой державной до земли."

И вот, состязуя Гиппиус с Верхарном, они вполне напряженно-радостно проводили те редкие дни, что виделись. Не знаю, читала ли ему Лара Пушкина? Еще ее отец научил ее любить Пушкина, не столько за поэтическую форму, однако, сколько за человечность. "Вот, послушай, Ларочка, - говорил он ей. - Как озлобленно пишет Лермонтов, как он всюду видит только страницы злобы и порока, и как мягко, глубоко охватывает все это же Пушкин!" И, если читала Ване, то тот, конечно, тут же подхватывал вызов и "перешибал" Пушкина Маяковским, модулируя голосом, взмахивая рукой, всем туловищем порываясь в восторг, в раскаты Грозы Революции! И девушке, которая изо всех сил рвалась войти в этот новый мир своею, принять и понять его, как свой собственный, импонировал этот декламатор. Да он и внешне недурен собою был. Разве что лысина портила: он уже в двадцать с небольшим практически напрочь облысел. Но лысину он скрывал, не снимая кепку, а как раз по краю кепки у него росли еще волосы, так что мог произвести впечатление кудрявого.

В июле 1929 года Лариса Пименова сумела поступить в вуз, ликовала и на радостях приняла приглашение Ивана Щербакова, который с апреля находился на практике в Карачаевской автономной области, и вся светящаяся от возбуждения, примчалась к нему, еще

не жить вместе, потому что и он там временно, и она вернется к себе, но поделиться счастьем. Добираться было трудно: сначала через Невинномысскую до Баталпашинской[198], потом далее к югу и вверх в горы до Микоян-Шахара[199], оттуда ущельем вверх по течению Кубани до впадения реки Уч-Кулан в Кубань. Это уже Приэльбрусье, но Тырны-Ауз, Терскол и современные подъемники-канатки левее, восточнее, по ту сторону Эльбруса, где серебряные рудники. Иван крайне гордился, что побывал в таких сказочных краях, он себе там даже приобрел трость с серебряной накладкой-надписью "Кавказ. Учкулан. 16/IX 1929". Она сейчас висит у меня на стенке. Кто любит горы, тот неотрывно любовался бы оттуда крокодильей пастью Эльбруса или же сунулся бы к перевалу Чиперазау (широко известный Клухорский перевал со всем Домбаем остался далеко правее, к западу).

Но Лариса не любила гор. Ей там было тесно. Это - первое разочарование. Люди там по-горному доброжелательны, но они не любили русских[200] и уж совсем хмуро взирали на девушку в легких туфельках. "Никого там не было", - выражаясь распространенным штампом. Это - второе разочарование. У Щербакова уже было много женщин, но это не препятствовало ему остаться совершенно неграмотным в эротических вопросах, даром, что анатомию и физиологию полового аппарата проходил. А девушки, как известно, далеко не сразу начинают испытывать удовлетворение даже в объятиях мастеров овидиевой науки. Это - третье разочарование. (Впрочем, в этом пункте разочарование было не до конца. Когда при прощании она молвила было, что скорее всего не вернется к нему, потому что зачем? Все равно ничего не было, никакого удовольствия (говорилось не такими обнаженными словами, а всей совокупностью женской речи, но Щербаков сумел только так их сформулировать), то Иван дико рассвирепел, схватил, повалил и по-бычьи удовлетворил-таки "Леду".) Зато тем худшее разочарование ждало Ларису дома - в институт ее не зачислили-таки, отказали! Единственное, чем всерьез порадовало ее так много обещавшее лето - ей удалось перебраться из опостылевшей Дарьевки в станицу Красюковскую (тоже

---

[198] По капризу князя Г.Потемкина станица основана и названа по имени РАЗБИТОГО там русскими казаками врага русских Батал-Паши. По велению Сталина позже переименована в Сулимов по имени Д.Сулимова, председателя Совнаркома РСФСР между Сырцовым и Булганиным, а после расстрела Сулимова - в Черкесск. В автобиографическом романе В.Максимова эти названия перепутаны.

[199] Прежде именовалось поселение Георгиевское, в 1944 году переименован в Клухори, чтобы убрать карачаевское слово “шахар” - “город” и щелкнуть Микояна, возражавшего против выселения карачаев; после Сталина назвали Карачаевск.

[200] Карачаи были присоединены к России в 1828 году, по-видимому, со стороны Кабарды (с востока), ибо западные и северные соседи их, в том числе течение Кубани ниже устья Теберды, завоеваны российским оружием только в 1840-1850 годы, а южные (сваны) - в 1858 году. В 1850-1860 годах карачаев вместе с западными и северными соседями куда-то выселяли, когда они вернулись - не знаю. В Гражданскую войну у карачаев было самостоятельное эсеровское правительство, боровшееся и против Деникина, и против Кирова. В 1929 году среди них зрело восстание, которое разразилось в 1930 году, длилось несколько месяцев и было подавлено только с самолетов после длительный переговоров и уступок им. (Обо всем этом дурак Некрич в "Наказанных народах" не пишет. Типичный совисторик, только с противоположным знаком.) В 1940-1950 годы их выселяли в Среднюю Азию, вернули при Хрущеве, но подготовку к возвращению начали еще при Берии.

завшколой), что всего в 12 километрах от Новочеркасска по железной дороге. Теперь можно было каждую шестидневку (тогда были шестидневки, потом пятидневки, лишь в 1940 году их заменили неделями, т.е. семидневками) бывать дома. Впрочем, я не знаю, как тогда ходили поезда.

Щербаков остался продолжать практику (карачаевская порода коров одно время фигурировала в учебниках как высокопродуктивная, так что непременно там побывать надо было ветеринару), ненадолго вернулся в Новочеркасск, пришел к Пименовым уже как зять, и Валентина Васильевна его угощала пирогами, после чего снова умчался на другую практику в другом месте (по лошадям). К слову, во время этого "празднования свадьбы" у Пименовых имел место символический эпизод. Гостей было мало: свои да пара приятелей Ивана. Никакой формы регистрации, никаких смен фамилий, никаких колец - так было принято тогда, "по-революционному", "без буржуазного ханжества". Но что-то ели, что-то пили, шутили и всяческого хорошего желали. В разгар веселья Валентина Васильевна вспомнила, что у нее в погребе зарыта со времен чуть ли не ее с Михаилом Никифоровичем свадьбы бутылка коньяку. Все воодушевились, слазила она в погреб, принесла, разлила, выпили - "уксус, чистый уксус!" - до старости с ужасом восклицал мой отец, не дурак выпить. Но никто не подал виду, не обидели старушку (53 года). Зато позже при ссорах с Ларой Ваня вспоминал, что так ведь оно и было ему пророчено: вместо коньяка - уксус! Кстати, Иван Щербаков родился под знаком Близнецов, а Лариса - под знаком Овна. По гороскопу сочетание этих двух знаков делает возможным дружбу и любовь, но сходства характеров - нет. По восточному же гороскопу Иван родился в год Тигра, а Лара - в год Змеи, а такие пары решительно не подходят друг другу и приносят несчастье. Впрочем, остальные характеристики в этих гороскопах с трудом применимы к Ларисе и Ивану.

Хотя уже числясь мужем и женой во всеобщем мнении, жили они еще порознь, в разных городах. Но когда он получил диплом и был направлен в распоряжение Майкопского окружного ЗО или ЗУ, которое адресовало его в Лабинский район село Мостове или Мостовское, километров 30 к югу в предгорья от Лабинской[201], то она уволилась из Красюковской школы и приехала к нему. Тут у них сразу же затеялись раздоры. Места в школе в Мостовском не было. Ожидалось, что вскоре освободится место по другую сторону Лабы, но покамест - не было. Зато было место в дальней школе, километрах в 50 в горы. Лара не хотела ждать. Диктовало ли ей нежелание ощущать материальную зависимость от мужа; опасалась ли она, что

[201] Железная дорога (еще дореволюционная) тогда доходила только до Лабинской (ныне Лабинск). Ветка южнее протянута лишь в конце тридцатых годов. Течение реки Лабы (левый приток Кубани) завоевано русским только в 1840 году, когда тут была установлена так называемая Лабинская линия, но и к востоку, и к западу, и к северу, и к югу еще жили "немирные горцы", т.е. сражавшиеся за свою независимость. В частности, числившийся в описываемое время столицей округа Майкоп, был завоеван только 1860 годах, когда вошел в состав так называемой Белореченской линии. Разумеется, ни Иван, ни Лара не воспринимали себя колонизаторами и не проводили параллели между собой и англичанами в Индии. (Именно поэтому Индия будет наша - нам не помешает то стеснение, которое испытали англичане.) Ни одного слова из языков коренных народностей они не усвоили, само собой.

перерыв в трудовом стаже еще больше затруднит желанное высшее образование; взыграло ли натуральное намерение показать, кто будет главным в семье; жаждала ли она, чтобы муж ее по-настоящему приструнил или умышленно злила, чтобы еще раз пережить "бычье" удовольствие[202], - в мешанине подобных страстей никому не разобраться. И Лариса уехала на хутор Ершово Соколовского сельсовета, за полста верст от молодого супруга. (Это - единственный населенный пункт, которого я не отыскал на картах.)

Я не удивился бы, если бы Иван просто не заметил ее отъезда: жить вдвоем он еще не привык, а работы на него навалилось невпроворот: свирепствовало зараз несколько эпидемий, из которых наиболее - ящур (скотину сгоняли в крупные стада и она делилась своими заболеваниями - об этом коллективизаторы не думали). А население не очень-то доверяло ветеринарным врачам вообще, в год коллективизации хмуро смотрело на каждого нового начальника, а тут по аулам да станицам искони привыкло владеть оружием и пользоваться им... Не раз Щербакову и второму ветеринару приходилось отказываться от проведения прививок под дулами наведенных на них ружей. Не раз - удирать из-под топора, за который хватался хозяин околевшей лошади или павшей коровы. А то и в суд на него владельцы подавали или заявления "в район" строчили. Где уж тут деликатность чувств ощущать! Он-то всегда был склонен скорее самозабвенно погружаться в работу, нежели волноваться чужими переживаниями.

[202] Не такая уж это редкость. Вот Руссо вспоминает, что в детстве он испытал наслажение от обстоятельств, сопутствовавших порке. Так он впоследствии умышленно дерзил гувернантке, "шалил", дабы та разгневалась и высекла его.

ГЕНЕАЛОГИЯ ЛАРИСЫ (Схема)

Р.И.Пименов (в тюбетейке) на фоне дома деда. Ростов, 1935 г.

Глава 3

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

§1. Бешеная собака помогает мне появиться на свет

Щербаков в Лабинской, возвращение Лары; мое рождение; гороскоп и хироскоп; подлог с метрикой; мобилизация в соцсектор; развал семьи; Щербаков женится на Терпонасян; голод в совхозе “Кубанец”; “вредительство”; Пименова кончает пединститут

Итак, моя - пока еще будущая - мать Лариса Пименова 31 марта 1930 года уволилась из Красюковской школы и приехала в село Мостовское Лабинского района, где с 5 марта уже работал мой - тоже будущий - отец Иван Щербаков. День ее рождения - 5 апреля - они “отпраздновали” вместе, но уже с 12 апреля она работала на хуторе Ершово в нескольких десятках верст от Мостовского, где остался Ваня. У нее от этого Ершова остались самые гнетущие воспоминания, у него от деятельности в Лабинском РайЗО - только профессиональные. Уж я не стану пересказывать его саги о том, как он там дозировал прививку от ящура (“перезаражение”, употребляя технический термин), или спорил с милиционером, травить ли больных сапом лошадей стрихнином или стрелять их. Милиционеру было жаль лекарства с неведомым и таинственным названием “с-стри-ии-их-хни-н”, а постреливать он любил. Но лошади при расстрелах ведут себя не так послушно, как люди, а безумствуют, вырываясь. Щербаков даже и не пил практически в это время. Разве изредка, заходя домой к жившему там ветфельдшеру, который тоже пил не часто, но иногда по-семейному угощал. С ним он встречался не только по работе, но и подружился, поэтому был несказанно изумлен, когда овчарка фельдшера вдруг вздыбилась на него, Ивана, и укусила пару раз за икры, а потом убежала. Ведь она его прекрасно выучила, и хотя хвостиком не виляла, но спокойно пускала во двор и в дом, провожала с хозяином. А тут - такой афронт. Не брюк было жалко Ивану. Он так давно околачивался в горах и предгорьях, что не успел заметить кончины нэпа, рождение которого столь волновало и возбуждало его восемь-девять лет назад. При нэпе купить штаны было не проблема, а вот когда тем же летом 1930 года Иван съездил по делам в Новочеркасск и Ростов, тогда он увидел, что потеря штанов - потеря невозместимая. Что все костюмы исчезли, слизнуло их, они уже НИЧЕГО НЕ СТОЯТ за отсутствием предмета стоимости. Нет, о штанах он еще не догадался пожалеть. Но он же был культурный ветеринар и знал, что собака ни с того ни с сего не покусает, если она не бешеная. Подумать на собаку своего хорошего знакомого, что она - бешеная, вроде бы неприлично. Обидно знакомому. Тем более, что собака вернулась с речки, бегает по двору как ни в чем не бывало, никого больше не кусает... Но, с другой стороны, он знает, что в округе широко распространено бешенство. С третьей стороны, выученные в институте правила “техники безопасности” настоятельно требуют в таких случаях: а) собаку немедленно пристрелить или изолировать, б) человеку произвести прививку от бешенства (вакцина Пастера). С первым предложением Иван обратился к фельдшеру, владельцу собаки, но тот его высмеял и сажать овчарку на цепь отказался. Второе, то бишь прививку, жившая там врачиха готова была бы сделать, считая,

впрочем, мысль о ней блажью и трусостью молодого специалиста, да не было у нее ничего необходимого. Стала отговаривать:

- Да зачем Вам прививаться? Заприте собаку и понаблюдайте за ней. Если увидим, что она взбесится, тогда и проведем Вам прививку.

- Ну, знаете, Вы просто неграмотно рассуждаете! Да я же раньше заболею, чем у собаки проявятся наружные признаки бешенства!

Словом, поколебавшись пару дней - не засмеяли бы - Щербаков все же спустился по Лабе в Лабинскую, дабы привиться там. Там вакцина имелась, начали ее ему научно вводить. А процедура сия медленная, не одна неделя нужна. Прошло, кажется, недели три, прежде чем его выписали из больницы и он вернулся в Мостовское. Первым его встретил фельдшер, владелец покусавшей собаки:

- А собачка-то взбесилась. Пришлось пострелять.

Так педантичность и следование инструкции были зримым образом вознаграждены безотлагательно. Но это еще не вся награда. Ведь Ваня и Лара переписывались, он ей и про собаку и про то, что умнее врача оказался, не мог не написать. И фельдшер в его отсутствие, когда заметил бешенство своей овчарки и забеспокоился об Иване, тоже по своей инициативе жене Ивана написал. Людей в горах мало, они внимательны друг к другу. Так что Лара мгновенно проведала про беду, постигшую ее мужа, встрепенулась и примчалась к нему.

Ведь она же любила его, хотя и была неуступчива. Ну, поссорились они, но ведь теперь же БЕШЕНАЯ СОБАКА! Да и ссора ли то была? Стоило ли думать о прошлом? Ведь ПОКУСАННЫЙ ИВАН - это совсем другой Иван, он переменится, будет чуток, не позволит себе, как прошлый раз... А что было “прошлый раз”? Как живую картину представляю себе, с каким внутренним ликованием выезжала Лара из Новочеркасска в конце марта и эту треклятую Лабинскую: они приедет к Ване как раз к своему дню рождения, и они вместе и только вдвоем чудесно его отпразднуют! И вообще-то она всегда была чувствительна к этому дню - Дню Рождения, а тут столь знаменательная дата Двадцать Пять Лет! День рождения - любимый рядом, такой чуткий, заботливый, предупредительный... Естественно, что она видела не реального Ваню, а свое собственное романтическое представление о возлюбленном. Ее представление о празднике и счастье было, как у большинства женщин, крепко увязано с идеей цветов, букетами, корзинами, венками... “Ты живешь без черемухи” - было в ее устах самой решительной формулой осуждения. А выяснилось, что и цветов-то Ваня не заготовил (в аулах, где цветы растут на обочинах, к ним отношение иное, нежели у горожан), и вообще едва не позабыл про великий праздник. Даже о работы не сумел избавиться на этот день, бегает по своим коровам-свиньям! И в комнате никакого уюта (он всю жизнь жил по-спартански, хотя аккуратно). Конечно, она обиделась. Но грош была бы ей как воспитанной женщине цена, кабы она так в лоб и сказала бы Ване, НА ЧТО обиделась. Он бы, пожалей, еще за цветами сбегал бы, и выпросил бы у соседей лишний ящик для исполнения обязанностей стула или стола. Но разве такому “вниманию по подсказке” можно радоваться? В любви ценится только то, что дается без просьбы, без подсказки, без вынуждения - и в точности

совпадает с невысказанным наличным желанием. “Сам должен почувствовать, что так надо”. И она стала давать ему понять, какой он ВООБЩЕ нечуткий - то тем, то этим. Он до какой-то минуты просто ничего не понимал, о чем это она, а когда было сказано достаточно много, то взъярился, пошел грубить. Ну, тогда она решила его проучить и ухватилась за возможность уехать, авось побежит за нею... Но он не едет, урок пропал впустую, длить его бессмысленно - и вот подворачивается такой прекрасный предлог, чтобы вернуться, не роняя лица и не признавая своей неправоты, что было бы педагогически неправильно... Сумбур? Но жизнь наша в общениях с женщинами и состоит из таких сумбуров, и блажен тот, чья ладья умеет плыть по компасу в магнитной буре мщений за кажущиеся обиды.

Словом, она примчалась. Благо наступали летние каникулы. Тут у них начался медовый месяц, длился он два месяца: июль-август. Так я был зачат. Пусть грядущие поколения специалистов по генной инженерии устанавливают, мог ли фильтрующийся вирус бешенства и сопутствующие ему энзимы повлиять на зародыш и на мой темперамент. Во всяком случае, когда я прежде впадал в бешенство (увы, и это в прошлом; уже долгие годы, как я ни на кого и ни на что не рассвирепевал до бешенства...), я всегда себя оправдывал: ведь я был зачат слюною бешеной собаки, мне 100% скидки! В период примирения и любви супруги нашли компромиссное решение дилемме работать Ларе в Ершово или в Мостовском. На очень короткое время - на сентябрь - она согласилась переехать под Мостовское, в станицу Зассовскую, но далее они вообще уехали из Мостовского. Не домой в Новочеркасск или в Ростов, конечно, хотя Лара давила именно в этом направлении. Щербакову еще предстояло отрабатывать свою контрактацию три года. Но с гор - в степи. И севернее. И ближе к “центру”, “культуре”, к железной дороге, словом[203]. В пределах Майкопского округа, но в другой район его, в станицу Дондуковскую (у меня в метрике и паспорте ошибочно написано “Дундуковская”, а у матери в трудовой книжке “Долсуковская”). Там и ветеринарный участок был расположен превосходно, и жилищные условия ветеринарам созданы были шикарные.

Комический эпизод. Эти прекрасные условия были вырваны дерзостью одного сподвижника по ВЭО ранее упомянутого проректора Балашова. Тот, тоже член правления ВЭО и в ту пору начальник окружного ветупра, заехал как-то в родную Дондуковскую и ужаснулся, как безобразно плохо оборудован в ней ветучасток. Ни помещений, ни условий, ни для людей, ни для скота. Ну, пошел он плакаться в партком той же станицы, и очень уж ему приглянулся дом парткома: и дом просторный, и сараев подсобных много, и двор, пригодный для приема животных. Пьет он с секретарем парткома и приговаривает: вот кабы вы этот дом ветеринарам уступили, мы бы вам все эпидемии в мире ликвидировали! А тот с пьяными слезами отвечает, что ему, мол, для хорошего человека ничего не жалко, не то что дом с участком, и жену и мать готов отдать. Но один-то пьян

[203] Дондуковская с конца прошлого века стояла на линии железной дороги, ведшей в Туапсе. Тянуть же ветку к Майкопу и южнее от Белореченской начали только в 1931 году. Собственно, в эти месяцы столица округа размещалась в Дондуковской, а в Майкоп была перенесена позже.

был, а второй собеседник - прикидывался пьяным. И вот он взял и тиснул в газете, что, мол, в осуществление выдвинутого партией лозунга “Лицом к деревне” партком УСТУПИЛ свое здание и прочие строения ветуправлению, выражал от имени больного скота горячую благодарность и заверял. Областная редакция охотно напечатала такой отклик на указание Свыше, что, дескать, партийные и советские руководители на местах благородно повернулись лицом к деревне. А в парткоме, прочитав уже вышедший номер газеты, крякнули, матюкнулись, но делать нечего, перебрались в другой дом, а этот достался ветеринарам. Было это примерно за год до приезда Щербакова, так что того пронзило, что здание было не деревянное, а каменное, просторное, много подсобок, а стационар был даже оснащен микроскопом.

Итак, с начала октября 1930 года мои родители оба уже работают там: Щербаков ветврачом, Пименова учительницей. Они туда переехали даже втроем, ибо в Мостовское к ним приехала Валентина Васильевна, которая последовала и в Дондуковскую. Правда, она жила с ними недолго: когда Лариса получила декретный отпуск перед родами, они обе уехали домой в Новочеркасск. С тещей Иван уживался хорошо, лучше, чем с женой. Там, в Новочеркасске я и родился в 4 часа утра (не знаю только, как тогда было сдвинуто время) 16 мая 1931 года, в субботу, т.е. “опоздав”, ибо по астрологии мой счастливый день - Пятница.

Мне когда-то Валерий Сухов составил правильный, “научный” гороскоп с учетом всех светил и часа рождения. Увы, не сохранился гороскоп, умер и Валя... Но согласно восточному гороскопу, я родился в год Овцы (она же Коза), а люди, родившиеся в год Овцы,

“имеют способности в области изящных искусств. На первый взгляд, все у них складывается удачнее других, но они часто бывают застенчивы и беспорядочны. Они всегда отстаивают свои интересы, нередко любят свое дело. Денег у них, как правило, достаточно. “Не пускайте Козу на свою дачу - все объест!” Идеально подходят им как друг и спутник жизни Кролик, Кабан, Лошадь. Более или менее подходит Тигр, Дракон, Овца, Обезьяна. Решительно не подходит и приносит несчастье Вол и Собака. То же относится к годам с соответствующими названиями”.

Черт бы побрал того, кто скажет, будто бы у меня “денег достаточно”! Да и изящные искусства, видит Бог, мне не по зубам. Хотя, впрочем, нашлись кретины, которые после моей статьи о Глазунове стали обращать со мною как с заправским критиком по живописи, на выставки звать. А вот интересно, что год Собаки был всегда для меня годом тяжелых событий: 1946, 1958, 1970, 1982.

Согласно европейской астрологии я родился под знаком Тельца, он же Бык:

“Знак Земли под покровительством Венеры. Характер застенчивый, натура эмоциональная. Знаку Земли Телец обязан силой и здравым смыслом, но Венера придает солидному и практичному Тельцу мягкость, любовь к комфорту. Чувственность и лень - два противоречивых желания - делают его существом сложным. Он любит материальные блага, вместе с тем расточителен.

Стремится к уюту, но часто неряшлив. У него страсть - найти радость. От Земли берет неисчислимые силы. Обладает здоровым инстинктом животного. Телец капризен, упрям по мелочам, но в общем обладает характером спокойным, податливым, терпеливым. Он любит завязывать знакомства с людьми высокопоставленными, влиятельными. В свое отношение к людям вносит много элегантности и капризности. Любит искусство и архитектуру. Отличные строители и декораторы, портные, повара. Могут проявляться в декоративной живописи, прикладном искусстве, моделировании одежды, декоративном искусстве, создании кожаных изделий. Счастливый цвет - зелено-желтый и ржавый, камень - изумруд, металл - медь, талисман - сова, день - пятница, буква - N (“ню”), символ - алхимик, число - 14, существо - регенерация, характер интеллекта - терпимость, характер эмоций - воздержание, характер действия - нерешительность. Наибольшее соответствие характеров: Дева, Козерог, Телец, Дружба-любовь с Раком и Рыбой. Отсутствие понимания со Львом и Водолеем. Противоположность, но и дополнение - Скорпион”.

Следя этот перечень профессий, вижу, что не ту дорогу избрал в жизни. Впрочем, что такое геометрия, как не вышивание гладью? Первый гороскоп распределял в крупные группы по годам, второй - по месяцам, а вот третий, распределяющий чуть ли не по неделям. Согласно травяному-древесному гороскопу, родившиеся 15-24 мая,

“рождены под знаком Каштана и суть Справедливые, Красота Каштана не каждодневная, выигрывает лишь при близком знакомстве, ибо он не стремится к вниманию. Обладает высоким чувством справедливости, реагирует живо, способен бороться за какое-нибудь дело, но способен и отстраняться. Это врожденный дипломат. В любви утонченный, изощренный. Нелегко находит партнеров, хотя к этому очень стремится. Если любит, то лишь раз. В обществе щепетилен, раздражителен, чувствителен, неприспособляем, но все это из-за неуверенности в себе. Поэтому часто принимает позу высокомерия, а в действительности страдает, если не находит понимания и отклика. В семейной жизни очень предан и рассудителен, необычайно расторопен и предприимчив в привычных домашних делах. Судьба Каштана больше зависит от обстоятельств и других людей, он всю жизнь борется с превратностями судьбы, не получая удовлетворения. Люди этого знака: Жан-Жак Руссо, Бальзак” -

и, добавлю я, А.Д.Сахаров, Э.С.Орловский, Л.Я.Волохонский, М.А.Булгаков. А насчет того, якобы Каштан “никогда не получает удовлетворения”, то вранье это: я сотни, тысячи раз получал удовлетворение в жизни. Как-то пару лет назад остановила меня цыганка и начала стереотипное “гадание”: преследует-де тебя судьба, не знал ты в жизни счастья... Я расхохотался и со словами: “Тут ты врешь, я в жизни был очень счастлив. Дай Бог твоим детям и внукам столько счастья, сколько мне в жизни выпало”, - дал ей монету и ушел. Конечно, если толковать Удовлетворение как достижения Сверхвысокой Цели, единственной и глобальной, то я ее

не достиг, но кто из живущих мог бы сказать прижизненно, будто - ДОСТИГ?

Тут еще надобно было бы приложить рисунок линий руки, но на машинке я не умею размножить его, так что снимок моей ладони останется для хиромантов в одном экземпляре в моем архиве. Несколько самых бросающихся в глаза хирологических признаков моей ладони. Четко и глубоко выраженная линия жизни, тянущаяся лет 90, если бы не встреча-слияние-пересечение ее то ли с линией здоровья, то ли с линией судьбы (сверка по правой руке уточняет - слияние с линией судьбы) где-то в районе лет 70 (сверка дает - 50, а потом разрыв линии, вещающий либо смерть либо тяжелую болезнь). Параллельно линии жизни идет неплохо выраженная линия Марса, что, как известно, подкрепляет и так уже явно выраженную незаурядную жизненную силу. Линия жизни изборождена многочисленными препятствиями, но ни одно из них не приводит к прерыванию линии жизни, из чего можно судить, что до того времени, когда “жизни у тебя уже не будет, а будет одна судьба”, все препоны будут преодолеваться. Хорошо развит бугор Венеры со многими сладострастными черточками. Линия головы поздно отходит от линии жизни, что означает поздно проявившуюся оригинальность и самостоятельность. Линия здоровья довольно слабо выражена, что означает весьма крепкое здоровье. Линии, отмечающей склонность к оккультным наукам, нет. Многочисленные и длинные линии, восходящие к пальцу-Аполлону, свидетельствуют о даровании в области искусств, литературы, поэзии, интеллекта. Туда же восходит линия Судьбы. Никаких признаков административных успехов. Множество угроз, протянувшихся от Сатурна. Линия сердца вещает множество детей, полтора брака, а ее завершение на бугре Сатурна намекает на жестокость в любви. Двойная браслетка, что, как известно, является хирологическим признаком громадного везения и такой удачливости, что “просто диву даешься, как это ему с рук сходит!” Пальцы - средней интеллигентности, недурной приспособляемости. Никаких узлов. Ногти свидетельствовали до примерно 50 лет о хорошем обмене веществ, потом появились пятна и бугристости.

Графологические признаки будут сообщены позже, когда выучусь писать, а отпечатки моих пальцев спрашивайте во многих тюрьмах Советского Союза: во Владимирской, в Калужской, в Красноярской, в двух Ленинградских, в двух Московских, в Новосибирской, в Свердловской, в Сыктывкарской, в Ярославской. Впрочем, стоп, Московскую, точнее Бутырскую, равно как и Сыктывкарскую, что стояла на улице Домны Каликовой, тюрьмы снесли. Да и непонятно, где нынче архив политического корпуса Владимирской тюрьмы: остался в ней или перевезен в Чистополь? Я уже давно примечаю сию тенденцию - дабы не пришлось потом приколачивать к зданиям мемориальные таблички: “Здесь сидел и работал Р.И.Пименов” - загодя сносят эти самые здания, или хотя бы этажи, как поступили с домом, в котором я жил в Ростове, со зданием Коми филиала Академии Наук и многими другими. Тем более оснований торопиться с написанием мемуаров, пока я сам еще не перепутал, где высились эти корпуса и какими заборами-сетками были они обнесены!

Нет, когда я родился, родители мои о таких мемориальных досках не загадывали. Правда, революционное будущее мне было предназначено уже самым выбором имени. Отец мой, как рассказывалось, выше всего чтил тогда Петра Алексеевича Кропоткина и даже сумел как-то между всех своих дел около 1930 года побывать в Москве в Музее Кропоткина; в Москве жила его тетка Оня, а у той живала ее сестра Прасковья Андреевна с сыном Михаилом. В жизни же Кропоткина имел место такой эпизод. Обитал он во Франции, издавая анархистскую газетенку Le Révolté, что означает “Бунтарь”. За что-то его посадили власти на месяц-два. Он, переписываясь с женой, “конспиративно” спрашивает: “Как поживает наш малыш?” - имея в виду газету, и она это понимает. Так как власти закрыли и газету, а друзья-товарищи возобновили ее под названием La Révoltée (“Бунтарша”), то жена отвечает: “Наш малыш скончался, но ты не печалься об этом, потому что появилась малышка-девочка ничуть не хуже него”. Какой-то тюремщик прочел это письмо жены мужу и долго возмущался бесчувственностью этих матерей-анархисток; мораль - не читайте чужих писем, их не понять. Ивану запало это название, все же и он в гимназии учил французский язык. Ларе же это слово понравилось своим звучанием, да и нормально можно было в те годы делать детям революционно-звучащие имена: В.И.Лен и В.И.Лена, ВладЛен, ВладиЛена, Нинель (Ленин наоборот), ТроЛен, Нарет, Сталина, Коммунар, Р.Эя (Революция-Электрификация), Р.Э.М. (Революция - Электрификация Мира), К.И.М. (Коммунистический Интернационал Молодежи) - кажется, опубликована даже брошюрка об этом феномене. Поэтому она послушно выполнила волю мужа и нарекла новорожденное чадо “Револьт”, отбросив, конечно, последнюю гласную французского слова по законам русского звучания. Уже после 25 лет я дознался, что, во-первых, в выборе моего имени мои родители не были оригинальны, а во-вторых, что есть эстонское (или, точнее, эстляндское) имя Револьдт и ударением на первом слоге. Если верить кап.Правдину, то в том доме на улице Теряева, где меня арестовали, проживал в тот же год еще один Пименов Револьд, из-за чего у них возникла путаница и одно время они следили за ним вместо меня. Впрочем, в семье меня звали “Волик”, “Волечка”, мальчишки - “Волька”, позже “Волентяй”.

Родился я, как сказано, в Новочеркасске, но и в метрике моей и в паспорте, и во всех документах сказано, будто бы я родился в станице Дундуковской Майкопского района. История любит подсовывать фальшивые документы, она озорница и смеется над кабинетными историками, с профессорским высокомерием отвергающим мнения, “не подкрепленные документами”. В моем случае история шутила руками одного армавирского карманного воришки. Вот как.

Иван поехал в Новочеркасск полюбоваться на новорожденного (Лара не торопилась возвращаться в станицу), посмотрел, взял все документы (чтобы стимулировать ее возвращение) и поехал назад на работу. Сразу же почти пришлось еще ездить, ибо его стали перебрасывать на другое место (об этом подробнее дальше), и при пересадке в Армавире у него сперли весь сверток с документами и деньгами. Ну, кабы свои личные, их еще можно бесшумно восстановить. Но как быть с метрикой, выданной новочеркасским

ЗАГСом на мое имя? Извещать жену, что вот, мол, такой я растяпа, мне даже документов собственного ребенка нельзя доверить? Сходи, милая, продублируй?! Ване уже предовольно перепало от молодой жены, чтобы догадаться, что мало ему не будет, что Лара станет надолго припоминать. Надо выкручиваться. Как? Очень просто. В станице Дондуковской Щербакова все знают, он там важная фигура, ибо у каждого почти имеется свой личный скот (ведь даже коров и то не загоняли повально в колхоз, а есть скот и помельче). Он идет в какую-то контору, ничего не говорит про утерянную метрику, а просто сообщает, что у него родился сын, так-то его назвали, мать с младенцем остались дома, без формальностей давай пиши бумагу. Ну, для убедительности еще медицинский спирт ставит, само собой, на стол. Что у него прибавление в семействе, действительно, знали все кумушки и все собаки в станице, видели еще Ларису брюхатой, судачили. Так что обмана тут нет, написали, подписали, пропечатали справку для Щербакова, а он по этой справке получил уже метрику (почерк, которым она заполнена, подозрительно смахивает на почерк моего отца) в Ростове 2 июля 1931 года, а с нею в руках было куда как легче объясняться с женой насчет потерянных или украденных документов. В этой ситуации можно уже отшутиться, помянув уксус-коньяк, например. И сколько потом я милиции ни пробовал втолковать, что место рождения у меня в документах указано неверно, - бесполезно. Милиционеров, как и историков, никакой правдой не проймешь. Им подавай бумажки с печатями, а что все печати давно фальшивые, как им это вместить, бедным? А какие у меня бумажки? Есть, правда, квитанция № 54696 от 27 июня 1931 года о приеме областной газетой “Молот” от гражданина Щербакова И.Г. объявления о хищении у него документов, но в квитанции поименованы “учетный воинский билет, удостоверение райЗО и проч. документы”. Метрика - не названа. Ну, и обойдусь без доказательств. Я знаю жизнь и факты, а милиция и историки пусть жуют бумажные документы. Я же при взгляде на “документ” сначала проигрываю десяток разномастных сценариев: как, для чего, при каких обстоятельствах был выдан (сочинен) сей текст? И qui prodest - лишь один из многих вопросов, которыми я задаюсь, реконструируя жизнь в ее алогичности. А реконструировать надо “по Станиславскому”, т.е. актриса, играющая Анну Каренину и режиссер, ставящий Каренину, должны - для вживания в образ Карениной - представить, как она ездила бы на велосипеде.

Я ничего не могу вспомнить из первых лет. Знавал я человека, который родился в октябре 1940 года и который утверждает, будто помнит бомбежку Ростова в декабре 1941 года. Я не из таких ранних. Ничего не помню, только со слов родителей говорю. С их же слов знаю, что спал я не в колыбели, не в кроватке, не в люльке, а в корыте. Да, тогда стиль жизни был таков, что и корыту были рады, не гнушались им. Впрочем, корыто длилось недолго. Упомянутые поездки моего отца были связаны с тем, что его тогда МОБИЛИЗОВАЛИ в социалистический сектор. “Мобилизовать” не значило “призвать на военную службу”, а - призвать на службу, “приравненную военной”. (Ох уж это “приравнивание”! Мандельштамы для получения каких-то пайков были “приравнены” в 1932 году к народовольцам. Для внеочередного получения билета в железнодорожной кассе или денег в сберкассе к инвалиду

Отечественной войны “приравнивается” инвалид Афганистана или Венгрии, или даже лагерный надзиратель, не нюхавший никакой войны. Самый выдающийся случай “приравнивания”, пожалуй, приключился с художником Анненковым, которого для-ради получения молока “приравняли” кормящей матери. Существование приравнено жизни, аккуратное отсиживание служебных часов - работе, а творческая активность и непоседливость - тунеядству...) В ажиотаже 200%-й коллективизации и пятилетки в четыре дня некоторые категории специалистов провозглашались мобилизованными. По разнарядке - столько-то представь мобилизованных. И - никаких увольнений по собственному желанию, никаких споров о зарплате, месте и условиях работы. Покамест ильфо-петровы писали шаржи на инженеров-летунов, которых не устраивает оклад, которые срывают великие планы и стройки эпохи самовольным отъездом из-за недоплаченных подъемных, на самом деле то один, то другой слой инженеров, врачей, ветврачей лишался обычных трудовых и гражданских прав, превращаясь в “мобилизованных”; хорошее шумовое прикрытие! И с чего это Щербакова “мобилизовали в соцсектор”? Словно он до того работал не на райзоуправление, а на какого-то частника! Даже территориально он остался работать в том же Северо-Кавказском крае, только чуть севернее переместился: в станицу Медведковскую, что километров 60 к северу от Краснодара по железной дороге. И, кажется, даже прибавилась несколько зарплата - впрочем, покупать на нее уже было нечего, а питание им шло, конечно, бесплатное и преотличное. Главное, что никаких суррогатов, все натуральное, без синтетики. Но семейная суть мобилизации заключалась в том, что она лишала его надежд на уход с сельской работы, на возвращение в Новочеркасск или Ростов. Ведь по контрактации он был обязан отработать три года - больше года уже отбыто - или возвернуть стипендию, а тогда может катиться на все четыре стороны. При мобилизации он не смел рыпаться, и никаких сроков не назначалось: до полной победы коммунизма, до славной победы социализма или до очередной смены главы Госплана? (Потом про эту мобилизацию просто позабыли в горячке суеты 1935-1937 годов.) Мать же моя ХОТЕЛА вернуться туда, где она могла бы учиться. А то, чего желала моя мать, - это еще та субъективная реальность, с которой считаться приходилось больше, нежели со всеми объективными реалиями.

Она еще ездила с Ваней в Медведковское. Он-то, чтобы как-то развлечь-задурить ее, предлагал ехать из Дондуковской морем: до Туапсе поездом, потом до Новороссийска пароходом, оттуда поездом через Краснодар до места. Она отказалась. Отправились поездом. Внутрисемейные отношения (“мы ругались ежедневно” - лапидарная формула отношений) осложнялась тем, что еще в Дондуковскую Ваня пригласил жить свою мать.

- Надоело мне, что она приживалкой мыкается по родственникам. Я считал, что теперь я должен быть ответственным за ее содержание, - объяснял он. Прасковья Андреевна перебралась с ними и в Медведковскую. Хмурая богомольная вдова из совсем другого круга, нежели Валентина Васильевна, совсем с иными мелкими устойчивыми домашними привычками. И когда свекровь пыталась делиться нажитым опытом, невестка встречала ее в штыки, усматривая в этом посягательство на собственную независимость.

Конечно, Лара все равно уехала бы. Но присутствие свекрови облегчило ей расставание, дало массу предлогов, возможно, даже ускорило отъезд. Сначала новому ветеринару не нашлось пустого “национализированного” дома. Лара попрекала Ваню “условиями, в которых приходится жить с грудным младенцем”. Потом нашли удобное жилье, поселились - свекровь стала несносной докукой. Расселил их Иван, сам с Ларой в одном доме, мать в другом. Так ведь порой, возвращаясь с работы - семь раскиданных далеко один от другого участков - сначала заезжал - была у него личная тачанка, как прежде в горах одноколка - к матери, покушает у нее, засидится. Вернется - дома скандал. Моя мать не кричала, не жестикулировала, а нарочито пониженным голосом произносила обидные и чаще всего буквально справедливые слова, а отец вспыхивал и начинал выкрикивать бессвязные оправдания, которые давали обильную пищу для язвительной ехидности матери, начиная с: “Ты чего разорался? Я же на тебя не кричу!” Отец утрачивал последние остатки самообладания и переходил на бессмысленную матерщину и угрозы, порой до рукоприкладства. И все это на протяжении каких-то куцых недель: с 25 июня стал Щербаков числиться в Медведовской, а в конце сентября Пименова уже значится в Ростове. Даже допуская липу в документах, немного же времени дала Лара своему мужу на “размышление и исправление”.

Итак, с 3 сентября 1931 года Лариса Пименова работает в вожделенном Ростове групповодом 1 ступени школы ФЗО № 7 Ленинского района. И дальше она без перерыва служит в Ростове, порой переводясь из школы в школу и неуклонно повышаясь до лета 1940 года. Я при ней, но прежде чем излагать мой “беспамятный” отрезок жизни - до 1936 года, как я представляю - бросим прощальный взгляд на Ивана Щербакова. Он остался в совхозе “Кубанец”, директором которого до лета 1935 года был Садовый, входившем в систему ростовского треста свиноводства. Прасковья Андреевна - с ним. Поначалу они, видимо, не сознавали, что Лара уехала бесповоротно, ждали ее.

- Ну, были ссоры, ну, бегала она на Ваню жаловаться в женсовет, ну так теперь все живут. Соскучится - приедет, стерпится - слюбится.

Замечу, что этой жалобой в женотдел она жутко восстановила Ивана против себя, так что он ей какое-то время и писать не писал. Но с месяцами и годами становилось очевиднее, что Лара не только не собирается возвращаться, но даже к себе звать перестала. Иван же очень много работал. Дох был страшный - все от внезапного скопления животных. А к работе по борьбе с эпидемиями присоединялась никчемная, навязанная наркоматом совхозов, суета. “Социализм - это учет”, - изрек основоположник, и наркомат предписал ветврачу вскрывать ВСЕ ТРУПЫ павших животных, а потом на каждое животное заполнить анкету из 22 пунктов, а потом в тот же день написать указание на ферму: “По таким-то причинам пали такие-то, принять такие-то меры”, а потом докладную директору совхоза (тоже бланк). Когда одно лишь вскрытие занимает часа три ежесуточно, легко представить, сколько липы сочинялось в “учетных документах”. Но работал он добросовестно. Съездил на курсы по бруцеллезу в Армавир, вернулся, его повысили в старшие ветврачи. Оклад его в 1933 году составлял 300 рублей в месяц. Собственно,

даже должность его именовалась внушительнее: помощник директора совхоза по ветеринарии (еще имелись помощники директора по зоотехнике и по земледелию). Но это не утешало. Стал выпивать, благо компания для этого была, уныло-развеселая. Спирт же даровой. Разочарование и усталость брали его за горло: за тридцать перевалило, а чего достиг в жизни? И окружающая действительность принимала все более отталкивающие формы.

Вот голод 1933-1934 года. Его-то, как совхозного специалиста, снабжают по тем временам прекрасно, у него давно исчезло чувство перманентного недоедания, присущее ему в 18-22 года. За модами он не гонится, носит один и тот же костюм, аккуратно вычищаемый ежедневно. Примерно так же живут и другие специалисты и директор совхоза. Но как живут основные жители - не ИТЕЭРОВСКИЕ? Он же еще не забыл, что Революция вершилась по имя лучшей и справедливой жизни - не себе лично. Соседние колхозники и даже школьные учительницы не имеют чего есть, мрут как в эпидемию. Они, ветеринар и зоотехники, кормят свиней вдоволь пшеницей, а у крестьян нет ни зернышка ни на еду, ни на посев. Колхозников, недовыполнивших план хлебозаготовок, придуманный Москвой, провозгласили саботажниками. Приезжал Каганович, провещал беспощадную войну саботажникам, отменили в станицах советскую власть, ввели комендатуры, как у спецпоселенцев, поставили войска кругом - никого не выпускать из крестьян. Вот сошел снег и толпы оголодавших распухших жителей поползли (это не гипербола, а констатация степени истощения) на колхозные и совхозные поля: может, перезимовавшую репку или брюкву или картошку раскопают? Найдя, тут же сжирали живьем-сырьем. А директор Садовой разъезжает на своей тачанке и стреляет - правда, не в людей, а вверх - отгоняя “расхитителей социалистического достояния”. Кучер его спрашивает:

- А ты знаешь, кого это ты по голове треснул так, что она упала?

- Саботажницу! Врага!

- Это учительница, Анна Ивановна. Она твоих детей учит.

- А я?! Да ведь меня...

Иван, узнав про инцидент, словно вернувшись в “тот давний молодости зов, в метельный гром Коммун”, кидается в Политотдел искать правду:

- Какие же они саботажники?! Что же это делается?!

Начальник политотдела МТС (высшая власть на селе в то время) сочувственно произносит:

- Ты поди успокойся, а потом приходи, поговорим обо всем.

Щербаков уходит, напивается, на просветительную беседу не приходит. Население в Медведковской снизилось с 35 тысяч до 15 тысяч - напоминаю, что выезда не было. А вот станица Мышастовская вымерла полностью: на 15 тысяч жителей осталось пятеро: четверо членов правления колхоза и сторож колхозного стада. Ничего, потом заселили демобилизованными красноармейцами. “Люди у нас есть, люди у нас найдутся”, - говаривал о ту пору соратник Кагановича Сталин.

К 1933 году Иван устал от жизни соломенного вдовца, и когда к нему под начало прибыла из Ростова 25-летняя ветврач Евгения Терпанасян или Терпоносян, он, сочетая служебное и личное, лишил

ее девственности и стал жить с нею. В 1934 году у них родился сын Александр. Впрочем, эта датировка по воспоминаниям самого Щербакова расходится с воспоминаниями сына Щербакова от последнего брака, Николая, родившегося в 1953 году: по словам его матери Марии Лесновой, Иван платил алименты на Александра еще сколько-то лет после рождения Николая. Если Николай правильно усвоил, что говорила ему мать в отрочестве, и Мария ничего не выдумала назло Ивану, то дата рождения Александра отодвигается на 1936 год. Но позже 1938 года она невозможна по причинам, изложенным в следующем параграфе. Брака Щербаков и Терпанасян не оформляли также, но и отнюдь не ругались друг с другом. Стихов, впрочем, тоже друг другу не читали. А на выпивки ходили вместе. Так они жили до конца 1936 года.

Щербаков, работая в совхозе “Кубанец” и относясь к порученному делу добросовестно, нормально конфликтовал с директором Садовым. То наложит на партию свиней, намеченных директором к поставке в другие свинопредприятия, карантин - а у директора срывается план, он требует снять карантин, пытается без подписи (даже точнее - без печати, личной печати ветеринара) ветеринарного врача всучить железной дороге партию, да та не принимает к перевозке из-за несоблюдения этой “мелкой” формальности. То у самого директора заболела сибирской язвой корова, Щербаков тут же распорядился ее прирезать и труп сжечь, а Садовой вообразил, будто тот по личной злобе лишил его и коровы, и говядины, организовал комиссию за комиссией по перепроверке: была ли язва? То категорически директор воспротивится прививкам, намеченным по ветеринарной науке - ведь они требуют предварительно пересортировать стада, организовать определенное питание и уход, т.е. связаны с нарушением нормального ритма откорма-воспроизводства, нуждаются в дополнительном персонале. То Иван на собрании по чистке, разгорячившись, начинает поносить директора за противодействие мерам по борьбе с бруцеллезом. Словом, нормальное противостояние интересов, те самые конфликты, без которых не бывает в изобилии добротной свинины. Но на эту нормальность “неантагонистических противоречий” - или, как иначе в математике выражаются, “игру с ненулевой суммой” - налагалась ненормальность сверху. Менжинский все втолковывал Сталину, что вредители сидят среди специалистов, в ответ на требования Сталина сажать партдеятелей; так Менжинский “спасал своих”, а чужих никому не жалко. Менжинский арестовал профессора Циона, можно сказать, патриарха ветеринарного дела среди свиней, и выбил из того “показания”, как Цион по всему Союзу якобы только и делал, что умышленно вредил в свиноводстве. Процесса почему-то не было, но Сталин разослал текст показаний Циона “для повышения бдительности” парт- и совверхушке на местах. И когда как-то раз Щербаков уже очень допек его своими ветеринарными наставлениями, Садовой достал из стола (или уже обзавелись сейфами?) брошюрку с грифами и протянул Щербакову:

- На вот, почитай. Прочтешь - поймешь, что мы не можем к вашим “ветеринарным требованиям” относиться всерьез. Не можем мы вам верить!

Щербаков прочел и поразился, почему Цион говорит очевидную неправду? НЕ МОГ ОН ВРЕДИТЬ ТАК, КАК ОПИСЫВАЛ В СВОИХ

ПОКАЗАНИЯХ. Любому ветеринару известно, что либо вовсе нет такой болезни; либо сыворотки, которые, по словам Циона, он предназначал для свиней, вообще никак на свиней не действуют, а используются применительно к лошадям. Все наврано, порешил Щербаков и, отмахнувшись от начальственного вранья, напустился на директора:

- Что же, по-твоему, я вредитель?! Ты МНЕ не доверяешь?!

Так они грызлись, а тем временем убили Кирова. Иван верил, что его убили зиновьевцы. Он не сомневался, что эти политические деятели продолжают вести борьбу традиционным политическим оружием. В обвинения по адресу специалистов - он не мог поверить, будучи сам специалистом. Но не будучи профессионалом-политиком - верил политическим обвинениям. В силу тех внутрицекистских противоречий, входить в рассмотрение которых здесь было бы неуместно, для успешного завершения ПОЛИТИЧЕСКИХ счетов и для ПРАВИЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАРОДА все более ширился стереотип ВРЕДИТЕЛЬСТВА, невзирая на то, что Менжинский уже отправился на тот свет. Так что летом 1935 года в совхозе состоялся показательный процесс вредителей. Судили всю верхушку совхоза, от директора и его помов (за исключением Щербакова И.Г.), спускаясь до бригадиров и даже отдельных свинарей. Процесс проходил необычно для тех лет, по многим параметрам. Во-первых, никто из обвиняемых не был арестован до суда, а директор, разжившись фальшивым свидетельством о болезни, даже и в суд не явился. Во-вторых, фактически все материалы обвинения были верными, не сфабрикованными; только их квалификация по ст. 58^{7} была, конечно, необоснованной, натянутой в угоду “политическому моменту”. По существу дела, все обвинялись в систематических, долговременных и широкоохватывающих приписках. И это - было. Несмотря на страшный дох свиней, непрекращавшиеся эпидемии - совхоз ходил по Союзу в передовиках, чуть ли не орден у Садового был. Объяснялось это, с одной стороны, тем, что в других местах работали еще хуже, а с другой - всеспасительными приписками, этой панацеей против гипертрофированного учета. Липовость отчетности видна была невооруженным глазом, и когда начальник политотдела получил указание “вскрыть вредителей!”, он безо всяких натяжек привлек практически всех к ответственности. Тогда статьи о приписках на было в Уголовном Кодексе, она введена только летом 1962 года при Хрущеве, и сама редакция ст.152^{1} отражает, что она вводилась взамен статьи о вредительстве. Статья же о вредительстве, нынешняя 69, а тогдашняя 58^{7}, применялась широко по всем поводам хозяйственной жизни. Таким образом, обвиняемым вменили ни много ни мало

“подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, кооперации в контрреволюционных целях; использование или противодействие деятельности государственных учреждений, предприятий в интересах заинтересованных капиталистических органов”.

Щербакова обвинение миновало из-за того, что он не пренебрегал отчетными формальностями. Прочих судили,

приговорили кого к 14 годам (тогда - потолок), кого к 7, меньше пяти не было. Насчет директора вынесли определение привлечь к суду по выздоровлении. Но Садовой после суда тут же умчался в Москву, кому-то что-то в наркомате доказал, и из Москвы приговор был отменен. Все отделались легким испугом. Правда, через несколько месяцев Садовой куда-то уехал, и его заменил Парфенюк.

Щербакову все более надоедала жизнь в совхозе. Его тянуло к абстрактной научной работе, а тут каждодневная беготня по конкретным болезням конкретных животных и ссоры с конкретным людьми. Жена новая ему тоже постыла. Хотелось чего-то иного. Он присмотрел себе местечко неподалеку - в Краснодаре. Там на биофабрике не нужно было никого лечить, а работа состояла в изготовлении лекарств. Это уже почти научная работа, спокойная, с нормированным рабочим днем, кабинет там у него будет. Повел переговоры с директором биофабрики - тот рад его взять, наслышан о Щербакове с самых лучших сторон. Щербаков идет к Парфенюку - тот не отпускает. Щербаков пишет в трест. Приезжает начальник треста Титов и уговаривает остаться, повышает зарплату. Щербаков пишет в Москву, приезжает чуть ли не замнаркома, обещает Щербакову персональный оклад, сулит отдельный кабинет и:

- Будете здесь заниматься научной работой!

Тогда Щербаков плюет на всех, безо всяких документов - не выдали ему, мобилизованному - отправляется к директору фабрики:

- Примете?

- Валяй!

Ему выписывают новую трудовую книжку и зачисляют 7 декабря 1936 года врачом на биофабрику в противоорожистый цех. При составлении этой трудовой книжки Щербаков на всякий случай обошел молчанием свою доинститутскую трудовую деятельность. В самом деле, упомянешь, что служил в ВЧК-ОГПУ, был членом РКП(б), - мигом вопросы возникнут: а почему сейчас не служишь, не членишь? Если тебя выперли, то за какие грехи? А коли сам ушел, так ты же вовсе не наш, не нужен ты нам, сажайте его! Так что вписана у него в трудовую книжку только работа с 1930 года, что потом лишило его 10%-ной надбавки при оформлении пенсии, ибо в этих условиях учеба в вузе не засчитывается в трудовой стаж. Перебрался он на житье в Краснодар. На первых порах ему досталось жить в гостинице - так он был фабрике нужен, что оплачивали ему проживание. Жену Евгению оставил было он в совхозе в Медведовской, стал ухлестывать за лаборантками на фабрике, но примерно через полгода Терпанасян примчалась, дала отставку своим заместительницам, снова зажили они вместе. Так в хлопотах миновал 1937 год, в конце которого Щербакова делегируют на городской слет стахановцев. В январе 1938 года его направили на повышение квалификации в Москву, в Центральную научно-контрольную лабораторию, на несколько месяцев.

Мать моя не стала возвращаться в Новочеркасск: она правильно вычислила, что в родном городе ей поступить учиться будет гораздо труднее, нежели в Ростове. Ведь она глаза намозолила приемным комиссиям, и семья была или казалась чересчур известной для маленького городка. Действительно, в октябре 1932 года она поступила в Ростовский педагогический институт, на вечернее отделение, ибо продолжала работать. В

Ростове ей как-то удалось найти жилье: купила, снимала или от государства - не знаю. На Лермонтовской улице. Это на севере Ростова, в то время предпоследняя улица перед полотном железной дороги (ныне снесенном, но я его еще помню), за городской больницей и перед кладбищем (снесенным). Не мощеная, с грунтовым покрытием, сиречь грязюка и пыль. Садики. Домик деревянный. Сохранилась фотография дворика, где я стою с обручем от бочки, сам я чуток меньше обруча. Сначала она отдавала меня в ясли, но когда мне было около двух лет, я, играя в кубики в детском саду, напоролся на острый угол пирамиды, просек себе череп у левого виска до мозга, с большим трудом меня спасли и стянули кости; шрам до сих пор придает мне бывалый вид ветерана-каторжанина. После этого мать боялась отдавать меня в детские учреждения. Какое-то время мне нанимали няньку-девицу. Она стала водить своего кавалера в дом, где я находился, ее стали запирать снаружи, тогда она через окно пошла убегать к кавалеру, бросая меня. Девицу поперли, мать стала неотлучно таскать меня с собой. Ведет ли она урок в школе - я должен неподвижной мышкой застыть где-нибудь за доской, и в таком роде. В эту же пору, но видимо, позднее, раз я это уже сам помню, она брала меня с собой в баню, женскую общую, естественно. Мне запомнилось среди сырости и сумрака почти на уровне моих глаз волосы, черные и густые, там, где у меня никаких волос, и совсем другое. И так на всех ногах. Но никаких эротически-сексуальных движений это наблюдение не породило, равно как и неприличия, неловкости. Главное чувство - сырость и недоуменная усталость. Не помню, в тот ли раз, или спустя, она показывала мне, как надо мыть пах, причем внушала:

- Это место надо особенно чисто мыть, - таким голосом, что я безошибочно осознал, что это не столько вопрос личной гигиены-прихоти, сколько ОБЯЗАННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ. А по тогдашней системе ценностей - и я в ней воспитывался, и в детски-отроческом возрасте целиком принимал ее как свою, как единственно должную - “общественное” безусловно превалировало над “личным”, было бесконечно важнее.

Истерическую ее привязанность ко мне подхлестнуло и то обстоятельство, что в возрасте около трех лет я заболел скарлатиной. Положили в больницу. Температура около 42°, врачи отступились - безнадежен. Однако одна санитарка, или даже нянечка-уборщица сказала, что есть способ, но трудный. Мать ухватилась: скажи!

- Надо ведро кипятку, крутого, сразу с плиты, сунуть голову ребенка над паром, почти к самой воде. Снаружи укрыть, чтобы пар не расходился, и держать так долго, пока вода не остынет. Подливать кипятку. Он станет кричать, ему больно, но ты держи.

Да, вопил я отчаянно. Какая боль - пусть читатель личико над кипящим чайником подержит. А как мучилась Лариса, когда ее дитя, любимое и единственное, от муки заходится в воплях, сорвало голос, дергается. Но выдержали - в обоих смыслах этого слова. Сила воли у нее была неимоверная, и если есть во мне хоть сколько-то силы воли, то исключительно от нее. Отец мой в сравнении с ней - хлюпик, хотя отдельно от нее отнюдь не производил такого впечатления ни на кого. Ну а я, как видите, выжил - на посрамление медицине.

Привозила меня мать в Новочеркасск, показывать матери и сестре Веронике. Поначалу связи и с отцовскими родственниками не утрачивались: сохранились рассказы о том, как “Милиция с Револьвером выходили гулять”, т.е. Миля, племянница Ивана, которой было лет 12-13, прогуливала меня двух-трехлетнего. Но постепенно они атрофировались. Сохранялись лишь алименты, которые Пименова получала со Щербакова. В ту пору для получения алиментов необязательно было предварительно регистрировать брак, хватало голословного заявления женщины. Лариса принципиально не писала Ване, а он и вообще не любил писать, не писал просто так. Естественно, что при такой загруженности у Ларисы не оставалось времени ни на что другое. В частности, никаких любовников у нее не было[204]. К очередным “чисткам” в институте (последняя состоялась в первой половине 1935 года - эхо партийной чистки и убийства Кирова) запасалась бумажками вроде такой:

“ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Азово-Черноморского Крайкома союза Работников Начальной и Средней школы и Ростовского-на-Дону Городского Отдела Народного Образования от 2-го МАРТА 1935 года.
СЛУШАЛИ: §1. О премировании лучших ударниц учительниц Начальных и средних школ г.Ростова-на-Дону (т.т. Бардин, Децерская)
ПОСТАНОВИЛИ: В ознаменование //…//
Тов. Пименову Л.М. - преподавательницу 2-го класса школы №62, имеющую стаж работы 7 лет, лучшего классного руководителя, проведшую большую воспитательную работу среди учащихся, обеспечивающую большую работу с родителями - обследовала социально-бытовые условия учащихся и поддерживает постоянную связь с родителями, повышающую свою квалификацию в Пединституте,
БИБЛИОТЕКОЙ и 125 руб. (сто двадцать пять руб.)
ЗАМ.ПРЕД.КРАЙКОМА СОЮЗА
Бардин
ЗАВ.ГОРОНО
Депорская
две печати, одна - гербовая”

(чуете, как сформулировано: не для предъявления в институт, а роде как для указания институту, что учится Пименова не ради себя, а на пользу гороно и крайкому!). Как другая справка, рукописная, но с угловым штампом и непременной гербовой печатью:

“…в качестве преподавательницы I-IV классов. Как преподавательница зарекомендовала себя добросовестным и

[204] Я в курсе многих ее интимных переживаний, о которых она никогда не разговаривала со мной, благодаря неоценимой услуге органов госбезопасности. Охраняя названную безопасность, в 1957 году они, как известно из §11 гл.1, при обыске у моей матери изъяли в том числе и ее разные записи, часть из которых, как я обнаружил, знакомясь по ст.286 УПК и ранее в ходе следствия, являлась интимными, вроде записей: “Ваня опять безобразничал в постели” и т.п. Памятник бы нашим гебистам, памятник помассивнее!

вдумчивым педагогом. В своей работе тов.Пименова Л.М. широко применяла активные наглядные приемы. Учебный материал преподавала в образной, живой форме и давала хорошие показатели по дисциплине и успеваемости учащихся. Тов. Пименова Л.М. серьезно работала над повышением своей квалификации; обладая педагогическим тактом, она пользовалась достаточным авторитетом среди коллектива, была секретарем МК и два раза премирована за общественно-производственную работу... 27 апреля 1935 г.”.

От 21 апреля следующая бумажка-заступница, где уже за круглой не гербовой печатью рассказывается, что Пименова “была выделена на городской слет ударников-учителей”. Не вымела ее чистка 1935 года. Еще две последние характеристики, перед завершающим семестром - от 1 мая 1936 года:

“…преподавателя химии и географии неполной средней школы №14 Пролетарского района гор. Ростов, ведя первый год уроки химии, сумела привлечь внимание ребят к своему предмету. Организовала минимум практических работ, демонстрацию опытов. Тщательно готовилась к урокам. Дисциплина на уроках отличная.

Получив дополнительные уроки географии, тов.Пименова сумела в основном ликвидировать пробелы в знаниях уч-ся за 2-ое полугодие (в первом полугодии уроки географии вел Дрыгин, необеспечивающий работы) и дать 96% успеваемости в 7-х классах в конце учебного года”.

И от 10 июня 1936 года:

“…руководителя 2 кл. “А”, преподавателя-отличника.

Высоко развитая, живая по натуре, она замечательно интересно ведет урок. Хорошо готовясь к уроку, обогащая его наглядными пособиями и художественной литературой, она легко овладевает вниманием детей, вызывая у них большой интерес к предмету. Речь Пименовой культурна и красива, она увлекает детей и развивает в них правильную речь.

Присутствовавшие на ее уроках, руководители метод-кабинета и научный работник Пед-Института дали свое заключение, что Пименова Л.М. действительно владеет мастерством педагогического искусства и, что ее класс очень развитой, грамотный, дисциплинированный, производящий впечатление не 2-го кл., а хорошего 3-го...”

И, наконец, 25 января 1937 года она получает диплом. Документ совершенно иной на вид, нежели свидетельство Щербакова семью годами раньше. Прежде всего, он не книжечка, а лист плотной бумаги, чуть больше стандартного машинописного. В напечатанный типографский бланк вписаны от руки фамилия, даты, дисциплины, оценки и прочие реквизиты. Вверху красуется “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” - но зато “общественные” предметы не выделены здесь, как в свидетельстве у Щербакова, в один первый раздел, а раскиданы (скорее всего - хронологически) по общему списку из 22 дисциплин (у него 9 + 43). И проставлены оценки: отлично 18 и удовлетворительно 4 (кажется, тогда была

трехбалльная система: отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно). “Катехизис” представлен истматом, ленинизмом, диаматом (по последнему - удовлетворительно). “…допускается к преподаванию биологии и химии в средней школе”. 29 июля 1938 года она получила “Аттестат на звание учителя средней школы” за подписью Народного Комиссара Просвещения РСФСР И.Тюркина №18386, каковое звание было введено постановлением ЦИК и СНК 1 апреля 1936 года, а когда отменено - на знаю. Звание давалось “по прохождении испытательного стажа педагогической работы в школе” лицам, окончившим педвуз. Итак, она интегрировалась в новое общество, став полезным и уважаемым его сочленом.

Но здесь мы нечувствительно переползем в другую для меня эпоху: в эру появления у меня собственных воспоминаний о происходившем.

“Все киски спят, все мурыски спят, маленькие Волики тоже спать хотят…” “Скрипи, нога, скрипи, липовая…”

§2. Дом на Нольной Линии в Ростове

Квартира на Нольной; бабушка; восприятие чужих чувств; контакты с Небольсиными; воспитание дикции, памяти, уверенности; заурядное бытие одаренного мальчика

Одно из самых четких и бесспорных для меня воспоминаний - это дом на Нольной, в котором мы жили в конце тридцатых годов. Я уж не знаю, когда именно и на каких условиях стала нашей квартира в доме № 5 по Верхненольной линии, но в ней мы жили втроем: я, мать и бабушка. Судя по процитированным в §1 документам, скорее всего, мы поселились там осенью 1935 года, когда мать из школы № 62 перешла в школу № 14. Собственно, была не квартира, а две комнаты общей площадью около 20 метров, одна проходная. Но по тем временам это было богатство, особенно прибавив к ним кухню и коридор, которые были или казались мне тогда громадными. Коридор, если верить моей памяти, тянулся метров на десять. Дом был новопостроенный. По моим воспоминаниям, мы жили на четвертом этаже, но в 1981 году я неожиданно обнаружил, что дом этот - трехэтажный. Попробую разобраться.

К этой поре город Ростов и поселение Нахичевань неразделимо слились. Официально Нахичевань стала титуловаться “Пролетарским районом г.Ростова”. Бывшее пшеничное поле, разделявшее их, застроили громоздким уродливым зданием Ростовского драматического театра им.Горького, выполненным в форме ТРАКТОРА - символом эпохи то ли коллективизации, то ли индустриализации. Тогда почему-то думалось, будто бы трактор - это неповторимая особенность социализма, присяга ему на верность. Даже в имена детям давали иногда “Трактор”. Ниже от театра построили спуск к Дону; потом его сломали, застроили домишками, и 1981 году заново строили - как бы в первый раз - Великий Спуск к Дону. Что простиралось к северу от театра, к стыду своему, никогда не знал. А вот впритык к нему с восточной стороны посадили сад-парк - “Парк Революции” - с уймой вишневых деревьев; к 1981 году деревья не уцелели, да и сам парк поредел на вид. Нахичевань же с востока тоже шагнула навстречу Ростову. Прежде она была поделена на линии: от Первой до Двадцать Восьмой, где располагался знаменитый нахичеванский базар (собственно ростовский помещается на Буденновском проспекте, но на нем мы бывали редко, в порядке исключения - безумно далеко). Теперь, при застраивании, местные арифметики проделали новую улицу и назвали ее “Нольной линией” - ростовчане не остановились бы и перед “минусовыми линиями”, да места уже не оставалось. Собственно, выше улиц Советской она называлась “Верхненольной”, а южнее - “Нижненольной”, как и сами линии четные шли выше, а нечетные - ниже Советской. (Нынешней улицы Каяне тогда не было, ее вырезали из части прежнего парка.) Дома эти строил, кажется, профсоюз водников, они так в народе и звались “домами водников”, хотя официальный Дом Водника, где были всякие учреждения, находился несколькими домами южнее нашего двора. Был построен целый двор: дом $5^{а}$, дом $5^{б}$, дом $5^{в}$ и дом $5^{г}$. Почему мы, не имевшие никакого отношения к ведомству водников, получили там

жилплощадь, - относится, скорее всего, к той мистически-бардачной стороне советской жизни, которая останется тайной за семью печатями для любого советолога, ныне и присно и во веки веков, аминь. Мне всегда казалось, будто бы двор (а в моих сновидениях он является территорией для инсценировок Морфея в изрядной доле его постановок) - строгий прямоугольник, а наш дом “а” стоит торцом к ограде сада. Но в 1981 году я обнаружил, что двор - не прямоугольник, а скошенный параллелограмм, скорее ромб, а дом 5[а] стоит к саду под углом, небольшим, правда. Ну, тут я готов уступить “очевидным фактам”, а свой четвертый этаж - не отдам!

При входе в нашу квартиру мы попадали в длинный темный коридор, почти что сразу налево был вход на чердак. Чердачное помещение находилось на уровне пола квартиры, и сейчас я думаю, что наша квартира, как и примыкавшая к ней квартира Лавровых, была просто выгорожена из чердака. В этом меня убеждает еще то обстоятельство, что окна у Тони - Антонины Васильевны Грабовской - имевшей две изолированные комнатки в той же квартире, что мы, имели перед собой примерно полуметровый карниз. Карниз запомнился мне хорошо из-за всеобщего страха, что я выползу на него, чтобы перелезть к Лавровым. Карниз был гладкий, мне он помнится мраморным, не имел никакой стенки-загородки, так что предназначение его могло быть лишь навесно-зонтичное, а не балконно-прогулочное. Такие карнизы делают под самой крышей, но едва ли под окнами очередного этажа. Итак, войдя в коридор и миновав чердачную дверь (тщательно запираемую из страха перед грабителями; помню ужасающие рассказы о том, как воры просунули в дверь приоткрытой на цепочку двери топор и отрубили руку неосторожной хозяйке квартиры), мы по длинному узкому и скудно освещенному коридору проходим уборную (тоже слева) и входим на поперек стоящую просторную кухню. Справа - вход в комнаты Тони, им предшествует малюсенький тамбур, куда и попадаешь из кухни, сойдя пару ступеней. Сами комнаты крохотные, даже по моим детским воспоминаниям, со скошенным потолком. Налево вход в бабушкину комнату, тоже какие-то ступеньки, но ногами помнится, что вверх. Влево же, но назад - кладовочка. В кухне - громадная плита, но на каком горючем - не помню. Вообще-то топили углем, печки были. В кухне уже есть окно, напротив входа в Тонины комнаты; оно выходит на север, во двор. Одно окно в бабушкиной комнате, в которой, впрочем, жил и я, затем дверь в мамину комнату, тоже в одно окно, тоже на север. У Тони же оба окна выходили на юг. Это одна из причин, почему я часто бывал у нее, грелся на солнышке. Из вещей-мебели ничего не помню, кроме сундука, на котором спал, и в котором, видимо, хранились дедушкины “математические” книги. На одной из стен висела обширная географическая карта, которую любила рассматривать бабушка, а вслед за ней и я. Говорят, по этой карте я самостоятельно выучил географию, причем особенно отлично знал турецкие города - по росту и по расположению Турции внизу.

Валентине Васильевне в 1936 году стукнуло уже 60 лет. С 7 сентября 1928 года она ушла на пенсию, получала 22 руб. 83 коп. С декабря 1935 года размер пенсии повысили: 24 руб. 45 коп. Вот о тогдашних ценах:

“К празднику мы с Лелей ходили в очереди, всего было очень много. Сахару достали песку 2 кг, 9 рублей; макарон 10 р. 60 коп.; лапши 7 р. 60 коп.; масла сливочного 2 кг по 32 руб.; топленого 1 кг 47 руб.; постного поллитра 15 руб.; муки 5 кг 35 руб.; картошки 3 кг 32 руб.; колбасы 400 грамм; сельдей 1 кг 35 руб.; винограду 2 кг 12 руб.; яблок 1 кг 8 руб.; …сегодня купили в первый раз молока 1 литр 1 руб. 88 коп., дают всего очень ограниченно, на базар не ходили два дня”.

Это - из письма Валентины Васильевны от ноября 1940 года, но цены не менялись вроде бы между 1936 и 1940 годами. Или обмен денег в 1938 году на них все же повлиял?

Где-то в эти же годы врачи диагностировали у нее рак желудка, назначили хирургическое удаление. Я помню уйму разговоров про эту операцию в доме, но самого увоза бабушки в больницу и ее драматического привоза - не помню. Разрезали, обнаружили, что всего лишь язва, что-то вырезали, зашили. Оперировал знаменитый ростовский врач Богораз, родственник народовольца. Может быть, и Ларисы Богораз родственник… Оперировали под местным наркозом, бабушка была в сознании все время - по ее рассказам - давала указания хирургам, что тянуть, где резать, возмущалась, что они не там копаются, и т.д. Она была старенькая, очень старенькая - и в моих воспоминаниях, и на фотокарточках - но все время что-то делала, двигалась, не жалела себя. Низенькая, даже по моим меркам, ибо ниже моей матери, которая, в свою очередь, невысока, и которую я перерос годам к 18-19, она была энергичной. Даже в 65 лет она лопатой ссыпала уголь, сваленный возчиком с телеги перед окошком погреба, в этот погреб. А через несколько месяцев сама вызвалась руководить отрядом молодых девушек по уборке улиц Ростова от трупов. Но я забежал. Тогда никому в голову не приходило, что на улицах Ростова снова, как в 1918 году, появятся немцы. Тогда пели:

“…и на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью, могучим ударом”, “любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны”, “чтобы наши песни не смолкали, чтоб не знать нам горестных утрат, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди - никогда не спят”.

Я помню эти песни с детских лет. И рос я в блаженном покое, а самые большие “ужасы”, которые со мной приключались, были РАКИ. Да, бабушка принесла с базара полную кошелку живых раков. Куда она сама делась, не знаю, может быть, спустилась за второю, оставленной внизу, ибо двух кошелок ей было не втащить наверх зараз. Наверное, я сам, на манер Пандоры, развязал кошелку от неуемного любопытства. И они поползли. Мы - я и кот Пуц - заметались в страхе. В ползущем на тебя раке - крупные, а я был маленький - есть что-то мистически-жутковатое. Вот ведь сейчас иные фантасты допускают, что членистоногие вообще суть представители инопланетной фауны, несовместимой с млекопитающими, и пр. Нечто в этом роде испытывал я, один в пустой квартире, вырываясь от царапающе-скользких клешней этих интервентов. Впрочем, может быть, мой страх перед раками был

порожден частым упоминанием стихов: “…посинел и весь распух. И в разбухнувшее тело раки черные впились”. Кажется, я заперся в уборной.

Вообще, я всегда выбегал встречать бабушку, когда она приходила с базара. Замерзшая, с каплей, свисающей с носа, с обеими руками, занятыми тяжелыми кошелками, она торопливо ставила их на пол, запирала за собой дверь, вытирала нос и жалобно поясняла:

- Очень неприлично ходить так, но что же поделаешь - ветер, а руки заняты. Оближешь ее, а она снова выбегает.

Помню, принесла вишню. Я обрадовался, тянусь. Она угощает меня, а сама приговаривает:

- Видишь, какой вкусный поклевыш!

Я ем, наслаждаюсь и на всю жизнь запоминаю, что “поклевыш” - самый лучший сорт вишни… Да, мое детство полно таких раз навсегда усвоенных ошибочных истин. Я тогда не знал ни вышепроцитированных цен, ни пенсий. Я не знал, что она мучительно считала каждую копейку; вот из ее письма от 25 апреля 1941 года:

“…она все покупает дорогое, плохое не берет, масло по 18 руб., а я взяла по 15 руб., картошку 5 руб., а я 3 рубля, и все равно такая же, она потому только дороже берет, что чистая, ровная, красивая”.

Так и здесь. Бабушка прекрасно знала, что “поклевыш” - бракованный сорт вишни, поклеванный птицами. Приличные люди никогда не покупали его. Но денег на “гладкий, красивый” сорт вишни нет. А Волику нужны фрукты. И вот покупается подешевле, но самой себе и мне заговариваются зубы, что-де разницы никакой нет, “все равно такая же”, даже и вкуснее, может быть. Я подтверждаю, что вкусно - и бабушка крепнет в убеждении, что она замечательно выбрала вишню. А откуда я знаю - вкусно или нет? Я другого сорта и не ел тогда, не сравнивал, я не знаю, что и как было у “приличных людей”. Точно так же вырос я в убеждении, будто ливерная колбаса - самый вкусный сорт колбас (и это в ту пору, когда изготовлялись только НАСТОЯЩИЕ колбасы - краковская, полтавская - а не суррогаты семидесятых годов). Большинство оценочных суждений я воспринимаю готовыми из уст матери и бабушки, позже учителей, вообще - взрослых, в безграничном почтении к которым я расту. Я и вообще был в некотором смысле идиотом. Вот пример из лет, когда я вдвое старше уже был: мне 13 лет. Едем мы поездом. Я иду в уборную. Там есть унитаз и есть дырка посреди пола для слива воды. Я почему-то решаю, что большой унитаз - “для больших дел”, а маленькая дырка - “по-маленькому”. И я направляю струю в эту дырочку. Поезд трясется, все качается, струя не попадает, я чувствую себя виноватым (пачкаю), старательно целюсь именно в дырочку и так противоборствую долго-долго. Настолько долго, что запоминаю сцену на всю жизнь. И даже если я ошибаюсь в датировке, было это не в 13 лет, а в 9, все равно идиотизм классный, в хрестоматии годится. Можно утешаться, что он сродни ньютоновскому идиотизму, который в двери проделал два отверстия - большое и маленькое - одно для большой кошки, а другое для

маленькой. Да, я могу подобрать себе компанию по вкусу, но дело не в этом, а в том, что самостоятельной сообразительности у меня было негусто. Все я черпал из мнений близких и взрослых.

Но почему же все-таки запомнился мне тогда эпизод с поклевышем? Да потому, что интонация, с которой бабушка восхваляла вкус, была какая-то особенная. Я ничего не понимал, но ОЩУЩАЛ, что интонация - неадекватная. Расхождение между содержанием речей и тоном, чуть ли не плачем, речей, углубляло восприятие, и эпизод западал в память. И лишь много-много лет спустя, когда я поел множество вишен разных сортов, и поторговался вволю за их цену, и прочитал бабушкины письма с жалобой на дороговизну, - меня вдруг осенило: вот откуда шла такая интонация!

Вот другой случай запавших в мою душу непонятных, но интенсивных чувств. Моя мать спешит, тащит меня за руку, и я иду с запинками, потому что тянусь рассмотреть украшения, которыми обвешана улица, а теперь вот коридоры школы, в которую мы вошли. Я знаю, что это ВЫБОРЫ, но что это такое - не знаю. Красные полотнища, портреты я вижу, но они не вызывают у меня никаких особенных эмоций, потому что точно такие же я уже много раз (вчера?) видел. В коридоре же этом я не бывал. Там дальше какая-то ширма-штора, я прижимаюсь к ней мордочкой, руками - приятно на ощупь. Мать что-то делает, бумажки, карандаш, но это наверху, над моей головой, и неинтересно, а вот ткань - небывалое ощущение. И мощным непрерывным потоком льются от моей матери ко мне два равных по силу чувства: радость и страх. Они переливаются и по воздуху, они заполняют все помещение - ГРОМАДНАЯ РАДОСТЬ И ОТЧАЯННЫЙ СТРАХ. Чувства такие порознь я уже испытывал, поэтому безошибочно опознаю их. Причин им я не знаю, но и не ищу, я воспринимаю мир как данность; все, происходящее в нем помимо моей воли, - разумно и должно только так происходить. Поэтому я не спрашиваю мать, отчего сии чувства, но я запоминаю их от НЕАДЕКВАТНОГО СОЧЕТАНИЯ двух таких эмоций. И лишь позже, десятилетия спустя, когда я умел безошибочно датировать первые выборы, в которых принимала участие моя мать вместе со мною - 12 декабря 1937 года, я смог объяснить одну составляющую ее чувств: страх. Страх, царивший в 1937 году, когда уже был арестован бывший председатель совнаркома Рыков, когда волна арестов “троцкистско-зиновьевских и бухаринских двурушников, диверсантов и вредителей” прокатилось уже по головке Ростова[205]. Про эти месяцы сказано:

“Это было тогда, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад,
И ненужным привеском болтался
Подле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,
Шли уже обреченных полки

[205] В 1937 году М.А.Суслов из Комиссии советского контроля при ЦК, где он трудился одним из помощников Н.И.Ежова, посылается на рост именно в Ростовский крайком, где вскоре становится его секретарем (не первым). Впрочем, тут он долго не задерживается.

И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки”.

Так что “страх” понят, рационализирован. А радость почему же? Да потому, что сталинская конституция 1936 года ликвидировала всю КЛАССОВУЮ дискриминацию населения. Раньше лишь рабочие и часть крестьян и совсем отдельные служащие имели право голоса, а теперь - все, без исключения, граждане СССР. Из вузов перестали вычищать по “дореволюционным” основаниям (стали - по “оппозиционным”, но матери это не грозило). Она благодаря такому изменению курса правительственного корабля сумела получить диплом, сделалась уважаемым членом общества, теперь вот получила квартиру, впервые в жизни голосует, избирая депутатов в высший орган власти, это она-то, которую все время вычищали, которую даже в комсомол не пускали как классово-чуждую. Как же не ликовать?! И ликование струилось из нее. А мне пришлось прожить большущий кусок жизни, прежде чем я рационализировал воспринятое мною чувство радости.

Так вот, самые фундаментальные мои воспоминания относятся не к событиям, а к чувствам, кем-то испытываемым по поводу событий и воспринимаемым мною, уже, может быть, безотносительно к исходному событию. Я был хорошим рецептором, реципиентом, чувствилищем. С годами я стал более грамотным реципиентом, так что умел не только воспринимать чувства, но и развить их, сформулировать, проанализировать. Не без ошибок, само собой, но об этом позже. Трудно разделить, в какой мере я воспринимал всеобщую радость, в какой мере это была моя собственная естественная радость в связи с Елкой 1 января 1937 года. Это была первая дозволенная властями Елка. Перед этим долгое время Елка воспринималась как атрибут религиозного праздника Рождества Христова, поэтому дети сознательной прослойки Советского Союза (в частности, учителей) не имели возможности справлять Елку; это каралось примерно как сейчас крещение учителями своих детей или приведение их в церковь. Но в 1937 году Постышев в предсмертных своих потугах перевел праздник Новогодней Елки из разряда религиозных в категорию советских празднеств (хотя до объявления 1 января выходным днем пройдет еще много десятилетий) и во Дворце Пионеров или Дворце Детей в Ростове для детей учителей-отличников-ударников было устроено грандиозное празднование. Оно было великолепным не только по моим тогдашним восприятиям, но и по объективному своему значению. Сравнить его можно разве лишь с начавшейся тогда же подготовкой к 100-летнему юбилею смерти Пушкина. Двадцать лет назад Пушкина от имени Революции сбрасывали с парохода современности, а Блок перед смертью именно Пушкина звал “помочь в немой борьбе с “дней текущих обманом”. Теперь же Пушкин возникал на обложках школьных тетрадей как свой. К елке радостно готовились. В частности, я, уже давно известный среди знакомых матери учителей как ретивый декламатор, учил длиннющую поэму, нарочито к этому Новому Году опубликованную тогдашним ростовским поэтом. Увы, фамилию его не помню, а уже много лет меня тянет перечитать ее. Там звери собрались в лесу справлять Новый год, хлопочут об угощении. Вдруг неожиданно к Зайцу заявляется Медведь, а чем его кормить при

разнице во вкусах? И Заяц поясняет: “Меду нет, а есть варенье из морковки - объеденье. Кочерыжки - высший сорт”. (Подтекстовый смысл сих разговоров о снабжении дошел до меня очень не скоро, наверное, только в послевоенные годы, когда с этими словами мы с матерью вываривали свеклу вместо отсутствовавшего сахару.) И, пританцовывая, оба пели: “Тим-тим бум-бум, зайчишечка! Тим-тим бум-бум, медведь косой!” Стихи были гладкие, учились легко. А чтение их - “плод полутрудов-полузабав” - вознаграждалось и напряженным восторгом, с каким внимали пяти-с-половиной летнему декламатору такие же по возрасту слушатели, а также бурным поощрением со стороны взрослых, мнение которых для меня было, как сказано, законом. А эти огни - кажется, свечки, а не электрические - а изготовление игрушек - ведь их в продаже не было, все делалось своими руками... Самозабвенное веселье!

И тут, сколько мне помнится, впервые в жизни, я испытал эротическое переживание. Один из “дядек”, что там были организаторами-затейниками, стал сбивать хоровод и сам пританцовывать, с возгласом “Ос-са!”. При этом он пальцы (или один палец?) одной руки ритмично всовывал в кольцо, образованное согнутыми пальцами другой руки. И, глядя на движение его пальцев над головой, я вдруг испытал то, что по словам Томаса Манна переживал Иосиф, когда ощущал движение “трех зверей”, охранявших “сад птичницы”, - СТЫДА, ВИНЫ И ГЛУМЛИВОГО СМЕХА. Это безошибочное ощущение. Почему? До сих пор я не рационализировал этого эпизода. Возможно, с этими помыслами смотрел пританцовывавший затейник на какую-нибудь молоденькую учительницу, а я “перехватил” его телепатему. Возможно, кто-то из наблюдавших уловил в этом движении пальцев соблазн, неприличие - и его растерянный стыд передался мне. А, может быть, пробудились те эрогенные окончания, которые дремали до того в моих собственных кончиках пальцев, те самые, которые наслаждаются, касаясь женской груди, шерстистой кошкиной спины или чего иного... Не знаю. Но точно знаю, что испытал именно эротическое чувство.

Хмурое, пасмурное ожидание чего-то - другой эпизод. Рядом с нашим домом, непосредственно к югу, стояла церковь. Уже бабушка моя была просвещенной атеисткой, хотя “междометия” вроде “прости-господи”, “боже-ты-мой” почти не сходили с ея уст. Про мать и говорить нечего, поэтому церковь нам была ни к чему. Не помню ни разу колокольного ее звона, и никогда не задумывался над ее исповедальной принадлежностью. То ли она уже была закрыта к моменту начала моих воспоминаний, то ли звон был запрещен[206]. Я вижу толпу в черное одетых женщин, напряженно глядящих в одном направлении, прочь от нашего дома. Меня пронизывают флюиды: “Вот случится нечто несказанно страшное, небывалое”. Сам я с любопытством и безо всяких страхов и ожиданий перевожу взгляд, следуя за их взорами, и вижу как (почему-то беззвучно) отделяется стена и падает - медленно-медленно - по направлению к нашему дому. Кирпич-другой долетают до ног женщин. Это взрывают церковь. На этом месте в какие-то рекордно короткие сроки

[206] Вспоминаю, с каким изумлением-недоумением слушал я году в 1965 Виктора Шейниса, который возмущался звоном колоколов наподалеку размещенного Спасского собора (а жил он на Моховой): мешает читать и думать.

построили школу № 90 - ту самую, в которую я пошел учиться 1 сентября 1938 года, не дождавшись своих 8 лет, положенных по тогдашнему закону. Строили ее, кажется, из тех же церковных кирпичей и, сдается, на прежнем фундаменте. Сейчас там общежитие какого-то техникума или ПТУ.

Разумеется, при таком моем домашнем воспитании никаких трудностей с учебой у меня не возникло, сплошные отлично и похвальные грамоты сопровождали меня по пятый класс неизменно, так что я не могу документально проследить, когда с трехзначной системы оценок “отлично”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно” перешли на четырехзначную, добавив градацию “хорошо”. Помню мистическое чувство “прикосновенности мирам иным”, когда в тетрадках, на полях, датируя выполнение задания, вместо 1938, 1939 возникло впервые 1940. Цифра “3” сменилась на “4”. НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. Ноль этот очень впечатлял. Трепет, предвкушение и опаска - а вдруг ничего не сбудется? Такого смятения в душе я не испытывал, сменяя “4” на “5” или “7” на “8”. Оно, наверное, сродни настроению fin du siecle перехода от 1899 к 1900. Еще одно школьное воспоминание, по-настоящему тоже осмысленное мною много позже. В первом классе учительница принесла нам кучу свежих учебников и, почему-то вполголоса, велела вырезать картинки на каких-то страницах. Я уже знал, что это называется “портреты”, а не “картинки”, конечно, прекрасно умел читать-писать (в отличие от большинства соклассников) и мог прочесть подписи под портретами, но даже если и прочел, то имена расстрелянных Блюхера, Ежова, Косиора, Постышева, Рудзутака и Эйхе мне говорили так же мало, как мало говорят они современному молодому поколению или как будут они ничтожно мало значить для читателя через пятьсот лет - политикой, наипаче фамилиями членов кандидатов Политбюро у нас в доме не интересовались. И хотя я многократно встречал в журнале “Мурзилка” и портрет железного наркома Ежова и восхваление “ежовых рукавиц”, вырезание его портрета ни с чем для меня не ассоциировалось. Шепот “Буденный в опале” и снятие со стенки в классе его портрета, а потом водворение его на место уже что-то значило для меня, потому что фамилия “Буденный” четверояко входила в мою жизнь: через существующий в Ростове легендарный Буденновский проспект, на котором некоторые мальчики нашего двора даже побывали; через семейные воспоминания о “буденновцах” с их кружкой (см. §7 гл.2); через радио и стихи тех лет о “красной коннице Буденного”, фамилия которого воспринималась почти как через черточку с фамилией Ворошилова; и, наконец, через “личное мое знакомство” с конем Буденного.

Дружба сестер крепла с годами, несмотря на то, что жизнь разметала их в разные стороны. Вероника перебралась в Москву, в комнату на Мерзляковском переулке. В той же квартире жила Женя, когда бывала в Москве, юридически, кажется, даже принадлежала квартира Андрею Небольсину. Часто Женя приезжала в Ростов, а еще чаще присылала своих детей. Помню, еще когда она жила на Чукотке, на погранзаставе, ее тамошние друзья, семейство Скориков, уехало оттуда и провело с нами на даче в Приморском (на полдороге между Ростовом и Таганрогом) целое лето. Петр Яковлевич Скорик позже стал языковедом-юристом, кем он был тогда, я не знал, мне было довольно, что он - друг дяди Андрея; говорили, что он даже его родственник, так что их дети доводились мне вроде бы троюродными братьями. Его жена, тетя Нина, Нина Дмитриевна, учительница, с сыном Марком[207] и дочерью Нелей были чудесными дачными компаньонами. Там же была Наташа, дочь Жени. И в подарок Небольсины прислали нам пресс-папье, сделанное из моржового клыка. Оно у меня до сих пор сохранилось. И есть совместная фотография нас всех в море, где все четверо детей голые, а из взрослых - моя мать и тетя Нина. Контакты с Небольсиными были не односторонними, мы также ездили к Жене в Москву. И раз угодили на майские праздники. Тогда Женя - или даже сам Андрей случился тут? - добыла нам строго лимитированные пропуска на трибуны Красной Площади на парад. Счастью моему предела не было. Но запомнил я не лица вождей - Сталин, Ежов, Молотов, Ворошилов - а один лишь белый бантик на ноге (бабке?) коня Буденного, принимавшего парад. Ни о чем другом по возвращении в Ростов я разговаривать не мог, других впечатлений не вынес.

А.А.Небольсин, Е.М.Небольсина (Пименова) с дочерью Наташей. Около 1936 г.

Еще помню приезд мой с матерью к Небольсиным в Одессу. Было это как-то связано с недавно состоявшимся у меня удалением гланд и то ли можно было есть сколько угодно мороженого, то ли оно категорически запрещалось. Наташе же Небольсиной (моложе меня на год), наоборот, по части мороженого было предписано прямо противоположное. Но мы бегали по улицам вдвоем, я был старше, само собой получилось, что она ослушалась. Дома дядя Андрей тут же снял ремень и повлек ее пороть. Помню, нас с матерью это несколько шокировало. Не сама по себе порка - мать не отказывалась от этого традиционного и весьма надежного средства общения[208]. Но

[207] Позже она перечеркнула в метрике имя “Марк” и вписала “Борис”, пояснив, что “Марка за еврея принимают”. Исправление в метрике осталось ничем не заверенным, и так он и живет до сих пор по имени “Борис”. Моя мать по этому поводу пожимала плечами: “Имя Борис еще больше еврейское”.

[208] Мне кажется, что родители, исключающие порку из средств семейного диалога, возлагают на ребенка непосильное душевное бремя. Словами объясненный запрет

маловажность проступка или ПУБЛИЧНОСТЬ наказания, что ли. По-моему, у нас в семье было заведено не то что порку, но и всякое вообще наказание, даже простое изъявление неудовольствия откладывать до ухода с глаз долой посторонних. Это, так сказать, наше личное вполне дело. Припоминаю одну свирепую порку, заданную мне матерью. Связано с выездом на дачу, кажется, в упомянутую Приморку, летом. Она заготовила чемодан, все уложила, заперла, приготовила веревки, чтобы обвязать перед выездом на вокзал, который на западной стороне, до него добираться через весь город и занимало по тем временам часа полтора с неопределенностью стояния трамвая перед переездом. Я оставался в доме один, играл, в игре заметил “новую игрушку” - чемодан, пожелал вскрыть его, ключей то ли не было, то ли я не умел ими пользоваться, я приспособил гвоздик, стал ковыряться, намертво сломал замок, перепугался, затаился: авось не заметит. Но прибежавши с работы наскоро перед поездом, ей потребовалось что-то сунуть в чемодан дополнительно (она была забывчива), схватила ключ, толкнулась, он не лезет, она бросила взгляд на меня, я в рев. Вся ее ярость от опоздания на поезд, от сорвавшейся поездки, от лопнувшего отдыха - все это почувствовал я, когда она полосовала меня этими самыми веревками для обвязки чемодана. И, конечно, было это “педагогически правильней”, чем кабы она стала мне словами объяснять, чего она лишилась из-за моего неумелого любопытства! Потом пришлось вызывать слесаря, чтобы отпереть чемодан - мужской-то руки в доме не было, даже у соседки Тони. Всю жизнь потом, имея дело с чемоданными запорами, я вспоминаю ту порку. Странно, что не помню больше ни одной порки, хотя убежден, что бывали и еще.

Был случай, тоже с дачей. Мать на всех наварила штук 30 яиц вкрутую, а перед отъездом обнаружила, что я их поел. Она не столько рассердилась, сколько изумилась: неужто я так голоден? Столько - смог съесть! Куда влезло? А я их умял “в задумчивости”, не заметив ни числа, ни вкуса. Наказания не было, и расстройства желудка тоже. Первые свои полвека я прожил, не зная, что такое расстройство желудка, что бы ни съел. Ни одного воспоминания несправедливого наказания с этих лет у меня не сохранилось. Помню - не в связи ли с чемоданом? - мне был выделен будильник, дабы я его ломал, чинил, обучался. Вроде бы ничего не вышло, и бабушка прозвала меня Мастер-Ломастер.

Мать внимательно следила за тем, за чем указывала следить тогдашняя педагогическая наука. Заметив трудности с выговариванием “р”, она повела меня к логопеду (или как они тогда назывались?). Научила. Именно в Одессе я р-р-раскатисто оглушал родственников свежеполучившимся у меня звуком. Для выработки дикции она подсовывала мне стихи - нормальные детские тех лет, а

постичь ребенку - трудно. Еще не сформировалась система терминов, к терминам не привязаны моторные реакции, восприятие мира, свои желания, аксиологическая система ценностей. Чаще всего слова скользят по поверхности, “а Васька слушает да ест”. Либо же родитель находит жгучие, пронизывающие слова - а глаголом можно ранить необветренную душу посильнее-побольнее, чем ремнем. Непоротые дети чаще вырастают невротиками, надорвавшимися от чересчур ранней перегрузки “второй сигнальной системы”. А потом тяжелее страдают от жизни, не ограничивающейся в своем лупцевании одними изящно-проникновенными словесами.

не из дореволюционных и даже не двадцатых годов “Чтецов-декламаторов” - и я охотно их заучивал, декламировал с выражением. С самых малых лет попав на эстраду, я не стеснялся публики, публичного выражения, при всем почтительнейшем внимании к старшим. Это тоже позже мне весьма сгодилось. Заучивание стихов великолепно тренировало и развивало память - инструмент, без которого в интеллектуальной деятельности и вообще ни в одном ремесле мастерства достичь нельзя. Существует идиотская концепция образования: дескать, ничего не надобно зубрить, не надо механически заучивать наизусть, ученик должен ПОНИМАТЬ то, что учит, а не “механически запоминать”. Не говоря про то, что в жизни страшно много непонятного даже умудренным старцам и смешно пытаться учить детей жизни так, чтобы дети ее “понимали”, даже то, что доступно рациональному и дискурсивному объяснению, не витает в безвоздушном пространстве только тогда, когда в памяти накоплен достаточный запас иррациональных и бессвязных сведений. ТОГДА “объясняющая мысль” увязывает как молния какую-то группу разрозненных фактов единым “понятно!” А при отсутствии этого набора не разрозненных по полочкам сведений, как они пребывают в натуре, никакие объяснения ничего не дают, они пусты. Заучивание наизусть стихов сначала, а потом и прозы создавало эту коллекцию сведений о жизни. Правда, учился я запоминать СЛОВА, СЛОВЕСНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ, никто никогда не учил меня наблюдать БЕССЛОВЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ и умению переводить их в слова.

Оно, конечно, эстрадность и вундеркиндство порождали тщеславие, самомнение, самовлюбленность. Мать с этими вредными проявлениями боролась; не помню, как в этом возрасте, расскажу в своем по хронологии месте, где помню ее приемы. Ну, если ребенок в 6 лет прочел “Дон Кихота”, то что он оттуда может перенять? Естественно, я сделал деревянный меч, картонный щит, да иногда брал у бабушки медный тазик (ой, какое варенье в нем варивалось!) под шлем и отправлялся рубить мечом траву, высоко и густо росшую в нашем дворе. Взмах - и катятся отрубленные головы врагов! Другой, третий. А я - герой и всехний победитель. И - этого я не помню, но моя мать часто напоминала мне о моем хвастовстве позже - в 1940 году я записываю (именно ЗАПИСЫВАЮ, не довольствуясь устным изъявлением) предсказание:

- Через десять лет обо мне будет знать весь мир!

Для тщеславного мальчика, избалованного всеобщим вниманием и совершенно справедливой констатацией: “Как хорошо читает!” “Как прекрасно пишет!” “Как много стихотворений наизусть помнит!” - банальная похвальба. Не совсем банально, что мать этого мальчика запоминает и напоминает ему о несбывшемся пророчестве для воспитания скромности. Но если взглянуть “с планеты Альдебаран”, то что произошло десять лет спустя? В 1949 году я совершил свой шаг, свой самостоятельный поступок, вопреки матери, отцу, всему окружению - ушел из комсомола, как то описано в §5 гл.1. В результате я сделался на некоторое время словно фокусом, сосредоточившим чаяния моего и смежных поколений. И, в конце концов (если это - конец), я в 1984 году попал персонажем в прозвучавший на весь мир телефильм “Андрей Сахаров”, а еще раньше - попал в автобиографическую книгу самого Сахарова как

лицо, судьба которого была одним из поворотных пунктов самого А.Д.Сахарова. Не был ли я очень восприимчивым реципиентом будущего, только косноязычным, как все медиумы-пророки? Ибо ведь что в точной формулировке выражают слова: “Будет знать весь мир”?

Приучила меня мать вести дневник - этот учет, анализ и напоминание поступков. Увы, этим плодом ее воспитания мне не довелось попользоваться: все пропали. Слава ГБ!

Очень сгодилась мне в жизни такая наука, преподанная бабушкой и матерью: если у тебя имеется кусок черствого хлеба и кусочек шоколада, то сначала полагается съесть черствый хлеб, а лишь на закуску - сладкое. В этой максиме она ссылалась на своего папочку. Научила меня не плакаться на внешние обстоятельства, а винить в неудачах самого себя. Другая любимая присказка матери: “Бачили очи, що купували, теперь ижте аж повылазьте!”

Жизнь моя текла не только в стенах нашей квартиры. Во дворе меня знали, любили и ссорились. То мы тайком срезаем вишневые ветки - делать из них свистки. То старательно, часами, проверяем, как свертываются листки мимозы. То - в нарушение всех запретов - скатываемся на задницах по широким мраморным перилам театра. То покупаем на как-то (еще безгрешно!) добытые гроши мороженое там же, напротив театра; впрочем, самое вкусное мороженое делала сама бабушка в собственной мороженице, выдавливая из своей вафельницы. То я изобличен в какой-то хлюзде, и меня весь двор торжественно в наказание обносит верхом на палке. То мы играем в прятки, растекаясь по многочисленным и сквозным подъездам домов, то играем в штандер. Игра, возня, телесные касания, запахи - вот текст моего дворового детства. То я у Дины Серлин, жившей на втором этаже нашей же лестницы - гораздо более широкой, нежели строят сейчас. Ее учат играть на пианино (рояли? фортепьяно?), она прекрасно умеет - по моему разумению - и берется учить меня. Кажется, даже обучила меня выстукивать “чижик-пыжик”, но дальше дело не пошло. А вот мы с нею забираемся в предоконный выем подвального этажа и, присевши, чтобы нас не увидали со двора, спускаем друг другу штанишки - посмотреть, что там у нее-него. Курьезно, что от этого осмотра у меня не осталось эротических восприятий, скорее ощущение “академического исследования”. В июле 1941 года ее отец ушел добровольцем на фронт, а осенью 1942 году немцы депортировали Дину со всем ее семейством. Довезли ли до Освенцима или примитивнее по дороге убили в душегубках, но никто - в том числе и отец - домой не вернулся. Я не стал бы спорить с психоаналитиком, если бы тот вычислил, что все мои последующие в жизни влюбленности восходили к памяти этой семилетней девочки.

Помню, мы втроем - я, Наташка и бабушка - стоим в очереди за хлебом. Рано-рано приходилось занимать очередь, а стоять надо было поелику возможно большему числу лиц, так как в “одни руки” давалось чего-то совсем немного. И хлеб не всегда бывал. Зато это блаженство от мягкого, теплого белого хлеба, когда несешь его и украдкой отщипываешь корочку за корочкой - вот уже один мякиш остался. Надо мной смеялись, вроде бы даже ругали, но как-то так, что сквозь упреки старших я скорее ощущал восхищение, так что от этой привычки я не избавился. Помню крики:

- Точу ножи-ножницы! - И я сбегал посмотреть на искры, срывающиеся с точильного круга. Серые ремни точильщика

привораживали, но и пугали. В них словно воплощалось то неведомо страшное, что таилось за словами: УЛИЦА, ЦЫГАНЕ, БАНДИТЫ. Но искры и вращение колеса - манили, влекли.

Мечтал я, когда вырасту, стать милиционером-регулировщиком в белых перчатках. Восхищался эспаньолками и героем-танкистом из фильма “Парень из нашего города”. Восхищался Чапаевым и из кино о нем вынес убеждение, что натирание паркетных полов - самый что ни на есть безошибочный признак эксплуататоров. Читал в “Мурзилке” о героическом пограничном псе Джульбарсе, о роскошной кукле с открывающимися глазами и со вшитыми в ее чрево шпионскими донесениями. О собаке, у которой шпионы вместо одного глаза вставили фотоаппарат и пустили бегать по аэродрому (или полигону?), дабы отснять места, куда самим не пробраться. Все это укладывалось в моей голове именно так, как планировали редакторы журнала. Даже тени критики или сомнения не возникало. В этом отличие моего тогдашнего восприятия от восприятия рано сформировавшегося Эрнста Орловского. Он в моем возрасте уже читал газеты, запоминал имена и формулировки и обращал внимание на противоречия, когда вчерашние формулировки сменялись сегодняшними, когда вожди попадали в разряд врагов. А после того, как арестовали его мать - секретного сотрудника НКВД и автора книжек по географии - его восприятие политической фразеологии сделалось болезненно отточенным и стало вызывать постоянный отпор со стороны его отца. У меня никаких таких конфликтов не было даже в зародыше.

Так заурядно и безмятежно катилось мое детство, как у многих не хуже меня одаренных - а я вроде бы убедительно показал, что генофонд у меня был благоприятный и специфический - моих сверстников в нашей незаурядной стране в те уникальные годы. Не будь этой уникальности - не повернулась бы моя жизнь так, как она повернулась в 1940 году, когда я кончал второй класс.

§3. Ваня возвращается к Ларе

Процессы вредителей; арест Щербакова; от 58[7] через 111 к оправданию по суду; Иван оставляет Евгению и просит Ларису принять его; сестры Пименовы на Колыме; Колыма - край сказочных денег; Зоя воссоединяет семью; бабушка в Ростове; от чего увозил меня поезд

Мы расстались с моим отцом на том, что его послали в Москву повышать свою квалификацию. В это время как раз в Москве гремел на весь мир процесс право-троцкистского антисоветского блока. При последнем, в 1982 году, обыске КГБ изъяло у меня почему-то стенограмму этого процесса, изданную в СССР и, разумеется, не более антисоветскую, нежели любой номер газеты “Правда”; поэтому я напомню этот процесс по памяти, без сверок. Главные подсудимые были Бухарин (главный теоретик партии, еще 15 лет не прошло, как Ленин называл его “заслуженным любимцем всей партии”), Рыков (председатель Совнаркома СССР после Ленина, но арестован с поста наркома почт и телеграфа), Ягода (нарком ВД и ГБ), Крестинский (бывший до Сталина генеральным секретарем РКП(б)), Раковский (глава Советской Украины), Ходжаев (глава Советского Узбекистана), Шарангович (глава Советской Белоруссии). По тому же процессу шли кремлевские врачи-убийцы Левин, Плетнев, Казаков и личный секретарь Горького, он же сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД Крючков. Обвинялись подсудимые в фантасмагорических злодеяниях. Например, Шарангович - в том, что осушал болота Белоруссии и прокладывал дороги (ну, конечно, не он лично, но велел это делать, как граф Клейнмихель строил железную дорогу из Петербурга в Москву) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ НАСТУПЛЕНИЮ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. Разумеется, Бухарин никогда не был троцкистом, а Троцкий ненавидел Бухарина гораздо сильнее, нежели Сталина. Крестинский, Ходжаев, Шарангович сейчас восстановлены даже в своих партийных заслугах, а все без исключения осужденные и расстрелянные - реабилитированы в судебном порядке. Потрясение от этого судебного процесса было всеобщим и глубоким. Так как все обвиняемые свыше десяти лет занимались вредительством на самых руководящих постах, насаждали, опираясь на свою внушительную власть, шпионскую сеть всех разведок, от “Интеллидженс Сервис” до гестапо[209], то любому советскому человеку становилось ясно, что шпионы и вредители всюду вокруг нас, что надобно немедленно и беспощадно разоблачать и выкорчевывать их. И надо было ликвидировать последствия этого вредительства.

В частности, вместе с Бухариным судили наркома земледелия М.А.Чернова[210]. И он дал - в открытом судебном заседании в присутствии даже иностранных журналистов - показания, в

[209] Гестапо имело чисто внутренние функции, весьма жестокие, и никогда не занималось шпионажем, международной политикой и т.п. По неграмотности следователей было выбрано в сценарий этого и других процессов главным центром шпионажа, что примерно так же нелепо, как “шпионская сеть советского ЗАГСа за рубежом”.

[210] Случайный однофамилец с-р В.М.Чернова, бывшего несколько месяцев в 1917 году министром земледелия.

частности, о своем вредительстве в области ветеринарии по заданию гестапо. Он, дескать, приказал начальнику ветеринарной службы Гинзбургу и начальнику бактериологического управления Боярчинову организовать на биофабриках в Кашинцово, Орле и Ставрополе изготовление лжепрививочных препаратов против рожи и чумы свиней - под видом прививки изготовлялся неослабленный возбудитель заболевания. И поголовье свиней в Воронежской и Азовской областях было якобы истреблено в результате. Об этом написали газеты[211], вещало радио. Щербаков читает и недоумевает: на названных биофабриках никогда не изготовлялись противочумные прививки. На них вообще никаких препаратов, предназначенных на свиней, не вырабатывали. И противорожистую сыворотку, и противочумную свиную выпускала Краснодарская биофабрика, на которой Щербаков работал. И это знают все специалисты. Он тыкается со своими соображениями-недоумениями к коллегам по московской лаборатории, но те отмалчиваются, а на одобрительном собрании по приговору единогласно подымают руки за расстрел. Расстреляли. Посмертно реабилитировали. Теперь-то, после публикаций воспоминаний уцелевших, мы знаем, что эта “нелепость” - последняя, отчаянная, безумная попытка замученного обвиняемого сказать правду, но так, чтобы следователь ничего не заметил:

- Я не виновен! Я не мог быть виновен!! Всякий, знающий факты, это увидит!!! - Таким же образом на этом и на предыдущем, в январе 1937 года, процессах обвиняемые признавались, что встречались с гитлеровскими хозяевами в Копенгагене, в здании, которое - как знал любой датчанин - было снесено за двадцать лет до якобы имевшей в нем встречи. Таким же образом Рудольф Сланский и Лебль признавались во вредительстве, приписывая себе все то, что делал и произносил Клемент Готвальд. Но никого это не спасло от пули или петли...

Вскоре по возвращении из Москвы Щербакова вызвали в краснодарскую прокуратуру и арестовали. Однако все происходило вовсе не типично. Во-первых, читатель напрасно подумал, якобы арестовали Щербакова за эти разговорчики, ставившие под сомнение высокую квалификацию и самоотверженную деятельность органов госбезопасности. Не дошли до Управления ГБ-НКВД эти разговоры. Во-вторых, следствие вела прокуратура, а не НКВД. Сама атмосфера первого допроса какая-то водевильно-провинциальная: большой зал, где стучат пишущие машинки, стоит очередь или даже несколько очередей к разным столам, а за одним из столов следователь допрашивает добровольно по повестке явившегося барана - Щербакова - а по окончании допроса, по подписании протокола, вдруг театрально вскакивает и рявкает:

- Встать! Вы арестованы!

Редко смеешься в момент ареста, но Щербаков расхохотался: до того нелепо и неуместно выглядел следовательский пафос. В-третьих, обвиняли Щербакова И.Г. в “плюсквамперфектных”

---

[211] Тонкость, подтверждающая память И.Г.Щербакова. Он мне рассказал эту историю. Я не нашел в стенограмме ей подтверждения, сказал ему. Он настоятельно подтвердил: были такие показания. Оказалось, что есть две “стенограммы”: одна “по тексту газет”, которая была у меня и где этого эпизода нет, и другая “полный текст”, где он есть. Хотя, оказывается, в газетах-то БЫЛО опубликовано. Ведь стенограмм Щербаков не читал.

деяниях: в эпизодах, имевших место еще в совхозе “Кубанец”, т.е. свыше года назад. Так что дело и не в том, будто бы НКВД сообразило проверить показания Чернова и дозналось, что вакцины для свиней изготовляет не ставропольская, а краснодарская биофабрика, и как раз в противоорожистом цехе ее работает Щербаков.

А в совхозе тогда у него возник конфликт с двумя командированными из Москвы проверяющими по вопросу о так называемых симультанных прививках. До приезда проверяющих Щербаков придумал некую рационализацию, посредством которой сумел добиться иммунитета поголовья от определенного заболевания, не обременяя совхоз чрезмерными тратами. Приехавшие, не доверяя его доморощенным выдумкам захолустного врача, настаивали своим столичным авторитетом перепривить симультанно, как в учебниках сказано. Это одновременное прививание двух вакцин требует особенно тщательного содержания животных на время прививок, и Щербаков толковал, что ферма не может гарантировать такого питания свиней на время иммунизации, какое положено по ветеринарным руководствам. Поэтому он отказывался проводить симультанные прививки, не отказываясь, впрочем, подчиниться проверяющим Митрофанову и Берлину и ПО ИХ УКАЗАНИЯМ делать то, что они велят и запишут как СВОЕ приказание. Они же не желали брать на себя ту ответственность, кою обязан принять на себя старший ветеринар совхоза. Так они и препирались пару месяцев, после чего инспекция вернулась восвояси ни с чем - Щербакова не переупрямить. Когда арестовали упомянутого Гинзбурга, Берлин то ли дал показания, то ли отправил донос, что тот-де покрывал еще и вредительские действия Щербакова и Митрофанова, о которых он, Берлин, своевременно сигнализировал Гинзбургу. Арестовали Щербакова, Парфенюка и одного зоотехника, фамилию которого отец забыл. Учинили розыск Митрофанова, отбывшего в длительную командировку в Сибирь с очередной реквизицией. Имкриминировали вредительство, конечно.

Слева направо: И.Г.Щербаков, его брат Михаил, двоюродная сестра И.Г.Щербакова - Миля (Милиция). Сидят: двоюродная сестра И.Г.Щербакова - Нина и П.А.Щербакова. Новочеркасск, 1939 г.

Тюремная жизнь была несладкая, что и говорить. Но пыток не применяли - по отноше-нию к этой группе - хотя в камерах Щербаков встречался с лицами, к которым тогда и там применяли избиения и более изощренные пытки. Передачи тогда дозволялись без крохо-борства. Да что говорить о передачах, если еще недавно совершенно официально существо-вали такие органы, как Губернский комитет помощи содержащимся в местах заключения;

например, в “Юридическом календаре на 1928 год” по Ленинграду значатся несколько пунктов этого комитета, и в пункте при изоляторе спец. назначения числится отдельная юрконсультация, работавшая по два часа три дня в неделю! Несколько рассказов сокамерников запали в память Щербакова, но это рассказы “со слов”, я их пересказывать не хочу, ничего нового к обширной литературе, восходящей к Солженицыну, Шаламову, Дьякову, они не добавляют. С ним самим в этом смысле ничего достопримечательного не происходило. Небывалое в его истории - это ее сказочно-счастливый исход, и ему можно было бы не поверить, кабы не бесспорный документ, сочинить который ему не было бы ни нужды, ни возможности. Почему-то он и сам нисколько не сомневался с самого начала в благополучном завершении. Стоит, правда, уточнить, что так эта история кончилась для троих, а директор совхоза Парфенюк умер под следствием. И даже когда следователь говорил Щербакову, что по 58[7] введен расстрел, он не верил следователю: стращает, дескать - а ведь тот как раз тут не врал; тогда же “потолок” повысили до 25 лет. По мнению Щербакова, главное было - не поддаться на угрозы и уговоры следователя. Те, кто поддавались и признавали - оттого ли, что надеялись на суде “неопровержимо доказать нелепость обвинения” (таким был один летчик, который признал, что завербовывал в свою троцкистскую организацию таких-то, но по датам “вербовки” выходило, якобы он, двенадцатилетний, завербовал троих сорокалетних!), или оттого, что воображали, будто бы в лагере лучше и свободнее, нежели в тюрьме, или потому, что признававшихся иногда лучше кормили и содержали (по-царски содержали одного новочеркасского профессора, признавшегося, что он-де изготовлял яд для отравления И.В.Сталина), - все они необратимо проигрывали. На суде их никто не выслушивал, приговор штамповался мгновенно. Из лагерей возврата не было. А вот те, кто выживал и отбояривался от следователя - имели шанс. Такой шанс ему и выпал.

Следователь сначала составил обвинительное заключение по ст.58-7. Впрочем, зная юридическую неточность моего отца, я допускаю, что было еще “обвинительное заключение”, “предъявление обвинения в окончательной форме”, т.е. процедурное действие, совершаемое до завершения предварительного следствия, а не по его окончании (см. §§16-17 гл.1). На такое “предъявление” обвиняемый еще может следователю выдвигать возражения, заявлять ходатайства о привлечении документов и т.п., а на обвинительное заключение он может возражать только судьям в зале суда. Мое мнение подкрепляется тем обстоятельством, что после предъявления “обвинительного заключения” следователь устроил Щербакову и Митрофанову (наконец-то разысканному! т.е. вернувшемуся из командировки) очную ставку в расчете, что те, враждовавшие еще на воле, теперь примутся поливать грязью и обличать друг друга. Они же, напротив, стали взаимно оправдывать друг друга, сразу раскусив нехитрый “тактический прием” следователя. (К слову, Щербаков так различал Митрофанова и Берлина: оба они евреи, но Митрофанов, как и положено еврею, умный, а Берлин - дурак-дураком. “Первый раз в жизни видел тупого еврея”.) К слову, очная ставка происходила в присутствии эксперта-

ветеринара, который позже признавался, что по материалам был полностью убежден в том, что обвиняемые - настоящие вредители.

Дальнейшее было чудом, которому я умею дать три объяснения из разных сфер - астрологическое, юридическое и политическое. АСТРОЛОГИЧЕСКИ шел год Тигра, а сам Иван Щербаков по календарю “Тигр”, так что это был “его год”, и ничего основательно дурного с ним в этот год не могло стрястись (как были для него удачливы и 1926 и 1950 годы). ЮРИДИЧЕСКИ могло быть, что очная ставка так подействовала на следователя, что он изменил свое первоначальное мнение о преступности и переквалифицировал обвинение на ст.111, сняв “вредительство”. ПОЛИТИЧЕСКИ как раз в эти самые недели или даже считанные дни меняли всю краснодарскую верхушку, от обкома до НКВД. К концу этого года первым секретарем краснодарского крайкома назначили на опустевшее место Суслова. А сажать начальство летом 1938 года сделалось модным “за перегибы” - это предписывалось постановлением ЦК от января 1938 года - под каковым флагом и расстреляли неподалеку, в Сталинграде, Постышева. С последней версией стыкуется то, что следователь куда-то исчез, что Щербакова, Митрофанова и зоотехника выпустили, а дело против них передали в народный суд, переквалифицировав по ст.111 (халатность). Суд оправдал зоотехника, признал обвинение Митрофанова и Щербакова в халатности доказанным и приговорил их к одному году исправработ. С учетом длившегося пять месяцев “предварительного” заключения никакого наказания не осталось. Щербаков не пожелал смириться и с таким сказочно мягким приговором - просто не верится, что в сталинское время и такое бывало! - подал на кассацию и:

“ОПРЕДЕЛЕНИЕ
именем Российской Советской Федеративной Социалистической республики
3 октября 1938 г. Краснодарский Краевой Суд

Судебная Коллегия по уголовным делам в составе председательствующего Сорокина и членов Голикова и Балакина с участием прокурора //прочерк//, заслушав в открытом судебном заседании по докладу т.Сорокина дело по кассационной жалобе Щербакова Ивана Гавриловича и Митрофанова Ивана Александровича

на приговор Народного суда 2 уч. Тимашевского района от 25 сентября 1938 коим приговорены: Щербакова и Митрофанова по ст.111 УК к одному году исправтрудработ каждого.

Рассмотрев кассжалобу осужденных и материал дела судебная коллегия по уголовным делам находит, что приговор н/суда не может быть оставлен в силе и подлежит отмене, а дело прекращению по следующим основаниям: Из дела видно, что Щербаков и Митрофанов принимали все меры к тому, чтобы устранить эпидемию по совхозу, что подтверждает ряд документов от 7/7 36 г., где Щербаков писал докладную наркомату зерновых и животноводческих совхозов, 13/7-36 в отношении управления свиносовхозов. Все эти докладные направлены на устранение всех имеющихся ненормальностей, которые имелись в совхозе, поэтому у суда не было оснований

выносить обвинительный приговор в отношении Щербакова и Митрофанова. Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.418 УПК

определила

Приговор Нарсуда отменить и дело производством, за отсутствием состава преступления, прекратить.

п/п председат. Сорокин

члены - Балакин и Голиков

копия из

копия верна

н/судья -

нотариальная заверка 24/1-39 г.”[212].

Этот документ сохранился в бумагах отца даже в двух нотариально заверенных копиях от разных лет.

19 октября 1938 года его повышают, делая заведующим формолвакцинным цехом на той же фабрике. Но он не хочет жить там, где знают, что он сидел. Он не хочет жить с женой, которая бурно, по-армянски, вспоминает свои переживания во время его ареста, изображая в лицах, как она бегала хлопотала за него и спасала его. Ему надоели пьянство и собутыльники, а последние особенно зачастили по естественному поводу обмывания его освобождения. Он жаждет сменить среду и место обитания.

Он навещает Ларису в Ростове, заводит речи о совместной жизни. Он не умалчивает про существование Евгении Терпанасян, но вполне искренне объясняет, что та ему давно постыла, не любит он ее. Ларе читает стихи, ей посвященные. Лара прикидывает: вроде бы и поверить можно, и чувства у нее к нему остались какие-то. И ребенок вполне к этому незнакомому мужчине льнет.

Я помню осень, вишневый сад, в котором я, полуиграя, полувсерьез, убегаю от преследующего меня незнакомого мужчины. Вот он обхватывает меня у южного подъезда нашего дома и целует. Щетина колется, неизвестный дразнящий запах табака. Интересно. Хотя мне помнится, что то был для меня совершенно чужой мужчина, мне помнятся также эмоции чего-то запрещенного, манящего и ожидаемого - значит, не такой уж был он незнакомый. Я-то помню лишь одну такую встречу, а по мнению отца, таких сцен было несколько, причем каждая начиналась с моих пряток. До тех пор в доме ни разу при мне не упоминалось об отце.

Но, если воссоединиться, то куда он поселится? В эти комнатки на Нольной Иван не вписывается - нарушить устоявшийся ход жизни, да и противоречит это сложившемуся характеру Ивана, при котором ОН ОРГАНИЗУЕТ ЖИЗНЬ И К НЕМУ ПРИЕЗЖАЕТ ЖЕНА, а не ОН ПРИЕЗЖАЕТ К ЖЕНЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ КВАРТИРУ. Так что пока кончается ничем, но в разговоре о сестрах - естественные вежливые вопросы со стороны Вани: “Как твои сестры живут?” всплывает, что две младшие - Зоя и Вероника - вышли замуж и с мужьями уехали на Колыму. Там платят бешеные деньги, кажется, двойная зарплата и какие-то проценты, кажется, 50% каждые полгода набавляют. Вот на такие деньги можно было бы и квартиру хорошую купить (тогда еще

[212] Непонятно, почему заверяет контора, а не суд: ведь написано на типографском СУДЕБНОМ бланке. Но и это несоответствие не уничтожает в моих глазах силы документа.

дотягивали свое существование жилищно-арендные кооперативные товарищества). Мысль западает, зреет. Иван наводит справки, выясняется, что надо заключить договор, минимальный срок договора - на два года. И как хорошо: уедешь в новое место, где никто тебя не знает! Там, правда, суровый климат, но выдержим! Зато представить только, какими богачами оттуда вернемся! Всего-то два года, подумаешь! Весь год он ведет подготовку, заполняет длиннющие анкеты, врет в них, их полгода проверяют и, наконец, заключают с ним нужный договор[213]. 10 сентября 1939 года он увольняется из Краснодара и переезжает на Колыму, в Магадан. Евгению Терпанасян с сыном Александром Щербаковым он бросает в Краснодаре, обещавши ей выплачивать по 150 руб./мес. - половину своей краснодарской зарплаты. Он побоялся оставить Евгении старательно сколоченную им библиотечку из произведений Кропоткина, Бакунина и других теоретиков анархизма. Везти ее к Ларе - невозможно, не примет, и его самого с нею выгонит. Евгения - стукнет, посадит. К своей матери нельзя, потому что та признает только божественную литературу, этой в доме терпеть не станет. И он вывалил в отхожее место десятки книг. Его мать уезжает в Москву, к сыну Михаилу, тогда кончавшему институт и женившемуся. Кажется, по окончании института Михаил Гаврилович Щербаков уехал в Махачкалу. Оттуда он был призван в 1941 году и в том же году погиб в бессмысленном десанте Мехлиса под Керчью. Похоронка датирована 29 декабря 1941 года[214]. Детей у него не осталось - эта ветвь Щербаковых оказалась тупиковой. Прасковья Андреевна жила все время под Мытищами. С Ларисой Ваня договорился, что через год, если Ваня на личном опыте убедится, что в Магадане можно жить с ребенком в приличных условиях, а не так, как было на Кавказе-Кубани, если убедится, что не может обойтись без Лары, если..., заберет Лару и Волю к себе на Колыму.

Как сказано, тетушки мои зарабатывали там бешеные деньги. Не знаю, как уж оно вышло, но как раз около 1940 года на эти деньги Вероника покупала для Жени дачу под Москвой; купили возле Болшево, напротив дачи иранского посла, полдома, за 20 тысяч. Валентина Васильевна еще все возмущалась, почему не Женя платит, а Вероника. В Москве же у Жени с Вероникой было совместное жилье - крохотная комнатка в коммунальной квартире на Мерзляковском переулке, в том переулке, что в 1918 году был заселен чекистами и постоянно подселялся ими же. И Зоя, и Вероника звали на Колыму Лару, особенно Зоя, ибо Вероника к 1940 году уже вернулась “на материк”, а Зоя осталась на второй срок в Магадане. Будучи в шестимесячном отпуске осенью 1939 года, она заезжала к нам в Ростов повидаться с Ларой и уговорить ее. Лариса же все наводила справки, можно ли там жить с маленьким мальчиком, не вредно ли для здоровья? Ее особенно беспокоили мои больные уши-нос: ведь после скарлатины у меня пожизенно возникло

---

[213] Впрочем, в трудовой книжке значится, что Щербаков принят на работу в Дальстрой 18 ноября 1939 года с индивидуальным трудовым договором от 18 ноября 1940. №13840. Договор на три года.

[214] Похоронка выписана Махачкалинским военкоматом и в ней М.Г.Щербаков значится почему-то уроженцем Махачкалы, что полная чушь. Заверена копия с похоронки нотариально в Мытищах 16 августа 1946 года. Кто была жена Михаила, Иван не помнил или даже не знал.

осложнение в виде “двустороннего гнойного отита” и хронического насморка. Врачи попугивали, что простуда для обычного здорового человека может мне обернуться менингитом. Но сестры и Ваня в письмах заверяли, что уберечь ребенка нетрудно, ничего страшного.

Лариса колебалась и в отношении того, воссоединяться ли с Ваней. Возвращение его было воспринято ею без энтузиазма, впрочем, и без отталкивания. Но ехать к нему? Снова из Ростова? Весной 1940 года был момент, когда она “окончательно” порешила - не ехать! Тут пришло письмо от Зои - Зоя звала. Зоя хвалила Ваню. Случай свел их. В декабре 1939 года, дожидаясь во Владивостоке рейса, он зашел в столовую. На ступеньках сидит молодая девушка в беличьей шубке. “Вот ведь какая, - подумалось ему. - И запачкает дорогую шубу, да и порвать о камни может”. Вгляделся. “Ба, да это же Зоя Пименова!” Действительно, та возвращалась из отпуска в Магадан, у столовой дожидалась своего мужа, Ореста. Ей было 26 лет. Шуба была пошита ею за счет заработков на Колыме[215]. Иван подсел к ней, она тоже его узнала, они обрадовались друг другу. Дорогой еще сблизились. Особенно при совместном переходе от парохода до берега по льду: корабль не мог форсировать примерно полтора километра льда. И вот теперь Зоя по просьбе Вани воздействовала на свою колеблющуюся сестру.

И Лара решилась. Она запаслась хвалебной характеристикой и 22 августа 1940 года уволилась с должности завуча школы № 15. Дома оставалась бабушка, которой подыскали компаньонку - Елену Михайловну Дерюгину. “Лелю”, из Шахт - помоложе и поздоровее, чтобы выполнять по дому работу, непосильную для 64-летней бабушки. Достойная эпитафии черта стиля жизни: уезжая, Лара полагала невозможным оставить свою мать в одиночестве - хотя имелась соседка Тоня - а нанимала ей компаньонку. Это - уходящий в прошлое безвозвратно XIX век. Так же, как и то, что у Щербакова в Краснодаре была домработница. Не успели мы отъехать (мы ехали поездом через Москву), как вдогонку понеслось письмо Валентины Васильевны:

[215] Потом она подарила эту шубу своей дочери Веронике, и нынче шубка уплыла за океан, в штат Иллинойс-Иллинуа, куда эмигрировала в 1979 году Вероника Орестовна Макарова-Шаповалова со своей дочкой Инной, оставив мать в Ленинграде.

“28 августа 1940 г.

Милая моя доченька, Лара!

Только проводили тебя, дала на вокзале Роне телеграмму, Шура с Людой пошли домой, а я, Леля и Тоня задержались, долго ждали троллейбуса, купили мороженого, поели, потом поднялась страшная буря, всех нас засыпало пылью, ну наконец сели в троллейбус и доехали благополучно до дому.

Пришли домой, такая страшная пустота, просто ужас! Все прибрали, разобрали и наконец съели арбуз и легли спать. На другой день встали - в 8 часов разбудила Ванина телеграмма, потом Вероникина, потом твоя из Лисок в 1 ч. дня вышлите пальто. Я скоро собралась, поехала на почту, сдала пальто, но сказали, что оно приедет только 29 или 30 в Москву, очень жаль, как ты его забыла? Я еще тебе напоминала, не забудь положить пальто, нет не забуду, ты сказала. Я тебе не сообразила положить шерстяной желтый пояс от шерстяной кофточки и розовый батистовый от летней блузки, а желтую крашеную рубашку, что для накидки, положила в пальто, и все телеграммы положила, которые получила утром 25-го, пиши скорее, получила ли пальто? Хоть телеграфь. Как нужно в дороге Волику пальто, особенно в вагоне.

Милая, как у нас сразу похолодало, ужас! 27 была сильная гроза и лил всю ночь и сегодня т.е. 28 дождь. Леля не успевает с окон стирать и пол. Воды полно всюду. Мы все переставили в квартире. Кровать мою поставили в спальню, а кушетку в столовую, мамину к печке, на место Волиной кроватки. Волину картину, что мне оставил на память, повесила над своей кроватью, на стенку к Лавровым, что у окна между гардеробом, очень красиво, любуюсь волиной яхтой, так красиво выделяется на синем море красная яхта.

На диване в столовой лежат три маленькие подушечки, вышьем хорошие наволочки на них. Прибрано все чисто, двери, окна блестят и пол. Прекрасная Леля девушка, только и чистит, да скребет. Сегодня она ушла по знакомым в Ростов. У них 15 августа большой праздник “Успенье”. Я обедала одна, съела борщ вегетарианский и испекла те яблоки, что остались, дыню и арбуз не начинала одна. Утром ели лапшу молочную, достали у водников десятка 2 1/2 яиц по 5 руб. и пряников 1 кг за 5 р. 70 к., сметаны, молока; мясо еще не покупали. Милая моя дорогая, голубка, пиши все и обо всем. Как встретились с Ваней, как ехали всю дорогу? Подумай, Лара, я первой стала писать тебе, а ни кому другому. Надо Жене, Веронике, Зое. Ну вот отдохну и им начну писать. Пиши, что нужнее прислать тебе или Зое. Телеграфь.

Дорогой Ваня! Я радуюсь Вашей встрече очень и очень. Желаю счастья, мира и любви в Вашей совместной жизни, любите друг друга и Вашего Волика. Я так рада за него, что у него есть папа, который не только ему будет папой, но и другом в жизни. Лара! Помнишь, как жил Валя с Дмитрием Ивановичем и Манечкой, не сын, а просто товарищ. Мне так нравилось, как они жили, какая была симпатичная, милая семья. Воля ведь очень привязанный мальчик, знаешь, как он любит Леру и как к нему привязался. Правда и Лера-то ведь очень хороший любит детей, хоть бы ты его скорей увидала”.

Письмо почему-то без подписи, но не видно, чтобы что-то было оторвано от обычного двойного тетрадного листа. Почерк бесспорно

Валентины Васильевны, фиолетовыми чернилами. Пунктуация и особенности орфографии сохранены. Шура - Александра Браун - и Люда - Людмила Ярославновна Черняк - приятельницы Лары, немки по национальности. С началом войны высланы в Казахстан. Лиски - железнодорожная станция на пути из Ростова в Москву. Яхта - мой рисунок яхты “Дункан” из Жюль Верна. “Леля ушла в Ростов” - выражение, характерное для ростовчанина, для которого Нахичевань и Нольная линия - не Ростов. Позже отношения Валентины Васильевны с Е.М.Дерюгиной быстро ухудшались. Вот несколько цитат:

“Леле я дала сначала еще при тебе на поездку 50 р., потом она пошла покупать кофточку вязаную, бумажную; дала 50 р. и вчера на рейтузы и др. вещи 30 р. Она попросила у меня, но не знаю - какие...

Попросила у меня 30 р. дайте на подарки к Пасхе ребятам. Один учится в Мединституте за 3-м курсе, второй на Шахтах в 9-м классе.

...Леля очень изменилась, стала как бочка, толстая, красная, злая и как Юлия Ивановна, просто нервирует своими разговорами, я ее не слушаю, так она злится, хотела поделиться, а Вы не хотите и слушать. Я ее прозвала репродуктор...

Елена М. знает, что ей все принесут и даже приготовят то и не думает ни о чем. На огороде категорически отказалась работать. Я сегодня должна быть в огороде с Тониными сослуживцами, которые не работают на трассе, но Е.М. запугала, что сегодня будет страшный день, пока все спокойно, даже еще ни разу не было тревоги, а ей просто хотелось обходить всех своих знакомых, а пустую квартиру мы не оставляем...

Я встала в 5 час купила муку, яиц по 25 р., 2д хлеба своей барыне. Леля! Выходит, что я тебя обслуживаю, а не ты меня, ну я в 5 ч. не буду вставать, а если рано не встанем, не придешь в 6 ч. домой или совсем пропадут карточки. Мне как-то легче достать, она никогда рано не встанет, причешет косы заплетет постелет приберет и т.п. ...

Теперь размудрится, что без ея поели. Она полная хозяйка стала, кричит командует, нитак сделали, не туда положили и все ворчит, как старая дева... Раз я Вам не нужна, сказали бы раньше. Я бы служила и получала бы и оделась бы, а то живу за нет. Ой, горе с ней, приходится все терпеть. ...”

Первый год по отъезде дочери Валентина Васильевна жила мирно-советскими страхами: не случится ли чего по закону, что лишит Лару квартиры? Вот принят закон жестко ограничить площадь по 6 кв.м на человека, а все брони - отменяются. Вот запрещают отправлять посылки, значит, Волик не получит фруктов. Вот повышают плату за квартиру. Вот выходит указ о прикреплении к месту работы - значит, Лара не сможет теперь уволиться из Дальстроя и вернуться в 1942 году в Ростов. Одновременно Валентина Васильевна недоумевает, что за деньги ей присылают:

“Что это за деньги, что Ваня послал 500 р., он мне не должен, а у меня за тобой оставалось порядочно, так опять ты ничего не телеграфируешь, на что эти деньги. Мне Зоя как-то послала 1000 р.”

и, словно отсчитываясь, она заполняет свои письма подробным изложением, на что сколько издержала. Убоги траты, только на еду, уголь, содержание Лели, квартиру. Никакой мебели, никакого ширпотреба, никаких поездок, никаких врачей, никаких украшений. В апреле Андрей Небольсин ехал из Териберок (под Мурманском) в Сочи в отпуск, прихватил дочку Наташу. Вслед за тем приехала пятидесятилетняя сестра Андрея - Шура - с Алешей - родился в 1938 году - они поселились у Валентины Васильевны. А тут война. К слову, войну до такой степени все ждали, что в письме от 25 апреля 1941 года Валентина Васильевна рассуждает:

“На что Жене теперь дача, время тревожное, квартира у Жени всегда будет, где бы они не жили, если Андрей уйдет на войну, то и тогда Жене будет всюду не плохо”.

Все эти байки о “внезапности нападения” весьма не похожи на то, что было на самом деле. И вот с войной начинается новый пласт беспокойств и забот Валентины Васильевны. Началось с того, что Женя отправила своих детей и невестку без денег, без продуктов, даже практически без документов. В сберкассах - “надежно, выгодно, удобно” - установлено выдавать вкладчику не более 200 руб. в месяц, да еще жестко фиксирована дата выдачи - 23 числа каждого месяца, чем порождаются дополнительные очереди спозаранку и нервотрепка. Вот:

“Милые детки, Лара и Зоя, как все-таки тяжело живется. Женя еще не доехала до Челябинска, а из Архангельска выехала и послать от нея раньше 2-го или 3 сентября ничего нельзя, документов на проезд не получала и посылку с одеждой. Денег не дают больше 200 р. из кассы; кормить надо 5 человек. Я просто вытянулась, а тут и достать трудно. Но все равно ничего не поможет, а потому и мирюсь с трудностями.

Если бы была одна, то много ли бы мне нужно, даже и с Лелей, то все можно мириться и жить. Женя нас связала по рукам и ногам. Не дать даже документов чьи дети. То бы мы получали из Н.К.В.Д. Ходила Шура туда, ей говорят, может и не его дети. Достаньте справку из Мурманска, а там их и в помине нет. Андрей на фронте где-то, Женя выехала в Сибирь. ...

Приехала, мучилась с пропиской сколько дней, теперь очень трудно прописать в домовую книгу. ...

Женя посылала 2 раза по 500 р. и писала, чтоб я Шуре давала на личные расходы по 100 р. Я так и делала. В последний месяц Женя обещала послать, но не послала и я Шуре давала из своих на табак, театр, баню и т.п. На дорогу насобирала по 200 р. из Кассы за 3 мес. 600 р. да всего в дорогу наготовили на 114 р. даже кончая мороженым, что на вокзале покупала детям, ей и себе и ситро. Пока она стояла за билетом, то детей с 12 ч. дня и до 8 ч. кормила 2 раза. Спасибо близко была провизия”.

Вероника к этому времени эвакуировалась в Самарканд, звала туда мать, там в горах работал Лера (он попал на фронт артиллеристом позже; исправлю бабушку: дядя Андрей тоже еще не

был на фронте, он почти два года спустя попал на фронт). Но Валентина Васильевна осталась “сторожить квартиру для Лары”. Этот мотив неоднократно повторяется в ее письмах. И еще:

“Зоя, как я боюсь без Лары умирать. Ты знаешь, как она и Рона за мной ухаживали в клинике и дома, когда я приехала из клиники, вернее Лара с санитаром внесли в комнату на 4 этаж на руках. Я никогда не забуду Лариной заботы обо мне. Она тебе расскажет все, как она за мной ухаживала. Постель приготовлена чистая, пододеяльник белый, простыня, наволочки все блестели и домработница ухаживала у кровати.

Теперь не то, когда-то достучишься Е.М. на кухню. Сидит баклуши бьет, да гадает с Тоней днем и ночью. Свету нет, воды нет, керосину нет. Ложимся и лежим по 12 и больше часов, пока можно видеть без огня...

Стою в очереди за мылом. Была 645, теперь 208...

Тоня только было пришла домой и опять ее послали в окопы, ночует там. Кормят очень хорошо. Мясное, масло дают, сладкий кофе, кисель сладкий, хлеба 800 гр. Я ей говорю, если не очень тяжелая работа, то и я пойду.”

К этим же повинностям относится упоминание об “огородах” в ранее цитированном письме.

Вопреки присказке, будто бы дважды в одну воронку не попадает, в нашу квартиру снаряды попали два раза. Первый - 25 ноября 1941 года, советский снаряд, а второй 10 июля 1942 года - немецкая бомба. Кажется, был еще третий, неведомо чей, в 1943 году. Ведь 21 ноября 1941 года немцы взяли Ростов, брошенный русскими безо всякого сопротивления, хотя и перегороженный к сопротивлению разнообразными укреплениями. Власти призывали всех оставаться в городе, не сдадут, мол, а потом внезапно бежали, и немцы вошли в опустевший город. В промежуток безвластия жители пошли грабить продовольственные магазины; собственно, видимо, грабеж возник из-за того, что есть-то надо, в магазинах имеется товар, а никто не торгует. Ну, и южная живость и подвижность не только физическая, но и душевная, конечно. Немцы жестоко пресекли грабежи:

“...кто выскакивал из окон, так их стреляли, и кто шел из города по той стороне, ставили к стенке и расстреливали всех без исключения, малых, старых. Семья доктора Рождественского бежала в убежище: мать, дочь и сын тоже их расстреляли...

При артобстреле 25 ноября:

“в нашу квартиру, Тони и Лавровой, попал снаряд. Больше всех пострадали Лавровы и Тоня. Снарядом уничтожена крыша и все имущество. У Тони все превращено в щепы - все столы и письменный и тумбочка, кровать в дугу. Боже! Какие страсти.

Я же пострадала меньше их. У меня все двери у шкафов раскрылись, все вылетело на пол, кое-что разбилось, ну не беда. Сама я была дома. 1-й раз бабахнуло, я вздрогнула и оглушило меня,

2-й раз бах. Я скорей бежать, шубу, платок на руку и в погреб. Леля раньше убежала.

Милые, ночевали у Хайновской три ночи, топили своим углем, потом приютились у Жуковых, они уехали со всем имуществом в Тацинскую. Две комнаты пустые, живет бабушка и Катя с Петькой. Очень противно, но делать нечего. Справку дали, что в моей квартире жить нельзя, дали бумажку Р.Ж.У. чтобы подыскать и дать квартиру. Квартиры дают пострадавшим всем только по комнате или 1-ну на нескольких человек вместе.

Я решила никуда не переходить, пока не приедут Жуковы, а там будет видно. Вещи стоят в квартире у нас и в коридоре, как мои, так и Тони. Тоне дали ордер на комнату 14 м, и балкон, но она никак не может выселить женщину, самовольно захватившую эту комнату. Тоня ютится с нами у Жуковых.

Если немцев не будет в Ростове, то Тонину и мою квартиру восстановят, был техник, говорил, что можно восстановить, а Лаврову нет. Квартиры повреждены и на 2 этаже. У Жуковых стена течет от Кораблевых и Хайновских. Хайновская уехала с квартиры на Крепостной. Ей дали чудную квартиру военврачу”.

Хотя нацисты (I танковая армия), воспользовавшись растерянностью генерал-майора А.А.Гречко, командующего XII армией (там же был Л.И.Брежнев, замнач политупра Кафронта), форсировали Дон на всем протяжении от Азовского моря до Маныча, им не удалось закрепиться в Ростове, и уже 29 ноября Красная (тогда еще не переименованная в Советскую) армия вступила назад в Ростов. Что меня пронзает, так это подвиг работников связи, почтово-телеграфных служащих, имеющих дело с гражданской корреспонденцией. Едва лишь город был освобожден, как Валентина Васильевна получила телеграмму от Вероники из Самарканда, от Лары из Магадана, деньги из Магадана, письма. Сама писала, телеграфировала и все доходило до адресатов. И невероятно быстро - по тем временам, когда почта на Колыму ехала поездом, а потом морем (только в навигацию), да еще письма внимательно прочитывались военной цензурой (в них сохранилось изрядно цензорских вычеркиваний) шла корреспонденция! А фронт-то был вот он, рядом, в 10-30 километрах!

В 1942 году Валентина Васильевна то надеялась, что по истечении срока договора Лариса вернется, то отчаивалась:

“Как хочется Вас видеть, мои дорогие! Но видно не дождусь того момента. Немец наверно уничтожит меня и Лелю задолго до Вас. Прощайте мои любимые, мои ненаглядные Зоя и Лара, мой дорогой Волик, как я люблю Вас, как я хочу видеть Волика, как я скучаю по нему; карточки опять повесила над столом. Любуюсь на своих милых деток и мужей Ваших; все прекрасны и умны. Живите дружно и уважайте друг друга.

Лара, а пустят ли Вас в Ростов? Мне кажется, что не пустят, да и стоит ли ехать, так все дорого в Ростове. Боюсь голода страшно, а он скоро наступит. Запасов у нас нет никаких, и негде взять, да и что купить при такой дороговизне. Надежда только на разгром проклятого Гитлера. Ну и дадим же мы ему жару.

Волик! Вот если бы ты был в Ростове, насмотрелся бы на его издевательства и наверно отомстил бы чем-нибудь, мальчишки много помогали и мешали ему. Немцы были молоденькие и в легкой одежонке, а наши бойцы одеты прекрасно, тепло. Какие у нас были лютые морозы и до сих пор холодно, а весна пришла давно, но лед не тронулся еще; его все взрывают...”

Это письмо от 4 апреля 1942 года. Впрочем, может быть, дата поставлена по старому стилю: в том письме бабушка сообщает, что послала Ларе поздравительную телеграмму к 26 марта, хотя, впрочем, опять не сходится: это 8 апреля, а день рождения ее - 5 апреля. Почерк бабушки резко деградировал, от письма к письму каракули неразборчивее. Последнее ее письмо носит сумбурную дату: “3 июля 1942 г. пятница Р.Д. 2-го июля 1942”. В нем четыре строки тщательно замазаны военной цензурой. Она извещает о получении посланных из Магадана в мае с самолетом письмах, о пришедших телеграммах, денежных переводах.

“Волик, так противно слушать гудки сирены, кончилась тревога и я начала писать, а самолеты все еще гудят, шумят. ... Милая Ларочка, до чего дорого все, ужас! Вот сурепное масло 100 р. литр, а подсолнечное 150 р., сливочное 250 р., мука пуд 640 р. ... Как мне хочется жить в семье и приносить посильную помощь своим детям, а не быть паразиткой и бегать, доставать продукты для Елены. Ее посылать нельзя на базар или куда-нибудь, она все выбирает по дорогой цене и лучшее... Леле жить только в богатой семье, где всего по горло, она конечно не плохая, даже очень хорошая, но в настоящее время нам не подходящий человек. Кот наш живет уже на чердаке, очень хороший, питается не вволю, а что достается. ...”

10 июля в разговоре с Тоней Грабовской бабушка все же вырешила пойти хлопотать о пропуске в Самарканд, к Веронике. Как раз в этот день моя мать добилась и получила волновавшую ее с бабушкой бумагу:

“Союз советских социалистических республик
Народный Комиссариат Внутренних Дел
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТР-ВА ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА
(Д а л ь с т р о й)
ОТДЕЛ КАДРОВ
“10” VII 1942 г.
№4/421 V
Бухта Нагаево, г.Магадан

СПРАВКА

Дана тов. Пименовой Ларисе Михайловне в том, что он действительно работает в предприятии Дальстроя, а поэтому на основании постановления СНК СССР от 29/III-41 г. принадлежащая ему жилплощадь в городе Ростов-на-Дону бронируется на все время его работы в ДС на Колыме.

/Зам. Нач. ГУСДС НКВД СССР
по кадрам

капитан госбезопасности
/Никешевич/
ст/500
треугольная печать отдела кадров”.

Справка напечатана на ротапринтном бланке. Впечатанные, а также вписанные в угловой штамп слова подчеркнуты. Но не пригодилась нашему семейству госбезопасная справка:

“10 июля 1942 года была особенно интенсивная бомбежка... когда дали отбой, то стало известно, что в дома водников была сброшена бомба большой силы; я сейчас же после отбоя помчалась по Первомайской в Ваш дом - был дождь, по улице от разбитых водопроводов вода текла, как река; во дворе у Вас я увидела громадную воронку и все дома стояли с разбитыми окнами и дверьми, спешно вытаскивались дети и домашний скарб; я окинула взором Ваш дом и вижу тоже разбитые в щепы окна - помчалась по лестнице на четвертый этаж; на лестничной лощадке 3-го этажа увидела Елену Михайловну, заботливо стаскивающую вещи из квартиры.

Мне бросилась в глаза кровавая тряпка, тут только у меня мелькнула ужасная мысль, что это кровь конечно из Вашей квартиры и на мой вопрос Е.М. ответила, что Валичку ранило осколком и ее сейчас увезла скорая помощь. Меня она просила сосчитать деньги, вынутые из окровавленного мешка, но у меня уже были билеты в кармане, так как вещи были уже на вокзале и в 4 часа я должна выехать, и выполнить обязательства похоронить В.В. я не смогла. Я спросила Е.М., куда повезла скорая помощь В.В., но та так занималась вещами, что о живом человеке забыла подумать и куда ее повезли, она не знала и отыскивать ее не стала.

Я вошла в коридор и в пролете между окнами и дверью Тони около сундука увидела громадную лужу крови, окровавленные камни, вещи, а в квартире полный хаос. Вернувшись к Е.М. я предложила к ее услугам свою квартиру ввиду того, что она остается без призора за нашим отъездом, но она почему-то отвергла мое предложение; я нашла Сарру Георгиевну, рассказала ей о катастрое с В.В. и просила ее заменить меня и взять на себя миссию - отыскать В.В. по больницам и если нужно, то достойно ее похоронить; но все старания С.Г. отыскать ее в лечебных учреждениях, а судя по ранению (вся левая шейной артерии с плечом было вырвано) она по дороге умерла и ее, вероятно, не завозя в больницу свезли в братскую могилу.

Так скончала свою жизнь милая наша Валентина Васильевна, мне сердечно ее жаль и больше всего жаль, что я не выполнила ее завещания похоронить ее, но засиживаться в Ростове было уже нельзя, 24 июля его оккупировали немцы. ...

... куда исчезла Е.М., куда она могла перетащить гибель вещи В.В. Это осталось загадкой. ... Единственное, что известно, что она передала на хранение С.Г. сумму денег до 4 тысяч, из которых она 2 тысячи сдала С.Г., а две тысячи оставила у себя и когда С.Г. заявила, что эти деньги должны отослать детям, то она стала пугать судом и частично под расписки выудила и эти деньги у С.Г. и если верить ее

словам поехала в Шахты. Вот пока что мы знаем о судьбе В.В. и всего Вашего имущества. ...”

Это письмо от 12 января 1944 года Ларисе Михайловне за двумя подписями: “А.Лещенко и С.Магдаснева” на двойном листе из тетради в клеточку фиолетовыми чернилами почерком с завитушками, видимо, Анастасии Георгиевны Лещенко. Согласно письму самой Е.М.Дерюгиной от 12 июля 1942 года, очень прилизанному и не внушающему доверия,

“11-го июля Мама Ваша скончалась в 8 ч. утра, а 12-го похоронили”,

и ни слова о бомбежке и обстоятельствах смерти, кроме вздоха:

“Как ей бедной не хотелось умирать”, -

вполне приличествующего мирной смерти от болезни или старости. Почти два года моя мать дознавалась, как и от чего умерла мамочка, и Анастасия Георгиевна писала в ответ на один из таких нервных запросов. По позднейшим рассказам Антонины Васильевны при начале бомбежки они все спустились в подвал, но потом Валентина Васильевна решила сходить наведаться в квартиру, какое-то беспокойство овладело ею. И, по ее рассказу, бомба или осколок поразили бабушку на лестнице, но она то ли дошла, то ли доползла до коридора, где ее и обнаружили после отбоя.

Ото всего этого уводил меня переезд в Магадан. В таком обережении можно узреть перст судьбы. Промысел Божий или сбывающееся пророчество в виде браслетки на запястье[216]. Пофантазировать, как бы сложилась моя жизнь, не примирись мать с отцом в 1940 году? Скорее всего, мы все в последнюю минуту перед первой оккупацией или же сразу после нее смылись бы в Самарканд к Веронике, и на мою долю достались бы все изобильные мытарства семей эвакуировнных, с неизбежным перерывом в учении, как по времени, так и еще заметнее - в основательности. Возможно, бегая туда-сюда, я и сам угодил бы в Ростове под снаряд-осколок, погиб бы или стал калекой. Менее вероятно, но допустимо,: что я попал бы под вторую оккупацию: с 24 июля 1942 по 1 февраля 1943 года. В Ростове не было никаких заметных партизанских организаций, хотя эпизодически и вперемежку с бытовым бандитизмом - вообще очень сильно развитым в Ростове - отдельные акции совершались. И одиннадцати-двенадцатилетний мальчишка вполне мог сгодиться на посылки в таких действиях, хотя вроде бы никто из нашего двора не принимал ни в чем подобном участия. Но, скорее всего, задержись мы в Ростове до второго прихода немцев, мою мать угнали бы в

[216] Не было в этом поступке родительской предусмотрительности увезти меня или самим убраться подальше от надвигающейся войны. Об этом я специально расспрашивал позже и мать, и отца. Да и советская печать в 1939 году пугала войной с Японией, а не на Западе: с Германией был договор о дружбе, а у империалистов шла “странная война”. Да и театр военных действий мыслился на вражьей земле, где восстания пролетариата будут прокладывать дорогу Красной Армии.

качестве ostarbeiter в Германию; Тоню Грабовскую назначили к такому увозу, но она в последнюю ночь заделала себе мостырку, ноги вспухли, закровоточили, она признана была нетранспортабельной и от нее отстали. Мать моя, конечно, постаралась бы увезти меня с собой, не разлучаться, а что было бы дальше - и представить невозможно. Некоторый намек дает судьба Владимира Переверова. Очень мало вероятности, чтобы наша семья при немцах вернулась бы в Новочеркасск: мать верила в советскую власть, а в Новочеркасске немцам устроили пышную встречу с хлебом-солью, казаки откуда-то повытаскивали вот уже двадцать с лишним лет запрещенные лампасы и погоны, в парадных мундирах приветствовали германскую армию и вернувшегося с нею донского атамана Краснова[217].

Дальше распустить фантазию? Кабы отец не удрал от Терпанасян из Краснодара до войны? Ну, скорее всего, его мобилизовали бы в первые же дни, и, как его брат Михаил, погиб бы он в одной из бессмысленных мясорубок вроде Керченской. Ну, а вдруг не призвали бы, остался он почему-нибудь в Краснодаре, заболел, например (кстати, поразительно, как мало и редко болел он до своих 60 лет)? Вот, пришли немцы - ведь они дошли до кавказских перевалов, и во всех местах любви моих родителей ступал их кованый сапог, и свастика реяла с вершины Эльбруса над Учкуланом. Все соседи в Краснодаре знают, что Щербаков сидел при советах - вот и предложение сотрудничать готово. Добивалась же Терпанасян от немцев возвращения ей пяти фамильных домов, национализированных в революцию (клан Терпанасян был богатым купеческим семейством в Воронеже, Ростове, Краснодаре)? Или, наоборот, знающие Щербакова жители проговариваются, что он служил когда-то в чека? Да даже если бы его обманули все эти искушения и угрозы, потом-то до самых хрущевских времен несмываемое клеймо в анкетах: “находился в оккупации”.

Ничего этого я не знал - не гадал, когда поезд повез нас сначала на север, а потом на восток. Не щемило у меня сердце, что бабушки больше не увижу. Не трепыхалось сердечко: вот с долгожданным отцом встречусь. Я ехал потому, что меня везла мать, а ей и жизни я усвоил доверять не задумываясь. С каждым перестуком колес по рельсам - а ехали мы свыше десяти дней из Москвы до Владивостока - уходило, уплывало, отступало, расплывалось, меркло и растворялось мое безмятежное детство, в котором - в полную противоположность моему бунтарскому имени - начисто отсутствовал бунт, мятеж, неподчинение, неприятие, отчуждение, сознание несчастья. Пожалуй, точнее всего характеризовать первые девять лет моей жизни словами СОВПАДЕНИЕ И НЕЗАМУТНЕННОЕ ДОВЕРИЕ. Мир был устроен единственным мыслимым образом, и я, моя семья, вполне вписывались в это устройство. Никаких сомнений о “других возможностях”, никаких оценок “справедливо-несправедливо” (они заменялись сознанием “Так принято”, “Так надо”). А если порой я не вполне вписывался в признаваемое мною правильное устройство - например, скатившись по мраморным перилам Театра и порвав

[217] К чести советской власти, на это она ответила не столько репрессиями против казаков (П.Н.Краснова в январе 1947 года повесили), сколько введением погон в армии и учреждением казачьих войск с казачьими мундирами и лампасами.

штаны - то мне просто надо постараться, напрячься, и это вполне в моих силах достичь гармонии. Продолжая пример - съехать по перилам, не порвавши штанов, а еще лучше вовсе не кататься на них.

Отец не выдержал, выехал встречать нас во Владивосток. Это было трудно, с Колымы не любили отпускать на материк. Но он добился. Там несколько дней, если не все две недели, прожили мы в каких-то здорово скверных - по нашему восприятию - бараках, дожидаясь отхода парохода “Феликс Дзержинский”. Название ничего еще не говорило мне. Пароход шел проливом Лаперуза, по обе стороны от нас были японские берега. Это как-то воспринималось, смутное ощущение опасности висело над палубой. Но угроза пришла не от японцев, а от стихии: в Охотском море на нас обрушился 11-балльный шторм. Мучение было страшное. Помню блевотину. Помню матроса, не выпускающего нас, мальчишек, на палубу. Не могу вспомнить, ехали мы в каюте или “твиндеке”. Помню, какая ледяная соленая вода залила нас, когда на полминуты открылся люк, пропуская кого-то в форме с палубы. Помню недвижно лежащую мать на койке. Кажется, все-таки, зрительно, у нас была либо отдельная двухместная каюта, либо же наши койки стояли в стороне от чужих. Помню, кто-то из персонала парохода обучал меня, что в тарелку надо непременно класть ложку, чтобы борщ не пролился при качке. Помню группу детей, мальчиков и девочек, примерно сверстников; впервые в жизни играю с ними в игры с явным оттенком не просто мучительства, но садизма. Не только над проигравшим, но и по ходу игры. Помню, в их же компании один из них что-то рассказывает, а я, дабы обратить на себя внимание, сочиняю похожую байку про своих родителей и тут же выдаю ее всем. В чем-то я заврался, не умею связно ответить на вопрос, лезу смущенно на попятный, и смущение столь велико, что эту эмоцию я упомнил по сей день, хотя начисто забыл, что именно говорилось.

Так мы и приехали.

§4. Наша семья в Магадане

Система Дальстроя НКВД; совхоз Дукча и магаданские квартиры; заключенные в городе; детские игры; изменение в моей психике - от приятия к противостоянию; обогащение не удалось; смерть дяди Андрея

Итак, прибыли мы в Магадан.

В 1981 году в Терсколе я повстречал восемнадцатилетнюю девушку из Магадана, которая среди прочего поведала мне, что в 1979 году в Магадане торжественно справлялось 40-летие города. Враки, фальшивый юбилей! Не в 1939 году основан Магадан. В биографии Э.П.Берзина написано, что тот заложил Магадан в 1932 году (втором, а не девятом), прибыв по мандату Ворошилова осваивать Колыму. Не знаю, сколько правды и в этой биографии[218], но у меня хранится открытка, присланная мне с такой надписью:

“Бухта Нагаево г.Магадан 16/XII-36 г. На память Волику от дяди Леры, Тети Роночки, Тети Зиночки. Будь умный и нас чаще вспоминай”.

На лицевой же - КАЗОВОЙ - стороне открытки громадная надпись: “ВЫСТАВКА 5 ЛЕТ ДС”, обрамленная фотографиями: фасад выставки, сельское хозяйство, строительство, лесное хозяйство, меховая кустарная промышленность, отдел здравоохранения, отдел печати, горный отдел, малый зал, главный зал. Снимки мелкие и безликие, но на “Отдел печати” различим стенд с газетой “Советская Колыма”. Разумеется, о подчиненности ДС - Дальстроя - Наркомату внутренних дел открытка умалчивает, снимков каторжан не приводит. Я сомневаюсь, чтобы про такое досадное явление сознательные Вероника или Зоя хоть словечком обмолвились бы сознательной Ларе в своих письмах. А Вероника даром что была женой одного из главных геологов Колымы И.Я.Чеснокова, она была еще и любовницей секретаря парткома Колымы Всеволода Ашметко. Зоя-то, правда, была всего лишь архитектором Магадана - единственным и тем самым “главным”. Чем же был Магадан или Колыма?

На XXII съезде КПСС было принято решение поставить памятник всем невинно репрессированным за время культа личности Сталина. До конкретного обсуждения места памятника и до того, чтобы решать, чьи фамилии будут высечены на плитах, не дошло, как известно. Не было объявлено и подписки на сбор общественных средств на сооружение памятника - разновидностью агитации в пользу сбора средств на его сооружение можно считать правозащитное и демократическое движения шестидесятых годов. Я

[218] Если мандат был действительно выдан Ворошиловым, а не Ягодой (кабы Менжинским - не было бы нужды скрывать фамилию), то за этим может стоять не замеченный историками факт, что поначалу Дальстрой входил в систему Реввоенсовета и Наркомата обороны, и лишь потом передан в НКВД. Об этом я ничего не слышал. Может быть и так, что именно Ворошилов возглавлял в Политбюро гепеушную и гебистскую деятельность (ни Менжинский, ни Ягода не были членами Политбюро). Это тоже не обсуждалось в историографии. Мало известно и то, что при Ежове такой надзор от Политбюро вел Микоян.

назову лишь несколько имен тех, кто сидел на Колыме, “в системе Дальстроя” изнутри, не претендуя на полноту, только для иллюстрации и потому, что они оставили литературный след. Евгения Аксенова-Гинзбург. Генерал Горбатов. Борис Дмитриевский (фантаст). Борис Дьяков. Осип Мандельштам (умер, не доехав, но успел попасть в пересыльный лагерь этой системы). Варлам Шаламов. Григорий Шелест (опередивший в “Известиях” на несколько дней публикацию “Одного дня Ивана Денисовича”). О них и об их жизни я писать не стану. Я пишу только о том, что я видел и переживал лично. Примерно в моем положении - сам не сидел и был подростком - находился чуть позже на Колыме Василий Аксенов. Но у него сидела там мать, его существование нельзя назвать благополучным, поэтому его восприятие несопоставимо с моим. Мое видение Магадана исходило из позиции стопроцентного советского ребенка, семья которого принадлежала к высшим слоям Магадана и отоваривалась в лучшем распределителе города.

Территория эта не входила в систему советской власти в том смысле, что управлялась она не выборными советами и даже Совнарком РСФСР не распоряжался на ней. Это была система Дальстроя (буковки “ДС” на открытке; полностью “Строительство Дальнего Севера”) НКВД. Это видно по угловому штампу справки, приведенной в предыдущем параграфе. Казуистическая была там административная подчиненность. На одной справке - из отдела кадров административно-гражданского отдела Дальстроя НКВД - красуется печать “Управление Уполномоченного ДВКИК по Охотско-Колымскому району. Ветеринарный отдел”. Круглая, но не гербовая печать. ДВКИК - Дальневосточный краевой исполнительный комитет. Однако в некоторых гражданских отношениях Магадан относился к Ольскому району - Ола - это маленькая деревушка километрах в десяти за перевалом, к северо-востоку от Магадана. Слово “район” употреблялось в разных юридических смыслах. Формально, конечно, НКВД подчинялся СНК СССР, но не СНК РСФСР. Однако, сколько я помню, только одно имя называлось в Магадане как имя хозяина - Лаврентий Павлович Берия и его наместник в Магадане - начальник Дальстроя НКВД комиссар госбезопасности III ранга И.Ф.Никишов. Перед ним был Берзин - тот самый, что основал город в 1932 году. Того расстреляли как японского шпиона еще до нашего приезда. Орест Николаевич Макаров плыл с ним одним пароходом из Магадана. До Владивостока Макаров доплыл, а Берзин - нет. Встречающие с цветами спрашивают: “А где же Эдуард Павлович?” - “Сняли в Петропавловске”. И встречающие торопливо бросают цветы с причала в воду. Насчет злодеяний Берзина, расстреливавшего-де самолично заключенных из пулеметов, тот же дядя Орест рассказывал не раз тогда же и позже в Ленинграде и своей жене и моим родителям, а когда я подрос - и мне. Этими повестями он точно исполнял партдирективу на тот момент: клеймить расстрелянного врага народа, японского шпиона и троцкиста, предавшего партию еще в 1918 году, в заговоре Локкарта, - Берзина Э.П. В одной книге по истории Колымы - на моем экземпляре оторван ее титульный лист и я не умею сослаться на нее[219] - сказано, будто бы между Берзиным

[219] Книга, сдается, американского автора. Вот ее оглавление: Introduction; 1. The Middle Passage; 2. Into Kolyma; 3. 1938 - Baptism of Horror; 4. The social order of Kolyma; 5. Gold under Ice: the Kolyma Economy; 6. Living und dying conditions;

и Никишовым, в 1937-1940 годах начальником Колымы был К.А.Павлов. Никаких упоминаний в те годы или воспоминаний в позднейшие о Павлове я от родных не слыхивал. Просмотр списка делегатов VIII съезда с несомненностью убеждает, что к марту 1939 года Павлов уже не функционировал. Никишов же был не только делегатом этого съезда с решающим голосом от Хабаровской организации, но и был избран кандидатом в ЦК, так что не позже 1939 года он уже был начальником[220].

Мой отец не раз присутствовал на совещаниях, руководимых Никишовым, был хорошо знаком с его замами, приближенными и с его любовницей. Поэтому некоторые штрихи к портрету его сохранились у него в памяти. Вот, например, Никишов собрал всех врачей города и держал к ним речь:

- Что же это получается? Кто кому помогает: вы мне или я вам? Вы должны помогать народному хозяйству, а что я вижу? Прихожу вчера я в городскую поликлинику[221] и в коридоре натыкаюсь на громадную очередь. Человек, наверное, 600 ждут приема к вам. Я, конечно, тут же взял стул, сел и начал сам вести им прием. Почти всем пришлось поставить диагноз - симулянт, сослать на трассу. И это лекарство я им прописал. С этим народом нельзя иначе. Знаете, сколько среди них отсидевших, врагов, воров, которые не хотят работать - а вы их лечите?! Вы поощряете этих бездельников! Не могли без моей помощи очистить Магадан от них! За что вам только деньги платят? Смотрите, как бы я вам самим не прописал лечение лагерем! Кой по кому лагерь плачет, вижу я!

Произносилось, конечно, с матюками. У ветеринаров, хоть они и присутствовали на этом совещании, положение было легче: лошадей и коров Никишов лечить не запрещал. И даже запретил раз начальнику ветупра матюкаться на совещании. Впрочем, особых самодурств за ним вроде не числилось в общественном мнении. Описанное? Но ведь это типовое. Вот сейчас врач, к примеру, прежде чем лечить травму, обязан установить, бытовая она или транспортная или производственная, словно бы перед Гиппократом может быть разница!.. Ну, помню случай, когда ехал Никишов со своей любовницей в какой-то шикарной по тем временам легковой машине, а его обогнал шофер грузовика и поднял пыль в морду Никишову. Назавтра шофер имел свои 25 лет. Да, это рассказывали, но, опять же, как я понимаю, дабы посмаковать словцо “любовница”, а к судьбе шофера относились как естественному, “стихийному” последствию его ошибки, неопытности или еще как... Я уже рассуждал в §4 гл.2 по поводу слов моего отца, что они “допросов с пристрастием” не производили, не плетьми пороли, что самое главное - не объективные мучительства, не восприятие фактов последующими поколениями или сторонними наблюдателями, а восприятие фактов их самими действующими, участвующими и присутствующими лицами. Факт с грузовиком воспринимался как ЕСТЕСТВЕННЫЙ. Грубо говоря, “всякий на месте Никишова так же бы

---

7. Woman; 8. A clownish Interlude; 9. The death Roll. Appendix A. Chips on the Kolyma run. Appendix B. Campa and Camp Groups. Bibliography and referencers. Index. Maps.

[220] В списках этого же съезда поучительно взглянуть на клан Пеговых - оттуда же. Это может прояснить живучесть и Н.М.Пегова и еще кое-чего.

[221] Имеется в виду общая поликлиника. Мы были прикреплены к другой, где очередей не было.

поступил”. И сам шофер едва ли думал иначе, он оправдывался тем, что НЕ ЗАМЕТИЛ, НЕ УЗНАЛ машину Никишова, но понимал, что если бы обгонял заведомо, то оправдания ему нет и быть не может.

Ну, конечно, жил он с семьей в особняке, охраняемом часовым - напротив нашей школы. Снабжался непосредственно на дом, вне всяких распределителей. И ему в известном смысле очень повезло. В 1947 году в порту случился сокрушительный взрыв, погибло много кораблей и портовых сооружений; нас тогда там уже не было, это при мне рассказывал Ашметко в 1947 году в Ленинграде, когда он с Вероникой гостил у Зои. Никишова с треском сняли и отправили досрочно на пенсию (ему уже близилось к шестидесяти). Поэтому к июню 1953 года он не входил в группу приближенных Берия, и не был ни расстрелян, ни арестован с ним. В противном случае имелся бы шанс мне с ним встретиться в одной камере владимирской тюрьмы в 1961 году! В редколлегии “Памяти” в семидесятые годы мне рассказывали, будто бы И.Ф.Никишов тихохонько дожил под Москвой до конца шестидесятых годов. Неизвестно - а это дотошная и любознательная редколлегия - ничего, чтобы Никишову предъявлялись какие-нибудь обвинения за смерти заключенных, за режим их содержания и т.п.

Зачем этой системе Дальстроя был нужен ветеринар Щербаков? Ну, понятно, зачем были нужны ледоколы, папанины и Великий Северный морской путь - для удобнейшей и без огласки доставки заключенных из Европейской России на Колыму. Но ветеринар-то зачем? Для ответа и на этот вопрос снова приходится возвращаться к политике, на сей раз военной. В тридцатые годы, когда зарождалась система ДС (шутливые языки раскрывали это сокращение “Дай Спирту”), главной тягловой и военной силой мыслился конь, лошадь. “И пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки” - это мы пели хором в предвидении “если темные силы нагрянут”, то бишь главной ударной маневренной силой в грядущей войне мыслилась кавалерия[222]. Дальнему Востоку предстояло - по гениальным предвидениям директивных военно-политических стратегов - пережить интервенцию японских захватчиков. Поэтому для развития оборонной мощи Дальнего Востока сюда завозились лошади, как потенциальная боевая сила. НКВД, затевая по задумке Янсона освоение Колымы, для работы на шахтах и приисках запасало лошадей как главный энергетический ресурс. Планы - “я планов наших люблю громадье” - шли гораздо дальше. На уже упомянутой открытке “ПЯТЬ ЛЕТ ДС” от 1936 года с трудом, но читаются слова:

“Наша область... птицу, свою картошку, свое масло и свой хлеб”. Возможно, что выискались энтузиасты - преобразователи природы, которые заверили в этом начальство, но не энтузиастов, конечно, вина, что начальство приняло директивные решения. А вина начальства, что оно создало такую систему, при которой подобные глобальные решения принимаются без серьезного выяснения всех “за” и “против”, без публичного обсуждения (а келейно с энтузиастами), и принятые решения приобретают немедленно силу

[222] Эта тупость была присуща не только советскому генеральному штабу, в Польше она была еще более кондовой. У нас хоть отдельные командиры, вроде Жукова, числясь командующими КАВАЛЕРИЙСКИМИ подразделениями, реально командовали ТАНКОВЫМИ. А в Польше установка была на то, что танки - это картонно-фанерные отвлекающие декорации.

закона, возражать против которого значит попасть в тюрьму, лагерь, в немилость. Конечно, ничего не росло, разве что брюкву, которую даже лошади отказывались есть, при мне иногда удавалось вырастить. И полвека спустя - ничего не растет. А скольких умов лишилась страна, заткнув глотки “критиканам-маловерам”.

Но уже понятно, почему при такой установке колымским властям нужны были специалисты по сельскому хозяйству, в частности, ветеринары. Их искали, приглашали, набирали в запас, с избытком. В результате на Колмые случилось перенаселение ветеринаров. Как крайний случай, отец вспоминал ситуацию в одном пункте на трассе, где на десять лошадей был один ветеринарный врач - не фельдшер, а врач! Конечно, имелись особые обстоятельства в данном случае: этот ветврач работал по контракту в Магадане и был по национальности немец. Началась война. Всю Республику немцев Поволжья ликвидировали и жителей как шпионов огулом сослали. Его же, единообразия ради, тоже перевели за тыщу километров на север, в разведпартию, не отнимая паспорта, однако. Но то обстоятельство, что по штатным расписаниям можно было держать ветврача при такой мизерной живности, - характерно для Дальстроя. Ведь тогда целые области и края в Сибири были обезлюдены в ветеринарном отношении: на весь Красноярский край приходился единственный ветфельдшер; все ветврачи были посажены. Да и на Кубани, до массовых посадок Щербакову в огромном союзного значения совхозе выдалось работать единственным ветврачом, потом вдвоем с Терпоносян, а третья вакансия так и оставалась незаполненной. В системе же НКВД, куда никакая ревизия носу не сунет, кадров был переизбыток.

Поэтому, когда отца из совхоза Дукча перевели (16 сентября 1941 года) на должность заведующего магаданской ветбаклабораторией, он быстро усмотрел, что у него с его шестью вольными подчиненными и примерно столькими же зека с высшим ветеринарным образованием - работы одному на полдня. Он не был бездельником, праздность ему всегда была чужда, проводить время не на службе, а дома - его не тянуло, поэтому он придумал себе работу, но по душе. Занялся научными исследованиями, усовершенствовал изготовление разных вакцин, как он выражался, на десять лет вперед наготовили этих вакцин. Так как он не лез ни в какое административное начальство, а хотел лишь решить некоторые научно-диагностические вопросы, то поперек дороги он никаким карьеристам не стоял. Например, когда его непосредственного начальника, который попал в начальники только потому, что имел орден Красного Знамени за финскую войну, услали на трассу за беспробудную пьянку, Щербаков избег выдвижения своей кандидатуры, так что сохранил прекрасные отношения с новым начальником. В Магадане у него не возникало и не могло возникнуть ничего подобного конфликтам с Садовым, упомянутым в §1.

По прибытии в Магадан в конце 1940 года мы поселились в совхозе Дукча, где размещалась городская ветлечебница, врачом которой работал тогда отец. Дукча стояла, кажется, на 15 километре трассы. Ну, нынче-то город, может, уже дорос до 16 километра, а тогда он едва ли достигал четырех километров в поперечнике. Он зажимался между двух сопок с запада и с востока, несколько вытягивался щупальцем на два километра к юго-западу в

направлении порта (бухты Нагаево) и был ограничен с севера речонкой Магаданкой. Проживание в Дукче котировалось как неудобное, сельское. Впрочем, для отца и Дукча была шагом вперед сравнительно с палаточным житьем в начале 1940 года. Длилось проживание в Дукче недолго, но все же до конца учебного года мне пришлось учиться нестандартно. Ходить в школу надо было несколько километров “лесом” - даром, что там выше кедрового стланца ничего не растет, но для малышки, как я, и то - лес, в котором можно заблудиться. Я же ходил пугающе медленно: остановлюсь, бывало - по свидетельству подглядевших знакомых, доложивших отцу-матери - посередь тропинки и стою полчаса-час, что-то бормочу, словно с кем-то разговариваю (читаю стихи вполголоса, а?). Дома же ждут: “Куда ребенок запропастился?” В школе в одной комнате располагался мой третий класс и еще какой-то, то ли второй, то ли четвертый. Занятия шли одновременно. Зачастую учительница - одна на всех - отпускала меня на час раньше: пока еще не стемнело, пока не поднялась пурга, пока... Никаких затруднений с учебой из-за этих докук у меня не было, ни из-за осеннего перерыва в занятиях, и за третий класс у меня также имелась похвальная грамота с портретами Ленина и Сталина. Сохранилась у меня и еще одна похвальная грамота с теми же портретами, но иначе размещенными:

“Пименову Револьфу занявшему первое место среди исполнителей художественного чтения. Председатель комиссии по проведению алимпиады Константинов. Председатель жюри Двоенин. 24 июня 1941 г.”

“Алимпиада” состоялась 22-го, в воскресенье. Была прервана речью Молотова. Словно сумрак повис в зале после нее, но никакой растерянности, страха или радости я не ощутил. Что именно читал я - не помню, а вот позже, помню, выступал с “И грянул бой, Полтавский бой!”[223] и бог весть чьими стихами о капитане Гастелло:

“Удар и взрыв. Бегут фашисты с воем.
Огонь их настигает на бегу.
Так погибает гражданин и воин,
Своею смертью смерть неся врагу”.

Помню, на том же поле за Магаданкой, где мы давали концерт сборщикам брюквы, огромное впечатление от какого-то заезжего оркестра, кажется, Тихоокеанского флота, исполнявшего “Песнь о ВАРЯГЕ”, кажется, тогда впервые зазвучавшую в СССР[224].

[223] Категоричная и нетерпимая Н.Я.Мандельштам не прощает Маяковскому “античеловеческих” строк: “Пули погуще по оробелым, в гущу бегущих грянь, парабеллум!” Смешно. Это же точь-в-точь пушкинские, из той же “Полтавы”: “И следом конница пустилась, убийством тупятся мечи и павшими вся степь покрылась, как роем черной саранчи!” Восторг убийства - как его не пережить истинному поэту? Поэт - это ВСЕХ чувств.

[224] Фантастически, что корабль, целехоньким доставшийся японцам и верно служивший в их флоте, пока они не продали его англичанам, корабль, команда которого в полном составе пошла в плен японцам, - сделался по неграмотности какого-то стихоплета символом мужества и геройской гибели! Это возможно только при полном безразличии населения к фактической истории родной страны. “Мы

Мать моя в Дукче не смогла найти работы по специальности, но числиться иждивенкой не хотела, устроилась с марта 1941 года лаборантом ЦСБ Лаборатории. Но летом 1941 года мы уже перебрались в самый город, на улицу Коммуны в двухэтажный деревянный дом общежитийного типа. На первом этаже была коммунальная кухня, где стояли примусы или керосинки; помню, как через пустырь я ходил за керосином. На втором этаже соответствующее место было оборудовано “под холл”, где, предполагалось, жильцы будут совместно проводить время - телевизоров, тогда, напомню, не было, и даже репродукторы были далеко не повсюду поставлены. В доме же была теплая уборная. Никаких душей-ванн не было, а вот как обстояло дело с баней - не помню. На первом этаже у нас были две комнатки, смежных, но легко изолируемых. Одна была моя, другая - родительская. По ростовской привычке дверь мы всегда держали запертой, что иногда приводило к казусам. Раз родители ушли в театр, я лег спать, запершись на крючок. Они пришли - попасть не могут. Стучат. Я сплю. Подошли с улицы, отперли как-то тоже запертую форточку, в нее просунули швабру и тычут меня: кровать под окном. Сплю. Наконец, сбросили меня шваброй на пол, я проснулся, захныкав, подошел к дверям, откинул крючок и, прежде чем они вошли, снова лег и уснул. Я этого не помню, излагаю по их многочисленным рассказам и пересудам этого инцидента. Спал я хорошо, глубоко и много; это потом спасало мою нервную систему. Еще помню одну порку, которую мне задал отец. Из-за чего, забыл, а помнятся побочные обстоятельства. Я в чем-то весьма согрешил, сам сознавал свою преступность, но мечтал: а вдруг не заметят? Вдруг не до того будет? И оттягивал приход в дом, а когда вернулся, мать мне сказала, чтобы я шел к отцу, который ждет меня в “холле”. Я поднялся, увидел у окна в коридоре сидящего отца. Словно ни в чем не повинный, подошел я к нему и вкрадчиво предложил:

- Может, сыграем в шахматы? - Он играл, но очень слабо, уже тогда я его переигрывал, но он гордился, когда умел оказать мне длительное сопротивление и тем более выиграть. Но он пронизывающе усмехнулся:

- Сыграем, но только не в шахматы. - И повлек пороть. После этого я долго боялся предлагать ему играть в шахматы.

В Магадане я уже учился в нормальной школе, единственной в городе “городской средней школе”. В том же здании размещалась и вечерняя школа, где с сентября завучем работала моя мать, так что все учителя знали, КОМУ пожаловаться на меня, а мать аккуратно ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ у них не столько формальными моими оценками (все были пятерки), но главным образом “трудностями”. Здание располагалось на улице Сталина, на ее северной стороне. На той же стороне, чуть восточнее, был дом, где жила тетя Зоя. Она тоже жила в одной, но просторной комнате коммунальной квартиры, кажется, на еще одну семью Тогда она уже одна, ибо с началом войны Ореста Николаевича призвали в армию и дислоцировали в Охотске, где он пробыл всю войну, кроме последних недель августа 1945 года, когда попал на Сахалин, до 1946 года. Кроме нее, родных у нас в Магадане уже не осталось: Вероника, как я уже писал, еще до 1940 года уехала в Москву, а ее муж Лера отбыл вскоре после нашего приезда.

ленивы и нелюбопытны”.

Помню, он заезжал к нам в Дукчу, учил меня завязывать шнурки на ботинках разными узлами, да и вообще узлы завязывать. Я запомнил, сгодилось. В жизни вообще каждая веревочка сгодится, поверьте мне и Плюшкину. Да, так вот наискосок от школы стоял городской театр, а рядышком с ним - двухэтажный особняк Никишова, охраняемый часовым. Тогда, к счастью, строили “с архитектурными излишествами”, поэтому каждое здание обладало своим лицом: то ступени в школу, напоминающие вход на трибуны Мавзолея, то колоннада перед театром, то прихотливость фасада особнячка или, подальше за углом расположенного, Дворца Пионеров. Где-то в промежутке располагалась городская библиотека, в которой я вскоре сделался завсегдатаем, проглатывая там Фенимора Купера и Майн Рида. Как я благодарен матери, приучившей меня читать не только в домашних условиях, но пользоваться читальными залами!

И на улице Коммуны мы жили относительно недолго, вскоре переехали в, кажется, четырехэтажный каменный дом на улице Дзержинского, на углу Колымского шоссе, построенный по проекту Зои Михайловны Пименовой; позже она одну квартиру в нем будет еще художественно оформлять, см. следующий параграф. Опять же у нас была одна комната, семей в квартире жило еще две. Тут уже была ванная, балкон, батареи отопления. На балконе я держал орла, которого подобрал с подбитым крылом, когда мы зачем-то ходили через перевал в Олу. Родители были, конечно, в ужасе: где его держать и как смотреть? Но воспрепятствовать моим сострадательным и направленным на исцеление животных порывам они не осмелились. Орел довольно быстро выздоровел и улетел. На кухне отец завел кур в клетках, которые - о чудо - и в таких условиях приносили яички. А яйца были на вес золота на Колыме. Правда он и пичкал их по всей ветеринарной науке и всеми дефицитными витаминами.

С витаминами было плохо. Приходилось пить экстракт из хвойного сока - тягучая мерзость, хоть и подслащенная. Как лакомство после него воспринимался витаминизированный рыбий жир. Его тоже не было почти, хотя рыбы было навалом, сколько хошь и задешево, безо всяких карточек и ограничений даже в магазинах самой последней категории (частной торговли в Магадане не было совершенно): кета, горбуша, соленая, вяленая, мороженая, икра красная. Но готовить рыбий жир не умели. С ним случилась трагическая нелепость, порожденная той же безграмотностью, что “алимпиада”. Американцы поставили - разумеется, бесплатно, как бесплатной была вся продовольственная помощь с их стороны Советскому Союзу - партию витаминизированного рыбьего жира. Его сразу же распределили по медицинским учреждениям, и отец урвал себе толику для наших кур. Куры ожили, закудахтали, понесли яйца покрупнее и почаще. А вот люди-пациенты почти все позаболевали. Разнообразными тяжелыми и трудно лечимыми болезнями. Никишов рявкнул на врачей: “Вредительство! Разобраться!!” Никто ничего не понимал. Прошлось изъять из употребления этот рыбий жир - кажется, вот тогда он и дошел, списанный, до ветеринаров и до наших кур. И тут один из заключеных, работавших на бесконвойке у отца в лаборатории, от нечего делать стать читать английскую инструкцию к жиру. Оказалось, что он обогащен витаминами “А” или “Д” в двадцать раз сравнительно с однотипным советским, и его

надо прописывать, соответственно, в двадцать раз меньше, иначе разовьется гипервитаминоз. Как только неграмотные чиновники это узнали и отдали соответствующие распоряжения врачам, все патологические явления пропали. Впрочем, меня это не касалось, это мне отец десятилетия спустя рассказал.

Заключенных, “зекА”, как произносилось у нас с ударением на втором слоге, а не “зЕки”, как ударяет Солженицын на первом, было полным-полно. Они всюду бродили по городу, некоторые были причислены к демобслуге чиновников, не говоря уже про то, что на трассе, к северу, они составляли основную массу жителей, а по-за сопками там и сям близ города стояли стационарные лагеря. Едва ли меня специально инструктировали на их счет. Я знал, что они - опасны. Чем - не знал. Термин “преступники” не употреблялся, “злодеи” тем более, но меньше всего ожидалось бы применительно к ним “невинно пострадавшие”, “несчастненькие”. Их следовало опасаться, как цыган и точильщиков ножей в Ростове. Они могли сделать что-то нехорошее с маленьким ребенком. Иногда их приглашали что-то отремонтировать, изготовить. С ними нужно было быть вежливыми, как со всеми людьми, и, может быть, даже чуть-чуть вежливее. У отца “на трассе” в нескольких сотнях километров от Магадана был хорошо знакомый зека - его сокурсник Капитонаки, с которым они в 1930 году претендовали на одно и то же место в аспирантуру, но прошел Капитонаки. Окончив аспирантуру, тот быстро возвысился до каких-то ветеринарных чинов, партийным он еще в институте был. Защитил кандидатскую диссертацию и посажен был из ранних. Отец проявил спасительную черствость и не предпринял никаких попыток перевести своего сокурсника из общего лагеря к себе в лабораторию. При мне о нем дома не упоминалось. Но с теми зека, что уже работали под его началом, он обращался уважительно, как с равными. В частности, у него работал Николай Бучнев, посаженный при разгроме лаборатории проф. Вишневского. Он уже отсидел свои три года, набрал материалу на кандидатскую и докторскую, женился на учительнице - знакомой моей матери, бывал у нас дома в гостях, а в 1944 году одним пароходом с нами отплыл на материк, где вскоре защитил обе диссертации. Еще работал у него один зоотехник, посаженный в 1930 году.

- Почему Вы подписали всю эту неправду? - допытывался у него Щербаков. - Вас что, били, пытали?

- Нет, никаких пыток не было. Но следователь убедил меня, что мой долг, долг партийного человека, подписать.

В школе английский язык нам преподавал старый учитель (лет за сорок, как я сейчас представляю). С английским трудностей у меня не было, я уже в ту пору самостоятельно не только переводил, но и учил по-английски The Song of Hiawatha[225]. Но дерзил и озорничал я от этого не меньше, а к тому же нагло подсказывал всем

[225] Мы на пару с Любавиным приобрели в книжном магазине в букинистическом отделе - и такое имелось в Магадане! - “Песнь о Гайявате” московского издания тридцатых годов в двух книжках: в первой оригинальный английский текст Лонгфеллоу, а во второй - словарик, языковые комментарии и, кажется, перевод. Но поделили мы книжки по-уродски, мне достался английский текст, а Любавину - вторая книжка. Вскоре мы рассорились, и я не мог ею воспользоваться. Свой же текст я читал и учил. По-русски “Гайявату” я прочитал только лет тридцать спустя, в бунинском переводе. А по-английски и до сих пор некоторые куски помню.

не знавшим. И учитель одернул меня, раз, другой. Я вспылил и истерически выкрикнул, что-де “не буду я подчиняться этому типу”. Он расплакался и вышел из класса. Я и прочие ученики воображал себя победителем, но - мать-то работала в той же школе - мгновенно про случившееся узнали дома. Меня не наказали, но приоткрыли: он - профессор. За что-то его сослали (эвфемизм лишению свободы), он стал зека. Но он уже освободился. Сейчас у него все права, как у всех людей (не знаю, было ли это правдой, пересказываю, что мне вдалбливали). А ты вот оскорбил, напомнив словами “этому типу” о его прошлом.

- Но я же не хотел! Я же ничего этого не знал! Я просто так сказал!

- Неважно, он воспринял это как оскорбление; ты должен перед ним извиниться.

И я пошел к нему на дом, и мы с ним долго взаимно рыдали на плече друг у друга.

Другой знакомый зека нашего семейства был молодой парень, любовник Зои, работавший в порту. Я не раз к нему хаживал с записочками от нее. Он тоже, кажется, уже отбыл срок ко времени вторжения в наш быт. Именно когда я присутствовал в его конторе в порту в бухте Нагаево, случился тот эпизод, который прозвучал потом в суде в 1957 году, см. §18 гл.1, §4 гл.5, а также §11 гл.4. Я видел, как людей укладывали в сети, сети зацепляли подъемным краном и штабелями переносили на палубу парохода или даже сразу сбрасывали в трюм. Откуда-то - наверное, я задал вопросы? - я знал, что это зека, которых таким образом насильно отправляют на фронт (думаю, что “фронт” была выдумка, а куда их этапировали, объяснявший мне и сам не знал), а они отказываются идти своими ногами. Картина запала мне зрительно в память, я не раз и не два “видел” мысленным взором эту сцену. И, когда, вспоминая ее в суде при изложении того, как формировались мои политические воззрения или в собственноручных показаниях (§17 гл.1) я произносил слова: “И я решал для себя вопрос: с кем я, - с теми ли, кто так обращается с людьми, или с теми, с кем так обращаются?” - я говорил правду. И прав был адвокат Райхман, уделивший этой сцене важное место в своей защитительной речи: моя политическая позиция формировалась под воздействием советской и только советской действительности, а не под влиянием “западной пропаганды”. Но, как и все в судоговорении, это лишь частичная, препарированная правда. Не там, не в бухте Нагаево давал я свою аннибалову клятву, а позже, лет эдак через девять, когда я прочел уже Герцена с его знаменитой формулой “Я не с теми, кто вешает, а с теми, кого вешают”. И был позже повод, чтобы я припомнил эту сцену. Тогда же я увидел, но не сделал и не делал никаких широких, политических или социальных выводов из нее. Вроде как в таком эпиоде: едешь автобусом, на повороте он замедляет ход и ты видишь поперек асфальта на встречной полосе раскинувшего руки мертвого велосипедиста и слегка помятый его велосипед. Видишь - и не требуешь остановить автобуса, расстрелять ГАИ, запретить автомобильное движение или ликвидировать велосипеды, перестроить общество, чтобы такое не могло быть возможным. Ты видишь и, принимая эту печальную необходимость, едешь дальше.

Так и я в 1943 или 1944 году: видел погрузку зека в бухте Нагаево и принимал эту жизнь.

Хотя основной, глубинный уклад моей психики уже менялся, и быстро, заметно всем окружающим, и на прямо противоположный. До 1940 года мальчик был весь послушание, слияние, цельность с родителями и обществом. После - противостояние, несогласие, бунт. Я сделался проблемой для своих родителей, родных, проблемой, которую обсуждали не только в Магадане: “Зоя, почему ты пишешь, что Волик невыдержанный. В чем именно? Объясни”, - спрашивает Женя в 1943 году в письме из Стенниково. Мне еще труднее, нежели Зое, объяснять, в чем я был “невыдержанный”.

С учителями? Ну, про “англичанина” я уже рассказал. Дружно мы все ненавидели русачку. “Русачка на ветвях сидит” одно время сделалось как бы кодовой фразой. Как-то всем классом под моим руководством натирали мы перед ее уроком свечкой доску, дабы она мелом не могла писать. Урок-то был сорван, но дорогой ценой: нам же потом досталось отдирать воск (стеарин) от доски. В таком роде банальных шалостей было много. Вряд ли их стоит перечислять. Разве что стоит отметить, что хотя озорничали и вредничали мы все скопом, из-за моей вызывающе насупленной физиономии при проработке, из-за моих реплик словами, жестами и мимикой, как-то выходило, словно я виновен больше всех словно все безобразия - результат сложности именно моего характера. Этот вывод, в свою очередь - обратной связью - подкреплял мое противостояние “всем”. Но когда те же учителя организовывали нас для сбор ягод на сопки (норма на ученика исчислялась ведрами брусники и голубики; еще была морошка; и лютовала мошка), то никакого сопротивления у меня не возникало, я послушно шел и собирал и стремился набрать больше, чем соседи, дабы быть похвалену учительницей. Или вот. Учительница - чуть ли не та же русачка - читает нам из газеты о зверствах немцев и о том, как один предатель, по фамилии Буланов, помогал немцам в расправах над населением. Я слышу “Буланов”, поворачиваюсь к соклассник Булановскому, сидящему за моей спиной, и с идиотическим смешком кидаю: “Буланов! Ха-ха!” Он, побагровев, бьет меня по лицу. Я недоуменно оборачиваюсь к учительнице и по ее глазам вижу, что она на стороне ударившего. Молчу. Эпизод заигран, и лишь позже я осознал свою брутальность. Такое же ощущение стыда вспоминается мне в связи с каким-то летним лагерем или походом (там столько времени лежит снег, что на природу все бросались, лишь только возникала малейшая возможность). Я стою внизу крутого спуска. Сверху сбегают по очереди ребята. Бежит один несимпатичный мне. Я выдвигаю кулак и воровски - не бью, дескать, а просто таким образом стою, задумавшись - направляю на траекторию бегущего. Свернуть некуда, дорожка одна, затормозить невозможно, инерция крутого спуска повелевает. И он животом о мой кулак. И - бездыханный оземь. Кидается пионервожатая, приводят в чувство. А я в смятении, что-то теперь будет? Что со мной сделают? (Не что с НИМ будет!) До сих пор это воспоминание пробегает мурашками по позвоночнику. Реально-то все обошлось, назавтра забылось.

Не умею вспомнить почему и отчего, но к 1944 году я затеял издавать в классе “подпольную” антиучительскую газету Liberum Voto (вот уж не пойму, на каком это языке я воображал). Мы с

приятелями перессорились из-за намечаемого содержания и газета умерла после первого номера. Но было это типичная школьническая выходка против УЧИТЕЛЕЙ, ничего политически крамольного в ней не было[226]. В некоторой степени само название дает представление о круге моих воззрений в ту пору: свобода входит в него как безусловно положительная ценность. Как та ценность, которой лишали нас наши учителя, хотя вся официальная идеология тоже была пропитана идеей защиты свободы и борьбы за нее: против капиталистов - до войны, против немцев - с начала войны. И то обстоятельство, что “голос” входит в название моей газеты, а не “борьба”, не “восстание” - тоже идеально стыкуется с моими тогдашними фундаментальными ценностями. Даже романтическое наименование газеты не по-русски, а словами, почерпнутыми из Жюль Верна или сочиненными наподобие его возвышенных и ученых слов, - даже в этом отпечаток моей тогдашней души. Кажется, в то же время я посылал на радиоконкурс свою длиннющую поэму о Щорсе, которая лавров не снискала. Писал я еще фантастический роман о марсианах, длинный-предлинный и незаконченный, но ни на какой конкурс послать его не осмелился. Революция, Ленин, советская власть, война против немцев - все это естественно сливалось во мне в единую положительную ценность, как у всякого благонамеренного подростка, и ничем я в этом отношении не выделялся. Единственная нестандартная книжка, которую я прочел к 1944 году, была “Князь-бунтовщик”, тоненькая, в зеленой обложке, кажется, 1940 года издания, для детей, автора тогда же позабыл. Отец, естественно, хотел и меня приобщить к культу Кропоткина (он уже тогда рассказывал мне, почему выбрал мне имя “Револьт”), вот он и приобрел в тамошнем магазине повесть о побеге Петра Кропоткина из Петропавловской крепости. Там, помнится мне, даже термин “анархизм” не употреблялся, а одно слово “революционер” покрывало все. Враг же был общий для всех советских людей - царская власть и ее опричники. Так что эта книжка не стимулировала моего противостояния, а разве лишь обогатила эрудицию.

У нас была дружная компания: я, Любавин, Малагин, Максаков. Но ею похождения не исчерпывались. Главным образом мы дрались друг с дружкой. И боролись, и кулаками, и ремнями (накрутив на руку - по головам, куда придется), и даже на рапирах. Ремнями, кажется, мы начали сражаться после фильма “Салават Юлаев”, где показано такое состязание башкир. Начитавшись Дюма - перешли на шпаги. Сначала - палки и железки. Потом мы с Любавиным стали “копить”, т.е. попросту утаивать от родителей сдачу с покупок, на приобретение рапир, продававшихся в магазине. Скопили на одну, не вытерпели, купили ее, хотя без второй какое фехтование? Ну, поразмахивали ею, а куда девать, когда пора домой расходиться? К себе нести нельзя - родители поинтересуются, на какие денежки? Сунули ее под деревянный настил (мостовую) между нашим двором и соседним. Каждый день по нескольку раз бегали проверять, не спер

[226] С благодарностью вспоминаю школьные программы и требования тех лет: объемистые, насыщенные, заставлявшие по-настоящему трудиться. И неукоснительно строгие оценки, спрос знаний по существу: уже в VI классе в конце года вводилось шесть испытаний - больше, нежели нынче при поступлении в вуз. К сожалению, ни об одном учителе не могу отозваться с благодарностью.

ли кто ее. И, само собой, когда подошло к покупке второй шпаги, ту - украли. Поэтому вторую мы не купили. Еще любили мы игру с вагонетками. На каком-то производстве вывозили отработанный, еще с красными пышащими углями, шлак. Вывозили на вагонетке, которая ударялась в тупике о стопоры, застывала, кузов ее подскакивал, перепрокидывался и выбрасывал шлак в глубокий ров. Красочно было наблюдать. И еще красочнее было самому лихо поместиться в кузове вместо шлака, велеть друзьям разогнать (это нетрудно, под уклон) и вылететь из вагонетки, шмякнувшись в теплый шлак. Каждый раз с обрывающимся сердцем ждешь: а вдруг стопоры сорвутся и вослед тебе рухнет на тебя сама вагонетка? Какое сладостное ожидание и предвкушение! Но ни разу ни с кем не случилось. Словом, развлекались опасностью, где умели ее найти. И когда лезучи чего-то украсть из бетономешалки, я сорвался с высоты примерно второго этажа и распорол большой палец правой руки то ли гвоздем, то ли стеклом (шрам до сих пор красуется поперек папиллярных линий), залив кровью себя, стену и двор, то не лечить рану, не заливать йодом, не перевязывать ее метнулись мы мгновенно, а прочь спрятаться. Чтобы никто не увидел, что мы испачкали двор и стенку, чтобы никто не заметил моего ранения и не донес моим родителям, чтобы никто не засек, что мы незаконно проникаем в бетономешалку. У Максакова я переждал кровотечение, отмыл одежду, а поздно вечером пришел домой, не вынимал руку из кармана несколько дней, так что родители обнаружили ранение, лишь когда оно перестало быть опасным и впечатляющим.

Родители всеми силами старались прививать мне полезные навыки. Я ходил в кружок юннатов, и в кружок выпиливания, и в библиотеку, и на ветферме у отца учился ездить верхом, научился фотографировать и готовить проявитель, овладел прикладным знанием электричества - от починки розетки до заземления через батарею провода, дабы обмануть счетчик. Научила меня мать тому безошибочному движению руки, которым она переливала химреактивы и при котором ни капли не проливалось. Коньки и лыжи, подледный лов рыбы, художественная самодеятельность и учение. Когда как-то обозначилось, что у меня то ли проявляются грамматические ошибки, то ли возникли претензии к моему почерку, мать железно велела мне ежедневно переписывать по странице-две классиков. Почему-то более всего вспоминается Лермонтов, которого я полюбил в Магадане куда больше Пушкина. Память была превосходная, перепишешь раз-другой, и готово - стихотворение запечатлелось в мозгу. А потом бредешь в школу и бормочешь:

“По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется...”

Ох, эти звезды! Не они ли пленили меня? Ведь в Магадане звезды были мифом, сказкой о каком-то “материке”, где существуют ЗВЕЗДЫ. На небе же их не увидеть, все затянуто серой пленкой сырости, даже если тумана нет. Туманы же там красочные, надвигаются четко очерченным фронтом в полроста, в рост, в два роста, со скоростью пешехода, со скоростью бегущего. Непроницаемо белые сгустки, сразу отделяющие тебя от твоего собеседника, если ты не успел схватить его за руку... И “синих волн”

на Охотском море ни разу не довелось мне разглядеть. Наверное, полюбил я Лермонтова из-за этих случайных обстоятельств, а уж потом впитал и все прочее его противостояние. Возможно, что эхо этой беззвездности откликнулось в 1956 году, когда строчки Ольги Берггольц “в беззвездных топях Колымы” (см. §1 гл.1) пронзили меня, привлекши мое внимание к остальной части стихотворения…

Но вернусь к родителям. В определенных отношениях мне повезло с ними так, как редко каким детям везет. Я мог задавать самые неслыханные вопросы, зная, что меня никто не заругает на них, а что мне ответят, и притом РАЗУМНО ответят. Например, я вопрошаю отца:

- Папа, а почему мальчишки во дворе про грузовики говорят: “Машины ебутся”?

На лице у матери застывает напряженное выражение, она молчит, а отец невозмутимо излагает мне анатомию половых отличий, способы продолжения видов живых организмов, выводя неграмотность словоупотребления мальчиков во дворе. Эта НЕГРАМОТНОСТЬ мне убедительнее всего. А на этом ведь не кончается. Словами этими кишели двор и школа. Именно то, что зека не могут сказать ни одной фразы без таких слов, служило одним из рациональных объяснений запрета контактировать с ними. И вот как-то раз из моего портфеля выпадает старательно сложенный листок, данный кем-то из ребят переписать и вернуть потом. Это - список штук с полсотни матерных ругательств и просто неприличных слов с цифровым кодом к каждому, дабы можно бы вслух произнести, скажем, “664”, а ты и слушатель знали бы, что ты ругаешься “блядь”. Это список входил непременной частью в содержание “школьной контркультуры”. Мне он достался на третий или четвертый день после начала циркуляции. Кажется, уже после одной девочки. Опять же, обнаружив его, меня не ругали и не наказывали. Но, взяв список в руки, отец стал высмеивать его составителей по двум направлениям. Во-первых, он приплел Карамзина и, цитируя его примечания, стал этимологически объяснять, что слово “блядь” означало денежную единицу определенной стоимости в киевской Руси и потому-де не может основательно употребляться в качестве бранного[227]. Во-вторых, он напирал на трусость составителей этого кодового словаря.

- Ведь самое главное, чему служат ругательства, это тому облегчению, что вот, дескать, я не боюсь каких слов громко произносить! А если они зашифрованы безобидными числами, то никакого смысла произносить их - нет. Трусливо и бессмысленно.

Мне сейчас как-то странно, что именно он произносил все эти поучения, хотя теперь-то мне известно, что сам он уже лет двадцать как к тому времени вполне беззастенчиво матерился. Правда, в моем присутствии никогда пока еще. С ругательствами на этом не кончилось. То ли под влиянием его проповедей, то ли в поисках

[227] Из старинных церковных сочинений я узнал, что века до XVII на Руси ругались “по матушке” и “по батюшке”, но, видимо, священнослужители сумели вывести второй вид ругани под корень, не оставив следов. И ныне я подразделяю употребление таких слов на интенциональные классы: 1) собственно ругательства; 2) эпатирование; 3) сквернословие; 4) точное описание; 5) сексуальное; 6) цитирование.

О Карамзине. Карамзин у меня дома без примечаний, так что я не проверил, писал ли это Карамзин или мой отец переврал.

позиции для противостояния, но я положил начать активно бороться с матерщиной среди моих друзей. Помню собрание, созванное мною с этой целью на нашем чердаке, где я страстно, настойчиво и логично уговаривал не употреблять самим таких слов и препятствовать другим их употреблять. И вот-вот достиг я успеха: уже трое дали клятву никогда не сквернословить. Двое мнутся, хотя ничего не возражают. И тут Любавин все пускает насмарку простым анекдотом:

- Ладно, - говорит он, - я согласен дать клятву. Но только напоследок, пока еще можно, расскажу один случай. Жил в Одессе в семье один дедушка, страшный матерщинник. А в семью должны были прийти важные гости. И вот тогда ему заплатили пять рублей и пообещали, что если он при гостях ни одного матерного слова не скажет, то еще десять получит. Он согласился потерпеть несколько часов. Пришли гости, фигли-мигли, чего-то пьют. А он смотрит на свой стакан, видит: по нему, в нем - ползают мухи, друг за дружкой “ухаживают”. Смотрит-смотрит, а потом как гаркнет: “Нет, вот, - говорит, - ваши пять рублей, но ебли у себя в стакане я не потерплю!”

Разумеется, все с хохотом разошлись, оставив меня с носом. Реальным последствием моей затеи было лишь то, что мне стали на уроках чаще подсовывать вырезанные ножницами из бумажки фигурки мужчины и женщины, которые, если за бумажку потянуть, занимались как раз “этим самым”. Да то, что девочка, сидевшая за мной, стала ожесточеннее тянуть меня на уроках за волосы. Потом она жаловалась: вот ведь какой этот Волик противный! Я у него весь урок волосок за волоском выщипываю, а он никакого внимания не обращает, ни разу не обернулся!

Итак, вот моя первая позиция противостояния: я все отрочество и всю молодость, включая школу и лагеря-тюрьмы, противостоял практически всем (ибо весьма быстро после этих нравоучений мой отец начал при мне материть мою мать), не употреблял ни разу матерных слов в разговорах с мужчинами. Так как я не просто избегал их употреблять, а ПРОТИВОСТОЯЛ, если не вслух, то молчаливо осуждая употреблявших, то это была трудная позиция, тяжелая борьба, влиявшая и на мою репутацию и на мои общие суждения о роде человеческом. Кстати, я и не курил: раз попробовал - противно. Но каким бы тяжелым и глобальным ни было сие противостояние, в нем, очевидно, не было и тени политики!

Спрашивал я родителей не обо всем. Ну, когда меня начали одолевать мысли о смерти - мне почему-то на протяжении нескольких месяцев неотвязно мерещился череп и кости под ним - я поделился с родителями, благо это совпало с огромными уродливыми бородавками на костяшках у оснований пальцев рук. Сначала мне как-то заговаривали зубы, а потом сводили к какому-то профессору-невропатологу. Он заверил, что все само пройдет. И, верно, прошло. Впрочем, бородавки не сами: я их расковыривал, они опять отрастали, я снова расковыривал, и на каком-то цикле они забыли отрасти заново. Но с той поры у меня сохранилась скверная привычка ковырять пальцы, ногти, заусенцы, от каковой меня не смогли отучить ни мать, ни те любовницы, которые замечали это и боролись с дурной манерой. Да, так вот об этом я рассказывал родителям, но вот когда мной овладевали мысли о самоубийстве - я отцу-матери ничего не рассказывал. Мечтания были примитивные, классические:

рисовались картины, как я буду наблюдать их горе при моих похоронах. И не то что до покушений, даже до приготовлений к самоубийству не дошло. Но все же с родителями я не делился этим - ни до, ни после. Не посвящал я родителей и в замыслы побега из дому. Куда? Не додумывалось. Лишь бы прочь. Только один раз, когда я все-таки реализовал намерение и провел ночь на чердаке соседнего дома, где утром отыскал меня отец, родители узнали о таковых моих мыслях. Во мне почему-то зрело сознание - точнее, покамест, ощущение - моей обреченности, чем я также ни с кем не делился.

Я не могу ни вспомнить, ни придумать никаких причин, мотивов для этих мечтаний и поступков. Зрело ли это само в моей душе, воспринимал ли я флюиды от их размолвок - откуда я знаю! На поверхности они жили очень дружно, никаких ссор, непрестанная забота друг о друге. Помню, как привлекал меня отец мыть посуду, пока мать на работе. Она днем готовилась к занятиям, а вечерами работала. Отец мыл посуду, я ее вытирал. Тогда еще не было сушилок. Вообще, тогда существовало куда как меньше приспособлений для кухонного хозяйства. Горячей воды не водилось. Никаких щеточек-метелочек для мытья посуды не водилось. Мыли руками. В тазиках, мисках. Мать сама или кем-то наученная догадалась мыть тряпочкой, намыливая ее[228]. То, что я не замечал никаких родительских ссор, могло иметь простое механическое объяснение: на улице Коммуны они помещались в отдельной комнате, и я с моим плохим слухом и естественной подростковой занятостью самим собой, не вслушивался, что там происходит. На улице Дзержинского они спали в той же комнате, что я, но я дольше отсутствовал дома, а спал, как уже имел случай отметить, аки убитый[229]. Хоть бы они палили из револьверов друг в друга, я бы не проснулся. Однако раз утром, проснувшись и молча лежа, я услыхал некие пререкания, явно походившие на ссору. Но когда я шевельнулся, они подозвали меня к себе, спросили, слышал ли я, как они спорили? Я ответил да. Тогда они объяснили, что они проверяли, сплю я или нет, и ПРИТВОРИЛИСЬ ссорившимися. Похвалили меня за то, что я не вмешался в их спор. Я всему этому поверил. Сопоставляя разные подробности, уже в зрелом возрасте я “вычислил”, что в тот раз они ссорились из-за того, оставлять ли ребенка или делать аборт. Вообще-то марганцовка, которой у отца было навалом, помогала им безотказно, но вот случилась “беда”. И один раз они меня спрашивали, хотел бы я иметь братца или сестренку. Я наотрез отказался: не надо мне! Но держались они так ровно, что я никак не могу понять, кто хотел ребенка, а кто нет. Отец же мой, когда три

---

[228] Из-за этого в шестидесятые годы у нее случилась стычка с моей женой. Та - даром, что ей было уже 37 лет, оставалась (и в 50 осталась) крайне инфантильной. И когда 60-летняя свекровь сказала ей: “Знаешь, Виля, это очень удобно мыть тряпочкой посуду!” - она не услышала в этом голоса моей бабушки, восхвалявшей “поклевыш”, не сумела постичь “как солнце в малой капле вод” всей жизни Ларисы Михайловны, а лишь наподобие семилетнего ребенка услышала “приказ от старших”, устрашилась, что ее лишат привычных ей щеточек и мочалочек, которые так и не вошли в быт моей матери, но всегда присутствовали в быту Вили, и, вспыхнув, стала “дерзить”.

[229] Вопреки Фрейду, я в детстве не интересовался, как они совокупляются и спал под подушкой, не подглядывая.

десятилетия спустя я его про то расспрашивал, все позабыл на сей предмет.

К своеобразным педагогическим приемом прибегали они порой. Когда я с началом V класса стал изучать иностранный язык (первый месяц немецкий, потом его отменили, введя английский), они записались ко мне в ученики. Я обучал отца (мать лишь номинально училась пару первых уроков), задавал ему домашние задания, спрашивал уроки - все чин-чином. Примерно полгода длилось, отмерло за его неспособностью.

А потом как-то их ссора вошла постоянной бытовой принадлежностью в мою жизнь. Началось драматично. Отец начал было за что-то пороть меня, как вдруг мать - никогда такого не бывало - кинулась всем телом своим меня защищать, прикрывать, не давать ему, вырывать. Отец помахал-помахал без толку ремнем и бросил. Мать уже уложила меня к себе в кровать и пошла плакаться, какая она обиженная, какие мы оба с нею обиженные, как нас обоих обижает отец. Тогда-то я был, что говорить, рад, что от ремня спасся. А если есть что, чего я никогда и до смерти не прощу своей матери, так это как раз того избавления от порки. Катастрофа, расколотость родителей на две половинки, антагонистически противопоставленные одна другой, вошла в мою жизнь с этим “избавлением”. К слову, я не помню несправедливых наказаний. И видимо, я делал нечто здорово паскудное, раз пороли. По мелочам они за ремень не брались. Когда я сожрал тайком мешок сухофруктов, подвешенный для сохранности к потолку, меня не били. Когда я вылакал из громадной четверти с засахаренной голубикой, сколько смог, а потом, опьянев, свалился, опрокинул бутыль, пролив из нее весь заготовленный на зиму сок, надо мной лишь потешались и никак не карали. По пустякам меня не казнили, и никогда от порки я не ощущал себя “обиженным”, “пострадавшим”, “оскорбленным” - до описываемого происшествия. Я не помню конкретно, на что жаловалась мать мне в ту ночь, которую я провел с ней, а отец - на моей постели. Но прочно вошел в душу мою образ мучимой матери, которую терзает несправедливый отец, которого, однако, я не переставал любить.

Отчасти по причине этих конфликтов я сблизился с Зоей. Она и моложе моей матери была, и не была непререкаемым авторитетом, которому я обязан беспрекословным послушанием. И по моим меркам была очень добрая, чуткая, интеллигентная. Часто я вечера проводил у нее. Она немножко учила меня своим чертежным хитростям - как правильно затачивать карандаши, например. Обращению с готовальней. А главное - просто беседы, стихи, рассказы о бабушке, о тетях. У нее я отдыхал.

Мне трудно реконструировать родительские конфликты и перипетии их взаимоотношений: я взирал на них детскими, ничего не понимающими глазами - но ведь и ничего не прощающими! Но для объяснения причин моего изменения в психике - от послушания к противостоянию - и нет нужды в такой реконструкции. Ведь симптомы “байронизма” во мне проявились еще до выявления вовне конфликтов (и до прочтения мною Байрона!). Почему же во мне менялась душа? Потому ли, что действует общий закон:

“Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.”

Я могу проследить по фотографиям, что я в Ростове и я в Магадане - один и тот же телесно. Но ничего общего в духовном строе этих двух лиц, двух душ - нет. Кроме такой побочной и неспецифической черты, как одаренность. Кроме этого общего, но непризнанного гумилевского закона, подворачиваются расхожие объяснения: переходный-де возраст, половое созревание, гормоны, эдиповы и прочие комплексы. Не без того, само собой. Хотя, впрочем, половое созревание у меня затянулось надолго: эрекция лет в пятнадцать, уже после отъезда с Колымы, эякуляция - несколько позже, а бриться мне пришлось только после двадцати лет. Однако все аргументы, справедливые применительно не только к одному мне, но и КО ВСЕМ подросткам возраста 9-13 лет, не обладают никакой объясняющей силой в моем случае. Ведь вот, скажем, я на фотокарточке лета 1943 года на берегу Магаданки. Нас четверо: я слева, потом Олег Максаков, Виктор (или Виталий?) Любавин и, кажется, Малагин. Все примерно одного возраста: Любавин и Малагин учились в том же классе, что я, а Максаков классом моложе. Но я единственный, кто смотрит напряженно и с байронической злобой в сторону. Трое же остальных более или менее одинаково блаженно жмурятся на солнышке в объектив. Так что в этом моем противостоянии на берегу Магаданки возраст - не при чем. Не при чем и специфика местности. Колыма, НКВД, лагеря, силовое излучение тысяч обойденных судьбою душ, - ибо мои товарищи росли в тех же условиях. Или они были не такими чувствительными реципиентами? Влияние моего отца? Во-первых, ничего из рассказанного в гл.2 и практически ничего и из рассказанно в §1-3 этой главы я не знал, духом не ведал не только в Магадане, но и много позже. Например, про свою службу в ВЧК-ОГПУ отец рассказал мне, как и про свой арест в 1938 году, только уже после событий, описанных в гл.1, т.е. после моего ареста. Мать же вообще никогда ничего из биографии отца мне не рассказывала. Во-вторых, у моего отца не было никогда такого ПРОТИВОСТОЯНИЯ, он сам-то всегда вписывался в свое микроокружение, он был КАК ВСЕ ИЗ МЕНЬШИНСТВА, а у меня до самого 1956 года не было того “меньшинства”, которому я был бы подобен!

Чем же вызывалось в жизни такое устойчивое противостояние? Каких-нибудь подростковых болезней, отщеплявших бы меня от сверстников, на манер излюбленного американскими психиатрами недержания мочи, - не было у меня. Наличествовали два постоянно действовавших отъединяющих от общества фактора, верно: это слух и зрение. Слух был плохой, и к 18 годам, к военкоматовскому обследованию, выяснилось, что у меня всего 40% слуха; это наследство той скарлатины, которой я переболел в трехлетнем возрасте. Возможно, уже в Магадане у меня было плохое зрение,

хотя обнаружилось это только при обследовании в сумасшедшем доме, в 1949 году. Я полагаю, что зрение испортил на новогодней вечеринке с 1943 на 1944 год, когда мы вчетвером (что на фото) собрались на квартире младшего из нас на два класса приятеля, но у которого зато брат был летчиком и потому имел американский денатурат. Никого взрослых не было. Мы распили склянку, примерно флакон, фиолетовой жидкости. Спасло нас именно то, то брат брату пожалел денатурату. Ибо кто пил больше - слеп намертво или умирал. Но это - догадка. Ведь до 1949 года я НЕ ЗНАЛ, что у меня зрение ХУЖЕ, чем у других. Я полагал, будто вижу, прекрасно, что все так видят. Правда, я не замечал ни выражения глаз, ни мимики, ни улыбок, описанных в сотнях уже прочтенных мною романов. Но я был уверен, что дело не во мне, а в том, что в романах все врут, особенно про любовь, а все эти выражения лица - чисто романные придумки, встречающиеся как раз в описаниях нелепых любовных сцен[230]. Так что обделенным зрением я себя не считал. Конечно, эти дефекты восприятия должны были препятствовать нормальному компанейскому общению, но они же служили стимулами к обострению моих реакций, к развитию КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ сообразительности настолько, что никто не замечал моих дефектов слуха или зрения. И вечно-то я кипел в гуще своих сверстников, всегда у нас была куча общих интересов, я был нужен всем, мне были нужны все. Так что эти факторы я тоже не могу счесть решающими.

Я еще не разрешил загадки возникновения моего противостояния. Оно может быть даже всего-навсего побочным эффектом очень быстрого ума: мгновенно мною продумывается мысль и в ее ПОЗИТИВНОМ утверждении и в МЫСЛИМЫХ ВОЗРАЖЕНИЯХ на нее; затем позитивное проговаривается скороговоркой, как тривиальное, всем понятное, само собой разумеющееся, а вот мало видные, не поверхностные возражения муссируются, раздуваются и мусолятся. Но все же мне пока маловато этого объяснения. И, рискуя возмутить всех читателей, я назову эпизод, которого вроде бы и не было, но который МОГ стать причиной моего ПРОТИВОСТОЯНИЯ НЕИЗВЕСТНО ЧЕМУ.

В сентябре 1940 года, дорогой в Магадан, я попал в силовое поле поэта противостояния. Это был великий поэт, т.е. прежде всего - сгусток эмоций. И в те месяцы он находился в такой запутанной и нечеловеческой ситуации, что все его эмоциональные эмиттеры несли душевные волны на максимуме излучения, зашкаливая все ограничители и измерители, существуй таковые в природе. Ей пришлось существовать в Москве сразу в трех ипостасях - и каждая противопоставляла ее нормальным жителям столицы: она была вдова расстрелянного врага народа, она была жена советского чекиста, она была вернувшаяся на родину после 17 лет эмиграции бывшая белогвардейка. А ведь и до того с юных лет она по

[230] С грустно-забавным пережитком такого же мировосприятия столкнулся я недавно, разговаривая с Эрстном Орловским. Он написал ругательное письмо В.Максимову в связи с автобиографической повестью того в “Континенте”, и в беседе выяснилось, что причиной явились слова Максимова об одном из персонажей: “На лице его были написаны следы его развратной жизни и порочных мыслей”. Орловский, будучи с детства близорук, не мог воспринять этих слов иначе, как плохой перл беллетристики, и я никак не смог его убедить, что иногда МОЖНО все названное непосредственно увидеть.

душевному своему признанию была Поэтом Противостояния, начиная с того, что в 18 лет стриглась наголо, поэтом Лилит против Евы, поэтом Белой Гвардии пока жила в Советской России и восхвалителем Маяковского, когда оказалась в эмиграции. И она уже выкрикнула:

“С волками площадей отказываюсь - выть. С акулами равнин отказываюсь плыть - вниз - по теченью спин. Не надо мне ни дыр ушных ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один - отказ”.

Меньше года оставалось до материализации этого отказа елабужскою петлею. А покамест она жила в Мерзляковском переулке, переулке чекистов[231], в доме №16 в квартире 27, в семье сестры мужа Елизаветы Яковлевны Эфрос. На птичьих правах, но ютилась. А в том же доме в квартире 29 у Евгении Михайловны Небольсиной, жены майора НКВД остановились на неделю-другую мы с матерью. Комната (кажется, две крохотули-комнатенки) находились в коммунальной квартире. С соседями были враждебные отношения: потому ли, что кадры подбирались Берией - Сталиным по принципу взаимной ненависти друг к другу, от тесноты ли коммунального сосуществования, от природной ли стервозности баб этого ведомства - я не знаю и никогда не интересовался. Никакими соседями. Я лишь ощущал всей своей кожей царившие там ненависть и омерзение друг к дружке. И лиц, конечно, не различал. Ну, спрашивается, к чему мне, девятилетнему, 48-летняя старуха из квартиры на лестниной площадке напротив? Но я мог столкнуться с нею, сбегая по вонючей лестнице в изогнутый переулок. Будучи воспитанным мальчиком, я даже прижался бы к стенке, пропуская старушку. А она была не просто старушкой - она была клубком кричащих страстей. И все ее страсти были ПРОТИВ. Обреченность, но не капитулирующая, не угнетенная, а вызывающая: “Ну и пусть!!!” Она и в лучшие-то свои годы не шибко умела мыслить логически и едва ли бы сама смогла бы по полочкам разложить свое недогование и адресовать его: против кого или чего оно. Тем вернее бил эмоциональный заряд по подвернувшимся.

- Уведите детей! Такие глаза обжигают детские души! - восклицал Заратустра. Меня не увели. Рассудительные люди, не имеющие встроенных в коже приемников чувственных излучений, не замечали этого передатчика. Так люди, живущие окрест телевизионных башен, ничего не замечают, не воспринимают сознательно, а высокочастотные электромагнитные колебания творят исподволь свое дело и - глянь - один “неизвестно от чего” пережил нервный срыв, другой стал импотентом, третий - сексуальным маньяком, а двадцать пятый просто как не может вот уже семнадцать лет подготовиться к вступительным экзаменам на заочное отделение лесотехникума... Марина Цветаева была мощным ПЕРЕДАТЧИКОМ чувств и мыслей. Ее сестра Ася свидетельствует, что в день смерти Марины получила от нее - из Елабуги в Забайкалье - весточку об умирании. Я же был недурным ПРИЕМНИКОМ чужих эмоций, не зная о том, как уже рассказывал в §2.

---

[231] “Когда ты шагнул в переулок, отец расстрелянный мой” - пел сын и племянник чекистов, поэт “горбатых улочек Арбата”.

Встреча была: тому доказательство наши адреса и хронология. Она не зафиксирована, и узнал я о ней лишь после публикации писем Цветаевой к Тесковой. Не верующие во внерассудочную передачу эмоций и не представляющие себе накала отчаяния и отчужденности Цветаевой в лето сорокового года просто ничего не поймут. Впрочем, нет, они “поймут”, что я-де вознамерился примазаться к известному имени. Нет, нету у меня таких намерений. Кабы они присутствовали, куда логичнее и правдоподобнее было бы мне без апелляции к “телепатии” примазаться к имени Солженицына. В самом деле: он учился в Ростове-на-Дону, когда моя мать преподавала в Ростове-на-Дону! Она преподавала химию, а девушка Солженицына Наташа Решетовская увлекалась химией и пошла учиться на химика! Да тут можно было бы выстроить такую цепочку, что всех следователей КГБ и американских советологов удовлетворило бы! Но я не допускаю ни воздействия Сани Солженицына на тринадцатью годами старшую его учительницу Л.М.Пименову, ни, обратно, не усматриваю ни на волос, в чем могла бы Л.М.Пименова появлиять на Саню Солженицына в школе. Поэтому, хотя я знаю номера всех школ, где преподавала моя мать, в переписке с Н.А.Решетовской я даже не вздумал поинтересоваться номером школы, в которой она училась. Буде номера и совпали бы - курьезное совпадение его величества случая, а причинной связи в той цепочке быть не может. В случае же с Цветаевой я вижу причину, вижу следствие. Это тот импульс в страну противостояния, отчуждения, неприятия, возражения, которому не моя чуткая душонка могла бы противиться.

Завершу тему “наша семья в Магадане” отчетом о нашем запланированном “обогащении”. Надежды на него не сбылись. Прежде всего, из-за самой матери. Она, отправляясь на Колыму, запасалась по привычке характеристиками, напряженно решала и колебалась в выборе мириться с Ваней или нет, но не сделала самого главного, что требовалось правилами Дальстроя: она не заключила до приезда в Магадан индивидуального трудового договора с НКВД на тот или другой срок. А все дополнительные выплаты, проценты - которые, кстати, тоже оказались ниже, чем грезилось - и т.д. начислялись только завербованным, а не самотеком приехавшим. Конечно, и обычная зарплата в системе НКВД выше, но не намного. Поэтому перепад между ее зарплатой и зарплатой мужа превратился в обиду для ее самолюбия, а муж к ее досаде сделался единственным источником и надеждой обогащения.

Щербакову же несколько повезло в этом отношении. У него оказался ушлый начальник Рогожин, который добился перекройки подчиненности ветеринарного управления: из сельскохозяйственного отдела, затурканного и маловлиятельного, его передали административно-гражданскому отделу, чуть ли не самому важному по тамошним отношениям на ту пору. Там и зарплата шла по более высоким ставкам, и соответственно все начисления к ней. Но это благоволение бога долго не длилось: через несколько месяцев начала войны заморозили до конца войны все дальнейшие процентные набавления. И, напротив, обложили служащих добровольно-принудительным налогом - подпиской в фонд обороны. Вот одна из квитанций:

“СПРАВКА

Выдана настоящая тов. Щербакову Ивану Гавриловичу в том, что им переданы Местному Комитету Административно-Гражданского Отдела ГУСДС для сдачи в фонд Обороны Страны, облигации массовых государственных займов всего на сумму Руб. Одна тысяча в том числе: займ 3-ей Пятилетки, вып. 3-го год - 1.000 руб.

16.10.41. Председатель МК АГО ГУСДС Альпин. Печать.”

И много их было, таких поборов: это же вписано в бланк! Газеты писали даже, якобы на собранные деньги строились танки, самолеты и на фронт отправлялись. Чушь. Можно подумать, будто бы в СССР на наличные деньги можно купить металл для танковой брони, заказать двигатели к самолетам, побудить людей работать там-то, а не там-то, обменять бумажные деньги на валюту, за которую произвести закупки за границей! Будто бы была свободная рабочая сила, которую именно деньги могли бы склонить работать именно на танковых заводах! Ничего подобного. Все производство - это общеизвестно - вертелось тогда по тем или иным приказам (отождествляемым у нас с “планом”), к которым наличные деньги не имели - да и не имеют - никакого касательства. Приведу современный пример: допустим, сейчас стали бы отчислять часть зарплаты “на сбор урожая в колхозах-совхозах” - разве бы урожаю прибавилось? Смогли бы перестать гонять на натуральные отработки служащих из городов в деревню? Нет, изымание денег-облигаций, как и упомянутое в §3 ограничение выдачи вкладов, нужно было по темным иррациональным причинам: “Чтобы все почувствовали!” и по смутным припоминаниям: “Прежде так делали”. Полезнее было бы вместо изымания этих денег и облигаций отправить на фронт ту сотню с лишним танков, что продала нам Америка, доставила на своих “либерти” в Магадан и которые торчали несколько лет под открытым небом неподалеку от города. Мы, мальчишки, раздербанили эти танки до полной непригодности. Началось с мелочей: нужно было красное стеклышко для фотографического фонаря, а у танков были красные огоньки. А потом даже гусеницы зачем-то волокли. А, вспомнил, зачем гусеницы - мы выполняли план сбора металлолома. Еще в металлолом мы сдали, по частям разматывая и с трудом отрезая, целый барабан чудесного свинцового кабеля, что позабыт-позаброшен притулился возле какой-то стройки. С танками же главным наслаждением был, конечно, азарт прокрадывания к дыре по-над забором мимо часового с автоматом на вышке: вдруг застрелит?! Но ни разу даже не чухнулся. А танки мы раскурочили, ручаюсь. И поделом таким хозяевам, которые за три года (или даже больше) не удосужились проверить, в каком они виде. Которые не слали их на фронт. Но я опять отвлекся. “Отвлекся”? От чего? От осмысления прожитой жизни?

Главный же удар по благосостоянию Щербакова нанесла Евгения Терпаносян. То ли Иван нарушил регулярность в посылке ей 150 рублей в месяц, то ли почта на Кубани в 1941 году работала хуже, чем в Ростове, и утеряла некоторые переводы, то ли Терпаносян рассудила, что “по закону” она сможет содрать с бывшего муженька больше, то ли ей просто захотелось “дать почувствовать”, но только она без предуведомления подала на Щербакова как на скрывающегося алиментщика, и суд

незамедлительно присудил ей всю сумму с 1939 года. Тут еще и бухгалтерия поднапутала и вычла чуток побольше (у меня сохранилась справка от 21 июня 1944 года, где с точностью до копейки бухгалтерия анализирует свою ошибку), но сия ошибка - это те “волосы”, по коим “снявши голову” не плачут. Должен он был платить по 299 руб. 50 коп. алиментов. Если тогда действовали те же ставки, т.е. 25% на одного ребенка, то, значит, его оклад был 1200 руб. Этот расчет, правда, не стыкуется со словами моей матери в письме к бабушке от 14 апреля 1942:

“В общем он будет приносить 700 р. зарплаты, если не меньше, 800 р. ей будут переводить. Я получаю 500 р.” -

из которых, вроде, следует, что отец получал в 1942 не 1200, а 1500 рублей. Это, опять же, масштаб приблизительности моих мемуаров. Соотнесенности цен ради в тогдашней жизни укажу, что школьные завтраки и обеды мне стоили тогда же 200 рублей в месяц по государственной таксе. Конечно, для Терпаносян эти 300 рублей были на Кубани в послеоккупационной инфляции что слону дробина. Буханка хлеба в 1943-1944 году доходила до 100 рублей. Но она была активная дама: я уже упоминал, что добивалась от немцев возвращения домов-лавок, принадлежавших ее семейству до революции. К счастью для нее, немцы не успели ей вернуть (а вернули бы, задержись они на Северном Кавказе подольше: они заигрывали с армянами-арийцами), не то ее посадили бы после освобождения Кубани.

И эти алименты заняли свое место в ряду материальных утрат, от сравнительно мелкой - купленные Женей по лариной просьбе на ларины деньги часы (большая редкость тогда, стоили 400 рублей) пересылались с полунезнакомым инженером и были украдены у того дорогой - до тотальной - полной гибели всего имущества с квартирой и мамочкой в родном Ростове. Мать отыгрывалась на отце. И взяла меня в союзники: женщины и дети против самодуров-мужчин. Все же до полного разрыва не дошло, так как отец не противился ей в ее главном желании ВЫЕХАТЬ С КОЛЫМЫ НА МАТЕРИК И ВЕРНУТЬСЯ В РОСТОВ. Здесь ситуация отличалась от кубанского периода: там она знала, что Ваня мог бы отделаться от распределения в глухие станицы, поступив в аспирантуру, а он, зная, что нет вакансий по интересующим его специальностям, не желал поступать в аспирантуру, например, по акушерству, куда его приглашали. Но о том, как желание матери уехать из Магадана превратилось в наш отъезд на материк, я расскажу в следующем параграфе.

Эта неудача с обогащением трансформировалась у моего отца в старости в ворчание в мой адрес: живешь, дескать, в Сыктывкаре уже десять лет, там северные платят, да за столько лет можно всю семью в меховые шубы одеть, машины купить, а у тебя ни шиша нет. У тебя же - подразумевается - ни война, ни Терпоносян не отнимают этих бешеных денег!

Но ни это фиаско замыслов решительно разбогатеть, на манер Вероники или Зои, не препятствовало тому, что наше положение в Магадане было очень хорошим, а по военным временам - так просто райским. Престижность нашего положения в городе точнее всего характеризуется магазином, к которому были прикреплены наши

карточки. Там было три магазина, общий, закрытый и спецраспределитель. Так вот, мы были прикреплены в закрытом распределителе, но нам дозволялось также приобретать еду и промтовары в спецраспределителе. Очень редко натыкались мы на отказ в спецраспределителе, в котором была прикреплена вся верхушка города (кроме самого Никишова, как писалось ранее). Вот тип карточек я не помню. Литерные - это точно, но у отца другой литеры, нежели у матери. Продовольствие в магазинах обычно приобретал я, поэтому помню все эти подробности. Рыба была без карточек. А у нас в доме еще молоко было, можно сказать, “от своей коровы”, прямо из лаборатории, которой заведовал отец. И такое вкусное, такое НАСТОЯЩЕЕ молоко, что я вроде бы никогда больше в жизни и не пивал сравнимого. Бывало, замерзнет на балконе - и ем его ломтями, как мороженое, без добавления чего-либо.

Упомянув молоко, вспоминаю инцидент. К нам в гости должен был прийти начотдела, тот, что с Красным Знаменем. Ну, мать хлопотала со столом. У нас было туго с хлебом, и решалась сложная деликатная проблема: правильнее нарезать хлеб толстыми или тонкими ломтями? Я решал свои задачки по алгебре. Отец подбросил мне задачку, испытывая мое овладение материалом: если имеется 800 граммов молока, то сколько воды можно можно в него добавить, чтобы получился раствор 45% молока? Попыхтев, я сосчитал ему 977 и 7 в периоде грамм. Он похвалил, спросил, изменится ли процент, если долить 1000 грамм, отошел. Когда пришел гость, я зачарованно рассматривал его орден, но до меня донесся кусок разговора о выпивке, отсутствии водки, разбавлении спирта водою. Смышлен я был и тут же сообразил и выпалил:

- Так вот почему ты задал мне задачу о разбавлении молока водой до 45%!

Он смутился, но начальник расхохотался, отец вслед за ним. Позже наедине он внушал мне, что никогда нельзя посторонним приоткрывать тайну таких рассчетов:

- Ну, хорошо, тут было 45°, приличный градус. А если бы оказалось меньше 40°, а ты бы меня выдал? Ведь он бы подумал, что мне на него спирту жалко!

Да что там вспоминать о снабжении, когда пребывание на Колыме решительным образом избавляло от отправки на фронт! То есть спасало жизнь и здоровье. С Колымы ведь никого и ни под каким предлогом с начала войны не выпускали. Если еще в первые месяцы несколько человек, раздобывшись справками, что у них родственники живут в приграничных областях и попали под измывательство к немцам, сумели записаться добровольцами в армию и уехали на фронт, то уже к осени 1941 года это было решительно пресечено. Если человек подавал рапорт - в военизированной системе НКВД не бывало “заявлений” или “просьб”, были только “рапорты” - с ходатайством отправить его на фронт, первый раз ему просто отказывали, а при повторении - усылали на трассу, за полтыщи и более километров на север. Циркулярно было объявлено, что такие просьбы являются вредительскими и дезертирскими, ибо “все мы здесь выполняем оборонное задание”. Оно и верно, золото и олово (“второй металл”, как он именовался полупублично), добываемые на Колыме, были стратегически поважнее многих дивизий, без толку, зазря полегших между

Днестром и Волгой или сдавшихся в Белоруссии. Чуть ли не ежемесячно в навигационный период отправлялся эсминец с золотым песком в США - в уплату за помянутые танки, за корабли типа “либерти”, за авиацию, за студебеккеры, словом за все, что шло не по графе “помощь”, а по графе “торговля”. Конечно, запрет выезжать касался не только завербованных, но и приехавших без контрактов, не говоря уже про отсидевших свой срок заключенных, которых и до войны-то не очень выпускали. Призыв в армию дяди Ореста не противоречит этому, ибо фактически его только перевели в другое место службы - из Магадана в Охотск, в рамках той же системы Дальстроя.

Зато другой мой дядя - дядя Андрей, к которому я очень привязался в детстве, погиб на фронте или в прифронтовой местности. Тут тоже были свои подводные камни и подтексты. Вот куски из Жениных писем военных лет:

“26/II-43

Здраствуй, дорогая Зоя!

“Во-первых строках” то, о чем все время с тревогой и гордостью думаю; что не дает спать и не оставляет ни на минуту: от Андрея дня два тому назад получила письмо - он недоволен, что находится в “тылу” (шт.Армии), просится у начальства отпустить его поближе и “понепосредственнее” в бой. Ну, вчера получила открыточку - “желание мое сбылось, сдаю дела и спешу за своей частью, чтобы форменно бить фрицев”.

Тревога - это понятно без комментариев. А гордость? Думаю, что тоже понятна, но объяснюсь: пусть будет и самый плохой конец - убьют его или искалечат, но зато я детям смогу о нем всегда с открытой душой, смело смотря в глаза сказать, что отец их был достоин своего звания, что они могут желать быть на него похожи. Говорят, что это небольшое утешение для вдовы (в особенности, если так любим и уважаем муж, как мною Андрей...), но я с этим не согласна. Это большое утешение. Вы, девочки, не оставите же меня, правда же? Пусть, пусть... как-нибудь перенесу такое непереносимое горе, но уже никто не посмеет мне сказать, что муж в тылу отсиживался или что-нибудь в этом роде...”

За этими казенными строками прячется нечто здорово наболевшее. Видимо, это косвенно трансформировалось в моем восприятии, когда в первой половине 1944 года пришла весть, что дядю Андрея убило. Я тогда очень трагически переживал его смерть, я еще по-детски очень любил его и его энкаведистскую форму, перетянутую ремнями-портупеями. И известие о смерти его совпало со впечатлением от только что просмотренного американского фильма “Полярная Звезда” (это ихняя лажа о русском колхозе “Полярная Звезда”, на который напали злодеи- гитлеровцы, - мелодраматично, как раз для уровня восприятия детей и подростков). Но примешивалось сознание какой-то неловкости в его смерти: он умер от ранения осколком в СПИНУ. Ну, конечно, в современных войнах ранение может быть и в спину и снизу, не знача ничего позорного. Но ведь я взращен был на классических “лицом к лицу” и “не обратив спины”. И - главное - откуда я ЗНАЛ про “осколок в спину”? Только из письма тети Жени. Думается, что в нем

она обмусоливала как раз эту “спину”, может, не явными словами, но так, что читавшие письмо Лара и Зоя догадывались о ее чувствах, а я воспринимал их чувства.

Женя недаром декларировала Ларе в 1931 году, что “я большевичка не шутя”. Она изо всех сил искренне хотела впитать их критерии - “разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней?!” И все же чего-то в муже она стыдилась, ей проще стало смотреть людям в глаза, когда он умер. Геройски погиб. Пенсию ей определили неплохую. И замуж она вторично не выходила. И, сколько я осведомлен, любовников у нее не было, а жива она до сих пор, так что вот уж свыше 40 лет без мужа.

“Всюду, со всеми собеседниками тут я должна говорить, учитывая обстановку, личность, обстоятельства, говорить, чувствуя себя беспрерывным агитатором и пропагандистом...

...Алеша часто, в приступах “покаяния” говорит: “Когда я буду комсомольцем, так я уже не буду так делать...” Это относится к тому пониманию коммуниста, которое я хочу им внушить. Помнишь, у Веры Инбер есть где-то, что “ответственный, это значит, что он всем должен отвечать”, ну, а коммунист, не только по понятиям Алеши, но и местного населения, это человек, все знающий, все умеющий объяснить, умеющий направить в любом деле на путь истинный, ну и так далее. Я от души рада, что недавно был такой случай: пришел из госпиталя один раненый красноармеец, член партии, бывший активист села Стенниково. Разговорились мы с ним как-то. Спрашивает: “Вы член партии?” - “Нет, говорю, беспартийная”. - “Разве? Мне все женщины говорят, чуть что, мы к Евгении Мих. идем, она у нас “партийная”, нам все обсказывает, как нужно”. Это самая лучшая мне аттестация. ...”

Кстати, все эти ее письма из глухой сибирской деревушки Стенниково написаны на обрезках книг “VII Всемирный конгресс Коммунистического интернационала”, “Лекции и помощь изучающим марксизм-ленинизм” и т.п. Дефицит бумаги и показатель того, ЧТО в 1943 году изымалось из библиотек “как устаревшее”. И еще один отрывок:

“Зоя, почему ты пишешь, что Волик невыдержанный? В чем именно? Объясни обязательно. А Ваня у нас “блюститель нравственности”, что ли, почему это он нотации читает? Зоя, он пьет? Сильно? Напиши обязательно. ...”

Так что неурядицы между отцом и матерью уже в 1943 году перестали быть их внутренним делом, в них оказались вовлечены и я, и ее сестры, и кто еще, Бог весть...

§5. Возвращение на материк

Ключ к отъезду - любовница Никишова; приезд вице-президента Уоллеса; регистрация брака; под Владивостоком; поезда во время войны; у разбитого дома в Ростове

Мать всегда помнила, что она ехала в Магадан на два года, до осени 1942 года, когда истекал срок контракта Щербакова. Но, конечно, осенью 1942 года не только Ростов, но и Нальчик были под немцем, и никто не знал, где он остановится... Попутно отмечу, что никогда ни в шутку ни всерьез, ни в виде хотя бы умозрительного абстрактного предположения ни от кого не слыхивал про возможность победы немцев. Что мы победим - было так же самоочевидно, как что после зимы наступит лето. Как бы хорошо ни складывались служебные условия Щербакова, он, как и мать, не располагался оставаться на Колыме до конца жизни. И с Ларой он не спорил, когда она требовала уезжать. Да, но куда? Да, но - как? Ведь кроме “куда” (при разбомбленном Ростове) было здоровенное КАК. С Колымы, как я писал, никого ни за какие коврижки с начала войны не выпускали.

В этих условиях рыпаться было трудно. Мать пыталась воспользоваться хорошими отношениями с бывшим директором моей школы Лебанцевым, который повысился до завгороно, но бесполезно - мелкий это пост для решения таких вопросов. Отец пытался действовать через своих начальников и знакомства в начальстве - ничто не работает. К секретарше Никишова и соваться нечего: не принимает таких рапортов. У Зои были знакомства - буксуют. Попробовали по медицинской линии. Врачи подтвердили, что у Л.М.Пименовой бронхиальная астма, для излечения которой необходима перемена климата. Что у ее сына Р.Пименова - двусторонний гнойный отит, при котором мальчик нуждается в более теплом и сухом климате. Но такие справки весили не больше веса бумаги, на которой они написаны, а выдумать серьезные, грозящие жизни заболевания врачи не смели, да их бы не осмелились и попросить. Надо сказать, что взяточничество в Магадане тогда начисто отсутствовало. Либо услугу оказывали, либо нет, но ни о какой мзде речи не могло быть. Единственный известный случай коррупции в Магадане таков. Врач оказал профессионально-канцелярские услуги группе зека или бывших зека, за что те отблагодарили его несколькими экземплярами продовольственных карточек. Примерно через полгода они с карточками же и сгорели - фальшивые. Они, расколовшись, назвали врача, который, мол, выдал им справки, освободившие их от работы, у того сделали обыск и обнаружили неизрасходованные карточки или их остатки. Он получил десять лет. В Магадане тех лет котировалось ”хороший” ты человек или нет, а не деньги.

И тут раз Ваня встречается с любовницей Никишова. Самому Никишову было лет под пятьдесят, ей - тридцати не было. До Никишова она путалась со многими, порой ее звали проституткой. Работала она мелкой служащей в кулинарном отделе. Никишову она сделалась стабильной любовницей, он ее не менял на других. Конечно, у него была жена и двое детей. Ваня познакомился с нею за

пару лет до того, когда она с Никишовым еще не сошлась или же это еще не было тайной между ними двумя. Оказал ей какие-то некрупные ветеринарные услуги тогда. Во избежание кривотолков подчеркну, что никаких амурных отношений между ними не было. Произвел на нее хорошее впечатление, может быть, тем, что не осуждал за ветреное поведение.

Встретившись с нею теперь, в ранге общепризнанной любовницы Никишова, он излагает ей просьбу: помоги, уговори своего Ваню, чтобы он меня отпустил на материк. Ты же ведь женщина, понимаешь про детей, а у меня сын гибнет здесь от климата. Подействуй на него. Она пококетничала, что-де ее Ваня запретил ей с ним разговаривать на служебные темы, тем более - касательно выезда на материк. Ничего даже не обещала. Но через несколько месяцев влияние ее неожиданно сработало. Причем в отчаянной ситуации: не надеясь уже на нее, Щербаков пристроился к кампании по сокращению штатов и подвел всю свою лабораторию, включая себя, под это сокращение. Велось же это сокращение с начальственной задумкой направить сокращенных на трассу. Но Щербаков рассудил, что с больной семьей - не пошлют. Что уже осознали ненужность ветеринаров, что лошади как транспортное средство уступили студебеккерам. Словом, рисковал здорово. И когда уже был почти подписан приказ о направлении его в оленеводческий совхоз, внезапно его тезка Никишов велел направить его во Владивосток в распоряжение тамошнего Управления ГУСДС.

Приказ о нашем направлении на материк был издан еще в феврале 1944, но, во-первых, еще не открылась навигация, а во-вторых, родители порешили задержаться, пока не кончатся переводные испытания у меня и я не перейду в VII класс. Благодаря этой задержке, к главе моей прикоснулась длань вице-президента Соединенных Штатов Америки.

Сей жест предвыборной кампании Генри Уоллеса (Henry Wallace) состоялся при таких обстоятельствах. Он был вице-президентом 1940-1944 срока при президенте Ф.Рузвельте. Не знаю, был он подобно Ф.Рузвельту толковым и энергичным в вопросах внутренней политики США, но в вопросах судеб других стран он был, как и Ф.Рузвельт, жестким, бессовестным и эгоистичным боссом из Таммани-холла, прикрывающим сию суть радикальной терминологией с красноватым душком. В 1944 году он в рамках лидерства демократической партии соперничал с Гарри Трумэном на предмет выставления кандидатуры на срок 1944-1948. И, в частности, он решил доказать американским избирателям, что годится в вице-президенты хотя бы потому, что умеет находить общий язык с коммунистическими и полукоммунистическими союзниками: с Россией и с Китаем (в последнем часть была под Мао Цзе-дуном, а часть - под Чан Кай-ши, тоже строившем “светлое будущее”, но иначе называвшееся). Поэтому в мае он предпринял поездку по прилегающим к США областям СССР: Магадан, Хабаровск, Владивосток, - и в Китай. Сопровождал его шеф военной информации Оуэн Латтимор[232]. Ну, с этим все ясно: еще в 1938 году

[232] В литературе упоминается, будто бы Окладников (академик) встречался в 1944 году в Якутске “с ученым-этнографом О.Латтимором”. По моим сведениям, Латтимор и Уоллес в Якутск не заезжали.

он восхвалял как триумф демократии и правосудия московские процессы, в частности, описанный в начале §3 процесс Бухарина - Рыкова. А в 1968 году Латтимор продолжал считать себя правым в восхвалениях Советского Союза[233]. У Уоллеса же не было таких стойких политических убеждений. Ехал он, как сказано, из предвыборных соображений, но магаданским властям он вырисовывался как грозный ревизор. Можно было бояться и его собственного взгляда: высмотрит, а потом своим капиталистам расскажет, - и досмотра сопровождающего от советского правительства при этом визите.

Кстати, почему ни Молотов, ни какой-нибудь его зам, ни хотя бы посол Литвинов не выехали на Колыму встретить Уоллеса? Тут сработала ведомственная подчиненность: Колыма и Приморье ПРИНАДЛЕЖАЛИ Берии, и никто из других членов Политбюро или их присных (кроме Сталина, но тот был туг на подъем) не смел появляться на этой территории, где первый тост пили за Берию, а за Сталина - второй. Сам же Берия, глава НКВД, явно не годился для официальной встречи с вице-президентом. Поэтому Уоллеса принимали не по рангу. Но местные власти обоснованно могли ожидать кого-нибудь из Москвы до самой последней минуты. И вот началось торопливое превращение Магадана в потемкинскую деревню.

Как снабжался Магадан во время войны? Только посредством Соединенных Штатов. С 1941 по 1944 год (как дальше, не знаю) хлеб в Магадане был исключительно американский - противный, белый, невкусный. Черный хлеб выдавался только беременным по медицинской справке, в размерах 30-40% хлебной нормы. Сахар - американский. Молоко (сгущенное, ибо натуральное пили редкие счастливцы вроде меня) - американское. Яичный порошок. Свиная тушенка. Словом, ВСЕ продовольствие шло из Америки. Японцы, правда, топили американские корабли, иногда топили и шедшие под советским флагом, объясняя, что корабль-то американский (и впрямь, кажется, все советские корабли этого бассейна были произведены в США и в разное время куплены-подарены-списаны Советскому Союзу), отличить в темноте и из-под воды невозможно. За такой состав пищевых продуктов я ручаюсь, ибо всю еду в магазинах покупал я. В несколько меньших масштабах то же справедливо насчет промтоваров. От курток канадских лесорубов до мелочей курительного обихода[234] - все шло из США. Но здесь снабжением я не занимался, опираюсь на всеобщие рассказы. Начальство - местное или из Москвы велели - взялось изобразить Колыму изобильной страной, не нуждающейся ни в чем иностранном. Говоря о НАМЕРЕНИЯХ, я, естественно, могу промахнуться. Такое намерение приписывали Никишову ВСЕ, с кем мне приходилось

[233] Правда, Маккарти не сумел ДОКАЗАТЬ суду, что Латтимор - ПЛАТНЫЙ советский шипон. Но ведь и при рассмотрении дела полковника Абеля двое из пятерых американских судей провозгласили, что доказательства его шпионажа юридической силы не имеют, поскольку получены с нарушением процессуальных норм.

[234] Курьезная подробность. Спички были громадным дефицитом. Из США их не поступало. Я только один раз держал в руках американскую спичку и восторженно зажег ее о мостовую. Но отец, нуждавшийся как курильщик в частом огне, наладил “домашнее производство огня”: кристаллы марганцовки, облитые глицерином, вспыхивают при малейшем нажатии. Я обожал эту пиротехнику. Зажигалок почему-то не помню, они возникают уже на материке.

разговаривать о приезде Уоллеса - вот мой источник. Но я допускаю, что продовольственная помощь, оказываемая бесплатно, предназначалась американцами - и это могло быть обговорено письменными условиями - армии, прифронтовой полосе и населению, НЕПОСРЕДСТВЕННО пострадавшему от гитлеровского вторжения. Наличие ее следов в тыловом городе Магадане могло бы тогда вызвать скандал, подобно всемирному скандалу из-за того, что помощь АРА в 1921 году голодавшим жителям Поволжья была советскими органами самоуправно переадресована Красной Армии. Да и ПРОДАВАТЬСЯ в магазинах продовольствие, поставленное по бесплатной помощи, не должно было бы, а ДАРИТЬСЯ. В пользу этого предположения говорят воспоминания Уоллеса, по словам которого у него с Никишовым на одном из приисков состоялся такой диалог:

- А почему это на ваших золотодобытчиках американские ботинки, которые по условиям нашей помощи не предназначены золотодобытчикам?

- Ну, ведь ваша страна производила такие ботинки еще до того, как вы стали оказывать нам помощь. Еще в те времена партия таких ботинок была куплена нашим правительством за валюту.

Правда, из того факта, что Уоллес помнил про условия помощи и интересовался их соблюдением, не вытекает, будто Никишов непременно их знал. Но Берия или его советники Деканозов или Шария должны были знать. В какой форме Берия распорядился Никишову - вряд ли мы узнаем.

И за несколько дней до появления Уоллеса со свитой изо всех магазинов исчезли ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ ТОВАРЫ. Но магазины отнюдь не опустели, а, напротив, товаров в них появилось гораздо больше. Они оказались заполненными ТОВАРАМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА. В одном из магазинов оставили жиденькую стопочку амерканского какао или чего-то подобного, рядом с которой высилась стопка посолиднее “Наша марка” и “Золотой ярлык”. Откуда-то взялось советское сгущенное молоко, а драп так даже дореволюционный. Изобилие было неслыханное не только для военных лет, но даже для довоенных. Более того, даже в магазине последнего разряда, где отоваривались карточки освобожденных зека и мало кому нужных вольных, даже в нем срочно выкрасили прилавки и постелили настоящий ковер - не половик, а именно КОВЕР - во всю длину прилавка на пол. Это последнее обстоятельство говорит в пользу версии, что по крайней мере непосредственно ведавшее этим лицо, которому отдал приказ Никишов, в простоте душевной устраивал потемкинскую деревню ревизору, а не скрывал неправильно распределенную помощь.

В самый день хождения Уоллеса по городу - он был подвижен, как американский политический деятель из книжек - во всех магазинах ТОРГОВАЛИ БЕЗ КАРТОЧЕК. Надо пережить военные годы, чтобы понять, какой это шок: годами невиданные деликатесы и редчайшие промтовары даются без ограничений кому хошь по низким государственным ценам! Правда, действовал закон: опоздание на пять минут - под суд. Но все же население было разношерстным, было много переливчатых как ртуть, элементов, полублатных, так что нашлись успевшие попользоваться. Увы, ненадолго. Ну, которые купили еду и тут же сожрали, те выиграли. А вот которые польстились на костюмы и другие промтовары - здорово

просчитались. Когда они вышли из магазина и отошли достаточно, чтобы американцы не заметили, у них бесцеремонно отобрали купленное.

Активное участие в подготовке к визиту Уоллеса приняла Зоя Михайловна Пименова. Ей было поручено срочно приготовить вице-президенту помещение. Квартира - или две объединенные квартиры - в нашем доме, но в другом подъезде были “освобождены от жильцов” и срочнейшим образом “облагорожены”. Я тогда был слишком молод, чтобы оценить различные домашне-кухонные усовершенствования, внесенные в устройство квартиры, мне запомнилось только одно: художественная роспись стен и потолков цветочками-ангелочками. Зоя умела рисовать, и она вложила весь свой талант несбывшегося Сикейроса в настенную роспись. К слову, после выхода на пенсию она вернулась к живописи, с успехом выставлялась и имела даже персональную выставку в Ленинграде около 1980 года. Да, так после отъезда Уоллеса несколько высокопоставленных семейств дрались за право вселиться туда. Я же забегал в квартиру, покамест она преображалась, все время, пользуясь правом любимого племянника. В дни пребывания Уоллеса у нашего дома стоял милиционер, пресекая “неположенное” хождение.

Нас, школьников, стали готовить к приезду Уоллеса задолго, это я хорошо помню. Помню даже незамысловатые вирши, которые учил я:

Good morning, good morning, good morning to you,
Good morning, good morning, we are glad to see you!

Мы должны были хором выговорить их, когда вице-президент войдет в школу. Но в последний миг пришел строгий запрет устраивать торжественную встречу в школе, “никаких приветствий!” Так что мы, “лучшие из лучших”, выделенные ради приветствия, просто толпились на нашем высоком крыльце-трибуне, когда стройный, худощавый Уоллес в сопровождении двух таких же высоких, худых и очень молодых, как нам позже прошептали, полковников авиации, ослепительно улыбаясь, поднялся на него, потрепал мне волосы - какие они были тогда густые! - и, произнеся: “Good boy!” - вошел в дверь, увлекаемый директором и сопровождаемый Никишовым и кучей других грузных официальных лиц. Никишов был низенький.

Американцы - народ непоседливый, так что Уоллес быстро исчерпал крошечный городок и стал шастать по окрестностям. В книгах, упоминающих этот визит, пишут, будто бы он был на тех-то и тех-то сельскохозяйственных фермах, “в обычное время лагерях для заключенных, а на время посещения обслуживаемых переодетыми энкаведистами”. У меня иная информация. Он действительно набрел на настоящих заключенных в одну из своих прогулок. А ведь если для русского начальства он был “ревизором”, то для заключенных он был “вестником свободного человечества”, “избавителем”. Они годами страдали, голодали, мерзли, гибли, чаще всего абсолютно невинные в том, за что их осудили, и в барачных своих грезах жаждали дать знать “всему человечеству”, на какое несправедливое существование они обречены. Иные даже рубили свои руки, пальцы,

ноги и вкладывали их в идущие на экспорт товары - крабы, лес, золотой песок с припиской: “Вот до него нас довели! Помогите!!” И вот - сбылась их мечта. Перед ними стоит человек, второй после Рузвельта в США. Глава той страны, которая провозгласила Атлантическую Хартию. Правда, он не понимает по-русски, но среди зека было полно интеллигентных людей, знавших английский получше советских послов. И - чудо из чудес - рядом с Уоллесом нет никакой охраны, отбился он от всех и прогуливается в одиночку. Заключенные же были на бесконвойке. Они столпились вокруг него и пошли излагать свои жалобы. Наивные люди! Жалобы на правительство, с которым этот претендент на президентский пост намерен дружить ради своей избирательной карьеры! О, эта извечная наивность страдающих! Через какое-то время набежали топтуны, которым полагалось охранять Уоллеса, но они не стали разгонять зека, дабы не возникло скандала. Так что заключенные “все рассказали”. Никишов, узнавши, рассвирепел, велел убрать заключенных из того места, куда забрел Уоллес, а “с него не спускать глаз”. Но ведь ГБ ничего делать не умеет, когда надо работать в самом деле. И, конечно, на следующий же день Уоллес снова отбился от охраны и пошел - вопреки мудрой мысли Никишова - не туда, где был накануне, а в противоположном направлении. Лагеря же там повсюду, куда ни ткни. Повторилось то же самое: чудо сбылось для одних и предвыборное шоу для другого. Никишов распорядился вообще вывезти всех зека на время визита. Уоллес в своих отчетах об этой поездке - а он писал несколько раз: сначала по свежим следам просто о хорошем впечатлении от советских властей, потом, в пору холодной войны, оправдываясь и валя свои промахи на Латтимора, мешавшего, мол, ему разобраться - не упоминает инцидента встречи с заключенными. А все мальчишки в нашем дворе знали про встречу: папа одного из них едва не был выгнан с работы за то, что прошляпил и допустил встречу и ее повторение. Но напрасно Никишов волновался: Уоллес был циник похлеще Никишова и ничего “ненужного” не воспринял.

Говорят, он еще съездил на трассу в Сеймсчан перед отлетом в Хабаровск, но среди наших знакомых про это ничего интересного не рассказывали. А этот эпизод глубоко запал мне в память, и не один раз сверял я по нему те или иные политические формулы или социальные концепции. Жизнь - она вот такой спектакль, где персонажи двигаются в разных, не пересекающихся пространствах, не догадываясь о намерениях и мотивах других действующих лиц. Вот в этой сцене действовали: советское правительство, колымский наместник Никишов, вице-президент Уоллес, обыватели Магадана, заключенные в Магадане. И кто из них умел постигнуть кого из других? Не сорок лет спустя, как я вот сейчас разанализировал, а в ходе драмы, когда от твоей реплики зависит ответ партнера?

Заключительный штрих: Уоллес и Латтимор восхваляли в американской прессе не только Никишова и его жену, а также то, что “мистер Никишов прекрасный семьянин”. Моему отцу, всегда помнившему, что ему удалось выбраться с Колымы исключительно с помощью сверхвлиятельной любовницы Никишова, доставляло огромное удовольствие слушать, как я зачитываю ему с английского “прекрасный семьянин”. Судьба все же оказалась справедливой к Уоллесу: на предварительных выборах кандидата в вице-президенты

он потерпел поражение, и в новой администрации сначала Рузвельта, а затем его прямого соперника Трумэна был сделан министром торговли. В 1946 году ему пришлось уйти в отставку, он какое-то время болтыхался еще около политической поверхности, пытаясь создать “третью партию” с просоветскими лозунгами, а потом пошел на дно.

Поглаженный по голове Уоллесом, я сдавал переводные испытания за VI класс. Сдал я их хуже, чем предполагалось: по русскому письменному, алгебре и военному делу у меня четверки. Еще четверка по черчению годовая, но экзамена там не было. Хотя за вторую четверть я схватил тройку по поведению, годовая все-таки пятерка. А вот за какую историю я наказан этой тройкой, не помню. Словом, “переведен в VII класс с благодарностью в приказе. В.Крузе”.

Уже перед отплытием отец с матертью наконец зарегистрировали свой брак. Только что вышел грозный указ, лишавший всякой юридической силы фактическое, но не зарегистрированное состояние в браке, до той поры признававшееся полноценным. Этим указом дети у незарегистрированных родителей тоже становились неполноценными. И вот тут Щербаков и Пименова решили оформиться. При этом даже Лариса Михайловна сменила свою фамилию на “Щербакова”. Произошло это 14 июля 1944 года, в магаданском ЗАГСе. Паспорт с новой фамилией она получила в Ростове. Мне же фамилию менять не стали, отчасти потому, что раньше она должна была получить свой новый паспорт, отчасти потому, что тогда нужно было бы переоформлять школьные документы, а рейс не ждет. “Потом успеем”, - но потом руки не дошли. Так и вышло, что при отце Щербакове и матери Щербаковой я значился Пименовым, что потом иногда доставляло мне неудобства.

На этот раз мы плыли не Лаперузским проливом, а Татарским, где мелко, сели на мель и с неделю при мертвой зыби проторчали на ней. Гнетущее ощущение. Но добрались до Владивостока и сразу же поехали в совхоз, в который И.Г.Щербаков получил направление. О, тут мой отец разыграл интригу не хуже какого-нибудь королевского продворного! С Колымы, из системы ДС НКВД в годы войны нельзя было ни при каких обстоятельствах уйти по собственному желанию. Собственно, по собственному желанию без согласия начальства по закону 1940 года никто не мог, но в системе ДС начальство не имело право давать согласие на увольнение по собственному желанию. Могли в порядке исключения перевести в рамках ДС из Магадана под Владивосток, но не более. А уволиться хочешь - надо, чтобы начальство тебя уволило за непригодностью. Это была единственная законная статья. Поэтому отец, зная, что под Владивостоком никакой научно-исследовательской ветеринарной работы не ведется, что там имеется исключительно практическая работа по лечению животных, запасается характеристикой, где его хвалят, но НЕНАДОБНО хвалят

“Тов. ЩЕРБАКОВ с 1941 года до настоящего времени работал в качестве заведующего Магаданской Производственно-Диагностической Ветлабораторией. За указанный период времени в Лаборатории, помимо диагностических работ, под руководством тов. ЩЕРБАКОВА освоено производство биопрепаратов-сывороток и вакцин против рожи свиней и паратифа телят.

Тов. ЩЕРБАКОВ хорошо эрудированный ветеринарный врач в области микробиологии и серологии; в достаточной мере обладает административными навыками. Может работать на самостоятельных ветеринарных участках или возглавлять производственно-диагностические лаборатории.

НАЧАЛЬНИК ВЕТИНСПЕКЦИИ ДАЛЬСТРОЯ /НОВИКОВ/

12/VII 1944 г., гор.Магадан подпись “

Как видим, о большом опыте ЛЕЧЕНИЯ - ни слова. Направили его в совхоз №2 Приморского управления (в 50 км от Владивостока по железной дороге) из Владивостокского управления кадров, не глядя, лишь бы спихнуть, чем значительно упростили ему задачу, ибо директор совхоза возмущенно прокричал, взглянув на предписание:

- Да не нужен нам ветеринарный врач! Нам ветеринарный фельдшер нужен!

- А фельдшер следующим пароходом едет, - подбрасывает Щербаков.

- Тем более! А ветврач нам и по штатному расписанию не положен. Откуда я возьму смету, чтобы платить Вам?

- Ну, так пишите, что отказываетесь принять меня на работу и давайте мне увольнение из системы ДС.

- Не имею права. Подождите, пока приедет начальник Управления Щербаков (случилось, что нач. Ветуправления Приморского Управления ДС оказался однофамильцем моего отца - Щербаков). Может, он вам и найдет единицу.

И мы стали ждать. Жилье нам дали, зарплаты не платили, а как обстояло с карточками - не помню. Но переживаний по этому поводу не было, потому что сбылась мечта вырваться на материк. Я за время ожидания главным образом занимался истреблением мух. Ведь мы в Магадане накупили[235] несметное количество балыков, зная, что в дороге деньги мало стоят, а в обмен на еду, особенно на ценную рыбу, можно приобрести хлеб и прочее, не говоря уже о покупке билетов в поездах. Теперь, в ожидании, мать постановила ее проветрить. Я натянул веревки, подвесил на них рыбин - иные были чуть ли не с меня тогдашнего ростом, ну, в полроста, чтобы мост подо мною не обрушился - и стал следить, чтобы никакие мухи-птицы не сожрали. Лето было жаркое, знойное. Мух полчища. И я тогда наловчился истреблять их словно какой-нибудь мухобойный робот. Это не было ленивое, почти академическое, отрывание головы пойманной мухе с любознательным наблюдением за дерганьем ножек и крыльев безголового туловища. Это были гекатомбы и пляска смерти без единой минуточки продыху. И свое первоначальное намерение вести счет истребленному противнику мне пришлось отмести сразу же. Тучами неслись мухи на привлекающий запах. Но я все же отстоял нашу рыбу.

---

[235] Денег у нас оказалось навалом за счет отпускных. В отпуск с начала войны не пускали, деньги за неиспользованный отпуск не давали, а вносили на специальный счет в сберкассу. Отцу же по контракту полагался шести или восьмимесячный отпуск за три года, пробыл он пять лет. У матери - ежегодно двухмесячный отпуск как у учительницы. И все суммы вручили при увольнении. Конечно, это было далеко не то, что получила при отъезде Вероника, но все же сумма была внушительной, счет шел на десятки тысяч.

Тем временем Иван Гаврилович выяснил, что референтом у начальника управления работает его знакомый еще по Кубани. Связался с ним и упросил помалкивать, что имеет большой стаж прекрасной работы в свиносовхозе, а напирать на то, что он - кабинетный ученый. Желание моей семьи уехать в родные края было столь человечным, понятным, что референт согласился помочь нам (совершенно бескорыстно). Когда заявился Щербаков-главный, возник напряженный разговор, где референт и Щербаков-подчиненный играли роли дурачков, говорящих невпопад:

- Зачем Вы сюда приехали? Нам тут ветврач не нужен!

- Меня из отдела кадров направили, я ведь не сам выбирал.

- Ну, да, бездельники там сидят. Мы Вас тут держать не можем, нет у нас здесь вакансий. Направим Вас в такой-то совхоз. Это - большое хозяйство, там очень много интересной работы, там свирепствуют эпидемии, там даже тигры есть. И там освободилась как раз вакансия ветеринарного врача. Там и зарплата выше. Сейчас вакансию фельдшер заполняет, но он не справляется с объемом работы. Да и знания у него не те. Там очень много работы, все запущено, а здесь - никакой. Вы лечить животных умеете? Доводилось?

- Ну, не знаю… Конечно, проходил… Но я не лекарь. С тиграми не сталкивался. Вообще, в Магадане мало животных, я там вырабатывал вакцину…

- Да, я товарища Щербакова знаю, бывал в него в магаданской лаборатории. Он очень хороший специалист, немножко, правда, узкий. Он наладил успешный выпуск вакцины от паратифа, при этом сэкономив отсутствующие ингредиенты…

- Но мы не производим никаких вакцин! Нам не нужна такая квалификация! Нам нужен практик, лечащий ветврач.

- Ну, я попробую справиться, но не знаю… Если совхоз маленький, то справлюсь…

- Да, конечно, специалист товарищ Щербаков узкий, но если ему создать условия, то он сумеет наладить производство тех вакцин, которых мы не выпускаем, но в которых нуждаемся…

- Не буду я брать на себя выпуск вакцин, чем мы никогда не занимались! Не нужен нам такой специалист! Что они еще там придумали!

- Ну, а что же мне делать?

- Я Вам русским языком говорю - не нужны Вы нам. Можете сами искать себе работу.

- А за пределами Вашего Управления найдется мне работа по специальности?

- Меня это не касается. Я отдам распоряжение, чтобы Вас отчислили, а там поступайте, как хотите.

И вот возникла:

“ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
По Приморскому управлению Дальстроя НКВД СССР
От 6 августа 1944 г. № г.Владивосток
СОДЕРЖАНИЕ: “О мероприятиях в связи с уборочной”
§17

Прибывшего из Магадана по путевке №315560 тов.ЩЕРБАКОВ Ивана Гавриловича специалиста по биопрепаратам уволить за невозможностью использовать его по специальности.

ОСНОВАНИЕ: Рапорт т.Щербакова

п.п. Начальник приморского Управления

Дальстрой НКВД /Ткаченко/

Треугольная печать совхоза “

И вот находятся историографы, которые воображают “по документам” восстановить намерения руководителей страны. Страны, в которой даже увольнение ветврача нуждалось в такой инсценировке! И который в документе предусмотрительно обозначается “специалист по биопрепаратам”, а не “ветврач”, как в его дипломе! Как же отрепетированы постановки к более важным обсуждениям, решениям, постановлениям, документам? Но догматизм и самоуверенность этих советологов ничем не прошибешь...

И сразу же двинулись в путь. По военным временам ехали мы фантастически быстро: это решение принято 6 августа, а 15 сентября я уже зачислен в ростовскую школу. Но по тогдашним восприятиям и по нередким воспоминаниям в семье об этой поездке, добирались мы мучительно долго, не меньше трех месяцев, чуть ли не полгода. Но здесь я предпочитаю верить документам: им не с чего врать в этом вопросе, а на наши воспоминания могло наложиться “чемоданное настроение” с конца зимы 1944 года. С билетами было трудно: тогда многие начинали возвращаться в родные края на западе. Кажется, как раз тогда же Небольсины из Сибири перебрались в Москву, которую уже никогда больше не покидали. Однако билеты значили меньше всего. Прежде всего был нужен ПРОПУСК, без которого передвижение было затруднено, а в иных регионах и вовсе невозможно; так, не сумевши разжиться пропуском в Москву, мы не то что приехать, мы даже заехать в нее не смогли. И даже обладая пропуском и купив на его основе в порядке живой очереди из тысяч одичавших от ожидания людей билет, еще предстояло СЕСТЬ или, как точнее выражаются испанцы, ВЛЕЗТЬ, в вагон. Нам, конечно, помогали балыки. Помню, на одной из пересадок - их было много, поезда ходили по коротким маршрутам и, конечно, иногда с суточными опозданиями на отрезке длиной в двое суток - мать была за взятку посажена в вагон - на место, полагавшееся нам по билетам - еще при формировании поезда часов за шесть до посадки, а потом, когда вся толпа озверелых пассажиров штурмовала ступеньки двери, отец с противоположной стороны совал ей в окно сначала меня, потом чемоданы и, наконец, влез сам. К концу “посадки” его заметили другие пассажиры и проследовали тем же окном, прежде чем мы успели запереть его, как велел проводник. Из захваченных таким образом мест удалось удержать лишь верхнее место, а на нижних никакие “плацкарты” ничего не значили. С тех пор у меня выработалось стойкое недоверие к плацкартам на нижние места, я всегда норовлю занять верхнюю полку, и даже когда уже в 1976 году мне пришлось ехать нижней полкой, мне всю дорогу мерещилось, что любой другой может подвинуть меня силком и расположиться так, что я уже не смогу лечь...

Помню, на одной из пересадок я падал от бессонницы которые-то сутки, а прилечь было негде - холодная сырая земля, холодный камень. Была найдена в парке подле вокзала садовая скамейка, но узенькая, без спинки, просто доска на ножках. Дабы я не свалился во сне, меня привязали ремнями к скамейке и так я проспал несколько часов. Позже уже при подъезде к Ростову мы вдруг увидели ползающих на соседях вшей. В Магадане их не знавали. Отец был очень чистоплотен и, видимо, взор его выразил омерзение. Бабка нравоучительно проговорила: “Смотри, смотри, милый, и у тебя такие будут скоро”. Она напророчествовала: года полтора-два довелось нам бить вшей, проглаживать каждый шов, мазать какой-то дрянью. Правда, волосяных вшей у нас не завелось, а у меня и у матери были густые волосы, хотя и коротко стриженые по-школьному. Другой раз меня учили уму-разуму. Нам удалось отхватить два, но нижних места. Точнее, полтора лежачих. На одном сначала спала моя мать, а мы с отцом сидели, прижаты, на части другого. Потом она уступила мне место поспать. И во сне я подтянул машинально коленки вверх, высвободив кусок площади. Мгновенно на него уселись двое. Когда я открыл глаза, мать показала мне своими: вот-де чего из-за тебя лишились мы! Я было вознамерился “исправить ошибку” и тут же стал выпрямлять ноги, надеясь “незаметно” выпихнуть вторгшихся захватчиков, но тут и мать и отец вместе - и снова молча, только глазами, жестами - остановили меня и дали понять, что “что с возу упало, то пропало”, что надобно было оберегать и не допускать, а раз уж допустил, то прогонять нельзя.

И вот мы в родном Ростове. Никто не встречает нас, конечно. На месте нашего дома стоит коробка-каркас без междуэтажных покрытий: все снесло. Кажется, после бомбы, убившей бабушку, туда же сверзилась еще какая-то бомба или снаряд - третий в одну воронку. Три остальных дома нашего двора стоят целые. В одном из них нас приютили знакомые, пока будем хлопотать. Драматический театр-трактор тоже взорван, но это целенаправленный акт германского вандализма: тщательно и продуманно заложенные заряды, и по команде театр развалился. Много лет спустя его восстановили, слегка заретушировав безобразный тракторный ансамбль. Но в это время в Ростове ничего не восстанавливали, разруха была полная, жить было негде. Хотя отца без проволочек взяли на хорошую с литерными карточками работу старшим ветврачом в Управление ОблЗО Ростовской области, жилья ему и Управление выбить не могло. Мать же моя так в это время разболелась бронхиальной астмой (нагло вмешиваясь в компетенцию медицины, я полагаю, что ее астма была затянувшейся формой проявления климакса), что даже не стала устраиваться на работу; поэтому ни на какую жилплощадь от государства рассчитывать не могла.

После непродолжительного гостевания мы сняли квартиру у одной армянки неподалеку от базара - на 22^{й} линии, дом 18. Собственно, это целый глинобитный домик из двух комнат: побольше с печкой и поменьше (моей спальней) с земляным полом в последней. Сейчас этого дома, конечно, не осталось. Я был слишком молод, чтобы тогда интересоваться правовым аспектом этой сделки (хотя непременно гордился, слыша оценку, что за время переезда с Колымы я “возмужал”). По-видимому, было приблизительно вот что.

На деньги, привезенные с собой, мать с отцом приобрели у этой армянки дом в собственность, но по каким-то причинам оформить юридически они это не оформили. То ли он не до конца принадлежал владелице, то ли она не выполнила какой-то формальности, то ли имел место мораторий на приобретение недвижимости - не помню, да и не знал. На чем-то хозяйка расписалась, но эта подпись осталась нотариально незасвидетельствованной или что-то в этом роде. Поначалу она выполняла условия договора и уехала из бывшего дома своего (куда-то поблизости). Но меньше, чем через полгода заявилась с претензией на СВОЙ дом и с невинным вопросом, когда мы уедем. Она, дескать, нас не торопит, но желает знать. Мать было взвилась. Та в ответ выдала сцену в лучшем стиле армянского базара. Очень быстро мать поняла, что громкий скандал погубит ее окончательно: все соседи кругом заодно с владелицей, рады помочь ей облапошить фраеров, чтобы та в свой черед помогла им выпотрошить таких же жирных и глупых других фраеров. Так что на требование бывшей хозяйки пустить ее жить в “свой дом” - а той это было важно с прописочной точки зрения: не жившую полгода на месте прописки могли “отметить” как выбывшую, а потом поди восстанавливать прописку даже и на свой собтвенный дом! Знаем мы, как бывает! - она вынуждена была согласиться.

Тут пошли безобразные сцены, от которых даже тогда меня мутило, хотя я и не лез против отца с матерью за справедливость. Армянку затаскивали в мою комнату как удаленную от входа и с единственным окном в глухую щель между дворами и там били - не зверски, а воровски пинали-щипали, вырывали у нее волосы, подносили ей свечку к роже и т.п. Мне же велели держать дверь запертой. Я плохо помню - главным образом потому, что от отвращения тогда старался не вникать - добивались ли у нее какой-нибудь подписки или же просто желали создать ей невыносимые условия проживания. Она, как Муций Сцевола, все терпела. Но надо отметить, что хотя на людях была она несдержанно криклива, наедине при избиениях она даже не делала попыток кричать, верещать, визжать, вопить, зовя на помощь или инстинктивно от боли. Вырываться - вырывалась. Раз чуть не убежала, да я в дверях помешал, но беззвучно. История затянулась надолго. Перевалив первый шестимесячный рубеж, она исчезла, чтобы к приближению второго вновь объявиться. Родители мои подали на нее в суд, представив расписки. В первой инстанции (или в первом слушании, а потом суд был прерван-отложен?) они выиграли иск, но вторая инстанция, напротив, обратила иск против нас. Какие-то графические эксперты “установили”, что-де “почерк ответчицы на ее расписках не принадлежит ответчице, а принадлежит гр.гр. Щербакову и Щербаковой”. Эта ахинея - ибо почерка отца и матери не имеют ни одного общего элемента - была первым в моей жизни предвестником, что правосудие защищает кривду. Пожалуй, презрительное отношение к суду датируется у меня этим приговором. Но - опять же - суд тогда я никак не отождествлял в своем сознании с властью. Против власти я тогда ничего не имел и “не умышлял”.

Так “решилась” у нас жилищная проблема по возвращении. Армянке, конечно, хотелось получить еще денег. И мои родители дали бы, и она отвязалась бы, выправив им документы по форме. Да

беда, что уже не осталось никаких денег. Нет, на жизнь хватало, но вот на крупные суммы - нет. Даже взятку этим “экспертам” не могли сунуть. Затея с рыбой оборвалась, когда многое у нас украли дорогой. С собой везли, что можно поднять, а основной груз шел малой скоростью в багаже. Ну, один бочонок разбился, рассол залил книги, рыба утратила товарный вид, запах рыбы привлек внимание железнодорожников, и второй бочонок они сперли, не разбивши. Для соблюдения веса выложили бочонок кирпичом изнутри. С тех пор я очень понимаю формулу: “За морем телушка полушка, да рубль перевоз”. И не только не возмущаюсь “спекулянтами”, но восторгаюсь теми, кто умеет за тридевять земель привезти фрукты-овощи и при этом еще получить прибыль себе. Это умный труд, нужный обществу, а “борьба со спекулянтами” - удел никчемных и злобных душонок. Правда, нам удалось собрать часть вещей, бывших у бабушки. Например, швейная машинка просто застряла в развалинах между третьим и четвертым этажом, и с большими предосторожностями ее сняли. Часть вещей вернула Тоня Грабовская, хотя очень и очень неохотно. Им, пережившим кошмар бомбежек и угонов в Германию, казалось, что существовавшие и установившиеся до войны отношения, особенно по части принадлежности, отошли в прошлое, исчезли из мира реальности. На этом психологическом эффекте основывалась столь распространенная в конце войны - начале послевоенных лет вера в неминуемую отмену колхозов после войны. Чем-то диким, противоестественным выглядело появление прежних владельцев, напоминающих, что вот эта муфта - муфта их мамочки Валентины Васильевны. Это же ничейное имущество! Ну, я бы не взяла, так первый же встречный нагнулся бы и поднял себе эту меховую муфту! Не лежала бы она, дожидаясь “наследницу” два года, на дороге! У случайного прохожего Лара не смогла бы вытребовать эту вещь назад, а у меня домогается забрать лишь потому, что меня хорошо знает - за что же мне такая несправедливость?! Примерно с такими чувствами Грабовская и некоторые другие ближние соседи отдавали вещи.

Поездка отца с матерью в Шахты, где они разыскивали Лелю Дерюгину, окончилась ничем. Отправились они туда сразу же по прибытии в Ростов, еще до оформления отца на работу, т.е. до получения карточек - вот какое значение придавали они этой поездке. Одна же мать встречаться с Лелей побаивалась. Едва записав меня в школу, они оставили меня недели на две одного (у знакомых) и помчались. Ну, кое-какие мелочишки, дорогие матери, они сумели вырвать: намагниченные еще дедушкой черные ножницы (вот они и сейчас лежат в левом ящике моего письменного стола), розеточки, словом, сантиментальную ерунду. Ни денег, ни ценных вещей, ни семейных бумаг у Дерюгиной уже не оставалось: полезное истратилось на жизнь, а ненужные бумаги утилизовались в хозяйстве. Так что единственным источником существования нашей семьи стала отцовская зарплата. Плюс к ней те подарки, которые совершенно бескорыстно и от широкой души и большого сердца делали ему осчастливленные приездом ревизора из областного управления сельские ветеринарные врачи и фельдшеры, а порой и председатели колхозов - директора совхозов.

Вот так и устроилась наша жизнь в вожделенном Ростове.

§6. Крах семьи

Мои домашние обязанности; ростовская шпана; за справедливость; прочитанные книги; ссоры; переезд в Москву; знакомство с милицией; библиотека МХАТа и огородные работы; кульминационная драка; переписка Москва - Ленинград; явление Терпоносян

Я споспешествовал денежному преуспеянию семейства. Один раз отец принес из Управления инструкцию к, кажется, американским примусам. Я ее перевел, получил несколько сот рублей. В другой раз он изготовлял карту-схему заболеваний по области, я предложил расцветить ее цветными карандашами, по цвету за каждую эпизоотию. Вышло весьма внушительно, карта была отмечена премией в 500 рублей. Мы с ним порешили купить на эти деньги подарок матери - приближался ее день рождения - ходили по комиссионным магазинам, но два мужика ничего не понимали ни в чем, выбрали самое яркое - это были красные перчатки. Но, оказывается, в институтском воспитании Ларисы Пименовой значилось, что красные перчатки носят только женщины легкого поведения. Наш подарок вызвал шок. Опять же, она этого не объяснила - по крайней мере, мне, считая, видимо, недопустимым в разговоре со мной упоминать такую профессию. Я видел, как она недовольна подарком, ломал себе голову над причиной и, наконец, остановился на умозаключении, что она считает неправильным, что подарок мы с папой делали совместно: в основном работал я, это мой подарок, а отец мог бы подарить что-либо сам. Ее поведение, направленное на возбуждение во мне неприязни к отцу, сказалось на таком “выводе”. Другой раз я “зарабатывал” деньги прямым надувательством: упаковав уже проявленную фотобумагу в магазинный пакет, всучил его покупателю на базаре, кажется, за десятку. Стоила-то она дороже, но покупатель думал, что я сбываю краденое, и он в барыше. Ведь это же РОСТОВСКИЙ базар, где 90% покупателей и продавцов жулье, ворюги и мошенники.

За собой я не помню больше акций вроде с фотобумагой, но все мои соклассники так или иначе промышляли подобным образом. Кстати, вернувшись, я сразу постиг, что прежние мои друзья до девятилетнего возраста ушли в прошлое. Что мальчишки, называющие себя их фамилиями и именами, ничего общего не имеют с теми, жившими в воспоминаниях. Мне они оказались не нужны, почти никого я не узнавал. Позже я понял, что причиной такому отчуждению ото всех прошлых привязанностей было плохое зрение. Я просто не узнавал в лицо, скажем, Магина, с которым был не разлей вода до отъезда и который прибежал, едва прослышав о моем возвращении. По этой ли причине ли по другим, но старых друзей я не узнавал и к ним не тянулся. А вот с соученики по новой школе - сошелся быстро и во всех отношениях, кроме курения и матюкания. Тут уже введено было раздельное обучение, школа состояла только из мальчишек, что облегчало дружбу, устраняя мешающий элемент. А чего только не вытворяли в азарте пацаны! Срезать косу у незнакомой девицы, нагнувшейся выбрать арбуз - пожалуйста, были бы острые ножницы! Прорваться без билетов в кино, подложить порох под ножку стула учителя, опрокинуть лоток на базаре,

сообщить, якобы горит дом на такой-то улице, не пропускать никого “по нашей улице”... Словом, лихости было много, шпана была добротная. Только какое-то везение помешало мне связаться с настоящей уголовщиной, куда я непременно бы влип по активности натуры. Но треп, добротное обсмеивание и сопряженное с этим юмористическое отношение к самому себе - я навсегда впитал с ростовских улиц.

Моей более тесной связи со шпаной препятствовало, главным образом, отсутствие времени на слоняния по улицам: меня дома загружали работой невпроворот. А от домашней работы я отказаться не смел. Хозяйственных дел было множество, и начинались они с процедуры умывания - друг дружке ковшиком поливали над тазиком. Надо было просеивать уголь (штыб), чего не могла делать мать из-за астмы, а отцу некогда: его Управление размещалось в центре города, тогдашним транспортом добираться больше часу. Надо было ездить за покупками, тоже за тридевять земель на Буденновский проспект, где находился магазин, к которому были прикреплены отцовские карточки. С мешком за плечами я штурмую троллейбус, а в многочасовых очередях читаю “Дневник писателя” Достоевского. А вот появился по репарациям немецкий двухэтажный автобус, оранжевый, громадный. Он не прижился, вскоре сломался. Или езжу трамваем, в объезд - мне часто снится этот поворот трамвая пониже Театральной площади. В троллейбусе же приключилась история, в итоге катастрофически подорвавшая мое уважение к родителям.

Давка, тесно, не сдвинуться. Но глаза смотрят и видят: один парень (уже не пацан, а постарше, да с виду и не враз скажешь, что шпана) раскрыл сумочку женщины, у которой она из-за давки перекинулась назад, и лезет в сумочку. Другой подле него экранирует его от посторонних взоров. Я слишком мал, чтобы стесняться, видимо, поэтому от меня не заслонено. Мгновенный импульс подбрасывает меня:

- Ты куда лезешь?! Сумочку смотрите свою!

Экранирующий делает жест в мою сторону мойкой между пальцев, но из-за тесноты достать до меня не удается, тем более, что я знал из хвастовства своих же друзей, что в таких случаях непременно полоснут по глазам, именно зажатой между пальцев половинкой бритвенного лезвия, даже сам обучился этому приему, так что теперь берег глаза в первую очередь. Шарящий в сумочке нервно ускоряет поиск, что-то угрожающе шепча в затылок обворовываемой женщине. Тут выясняется, что на стреме имеется еще третий, который ногой держит дверь троллейбуса открытой, а сейчас грубо отпихивает всех в проходе, высвобождая дорогу к бегству двум другим. Всеобщая свалка, неразбериха. Женщина наконец медленно-медленно поворачивает голову. Туда же обернулись еще чьи-то лица, но шантрапа уже соскочила на полном ходу. На меня обрушиваются упреки от непонятности ситуации, я слишком горд собой, чтобы объясняться, женщина тупо твердит: “Воры, воры” - из чего остальным пассажирам мало что проясняется, ибо почти никто не успел даже заметить, как они спрыгнули. Ведь троллейбус идет, и почти везде кто-нибудь по своей надобности спрыгивает с него, где ему ближе, сподручнее. (Я вспоминаю свое негодование, когда ввели такие автоматические двери в трамваях и прочем, что уж не выскочить по желанию. ГРУБОЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВО

НА МОЮ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ - вот как это было расценено, и не мною одним. Сломать такую дверь, заклинить ее - стало делом чести, доблести и геройства. Но это уже позже, в Ленинграде.) Я пришел домой, переполненный своим поступком, кипящий негодованием на пассажиров, которые не помогли мне задержать бандитов, догадываясь, что не один я видел, да другие помалкивали, не желая рисковать. И что же? Вместо похвал отец и мать наперегонки обругивали меня:

- Он же мог порезать тебя!

- Зачем это тебе надо?

- Разве ее сумочка тебе дороже собственных глаз?

- Она же, небось, и спасибо тебе не сказала! - Что было истинной правдой, но в контексте эта констатация истины бесила меня тем сильнее. Любой легко может представить себе, как квохчут перепуганные родители, когда их чадо вступает на дорогу риска по имя Абстрактной Справедливости. Я запрезирал их, что, впрочем, не мешало сохранению любви.

Разок мы жестоко подшутили над нашим химиком. Он был пьянчуга, и вечной присказкой было, что пьет он до зеленых чертиков. И был он дальнозорок, так что писал и читал, надевая очки. По рассеянности часто очки оставлял на кафедре. Ну, разок мы обзавелись зеленой краской и старательно выкрасили ею изнутри стекла очков. Он не заметил, а когда надел очки, дабы заглянуть в журнал, все в его глазах вдруг позеленело. И, будучи с запоя, он ПОНЯЛ, что ему явились зеленые черти, что пришел конец. Позабыв снять очки, он с воем и плачем ринулся из класса и вон из школы. Больше не появлялся. Мы, конечно, ликовали отсутствию уроков по химии, но ощущалось и неподдающееся формулировке смущение. Мы же не собирались его ДО ЭТОГО доводить. Просто посмеяться без злого умысла хотелось... Что “розыгрыши” могут стукать по голове - это я постиг в этом эпизоде. А другой раз меня самого стукнули по голове. Вечерком шел я где-то в районе нашего “бродвея” - улицы Советской, а навстречу мой одноклассник, хотя годом-другим постарше. И не один, а с “дамой”. Именно так принято было у нас выражаться, не с “девицей”, не с “девчонкой”, не с “бабой”. Я трепливо подлетел к нему, а он, не желая узнавать, просто отпихнул меня и увел ее под руку. Ибо ему было стыдно перед своей “дамой”, что он запросто свой с таким явно еще маленьким, несмышленым, низеньким, невзрачным шкетом. Я его компрометировал. Я почувствовал себя побитым - и виноватым. Нельзя первым лезть здороваться со знакомыми, когда они идут вместе с незнакомыми - вот та мораль, которую я извлек из этого случая и которая назавтра мне была объяснена русским языком. Почти всегда позже в жизни я руководствовался этим правилом, хотя в другой, не ростовской, среде оно не раз служило поводом для мелких и крупных недоразумений.

Вернусь к перечислению своих обязанностей. Весной-летом 1945 года я вкалывал на огороде. Нам, в числе прочих, отвели участок на левом берегу Дона, мы чем-то его засадили. И вот - вскапывание, прополка, а главное - поливка этих проклятых помидоров стала поглощать мои силы. Обычно мы ездили вдвоем с отцом. Участок был далеко от берега, лето - засушливое, и вот мне доставалось таскать бесконечные пары ведер из реки на участок.

Позже это компенсировалось налетами на близ расположенную бахчу, где прямо на месте съедались мировые арбузы. В одну из таких поездок отец выучил меня плавать. Он просто взял меня на руки, кинул в Дон, отвернулся и не поворачивался, пока не выкурил папиросу. Обернулся - я уже барахтаюсь как-то. Тогда он стал мне показывать приемы. Сам-то он первоклассный пловец, переплывал Волгу у Царицына. И даже в 1963 году под Гудаутами быстрее и лучше меня плавал. Но нырять я научился лучше него. Тут же на берегу Дона в ожидании переправы затеял он как-то к слову рассказ о противоборстве Богданова и Ленина из-за эмпириокритизма[236]. Он все торопился впихнуть в меня побольше тех сведений, которых я не мог бы почерпнуть из официальной литературы, хотел изложить истинные воззрения Богданова на природу научного знания. Не помню, тогда или вскорости прочел я “Красную Звезду” Богданова, но она “шла” по категории “научной фантастики”, и я на берегу не сассоциировал ее автора с каким-то диспутом с Лениным. А слово “эмпириокритицизм” я вообще недослышал, и дурашливо стал дразниться:

- Какой же он революционер, если империю прославлять вздумал!

Отец рассвирепел:

- Я думал, с тобой можно как со взрослым разговаривать, а ты ничего не понимаешь! - И эту обиду законсервировал. Лет тридцать он потом о Богданове со мной не обмолвился ни словом.

Возвращаясь с огорода, я давал уроки. Ну, тут прилгнуто, конечно. Огород - летний период, а уроки я давал в школьный период. Я преподавал какому-то мальчику парой лет меня моложе что-то из математики, с которой он не справлялся. У меня по алгебре была устойчивая четверка, на пятерку я не тянул, но мать справедливо рассудила, что попреподаю-попреподаю и сам научусь. Месяца два я занимался, но так как ученик был подобран по знакомству родителей, то его родители заплатили мне не деньгами, а электрической железной дорогой. Много я читал, причем мать выучила меня обязательно - собственно, это УЧИЛА она меня “обязательно”, а до конца не научила, я нередко манкировал - записывать названия книг и их краткое содержание в тетрадку. Одна тетрадь сохранилась. В клеточку, школьная. Разграфлена на четыре столбца: Автор и название книги; Дата прочтения; Содержание; Следует прочесть. Процитирую две-три записи:

“Беляев “Человек-Амфибия”. 30/XI-45. Профессор уродует ребенка, превращая его в земноводного. Бесчеловечные законы в Аргентине заставляют его покинуть страну и разбивают его счастье. Упор на невежественность и суровость капитал. законов вообще.

Келлерман “Туннель”. 10/XII. Мак Аллан, бывший конюх в шахте, теперь инженер, строит подводный туннель: Нью-Йорк -

[236] Как и большинство лиц, думавших о “Материализме и эмпириокритицизме”, мой отец начисто игнорировал реальную партийно-историческую финансовую обстановку того времени. Поэтому весь спор уводился в абстрактные высокие зауми. Правильно же понять это произведение можно, лишь вспомнив, что как раз тогда в распоряжение Плеханова - люто ненавидевшего Богданова - поступила крупная сумма денег, которую Ленин мог бы получить, только расположивши Плеханова к себе. И что как раз тогда Богданов отказал Ленину в деньгах, экспроприированных его людьми на Урале, организовав на эти деньги Партийную школу на Капри.

Франция. Неудачи его, взрыв в туннеле, убийство рабочими его жены и ребенка, банкротство, пожар. Упор - могущество рабочих, когда они объединены, и сила денег (капиталист берется за постройку туннеля и его кончает). Конец скомкан. /в графе надо прочесть “Тайна профессора Браге”/.

Герцен “Былое и Думы”. т.V и VI. Отдельные отрывки из жизни эмигрантов. Интересное описание Бакунина /надо прочесть/ “Былое и Думы” т.I-IV и т.VIII. Письма Бакунина к Г. и Ог.”

В таком вот роде еще описаны:

25/VIII Степанков “Порт-Артур”,
28/XII Герцен “Кто виноват”,
2/I-46 Герцен “Доктор Крупов”, “Афоризмата”, “Сорока-воровка” и др. Чехов т.XXI-XXII изд. А.Маркса и “Сахалин“.
7/I Гюго “Отверженные”,
8/I “Колосья”, журнал за сент. и окт. 1884,
10/I “Лондонская конференция Интернационала 1871”,
12/I “Альянс и Интернационал”,
15/I Джон Рид “Десять дней, которые потрясли весь мир”,
16/I Достоевский “Дневник”, Толстой “Война и Мир”, I-III ч.т.1,
20/I Ал.Дюма “Виконт де-Бражелон” 6-8 ч.,
25/I Гоголь “Мертвые души”,
28/I Ж.Верн “Черная Индия”,
30/I Ж.Верн “Михаил Строгов”,
5/II Дюмюи “Великий император и маленький паж”,
8/II Кальницкий “Остров голубых песцов”.

На этой дате записи обрываются. В графе “надо прочитать” за то же время значатся: Гюго “Собор Парижской Богоматери”, Маркс “Мнимые расколы в Интернационале”, Ж.Гильом “Интернационал в документах”, Дж.Рид “От Корнилова до Брест-Литовска”, “Война и мир” т.2 и т.3, Дюма “20 лет спустя” II ч., Ж.Верн “15-летний капитан”.

В перерывах между книжками я занимался оборудованием стационарной кражи электроэнергии. Электричество тогда воровали не столько по денежным соображениям - хотя копейки тогда весили больше нынешнего - сколько из-за того, что электроэнергия была лимитирована очень жестко. На две-три лампочки, горящие два-три часа в сутки. Электроплитку не включишь, а чем согреешься в прохладный весенний или осенний день, когда угольную печь растапливать еще немыслимо? Чайник, не пачкаясь в керосине, опять же на электроплитку поставить хочется. Но если счетчик покажет перерасход энергии - свет отрежут безапелляционно. Поэтому обмануть счетчик было непременным условием приличного существования. И в стене под счетчиком я продобил желоб, незаметно подключил провод к контактам от внешней сети, минуя внутренность счетчика, провод утопил в желобе, замазал глиной, оставил вывод на розетку от этой “скрытой проводки”, а для блезиру на ту же розетку был декоративно выведен шнур, присоединенный к счетчику положенным образом. В другой комнате тоже что-то в этом роде было. Такая сложность объяснялась тем, что заземление по причине почвы очень было трудно устроить незаметно от соседей,

которые были настроены против нас, за бывшую хозяйку. Ну, а конструкции, аффектирующие работу счетчика посредством комбинации емкостей и индуктивного сопротивления, были еще мне неизвестны тогда, да и раздобыть конденсатор в ту пору было сложнее, чем царский империал. Опять же “по техническим причинам” производил я свое подключение под током, вынужденно прислонялся к очень сырой стене, так что дергало меня неоднократно и сильно. Но зато я экспериментально установил, что 120 вольт не смертельны и даже практически безопасны.

Само собой, главной моей обязанностью было УЧИТЬСЯ. Оба мои родителя испытали немалые сложности с приобретением полного среднего образования и потому ценили его и по существу и по форме. С обязанностями учиться я справлялся, хотя не так бы, как хотелось матери, да и мне самому. Седьмой класс я закончил с двумя четверками: по алгебре и по военному делу. В ходе занятий я преодолел очень трудную вещь, которой горжусь до сих пор. В первую очередь по черчению я получил двойку (она в табеле не проставлена, заменена прочерком). Стыд. Оскорбление. Позорю родителей. И я налег на черчение. Уже во второй четверти добился тройки. В третьей изумленный преподаватель вывел четверку. В четвертой он же - после того как я пересдал ему все предыдущие чертежи - поставил пятерку и вывел годовую пятерку. Как это хорошо, что я застал еще требовательных педагогов, которые не боялись ставить двойку, не были сбиты с толку ни процентоманией, ни страхом “травмировать ребенка” неудовлетворительной оценкой. Во второй четверти у меня были еще тройки по географии и химии, четверка по поведению, но потом загладилось пятерками. В VIII классе с оценками вышло похуже. Во-первых, по поведению обе первых четверти - четверки, хотя, впрочем, по прилежанию - существовала и такая оценка - все четыре четверти пятерки. Во-вторых, по литературе устной и письменной шли устойчиво четверки, по алгебре не лучше, да и по геометрии съехал на четверку. По географии мелькнула тройка, исправленная на четверку. По английскому при моем бесспорно лучшем в классе знании языка у меня все время возникали четверки, и не только из-за произношения (которое у меня варварское, но, по словам знатоков, скорее американское, нежели литературно-английское), а из-за невыполнения каких-то специфически школьных требований, кои я презирал. И еще одной оценкой школа меня душевно обидела. Как-то по литературе задали на дом сочинение на свободную тему КЕМ ХОЧУ БЫТЬ или с похожим названием. И я размахнулся на банальный отроческий порыв: хочу-де быть ЧЕЛОВЕКОМ, а какая профессия - не важно. Писал страстно, сумбурно и вполне тривиально для такого возраста. Но так как писал от души, то воображал, что должна получиться непременно пятерка. Вкатили же мне тройку “за неохват темы”. И я замкнулся перед учителями. Впредь по самое окончание школы я уже ни с кем из учителей не откровенничал, никому не верил. К слову, мечтал я тогда учиться в Ростовском университете на историко-филологическом факультете.

Бывали праздники: мать начинала печь “наполеон”. Истово раскатывал я тесто нужной толщины и размера. Напряженно выжидались сутки, пока крем пропитает все слои. И потом торжественно едим. Помню какую-то минуту умиления, когда даже

нашу хозяйку-армянку угощали. Или мать варит хворост в постном масле. Тоже ведь надо и плиту истопить, и раскатать тесто. А вот без никакого труда в саду у Лещенко сижу на тутовом дереве и ем-ем до вечера, весь посинев от раздавленных ягод, а Анастасия Георгиевна уговаривает: “Ешь еще, она полезная”. Помню, большой радостью выпал мне нежданный приезд незнакомого мне прежде Феодосия Александровича Авсенева. Он еще к началу тридцатых годов ушел из священников в бухгалтеры, но все же в середине тридцатых годов был выслан в Среднюю Азию. После 1943 года, когда стали восстанавливать декорации Православной Церкви, священников начали возвращать из тюрем, лагерей, ссылок, а особенно этот процесс усилился в связи с поместным собором церкви в 1945 году. Вот, кажется, зимой 1944/45 он и приехал, разузнал, что Ваня в Ростове, и отыскал его. Я его не знал, но крупный, с величественной бородой и очень чуткими манерами он сразу привлек мои симпатии. Едва уловив в его речи какие-то церковно-славянские словеса, я понесся декламировать только что пройденное в школе и выученное мною наизусть на славянском:

“Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о пълку Игореве, Игоря Святъславлича! Начати же ся тъй песни по былинам сего времени...”

И так далее, пока всю песнь не выпалил. Ни Библии, ни Евангелий я еще не прочитал в ту пору и, видимо, полагал, что разницы нет: все на одном языке[237]. Отец Феодосий внимательно и с видимым удовольствием слушал, выслушал, похвалил, задал кой-какие вопросы по существу, сам что-то сказал и мы, очень довольные друг другом, расстались. Но так как они с отцом выпили на радостях встречи, то мать воспрепятствовала дальнейшим появлениям Авсенева. Не помню, бывала ли у нас его жена Дарья Андреевна. Оба они поселились тоже в Нахичевани, но их адрес вместе с адресом Мариных у меня в записной книжке, что была изъята по обыску 1970 года...

А чаще всего - скандалы в семье. Мать с отцом. Я с отцом. Мать со мною. Все перестановки и сочетания. Поводы мелкие, вздорные, не запоминающиеся. Подоплека же (“фактор” или “детерминанта”, выражаясь по-научному) - одна: жить делается невозможным. Жилья нет. Мать больна. Отец потихоньку прикладывается к спирту, лишаемый ею сексуальных радостей. И в последней отчаянной попытке еще как-то наладиться, устроиться, они затевают переезд в Москву. Через своих коллег, высоко ценивших таланты Щербакова, он добивается ВЫЗОВА из Москвы (без чего нельзя было думать получить ПРОПУСК в Москву), причем ему обещается квартира. Мать думает, что вблизи от Жени и Вероники Ваня будет ее слушаться больше. Да и за мной пригляд будет, не только с ростовской шпаной бегать стану. И вот в конце марта мы переезжаем, бросив дом нашей

[237] Позже, изучив и языки и историю их, я удивился, насколько язык “Слова”, будто бы XII-XIII веков, близок языку Библии XVIII века. Разгадку этому феномену, замалчиваемому парадными академиками вроде Д.С.Лихачева, я обнаружил в гипотезе А.А.Зимина о написании “Слова” в XVIII веке. Я тогда же поделился с Зиминым своим восторгом и догадкой, что “Слово” родилось как “проба пера” в кругу монахов - переводчиков Библии на славянский.

нечестной хозяйке. Уволился отец 18 марта, зачислен заведующим диагкабинетом зверосовхоза Раисино - 8 апреля.

Женя уже вернулась из Стенникова в Москву и в двух комнатушках на Мерзляковском жили: Женя с троими детьми (Наташа 14 лет, Алеша 8 лет и Сережа 6 лет) и Вероника с Лерой. Лера был уже демобилизован. Два дня мы провели у Жени - в тесноте да не в обиде. Я быстро сошелся с ее детьми: они были в восторге от того, что не читая могу бесконечно долго что-нибудь (сказки) рассказывать. Особенно самый маленький Сережа, который переиначил “царевича Гвидона” в “царевича Бидона”, каковое прозвище за ним прилипло надолго. Потом мы поселились в поселке (усадьбе - как там выражались) Раисино. Сейчас в точности на том месте, где помещалась контора зверосовхоза - точнее, Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории пушного звероводства и пантового оленеводства - находится северный вход метро “Щелковская”, а на месте южного входа располагался военный аэродром Щелково - не путать с гораздо более удаленным от Москвы Щелковым, где был крупный аэродром. Раисино, а за ним деревня Гольяново, относились к Балашихинскому району Московской области до середины шестидесятых годов. Обнесено Раисино было забором как совхоз, но народная тропа пробила себя сквозь забор во всех направлениях. Номинально же вход был от Щелковского шоссе через ворота[238]. Первый дом направо - контора, в одной из комнат которой мы жили с апреля по июль. Налево - помещение лаборатории, где находился и диагностический кабинет отца, в который, к слову, он отволок свой собственный микроскоп. Если пойти от лаборатории прямо - круглый пруд, в котором купались еще в начале пятидесятых годов, за ним домики, выстроенные наверное еще в прошлом веке, в которых жили сотрудники совхоза. Если пойти от конторы вперед и правее - длинный ряд клеток с лисицами, песцами и еще какими-то меховыми зверюшками. Ряд клеток с кроликами. Там, где кончались клетки, расчищена площадка, на которой монтировались финские домики. Один домик на две семьи. Каждой семье по две комнаты плюс кухня плюс прихожая, не считая тамбура. Поставлены по репарациям из Финляндии, сборно-щитовые, деревянные, но со множеством бытовых домашних удобств, которых не бывало в русских домах. Первый домик уже заканчивался, и квартиранты на него были назначены еще до нашего появления, но во второй предназначались мы, и мы-таки вселились летом. В ожидании мы ютились в бывшем кабинете какого-то администратора, комнатка метров 8-10. Скандалы и ссоры бывали у нас ежедневно, вся контора сотрясалась от воплей Щербакова и моих; мать, напротив, понижала голос до змеиного шипа. Удивительно, что со Щербаковым не расторгли контракта. Мать по-прежнему не работала, она совершенно задыхалась от своей астмы. Поэтому же она и по хозяйству почти ничего сделать не могла. Разве что внушительно выдавить из себя: “Вор!” - и упасть в обморок, обнаружив, что я выпил мед из вазочки, предназначенный по семейному бюджету чуть ли не месяц исполнять обязанности сахара. Тут у отца была худшая категория карточек, мать и я были

[238] И на этой территории часто резвится мой Морфей. Отмечу, что тут я описываю Раисино только в аспекте нашей семейной жизни. Научную деятельность Щербакова и всего раисинского коллектива в эти годы я затрону в гл.6 или 7.

иждивенцы - последние по значимости, а магазин, к которому мы были прикреплены - сельский, а не городской. Впрочем, мясо у нас не переводилось, являясь ходом научных экспериментов в этом зверосовхозе. А вот хлеб, мука, крупа, сахар, масло - только в пределах карточек.

Сразу же я был зачислен в школу. Но ближайшая была далеко, чуть ли не у Преображенской заставы, немного ближе к нам, в Черкизово, школа №388. Может быть, и существовала другая, но с английским языком ближе не было. Это не меньше четырех километров. Автобусы - №16 - ходили плохо и переполнены, так что я отправлялся пешком. Пожалуй, лучший час моей тогдашней жизни - пешее хождение по шссе, мимо свиносовхоза, мимо деревни Галошино, мимо стадиона “Сталинец” (сейчас - “Локомотив”), через мост над окружной железной дорогой в школу. Идешь себе и бормочешь “Евгения Онегина”, хронометрируя числом отбарабаненных строф (часов, конечно, не было - не буржуи). Обратно я ездил, но не всегда. Я вот все упоминаю, как много прочел, да как много знал наизусть. Факт, это было в действительности, не для форсу придумываю. Но факт и то, что память была механическая. Скажем, в том же “Онегине” была опечатка:

“Меж тем, как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молоком
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи
И рвы отеческой земли”.

И я не увязывал, что “циклопы” - кузнецы, что “лечат” они кареты, так что ни о каком “молоке” у Пушкина речи быть не может, а надо “молотком”. Так и шпарил “молоком” еще лет пять бездумно, покамест Володя Фролов, тоже знавший “Онегина” наизусть, но со смыслом, не остановил меня изумленно:

- Какое молоко, Револьт? Ты спятил.

И когда мне указали - я понял, согласился. Таких ляпов в моем образовании мильон замечен мною, да сколько-то мильонов сработали, оставшись незамеченными. Да, так вот, поступил я в школу. Это единственная школа, где я заметил, запомнил учителя, да еще учителя математики, которая тогда меня не интересовала нисколечки. Он так логично и доходчиво рассуждал, приводил столь простые и яркие вместе с тем сравнения, что я в него аж влюбился. И хотя прибывшему после начала последней четверти ученику учителя естественно для перестраховки принижали оценки, по алгебре и геометрии у меня сразу же и впервые в жизни пошли исключительно пятерки. По английскому же снова меня учителя надули: сами изумлялись, откуда я так поразительно хорошо знаю язык, но ставили только четверку; я говорю о “них” во множественном числе, ибо спрашивавшая меня по поступлении в школу англичанка немедленно позвала другую, кажется, даже третью, показать и изумиться такому феномену. К моей радости, в этой школе военное дело не преподавалось. И в этой школе я как-то успел - невзирая на мимолетность моего в ней пребывания - противопоставить себя

учителям. Помню, что в наказание у нас нескольких виноватых отобрали портфели, дабы за ними явились родители, а мы допоздна не уходили, штурмовали двери школы и, в конце концов, когда уже стемнело, нам кто-то (учитель? или наш, лазутчик?) выбросил портфели из окна. Я что-то наврал родителям о причинах опоздания. Несмотря на все их перманентные ссоры, они очень пристально следили за каждым моим шагом.

Противостояние приобретало у меня какую-то устойчиво-стандартную форму. Помню яркий тому пример, типичный именно своей незначительностью. На стадионе встречались две команды: местная, кажется, тоже “Сталинец” и ленинградская “Зенит”. Все, само собой, были за москвичей. И раз все за них, я автоматически объявил, что болею за “Зенит”. Ничто меня не привязывало к этому “Зениту”, я даже накануне сам его ругал, но раз все за - я наоборот. Когда “Зенит” забил два гола, меня одноклассники начали было бить, но я не дался. Во-первых, телом я был гораздо крепче и сильнее, нежели казался щуплым и дохлым по внешнему виду. Во-вторых, я тогда дрался много и любезно. В Ростове нам даже учителя не мешали выяснять отношения на кулаках, лишь требуя, чтобы мы уходили с людных мест и соблюдали бы определенные “правила войны” Чаще всего нам отводили для драки спортзал, а когда он бывал занят - то коридор перед ним. Если уже очень много начинало литься крови, то стоявшая в сторонке учительница образумливала. И, конечно, двое на одного не допускались.

За те полгода пребывания в Москве я умудрился даже в милицию попасть. Еще в Магадане я усвоил термин “лягавые”, но это было просто прозвище, не более. В Ростове милиционеры воспринимались как общеизвестные всеобщие враги. И все были на стороне инвалидов войны, которые вдруг начинали костылями или чем подвернется под руку избивать милиционеров:

- Ах ты, гад, здесь в тылу ошивался, когда мы кровь на фронте проливали, а сейчас чего-то требуешь, бесстыжий! - Таких сцен попалось мне на глаза несколько за один вечер - вечер дня победы 9 мая 1945 года, когда все высыпали на улицу. Уже в Ростове меня сцапали как-то при спрыгивании с трамвая или при проезде на подножке, не помню. Отвели в отделение, допытывались фамилии, адреса, где работают родители. Я чего-то набрехал. Отец потом заметно волновался, не проговорился ли я про место его работы, как бы туда не написали. Внушал мне, что в милиции никогда нельзя говорить правды. Что надо думать о последствиях для тех, кого упоминаешь в милиции. Тогда все кончилось ничем: никаких повесток, а меня часа через два выпихнули.

В Москве эпизод был поразветвленнее, поживописнее. С чего я прицепился к мильтону и стал его обзывать, не упомню. Он обозлился и повел меня в отделение. Там, сняв с меня какой-то допрос, начальник велел отдать деньги и ценности. Я, само собой, несколько рублей отдал, а две крупные бумажки (кажется, красные тридцатки) спрятал в кармане. Время не позднее, еще никто не спал. Разговор о том о сем, парочка блатняков обшмонала меня профессионально и присвоила себе мои “спасенные” денежки. Один - как я позже понял - их главарь, хотя держался словно они ему чужие, укорил их, что они забижают маленького (ростом я был ниже своих лет), они, словно устыдясь, вернули мне меньшую половину.

Он завел со мной беседу по душам. Узнав, что я из Раисино (от милиционера я это скрыл), он обрадовался, даже как-то засуетился, велел мне непременно, как только вернусь в Раисино, навестить тетку, кажется, Глашу, живущую там-то за прудом, и передать ей привет от Андрея, кажется:

- Она меня знает, она тебя обязательно отблагодарит за весточку обо мне. Дай-ка мне те деньги, что у тебя есть, она их тебе вернет.

Так мы с ним сдружились, как только на пересылках бывает. Где-то уже к утру меня выпустили, не побив, а только внушительно обругав и предостерегши на будущее. Денег, отобранных милицией, тоже не вернули, но портфель отдали. Уж не помню, как извернулся в доме: там ведь не спали, дожидаясь меня, а никаких телефонов ближе деревни Гольяново, в запертом на ночь сельсовете, не было. Я не сразу поплелся к тетке Глаше, а стороной навел справки, кто она и что это за Андрей. Обнаружилось, что ее незадолго хорошо обворовали - очистили квартиру - и руководил кражей этот самый Андрей, не кто иной! Он, представляю, предвкушал, каково мне будет, когда Глаша узнает, что я - приятель ворюги, обобравшего ее дом! Да еще приду от его имени просить вернуть мне деньги! Широк человек, широк диапазон его радостей... Надо ли сужать, Федор Михайлович?

Уйму я читал в то время. Мать, истосковавшись по литературе, стала посылать меня с записочками к Жене, работавшей в библиотеке МХАТа, где сохранились неизъятыми многие дореволюционные книги. Я прочитывал и материны книги и сам рылся в книжках прямо на полках. Вот сохранившаяся запись прочитанных книг, в хронологическом порядке и с пометками об их ценности в моем тогдашнем восприятии:

“20/VII-22/VII-46. “Былое”, 1906 №1	первостепенной важности
20/VII-23/II Ковалевская. Воспоминания детства. АН, 1945,	так себе
21/VII-3/VIII Мережковский Д.С. Христос и Антихрист	второстепенной важности
22/VII-25/VII “Былое” 1906, №2	первостепенной важности
25/VII-28/VII “Былое” 1906, №3	первостепенной важности
28/VII-30/VII “Былое” 1906, №4	первостепенной важности
31/VII-3/VIII “Былое” 1906, №5	первостепенной важности
6/VIII Рязанов Д. Очерки по истории марксизма. М.-Л., 1928	“второстепенной важности” зачеркнуто на “первост.”
6/VIII-7/VIII “Былое” 1906, №7	первостепенной важности
7/VIII-8/VIII “Былое”, 1906, №8	первостепенной важности
8/VIII Ленин. Государство и революция	первостепенной важности

9/VIII-17/VIII Мережковский, псс тт VI-VII	первостепенной важности
20/VIII Гомер. Илиада и Одиссея	очень красивая вещь
4/IX-7/IX Гоголь. Юношеские опыты	довольно хорошо

Еще сохранился мой конспект Мережковского “Толстой и Достоевский”.

Конечно, на карточках понаписано подробное содержание томов, выписаны названия дезидерат и т.п. Характерно, что оценку книгам я писал шифром - простейшим (сдвиг букв в алфавите на одну), но шифром. Полагаю, что при всей бессистемности в моем тогдашнем чтении было все-таки больше естественности, нежели в моде шестидесятых годов, когда уже взрослые люди со сложившимися установками кидались открывать духовный мир начала XX века. Разумеется, выписок уцелело меньше, чем я прочел, ибо я хорошо помню, как волок в Раисино читать Ключевского, а тетя Женя боялась мне давать все пять томов сразу. Помню споры с ней же, читать ли мне Элизе Реклю “Земля и люди” или нет. Да и тот же Тарле, о котором идет речь ниже, у меня не оприходован. Тем же летом я полистал Библию в Перловке у Прасковьи Андреевны, к которой отец возил с визитом нашу семью. Сама она мне не понравилась: показалась суровой молчаливой старухой. Она вроде бы тоже не выказала сюсюкающих чувств к внуку. Она тогда целиком ушла в религию, а в тех краях незадолго прокатился погром по чрезмерно сильно верующим. Но об этом она не рассказывала, и узнал я о погроме уже во времена “Памяти”.

В первый раз у меня появилась годовая тройка - по географии. Летом все мое внимание приковал огород. Собственно, два огорода. Между шоссе и оградой совхоза, где клетки, нам выделили полоску глины. Я ее вскапывал, сажал неразрезанную на дольки картошку и окучивал. Раз, убежавши из дому после очередного скандала, даже ночевал на нем. И еще на мне лежали самые трудные работы - “мужская работа” - по огороду, собственно, саду на даче у тети Жени. Туда ездилось на воскресенье электричкой до Валентиновки, кажется, третья остановка после Болшево. Потом надо было идти несколько километров полем и косогором. Ее дети бродили и собирали коровьи лепешки на удобрение почвы, а я запасал на неделю хорошей воды из дальнего колодца (во дворе имелся колодец, но вода в нем была отвратной), колол дрова и прочее. Женя вложила очень много своего и своих детей труда в эту дачу, помогавшую им кормиться в те голодные годы. Однако это не помешало ей, когда в 1956 году пронеслось правительственное веяние на недопустимость того, что иные москвичи имеют и городскую квартиру и дачу, - продать дачу даже с каким-то убытком. Поветрие быстро схлынуло, но дачи она так и не вернула. К слову, где-то в послевоенные годы она вступила в ВКП(б).

С этой дачей, отчасти, связан окончательный разрыв. Перед ноябрьскими праздниками мать уехала отдохнуть после очередной ссоры с отцом, когда он ее выматюкал и, кажется, побил. Уехала в значительной мере по моему настоянию: я, мол, без тебя “поговорю с отцом”. В выходной день мы с ним напряженно трудились, разделывая корягу двух с половиной метрового диаметра на дрова.

Коряга была вывернута трактором, когда ровняли площадку под строительство, а сейчас мы ее по-хозяйски прибирали к делу. Но тот, кому доводилось работать со столь неправильным деревом, где пилой (двуручной, “Дружб” тогда не существовало), где топором, чтобы превратить его в аккуратные полешки, влезущие в печку, тот поймет, какой это был нудный и раздражительный труд. Но мы справились. Пообедали - дополнительное раздражение - без хозяйки. Отец выпил стопку-другую, очень немного по существу, но с устатку значимо. Я не пил, конечно. После обеда устроился читать “Наполеона” Тарле. Электричество в наш домик еще не было подведено, читали при коптилке. А коптилка и вправду дает копоти много, а свету мало. И отец проявил заботу о моих глазах: не читай в темноте, ослепнешь! Я проигнорировал. Он - больше заботы, сильнее мешает читать. Находит хозяйственный предлог отвлечь меня от чтения:

- Куда мать засунула чай? Найди чай!

- Отвяжись, не мешай читать.

- Как ты отцом разговариваешь?

- От тебя научился, как ты с матерью!

Слово за слово, заводимся, доходит до драки, в которой он начинает душить меня, а я зубами вцепляюсь в его пальцы. Он с матюком вырывает пальцы, высвобождая мое горло, и покамест он гневно-тупо созерцает кровь на них, я накидываю одежонку и выскакиваю за дверь, безотчетно, без плана, инстинктино спасаясь. Видя мое бегство, он рычит и кидается вдогон, на крыльце картинно останавливается и во тьму, в которой он меня и не видит (луны не было, фонарей и подавно), театрально восклицает:

- Вернись! Не то прокляну!

Я молчу.

- Не возвращаешься - так будь же ты проклят! На отца посмел поднять руку! Проклят! Проклят!

- Сам будь проклят, - то ли думаю, то ли шепчу, то ли воплю я. Он уходит, запирая за собой дверь.

Первая мысль по его уходе была тут же повеситься, на карнизе у навеса над крыльцом. Тихонько, чтобы он не услыхал, вернулся я на крыльцо, снял со штанов ремень, перекинул и закрепил. Ярко представил себе картину, когда он, проспавшись, выйдет на крылечко, злобно усмехнулся: так ему и надобно! То есть главная, физиологическая причина бесспорна: сопротивление хотящего жить организма головной придумке умереть. Но какой конкретный повод показался достаточно убедительным для этой головы: оборвался ли ремень, короток ли был ремень, не с чего было спрыгнуть, или уже спрыгнул, да низко получилось, или спрыгнул, да руками обхватил ремень, не дав петле затянуться, - тысячи найдутся предлогов объявить самоубийство неудавшимся по не зависящим от тебя обстоятельствам, коли на самом деле умирать не хочется. Такой повод-предлог мне в те минуты подвернулся, и я живу.

Вышел я на шоссе, доперся до вокзала и отправился в Валентиновку. Отсутствие денег не могло меня смутить, ибо когда и бывали деньги - родители давали специально на проезд в транспорте - я билетов не брал, экономил, а от контролеров насобачился уходить, спрыгивая на ходу, когда поезд тормозил у Мытищ. Когдя я добрался, там были все три московские сестры:

Лара, Женя и Вероника. Избавившись от маленьких детей, они выслушали мой рассказ и мое категорическое заявление, что к отцу я больше никогда не вернусь, в Раисино жить не буду. Помимо всего прочего, присутствовал вполне житейский вопрос: как мне кормиться? Я его не осознавал полностью, я был погружен в душевные бури и трагедии. Сестры же постановили: отправить меня покамест подальше, в Ленинград к Зое, там я побуду пару недель, успокоюсь, а там видно будет. Авось Лара с Ваней помирятся, тогда и с Воликом решится. Собственно, их мнения я реконструирую, ибо они такой чуме, как я, говорили не больше десятой доли того, что думали и обсуждали промеж себя.

Я отправился в Ленинград. Чем больше я ехал - из Москвы в Валентиновку, из Москвы в Ленинград - тем крепче формировалось мое решение к отцу больше не возвращаться. Мать же моя не хотела ломать какую ни на есть семью, сестры также ей этого не советовали. После войны, когда на одного неискалеченного мужчину находилось десятки одиноких женщин, бросать мужа какого-никакого выглядело блажью, капризом, абсурдом. Мать стала воздействовать на отца в плане примирения, чтобы он “простил меня”. Последовал обмен письмами:

“Ленинград. 15/XI-1946

Здравствуй, папа.

Я не намеревался писать тебе, т.к. ты сказал, что между нами все кончено, но я получил от мамы письмо, и она пишет, что ты требуешь моего возвращения.

Поэтому я хочу выяснить этот вопрос. Во-первых, я приношу свои извинения перед тобой в том, что я был несдержан, груб (я лично не помню этого, но мама пишет, то ты говорил ей об этом), вышел из рамок вежливости и оказал сопротивление при твоей попытке избить меня.

Во-вторых, я хочу объяснить тебе мое поведение 7/XI.

6/XI, после вашей с мамой ссоры, я упросил ее уехать на Мерзляковский на день-два, чтобы иметь возможность переговорить с тобой о ваших с ней отношениях и с твердым намерением положить конец этим безобразиям. Насколько мне это удалось, ты знаешь. Я лишний раз убедился, что живя с тобой, я завишу от настроения “вашего величества”, что, если твоя левая пятка желает испить чаю то на то, что сын весь день работал в жаре, устал, изголодался, должен писать сочинение, т ы не обращаешь внимания. (Интересно, нашел ты все же чай?) Далее, если тебе кто-либо скажет правду, осмелится не подчиниться, то тут - гром и молния. Но не из тучи гром гремит, а...? Так и твои попытки зажать рот (при этом ты проповедуешь le libertй de person) не увенчались успехом. Ты обвиняешь меня, что я лишил тебя пальца; ты поранил мне левую руку, разбил до крови затылок так, что до сих пор с трудом поворачиваю голову, лишил удобной квартиры, книг, и, главное, лишил меня отца, хотя это “лишение” началось еще с Магадана. Кроме того, это было естественной самозащитой: передо мной была альтернатива: или погибнуть “смертью храбрых” (припомни, как ты душил меня), или спастись, впившись тебе в палец. Я выбрал последнее. Ты мне торжественно заявляешь “именной указ е.и.в.” и “благословляешь” на дорогу, открыв передо мной путь на все четыре

стороны. Согласись, это должно было оставить какой-то след в моей душе. Что далее произошло со мной, пока я решил ехать на Мерзляковский - останется известным лишь черту да мне; скажу лишь, что я вырвал из сердца тебя. Я повторю: между нами в нравственном отношении все кончено. Я больше тебя своим отцом не считаю, человек, при сыне оскорбляющий мать площадной бранью, мне не отец! И “я не буду у него валяться в ногах”, как “ваше имп. вел.” желали! Другое дело в материальном отношении. Я человек необеспеченный. У меня нет средств в жизни. Я живу вторую неделю у тети. Так долго продолжаться не может. Мама говорит, что ты высылать мне содержание не будешь. Конечно, “судом” (к которому ты так любишь обращаться) тебя не заставишь, а в моральном отношении ты, конечно, не можешь иметь перед чужим человеком обязательств. Твой план ясен. Ты хочешь принудить меня вернуться домой, чтобы иметь право говорить: “Сколько раз я тебя из дому выгонял, все равно как собака домой приползешь”. Короче, я должен выбрать: благородная независимая нищета или жизнь (даже не в достатке) под палкой, пресмыкаясь перед самодуром, достойным пера Островского. Выберу первое. Домой я не вернусь. Вы с мамой должны мне 300 руб. Если к 15 декабря я их не получу, не получу хотя бы половины этой суммы, которую ты должен мне, вообще буду поставлен в известность, что денег вы мне высылать не будете, не получу моих книг, одежды, фото и электропринадлежностей, т.е. ты объявишь мне войну в материальном отношении, то, смотря по обстоятельствам, я лучше уйду (тотчас или через энный промежуток времени) в ФЗУ, брошу учиться, но к тебе под палку, под власть “левой пятки в.имп. вел.” не вернусь! Я говорю, вернее пишу совершенно серьезно. Отца я похоронил в промежутке между 19 и 21 часами 7/XI. Над всем остальным я имел возможность подумать с ночи 9/XI в поезде по данную минуту. 17/XI.

Я уже не маленький. С сердцем я разделался, умом решил, а мое упрямство ты знаешь. Но повторяю: лучше в Неву, чем к тебе.

Теперь я хочу узнать, как ты думаешь обращаться с мамой. Если ты думаешь, что я придаю твоей “клятве” сколько-нибудь веса, ты ошибаешься. Припомни, сколько раз ты клялся в этом? Передо мной, перед т.Зоной, перед бабушкой, перед другими? А в какую сторону изменилось твое отношение к маме? Только и жила она спокойно, пока ты был в Средней Азии. Я знаю, что мама бывает упрямая, но бывает и бесхарактерная. Она потеряла всякое самолюбие и вернулась к тебе. Ты можешь ее попрекать, что ее все равно не выгонишь, и ты сделаешь это. Ваш мир продлится максимум 6 месяцев, далее начнется старое. Но знай, если она, когда-нибудь, напишет мне, что ты позволил себе сказать ей нецензурное слово - берегись. Ссорьтесь, но по-культурному. Не смей ее оскорблять! Я был бы очень рад, если бы я ошибся. Итак, до 15/XII я должен получить от тебя письмо и прочее, о чем я писал. Если письма не будет, я приму это за отрицательный ответ.

Вернуться я не вернусь.

С мамой обращайся культурно или - берегись!

Прощай, Воля.

P.S. Если ты хочешь, чтобы я обращался к тебе на “Вы”, напиши. Если письма не будет, приму за положительный ответ.

P.P.S. Пишу в совершенно спокойном состоянии. Решения не изменю. Жду ответа.

Воля.”

Я так и не знаю, дошло ли это письмо до отца, потому что я послал его через Веронику, дабы все ознакомились с ним. Она могла не передать его, но что мать читала - доказывается тем, что она сняла с него копию, со множеством описок, по которой я и цитирую, не исправляя даже грамматического рода у французского артикля. В те дни она бесспорно не хотела бы передавать такого содержания послание, как видно из ближайшего по дате сохранившегося ее письма ко мне:

“28/XI-46

Здравствуй, милый Волик!

Что же ты мне не пишешь то? И папе ведь обещал написать. Я то пишу неожиданно, как я не думала писать, а собиралась я ехать сама к тете Зоне с извинениями и пр., а оттуда с тобой вместе домой, но папа уехал срочно в командировку на два месяца в Тбилиси, поэтому моя поездка отложилась, и пришлось писать, квартиру же я не брошу.

Волик, ты как получишь это письмо, так немедленно иди брать билет и приезжай домой. Мы с папой решили, чтобы забыть то, что было и никогда не вспоминать старое. А жить на два дома, ты сам понимаешь мы не сможем, жить же на иждивении тети Зоны и заставлять их голодать, это ты сам не позволишь, ведь наверное ты и сам сейчас чувствуешь как им тяжело жить. Форму номер 7 очень трудно было получить, но я все-таки добилась, получила, но без прописки она там не нужна, а метрику тебе я не буду посылать, т.к. надеюсь, что ты не затянешь отъезд. Со школой мы уладим, возьмем справку, что ты был болен. Дома сейчас у нас полный покой, тепло очень, всего хватает. В твоей комнате особенно тепло. Жду тебя к 1-му декабря, поэтому много не пишу обо всем поговорим лично. Очень жалею, то я не смогла приехать сама. Скорее же приезжай, теперь ведь тебе легче ехать багажа нет. Корзину хочешь бери пустую, конечно но, хочешь там оставь.

Я начала тебе меховой пиджак шить, а примерить не на кого, скорее приезжай.

Целую тебя крепко, крепко мой милый мальчик.

Письма не жду уже, т.к. надеюсь дня через четыре видеть тебя дома.

Правда, деточка моя, я тебя очень хорошо понимаю, тебе трудно еще перебороть себя, но ты ведь мальчик рассудительный и поймешь, что тебе надо кончить школу, дома ты сможешь это сделать, квартира материальное положение все это у нас сейчас есть, а жить у тети Зоны в приживальщиках ведь ты же не будешь, да и она держать не будет. А погорячились вы с папой одинаково поэтому пусть у тебя возьмет верх рассудок, а не чувство. Кончишь школу, тогда сам хладнокровно решить как будешь жить, а что у тебя будут все условия кончить школу в нашей обстановке, я в этом твердо уверена.

Ну, еще раз целую и жду.

P.S. Обязательно дай телеграмму о выезде, выйдем встречать.

Твоя мама.

Ленинград 3/XII-46 г.

Здравствуй, моя милая, дорогая мама!

Вчера получили твое авиа-письмо - не порадовало оно меня! Ой, как не порадовало! Как убитый я вчера ходил, да и сегодня отвратительно чувствую себя. Ну, скажи ты мне по-правде: веришь ли ты, что у нас не повторится больше “сцен”? Сколько раз он клялся тебе, в Магадане, в Ростове, в Москве? Чего тебе надо? Зачем ты поверила ему? Что могло удержать тебя: любовь - но разве после всех оскорблений, после этого презрительного и подлого его отношения к тебе могла сохраниться в тебе хоть капля любви, хоть капля обыкновенного уважения; привычка - а, если бы он умер, пришлось бы тебе переезжать; нежелание разбивать семью - она уже разбита; я уже вырвал его из своего сердца, забыл о нем, а, когда мне напоминают, чувствую к нему лишь презрение и жалость, да, иногда, ненависть. Ты, я думаю, читала мое к нему письмо. Если ты знаешь его адрес, сообщи мне его и перешли мое письмо у нему.

Ты пишешь, что вы “решили, чтобы забыть то, что было, и никогда не вспоминать старое”. Так, так. Во-первых, как можно забыть все это? Я говорю не про то, что было 7/XI, нет, все, все, что было я никогда не забуду. Во-вторых, он мне ничего про это не писал. И, если я приеду, это лишний повод дать ему сказать: “Ну, вы...! Сколько раз я вас из дому выгонял, а вы все возвращаетесь сапоги мне лизать”. И ему не скажешь, что он сам звал: документа нет. А, что он скажет это, я не сомневаюсь, через месяц или через год (не позже) - безразлично.

Я домой не вернусь. Если ты будешь настаивать на моем возвращении, если ты не вышлешь мне метрики, формы №7, квитанции об уплате за учение (если не вышлешь последнего, то я вынужден буду либо бросить школу, либо последние 100 рублей отдать) то я, конечно, вынужден буду выехать из Ленинграда, но от Ленинграда до Москвы расстояние большое, мало ли что может случиться в дороге: отстал от поезда, попал под поезд, заболел и умер - все может быть; и я чувствую что если я выеду из Ленинграда, то домой я не приеду. Если ты хочешь этого, то не высылай, пожалуйста, да, в крайнем случае, если ты приедешь за мной, довезешь благополучно до дому - у нас перед крыльцом перекладина толстая. Итак, все зависит от тебя. Вот тебе ответ на последнее возражение “семью разбивать”. Тарелка разбилась на три части. Две приставили, склеили, а третью взяли - она и рассыпалась. Лучше уж оставьте меня в покое, да вышлите мне все документы. Я не пишу про вещи: не вышлешь - пожмусь, пожмусь, и обойдусь, вышлешь - спасибо.

Там вы (“штаб-квартира”) прислали мне приказ: “Возвращаться немедленно”. Ой, не думаю я, чтоб тетя Женя одобряла это, да вы все не твердо уверены в том, что “война окончена”.

“Пусть в тебе возьмет верх рассудок, а не чувство”. Я с 7/XI живу одной головой, сейчас мне поддаться чувству - значит загубить себя. А если я отправлюсь в царство теней, то, по крайней мере, ругани слышать не буду. Вот мне удобный случай расквитаться с жизнью.

Резюме: До 1/I-47 г. я жду. Так мы все решили (т.Зоя, д.Орест и я), правда, по другим причинам, чтобы школу не прерывать, etc. Но, если ты не вышлешь мне квитанции, то все равно, школу бросить придется. В этот срок (письмо ты получишь числа 10/XII) ты мне вышлешь метрику, форму №7, заявление о том, что ты передаешь опекунство надо мной т.Зое или д.Оресту (чтобы прописаться, мне надо быть вписанным в чей-то паспорт) и квитанцию о плате за право учения. Неплохо было бы выслать денег - но я знаю, что ты потеряла 300 рублей, поэтому не настаиваю. Если ничего этого не пришлешь - Farewell - прощай, больше я тебе не напишу. Целую. Воля.

Самое лучшее было бы, если бы ты сама приехала сюда со всеми вещами - устроиться очень легко, но это химера.

10-/XII-46 г.

Москва

Здравствуй, мой родной, дорогой мой мальчик

Детка моя, почему же ты мне то так редко пишешь? Милый мой Воленька, ну, что за письмо ты прислал, просто недостойно оно тебя, ты же пишешь, что “ты живешь рассудком”, а из письма этого не видно. Уж такое упадничество. Ни к чему это совершенно. Я же тебе говорю, что все все будет по-хорошему. ты хочешь доучиться до конца четверти, это разумно и правильно, вот тут я узнаю тебя, да, вот у меня заговорило материнское чувство. так мне одной скучно и тяжело стало, что я тебя немедленно вызывала. Но ты прав, дорогой мой мальчик! Доучись до конца четверти. Попроси, чтобы тебе числу к 28-му выставили отметки, а 29-го выезжай. Может быть, если я найду кого оставить дома то я сама за тобой приеду к 28, так чтобы 30-го быть уже дома, а 31-го тетя Женя со всеми чадами и домочадцами будет у нас встречать новый год. Тетя Рона тоже с дядей Лерой. Так что нам надо к 31-му быть дома. Между прочим Волик, до конца то четверти еще и от отца ты что нибудь получишь, адрес я его еще не знаю, т.к. он писал только с дороги, ведь ему 5 дней ехать. А насчет того, что он что нибудь скажет, нет Волик, я уверена, знаю, что он никогда и не вспомнит. Если бы у меня не было этой веры, то я бы уж была в Ленинграде. Да, если я по его письмам почувствую, что может вернуться старое, то я и сама уеду к тете Зое. В этом ты можешь не сомневаться.

С Анной Ивановной посылаю что могу, документы тебе не нужны, чтобы кончить четверть. очень мне только больно, что я тут кушаю прилично. Ты только не волнуйся, это главное, все внимание обрати на учебу, а вы голодаете. Хлеб я не тебя в Черницыно не получаю, т.к. форму №7 я взяла, а тебе не послала, т.к. она все равно уж на декабрь бы не поспела и у себя сдать опоздала коменданту. теперь, чтобы на январь получить, надо завтра сдать ее здесь, а то и в январе будем без хлеба.

Милый мой Волик, не огорчай меня, не обижай, пиши мне. Читать твое письмо, даже такое безтолковое, взволнованное и то мне было все равно, что слышать твой голос. Я жду от тебя письма, чтобы ты описал хоть немного свою жизнь, как твое здоровье, отметки? Как ты проводишь свободное время. Напиши Волик обязательно, ведь я же с тоски пропадаю одна то. Наташа шлет привет, ждет тебя к Новому году. А ребят я не видела давно. Наверное и они ждут.

Ты напрасно думаешь, что тетя Женя не одобряет твое приезд домой, наоборот все решительно ждут тебя и уверены, что все будет по-другому. У нас морозы сильные, и я топлю печь для одной.

Очень мне хочется поехать за тобой, но не знаю на кого же дом бросить. Если не смогу приехать, то уж тебя жду 29-30го. О документах ты не думай и не беспокойся, четверть кончишь, они не помеха, а там видно будет.

Ну, до-свиданья, мой родной, сыночек. Целую тебя крепко, крепко. Жду не дождусь, когда увижу. Да, между прочим, письма для папы мы ведь так и не получили, ты второй раз о нем спрашиваешь, а письма то и нет. Как узнаю его адрес, сообщу тебе телеграфом. Да он наверное и сам напишет. Ну, досвиданья, целую нечетно раз. Привет Скорикам. Жду письма и приезда.

В это письмо, где она врет мне, будто бы не получила письма для отца, которое она между тем собственноручно скопировала, она для убедительности вложила записочку от Наташки, звавшую меня скорее приезжать. Но меня тогда больше всего насторожила ее просьба писать “до востребования” - что-то очень неладное творится в Раисино! Следующее ее письмо от 13.12.46 целиком посвящено посылаемой ею с Анной Ивановной (Горской, соседкой Макаровых по квартире) пошитой ею же меховой курткой и связанным ею же носкам. Зовет и думает приехать за мной. Пришло еще прохладное письмо от тети Роны, где она извещала меня, что мое письмо отцу не успела вручить тому до его отъезда, но никаких мнений надо ли мне возвращаться или нет - не высказывала. Впрочем, из текстов сохранившихся писем видно, что были еще несохранившиеся. И вдруг внезапно, без перехода, телеграмма от 19.12.1946:

“Выезжаю ближайшие дни навсегда отправлю малую скорость = Лара”.

А за телеграммой - письмо:

“22/XII-46 г. Здравствуй, милый Волик!

Ты что же мне опять не пишешь? Ну, что это Волик, право! Я ведь одна, как в лесу. Отец тоже ничего не пишет. Ну, вот я и пришла к заключению, что поеду и буду жить и работать одна. Это, Волик, не радость, не увеселительная прогулка, а тяжелая необходимость. Ну, уж, раз решила, то выезжаю. Завтра отправлю вещи, а сама остаюсь сторожить квартиру и вещи, которые отцу оставила. Очень хотела выехать сегодня завтра, но это не по-честному, уехать не дождавшись человека и бросить тихонько его дом. Нет, не честно я не могу поступить. Учись, детка, хорошенько, получай табель обязательно. ты у меня ведь теперь одна радость в жизни и не только радость, но и опора в трудную минуту. Ты один только. Как нибудь проживем. Люди хуже переживали. Как твое здоровье, уши? Пиши мне, лапанька, родная! Ты, что же мне не написал, не поблагодарил даже за пиджак? Досвиданья, мой дорогой, мой милый Волик. Жду встречи с тобой. Пиши и не прерывай связь, пиши чаще обо всем.

Твоя мама”.

24 декабря получена телеграмма, что вещи уже отправила. Я не задерживаюсь, сразу же отвечаю:

“Ленинград 25/XII-46

Здравствуй, моя дорогая мамуля!

Ну, спасибо тебе за то, что ты, наконец, решила ехать. Ведь единственное разумное, что можно сделать - все пошло бы по-старому, если бы ты не решилась. вот у меня недавно болел зуб, я терпел целую неделю - а потом не вынес и пошел к врачу, пришлось рвать. После этого еще немного поболело то место, где он был, больно было когда рвали - зато сейчас забыл обо всем. Так и у нас: “зуб” болел 3-4 года (если не больше), клали мы на него различные лекарства (т.Зоя, я в Ростове, т.Женя в Москве), пломбировали его, а он, как зуб после мышьяку, еще сильнее после мирных периодов болел. Так не лучше ли его вырвать? Я думал обойдется “без боли”, но (тут лишь ты виновата, что задержалась), видно боль будет, и будет сильная. Так лучше поскорей, скорей! Устроиться тебе в школу в середине года будет почти что невозможно, но в пригороде гораздо легче: я сам слышал по радио, что в какой-то пригород требовался инженер(?)-химик, давали квартиру. Так что это перемелется, мукА будет, а там - мУка. Но надо поберечь деньги, на первое время. Для этого поскорей приезжай сюда. Ты пишешь, что это будет нечестно по отношению к “papa”. Ну, мама, тут нельзя так считать. Или ты хочешь, чтобы он приехал и не пустил тебя, а стал бы по суду требовать возвращения вещей? Ведь помнишь, что было, когда вы пришли с д.Лерой к нему. Нет мама, от него все возможно. Лучше приезжай, не трать деньги, и, знаешь, как я по тебе соскучился. А его совсем не жалко. Я уже этот “зуб” давно вырвал. Приезжай, милая, умоляю. Хорошо, что послала метрику (кстати, ценного письма мы пока еще не получили), она мне может скоро понадобиться. Но без прописки форма №7 не нужна, а, чтобы прописаться, надо быть вписанным в чей-нибудь паспорт. Поэтому приезжай до Nouvel An, чтобы я хоть на тот месяц карточку получил. Ты-то не получишь, пока на работу не устроишься, но как-нибудь. Такое бытие определит сознание в лучшую сторону, чем “бытие” ростовское, московское.

Извини меня очень за то мое к тебе письмо. Я слишком резко его написал. Но я был так расстроен твоим письмом, просто на знаю! И потом два твоих письма тоже прямо разрывали сердце. Ведь я чувствовал, что это минутное примирение погубит нас. Нет, разбитый стакан еще можно склеить, а семью разбитую - никогда! Я как раз читаю “Анну Каренину” - это меня еще больше убеждает в моей правоте. Зато последнее письмо просто бальзам мне на сердце пролило. Я “визжал и плакал” от радости. Наконец-то ты поняла! Ура! И зачем ты скрывала в предыдущих письмах свое плохое самочувствие? Ведь я понимал, что ты скрываешь это от меня, но все-таки, неприятно было читать твои письма, такие радостные, а у самого кошки на сердце скребут.

Ну, приезжай скорее, мамочка. Не жди его, родная. Ведь он тебя не отпустит. На коленях умолит остаться. Ты ему нужна как домохозяйка и существо, безмолвно выносящее его настроение, плохое или хорошее. Приезжай, приезжай. Дорогая, милая, целую.

Воля”.

“27/XII-46 г. Москва. Здравствуй, дорогой Волик!!

Ну, что ты, деточка, заставляешь меня так нервничать? Что ты не пишешь ничего. Я не могу так просто. Просто истомилась, ничего о тебе не знаю. Ведь неизвестно сколько я здесь проживу, должна же я быть в курсе всех событий, дел и обстановки в твоей жизни. Я тебя обязываю хочешь - не хочешь, а через день пиши мне открытку-отчет, это не дорого, не трудно, не отнимет много времени, мне для спокойствия совершенно обязательно. Сколько я должна узнать: какие у тебя отметки, это ведь целое письмо уж будет. Как тебе школа, какие товарищи, учителя? Головные боли? Как пиджак? Как дела с хлебной карточкой? Как питаетесь, я уж чувствую и примерно знаю, что же делать, ничем не поможешь. А вообще ведь жизнь то у тебя идет своим чередом вот об этой, пустяковой даже, пускай, жизни, ты и пиши мне через день. Был в кино, напиши, был в бане - напиши. К новому году, надеюсь получу от тебя письмо, это будет мне подарок. У меня все по-старому: от отца нет ничего (ты его стиль не перенимай в смысле писем), я дала ему телеграмму, что уезжаю совсем и жду его до первого. Но ведь ты же понимаешь, что я этого не сделаю. Бежать от страха, от опасности не в моем характере. Будь, что будет, очень боюсь, но уехать тайком как “тать в нощи” я не могу. В усадьбе все, конечно, знают, что я вывезла вещи, обо мне ходят нехорошие слухи, разные кривотолки, я переживаю много неприятностей, но... это все вполне закономерно, без этого такие дела не делаются и все равно от этого не уйдешь. Хорошо, если этим всем кончится, может быть хуже. Вот и терплю. Вещей у меня никаких нет, все на Мерзляковском, я только ночую, обедаю дома, топлю печь, вообще совершенно без пользы провожу время, уехать надолго мне нельзя, т.к. подумают, что я уехала совсем и вытащат все отцовские вещи, а потом скажут, что я вывезла. Вообще все не важно. Новый год буду одна в квартире, постараюсь уснуть. А ведь ты знаешь свою маму? Знаешь, как я люблю чтобы Новый год мы были все вместе. Вот впервые нарушается наша традиция. Ты то будешь не со мной. Желаю тебе иметь хорошее доброе настроение в Новом году. Желаю спокойной жизни вместе, одних пятерок, здоровья, чтобы хватило и на меня и на тебя. У меня, Волик, настроение очень бодрое, я уверена, что мы с тобой не пропадем. Конечно, очень будет трудно первое время, но переживем и все забудется, жизнь долга. Целую тебя, моя детка, родная. Ты хоть бы написал, скучаешь ли ты по мне вспоминаешь ли. К Новому году “разорись” пошли письмо авиа почтой, только обязательно до востребования, мне здесь ближе.

Будь здоров, дорогуша. Покажи письмо тете Зое, чтобы отдельно не писать. Пиши же через день. Твоя мама”.

Перечитывание - медленное, со скоростью переписывания - писем того времени лучше всего подтверждает мысль Гумилева, что “мы меняем души, не тела”. Сейчас, когда у меня почти не осталось зубов, я совершенно иначе отношусь к вырыванию зуба. И доводилось мне терпеть зубную боль безо всякой возможности унять ее в течение сроков, перед которым недельные мучения кажутся мизерными (ср.§11 гл.5). И не сбылась убежденность матери, будто “переживем и все забудется”. Нет, напротив, чем дальше уходил в

прошлое этот разрыв, тем больше мне о нем думалось, тем новые аспекты открывались в нем.

В самом начале января 1947 года мать приехала. Документы рисуют четкую картину, ту самую, которая прочно сложилась у меня самого на много лет и которая в значительной мере оказала влияние на мой формирующийся характер (напомню, что в 1946 году мне исполнилось 15 лет): я принял решение о разрыве, мать колебалась и готова была примириться, но я настоял и она бросила мужа, уехав туда, где был я. Твердость, упорство, правота, сила воли, ответственность за мать, принятие бремени ответственности на себя - вот ассоциирующиеся с этим мотивы моей душевной жизни в ближайшие годы. Я однако не знал некоторых обстоятельств. тех “подробностей”, обнаружение которых в давно известном историческом материале опрокидывает прежнюю картину и сменяет ее другой. Вот они.

На мать в Раисино, пока Щербаков был во внезапной и очень важной командировке в Бакуриани (а не в Тбилиси), где каких-то ценных пушных зверей косил неведомый мор и где его диагноза ждали как манны небесной, где он не знал ни сна ни отдыху, обрушилась та сбивающая с ног и топчущая беда, которая только может обрушиться на женщину: в Раисино заявилась ее соперница. Каким-то образом Терпоносян выведала адрес Щербакова и написала на Раисино. Не получив ответа (я твердо убежден, что сам отец с ней не переписывался), она через несколько дней с Александром пришла лично (ему было лет 10-12) - и наткнулась на Ларису, старательно чистящую гнездышко к предстоящим приездам сына и мужа; она, кажется, еще и шила что-то для Вани. Последовала сцена по Достоевскому, но без предварительной игры в благородное “уступлю”, а враз полились помои. Едва очухавшись от “армянского базара”, Лариса кинулась дать телеграмму, что выедет в ближайшие дни навсегда, наскоро упаковала вещи и отправила их. Щербаков, получив от нее телеграмму, где также не говорилось ни слова об Евгении Терпоносян, а только была невнятно искуроченная телеграфом угроза немедленно уехать, сделал все, дабы сократить срок командировки, какой-то диагноз не довел до конца (но основное выяснил, узнал способ остановить эпизоотию) и примчался - самолетов не было, пять суток поездом - в середине января. Ну, конечно, пробовал телеграммами добиться прояснения. Кажется, Терпоносян наведывалась не раз, и мать уехала, не дождавшись отца, в результате очередного ее визита. Уж покрали ли вещи - а в сельской местности принято разворовывать дом без хозяев; у нас в Красном Затоне в 1973 году после недельного нашего отсутствия вычистили из дому коньки и магнитофон, а с клумбы цветы выкопали - я не знаю, но отец не один раз хмуро дышал над стаканом мне:

- Воровски уехала. Мои вещи увезла.

Ничего этого я тогда не знал. Я не ведал даже о существовании какой-то Терпоносян. Не знал о его жизни на Кубани и, как видно из моих писем, воображал, будто его отсутствие в моем детстве объяснялось его командировкой в Среднюю Азию.

Так вот распалась наша семья. И сам я действовал, и у меня на глазах, а бог ты мой, какой важнющий фактор я не приметил! Не говорю уж про то, что о сексуальной стороне я ничего не ведал. Подобно эпизоду с приездом Уоллеса мы все действовали каждый в

своем собственном пространстве, не догадываясь о тех измерениях, в которых перемещается партнер, понятия не имея о воздействующих на кого силах, “полях” и предрассудках-установках.

§7. Ленинград. Стабилизация быта

На Ломанском переулке; школа №155; вступление в комсомол; восстановление дипломатических отношений с отцом; мои впечатления от Эстонии; переезд на ул.“Правды”; исключение из школы и школа №321; выпускные экзамены и поступление в университет; отец в 1948

Когда в ноябре 1946 года я заявился к своей тетушке Зое Михайловне со своей корзинкой и письмом от матери с просьбой приютить меня на время, пока окончится ее ссора с отцом, никого дома не было. Но жили они в коммунальной квартире - где им принадлежала одна комната - и дверь мне открыл сосед. Грустно, что я забыл его имя-отчество, ибо его доброта и чуткость сыграли важную роль в моей судьбе. Фамилия его была, кажется, Евдокимов. Был он очень пожилым по моим тогдашним представлениям, работал учителем в школе, кажется, преподавал литературу, и был весьма культурным интеллигентом - думая, тут уже не надо добавлять “по моим представлениям”. В силу этой интеллигентности он не хлопнул дверью перед поим носом: нету, мол, никого их дома! Он впустил меня в прихожую и стал деликатно, но точно расспрашивать о причинах визита. Он, конечно, видел мое возбуждение - ведь я же жил в мире развала семьи, борьбы против тирана-отца и т.п. - но о причинах возбуждения он не спрашивал; лишь сам факт возбуждения явился для него основанием внимательнее отнестись ко мне. А разговаривал я довольно культурным языком, грамотность моя перла из меня и при моем замурзышном виде и облике моложе своих лет производила заметное впечатление. Когда же к слову привел цитату из “Былого и дум” - отнюдь не входившего в школьную программу произведения - он ввел меня в свою комнату (у них было две комнаты, его была проходная), по всем стенам уставленную стеллажами с переплетами XIX века. В это время суток дома был он один, его жена Анна Ивановна Горская была на работе, а сын Зарик (Святозар?) тоже отсутствовал. И мы с ним несколько часов всласть наговорились о Герцене и о всех смежных писателях и политиках. Похоже, что его жена, служившая какой-то шишкой в районе и вполне впитавшая все очередные советские директивы, не слишком-то поощряла его размышления на эти вольнолюбивые темы, поэтому он был в восторге от того, что есть с кем поговорить, и от того, что в молодом поколении имеются молодые люди, для которых имя Герцена - не кимвал, бряцающий в речах ждановых, а вдохновляющий и притягивающий мыслитель. С сыном же своим у него, как, увы, у многих отцов, не наладилось отношений взаимопонимания, такой разговор был исключен. Кажется, как и положено мужчине, он не подумал напоить меня чаем с дороги, но зато стал показывать книги, большинство которых, увы, я еще не умел оценить в полной мере. Позже, подросши, Зарик обеспечивал себе карманные расходы кражей и продажей (за гроши тогда) отцовых книг.

Потом пришла тетя Зоя и с ней Орест Николаевич; они работали в одном Гипроречтрансе и уходили и возвращались с работы вместе. Впрочем, на службе сидели в разных кабинетах и не были взаимно подчинены. Транспорт в то время полз редко, так что с

работы, расположенной в центре Ленинграда до Лесного д.13/8 кв.5, где они жили (первая остановка трамвая за улицей Боткина), езда отнимала более часу. Не порадовались моему приезду тетушка с дядюшкой, да и повод был не к радости. Но в крове не отказали, и в пище - тоже. Определили меня жить не у них, а у свекрови - матери Ореста Николаевича - Натальи Макаровны Макаровой, проживавшей в комнате (тоже в коммунальной квартире, но с гораздо большим числом соседей) поменьше на Ломанском переулке д.5/2 кв.2. Этот переулок позже переименован в ул. комиссара Смирнова по отвратительной слуховой безвкусице тех, кто правомочен переименовывать. По существу оба дома помещались рядом, в одном дворе почти. Сама Наталья Макаровна с этих пор ночевала то в своей квартире, то в квартире своего сына, где она еще и вела хозяйство. Мне она казалась старенькой, сухой, совсем неграмотной, вечно сердитой, я ее боялся пуще дяди Ореста, и никаких добрых воспоминаний о ней в памяти у меня не осталось. Впрочем, сколько я помню, она обычно молчала, и, если я ощущал в этом молчании суровое осуждение, то ведь, может быть, мне это мерещилось? Может, она молчала, сочувствуя мне? Или молчала, вовсе обо мне не думая? Нет, она молчала мне, нажаловавшись своему сыну - самый отвратительный вид жалоб за глаза.

Стоят: Р.И.Пименов, Вероника Пименова, друг семьи Всеволод Ашметко (секретарь парткома Колымы). Сидят: Зоя Пименова (Макарова) и ее муж Орест Макаров. Ленинград, около 1950 г.

Когда же приехала моя мать, я остался жить на Ломанском, а мать поселилась с сестрой Зоей, так что спали мы с ней под разными крышами, отчего лишь теплее и нежнее бывали наши ежедневные встречи. Но жили мы, как сказали бы теософы, лишь своими физическими телами под этими крышами. Ибо наши юридические тела не проживали вовсе нигде. Ведь в Советском Союзе существует такая операция, как ПРОПИСКА, причем в соблюдение дореволюционных традиций этому термину придается разрешающий смысл: акт прописки не есть акт информации со стороны гражданина, что он поселился там-то и уведомляет об этом регистрирующие органы министерства внутренних дел; акт прописки есть акт разрешения со стороны регистрирующих и регулирующих органов этого министерства гражданину поселиться там-то. В Ленинграде тогда существовало немного прописочных ограничений: еще двух лет с конца войны не прошло, народу наехало немного; уйма зданий была разрушена, но еще кое-где пустовали лишь слегка поврежденные квартиры. Так, кажется, именно в 1946 году, вернувшись с фронта, Виктор Абрамович Залгаллер получил разрешение занять разбитую снарядом чью-то шикарную трех- или четырехкомнатную квартиру в

старинном доме на Красной улице при условии, что он ее восстановит за свой счет и сам подведет все нужные коммуникации. Он это сделал своими руками и зажил в завидном комфорте. Но непременным условием прописки семьи было, чтобы хоть один член ее работал. Матери предстояло отыскать работу. отсутствие прописки лишало продовольственных карточек, а это сказывалось уже не столько на юридических телах, сколько на физических. Но очень уж долго пришлось ей искать работу: уже с 22 февраля 1947 года она значится воспитателем детдома №4, что где-то около Парголова. Но до 22 февраля нам обоим дожить надо! Да и потом она заболела, провела в больнице около двух месяцев, так что денег выкупать паек не было. Сколько она получала, не помню. Но облигаций займа за 1947 год у нее было на 625 рублей. Подписывали обычно всех на сумму месячной зарплаты. Не знаю, как обстояло дело с теми, кто работал не полный год? Словом, бедствовали мы ужасно. Бывали дни, когда мы ничего не ели, кроме супа из луковицы: варишь, варишь луковицу с солью, а потом ложкой хлебаешь “навар” от нее и на закуску в качестве и.о. мясного куска съедается самая луковица... Никогда еще в жизни я так скверно не питался, да еще выделяясь на фоне окружающих, которые худо-бедно были обеспечены продовольственным пайком. Для тех, кто родился позже, поясню, что даже государственные цены на еду в то время были довольно высоки; практика снижения цен на продовольствие началась в 1948 году и рядом снижений эти цены были доведены до того уровня, на котором до сих пор, хоть и в другом масштабе, условно сохраняют с 1954 года цены на хлеб, картошку и кое-что другое. Нас буквально спасло то, что во время пребывания матери в больнице у нас вдруг оказались еще чужие карточки. Мать всегда неохотно упоминала про этот эпизод, уходила от расспросов, ограничивалась словами, что, мол, нашла эти карточки в больничном коридоре. Не служащие, а рабочие. Нашла в начале месяца непочатые еще карточки, уже прикрепленные в таком-то магазине - бери и покупай. Я уж не стану строить догадок о происхождении этих карточек, но выручили они нас здорово. Конечно, сыты от них мы не были, но хоть одна пайка хлеба на двоих стала перепадать, чего мы уже месяца два до того не видели.

Через некоторое время положение еще улучшилось тем, что мне в школе выделили УДП - усиленное детское питание. Во-первых, бесплатное, во-вторых, одна кормежка в день обеспечена, с горячим. Мое юридическое тело и до прописки в некотором “размытом” виде присутствовало в Ленинграде. Дело в том, что Евдокимов уговорил свою жену пойти на нарушение формальных инструкций, запрещавших принимать в школу детей, не прописанных в районе нахождения школы, и она велела своей хорошей знакомой директору или завучу школы №155 принять меня без оформления документов в девятый класс. Фактически я начал учиться сразу же по приезде в середине ноября, но в табеле записано, что я поступил 20.12.1946. Тут очевидно прав я, а не документ, ибо в том же документе я АТТЕСТОВАН по всем предметам за вторую четверть, а кто бы взял на себя труд и смелость выставлять оценки ученику, поступившему за неделю до конца четверти?! Видимо, до того я просто сидел в классе, куда меня пускали, дабы мальчик чему-то учился, даже если до конца года уедет в Москву назад, а когда сделалось ясно, что до

конца четверти я не уеду, то решили меня аттестовать, чтобы “четверть не пропала”. Тут у меня три тройки: по русскому письменному, по алгебре, и по военному делу; четверки по литературе, физике, химии, английскому, а прочие пятерки. Забегая вперед, годовая у меня по всем пятерки, кроме химии, по которой осталась тройка (ох, и не мог я терпеть органической химии!), да четверки по русскому, литературе и военному. В школе вообще ко мне относились все хорошо: учителя видели, какой я истощенный, и знали, что дирекция как-то невредно мне покровительствует. Ученики видели, что я свой парень, быстро сходившийся со всеми в классе, никогда не отказывающий в подсказке. Поэтому, когда по желанию матери я решил вступать в комсомол в марте 1947 года, никто не отказал в рекомендации по мотивам “слишком недавнего знакомства” и вообще этот формальный предлог не возник, казалось, мы все знаем друг друга давным давно. Получил я свой билет №25 649 727. До чего жутка моя фотография на нем! Когда у классной руководительницы возникла идея организовать коллективную помощь нуждающемуся ученику, все соученики откликнулись охотно, и около 150 рублей было собрано и мне вручено примерно в апреле; помню, земля была мокрая и черная. Но и я сживался с коллективом вовсю: мы все дружно мотали с уроков: зимой, в холода - в кино, а весной - бродить по улицам, паркам и окрестностям. Не случайно у меня в табеле за четвертую четверть значатся 110 пропущенных уроков, в том числе “по уважительным причинам” всего 50, а отметка за поведение сползла с пятерки на четверку. К слову сказать, один раз, когда мы так умотали с уроков в кино (ведь тут главное наслаждение - суметь раздобыть свое пальто из гардероба, где его не выдают до окончания уроков!), в темноте кинотеатра у меня сперли шапку - неплохую меховую шапку.

Первый раз у меня пропала теплая шапка еще в Ростове, когда я лез с приятелями в какой-то клуб то ли на вечер, то ли на кинофильм, а в давке при входе кто-то сбил с меня шапку или сорвал умышленно, наверное, забросив ее в сторону, дабы я , пробившийся уже к самым дверям, отошел в ее поисках, а он бы стал на мое место и ворвался бы; трюк, к которому и я прибегал в Ростове. Но было темно, шапки я не нашел и, когда вернулся домой, то получил трепку и за потерю ее и за то, что без спросу и не выучив уроков и сделав чего-то по хозяйству, ходил на этот вечер. Видимо, воспоминания об этом прецеденте и страх перед неумолимым Орестом Николаевичем побудили меня смолчать о пропаже шапки, тем более, что я совершенно незаконно оказался вместо школы в кино, а на вопрос, где взял деньги на билет, был бы вынужден признаться, что проник без билета... Итак, я недели две в крещенские морозы - а тогда на Неве не взламывали льда, так что холода поблизости от Невы стояли покрепче нынешних - путешествовал трамваем с Лесного через Литейный мост по Литейному, затем по Некрасова до Мальцева рынка, а оттуда бегом до Греческого проспекта мимо тогда еще стоявшей Греческой церкви к школе - и обратно. Когда тетя Зоя обнаружила пропажу, она даже не предприняла попытки провести следствие об обстоятельствах исчезновения, и лишь спросила:

- Почему же ты ничего не сказал, что шапка пропала?!

- Меня же никто не спрашивал, - ответил я, и идиотическая афористичность ответа запомнилась на много лет. Потом она нередко начинала беседу со мной внезапным вопросом:

- Шапку у тебя сегодня не украли? А пальто? А ботинки? А вчера что-нибудь пропадало у тебя?

Но она тут же выдала мне из своих запасов какую-то шапку не хуже, и экипировка моя урона не потерпела. Вообще в те года она помнится мне мягкой, понимающей и заступающейся. Действующей в духе ее надписи на подаренной ею в том же 1947 году мне записной книжке:

“Себя суди ты только строго,
Других ошибки забывай.
Всегда иди прямой дорогой
И никогда не унывай”.

Позже, с возрастом, она стала перенимать суровость дяди Ореста, а с его смертью словно бы заменила его в непрощающем отношении к другим людям.

За компанию вместе со всеми ребятами из школы я не только хулиганил, но и участвовал в олимпиадах: шахматной, математической и физической. Сначала какой-то отбор производился в школе или районе, а затем мы гурьбой человек в пять-десять вваливались в Дворец Пионеров, что на углу Фонтанки и Невского. Пожалуй, это те редкие случаи, когда я бывал в центре Ленинграда. Обычно-то мои тогдашние прогулки и деловые поездки все ограничивались Выборгским районом: в поисках сливок для матери, когда врач прописал их ей от астмы, я ездил на Нейшлотский и Муринский. Привлеченный известием о казни генерала Власова, я ездил на Кондратьевский, где они были повешены. С ребятами мы обычно бродили в сторону Александро-Невской Лавры по Второй Советской. В “центр” - на угол Литейного и Невского - изредка езжали, ибо там располагался коммерческий магазин, в котором по высоким ценам, но без карточек, продавали еду. Раза два бывали мы с матерью в соседнем кинотеатре “Титан”. Но это все - не старый Петербург. Тот заветный треугольник между Невским, Фонтанкой и Невой я оценил лишь в университетские годы. Конечно, меня заставили в первые же недели по приезде в Ленинград сходить в Эрмитаж, но он не произвел на меня никакого впечатления, да, признаться, и при последующих посещениях самым главным впечатлением от него бывала академическая скука, кроме разве лишь описанной в §8 гл.1 выставки Пикассо, но это же Пикассо, а не Эрмитаж! Да, так вот, попал я в Аничкин Дворец на какую-то олимпиаду. Будучи полным дикарем по части и архитектуры, и истории Ленинграда, я не впечатлился ничем, кроме разговоров, которые вели с претендентами на призовые места те или иные профессора. Очень запомнилась мне мягкая, уважительная - ко мне-то, шпаненку из IX класса - речь Гельмана, отбиравшего кандидатов на физическую олимпиаду. Он, даже задавая контрольную задачу, словно бы советовался со мной, прося меня помочь ему решить эту проблему. И как он выговаривал имя “Уатт”, не уатт, не ватт, а с неуловимым переплывом “у” в “в”, слогового в неслоговой! Но особых успехов на олимпиадах я не достиг, да и не предполагал: я

ведь участвовал в них “за компанию”. Задачи на математической олимпиаде были значительно примитивнее, нежели в семидесятых годах, когда в них участвовал мой сын.

Той же весною я получил паспорт по достижении 16 лет, серии XXI №15 053, прописан на Ломанском. Удивляюсь, каким образом удалось достичь согласия начальника милиции на избранную мною себе подпись-росчерк: моя подпись производилась на французском языке и в основе ее лежала не фамилия, а имя: Revt с последующим росчерком, перечеркивавшим всю подпись. Но, раз санкционированная как образец подписи на первой странице паспорта, она с тех пор стала законом, и до сих пор в сберкассах я так подписываюсь, и в книжных абонементах, и сбивал с толку этой подписью всех начальников тюрем и каптеров лагерей и пересылок. Перечеркивание же собственной подписи по науке графологии означает суицидные тенденции в натуре подписывающегося. Верно. В ту весну я предпринял две попытки самоубийства. Один раз крюк таки вылетел из стены в комнате по Ломанскому, и мне потом пришлось как-то выкручиваться перед Натальей Макаровной, объясняя, почему с потолка и стены вывалилось несколько кусков штукатурки. Она молчала. Молчала она и тогда, когда возмущенные жильцы прочих комнат скопом ворвались в ее комнату и уволокли меня в уборную. Дело в том, что они давно - по психологическим меркам давно - обвиняли меня в том, будто я расписываю своим калом стены уборной. Поистине, такая дикая затея была дальше от меня, нежели кайнозойская эра или звезда Сириус. Я вообще так презирал естественные оправления своего тела, что стремился как можно быстрее управиться с ними и смыться из уборной прежде, чем она кому-нибудь понадобится. Желудок у меня был здоровый, запоров я не знал, поэтому мог не засиживаться. А вот тут притаскивают меня в уборную, стены которой забрызганы калом и то ли потеки его, то пальцем проведенные мазки бесспорны. И все галдят, что я последний был, что они следили, что они засаду устроили... Я, конечно, вытер и вымыл стены, но история сия сделалась в моих глазах тем бесспорным примером, который иллюстрирует коллективный психоз, сумасшествие, гонения на ведьм, на Спинозу, Уриеля Акосту и прочих жертв массовой ненависти (хотя я еще не прочел тогда Спинозу, имя это было мне небезызвестно чуть ли не из Герцена или Маркса). Я только недоумевал, за что меня невзлюбили соседи? Я с ними никак не общался. Мать полагала, что их ненависть объясняется тем, что я проживаю не вполне законно в комнате Н.М.Макаровой. Я, не очень вникая тогда в квартирные закономерности, соглашался с нею.

Эта история не прибавляла мне душевного спокойствия, а нервы и без того были на пределе или даже жили запредельной жизнью. Эту весну меня дико мучили головные боли - “мигрени”, как называла их мать. Никакие ни домашние, ни медицинские средства не помогали. Небольшое облегчение на несколько часов доставляли процедуры с электротоком, как-то пропускавшемся через виски или лоб. Помню, когда я ездил на Нейшлотский в коммерческий магазин в поисках сливок, я был совершенно неадекватно возбужден. Так волнуются и кипят, когда решается вопрос о жизни и смерти, а я в таком состоянии ездил в трамвае почти перманентно. Но там на остановке меня какая-то старушка остановила именно замечанием,

что нечего так торопиться. И я устроил ей тут же истерику, бессмысленную и грубую.

Впрочем, не только истерики, прогулы и удрученность. Я изо всех сил учился. Иметь пятерки означало многое: и просто сознание своего ума и способностей. И долг перед матерью, которой я обязан доставлять приятное. И самолюбивое презрение к тем, кто не умеет справиться с заданиями. Мне нужно было доказать самому себе, что я все могу. Так, я затеял собрать радиоприемник на лампах. Провозился месяца два-три, уже не помню, где добывал лампы, собрал, а как только прослушал по нему первую передачу, тут же охладел, больше не включал. Так он и простоял лет пять запыленный, пока постепенно все детали из него я не роздал приятелям. И не последним соображением в учебе было стремление получить золотую медаль, а для этого следовало в IX классе на пятерку сдать те предметы, которые идут в аттестат и которых уже не будет в X классе. Таковой была биология (дарвинизм). Она тогда в школе преподавалась по Лысенко - Презенту со ссылками якобы на Мичурина, но еще без прямого поношения генетиков. В наследство от серьезной биологии в учебнике осталось много второстепенного, не научного материала, связанного с тогдашними научными представлениями о фактическом ходе эволюции. В частности, мы должны были заучивать предков лошади. Лежа на подоконнике, чтобы греться на солнышке, я хореем бубнил:

- Ортогиппус, эпигиппус, мезогиппус, миогиппус, меригиппус, плиогиппус, - и в завершающем экстазе выклинивал вне всякого ритма:

- Эогиппарион!

Тогда я еще не изучал древнегреческого и не мог оценить лингвистических ухищрений почтенных биологов, сочинивших сие древо. Прежде чем перейти к теме, удаленной от Ломанского переулка, перенесусь на тридцать с лишним лет вперед, в конец семидесятых годов, когда, к своему изумлению, вдруг обнаружил, что соседи по Ломанскому переулку, так травмировавшие мою подростковую душу своей несправедливостью - на уровне “мултанского дела”, возможно, были не совсем уж неправы. Как-то в чужом доме, тоже в громадной коммунальной уборной, тоже лишенной стульчака - ибо, дабы не запачкали другие, каждый ходит со своим собственным стульчаком - взгромоздился я орлом на унитаз, так же быстро, как тридцать лет назад, испражнился, подтерся и собрался уходить. В отличие от уборной на Ломанском, тут была раковина с водой (холодной), и я подошел помыть руки, почему задержался. В отличие от тех лет, мне было не пятнадцать-шестнадцать, а под пятьдесят, так что я не так уж торопился к свершению великих дел, которые нетерпеливо ожидают нас в молодости и не дают оглянуться, особенно когда за спиной то, что ты презираешь и на что и глядеть не хочешь, и думать о чем считаешь ниже человеческого достоинства. Тут я оглянулся. И, к своему изумлению, стыду и немного испугу обнаружил, что часть кала не попала в унитаз, а лежит на краю раковины. Я быстро понял, что в моей позе и конструкции именно этого унитаза привело к такому результату, устранил результат, не дожидаясь постановления домового комитета, но по ассоциативной привычке своего мозга припомнил ту, погребенную в немыслимом прошлом, историю. Ведь

могло же случиться и тогда, что я, по высокому невниманию к этим презренным мелочам естественных нужд, осквернил не только и не столько края раковины, но и стены! О, конечно, это не снимает проклятия с тех, кто в моем поступке усмотрел умысел, злонамеренность или хотя бы сознательное поведение. Их души, прозревающие во всяком, поступившем плохо, сознательного злодея или вредителя, предлишены благодати по блаженному Августину. Но повод я МОГ дать - от чрезмерного презрения к презренному. И как порой я завидую тем, чья память лишена такой вот ассоциативности, кто начисто и навсегда забывает свои некрасивые поступки, кто в старости помнит только, каким он был красивым, добрым, сильным и благородным...

Вопреки декларациям моих писем конца 1946 года о том, что я-де вырвал отца из сердца своего, что он для меня не существует более, отношения мои с ним не прекратились, как то понимает читатель, осиливший предшествующие главы. Первый толчок к переосмыслению я получил на второй, кажется, неделе пребывания в Ленинграде, хотя он не был в силах изменить хода инерции уже случившегося. Я был в гостях у наших хороших знакомых Скориков и в ответ на совершенно естественные вопросы Нины Дмитриевны о причинах моего приезда и затем о причинах семейного конфликта ляпнул:

- Ну, он матерно выражается при матери. Представьте себе, Нина Дмитриевна, если бы вас Петр Яковлевич обложил по-площадному при детях.

Она поджала губы. И по минимальной мимике, которую она себе позволила, я вдруг постиг, что ее муж матюкает ее если не каждый день, то через день. И при детях, и без детей, и при знакомых, и даже когда она в другой комнате. И она не усматривает в этом ни малейшего оскорбления, и никакого не то чтобы основания но даже ПРЕДЛОГА для развода. И возмущена наглым мальчишкой, который смеет так разговаривать со взрослыми, когда даже родная мать ему не доверяет истинных причин развода с его отцом. И много еще что почувствовал я в повисшем молчании. Впрочем, я о реакции тети Нины никому не рассказывал. И со Скориками у меня сохранялись прекрасные отношения, особенно с их дочкой Нелей, до тех пор, покамест в 1956 году она не вышла замуж за сотрудника ЦК ВЛКСМ Станислава Фурина, а я не загремел за решетку. Однако она еще успела познакомить меня со Стасем.

Второе, что уже через год-полтора заставило меня кардинально пересмотреть вопрос “кто виноват” в семейном конфликте, это начавшиеся мои ссоры с матерью. Природа не терпит пустоты, и я, и она привыкли к ежедневным скандалам, вот психика и хваталась за любые предлоги, дабы заполнить отсутствие скандала. При тогдашней нашей взвинченности много не требовалось. Впрочем, весной 1947 года я ничего еще не переосмысливал, а практически всякая стычка моя с матерью кончалась после истерики с моей стороны столь же бурным и слезливым моим покаянием. Я был вообще непомерно склонен к слезам.

Отец сделал попытку восстановить семью. Заявившуюся к нему Евгению Терпаносян он выставил решительно, вместе с ее сыном. Дабы дом не пустовал в его отсутствие, он взял себе из Перловки

свою мать вместе с Милей. И начал писать Ларе и мне. Мы безмолвствовали. Когда он ехал из Москвы в Эстонию в долгосрочную командировку в конце мая, он настоял, чтобы я подошел к вагону (стоявшему сначала у Московского, а затем Балтийского вокзала часов восемь) и поговорил с ним. Предложение его выглядело четко житейским: в совхозах, куда он едет месяца на три, много еды. Мне в моем возрасте надо хорошо питаться, вон какой я заморыш. Он предлагает, чтобы после сдачи испытаний и экзаменов за девятый класс я ехал к нему в Эстонию. А потом мое дело поступать, как я захочу. Разумеется, в душе предполагалось, что тут же или после обильной кормежки на дармовщинку я брошусь к нему на шею и мы с матерью возвратимся под кров Раисино, где уже и электричество провели! Но это не произносилось. Произнеси он таковы слова, я оказался бы от поездки наотрез. Раз он их не произнес, мне оставалась свобода услышать только то, что было выговорено вслух, согласиться на это, в душе подчеркнув, что только на это. Потом он считал, что я его обманул. Немало людей считает обманом такое буквальное соблюдение формальной договоренности. Некоторые, вроде Пушкина, проводят различение между “ложью” и “неискренностью”. Ну, а некоторые просто не понимают, о каком-таком обмане тут болтают. Я понимаю и тех, и других, и третьих.

Мы с матерью долго колебались. Он настойчиво теребил нас письмами и телеграммами, прислал в качестве образца и аванса кормежки три килограмма сала и двести рублей денег на дорогу. Соображение, что жить с ним я буду в чужом для него месте, среди посторонних, где он не распояшется, оказалось решающим. Я приехал. Мои письма того времени, как выявилось, неожиданно содержательны и по части внутрисемейных настроений, и по части реалий того времени и места; они лучше все расскажут моим тогдашним языком, нежели я сейчас буду ломать себя, пятидесятилетнего, силясь вжиться в шкуру шестнадцатилетнего мальчишки.

“28/VI-47. Зверосовхоз “Кохила”.

Здравствуй, мой милая, дорогая мамочка!

Как ты живешь? Что кушаешь? Как здоровье?

Я приехал сюда вчера в 21.30. Вот как я ехал: ночью не спал, смотрел в окно, читал Чехова. Утром, часов в 6 была первая остановка - Нарва. Там какая-то башня (кажется, церковь), заборы, развалины, etc. Базар маленький, в основном, пустыри. Потом Кюисайя - много цветов, потом Капалма - огромный рынок, хорошая станция. Молоко здесь - 9 руб. Я думал, что поллитра, оказывается - литр. На радостях я литр выпил. Потом купил два яйца за 7 руб. и ватрушку за пять (с творогом; сладкая!). Хлеб на вокзале 10 руб. 200 грамм, а в Таллине 40-35 руб. буханка. Днем с час соснул. Потом сидел на подножке, и любовался природой. На каждой остановке сходил. Ревизор приходил дважды. Изловил многих “зайцев”. С крыш сгоняли на каждой станции, но все равно лезли. В Таллин приехал в 12.00. Стал искать, где ходит узкоколейка до Кохилы. Я не знал, как правильно: КОхила, КохИла, КохилА. Спрашивал КохИлу. Никто не знает. Бормочут что-то. У эстонцев язык сюсюкающий, мягкий, быстрый. Buhvet - буфет, piletikassa - билетная касса, kiosk - ларек, laupsus - магазин. Наконец, узнал, что в направлении на Väike

(читается между Вяйке и Вейги) туда нужно ехать электричкой до Töndi (между Тьендьий и Тьонги). А я спрашивал “тонги”. Наконец, нашел. Электричка - гораздо лучше, чем в Москве - тоже метро, только выше, шире, длинней и комфортабельней. Она ходит каждые двадцать минут в направлении Таллин - Балти. Времени потерял много, пока искал, давал телеграмму (жуткая очередь), ждал электричку. Приехал в Töndi. Там надо ехать трамваем. Трамвай, как игрушечный - меньше, синий, чистый, даже с мусорным ящиком. Билет стоит 20 коп. На станции Таллин - Väike ждал до 3-х пока откроют кассу. Поспал. Там за 4 часа, пока я был, трижды мели - чистота. Даже нет охоты бросить бумагу, скорлупу на землю. Всюду мусорные ящики. Очередь за билетами огромная! Но взял. Билет стоит 4 руб. Ждал поезда - он уходит в 17.35. Вагоны плохие. Раньше в них, наверное, перевозили скот, потом арестантов, теперь пассажиров. Всюду одна колея, даже на широколейке. До Кохилы 28 км, а ехать 2 часа! Еле ползет. Тут ко мне пристали 2 женщины и мальчишка: дескать, они тоже со мной пойдут в Прелиепаяэ. Они только приехали из Пскова, негде было переночевать, надеялись, что у меня переночуют. Но я ловким маневром обманул их и “сбежал”. Как я приехал в зверосовхоз, напишу завтра, сейчас едем на üldlaulupidu - певческий праздник. Сюда не пиши, мы послезавтра уедем. Целую, Воля.”

Праздник певцов я и сейчас вижу, прикрыв глаза: в необычных мундирах - по роду инструментов или по селениям певцов-оркестрантов - плотные ряды мужчин воодушевленно что-то поют под неслыханную музыку. Радость пронизывает меня со всех сторон. И напряженность.

“3/VII-47. Зверосовхоз. Кохила.

Здравствуй, моя бесценная, дорогусенькая, добрая, милая мамочка!

Как твое здоровье? Ты сюда не пиши мне, мы завтра утром выезжаем в Ракку, но пиши просто так, а потом пошлешь куда-нибудь. Как ты живешь? Все ли хорошо на работе? Нашла ли другую? Как т.Зоя? Приехал ли д.Орест? “Открывали” ли мы еще раз бабкин шкаф? На скольких “палочках” чай греем? Милая мамусенька! как мне скучно без тебя!

Вчера я послал письмо и подумал: а ничего я не написал, чтобы ты не истребляла газет (наверное, все истребляешь); не истребляй и моих писем, я их потом себе конфискую. Ничего я сейчас не делаю: обленился. Встану в 09.00, поем (кстати, мяса мы едим постольку, что father сказал: “Вот бы столько мяса матери, она бы его на месяц растянула”, а мы съели его в завтрак и в обед, кроме того, что из столовой было: овсяный кисель - гадость - и холодец; плюс к этому по 2-3 стакана кофе с молоком, - сейчас молока не хватает, вчера скислось и поэтому только по трети стакана молока); поваляюсь с часок, читая что-нибудь легкое, пойду искупаюсь (вчера был со мной такой случай: искупался, поплавал вдоволь, вылез на берег, голову выстиранным платком покрыл и лег загорать; видно, я отлежал себе правую руку, потому что, залезши в воду снова и доплыв до середины реки, я почувствовал, что правой рукой двигать не могу: болтается бесцельно; лег на спину - не проходит, попробовал на

спине с одной рукой плыть - верчусь на месте, а не плыву, тогда взял и поплыл с одной рукой на животе; ничего, доплыл; полежал; отдохнул, позагорал и снова в воду: all right), возвращаюсь в 14.00, обедаю - щи, суп из разогретого холодца, мясо, каша, творог из 2 литров молока; оно опять свернулось, кофе. Потом валяюсь часов до 17.00 читаю “Hiawatha”, “Тихий Дон”, etc. В 17.00 или иду купаться с ним или с Адольф Иванычем, или играю с Адольф Иванычем в шахматы (счет 10:3 в его пользу). в 19.45 слушаем В-В-С (би-би-си). Хорошие передачи! Я думал в глуши ничего знать о международных делах не буду, даже газет не достать, а тут - приемник. Ужинаем (почти повторение завтрака). В 21.00 - “Голос Соединенных Штатов Америки” из Нью-Йорка. Кончается в 22.00, а в 22.45 опять В-В-С - новая программа; в 22.30 - Москва. Потом обсуждение новостей дня, обязательно в шахматы, иногда второй ужин, иногда по 2-3 стакана молока - и спать.

Так мне хочется увидеть тебя, мамусик!

Целую крепко-крепко, крепко. Не скучай.

Волик”.

Эпизод на реке я рассказал матери очень сдержанно. Меня вдруг - впервые в жизни да и с такой силой вообще единственный раз - схватила судорога. Не просто отнялись, но неуклюже и с болью застыли правая рука и правая нога. От растерянности я начал тонуть, уже хлебал воду и зеленые тошнотные круги шли пред глазами. Каким инстинктом я вспомнил, что к трусам приткнута булавка, как вытащил ее, раскрыл и вонзил себе в бедро - не ведаю. Но нога, а за ней рука ожила, и я вынырнул. Очень неприятно тонуть, поверьте. А этот распластывающий страх потом, на берегу. А его преодоление, когда вновь заставляю себя вступить в воду, доплыть до того самого острова, где все это случилось и понырять там в поисках подводных ключей или водоворотов...

Программу своих дневных занятий я также изложил не вполне. У меня сохранилось воспоминание, что я часами сижу и набиваю отцу папиросы: гильзы и табак он приобретал порознь, и у него была набивальная машинка. Пальцы мои помнят это как главное занятие в совхозе. Но, возможно, это началось несколько дней спустя, когда у него кончились запасенные папиросы.

“5/VII Раку.

Здравствуй, мой милая, дорогая мамусенька!

Я не писал тебе вчера, потому что мы перезжали из Кохилы в Раку. День был какой-то бестолковый. С утра собирался дождь. Машина в Раку ушла в 8 часов - но у нас разве в “такую рань” может быть что-нибудь готово!.. “Они соизволили” только встать в 07.30. Началась сборка вещей. У меня все давным-давно собрано. Да, вот теперь я тебя поругаю: стал я вчера майку свежую надевать и, чтобы ты думала - под ней кулек с изюмом! Весь засох уже. когда ты мне его сунула, хоть бы сказала! Злился я на тебя, в поезде грызть нечего было, а здесь он и плохой уже стал и ненужен (но, конечно, все-таки съел). Он мечется с вышки в комнату, туда-сюда. Щетку зубную потерял - ищет везде (между прочим, зачем ему она? Он все равно даже порошка не имеет. И, сколько я не жил, ни разу не чистил зубов). Наконец, все было собрано. Позавтракали мы в 10.00,

хорошо. У него заболел живот и он ничего не ел кроме 4 яиц и нескольких стаканов кофе без молока. Я отдал ему свои антидизинтерийные таблетки. Теперь его живот пришел в норму. Поезд уходил в 14.20 (по его словам). Но, почему не знаю и неведаю, он прибежал с подводой только в 13.45. Летели карьером, все камни пересчитали. Приехали на вокзал в 14.15, то есть должны были успеть: но поезд уходит, оказывается, в 14.10 и мы видели лишь дым его. Ждали следующего до 17.08. На тот билетов не было. Ехали зайцами. Вагон отвратный, да я описывал тебе здешнюю узкоколейку. Доехали до Lüva (Лыивья). Он ушел искать зверосовхоз, а я остался сторожить вещи (два его чемодана, микроскоп, свой чемодан). Он искал два часа. Потом приехал с машиной. Добрались до Раку. Живем в квартире директора. Вечером поели плохо. Легли поздно.

6/VII. Я сейчас сплю, как сурок. Утром проснулся в 09.30, поел, лег, спал до обеда, пообедал, после обеда почитал немного (“История Иловайского” 1880 г.), заснул, проснулся, поужинал, послушал последние известия из Лондона, Нью-Йорка, Москвы, лег. Вот сейчас в 01.00 пишу, а потом потушу свет и буду спать. Завтра, наверное, уедем отсюда. (Хорошо питаться с директорского стола: вчера мы обедали в общей столовой - весь день я был голоден; сегодня ели то же, что директор - сытно!).

Милая моя мамочка, досвиданья. Целую тебя крепко-крепко.

Волик”.

В ту пору западное радио еще не глушилось. Лишь год спустя начались “деликатные” наплывы Хора Пятницкого на вещание “Голоса Америки” и Бибиси. А до современного “голоса правды” дошли позже. Впрочем, я редко слушал, и потому не могу быть точным историком этого вопроса. Даже на “хор Пятницкого” обратил мое внимание Генрих Жилов. Так вот, в ту пору слушание западного радио не котировалось как предосудительный поступок; еще все помнили, что США и Англия - наши союзники. Еще выходила в Москве на русском языке и сравнительно свободно продавалась газета “Британский союзник”. Даже подписка на нее была. Из содержания тех передач помню пафос только что прозвучавшего Плана Маршалла, который обеспечивал безвозмедную помощь странам, разоренным войной, при условии, что страна сохранит валютную конвертируемость и т.п. Как раз в эти дни чехословацкое правительство приняло было с благодарностью план Маршалла, а потом вдруг отказалось от него.

“7/VII-47 Раку.

Здравствуй, моя милая, дорогая, бедная, хорошая мамочка!

Как ты живешь? Так мне скучно без тебя, так хочется увидеть тебя наконец! Но теперь, кажется, скоро. Сегодня переедем из Раку в Карьякило - последний зверосовхоз. Дня через три оттуда выедем, а тебя-то я увижу не позднее 13-го (maximum). Я бы хотел, чтобы ты на день, когда я буду в Ленинграде, взяла выходной и была бы дома, а не на работе. Приготовь, милая мамуля, солдатиков, “золотую” бумагу, “Хрестоматию по дарвинизму”, купи дрожжей, купи воротник. Здесь (в совхозах) из промтоваров все дорого (да и нет), а от Таллина далеко; продукты достать тоже трудновато. Он достал

пока: 10 кг ячменной муки, 10 кг яки (крупы), 5 кг сливочного малса и еще что-то (я забыл - что - кг 2). Мяса нет.

А хорошо здесь живут все-таки! Вчера директор рассказывал: середняк имеет 5-6 коров, 3-5 лошадей, 5-7 свиней, кур, гусей, etc. Середняков - большинство. Богач (стоит на грани “раскулачивания” и ссылки в Сибирь) - 20-12 коров, столько же лошадей, 12-15 свиней, иногда даже 15-20 лис или песцов и прочая живность. Бедняк - 2-3 лошади (самый бедный - 1 лошадь), 3 коровы, пара свиней...

У всех крестьян есть машины (сеялка, молотилка, например). У всех крестьян есть мягкая мебель, приемник. В “Свободной Эстонии” до присоединения Эстонии к СССР у всех был телефон, водопровод. Да, любопытная деталь: у фермера есть колодец в 10 м от дома. Так он не будет ведрами таскать воду из колодца! Он поставит ветряк на колодце, проведет трубу на чердак, там поставит бак, из него трубы домой (в ванную), в загон к скоту, сделает автоматическую регулировку и будет пользоваться водопроводом!! Каково? а!?

Вообще здесь любят машины. Потом среди эстонцев меньше развито воровство (двери всегда остаются открыты), а русские - воруют! В прошлом году в Раку украли 140 (сто сорок) лис и песцов! Вчера ночью - 7 песцов! Недавно разбили окно у врача и стащили спирт...

В Кохиле был приемник заграничный, хорошо было слышно, в Раку - наш советский - гудит, днем невозможно принимать, да и вечером только на коротких волнах.

Целую тебя, моя милая мамусенька, крепко-крепко, пока в воображении, но скоро по-настоящему.

Волик.”

Этот же или другой директор доверительно сообщил нам, что совсем недавно, кажется, перед выборами, в Эстонии, главным образом в Таллине в органах управления раскрыт громадный заговор, было много арестов наверху. Но это рассказывалось с таким понижением голоса, что мне было ясно: в письмах матери этого упоминать нельзя. В дело воровства внес и я свой скромный вклад: позаимствовал две шкурки лисицы в чьем-то кабинете, матери на воротник. Привез - тайком от отца - и вручил ей. Она сразу поняла, что краденые, ибо они были невыделаные. Так бестолку и провалялись, пока моль не съела.

“9/VII-47. Карьякило.

Здравствуй, моя миленькая мамусик!

Скоро-скоро увидимся и поздороваемся на деле, мамо.

Наконец-то вчера приехали сюда в последний зверосовхоз. Оказывается, мы бы могли выехать позавчера, в 15.00 была машина, но я спал так крепко, что получасовые усилия его и директора ни к чему не привели. Но нет худа без добра: если б мы выехали 7-го, ему бы пришлось на обратном пути зазежать туда, составлять акт, а теперь акт готов, и дня через два мы будем в Таллине. Машина была в 19.30. Он опять чуть не забыл очков - они упали за тумбочку, я нашел их думал, это директоровы. Уже когда сели в машину, я спросил, его ли это очки. Он побежал в комнату, схватил их и меня же ругал за то, что я не взял их. Я не узнал очков его, потому что он переменил оправу с черной на роговую. Не ужинав, сели в машину

(он в кабинку, я на верх). Погода хорошая. До этого все время были дожди, пыль прибита, а теперь небо чистое.

С обоих сторон дороги лес; ветви касались бортов машины. Потом пошли поля. Ехали час. Когда стали вылезать у футляра с микроскопом оборвалась (сломалась) ручка и он упал, благо на песок. Теперь father говорит, что в микроскопе что-то испортилось. Поужинали в общей столовой - “хороша бражка, да мала чашка”. Потом я пошел смотреть кино “Остров безымянный”. Но именно видел кино, да и слышал, но на эстонском. Ничего не понял. Потом пошел в нашу квартиру. На чердаке комната прямоугольной формы 4м х 2м с косым потолком. Окно 1,5 х 0,5 с разбитым стеклом выходит на чердак. Вид из окна - печная труба. Стол, топчан с соломенным тюфяком, стул, электролампочка (до нас она не горела, но он настоял, чтобы починили) - вот и все убранство. Похоже на каземат в Шлиссельбурге. Все из свежих досок. Когда легли, заскреблись крысы. Здесь их столько, что объявлена награда: за крысу - 5 рублей. Встали в 07.30, позавтракали: жареная картошка с отбивной, стакан молока - мало. Потом я лег. Спал до 13.00. Потом пообедали: по 2,5 тарелки жирного мясного вкусного супу и... все. Хлеб - горький. Потом я пошел купаться (сначала соснул с часок). Речка близко. Узкая, глубокая, холодная. Дно вязкое. Сейчас пишу. Читать нечего. Скорей бы увидеть тебя, да в Москву.

Целую крепко-крепко-крепко-накрепко.

Волик”.

Помню еще, только не помню, в какой из названных местностей, как меня местные жители травили собаками. Я шел какими-то задами, то ли напрямик, то ли подзаблудившись, то ли вовсе бездумно. И вдруг - приближающийся направленный лай псов, крики venelane (русский) и еще какие-то слова, которые тогда я разобрал или запомнил, а позже мне их перевели, но которые сейчас запамятовал. К слову, я пытался тогда выучить эстонский и даже привез из этой поездки русско-эстонский словарь. Но потом забылось. Да, так вот, оказывается, я забрел туда, где “жили националисты”, которые, заметив русского, тут же спустили на него собак затравить. Мгновенность моей реакции спасла если не мою жизнь, то по крайней мере целостность моих штанов. Я как-то куда-то мгновенно перемахнул и оказался на каком-то пороге, где толпились люди - не те, что кричали venelane. Собаки, словно врезанные, застыли перед скоплением народа. Потом их кто-то увел.

На обратном пути мы останавливались в Ленинграде. Отец пришел к нам и несколько часов они с матерью вдвоем беседовали. Затем мы с ним галопом помчались на московский вокзал. В вагоне в ответ на естественно-бессодержательную реплику отца, я “уточнил”, что в Раисино я не поеду, что еду я не к нему, а к тете Жене на дачу.

“Новые Горки 15/VII-47

Bonjour, mon cher maman!

Как ты живешь? Как здоровье? Как работа?

Сели мы в поезд за 10 секунд до его отхода. Я смотрел в окно, но тебя не видел. Я всю ночь (до 06.00) стоял у окна, выходил на каждой станции. Утром лег, встал в 09.30. Поели. За всю дорогу мы с ним обменялись тремя словами. Он совсем пьян. Какая-то старуха

пробормотала: “Ну и семейка: сперва поругались, а теперь жрут и молчат”.

На вокзале мы с ним расстались. Я прибыл в 14.00. Поезд на Валентиновку шел в 14.46. Я подождал и поехал. Устал - жутко. Жарко, душно, тесно. Пока дошел до дома от станции, пар валил от меня, весь “в мыле” был. Дома одна тетя Шура. Я покушал, поспал и поехал в Москву. Звоню к т.Роне. Она открыла дверь и остобенела. Потом я ворвался в комнату, напугал т.Женю. До 00.30 все рассказывал. Лег на ковре, встал в 09.00. Покушали хорошо, но, сравнительно с Эстонией, - плохо. Поехал к Наташе. Она совсем не похудела, только белая, как мука; похорошела. С сумочками, подсумочками отправился на дачу. Поел, отдохнул. Начал проводить свет.

Скажи, пожалуйста, д.Оресту, чтобы он добыл (с собой привез) метров 10-15 комнатного шнура, 3 выключателя, 6 наружных изоляторов и дай ему мою изоляционную ленту (в ящике).

Кое-что сделал: провел свет в одной комнате, огородил картошку. Сейчас бездельничаю: кончил все. Искупаюсь, выпью чаю, почитаю и на бок. Я сейчас себя чувствую гораздо лучше, чем в Эстонии: морально. Там я все время напряжен был. Только о тебе и думал, когда писал, только и было хорошо; а сейчас не то. Устал - а хорошо.

Целую тебя, милая мамусик.

Воля.

P.S. Числа 30-31 приедут “братья-разбойники” - то-то будет шуму”.

Из письма от 5/VIII:

“Тетя Шура настаивает, чтобы я навестил бабушку, я решил: перед самым отъездом зайду в Раисино...”

Я действительно зашел. Оказались в сборе отец, Миля, Прасковья Андреевна. Бабушку я видел последний раз - она умерла 27 сентября того же года. У отца сохранилась накладная на ее похороны - стоили 46 (сорок шесть) рублей. Сколько буханка-полторы на рынке.

Из последнего письма того лета от 12/VIII:

“После завтрака с полчаса лежу на солнце, потом лезу в подполье - копаю яму для подполья. Да, т.Женя сказала, что, если она запасет картошки на зиму, то она сделает мне дорогой подарок, стоимостью с полмешка картошки по весенним ценам. Спрашивает меня, что мне больше всего нужно. ...Вчера у т.Жени в трамвае срезали часы! ...потом сплю до 16.00-17.00. Потом пилю толстенное бревно, колю дрова. Кроме этого я делаю: копаю картошку, делаю стол, провожу проводку, помогаю в кухне, пропалываю, копаю огород, играю в “пароход”, в мяч с Алексисом и Сержем, читаю... В 20.00 обедаем (сегодня и вчера из одного блюда, и чай без сахару...).”

То обстоятельство, что я был всегда до изнеможения загружен физической работой, привело к заметному пропорциональному

укреплению всех моих мышц. При этом крепости моего сложения не было видно под одеждой, она бросалась в глаза неожиданно, когда обнажался мой торс. Это мне тогда и позже неоднократно говорили девушки - существа обычно наблюдательные и порой среди них попадались простодушные, которые так и выпаливали. Первое изумление, рода разочарования, девушки испытывали, знакомясь со мной, если перед тем им кто-либо расписывал, какой я умный, интересный. Так, Володя Баскин в том же году пришел раз ко мне с двумя или тремя своими подругами, напев им предварительно дифирамбы мне. И они по непосредственности своей тут же в лицо мне вздохнули: “Я Вас совсем не таким представляла!” Выяснилось, что должен был бы быть выше ростом - как сам Володя, полутора головами меня рослее - не иметь прыщей на лице, не выглядеть щуплым и т.п. Следующее изумление - уже типа восхищения - девушки испытывали, если я при них обнажал свое туловище, например, купаясь. Полное несоответствие облику заморыша, низенького и слабенького, когда одет.

Кстати, в школе это тоже имело значение, хотя школа была мужская. Мои ростовские привычки драться за дело и без дела в Ленинграде не нашли отклика и применения. Но драка видоизменилась в борьбу: вольную без особой техники борьбу на красном полу в перемены и после уроков. В одиночку против рослых парней я, обычно, проигрывал, хотя и им было нелегко. Но когда я основал “Клуб Пигмей” из таких же недомерков, как я, то выяснилось, что пятеро на пятерых мы всегда побеждали высоких, хотя каждый из них порознь вполне мог справиться с любым из нас. После этого мы уже проходу не давали силачам нашего класса! Физическое прикосновение, мускульное напряжение, ломание напрягающегося туловища соперника - сколько в этом невоспетой поэзии!

Когда я вернулся в Ленинград, меня ждали приятные новости. С 8 сентября мать стала работать завучем женской школы №320, с зарплатой - судя по описи облигаций - 1350 руб. На следующий год - 1800 рублей. Еще в начале 1948 года я продавал на Обводном толкучем рынке облигации займов (ходили по курсу 18 руб. за 100 руб. номинала; курс был плавающим), ибо мы нуждались в деньгах. Позже этого не случалось, облигации либо выигрывали, либо ждали своего погашения, которое обещалось через двадцать лет, а началось через тридцать. Мать не дождалась. Матери дали жилье в той самой школе, сначала на пятом этаже две или три комнаты, потом на шестом, а в нашем прежнем жилище расположился кабинет зоологии. Последнее наше местопребывание описано в §5 гл.1. Школа располагалась вблизи Загородного проспекта, на улице “Правды” д.20, почти у самой Звенигородской улицы; кавычки потому, что улица названа не в честь человеческой правды-истины, а в честь газеты “Правда”. Жить в женской школе хмурому мальчишке, не желающему обращать внимания на женщин и твердо решившему никогда в жизни не жениться - не очень-то легко. Бывали случаи, когда девчонки, озорничая, стайкой брались за руки на лестнице, по которой я спускался, и не пропускали меня, кокетничая, требуя “выкупа”. Им тоже, бедным, без мальчиков было не весело. Но я был стоек. Осторожно, но решительно разрывал я

преграду и молча хмуро сбегал. И ничьих мордашек не примечал и не желал видеть.

В самой же моей школе мое центральное и дерзкое положение привело к закономерному краху. Наряду с клубом “Пигмей” я - опять же с другими - издал пару номеров “подпольной” стенгазеты “Голос мученика”. В одном из них главной мишенью была наша литераторша - омерзительное создание, годное только на то, чтобы воспитать устойчивую ненависть к великой российской литературе. Ее излюбленная фраза:

- Сейчас нам такой-то по плану с цитатами расскажет образ такого-то из такого-то произведения, -

чуть ли не инсценировалась нами в газете. В другом номере мы беззлобно зубоскалили по поводу проведенной 17 декабря 1947 года денежной реформы, при которой все хоть что-нибудь да проиграли. Например, было отменено УДП. Мы с прибаутками описывали “девальвацию таньги” в вымышленном царстве. В то же время я еще принимал участие в художественной самодеятельности, не только читал стихи соло, но и играл в инсценировке “Дачного мужа” по Чехову. Тут случился дерзкий вызов - не с моей стороны - школьному начальству. В этом произведении “дачный муж”, загруженный коробочками и свертками, которые ему надобно “по оказии” отвезти на дачу и там передать многочисленным знакомым-соседям, плачется в жилетку невозмутимо слушающего его приятеля. Роль приятеля играл Женя Борисовский, с которым мы долго дружили и после школы. И вот, дабы подчеркнуть свою невозмутимость, он отнюдь не по сценарию достал вдруг портсигар, раскрыл, взял папиросу, обвел глазами зал и закурил - на сцене, в присутствии учителей и директора! Закуривши, пустивши дым, он столь же флегматично протягивает папиросу мне. Я лихорадочно соображаю: как быть? Отказаться брать? Все сочтут трусостью перед учителями! Закурить? Но я терпеть не могу курить, попробовавши раз в Магадане и наглядевшись на отца. И я импровизирую мизансцену в духе изображаемого персонажа: я нервно беру папиросу, дрожащими руками засовываю ее в рот - продолжая произносить положенные по роли слова - и, почти уже зажегши, ломаю ствол папиросы, словно бы забывши, что это такое и зачем у меня во рту торчит. Зал был в восторге от нас обоих. Учителя - не были.

И через несколько дней конфликт разразился в открытую. За что-то наш класс оставили после уроков. Все ворчали, все шумели, все были недовольны, но мой голос выделялся громче всех; Борисовский же был болен и в этот день отсутствовал. И так как я был дерзко громок и так как меня по сцене завуч запомнила, она вызвала меня из строя - нас выстроили в коридоре для нравоучений - и потребовали объяснений. И я ей выдал ОБЪЯСНЕНИЯ. Она прямо-таки дар речи утратила от моих бессвязных оскорбительных выкриков в защиту наших ученических прав. Она тут же разогнала весь строй, дабы не слышали неположенного, а мне - вся как-то дождавшись, словно перед прыжком, хотя была изрядной корпуленции - чуть ли не шепотом произнесла - нет, не ПРОИЗНЕСЛА, она ВДАВИЛА в меня слова - что исключает меня из школы, что ни к каким занятием меня не допустит, чтобы ноги моей больше в этой школе, где меня так хорошо приняли безо всяких на то оснований, не было. И, действительно, не допустила-таки. Уж я и в Каноссу с

веревкой на шее ходил: по уговорам своих друзей Баскина, Борисовского, Гуревича, Лебедева, Прудовского, кажется, Литинского просил у нее публично прощения перед тем же строем. Нет, она была неумолима. Простить она меня как человек за все обиды, лично ей принесенные, простила и ради этой цели соблаговолила выстроить упомянутый строй, но как завуч не может отменять сделанного ею распоряжения. Единственное, на что она пошла - не стала через директора оформлять приказ о моем исключении за хулиганство, а согласилась выдать мне не порочащие документы, если я сам подам заявление об уходе из школы. Уйти - из десятого класса в начале третьей четверти?! Я не находил в себе силы сознаться матери, я боялся, что она снова сляжет в больницу, как год назад, и ежедневно уезжал из дому словно бы в школу, ездил трамваями весь школьный день (а январь, а морозы, а вагоны нетопленые; и, в отличие от прошлого года, в одиночку, ибо приятели не мотают уроков, а усердно готовятся к выпускным экзаменам), возвращался домой, делал вид, будто учу уроки...

Но мать недаром была учителем и завучем. Наблюдения за моим поведением навели ее на мысль, что со мной что-то неладно, что это не подготовка уроков, а фикция. Она не раз мне говаривала, что я не умею лгать, что у меня при лжи уши шевелятся. Две-три справки - и она оказалась в курсе дела. Все же хорошо, что не я ей рассказал первый: тогда она сразу бы упала в обморок, а когда она узнала про это по телефону в учительской, ее главной задачей было сохранить лицо, чтобы никто ничего по ней не заметил. Поэтому он осталась на редкость спокойной. Сразу обдумала и предприняла меры; я беспрекословно подчинился ее решениям. Она поговорила с директором соседней мужской школы №321, что на Социалистической улице, М.Г.Барановым. Тот согласился взять меня, причем единственно называвшемся вслух мотивом было “изменение места жительства”: прежде я жил на Ломанском, учился в той школе, а теперь переехал сюда - хочу учиться в соседней школе. Хотя он согласился пойти навстречу своей коллеге и принять меня в феврале в десятый класс, он все же был не прочь разузнать истинную подоплеку. Согласно договоренности, директор школы №155 тоже ничего, кроме изменения места жительства в моем “уходе по собственному желанию”, не выдал Баранову. Для Баранова же это было не простое любопытство: за несколько месяцев до того ему пришлось исключить из своей школы группу десятиклассников (“Дело Лошкарева”), которые создали чересчур энергичную комсомольскую организацию, самостоятельно, без санкции партвластей и даже райкома комсомола, функционировавшую в духе юношески понимаемого коммунистического мировоззрения. Ходили слухи, якобы Лошкарева с сотоварищами арестовали, но через несколько лет я узнал, что через год-другой их восстановили в комсомоле и даже Лошкарев занимал потом какой-то пост в райкоме-горкоме. Я не раз делал попытки познакомиться с ним, но ни разу не встретился. Да, так вот Баранов заперся со мною в кабинете и стал допрашивать, напирая на нелепость перевода в другую школу за четыре месяца до выпускных экзаменов:

- Что там у Вас было? Ну, а поступите Вы в институт, потом переедете на другое место жительства, так тоже институт будете менять на поближе к дому?!

Но мое тупое молчание и идиотскую формулу “по месту жительства” взорвать ему не удалось. Так и зачислил он меня. От этой школы у меня сохранилась карточка, где есть и я, с именами соучеников и учителей, а от прежней - групповая фотография уже без меня. И в том классе был весом процент евреев, но здесь их оказалось не меньше 80%. По-видимому, именно этим объясняется то напряженное внимание, с которым все мои новые друзья читали статьи об одной антипатриотической группе критиков, появившиеся в апреле 1948 года. Меня же если волновало только одним: какие из-за этого выйдут послабления, устрожения или изменения в программе на экзаменах?

В этой школе я напрягся и налег на учение так, что был одним из самых реальных претендентов на золотую медаль. Впрочем, в художественном чтении тоже принимал участие - помню диспут о Маяковском, на который были приглашены девочки из соседней школы. Я читал и восторгался. Девочка-оппонент опровергала меня. Не помню даже, как она выглядела. При подготовке к экзаменам я применил метод подготовки вдвоем. Мы быстро сошлись с Генрихом Жиловым, жившим на Боровой улице. Я вставал в 6 утра, съедал натощак столовую ложку сахарного песку (назавтра две, потом три так до пяти, потом начинался убывающий счет) для стимулирования мозга, шел пешком не спеша к нему, где мы завтракали и начинали заниматься. Он знал предметы хуже моего, но был вполне способным. Я не то что был для него репетитором, я сам при этом вспоминал и приводил в систему свои знания, но занятия вдвоем гарантировали от случайного пропуска каких-нибудь разделов или сведений. Ложился спать я не позже десяти, а накануне экзамена - уже после восьми вечера прекращал всякие занятия, давая мозгу отдых. Такой режим подготовки стал для меня законом на все годы учения в университете.

К слову сказать, уже в десятом классе я немного прирабатывал репетиторством. Мать отыскала какую-то недвижимо лежащую с шестого класса восьмиклассницу, которой я преподавал геометрию. Платили немного, но все же сознание собственного заработка плюс выработка умения преподавать, говорить понятно для других, приведение в систему собственных знаний. Кажется, это была первая девушка, влюбившаяся в меня. А в кого ей было, несчастной, влюбиться, если она страдала заболеванием позвоночника, не позволявшим ей сдвигаться с этого дивана, а я был единственным мальчиком, входившим в ее дом? Но я, конечно, пренебрег.

В сочинении - письменный экзамен по литературе - я пропустил букву “ь” в слове “счастье”. Получил четверку. Такие пропуски были характерны для меня, как видно даже из вышецитированных писем. Тогда еще не существовало серебряных медалей, и не было этих расслабляющих снисхождений, которые введены с тех пор. Поэтому, хотя все прочие оценки у меня в аттестате пятерки (13 штук), кроме необязательных, но факультативно преподававшихся в нашей школе логики и психологии, по которым у меня четверки - и то потому, что по ним экзаменов не было, мне, не учившемуся тут первые полгода, учителя не осмеливались сразу ставить пятерки - золотой медали я не получил. Это очень сильно травмировало меня психически, поэтому на вступительных экзаменах в университет, куда я поступал на матмех, что располагался на Васильевском острове, на 10 линии

(а большая часть экзаменов происходила на химфаке, вход в который был со Среднего проспекта, но который задами соединялся с библиотекой матмеха), я отвечал шаляй-валяй, едва не провалился, но так как тогда ни малейшего конкурса на этот факультет не было, то и был зачислен без стипендии.

И, уже учась в нем, первые месяцы я был вял, не вникал ни во что (хотя аккуратен и в посещениях и в записях), так что на первом же письменном зачете по анализу попал в ряды двоечников. Это меня встряхнуло, словно в прорубь свалился, при переписывании контрольной я получил пятерку, и потом из пятерок не вылезал. Но зато кратковременный мой контакт с двоечниками обернулся впоследствии дружбой с двумя студентами: с Заалом Хирсели и Артуром Матюшкиным-Герке. Они тогда получили по двойке, по разным причинам. Матюшкин выбрался сам, а Заал, с трудом владевший русским языком и не имевший в тбилисской школе никакой подготовки для уровня матмеха, беспомощно сидел при переписывании контрольной, не имея ни малейшего представления ни о производной, ни о дифференциале, ни даже о буквенных обозначениях. Повинуясь школьному автоматизму, я решил за него задачи. Он при переписывании их решения внес в них ошибки, конечно, но все же на тройку выполз. И воспылал ко мне вечной благодарностью грузина. Он не ограничился тем, что сводил меня в ресторан на том же Васильевском острове.

К экзаменам за первый семестр я стал готовиться по прецеденту с Генрихом Жиловым, совместно с Яшей Фельдманом, жившим на Адмиралтейской набережной. Фельдман был существенно старше всех нас, он 1926 года рождения, вернулся с фронта, где вступил в ВКП(б). О нем я не раз упоминал в гл.1, буду еще не раз писать, ибо он плотно вошел в ткань моей жизни. Дабы не забыть, упомяну здесь, что в семидесятые годы он, рассказывая обо мне Ф.Л.Литвину, отмечал, что “у Револьта повышенное чувство справедливости”. Трус-трусом, а присмотрелся-таки ко мне!

Как складывалась жизнь моего отца? У меня постепенно притуплялось чувство ненависти к нему. Я писал ему время от времени, но, кажется, летом 1948 года, которое я проводил на даче у тети Жени, я в Раисино не заезжал. Этой “реанимации” отца отчасти я обязан все учащавшимся ссорам с матерью. Это были и конфликты из-за непонимания поколений, и бунт ученика, которому настырная учительница втолковывала правила общежития (как я благодарен был ей впоследствии, что она вколотила-таки в меня хоть некоторые из этих правил!), и истерики нервно-истощенного подростка, и капризы нервничающей одинокой женщины в климактерическом возрасте. Но в то время я, конечно, считал правым в столкновениях себя, а ее приемы вставления шпилей и провоцирования на взрыв “невинными” замечаниями побуждали меня думать, что и в конфликтах мать - отец виновной стороной была она, только, мол, я прежде этого не понимал. Поэтому, в частности, с отцом я переписывался на “до востребования”, а копии моих писем к нему я не под копирку писал (кажется, тогда я еще не видывал пишущей машинки), а переводил свои письма на английский язык, которого не знала мать. Боже, что это за уродливые переводы! К слову, цитируя свои письма, я умышленно не исправляю тогдашних ошибок. Да, так вот, все же тяги к отцу у меня не возникало. Его же переживания

лучше всего видны из следующих выдержек из его трех последовательных писем конца 1948 года, т.е. моего первого семестра:

“…ты пишешь, что вернули и деньги и посылку. Относительно денег это верно, я их получил обратно и снова направил 11/XI тебе по адресу “до востребования”. Что же касается посылки, то тут какое-то недоразумение: твое письмо от 4/XI, а я выслал посылку (с запозданием) только 6/XI. Посылка до сих пор не вернулась обратно /…/ Ты пишешь, что зарабатываешь уроками до 400 руб., не описался ли ты? Что-то уж очень много! Конечно описался. Теперь о себе, о своей жизни напишу. /…/ Моя мать умерла через месяц после твоего отъезда из Москвы. Меня это очень огорчило, было тяжело. /…/ Я скоро буду старик, /…/ И так мы остались одни с Милей.

Куда было себя девать? Прошло около года и решение созрело. /… он примерно излагает содержание §§№2-гл.3, потом сообщает, что Терпаносян вновь содрала с него алименты/. С тех пор ежемесячно мне выдавали зарплату - 300 руб. Вот объяснение моего материального положения и объяснение всей моей жизни. А дальше? Потеряв тебя как сына, я должен был подумать о том, чтобы как-то устроить свою жизнь, и я решил снова из-за сына, которого я не видел с 1939 года, - сойтись с той женщиной.

Я это осуществил в сентябре этого года. Вот все. Так я живу сейчас.

Но буду откровенен до конца. Прошло всего два месяца как я снова “женат”, и я убедился (правда, это я должен был отчасти ожидать), что эта женщина не заменит мне твоей матери и что, самое главное мой второй сын никак и никогда не может заменить мне тебя. Не прими этого последнего признания как шаг с моей стороны к чему-то, как заигрывание и т.д.

Зачем я пишу тебе об этом, забыв о твоем отношении ко мне? Не знаю. Вероятно потому, что считаю тебя сейчас взрослым человеком, товарищем с которым хочется поделиться.

…

Мальчик ты мой, дорогой Воля, дорогой ты мой упрямец, идущий на поводу не только хорошего влияния матери, но и отрицательных сторон ее характера, - как бы хотел я сейчас увидеть тебя и обнять! /…/” (от 26 ноября 1948)

“…/плохо, что/ ты не можешь немедленно приехать ко мне. А дело вот в чем. С Терпаносян я не живу уже с месяц. Уже два раза (в две получки) заплатил алименты - 50% зарплаты. Таким образом прожил я с ней два с лишним месяца. Сейчас она живет в большой комнате, а мы с Милей живем в двух маленьких комнатах, я отделил их от большой стеной. Долго ли она будет здесь жить? Точно не знаю, но не дальше будущего лета. Мы разошлись с ней окончательно и она мне сейчас мстит всеми способами, а больше всего клеветой. Распускает слух среди сотрудников и администрации, что был арестован в Краснодаре и ею спасен из тюрьмы, что у меня родственники попы, что я анархист, что живу (в половом смысле) со своей племянницей Милей и т.д. и т.п. Всю эту чушь старается доказать всеми способами, на которые способны

только худшие представители их нации. Ты здесь сейчас крайне необходим, т.к. она старается вместе с некоторыми моими вещами захватить и твои и в том числе твои книги-учебники. Я же ни за что не отдам ей твоих вещей и книг, а т.к. у меня нет ясных доказательств, что они твои, то я пойду на уничтожение их, лишь бы они не достались ей. У тебя здесь есть, сам знаешь, редкие любимые книги. Если хочешь их спасти приезжай немедленно. Получение этого письма подтверди телеграммой в которой сообщи дату выезда". (это от 2 января 1949)

"И это письмо начинаю со слов: тебе необходимо немедленно приехать ко мне, хотя бы на один день!

Из предыдущего письма ты, конечно, понял меня: нам нужно сохранить честь твоего имени. /.../" (это от 3 января 1949).

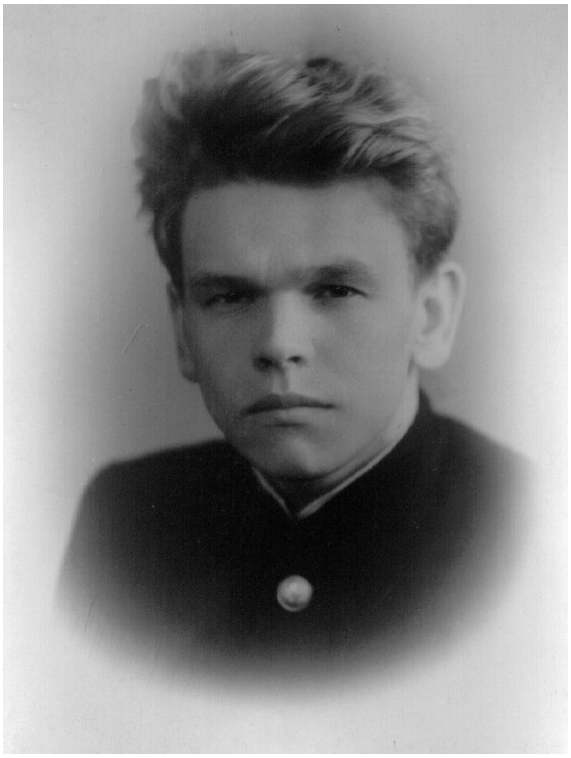
Сейчас, и сам побывав во всяких переплетах и имевши дела со сложно "переплетенными" другими людьми, да и будучи просто по возрасту старше тогдашнего моего отца (ему было 46 лет, а мне уже за полста перевалило), я хорошо понимаю, ЧТО он хотел мне срочно сообщить: Евгения Терпаносян подала на него донос, обвиняя его в том, что он антисоветчик и развратник (хотя сожительство с собственной племянницей по советским законам не карается, кроме случая несовершеннолетия последней, а Миле было уже за тридцать, у нее сын Виктор уже имелся); взорвалась Евгения и решительно не захотела жить с Иваном после того, как изловила Милю с Ваней на месте преступления. Такой донос, даже в устной форме, грозил немедленным арестом, причем тут уже не выкрутишься, как ему повезло в 1938 году, ибо некоторые книжки Кропоткина Терпаносян захватила в качестве улики анархизма Щербакова. И отец жаждал хотя бы перед гибелью повидаться и попрощаться со мной и надеялся, что я сумею втолковать Евгении или начальству, что книжка Кропоткина принадлежит мне, что я ее приобрел для изучения как студент университета, а отец мой никакого отношения к ней не имеет... Но тогда, в 17 лет, мне весь этот потайной язык был совершенно непонятен, его любовные и сексуальные перипетии были совершенно неинтересны и противны. Ехать к нему я не поехал, написал очень нелюбезное письмо, что никакие учебники меня не волнуют. Впрочем, обошлось: Терпаносян шуметь-то шумела, но сажать его не собиралась, хотя бы потому, что нуждалась в алиментах. При содействии администрации Раисино она получила комнату в Москве и убралась навсегда из Раисино. Отец остался один с Милей и начал дико пить. В этих пьянках он сблизился с Серафимом Шеиным. На спирт денег не требовалось, у Шеина тоже ушла жена, и оба они люто ненавидели власть. Помню, как - несколько позже - Серафим за выпивкой объяснял мне, как бы он хотел повесить Сталина, с наслаждением затягивая руками воображаемую петлю вокруг горла того. Этот Шеин явился главным свидетелем обвинения в деле против моего отца (см. §1 гл.5). Потом, когда я бывал у отца, я бывал вынужден пить вместе с ними и хотя меня поначалу сразу выворачивало, но постепенно я научился пить помногу, совершенно не пьянея и не испытывая потребности в выпивке.

Осенью 1949 года, когда из-за ухода из комсомола и последующего сумасшедшего дома возник вариант, что я уйду от матери и уеду из Ленинграда, у отца вспыхнула бешеная надежда, что я вернусь к нему. Но она мгновенно прогорела, оставив золу.

Нет, все эти отцовы переживания, не находя в моем опыте никакого отклика, не пробуждали к нему ни малейшего сочувствия. Но другие - мои собственные - поступки требовали большей осторожности в суждениях и высказываниях о нем. Например, летом 1947 года при моем отъезде из Москвы-Раисино он дал мне, что у него было под руками: 90 рублей. Я заехал еще к тете Жене попрощаться, и она спросила, дал ли мне отец денег. Зная, как у нее плохо с деньгами (порой не хватало выкупать паек), я сообразил, что если расскажу про такую большую сумму, то придется поделиться с нею, а у меня уже разгорелись глаза, как их на мать истратить. И я ответил:

- Дал. Тридцать рублей.

Он дал мне ровно три красненьких тридцатки - о, иезуитизм ответа! И тетушка пошла возмущаться, что это за отец, который на дорогу сыну дает такую ничтожную сумму. Я знал, что она неправа. Но промолчал. И я постиг, что виновен в том, что своей ложью исказил облик отца. И я стал пристально следить за собою, чтобы не допускать в дальнейшем ТАКИХ несправедливостей по отношению к нему. К слову, тогда и в последующие годы он присылал мне по 100-150 рублей в год, что, конечно, было ничтожно мало сравнительно и со стипендией - триста с лишним в месяц - и с моими приработками - четыреста-пятьсот в месяц. Один раз он прислал отрез на костюм, но мать обругала ткань, отрез провалялся лет пять нетронутым (кроме моли), а мать сшила мне куртку из своей юбки.



Р.И.Пименов. Ленинград, около 1948 г.

Глава 4

ЛЕНИНГРАД - ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§1. О строительстве коммунизма в конце сороковых годов

Ошибки в работе пропагандистов; различие между гл.1 и гл.4; выписки из газет 1947-1948 насчет строительства коммунизма; резолюция К.У.Черненко о том же; мое политическое противостояние; обреченность его; "программа" 1947; бредовая версия ноосферы

В Ленинграде я впервые заинтересовался политикой, а мое противостояние обрело политическую форму. Тому была масса причин, одна из которых - констатированное Я.С.Фельдманом чрезмерно-повышенное чувство (осязание) справедливости. Другая - беседы летом 1947 года с тетей Шурой, сестрой покойного чекиста дяди Андрея, которая люто ненавидела все существующие порядки и охотно поносила их мне, ибо при тете Жене побаивалась высказываться. Но эти и подобные им причины - не главное, как я понимаю. В силу уже отмеченного моего инстинкта противостоять нападки тети Шуры на советскую власть должны были бы скорее побудить меня защищать советскую власть, что и случалось в семидесятые годы во время моих споров с некоторыми диссидентами-предэмигрантами. Главная же причина в том, что в Ленинграде, в двух школьных коллективах - и даже главным образом в школе № 155 - я наткнулся на высокосознательный по тем меркам коллектив, который жадно верил тогдашней идеологической пропаганде и стремился в ней разобраться, понять, постичь, усвоить, приобщить к этой вере каждого. Основные же положения тогдашней пропаганды были столь противоречивыми, столь далекими от действительности, что совершенно не выносили гласного - хотя бы на уровне только устной гласности - своего обсуждения, превращаясь в свою противоположность. Дабы не быть голословным, процитирую Отчетный доклад ЦК КПСС на XX съезде:

"Есть у нас и такие работники, которые поняли тезис о постепенном переходе от социализма к коммунизму как призыв к непосредственному осуществлению на данном этапе принципов коммунистического общества. Некоторые горячие головы решили, что строительство социализма уже полностью завершено, и начали составлять детальное расписание перехода к коммунизму. (...) Надо понять, что теоретические промахи, утопические иллюзии мешают работникам правильно ориентироваться в практических задачах, вносят фальшивые ноты в идеологическую работу" (т.1, с.115-116).”

Так вот, 1947-1948 годы были годами, когда именно эти "горячие головы" и "утопические иллюзии" задавали тон в пропаганде. А моя биография - это как раз тот ущерб, который они причинили.

Прежде чем конкретизовать этот тезис, надо сказать несколько слов об описании эволюции моих взглядов, как она дана в гл.1, особенно в §5. То, что я буду говорить дальше, на первый взгляд несколько отличается от написанного там, но только на первый и на поверхностный взгляд. На самом деле главное отличие того, что я буду писать дальше, от опубликованного мной в §5 гл.1 заключается в различии АДРЕСАТОВ, которым обращен этот и был обращен

прошлый текст. С первой строки §5 видно, что он носит характер "рассказа в рассказе" - я вспоминаю о том, что я повествовал в ноябре 1956 года группе слушателей. Ясно, что в беседе с моими сверстниками в 1956 году не было нужды напоминать им настроения и установки 1947-1948 годов: они сами прекрасно их помнили, ибо в те годы они столь же живо интересовались политико-идеологическими вопросами. Мы все подразумевали одно и то же, хотя с разными внутренними оценками: я радовался, что я был прав в те годы, отрицая "весь этот бред", они смущались, что тогда "ошибались вместе с партией", но фактическая основа у нас была одна, а так как никто не выпячивал ни своей правоты, ни чужой вины, то расхождение даже не обсуждалось. Во-вторых, я, конечно, не смог бы - даже кабы такое невероятное желание у меня присутствовало - за один вечер выложить им всю историю моего мировоззрения. Я и сам, сдается, впервые задумался над происхождением собственных взглядов только тогда, когда Алла Назимова задала мне соответствующий вопрос. И не перечитывал я тогда старых писем и записей, не задумывался насчет роли отца в моем воспитании. И не просидел 400 суток в одиночке, так и сяк перелопачивая свое прошлое. Я жил естественной жизнью двадцатипятилетнего юноши, и мое прошлое казалось мне более далеким и менее значимым,

"Чем повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и виделось точно во сне".

Задачей моей было рельефно, доходчиво показать, как столкновение двух идей, равно присутствовавших в идеологической официальной пропаганде, привело меня в положение противника этой пропаганды. И с этой задачей я, похоже, справился в том параграфе. В первом приближении там все верно.

А сейчас займемся вторым приближением. И - ориентируясь на адресата в XXI-XXII веках, которому все приходится объяснять.

Итак, в силу повышенного чувства справедливости я не мог быть сторонником капиталистического строя, основанного на наживе, на чистогане, на использовании эгоистических сторон человеческой личности. Я мог быть и был поклонником Коммунизма - этого светлого будущего человечества, когда будет гарантировано всестороннее гармоническое развитие личности, когда будут ликвидированы все и всяческие противоречия, когда ни у кого не останется своекорыстных помыслов, когда все будут друг другу братьями, когда установится Царство Свободы. В силу того же повышенного чувства справедливости я презирал тех, кто еще не возвысился до такого чистого отношения к жизни. И, конечно, я мог только страстно ждать наступления этого Золотого Века[239].

И пропаганда вокруг твердила, что наша страна гигантскими шагами идет по пути к Коммунизму. Это не только вещало радио, это не только писали газеты. Это было общим местом наших школьных разговоров - вот тут отличие ленинградских школ от ростовской и московской, где такие темы в мою бытность там не обсуждались - и присутствовало чуть ли не в каждом уроке литературы, истории, даже естествознания - где неуловимым факирским движением цитат

[239] См. также стихи В.Луговского в §4 гл.2.

Мичурин превращался в Джордано Бруно, строящего коммунизм под водительством Сталина. Мы знали, что мы - поколение строителей коммунизма, мы - молодые строители коммунизма, причем не какого-то отдаленного, но "зримого будущего", уже поднимающегося на наших глазах и нашими руками долженствующего быть созданым. Пролистаем газеты тех лет. Вот "Правда" за 1947 год. В номере от 6 марта:

"Под руководством партии Ленина-Сталина женщины (...) ныне, вместе со своими отцами, мужьями, братьями и сыновьями, успешно борются за построение коммунизма в нашей стране".

В номере от 12 марта:

"Под знаменем партии большевиков, под водительством великого Сталина - вперед, к новым победам коммунизма! (...)

Народы СССР, под водительством великого Сталина, вооруженные всепобеждающими идеями ленинизма, уверенно идут вперед, по пути к коммунизму."

В номере от 28 апреля:

"... товарищ Сталин указывал, что газета должна быть "надежным маяком, освещающим трудящимся массам... (отточие в газете) путь к полному торжеству коммунизма"."

27 мая опубликован Указ[240], выглядевший реальной вехой на пути к светлому будущему:

"Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской родине и Советскому Правительству всего населения Советского Союза.

Вместе с тем международная обстановка за истекший период после капитуляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных элементов спровоцировать войну. (...)

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Отменить в мирное время смертную казнь. (...)"

В номере от 4 июня:

"Киноработники взяли из гущи жизни замечательные об'ективные факты, говорящие о неуклонном движении деревни по новому пути, свидетельствующие о могучих всходах коммунистического посева в деревне."

В номере от 8 июля:

"Слава великому советскому народу, идущему в коммунизм!"

---

[240] Стараюсь соблюдать орфографию того времени. В Указе слово "родина" напечатано с маленькой буквы, а "Правительство" - с большой. В газете от 20 июля - "Родина" с большой. "Об'ективные" (4 июня) - через апостроф.

В номере от 14 июля:

"... несокрушимая сила советского государства, уверенно идущего вперед, к коммунизму!"

В номере от 19 июля:

"Среди многих рычагов коммунистического воспитания трудящихся (...) почетное место принадлежит рабочим клубам."

В номере от 20 июля:

"Советская физическая культура и спорт призваны воспитывать разносторонне развитых, преданных советской Родине строителей коммунистического общества."

В номере от 31 июля:

"Воодушевлять массы на борьбу за выполнение великой программы строительства коммунизма в нашей стране. (...) оно создает почву для уничтожения противоположности между городом и деревней."

В номере от 5 сентября:

"Растут наши советские люди, идущие к светлым вершинам коммунизма (...) Москва - знамя борьбы за построение коммунизма в нашей стране."

На следующий день - стихами:

"Сталин ленинской дорогой к коммунизму нас ведет,
Имена вождей великих воедино слил народ."

В номере от 16 сентября:

"Вот почему борьба за каждую секунду времени, за каждый градус тепла и лишний килограмм металла - это для него борьба за коммунизм."

В номере от 28 сентября:

"... одно из зерен того постепенного стирания грани между трудом умственным и трудом физическим, которым характеризуется продвижение советской страны к коммунизму (...) залог дальнейших побед на пути строительства коммунизма."

В номере от 29 сентября:

"Под мудрым водительством своего любимого вождя и учителя товарища Сталина к полной победе коммунизма."

В номере от 22 октября:

"В руководстве большевистской партии видит советский народ залог своих дальнейших побед на пути строительства коммунизма. Уверенно, шаг за шагом, идет он по этому пути. (...) Великий Сталин - любимый и мудрый учитель и вождь - вдохновляет его на новые и новые подвиги социалистического труда, ведет от победы к победе, к полному торжеству коммунизма в нашей стране. (...) благоприятных условий для осуществления строительства коммунистического общества."

В номере от 23 октября:

"Нашей социалистической державы, неуклонно идущей по пути к коммунизму."

В номере от 10 ноября:

"Советские люди с новыми силами продолжают строительство коммунизма."

Это - газета "Правда" за 1947 год. А ведь у меня под руками был не полный, а весьма урывочный комплект газеты. И, обратите внимание, я не цитировал дежурные призывы пред демонстрациями, а только само содержание газеты. Полистаем другие газеты. "Литературная газета" 4 февраля 1948 года:

"Утверждение образа советского человека, освобожденного от своекорыстия, эгоизма, от пережитков буржуазного мировоззрения, - вот задача писателя в великую эпоху, когда на нашей земле воздвигается здание коммунизма. Показать образ человека, который достоин будет по праву войти в это грандиозное светлое здание, как творец его и хозяин - вот тот долг, выполнения которого ждут от советских писателей миллионы строителей коммунизма. Мы живем, обгоняя время и показывая собственным примером путь к счастью для всего человечества."

Ей вторит "Учительская газета" от 5 февраля:

"... чтобы все их силы, способности и опыт были отданы на претворение в жизнь наших коммунистических идеалов."

"Литературка" от 7 февраля:

"... двигающих нашу Родину вперед, к счастливому коммунистическому будущему."

Она же 18 февраля:

"Коммунизм представляет собою самое великое движение современности и в наши дни нет другого пути, кроме пути к коммунизму. (...) Трудящиеся нашей страны успешно построили социализм и завершат построение коммунистического общества."

В номере от 21 февраля:

"Слава Сталину - великому создателю Советской Армии, творцу ее побед, ведущему нас к коммунизму!"

В номере от 23 февраля:

"Империалисты и их пособники уже не могут скрыть своего животного страха перед новым миром - миром коммунизма. (...) Как бы ни бесновались наши враги, одно ясно, несомненно и бесспорно: человечеству осталось пройти куда более короткий путь до коммунизма, нежели тот, который оно прошло от февраля 1848 до февраля 1948 года (...)"

В номере от 25 февраля:

"Советские писатели сумеют помочь партии Ленина-Сталина в деле воспитания новых поколений строителей коммунизма, защитников Родины, борцов за подлинную свободу человечества."

В номере от 10 марта:

"... в разрешении величайшей исторической задачи - в построении коммунизма в нашей стране."

В номере от 13 марта:

"Она уверенно ведет советский народ по пути коммунизма."

А в номере от 18 марта "Учительская газета":

"Советская школа, воспитавшая героическое поколение победителей в войне с германским фашизмом, воспитает десятки миллионов юношей и девушек, которые понесут знамя коммунизма вперед, к его окончательной победе."

И "Литературная газета" 7 апреля заверяет:

"Эти книги объединены стремлением авторов правдиво запечатлеть великую животворную силу коммунизма, преобразующего и лицо земли и человеческие души."

10 апреля:

"И себя, и других он проверяет по твердым законам морали. Морально же для него то, что необходимо народу, строящему коммунизм."

14 апреля:

"... искать, дерзать, смелее двигаться вперед до единственно обеспечивающей счастье дороге - к коммунизму."

24 апреля:

"Мы должны создать еще более яркие, величественные произведения, в которых отразился бы пафос мирного труда, борьбы за коммунизм."

Опять "Учительская" от 29 апреля:

"Страна уверенно и неуклонно идет вперед, набирая все более высокие темпы и убыстряя свое движение к сияющим вершинам коммунизма."

"Литературная" от 1 мая наряду с портретом Сталина в рост:

"Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, вперед, к победе коммунизма!"

"Учителка" поясняет 6 мая:

"Дело, за которое борется печать, дело коммунизма, есть родное дело самого народа."

Еще одним портретом Сталина радует "Литературка" 8 мая:

"Сегодня судьбу человечества решает не атомная бомба в руках гориллы, а это планомерное, повседневное, в одно и то же время и праздничное и будничное, трудовое усилие советского человека, направленное к конечной победе - к победе коммунизма."[241]

Это мнение о превосходстве коммунизма над атомной войной изложено в передовой статье, а вот мнение рядового писателя в номере от 12 мая:

"И я подумал, что, в сущности, вся деятельность советского финансиста - это борьба за коммунизм."

Не только Стенька Разин, но и Белинский строил коммунизм, обнаруживает академик педнаук в "Учительской газете" от 27 мая:

"Идейное наследство великого русского революционного демократа, философа, критика-публициста В.Г.Белинского вошло в сокровищницу русской и мировой культуры, оно осталось на вооружении советского народа, строящего под руководством партии Ленина-Сталина коммунизм."

---

[241] Напомню, что тогда у СССР не было атомной бомбы, технологией ее изготовления монопольно владели США.

3 июня кандидат тех же наук в той же газете разжевывает:

"Его облик, его целеустремленная деятельность, любовь к своему народу, к детям воодушевляют советское учительство на дальнейшие успехи в воспитании молодого поколения строителей коммунистического общества."

5 июня в "Литературке":

"Советское определение права, как творческого начала в борьбе за новый социалистический строй, идеологически вооружает борцов за коммунизм."

9 июня, она же:

"... при коммунизме, который мы строим и построим под водительством Сталина - нашего вождя и учителя."

12 июня:

"... устремлена к коммунизму, как флаг над сельсоветом, как знамя, под которым стоят герои его стихов и поэм."

24 июня "Учительская газета":

"В строительстве новой жизни, в строительстве коммунизма участвуют наши школьники и пионеры..."

30 июня "Литературная газета":

"Ускоряя бег времени, шествует наш народ к коммунизму".

Ну, хватит. В июне 1948 года я кончил школу. И хотя газеты не перестали тогда писать всю эту ахинею с ее бесподобной стилистикой ("шествует бегом", "зерно стирания грани"), не прекратили еженедельно напоминать про коммунизм вокруг нас, я остановлюсь их цитировать, ибо пишу о своих школьных годах. Напомню только, что невзирая на то, что в 1956 году Н.С.Хрущев резко прошелся в адрес "некоторых горячих голов" (которые, как мы видели, распоряжались в 1947-1948 годах редакциями "Правды", "Литературной газеты" и "Учительской газеты"), головной это жар не прошел и к 1961 году, когда они вынудили того же Хрущева провозгласить:

"Советская Родина вступила в период развернутого строительства коммунизма по всему широкому фронту великих работ."

Видимо, все делегаты XXII съезда, включая Черненко и Горбачева, относились к разряду "горячих голов", ибо на нем была ЕДИНОГЛАСНО принята программа КПСС, в которой значилось:

"В итоге второго десятилетия (1971-1980 годы) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. (...)

ПАРТИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ ПРИ КОММУНИЗМЕ!"

- это заключительные строки программы, принятой осенью 1961 года, причем все курсивы - из оригинала.

Ну, сейчас-то это все всем до лампочки. И выглядишь каким-то психом, если всерьез вчитываешься в эти строки. К тому же, от Солженицына и Шафаревича пошла мода видеть в коммунизме одного только дьявола. А Черненко успел растолковать:

"Опыт показал, что прежде чем решать задачи, связанные непосредственно со строительством коммунизма, необходимо пройти исторически длительный этап развитого социализма, в начале которого находится наша страна."

Сказано это 25 сентября 1984 года. Выражение "исторически длительный этап" не совсем понятно, но если принять во внимание, что применительно к советской власти о ее шестидесяти годах нередко пишут: "За исторически короткий срок советская власть добилась", - то можно обоснованно считать, что "исторически длительный этап" - это срок, исчисляемый столетиями. Мы живем в начале тех столетий, по миновании которых можно будет заняться задачами, связанными непосредственно со строительством коммунизма, - вот перевод на календарный язык слов К.У.Черненко, генерального секретаря ЦК КПСС образца 1984 года. Так что в каком-то смысле Амальрик оказался прав: программа правящей партии не досуществовала до 1984 года.

Но аллах или шайтан со всеми ними, разберемся по существу: что было делать очень глубоко и интенсивно думающему подростку, который в 1947 году видел то, до чего Черненко додумался в 1984? Ведь вся пресса твердила этому подростку, что он не прав, что все советские люди - см. вышеприведенные цитаты. А тем не менее вся жизнь неопровержимо показывала, что ни о каком коммунизме в той обстановке речи идти не может. Что ни братских чувств ("человек человеку друг, товарищ и брат") не видно, ни стирания граней, ни разностороннего развития личности...

На меня в 1947 году массированное воздействие оказала коммунистическая пропаганда. Она шла и по домашней линии, где Орест Николаевич проводил со мною политбеседы, велел изучать "краткий курс". Она шла и по школьной линии, где Гуревич, Литинский и Борисовский удивлялись моему непониманию азбучных политических вещей и наперебой просвещали меня и опровергали мои заблуждения. Пылал строительством коммунизма и наш симпатичный молодой преподаватель истории, привлекавший к урокам даже полемику Маркса против Гладстона, Дизраэли, Кавеньяка и карлика Тьера. Бубнила о нем сволочь литераторша. С

Баскиным мы обменивались взглядами авгуров и догадывались, что дважды два - не шестнадцать, а, наверное, четырнадцать с половиной. С Гарри Рольником (уже в другой школе) мы переставляли флажки на карте Китая и спорили, победят там коммунисты или чанкайшисты. Я придерживался точки зрения, что война - это перманентное имманентное состояние Китая, и ни одна из сторон не победит никогда. Быстрый успех коммунистов привел к торжеству Рольника, и он радостно надеялся на то, что теперь уже не за горами победа коммунизма во всемирном масштабе. Такую же надежду высказывал Витя Кудинский (в университете, на втором курсе), когда войска Северной Кореи летом 1950 года в несколько дней захватили почти всю территорию Южной Кореи; он предсказывал, что на очереди - Япония, или радовался нашим успехам. К слову, против всемирной победы коммунизма я ничего не имел, и, окажись я тогда на Западе, я сражался бы и пером и бомбой против прогнившего капитализма. Но жил-то я не на Западе, а в СССР, стоял в очередях в железнодорожных кассах на Московском вокзале Ленинграда, дышал запахом соседей по коммунальным квартирам своих друзей (у меня их было множество) - и вот тут, убей меня бог, не видел и не мог высмотреть хоть малейшего просвета к коммунизму.

Так я вступил в глобальное противостояние всей официальной пропаганде, истошно строившей коммунизм. Черненко подтвердил, что я был прав. Тут бы по-настоящему им передо мной извиниться, компенсировать ущерб, который они причинили мне своим оголтелым враньем, вынудившим меня на мои последующие поступки. Но будучи лишенными не только повышенного, но даже хотя бы пониженного чувства справедливости, они на это не способны. А у меня, действительно, повышено осязание разумности и бессмысленности. Вот в прошлом году еду я в Ленинграде в час пик на трамвае. Собственно, не еду еще, а только жду своего номера сорок девятого и пытаюсь влезть в него, когда подошел. А дверь заклинило одной половинкой. Собственно, из-за ее устройства от этого и вторая половина не до конца раскрывается, но ее силком отжимают, а заклинившую - не удается. Ну, и народ давится, проклиная друг друга. Словом, проявляет чувство локтя при посадке в вагон (пустой). Я влез. Предо мной дилемма: либо сесть на еще остающееся в числе немногих свободное место (ехать мне далеко), либо посмотреть, что с дверью. Не задумываясь, автоматически нагибаюсь над дверью. Вижу: одно из сидений свалилось, или скинуто с места, упало на низ ступенек и зажимает дверь. Поднять его, водворить на место и открыть дверь - дело буквально секунд. Тех секунд, за которые меня раза три обругали и толкнули - не стой, мол, в дверях - и за которые заняли все свободные места. Никто, конечно, мне спасибо не сказал. И рассказываю я сие не ради того, чтобы читатель в XXI веке сказал мне спасибо: что ему, читателю? Ему в этом трамвае ехать не надобно, ему эта дверь до лампочки, горящей синим пламенем совокупно с коммунизмом. Просто я иллюстрирую один из своих идиотских автоматизмов. Иллюстрирую силу великих коммунистических идеалов бескорыстия, вколоченных в меня с детства-юности: “Сам погибай, но товарища выручай! Общественное выше личного!” - и тому подобных. Совершенно ясно, что будучи так пропитан этими идеалами и так отчетливо видя все

это вранье, я выпрямился во весь своей духовный рост противостаять им.

Едва лишь было найдено слово: "Ложь", как обнаружилась ложь еще в дюжине других вопросов, о которых прежде я и не задумывался; один такой пункт я отмечал в том рассказе, что содержится в §5 гл.1, вспоминая про роль Джона Рида в моем духовном развитии. Правда, тогда я позабыл, что прочел его еще до приезда в Ленинград, но такую ошибку мне не вменит в вину даже наипедантнейший из педантов.

В 1946 году вышел в свет полумиллионным тиражом первый том собрания сочинений И.В.Сталина. Благодаря заботам о моем политическом развитии со стороны дяди Ореста, учителя истории и многих других, я его прочел. Прочел и содержащуюся в нем великую работу "Анархизм или социализм". Вряд ли следует задерживаться на смаковании того, КАКИМ образом могли подействовать на меня цитируемые ниже пассажи:

"Будущее общество - общество социалистическое. Это означает прежде всего то, что там не будет никаких классов: не будет ни капиталистов, ни пролетариев, - не будет, стало быть, и эксплоатации. Там будут только коллективно работающие труженики. (...) Там, где нет классов, там, где нет богатых и бедных, - там нет надобности в государстве, там нет надобности и в политической власти, которая притесняет бедных и защищает богатых. Стало быть, в социалистическом обществе не будет надобности в существовании политической власти. (...) Поэтому Энгельс говорил в 1884 году: "Итак, государство существует не извечно. (...) Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно и государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором."." (с.334-336)

"Итак, из рассуждений анархистов следует, что:

1. По мнению социал-демократов, социалистическое общество невозможно якобы без правительства, которое в качестве главного хозяина будет нанимать рабочих и обязательно будет иметь "министров (...) жандармов, шпионов."

2. В социалистическом обществе, по мнению социал-демократов, не будет якобы уничтожено деление на "черную" и "белую" работу, там будет отвергнут принцип: "Каждому по его потребностям" - и будет признаваться другой принцип: "Каждому по его заслугам".

На этих двух пунктах построено "обвинение" анархистов против социал-демократии".

Имеет ли это "обвинение", выдвигаемое гг.анархистами, какое-либо основание?

Мы утверждаем: все, что говорят в данном случае анархисты, является либо результатом недомыслия, либо недостойной сплетней.

Вот факты.

Еще в 1846 году Карл Маркс говорил: "Рабочий класс поставит, в ходе развития, на место старого буржуазного общества такую

ассоциацию, которая исключает классы и их противоположность; не будет уже никакой собственно политической власти"" (с.358-359).

"То же самое говорят грузинские анархисты: (...) социал-демократы стоят за диктатуру не для того, чтобы содействовать освобождению пролетариата, но для того, чтобы... (отточие Сталина) "своим господством установить новое рабство".

Таково третье "обвинение" гг.анархистов. (...) Ясно, что всякий, кто хочет узнать, что такое в представлении марксистов диктатура пролетариата, тот должен ознакомиться с Парижской Коммуной. (...) Если окажется, что Парижская Коммуна действительно была диктатурой отдельных лиц над пролетариатом, - тогда долой марксизм, долой диктатуру пролетариата! (...) Там не было ни одного члена правящих классов. Вспыхнула революция, которая не была представлена ни адвокатом, ни депутатом, ни журналистом, ни генералом. Вместо них рудокоп из Крезо, переплетчик, повар и т.д. (с.368-369).”

- А у нас?! - кричал я, читая эти "опровержения". С прочтения этой работы Сталина возник у меня интерес к анархизму.

В силу своей одаренности я мгновенно и далеко проанализировал официальное вранье. В силу того, что я был безумно молод, не знал многих определяющих факторов, я порой заходил "далеко не туда", но это не важно. Важно, что я ощутил себя противостоящим всему их государству, всей их машине. Опять же потребовалось совсем немного времени, чтобы аналитически вывести, что мое индивидуальное противостояние ВСЕМ и ВСЕМУ фатально обречено на поражение, что я буду раздавлен, что мне не только нельзя надеяться на "победу", но даже самое мое существование истребится в ближайшие же годы, если не месяцы. Будь я более обеспечен, хотя бы происходи я из благополучной семьи, как, скажем, Соломяк, с которым я родился в один день, но который не вписывается в добродетели Каштана, обрисованные в §1 гл.3, я бы мог позадуматься: стоит ли связываться? Ничего не достигнешь, а голову сложишь[242]. При этом никто ничего о тебе не узнает, ни сказок о нас не расскажут, ни песен о нас не споют. Зачем же комфорт терять? Но я происходил из семьи, у которой ничего не было. Я не дорожил своим физическим существованием. Вот еще один эпизод, о котором мне и другим напомнила Валя Пунина на одном из вечеров встречи сокурсников десятилетия спустя по окончании факультета:

- Работали мы тогда с Револьтом в школе рабочей молодежи. А там были ученички дай бог! Например, учителю математики, старику, проломили голову водопроводной трубой за двойку на контрольной. И вот раз в учительскую вваливается одни пьяный ученик с ножом в руках и на завуча: завуч чем-то его "обидел". Мы все притаились, завуч обмер. И вдруг Револьт встает, кидается на ученика и мгновенно нож уже в руках у Револьта. Ну, тут все опомнились, скрутили того[243].

---

[242] В Сыктывкаре я долго работал вместе с В.С.Никифоровым. Будучи моложе меня на 9 лет, он позже, чем я, но прошел в точности тот же путь понимания. Но высокая степень обеспеченности его семьи побудила его сделать выбор в сторону удобного существования.

Этакая беззаветность возможна лишь при определенных состояниях психики. И оно у меня было, ибо моя душа всей своей предшествовавшей жизнью была приуготована не дорожить существованием. А коммунистически-революционная пропаганда лишь подливала масла в огонь аскетизма и самопожертвования, как и речи Заратустры несколько лет спустя. Поэтому сознание обреченности не могло меня остановить в моем политическом противостоянии. Но, оно, конечно, не помогало обрести бодрость и здоровый цвет лица. Не случайно Лена Ландсберг в один из моментов раздражения выговаривала мне:

"Не проповедуй мне безверья,
Я как хозяйка в жизнь войду,
А ты останешься за дверью
В своем бездарнейшем бреду."

И сам я писал стихи и эссе, где прежде всего скорбел о своем безверии и отчаянии. Типичным для них и такой поворот чувств:

“Я болен тем, что смею мыслить по иному:
Сомненью подвергаю все с основ,
В святых я вижу лишь глупцов.
Чем с ними молотить солому,
Я лучше быть размолотым готов!”

Как я резюмировал незадолго до суда в 1957 году.

Ну, в жизни всякие флуктуации могут стрястись. Бывали и моменты, когда мерещилось, будто есть единомышленники. В один из таких дней, в апреле 1947 года мы с Баскиным - возможно, присутствовал Лебедев - состряпали "программу", попавшую в мою записную книжку:

"I. Свобода слова.
II. Свобода партий.
III. Свобода убеждений.
IV. Изменение системы выборов.
V. Отмена воинской повинности.
VI. Устранение ВКПб от управления.
VII. Децентрализация.
VIII. Отмена смертной казни."

Через несколько недель последняя строчка была зачеркнута с надписью "beautiful". Эх, как передать этот восторг шестнадцатилетнего юнца, который видит, что его мечта, казавшаяся ему самому несбыточным мечтанием, вдруг реализовалась в форме Закона! В такую минуту грезится, что и все прочее, почти эквивалентное, записанное в других строчках, завтра - послезавтра также воплотится в жизнь. И тогда я искренне любил правительство и товарища Сталина, хотя, впрочем, указ подписан Шверником -Горкиным, но в те годы я еще не обращал никакого внимания на имена. А через несколько недель эту "программу",

[243] И тут моя память хранит иные, близкие, но не столь выигрышные для меня картины, но я не хочу отвлекаться от темы.

обнаружив в моей записной книжке, подверг сокрушительному разносу отец. Он констатировал, что она не содержит ничего, кроме давно опровергнутого наукой (анархистской наукой) буржуазного демократизма и парламентаризма; см. в §6 гл.2 его возмущение, когда ему приписали "демократический уклон". Он "математически" стал доказывать мне, что никакие выборы не могут обеспечить представительство ВСЕГО народа, ибо число парламентариев всегда меньше числа жителей, и потому нелепо задумываться над ФОРМОЙ этого представительства. Оно всегда останется лжепредставительством, и должно быть отметено с порога. Кажется, именно тогда, в Эстонии (см.§7 гл.3) он несколько приоткрылся и то ли показал мне, то ли, скорее, только назвал мне некоторые сочинения Кропоткина, названия которых я встречаю на страницах той же записной книжки. Некоторые из них я позже приобрел в букинистических магазинах, а некоторые у меня изъяли при обыске в 1982. Возможно В.Р.Шомыслова - нач. оперативного отделения КГБ Коми заинтриговали мои надписи на них: “Книга была неразрезана до такого-то числа 1948” и затем что-то по- французски. Вот уже несколько лет они все переводят с французского цитату из Прудона...

Завершу этот параграф - петитом - одной достаточно фантастической версией. Начну со странного обстоятельства. В моих записях 1947 года находится ряд примерно таких:

"19/I-47 Убито законом - 4 убито вне закона - 1
23/I-47 Убито законом - 2 убито вне закона - 1
26/I-47 Убито законом - 1 убито вне закона - ноль
28/I Закон - 1; бз - 1."

Этот ряд завершается возгласом: "Ура, смертную казнь отменили". Дело в том, что в начале 1947 года газеты вдруг стали чуть ли не ежедневно публиковать официальные сообщения о грабителях-бандитах, которые убили таких-то там-то, за что приговорены судом к расстрелу, приговор приведен в исполнение. Совершенно естественно, что, подготавливая отмену смертной казни, готовили определенную контрастность, так сказать, перед ее отменой напоминали о ее СУЩЕСТВОВАНИИ. Я для таких манипуляторов общественным мнением служил идеальным реципиентом: воспринял их угрожающую информацию о смертных казнях, возбудился, возмутился, выработал, следуя Виктору Гюго, требования отмены смертной казни - а тут ее и отменили, так что я бурно приветствовал заранее задуманный ими поступок. Будем в дальнейшем анализе исходить из этой установленной модели.

Совершенно бесспорно, что в 1947-1949 годы в ЦК или в Политбюро боролись разные точки зрения, в некоторых вопросах диаметрально противоположные. Борьба шла в буквальном смысле не на жизнь, а на смерть, о чем свидетельствуют судьбы Жданова - Вознесенского, а позже Берии - Багирова. Могла иметь место и подготовка реализации тех или иных замыслов. Вот, скажем, в 1950 году газеты одновременно поносили - на одной и той же странице - фашистского предателя Тито, который в своей мании величия дошел до того, что называет города своим именем, например, Титоград, и тут же помещали корреспонденцию из Сталинграда, подчеркивая это

называние так, чтобы оно бросилось в глаза всякому, читающему про Титоград. Известно, что существовали и такие редакторы, которые, подписывая номер в печать, потирали руки и произносили: "Маразм крепчал". И которые, едва лишь повернулись обстоятельства, стали радостно поливать грязью все, что они сами делали несколько лет назад (ну, конечно, не подчеркивая того обстоятельства, что ОНИ это делали). В числе таковых в первую очередь по праву надо назвать Д.Т.Шепилова, который в эти годы числился зам.нач. Управления ЦК по агитации и пропаганде, но фактически был его начальником и выступал в том качестве на всевозможных совещаниях, слетах, инструктажах и съезде комсомола. Как показала дальнейшая история, он был человеком стопроцентно беспринципным, готовым проводить и линию Сталина, и линию Хрущева, и линию Молотова, коль скоро они рисуются ему его начальниками, а в конце концов он даже выступил первым советским инакомыслящим, который опубликовался в "Социалистическом вестнике" с поношением "советской демократии" - вот уж этот генерал-майор КГБ был "демократом" до того, как его разжаловали! Поэтому, когда он давал указания, как возвеличивать в газетах великий подвиг подвига борьбы за борьбу ради борьбы за строительство пути непосредственного построения коммунизма под водительством, он мог вполне мысленно проклинать всю эту затею и с ненавистью и хорошим знанием дела интенсивно думать прямо противоположное. Будучи по волевому складу бесспорным родственником Модеста Матвеевича Камноедова и Лавра Федотовича Вунюкова (работавших на разных этажах НИИЧАВО у Стругацких), Шепилов должен был массировано ИЗЛУЧАТЬ свои мысли. А на такого реципиента, как я, это излучение должно было наваливаться плотным туманом, подчиняя себе. Если я прав, то тогда все мое политическое противостояние является лишь побочным результатом деятельности Д.Т.Шепилова. Досадно как-то думать, что и такое могло быть в действительности. При чем тогда здесь моя свободная воля? Гордые замыслы? Геройские поступки? Прием телепатем - и я с потрохами готов... Не хочу верить, но допускаю. Ноосфера-матушка, куда денешься...

§2. Моя комсомольская деятельность

Мои товарищи во университету - Волков, Ермаков, Матвиевская, Пунина, Соломяк, Сухов, Фролов, Этин; протоколы комсомольских собраний; графомания; стенгазета "Болото"

Вполне могло бы случиться так, что мое глобальное политическое противостояние не вылилось бы ни в какой поступок, а осталось бы внутри меня. Но моя общительность, кипучая энергия и ростовская лихость увлекали меня в общественную деятельность. Собственно, первый семестр прошел как-то вне какой-либо деятельности, кроме учебы. После первых позорных двоек я быстро пришел в себя, стал внимателен, нацелен на учебу, и потому по всем четырем экзаменам - анализ, алгебра, аналитическая геометрия и астрономия - и восьми зачетам у меня вышли исключительно пятерки. Этим я не слишком выделялся в группе и на курсе: всего по факультету было 52% пятерок, а у нас в группе оказалось пятеро круглых отличников в эту сессию: Юра Волков, я, Слава Рейнер, Борис Скачков и Мишка Соломяк.

Юрий Иванович Волков был феноменом. Он превосходно знал математику, на первом курсе написал такое исследование по теории чисел, что профессор Б.А.Венков оценил его как отличную дипломную работу за пятый курс. При этом он умудрился жениться еще десятиклассником - его женила на себе учительница Зина, преподававшая в этом классе - и единственный из нас он уже имел ребенка (потом троих детей) на первом курсе [...]. Жил он в Ораниенбауме, что позже переименован в Ломоносов. Мы с ним сблизились потому, что оба обожали, позабыв часы, спорить о том, чем отличается вечность от бесконечности, любили бороться, катаясь по полу, закатываясь под кровать, добиваясь положить другого на лопатки. И еще по моей немыслимой самонадеянности: у Юры была органическая идиосинкразическая неспособность к языкам. В школе ему не давался немецкий, тройку ему натянули из уважения к Зине. В университете ему не давался английский. Я было пообещал, что это пустяки, я не таких кретинов обучал чему угодно. Взялся энергично - и ничего не вышло. Волков потом пробовал и менять языки, но никак не сумел осилить их в размере, требуемом объемом высшего образования. Поэтому курса со второго его отчислили за академическую неуспеваемость. И только когда ему было под пятьдесят, он получил наконец диплом о высшем образовании, опять же с липовой оценкой по языку. Впрочем, работая на военных, он и без этого диплома зарабатывал больше, нежели я, защитивший докторскую диссертацию.

Слава Рейнер впоследствии был знаменит не столько успехами в учебе, сколько ранней, на первом курсе, женитьбой; он и умер рано. Борис Скачков и тогда был слеп на один глаз, а сейчас, кажется, вовсе ослеп. А вот Миша Соломяк - тот, конечно, усваивал математику на порядок лучше и глубже всех нас, кроме, может быть, Юры. Его пятерки по весомости не идут в сравнение с моими. Впрочем, обратил я внимание на него не из-за его успехов, а потому, что на второй или третий день учебы, когда у нас проводили траурный митинг в связи со смертью А.А.Жданова, от нашей группы

со скорбной речью выступил Соломяк. Через несколько дней, когда мы по какой-то разверстке кололи дрова во дворе Большого Комитета (во дворе главного здания), я ему внушительно заметил, что я "любое начальство люблю только в мертвом виде". Он был очень шокирован моей прямотой, грубостью, даже дикарством. Однако при все своем снобизме он терпел меня у себя в гостях в своем доме. Кажется, у них была отдельная квартира из двух комнат, на второй линии Васильевского острова. Его будущая жена, Тамара Чудакова, складом под стать ему, заметила меня еще на вступительных экзаменах:

- Сижу, - снисходительно-насмешливо повествовала она, - и вижу, что один абитурьент оторвался от бумаги и что-то мучительно складывает на пальцах. Ну, думаю, откуда такие неграмотные прут на матмех! Даже до десяти и то без пальцев сосчитать не умеют!

М.З.Соломяк. Ленинград, 1948 г.

Сам я этого эпизода не помню, но вполне верю ей, припоминая, каков я был. Только, наверное, я не складывал числа, а высчитывал день недели или что-нибудь подобное.

Кроме математики я тогда же решительно занялся изучением латинского языка, древнегреческого и античной истории по учебникам для истфака и филфака. Из обязательных языков на матмехе выбрал учиться французскому, благодаря чему познакомился с Толей Мануховым, позднее оперным певцом Мариинки, и Володей Фроловым, его приятелем. Английский я не бросал, а читал по нем книжки в трамвае, а также пробовал переписываться по-английски со своими однокурсниками. Чтение книг и слушание лекций пробудило во мне графоманию: лекции конспектировались подробно и тщательно, иногда переписывались набело. Книги также конспектировались куда длиннее, нежели процитированные в §6 гл.3 записи. Тут соседствуют Дживелегов "Данте" с Пашей Ангелиной "Люди колхозных полей", Бальмонт с Аркадием Первенцевым, Бокаччио с Фейербахом, не говоря о книгах по математике и произведениях Сталина, Ленина и Эренбурга, - но дело не в выборе литературы. Дело в том, что я старался точно усвоить, что хочет сказать автор ("что он изобразил"), сравнить его высказывания с моим жизненным опытом и дать ему оценку: правдиво ли он описал действительность; выше этого критерия я не дорос. Впрочем, к лету 1949 года я уже пытался оценивать форму независимо от содержания, пытался даже делиться этим открытием в переписке с Галей Матвиевской, но она решительно отмахнулась: неверно, мол, это и

"яркий пример тому - масса бумагомарателей-символистов, знавших только красоту, и прошедших, тем не менее, без малейшего следа на литературном горизонте."

Времени, усилий и страниц на это я не жалел. А пальцы все больше и больше привыкали все время пребывать в состоянии писания.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что когда я отсиживал комсомольские собрания, я мало-помалу пустился записывать их ход. Эти любительские протоколы в своей основной массе сохранились. Вот факультетское собрание по итогам зимней сессии, февраль 1949 года. Основной докладчик - замдекана Ф.П.Отрадных, у него я и почерпнул вышеприведенный процент пятерок. Вот собрание нашей группы, тоже февраль 1949 года. На нем Соломяка по его просьбе ввиду его занятости в вышестоящих комсомольских инстанциях освобождают от обязанностей комсорга. Предлагают избрать Валю Пунину. Она в испуге, дабы спихнуть с себя, называет мою кандидатуру, но так как ее голосуют первой, то она получает 14 голосов, я - 9, при одном голосе за Люсю Исакову, будущую жену Ермакова. Странно, но почему-то такая раскладка голосов была сочтена недостаточной при общем числе членов группы 28, но трое или больше - не комсомольцы. Переголосовывалось, и семнадцатью против семи выбрана Пунина. Вот собрание группы - уже не только комсомольцев - 5 апреля, на котором старший преподаватель Вера Павловна Чепова[244], ведущая практические занятия по анализу, лекции по которому читал Григорий Михайлович Фихтенгольц, потребовала исключения Матюшкина и санкций в адрес его закадычного друга Димы Семенова.

[244] Чепова похвалялась: "Я говорю Корчному: если уж я сумела добиться, чтобы Спасского отчислили, то Вас-то я с матмеха выгоню! И выгнала".

Ю.Б.Этин

Тут впервые проявился Юрий Этин, который ловко отмежевывался от этих своих друзей, обрушился на них со звонкой критикой и требованием ничтожных санкций против них. В конце концов группа отстояла Матюшкина, но в процессе своих красноречивых усилий Этин высказал несколько очень значимых для последующего тезисов, в частности, не просто вздохнувши, что у нас в группе нет крепкого коллектива, но обвинивши группу в "болотной философии". Аргументация его была по схеме: индивидуальные недостатки Матюшкина-Герке суть отражение недоработок и пассивности в коллективе; прежде чем наказывать Матюшкина и Семенова, надо перестроить и поднять на высоту наш коллектив группы, которого сейчас нет, ибо все преисполнены болотной философии. Этин не с первых дней числился в нашей группе, а примерно с середины первого семестра или даже после первой сессии. Раньше, когда мы были в разных группах и я с ним не общался, а только издали видел, случилось такое происшествие. Еду я в трамвае, читаю. Вижу, входит контроль. Самих контролеров я не вижу, но ощущаю то безошибочное движение пассажиров, по которому рецидивист-безбилетник сразу распознает контроль. Но я не беспокоюсь. В данный момент у меня билет есть. В ту пору у меня имелось три модуса-режима пользования трамваем (маршрут № 11). Первый - наперегонки с ним. Я ехал на подножке, а лишь только трамвай приостанавливался из-за затора ли, из-за красного света ли, на остановке ли - я соскакивал и перебегал к впереди расположенному трамваю[245], а иногда скашивал углы, которые трамвай огибал зигзагами, а напрямик было короче - например, между Садовой от Майорова и Театральной площадью. Тут, конечно, о билете и речи не было. Второй - я ехал внутри вагона стоя, без билета, ушки на макушке. Третий - барский - когда я сидел, читал и имел билет (не всегда приобретенный, а порой подаренный сходящим добросердечным пассажиром; видок-то у меня оборванный, без пальто и без шапки в самые лютые морозы - хошь кого проймет). Находился я на третьем модусе и просто любопытства ради косил взглядом по действиям контролеров. И вдруг к негодованию вижу, что это не обычный контроль, а добровольческий (Бригада содействия милиции) и в нем Юрий Этин проверяет билеты. Я углубился в книжку, и когда он подошел, не реагирую. Он вежливо так: "Ваш билет, пожалуйста", - ожидая, что я как сокурсник попробую его разжалобить. Я в ответ: "Ваше удостоверение,

[245] Напомню, что автоматических дверей тогда не существовало. Выпрыгивать и впрыгивать я умел на самом большом ходу с полной легкостью.

пожалуйста!" Он достает, я внимательно читаю, возвращаю с билетом, он проверяет номер билета и, чуть ли не козырнув, проходит дальше.

Вот факультетское собрание 18 апреля, на котором исключали из комсомола Михеева - практически без прений, ибо он окончил матмех и просто не встал на учет по месту работы - и Геннадия Каттерфельда, обвиняемого в махинациях и подлогах в кассе взаимопомощи, которой он заведовал. Он же напирал, что на его иждивении - восьмидесятилетняя бабушка. Когда Виктор Файншмидт со слов этой бабушки разоблачил, что она не нуждается в помощи - есть и другие родственники, - Каттерфельд объяснил, что она - психически больная, и Файншмидт не имеет права опираться на безответственные слова душевнобольной. В таком вот роде прели, причем одна девица произнесла: "Надо уничтожить самомнение Каттерфельда". Исключили из комсомола с оставлением в университете при всех против троих. Я тогда не понимал подоплеки, увлеченный нелепостью или, наоборот, четкостью отдельных формулировок, но помню висевшее в аудитории гнетущее настроение, никак не вытекающее из говоримого. Позже, когда как-то Каттерфельд пришел ко мне в гости и долго говорил о "любви, которая пронизывает весь мир и которая является основой бытия", я по блеску его глаз[246] и прочему осознал, что он жаждет совокупиться со мной, меня чуть не стошнило, я понял, ЧТО висело в зале собрания, и никогда больше не приближался к Каттерфельду.

Вот групповое собрание 19 апреля, посвященное утере Идой Леоновой комсомольского билета[247], на котором опять всплыл вопрос - есть ли в группе коллектив? - и на котором я выдвинул "революционное" предложение: коли, как это все констатируют, коллектива нет из 28 человек, то давайте создадим микроколлективы в шесть-семь человек, в которые объединятся по своему выбору. Эти микроколлективы в процессе диалектического роста сольются в активной деятельности в могучий единый Коллектив. Предложение вызвало интерес, и меньше чем за неделю образовался первый "микроколлектив" - я, Этин, Матвиевская, которые соблазнили даже Фельдмана и Соломяка принять участие в выпуске "внеочередного" номера стенгазеты, долженствовавшего "встряхнуть группу".

Галя Матвиевская вместе с Жорой Антонюком приехала из Оренбурга (тогда Чкалова) и, как многие провинциалы, восторгалась "нашей прекрасной действительностью". Но дурой ее назвать нельзя, и в отличницах она на ходила. Она пылко ценила искусство в лице театров. Пыталась взывать к совести и порядочности, когда то ли Ермаков в стремлении заполучить положительную характеристику непристойно елозил хвостом[248], то ли я начинал поносить все огулом. Вот деталь к ее характеристике. Я, размякнув, затеваю делиться, что

---

[246] Я тогда уже носил очки и с жадностью открывал для себя физиономии, мимику, глаза.

[247] Примечательно, что сама Ида весьма тяжело переживала утерю комсомольского билета, всерьез мучилась и - не на собрании, а в доверительных беседах - ставила эту беду в один ряд с пожаром, приключившемся у них в доме, когда она училась в десятом классе и когда сгорело все имущество. Это отношение - одно из проявлений высокой идейности того времени. Она шла и от пропаганды, и от того, что родители еще помнили, как трудно было в их время попасть в комсомол, какими привилегиями пользовались комсомольцы.

каждый камень на невских набережных для меня теперь что-то значит, не в археологически-историческом смысле, а по моим личным переживаниям, связанным с этим камнем, этим перекрестком, этим поворотом; бормотал я сбивчивее, сам мучаясь неудовлетворительностью своих формулировок - в тогдашних моих протоколах подле собственных выступлений постоянно пометки: "Говорил бессвязно", "Говорил неудачно". На такое излияние женщина может ответить по-разному: может пропустить его мимо ушей, может начать в ответ делиться собственными подобными переживаниями ("А, знаешь, Церковь Вознесения на Крови всегда напоминает мне..." - заговорила в похожем случае Лена Ландсберг), а может оборвать собеседника:

- А почему ты думаешь, что такое присуще одному тебе, а нет у других?! - как нравоучительно обрезала Матвиевская меня.

Газета с названием "Болото" была составлена. Перед самым выходом ее мы мельком показали этот лист, в окраске которого преобладали зеленые тона, куда-то торопившейся Пуниной, дабы выход газеты был санкционирован комсоргом. Она самолюбиво не пожелала взглянуть, "раз вы не пригласили меня участвовать в составлении", но не запретила выпускать. "Болото" была повешено, и 27 апреля от курсового и факультетского начальства явились Храмов и Гуревич с разносом нам и всей группе за "выход нелегальной газеты". Полемика была крайне оживленная. Мнения (предложения к голосованию) к концу звучали так:

"ШЕСТАКОВ. Вопрос о микрогруппах рассмотрен и отклонен (шум).

ЕРМАКОВ. Данная газета ошибочна и вредна по содержанию. Не допускать впредь.

ПИМЕНОВ. Считать, что газета принесла пользу.

ШЕСТАКОВ. Считать, что оформление и статья Этина неверна.

ПУНИНА. Вся газета верна.

ПИМЕНОВ. Что же неверно?

ПУНИНА. Сам факт выхода неверен.

ЕНАЛЬСКИЙ. Считать содержание газеты вредным.

ФЕЛЬДМАН. Считать содержание газеты ошибочным и не допускать впредь."

При голосовании прошли формулировки Фельдмана и Пуниной. К слову, Валентина Артамоновна Пунина не находилась ни в каком родстве с тем Н.Н.Пуниным, что существовал в жизни Анны Ахматовой. Ее по этому поводу даже вызывали в деканат и допрашивали. Я же тогда не знал ни про какого Пунина, я спросил Валю об этом "родстве" много спустя.

---

[248]Вот из записи собрания, где выдавались характеристики. Обсуждается характеристика Ермакова, и Матвиевская только что высказалась в пользу Ермакова.

"ÅÐÌÀÊÎÂ. Ïðîøó ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî íåñêîëüêèõ÷íîñòü ìîèõ çàíÿòèé, î ÷åì ñêàçàíî â ïðîåêòå õàðàêòåðèñòèêè, ïðîèñòåêàåò èç ÷àñòíîé ïåðåìåíû êâàðòèð... (Åðìàêîâ - ïðèåçæèé èç Âîðîøèëîâãðàäà).

ÌÀÒÂÅÅÂÑÊÀß. Áîæå, êàê òåáå, Ñåðåæà, íå ñòûäíî!

ÅÐÌÀÊÎÂ. ß äåëàë, ÷òî ìîã...

ÌÀÒÂÅÅÂÑÊÀß. Ýòî íåõîðîøî. íåêðàñèâî. Íóæíî â õàðàêòåðèñòèêå Åðìàêîâà óêàçàòü, ÷òî îí âåäåò ñåáÿ íåêðàñèâî.

ФЕЛЬДМАН. Нет, мы не будем про смену квартир в характеристику включать.

Вспомнив о великих писателях, на миг прерву перечень собраний. По факультету прокатился сбор книг для сельских библиотек. Меня как активную и грамотную единицу выделили собирать, сортировать и упаковывать книги. Я стал ходить по другим группам, встречаться с иными студентами. В частности, познакомился с астрономом Валей Суховым - самый чистый и светлый из людей, кого я знал. И он так хорошо жил со своей матерью... Из-за этой их безмерной любви я не смог заставить себя повидаться с нею после смерти Вали, как не смог видеться с матерью Иры Каплун после ее гибели. Страшно. Да, так вот, в числе прочих книжек принесли мне "для сельских библиотек" замусоленный томик Кнута Гамсуна "Август" или "Бродяги". По газетам я знал, что Гамсун - гитлеровский агент в Норвегии. Поэтому книгу эту, конечно, не пропустят ни в какую библиотеку. Но хозяин, сдавший ее, уже ушел, вернуть ему я не мог - не предпринимая хлопотных розысков его. Что же делать с книжкой? Решил сначала прочесть ее, потом решу. Прочитал. Пришел в восторг. Никуда не отдам - решил. Так и осталась у меня в библиотеке. Потом я к ней стал прикупать Гамсуна, был момент, когда у меня возникло практически полное собрание сочинений его - не только "собрание сочинений" в издательстве А.Маркса, но все, изданное в переводе на русский язык. Сейчас многое разворовано, восстановлено, снова утеряно. Книг к лету 1949 года у меня образовалось штук сто с небольшим, я завел себе каталог и систему рубрикации, описи, записи, включая кому что когда давал читать. Все книги куплены на деньги, заработанные репетиторством, ибо стипендию, которую я стал получать со второго семестра, я отдавал матери на жизнь.

Вот какое-то собрание без даты с совершенно идиотическим содержанием: в группе обсуждались и давались характеристики каждому студенту, причем опрашивалось мнение всех присутствующих о каждом характеризуемом. Наверное, нечто подобное происходило при чистках в тридцатые годы. Судя по тому, что мне единственному характеристика не составлялась, датировать это собрание надо в первые надели после передачи мною заявления об уходе из комсомола. Вот групповое собрание 13 сентября, когда перевыбирали комсорга Пунину. Голоса разделились: 12 за Люсю Петрову и тоже 12 за Жору Антонюка. В ходе отчета имел место диалог:

"ЭТИН. Слабо велась политработа. Пунина никого не вовлекала, пускала на самотек. Что она сама думает о политработе?

ПУНИНА. Может быть, здесь вина моя, но на собрании все молчали.

СОЛОМЯК. Ты подготовила собрание?

ПУНИНА. Нет, я хотела, чтобы группа выдвинула идеи сама, а все говорят: "Не до того, на носу сессия".

СОЛОМЯК. Ты объяснила группе неправильность этой позиции?

ЭТИН. А ты сама на этой позиции не стояла?

ПУНИНА. Нет, нет.

ФЕЛЬДМАН. Доклад не подготовлен. Нет самокритичности. Ссылки на объективные причины."

Назавтра переголосовывалось, десять за Петрову, тринадцать за Антонюка, один голос за Пунину. Избран Антонюк. Потом сразу проведено профсобрание, где признали работу Рейнера неудовлетворительной - по требованию Ермакова, Соломяка, Этина. Избрали Этина 21 голосом. Он сразу произнес "тронную речь":

"Хочу предупредить, что буду прибегать к серьезным мерам. Наравне со старостой я буду следить за пропусками и за дисциплиной."

Я его перебиваю: "Будешь стрелять в волосы?" - но тут ему на помощь приходит представитель факультетского профбюро и просит помочь молодому профоргу. Вот курсовое комсомольское собрание 20 сентября. На нем дважды упоминался я: первый раз в связи с осуждением газеты "Болото", причем наряду с ней ругалась аналогичная газета астрономов "Астра", и второй раз цитировался мой ответ на политпроверке:

"Пименову был задан вопрос, каковы права комсомольца, так он ответил комиссии: "Платить членские взносы" (смех в зале)".

Еще ругали за плохой прием в комсомол: до сих пор не разобраны заявления Тушкиной и Белоземцевой (последняя в 1946 году сорвала объявление в райкоме, у нее отобрали учетную карточку, и так она, неразобранная, лежит в райкоме). Соломяк потребовал от Люси Петровой отчета, что она делала. Та покаялась, что не обеспечила марксистско-ленинского воспитания. Фролов попробовал было защитить стихи, помещенные в "Астре", ссылкой на профессора Шаронова, проверившего стихи перед их публикацией, но Гуревич и Храмов оборвали его безапелляционно: "Безыдейные стихи!"

Вот факультетское профсобрание 29 сентября, которое не смогло состояться двадцать седьмого потому, что до кворума не хватало ста человек. Вот факультетское комсомольское собрание 5 октября. Больше я не протоколировал. Еще помню в сентябре 1949 года на политинформации радостное лицо, не фальшивой, но искренней радостью, Жуйковой, ведшей у нас занятия по механике, когда она сообщала, что "у нас теперь есть своя атомная бомба", "теперь нам не страшны американцы". Возвращаться с дополнениями и уточнениями к истории подачи мною заявления об уходе из комсомола 10 октября 1949 года у меня сейчас нет настроения; см.§5 гл.1.

§3. Ротапринтное издание лекций Александрова

Семинар Данилыча; курс "Дифференциальной геометрии"; курс "Оснований геометрии"; наука сэнусов и другие математические увлечения

В начале IV семестра, т.е. в феврале 1950 года, я начал посещать семинары Александра Даниловича Александрова. Сначала - "широкий", из неграмотной публики, которую хотели привлечь к геометрии, а затем отобрать из нее способных и интересующихся, а вскоре и "узкий" или "настоящий" семинар прямых учеников Данилыча. Благодаря этим семинарам я познакомился с уймой народу, в том числе и с теми, кто по отношению к этим семинарам оказался случайным элементом, но в моей жизни стал вехой и куском. Так именно там я познакомился с Леной Ландсберг, отношения с которой нуждались бы в отдельной главе или, как минимум, в параграфе из той главы, написать которую я не умею; см. далее §10. Там я познакомился со Светой Богачевой, влюбленной в Данилыча с 16 лет, со школьного вечера, и в 48 лет ставшей-таки его женою; к семинару как геометрическому институту она отношения не имела, но стремилась бывать всюду, где находился Данилыч, а потом всегда присутствовала на заседаниях. Как ни парадоксально, именно там я ближе сошелся с Тасей Тушкиной, хотя она занималась в одной со мною группе, а ее увлечение геометрией было мимолетным. Как это вдруг бывает - нам всем повелевает случай - сижу я, подавленный мыслями о своем ренегатстве и возвращении в комсомол, не слушаю и не в силах слушать доклада Тушкиной, уткнувшись взором в пустоту угла аудитории и черноту своей души. Тушкина же, оказывается, говорит так сбивчиво, что никто ее не понимает. Данилыч, протерпев минут тридцать-сорок, начинает вопросами к ней и к публике, выводить доклад из тупика. И вдруг я слышу.

- А что это Пименов молчит? Вы тоже не понимаете докладчика? - В растерянности я бормочу невнятицу, из которой следует, что не понимаю ни единого слова, и тут еще неожиданно вмешивается сидящая рядом со мной девица, которой я до того не замечал:

- Да он весь доклад в угол смотрел!

Это была Леночка, до тех пор незнакомая мне. Она-то наблюдательная, точно подметила мое состояние, но так как доклад-то был геометрический, где главную роль играл некий трехгранный угол, то словесно обернулось ее замечание двусмыслицей; на что и следовало раздраженное рычание Данилыча:

- И нужно было смотреть на угол.

Я очнулся, злобно посмотрел на сующуюся не в свое дело девицу, по остаткам формул на доске и бессознательно запавшим фразам докладчика стал лихорадочно соображать, что к чему в путанице Тушкиной, даже какие-то разумно-геометрические слова произнес. А назавтра мы с Тасей стали уже вдвоем разбираться в ее задаче. А назавтра тоже неведомая мне приятельница Лены Галя Филановская остановила меня на лестнице и спросила мое имя. "Фамилию? - переспросил я. - Зачем Вам?" "Нет, фамилию я знаю.

Мне нужно имя." Я назвался, и несколько часов спустя Лена подошла ко мне и обратилась по имени.

Но не об этом хочу я сейчас вести рассказ. И даже не об Илье Бокельмане, Юре Борисове-Федорове, Юре (Александровиче) Волкове, Викторе Абрамовиче Залгаллере, Саше Заморзаеве, Юре Решетняке и не о позже появившихся в узком семинаре Женьке Сенькине и Юре Боровском. Роль и значение этого - узкого - семинара и общения с этой группой гениев (к которым следует причислить самого Данилыча и из которой следует вычесть Заморзаева, обоснованно именовавшегося Замерзавцевым) мне делаются все зримее и ощутимее по мере того, как уходят все в более далекое прошлое годы общения. Словно спотыкался о камни, мокнул в студеных ручьях, не видел ничего, кроме нависающих стенок ущелья, а вот отошел, отодвинулся на полсотни километров - и видишь тот хребет, в котором побывал: во всем своем величии прорезает небо снеговая вершина. Все основные идеи своей последующей тридцатилетней математической деятельности почерпнул я - как воздух - в этом семинаре. И, как воздух, они никому персонально не принадлежали, они витали вокруг всех и не были пойманы в формулировки. Направленность моя на занятие теми геометрическими моделями, которые могут позволить объяснить (эксплицировать) ВРЕМЯ, ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, КОСМОЛОГИЮ, - это оттуда, из вечного интереса Александрова и Борисова к этим проблемам. Использование аппарата выпуклого анализа с его субдифференциалами предпочтительнее по сравнению с классическим анализом дифференцируемых функций - это оттуда же, из докладов в семинаре и разговоров на улицах Васильевского острова с Бакельманом, Волковым и Решетняком. Пристальное внимание к корректности научных утверждений, умение отличать "доказанное от недоказанного", та щепетильность, которая даже в ситуации, чреватой тяжелыми житейскими невзгодами, заставляет первому указать на ошибку в своих собственных выкладках[249], - это и от Залгаллера, и от Александрова, да и от всех. Один лишь Заморзаев был готов сжульничать, замолчать свой промах - но ведь он и не пользовался никаким уважением! Даже многие чисто личные черточки заимствовал я от Данилыча: жест, определенные интонации, ораторская громкость, манеру внимательно слушать и не стесняться перебивать, когда непонятно, неверно, широту и известную театральность реплик.

Но так же, как я не нахожу слов для описания моих с Леной отношений - совершенно целомудренных, впрочем - так же я не нахожу общепонятных, не математических слов, чтобы описать функционирование Семинара, дух Ленинградской геометрической школы[250]. Ограничусь несколькими штрихами к портрету А.Д.Александрова.

---

[249] Именно так обстояло дело на том историческом семинаре в марте 1953 года, когда меня изгоняли из университета (см. §5 гл.1). Летом 1952 года я напал на "золотую" жилу и из нее посыпались преинтересные результаты в теории кривых. Несколько докладов делал я в семинаре, все с восторгом слушали, не замечая ошибки. И вдруг в январе я обнаружил ту описку в начальной формуле, из которой следовало, что все - вздор. Когда Этин узнал, что меня собираются изгонять, он посоветовал промолчать про ошибку. Но я начал свой отчет на семинаре именно с констатации того, что все мои предшествовавшие доклады аннулируются, вся теория оказалось ложной.

Александров был учеником очень нетривиального геометра - Бориса Николаевича Делоне, двадцатью годами его старшего, деда прославившегося в шестидесятые годы поэта Вадима Делоне. Как и Делоне, Александров занимался альпинизмом и, пожалуй, больше своих математических регалий гордился значком "мастер спорта" по альпинизму. Это нашло отражение в шуточных стихах Заморзаева в честь Данилыча:

"Дифгеометрию сдавали
Студенты с грохотом ему:
Кто прыгал выше всех и дале -
Пятерки ставил он тому.

Придя к Данилычу, экзамен
Не сдал от ужаса студент:
Стоял Данилыч вверх ногами,
На голове, как градиент."

В свои 30 лет он стал лауреатом Сталинской премии, в 34 года (в 1946 году) - членом-корреспондентом Академии Наук СССР. Так как он не занимался никакой военной тематикой, а то ли его отец, то ли его дед был сенатором в дореволюционном Сенате и чуть ли не начальником какого-то департамента, то эти успехи объяснялись исключительно научными причинами. Он был нетривиален, замечательно импровизировал, старался во всем вникнуть до самой сути, и не успокаивался, пока не возникало в нем искренней убежденности. Как и многие в его поколении, он истово веровал в марксизм, в диалектический материализм особенно. После премии и избрания в АН вступил в ВКП(б). Не был он лишен и приспособительных способностей, но честность мешала ему и в конце концов привела к безнадежному конфликту с ленинградским горкомом или обкомом. Известен случай, когда он ехал на "колбасе" трамвая, его снял милиционер, потребовал документы. Увидав карточку членкора Академии, милиционер козырнул и вернул документы со словами: "Продолжайте эксперимент". У Александрова замечательная память на лица - была сорок лет назад, и сейчас сохранилась. Он помнил - в лицо, хотя фамилии мог и не знать - всякого, с кем хоть раз разговаривал. Как и многие творческие натуры, он плохо помнит то, что сам он произносил в тех или иных обстоятельствах.

И вот он читал обязательный курс "Дифференциальной геометрии" для общего потока всех математиков и механиков курса в IV-V семестрах. Ничего особо выдающегося в содержании не было - мне с тех пор попадались книжки и программы этого курса куда как более насыщенные. Более того, Александров не давал общего и единого аппарата (например, тензорного, как в книгах Кагана), овладевши которым, всякий, даже туповатый, студент решил бы все задачи дифференциальной геометрии. Вообще цельности,

[250] Александров причисляет к этой школе еще А.В.Погорелова, тот в душе с этим не согласен, но спорить с Данилычем не смеет. Я согласен с Погореловым: не относится он к Ленинградской школе, не тот тип!

завершенности в этом его курсе было маловато. Не случайно за всю свою более чем полувековую математическую деятельность он так и не написал ни одной книги (та, что с Залгаллером - Данилычу не в зачет). Он был мастером этюдов, мгновенных импровизаций. Он учил каждую теорему воспринимать с самого начала, доказывать, словно бы ничего пред тем не зная, с чистого листа. Гениальным озарением. Поэтому к нему и установилось двойственное отношение: одни его терпеть не могли "за пижонство", "за халтуру", "за неподготовленность к лекциям", а другие восхищались его "концепцией конгениальности", "возможностью наблюдать процесс творчества воочию у доски", нахождением минимальных и красивейших путей мысли. Вот относящиеся к этой черте строки из той же шуточной поэмы:

"Служил Данилыч на матмехе,
Вставал не рано поутру,
Читал Данилыч для потехи
Студентам всякую муру.

По геометрии Данилыч
Аксиоматику читал.
Студенты слушали, томились,
Да он и сам не понимал."

Да, не редкостью было услышать от этого профессора с кафедры признание в том, что он НЕ ПОНИМАЕТ того или иного факта, имеющего тем не менее место в системе геометрических наук. Меня такое признание словно бы приобщало к миру горнему. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein?

По-видимому, моя любовь к Данилычу заразила и Фельдмана, потому что довольно скоро у нас с Яшей зародилась дерзкая идея: записать лекции Александрова и издать записи в издательстве ЛГУ, с тем чтобы книга - по одному экземпляру на каждого студента - успела выйти к экзаменам по дифгеометрии. Так как курс был обязательный, так как далеко не всем слушателям был внятен стиль Данилыча, то перспектива получить готовенький апробированный автором конспект лекций перед экзаменами весьма пришлась по душе студентам, и они согласились помогать в нашей с Фельдманом затее. Небольшое сопротивление со стороны самого Александрова мы легко преодолели заверениями, что ему не придется самому ни о чем хлопотать, нисколько уделять этому времени, ибо всю работу мы берем на себя.

И началась работа. Фельдман авторитетно организовал "общественное дежурство", я взвалил на себя научное редактирование. Это значило, что были полудобровольно избраны несколько человек, наиболее подробно пишущих конспекты за лектором. Два или три раза в неделю их конспекты передавались мне и вместе с моими записями они являлись основой, по которой я диктовал девочке, выделенной мне в этот раз по фельдмановской разнарядке - тут критерием являлись ее почерк, наличие свободного

времени, готовность ее работать со мной и фельдмановская напористость - окончательный текст. Этот текст шел в ротапринтную университета. Там его сразу перепечатывали на восковку.

О, эти откровения печатного дела! Ни от какого острова сокровищ и ни от каких пещер Али-Бабы не загорелись бы у меня глаза так, как от входа в помещение ротапринтной, куда и пускали-то по спецпропускам, но куда в силу богатого общественно-партийного авторитета Фельдману удалось войти запросто! В первой комнатке стояла пишущая машинка, в которую заправлялись: на место первого экземпляра ВОСКОВКА (или, когда бывала, ПЛЕНКА), потом копирка, потом бумага под второй экземпляр. Второй экземпляр шел в архив для отчетности. Литеры машинки прорезали дырки на восковке (ленты на этой машинке не было) и получался дырчатый лист. Его несли в соседнюю - совсем как в революционных романах - плохо освещенную комнату, где прикладывали (и сам я не раз священнодействовал) на вал, жирно намазанный фиолетовой типографской краской, прокручивали вал вручную, и из-под того места, где прижимался резиновый валик поменьше, в прорезь стола вываливался листок с отпечатанной страницей. Краски хватало оттисков на 100-150. Ну, конечно, была еще морока с формулами, которые приходилось прорезывать вручную, с чертежами, которые исполнялись отдельно в черном цвете, с переплетом, которого удостоилась примерно половина тиража (у меня сохранился и экземпляр в переплете и непереплетенный). Но, каковы бы ни были хлопоты, трудности и волнения, в конце декабря 1950 года мы с Фельдманом сдержали обещание: раздали по экземпляру на одного или двух слушателей текста лекций А.Д.Александрова "Курс дифференциальной геометрии". Ни разрешения горлита, ни выходных данных - тираж, издательство, подписан к печати тогда-то - ни даже титульного листа на этом издании нет. 160 страниц. Сомневаюсь, чтобы выполнялась обязательная рассылка по библиотекам.

И как это просто, как легко можно изготовить такую же штуку самодельно! Все размеры я записал, составил точнейшие рабочие чертежи, узнал рецепт краски, познакомился с ребятами, сидевшими на снабжении восковкой.

9 марта 1951 года Александр Данилович на моем экземпляре оставил свой автограф:

"Тов.Пименов, спасибо большое за работу, хотя она как и все нуждается в усовершенствовании."

Сие критическое замечание лишило Александрова такого же экземпляра его лекций по "Основаниям геометрии", который он читал тогда, с VI семестра. Вдохновленные успехом, мы с Фельдманом при полной поддержке основной части курса - хотя и при язвительных насмешках некоторых студентов, вроде Вали Пуниной, люто ненавидевших Александрова - решили издать таким же образом "Основания геометрии". По-прежнему я, усевшись на стол в какой-нибудь аудитории (увы, и сами эти аудитории с тех пор перекраивались, и тело матмеха ныне перенесено в Петергоф) или даже в коридоре, диктовал какой-нибудь девочке текст, отталкиваясь от нескольких базисных конспектов. Но из-за

"нуждается в усовершенствовании" мы внесли новое звено в цикл своей производственной деятельности: написанный сегодня текст относился назавтра Данилычу, и только после его правки или без правки, но с его согласия, направлялся в ротапринтную (набор шел, не дожидаясь всего корпуса лекций, постранично). Ну, а автор тянул. У него было множество неотложных дел. Он терял данные ему листы, и приходилось то заново писать уже написанное, то являться к нему домой с угрозой "произвести у него обыск", и тогда он в моем присутствии начинал шарить по закуткам-антресолям и находил рукопись.

Попутно я знакомился с "паразитарными явлениями", нарастающими на всяком живом деле. Одним из писарей была Люда К.[...][251], механик. Вообще-то она неохотно исполняла свои писарские обязанности и со мной была знакома лишь шапочно. Но как только стало широко известно, что я близок с Данилычем, что я бываю в его член-корреспондентском доме на Марсовом Поле, она стала рваться писать под мою диктовку, вне всякой очереди. И раза два, когда мы с ней оставались в узенькой комнатке на третьем этаже перед 93-й аудиторией, она недвусмысленно прижималась ко мне, затевала борьбу в обнимку, глаза ее лучились и обещали. Она просила взять меня с собой, когда я пойду к Александру Даниловичу. Мне она была совершенно не нужна, Данилычу она была неизвестна, и я не видел рационального объяснения прихода с нею. Но я не умел отказать - о, эта трудная наука отказывать! - и я взял ее с собою. Во время моего с ним разговора, его поисков, она так же лучилась к нему навстречу. Он как обычно, изображал галантность. На прощанье он одарил нас грушами, кем-то свежими привезенными ему в разгар весны. Я свою сожрал, а Люда сберегла и на следующей лекции Александрова сидела, поставив рядом с собой грушу. Не знаю, как у нее дальше получилось что с Данилычем, ко мне она охладела и больше мы не встречались. По сплетням, она несколько раз разводилась, меняя фамилию, и в конце концов вышла замуж за какого-то членкора. Я же на всю жизнь запомнил те излучения, которые шли от нее, и впоследствии безошибочно распознавал их в других женщинах такого же типа. Это одна из причин того, что никогда грубо не ошибался в выборе женщин до своих пятидесяти лет. Спасибо тебе, Людочка!

Паразитарный нарост мы рассмотрели, а как рос самый ствол? Так как мы добивались совершенства, то мы не только обеспечивали Данилыча готовым проектом, но и отмечали в получившемся тексте сомнительные места, невнятицы, ляпы. Тетрадный двойной лист разворачивался, вдоль своей длинной части делился на две неравные половины: слева - текст, а справа место для наших замечаний и его правки. Вот Александров произносит и мы записываем:

"... развилась современная геометрия с ее многочисленными разветвлениями."

Этин на полях вопрошает:

"Неясно, что значит разветвление. Этин".

[251] Купюра сделана по просьбе В.А.Пименовой (изд.).

Александров переделывает:

"... развилась современная геометрия со всем многообразием ее теорий",

вспоминая, возможно, свою встречу с Этиным на экзамене по дифгеометрии. Этин совершенно ничего не знал. Берет билет, ответить не может ни на один вопрос. Александров предлагает другой - с тем же результатом. Александров предлагает ему самому выбрать какую-либо тему и рассказать - Этин беспомощен. Тогда Данилыч предлагает ему самому сформулировать три вопроса из дифференциальной геометрии - только сформулировать, не отвечая на них. И Этин прекрасно, четко и глубоко находит три вопроса. А математики знают, да и сам Данилыч не раз повторял, что для решения задачи достаточно уметь правильно сформулировать вопрос. Поэтому, увидав, как точно ставит вопросы Этин, Александров заключил, что ум у того развит, отточен, а случайность, что он не раскрывал учебника, носит побочный характер. И поставил пятерку. Совсем иначе относился он к девочкам, которые не знали, кто жил раньше: Пифагор или Декарт. Или вот в авторском тексте написано:

"Важно усвоить, что такое аксиоматическое построение теории. Для понимания этого полезно взять какую-либо теорему геометрии и разобрать, какие аксиомы в ней используются."

На полях:

"Считаю, что это нужно выбросить. Соломяк, Присоединяюсь. Этин"

И членкор выкидывает вторую фразу. Вот переписка подлиннее:

"На самом деле они придерживаются идеалистических взглядов. Например, в одном американском учебнике элементарной геометрии утверждается как само собой разумеющееся следующее: "Анализируя пространство, мы анализируем нашу способность воспринимать данные опыта." Таким образом, пространство оказывается нашей способностью воспринимать данные опыта, а не объективной реальностью."

На полях:

"Мы считаем этот вывод логически несостоятельным. Этин. Соломяк. Пименов. Буров. Из утверждения: “Анализируя А, мы анализируем Б” не вытекает, что А есть Б."

Александров раздраженно перечеркивает наше замечание с ремаркой:

"Четыре умника" подписываются под идеализмом".

В ответ настойчивое:

"Из того, что мы считаем этот вывод неубедительным и неправильным (это вписано мною поверх зачеркнутого соломячьего "логически несостоятельным"), вовсе не следует, что тем самым мы - четыре "умника" - подписываемся под идеализмом. Обвинение основано на точно такой ошибке, которую "умники" отметили выше."

Александров переделывает свою формулировку, и после вычеркнутых им слов "таким образом" в последней фразе текста теперь написано:

"Пространство определяется здесь как субъективная форма нашего восприятия, а не как объективная форма существования материи."

На его пассаж:

"Развитие, как следует из четвертой черты диалектического метода, имеет своим источником борьбу противоположностей, присущих самому предмету. В конце нашего курса мы убедимся в справедливости этого положения для геометрии"

На полях написано:

"Необходимо конкретно указать, какие противоречия борются в геометрии. Пименов."

Он молча перечеркивает, примеров не приводит. В тексте:

"Пространство есть возможность неограниченного прилегания друг к другу."

На полях:

"Считаю нужным либо развить эту фразу, либо выкинуть фразу. Пименов. Пространство не есть возможность, а одним из его свойств является возможность неограниченного прилегания тел друг другу и неограниченного дробления каждого тела. Утверждают, что это есть мысль Эйнштейна. Справедливо ли это?"

Он молча выкидывает свою фразу. Постепенно все комментаторы отсеиваются, остаюсь один я, все чаще вставляю в его текст уже чисто математические кусочки, пока еще почерпнутые из "Историко-математических исследований", где как раз в те годы Г.А.Розенфельд помещал статьи об Омаре Хайяме и смежных геометрах. Как правило, Данилыч их приемлет благожелательно. Вот он пишет:

"Строгое построение геометрии невозможно, если опираться на наглядные представления."

Я возражаю:

"Александр Данилович! А разве, излагая аксиоматику, Вы не рисуете чертежей, разве Вы не опираетесь на наглядные представления, разве Вы чисто логически последовательно строите геометрию?"

Он меняет формулировку:

"В геометрии можно и должно опираться на наглядные представления, но нельзя строгость вывода основывать на наглядных представлениях; строгость должна устанавливаться уже в отвлечении от этих представлений."

Скакнув воспоминаниями, похвалюсь, что самое хорошее определение геометрии дал я в 1982 году в Новосибирске, прервав Александрова, который в очередной раз излагал свою статью "Геометрия" для БСЭ на этот раз В.А.Рыжику. Вот оно:

"Геометрия есть очень длинная дедуктивная теория, которая на каждом своем куске допускает содержательную наглядную интерпретацию".

Надеюсь, что в "Математическую энциклопедию" XXII века войдет именно это определение. Подчеркну - как я это подчеркнул Рыжику - что ни одного слова из моего определения выбросить нельзя, ибо тогда результат дефинирования не будет однозначным.

Понятно, что при такой улучшательской деятельности мы не успели завершить текст ко времени сессии, после чего издание лекций сделалось совершенно неактуальным, Фельдман перестал им заниматься, а без него входа в ротапринтную не было. Александров же в этом смысле всегда был безруким и бестолковым, даром что тогда как раз становился ректором. Он никогда не знал, какая бумажка нужна для какой формальности. Из-за этого он в 1976 году сорвал Всесоюзный симпозиум по хроногеометрии, на который уже повсюду приглашения были разосланы[252]. В итоге у меня осталась рукопись из десятка с лишним почерков, среди которых к концу преобладают мой и александровский. Вот ее оглавление:

"Предисловие[253] 1

---

[252] Для приема съехавшихся на симпозиум надо предварительно забронировать гостиницу на большое число лиц. По существующим правилам, гостиница Академгородка СОАН принимает коллективную заявку только при условии предварительной регистрации симпозиума за год вперед в документах органа, ведающего всесоюзными и международными совещаниями в АН СССР. Заявку на такое совещание в этот орган может направить только академик или группа академиков, а утверждается заявка в Комитете по Науке и Технике СМ СССР и в Отделе Науки ЦК КПСС. Александров позабыл про это, те мальчики, которые еще даже кандидатами не были и которым он поручил готовить симпозиум, знать не знали ни про какие бюрократические процедуры - вот и отменили из-за отказа гостиницы в броне, за которой обратились за неделю-другую до съезда приглашенных.

[253] Предисловие трактует важность диалектического материализма в основаниях геометрии и уснащено ссылками на IV главу "Краткого курса истории ВКП(б)", на

Гл.I. СУЩНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ 11
§1. Первоначальный предмет геометрии 11
§2. Развитие геометрии в первоначальном ее смысле 21
§3. Развитие геометрии 30
§4. Лобачевский 41
§5. Развитие геометрии после Лобачевского 52
§6. Обобщение предмета геометрии 61
Гл.II. АКСИОМАТИКА ЭВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 76
§1. Общие замечания 76
§2. Аксиомы сочетания 87
§3. Аксиомы порядка 99
§4. Аксиомы движения 127
§5. Учение о равенстве 143
§6. Аксиома непрерывности 168
§7. Общее учение о величине 177
§8. Аксиома о параллельных и абсолютная геометрия 193
§9. Координаты 207
Гл.III. АНАЛИЗ АКСИОМАТИКИ ЭВКЛИДОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 211
§1. Непротиворечивость 215
§2. Полнота 231
§3. Независимость242
Гл.IV. ОБОБЩЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ 263
§1. Теоретико-групповая точка зрения на геометрию 263
§2. N-мерное эвклидово пространство 273
§3. Проектная геометрия 284
§4. Преобразования, сохраняющие прямые291”

Всего 304 листа. Специалист сразу увидит, как резко отличается этот курс оснований геометрии от современных, пропитанных бурбакистским взглядом на структуру математики. В основаниях геометрии - ни слова о математической логике. Зато очень много истории.

Побочным следствием этих своеобразных отношений между мной и член-корреспондентом оказалось, что я - единственный из его учеников, кому было позволено резко с ним не соглашаться, говорить ему прямо неприятные вещи. Как гораздо позже выразился Бакельман:

- Единственный человек, которому позволено говорить гадости в лицо Данилычу - это Револьт. (Слово "гадость" в жаргоне ленинградских геометров означает логически неопровержимое или трудно опровержимое утверждение, которое противоречит намерениям и догадкам автора.)

У Данилыча я выполнял курсовую работу за II курс - "Двадцать пять различных определений кривизны" пространственной кривой. У него же занимался "аксиоматикой движения фигур в эвклидовом пространстве", что в конечном счете сделалось моей дипломной работой, потому что предполагавшаяся дипломная по моим результатам в теории сверхкривых оказалась липовой. Для нужд этой аксиоматики я проштудировал книгу Шура на немецком языке, и мое достижение сравнительно с Шуром состояло в том, что мне

Ленина и на "Относительно практики" Мао Цзе-дуна, только что опубликованную в журнале "Большевик".

хватило не преобразований всего пространства на себя, а преобразований конечных областей пространства на конечные же области ("фигуры", как старомодно выражались мы с Данилычем).

У него же весной 1952 года я сдавал экзамен по факультативному курсу "Геометрия Лобачевского". Сдавали мы трое - я, Этин и Света Богачева. Я - в пику Данилычу - за основу принял изложение этой геометрии по В.Ф.Кагану, которые, к слову сказать, я и сейчас считаю необходимейшим для развития геометрической интуиции в неэвклидовых мирах. Данилыч был дико занят и в конце концов местом сдачи экзамена назначил свой ректорский кабинет, в который он с полгода как въехал. Мы пришли, он дал нам вопросы и велел выйти, готовиться, пока у него какое-то совещание. Мы вышли, примостились было в приемной, но там тесно, все ходят, приходится все время старшим уступать место на диване, секретарша волком смотрит. Так что мы махнули рукой и махнули на набережную, спустились к самой воде, и там на ступеньках я стал готовить Этина и Свету к ответам на их вопросы. Чудесное весеннее солнце. Переливы его по невской ряби. Безветрие. Молодость. Сознание полного владения материалом. Сладчайшее воспоминание - эта сцена, а как ее описать? Кто умеет хотя бы гранит этого спуска выразить словами? А ту вечную плесень на площадке, что вровень с водою? Часа через четыре он нас принял. Мне для ответа нужно было нарисовать окружность в каком-то месте. Ну, я, недолго думая, окинул взором кабинет, циркуля не увидел, но узрел нечто круглое - крышка от чернильницы - перегнулся через стол, схватил ее, поставил на бумагу и обвел окружность. Боковым зрением углядел священный ужас на физиономии Данилыча, мгновенно понял, что кощунствую, внимательнее взглянул на крышку и столь же моментально прочел на ней надпись - от Оксфордского университета университету ленинградскому, 1952. Оказывается, эту золотую чернильницу только что подарил Оксфорд Александрову, она была еще свежей реликвией, а я-то варвар! Точно таким же варваром и дикарем предстал я перед Светой незадолго до того. Был я у нее в доме. Понадобилось достать что-то сверху. Встал на стол - не достаю. (Она же ростом ниже меня.) Зырк глазом, беру толстенную книгу-фолиант, подкладываю, становлюсь на нее и достаю. Вот тут она и посмотрела на меня тем самым взглядом, так же молча, как Данилыч в кабинете! К слову, все это происходило ПОСЛЕ выпада Светы против меня на комсомольском собрании, описанном в §5 гл.1, - я зла на людей не держал. Перчатки после этого я стал снимать.

Не только у Александрова занимался я в те годы. В семинаре Николая Александровича Сапогова я делал доклад о колмогоровской аксиоматике теории вероятностей. Этот доклад превратился в мою курсовую работу за III курс. Сапогов очень хотел заполучить меня к себе, очень сманивал. Почему-то он был высокого обо мне мнения. Подозреваю, что потом именно от него это мнение передалось его бывшей жене Ольге Александровне Ладыженской, с которой тогда я не был знаком. У меня же, наоборот, от разбора аксиоматики Колмогорова сложилось мнение, что теория вероятностей не наука, раз такая примитивная аксиоматика полагается в этой науке вершиной математической мысли. Столько шуму об этой аксиоматике, так меня предупреждали, будто она трудна для понимания - а ничего в ней нет ни трудного, ни интересного, ни

содержательного. И всю жизнь потом я к писаниям А.Н.Колмогорова относился скептически, презрительно[254].

Примерно в районе третьего-четвертого курса задумался я над функциями, промежуточными между синусом обыкновенным и синусом гиперболическим. И другими таким же промежуточными тригонометрическими функциями. Они нужны были мне для единообразной записи лобачевской, эвклидовой и эллиптической тригонометрий. Причем они должны были бы описываться как ОДНА функция, в зависимости от некоторого параметра ε, которому разрешалось принимать значения единица, минус единица и ноль. Писал я их s ε n, отчего все кругом и говорили про "пименовские сэнусы". Дуальные числа я тогда еще не изобрел, а то бы хлопот не возникло. Долго кропал я, находил соотношения, а потом набрался духу посоветоваться с Григорием Михайловичем. Для этой цели отправился я на его лекцию для первокурсников, залез в задний ряд, высидел всю лекцию, а потом в перерыв подошел к нему с вопросом. По существу, Фихтенгольц быстро понял, чем я занят, отослал меня к функциональному уравнению Коши (лет за сто до моего рождения), точно назвавши выходные данные[255], но очень изумился такому способу контакта с ним: не надо мне было отсиживать лекцию с первокурсниками, можно было и на кафедру зайти, и даже домой позвонить ему...

Несколько слов о Григории Михайловиче. Я никогда не был сколько-нибудь близок к нему: во-первых, он внушал благоговение, которое не позволяло приблизиться. Не случайно "Гимн матмеха" пел:

"Пришел Фихтенгольц, бородой покачал,
И слезы у многих сверкнули."

Во-вторых, анализ меня совершенно не привлекал. Но лекции его были шедевром математической педагогики, а два его рассуждения глубоко запали в мое сознание и помогли в собственной деятельности. Первое:

- Математик должен быть лентяем. Он никогда не должен спешить приниматься за деятельность. Вот, например, на необитаемый остров сослали математики и нематематика, сказали, что если за год составит таблицу логарифмов до пятого знака, то через год корабль его подберет, а не составит - навсегда останется там. Ну, все нужное для работы - бумагу, пишущие принадлежности, учебники математики - оставили. Так вот, нематематик сразу начнет вычислять, лишь бы поскорее. Протрудится весь год, и конечно, не успеет и наврет. А математик полгода будет лежать загорать на песке и прикидывать: как короче и без лишней писанины посчитать эти проклятые логарифмы? А потом за неделю все напишет. Так что

---

[254] Точно такое же впечатление произвели на меня колмогоровские исследования по "ценности информации" в кибернетике. "А, все это я сам придумал, когда в лагере в Вихоревке был, тривиальщина это!" - вот что пришло мне в голову, когда я прочитал после освобождения соответствующие его статьи.

[255] Собственно, речь шла о задаче, решение которой опубликовано в "Математическом просвещении" §6 за 1961 или 1962 год, забыл какого автора.

математик просто обязан быть лентяем, иначе он нарушает свою сущность.

Второе, которого я не помню дословно, состояло в указании на ПРИНЦИП ПЕРМАНЕНТНОСТИ, которым обязан руководствоваться всякий, создающий новую математическую теорию и которым, фактически, в истории развития математики сознательно или бессознательно всегда руководствовались. Старая теория должна не отвергаться, а занимать свой уголок в новой, обобщенной. Уголок, в котором она сохраняется верной при специальном наборе параметров. Позже мне довелось читать писания Б.Г.Кузнецова, именовавшего этот принцип "принципом соответствия", и контраст с четкостью формулировки Фихтенгольца и словоблудием Кузнецова был разителен.

Я тогда по патологической скромности и низком о себе мнении полагал, что никто меня не замечает, не видит. Я не представлял, что лектор сразу же идентифицировал меня, чужого на этом курсе, даже вспомнил, как я сдавал ему экзамены, возможно, даже припомнил, что еще слышал обо мне в деканате. Я думал, будто бы я никому не заметен, особенно, если съежусь, пригнусь. Говоря физическим языком, я воспринимал себя как ПРОБНОЕ ТЕЛО в некотором ПОЛЕ, т.е. такое тело, которое само не оказывает никакого воздействия на самое поле, на движение других частиц в этом поле. И мне понадобилось много разнообразного опыта, дабы постичь, что я МАССИВНОЕ ТЕЛО в окружающем меня поле!

Вот другой пример моего непонимания того, что меня ВИДЯТ. Сильно я в ту пору интересовался теорией относительности, а никто ее на матмехе не читал ни в обязательных курсах, ни в факультативных. Последнее, что я на эту тему видел опубликованным - "Механика" Хайкина 1948 года, еще в школе листал. Тогда же в школе или на год раньше я прочел Эддингтона "О природе физического мира" или "Кванты и относительность", не упомню, титульный лист был оторван, 1931 года перевода. Оттуда и тяга, но университет ничего не давал. Прослышал я от Володи Фролова, что им, астрономам, их преподавательница физики будет две или три лекции излагать теорию относительности; пошел слушать. Не спросился у нее, думал, что меня не заметят - а всего-то слушателей человек пятнадцать астрономов! Даже когда она любезно так улыбнулась: "У нас сегодня гости", - я тупо смотрел на нее и ничего, кроме придурковатой улыбки, не сумел родить. Добро, Фролов спас положение. Это ощущение своей незаметности сродни тому, как дачник, снимающий комнату у хозяев, имеющих сад, тайком срывает яблоки или мандарины в саду, пока хозяева спят и не видят его. Он думает, что они "не заметят", а им ведь и не нужно замечать, когда он срывает. Они от завязи знают все свои плоды, знают, какие окажутся червивыми, а какие не дозреют. Исчезновение плода говорит само за себя, но горожанин-дачник о такой своей "заметности" не помышляет.

В связи с теорией относительности же, для понимания которой нужен тензорный аппарат, мы с Тасей Тушкиной - к тому времени определенно специализировавшейся на алгебре - буквально силком вырвали у Дмитрия Константиновича Фаддеева согласие прочесть курс тензорного исчисления. Собственно, он изложил только

тензорную алгебру, причем никто из нас ничего не понял. Нынче мне кажется непостижимым, почему такой простой и естественный подход к тензорам как к полилинейным функциями показался нам совершенно непонятным, ничего не дающим. Тут и не в отвратительной дикции Д.К.Фаддеева дело, хотя она тоже мешала, конечно, воспринимать. Нет, просто стиль и уровень тогдашнего образования на матмехе не готовили к такому абстрактному общему пониманию тензоров.

Пробовали мы с Фельдманом добиться от преподавателей матмеха каких-нибудь обзорных курсов, которые помогли бы разобраться в архитектонике математики. Дабы видны стали взаимосвязи между результатами, получаемыми в РАЗНЫХ ее дисциплинах. Набросал я даже "программу", следуя которой надлежало организовать профессоров таких-то для освещения таких-то углов математического здания. Фельдман очень загорелся, но энтузиастов среди профессуры не нашлось. В то время еще только Бурбаки во Франции владели таким общим планом страны Матемаландия, а до Васильевского Острова зарисовки этой карты еще не доплыли. Так наша суета и не родила ничего, но отразилась косвенно в Отзыве о курсе Ф.П.Отрадных (см. §5 ниже).

§4. Дело Н.А.Шанина

Философский семинар факультета; курс топологии; статья против Шанина; организация коллективной статьи в защиту Шанина; А.А.Марков-младший; философия оснований математики

Графомания моя не уменьшалась, и число моих опусов росло в геометрической прогрессии. Хотя КГБ основательно почистило мои архивы, все равно стихов, философских эссе и прочих произведений осталось за эти годы так много, что хотя бы даже перечислить их здесь я не смогу за недостатком объема. Но графоманские мои наклонности находили и другой, более невинный выход: я записывал - освоив в это время стенографию - заседания философского семинара факультета. Я не знаю, с какими чувствами шли на этот семинар профессора и доценты. Мне там было интересно. Кургузый кафтан диалектического материализма покроя Сталина - Жданова надевался на живую математику, немедленно трещал и обнаруживал полную свою непригодность; это происходило в присутствии большого числа очень умных и понимающих математиков, из которых некоторые были достаточно активными и смелыми, чтобы предлагать свои поправки в покрой или даже в ткань если не всего кафтана, то хотя бы порванной его части. И все охотно пользовались любым предлогом, чтобы от официально-партийной терминологии перейти к обсуждению действительно волновавшего всех кризиса в основаниях математики, в теории множеств. Чтобы разобраться, в какой мере нужна теория множеств реально работающему математику. Разбирательство шло не на уровне точной формулировки аксиом; аксиоматику Цермело - Френкеля прочитал только после окончания университета. Но это лишь облегчало включение в понимание свежего слушателя. А пускали на эти семинары всех желающих, и мы с Этиным, а потом и с Нагорным сделались завсегдатаями семинаров.

Вот обсуждается проект статьи А.А.Маркова "Математическая логика" для второго издания БСЭ. Вот - статьи А.Д.Александрова "Геометрия" туда же. Вот 8 июня 1950 года доклад К.Ф.Огородникова "О дискретности и непрерывности материи". Вот 26 октября Д.К.Фаддеев докладывает "Первая черта диалектики", обсуждение какового доклада превращается в двухдневный спор насчет теории множеств и канторианцев (участвовали в дискуссии: Александров, Еругин, Линник, Марков, Фаддеев, Фихтенгольц, Шанин). Вот 24 ноября С.Г.Михлич докладывает: "Вторая черта диалектики", после чего на следующее заседание приглашается В.А.Фок с докладом "О теории относительности". 14 декабря Ю.В.Линник делает доклад "Роль теории вероятностей в социалистическом строительстве". 8 марта 1951 Ю.Ф.Борисов докладывает "Третья черта диалектики". 19 марта Б.В.Гнеденко докладывает "Предмет и метод математики", где сделал выпад против "эффективизма". Шанин не стерпел, и завязалась бурная полемика (Александров, Гавурин, Канторович, Петропавловская, Санов, Фаддеев и даже второкурсник Нагорный получил слово). 11 апреля Шаронов с докладом "Энгельс об астрономии". 3 мая - Фриш: "Современные представления о массе и энергии". А 17 мая состоялась целая конференция, программу которой следует сохранить для потомства.

"Объединенная конференция математико-механического факультета, физического факультета ЛГУ и Ленинградского отделения Математического института АН СССР, посвященная значению трудов И.В.Сталина по языкознанию для точных наук.

17 мая

1. В.И.Свидерский. "Труд товарища Сталина "Марксизм и вопросы языкознания" - новый выдающийся вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма".

2. А.Д.Александров. "Общественная природа науки в свете сталинского учения о надстройке".

3. Н.А.Шанин. "Математический язык" в свете трудов И.В.Сталина по языкознанию".

4. Л.Э.Гуревич. "Товарищ Сталин о характере качественных изменений и космогония".

18 мая

1. Ю.Ф.Борисов. "Товарищ Сталин об абстракции".

2. А.Р.Марченко. "Против вульгаризации марксизма в математике".

3. Л.Л.Мясников. "Против вульгаризации марксизма в физике".

Заседания конференции будут происходить 17, 18 мая с 18 часов в помещении математико-механического факультета ЛГУ В.О. 10 линия, 33, ауд.41

100 экз. № 542 Бюро философских семинаров

4/V-51 г. об.”

Как видите, в отличие от "Дифференциальной геометрии", это типографский документ пролитован.

Невзирая на всю марксообразную терминологию и даже искренние марксистские чувства некоторых ораторов, на этом философском семинаре велись СЕРЬЕЗНЫЕ разговоры, шло СЕРЬЕЗНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ фундаментальных для правильного понимания науки и ее места в мировосприятии вещей. Поэтому, например, прочитав в семидесятые годы наделавшую много шума книгу Т.Куна "Структура научных революций", я не нашел в ней почти ничего для себя нового: про все про это, разве что в других терминах, говорилось на матмеховском философском семинаре. Правда, это не малая оговорка - в других терминах. Из-за того, что разговор был возможен только в неадекватной марксообразной терминологии, дискутанты были лишены возможности создавать язык, пригодный для формулировки найденных ими закономерностей. Научная же деятельность, как и вообще культурное развитие, состоит в обогащении и уточнении языка. Кун ввел термин "парадигма", а матмеховский семинар, вполне нащупав суть и содержание того, что накрывается у Куна понятием "парадигма науки" и "смена парадигм", принужден был пользоваться термином "мировоззрение", в лучшем случае - "методологический подход", а сии термины из-за слишком широкого их использования в других областях скомпрометированы, расплывчаты, не позволяют недвусмысленно выделить предмет речи.

Осенью 1950 года мы четверо - я, Этин, Тася Тушкина и - забыл кто - уговорили Шанина прочитать нам спецкурс по топологии. Шанин был уже нам всем знаком по курсу аналитической геометрии на первом курсе. Помню, как потрясли меня и буквально изменили мое мировоззрение его насколько слов, модификация обычной терминологии. Я уже прочитал к тому времени один учебник по векторному анализу, пару учебников аналитической геометрии, прекрасно знал, что НАЗЫВАЕТСЯ "касательной плоскостью", но когда Шанин произнес:

- Назовем касательной плоскостью... -

произошел скачок понимания. Да, ведь математические объекты мы формируем своим НАЗЫВАНИЕМ. "Называется" - так говорят применительно к тому, что существует от нас независимо, а "назовем" - это то, что мы сами создаем! Или:

- Следующий параграф называется "Кривые второго порядка". Мы не знаем, что такое "кривые" отдельно, нам этого и не надо знать, мы определяем единое понятие "кривые второго порядка".

Все. В небытие отправляются все и всяческие споры о том, что такое "кривая на самом деле". Четко, контрастно показан терминологический характер математических конструкций. Другой пример, уже на старших курсах. Обычно пишут что-нибудь вроде:

"Вещественное число есть, или вещественным числом называется, бесконечная десятичная дробь, с надлежащими уточнениями."

Шанин же произносил:

- Говорим, что задано вещественное число, если задан алгорифм, посредством которого по номеру десятичного знака выписывается значение этого знака, с теми же уточнениями.

И сразу становился ясен платонизм, реализм первого подхода и номинализм второго. Вещественное число не ЕСТЬ, о его ОБЪЕКТИВНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ бессмысленно говорить, можно лишь ГОВОРИТЬ ОБ ЭТИХ ЧИСЛАХ, а проблема их БЫТИЯ возникает исключительно из-за "аббревиатурного характера языка" (любого живого языка) - это тоже шанинская формула[256]. Характерна для Николая Александровича и такая деталь. Лекции по топологии мы слушали в дальнем астрономическом крыле, куда надо было бежать с предыдущей - обязательной к посещению - лекции, часто затягиваемой, через весь матмех и вниз-вверх, поэтому часто опаздывали. Раз Тушкина сказала, что, мол, Шанин начал лекции в пустой аудитории, не дождавшись нас. Мы не поверили, решили удостовериться, до назначенного часа залезли под столы. Входит Шанин. Раздается звонок. Он ждет минуту и начинает читать, чертит на доске. Читает минут пятнадцать. Мы, ошеломленные, вылезаем из-под столов. Он, не моргнув глазом, продолжает читать топологию. И только в перерыв происходят объяснения.

Мне очень повезло, что я влюбился в двух антиподов: Александрова и Шанина. Александров, наоборот, читая дифгеометрию, исходил из того, что КРИВАЯ СУЩЕСТВУЕТ САМА ПО

[256] Сколько я исписал философских трактатов об абстракции субстантивации или гипостасирования, вдохновленный подобными замечаниями Шанина. Как это мне все помогло позже разобраться в "проблеме времени"! С каким узнаванием давно известного читал я рассуждения Карнапа о псевдопроблемах - 10-15 лет спустя, когда Карнап дошел до советского читателя!

СЕБЕ, а наша задача - найти такое ее определение, которое СООТВЕТСТВОВАЛО БЫ ЕЕ ПРИРОДЕ. Александров никогда бы не смог ничего произнести в пустой аудитории, без контакта со слушателями. Да он просто и не мог бы прийти точно к сроку, не опоздавши! А вот я сосал из двух маток, хотя бы отнюдь не ласковым, а дерзким и хамоватым теленком. Например, как-то в перерыв, продолжая дискуссию, поднятую в ходе философского семинара, я брякнул Гавурину:

- Марк Константинович, Вы передергиваете!

Он посмотрел на меня молча, все тем же взглядом воспитанного человека, как Александров из-за чернильницы, Богачева из-за книги. И мне хватило. С тех пор в такой ситуации я всегда произношу:

- Я Вас совершенно не понимаю. Мне казалось, что Вы называли то-то тем-то, а сейчас Вы вроде говорите противоположное.

Вернусь к Шанину. Такой же четкостью отличались и выступления его на философском семинаре. Сам он по образованию был тополог, защитил в 28 лет докторскую диссертацию по комбинаторной, кажется, топологии и работал на матмехе доцентом на кафедре геометрии, которой заведывал профессор А.А.Марков-младший, тоже много занимавшийся прежде топологией, но теоретико-множественной. Но уже с 1940 года или раньше Марков пришел к выводу о неудовлетворительности теоретико-множественного фундамента математики, стал нащупывать иной, алгорифмический подход, который, конечно, вырастал из интуиционизма Брауера - Гейтинга, но от них Маркову приходилось открещиваться по "идеологическим" причинам. Шанин заразился идеями своего учителя и пытался активно их внедрять. При этом если Андрей Андреевич не считал нужным приспосабливаться к очередным "идеологам", будь то Ленин, будь то Жданов, будь то Сталин, то Шанин - напрягался, чтобы напялить конформистский мундир. Андрей Андреевич на каком-то из заседаний, посвященных юбилею своего отца, академика А.А.Маркова-старшего, в годы "борьбы с космополитизмом" взял да и зачитал некоторые выступления своего отца против гнусности антисемитизма. Или, чуть позже, в ЛОМИ, на широком семинаре:

- Не надо думать, что все, публикуемое на Западе, непременно является лженаукой. Не надо представлять себе дела так, будто бы западный, американский, ученый, войдя в свой кабинет и сев за стол, задается задачей: дай-ка я сегодня еще что-нибудь антинаучное придумаю. - Тут фразу оборвал взрыв хохота, помешавший Маркову завершить свой образ. Впрочем, это не мешало Маркову вступить в ВКП(б). Шанин же, напротив, излагал нам с Этиным - когда мы провожали его с матмеха на Большую Зеленина, где он жил, и когда я напирал на нелогичность, бессмысленность марксизма, - свое мировоззрение:

- Да, в математике должна быть полная ясность, никакого противоречия и даже недосказанности в математике терпеть нельзя. Но в жизни прямо наоборот. В жизни следует поступать самым нелогичным, иррациональным путем. Поступать логично не только нельзя, это противоестественно. Марксизм и относится к таким жизненным проявлениям.

Разумеется, при такой направленности интересов кафедра геометрии, имевшая всего четыре-пять единиц, включая старшего преподавателя Веру Александровну Соколову, ведшую практические занятия, не могла вместить семинар А.Д.Александрова. Более того, в прошлом зав. кафедрой Марков продержал год или больше Александрова, уже защитившего докторскую диссертацию, на ставке ассистента. Так, к идейно-математическим расхождениям прибавилась еще личная обида. Желая угодить идущему в гору Александрову, крупный партийный деятель матмеха Агекян организовал статью в стенгазете:

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПЕРВОМУ КУРСУ

"Наступает экзаменационная сессия (...) Таким исключением в данном случае явилась аналитическая геометрия у большей части первого курса (точнее, у всех, кроме астрономов), которую читает доц. Н.А.Шанин. Состояние знаний по этому предмету и перспективы подготовки к экзаменам по этому предмету вызывают серьезную тревогу.

Начать с того, что доц. Шанин категорически запретил студентам пользоваться какими бы то ни было учебниками, рекомендованными в программе М.В.О.

Разделяет ли кафедра геометрии точку зрения доц. Шанина на эти учебники?

Нам кажется, что если принятые во всех университетах страны учебники по аналитической геометрии являются столь порочными, то кафедра геометрии нашего факультета должна выступить с обоснованной критикой их.

Для подготовки к экзаменам разрешено пользоваться только конспектами лекций читаемого доц. Шаниным курса, и студенты предупреждены, что на экзамене формулировки должны быть дословными.

Казалось бы, при такой установке, им же данной, лектор должен сделать все, от него зависящее, чтобы студенты могли записывать его лекции достаточно подробно. К сожалению, темп чтения курса настолько высокий, что не только подробных, но и хоть каких-нибудь записей студенты часто не успевают сделать. Ведь первокурсники - это вчерашние школьники, они только еще приучаются записывать лекции, им не под силу одновременно понимать излагаемый лектором в ускоренном темпе материал и успевать его записывать. Стремясь записать дословно все выражения, они не успевают это сделать, теряя при этом нить мысли. В результате получается печальная картина, когда оказывается, что студенты сами не могут разобраться в своих записях, не только смысл кажется для них непонятным, но и многие слова невозможно прочесть.

На практических занятиях приходится решать задачи, требующие знания не того материала, который излагается на лекциях. Поэтому руководителю практических занятий приходится давать студентам "на веру" некоторые уравнения, на основе которых решаются задачи.

Наконец, после того как в библиотеке появилась программа Министерства Высшего Образования, выяснилось, что прочитанная часть курса далеко не соответствует тому, что значится в программе.

Это вызвало новые недоумения у студентов, ибо и программа не может оказать им помощи в подборе материала при подготовке к экзамену.

... Мы ни в коем случае не хотим умолчать о том положительном, что имеется в лекциях доц. Шанина. Бесспорно, доц. Шанин является высококвалифицированным специалистом. Лекции его содержательны. Студенты математики 4-го курса, прикрепленные в порядке прохождения педагогической практики к студентам I курса, чтобы выяснить причины панического настроения у своих подшефных, посетили лекции по аналитической геометрии и пришли к выводу, что эти лекции рассчитаны именно на них, студентов 4-го курса, к тому же не связанных необходимостью делать записи, но для студентов-первокурсников эти лекции недоступны. Кроме того, в их памяти не стерлись еще печальные воспоминания о том, что они сами испытывали на I курсе.

Нет сомнений в том, что доц. Шанин мог бы читать отличные лекции и для первокурсников. Но пока следует признать, что ему изменило педагогическое чутье и чувство аудитории. Запрещая пользоваться книгами и требуя дословных формулировок, доц. Шанин приучает студентов к худшему виду школярства.

Надо надеяться, что в будущем семестре положение изменится. Но пока что трудно себе представить, что произойдет на экзаменах в январе. Некоторые студенты рассчитывают на либерализм преподавателя, но большинство не разделяет их оптимизма и вполне резонно вопрошает - как быть?

Можжерин."

От статьи за версту несло интригой и гнусностью. Кроме того, мы любили Шанина. Лена Ландсберг любила меня, и вместе с Николаем Нагорным она всколыхнула второй курс. Кстати, это ее рукой переписанная статья Можжерина сохранилась в моем архиве.

Газету вывесили в начале января, когда сессия уже началась. 10 января срочно собралось заседание кафедры геометрии. На нем присутствовали: зав. кафедрой Марков, сотрудники и аспиранты кафедры Александров, Заморзаев, Петропавловская, Соколова, Шанин, приглашенные профессора Окунев, Фаддеев, Фихтенгольц, Широков. Набежала куча студентов, сагитированных нами, в качестве "свидетелей" за Шанина. Вот никак не могу вспомнить, как мотивировалось то, что заседание кафедры университета происходит в помещение ЛОМИ (тогда расположенного на Дворцовой набережной, рядом с Домом ученых, в одном здании с Институтом востоковедения). Марков, председательствуя, четко ограничил задачу заседания: рассмотреть СОДЕРЖАНИЕ статьи. Когда кафедра принимала оценку оной, нас, студентов, попросили выйти. Александров попробовал было зацепиться за отсутствие Можжерина и Агекяна, но ему так убедительно рассказали сразу несколько человек, как тех звали на заседание и как те отказались прийти, что он смолк. Фихтенгольц возмущался тем, что такая статья публикуется накануне экзамена и настаивал, что решение кафедры следует принимать без студентов. Это не включено в официальный протокол, записано в моем протоколе. В официальном протоколе констатировалось:

Проф. Марков просил присутствующих высказаться по поводу упомянутой статьи.

Слово взял староста 14 группы первого курса, тов. Найденов. Он сказал, что статья содержала неверное указание на то, что доц. Шанин не рекомендовал ни одного из имеющихся учебников Аналитической геометрии[257]. Он опроверг также утверждение статьи о том, что лекции невозможно было записать и в подтверждение своих слов показал собственный конспект лекций, сказал также, что студенты понимали лекции доц. Шанина и прослушанным курсом довольны.

Студент 2-го курса тов. Нагорный сказал также, что пособия по курсу были рекомендованы, что лекции студентам понятны. Отвечая на упрек статьи относительно практических занятий, он сказал, что на практических занятиях ничего не давалось без доказательства. Далее в своем выступлении он отчасти осветил историю возникновения статьи. Ее написал аспирант Можжерин, как он выразился, "по предписанию свыше". Статья была им написана на основании разговора с небольшой группой студентов 1-го курса (человек 8-10 не больше), панически настроенных перед экзаменом. Возмущенные статьей, студенты-математики пытались выяснить положение с курсом Аналитической геометрии, с этой целью они опросили человек 40 студентов 1-го курса, все они о прослушанном курсе высказались положительно. Студент 3-го курса тов. Этин подтвердил историю написания статьи, сказав, что главный редактор стенгазеты ассист. Т.А.Агекян дал указание аспир. Можжерину написать статью, последний фактов не проверил. Заметка, по мнению тов. Этина, недобросовестная. Заметка вызвала законное возмущение студентов.

Студентка Грекова сказала, что заглавие статьи не соответствует действительности. Н.А.Шанин не меньше других лекторов обращает внимание на аудиторию, он много сил и энергии вложил в дело создания общественного конспекта.

Студентка Горячева сказала, что студентов 1-го курса запугивают некоторые старшекурсники. Она добавила, что лекции Н.А. записывать очень легко, что это подтверждают даже и незрячие студенты.

Студент 2-го курса Мануйлов в своем выступлении сказал то же, что и студ.Горячева.

Студентка 2-го курса Ландсберг сказала, что Аналитическая геометрия студентами хорошо усвоена, что ясно видно при изучении механики.

Студент 1-го курса Конарев сказал, что курс Аналитической геометрии вполне доступен студентам и усвоен ими. Он отметил хорошее впечатление от экзамена по этому курсу: экзамен указал ему его недочеты, многому научил[258].

Выступление аспир. Петропавловской: ею были отмечены справедливые требования Николая Александровича к студентам на экзамене по Аналитической геометрии[259].

---

[257] Конкретно он назвал учебник Делоне и Райкова, которые Шанин и нам рекомендовал. Но лекции и этот учебник были не тождественны.

[258] В официальный протокол не попали его наивные слова: "Я могу говорить сейчас без всякого страха, я уже сдал экзамен".

Аспирант т. Заморзаев отметил, что аспир. Можжерин написал заметку не так резко, как она была перередактирована Т.А.Агекяном.

Доц. Н.А.Шанин в своем выступлении дал разъяснения по ряду поставленных ему вопросов.

Заслушав, кафедра Геометрии постановила:

1) Признать статью по содержанию не соответствующей действительности и тенденциозной.

2) Считать появление статьи непосредственно перед началом экзаменационной сессии вредным в педагогическом отношении".

Однако было очевидно, что редакция не намерена извиняться. О постановлении кафедры знали немногие - газету читали все, ее не сняли со стенки на первом этаже, между входом и деканатом. Напротив, когда мы сделали копию протокола заседания кафедры, его у нас отобрал секретарь парткома А.Н.Глебов - оруэлловское исправление истины открывалось мне не из фантастических романов, а из действительности повседневной жизни. Поэтому мы продолжали кипеть возмущением.

Было решено написать контрстатью в стенгазету и подписать ее возможно большим числом студентов. Всем заправляли мы втроем: я, Этин, Нагорный. И вот в назначенный час собралось около двух десятков студентов первого-второго курса. Но мы трое еще не сговорились насчет текста статьи. Ведь когда три математических логика начинают спорить насчет формулировок, конца их полемике не жди![260] А собравшиеся волнуются: большинство их спешит уехать на каникулы, уйдут сегодня - потом не отыщешь, а вернутся после каникул - поостынут, поди потом у них собирай подписи! А три автора все дальше и дальше заходят во взаимных обвинениях в ложном толковании формулировок, целей и семантики. Именно тогда я постиг, как разъединяют людей совместные обсуждения, совместное написание текстов. Но я же и нашел колумбово решение в той безвыходной ситуации. Я вышел из той комнаты, где мы переругивались, с двумя чистыми листами бумаги и сказал собравшимся:

- Ребята, текст еще написать по техническим причинам не успели. Но пока напишут - длинный - вы соскучитесь. Давайте сделаем так: вот поставьте свои подписи здесь, чуть отступя от верхнего края, а статью мы напишем таким почерком, чтобы она как раз кончалась перед вашими подписями. И идите по домам.

У первокурсников даже мысли не возникло, что я мог бы злоупотребить их подписями на чистом листе, а юридически мыслящих лиц вроде Эрнста Орловского, к счастью, в коридоре перед 43-й аудиторией не было в ту минуту. Мгновенно Люда Грекова расписалась от 14-й группы. За ней последовали: Н.Онисько, комсорг той же группы (мы тщательно указывали регалии), В.Булавский от

[259] Ее выступление подано в ослабленном виде. Она требовала жучить и шпынять студентов как можно сильнее - все пойдет им на пользу.

[260] Когда я позже рассказывал этот эпизод Нине Масловой, она воскликнула: “Так вот почему ты написал эту загадочную фразу "... Я не мог отделаться от стремления к "улучшению" текста. Замечу, что это одно из самых опасных стремлений при коллективной работе. Ведь если действия объединяют, то мнения разделяют. Рождаются нескончаемые споры" (§6 гл.1). Мы с Сережей никогда не могли понять ее!” Жаль, что я не успел поделиться с Сережей Масловым этими воспоминаниями - может быть, это помогло бы нам еще лучше понимать друг друга...

13-й, Горячева - комсорг 11-й, Найденов - староста 14-й, Бакунин от 13-й, Ронсков - комсорг 13-й, В.Мануилов от 21-й, И.Заславский - профорг второго курса, И.Даугавет - член факультетского бюро матмеха, второкурсник, Е.Ландсберг - член редколлегии той самой стенгазеты, второкурсница, Дьяченко от 22-й группы. В середину позже втиснулись мы трое, причем Нагорный мог еще сделать приписку - староста 21-й группы. Некоторое недоумение вызвала моя просьба расписаться на ДВУХ чистых листах бумаги. Но я объяснил, что статья будет изготовлена в двух экземплярах, и каждый должен быть подписан. О, как я оказался прав! Партбюро устроило на нас троих облаву, отняли у нас один экземпляр с подписями (через несколько дней после того, как студенты подписались, мы, наконец, сумели договориться о тексте выше подписей), но второй-то экземпляр сохранился и оказал некоторое воздействие фактом своего существования на Агекянов с гопкомпанией. Текст отнимался от нас под тем предлогом, что партбюро БЫСТРЕЕ передаст его в редколлегию, но, конечно, отнятый экземпляр до редколлегии не дошел, а вот сохранившийся мы показывали членам редколлегии, не выпуская его из рук. Между прочим, именно тут Глебов и произнес свою историческую фразу:

- Я от своего имени, и от имени декана, С КОТОРЫМ Я СЕЙЧАС ПЕРЕГОВОРЮ, запрещаю вам троим заниматься этим делом.

Потом, когда редакция отказалась помещать коллективную статью пятнадцати авторов, мы написали еще один вариант, за подписями Грековой, Нагорного, Пименова (соблюли даже запрет - не "та тройка"). Ее тоже не поместили, но редакция все же признала неуместность статьи аспиранта Можжерина. Шанин предпочел уйти по собственному желанию. По этой причине экзамен по топологии, читанной нам Шаниным, принимал у меня Марков. И я намучился, как никогда в жизни. Я понял, что ничего не знаю, что двойка - самая высшая оценка всем моим знаниям. Четверка по топологии - самая стыдная отметка в моей зачетке. Шанин перешел в пединститут им. Герцена., Там он и начал читать свой курс по математической логике, на который мы к нему бегали: я, Этин, Нагорный, Заславский, Орловский.

В том же году Маркова попросили убраться с его курсом математической логики (или просто математики?) с философского факультета ЛГУ, обвинив всю математическую логику, как формальную и, следовательно, не диалектическую, в идеализме. Я до некоторой степени спас положение, подсунув Маркову, уже стоявшему на трибуне, записку с цитатой из Ломоносова

"А математику уж затем учить следует, что она ум в порядок приводит"[261],

что тут же и зачитал Андрей Андреевич. Ссылка на Ломоносова в те годы многое значила. Большая гербовая печать замерла в руках

[261] Сам я Ломоносова не читал и читать не собираюсь. Эту цитату приводил нам в своем очень эрудированном курсе педагогики И.Я.Депман - тоже весьма эрудированный человек. Я им заинтересовался, даже бывал у него на дому, брал из личной библиотеки почитать Германа Грассмана, создавшего новую отрасль математики и одновременно впервые переведшего с санскрита "Ригведу", его пионерскую книгу. А цитатку запомнил - в хозяйстве всякая веревочка сгодится.

Вунюкова, и никакого лично Маркова порочащего решения принято не было, но курс прикрыли.

Забавным эпилогом нашей общественной деятельности по спасению Шанина можно считать приказ № 42 по матмеху в марте 1951 года, который я процитирую в сокращенном виде:

"За последнее время выявился спад учебной дисциплины среди студентов факультета. (...) из группы № 32 несколько товарищей самовольно ушли с занятий по полит. экономии (преп. Пошехонов) и в тот же день из 21-й группы несколько товарищей самовольно покинули занятия по немецкому языку.

Считая подобные явления совершенно нетерпимыми:

Этину Ю.Б. - студенту III курса, за пропуски занятий по неуважительным причинам и нарушение правил внутреннего распорядка, об'являю строгий выговор с предупреждением.

Матюшкин-Герке А.А. и Тушкиной Т.А. - студентам III курса, за пропуски занятий и нарушение правил внутреннего распорядка - об'являю выговор.

Дмитровой Г.Т. - студентке III курса, за пропуски занятий по неуважительным причинам, об'являю выговор.

Ермакову С.М., Петровой Л.Т., Перельману А.Я., Пуниной В.А., Соломяку М.З., Торопцевой В.Н. - студентам III курса, за нарушение правил внутреннего распорядка и пропуски занятий ставлю на вид.

Пименова Р.И. - студента III курса, перевожу из группы № 32 в группу № 31.

Фельдмана Я.С. - студента III курса, освобождаю от исполнения обязанностей старосты группы № 32.

Нагорного Н.М. - студента II курса, освобождаю от исполнения обязанностей старосты 21-й группы.

Предупреждаю всех студентов (...)

за декана факультета

Ф.П.Отрадных."

Пожалуй, произнесу-ка я здесь эпитафию Андрею Андреевичу, хотя нематематикам она будет столь же понятна, сколь по-гречески выбитая эпитафия на Волковом кладбище в Ленинграде. А для математика будет столько же искажений, сколько во всякой эпитафии.

Шанин научил меня быть беспощадно требовательным к своим доказательствам. Если на первом-втором курсе я воспринимал и проводил математические доказательства экзальтированно:

"загоним эту толпу векторов налево", "чтобы накормить условие теоремы", "к нашей радости все они падут ниц", "но останется azochenvei, этот упрямец", "для поднятия настроения обозначим" "и все они покорно обратятся в ноль" -

из тогдашних уцелевших выкладок, и этому созвучны были этюды Данилыча у лекционной доски, то Шанин приучил меня (конечно, не одного меня, но пусть другие сами пишут о себе и о Николае Александровиче!) относиться к математическому доказательству совершенно отчужденно, холодно. Особенно, коли это твое собственное доказательство.

"Доказательство есть последовательность пронумерованных строчек, из которых каждая должна в качестве своего обоснования содержать номер предыдущей строки или имя аксиомы и название правила вывода, позволившего его написать."

Вот так-то - доказательство есть ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОЧЕК, а вовсе не установление истины, или там молния во мраке невежества, или интеллектуальная радость! Тогда еще слово "граф" не было пущено в оборот. И с тех пор мои тетрадные листы изрисованы "деревьями" доказательств с нумерацией правил вывода и аксиом при вершинах. Всякие там радость и ликование я загнал в подсознание, а оставил импликации, дизъюнкции да кванторы. Александров по мере сил противился этому. Когда я на доске как-то, в ходе объяснения одной своей идеи, нарисовал формулу с квантором, он театрально зажмурился и отвернулся:

- Ну, этого я не понимаю!

И звучало это как:

- Таким идеализмом и Вам заниматься не советую!

Формулой "полемического непонимания" и Шанин, и Александров пользовались оба наперебой. Впрочем, вприглядку лет через пятнадцать Данилыч выучился этим формулам. Я же благодаря Шанину обогнал свое поколение математиков: математическая логика вошла в обязательное образование только лет 10-20 спустя. Ее формулы стали обязательными для понимания математической литературы лишь в шестидесятые годы. Мне все это было подарено "факультативно" в 1951-1952 годах. Никогда без Шанина, без его муштры, я не сумел бы на нарах в Тайшете писать и писать статьи по аксиоматике геометрии.

Еще больше дал мне Марков. Он создавал новую математику. Не по прихоти, а по необходимости. Ведь с начала XX века математика содрогается в конвульсиях. Г.Кантор, желая обосновать религиозную формулу "Един в трех лицах" (помните, как Л.Толстой издевался над нею? "Если единица равна трем, то почему она не равна восемнадцати с половиной?"), вспомнил, что Бог бесконечен и создал теорию множеств, с помощью которой впервые в математике сумел обосновать бесконечность, и тогда уже совсем просто установил, что одна бесконечность равна трем бесконечностям. Но за всякое удовольствие надо платить, а за райское - тем выше (канторову теорию множеств так и называли "рай для математиков"). И куча въедливых личностей, с Бурали-Форти начиная, выявили уйму "антиномий", "парадоксов" - а по-человечески говоря, ПРОТИВОРЕЧИЙ, - вытекающих из теории множеств. У нас на философском семинаре чаще всего цитировалась теорема о том, что с помощью одной из аксиом теории множеств ("аксиомы выбора") доказано, что любой шар можно разбить на четыре или пять частей так, что перенося эти части в другое место и повернув их надлежащим образом, из них можно составить ровно ДВА шара ТОГО ЖЕ РАДИУСА, что исходный шар, причем никаких пустот или остатков не возникнет, и радиус вовсе не бесконечный. Теорема настолько противоречила геометрической интуиции, что естественно предлагался рецепт - выкинуть за борт всю теорию множеств вместе с богословскими намерениями ее создателя.

В душе этого очень хотел Александров. Он по возможности избегал пользоваться теоретико-множественными конструкциями, теоремами, приемами. Раз на философском семинаре он негодующе вопросил Шанина:

- Неужели Вы студентам-первокурсникам упоминаете понятие "изоморфизм"?!

Когда Шанин ответил, что это понятие предусмотрено программой министерства, Александров сокрушенно покачал головой. Но - и это и Александров понимал - отказ от теории множеств поставил бы математиков в очень трудное положение, прежде всего вынудив сотню раз заново передоказывать в отдельных математических дисциплинах то, что можно было принимать как готовое из теории множеств. Имеются и другие веские причины, по которым даже отказ от одной только аксиомы выбора неудобен для алгебраиста, тополога и многих других математиков. Поэтому разные школы математической мысли на протяжении всего XX века ищут альтернативные пути построения математики.

Одна из них восходила к Брауеру - Гейтингу, которые чуть ли не на Ф.Ницше ссылались[262], а потому в глазах официальных блюстителей марксистской невинности советской науки клеймились и не допущались ("тащить" их не могли из-за их зарубежного местожительства). Их-то идеи легли в основу творческой деятельности Андрей Андреевича. Он создавал аппарат иной, не классической математики, которая получила наименование "конструктивной математики", а сам аппарат - "теория алгорифмов". Ему не повезло. Американские конструктивисты Черч, Пост и другие не тормозились в своих исследованиях оглядкой на официальную доктрину. Имели возможность публиковаться. Поэтому они опубликовали свои результаты ранее, нежели в СССР разрешили говорить об этих исследованиях. В рамках кибернетики возникли электронные вычислительные машины - опять же на прогнившем Западе, покамест тут ждановы кликушествовали о его разложении, а их подголоски обзывали кибернетику лженаукой - и орды неграмотных программистов не умением, а числом ввели в оборот кучу математических языков, ничего не зная о науке создания таких языков, содержавшейся в теории алгорифмов. Даже термин в программировании укоренился не отечественный "алгорифм", а переводной "алгоритм".

Но Маркову, Шанину, как и Александрову, свойственна была еще одна общая черта, на мой взгляд гораздо серьезнее помешавшая им, нежели внешние ограничения и гонения. Это был первородный грех марксизма - вера в объективную реальность. Эта вера, являющаяся признаком философской невинности-неграмотности, не очень-то мешала Александрову, ибо его областью

[262] В главе "На блаженных островах" из "Так говорил Заратустра" находятся строки: "... я хочу, чтобы предположения ваши не простирались дальше, чем ваша созидающая воля" (стих 5), что в точности соответствует конструктивно-эффективно-интуиционистской позиции: в математике существует только то, что можно ПОСТРОИТЬ ("предъявить") конструктивными средствами, хотя бы в принципе. Во избежание недоразумений, уточню, что ни Марков, ни Шанин никогда на Ницше не ссылались. О любви Брауера или Гейтинга к Ницше завывал Гнеденко, да упоминал Нагорный, одолевший какое-то их сочинение в оригинале. Цитату эту я привожу по своему разумению, и никогда не докучал ею ни Шанину, ни Маркову.

интересов был физический мир, а там сия вера естественна; почти все физики веруют в существование электрона с той же истовостью, с какой Аввакум веровал в голубя, принесшего благую весть деве Марии. Но Шанин и Марков веровали в единственно правильную математику. Они не относились к классической и конструктивной как к равноправным конструкциям человеческой мысли, но точно знали, что они-то правы, а их оппоненты - нет. Марков не умел и не желал воспринимать ничего того, что ему "было совершенно чуждо". Вот пример. В одном из перерывов между чтением "Основание математики" Марков, кажется, на вопрос Петропавловской о Бергсоне, сообщил:

- У Бергсона есть книга "Смех". Я взял ее почитать, думая узнать что-нибудь о психологии смеха. Но она начинается такими словами: "Когда мы видим, как какой-нибудь калека, неуклюже споткнувшись, кувыркается, мы смеемся." И я закрыл книгу. Ведь я не смеюсь над калекой. Что же мне может сообщить такая книга?

Поэтому их мысль не имела той свободы полета, которая одна только могла позволить совершить - опять же не в СССР - два величайших открытия в XX веке в математике: нестандартный анализ и аксиома детерминированности (последняя взамен аксиоме выбора). Были и другие более конкретные причины, приведшие к тому, что Юра Гастев имел все основания вздохнуть при нашем последнем с ним разговоре:

- Ну, это ты сам видишь, что ленинградская матлогическая школа сдохла. Ничего из нее не выросло.

Но это сказано в 1980 году. Позже выявилась и семейная трагедия - генетическое вырождение. Сын академика Андрея Андреевича Маркова-старшего, прославленного своей теорией стохастических "марковских процессов", сам стал член-корреспондентом Академии, известным лишь в сравнительно узком кругу, а его сын, тоже Андрей, с возрастом выявился как умственнонеполноценный, едва ли не дебил, который даже с синекурой механика в ЛОМИ не мог справиться, а на этой должности достаточно было уметь сосчитать стулья и занести-вынести их в кабинет.

А в пятидесятые годы Марков давал мне новые миры, и благодаря слушанию его первопроходческих лекций "Основания математики" (посещали их Епифанов, Заславский, Нагорный, Орловский, Петропавловская, Цейтин, Шанин, Этин и я) я по образованности очутился на несколько десятилетий впереди своих сверстников. Я уже не говорю о более узких, так сказать "технических" уроках, которые Марков давал походя: говоря о том, что сейчас принято называть в математике "факторизацией по данному отношению", он показал, что это созидающий абстрактный процесс, названный им "абстракцией отождествления". Стало ясно, что "абстракция" не сводится - вопреки тому, что талдычат философы - к одному лишь "обобщению" (т.е. к "абстракции генерализации"), а есть различные акты созидающей абстракции, ДЕЙСТВИЙ с абстракциями, при которых возникают новые полезные конструкты. И стала проясняться мысль, бывшая путеводной для Грассмана: "Математика есть наука о модификациях человеческой мысли". Модификации это суть КОНКРЕТНЫЕ АБСТРАКЦИИ. Таких находок подарил мне Марков десятки.

И все трое - Александров, Марков, Шанин - научили меня тому, что по мнению одного очень умного человека, который одновременно является и католиком, и капеэсесовцем, и евреем, составляет квинтэссенцию математики:

"Очень часто математические рассуждения отождествляются с применением математического аппарата, выписыванием множества формул, выполнением выкладок и математических преобразований. В действительности наиболее характерная черта подлинного математика - это умение экономно отбирать нужные понятия и строить контрпримеры".

И еще одно благодеяние оказал мне Шанин уже внематематического характера: он посоветовал мне изучить Шопенгауэра "Эристику или науку спорить". Я прочитал ее в Публичке, восхитился, погнал Фролова в Публичку, он переписал для меня целиком все это блестящее произведение[263]. И до того-то со мной редко кто осмеливался спорить в надежде одержать верх в публичной полемике, но после этого титул "мастер художественной демагогии" стал неотделим от меня. Впрочем, он ходил неразрывно с "интеллектуальная честность".

[263] Диалектика есть наука о том, как в споре доказывать ИСТИННЫЙ тезис, софистика - наука, как в споре доказывать ЛОЖНЫЙ тезис, а эристика - как в споре доказывать тезис, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИСТИНЕН ОН ИЛИ ЛОЖЕН.

§5. Дело Отрадных

Моральное негодование; хронология событий; первый шаг - стенограмма консультации; Пименов и Этин уступают место Соломяку и Чудаковой; коллективный отзыв вручается членам Ученого Совета; партбюро ищет виновных; Соломяк, Фельдман и Чудакова дают отпор партбюро; размышление об устройстве жизни

Ф.П.Отрадных.
Ленинград, 1948 г.

История борьбы против Филиппа Прокофьевича Отрадных, читавшего в 1946-1953 годах четвертому курсу матмеха "Историю математики", является эпопеей, изложение которой хоть в сколько-нибудь подробном виде потребовало бы отдельной главы, сопоставимой по объему с гл.1, а по остроте детективного интереса и трагичности переживаний в ней были бы места не хуже §13 гл.1. Одна лишь протокольная, не стенографическая запись встречи представителей партбюро со студентами, подписавшими отзыв против Отрадныха, занимает 15 листов, на обороте которых имеются рукописные вставки. Ясно, что я не могу ставить перед собой задачи воспроизвести перипетии этой борьбы во всех ее деталях. Главная моя здесь задача - обрисовать, какое место заняла эта кампания в формировании моей души, что она определила в моей жизни. И лишь попутно - дать эскиз жизни матмеха в те годы. При первом чтении лучше пропустить цитируемые ниже первый и четвертый документы.

У меня все началось с морального негодования. Ну, читал Отрадных дурацкий бессодержательный курс - так не менее дурацким был курс политэкономии. В последнем обсуждалось КАК при переходе к коммунизму будут отменяться деньги и денежные отношения, КАК будет осуществляться переход на прямой продуктообмен с ликвидацией товарообмена; давно все тогдашние учебники изъяты и перемолоты в макулатуре. Даже некоторые собственно математические курсы были на мой взгляд убогими, а их чтецы дураками (Н.М.Матвеев, по дифурам) или пьяницами (Д.М.Волков, по матфизике). Но когда где-то в середине курса я узнал, что Отрадных вымогает от студентов - почему-то меня особенно задело, что от студенток, - положительные отзывы о своем курсе, вымогает, держа их зачетку на экзамене перед собой, - я воспылал к нему ненавистью. И эта ненависть заставила заметить уйму деталей, вписывавшихся в его сволочизм: он придирался к студентам, очень заботился о своем авторитете, не допускал пропуска своих лекций. Другие лекторы с низким качеством лекций хоть "скромны" были - они сознавали свою греховность и прощали грехи студентов. Тут же был чваный дурак, бессовестный вымогатель, да еще вовсю использующий свой административный пост зам.декана! Война становилась неизбежной, если вспомнить вышецитированный отзыв Я.С.Фельдмана Ф.Л.Литвину обо мне.

Поначалу военные действия под девизом "Трест Даешь Филиппа!"[264] носили партизанский характер: мы с Тушкиной и Этиным, а потом и с другими стали тихонько переворачивать листы текста, по которому Отрадных читал лекции. Он единственный на матмехе ЗАЧИТЫВАЛ свои лекции по написанному тексту; текст большинства лекций был не просто написан, но литографирован. Возвратясь после перерыва, Отрадных не замечал, что лист перевернут, а шпарил с того места, на котором мы раскрыли. Затем мы затеяли уворовывать отдельные листы. Эффект был тот же - он не обнаруживал пропуска и читал подряд. В игру включались и прежде равнодушные студенты. Стали задаваться "провокационные вопросы" - он не умел дать ответа по поводу только что названных им самим терминов, фамилий, событий. Но здесь он увертывался профессионально: на все эти вопросы он, мол, ответит на предэкзаменационной консультации, а сейчас ответ на эти вопросы уведет в сторону от задачи сегодняшней лекции, и т.п. В сочетании с абсолютной глупостью и бессвязностью его курса - это была неграмотная компиляция популярных брошюр по истории математики с тщательным выметанием всего идеологически-подозрительного, в частности, иностранных источников - раздражение студентов росло. Пользуясь своей близостью с Данилычем, который уже стал ректором, я рассказал ему о недопустимости такого положения с курсом истории математики, рассчитывая на то, что Данилыч, который придает непомерное значение историко-генетическому подходу к математике, к РАЗВИТИЮ ее понятий и аппарата, должен разделить мое негодование примитивностью курса. Но Александров, став ректором, счел неприличным для себя вмешиваться в дела матмеха; последующие годы показали, что при его ректорстве положение матмеха лишь ухудшилось. Этого я тогда не знал, и услышав от него ответ:

- Раз студенты недовольны, пусть студенты идут к декану, - воспринял как указание шефом стратегии: дескать, ты направь студентов к декану П.М.Горшкову, а я со своей стороны обеспечу тебе поддержку или, минимум, благожелательный нейтралитет. Это было 23 мая 1952 года. Мы с Этиным прикинули, кто на нашем курсе сейчас самый авторитетный, решили, что Тамара Чудакова, и 27 мая я провел с нею переговоры. Вот хронология событий в тогдашней записи; с раскрытием инициалов:

"23.05.52. Шеф дает директивы. 27.05. Переговоры с Тамарой Чудаковой. 28.05. Организация комитета (Оля Александрова). 29.05. Организация комитета (Яша Фельдман). 30.05. Подготовка масс (Эмма Панкратова, Галя Федорова). 02.06. Организация комитета (Миша Соломяк, Юра Этин, Оля Александрова). Подготовка масс (Эля Ладыгина, Софа Княжицкая, Света Богачева). 06.06. Бегство Филиппа Последнего, Демонстрация и митинг. 07.06. Вооруженная демонстрация. Подготовка экстремалистами плана восстания (Р.П. и Ю.Э.). 08.06. Филипп Последний пускает в ход слезоточивое оружие. Партейтаг. Экстремалисты разбиты, но продолжают деятельность.

[264] В те годы книги Эренбурга "Хулио Хуренито" и "Трест Даешь Европу" были для меня настольными. Их открыла мне Лена, а позже я выиграл их в шахматы у Фролова. Этин от меня перенял преклонение перед ними.

Конференция экстремалистов и передача руководства умеренным (М.С.). 09.06. Заговорщики связываются с некими посольствами и миссиями. 10.06. Конференция четырех. Раскол. Подкуплены? Где же план восстания? 12.06. Саботаж партейтага. Экстремалисты собирают силы. 13.06. План вырабатывается! 16.06. Переговоры руководителей. 17.06. Комитет вырабатывает план. Назначен партейтаг. Четверо экстремалистов в правительственном учреждении. 18.06. План печатается. Центр качнулся влево. Партейтаг. План принят. Запись добровольцев. Раздача иностранных золотых рублей добровольцам. Переговоры с иностранными агентами. Погоня за добровольцами. Доброволец прыгает. Доброволец в постели. 19.06. Кошка и столп общества. Банка с салом, амбулатория и доброволец. Шеф снова грозит Филиппу Последнему. Доброволец на перроне. Сговор одного из руководителей с центром против своего помощника. 21.06. Чудесная рецензия! 22.06. Снова раздоры. 25.06. Врукопашную с Анри Перельманом и Валей Пуниной. (Сговор трех). Ангелы-хранители. Филипп трусит: переговоры с Яшей Фельдманом. 26.06. Печатается воззвание. Связь с газетой. Попытка связаться с шефом. 27.06. Печатается приложение Брасу и ! под ногтем. Псевдособрание 41-й (17 человек). 28.06. Утренние приказания. Полководцы взаперти. Такси. Шеф получил воззвание. Послан вестник к президенту (так именовался декан). Пиво. Заговорщики стягивают силы. Удар по Филиппу. Конференция шестерых за прямоугольным столом., 29.06. Весь день напролет он печатал... А.А.Марков. 30.06. Парламент (так именовался Ученый Совет) взбудоражен. Посольство в газете. Конференция четырех за тем же столом. Легат уведомлен. Полководцы намечают план третьего акта. 01.07. Епископ вызывается в газету. Погода не благоприятствовала визитам. Конец второго акта. 03.07. Н.А.Шанин. Оля Александрова. 04-07.07. Поиски идей. Туман. 08.07. ВНФ (не могу расшифровать - ни Вера Николаевна Фаддеева, ни Владимир Назарович Фролов не подходят). Глаза и уши! Комиссия. 09.07. Яша Фельдман. Знак Венеры. Комиссия. 10.07. Яша Фельдман. Знак диеза. Эмма Панкратова, Перрон. 30.09. Есть сведения. Достать машинку. 01.10. У Яши Фельдмана. 02.10. В 25-й. 04.10. В 41-й. 05.10. Навстречу съезду. Иностранная миссия. 06.10. Информация. Поздний визит, 16.10. Тамара Чудакова - отчет. 20.10. Партбюро. Что делать? 21.10. Совещание прервано. 22.10. Подряд три съезда. 23.10. Дебаты. 24.10. Провал. Измена! Гвардия одержала победу. 25.10. Как насчет торжеств? О коррупции. 26.10. Конференция трех. О коррупции.

Несколько комментариев к этому конспекту. На 6 июня была назначена предэкзаменационная консультация Отрадных для нашей группы. Он не пришел по невыясненным причинам, а пока его часа полтора искали, собравшиеся 16 человек оживленно, возбужденно и раздраженно спорили, как бы его ущучить. Это были: Александрова, Быстров, Кальниболоцкая, Колесова, Ладыгина, Панкратова, Пименов, Соломяк, Тушкина, Федорова, Фельдман, Чудакова, Шварцман, Шестаков, Шлионский, Этин. Был принят план: запротоколировать срыв Отрадныхом этой консультации; протокол подписал треугольник 42-й группы (Быстров, Панкратова, Шварцман) и Федорова. Ту консультацию, которую все же проведет Отрадных

позже, застенографировать, причем заранее заготовить вопросы, ответами на которые он бы продемонстрировал свое математическое невежество. Единым фронтом настоять перед Отрадных, что мы не станем писать порознь каждый рецензии-отзывы на его отдельные лекции, а напишем все вместе общий коллективный отзыв на весь его курс. При этом держаться не воинственно, чтобы не всполошить его, а смиренно, словно мы от робости не решаемся за своими индивидуальными подписями писать отзывов, прячась за спину "всех". Ну, на следующий день мы провели консультацию! Вопросики мы задавали ему - не моргнув глазом, невинно, но с многоходовой домашней заготовкой! Впрочем, по мере нашего оживления и роста его растерянности - мы старательно записывали каждое его слово - вопросы делались неприкрыто насмешливыми. К сожалению, мы и эти вопросы вписали в стенограмму. Нам бы ограничиться "отрывками из стенограммы", а мы по интеллектуальной честности представили "полную". Впрочем, насчет "полной" мы чуть не передрались друг с другом. Мою, составленную научно стенографическими закорючками, отвергли как никудышнюю, а составили объединение двух или трех, одной из которых была, кажется, запись Ларисы Кальниболоцкой. На консультации присутствовали те же, что накануне, за вычетом Лины (Сталины) Шварцман, плюс Исакова и Княжицкая.

Затем мы с Этиным пришли ко мне домой - его мать уже терпеть не могла меня - и ночь напролет сочиняли рецензию позлее да похлеще. К слову сказать, Этин руководствовался несколько иными мотивами, нежели я. Вот цитата из его письма к своему другу Вадиму:

"... говоря серьезно, мы решили свалить ненавидимого многими поколениями студентов старого олуха. Для этого: 1. Требуется доказать, что он - невежда. 2. Требуется доказать, что он - дурак. При этом задача осложнена условием: мы должны уцелеть, дабы наши глаза могли увлажниться слезою восторга в радостный миг сокрушения тирана. (...) Артель "Трудовой логик", г.Пятиугловск, 23 июня 1952 г. Ю.Б.Этин."

Моя мать, ворочаясь в кровати (мы жили уже в одной комнате в коммунальной квартире на Серпуховской 2, кв.2, но квартира с таким номером почему-то помещалась на пятом этаже), ворчала:

- Сдали бы сначала экзамен, а потом бы уж и мордовали своего доцента.

Собственно, мы так и собирались - вручать ему отзыв после сдачи всеми до последнего экзамена. Когда на следующий день мы представили свое творение на всеобщее обозрение, нас разнесли в пух и прах. Под знаменем Пименова под водительством Этина наши сокурсники выступать не желали. Фамилии наши были одиозны: меня полгода назад исключали из комсомола, только райком почему-то отменил, на Этине висят выговора. Я предвидел такой поворот, а опыт прошлогоднего письма в защиту Шанина научил меня, что содержание петиции - вещь третьестепенная, важен сам факт оной. Никогда мной не двигало желание "значиться в числе вождей". Поэтому еще до собрания, где нас пощипали, я писал Юре:

"1. Я отсутствую для спокойствия. 2. Ты молчишь, пока тебя не спрашивают. 3. Ты разговариваешь с Тасей Тушкиной конфиденциально, имея в виду Олю Александрову. 4. Программа: добиться, не добиваясь, принятия проекта Мишки и Тамары, каков бы он ни был. В случае, если они просто не приготовят отзыва, то отложить его обсуждение до следующей консультации, но частным порядком договориться с Олей Александровой о написании общеубедительного отзыва. Если Мишка и Тамара категорически откажутся, то официально поручить написание Оле Александровой. Если Тамара Чудакова и Софа Княжицкая выступят против отзыва, то идти с тем, кто пойдет до конца. Шантажировать той группой. 5. От фразы:”Шанина выгнали, а его что же?"- я отказываюсь.

Может быть, меня подвела память, может быть, этого не было сказано (ведь это говорилось еще зимою, давно!). Фраза "обратиться к декану" должна быть истолкована как нежелание А.Д.Александрова заниматься самому этим делом.”

Но Этин не согласился, чтобы я отсутствовал, хотя согласился не настаивать на нашем отзыве. Поэтому мы без бою отказались от роли заводил, обещали не предпринимать никаких самостоятельных действий, не утвержденных собранием, обещали принять отзыв, который будет утвержден всеми. "Само собой" вышло, что собрание поручило писать отзыв Соломяку и Чудаковой, чему крайне обрадовался Фельдман, который боялся сотрудничества со мной, но который уже набрал большой момент движения против Отрадных. 18 июня на собрании, на котором присутствовали те же, что 6 июня, минус Колесова и Ладыгина, плюс Антонюк, Матюшкин, Рейнер, Солнцева, Чернявский, был после прений, в которых участвовали Соломяк, Федорова, Фельдман и Этин, принят их отзыв. Не вижу возможности обойтись без воспроизведения его:

"На заключительной лекции доцент Ф.П.Отрадных просил студентов написать рецензии на лекции его курса и отдать их ему на экзамене. На консультации было сказано, что рецензию писать обязательно, но по нашей настоятельной просьбе сдача отзыва была отсрочена.

О КУРСЕ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ

Курс истории математики в известном смысле завершает наше математическое образование.

Основная задача курса: проследить историю возникновения и развития теперешних общих положений математики, создать отчетливую картину диалектического процесса развития математических идей, методов, понятий.

Борьба материализма с идеализмом (как сложное отражение борьбы классов в человеческом обществе), определяя философское содержание курса, должна быть по-настоящему отражена в нем.

Однако эта сторона курса оставляет самое странное впечатление: борьба философских течений только названа (и особенно это относится к новому времени, когда крайне обострилась борьба материализма с идеализмом, в частности, в математике), а "классовая борьба в математике" "обнаружена" в споре Кардано и Тартальи: имел ли право Кардано опубликовать формулу решения кубического уравнения, которую доверительно сообщил ему

Тарталья. Доц. Отрадных, приводя этот анекдот в качестве "яркого примера" "классовой борьбы" в математике, вместе с тем ни словом не обмолвился о борьбе многих математических школ, о борьбе, результатом которой было в некоторых случаях выяснение глубокого смысла фундаментальных понятий современной математики (например, борьба в вопросе о потенциальной и актуальной бесконечности).

В курсе ни в какой мере не разобраны основные философские вопросы истории математики: происхождение и закономерности развития математических понятий, предмет математики, критерий истинности в математике, место математики в системе наук.

Поверхностное изложение философских вопросов истории математики, сводящееся порою к совершенно непозволительным анекдотам, не убеждает слушателя в том, что история математики есть наука глубоко партийная, не воспитывает в нас действительно марксистского понимания истории математики.

Отсутствие в курсе идейного стержня привело к распаду его на отдельные лекции, посвященные преимущественно отдельным математикам. Поэтому остается невыясненной история развития математических идей. Периодизация истории математики в курсе кажется нам неверной: в историю математики механически перенесена периодизация истории развития общественно-экономических формаций.

Верно, что для выяснения истории развития современных общих положений математики нужно вернуться к древним грекам, но от греков "стоит вернуться" к современной математике, ради которой и предпринимается этот экскурс. В курсе же одним только вавилонянам посвящено столько же места, сколько его отведено советской математике. Это обстоятельство характерно для строения курса.

Известно, что понятия числа, бесконечности, пространства, операции суть фундаментальные понятия математики; они служат основными орудиями приложения математики к практике. Но история таких понятий прервана как раз перед решающим для развития этих понятий местом. Стоит остановиться на этом подробнее.

А. Развитие понятия числа. Изложены взгляды древних греков, но уже в лекциях о средних веках встречаются лишь отрывочные указания и на развитие этого понятия. Новое время: одно только упоминание о декиндовом сечении, да и то - в лекции о древних греках. О современном понимании вещественного числа - ни слова.

Б. Развитие понятия бесконечного - доведено лишь до воззрений XVII-XVIII веков и прервано перед решающим местом - созданием теории пределов. Ничего не сказано об идеях теории множеств, пронизывающих всю современную математику, самый термин "теория множеств" мельком появляется в одной-двух фразах.

В. Развития понятия пространства в математике - нет. А ведь это понятие составляет фундамент современного анализа, алгебры, всех разделов геометрии!

Г. Хотелось бы видеть развитие понятия операции доведенным до нашего времени; но к сожалению, даже в наиболее элементарных частных случаях (функция, интеграл) изложение самое куцое: достаточно сказать, что нет даже термина "интеграл Римана".

В курсе нет истории развития важнейших разделов математики. В курсе нашли себе место: элементарная математика, начала анализа (до Эйлера включительно) - на этом и кончается последовательное изложение; в таком виде курс читается не первый год.

Пренебрежение к коренным вопросам развития математики делает курс малосодержательным: получающиеся "пустоты" заполняются анекдотами о математиках (например, о Лейбнице), описанием мелких и мельчайших подробностей их жизни (как в лекции о Ньютоне) и даже такими рассказами о математиках, которые сам лектор считает неправдоподобным (например, в лекции об Остроградском).

В итоге, в курсе истории математики по существу нет истории математики.

Ввиду всего этого естественно спросить: откуда брался материал, как он использовался? На эти вопросы можно ответить, внимательно прочитав лекции и просмотрев соответствующую литературу.

1. Материал преимущественно брался из научно-популярных изданий (Гнеденко, Выгодский, Шереметьевский) и Большой Советской Энциклопедии. Нетрудно понять, каков будет характер курса, созданного на основе книг, в которых формулы, содержащие знак интеграла, даются лишь в подстрочных примечаниях. Может быть, именно поэтому древняя и средневековая математика занимают 14 лекций, а остальная - 10.

2. Лекции состоят из отдельных отрывков, переписанных из тех же книг, лишь иногда с изменениями. Заслуживают быть отмеченными два факта:

а) при изложении периодизации истории математики по Колмогорову дается ссылка на статью "Математика" в 38 т.БСЭ. легко убедиться, что это изложение переписано даже не из БСЭ, а из описания статьи Колмогорова Юшкевичем ("Математика в СССР за 30 лет", с.997).

б) в лекции № 3 целые страницы переписаны (иногда с незначительными изменениями) из книги Г.Ф.Александрова "История западно-европейской философии" без ссылок на нее в тексте и без упоминания о ней в списке использованной литературы.

Нельзя пройти мимо того, как читается курс: лектор воспроизводит текст буквально: иногда вплоть до опечаток и грамматических ошибок. Такой метод чтения курса привел, например, к тому, что Геннадий Михайлович Голузин был в мае этого года отнесен к числу ныне здравствующих математиков.

Создается впечатление, что доцент Отрадных зачитывает лекции, не вникая в их смысл.

На консультации доц. Отрадных неверно или вообще не ответил на некоторые математические вопросы. Например, на вопрос, что такое синус верзус, известно, что sinver x = 1 - cos x, - он ответил: "... для того же самого угла это косинус".

На лекциях на вопросы с мест почти никогда не давалось ответов.

Стоит привести один из немногих:

- Какое это (речь шла о том, почему Ньютон остался старым холостяком и т.п.) имеет отношение к истории математики?

- Вот Вы прослушаете курс, придете на экзамен, будете отчитываться в своих знаниях - тогда мы и поговорим.

К курсу истории математики могут быть предъявлены те элементарные требования, которые А.А.Жданов сформулировал в своем выступлении на дискуссии по книге Г.Ф.Александрова "История западно-европейской философии". Применительно к курсу истории математики эти требования выглядят так:

Первое. Нужно, чтобы в курсе был точно определен предмет истории математики как науки.

Второе. Чтобы курс был научным, т.е. основанным на фундаменте современных достижений как марксистской философии, так и математики.

Третье. Необходимо, чтобы изложение истории математики не было схоластичным, давало глубокое понимание развития идей, методов и понятий современной математики, освещало перспективы развития математики.

Четвертое. Чтобы приводимый фактический материал был бы вполне проверенным и добротным и

Пятое. Чтобы стиль изложения был ясным, точным, убедительным.

Остается добавить, что лектор должен быть в состоянии ответить на вопросы по своему курсу.

Мы считаем, что курс, составленный доцентом Ф.П.Отрадных, ни одному из этих требований не удовлетворяет.

Студенты 41 группы факультета Математики и Механики:

Студенты 42 группы факультета Математики и Механики:

41	42
В.Торопцева	М.Чернявский
К.Полосухина	Т.Тушкина
Л.Петрова	О.Александрова
Л.Царева	Т.Чудакова
Н.Шидловская	Г.Шлионский
Л.Леднева	Л.Кальниболоцкая
Г.Тентюкова	Ю.Этин
Л.Савалина	Л.Шварцман
А.Андреева	Р.Пименов
И.Платунова	Г.Федорова
И.Сверчкова	Э.Панкратова
Г.Данович	М.Соломяк
З.Засухина	В.Солнцева
М.Кузнецова	Я.Фельдман
В.Князева	Н.Быстров
Е.Кулакова	А.Матюшкин-Герке
И.Сысоева	А.Шестаков
С.Ермаков	В.Рейнер
Н.Глинская	Г.Антонюк
И.Варенцова	С.Богачева
В.Буров	Э.Ладыгина
И.Клокачев	Б.Скачков
Ю.Сидоров	С.Княжицкая
В.Пунина	Е.Колесова

Г.Цветкова
Л.Кухаренко
Л.Исакова".

Итого подписались 51 человек из 57 списочного состава. Отсутствовали Ендовицкий, И.Леонова и Н.Леонов, Цветкова, а Перельман и Енальский категорически отказались подписываться. Это отдельная эпопея, как я гонялся за подписями, как вырвал подпись от Пуниной, но от ее мужа Анри Перельмана не сумел, как он потом и десять лет спустя каялся и грыз себя, что не подписался... Само собой, что как и в деле Шанина, я собирал подписи в двух экземплярах: один для декана, а один про запас.

С моей точки зрения, весь текст отзыва, кроме подписей и первых двух фраз до заголовка ("шапки"), - избыточен. Преподаватель, который от студентов до экзамена вымогает отзыв на свой курс лекций, должен, по моему нравственному пониманию, немедленно отстраняться от преподавания. Увы, эта моя позиция, как и многие другие мои воззрения, не разделялись господами членами Ученого Совета матмеха, не говоря уже про партбюро.

Организация у нас была продумана великолепно, и даже совершенные неизбежные сбои не помешали нам нанести удар точно по диспозиции. Мы разжились списком членов Ученого Совета, обвели кружочком фамилии тех, кто имел отношение к математике (т.е. проигнорировали астрономов и механиков, не читавших нам лекций), выделили по одному-двум-трем "ангелов-хранителей" из студентов, которые должны были вручать текст именно этому профессору. Текст был отпечатан (все нами же с Этиным. Я тогда впервые сел за пишущую машинку, и вид у меня был схвачен фразой Этина "барсук за работой") в нужном числе копий, с опечатками, но - как я смотрю сейчас - не так уж многочисленными. Конечно, ректору вручал я - ой, как он нахмурился! Разумеется, и самому Отрадных вручили, причем вся акция была так рассчитана по минутам, что ему вручили первому, затем декану и ректору, но с таким промежутком, чтобы он не успел связаться ни с тем ни с другим до нас. Названным лицам вручался текст отзыва, плюс текст стенограммы консультации плюс пара разгромных рецензий на отдельные конкретные лекции (разным, разным адресатам), написанные добровольцами уже не за полным набором подписей. Рядовым членам Ученого Совета давался один лишь коллективный отзыв с припиской: оригинал с такими-то приложениями находится у декана. Воспользовавшись старческим маразмом Горшкова, Отрадных выкрал у того оригинал, из-за чего у многих возникла мысль о мистификации.

Эту идею Отрадных муссировал, причем я невольно помог ему своей несдержанностью. Наш удар застиг его врасплох, он не понимал, что это интрига, мыслить он умел лишь в таких категориях, но в них мыслил неплохо. Администратором он был опытным, умел разговаривать с людьми, и тут же кинулся в фойе матмеха ловить всех проходящих студентов, плакаться, как его обидели, и по реакции собеседника вычислять степень причастности того к "коллективке". Припал на грудь Этину, но тот ничего не выдал, наоборот, выразил свое сочувствие Филиппу Прокофьевичу и пообещал ему, что если что узнает, то немедленно позвонит ему. Точно так же обнял Отрадных и меня, а я отрезал:

- Ваш курс возмутителен и с этим нужно бороться!

И тогда Отрадных подсунул Ученому Совету и партбюро модель происходящего: это все происки известного хулигана и антисоветчика Пименова, который либо фальсифицировал подписи студентов, либо ввел их в обман.

Поэтому, едва лишь я вернулся с Кавказа после каникул, как меня на дверях ждала записка от Этина, уведомлявшая, что через своего друга Дадаева, имевшего весомых приятелей в партбюро, стало известно, что готовится избиение и сокрушение хребта Пименову за очередное хулиганство и мошенничество. Эта информация помогла нам подготовиться к собранию, которое для соблюдения законности решило провести партбюро у нас на курсе 6 октября. На собрании к полному изумлению партбюры обнаружилось, что никакого заметного участия в этой истории ни Пименов, ни Этин не принимали, что нападки на Отрадных исходят от безупречных по сознательности Соломяка, Фельдмана, Чудаковой. В аудитории оказались несколько лиц, уже кончивших матмех в предыдущие годы - старшекурсники были в курсе военных действий и одобряли наши намерения; некоторые даже самоугрызались, что они вот в тряпочку ругались на Отрадныха, но ничего не сделали, а четверокурсники - молодцы взялись за дело всерьез - и вопреки истерике секретаря партбюро Ширяева они сумели высказаться с поддержкой наших действий и с критикой Отрадныха. Ширяев и их выступления попытался было передернуть, но его за руку поймал Соломяк:

"СОЛОМЯК. Нам делался упрек, что мы не смогли указать на положительные стороны курса. Александр Васильевич сказал, что будто бы окончившие отметили эти положительные стороны в курсе истории математики. Я сидел здесь и слушал их одновременно с А.В.Ширяевым, однако я не слышал, какие положительные стороны они отметили. Сами вы не могли указать никакой положительной стороны курса, кроме, разве лишь того, что курс потребовал много работы. Укажите, пожалуйста, положительные стороны курса, о которых вы говорите.

ШИРЯЕВ. Товарищ Кустова не говорила, правда, здесь о положительных сторонах, но зато она, в отличие от студентов, стояла на объективных позициях. Вы очень пристрастны."

Бедной Тамаре досталось!

"Зачем было задавать вопросы, на которые вы заранее могли быть уверены, что не будет ответа? (...) Что, Чудакова не знает, что такое группа? (...) Конечно, консультация была издевательством!"

Почему-то простая мысль: как смеет лектор - читающий математикам о математике - употреблять термины, которых он сам не понимает, не была произнесена вслух. Годовой курс - годовое издевательство над студентами!

На состоявшемся через недельку курсовом комсомольском собрании Тамара Чудакова, секретарь курса, взяла реванш:

"В течение трех лет руководству факультета поступали сигналы о вопиющих недостатках курса истории математики. Однако

партбюро не обратило на это должного внимания. Когда же математики нашего курса выступили с критикой курса истории математики, то партбюро первоначально отнеслось к критике отрицательно, считая ее несерьезной и чуть ли не клеветнической. И вместо того, чтобы сразу поставить вопрос о положении с курсом истории математики, партбюро заинтересовалось тем, кто печатал, да кто раздавал отзыв и т.п. вопросами."

Ее отчет в этой части был поддержан всеми 69 присутствующими, сидевшие в президиуме начальники не возразили, и на этом оборвались попытки преследований.

Ну а был ли толк? "Сухой остаток" каков? Один бесспорно положительный результат был достигнут: хотя Отрадных остался читать этот же курс, не внеся в него ни одного нового слова и не выучив ни одного математического термина, он не осмелился больше держаться со следующим курсом - курсом Заславского и Нагорного - столь нагло, как с нами и нашими предшественниками. Никаких отзывов он больше не вымогал и не просил, да и на данные в предыдущие годы отзывы перестал ссылаться. На пропуски своих лекций закрывал глаза. Спрашивал максимально либерально.

Меня, как известно, меньше чем через полгода исключили из университета. Более того, даже в шестидесятые-семидесятые годы Д.К.Фаддеев пребывал в уверенности, что "Пименов злой человек. Он в свои студенческие годы затравил Филиппа Прокофьевича до смерти от грудной жабы". Свою уверенность он не держал при себе, но сообщал и другим лицам. Соломяка по окончании не оставили в аспирантуре, как предполагалось было, а сколько-то лет он работал в Пушкине ассистентом.

Задамся вопросом - тридцать лет спустя - могло ли начальство что-нибудь сделать? Ну, конечно, могло не держаться по-хамски, но этого Шер-хану (как мы звали Ширяева) не было дано при рождении. А всерьез, могли ли бы они, например, отстранить Отрадных от чтения курса? Разумеется, мы, студенты, в свои 21 год были правы, что не задавались таким вопросом, но в нынешнем возрасте не задаться им было бы глупо. А ведь ответ однозначен - не могли. Не могли, во-первых, потому что в Советском Союзе вообще практически невозможно никого снять с работы за глупость и невежество, а во-вторых, потому что КУРС ЧИТАТЬ НАДО - по программе. Никого нет, кто согласился бы читать этот курс, кого можно было бы хотя бы насильно, в порядке партпоручения, заставить его читать. Конечно, имеется И.Я.Депман, который превосходно знает историю математики, но в разгар антисемитизма 1952 года менять Отрадных на Депмана?! Кажется, даже и беспартийного в довершение природной идеологической незрелости?! И снабжающего студентов книжками на иностранных языках?! Поэтому в условиях ситуационной безвыходности, при отсутствии альтернатив, совершенно естественно, что гораздо более, нежели мы, притерпевшиеся к нравственным несправедливостям профессоры предпочли не заметить бессовестности Отрадныха, а вцепиться в неудачные формулировки, содержащиеся в нашем отзыве. Текст же этого отзыва говорит сам за себя: он дитя того времени, со всеми своими ссылками на Жданова, с его озабоченностью классовой и прочей ахинеей. Мы поневоле говорили на языке, который звучал

вокруг нас. Тут нет вины, тут беда и ужас нашего косноязычия[265]. Прибавлю, что в отвергнутом нашем с Этиным проекте ссылок на Жданова и иже с ним было не меньше, чем в соломячьем.

Для воспитания во мне навыков общественной деятельности история с Отрадных дала очень много, и когда через несколько лет мне пришлось организовать коллективку в БАНе, я играючи вырвал победу. Я окончательно пришел к выводу, что бессмысленно препираться насчет текста "программ" и "требований"; имеет значение лишь факт их выдвижения и срок представления, а не содержание - и этим потом я руководствовался при написании "Правды о Венгрии" и т.п.

Внушительно подтвердилось мое уже сложившееся представление о коренной несправедливости устройства. Пожалуй, задержусь на этом в паре пунктов. Я уже отошел к тому времени от "сине-розового тумана" мечтаний об идеальном обществе. И не в том НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ОБЩЕСТВА, что в этом обществе возможны - и даже крупные - несправедливости. Общество без несправедливостей так же немыслимо, как человек без испражнений. Суть в том, имеется ли в обществе механизм для устранения-исправления несправедливостей, когда они обнаруживаются? И общество, по моему мнению, в корне несправедливо устроено, если такого механизма в нем нет. В истории с Отрадныхом несправедливость была не бог весть какая уж крупная, но и ее невозможно было устранить, так эта кучка испражнений и осталась на матмехе, пока не иссохла и ветер ее не разнес по всем коридорам и аудиториям. А второе в этой связи - литературоведческое замечание. Наш отзыв на Отрадныха по своей идейности хоть бери и вставляй в повесть Ю.Трифонова "Студенты". Именно такими словесами поносили трифоновские передовые студенты своего реакционного профессора. Но те слова в повести сработали, а у нас - нет. Почему? И вот тут я в корне расхожусь и с Трифоновым и с анализирующими его литературоведами. Трифонов усматривает беду времени в том, что студенты оказались нетерпимыми, были нетерпеливы, чем породили гонения на безвинных профессоров. Отсюда он даже доразвивается до перечеркивания Желябова, но мне это тут ни к чему. Мне важно лишь, что Трифонов не желает видеть предобреченности жертв. Даже если бы студенты у него все молчали или писали бы дифирамбы гонимому профессору, профессора-"космополита" все равно выгнали бы с работы так же, как никакие наши высокие и нетерпеливые слова не могли способствовать изгнанию "проверенного товарища" Отрадныха. В несправедливой ситуации студенты по-человечески нетерпеливо выкрикивают слова невпопад. Трифонов делает отсюда вывод, будто бы в возникновении этой ситуации повинна их нетерпеливость и нетерпимость, и дальше строит свой духовный мир, из которого хочет изгнать эти человеческие реакции. А увидеть, что повинна ситуация - у него смелости не хватает.

Что еще дало мне участие в "деле Отрадных"? Я воспитал в себе умение уходить на второй-третий план, лишь бы дело делалось. Я постиг, что при контакте с Учреждением все твои намерения и чувства ОСТАЮТСЯ ЗА ЧЕРТОЙ, а имеет значение только то, что

---

[265] Как и всех тогда, и впоследствии возникавших в Сопротивлении групп, боровшихся "за истинный марксизм".

НАПИСАНО В ПРОТОКОЛЕ. Это стало ясно из того, как партбюро использовало представленную нами стенограмму консультации. И это мне весьма помогло в контактах со следователями.

Позже сопоставление БУКВАЛЬНОГО ТЕКСТА нашего коллективного отзыва - под которым значится и моя подпись! - с нашими намерениями и целями, спокойное и объективное сопоставление помогло мне в историческом анализе других, более крупных конфликтных ситуаций в науке послевоенных лет. И другие порядочные люди, движимые мотивом прогнать бессовестного невежду, вооружались философско-марксистскими дубинами. И один лишь факт наличия в их вооружении сталинских палиц еще не свидетельствует ни об их подлости, ни об их мракобесности, ни даже о приверженности партии Ленина-Сталина.

Впечатления мои от реакции матмеховского начальства на выступление студентов против Отрадныха хорошо стыковались с впечатлениями Данилыча от другого начальства - от ленинградского обкома, - которыми он поделился сосвежа на своем геометрическом семинаре. Его тогда как ректора по должности ввели в состав обкома. И, повращавшись там, он на одном из заседаний осенью 1952 года, когда мы все по традиции обступили его и внимали каждому его изречению, вымолвил:

- Я попал в змеевник. Там не люди, а ядовитые змеи. И с ними невозможно разговаривать, по-человечески общаться. Нужно застыть в неподвижности, чтобы не проснулась и не ужалила. А шевельнуться можно только, когда бьешь ее по голове и насмерть, мгновенно.

И он в лицах изобразил: как застывает неподвижно в неудобной позе и как потом, размахнувшись, убивает ядовитую гадину.

Все-таки он был искренней и непосредственной личностью.

§6. Открытие Кавказа

Приезд в Сочи; Тбилиси и Заал Хирсели; на перевале туда и обратно; КГБ и Чауха; блуждания наугад; творческое одиночество

Кавказ - это прежде всего воздух. Тот воздух, не глотнув которого, я никогда не стал бы тем, кем и чем стал. Это часть моей души. Но как раз поэтому невозможно хоть сколько-нибудь точно передать его воздействие на меня. Но вот с живой картины список бледный.

Летом или осенью 1951 года я случайно повстречал на улице, помнится, на Университетской набережной, Зарика Евдокимова, который, захлебываясь, поведал мне о своем отдыхе в Сочи. Насколько тогда я был дикарем по части географии, видно из моего вопроса:

- А на каком языке там говорят? По-русски объясниться можно?

- Язык не проблема! - заверил он. И я стал готовиться к поездке. Большую часть заработанных мною на репетиторстве денег я откладывал, и к июню 1952 года у меня было уже две тысячи рублей. Конечно, по нынешним ценам было бы безумием ехать на Кавказ с двумястами рублями, даже на одну неделю, но по тогдашней стоимости жизни мне моих денег хватило на два месяца, хотя к концу моего пребывания там я и клянчил у Нагорного деньжат:

- Колхоз "Единоличник" срочно нуждается в деньгах!

- Сердце обливается клюквенным соком при мысли о твоих страданиях, - обменивались мы с ним телеграммами.

Верный своей легко внушаемой натуре, я прибыл именно в Сочи, о котором рассказывал Зарик. Кроме того, в Сочи же жила Люда Грекова, помянутая в §4. Но у нее я побывал всего один раз, почувствовал, что как гость я нежелателен ее родителям, а потом новые впечатления - одни пальмы чего стоят! - отодвинули ее в сторону. Среди впечатлений было и то, что забытый мною на несколько часов чемодан на вокзале - забытый потому, что я тут же ринулся купаться - никто не спер, вопреки моему ростовскому воспитанию. Его передвинули с прохода к окну, дабы не мешал, но он пребывал в целости, когда я через несколько часов вернулся.

Море, море и еще раз море. Я вылезал из него только затем, чтобы поесть. Часами лежал я на спине на воде и декламировал различные стихи, которыми у меня была полна голова. Я стал нырять. Сначала с трех, потом с пяти, потом с семи метров. Как раз когда я рассекал головой воду с этой высоты, меня с нижней площадки узрела Света Богачева. Уже упоминавшаяся в §7 гл.3, мощь моего обнаженного тела поразила ее, и она потом на геометрическом семинаре многажды восторгалась силой и храбростью Револьта, о которых совершенно не догадаешься, когда он одет по-городскому.

Мой беспокойный дух, жажда движения и еще какая-то особенная божья милость ко мне не дали мне засидеться в Сочи. Ведь вполне могло бы случиться, что провел бы я все каникулы там, и даже воображал бы, будто "побывал в горах". Писал же я своей матери, поднявшись на какой-то присочинский холмик метров 4000

ростом, что "щеку мою задело облако, плывшее над горой!" Но это игрушечное восприятие гор подобно восприятию Юкавы, который гордо пишет:

"Я чувствовал себя, как путешественник, отдыхающий в маленькой чайной на вершине крутой горы."

Слава Богу, я ушел к тем горам, на вершинах которых еще не выстроили чайных! И я не путешествовал - я БРОДИЛ.

Еще в Ленинграде я пытался навести справки об адресе Заала Ивановича Хирсели, но в архиве университета мне отказали. Конечно, кабы я порылся в своих записях первого курса, я бы нашел этот адрес (как и адреса всех моих сокурсников), как обнаружил я его в конце семидесятых годов, но тогда я просто позабыл про существовании у меня старых бумаг. Но все же я решил отправиться в Тбилиси. Приехал поездом, причем у меня сложилось ощущение, что тамошние паровозы дымили сильнее и более едким дымом, нежели на участке Москва - Сочи. Первую ночь я ночевал в каких-то зарослях кукурузы, причем обнаружившая меня поутру бабка сочла меня за пьянчугу, свалившегося, где силы кончились. На второй день я познакомился с одним тбилисским парнем, русским, примерно моих лет, который притащил меня ночевать к себе. Но у нас не было ничего общего, кроме возраста, и через пару дней я ушел от него. В справочном разузнал адрес Заала и зашел к нему. Он жил на Мцхетской улице, что одним кварталом выше старого здания университета. Собственный дом № 82. Он встретил меня восторженно. К сожалению, я никогда не мог выучить грузинский язык настолько, чтобы понимать их речь на слух, хотя одно время мог медленно читать газеты. Но судя по выражениям лиц и по страстности, с какой Заал объяснял родителям, кто я такой, он им втолковывал, что не меньше, чем президент академии всемирных наук. Меня поселили в отдельной комнате, убранной по-царски. Белье меняли чуть ли не ежедневно. Старались предупредить малейшее мое желание. Заал водил меня по Тбилиси - в котором нынешняя площадь Ленина называлась площадь Берии, между прочим - и заводил во все НАСТОЯЩИЕ грузинские ресторанчики, про существование которых и не догадываются туристы. А какие они прекрасные, как там очаровательно обслуживают клиентов, видно хотя бы из того, что когда в один из таких подвальчиков в 1969 году я сводил свою жену, то Виля, уходя, от радости расцеловалась со швейцаром! Заал же произнес неизвестные мне названия "Батуми", "Махинджаури" в связи с тем, что он только что вернулся из санатория оттуда. С неудовольствием рассказывал он про то, что пограничники запрещают ночами купаться и даже выходить на берег. По его рассказам выходило даже, будто кого-то посадили за нарушение этого запрета.

Надо вкратце сказать, что такое был 1952 год для Грузии. Сажали правительство. Сажали секретаря ЦК, сажали премьер-министра. Собственно, это по официальным сведениям их сажали. В 1977 году один персональный пенсионер, умиравший от рака, рассказывал, что он работал в команде, прибывшей с министром госбезопасности Игнатьевым в Грузию для ликвидации - как он выражался - "этих нацменов". По его словам, они совершили налет на

дачу одного секретаря - он плохо различал "обкома" или "ЦК Грузии" - и всех членов семьи убили, закатали трупы в бетонные столбы и затопили столбы в море. Как бы там ни было, некоторых все-таки не убивали враз, а арестовывали: к таким принадлежал бывший секретарь ЦК КП Грузии по пропаганде и агитации Петр Афанасьевич Шария, с которым мне доведется сидеть во Владимирской тюрьме через десять лет после описываемых событий. Заал - очень неохотно - рассказывал мне про разоблачение каких-то националистов, которые с помощью Франции хотели присоединиться к Турции, но неразборчиво. Но мне не нужно было его пояснений, чтобы воспринять тревожную атмосферу, повисшую над Тбилиси: на почтамте - довольно крупное здание - весь торец занимал плакат с изображением человека с длинным языком и телефонной трубкой в руке, а чья-то рука ухватилась за провод и подтянула его к уху этой руки. Подпись гласила:

РАЗГОВАРИВАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ, ПОМНИ, ЧТО ТЕБЯ ПОДСЛУШИВАЕТ ВРАГ.

Надо сказать, что эта формула позже - когда у меня появился телефон - сделалась рабочей формулой для меня. Когда я по почтамту ходил с записной книжкой, в которую что-то заносил, меня изловили, отвели к начальнику почтамта, где я выслушал слова о бдительности, шпионаже, откуда был отпущен лишь после тщательной проверки документов.

У Хирсели мне жилось прекрасно. Впечатление портилось немногими обстоятельствами: его отец любил пить водку и посмеивался надо мной, когда я отказывался составить ему компанию, а предпочитал пить виноградный сок.

- У нас его только больные пьют, - злился он. Родители Заала часто и ожесточенно ругались друг с другом, часами кричали, махали руками, как я понимаю, в связи с судьбой Заала. Один раз, когда мать подбежала ко мне и попробовала втянуть меня в их бесконечный спор, я понял, что мне надоело. На следующий день я ушел.

Свой чемодан я оставил в камере хранения вокзала, а сам пошел пешком по Военно-Грузинской дороге, но не так, как "все" из Владикавказа в Тбилиси, а из Тбилиси во Владикавказ (который тогда назывался Дзауджикау, а до того и после того называется Орджоникидзе). Незадолго до выступления в путь мы с Заалом были в чьем-то служебном кабинете, стена которого была занята картой Грузии. Верстовка, т.е. в одном сантиметре один километр. Карт такой подробности я не видывал. Карта была физическая, на ней каждое ущелье было показано! Хотя она была на грузинском языке, но я уже овладел письменностью настолько, чтобы читать на карте. И, когда я остался в кабинете один, я отколол со стены четверть этой карты: северо-запад Кавказа. Вот с этой четвертинкой я и ходил потом в горах, но, к сожалению, в шестидесятые годы она куда-то запропастилась.

Я еще не понимал, что такое горы, поэтому мой первый поход был дурацки-арифметический: я прошел 206 км маршрута за трое суток. И только поедая лангет в ресторане Дзауджикау, я осознал, что торопиться мне было некуда. Назад я пошел медленнее. Тогда еще Дарьяльское ущелье не было расширено-обезображено современной взрывной техникой, и Терек еще играл в свирепом

веселье, и красота была еще почти лермонтовская. И еще одно превращение произошло с этой дорогой за тридцать лет моего с ней знакомства: исчезли почти все ключи, родники, забранные в трубы источники воды - простой и минеральной, которые пестрели прежде буквально на каждых трех-пяти километрах. Я прошелся до Крестового перевала, спустился и чуть не доходя до Фасанаури повернул налево, несколько к востоку, вдоль Черной Арагвы, намереваясь сделать петлю и "дикими тропами" выйти вверх на дорогу. В те годы туризм у нас не поощрялся, альпинисты сосредотачивались в строго предписанных альплагерях, туристских песен в заводе не было, автобусы во Военно-Грузинской дороге перевозили местных жителей, едущих по делам, а не любопытствующих москвичей да сибиряков. На выбранной же мною тропе вообще не ходили люди, родным языком которых был бы русский. Но на карте она была отмечена. Повстречался мне чабан, угостил козьим сыром. Зубы сломать можно. Пошел дальше. Повстречалась пара женщин. Желая поиметь практику в грузинском языке, я их спрашиваю:

- Шави арагвиа? (Это - Черная Арагва?)

Они утвердительно и немного испуганно закивали головами. Я полез по склону напрямик вверх. Когда оглянулся - увидел внизу людей, словно бы глядящих вослед мне. Глядите, глядите, подумалось мне, какой я герой. Полез дальше. Оглянулся. Странное дело: словно бы людей сделалось больше и словно бы я оказался в центре людского круга, который следовал за мною, суживаясь и устремляясь к той вершине, на которую я стремился. Непонятно, но не буду же я задумываться над низменными долинными происшествиями, когда восхожу на гору! Но не успел я до вершины добраться, как и снизу и сверху мне брызнули люди, взяв в плотный круг и настойчиво спрашивая:

- Где товарища оставил? Почему в горах и без шапки?

Нелепость этих вопросов помешала мне понять, что я арестован. Я все время - зимой и летом, в солнце и в дождь - ходил без шапки и без пальто с самого момента поступления в университет и до самого поступления на работу осенью 1953 года. Я просто не понимал, зачем нужна шапка. А им было непредставимо, как это можно пойти в горы без шапки. Точно так же им было непредставимо, каким это образом может пойти в горы человек в одиночку. Конечно, будь время другим, эти непредставимости не побудили бы их оторваться от работы и всем колхозом броситься меня ловить. Посудачили бы несколько вечеров - и забылось бы. Здесь же, когда чабан доложил председателю, что видел в горах подозрительного одного человека, а женщины - что на ломаном грузинском языке у них кто-то спрашивал название местности[266], председателю в шпиономанский этот год сделалось бесспорно ясно, что турки или меньшевики уже сбросили десант над его колхозом, и он распорядился всем кинуться вылавливать парашютистов-диверсантов. Мне никто не поверил, что шапки у меня не было, ее пошли искать, предполагая, что с ее отсутствием у меня связана

[266] Русский ведь, по своей колонизаторской привычке, не станет спрашивать по-грузински, он заговорит на языке, который "все должны знать"! Следовательно, спрашивал не русский, умозаключили они.

какая-то улика. Меня же потащили - повезли в газике - в районное отделение МГБ села Казбеги.

Там лейтенант снял с меня допрос, впрочем, без протокола, отправил группу на поиски "товарища" и "шапки". По-настоящему, по-тюремному, меня не шмонали, задержания не оформляли. Он осмотрел бывшие при мне вещи: полевая сумка, в которой было немного еды, пара плиток шоколада, записная книжка, томик Ницше на немецком. Он явно недоумевал, что делать со мной: установка-то была бить грузин, а я русский. С другой стороны - вдруг это проверка его бдительности каким-нибудь начальством? Пытался пугать меня, что по записной книжке распорядится проверить в Ленинграде, существуют ли такие лица в действительности, но, разумеется, такой угрозы я не убоялся. Готический шрифт Заратустры был ему явно не по зубам, но сознаваться он в этом не хотел, поэтому сунул назад в сумку. Поиздевался насчет шоколада: "Как полярный исследователь, на случай голода?!" Группа, искавшая моего соучастника и мою шапку-улику, вернулась пустая поздно ночью, когда он уже отправил меня спать: на скамье в коридоре. Утром состоялся разговор, после которого он счел возможным отпустить меня без ущерба для своего самолюбия. Листая записную книжку, он наткнулся на записи по-французски. А французский он знал - может быть, Игнатьев и отбирал таких гебистов, имея в виду, что заговорщики в Грузии сносятся с французскими меньшевиками. И он спросил меня:

- Parlez-vous Francais?

- Oui, un petit, - ответил я вопиюще неграмотно, сам ощутил неправильность, покраснел, но от растерянности никак не мог вспомнить, как же правильно. Он заулыбался с видом превосходства, повторил несколько раз насмешливо:

- Petit! Un petit!

Потом:

- Учишься, ну и учись, а нечего по горам шляться! - И прогнал меня.

Я немедленно отправился в горы. Там, неподалеку от Казбеги, находится гора Чауха. Так вот, я поднялся на нее. Потом, встречаясь с профессионалами-альпинистами, я от многих слышал, что Чауха - трудная вершина, что на нее впервые взошел какой-то англичанин в 1930 году, что я не мог на нее без техники взобраться, что я что-то путаю. Но я умею ориентироваться по карте настолько, чтобы не спутать название вершин и общей конфигурации потоков, ущелий и высот. Я был на вершине, на снегу, и вершина ни с одной стороны не застилась никакой другой горой: все поблизости, кроме воздуха, было расположено ниже моих ног. Чуть приспустившись, я разорил орлиное гнездо, потом орел прилетел и кружился "со мной наравне", но не напал на меня. В шестидесятые годы Гера Швейник, с которым я познакомился в Озерлаге в 1959 году, предложил возможное объяснение:

- Ты подымался какой-нибудь пастушьей, козьей тропой, по которой не ходят альпинисты, штурмующие высоту в лоб, по отвесам.

Не знаю. Может быть, он прав. К моменту моего разговора с ним я уже не помнил в точности, какой дорогой я шел, карта была утеряна, а больше в этом районе Кавказа я не бывал. Спустившись, я вернулся в Казбеги и на несколько дней поселился в тамошней гостинице. В этом отношении Казбеги - исключение. Обычно я спал

на камнях под открытым небом. До чего же блаженные были времена: гостиница пустовала, хоть три номера себе бери, были бы деньги! В ресторане - полно кавказских блюд. С каурмы я научился ценить грузинскую кухню. К сожалению, мне гебисты помешали еще раз, на этот раз своим благожелательством. Сидел я как-то один за столиком и ел каурму с лимонадом или виноградным соком или с нарзаном, уже не помню с чем безалкогольным. Вдруг ввалилась компания человек двадцать милиционеров и гебистов и почти мгновенно подозвали они меня к своему столу и наперебой начали поить ихними чудесными винами. Тосты при этом провозглашались "за Сталина", "за Берию". Я до безобразия упился, и от стыда на следующее утро сбежал, кажется, даже не расплатившись за гостиницу. Хотя пить водку я был уже приучен, но ведь грузинские легкие вина действуют совсем иначе!

Я вернулся в Тбилиси, забрал чемодан и, не заходя к Заалу, поехал в Хашури. Хашурский перевал - это перевал, заметный только для железной дороги по уклону. Он отделяет побережье от более центральной Грузии. Пошатался там, поспал в тамошних монастырях. Они были заперты на замок, но кто мне мешал перемахнуть через каменную ограду и расположиться в бывшей келье или - если она была загажена до невозможности - на крыше или во дворе? Один раз какая-то экскурсия так и обнаружила меня, отперев ворота, в живописном совершенно голом виде спящим на солнышке перед входом в реликвию XII века. Надо сказать, что ни тогда, ни позже я пиетета пред подобными строениями не испытывал. Да, пошатавшись и поспавши, я махнул в Бакуриани-Боржоми. Но там едва я отдалился от вокзала на двести шагов, ко мне подошел милиционер и не допуская пререканий убедительно распорядился немедленно возвращаться на вокзал и с первым же поездом уматывать прочь из пограничной зоны.

Я убрался, Поехал в Батуми. Пожил с недельку-другую обычным курортником, снимая квартиру. Тогда они стоили баснословно дешево, а кормежка в базарной столовой была сытной, вкусной и дешевой. Тогда я полюбил мацони. Действительно, купаться и выходить на берег с заходом солнца запрещалось. Я вспоминал "Тамань", ночных контрабандистов, лодки при луне - и сравнивал два строя жизни: при Лермонтове и при мне. Побывал в Бамбуковой роще. Боже, как описать ощущение своей потерянности в ней! Какое величие! И какое счастье - и сегодня, закрыв глаза, я вижу, ВИЖУ ее. Вижу эти белесые стволы. Ноги скользят в сырости. Неуловимый аромат. Это живет во мне, это стало частью моей души. Спасибо тебе, судьба, что дала мне взглянуть на Бамбуковую рощу.

На обратном пути побывал я еще в Сухуми.

Но это канцелярское перечисление мест, где я побывал в 1952 году, не может дать представления о том, чем явился Кавказ для меня. Я не стал альпинистом, и не стремление сравняться с Делоне - Александровым двигало мною, когда я лез на Чауху. Кажется, я даже никому потом и не рассказывал про то, что побывал на ней. Я просто впитывал этот воздух, и лез выше потому, что чем выше, тем воздух восхитительней. Я просто открывал новый мир. Помню, многие читатели моих опубликованных мемуаров потешались над фразой в §5 гл.1 "следующее расширение моего кругозора". Они, бедные, знают, как пишут в литературе, но не знают, как оно бывает в горах.

Вот ты стоишь, и твой кругозор очерчен точно теми зубцами. А вот ты вскарабкался на несколько сот метров по хребту - и заглянул за те зубцы, кругозор распространился и его "радиус" скакнул вдвое-втрое. Если хватит силы еще подыматься, то горизонт-кругозор будет отступать все дальше и дальше. Вот эту переменность мира обнаруживал я для себя. Я открывал самого себя. Я пребывал в творческом и радостном одиночестве. Мои мысли за эти два месяца приобретали законченность и укладывались в систему. Попробую одно сравнение.

"Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаяние,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу -
Последний, случайный," -

поет московский поэт. Я в таких случаях в Ленинграде обычно выходил на набережную - по левому берегу от Литейного, мимо Кировского, Дворцового, через Шмидта на правый берег и дальше мимо Крузенштерна и парусов. Особенно хорошо бывало, когда встречный ветер, с дождем или мокрым снегом. Тогда ни у кого не возникало охоты примечать мою странно одетую фигуру с лунатически устремленными в иные миры глазами и что-то бормочущими губами. Я брел, брел, иногда кружил, я куда-то стремился и в конце концов находил себя. Вот так я нашел себя на Кавказе в горах, в том же одиночестве и отрешенности - но на более долгий срок.

§7. Расставание с университетом

Осень 1952 года; языки; переписывание Ницше и Савинкова; исключение и восстановление; новый брак моего отца

По возвращении я вмиг окунулся в кипение страстей вокруг Филиппа Последнего, и в известном смысле оно кончилось победой, так что мажорное мое настроение не упало. Той осенью состоялся XIX съезд - единственный, стенограмма которого доднесь не издана - и мы с Этиным переговаривались: "На съезде должна была бы приниматься программа партии. Но как дать программу правящей партии?! Ведь это все равно, что дать смысл жизни! Не сумеют!"

И, правда, не сумели, не дали. Приняли только Устав. Программу соорудили только девять лет спустя - на XXII съезде - и отменили ее уже в 1965 году, сразу по снятии Хрущева. Та осень шла в политических переживаниях и предчувствиях. "Экономические проблемы социализма" Сталина намечали КОНКРЕТНЫЙ путь перехода от социализма к коммунизму. Слухи о предстоящем выселении евреев обрастали КОНКРЕТНЫМИ подробностями. Лаконичность явлений Сталина и его речений на съезде КОНКРЕТНО подтверждала, что наступало время не слов, а дел. Уход Сталина с поста генсека и самое упразднение должности "генерального секретаря" - "в целях обеспечения равноправия всех секретарей ЦК" - порождало мучительные ожидания: какой же еще постамент подставят под него?

К этому времени я уже многое что изучил - кое-что намеренно, кое-что потому, что подвернулось под руку. Так, немецкий я изучил, дабы читать Заратустру, потом Грассмана и Шура. Испанский - потому, что по случайному поводу поспорил со Шлионским, что-де любой язык за два месяца изучу. Он назвал испанский, и через два месяца я уже читал "Дон Кихота" в подлиннике. Вот где я полюбил музыку тех коротких стихов, которыми унизан текст "Дон Кихота":

Busco en la muerte la vida,
Salud en la enfermedad,
En la prison libertad,
En lo encertamento - salida
Y en el traidor - lealtad.

Pero mi suette, de quien
Jamas espero algun bien,
Con el cielo ha estatuido
Que pues lo imposible pido
Lo possible aun ne me den!

Как курьез замечу, что для получения испанского текста "Дон Кихота" мне пришлось добраться до отдела редкой книги Публичной библиотеки. И там все старушки библиотекари недоумевали, зачем это молодому человеку, не филологу понадобилось читать Сервантеса в оригинале. Но они только недоумевали, а секретарь партбюро Никитин, обнаружив раз мою папку с записями по испанскому, визгливо отчитывал меня за занятия этим языком и

объяснял, что на испанском математику не пишут, мне им заниматься не следует. Эти его нравоучения я учел, когда осенью 1952 года решил изучать норвежский. Само собой, захотел я его изучать, дабы прочитать в оригинале Гамсуна. Но когда меня познакомили с Валерием Павловичем Берковым, специалистом по скандинавским языкам, не намного старше меня по возрасту, но уже существенно старшего по социальному положению, я ни словом ему не заикнулся, что собираюсь читать Гамсуна. Нет, ему я выдал лажу, что есть, мол, такой норвежский математик Софус Ли, и я вот хочу прочесть его произведения[267]. Совершенно не зная ни математики, ни ее истории, Берков не мог знать и не знал, что Ли писал свои сочинения исключительно по-немецки, да и изданы они были уже в основном после смерти Ли его учеником немцем на немецком в Германии. Так что он воспринял мою "цель" как естественную. Он в два дня объяснил мне все тонкости скандинавских языков, походя и неуловимо дал понять, что существование ДВУХ норвежских языков не вмещается ни в какие сталинские бредни из "Марксизма и вопросов языкознания" и стал регулярно снабжать меня книжками, по которым я овладел скандинавскими языками вполне прилично, дабы читать со словарем. Понатужившись, я и сейчас могу прочитать вырезку из датской газеты. Но когда я попробовал было в семидесятые годы переписываться по-шведски с одним знакомым из Amnesty International, моих знаний не хватило и пришлось перейти на английский.

В ту же осень мы с Этиным стали посещать на восточном факультете занятия по китайскому языку и, разжившись подложным направлением на экзамен, даже сдали экзамен по китайскому за первый курс на пятерку. В программу входили главным образом тексты Мао Цзе-дуна, но владеть кисточкой для начертания иероглифов учили основательно. До сих пор помню "порядок черт", хотя уже лет двадцать не раскрывал китайских или японских текстов. Посещали мы и занятия по арабскому языку, но перед самой сдачей экзамена деканат матмеха позвонил в деканат востфака и запретил принимать экзамен, поэтому, хотя и я сдал экзамен на пятерку, в зачетку оценка не попала. Когда в 1982 году я произнес единственную фразу по-арабски, которую я помню (кроме банального об Аллахе) Огурцову:

- Мен лям йокун индаху завджатун джамииляту, фэлейса индаху муру'аттун! -

он сразу перевел ее, из чего вытекает, что я еще не вполне забыл язык, да и ему пятнадцати лет каторги оказалось мало, чтобы забыть его. Еще мы с Этиным искали хоть кого-то, кто научил бы нас древнееврейскому языку, но здесь максимум, чем нам помогли специалисты, был совет спрашивать не про знатоков еврейского, а про знатоков арамейского языка.

В эти же месяцы моя графомания приспособилась еще к одному делу: я открыл для себя Савинкова и стал переписывать из разных источников себе его "полное собрание сочинений". Работа

[267] Тогда группы Ли не входили в обязательные курсы и не упоминались на прослушанных мною факультативах. О Ли я узнал из тех же лекций Депмана по педагогике.

шла, главным образом, в кабинетах для научной работы Публичной библиотеки, куда я пристроился из-за вполне бескорыстной помощи неведомого мне библиографа. Я заказал какое-то произведение Ницше, будучи курсе на втором; у меня тогда еще не было его собрания сочинений, и я его переписывал себе том за томом. Мне в студенческом зале дали от ворот поворот. Я стал ходить туда-сюда, клянчить, искать щелочку. И пришел как-то с бланком заказа к дежурному библиографу уже того здания, что на Садовой. Он посмотрел на меня, пробурчал, что нельзя, конечно, ну да ладно, и написал на бланке: "Читатель - студент философского факультета". И тогда после сдачи заказа бланк вернулся мне со штампом: "прошу в такой-то зал для научной работы". А потом срабатывала уже ихняя картотека, меня обслуживали уже как "читателя такого-то зала". Правда, в этом зале при выходе проверяли все твои бумаги, но я и не помышлял вырезывать что-либо из книг, а писал таким мелким почерком, что никому за казенные деньги не хотелось портить свои собственные глаза, вчитываясь в написанное. Дорвавшись же до Савинкова, я мало что влюбился в него, я переосмыслил все свое понимание хода революции. Грубо говоря, история стала для меня начинаться не с Джона Рида, а с Каляева и - почти сразу же - с Желябова. Так что из Савинкова-Ропшина я делал не выписки, а сплошным образом переписывал все его сочинения. В ту же осень стряслось персональное дело Леночки Ландсберг. Она и прежде как-то - из-за меня - претерпела упреки по комсомольской линии. То ли осенью 1951, то ли весной 1952 года рисовала мелом она на доске в коридоре как член редколлегии стенгазеты нашу "да цзы-бао", т.е. "Молнию", клеймящую оперативно какие-нибудь проступки. На сей раз следовало опозорить того, кто из бумажной стенгазеты, посвященной восхвалению А.Д.Александрова, вырвал "с мясом" фотокарточку Данилыча - видимо, себе на память. Отталкиваясь от "мяса", она создала образ крови, стекавшей с фотокарточки, но "алая кровь" не ложилась в размер ее стихов. Она терзалась и, завидя меня - тогда в ссоре с ней и гордо проходившему мимо, "не замечая ее" - кинула мне:

- Воленька, какая кровь у Данилыча?

- Голубая, - не останавливаясь бросил я, а ей оказалось в ритм, и вышла строка:

"И каплет голубая кровь в руках у похитителя."

Данилыч устроил грандиозный скандал за этот намек на его дворянство, партбюро - выволочку Лене. А летом, когда она была в каком-то санатории, в нее сильно влюбился один аспирант или пятикурсник, вздыхал, томился и раз проник к ней по стене в окно в комнату на втором этаже ночью, когда почему-то она была одна. Она терпела, пока он становился перед ней на колени, а когда он пожелал большего - выгнала в то же окно. А он пойди да и повесься на одном из ближайших дерев в ту же ночь. Кажется, он даже ее "предупреждал", что жить без нее не сможет или не будет, но кто же к таким угрозам прислушивается? А тогда все было ИДЕОЛОГИЕЙ. И устроили комсомольское собрание, где разбирали морально-недостойный облик Е.Г.Ландсберг. "Поведение, несовместимое с высоким званием комсомольца". Произносились речи, требовали наказания. Не знаю, до чего дошли бы эти обезумевшие молодые

строители коммунизма, если бы сама Лена вдруг не спросила громогласно:

- Что же, мне нужно было лечь с ним в постель?

Странно, но простой здравый смысл вопроса Иванушки-дурачка вдруг отрезвил отравленные пустозвонством головы. И никакой резолюции принято не было. Собрание кончилось.

В том же 1952/53 году помню слухи о самоубийстве одного аспиранта, по фамилии то ли Ворошилов, то ли Ворошилин, оставившего напугавшую начальство записку:

"Нельзя жить, как хочется, а жить, как велят, не могу".

Помню рассказы Этина о вечеринке на истфаке - кажется, в Новый год - когда был поднят тост за Сталина, а "какая-то сволочь лишь сделала вид, будто пьет, а сам не притронулся к стакану".

- Ну, конечно, нашли его, голубчика, - с непередаваемым выражением охотника, подстрелившего-таки свою дичь, рассказывал Этин.

Естественно, что изгнание меня из университета прервало многие из этих занятий, но основной ритм моего существования сохранился. В гл.1 достаточно подробно изложены перипетии моего исключения-восстановления, добавлю лишь пару документов, найденных мною после смерти моей матери, т.е. после того, как "Один политический процесс" уже широко разошелся в самиздате. Вот статья из стенной газеты весны 1953 года:

ПОЧЕМУ ИСКЛЮЧЕН ИЗ КОМСОМОЛА СТУДЕНТ ПИМЕНОВ

Из рядов ВЛКСМ исключен член комсомольской организации факультета студент пятого курса Р.Пименов.

Как сложилась его жизнь в факультетской комсомольской организации, как он относился к коллективу, как коллектив относился к нему?

С самого начала учебы в Университете Пименов Р. ничем не отличался от большинства наших студентов, успешно занимающихся на факультете, втягивающихся в нашу студенческую жизнь. Но уже к концу первого, особенно в начале второго курса, в его поведении на факультете проявились несвойственные нашим студентам зазнайство и самомнение, бывшие проявлением, как выяснилось в том же году, его идеологических ошибок, связанных с увлечением идеалистической философией. Коллектив осудил поведение Пименова, были приняты все меры к тому, чтобы вернуть Пименова в ряды наших студентов, дать ему возможность в труде и занятиях исправить свои ошибки, изменить поведение по отношению к коллективу.

На третьем курсе Пименов начал изменяться в лучшую сторону: выполнял общественные поручения, внимательнее стал относиться к мнению коллектива. Группа и факультет терпеливо и много занимались Пименовым: Пименов принимает участие в строительстве ГЭС. Но дальнейшее показало, что Пименов ушел с верного пути, на котором он, казалось бы, уже был, и начались опять ошибки одна за другой. Пименов пропускает учебные занятия на четвертом курсе. Он, видите ли, составил себе свой учебный план; он пропускает почти все лекции и семинары по политической экономии и диалектическому материализму. Он забыл о том, что есть коллектив, что есть группа и факультет, к мнению которых он должен

прислушиваться, решениям которых он, как комсомолец, должен подчиняться.

Поведение Пименова как нарушителя комсомольской и учебной дисциплины, обсуждалось на комсомольском собрании четвертого курса: Пименов решением собрания был исключен из комсомола. Вышестоящие комсомольские организации заменили это взыскание строгим выговором с предупреждением с занесением в учетную карточку, учитывая заявление Пименова, что он понял свои ошибки. Тогда же Пименов, как он говорил, сделал для себя выводы:

подходить ко всему с комсомольской меркой и быть дисциплинированным.

Но как показало дальнейшее его поведение, эти выводы остались на языке, но не в голове Пименова и не в его делах.

Безобразное поведение на лекции четвертого курса по материалам съезда, с которой Пименов был удален, занятия посторонним делом в ущерб учебному плану (так на лекциях по историческому материализму Пименов занимался китайским языком, хотя, как он говорит, "несистематически"), пропуски семинаров по материалам съезда, таковы некоторые факты, позволяющие судить о комсомольце, имеющем уже два строгих выговора с занесением в учетную карточку (один с предупреждением).

Пименов говорит, что он искал верные пути для себя, как для комсомольца, но человек никогда не найдет их вне коллектива. Первый самый прямой путь - в коллектив. Тогда будут успешными труды и занятия, тогда появится и желание дальше заниматься своей специальностью и жить с коллективом полнокровной комсомольской жизнью.

А Пименов не искал путей к коллективу, более того, до самых своих последних дней на факультете (сейчас он исключен из Университета) он оттолкнул всех своим зазнайством, своим стремлением поставить себя выше всех и каждого, свои интересы - выше интересов коллектива.

Комсомол, как и партия, укрепляет себя тем, что очищает свои ряды от тех, кто фактически своим поведением давно поставил себя вне коллектива, кто гниет и тлеет среди нас, кто пытается тем самым мешать росту и укреплению нашего коллектива.

Е.Шемякин

Появление этой статьи связано с нечистой совестью комсомольских руководителей в моем деле: ведь исключили они меня БЕЗ созыва комсомольского собрания, В ОБХОД того самого коллектива, которым божится Шемякин в каждой строчке своей статьи. Вот и пришлось ему, секретарю факультетского комсбюро, вытаскивать и приплетать старые выговоры, которые согласно уставу по срокам давности уже числились снятыми. Позже за Женю Шемякина вышла замуж Люся Петрова, учившаяся в одной группе со мной. Я начисто забыл про существование этой заметки, и когда в 1966 году в Новосибирске Женя и Люся просили у меня прощения за эту публикацию, я просто не понимал, о чем они говорят. Поэтому, видимо, показался гордым и неумолимым. Нашел я ее у себя только в семидесятые годы, как уже докладывался. Тогда же я нашел и еще кое-какие документы, нарушающие анекдотичную прямоту моей

переписки с Министерством высшего образования в 1953 году, как она подана в § гл1:

"Начальнику Управления Университетов
Товарищу Прокофьеву
От гражданки Небольсиной Е.М.,
проживающей по Дружниковской ул.,42, кв.1
и гражданина Чеснокова И.Я.,
проживающего по Пушкинской ул., 9, кв.50

ЗАЯВЛЕНИЕ

Узнав со слов сестры, матери студента Ленинградского университета Пименова Р.И., об исключении его из университета с тяжелой мотивировкой, ведущей к невозможности продолжать учение или работать по специальности, мы, как родственники молодого человека и как коммунисты, считаем своим долгом вмешаться в это дело и просить о пересмотре его по следующим причинам:

1. Исключение студента 5-го курса, всегда учившегося отлично, накануне защиты уже готового дипломного проекта, является совершенно исключительной мерой наказания и вызывает недоумение тем, что по административной линии молодой человек ни разу не был предупрежден.

2. Исключение с такой тяжелой мотивировкой не дает ему возможности ни продолжать учение, ни поступить на работу соответственно со своим образованием и развитием: с самого момента исключения он, в течение 5-ти месяцев пытается устроиться на работу и всюду получает отказ без мотивировки, а ряд периферийных университетов, куда он подавал заявления с просьбой разрешить защиту диплома или поступить на 5-й курс, отказывают или предлагают получить на это разрешение Министерства Культуры.

Человек 21-го года оказывается "выброшенным из жизни". Эта оторванность от коллектива и тяжелое сознание своей "ненужности" может столкнуть его во враждебное нам окружение охвостьев общества, деклассированных элементов, которые будут рады поймать высококультурного, знающего несколько языков юношу.

Моральное его состояние сейчас таково, что матери приходится всерьез следить за ним.

3. Исключение из университета произвело на него потрясающее впечатление; по нашему мнению, наказание заставило его отказаться от своих необдуманных мальчишеских рассуждений, выражавшихся в незрелой "философской полемике". До этого катастрофического случая он относился к своим высказываниям, как к полемическим упражнениям, никогда не предполагая, что они могут привести к таким тяжелым последствиям.

Учитывая изложенные нами причины, просим пересмотреть дело об исключении Пименова из университета. В частности, просим по-человечески, чутко подойти к разбору заявления Пименова о предоставлении ему возможности закончить образование в любом университете, приняв во внимание признание им своих ошибок и искреннее его желание быть полезным Родине.

Москва, 28 августа 1953 г. Подписи

Вот упомянутое в последнем абзаце заявление, которое шло совместно с первым:

"Министру Культуры СССР
товарищу П.К.Пономаренко
От Пименова Р.И.
Ленинград Серпуховская, 2, кв.2

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я был исключен из Ленинградского Государственного Университета 17 апреля 1953. Подробности я сообщил в своем заявлении в Министерство Культуры от 9 мая; на это заявление я получил ответ (315-01/429, от 27 июня), признающий исключение правильным. Стремясь завершить свое высшее образование и работать по специальности, чтобы принести наибольшую пользу своей Родине, я прошу Вас разрешить мне сдачу государственных экзаменов и защиту дипломной работы при каком-либо Университете, либо разрешить мне поступить на пятый курс какого-либо Университета. Обещаю оправдать Ваше доверие и быть достойным звания советского студента.
10.08.53 подпись"

Плодом этих совместных заявлений и было мягкое предложение ректору восстановить меня:

"V 15-01/6205, 29.10.53
Ректору ленинградского ордена Ленина Государственного университета им.А.А.Жданова
проф.Александрову А.Д.

Управление университетов и юридических вузов, рассмотрев заявление т.Пименова Р.И. о восстановлении на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета, поручает Вам совместно с общественными организациями университета вновь рассмотреть просьбу т.Пименова и решить вопрос по существу.
Со своей стороны, Управление, учитывая, что т.Пименов, как видно из его писем, осознал допущенные им ошибки, считает целесообразным дать ему возможность завершить университетское образование.
О принятом Вами решении прошу сообщить в Управление.
И.О. зам. начальника управления проф.П.Фесенко"

Я тогда не знал, узнал года через два, что как раз в ноябре 1953 года Данилыч имел стычку с Хрущевым. Тот приезжал в Ленинград, привозил с собой уцелевшую вдову расстрелянного Попкова, рассказывал про реабилитацию осужденных по делу Вознесенского - Попкова. При этом, дабы не задеть Маленкова,

числившегося тогда в союзниках Хрущева и главным образом виновного в истреблении "ждановцев" Вознесенского - Попкова, Хрущев отделывался незначащими формальными словами насчет виновников этого провокационного дела; в декабре 1953 года было сообщение о суде и расстреле Берии, но в приговоре даже они не привязывались к делу Вознесенского. Только через год, в декабре 1954 года в приговоре Абакумову произошла такая привязка. Александров, член обкома, слушал Хрущева и в нарушении всех партийных субординаций, словно он на геометрическом семинаре, перебил того вопросом о виновных в неправосудных расстрелах и, даже, о более общих ПРИЧИНАХ, сделавших такие расстрелы возможными. Хрущев на него закричал:

- Вы эти меньшевистские разговорчики бросьте! Не пройдет это у вас! Партия всегда боролась с меньшевизмом!

Александрову так и осталось загадкой на всю жизнь, почему Хрущев приплел именно "меньшевизм". Но заткнуться он заткнулся.

Итак, я получил в июле 1954 года диплом о высшем образовании со специальностью "математик" и безо всякого распределения. Из школы, где я работал, я ушел. У меня тогда было довольно мрачное настроение, связанное с бесперспективностью дальнейшего существования, если понимать его как полноценное самостоятельное бытие, а не как несение обрыдлой лямки. Никаких перемен к лучшему после смерти Сталина я еще не заметил, поэтому у меня не появилось еще той "политической бодрости" которая помогла бы преодолеть гнетущее сознание бесцельности, шедшее от иных, не политических причин.

- С нынешним моим существованием надо покончить! Неужели так и будет продолжаться из года в год дальше?! - Вот мои позиции июля 1954 года. И я предпринял кардинальный шаг: я решил покинуть Ленинград и переехать жить на Кавказ. Кавказ казался мне единственным местом, где еще можно жить. По дороге я заехал к отцу в Раисино.

У него жизнь сложилась - нельзя мечтать о большем! В свои пятьдесят лет, летом 1952 года, он повстречал двадцатипятилетнюю девушку, тоже ветврача, хотя, впрочем, до ветеринарного института работавшую в обычной медицине, и влюбил ее в себя. Читать стихи и даже сочинять их сносно для девичьего уровня он всегда умел, за внешностью своей следил, даже когда пил, а она была из-под Казани, хотя русская до третьего или четвертого колена (просто ее предки все время разъезжали по России), нетронутая мужчиной, и москвич Иван Гаврилович Щербаков произвел на нее неотразимое впечатление. Они поженились - он забыл оформить развод и моя мать все поругивалась, что разоблачит его как двоеженца - и Мария Павловна Леснова родила ему сына Николая 10 мая 1953 года. Она бесспорно любила его, а не позарилась на что-либо: у него практически не было никакого имущества, деньги съедали алименты на Терпаносян, те блага, которые он добывал ветеринарными командировками, она, будучи ветврачом, и сама могла бы иметь. Прописка была не московская, ибо Раисино относилось к области, а не к городу. Словом, навару от Щербакова не было никакого, кроме личного обаяния. И сознание, что в пятьдесят лет твоего обаяния хватило на двадцатипятилетнюю девушку, недурную личиком и ни в

чем не ущербную - здорово вдохнуло жизни в Ивана Гавриловича. "И жизнь, и молодость - да молодость - и счастье".

Они жили счастливо, хотя уже в первые годы Маруся забрала себе чересчур много власти ("Хочешь? Приготовь раствор сам!" - была формула их сексуальных отношений, что, конечно, для мужчины душевно обременительно). У нее присутствовали элементы фригидности, и не раз в минуты, когда полагалось бы переживать оргазм-экстаз, она лежала и думала о том, как чистила или будет чистить рыбу. Гораздо разрушительней было то, что про все про это она сама рассказывала кому ни попадя, совсем посторонним ей людям, например, Ире Вербловской, которая с удивлением, что такое может быть, пересказывала дальше. Но сказалось это на их семейной жизни уже позже, лет через десять.

Пока же Щербаков переживал духовный подъем. Он почти бросил пить, занялся диссертацией, фактически написал ее на тему "Паратиф кроликов", его руководителем был Д.Беляев[268]. К событиям 1957 года Щербаков оформлял последние оставшиеся перед защитой документы. Одновременно он вернулся к осмыслению социальных вопросов и стал штудировать Сталина и Ленина на предмет их разоблачения как исказителей истинного учения о коммунизме. Он даже кое-что написал на эту тему; капитан Егоров при обыске этих его рукописей не нашел, но сочинения Ленина-Сталина с пометками Щербакова разглядел и уволок; см.§1 гл.5.

[268] Беляев тогда был кандидатом наук. Позже он прославился в ученом мире тем, что был избран член-корреспондентом АН СССР, будучи кандидатом, а уже после этого избрания Ученый Совет института ПРОВАЛИЛ его докторскую диссертацию. Впрочем сейчас он давно уже и академик по Сибирскому отделению и профессор в Новосибирске, член бюро АН и много чего еще.

§8. Освоение гор и Кавказа

С отцом в Приэльбрусье и в Сухуми; по перевалам; написание пьес; работа с артелью и "народ"; моя душа в горах

Я заехал в Раисино в июле 1954 года и сообщил отцу, что еду на Кавказ. Он загорелся желанием тоже съездить на места своей молодости, и хотя мне хотелось пребывать в одиночестве, я не сумел устоять против его уговоров. На несколько лишних дней я задержался в Москве, пока он срочно оформлял отпуск, а потом мы поездом добрались до Черкесска. Оттуда с большим скандалом нам удалось чемоданы отослать по железной дороге в Сухуми, а сами мы попутными машинами добрались до Учкулана, памятного отцу по четвертьвековой давности историям, см. §6-7, гл.2. В это время карачаевцев там не было - их выселили в 1944 году, но и сваны, которых вселили туда, передав территорию Грузии в 1944 году, уже не жили там, ибо территория была возвращена РСФСР. Поэтому там преобладали глинобитные и кизяковые развалины. Сначала мы двинулись было Чипераузским перевалом, но он оказался слишком трудным для отцовых белых парусиновых туфель, мы вернулись и свернули на Военно-Сухумскую дорогу[269]. Моя экипировка изменилась сравнительно с прошлым хождением: после больших скандалов и ссор я уступил его настояниям и взял с собой рюкзак и плащ, которых до того в горы не брал, дабы не таскать лишней тяжести. Но за время хождения с отцом я так привык к этим вещам, что дальше уже и сам по себе всегда ходил с ними. Да после пребывания в Сухуми прибавилась пастушеская шляпа из чего-то вроде фетра или войлока с широкими полями - она оказалась очень удобной, когда спишь под открытым небом. Мы с ним в Сухуми приобрели по такой шляпе каждый. На дороге нас изловила служба горной безопасности (не имеет никакого отношения к государственной "безопасности") и примкнула нас к стаду туристов, шедшему Клухорским перевалом. Первый и последний раз в жизни переходил я перевал "организованно", группой. Ненавижу! Спустились мы в долину Кодори, оттуда в Сухуми, где пожили-поплавали вдвоем с недельку, после чего он вернулся в Москву[270], а я вышел на дальнейшие блуждания. Размышляя о возможных маршрутах, я дал телеграмму Заалу в Тбилиси, но пришел ответ за подписью его отца: "Заала Ивановича нет в Тбилиси". Через почти три года я узнал, что Заал в это время сидел в тюрьме.

Сначала я пробовал подняться по Кодори и перемахнуть хребет где-нибудь в другом месте, но поблизости. Однако несколько встреч со службой горной безопасности показали мне, что именно этот участок гор сильно охраняется, и меня не пропустят. Тогда я

---

[269] Мой отец сохранил крепость в летах гораздо лучше, чем я. Я в пятьдесят лет ни за что не смог бы проплыть, сколько он в свои пятьдесят и даже шестьдесят. Ну, допустим, просто пловец он лучший. Но и ходил в горах он в 1954 году - в свои пятьдесят два - легче, дерзче, выше и с меньшей усталостью, нежели я в 1981 году - в свои пятьдесят. У меня уже начала появляться альтофобия, страх высоты, головокружение, а у него ничего подобного до смерти не возникало.

[270] Не помню, в тот раз или в 1963 году мы с ним в Сухумском театре смотрели "Овода", и обоих нас этот давно презнакомый сюжет трогал до слез.

спустился - пожив, конечно, некоторое время в "диких местах" - по Кодори, доехал до Зугдиди и стал подыматься по Риони. Мимо тех же пастухов-сванов я перешел через Донгузорунский перевал и вышел в Приэльбрусье. Тогда еще названия "Терскол" в помине не было. У перевала, слева, когда идешь с юга, где с конца шестидесятых годов разбили палаточный стационарный городок, валялись неубранные трупы, танки, орудия - следы войны. Никаких подъемников никто еще и не планировал, и на серебряных рудниках у Эльбруса работали еще, кажется, заключенные. Впрочем, это не производило на меня никакого впечатления, а вот зелено-красное Орунское озеро - заворожило. Как и зеленый лед ледника, по которому я шел и расселины в котором перепрыгивал с разбегу, понятия не имея о их глубине. "Зигфрид, страха не ведающий..." Впрочем, я догадывался перед прыжком снять рюкзак и перебросить его на ту сторону отдельно. А вечно возвышенная картина шапок Эльбруса, на который я уже нагляделся с той, западной стороны!

Я спустился до Тырны-Ауза, заглянул в Баксанское ущелье, откуда безуспешно пытался перевалить к Донгуз-Оруну, перебрался к Алагиру, откуда по Военно-Осетинской дороге через Мамисонский перевал[271] вновь вернулся в Грузию и затем в Сухуми.

Я очень много писал и думал - думал по-особенному, иначе, чем под крышей - в горах. Die Luft denn und rein, die Gefahr nahe und der Geist voll einer frihlichen Bosheit: so paet es gut zu einander. Wer auf den hochsten Bergen steigt, der lacht uber alle Trauer-Spiele und Trauer-Ernste. Там я написал все свои пьесы, написал оду (в прозе) в честь дня рождения Ницше и еще многое другое, не сохранившееся. Как у меня сочетались блуждания и писание? Вот, например, тыкался я, гонимый службой горной безопасности, вправо от Кодори (если вверх по течению идти, как я шел с юга на север). Не имея под рукой тогдашней карты, не могу воспроизвести своего маршрута, хотя, думается, что если бы снова попал бы в те места в тех же погодных условиях, то узнал бы их, если только "в глубине твоих ущелий уже не простучал топор" и не "настроили дымных келий".

Зарядили непрерывные дожди, и куда бы то ни было карабкаться сделалось невозможно. Уходить же вниз - обидно. Кружился я на месте, стараясь не терять высоты. Места были еще покрытые лесами. Подымись я метров на 200-400, остались бы скалы да тощий кустарник. И под монотонное шуршание дождя я думал, думал о судьбе Дегаева, которая вырастала в более широкое размышление о соразмерности нравственности и интеллекта, удачи и энергичности, действующих и противодействующих. Конечно, знай и тогда то, что окончательно стало ясно мне после публикации А.Б.Рогинского насчет предательства Стефановича, я выбрал бы его фигуру - более крупную, нежели Дегаева - как точку приложения сил, шедших из "Народной Воли" и против "Народной Воли". Но я не знал, пошел более протоптанным путем. И вертелось центральное, за

---

[271] Мамисонский перевал малоизвестен, и как перевал неинтересен: легкий. К тому же подъезд к нему скучен и по унылой и очень скверной автомобильной дороге. После него до моря или других достопримечательностей Грузии бесконечно далеко. Зато именно на нем открывается поразительно живописный контраст между северным и южным Кавказом, между Россией и Грузией. Сказочная как бы грань в воздухе повисает в точности над перевалом - этого эффекта нет в других известных мне перевалах.

что зацепиться, а не подворачивалось, не формулировалось. А дождь шел и шел. Настроение все более портилось. И вверх не подняться, и возвращаться тяжко - то самое настроение, что было у народовольцев в 1882 году. Бессмысленно переходил с места на место, примерно сохраняя высоту. И вдруг по ту сторону ручья увидел мельницу. Развалившуюся - подумал я. Но все-таки крыша. С большим трудом перебрел через опьяневший от нескончаемых дождей поток. Промок-то я и раньше не в этом дело, а в толчках, которыми он увлекал меня за собой. Но я всегда ходил на трех ногах - с добротной палкой - и не поддался ему. Залез в мельницу. Она - цела. Даже печка есть, хворост сухой лежит приготовленный. Обрадовался, сколько дней без огня! Разжег, подсох. И нашел ключевую сцену:

"СУДЕЙКИН. Ах, Сергей Петрович! Как мне вас, революционеров, жалко. Неужели вы не понимаете, что без широкого народного движения вы - ничто, нуль, политическая пустота? Народ же не с вами... Вы ему: "Да здравствует социализм", а он вас свяжет да в волость представит. Да неужели вы думаете кого-нибудь в России собрать под знаменем свободы? Да кому нужна свобода? Кто на Руси понятие имеет, что такое свобода? Кто без нее жить не может? Хлеб нужен, а не свобода! Хлеб. Крестьянин ест хлеб, а не свободу. И пока у него будет хлеб, сгниете все на каторге или в могиле с известью. Да-с, такие-то дела. Вы - генералы без армии. Вы - блохи на политическом теле России. И правительство вас всех переберет, как вы ни прыгайте. Да-с. Вот если бы отрава во внутрь попала - но вы до этого не додумались. Нет-с.

ДЕГАЕВ. Вы говорите очень убедительно, но я вам не верю.

СУДЕЙКИН. Ведь вы учились только на пятерки, кажется? По-моему, математика должна была дисциплинировать ваш ум. Раз вы признаете посылки, то нужно признавать и выводы, нравятся они или нет."

И тут же на отсыревшей бумаге карандашом стал набрасывать все, что вытекало из этого взгляда, из этого диалога, ибо это та историческая правда, против которой не мог бы спорить Дегаев, а все его дальнейшие поступки сами собой вытекали из этого понимания. Пошло, покатилось, завершилось убийством, как и случилось в исторической акциденции... Пока я строчил, неожиданно раскрылась дверь и в мельницу заглянул пастух. Поздоровался, посидел со мной, смерил взором, причиняю ли я большой или терпимый беспорядок своим тут пребыванием, ушел. При нем я прервал писание, но это было внешнее прерывание, совершенно не сказавшееся на внутреннем единстве того, что сочинилось до его появления и что после. Работалось непрерывно. Кажется, два или три дня провел я там, ушел по окончании дождя, унося фактически написанного "Дегаева". Потом в Ленинграде я только переписал его с карандашного варианта тушью на полотняную бумагу - тогда такую еще производили и продавали. Наверное, конечно, кое-что переиначив, я ведь плохо умею сам себя переписывать без переделок, но это были те исправления, которые не задевали сердцевины.

А другой раз - это, кажется, было в районе Мамисонского перевала, когда тоже на границе лесов и кустарника я в звездную безветренную погоду грелся у костра, думал банальные думы о пламени революции, уставившись невидящим взором на пламя костра, вдруг заметил, что головешки рассыпались порознь, пламя исчезло, потемнело. Машинально подгреб их до кучи, они снова вспыхнули, лизнув меня, и вообще-то не менее банальная мысль, но применительно к освободительному движению куда как нетривиальная и редкостная, лизнула меня: сила огня в единении дров, прежде, чем разъединяться, надо объединится. Лишь в единении и взаимотерпимости сила. И возникла завершающая сцена "Карийской трагедии", когда после голодовки, расстрелов, неудачных побегов, убийственных известий с воли, умирает доктор Веймар:

"БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ. Кто еще остался?

ГЕЛЛИС. Но ведь жив Лавров.

ПРИБЫЛЕВА-КОРБА. Лавров - только теоретик. Кажется, теперь на деле больше нет членов Исполнительного Комитета. Кончилось.

ВЕЙМАР. Что? Кончилось? Ерунда. Друзья, я умираю. И там - еще шесть трупов. Эта кровь должна быть для вас священной. Поклянитесь же мне, что вы не забудете ее! Поклянитесь, что вы не отступите, не измените. Пусть ничто не остановит вас: ни поражения, ни гибель товарищей, ни даже их отступничество. Поклянитесь, что вы останетесь верны делу народа!

РОГАЧЕВ. Клянусь! Я до конца дней своих не примирюсь с самодержавием!

ДЕЙЧ. Я клянусь, что интересы рабочего класса останутся для меня священны. Пролетариат не забудет эту кровь.

БРЕШКОВСКАЯ. Клянусь, что сделаю все для возрождения "Народной Воли".

КОРБА. Не изменю народу. Я останусь с ним до самой смерти.

ГЕККЕР. Пока не восторжествует справедливость - я буду бороться со всяким насилием, за счастье России.

РОГАЧЕВА. У меня один путь с революцией. Кроме Революции - нет для меня пути.

ГЕЛЛИС. Пока не будет завоевана свобода - я, клянусь, не прекращу борьбы с тиранией.

ВЕЙМАР. Спасибо, друзья. И еще в одном поклянитесь мне. Эта кровь для вас - священна. Какими бы путями вы ни шли к социализму, помните, что вы связаны одной кровью. Ваше дело - общее. Может быть, на воле вы разойдетесь в разные партии. Пусть так. Поклянитесь же, что во имя этой крови никогда не станете врагами друг другу. В каких бы станах вы не оказались - помните, что вы друзья. Клянитесь и прощайте.

РОГАЧЕВ. Умер!

БРЕШКОВСКАЯ. Умер.

ДЕЙЧ. Еще одна жертва.

Занавес"[272].

[272] Я умышленно свел на одну каторгу вместе не встречавшихся в реальности друг с другом деятелей.

В этом скорбном ключе несогласий и распрей сами легли на историческую фабулу все четыре акта пьесы. К слову сказать, я как-то так точно сумел ТОГДА описать каторжную жизнь, что мне не пришлось бы ничего менять в изображении ее после того, как сам я на своей шкуре с ней ознакомился. И, помню, Володя Фролов, прочитав именно эту пьесу, бегал по комнате и причитал:

- Да ты же, Револьт, оказывается, лирик! Как ты это скрывал раньше! - А я и не скрывал, просто не поворачивался этим боком.

По возвращении в Сухуми я повстречался с группой добропорядочных туристов, только что из Домбая боковыми перевалами спустившихся к Сухуму. Среди них был мой давний ленинградский знакомый Гриша Жодзишский - наш общий с Фроловым приятель[273]. Еще помню в той же компании Рену Филимонову, кажется, из Донецка, тогда Сталино. Я провел с ними несколько дней или даже пару недель, купаясь и потягивая ром. Они знали поразительно дешевую ночлежку: хозяйка сдавала место спать на полу за 50 копеек (тогдашних!). А с деньгами у меня уже поджимало.

Я начинал подумывать о приискании работы. Первая попытка была так сказать, "политического" характера, своеобразным "хождением в народ". Заславский, с которым мы уже много лет играли в "политические шахматы", как я писал в §2 гл.1, не раз поговаривал в том духе, что вот дескать надо стратегию строить на создании партизанских отрядов в Сибири и на других окраинах. Отряды-то отряды, но ведь они состоят из людей. Каковы же люди? К чему они годны? Из Сибири Игорь привез много впечатлений, не находил слов от изумленного восхищения людьми. Надо бы проверить, подумал я. И поэтому, когда все та же дешевая хозяйка рассказала, что в их колхозе - колхоз им.Сталина, что по дороге между двух горок с северной окраины Сухуми - набирается артель из всяких бродячих работников для сушки сухофруктов, я подался в эту артель. И денег заработаю, и присмотрюсь к народу, будущему контингенту партизанских отрядов, возглавляемых Игорем Заславским. Насмотрелся.

Нас человек шесть собралось, жили мы в чем-то вроде фургона. Сложили сначала печь, потом резали яблоки, получаемые от колхоза, и сушили их, а скорее даже вялили в дыму этой печи. Приминали ногами и т.п., словом, по древней технологии. Слабонервные, когда им расскажешь, перестают есть сухофрукты. Само собой получилось, что заправлял всем Володя Мыксименко, парень лет тридцати. При нем была любовница Маруся, которая томно рассказывала всем все одно и то же: как он первый раз взял ее в морской воде. Было еще несколько мужчин и женщин, первые все без паспортов. Набрав, сколько им поверила бухгалтерия, авансу, подделав чужие подписи под авансами и пропив все, мужчины сбежали, Маруся тоже. Остался я с несколькими женщинами, не имевшими мужиков. Бухгалтерия попробовала было с нас удержать пятьсот с лишним рублей, пропитых беглецами, но когда обнаружила, что я с паспортом и грамотный, предпочла списать деньги в убыток, нам заплатила. В этом инциденте мои товарищи по работе вызвали у меня омерзение своей трусостью перед

[273] У него дома, на Некрасова, я вынул из печки Л.Фейхтвангера "Москва, 1937", предназначенную его родителями к сожжению.

председателем, бухгалтером, всяким "начальником". Мы перезаключили договор с правлением и, набрав еще народу, пару недель работали еще. Кажется, вся эпопея уложилась в срок от 26 августа до 9 сентября, но, может быть, несколько дней не отражено в сохранившихся у мня листках. Помню еще двух Люб. Одна была "уже старая", ей было 30-35 лет, а другая, "Люба-маленькая", имела лет 19-21. Они обе были из одной краснодарской станицы, сначала приехала Люба-большая, а затем она выписала Любу-маленькую. Маленькая освободилась по амнистии Берии - Ворошилова в апреле 1953 года. Сидела со сроком четыре года за "хищение пошивочного материала на 200 метров", т.е. за катушку ниток со швейной фабрики. В лагере заработала непроходящую экзему на обеих ногах - жутко было смотреть. Обе они глубоко веровали в ведьм и колдовство, рассказывали достоверные истории о том, как у них в станице такая-то и такая-то бабки скисали молоко у коров, насылали порчу на детей, как народ казнил этих ведьм, и многое в таком роде. Мужчины, которые к нами присоединились и не сбежали, были не интереснее этой пары. Заработав несколько сот рублей, я вышел из артели.

Вторая попытка носила противоположный характер: я "решил" (сколь легко и безответственно пользуемся мы этим РЕШИТЕЛЬНЫМ словом "решить"!) устроиться на "чистую" работу, учителем в Абхазии же. Помню, когда я, переодевшийся в "парадный костюм", шел по Сухуми, меня повстречал бывший напарник по работе в колхозе. Он удивленно посмотрел, как я хорошо одет, и высказал догадку, что мой нынешний хозяин, у которого я работал, одолжил мне этот костюм на день-другой. Подумал же он, молча, что я спер костюм, я не противоречил. Итак, я пришел в Министерство просвещения, они обрадовались и тут же выдали мне направление в школу в колхоз под Очамчири. Я написал матери, чтобы выслала мне мой диплом, приехал туда. Мне обрадовались, уже начались занятия, а математики все нет, отвели какое-то жилье - я по молодости в эти презренно-низменные детали не вникал. И к вечеру того же или следующего дня меня позвали на торжественный банкет в честь чьей-то свадьбы или рождения или похорон или просто юбилея. Как изображается в кинофильмах, был предлинный стол, серия столов, причем по условиям навеса края загибались, за которыми расположилось несколько сот гостей. Но в кино это несколько кадров, а в реальности - несколько часов, и меня вдруг пронзило ощущение убогости. Люди радуются угощению - но какому скудному! Да я в столовой, заказав харчо, съедал сытнее и вкуснее, чем эта косточка из-под барашка. Да пройдя по рядам базара и только пробуя вино (тогда вином и чачей разрешалось торговать), напьюсь больше и разнообразнее, нежели здесь, в такт подымая рог под развесисто стандартные тосты. Так мне стало убого и невыносимо, что я в тот же день удрал из Очамчири. Потом не раз и не два жалел об этом. Осевши там, в стране Георгия Гулиа и Фазиля Искандера, я, быть может, получил бы совсем иную судьбу, нежели сбывшаяся. И хотя не жалуюсь я на полученную судьбу, она принесла мне счастья больше, чем положено выпадать на долю среднестатистического человека, все же порой мерещится-грезится, что в том варианте судьбы было бы нечто такое, чего я навсегда лишился в ленинградском ее варианте. Не стану уж задерживаться на разных

анекдотических попытках обзавестись деньгами, вроде того, что я просаживал рубль за рублем в тире, надеясь выиграть крупный денежный приз.

Когда деньги совсем кончались, я жил тем, что забирался на виноградные деревья (т.е. деревья, вокруг которых вился колхозный виноград) и ел его. На хлеб - в буквальном смысле - у меня деньги еще оставались, вот я и питался хлебом с виноградом. Винограду съедал по много килограммов и никогда от него оскомины не возникало. Порой уходил в окрестные горы, писал там. Помню наслаждение, с каким я выслушивал первые в жизни похвалы мне как писателю. Моя хозяйка, происхождением эстонская немка, из тех, что еще до революции поселились в Абхазии, из соображений порядка подозрительно поглядывала на меня, без определенных занятий, без денег, и все же не вписывающегося в категорию ни блатного мира, ни оборванцев. И она доставила себе случай "нечаянно" порыться в моих бумагах, как бы по ошибке разметав их по комнате. Зачиталась и долго потом не могла успокоиться от восторга. Первым моим гонораром было то, что несколько недель я у нее прожил, ничего не платя за ночлег. Вот покорившие ее строки (из эссе "Фридрих Ницше. К 110-летию"):

"... но таков ли он на самом деле?..”

"На самом деле"!..

Из Черкесска, за 120 километров, гора Эльбрус кажется неотличимой от облака, легшего на горизонт. Из Гурзуфа, в 20 километрах, видны две снеговые шапки, налезшие на соседние горы. А пройдя вверх по реке километров шесть-восемь и поднявшись на гору слева, я увидел вместо Эльбруса громадную белую голову крокодила, с черной пастью и черным прищуренным глазом. Поднявшись в снега рядом с Тырны-Аузом (Баксан), я на заре увидел розовую нераздвоенную шапку далеко (15 километров) на западе. Для поднявшегося на вершину Эльбрус он является бесконечным горизонтом и громоздящимися горами вокруг. Для геолога это такая-то высота и такие-то минералы. Для карачаевцев Эльбрус - это тоска по утраченной родине. Для школьника Эльбрус - отметка в журнале. А на политической карте мира Эльбруса может и не быть, или это просто точка. А что же такое: Эльбрус "на самом деле"?

Как, мы еще не прогнали этот призрак?

Есть мое "на самом деле", твое "на самом деле", но что такое просто "на самом деле"?..."

К слову сказать, именно отталкиваясь от такого понимания, я научился совершенно точно отвечать на этот вопрос в своих лекциях по тензорному исчислению в 1965 году, и кандидат философских наук А.С.Кармин, прослушав мой курс, вымолвил мне, что только теперь он понял, что такое "объективная истина".

Чем дальше шло время, тем более я ощущал, что надо возвращаться в Ленинград. Не то чтобы какие-нибудь рассудочные доводы - их не было. Я понятия не имел, чем буду зарабатывать на жизнь в Ленинграде, ибо я категорически решил, что с математикой я разделался навсегда, никогда не стану ею ни заниматься, ни зарабатывать ею на жизнь. Перспектива возврата к матери, с которой мы постоянно ссорились и не находили общего языка, не привлекала. Никакие привязанности к кому-нибудь лично не тянули меня. Омерзительно было думать, что, как пес на блевотину свою,

так я вернусь на свой диван. И в то же время вопреки всем доводам и чувствам, нечто толкало меня в направлении Ленинграда.

Я последний раз устроился на работу - сбор поздних сортов то ли груш, то ли яблок, собирали уже по снегу. Заработал денег на билет и в ноябре был в Раисино. Там я получше познакомился с Марусей Лесновой, которую до того я разглядеть-то не успел. Тогда же познакомился с кучей ее родственников, гостивших в это время у нее в Москве. Затем вернулся в Ленинград.

Но как же все-таки передать, что такое горы, одиночество на вершине, проходящие под тобой облака, вечные снега, пренебрежение бесспорной и естественной опасностью? Вот, один раз, забравшись на вершину, я там, в снегах, распил бутылку шампанского, которое тащил с собой, ради которого, собственно, и затеял подъем на эту дуру ростом четыре с чем-то тысячи. При известном для гор соотношении кислорода и озона, давлении, температуре и усталости, пузырьки шампанского словно бы превратили все клетки моего мозга в такие же пузырьки. И, вместо того, чтобы воспользоваться солнцем и до его захода приспуститься хотя бы из зоны вечных снегов, я торжественно расположился на ночлег там, выше всех. Холод меня не очень беспокоил, я был привычный. Но все же он был такой, что ночью я проснулся. И то, что я увидел, поначалу я не осознал. Шар какой-то, перекатывающийся подле меня шар. Ну, при моих глазах звезды всегда расплывались, подумаешь, расплылись посильнее! Но когда я надел очки, то шар не концентрировался в точку, как все прочие звезды - ох, до чего же они крупные, уверенные на южном истинно-черном небе, - а лишь приобрел четкие очертания. Но с места на место продолжал перемещаться. До меня дошло: шаровая молния. И едва только это дошло до меня, как шар сам словно бы рванулся по направлению ко мне. Я стремительно прополз, покатился колобком прочь от него, успев все же прихватить рюкзак и прочее, но не надевши. Какое-то время он лениво меня преследовал, но потом ему надоело, вернулся в свои сферы горние. Я же продолжал нестись, набирая скорость, вниз. Конечно, в темноте и с перепугу я сбился с того пути, которым поднимался. Уже надев рюкзак, уже придя в форму, я все еще был одержим только одним желанием - вниз, туда, где есть растительность! И рассвет застиг меня висящим на одних руках над ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УКЛОНОМ, т.е. ноги мои болтались в пустоте. Было ли подо мной два километра, или двести метров, или "только двадцать" - значения не имело. Камни (снег и лед уже кончились), кое-где "мох тощий", без кустарника. И никого нет поблизости, никто ведать не ведает, что один "воинствующий бездельник" и "аристократ духа" изволил сорваться вот в эту пропасть и не собрал своих костей. И тут вмешалась судьба. Рок дал мне силы подтянуться на своих руках, вцепившихся в скалу, перебросить через нее грудь, потом живот, залечь на нее и потом посмотреть в необозримые просторы, простиравшиеся подо мною. Отлежавшись, я поднялся и пошел - на сей раз так, как следует ходить в горах: за минуту - шаг на полметра. И благополучно спустился. Значит, я был нужен провидению, что оно меня сберегло? Или это гордыня адова?

"Глупое сердце, когда перестанешь ты биться?
И для чего ты влечешь меня в горы?

Там теснота нет приволья, простора,
Страшно в тумане в горах пробудиться -
В тучке златой, что ласкает художника взоры.
Не до эстетики, лишь бы не рухнуть в ущелье.
Ноги скользят, ног не видно...
Только мне ЭТОГО страха не стыдно!
Снова хочу я хмельного веселья!
Только порою бывает обидно:
Некому мне свое счастье отдать..."

§9. Открытие космометрии

Доклады о Революции; письма в редакции; озарение формулами в бане; девять геометрий; космология; лекции по космометрии; я возвращаюсь в семинар Александрова; Марков заинтересован; экономическая борьба в Библиотеке АН; знакомства в математическом мире

Как я уже писал, я порешил никогда в жизни больше не возвращаться к математике. Этот зарок, как и другой - никогда не жениться - я не сдержал. Случилось это так. Месяца не прошло с момента моего возвращения домой в Ленинград, как моя мать уже перепилила меня на несколько кусков, укоряя в тунеядстве. Менее всего мою жизнь в декабре-январе 1954-1955 года можно было бы назвать "тунеядничаньем". Я работал и днем и ночью, но ни на какой ГОСУДАРСТВЕННОЙ службе не состоял, никакой зарплаты не получал, в паспорте штампа с места работы не было, в домоуправлении значился как "неработающий". Причем - с июля 1954 года. Правда, в это время еще не была введена ст.209 УК, так что уголовное преследование мне не грозило, но с точки зрения праведного завуча Ларисы Михайловны Пименовой непорядок был вопиющий. Да и как ей сестрам, хлопотавшим о моем восстановлении, отчитаться в моем поведении?

Занимался я в это время историко-политико-литературными делами. Например, в связи с пятидесятилетием Кровавого воскресенья и казни великого князя Сергея Александровича, устроил у себя дома - в отсутствии матери - доклады, соответственно, о Г.А.Гапоне и его роли в революции пятого года, и о И.П.Каляеве и роли боевой организации ПСР в той же революции. По первому вопросу я забросал ряд редакций газет и журналов, требуя ПРАВИЛЬНОГО изложения роли Гапона. Наиболее содержательным был ответ из газеты "Правда":

"... Какие доказательства вы выдвигаете в защиту своего положения? Во-первых, воспоминания Павлова, который писал, что Гапон лично был против шествия к Зимнему дворцу, затем факт участия Гапона в шествии, его ранение, его призыв к борьбе за свободу после расстрела демонстрации.

Но ведь все это психологические моменты. (...) Вероятно, Вам хорошо известно, что в письме к Коллонтай В.И.Ленин называет Гапона провокатором, что в Кратком курсе поп Гапон тоже называется провокатором. (...) В конце концов, в свете больших исторических событий Пятого года это вопрос частный, специальный.

2 марта 1955

консультант Чачко М."

Я же воспринимаю и излагал историю попросту, по-человечески, в духе вот этих наивных стихов весны 1905 года на белорусском языке:

"У Пецербурху змерли Дурняу хрысцинь на людзи: свободу.

Им прашили к улей грудзи
Бо то з песняй и з алтарам
Пошли з попам перэд царам.
А цар сыпнуу як бы з неба
Тысяч куляу - так и трэба!

Трэба шроту, бамбау, стрэльбау,
Трэба биць нам гетых шэльмау!
Чуе еще голас з неба,
Что больш цара не патрэба!
З той пары, Масква, Варшава,
Рыга, Вильна, Бак, Либава,
Беларусь, Литва, Расея
Цар навуку дау народу.
Показау им як бы з неба
Что больш цара не патрэба!
Тагды Гапон у громаду
Бежыць, крычыць: треба ладу,

Гогняць вон цара зладзея!
Народ чуе голас з неба,
Что больш цара не патрэба!
Бомба трах! Сергей у шматы,
Мирски бежаць аж до хаты,
Цар у страху, сэнат млее,
Беданосцау аж хварэе.

Опять же в связи с Гапоном помню, что, когда все прочие слушатели разошлись, мы втроем - я, Нагорный и Фролов - с красными самодельными флажками - тогда еще не существовало ст.190.3 УК - устроили праздничное шествие по Загородному, Серпуховской и прилегающим улицам. По второму вопросу помню, что мой доклад о Каляеве - Савинкове подвергся критике со стороны Фролова:

- Я думал, ты представишь статистику: столько-то убито министров, столько-то всего покушений, средняя скорость теракта, число жертв среди террористов, а у тебя литература, а не научное исследование!

Впрочем, он очень любил мою "литературу", постоянно знакомил меня с многочисленными своими знакомыми, приводил их ко мне на доклады и приватно, возил меня к ним. Странным образом, он уже с 1952 года не только был знаком с Вилей Шрифтейлик, очень часто и очень много рассказывал ей про меня, таскал ей мои книжки, но никогда не называл моего имени, а говорил: "Один человек сказал". Только на описанном в §18 гл.1 суде Виля вычислила, что "один человек" и муж ее подруги Вербловской - одно и то же лицо.

По части политической, приняв позицию Заславского о "конституционно-коммунистическом" направлении деятельности, мы - я, Заславский и Рохлин, именуя себя "Союзом Объективных" - порешили вести "петиционную кампанию", т.е. направлять в литературные, советские и партийные органы легальные письма, направленные в направлении того направления, направленность которого нам приемлема. Из таковых могу вспомнить сейчас письмо II съезду советских писателей, вершившемуся как раз в 1954 году и личное письмо Эренбургу в связи в тем же съездом:

"... правильно говорят, что Эренбург - это совесть советской интеллигенции, и как вся эта интеллигенция - продажная совесть."

Отмечу, что примерно в те же месяцы Кронид Любарский в Москве точно так же "конституционно-деммунистически" писал письма в защиту Померанцева (его статьи "Об искренности в

литературе"). Таким образом, можно считать, что названные четверо примерно на двенадцать лет опередили тактику кампании подписантов в конце шестидесятых годов.

Мать же грызла и грызла за бездельничанье, грозила, что кормить перестанет, денег у меня, естественно, не было, а книжки покупать хотелось. И я устроился с 27 января 1955 на работу в Библиотеку Академии Наук. Там шла первая в ее двухвековой истории инвентаризация фондов. Со времен "немецкого засилья" в Академии лежали не читанные никем фолианты, доставленные этими немцами в Россию и после их смерти свезенные в подвалы. Лежали перевязанные шпагатом связки книг академиков, умерших от голода в Гражданскую войну, которые вдовы академиков успели до своей смерти сдать в Российскую Академию, тогда еще не государственную. В нераскрытых оцинкованных ящиках хранились вывезенные из Германии трофейные книги - которые еще немцы бережно упаковали от бомбежек и заливания водою. Впрочем, с последними ("Готская библиотека") довелось работать не мне, а Ире Тимошенко и Ире Вербловской. Сначала меня приняли на сдельную работу библиотекаря-картописателя с предельным заработком 759 руб./мес., но в силу баснословной моей эрудиции меньше чем через месяц меня повысили до инвентаризатора-бригадира (старшего библиотекаря) с предельным заработком 1000 рублей. Я еще вернусь к не лишенной интереса жизни инвентаризаторов, а пока к теме, к космометрии!

По работе мне никакого касательства к математике иметь не надо было. Книг математических я не раскрывал с прекращения работы учителем в школе весной 1954 года. Ни одна математическая мысль не шевельнулась, не то что "сверкнула" в моей голове с тех пор. И вот в феврале 1955 года моюсь я в бане, что расположена в тупике Ильича (позже, прорубив проход, его переименовали в переулок Ильича), в так называемых "Казачьих банях". Ведь никаких ванных в домах, где я живал, не водилось, мылись в общих мыльных отделениях. Ополоснул я каменную лавку, поставил два таза, сел промеж них и опустил ноги в третий, квадратный, таз. Жарко, хорошо. Сижу, млею. И вдруг без предупреждения в голове складывается теорема на тему, о которой никогда не думал. Сверкает простой эскиз ее доказательства, вслед за чем формулируется новая теорема. На этот раз я хоть соображаю, о чем речь: это о специальной теории относительности, но в таком ракурсе, который для меня нов и не до конца понятен. Но он тут же становится понятнее, потому что идея доказательства того, что эти треугольники подобны, выскакивает сама собой, а отсюда следует, что перпендикуляры поворачиваются навстречу друг другу, откуда вытекает основное соотношение для треугольника a2 - b2 = c2, отличающее псевдоэвклидов случай от эвклидова. Но если наложить теперь аксиому о параллельных, сформулированную не по-эвклидовски, а по-лобачевски, то тогда окажется, что в трипрямоугольнике четвертый угол будет больше или меньше прямого в зависимости от его ориентации... Словом, мной овладела неведомая мне "радиостанция" и мой телеграфный ключ, подчиняясь ей, покорно выстукивал принимаемое мною сообщение, язык которого поначалу был мне непонятен, но в ходе приема - сделался знакомым.

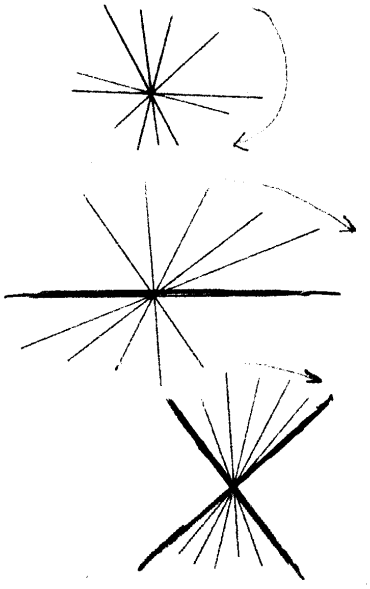
Такое отчетливое и совершенно неоспоримое ощущение, что я подслушиваю чужие мысли, переживал я один единственный раз - тогда. Это - не то, о чем я писал в §2 и §4 гл.3 или в §1 гл.4. Там речь шла о восприятии эмоций, общей направленности ходе мыслей-желаний. Здесь же я читал готовые формулировки, видел готовые чертежи[274]. Я не знаю, чьи именно мысли я "радиоперехватил". Много позже я узнал, что как раз в эти месяцы и в Москве, и в Нидерландах внезапно обострился интерес к исследованиям в этом направлении, на эту тематику. Ни одно опубликованное произведение, которое могло бы быть обдумываемо именно в феврале 1955 года, не совпадает с тем, что слышал я, даже в главном, не говоря уж о полном тождестве. Может быть, мы все слышали последние мысли какого-нибудь умирающего гениального геометра, а каждый из нас разработал воспринятое в соответствии с собственной эрудицией?

Ну, и я не мог уклониться. Я тут же сел, отодвинул все свои прочие дела и стал писать. Сначала я записал то, что навалилось на меня в бане. Потом стал с одной стороны развивать дальше, а с другой - выискивать и исправлять неточности и ошибки в уже написанном. И там и там работы было изрядно. Очень пригодилась школа Шанина с его беспощадной требовательностью к безупречности КАЖДОГО этапа доказательства, особенно МЕЛЬЧАЙШИХ этапов, где чаще всего и просматривается ошибка. И в итоге вырисовалась - или, тут уже можно сказать: я нарисовал такую изящную геометрическую картину:

Рассмотрим на плоскости пучок прямых, проходящих через общую точку - сплошной пучок "равноправных" прямых, которые можно вращениями вокруг этой точки совмещать друг с другом. Оказалось - я доказал это - что тогда возможны только три случая: либо каждая прямая, проходящая через эту точку на той же плоскости, равноправна прямым этого пучка; либо на плоскости имеется одна-единственная прямая, которая не равноправна прямым этого пучка и которая при всех вращениях переходит сама в себя; либо на плоскости имеются точно две прямые, которые при всех вращениях переходят сами в себя (и тем самым они не равноправны прямым пучка). Картинками:

---

[274] В литературе мне попалась одна книга, которая, наверное, произошла таким же образом. Это изданная в 1901 году книга венгра Паладьи - Palagyi M. Neue Theorie des Raumes und der Zeit. Еще не пахло никакой теорией относительности, ни Эйнштейн, ни Минковский еще и не задумались. Но этот в общем-то неграмотный в математике автор "предвосхищает" их достижения. Он сам не умеет объяснить, почему он дает определение пространству как совокупности одновременных событий - как потом Эйнштейн, но у того это естественно! Он сам не ведает, почему приписывает времени мнимую координату - как Минковский, но у того это вытекает из формул Эйнштейна! Словно бы кто-то знающий диктовал, а Паладь подслушал эту диктовку и как понял, записал. Судя по историографии, ни Эйнштейн, ни Минковский, ни их друзья не знали про книгу Паладьи, да и трудно было бы физикам заинтересоваться ею, ставящей целью обсуждение довольно дурацкого философского положения.



можно вращением совместить любую прямую с любой,

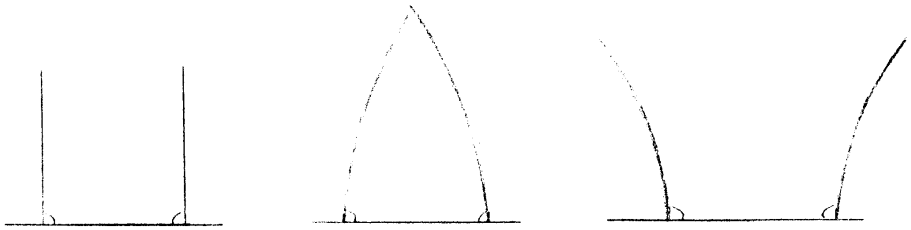
жирная (красная) прямая неподвижна при всех вращениях,

обе жирные (красные) прямые неподвижны при всех вращениях.

Эти три возможности открывают путь к построению трех геометрий: эвклидовой, полуэвклидовой и псевдоэвклидовой, но не только к ним, а к большему[275].

Ведь если не связывать себя аксиомой о параллельных, то априори открываются три других возможности: два перпендикуляра к общей прямой (все на той же плоскости) могут на всем своем протяжении находиться друг от друга на одинаковом расстоянии (как в обычной эвклидовой геометрии); могут постепенно сближаться друг с другом (как сближаются на глобусе меридианы, перпендикулярные экватору, до того, что в полюсе все меридианы пересекаются); могут разбегаться (удаляться) друг от друга как у Лобачевского. Картинками:

[275] Если бы мы ограничивались ЛИНЕЙНЫМ случаем, то все сводилось бы к числу собственных векторов у матрицы второго порядка, а точнее, у некоторой односвязной группы матриц второго порядка, ноль, один, два. Отказ от аксиомы параллельных есть отказ от линейности.



на обычной плоскости, на сфере, на лобачевской,

Сочетание первых трех возможностей с этими тремя возможностями дает трижды три, т.е. ДЕВЯТЬ геометрий на плоскости!

Но это еще присказка, а сказка впереди. Конечно, обнаружить девять геометрий, когда в курсах по основаниям геометрии называется только три (позже, "грамотные геометры" стали называть четыре, но это уже после того, как я защитил свои диссертации) - очень лестно для первооткрывателя. Конечно, для строгого построения этих геометрий мне пришлось проделать серьезную работу, модифицировав аксиомы инцидентности и порядка, введенные Пашем - Гильбертом, так, чтобы охватить ими сферическую (эллиптическую) геометрию, - задача, трудность которой видна из того хотя бы, что никто кроме меня ее не решил. А я - решил, введя новое в геометрии отношение близости. Конечно, для получения нужных формул в этой геометрии следовало в совершенстве владеть формулами лобачевской тригонометрии, но я ими владел еще до 1952 года; мне очень сгодилось то, что я учил геометрию Лобачевского не по А.Д.Александрову и не по моделям Клейна - Пуанкаре (хотя и они чем-то пригодились), а по добротному старомодному курсу В.Ф.Кагана, похожему на покорение вершины органами осязания - ногами - а не мгновенным и мимолетным зрением.

Но я презирал математику как таковую, да и сейчас наполовину серьезно полагаю, что занятия математикой - удел умственно отсталых, что предмет математики слишком прост[276]. А вот мыслить о том, как УСТРОЕН МИР, мне казалось достойным и возвышенным. Еще в школе № 321 учитель астрономии Леонид Петрович Никитин цитировал: Πλατο ηλεγαζ τον θεον αει γεομετρειν, - и я тогда же выучил и написание и произношение и перевод этой философемы. Кстати, перевести ее почти невозможно. "Платон учил, что Бог был геометром", "Платон учил, что Бог геометризировал", "Платон учил, что Бог создавал Природу по законами геометрии" - равноправные варианты перевода. Именно из-за таких сложностей с переводом я считаю, что я никогда не читал Платона. Ведь моего знания древнегреческого не хватило, чтобы осилить Платона или

[276] Математика есть наука о ПРОСТЕЙШИХ отношениях и операциях, которые можно выразить, опираясь на ограниченную часть русского (или любого) языка, длиной не более сотни слов, т.е. меньшую часть русского языка, нежели было доступна Людоедке-Эллочке. Одно из ограничительных условий на математику состоит в требовании, чтобы эти операции и отношения были ВОСПРОИЗВОДИМЫМИ, т.е. не менялись бы (не меняли своего значения) при их повторении. Конечно, тот, кто хочет научиться разбираться в более сложных отношениях и операциях, должен овладеть предварительно математикой - для тренировки. Но останавливаться на ней...

Гомера, зубы я себе на них обломал. А переводы... "Переводчик философии не раб, а подражатель", - сказал бы Пушкин. Так что читал я не Платона, а несколько подражателей Платону. Говоря серьезно, только в трудах тартусской школы Лотмана я встречал серьезный лингвистико-философский анализ терминов, употребляемых в философии Платона, но тот анализ распространяется на два-три термина, а переводчики-дикари с подобными анализами не сверяются, шпарят по-дилетантски. Бедный-бедный мой учитель! Он позже попал под трамвай, ему отрезало обе ноги у самого основания бедер, и когда я в шестидесятые годы заявился к нему с визитом, он лежал на диване в единственной в семье комнате, а дочка его с ненавистью смотрела и на него, зажившегося, отнимающего у ее детей и мужа и площадь и внимание, и на меня, бесцельно ходящего разговаривать о Фламмарионе с этим обрубком...

Так вот, геометрия лежит в основе устройства нашего мира - в это я веровал. И я уже знал, что "псевдоэвклидова геометрия" - это мир специальной теории относительности, это Минковский установил, еще когда мой отец под стол пешком ходил. Я обнаружил, что "полуэвклидова геометрия" - это мир классической ньютоновой и галилеевой физики. Сей факт гораздо менее общеизвестен, но и до меня его в той или иной форме обнаруживали, и после меня итальянец К.Каттанео составил себе всемирную славу пропечатыванием именно этого обстоятельства. Но библиографию вопроса я изучил позже, главным образом во Владимирской тюрьме, а тогда я воображал, будто тут я - первооткрыватель. Однако если к этим двум названным геометриям добавить еще школьную эвклидову геометрию, то будет всего три, а как же быть с остальными, чтобы в сумме вышло девять? Из этих дополнительных до девяти две тоже были ранее известны: если аксиомы насчет перпендикуляров спаривать с ПЕРВОЙ аксиомой насчет пучка прямых, то родятся известная геометрия Лобачевского и сферическая геометрия, что реализуется на поверхности глобуса. Три плюс две еще не равно девяти. Что же за четыре геометрии остаются? Имеют ли они отношение к устройству мира? Конкуренты ли они специальной теории относительности, или их области действия не пересекаются?

Оказалось, что эти четыре геометрии суть учение о космологии[277]. Мир может быть устроен так, что в нем царит закон тяготения, тогда его надо описывать геометриями, в которых перпендикуляры сближаются.

В мире может господствовать закон отталкивания - тогда к нашим услугам геометрии с разбегающимися перпендикулярами. Такая альтернатива в КЛАССИЧЕСКОЙ физике - вот две геометрии, она же в ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ - еще исчерпываются две геометрии. Итого все четыре геометрии нашли свои места, пристроены. Не конкуренция с теорией относительности, а расширение теории. Принцип перманентности соблюден. От специальной теории относительности - к космологии.

---

[277] При понимании "физического смысла" геометрий мне здорово пригодилось вдолбленное в меня Шаниным - Марковым учение о формальном языке и о его интерпретации. Геометрия - формальная модель, космология - ее интерпретация при заданном словаре перевода.

Боже, да что же у меня получилось?! Я вышел сразу на космологию, минуя громоздкую и утомительную "общую теории относительности"! И Эйнштейн и все другие релятивисты, до меня и после меня затрачивают много "световых лет" в "анабиозе" тензорного исчисления, принципа эквивалентности, уравнений поля, подбора тензора вещества, решения дифференциальных уравнений, чтобы "долететь до космологии". Я же указал "нуль-транспортировку", с помощью которой можно назавтра очутиться в дециттеровом и антидециттеровом раю. Можно обсуждать все основные проблемы астрономической космологии без вакханалии индексов и без форм кривизны. По простоте доказательств мой подход доступен школьнику - и это я неоднократно проверял, пока меня пускали читать лекции школьникам.

Восторг открытия переполнял меня. И тут мне еще раз повезло: я нашел благодатных слушателей. Первым оказался Валерий Сухов, который, будучи астрономом, сразу усвоил сравнение с меридианами, перпендикулярными экватору, и благодаря этому постиг самую суть. Прошло еще несколько недель, и мы договорились, что еженедельно в одной из пустующих аудиторий матмеха мы станем собираться и я буду читать им курс космометрии. Начали 24 апреля. Курс оказался из десяти лекций. Слушали Заславский, Нагорный, Орловский, Сухов, Этин, иногда Фролов, иногда бывали какие-то девушки. Ю.И.Волков не мог выбираться на лекции, я ему отдельно пересказывал. Еще я излагал результаты в письмах Саше Суслову, который тогда вместе с Любарским работал в Секторе астроботаники у Тихого. Само по себе проговаривание формулировок вслух существенно улучшило мои теоремы и их доказательства. Я и готовился к лекциям очень добросовестно, писал их до занятий, а затем переписывал с учетом восприятия.

Поэтому у меня получился неплохой текст, который мы решили микрофильмировать и вручить каждому слушателю копию микрофильма. Вот предисловие к микрофильму:

"Вот микрофильм "Космометрии", иначе, "Начала геометрии, включая космологию sive Einsteinus ab omni naevo formulaeque vindicatus или же, совсем скромно Аксиоматическое изучение пространственно-временных структур"....

По причинам технического и финансового порядка я не смог обеспечить цветных чертежей, хотя в оригинале они существенно многоцветны (световые изображаются красными, пространственные - синими, а временные - черными линиями). По причинам общего стечения обстоятельств "Космометрия" выпускается неотредактированной, в том виде, какой она имела на 14.07.55 - последний день старой политики "Клуба им.Эйнштейна".

Я безмерно благодарен всем слушателям моих лекций. Редко кому выпадало на долю такое счастье: излагать "плоды своих мечтаний и поэтических затей" сразу достойной и восприимчивой аудитории. Я работал над космометрией не в одиночку, а вместе с вами; вы - соавторы этой книги. Ты, Валерий, которому я первому рассказывал о чудесах Космоса; ты, Николай, без чьей пылкой и быстрой реакции никогда не оформилась бы идея издания этого труда; ты, Игорь, помогший мне советами, и ты, Эрнст, уточнявший

взлет моей фантазии придирчивой логической критикой - я всегда останусь благодарным всем вам вместе и каждому в отдельности.

Я благодарю и тебя, Юрий, за то, что ты был мне спутником в мрачные годы - что бы тобой ни руководило - ведь "Клуб им.Эйншейтна" начался 14.03.54 нами с тобой...

"Не тот творец, кто создал, а тот, кто велел создать". Поэтому творец этого труда не я, а Вы, Александр Данилович. В мрачные для меня дни декабря 1953, когда я не видел себе пути, Вы предложили мне заняться аксиоматикой частной теории относительности. Из этого родилась космометрия.

Primo motore...

Но больше всех я благодарен своей судьбе. Она верно служит мне. Нет в моем прошлом дня, которого я теперь бы не хотел бы. Пусть и впредь судьба моя идет моим путем.

26.02.56
Вольнороссийск
Revolte"

Дата 14 марта 1954 - это дата, когда мы с Этиным отправили поздравительную телеграмму Эйнштейну. Ему исполнялось 75 лет, у нас все молчали о его юбилее, а еще год назад Эйнштейна поносили совместно с Нильсом Бором на страницах "Правды". И мы дерзко послали международную телеграмму в Принстон с поздравлением. Поискали было по матмеху, кто еще захотел бы подписаться, но все встреченные шарахались в ужасе, хотя позже иные нас укоряли, что мы им не предложили подписаться. Акция с телеграммой была предпоследней моей с Этиным совместной акцией: последней было совместно с Нагорным сожжение "Краткого курса" в конце июня 1954 года, после получения дипломов всеми нами троими. С трех концов подпалили его и на весу сожгли, попивая вино. А уж в конце 1954 года я, придравшись к тому, что Этин заявился ко мне домой незванный вместе с Галей Матвиевской, хамски выставил его, оставив ее, и контакты с ним оборвались, хотя вот на эти лекции он еще ходил, и на людях мы с ним вели себя, словно ничего не случилось.

Так как по закономерностям издательской политики в СССР это мое произведение осталось неопубликованным, сообщу его содержание:

"Предисловие 2
Введение. Основные идеи 4
Плоскости с особыми прямыми. Аксиоматика 16
Аксиомы эквидистантности. Волшебные сказки 37
Аксиомы эквидистантности. Строгое изложение 47
Метрические соотношения 62
Стереометрия 78
Тотальные свойства плоскости - Вселенная в целом 80
Принцип двойственности 92
Основы дифференциальной геометрии 106
Физические истолкования 116
Космометрия и современная физика 125
Введение 125
Милн 131

Лемэтр 164
Эддингтон 180
Робб 190
Ценность космометрии 197”

Не только своим друзьям-приятелям излагал я свои результаты. Когда я ощутил, что это НАСТОЯЩАЯ ГЕОМЕТРИЯ, я позвонил Данилычу и, получив приглашение, пришел к нему домой и рассказал основные результаты; при этом случился Бакельман и приехавший из Харькова А.В.Погорелов. Они с заметным интересом выслушали, Данилыч поставил мое сообщение докладом на геометрическом семинаре, и я сделал доклад, хотя с большой неохотой. Я еще не простил им моего изгнания два года назад с семинара[278]. И, конечно, тех строк, которые я посвящаю Александрову в процитированном Предисловии, ему я не открывал, а, напротив, язвил и грубил ему. В частности, в присутствии Бакельмана я ему напомнил, как он говорил осенью 1951 года "конечно, отвратительно, что преследуют евреев, но что же делать, раз они за этой приезжавшей из Израиля мадам хвостом по всей Москве бегали. Значит, в решительную минуту они изменить могут". Дорого бы я дал за умение изобразить физиономию Данилыча, когда он это услышал за своим обеденным столом! Именно чтобы изгладить впечатление, он и стал расписывать, какие хорошие либеральные мероприятия предпринимает сейчас правительство, о чем я упоминал в гл.1. С Залгаллером, который ведал организационной стороной семинара, я старался не разговаривать, а с Заморзаевым так даже и до сих пор не разговариваю, руки ему не подаю и смотрю сквозь него, как он ни заискивает.

На это заседание семинара - собственно, их получилось два - пришли еще Шанин и Марков, тогда обосновавшиеся в ЛОМИ, где и происходили заседания. Были и другие "не-александровцы", так что мне легче было себя чувствовать. Доклад прошел блестяще. Ни одной не то что ошибки, ни одной неточности никто не мог указать. Новизна и элегантность результатов были неоспоримы. Я прочно занял место среди "великих" этого семинара. Совершенно неожиданно для меня особый интерес к моим результатам проявил Андрей Андреевич. Собственно, не ко всем, а к одному конкретному следствию. Именно, его заинтересовало и показалось ПРИНЦИПИАЛЬНО важным то обстоятельство, что в геометрии, наиболее согласующейся с астрономическими наблюдениями - в мире де Ситтера, в котором имеет место систематическое красное смещение спектра, неизбежно должны существовать области, о которых мы никогда не получим никакой информации. Эти области, удаленные от нас на четверть радиуса кривизны, могут подвергнуться нашему воздействию, например, мы можем забросить туда ракету или послать радиосигнал. Но ответа на нашу радиограмму, но доклада о том, что увидела или наделала там ракета, мы никогда не получим: в силу природного разбегания мира на таком расстоянии разбегание берет верх даже над скоростью света, и никакие сигналы оттуда до нас не дойдут[279]. Так как Марков

[278] Я не повторяю здесь событий, описанных в гл.1.

[279] Это похоже на то, что бывает в "черных дырах", но не то. Хотя бы потому, что с точки зрения любого внешнего наблюдателя достичь черной дыры можно только за

занимался свыше десяти лет задачей об алгорифмической разрешимости, то ему почудилась близость моего результата о недосягаемости, неописуемости - с неразрешимостью.

Проблема неразрешимости и ее точное отрицательное решение занимали не одно десятилетие умы многих математиков, не одного Маркова. Мне эта задача всегда казалась избыточной: после кантовских антиномий, да даже после формулировки средневековой задачи.

- Может ли всемогущий Бог создать камень, поднять который он не может? - Мне представляется окончательно доказанным, что Разум ИМЕЕТ пределы, их же не прейдешь. Но некоторые математики надеялись, что ограниченность Разума относится только к НЕТОЧНО СФОРМУЛИРОВАННЫМ задачам, к задачам, где присутствует БЕСКОНЕЧНОСТЬ, или еще к каким-нибудь задачам, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗГНАТЬ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ МАТЕМАТИКИ. Создавая алгорифмическую математику, надеялись, что на алгорифмически точно задаваемый вопрос всегда в принципе можно найти алгорифмический же ответ. Но, увы, оказалось, что не так: даже простейшая на вид задача о тождестве слов в алфавите неразрешима, коль скоро в алфавите больше четырех букв. Увы дважды: не Марков первый получил решение задачи разрешимости. Именно тогда были только что опубликованы первые доказательства неразрешимости, и посыпались следствия из них, так что интерес и внимание Маркова к этой тематике еще был очень высок. Вот он и спутал геометрическую недосягаемость с алгорифмической неразрешимостью. И к счастью для меня спутал: он не утратил интереса к моей личности и через семь лет стал одним из самых важных колес в механизме моего освобождения из тюрьмы.

Получив такие результаты и такое признание - Фролов организовал мне рекламу у К.Ф.Огородникова, в результате чего я делал доклад на семинаре Огородникова, а это в свою очередь привело к знакомству с Фадиным[280] и сделало мое имя известным и интересным для А.Л.Зельманова. Так я вернулся к математическим занятиям. Впрочем, тоже не сразу, и уж конечно не исключительно с ним. Но прежде задержусь на некоторых комментариях к вышецитированному предисловию. Аксиоматикой я занимался и при обработке курса Александрова "Основания геометрии", и потом при штудировании Кагана, и при написании дипломной "Аксиоматика движения фигуры в эвклидовом пространстве". Поэтому естественно, что Данилыч, прикидывая, что могло бы быть и ему полезно и мне интересно, сказал в конце 1953 года, когда я ходил к нему с заявлением о восстановлении в университете, что желательно

бесконечное время, а тут "область, из которой сигналы не доходят", достигается за конечное время по часам любого внешнего наблюдателя. Эта область НИЧЕМ сама по себе не отличается от любой другой области пространства-времени, тогда как черная дыра отличается от остального пространства своей массой (кривизной). Впрочем, о черных дырах тогда еще не писали, и Марков про них не знал.

[280] Кажется, через Фадина, как прежде сидевшего и недавно реабилитированного (чего я тогда совсем не знал), слух обо мне дошел до тоже недавно реабилитированного Козырева. Позже очень многие энтузиастические поклонники Козырева путали меня с ним. Объявляю, что никакого отношения мои исследования к его "теории" не имеют. Я с ним лично не знаком. Знаком лишь с некоторыми его трудами, на которые я писал отрицательную рецензию в 1966 году для кого-то из Пулково.

разработать аксиоматику теории относительности. Я тогда же прикинул одну из возможных таких аксиоматик, даже вчерне записал ее, но мне она показалась тривиальной сама по себе, и я оставил это занятие. Правда, поскольку я всегда смотрю шире того предмета, которым интересуюсь, я сразу увидел, что намечающаяся аксиоматика вроде бы включает в себя возможность описать не только теорию относительности, но и классическое пространство-время. Для Данилыча же, наоборот, такое устройство аксиоматики было бы скорее ее недостатком: я хотел обозреть широкий спектр возможностей для устройства нашего мира, а ему мечталось найти "единственно удачную" аксиоматику, описавшую бы мир "в точности как он есть на самом деле". И, уже бросая эти занятия, я тогда же в конце 1953 года увидел, что классическое пространство-время прекрасно описывается в единой схеме дуальными числами, т.е. такими, которые не равны нулю, но квадрат которых равен нулю. Эти же числа позволили единообразно и аналитически удобно задать "сэнусы", о которых я писал в §3: ввести их разложением в ряд, но аргумент числить то вещественным, то дуальным, то чисто мнимым. Я заинтересовался, попробовал по аналогии с функциями комплексной переменной развить теорию функций дуальной переменной, нашел интересные "конформные" преобразования в галилеевой плоскости, но это мое продвижение было остановлено Д.К.Фаддеевым; когда я явился к нему как к декану с заявлением о восстановлении, я поговорил и об этих числах, которые, по моему мнению, должны были заинтересовать алгебраиста. Он же сказал скептически:

- Да, у этих чисел есть ряд занимательных свойств, но никакой глубокой теории над ними развить нельзя, потому что их носитель, т.е. область, где их модуль равен единице, не компактен.

Она - т.е. сфера в галилеевом мире - была-таки некомпактна, черт ее побери! Фаддеев был прав. Но и я был дураком, поверив ему: тем не менее МОЖНО найти обходные пути, позволяющие построить такую теорию, да и вообще эти числа, особенно их интерпретация, куда как полезнее, нежели заставил меня думать Фаддеев. Позже Ф.М.Дименберг и Ф.Л.Литвин недаром обращались ко мне за консультациями по поводу этих чисел - их публикации на них и держатся. Да и мой сыктывкарский ученик сделал свою кандидатскую диссертацию исключительно на анализе (довольно однобоком) свойств дуальных чисел. А мои идеи об их физической интерпретации, хоть и прозвучали конспективно в одном моем сообщении, но до сих по сути лежат втуне, ждут того, кто ими займется.

Еще весной 1954 года я выпросил доступ к зарубежным юбилейным физическим журналам 1949 года, целиком посвященным Эйнштейну и его достижениям. Очень полезно читать статьи, написанные корифеями, - все сразу ставится на свои места. Тогда же мы с Рохлиным затеяли переводить статьи Филиппа Франка по философии теории относительности и вообще физики. Впрочем, это и последующее размножение этих переводов относилось уже не к математической, а культуртрегерской, самиздатской деятельности нас троих (плюс Заславский). Вот, пожалуй, и все, что я делал по математике-физике до Кавказа. Эти занятия подготовили меня к

восприятию "откровения в бане". Но почти год я на эти темы даже не думал.

Итак, с весны 1955 года я стал много марать бумаги и изводить мелу на математику. Работать я продолжал в Библиотеке АН, а там грянули одни за другим конфликты с администрацией. Первый разрешился довольно быстро и просто. Суть его видна из следующего отрывка из заявления:

"... С 1 марта новые расценки и нормы поставили нас в следующее положение.

Картописатель-инвентаризатор должен обработать в день 80 книг: написать на них карточку, внести в инвентарную книгу, проставить на них номер и расставить книги на стеллажи. В среднем на обработку иностранной книги отводится 6 минут. При этом совершенно не учитывается, что в тех книгохранилищах, где работаем мы, многие десятки тысяч книг большого формата, весом 5-10 кг, не умещающиеся подчас на столе; что в одном переплете (особенно в периодических изданиях) может содержаться много подразделений, которые все надо отразить, а для этого приходится листать книгу, отыскивая порой по самым незначительным признакам требуемые "издательские единицы"; что книги идут порой на очень трудных и редких языках; что в инвентарь книгу приходится вносить с учетом места и вида издания (существуют разные типы инвентарных книг: иностранный, для русских изданий на иностранных языках, для периодики и т.п.), а для выяснения того: принадлежал данный город России в таком-то году? или: периодика это или монография? - иногда приходится делать справки, отнимающие много времени; что невозможно одновременно заносить книгу на карточку и в инвентарь, т.к. до занесения в инвентарь карточка должна быть проверена редактором; что для правильной записи книг часто приходится делать справки в каталоге, которые зачастую не дают никакого ответа (часами приходится разыскивать книгу, зашифрованную по системе Бэра, когда на обработку ее отводится 6 минут). Но, допустим даже, что трое картописателей случайно выполнили свои нормы. Как может помощник библиотекаря поднести, проштемпелевать и наклеить шифр на 240 книг? Когда здоровый юноша с трудом поднимает две книги? Когда в одной книге содержатся десятки отдельных иллюстраций, требующих штампа? Кто будет оценивать книгу, если инструкцией оценка не предусмотрена? И, наконец, как может редактор проверить 240 карточек в день? (...)

Инструкция совершенно не отражает различия в обработке книг современных, нормальных форматов и старых, больших размеров или трудно раскрывающихся или на редких языках с причудливыми буквами титульных листов. Инструкция составлялась не для уникальных фондов БАН, а для массовых библиотек, поэтому применение ее к нашей работе повлечет как ухудшение качества обработки, так и значительное ухудшение нашего материального положения: нормы нереальны. (...)"

Едва ознакомившись с этим плодом моего пера, администрация, которая не сама придумала эту кретинскую инструкцию, а лишь была вынуждена вводить в действие задумки

кретинов из Москвы, тут же пошла нам навстречу. Выход был вполне традиционным: велено было производить ПРИПИСКИ. Не бог весть какие существенные приписки - в результате не изменилось ни общее число книг, числящихся на балансе БАН, ни другие серьезные научные или статистические показатели. Нам велели приписывать фиктивно "сверку на дублетность", с тем, чтобы наш заработок не уменьшился. Добросовестность наша была очевидна, так что опасности злоупотребления "сверкой на дублетность" не возникало. Я, будучи старшим редактором и бригадиром группы в четыре человека (Лена Ленц, Юдифь Половцева и Нина с утраченной фамилией, плюс один подносчик-мальчик; потом еще появился оценщик - жоха и знающий человек), регулярно в сводках приписывал всем эту фиктивную сверку.

Второй конфликт был затяжным и гораздо посерьезнее. Корни его в том же идиотизме московских чиновников и в перестраховке местного начальства. До марта 1955 года все временные работники, принятые на инвентаризацию, числились библиотечными работниками, что, в частности, означало: все получали отпуск 24 рабочих дня, а те, кто имел библиотечную квалификацию, сохраняли стаж непрерывной библиотечной работы, что по тогдашним пенсионным законам было существенно. Но телефонный разговор между дирекцией БАН и финансовым отделом Президиума АН вылился в окрик:

- Что вы там ВРЕМЕННЫХ работников держите на правах библиотекарей?! Никакие на них льготы не распространяются! Отпуск давать 12 дней, никакого стажа, а то с вас и вычтем перерасход!

Так трудовые соглашения с нами, временными работниками, переписывались по трафарету каждые два месяца[281], то при очередном переписывании нам всем подменили название должности - вместо "ст.библиотекарь" вписали "бригадир-инвентаризатор" и т.п. - и, привыкшие при подписании документа советские люди лишь осведомляться, в какой графе расписаться, мы и не заметили подмены. Только летом, когда некоторые пошли было в отпуск, вскрылась истина, и на собрании начальство вслух наконец сказало о произведенном изменении. Поднялась буча, шум. Имея богатый опыт руководства коллективными действиями, я вмешался и тут. Но, учитывая рассказанное в конце §5, начал я с того, что меня на собрании, в присутствии администрации и партпрофначальства сотрудники ВЫБРАЛИ в комиссию из трех лиц. И наша комиссия - Басина, Иванова и Пименов - занялась отстаиванием прав. Регулярно мы проводили собрания по магазинам (так принято именовать отсеки в хранении), чаще всего объединяясь по два магазина, смежные территориально, работающих там групп инвентаризаторов. На собраниях члены комиссии отчитывались, составлялся протокол одобрения их деятельности и выдавался мандат на продолжение оной. Опять же, глядя на кривую физиономию партбюро, которому не по сердцу была такая и никакая вообще самодеятельность, мы изображали всю позицию таким образом: мы, мол, понимаем, что администрация против нас ничего не имеет, но мы понимаем также, что самой администрации неудобно вступать в конфликт с

[281] Что, как потом выяснилось, было нарушением: следовало заключить ОДИН ДОГОВОР на ВЕСЬ СРОК работы.

финансовым отделом. Поэтому мы лишь ПОМОГАЕМ администрации, выступая номинальными борцами, но никакими советами и ц/у администрации мы пренебрегать не будем. Худо-плохо начальство стерпело нашу деятельность и даже нашу победу. В известном смысле секретарь партбюро Смолин обставил меня: когда наша победа сделалась неизбежной, он изобразил кипучую активность, стал во главе борьбы и создал у мало осведомленных лиц иллюзию будто бы все успехи достигнуты благодаря его вмешательству и руководству. Мне же в характеристику, когда я увольнялся, начальство не вписало ни слов "дисциплинирован" ни "вел общественную работу". Ибо термин ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА в нашей стране совершенно изменил свое буквальное содержание. Сейчас "общественной" работой называется бесплатная или косвенно оплачиваемая (например, отгулами) работа по указанию своего же непосредственного начальства. Истинно же ОБЩЕСТВЕННАЯ деятельность считается антиобщественной либо - в лучшем случае - не замечается. Так посредством терминологии начальство сумело отождествить себя с обществом. Да, так вот, в результате этой моей общественной деятельности начальство не предложило мне остаться на постоянной работе в БАН, когда кончилась инвентаризация. И - на расстоянии видно - этим спаслась моя судьба. Останься я там работать - не было бы того, что описано в гл.1. Приложу хронологию борьбы:

"17 января 1955 было собрание. Директор Г.А.Чеботарев и др. говорили, что отпуск будет 24 дня, что библиотечный стаж сохраняется.

3 марта было собрание, на котором сообщили о введении новых расценок, и структуры бригад. Об отпусках и о стаже ни слова.

Около 10 марта телефонный разговор зав.отделом иностранного хранения И.С.Смирнова[282] с финансовым отделом Президиума АН.

14 марта приказ № 40 об отмене званий. Именовать всех равно библиотекарями-инвентаризаторами. Приказ не зачитывался и не вывешивался.

17 марта и позже подписаны новые трудовые соглашения, где уже стоит "инвентаризатор". Датированы 5 марта.

Май. Смирнов разговаривал с кем-то в ЦК Профсоюза Культуры. Те разъяснили ему, что из "инвентаризатор" вытекает 12 дней отпуска. Он рекомендовал дирекции и месткому послать запрос.

---

[282] Сей Смирнов всю свою жизнь работал в МВД или МГБ, но когда в 1953/54 эти ведомства начали сокращать, его оттуда уволили. Приискали работу заведовать Иностранным отделом хранения БАН, и он прославился с самого начала, устроив выволочку одной сотруднице за то, что она пыталась его обмануть, будто бы существует буква "Q". Та в слезах ходила по магазинам, истерзалась: как убедить Смирнова, что буква "Q" на самом деле имеется в некоторых алфавитах? Я принимал участие в поисках наиболее красивого и крупного начертания буквы "ку" в самых авторитетных источниках. В конце концов его убедили, но и тут она вышла виноватой: "Что же это она не могла мне объяснить сама?" Смирнов надолго осел в БАНе, до семидесятых годов. Такая у нас кадровая политика - человека, не знающего латинского алфавита направлять заведовать иностранным отделом Библиотеки Академии наук. Вот была бы Смирнову лафа нынче, когда все путают q и g.

Июнь. Запрос дирекции в ЦК ПСК.

23 июня. Совещание бригадиров, на котором Смирнов впервые сказал о сокращенном отпуске и о стаже.

24 июня. Партсобрание, на котором было сказано, со ссылкой на Обком Профсоюза, прямо противоположное.

29 июня. Ответ ЦК ПСК: "Работники по трудовым соглашениям получают 12-дневный отпуск"

11 июля. Служебная записка инспектора по труду Панасевича:

"Надо исходить из фактически выполняемой работы".

Телефонный разговор месткома с обкомом союза, в котором последний отказался от своих слов и признал правильной бумагу из ЦК ПСК.

13 июля. Официальный запрос месткома в Обком Профсоюза, на который ответа не последовало.

23 июля. Общее собрание инвентаризаторов, на котором и.о. предместкома т.Луппов впервые официально информировал всех о состоянии вопроса с отпусками. На собрании избрана комиссия, которой поручено заняться этим вопросом: Иванова, Пименов, Басина - избраны единогласно.

25 июля. зам.директора В.Ф.Экономов отказался подтвердить, что работа инвентаризатора соответствует работе библиотекарей.

29 июля подано заявление в Расценочно-конфликтную Комиссию.

30 июля. Инспектор Обкома Федоров счел, что заявление вне компетенции РКК.

1 августа. Заявление взято для обсуждения. Кузин сказал о недовольстве в обкоме союза тем, что продолжаются споры.

4 августа. Заявление подано без перемен.

5 августа. Заседание РКК. Разговор с Экономовым после работы.

6 августа. Проект протокола отвергается секретарем партбюро Смолиным и комиссией. Кузин слагает полномочия и уезжает в колхоз.

8 августа. Экономов рычит на Пименова. Комиссия обсуждает проект Ивановой. У юриста.

10 августа. Комиссия у Смолина. Вопрос о собрании. Письмо готово.

11 августа. Скрипкина, бухгалтер, комиссия у Смолина.

12 августа. Экономов, Скрипкина, комиссия у Смолина. Письмо Пименова и Басиной отослано.

18 августа. Смолин говорит с Колотовой; Басина и Иванова говорят с Колотовой.

19 августа. Пименов говорит со Смолиным.

20 августа. Панасевич отослала письмо в ЦК ПСК. Иванова и Панасевич.

23 августа. Разговор со Смолиным. Скрипкина. В тот же день - Смолин.

24 августа. "Подождем неделю".

1 сентября. Иванова и Пименов у Смолина. "Поговорить с Чеботаревым". ЦК ПСК запрашивало номер своего ответа.

7 сентября. Иванова и Басина у Крюковой.

8 сентября. Иванова и Пименов у И.Ф.Григорьевой и Луппова, у Крюковой. План поездки в Москву. Подписать дирекцию.

12 сентября. Григорьева не едет в Москву. Телефонные разговоры.

16 сентября. Освещение.

19 сентября. Письмо послано!

21 сентября. Басина и Экономов, Экономов и Григореьва, Григорьева и Пименов и Панасевич. "Удовлетворить по всем пунктам".

27 сентября. Пришел ответ. У Экономова. У Григорьевой дважды.

28 сентября. Григорьева рассказывает о заседании дирекции накануне. Планы.

30 сентября. Бухгалтер звонил. У Григорьевой и Кривенко.

3 октября. Неудачный поход в дирекцию.

4 октября. Григорьева рассказывает о своем письме в ОК (ЦК). Басина и Пименов у Смолина.

5 октября. У Чеботарева: Григорьева, Пименов, Басина, Иванова + Экономов.

11 октября. Телефонный разговор бухгалтера с ЦК.

14 октября. Пименов, Басина и Иванова у Григорьевой.

15 октября. Второй телефонный разговор.

17 октября. Пименов у Григорьевой; Пименов и Иванова у Григорьевой и Чеботарева.

18 октября. Гинзбург у главбуха. Григорьева в Обкоме союза. "Буду платить". Пименов и Иванова у Григорьевой и Чеботарева.

21 октября. Иванова у Григорьевой. Пропавший приказ. Иванова у Чеботарева. Иванова у Смолина.

22 октября. Иванова, Басина, Каюрова у Смолина, пришел Экономов. Пименов у Григорьевой, опять Экономов. Разговор с Белицким.

24 октября. Бухгалтер сдался. Пименов и Иванова у Смолина, в отделе кадров, у Григорьевой. О собрании.

27 октября. Люде Фунт дали трудовую книжку.”

Уже с сентября 1955 года я по совместительству работал на почасовой оплате в Технологическом институте пищевой промышленности, где Анри Перельман нашел для меня местечко. Часов было немного, денег это давало мало, но симптоматично как возвращение к математике как к источнику существования, вопреки всем прежним решениям. Когда в декабре инвентаризация завершалась, я "по концу договора" был уволен из БАН, но наличие этой почасовой работы помешало матери вновь возобновить разговоры о моем "тунеядстве". В штат в этом ЛТИПП меня зачислили только осенью 1956 года, тогда нагрузки поприбавилось.

Одновременно я возобновил хождение на семинар Данилыча. Правда, когда зимой 1955/56 собирались заявки на намечавшийся III Математический съезд и Залгаллер предложил мне вместе со всеми включить свой доклад, я, от отвращения к нему, отказался. Только позже, поддавшись уговорам Заславского и Орловского, я послал свою заявку, но ОТДЕЛЬНО, самотеком, безо всякой связи с ЭТИМ семинаром. Поэтому мой доклад состоялся не в той секции, в какой докладывались ученики Александрова. Опять же это расширило круг моих знакомств: при моем докладе присутствовал или даже председательствовал Г.А.Розенфельд, который ни за что не пошел бы

на то заседание, где выступают ученики Александрова. И Розенфельд не то чтобы запомнил меня, но чем-то я ему стал знаком. Кажется, там был и И.М.Яглом.

Космология и привлекла, и отпугивала. Помню, я ездил на дачу к М.М.Гельфанду, потом был у А.А.Ляпунова. Они все хотели, чтобы я опубликовался, но сомневались, пропустят ли мои космологические выводы, которые не то чтобы били по марксизму, но просто отстраняли его домыслы. Помню, что Ляпунов, услыхал от меня про "Клуб им. Эйнштейна", настойчиво советовал быть осторожнее, что, дескать, в Московском университете тогда возникла самодеятельная то ли математическая, то ли физическая студенческая организация, некоторых арестовали и даже у профессоров были неприятности. К сожалению, ни подробностей, ни даже сколько-нибудь точных дат он не сообщил. Я почувствовал из этих контактов, что мне для публикации полезно остепениться, подал документы в аспирантуру ЛГУ под Александровым. Вроде бы намечалась банальная математическая карьера.

Как курьез, расскажу, что где-то в районе XX съезда Фельдман познакомил меня с отставным адмиралом, который, пока политика партии того требовала, громил теорию относительности[283], а сейчас пожелал выучить теорию относительности и космологию от самого компетентного лица. Он очень щедро платил и давал мне читать любопытные книженции по истории военного флота. Я преподавал ему до осени 1956 года, когда он скончался. Фамилия и адрес его - в той записной книжке, что изъята при аресте.

[283] Напомню, что в январе 1953 году поносные статьи против теории относительности опубликованы в "Правде", "Красном флоте" и "Вопросах философии". До некоторой степени флот сохранил эту традицию, опубликовав в издательстве Морфлота брошюрку с "доказательством" великой теоремы Ферма около 1980 года. К сожалению, математические реферативные журналы не прореферировали ее. А в связи с нападками "Вопросов философии" на "теорию относительности" в 1952 году за нее заступился Александров. Увы, его попытка доказать, что эта теория вполне марксистская, оказалась неудачной и ненужной: и без таких жертв со стороны науки эта теория в ближайшие годы вышла из числа опальных.

§10. Дафнис и Хлоя[284]

[284] В тексте параграфа (объем 13 страниц) рассказывалось о взаимоотношениях Р.И.Пименова и И.С.Вербловской. Параграф изъят из текста по просьбе В.А.Пименовой. (изд.)

§11. Собирая мозаику воедино

О чем я не написал; о кажущемся разночинстве; разговор 1953, связывающий воедино 1943 и 1957; характер; о научном чтении

О многом я не написал. О том, как мы с Этиным открыли для себя хранилище библиотеки бывших Бестужевских курсов в астрономическом крыле матмеха. Да и о многих эпизодах из жизни библиотеки АН. О роли Володи Фролова в моей жизни в мрачные годы. О Гале Филановской, научившей меня гадать на картах, пока я часами в тоске ждал, не придет ли к ней в гости Леночка. О моих отношениях с военной кафедрой и о том, как Жора Антонюк попал под трамвай. О многолюдном сборище на квартире Вербловской в феврале 1956 года ради празднования юбилея Гамсуна. Об Анри Перельмане и Викторе Бурове. Об изучении "Нового учения о языке" Марра. О Тольке Лейне, с которым играл в шахматы на равных на первом курсе, и который стал позже чемпионом не только Карельской АССР, но чемпионом США или Канады. О строительстве Махалевской ГЭС в 1950 году и о Тасе Тушкиной. О слепых студентах на матмехе и о Шестакове и Зубове. О поездке по Волге в 1951 году. О Наташке Небольсиной. О моих отношениях с Нагорным. О сложной переплетенности моих отношений с матерью, которую я любил, но с которой совершенно не считался в "принципиальных вопросах". О студентке, которая с восьмого класса школы была завербована стукачкой, которой МГБ в 1950 году поручило следить за мной, и которая покаялась в 1968 году перед сокурсниками. Да и подробнее рассказать о сумасшедшем доме можно было бы, вспомнив и Володю Вислоцкого. Об увлечении филармонией и театром. О А.К.Суслове. О характере книг в моей библиотеке, число которых в 1951 году достигло 279, в 1954 стало 542, к середине 1956 доползло до 856, а к 1957 году перевалило за 1000, главным образом за счет наших с Ирой похождений по сундукам знакомых старушек. О том, какие произведения сочинил я, число коих достигло шести десятков, не считая названных в тексте гл.1-4 своими заголовками, а также не считая стихов и переводов и безвозвратно сгинувших в КГБ бумаг. О том, как мы штудировали Гегеля. О вхождении в мою жизнь кибернетики. О том, как Эрнст Орловский писал свою диссертацию. Об увлечении историей математики и Омаром Хайямом. О роли сборников "Новые идеи в математике" времен ее "серебряного века". О спецкурсе Борисова и о спецкурсе Боревича. О бурной переписке 1956 года. Если бы я повествовал о годах 1948-1956 с той же степенью подробности, с какой я описывал свое домагаданское детство в §2-3 гл.3, мои воспоминания разрослись бы вдесятеро толще, а начни я писать с конкретностью Марселя Пруста или Натали Саррот, я бы - но Господь не соблаговолил дать мне их мастерство в словах и наблюдениях, так что от сей опасности читатель избавлен.

Но сколько бы я не опустил и не упустил в этих воспоминаниях, я думаю, что я достаточно обрисовал то лицо, которое входило главным персонажем в "один политический процесс". И видно, что в §5 гл.1 я неправильно привлекаю цитату из О.Мандельштама. Там в связи с изложением эволюции моих взглядов я цитирую его слова:

"Разночинцу (...) достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, и биография готова."

Конечно, в 1956 году я еще не знал этих слов Мандельштама, а применил их к оценке своего рассказа в 1968, когда уже прочел и прозу его и, кажется, первую книгу Н.Я.Мандельштам. Во-вторых, из всего написанного в гл.2-4 нетрудно увидеть, что у меня нет никаких оснований именовать себя "разночинцем". У меня были предки, активно относившиеся к жизни и обществу, их поведение сказывалось в их потомстве. Более того, у меня БЫЛА биография, не сводимая к прочитанным книжкам! Была очень интенсивная жизнь, были собственные поступки. Никаким образом не подпадал я под эту формулу. Но формула применима не КО МНЕ, а к МОЕМУ РАССКАЗУ О СЕБЕ тогда, в ноябре 1956 года в Манежном переулке. Ведь не мог же я вывертывать перед той группой марксистов свои семейные переживания, вытаскивать "анархистское прошлое" моего отца, болтать о подписантски-организационном опыте. Рассказывать им о себе я мог только на "общепринятом и общепонятном" языке - каковым был язык прочитанных книг. При общении мы как бы ПРЕВРАЩАЛИСЬ В РАЗНОЧИНЦЕВ, не будучи ими на самом деле. И тут я прикоснулся к очень удручающему обстоятельству - таков стиль общения среди большей части свободомыслящих. Они говорят о книжках и программах, чужих или своих, прочитанных или дезидератах, но они редко включают себя в единый поток времени и в ряд своих предков, и еще реже обсуждают свои собственные прошлые поступки, героические или ошибочные. Я и сам знаю множество причин и оснований к тому, но последствия этого тормозят выработку социальной культуры, культуры социального диалога. Смутным намеком на весь запутанный узел этих проблем и было мое упоминание о разночинцах, хотя, может быть, точнее было бы говорить об инфантилизме. Но, конечно, неоправданной самонадеянностью с моей стороны было бы предполагать, будто бы найдется читатель, вникающий столь пристально.

Итак, не задаваясь целью восполнить в этом параграфе все, пропущенное в предыдущих, я расскажу один лишь эпизод, связавший мое магаданское прошлое с судом, т.е. §18 гл.1 и §4 гл.3. Шли мы светлой ленинградской ночью 30 апреля 1953 года с Этиным с Васильевского острова к себе на Загородный. Мы возвращались с групповой вечеринки по поводу Первого мая. Меня тогда уже исключили из университета, но это послужило лишь большим основанием для моих сокурсников настаивать, чтобы я пришел на нее, ибо они считали меня своим. И даже в альбом окончивших они включили меня - как бы в знак того, что считают мое исключение начальством незаконным и силы над ними не имеющим. Вечеринка происходила то ли у Соломяка, то ли в общежитии на 15 линии, не помню. Жили же мы с Этиным почти рядом: он у Пяти углов, я у Технологического. И дорогой он почему-то разошелся на тему об уничтожении евреев Гитлером. В определенном смысле она тогда становилась модной и была недавно разрешенной. Он ее разрабатывал приблизительно в таком ракурсе:

- Вот какие злодеяния вершились национал-социалистами, и от этой нечисти и людоедства спас мир именно Советский Союз, а ты в своих выходках и огульном отрицании этого недооцениваешь.

Говорил он хорошо, красиво - он ведь делил со мной звание "мастер художественной демагогии"[285] - и, так как он искренне был потрясен свежепрочитанными книгами, получалось у него образно и красочно. Я прямо-таки УВИДЕЛ, слушая его слова, как в набитых эшелонах иссохшие от голода и болезней люди свозятся к Освенциму, как оттуда обессилевшие ползут к своим печам.

- И вот даже в этих условиях находились смельчаки, которые сумели убежать из этого ада, которые подымали восстания и сражались, - продолжал он.

И по свойственной мне ассоциативности восприятия, я вспомнил ту картину в бухте Нагаево: людей, которых при меня связками поднимал подъемный кран и сносил с пристани на пароход. И я прервал Юрия:

- Того, о чем ты мне рассказываешь, я не видел. А вот это - видел своими глазами. - И я рассказал сцену в подробностях, а потом добавил: - И я не с теми, кто так грузит людей, а с теми, кого так грузят. Это я знаю.

Он растерянно пробормотал:

- Да, конечно, ты не видел... - И наш разговор переместился на другие темы.

В собственноручных показаниях июля 1957 года (см.§16 гл.1) я припомнил эту сцену в Магадане и эту "аннибалову клятву", разумеется, не вспоминая про Этина, и объединив таким образом размышления и позицию 1953 года с фактом 1943 года. В таком виде адвокат Райхман прочел показания и настойчиво использовал этот "соединенный эпизод" в своей речи в мою защиту. Да, по существу он был прав. Но я не хочу выглядеть умнее своих лет и способностей. В Магадане я не осознавал. А когда стал осознавать, то - по ассоциативной способности своего мышления - использовал ВЕСЬ свой опыт.

И вот в свои 25 лет я входил в 1956 - самый светлый за последние полвека или больше - год. Твердо знающий, в каком идти, в каком сражаться стане, но глубинно убежденный в обреченности моего дела. Прекрасно осведомленный во многих вопросах, о которых другие и подумать не успели, знающий неизмеримо больше почти каждого своего знакомого, но при этом порой фантастически слепой и дикарски невежественный в вещах, "о которых все знают". Имеющий довольно широкие знакомства, но не обладающий основательными связями в верхах управляющих слоев. В силу своей эрудиции идущий почти все время на шаг - хорошо, если только на шаг, а не на десяток шагов! - впереди своего окружения и все время страстно мечтающий идти вместе со всеми, вместе со всеми делать одно правильное дело. С каждым днем все более ощущающий, что возрастает число людей, думающих так же, как я. Внутренне нерешительный, ценящий себя до презрения низко и потому внимательно выслушивающий каждого, но из-за глухоты орущий на собеседника, что воспринимается как нетерпимость и категоричность. Имеющий опыт работы с людьми, лишенный иллюзий, но не идеалов. Самостоятельный. Абсолютно нетребовательный, умеющий спать на жестком ложе из камней, но

[285] В частности, он понимал, что говоря со МНОЙ, надо именовать их "национал-социалистами", а не "фашистами". Иначе все красноречие пропадет из-за ФАКТИЧЕСКОЙ неправильности.

не боящийся и богатого ложа. С крепким здоровьем - выносливое сердце, желудок, способный переваривать гвозди, не знающий никаких медикаментов, на котором все как на кошке зарастает само, одинаково хорошо чувствующий себя и в жару и в холод. Даже плохой слух и плохое зрение не сказываются на нем. Беззаветный и самопожертвенный, но не зазря, а на манер Гастелло, своей смертью смерть неся врагу. Ира Зубер характеризовала меня как туго сжатую пружину, начавшую распрямляться - она точно уловила мой динамизм. И при этом моя работоспособность, ясность видения и успех возрастали, когда мне одновременно, зараз предстояло решать сразу не одну, а две или лучше - пять трудных задач[286]. Чем больше трудностей, тем лучше отмобилизовывался мозг, дух, тем чище становилась душа. А сознание того, что я уже обеспечил себе бессмертие, создав "Космометрию", позволяло спокойно сжигать за собой мосты.

Однако именно спокойствия-то и не было, а была трепетность, порой доходившая до истерики. Себя самого приносил я в жертву и ближних своих вместе с собою. Эта жертвенность на манер жертвенности первых христиан, как нарисовано в одной из любимейших книг моего детства, юности, зрелых лет и старости - "Камо грядеши" - т.е. самопожертвование посредством ненасильственного сопротивлению злу, не исключала априори самопожертвования на манер другой любимой книги моего детства и юности - "Овода" - или по образцу реальных исторических лиц, с которых срисован Овод-Артур. Но по условиям места и времени деятельность последнего рода была невозможна[287], поэтому оставалось ненасильственное сопротивление глобальному злу с непременным финалом в виде терзающих тебя на арене Колизея хищных зверей, в виде сожжения тебя живым факелом на столбе для освещения пиршеств Нерона или - современнее - в виде броска под танк, переваливающий через Карпаты для подавления восстания в Будапеште, как я писал уже в конце §2 и в §12 гл.1[288].

Теперь следует перечитать гл.1, дабы с этим знанием персонажа обозреть его деятельность в том году, а затем мы естественно окажемся в камере № 203 внутренней тюрьмы УКГБ по ЛО, где с 26 марта 1957 по 4 мая 1958 года я и вспоминал свою жизнь, хотя кое в чем мои тогдашние оценки не совпадали ни с доарестными, ни с нынешними. В частности, это относится к "сознанию обреченности". После суда, описанного в §18 гл.1, я парил:

"И вижу я теперь, что я не одинок,
А это значит, что победа - нашей будет!
Пускай защитники старья меня осудят,
Мы - выдержим, какой бы нам ни дали срок,

---

[286] Я постарался передать эту особенность характера самой композицией §9, не разделив на разные параграфы "тематически разные" проявления активности.

[287] Позже, в 1961 году, И.В.Огурцов и М.Ю.Садо создали тайную организацию, программа которой предусматривала вооруженное сопротивление, но для распространения такой идеи в обществе нужны были репрессии, к которым правительство прибегнуло в 1957-1958 годах. А в 1956 году казалось, что находящиеся на самом верху власти лица вспомнили, с какими обещаниями народу они брали власть, метнулись загладить тот вред, который причинили они и их коллеги, устремились исполнять свои посулы сорокалетней давности.

[288] Именно такое бросание под танк назвали впоследствии приблатненные писатели вроде Ю.В.Трифонова "нетерпимостью". Бог им судья.

Чем больше - тем верней они себя погубят!"

Возвращаясь к сказанному о перечитывании гл.1, напомню, что именно таков основной принцип научного познания. Наука живет не сенсацией нового, ранее не известного, а постоянным возвращением к старому, давно известному, но осмысляемому каждый раз с учетом все большего объема информации и новых представлений о возможных связях между фактами. Я прекрасно понимаю, что найти такого читателя практически невозможно, именно поэтому повторно говорю - вдруг кто, листая с конца, открыл как раз на этой странице - что не надо меня читать. Тот, кто пишет кровью, хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть. Я ненавижу читающих бездельников. Лучше телевизор смотрите.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Р.И.Пименов. Ленинград, лето 1982 г. 3
2. Р.И.Пименов. Воркута, 1958 г. 7
3. Э.С.Орловский. Ленинград, сентябрь 1957 г. 21
4. Н.А.Шанин 30
5. И.Э.Зубер-Яникун. Ленинград, конец 1950-х. 32
6. Ирма Кудрова с дочкой Катей. Около 1960 г. 49
7. Я.С.Фельдман. Ленинград, 1948 г. 55
8. В.Л.Шейнис и А.К.Назимова. Ленинград, май 1957 г. 66
9. Борис Вайль сразу после выхода из лагеря и Игорь Адамацкий. Ленинград, начало октября 1965 г. 70
10. И.С.Вербловская в начале 1960-х. 115
11. В.А.Шрифтейлик. Петрозаводск, 1954 г. 117
12. Р.И.Пименов и И.Г.Щербаков. Кавказ, 1953 г. 118
13. Родственники Р.И.Пименова со стороны отца. Около 1907 г. 227
14. Мать И.Г.Щербакова - Прасковья Щербакова. Урюпинск, около 1910 г. 238
15. Семья Авсеневых. Новочеркасск, 1959 г. 246
16. И.Г.Щербаков с одноклассниками по гимназии. Урюпинск, около 1912 г. 248
17. Валентина Васильевна Пименова. 318
18. Сестры Пименовы. Болшево, 1962 г. 319
19. И.Г.Щербаков с Л.М.Пименовой. Новочеркасск, 20 октября 1929 г. 323
20. Р.И.Пименов на фоне дома деда. Ростов, 1935 г. 329
21. А.А.Небольсин, Е.М.Небольсина (Пименова) с дочерью Наташей. Около 1936 г. 353
22. И.Г.Щербаков и его родственники. Новочеркасск, 1939 г. 360
23. Р.И.Пименов и его родственники. Ленинград, около 1950 г. 431
24. Р.И.Пименов. Ленинград, около 1948 г. 451
25. М.З.Соломяк. Ленинград, 1948 г. 467
26. Ю.Б.Этин 468
27. Ф.П.Отрадных. Ленинград, 1948 г. 499

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН - Академия Наук
АРА (ARA)- Американская администрация помощи (American Relief Administration)
АССР - Автономная Советская Социалистическая Республика
БАН - Библиотека Академии Наук
БСЭ - Большая Советская Энциклопедия
ВАСХНИЛ - Всесоюзная Академия Сельскохозяйственных Наук имени В.И.Ленина
ВЭО - Ветеринарно-Эпизоотическое Общество
ВКП(б) - Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
Врио - Временно исполняющий обязанности
ВРК - Военно-революционный комитет
ВРУ - Вольно-Российский Университет
ВЦИК - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЧК - Всероссийская Чрезвычайная Комисссия
Вуз - высшее учебное заведение
ГАИ - Государственная автомобильная инспекция
ГБ - Государственная безопасность
ГПУ - Государственное политическое управление
ГУМ - Государственный универсальный магазин
ГУСДС - Главное управление строительства Дальнего Севера
ГЭС - Гидроэлектростанция
ДВИ - Донской ветеринарный институт
ДВКИК - Дальневосточный краевой исполнительный комитет
ДС - Дальстрой (управление НКВД по строительству Дальнего Севера)
ЗАГС - Отдел записи актов гражданского состяния
И.о. - Исполняющий обязанности
ИТЛ - Исправительно-трудовые лагеря
КГБ - Комитет государственной безопасности
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
ЛГУ - Ленинградский государственный университет
ЛИСИ - Ленинградский инженерно-строительный институт
ЛОМИ - Ленинградский оптико-механический институт
ЛОСХ - Ленинградское отделение Союза художников
ЛТИПП - Ленинградский технологический институт пищевой промышленности
МВД - Министерство внутренних дел
МВО - Министерство высшего образования
МГБ - Министерство государственной безопасности
МТС - Машинно-тракторная станция
МХАТ - Московский художественный академический театр
НОЧКА - Новочеркасская Чрезвычайная Комиссия
НЭП - Новая экономическая политика
ОГПУ - (см.ГПУ)
ОИК - Областной Исполнительный Комитет
ОНО - Отдел народного образования
Профком - профсоюзный комитет
ПСК - профсоюз работников культуры
ПСР - Партия социалистов-революционеров
РВС - Рев-Воен. Совет
РКК - Расценочно-конфликтная комиссия
РСДРП - Российская Социал-демократическая Рабочая Партия
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СМ - Совет министров

СНК - Совет народных комиссаров
СОАН - Сибирское отделение Академии наук
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
СТО - Совет труда и обороны
США (USA) - Соединеные Штаты Америки
УДП - усиленное детское питание
УК - Уголовный кодекс
УКГБЛО - Управление КГБ по Ленинградской области
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс
ФЗО - Фабрично-заводское обучение
ФРГ - Федеративная Республика Германия
ЦИК - Центральный исполнительный комитет
ЦК - Центральный комитет
ЦРУ (CIA) - Центральное разведывательное управление
ЦСБ - Центральное справочное бюро
ЧК - Чрезвычайная Комиссия

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов, 57
Авров, 42
Авсенев Ф.А., 243, 246, 267, 415, 416
Аджен А.Н., 176
Азеф Е.Ф., 25
Айхенвальд Ю.А., 60
Акмен А.И., 94, 148, 178
Аксаков К., 101
Аксенов В., 375
Аксенова-Гинзбург Е., 374
Альбрехт В., 97
Альпин, 393
Амальрик А., 460
Александров А.Д., 19, 20, 26, 30, 33-36, 46, 48, 50, 51, 56, 61-63, 86, 197, 206, 473-480, 482, 486-489, 491, 495-497, 500, 502, 516, 519, 523, 533, 537, 541, 542, 547, 548
Александров Г.Ф., 62, 504, 505
Александрова О., 500-502, 505
Александрович, 178, 212, 246, 310, 311
Алексеев, 78
Андреев А., 505
Андреев Л.Н., 54, 61
Андреев Ю., 165
Андропов Ю.В., 110
Анненков Ю., 303, 337
Анохин, 43
Антонов А., 239, 263
Антонюк Г., 469, 471, 503, 506, 550
Аракчеев А.А., 77
Арапова А.И., 98
Ардаматский, 291
Аржанков, 138, 139, 142, 145-147
Аристов, 316
Арнаутов, 253
Арнович С.Г., 106, 118, 119, 125, 128, 129
Арнольдов, 310, 314
Асеев Н.Н., 88, 292
Ахматова А.А., 81, 89, 90, 470
Ашметко В., 374

Бабич Е., 260
Багиров, 464
Бадарин Э.Г., 178
Бажан, 14
Бакельман, 474, 540
Бакулев А.Н., 15, 201
Бакунин М.А., 52, 140, 298, 301, 363, 413, 493
Балакин, 362
Баланев, 11
Балашов, 309, 310
Барамия, 206
Баранов М.Г., 445
Агекян Т.А., 489, 491
Адамацкий И.А., 70, 71, 79, 80, 82, 107, 112, 116, 134, 145, 157, 171, 181, 187, 188, 191, 220-222
Барнет Л., 62
Басина, 545
Баскин В., 53, 54, 443, 445
Белинский В.Г., 458
Белоземцева, 472
Белоногов, 102
Беляев Д., 95, 524
Берггольц О.Ф., 8, 16, 88, 385
Берзин Э.П., 374
Берия Л.П., 12, 19, 24, 25, 31, 63, 110, 164, 206, 214, 375, 377, 400, 401, 464, 512, 515, 523, 529
Берков В.П., 157, 518
Берлин, 360, 361
Берман, 291
Бернадский С., 159
Бернштам М.С., 5
Бетенин М., 282
Блок А.А., 52, 295
Блюхер, 352
Богачева (Владимирова) С., 51, 61, 473, 482, 488, 500, 506, 511
Богданов, 304
Богораз, 348
Богораз Л., 348
Бокельман И., 473
Боннэр Р.Г., 291
Бор Н., 540
Боревич, 550
Борисов В.Е., 5, 474
Борисов Л. (псевдоним), 69, 141
Борисов Ю.Ф., 486, 487, 550
Борисовский Е., 59, 444, 460
Борисов-Федоров Ю., 473
Боровской Ю., 473
Бош Е., 305
Бошьян, 53
Боян, 52
Боярчинов, 358
Брауде И.Д., 207
Браун А., 365
Брежнев Л.И., 369
Бруно Д., 453
Брюсов, 258
Быстров Н., 501, 506
Бубнов, 252
Бубулис А.К., 70, 71, 88, 89, 134, 148-150, 171, 178, 181, 190, 210, 211, 221, 222
Буденный С.М., 262, 265, 266, 282, 352, 353
Буйкис, 105
Буковский В.К., 48

Булгаков М., 10, 334
Булганин Н.А., 15, 19, 48, 201
Булавский В., 493
Буланов, 383
Булановский, 383
Бунин И.А., 52
Бухарин Н.И., 181, 300, 304, 358, 399
Буров В., 506, 550

Вайль Б.Б., 4, 8, 16, 18, 70, 71, 76, 77, 80, 82, 84, 85, 88, 93, 94, 99, 105- 112, 116, 125-127, 129, 132-135, 137, 143, 145, 148-152, 155-159, 166, 167, 181, 185, 187, 191-194, 202, 203, 208-212, 217-224, 315
Вагин О., 78
Валландер С.В., 56
Ванновский, 311, 313, 314
Варга, 50
Варенцова И., 506
Вацетис, 260
Венгоровский, 38
Венков Б.А., 466
Вербловская И.С., 4, 9, 10, 20, 23, 27, 33, 34, 48-50, 65, 77, 80, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97-99, 114-123, 125, 126, 128, 129, 132, 141, 143-147, 149-157, 159, 161, 163, 165, 166, 181, 182, 190, 194, 202, 212, 217, 218, 221, 223-226, 524, 534, 535, 550
Вербловский Ю.С., 149
Верхарн, 258
Веселовский С.Б., 231
Вилков П., 255
Вислоцкий В., 59, 550
Вишневский Вс., 15, 381
Вишняков В.И., 8, 16, 18, 70-73, 80-84, 88-90, 93, 107-109, 124, 132, 134, 145, 154, 157, 171, 181, 190, 203, 208, 211, 221, 222
Владимиров, 265
Власов, 434
Вознесенский Н.А., 57, 464, 523
Волков Д.М., 499
Волков Ю.И., 9-11, 25, 54, 86, 157, 160, 466, 474, 539
Волкова З., 11, 157
Волнухин, 102
Володарский, 96
Волохонский Л.Я., 334
Ворошилов К.Е., 12, 24, 274, 282, 352, 353, 374, 519, 529
Врангель П.Н., 261, 262, 275
Враская О.Б., 115, 128, 130
Выборнов, 262-264
Выборный, 267

Гавурин М.К., 486, 488
Гальперин Б.И., 48, 49, 78, 151-153, 156, 159-161, 179, 181, 194, 202, 220-222
Гамов Г.А., 98
Гамсун К., 471
Гапон Г.А., 21, 91, 137-139, 149, 166, 533
Гастев Ю.А., 8, 497
Гаусс К., 52
Гельман, 434
Гельмгольц Г., 114
Гельфанд М.М., 548
Гере Э., 12, 13
Герлин В.М., 60
Герцен А.И., 52, 60, 77, 243, 382, 413, 430, 435, 493
Гессе Н.В., 321
Гидони А., 77, 78, 88, 110, 144-146, 157
Гильман, 151
Гинзбург, 358, 360
Гиппиус З., 324
Гиттис В.М., 265
Гладстон, 460
Глазунов И.С., 75
Глебов А.Н., 492
Глинская Н., 506
Гнеденко Б.В., 486, 496
Гнучева, 81, 92, 110, 129, 156, 169
Годвин, 298
Голанд Р.Л., 59
Голиков, 130, 167, 362
Голубева Е.Д., 101
Голузин Г.М., 505
Гомулка, 11
Горбаневская Н., 11, 12, 90
Горбатов, 374
Горбачев М.С., 459
Горелова, 151
Горская А.И., 53, 426, 430
Горчаков М.А., 250, 256
Горшков П.М., 500, 506
Горький А.М., 55, 60, 178, 186, 257, 258, 288, 346, 358
Горячева, 492, 493
Готвальд К., 359
Грабовская А.В., 347, 409
Гранин Д., 44
Греков Ю.Ф., 70, 71, 132, 149, 171, 176, 178, 181, 187, 221, 222, 491
Грекова Л., 493, 511
Гречко А.А., 369
Громов, 222
Грузов Е.Н., 10, 29, 115, 123, 132, 149, 175, 178, 224
Гузаревич, 272
Гулиа Г., 530
Гумилев Л.Н., 81, 219
Гумилев Н., 88, 110, 168, 428
Гуревич Л.Э., 445, 460, 470, 472, 487

Давыдов Ю., 21
Дадаев А., 56-59, 61, 507
Дазмарова Г., 321

Данилов К.Г., 8, 16, 71, 78, 84, 87, 109, 115, 124, 125, 130, 134, 149, 151, 155, 158, 166, 169, 186, 194, 203, 204, 209-212, 217, 218, 222-226
Данилов Н., 78
Данилова М.Е., 148, 305
Данович Г., 505
Даугавет И., 159, 493
Даугавет О., 63
Двоенин, 379
Дегаев С.П., 21, 98, 527
Дедюлин С., 88
Деканозов, 401
Делоне Б.Н., 217, 474, 491, 516
Делоне В., 474
Демидов, 62, 108, 134, 184, 185, 187, 191-194, 195, 213-215, 220, 225
Деникин А.И., 261, 266, 284, 298, 326
Депман И.Я., 494, 508
Державин Г., 228
Дерюгина Е.М., 364, 371
Дерюгина Л., 409
Джилас М., 50
Дзержинский Ф.Э., 38, 178, 274, 279, 380
Дзодзе, 11
Дизраэли, 460
Дименттберг Ф.М., 543
Дмитриевский Б., 374
Дмитрова Г.Т., 494
Донде, 151
Дондуков, 254
Достоевский Ф.М., 52, 81, 312, 324, 411
Дроздова Г., 117, 122, 123
Дудаш Й., 30
Дубрович Н.А., 80, 81, 84, 88, 92, 107, 123, 125, 128, 145, 148, 149, 152, 155, 156, 171, 179, 181, 190, 202, 219, 222
Дудинцев, 30, 33-37, 40-48, 72, 108
Думенко Б.М., 265
Дьяков, 360
Дьяченко, 493

Евдокимов З., 430, 432, 511
Евменова И., 165
Евсеев И., 245, 247
Евтихиев, 310
Евтухов, 150
Егоров А.И., 123, 124, 128, 129, 192, 265, 524
Егорьев В.Н., 265
Ежов Н.И., 350, 352
Елисеев Е.В., 295
Елисеев Г.Р., 250, 253, 267
Енальский, 506
Ендовицкий, 506
Епифанов, 497
Ермаков С.М., 49, 51, 61, 466, 468-470, 494, 506
Ермолаев, 157
Ерофеев В.И., 96-98, 100, 118
Еругин, 486
Есенин С.А., 97, 305, 312
Есенин-Вольпин А.С., 97

Жаков, 252
Жакодьман И., 19
Жаткин П., 268
Желнов В., 91, 155, 202
Желудев, 222
Желябов А.И., 21, 98
Жданов А.А., 62, 464, 466, 486, 509, 523
Жилов Г., 440, 446, 447
Жирчинская, 266
Жодзишский Г., 528
Жолудев, 155, 173
Жуйкова, 472

Загорский В., 300
Зайдулова З.Х., 101
Залгаллер В.А., 431, 473, 547
Заморзаев А., 63, 473, 474, 491, 492
Замятин, 265
Заславский И.Д., 30, 31, 63-65, 85, 90, 91, 100, 106, 107, 112-116, 124, 125, 128-132, 137, 138, 141, 149-152, 154-157, 159-166, 182-186, 190, 193, 194, 202, 208, 212-218, 221-226, 493, 497, 508, 529, 534, 539, 543, 547
Засухина З., 505
Звонарев И., 275
Зеленин, 489
Зеленой, 43
Зельманов А.Л., 62, 542
Зеркин С.А., 184, 208, 219
Зимин А.А., 416
Зинягин Т.Г., 296, 297
Зоркин, 220
Зотов Ф., 245, 296
Зубер-Яникун И.Э., 14, 30-33, 49, 65, 75, 77, 80, 82, 91, 92, 96, 106, 112, 115, 121, 125, 128, 132, 137, 144-146, 148-152, 155-159, 165, 181, 190-193, 202, 221, 222, 552
Зубов, 550

Ивенко, 260
Иванов, 105, 125
Иванова, 545
Игнатов, 278, 279, 292
Игнатьев С., 514
Иезуитов, 34, 35, 40, 41
Изразцев, 123
Ирков Ф., 311, 313
Исакова Л., 468, 502, 506
Искандер Ф., 530

Кавеньяк, 460
Каверин С., 250, 256

Каган В.Ф., 482, 537
Каганович Л.М., 11, 69, 164, 214, 339
Кадар Я., 12, 13, 30
Казаков, 358
Каледин А.М., 252
Кальниболоцкая Л., 501, 505
Каляев И.П., 22, 23, 61, 137, 139, 140, 144, 533, 534
Каменев Л.Б., 92, 310
Каменев С.С., 261, 274
Кантор Г., 495
Канторович, 486
Каплун И., 471
Каппель В.О., 255
Кардель Э., 87, 102
Карнап, 488
Кармин А.С., 531
Карпинский, 321
Картавов М.Ф., 260
Картавцев А.А., 255
Картавцев А.С., 235, 236, 238, 244, 245
Картавцев М.А., 250
Картавцев С.А., 245, 251
Картавцева Д.А., 245
Кассиль Л.А., 37
Катаев В., 279, 289
Каттанео К., 538
Каттерфельд Г., 469
Каутский К., 102
Квачевская Д., 300
Квачевская А.В., 300
Квачевский, 78
Квачевский Л., 300
Квачевский О., 300
Кириенко Ю.К., 253
Кириллов, 98
Киров, 326
Климова М., 8, 107, 154, 165
Клокачев И., 506
Клюев, 262
Ключевский В.О., 52, 420
Княжицкая С., 500, 502, 506
Князева В., 506
Кобидзе К.П., 8, 16, 18, 90, 107
Ковалевская, 58
Козловцев, 304
Козырев, 542
Кокорев В.И., 70, 71, 73, 132, 151, 171, 176, 209, 221
Колесова, 501, 503, 506
Колмогоров А.Н., 483
Колчак А.В., 253, 298, 300
Комаров, 44
Коммадов Н.В., 207
Конарев, 492
Коновалов Т., 37
Коноплянников, 130
Константинов, 379
Копелев Л.З., 104
Корбут А.А., 30, 32, 75, 91, 107, 112, 132, 137, 148, 150, 151, 157, 170, 181, 202, 221-223
Корде Ш., 25
Короленко В.Г., 54, 258
Коротченцов Н.Н., 285, 288, 290, 291, 295
Корчной, 468
Коршикова, 149
Косиор, 352
Костов, 11, 60
Котт Я., 87, 98
Кошкарев Ж., 259, 263, 264, 267, 298, 303
Кравчинский-Степняк С.М., 89
Кренева Д., 146, 157, 159
Красильников, 110
Красовская Ю., 75, 77, 78, 110, 203
Краснов П.Н., 254, 257, 258, 319, 372
Крестинский, 358
Кривоногов С., 282
Кривошеин В.А., 11, 76, 97, 101, 103, 114, 151, 156, 159-161, 166, 167
Кроль Ю., 23, 25, 33
Кропоткин П.А., 51, 52, 206, 277, 300, 301, 335, 363, 384, 449, 464
Крузе В., 403
Крупская Н.К., 20
Крысюкенайте, 149
Крюков И.П., 263
Крючков, 358
Кугель, 212, 220
Кудров В.П., 154
Кудрова И.В., 48-50, 65-69, 77, 80, 81, 87, 93, 104, 106, 111, 115, 130, 131, 148-160, 165, 166, 181, 182, 189, 194, 202, 220-222, 224
Кудрявцев Э.П., 70, 71, 91, 106, 132, 143-148, 157, 171, 179, 181, 187, 194, 202, 211, 214, 221, 222, 224
Кудинский В., 460
Кузин, 546
Кузнецов А.А., 57, 106, 148, 181, 188, 205, 222, 506
Кузнецов Б.Г., 484
Кузнецов Ю.М., 80, 86, 94, 148, 170, 172, 205, 222
Кузнецова К.Ф., 98
Кузьмичев А., 313-315, 323
Куйбышев В., 309
Кулаков, 98
Кулакова Е., 506
Кун Б., 276
Кун Т., 487
Куприн А.И., 257
Курчатов, 14
Кухаренко Л., 506

Ладыгина, 500, 501, 503, 506
Ладыженская О.А., 482
Лазарева, 121, 125, 128

Ландсберг (Бергер) Е.Г., 63, 108, 463, 470, 473, 490, 492, 493, 519
Ланцева, 152
Лапичев, 102
Латтимор О., 399, 403
Лахартин, 22
Лашевич, 265
Лебедев О., 53, 58, 445, 463
Лебль, 359
Левандовский А., 318
Левин, 358
Левина Д.И., 10, 149, 174, 224
Леднева Л., 505
Лейн А., 550
Лейтман К.А., 48, 49, 153, 161, 162, 170, 181, 194, 202
Ленин (Ульянов) В.И., 13, 20, 24, 31, 32, 40, 41, 50, 51, 61, 71, 76, 92, 120, 155, 162, 195, 201, 205, 212, 258, 261, 265, 271, 275, 292, 298, 304, 335, 358, 378, 384, 412, 419, 454, 457, 458, 467, 481, 489, 510, 512, 523, 524, 533
Ленц Е., 544
Лепешинская О.Б., 53
Леонов Л., 60
Леонов Н., 506
Леонова И., 469, 506
Лермонтов М.Ю., 385
Леснова М.П., 120, 233, 339, 524, 531
Лещенко А.Г., 371
Лившиц, 212, 220
Линник Ю.В., 486
Литвин Ф.Л., 447, 499, 543
Литвинов, 400
Литинский, 445, 460
Лифшиц, 40
Лихачев Д.С., 416
Лихушин В.С., 248, 259
Лихушин Д.С., 246, 250, 254
Лихушин Е.С., 253
Лихушин И.С., 253, 254, 260
Лихушин С.С., 252
Лихушин С.И., 236, 243-246
Лихушина Х.А., 245
Личкус Ф., 89
Лобачевский Н.И., 52, 114, 215, 481, 482, 537, 538
Логинова, 220
Лозинский Н.Н., 126, 127
Лоретти Р., 104
Лосева Е.И., 253, 255, 256, 293
Лотман, 538
Лохина, 149
Лошкарев, 445
Лошманов, 150
Луговской В., 279, 280
Луканкин, 130, 164, 184
Лукьянцев, 294, 301, 302
Лукьянцева Т., 298, 301, 302
Лунев Н., 167
Лускина, 151
Лысенко Т.Д., 53, 146, 435
Любавин В., 384, 386, 389
Любарский К.А., 69, 534, 539
Любицкая В., 131, 162
Любищев А.А., 30, 35
Лякин, 78, 90, 103, 154, 165, 169
Ляпунов А.А., 548

Магдаснева С., 371
Мазник, 279
Макаров О.Н., 51, 324, 375
Макарова В.О., 364
Макарова Н.М., 431, 435
Максаков О., 384, 385, 389
Максимов В., 325, 390
Малагин, 384, 389
Маленков Г.М., 164, 214, 523
Малыхин, 130
Мамонтов К.К., 83, 265, 266
Мамонтов Н., 11, 160
Мандельштам Н.Я., 60, 379
Мандельштам О.Э., 52, 88, 144, 146, 187, 374, 550, 551
Мануилов В., 493
Манухов А., 467
Мао Цзедун, 55, 139, 196, 399, 481, 518
Марр Н.Я., 5, 550
Марков А.А., 21, 30, 486, 489, 493, 494, 497, 541, 542
Марков-младший А.А., 489
Маркс А., 471
Маркс К., 32, 52, 65, 76, 140, 195, 258, 298, 301, 413, 414, 435, 460, 462
Марьямов, 23, 116
Марченко А.Р., 487
Масарик, 257
Маслов С., 492
Маслова Н., 492
Масловский, 242
Мастович, 39
Матвеев Н.М., 101, 499
Матвиевская Г., 51, 55, 56, 466, 467, 469, 470, 540
Матюшкин-Герке А.А., 447, 468, 494, 503, 506
Махно Н.И., 259, 276, 277
Машьянова А.В., 131, 154, 156, 170, 182, 189, 194, 201, 202, 222-225
Маяковский В.В., 43, 53, 88, 258, 292, 294, 312, 391
Межлаук, 265
Меир Г., 34
Мельников, 283, 286, 287
Менжинский В.Р., 340, 341, 374

Меньшаков Ю., 11, 97, 114, 159, 161, 165, 191
Меран Т., 12
Мережковский Д.С., 52, 324, 420
Мехлис, 363
Микоян А.И., 11, 20, 374
Милютина, 156
Милинкис, 44
Минковский, 535, 538
Миролюбов Н., 49, 84, 152-154, 163
Миронов Д., 225
Миронов Н.Р., 107, 164, 165, 185, 188, 220
Миронов Ф.К., 265
Митрофанов И.А., 360, 362
Михайлов А., 93
Михеев, 469
Михлич С.Г., 486
Мичурин И.В., 435, 453
Можжерин, 491
Молотов В.М., 11, 69, 159, 164, 214, 285, 286, 353, 379, 400, 464
Мосина Р., 98, 125
Морган Л., 54
Морозов Н., 35, 130, 151
Мускелишвили, 14
Мыксименко В., 529
Мясников Л.Л., 292, 487

Надь И., 13, 30, 42, 44
Нагорный Н.М., 29, 31, 61-63, 131, 486, 491-497, 508, 511, 534, 539, 494
Назимова А.К., 48-50, 85, 152-155, 160, 161, 170, 176, 179, 181, 194, 202, 221, 223, 226, 453
Найденов, 491, 493
Небольсин А.В., 63, 323, 366
Небольсина Е.М., 59, 353, 391, 521
Небольсина Н., 550
Невструев, 71, 149, 150, 184, 209, 212, 217, 222
Некрасов Н.А., 53, 117, 118, 258
Некрич, 326
Неруда П., 6
Несмеянов, 144
Нецветаев М., 282
Нечаев С.Г., 21, 140
Никешевич, 370
Никитин Л.П., 517, 537
Никишов И.Ф., 375-377, 380, 381, 395, 398-403
Никифоров В.С., 462
Никулин, 291
Нинов, 41
Ницше Ф., 49-52, 54, 60, 61, 109, 110, 122, 151, 162, 193, 195, 206, 213, 496, 514, 517, 518, 526, 530
Новиков, 404

Огородников К.Ф., 26, 106, 486, 542
Огурцов И.В., 78, 518, 553
Окладников, 399
Окулов, 265
Окунев, 491
Олеша Ю., 40
Онисько Н., 493
Орджоникидзе С.К., 24, 282, 303
Орлов Т., 311
Орлов Ю.Ф., 25
Орловская Н., 107
Орловский Э.С., 8, 14, 19, 21, 23, 29, 30, 36, 45, 69, 70, 91, 97, 102, 103, 106, 107, 116, 125-127, 135-145, 149-151, 153-157, 165, 179-181, 184, 188-192, 195, 198, 202, 219, 224, 334, 356, 390, 493, 497, 539, 547, 550
Осипов, 151
Остроградский М.В., 52
Отрадных Ф.П., 313, 467, 485, 494, 499-509

Павлов К.А., 310, 375
Палагин З.Г., 70, 71, 107, 151, 176, 211
Палладин, 14
Пальманы, семья, 151
Панасевич, 546
Панкратова Э., 500, 501, 505
Парфенюк, 341, 360
Пастернак Б.Л., 23, 52, 74
Паустовский К.Г., 40
Пегов Н.М., 376
Пейтин Г.С., 126, 127, 151
Пеньковский О.В., 324
Переверов В., 372
Перельман А.Я., 494, 506, 547
Перовская С.Л., 89
Перфильева, 245
Петерс Я., 274
Петров, 45, 130
Петрова Л.Т., 471, 494, 505, 521
Петропавловская, 486, 491, 497
Петкевичиюте, 149
Пикассо П., 75, 77, 78, 132, 197, 210, 434
Пименов Н.И., 316
Пименова (Щербакова) Л.М., 101, 118, 307, 316, 327, 343, 370, 371, 388, 403, 410, 533
Пименова В.В., 309
Пименова В.М., 324
Пименова Е.М., 323
Пименова З.М., 324, 380, 401
Пишюн, 14
Платунова И., 505
Плеве В.К., 92
Плетнев, 358
Плеханов Г.В., 89, 298
Погорелов А.В., 474, 540
Подольская М.Р., 35
Полилов, 123
Половцева Ю., 544

Полосухина К., 505
Поморцев, 42
Пономаренко П.К., 522
Попков П.С., 57, 523
Попов, 276, 311
Поруков, 154
Пост, 496
Постышев, 351, 352
Потапов, 130
Правдин, 60, 73, 78, 90, 93-99, 103, 104, 109, 114, 118, 120, 129, 133, 134, 148-151, 154, 155, 157, 160-164, 167-169, 180-182, 185
Преображенский А.Г., 235
Прибылова А.С., 297
Примаков, 265
Приходько, 273
Прокопьев, 97, 104, 114, 121, 122, 126, 127, 180
Пронский С.П., 268
Просвистухин Г., 275, 291
Прудовский, 445
Прудон, 298
Пруст Ж., 37
Пунин Н.Н., 470
Пунина В.А., 51, 61, 462, 466-471, 494, 506
Пустынцев Б., 130
Пушкин А.С., 5, 37, 53, 295, 325, 351, 385, 417, 437, 453, 538
Пятаков Ю., 305

Радек К., 292, 312
Райк Л., 11, 25, 60
Райскин И.Г., 156, 176, 178, 202, 223
Райхман И.И., 23, 166, 181-186, 194, 195, 207, 208, 211, 213, 214, 220, 226, 382, 552
Раковский, 358
Ракоши М., 13
Распутин Г., 247
Рафобеков Д., 253
Рачковский, 91
Рейнер В., 466, 503, 506
Реклю Э., 301, 420
Ренкин, 211
Репин И.Е., 257
Решетняк Ю., 86, 473, 474
Решетовская Н.А., 392
Рид Д., 51, 52, 88, 148, 188, 201, 205, 207, 213, 414, 461, 519
Рид М., 380
Ровкин, 156
Рогинский А.Б., 526
Рогов, 103, 104, 117, 129, 133, 135, 161
Рогожин, 393
Рождественская, 33, 34, 35
Розенблюм-Рейлли, 289
Розенфельд Г.А., 480, 547
Рокоссовский К.К., 12
Рольник Г., 460
Ронжин, 226
Ронкин И.Г., 173
Ронсков, 493
Рохлин Е.А., 8-10, 26, 152, 157, 176, 189, 222, 224, 534
Рудзутак, 292, 352
Рузвельт Ф., 399
Рукавишникова, 151
Рыжик В.А., 480
Рыков В., 155, 173
Сааков, 155
Сабашников М.В., 320
Савалина Л., 505
Савинков Б.В., 23, 32, 93, 100, 130, 168, 181, 517-519
Садо М.Ю., 553
Садовой, 54, 117, 121, 339-341
Салаши, 12
Санов, 486
Сапогов Н.А., 482
Сахаров А.Д., 50, 291, 334, 355
Сверчкова И., 505
Свидерский В.И., 487
Селиверстов, 256
Семенов Д., 102, 468
Сенькин Е., 473
Сергеенко, 275, 279
Серебряков, 265
Серлин Д., 356
Серов, 76
Сидорин, 261, 266
Сидоров Ю., 506
Симонов К.М., 47, 53
Синицын Ю., 151, 173, 309, 314
Синицына, 152
Скачков Б., 466, 506
Скорик Н.Д., 436
Скорик Н.П., 436
Скорик П.Я., 436
Сланский Р., 11, 24, 359
Слепакова Н., 88, 209
Случевский И.И., 57, 185, 186, 188
Смирнов В.И., 98, 116, 277, 546
Смирнов И.С., 545, 546
Смоленкова, 152
Смолин, 545, 546
Соколов В.А., 489
Соколова, 491
Сокольников Г.Я., 265
Солдаткина, 191, 220
Солженицын А.И., 33, 68, 69, 90, 360, 381, 392, 459
Солнцева В., 503, 505
Соловьев М., 96, 273, 274
Соломяк М.З., 55, 60, 212, 462, 466-472, 478, 479, 494, 499-501, 503, 505, 507, 508, 551
Сомов, 260
Сорокин, 362

Соскин А., 49, 84, 165
Спасский, 468
Спекторский С., 21
Сталин И.В., 8, 9, 11, 19, 20, 23-26, 32, 43, 50-52, 58, 60, 72, 75, 76, 89, 120, 146, 154, 164, 180, 190, 195, 199, 200, 207, 209, 214, 265, 274, 300, 303, 324, 325, 335, 339, 340, 353, 358, 361, 374, 378, 380, 400, 449, 453-458, 461-464, 467, 486-489, 510, 515-519, 523, 524, 529
Старцев, 154
Степанов, 130, 256
Столица Л., 37
Столпянский П.Н., 268
Сукарно, 23
Сулимов Д., 325
Сумманен Т., 87
Суслов А.К., 33, 138, 151, 539, 550
Суслов М.А., 350, 361
Суханов, 252
Сухов В., 31, 68, 81, 83, 333, 466, 471, 539
Сырцов С.И., 252, 253, 325
Сысоева И., 506
Сюринская П., 266

Таирова М.К., 80, 81, 84, 92, 135, 145, 149, 150, 154, 171, 176, 181, 202
Тарасов, 125
Тарасюк, 219
Тасманев, 70
Твардовский А.Т., 20
Твердохлебов А., 97, 289
Телль В., 25
Тельников, 110, 130, 191, 192
Тентюкова Г., 505
Тер-Григорянц, 289
Терехов, 149
Терников К., 255
Терпанасян Е., 233, 339, 340, 342, 362, 363, 372, 378, 394, 410, 429, 437, 448, 449, 524
Тескова, 392
Тимезенко И., 9
Тимошенко И., 157
Тито И., 19, 51, 73, 87, 102, 200, 464
Титов, 341
Тихий, 539
Тихомиров, 310
Ткаченко, 406
Толстой А.К., 324
Толстой Л.Н., 4, 81, 238, 247, 258, 304, 312, 414, 420, 495
Тольятти П., 26, 200, 206
Томский, 314
Торопцева В.Н., 494, 505
Трифонов В., 282
Трифонов Ю., 22, 509
Трофимов В., 110, 130, 192
Троцкий Л.Д., 20, 23, 51, 92, 252, 261, 265, 266, 290, 298, 303
Трумэн Г., 53, 399
Туковский Г.А., 44
Тушкина Т., 95, 472, 473, 484, 487, 488, 494, 499, 501, 502, 505, 550
Тьер, 460
Тюмин, 102
Удовенко, 102
Узупов, 192
Урицкий М.С., 258
Wallace H., 399

Фаддеев Д.К., 484, 486, 491, 508, 543
Фадин, 106, 542
Файншмидт В., 469
Фалик, 270, 271, 274
Федоров, 546
Федорова Г., 500, 501, 503, 505
Федосеев, 279, 304, 307
Фейхтвангер Л., 528
Фельдман Я.С., 51, 55-58, 60, 159, 447, 452, 469, 470, 476, 477, 480, 485, 494, 499-503, 506, 507, 548
Фесенко П., 523
Фигнер В.Н., 89
Филановская Г., 473, 550
Филимонова Р., 528
Финкельштейн Л., 92
Фихтенгольц Г.М., 468, 483, 486, 491
Фок В.А., 486
Фрейд З., 116
Фриш, 486
Фролов В.Н., 9, 26, 31, 64, 96, 148, 151, 417, 466, 467, 472, 484, 498, 499, 501, 528, 534, 539, 542, 550
Фрунзе М., 46, 274, 276
Фуллон, 91
Фурин С., 436

Хайбуллин Б., 130
Хаусдорф, 126
Хегедюш, 12, 13
Хемингуэй Э., 37
Хирсели З.И., 447, 511-513
Ходжаев, 358
Ходоровский, 265
Холопов Г., 22
Храмов, 470, 472
Хрущев Н.С., 8-11, 19-26, 82, 87, 104, 108, 120, 123, 128, 132, 141, 142, 146, 149-154, 159, 166, 170, 174, 193-195, 200, 203-206, 211-214, 221, 224, 459, 464, 517, 523
Хухарев, 101

Царева Л., 505
Цветаева М., 27, 37, 392
Цветкова Г., 506

Цейтин, 497
Цемиринов Р., 85
Цинцадзе, 159
Цион, 340
Цицерон, 256

Чайковский Н.В., 21
Чалидзе В., 97
Чан Кайши, 55, 399
Чачко М., 533
Чаянов, 252
Чеботарев Г.А., 545
Чепова В.П., 468
Черепанов Д.А., 300
Черкасов К., 255, 259
Черненко К.У., 452, 459, 460
Чернецов, 254, 259
Чернов В.М., 25, 358
Чернов М.А., 358, 359
Чернышевский Н.Г., 52
Чернявский, 43
Чернявский А., 282, 283, 289
Чернявский М., 503, 505
Черняк Л.Я., 365
Черч, 496
Чесноков И.Я., 324, 374, 521
Чистяков, 220
Чудакова Т., 60, 62, 467, 499-508
Чуковский К., 53

Шаламов В., 360, 375
Шанин Н.А., 26, 30, 31, 184, 212, 213, 312, 486-497, 501, 502, 506, 536, 541
Шапиро, 124, 159, 212
Шарангович, 358
Шария П.А., 206, 401, 512
Шаронов, 472, 486
Шатохин, 304
Шафаревич И.Р., 459
Шафир, 182, 212, 220
Шварцман Л., 501, 502, 505
Швейник Г., 515
Шеин С.А., 62, 449
Шейнин Л., 142, 291
Шейнис В.Л., 4, 48-50, 64-66, 68, 69, 71, 73, 80, 82, 84-86, 106, 107, 148, 153, 157, 160-162, 168, 181, 190, 194, 202, 208, 221-223, 226, 352
Шелест Г., 375
Шемякин Е., 521
Шепилов Д.Т., 69, 164, 464, 465
Шестаков А., 501, 506, 550
Шидловская Н., 505
Широков, 491
Ширяев А.В., 507
Шлионский Г., 501, 505, 517
Шмальгаузен И.И., 53
Шопенгауэр А., 52, 54, 212, 497
Шорин В.И., 261, 265
Шостакович Д.Д., 32
Шрифтейлик (Пименова) В.А., 77, 87, 91, 95, 113, 114, 117, 121, 123, 125, 138, 149, 150, 181, 202, 224, 273, 534
Штауфенберг, 25

Щербак, 53
Щербаков А., 231
Щербаков А.Г., 363
Щербаков А.С., 231
Щербаков Г.А., 238, 239, 242
Щербаков И.Г., 114, 119, 120, 122-124, 129, 131, 149, 155, 192, 193, 198, 199, 228, 231, 233, 235, 239, 241-243, 247-291, 294-298, 301-304, 307-314, 316, 323-326, 330-332, 336-343, 345, 358-364, 372, 377, 378, 382, 394, 398, 399, 403-406, 416, 417, 429, 449, 524
Щербаков М.Г., 363
Щербакова Н.Г. , 243, 253, 305
Щербакова П.А., 236, 237, 239, 243-245, 250, 251, 267, 307, 335, 338, 363, 443

Эдельштейн Г.М., 151, 172
Эйзенхауэр Д., 15, 201
Эйнштейн А., 31, 62, 480, 535, 539, 540, 548
Эйхе, 352
Экономов В.Ф., 546
Эльяшева, 33, 121, 123, 156
Энгельс Ф., 140, 195
Эренбург И.Г., 15, 45, 47, 148, 467, 499, 534
Этин Ю.Б., 31, 60, 90, 149, 466, 468-471, 474, 478, 479, 482, 486, 487, 489, 491-494, 497, 499-502, 505-507, 509, 517-520, 539, 540, 550-552
Эфрос Е.Я., 391

Яглом И.М., 547
Ягода Г.Н., 10, 374
Яковлев Д., 255
Яковлева, 321
Ясько, 151